

Генрик Сенкевич

Потоп

Роман

Перевод Владимира А. Высоцкого

ВСТУПЛЕНИЕ

Был на Жмуди влиятельный род Биллевичей, происходивший от Миндовга, породнившийся со знатью и чтимый во всем Россиенском повете. Высоких чинов Биллевичи никогда не достигали — самое большее, занимали должности в повете, но на поле брани они оказывали стране огромные услуги, за которые в разные времена их щедро награждали. Их родовое гнездо, существующее до сегодняшнего дня, тоже называлось Биллевичи, но кроме него они обладали еще многими другими поместьями не только в окрестностях Россией, но и дальше к Кракинову по берегам Ляуды, Шои и Невяжи, туда — за Поневеж. Потом они распались на несколько родов, члены которых потеряли друг друга из виду. Они съезжались только тогда, когда в Россиенах, на «Равнине Сословий», происходили смотры жмудского посполитого рушения¹. Порой они встречались под знаменами литовских войск и на сеймиках, а так как они были богаты и влиятельны, то с ними должны были считаться даже всемогущие на Литве и Жмуди Радзивиллы.

В царствование Яна Казимира патриархом всех Биллевичей был Гераклий Биллевич, полковник легкой кавалерии, подкоморий упицкий. Он не жил в родном гнезде, так как им в то время владел Томаш, мечник россиенский; Гераклию принадлежали Водокты, Любич и Митруны, расположенные вблизи Ляуды и окруженные со всех сторон, точно морем, землями мелкопоместной шляхты.

Кроме Биллевичей во всей округе было лишь несколько знатных домов: Соллогубы, Монтвиллы, Шиллинги, Корызны, Сицинские (хотя и мелкой шляхты с этими фамилиями было немало). Впрочем, на всем протяжении берега Ляуды были усеяны так называемыми «околицами» или «застенками» — поселками, в которых жила славная в истории Жмуди ляуданская шляхта.

В других местностях род получал название от «застенка» или «застенок» от рода, как бывало, например, на Полесье, но там, на берегах Ляуды, было иначе. В Морезах жили Стакьяны, которых поселил там Баторий в награду за мужество, оказанное под Псковом. В Волмонтовичах, на прекрасной земле Бутрымы, самые рослые во всей Ляуде, славившиеся неразговорчивостью и тяжеловесностью руки, которые во время сеймиков и войн шли вперед стеной, молча. Земли в Дрожейканах и Мозгах обрабатывали многочисленные Домашевичи, знаменитые охотники. Эти в Зеленой пуще хаживали за медведями до самого Вилкомира. Гаштофты жили в Пацунелях. Их девушки славилась красотой, так что под конец всех хорошеньких девушек из окрестностей Кракинова, Поневежа и Упиты стали звать пацунельками. У маленьких Соллогубов были огромные стада лошадей и скота; Госцевичи же из Гошун гнали в лесах смолу и были прозваны «Черными» или «Дымными».

Было еще много «застенков», много родов. Многие из них существуют и поныне, но большинство «застенков» расположены не там, где раньше, и люди в них

¹ Всеобщее ополчение.

называются другими именами. Приходили войны, несчастья и пожары, и они отстраивались, но не всегда на прежних местах, — словом, многое изменилось. Но в былые годы старая Ляуда процветала в своем исконном быту и ляуданская шляхта пользовалась известностью, ибо недавно еще под начальством Януша Радзивилла прославилась в войне с восставшим казачеством.

Все ляуданцы служили под знаменем Гераклия Биллевича: богатые — в качестве «панцирных товарищей», бедные — в свитских.

Вообще эта шляхта была воинственна и любила военное дело; зато в вопросах, которые обсуждались на сеймиках, она была менее сведуща. Знала, что в Варшаве есть король, Радзивилл, и пан Глебович — староста на Жмуди, а Биллевич — в Водоктах на Ляуде. Этого с них было довольно — и на сеймикахони голосовали так, как их учил Биллевич, в полной уверенности, что он хочет того же, что и пан Глебович, а Глебович не пойдет против Радзивилла; Радзивилл — правая рука короля на Литве и Жмуди, а король — супруг Речи Посполитой и отец шляхты.

Пан Биллевич был скорее приятелем, чем «клиентом» могущественных олигархов в Биржах, и они ценили его особенно потому, что по первому его зову он располагал тысячами голосов и тысячами ляуданских сабель, а сабли в руках Стакьянов, Бутрымов, Домашевичей или Гаштофтов по тем временам были делом не шуточным. Только потом все изменилось, особенно когда не стало пана Гераклия Биллевича.

Не стало же его, отца и благодетеля ляуданской шляхты, в 1654 году. В то время разгорелась страшная война в восточной части Речи Посполитой. Пан Биллевич вследствие старости и глухоты уже не пошел на нее, но ляуданская шляхта пошла. И вот когда пришло известие, что Радзивилл разбит под Шкловом, а ляуданский полк после атаки почти весь вырезан наемной французской пехотой, со старым полковником сделался удар, и он отдал богу душу.

Известие это привез некий пан Михал Володыевский, молодой, но славный воин, который в отсутствие пана Гераклия, по распоряжению Радзивилла, командовал ляуданским полком. Остатки этого полка, разбитые, голодные и искалеченные, вернулись вместе с ним в родные селения, сетуя на великого гетмана² за то, что тот, слишком веря в страх своего имени, в свою славу победителя, решился идти с ничтожным отрядом против неприятеля, который был в десять раз сильнее его, и благодаря этому подверг опасности и войско, и всю страну.

Но среди общих нареканий ни один голос не поднялся против молодого полковника пана Юрия-Михала Володыевского. Напротив, те, что уцелели от погрома, превозносили его до небес и рассказывали чудеса об его боевом опыте и подвигах, и единственным утешением уцелевших ляуданцев были воспоминания о победах, одержанных ими под предводительством Володыевского: как они пробились сквозь дым и ряды неприятельского войска, как потом, напавши на французских наемников, они разбили их в пух и прах, причем пан Володыевский собственноручно убил их начальника; как, наконец, окруженные с четырех сторон, они отчаянно отстреливались, покрывая своими трупами поле, и наконец сломили неприятеля.

С грустью, но вместе с тем с гордостью слушали эти рассказы те из ляуданцев, которые, не служа в литовском войске, обязаны были принимать участие в посполитом рушении. Многие надеялись, что посполитое рушение, последняя защита государства, должно было быть вскоре созвано. Заранее было решено, что в таком случае пан Володыевский будет выбран ротмистром, несмотря на то что не принадлежит к местной шляхте, ибо не было никого ему равного. Рассказывали также, что он спас от окончательной гибели и самого гетмана. Поэтому вся Ляуда почти

² Гетман — командующий войском.

носила его на руках и нарасхват приглашала его к себе гостить. Из-за этого ссорились Бутрымы, Гаштофты и Домашевичи. А он так полюбил эту воинственную шляхту, что, когда остатки радзивилловских войск собрались в Биржах, он туда не поехал, а ездил из «застенка» в «застенок» и наконец поселился у пана Пакоша Гаштофта, который был первым в Пацунелях.

Правду говоря, пан Володыевский и не мог бы никак ехать в Биржи, так как серьезно заболел горячкой, а потом, вследствие контузии, полученной под Цыбиховом, у него отнялась правая рука. Три дочери Гаштофта, славившиеся своей красотой, взяли его под свою нежную опеку и поклялись во что бы то ни стало поправить здоровье столь славного кавалера; вся же шляхта занялась похоронами своего прежнего вождя, пана Гераклия Биллевича.

После похорон вскрыли завещание покойного, и оказалось, что старый полковник делал наследницей всего своего состояния, исключая Любича, внучку свою Александру Биллевич, дочь ловчего упицкого, а опеку над ней до ее замужества поручает всей ляуданской шляхте.

«...ибо была она доброжелательна ко мне, — говорилось в завещании, — и платила любовью за любовь, пусть же такой будет она и в отношении к сироте моей, — в эти времена испорченности и извращенности, когда никто не может считать себя в безопасности, — и пусть охраняет ее от всех превратностей судьбы.

Она должна следить за тем, чтобы внучка моя могла безо всякого посягательства со стороны других пользоваться всем своим имуществом, — за исключением Любича, который я дарю молодому оршанскому хорунжему пану Кмицицу. Если же кто станет удивляться такому расположению моему к пану Андрею Кмицицу и будет видеть в этом обиду внучке моей Александре, то он должен знать, что с молодых лет и до самой смерти я пользовался со стороны отца его дружбою и братнею любовью. Что во время войн он не раз спасал мне жизнь, а когда паны Сицинские из ненависти хотели оттягать у меня состояние, он и в этом мне помог. Потому я, Гераклий Биллевич, подкоморий упицкий и вместе с тем грешник негодный, стоящий перед страшным судом Божиим, четыре года тому назад отправился к Кмицицу-отцу, мечнику россиенскому, чтобы выразить ему чувства дружбы и благодарности. Там, с обоюдного согласия, решили мы, по старому шляхетскому и христианскому обычаю, что дети наши, а именно: сын его, Андрей, и внучка моя, Александра, должны вступить в брак и воспитать свое потомство во славу Божию и на пользу отчизны. Такова моя воля, и от исполнения ее внучку мою Александру освобождаю только в том случае, если — храни Бог! — Кмициц обесславит себя каким-нибудь неблагородным поступком. Если же он, вследствие какого-нибудь несчастья, лишится даже своего состояния, то это не должно служить помехой.

Но если внучка моя пожелает вступить в монастырь, то в этом дается ей полная свобода, ибо слава Божья первее всех почестей и благ земных».

Так распорядился состоянием и судьбой своей внучки Гераклий Биллевич, чему, впрочем, никто и не удивлялся. Сама она давно уже знала, что ее ждет, а шляхте также хорошо была известна дружба Биллевича с Кмицицем; кроме того, в то время, среди несчастий, выпавших на долю отчизны, все были поглощены другими мыслями, и о завещании вскоре перестали и говорить.

Только в Водоктах говорили о Кмицицах, или, вернее, о молодом Кмицице, ибо старика тоже не было в живых. А молодой сначала сражался под Шкловом со своими волонтерами, а потом скрылся неизвестно куда, хотя никто не мог допустить мысли, что он погиб, ибо смерть такого славного рыцаря не могла бы пройти незамеченной. Кмицицы были в родстве со всеми влиятельными домами повета и обладали довольно значительными поместьями, но поместья эти были разорены во время последних войн. Целые поветы превратились тогда в глухие пустыни, а люди гибли один за другим. После разгрома радзивилловских войск не оставалось никого, кто мог

бы дать отпор неприятелю. У гетмана Госевского было мало войска; коронные гетманы сражались с остатками войск на Украине и не могли прийти к нему на помощь, так же как и Речь Посполитая, обессиленная постоянными войнами с казаками. Волны неприятелей заливали страну все более и более, кое-где лишь ударяясь о стены, но и эти стены падали одни за другими, как пал Смоленск. Жители Смоленского воеводства, где находились поместья Кмицица, считали его погибшим. Во время этого всеобщего хаоса и ужаса люди рассеялись, как листья, гонимые вихрем, и никто не знал, куда исчез молодой оршанский хорунжий.

Но так как до староства Жмудского война еще не дошла, то шляхта понемногу успокоилась после Шкловского поражения и стала съезжаться для обсуждения как общественных, так и частных вопросов. Бутрымы говорили, что нужно ехать в Россиены на сбор всеобщего ополчения, потом к Госевскому, чтобы отомстить за шкловское поражение; Домашевичи пробирались через Роговскую пушу к неприятельскому лагерю и привозили оттуда разные известия; Госцевичи коптили мясо для предстоящего похода, — но прежде всего решили выбрать опытных людей и отправить их на розыски Андрея Кмицица.

Все эти совещания происходили под главенством двух местных патриархов: Пакоша Гаштофта и Касьяна Бутрыма; вся же шляхта, польщенная доверием покойного Биллевича, поклялась окружить его внуку отеческой заботливостью и попечением. В то время, когда в других местностях творились разные бесчинства и грабежи, на Ляуде было спокойно. Никто не врывался во владения молодой помещицы, не трогал ее амбаров, не вырубал лесов, не загонял скота на ее пастбища. Наоборот, каждый «застенок» старался услужить, чем мог, и без того состоятельной землевладелице: Стакьяны присылали ей соленую рыбу, Бутрымы — крупу и муку, Домашевичи — дичь, а Госцевичи — смолу и деготь. В «застенках» называли ее не иначе как «наша панна», а красивые пацунельки ожидали Кмицица чуть ли не с таким же нетерпением, как и она сама.

Между тем пришли тревожные вести, призывавшие шляхту к оружию, и Ляуда заволновалась. Все, от мала до велика, садились на коней и отправлялись к Гродне, куда прибыл король и где был назначен сбор войск. Первыми, молча, двинулись Бутрымы. Из других местностей шляхта явилась лишь в небольшом количестве, но богобоязненная Ляуда была вся налицо.

Володыевский не мог еще владеть рукой и потому остался с женщинами. Околицы опустели, и по вечерам у каминов сидели только старики, дети да женщины. В Поневеже и в Упите было тихо; всюду ожидали новостей.

Панна Александра также заперлась в Водоктах и никого, кроме своих опекунов и слуг, не видала.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Наступил новый, 1652 год. Январь был морозный, но сухой; суровая зима покрыла всю Жмудь толстым, в аршин, белым саваном; ветви деревьев гнулись и ломались под тяжестью снега, — днем, на солнце, он слепил глаза, ночью, при луне, его поверхность, стянутая морозом, сверкала призрачными искрами; звери подходили к человеческому жилью, а жалкие серые птицы стучались клювами в заиндевшие стекла окон.

Однажды вечером панна Александра сидела в людской вместе с дворовыми девушками. Это был старинный обычай Биллевичей — когда гостей не было, проводить вечера с челядью, петь божественные песни и просвещать темный люд. Так делала и панна Александра, и делала тем охотнее, что среди ее дворовых

девушек были почти одни шляхтянки, из бедных сирот. Они исполняли всякую, даже черную, работу и прислуживали панне, но зато учились манерам и были на другом положении, чем простые девки. Были среди дворовых девушек и крестьянки, которые отличались, главным образом, своей речью: многие из них даже не говорили по-польски.

Панна Александра вместе с родственницей своей, панной Кульвец, сидела посредине, а девушки по сторонам, на скамьях; все они пряли. В огромном камине, под покатым навесом, горели толстые сосновые бревна, то угасая, то вспыхивая большим ярким пламенем и искрами, когда подросток, стоявший у камина, подбрасывал в огонь мелкого березняку и лучин. Когда пламя вспыхивало ярче — оно освещало темные деревянные стены огромной горницы с очень низким бревенчатым потолком. У балок висели на нитках разноцветные звездочки, сделанные из облаток, и дрожали в нагретом воздухе, из-за балок выглядывали мотки чесаного льна и свешивались по сторонам, как турецкие бунчуки. Почти весь потолок был ими завален. На темных стенах сверкала, как звезды, оловянная посуда, расставленная на длинных дубовых полках.

В глубине, у дверей, лохматый жмудин с шумом ворочал жерновами и бормотал под нос какую-то монотонную песню, панна Александра молча перебирала четки, девушки пряли, не разговаривая друг с дружкой.

Свет огня падал на их молодые румяные лица, сами же они, подняв руки к прялкам, левыми пощипывали мягкий лен, а правыми вертели веретена и пряли усердно, точно вперегонки, под суровыми взглядами панны Кульвец. Порой они поглядывали украдкой то друг на друга, то на панну Александру, точно выжидая, скоро ли она велит жмудину бросить жернова и начнет петь божественные песни; но они не переставали работать и все пряли; нитки вились, веретена жужжали, спицы мелькали в руках панны Кульвец, а лохматый жмудин ворочал с шумом жернова.

Порой он прерывал свою работу — видно, что-то портилось в жерновах, — и раздавалось его гневное восклицание:

— Падлас!³

Панна Александра поднимала голову, точно разбуженная тишиной, наступавшей после восклицаний жмудина; тогда пламя освещало ее лицо и глубокие голубые глаза, смотрящие из-под черных бровей.

Это была красивая панна, со светлыми волосами, бледной кожей и нежными чертами лица. В красоте ее было что-то, напоминавшее красоту цветка. Траурное платье придавало ей строгую серьезность. Она сидела у камина, как бы во сне, погруженная в глубокие думы, — быть может, она думала о своей судьбе, которая должна была скоро решиться.

По завещанию, она должна была стать женой человека, с которым не виделась уже лет десять, а так как ей не было и двадцати, то у нее осталось лишь смутное детское воспоминание о каком-то мальчишке-сорванце, который во время своего пребывания с отцом в Водоктах больше бегал по болотам с самопалом, чем смотрел на нее.

«Где он и каков он теперь?» — вот вопросы, которые теснились в голове задумчивой панны.

Она знала его еще по рассказам покойного подкомория, который за четыре года до своей смерти предпринял далекое путешествие в Оршу. Судя по этим рассказам, это был «кавалер, способный на великие подвиги, да только больно горячий». После условия, заключенного между старым Биллевичем и Кмицицем-отцом относительно женитьбы их детей, молодой человек должен был приехать в Водокты, чтобы

³ Подлый! (литов.).

представиться невесте; в это самое время разгорелась война, и кавалер, вместо того чтобы навестить невесту, отправился на поле брани. Там он был ранен и лечился дома; потом ухаживал за больным отцом, потом опять вспыхнула война — и так прошло четыре года. Теперь со смерти полковника прошло немало времени, а о Кмицице не было и слуху.

Значит, было о чем призадуматься панне Александре; а может, она и тосковала по нему, еще его не зная. Ее чистое сердце жаждало любви именно потому, что еще любви не знало. Нужна была только искра, чтобы в нем загорелось пламя, спокойное, но ясное, ровное и неугасимое.

Ее охватывало беспокойство, порою приятное, порою мучительное, в душе рождались вопросы, на которые ответа еще не было: он должен был прийти из далеких полей. Первый вопрос ее был: добровольно ли он идет на брак с нею и ответит ли готовностью на ее готовность? В те времена соглашения между родителями о браке детей были делом обыкновенным, а дети, даже после смерти родителей, связанные их благословением, не могли нарушить договора. В самом сватовстве своем она не видела ничего странного, но она знала, что желания не всегда идут рука об руку с долгом, и русую головку панны беспокоила мысль: будет ли он любить ее? Как стая птиц кружит над деревом, одиноко стоящим в поле, так вопросы кружились в ее голове один за другим.

Кто ты? Каков теперь? Жив ли еще или тебя убили где-нибудь? Далеко ли ты или близко? Сердце панны, открытое навстречу милому гостю, невольно рвалось к далеким странам, лесам, снежным полям и кричало: «Приди, милый, потому что нет на свете ничего тяжелее ожидания».

Вдруг, точно в ответ на ее призыв, снаружи, из этой снежной ночной дали донесся звук колокольчика.

Девушка вздрогнула, но, очнувшись, вспомнила, что это, верно, из Пацунелей прислали за лекарством для молодого полковника, как присылали почти каждый вечер; мысль эту подтвердила и панна Кульвец, говоря:

— Это, верно, приехали от Гаштофтов за лекарством.

Неровный звук колокольчика, привязанного к дышлу, доносился все яснее и яснее; наконец, он вдруг умолк, — сани, очевидно, остановились перед домом.

— Посмотри, кто приехал, — сказала панна Кульвец жмудину.

Тот вышел из людской, но через минуту вернулся и, принимаясь опять за жернова, произнес флегматично:

— Панас Кмитас!

— Сбылось! — воскликнула панна Кульвец.

Девушки вскочили, прялки и веретена попадали на пол.

Панна Александра тоже встала. Сердце ее билось, как молот, на лице выступил румянец, но она нарочно отвернулась от камина, чтобы никто не видел ее волнения.

Вдруг в дверях показалась какая-то высокая фигура в шубе и меховой шапке. Молодой человек вошел в избу и, заметив, что он в людской, спросил звучным голосом, не снимая шапки:

— Гей, а где же ваша панна?

— Я здесь! — ответила довольно твердым голосом панна Биллевич. Услышав ее ответ, гость сорвал шапку с головы, бросил ее на пол и, поклонившись, сказал:

— Я — Андрей Кмициц.

Глаза панны Александры на мгновение остановились на лице гостя и опустились. Золотистые, как рожь, волосы, выстриженные в кружок, серые глаза с пристальным взглядом, темные усы и молодое, смуглое лицо с орлиным носом, веселое и удалое.

А он, подбоченившись левой рукой, правой провел по усам и сказал:

— Я еще не был в Любиче, а неся птицей сюда, чтобы поклониться панне

ловчанке. Ветер принес меня прямо из лагеря.

— Вы знали о смерти дедушки-подкомория? — спросила панна.

— Нет, не знал, но я оплакал моего благодетеля горькими слезами, когда узнал это от шляхты, присланной отсюда ко мне. Это был искренний друг моего покойного отца, почти что брат. Ваць-панне известно, что он четыре года тому назад был у нас в Орше. Тогда-то он и обещал отдать мне панну и показал ваш портрет, над которым я вздыхал по ночам. Я бы раньше сюда приехал, но война — не мать: людей только со смертью венчает.

Панна смутилась его смелой речью и, чтобы переменить разговор, спросила:

— Значит, вы еще не видели своего Любича?

— Будет время! Здесь у меня самое важное дело — здесь у меня самое драгоценное наследство, которое я прежде всего хотел бы получить. Только вы так отворачиваетесь от меня, что я до сих пор не мог заглянуть вам в глаза. Вот так! Повернитесь-ка, а я у камина стану... Вот так!

С этими словами он схватил не ожидавшую такой смелости панну Александру за обе руки и быстро повернул ее к огню.

Она смутилась еще больше и, опустив длинные ресницы, стояла, точно стыдясь собственной красоты и света. Наконец Кмициц выпустил ее руки и хлопнул себя по бедрам:

— Как Бог свят, редкость! Я прикажу отслужить сто заупокойных обеден за душу моего благодетеля. Когда же свадьба?

— Еще не скоро, я еще не ваша, — ответила панна Александра.

— Но будешь моею, хоть бы мне пришлось для этого сжечь этот дом! Я думал, что на портрете тебя прикрасили, но теперь вижу, что художник высоко метил, да промахнулся; всыпать бы ему сто плетей и печки велеть красить, а не такую красоту писать, от которой я сейчас глаз не могу оторвать. Счастливец тот, кому такое наследство достается!

— Правду говорил дедушка покойный, что вы горячи не в меру!

— У нас в Смоленске все таковы, не то что ваши жмудины! Раз, два — и должно быть так, как мы хотим, а не то смерть!

Панна Александра улыбнулась и, взглянув на молодого человека, сказала уже спокойнее:

— Верно, там у вас татары живут.

— Это все равно! А вы все-таки моя, и по воле родителей, и по сердцу.

— По сердцу ли, этого я еще не знаю.

— А коли не по сердцу, так я руки на себя наложу!

— Шутки шутите, ваць-пане! Но что же мы до сих пор в людской стоим — прошу в комнаты! С дороги, верно, и поужинать хорошо... Прошу!

И она обратилась к панне Кульвец:

— Тетя, вы пойдете с нами?

Молодой хорунжий быстро спросил:

— Тетя? Чья тетя?

— Моя тетя, панна Кульвец.

— Значит, и моя! — ответил он, целуя ее руки. — Да! У меня есть товарищ в полку по фамилии Кульвец-Гиппоцентавр, — не родственник ли он вам?

— Да, это из нашего рода! — ответила, приседая, старая дева.

— Славный парень, только такой же ветрогон, как и я, — прибавил Кмициц.

Между тем появился казачок со свечой в руке, и они перешли в сени, где Кмициц снял шубу, а затем в комнаты.

По уходе господ девушки собрались в кружок и начали друг другу высказывать свои замечания. Стройный юноша очень им понравился, и они не жалели слов, расхваливая его изо всех сил.

— Так и горит весь! — говорила одна. — Когда он вошел, я думала, что это королевич какой!

— А глаза как у рыси — так и пронизывают! — ответила другая. — Такому противиться нельзя!

— Хуже всего противиться, — ответила третья.

— Нашу панну повернул, как веретено. Видно по всему, что она ему по нраву, да и кому же она может не нравиться?

— Ну и он не хуже, что и говорить. Если бы тебе такой достался, то ты бы пошла за ним и в Оршу, хотя это, говорят, на краю света.

— Счастливая наша панна.

— Богатым всегда лучше на свете. Золото, а не рыцарь!

— Пацунельки говорили, что и тот ротмистр, который гостит у старого Пакоша, тоже красавец!

— Я его видела, но далеко ему до пана Кмицица!

— Такого, верно, на свете больше нет.

— Падлас! — воскликнул вдруг жмудин, у которого что-то не ладилось с жерновами.

— Да уйди ты наконец, лохмач, со своими жерновами! Перестань шуметь, ничего не слышно. Да, да, трудно сыскать на целом свете такого, как пан Кмициц! Верно, и в Кейданах такого нет.

— Такого-то и во сне будешь видеть.

— Ах, вот если б он мне приснился!

Так разговаривали между собой шляхтянки в людской. А между тем в столовой накрывали на стол, в гостиной панна Александра осталась с Кмицицем наедине, так как тетушка пошла распоряжаться насчет ужина.

Гость не отрывал горящих глаз от девушки и наконец сказал:

— Есть люди, которым милее всего богатство, другие гонятся за славой, иные любят лошадей, а я не променял бы ваць-панну ни на какие сокровища. Ей-богу, чем больше смотрю на вас, тем больше мне хочется жениться — хоть завтра! А уж брови: вы, верно, подводите жженой пробкой?

— Я слышала, что иные так делают, но я не такая.

— А глаза как у ангела. Я так смущен, что у меня слов не хватает!

— Не видно что-то, чтоб вы были смущены. Я, глядя на вас, даже диву даюсь вашей смелости!

— Таков наш смоленский обычай: к женщине и в огонь надо идти смело! Ты, королева, должна к этому привыкнуть, потому что всегда так будет!

— Вы должны от этого отвыкнуть, потому что так быть не может!

— Пожалуй, и уступлю. Верьте не верьте, ваць-панна, для вас я на все готов! Ради вас, моя царица, я готов изменить свой обычай. Я знаю, что я простой солдат и чаще бывал в лагере, чем в дворцовых покоях...

— Это ничего, мой дедушка тоже был солдат, а за доброе желание спасибо, — ответила Оле нька и при этом так нежно взглянула на пана Андрея, что он совсем растаял и ответил:

— Вы будете меня на ниточке водить!

— Вы что-то непохожи на тех, которых на ниточке водят. Трудно иметь дело с такими непостоянными!

Кмициц улыбнулся и показал белые, как у волка, зубы.

— Как, — ответил он, — разве мало на мне изломали розог родители и учителя в школе, для того чтобы я остепенился и запомнил все их прекрасные нравоучения и ими руководствовался в жизни!

— А какое же из них вы лучше всего запомнили?

— «Если любишь, падай к ногам» — вот так!

С этими словами пан Андрей стал на колени, а девушка вскрикнула и спрятала ноги под скамейку.

— Ради бога! Этому уж, верно, вас в школе не учили... Встаньте сейчас, или я рассержусь... и тетя сию минуту войдет!

А он, стоя на коленях, поднял вверх голову и смотрел ей в глаза.

— Пусть приходит хоть целый полк теток — для меня это все равно.

— Встаньте же, говорю вам!

— Встаю.

— Садитесь.

— Сажу.

— Вы предатель, вы Иуда.

— А вот и неправда, уж если я целую, так от всего сердца. Хотите убедиться?

— И думать не смейте!

Панна Александра все же смеялась, а он весь сиял счастьем и весельем. Ноздри у него раздувались, как у молодого жеребца благородной крови.

— Ай, — говорил он, — какие глазки, какое личико! Спасите меня, святые угодники, я не выдержу!

— Зачем призывать святых? Целых четыре года вы сюда и не заглянули, так и сидите теперь!

— Да ведь я видел только портрет. Я прикажу этого художника выкупать в смоле, а потом обвалить в перьях и гонять его по всей Упите. Помилуешь меня или казнишь, а скажу тебе всю правду. Смотрел я на твой портрет и думал: хороша, что и говорить, но хорошеньких немало на свете — будет еще время. Женитьба от меня не уйдет — ведь девушки на войну не ходят. Бог свидетель, что я не противился воле отца, но прежде хотел испытать на себе, что такое война, что я и сделал. Только теперь я вижу, что был глуп и не понимал, какое наслаждение меня здесь ожидает; ведь на поле сражения я мог отправиться, и будучи женатым. Слава богу, что меня там не убили! Позвольте ручку поцеловать.

— Нет, не позволю.

— Тогда я и спрашивать не буду. У нас в Оршанском говорят: проси, а не дают, бери сам.

Он схватил руку девушки и стал ее горячо целовать, чему она не очень противилась.

В эту минуту вошла тетушка и, увидев, что здесь творится, остановилась в изумлении. Это ей не понравилось, но она не сделала замечания и пригласила их ужинать.

Оба тотчас же встали и под руку пошли в столовую, где стол был уже накрыт, а на нем стояло множество различных блюд, особенно ветчины в разных видах, и бутылка превосходного старого вина. Им было хорошо друг с другом. Ужинал только Кмициц, а девушка села подле него и радовалась, глядя, с каким он аппетитом уничтожал все, что ему предлагали; когда он утолил голод, она опять стала его расспрашивать:

— Вы сейчас не из Орши приехали?

— Почему я знаю откуда? Я побывал во многих местах, подбирался к неприятелю, как волк к овцам, и что где можно было сорвать, то и рвал.

— Как же у вас хватило смелости идти против такой силы, перед которой сам гетман должен был уступить?

— Как хватило? Я на все готов, такая уж у меня натура.

— Это говорил и покойный дедушка... Счастье, что вас не убили.

— Эх, ловили они меня, как птицу в гнезде, но чуть подходили ко мне, я уходил у них из-под носа и кусал их в другом месте. Надоел я им так, что они оценили мою голову. Превосходное вино!

— Во имя Отца и Сына, — воскликнула с непритворным испугом молодая девушка, глядя с восторгом на этого храбреца, который мог говорить о цене за свою голову и о вине в одно и то же время.

— У вас, верно, было много войска?

— Были у меня драгуны, правда, очень дельные и храбрые, но через месяц они все пали. Ходил я потом с волонтерами, которых собирал, где мог, без разбора. Хороши они на войне, но, в сущности, мошенник на мошеннике. Те, что не погибли еще, рано или поздно пойдут воронью на жаркое.

При этих словах Кмициц рассмеялся, выпил залпом бокал вина и прибавил:

— Таких плутов вы еще не видели, черт их возьми! Офицеры — все шляхта, достойные люди, именитые, но за каждым из них уголовщина в прошлом. Сидят теперь в Любиче, что же мне с ними осталось делать?

— Так вы со своим отрядом к нам приехали?

— Да, неприятель от холода заперся в городах. Мои люди обтрепались, как метлы от продолжительного употребления, поэтому князь-воевода назначил мне стоянку в Поневеже. Ей-богу, этого отдыха я вполне заслужил.

— Кушайте, пожалуйста!

— Для вас я готов и яд съесть. Часть своих оборванцев я оставил в Поневеже, часть в Упите, а самых достойных пригласил в Любич. Они скоро придут к вам с поклоном.

— А где же вас нашли ляуданцы?

— Я их встретил по дороге в Поневеж, но пришел бы сюда и без них.

— Выпейте еще вина!

— Для вас я готов и яду выпить.

— Но о смерти дедушки и о завещании вы узнали только от ляуданцев?

— Об его смерти? Да, от них, упокой, Господи, его душу! Значит, вы послали за мной этих людей?

— И не думайте! Все мои мысли о покойном дедушке и о молитве, больше ни о чем.

— Они мне то же самое сказали. Гордые какие эти сермяжники! Я хотел им заплатить за труды, а они окрысились за это на меня, сказали, что, может быть, это оршанская шляхта все делает за деньги, но не ляуданская. Вообще, немало наговорили они мне дерзостей. Выслушав все это, я подумал: не хотите денег, так я прикажу вам всыпать по сотне розог.

При этих словах панна Александра схватилась за голову:

— Господи помилуй, и вы это сделали? Кмициц удивленно посмотрел на нее:

— Не беспокойтесь, я этого не сделал, но меня всегда возмущает, когда всякая мелюзга претендует на равенство с нами. Я думал, что они расскажут об этом вам, и вы будете меня считать каким-то варваром.

— Какое счастье, — воскликнула панна Александра, — если бы это случилось, вы не должны были бы мне и на глаза показываться.

— Почему?

— Это — мелкая шляхта, но старинная и славная. Покойный дедушка очень любил ее и на войну с ней ходил. Всю жизнь они вместе служили, а в мирное время все были приняты у нас в доме. Это старинные друзья нашего дома, которых вы должны уважать. Я надеюсь, что вы поймете это и не захотите нарушить наших добрых отношений.

— Я об этом ничего не знал, но сознаюсь, что дружба с такой босоногой шляхтой как-то не укладывается у меня в голове. У нас кто мужик, так уж мужик, а шляхта вся более или менее состоятельна и не садится вдвоем на одну лошадь. Я не понимаю, что может быть общего между Кмицицами или Биллевичами и этой мелкой шляхтой. Одно дело щука, а другое пескарь!

— Дедушка находил, что состояние не имеет значения, важно лишь происхождение и честность, а они все в высшей степени честные люди, иначе дедушка не назначил бы их моими опекунами.

Кмициц остолбенел и широко открыл глаза.

— Он их назначил вашими опекунами? Всю ляуданскую шляхту?

— Да. Вам нечего морщиться, воля покойного свята. Меня удивляет, что они об этом ничего вам не сказали.

— Я бы их... Впрочем, этого не может быть. Здесь их много, неужели у них у всех в отношении вас какие-то права, может быть, им захочется и мной распоряжаться, может быть, я им почему-либо не понравлюсь и... Перестаньте шутить, потому что это, наконец, начинает меня бесить.

— Я и не шучу, пан Андрей, это святая истина. Они не станут и вмешиваться в ваши дела; если же вы их не оттолкнете своей заносчивостью и гордостью, то не только они, но и я буду вам всю жизнь благодарна.

Она говорила взволнованным, дрожащим голосом, а он не переставал хмуриться. Правда, он не разразился гневом, но минутами глаза его метали искры, и он проговорил надменно и гордо:

— Этого уж я никак не ожидал. Я уважаю волю вашего покойного дедушки, но думаю, что пан подкоморий мог бы этой мелюзге поручить опеку над вами только до моего приезда, а с минуты, как я здесь, никто, кроме меня, вашим опекуном не будет. Не только эта шляхта, но и сами Радзивиллы не имеют теперь никаких прав над вами.

Панна Александра с минуту молчала, наконец ответила спокойным голосом:

— Вы напрасно увлеклись гордостью. Вы должны или вполне подчиниться воле дедушки, или отказаться от нее совсем. Они не станут вам ни надоедать, ни навязываться, этого вы не думайте. Если бы произошли какие-нибудь недоразумения, то они, конечно, не будут молчать, но надеюсь, что все будет мирно и спокойно, а в таком случае их опека не проявится ни в чем.

Несколько минут длилось молчание, наконец он махнул рукой и сказал:

— Со свадьбой все это кончится. Тут нам не о чем спорить, пусть только они сидят спокойно и не трогают меня, не то я не ручаюсь за себя. Согласитесь только как можно скорее повенчаться, это будет лучше всего.

— Не годится говорить об этом во время траура.

— А долго мне придется ждать?

— В завещании сказано: не дольше, как через полгода.

— Но ведь до тех пор я высохну, как щепка. Но не будем ссориться. Вы уж и так смотрите на меня, как на какого-нибудь преступника. Королева моя, чем же я виноват, что у меня натура такая! Когда я рассержусь на кого-нибудь, то готов его разорвать, а когда гнев пройдет, то готов его сшить снова.

— Страшно жить с таким, — ответила уже веселее панна Александра.

— Ваше здоровье! Превосходное вино, а для меня сабля и вино — самое главное в жизни. Не думайте, что со мной страшно жить. Своими глазами вы сделаете из меня покорного раба, хотя я не признавал до сих пор над собой ничьей власти. Вот и теперь я предпочитал за собственный страх ходить на неприятеля с ничтожным отрядом, чем кланяться панам гетманам. Золотая моя, королева моя, если я что-нибудь делаю не так, прости, ибо приличиям я учился у пушек, а не в салонах. У нас теперь всюду неспокойно, так что саблю нельзя ни на минуту выпускать из рук. И вот, если за кем и есть какие-нибудь провинности, на это не обращают внимания, лишь бы человек на войне был храбр. Например, мои товарищи: в другом месте они давно бы сидели в тюрьме... но у них есть и хорошие стороны. У нас даже женщины ходят в сапогах и с саблями и командуют небольшими отрядами, как это делала двоюродная сестра моего поручика, пани Кокосинская, которую

недавно убили, а племянник ее под моим начальством мстил за ее смерть, хотя при жизни и не любил ее. Где нам учиться светскому обхождению? Мы одно знаем: во время войны становиться в ряды и жертвовать жизнью, на сеймах шуметь и отстаивать права, а если слова не действуют, то браться и за сабли. Вот каков я, таким меня знал и покойный ваш дедушка и такого вам выбрал.

— Я всегда охотно исполняла дедушкину волю, — ответила, опуская глаза, панна.

— Дай мне еще раз поцеловать твои ручки, мое сокровище. От любви к тебе я совсем потерял голову и не знаю, попаду ли в Любич, которого еще до сих пор не видел.

— Я вам дам проводника.

— Это совсем напрасно. Я уже привык шататься по ночам. У меня слуга из Поневежа, он, верно, знает дорогу. А там меня ждет Кокосинский с компанией. Кокосинские из старинного рода. Того, о ком идет речь, обвиняют в том, что он у Орпишевского сжег дом и увез панну, а людей перебил. Хороший товарищ! Дай же еще ручку. Однако, пора ехать...

В это время на больших часах пробило двенадцать.

— Пора и честь знать. Скажи мне, моя дорогая, любишь ли ты меня хоть капельку?

— Скажу в другой раз. Ведь вы будете меня навещать?

— Каждый день, разве сквозь землю провалюсь.

С этими словами Кмициц встал и с панной Александрой вышел в сени. Сани стояли у крыльца, поэтому он надел шубу, стал прощаться и убедительно просил ее вернуться в комнаты, так как она может здесь простудиться.

— Покойной ночи, королева моя, спи спокойно; а что до меня, то я и глаз не сомкну, все буду думать о тебе.

— Только не думайте ничего дурного. Я вам лучше проводника с фонарем дам, потому что в Волмонтовичах много волков.

— Разве я коза, чтобы мне волков бояться? Волк солдату друг, так как часто благодаря ему солдат находит себе пищу, притом я захватил пистолеты. Покойной ночи, дорогая моя, покойной ночи!

— С Богом!

С этими словами девушка скрылась, а Кмициц направился было к крыльцу, но по дороге заметил в дверях людской несколько пар девичьих глаз. Девушки не ложились, чтобы еще раз взглянуть на него. Он, по обычаю военных, послал им воздушный поцелуй и вышел. Через минуту зазвенел колокольчик, сначала громко, потом слабее и, наконец, совершенно затих.

Тишина, наступившая в Водоктах, удивила даже панну Александру; в ушах ее еще раздавались слова молодого человека; она слышала еще его искренний, веселый смех; перед глазами стояла его стройная фигура, и теперь, после этой бури слов и смеха, настало такое странное молчание. Она внимательно прислушивалась, не раздастся ли еще хоть звук колокольчика, но тщетно. Он звенел уже где-то около Волмонтовичей. Тоска овладела молодой девушкой, она никогда еще не чувствовала себя такой одинокой.

Она взяла свечу, медленно направилась в спальню и стала молиться. Пять раз начинала она молитву, прежде чем смогла до конца прочесть ее. Но потом мысли ее опять понеслись, как на крыльях, к этим саням и к сидящему в них молодому человеку. С обеих сторон лес, а посередине широкая дорога, и он едет... В эту минуту ей показалось, будто она ясно видит его светлые волосы, серые глаза и улыбающиеся губы, из-за которых сияют белые, блестящие зубы. Она должна была сознаться, что ей очень понравился этот веселый молодой человек. Сначала он ее несколько напугал и встревожил, а затем привлек, главным образом, свободой

обращения и искренностью. Ей даже понравилась его гордость, когда, узнав об опекунах, он надменно поднял голову, как турецкий жеребец, и сказал: «Даже сами Радзивиллы не имеют над вами никаких прав». «Это настоящий мужчина, — говорила она про себя. — Он, именно, такой, каких дедушка больше всего любил. Да и стоит их любить».

Так думала молодая девушка, и ею овладевало то чувство невыразимого блаженства, то тревога, но и в этой тревоге была какая-то прелесть. Потом она стала раздеваться, вдруг дверь скрипнула, и вошла тетка со свечой в руках.

— Как вы долго сидели, — сказала она. — Я не хотела вам мешать, чтобы вы могли вдоволь наговориться. Кажется, очень обходительный кавалер. А тебе как он понравился?

Панна Александра сначала ничего не ответила и только подбежала к тетке, обняла ее и, припав своей русой головой к ее груди, сказала ласковым голосом:

— Ах, тетя, тетя!

— Ого, — пробормотала старая дева, поднимая вверх свечу и глаза.

II

В любичском господском доме, когда к нему подъехал Кмициц, окна были освещены, и шумный говор был слышен даже на дворе. Прислуга, услышав звонок, бросилась в сени встречать своего пана, так как знали, что он должен приехать. Все робко подходили к нему и целовали руки, а старый слуга Жникис стоял с хлебом-солью и низко кланялся, со страхом и любопытством разглядывая своего будущего хозяина. А он, бросив на поднос кошелек с деньгами, стал спрашивать о товарищах, удивляясь, что ни один из них не вышел к нему навстречу.

Но они не могли выйти, так как уже три часа сидели за столом, опустошая бокал за бокалом, и, по всей вероятности, не слышали даже и звона колокольчиков за окном. Когда он вошел в комнату, со всех сторон раздался громкий крик: «Хозяин приехал!» — и все, быстро вскочив, стали подходить к нему с бокалами в руках. Он стоял, подбоченившись, видя, что они сумели распорядиться, даже кутнуть до его приезда. Больше всего его потешало то, что, стараясь казаться трезвыми и идти прямо, они спотыкались и опрокидывали скамейки. Впереди шел громадный Яромир Кокосинский, известный кутила и забияка, с огромным шрамом на лбу и на щеке, с одним усом короче, а другим длиннее, поручик и приятель Кмицица, обвиняемый в насилии, убийстве и поджоге. Теперь его охраняла война и протекция Кмицица, с которым он был ровесник и сосед по имению. Шел он, держа в обеих руках кувшин, наполненный вином. За ним следовал Раницкий, герба Сухие Комнаты, родом из Мстиславского воеводства, из которого должен был бежать вследствие убийства двух землевладельцев. Одного он убил в поединке, а другого — просто застрелил. Состояния у него не было, хотя после родителей он унаследовал имение мачехи. Война охраняла и его от наказания. Третьим был Рекуц Лелива, который пролил разве только неприятельскую кровь. Состояние свое он проиграл в кости и прокутил и года три уже жил на средства Кмицица. С ним шел Углик, тоже смолянин, приговоренный к казни за скандал, учиненный в суде. Кмициц его держал при себе за то, что он хорошо играл на чекане. Кроме них был еще Кульвец-Гиппоцентавр, такой же рослый, как Кокосинский, но еще сильнее, и Зенд, обладавший способностью подражать голосам птиц и животных, человек сомнительного происхождения, хотя он именовал себя курляндским дворянином; не имея никаких средств, он объезжал у Кмицица лошадей, за что получал жалованье.

Все они окружили смеявшегося Кмицица и запели заздравную песню, причем Кокосинский передал Кмицицу кувшин с вином, а Зенд подал ему бокал.

Выпей же с нами, наш хозяин милый, Дай Бог, чтоб с нами пил ты до могилы!..

Кмициц поднял вверх кувшин и воскликнул:

— За здоровье моей возлюбленной!

Товарищи ответили ему на это таким громким «виват», что стекла задрожали в свинцовых рамах.

— Виват! Пройдет время траура, будет свадьба. При этом посыпались со всех сторон вопросы:

— Какова она? Ендрек, очень она хороша? Такая ли, как ты себе представлял? Найдется ли другая такая же в Орше?

— В Орше, — воскликнул Кмициц, — наши девушки годятся только для того, чтобы ими трубы затыкать. Черт побери! Нет другой такой на свете.

— Такой мы тебе и желаем! — ответил Раницкий. — Когда же свадьба?

— Когда окончится траур.

— Глупости все это — какой там траур. Дети ведь не черными рождаются, а белыми.

— Если будет свадьба, то не будет траура! Правда, Ендрек?

— Верно, Ендрек! — закричали все.

— Верно, ваши будущие дети с нетерпением ждут своего появления на земле, — воскликнул Кокосинский.

— Не заставляй их томиться, несчастных!

— Панове, — пропищал Рекуц Лелива, — выпьем на свадьбе на славу!

— Милые мои овечки, — ответил Кмициц, — оставьте меня в покое, или, проще говоря, убирайтесь к черту, дайте мне осмотреться в моем новом доме!

— Успеешь, — ответил Углик, — завтра сделаешь это, а теперь садись скорее за стол, — там остались еще два полных ковша.

— Мы уже без тебя все здесь осмотрели. Твой Любич — золотое дно, — прибавил Раницкий.

— Лошади на конюшне прекрасные: есть пара гусарских, пара жмудских, пара калмыцких, — словом, всего по паре, как глаз во лбу. Остальных мы увидим завтра.

При этом Зенд заржал по-лошадиному, и все удивлялись его способности и смеялись.

— Значит, здесь все в порядке? — спросил обрадованный Кмициц.

— И погреб не дурен, — пропищал Рекуц, — бочонки и заплесневелые бутылки стоят рядами, точно солдаты.

— Ну слава богу! Панове, садитесь за стол.

— За стол, за стол!

Но едва они уселись и наполнили бокалы, как Раницкий опять вскочил:

— Здоровье подкомория Биллевича!

— Болван! — возразил Кмициц. — Кто же пьет за здоровье покойника?

— Болван, — повторили другие, — здоровье хозяина.

— Ваше здоровье!

— Дай Бог, чтобы нам жилось хорошо в этом доме.

Кмициц окинул глазами столовую и на почерневшей от старости стене увидел ряд устремленных на него суровых глаз. Глаза эти смотрели со старых портретов, висевших всего на два аршина от пола, да и сама комната была очень низка. Над портретами висел целый ряд оленьих, лосьих и зубровых голов, украшенных могучими рогами. Некоторые уже почернели, по-видимому, от старости, другие сверкали белизной. Ими были украшены все четыре стены.

— Охота, верно, здесь превосходная, в звере нет недостатка, — заметил Кмициц.

— Завтра или послезавтра поедем. Нужно только познакомиться с окрестностями, — ответил Кокосинский. — Счастлив ты, Ендрек, что у тебя такое пристанище.

— Не то что мы, — сказал со вздохом Раницкий.

— Выпьем-ка с горя, — сказал Рекуц.

— Нет, не с горя, — возразил Кульвец-Гиппоцентавр, — а за здоровье Ендрека, нашего милого ротмистра. Он, друзья мои, приютил нас в Любиче, нас, несчастных, бездомных.

— Верно говорит, — воскликнуло сразу несколько голосов. — Не так глуп Кульвец, как кажется.

— Тяжела наша доля, — пищал Рекуц. — На тебя одного вся наша надежда, что ты нас, несчастных сирот, за ворота не выгонишь!

— Будет вам, — ответил Кмициц, — что мое, то и ваше.

При этих словах все вскочили со своих мест и бросились его обнимать. По этим суровым и пьяным лицам текли слезы.

— На тебя, Ендрек, вся наша надежда. Хоть в сарае позволь ночевать, только не гони.

— Перестаньте вздор болтать, — ответил Кмициц.

— Не гони, и так нас выгнали, нас, шляхту, — причитывал Углик.

— Кто ж вас гонит? Ешьте, пейте. Какого черта еще вам нужно?

— Не спорь, Ендрек, — говорил Раницкий, на лице которого выступили пятна, как на шкуре рыси, — не спорь: пропали мы пропадом!

Вдруг он замолчал и, приставив палец ко лбу, что-то соображал; наконец, окинув всех своими бараньими глазами, произнес:

— Разве что в нашей жизни произойдут какие-нибудь перемены. На это все ответили хором:

— Почему бы им и не произойти?

— Мы вернем все!

— И состояние вернем!

— И честь!

— Бог поможет невинным!

— Ваше здоровье! — воскликнул Кмициц.

— Святая правда в твоих словах, Ендрек, — ответил Кокосинский, подставляя ему для поцелуя свои одутловатые щеки. — Пошли нам, Господи, всего хорошего!

Заздравные чаши следовали одна за другой, в головах шумело. Все говорили зараз, не слушая друг друга, исключая Рекуца, который опустил голову и дремал. Спустя немного Кокосинский начал петь, а Углик вынул из-за пазухи свой инструмент и стал ему аккомпанировать; Раницкий же, искусный фехтовальщик, фехтовал пустыми руками с невидимым противником, повторяя вполголоса:

— Ты так, я так, ты режешь, я мах, раз, два, три, — трах.

Кульвец-Гиппоцентавр вытаращил глаза и несколько минут пристально смотрел на Раницкого, наконец махнул рукой и сказал:

— Дурак! Как ни махай, а все ж тебе не справиться с Кмицицем.

— Потому что с ним никто не справится... Ну-ка, попробуй ты сам.

— А на пистолетах ты и со мной проиграешь.

— Давай об заклад, каждый выстрел по золотому.

— Давай, но где мы будем стрелять?

Раницкий огляделся по сторонам и наконец крикнул, указывая на олени и лосьи головы:

— За каждый выстрел между рогов — золотой.

— Куда? — спросил Кмициц.

— Между рогов, два золотых, три, давайте пистолеты.

— Согласен, — воскликнул Кмициц. — Пусть будет три. Зенд, неси пистолеты.

Все начали кричать и спорить. Между тем Зенд вышел в сени и через несколько минут вернулся с пистолетами, пулями и порохом. Раницкий схватил пистолет.

— Заряжен? — спросил он.
— Заряжен.
— Три, четыре, пять золотых, — кричал пьяный Кмициц.
— Тише, промахнешься, промахнешься.
— Не промахнусь. Смотрите... вот в эту голову между рогов... раз, два... Все подняли глаза на огромную лосиную голову, висевшую как раз против Раницкого; он стал прицеливаться. Пистолет прыгал в его руке.
— Три, — крикнул Кмициц.
Раздался выстрел, комната наполнилась дымом.
— Промахнулся, промахнулся, вот где дыра, — кричал Кмициц, указывая на почерневшую стену, от которой пуля оторвала кусок дерева.
— До двух раз.
— Нет, давай мне, — кричал Кульвец.
В эту минуту вбежала испуганная выстрелами дворня.
— Прочь, прочь, — заорал Кмициц. — Раз, два, три! Снова раздался выстрел, и посыпались осколки костей.
— Давайте и нам пистолеты, — закричали остальные.
И, вскочив со своих мест, они начали бить кулаками в спину дворовых, чтобы те поскорее исполнили их приказание. Не прошло и четверти часа, как весь дом гремел от выстрелов. Дым заслонял свет свечей и лица стреляющих. К звуку выстрелов присоединялся голос Зенда, который то каркал вороной, то кричал соколом, то выл волком или рычал туром. Время от времени слышался свист пуль, со стен падали осколки рогов, куски рам от портретов, ибо пьяные, увлекшись спортом, стреляли уже в Биллевичей, а Раницкий начал с ожесточением рубить их саблей.
Удивленная и перепуганная дворня стояла, как полоумная, и смотрела, вытаращив глаза, на эту забаву, похожую на татарский погром. Весь дом был на ногах. Собаки подняли страшный вой, девушки бежали к окнам и, прижимая свои лица к стеклам, смотрели на то, что творилось в доме.
Увидев их, Зенд свистнул так пронзительно, что в ушах зазвенело, и крикнул:
— Панове, сикорки под окнами, сикорки!
— Сикорки, сикорки!
— Давайте плясать! — кричали пьяные голоса.
И вся пьяная компания выбежала на крыльцо. Мороз не отрезвил их. Девушки с отчаянным визгом разбежались во все стороны, они их догнали и потащили в комнаты. Через несколько минут началась пляска среди дыма, обломков, щепок вокруг стола, на котором пролитое вино образовало целые озера.
Так забавлялся в Любиче Кмициц и его дикая компания.

III

В течение нескольких следующих дней Кмициц ежедневно навещал свою невесту и каждый раз возвращался все более влюбленным. Он до небес превозносил свою милую перед товарищами, а в один прекрасный день сказал им:

— Мои милые овечки, сегодня я вас представляю своей возлюбленной, а оттуда мы с нею уговорились ехать вместе с вами в Митруны, чтобы осмотреть и это имение. Она примет нас очень любезно, но смотрите, ведите себя прилично, а если кто-нибудь подведет меня, я из него котлету сделаю.

Все стали торопливо собираться, и вскоре четверо саней везли веселую молодежь в Водокты. Кмициц ехал в первых, очень красивых санях, сделанных наподобие серебристого медведя. Запряжены они были тройкой калмыцких лошадей, украшенных пестрою упряжью, лентами и павлиньими перьями, по смоленскому обычаю, который смоляне переняли от своих далеких соседей. Кучер помещался в

медвежьей шее. Кмициц был одет в зеленый бархатный на соболях кафтан, с золотыми застежками, и в соболью шапку. Он был очень весел и обратился к сидевшему с ним Кокосинскому со следующими словами:

— Слушай, Кокошка! Мы чересчур уж шалили в эти два вечера, особенно в день моего приезда, когда и портретам досталось. Но хуже всего история с девушками. Всегда этот дьявол Зенд подбоьет, а потом кто отвечает? Я боюсь, как бы люди не разболтали, ведь тут замешана моя репутация.

— Повесься же на своей репутации, она ни на что более не пригодна, так же как и наша.

— А кто в этом виноват, как не вы? Тебе ведь известно, что и в Оршанском меня считали благодаря вам каким-то мятежным духом и точили об меня языки, как бритвы об оселке.

— А кто пана Тумграта гнал привязанным к лошади по морозу? Кто зарубил того поляка, что спрашивал, ходят ли в Оршанском на двух ногах или на четырех? Кто истязал Вызинских — отца и сына? Кто разогнал последний сеймик?

— Сеймик я разогнал в Оршанах, а не где-нибудь в другом месте, — значит, это дело семейное. Тумграт простил меня, умирая; а что касается остального, то не упрекай меня в этом, так как и самый скромный человек может убить на поединке.

— Я всего и не пересчитал, я, например, умолчал о военных инквизициях, которые тебя ожидают в лагере.

— Не меня, а вас. Я виноват только в том, что разрешил вам грабить обывателей. Но не в этом дело. Держи язык за зубами, Кокошка, и не рассказывай панне Александре ни о чем, особенно о стрельбе в портреты и о девушках. Если же это откроется, то всю вину я свалю на вас. Дворню и девушек я уже предупредил, что если они обмолвятся хоть одним словом, то им несдобровать.

— Прикажи себя подковать, Ендрек, если ты так боишься девушки. Не таким ты был в Оршанском. Заранее тебе предсказываю, что ты будешь под башмаком, а это уж ни на что не похоже. Какой-то древний философ сказал: «Если не ты Касю, то Кася тебя». Поймала она тебя в ловушку.

— Дурак ты, Кокошка. А что до панны Александры, то будешь и ты прыгать перед ней, когда ее увидишь: другую такую обходительную и умную девушку трудно встретить. Заметит что-нибудь хорошее — похвалит, а дурное — тоже не промолчит и оценит по достоинству. Обо всем она рассуждает правильно и благородно, — так уж ее воспитал покойный подкоморий. Захочешь перед ней похвастать своей удалей и скажешь, что нарушил закон, она и ответит, что это стыдно, что порядочный человек не должен так поступать, ибо этим он бесчестит свое отечество. Она только скажет, а тебе кажется, будто кто-нибудь тебе пощечину дал, и сам удивляешься, что до сих пор этого не понимал. Стыд, срам! Там мы безобразничали, а теперь стыдно ей в глаза смотреть. Хуже всего — девушки...

— Они вовсе не дурны. Я слышал, что здешние шляхтянки — просто кровь с молоком и не очень недоступны...

— Кто тебе говорил? — спросил с живостью Кмициц.

— Кто говорил? Все тот же Зенд. Объезжая вчера жеребца, он доехал до Волмонтовичей и по дороге встретил девушек, возвращавшихся с вечерни. Я думал, говорит, что упаду с лошади, так все они хороши. Стоило ему на которую-нибудь посмотреть, как та уж скалила зубы. И не странно: вся ихняя молодежь ушла в Россиены, а им одним скучно.

Кмициц толкнул локтем в бок своего товарища:

— Поедем, Кокошка, когда-нибудь вечером, будто случайно... А?

— А твоя репутация?

— К черту ее! Замолчи. Поезжайте одни в таком случае или лучше оставьте их в покое. Без ксендза не обойдешься, а со здешней шляхтой я должен жить в мире, так

как покойный подкоморий назначил ее опекунами Оленьки.

— Ты уже говорил мне об этом, но мне не хотелось верить. Откуда такая дружба с этими сермяжниками?

— Он с ними на войну ходил. Да и сам я в Орше от него слышал, что это все очень честные и благородные люди, ляуданцы. Правду говоря, и мне сначала казалось странным то, что он сделал их как будто моими сторожами.

— Ты должен им представиться и низко поклониться.

— Этого-то они не дождутся. Но лучше замолчи, я и без того зол. Они мне будут кланяться и служить. Коли нужно, это всегда готовый к услугам отряд.

— У них есть другой ротмистр. Зенд мне говорил, что у них гостит какой-то полковник, — забыл его фамилию, кажется, Володыевский. Он командовал ими под Шкловом. Говорят, что храбро сражались, но многие погибли.

— Слышал я о каком-то славном воине Володыевском. Но вот уж видны Водокты.

— Хорошо в этой Жмуди людям живется. Везде образцовый порядок. Старик, должно быть, был прекрасным хозяином. И дом, кажется, не дурен. Здесь их редко жжет неприятель, потому они могут и строиться как следует.

— Думаю, что о наших проделках в Любиче она ничего еще не знает! — пробормотал как бы про себя Кмициц.

Потом обратился к товарищу:

— Милый Кокошка, я прошу тебя еще раз, скажи им, чтобы они держали себя прилично; если кто-нибудь из вас провинится, то, клянусь, изрублю его на куски.

— Ну и оседлали же тебя.

— Оседлали или не оседлали — не твое дело.

— В самом деле, что об этом говорить, — ответил флегматично Кокосинский.

— Щелкни-ка кнутом, — крикнул кучеру Кмициц.

Кучер, стоящий в шее медведя, щелкнул, другие последовали его примеру, и все шумно подъехали к крыльцу.

Выйдя из саней, они прежде всего вошли в огромные, как амбар, небеленые сени, а оттуда Кмициц ввел их в столовую, украшенную, как и в Любиче, головами убитых на охоте зверей. Здесь они остановились и с любопытством поглядывали на дверь, ведущую в соседнюю комнату, откуда должна была выйти панна Александра. Помня предостережение Кмицица, они разговаривали между собой так тихо, как в церкви.

— Ты мастер говорить, — шептал Углик Кокосинскому, — и должен от нашего имени сказать ей приветственное слово.

— Я всю дорогу придумывал, — ответил Кокосинский, — но не знаю, как это выйдет, так как Ендрек не давал мне возможности сосредоточиться.

— Только не робей, и все пойдет хорошо. Она уже идет.

И действительно, вошла панна Александра и остановилась на пороге, точно удивляясь такому многочисленному обществу; Кмициц же, положительно, остолбенел. Он видел ее только по вечерам, днем она показалась ему еще лучше. Глаза василькового цвета, над ними на белом, точно мраморном лбу резко выделялись черные брови, а золотистые волосы сверкали так, как корона на голове королевы. Она смотрела смело, не опуская глаз, как госпожа, принимающая у себя гостей, с ясным, приветливым лицом. На ней было черное, опушенное горностаем платье, и это усиливало белизну ее лица. Такой светской и представительной девушки эта молодежь, проведшая почти всю жизнь на поле брани, еще не встречала; они привыкли к другого рода женщинам, и потому все вытянулись в струнку, как на смотре, а потом стали шаркать ногами, отвешивая низкие поклоны. Кмициц выступил вперед и, поцеловав несколько раз ее руку, сказал;

— Я привез к тебе, мое сокровище, своих товарищей, с которыми ходил на

последнюю войну.

— Я считаю высокой для себя честью принимать в своем доме столь достойных кавалеров, о доблестях и обходительности которых я уже много слышала от пана хорунжего.

Сказав это, она чуть-чуть приподняла свое платье и отвесила глубокий поклон. Кмициц закусил губы, но вместе с тем и покраснел, услышав смелую речь своей невесты.

Доблестные кавалеры, не переставая шаркать ногами, подталкивали Кокосинского:

— Ну, начинай.

Кокосинский выступил вперед, откашлялся и начал так:

— Ясновельможная панна подкоможанка.

— Ловчанка, — поправил Кмициц.

— Ясновельможная панна ловчанка и наша милостивая благодетельница, — повторил сконфуженный Яромир, — простите, что я ошибся в вашем титуле.

— Это пустячная ошибка, — ответила панна Александра, — и она нисколько не умаляет вашего красноречия.

— Ясновельможная панна ловчанка и наша милостивая благодетельница. Не знаю, что мне от имени всех оршанцев прославлять более — вашу ли несравненную красоту или счастье нашего ротмистра и товарища, пана Кмицица. Если бы я поднялся к самым облакам, если бы я достиг облаков... самых облаков, говорю...

— Да спустись ты наконец с этих облаков, — крикнул нетерпеливо Кмициц. Услышав это, все разразились громким смехом, но, вспомнив предостережение Кмицица, вдруг замолкли и стали покручивать усы.

Кокосинский окончательно растерялся и, покраснев, сказал:

— Говорите сами, черти, если меня конфузите. Панна опять взялась кончиками пальцев за платье.

— Я не могу соперничать с вами в красноречии, но знаю, что недостойна тех похвал, коими вы польстили мне от имени всех оршанцев.

И снова сделала глубокий реверанс. Оршанские забияки чувствовали себя неловко в присутствии этой светской девушки. Они старались показать себя людьми воспитанными, но им это как-то не удавалось, и они стали покручивать усы, бормотать что-то невнятное, хвататься за сабли, пока Кмициц не сказал:

— Мы приехали, чтобы, по вчерашнему уговору, взять вас и прокатиться вместе в Митруны. Дорога прекрасная, да и морозец изрядный.

— Я уже отправила тетю в Митруны, чтобы она позаботилась о закуске. А теперь попрошу вас обождать несколько минут, пока я оденусь.

С этими словами она повернулась и вышла, а Кмициц подбежал к товарищам.

— Ну что, мои овечки, не княжна?.. А, что, Кокошка? Ты все смеялся, что она меня оседлала, а почему сам стоял перед ней, как школьник? Скажи мне по правде, видел ли ты такую?

— А зачем вы меня сконфузили? Хоть должен сознаться, что не рассчитывал говорить с такой особой.

— Покойный Биллевич всегда бывал с нею при дворе князя-воеводы или у Глебовичей, где она и переняла эти панские манеры. А красота какая? Вы и до сих пор не в состоянии промолвить слова.

— Нечего говорить, недурное мнение она себе о нас составила, — сказал со злостью Раницкий. — Но самым большим дураком должен был показаться ей Кокосинский.

— Ах ты, Иуда! Зачем же ты меня все подталкивал? Нужно было самому выступить с речью, послушали бы мы, что бы ты сказал своим суконным языком.

— Помиритесь, панове, — сказал Кмициц. — Я разрешаю вам восхищаться ее

красотой и умом, но не ссориться.

— Я за нее готов в огонь, — воскликнул Рекуц. — Хоть убей меня, а я не откажусь от своих слов.

Но Кмициц не думал на это сердиться, напротив, он самодовольно покручивал усы и победоносно смотрел на своих товарищей. Между тем вошла панна Александра, одетая в шубку и кунью шапочку. Все вышли на крыльцо.

— Мы в этих санях поедem? — спросила молодая девушка, указывая на серебристого медведя. — Я еще в жизни своей не видела таких красивых и диковинных саней.

— Кто прежде в них ездил, я не знаю, но теперь будем ездить мы. Они подходят мне тем более, что в моем гербе тоже есть девушка, сидящая на медведе. Есть еще другие Кмицицы, у тех в гербе знамя, но они происходят от Филона Кмиты Чернобыльского, и мы не принадлежим к их дому.

— А где же вы приобрели этого медвежонка?

— Недавно, во время последней войны. Мы, изгнанники, потерявшие все состояние, имеем только то, что нам дает война, а так как я этой пани служил верой и правдой, то она меня и наградила.

— Послал бы Господь более счастливую войну, ибо эта одного наградила, а всю нашу дороую отчизну сделала несчастной.

— С Божьей и гетманской помощью все изменится к лучшему.

Говоря это, Кмициц закутывал молодую девушку белой суконной, подбитой белыми волками полостью, потом сел сам, крикнул кучеру: «Трогай» — и лошади понеслись.

Холодный воздух пахнул им в лицо, они замолчали, и слышен был только скрип мерзлого снега под полозьями, фыркание лошадей, звук колокольчиков и крики кучера.

Наконец Кмициц нагнулся к Оле нке и спросил ее:

— Хорошо тебе?

— Хорошо, — ответила она, закрывая лицо муфтой.

Сани мчались, как вихрь. День был ясный, морозный. Снег сверкал и искрился, с белых крыш подымался вверх розоватый дым. Стаи ворон летели впереди саней, среди голых деревьев, с громким карканьем. Отъехав версты две от Водокт, они выехали на широкую дорогу, в темный, безмолвный лес, что спал еще под толстым покровом снега. Деревья мелькали перед глазами и точно убегали куда-то за сани, а они неслись все быстрее и быстрее, точно на крыльях. От такой езды кружилась голова, и было в ней какое-то упоение... Откинувшись назад, панна Александра закрыла глаза и вдруг почувствовала приятную томность: ей казалось, что оршанский боярин схватил ее и мчит, как вихрь, а она не в силах ни сопротивляться, ни кричать. Они летят все быстрее и быстрее... Она чувствует, что ее обнимают чьи-то руки... чувствует на щеках что-то жгучее... но не может открыть глаз, точно во сне. Они мчатся и мчатся... Вдруг ее разбудил чей-то голос, который спрашивал:

— Любишь ли ты меня?

— Как собственную душу.

— А я — на жизнь и на смерть.

И снова соболья шапка Кмицица наклонилась к куньей шапке Оле нки. Она сама теперь не знала, что доставляет ей больше наслаждения: поцелуи или эта бешеная езда?

Они мчались все дальше, все через лес. Деревья перед ними убегали, снег скрипел, лошади фыркали, и они были счастливы.

— Я хотел бы так ехать до скончания веков, — воскликнул Кмициц.

— Да ведь то, что мы делаем, грешно, — прошептала Оле нка.

— Какой грех. Позволь еще грешить.

— Нельзя, Митруны близко.

— Близко, далеко, не все ли равно.

И Кмициц встал, вытянул вверх руки и стал кричать, точно выплескивая из груди избыток счастья:

— Гей, га, гей!

— Гей, гоп, гоп! — отозвались товарищи.

— Чего вы так кричите? — спросила девушка.

— Так, от радости! Крикните и вы.

— Гей! — раздался тонкий мелодичный голосок.

— Королева ты моя! Я готов сейчас упасть к твоим ногам.

И ими овладело какое-то безумное веселье. Кмициц стал петь, а молодая девушка долго слушала его со вниманием и наконец спросила:

— Кто вас выучил таким прекрасным песням?

— Война, Оле нька. Мы так пели от скуки.

Дальнейший разговор прервали товарищи, кричавшие изо всех сил: «Стой, стой».

Кмициц повернулся к ним, разозлившись и удивившись тому, что они осмелились его останавливать; вдруг на расстоянии нескольких десятков шагов он увидел мчавшегося к нему во весь опор верхового.

— Да ведь это мой вахмистр Сорока, — должно быть, что-нибудь случилось! — воскликнул Кмициц.

В это время вахмистр подъехал и с такой силой осадил коня, что тот присел на задние ноги; затем он проговорил, задыхаясь:

— Пане ротмистр!

— Что случилось, Сорока?

— Упита горит; дерутся!

— Иезус, Мария! — воскликнула Оле нька.

— Не бойся, дорогая. Кто дерется?

— Солдаты с мещанами. На рынке пожар. Мещане послали за помощью в Поневеж, а я примчался к вашей милости. Все еще отдышаться не могу.

Во время этого разговора подъехали задние сани, и Кокосинский, Раницкий, Кульвец, Углик, Реуц и Зенд, выскочив на снег, окружили разговаривающих.

— Из-за чего это произошло? — спросил Кмициц.

— Мещане не хотели давать без денег припасов ни людям, ни лошадям. Мы окружили бургомистра и всех, кто заперся в рынке; потом подожгли два дома; поднялась страшная суматоха, стали бить в колокол.

Глаза Кмицица метали искры гнева.

— Значит, и нам нужно идти на помощь! — крикнул Кокосинский.

— Лапотники войску сопротивляются! — кричал Раницкий, и все его лицо покрылось белыми и багровыми пятнами. — Шах, шах, Панове!

Зенд засмеялся так громко, что лошади испугались, а Реуц закатил глаза и пищал:

— Бей, кто в Бога верует! Поджечь этих лапотников!

— Молчать, — крикнул Кмициц так, что лес дрогнул, а стоявший ближе других Зенд покачнулся, как пьяный. — Вы там не нужны. Садитесь все в сани и поезжайте в Любич, а третьи оставьте мне. Там и ждите моих распоряжений.

— Как же так? — возразил Раницкий.

Но Кмициц положил ему руку на плечо, и глаза его еще больше засверкали.

— Ни слова! — сказал он грозно.

Все замолчали; его, видно, боялись, хотя обыкновенно обращались с ним очень фамильярно.

— Возвращайся, Оле нька, в Водокты, — сказал Кмициц, — или поезжай за

теткой в Митруны. Не удалось нам катание. Я знал, что они там не усидят спокойно. Но сейчас все успокоится, только несколько голов слетит. Будь здорова и покойна, я постараюсь вернуться как можно скорее.

Сказав это, он поцеловал ей руку, окутал полостью, потом сел в другие сани и крикнул кучеру:

— В Упиту!

IV

Прошло несколько дней, а Кмициц не возвращался, но зато в Водокты приехало трое из ляуданской шляхты, чтобы что-нибудь разузнать у своей панны о Кмицице. Приехал Пакош Гаштофт из Пацунелей, тот, у которого гостил пан Володыевский, — славившийся своим богатством и шестью дочерьми, из которых три были замужем за тремя Бутрымами, и каждая получила в приданое по сто чеканных талеров кроме недвижимости. Другой был Касьян Бутрым, самый старший из ляуданцев, прекрасно помнивший Батория, а с ним Юзва Бутрым, зять Пакоша. Он хотя и был полон сил, так как ему было не более пятидесяти лет, но не пошел в Россиены, ибо во время войн с казачеством ему пулей оторвало ступню, почему его и прозвали Юзвой Безногим.

Это был шляхтич необыкновенной силы и ума, но резкий и суровый. Его побаивались даже в столицах, ибо он не спускал ни себе, ни другим. В пьяном виде он был даже страшен, но это случалось с ним очень редко.

Молодая девушка приняла их очень радушно и сразу догадалась о причине их приезда.

— Мы хотели к нему ехать, но говорят, он еще не вернулся из Упиты, — говорил Пакош, — мы и приехали к тебе узнать, когда он будет.

— Думаю, что он вернется очень скоро, — ответила девушка. — Он вам будет очень рад, так как слышал о вас много хорошего как от дедушки, так и от меня.

— Лишь бы только он не принял нас так, как Домашевичей, когда они приехали к нему с известием о смерти полковника, — проворчал Юзва.

— Не упрекайте его в этом. Может быть, он и недостаточно любезно их принял, в чем и сознался предо мной, но нужно помнить, что он возвращался с войны, где ему пришлось испытать немало трудов и огорчений. Не нужно удивляться, если воин и прикрикнет на кого-нибудь: у них обращение такое же острое, как и их сабли.

Пакош Гаштофт, который желал бы с целым миром жить в дружбе, махнул рукой и сказал:

— Мы и не удивились. Зверь на зверя огрызается, если увидит его вдруг, почему бы и человеку этого не сделать. Мы поедем в старый Любич поклониться пану Кмицицу и просить, чтобы он жил с нами и ходил на войну так же, как и покойный подкоморий.

— Скажи только нам, дорогая, понравился ли он тебе? — спросил Касьян Бутрым. — Ведь мы обязаны знать об этом.

— Да наградит вас Бог за ваши заботы обо мне. Он очень достойный кавалер, пан Кмициц, но хотя бы я и заметила в нем какие-нибудь недостатки, то не стала бы о них говорить.

— Но ты их не заметила, сокровище наше?

— Нет. Впрочем, никто здесь не имеет права судить его, а уж тем более выказывать недоверие. Нам следует Бога благодарить.

— Зачем раньше времени благодарить? Когда будет за что, то и поблагодарим, а пока не за что, — ответил угрюмый Юзва, который, как истый жмудин, был очень осторожен и проницателен.

— А о свадьбе говорили вы? — спросил опять Касьян. Панна опустила глаза.

— Пан Кмициц хочет как можно скорей.

— Вот как, еще бы ему не хотеть, — пробормотал Юзва. — Ведь не дурак он. Какой медведь от меду откажется! Но зачем спешить, лучше сначала узнать, что он за человек. Отец Касьян, скажи, что надо. Что ты дремлешь, как заяц в полдень?

— Я не дремлю. Я думаю, как бы это сказать, — ответил старичок. — Иисус Христос сказал: как Яков Богу, так и Бог Якову. Мы тоже пану Кмицицу дурного не желаем, пусть же и он к нам будет добр.

— Только бы он жил с нами в согласии, — прибавил Юзва.

Молодая девушка насупила свои соболиные брови и сказала с некоторой надменностью:

— Попомните, панове, что мы не слугу принимаем. Он здесь будет хозяин, и мы должны подчиняться его воле, а не он нашей. Ему вы должны уступить и опеку надо мной.

— Это значит, что мы не должны ни во что вмешиваться? — спросил Юзва.

— Это значит, что вы должны быть его друзьями так же, как он хочет быть вам другом. Ведь он здесь оберегает свою собственность, которой каждый волен распоряжаться, как ему угодно. Не так ли, отец? — обратилась она к Пакошу.

— Это — святая истина, — ответил миролюбивый старичок. А Юзва снова обратился к старому Бутрыму:

— Да проснись же ты, Касьян!

— Я не сплю, я думаю.

— Ну так скажи, что ты думаешь.

— Вот что я думаю: пан Кмициц — настоящий пан, а мы — лапотники; притом он знаменитый воин, он один решился идти против неприятеля тогда, когда все уже руки опустили. Дай Бог таких побольше. Но товарищей он выбрал себе плохих. Ведь ты сам слышал, сосед, от Домашевичей, что все они негодяи, каиновы дети, и у каждого на душе немало преступлений. Они жгли, грабили, насильничали. Если бы они только кого-нибудь зарубили или переехали, это бы еще туда-сюда, это со всяким может случиться, но они только и занимаются грабежом, и давно бы им сгнить в тюрьме, если бы не протекция пана Кмицица. Он их взял под свою защиту, а они пристали к нему, как овода к лошади. А теперь приехали сюда, и уже всем ведомо, кто они такие! В первый же день своего приезда в Любич они в портреты покойных Биллевичей из пистолетов стреляли! Пан Кмициц не должен был этого допускать, так как Биллевичи его благодетели.

Оле нька закрыла лицо руками.

— Этого быть не может, — сказала Оле нька, заткнув уши.

— Может, потому что было. В своих благодетелей и будущих родственников он стрелять позволил. А потом натащили в дом девок и развратничали. Тьфу, такого безобразия еще у нас не бывало! И все это в первый же день приезда.

При этом старый Касьян до того рассердился, что начал стучать палкой об пол; на лице Оле ньки выступили красные пятна, а Юзва прибавил:

— А войско пана Кмицица, оставшееся в Упите, разве лучше? Каковы офицеры, таковы и солдаты. У Соллогуба они увели скот; мейзагольских крестьян, везших смолу, избили. Соллогуб поехал к пану Глебовичу искать защиты, а теперь в Упите все вверх дном. У нас до сих пор все было спокойно, а теперь держи ружье наготове. А почему? Потому что пан Кмициц со своей компанией пожаловал.

— Не говорите так, отец Юзва, не говорите!

— Как же не говорить? Если пан Кмициц не виноват, то зачем же он держит таких людей и зачем с ними живет? Вы должны ему сказать, чтобы он их прогнал, иначе нам покоя не будет. Слыханная ли это вещь — позволить стрелять в портреты и на глазах у людей развратничать? Ведь об этом говорят во всем околотке.

— Что же мне делать? — спросила Оле нька. — Может быть, они и дурные люди,

но ведь он с ними ходил на войну, и ради меня он их не прогонит.

— А если не прогонит, значит, и сам не лучше, — проворчал Юзва.

— Впрочем, пусть будет по-вашему! — сказала девушка, в которой все сильнее накалилась злоба против этих развратников и забияк. — Он должен их выгнать. Пусть выбирает меня или их. Если правда все, что вы говорите, то я им не прошу. Я сирота и беззащитна, но не побоюсь этой вооруженной шайки.

— Мы тебе поможем, — промолвил Юзва.

— Пусть они делают что хотят, но не здесь, не в Любиче, — воскликнула Оленька, волнуясь все более. — За свои поступки они сами и будут отвечать, но пусть не подстрекают к разврату пана Кмицица... Ведь это стыд, позор... Я думала, что они только невоспитанны, но оказывается, что это негодяи, позорящие и себя, и его. Спасибо вам, отцы, что вы мне открыли глаза. Теперь я знаю, как мне поступить.

— Вот это я понимаю, — ответил старый Касьян. — Сама добродетель говорит твоими устами, и мы тебе поможем.

Гнев все больше накалился в сердце Оленьки против товарищей Кмицица. Они заставили страдать ее самолюбие, они оскорбили ее святое чистое чувство. Ей стыдно было и за него, и за себя, и она искала виновных, на ком бы можно было выместить свой гнев.

Шляхта, наоборот, радовалась, видя свою барышню такой грозной и готовой дать решительный отпор этим оршанским буянам.

Она продолжала со сверкающими глазами:

— Они должны убраться не только из Любича, но и из его окрестностей.

— Мы и не виним пана Кмицица, сокровище наше, — говорил старый Касьян. — Мы знаем, что это они его подзадоривают. И нет у нас никакой злобы к нему, а недовольны мы тем, что он держит у себя таких негодяев. Он еще молод, ну и... глуп. И староста Глебович был смолodu глуп, а теперь нас еще наставляет.

— Вот, к примеру, собака, — сказал взволнованным голосом миролюбивый пацунельский старичок, — пойдешь с молодой в поле, она, глупая, вместо того чтобы зверя гонять, вертится около твоих ног да за полы дергает.

Оленька хотела что-то сказать, но вдруг разрыдалась.

— Не плачь, — сказала Юзва Бутрым.

— Не плачь, не плачь, — повторяли оба старика.

Они употребляли все усилия, чтобы утешить ее, но безуспешно. После их отъезда ею овладела тревога и невыразимая тоска, но больше всего страдала эта гордая девушка оттого, что принуждена была защищать и оправдывать Кмицица перед своими опекунами.

А эта компания? И маленькие ручки молодой девушки сжались при одном воспоминании о ней. Перед ее глазами встали, как живые, лица Кокосинского, Углика, Зенда, Кульвеца и других; и вдруг она поняла и увидела то, чего не видела прежде. Разврат и преступление наложили на них свою печать. Чуждое ей до сих пор чувство ненависти начало овладевать ею все более и более.

Но вместе с этим чувством возрастала и обида против Кмицица.

— Стыд, позор, — шептала девушка побелевшими губами. — Каждый вечер он возвращался от меня к дворовым девкам.

И она почувствовала себя оскорбленной. Невыносимая тяжесть сдавливала ей грудь.

На дворе уже стемнело, а панна Александра все ходила, волнуясь, по комнате, и в душе у нее бушевала целая буря. Она не принадлежала к тем натурам, которые могут только страдать, а защищаться не могут. В этой девушке текла рыцарская кровь. Она хоть сейчас же готова была вступить в борьбу с этими злыми духами. Но что ей остается? Только слезы и просьбы, чтобы Кмициц разогнал их на все четыре стороны? А если он не согласится?

Если не согласится...

И она не смела даже думать об этом.

Мысли ее были прерваны появлением казачка, который внес охапку еловых поленьев и, положив их у камина, стал выгребать из-под пепла еще не погасшие уголья. В эту минуту у нее мелькнула вдруг новая мысль.

— Константин, — окликнула она его, — поезжай сейчас же верхом в Любич. Если пан вернулся, то попроси его сейчас же ехать ко мне, а если его еще нет, то пусть вместе с тобою едет старый Жникис, только живо.

Казачок бросил на угли смоляных щепок и можжевельника и скрылся за дверью.

В камине загорелось яркое пламя. На душе у Оле ньки стало как-то спокойнее.

— Может быть, Бог еще все переменит к лучшему, а может, это и не так было, как говорили опекуны.

И через несколько минут она пошла в людскую, чтобы, по давнему обычаю, следить за работавшими там девушками и петь божественные песни. Спустя два часа вернулся продрогший казачок.

— Жникис ждет в сенях, — сказал он. — Пана нет в Любиче.

Девушка быстро вскочила. Старый слуга поклонился ей до земли.

— Все ли в добром здоровье, благодетельница вы наша?

Они перешли в столовую; Жникис остановился у дверей.

— Что слышно? — спросила девушка.

Мужик махнул только рукой и промолвил:

— Пана нет дома.

— Я знаю, что он в Упите. Но дома что?

— Эх...

— Слушай, Жникис, говори смело, тебе ничего за это не будет. Говорят, что пан добрый, только товарищи его повесы.

— Если бы только повесы...

— Говори всю правду.

— Мне нельзя говорить... Не велено, да и боюсь.

— Кто не велел?

— Пан.

— Верно? — спросила молодая девушка.

Наступила минута молчания. Она быстрыми шагами ходила по комнате, а он следил за нею глазами. Вдруг она остановилась.

— Чей ты?

— Биллевичей, но из Водокт, а не из Любича.

— Ты больше не вернешься в Любич, ты останешься здесь. Теперь приказываю тебе говорить все, что ты знаешь.

Мужик бросился перед нею на колени.

— Панна, драгоценная, я не хочу туда возвращаться, там светопреставление. Это настоящие разбойники, там ни минуты нельзя быть спокойным.

Девушка покачнулась, как бы пораженная стрелою, побледнела, но спросила спокойно:

— Правда ли, что они стреляли в портреты?

— И стреляли, и девок таскали в комнаты, да и до сих пор там то же самое. В деревне — плач, в доме — содом. Волон и баранов без счету режут. Людей истязают. Вчера избили конюха.

— Конюха избили?

— Да, а хуже всего девкам. Им уже мало дворовых, они по деревне за ними гоняются.

Снова наступило молчание. Щеки девушки покрылись ярким румянцем.

— Когда ожидают пана?

— Они и сами не знают, да слышал я вчера, что они все завтра собираются в Упиту. Уж и лошадей велели приготовить. Верно, заедут и к вашей милости просить порошу и людей.

— Они заедут ко мне?.. Прекрасно. Ступай на кухню. Больше ты не вернешься в Любич.

— Пошли тебе Господи счастья и здоровья! Панна Александра решила, как ей нужно поступить.

На другой день было воскресенье. Утром, прежде чем дамы из Водокт успели уехать в костел, явились паны: Кокосинский, Углик, Кульвец, Раницкий, Реуц и Зенд, а за ними вооруженная любичская дворня, ибо вся компания собиралась идти на помощь Кмицицу в Упиту.

Панна вышла к ним навстречу спокойная и гордая, совсем непохожая на ту, которая встречала их несколько дней тому назад; она едва кивнула головою в ответ на их низкие поклоны. Они подумали, что это с ее стороны осторожность, вызванная отсутствием Кмицица.

Первым выступил Кокосинский, но на этот раз он был уже смелее и проговорил:

— Ясновельможная панна ловчанка. Мы заехали сюда по дороге в Упиту выразить вам свое почтение и попросить порошу и оружия. Прикажите ехать с нами и вашим людям. Мы возьмем штурмом Упиту, а всем этим лапотникам слегка пустим кровь.

— Дивлюсь я, — ответила молодая девушка, — что вы едете в Упиту. Я сама слышала, как пан Кмициц велел вам сидеть в Любиче, и думаю, что вы, как подчиненные, должны исполнять его приказания.

Услышав эти слова, молодые люди переглянулись в изумлении. Зенд вытянул губы, точно собираясь свистнуть по-птичьи, а Кокосинский стал почесывать затылок.

— Право, можно подумать, что вы говорите с крепостными пана Кмицица. Правда, мы должны были сидеть дома, но вот уже четвертый день, как Эндрек уехал, и мы решили, что там что-то происходит, и наши сабли могут пригодиться.

— Пан Кмициц поехал не на войну, а усмирить и наказать солдат, что могло бы случиться и с вами, если бы вы его ослушались. Кроме того, с вашим появлением там прибавилось бы еще больше бесчинств и кровопролития.

— Трудно с вами спорить. Не откажите снабдить нас порохом и людьми.

— Ни людей, ни порошу я вам не дам, слышите?

— Так ли я понял? — ответил Кокосинский. — Неужто вы пожалеете таких пустяков даже ради спасения Кмицица, Эндрека? Неужто вы предпочитаете, чтобы с ним случилось какое-нибудь несчастье?

— Самое плохое, что может с ним случиться, — это быть в вашей компании!

При этих словах глаза молодой девушки метнули искры, и, гордо подняв голову, она направилась к буянам, а те с изумлением попятились назад.

— Бездельники, — сказала она, — это вы, как злые духи, подстрекаете его ко всему дурному. Я знаю вас, вашу развращенность и ваши бесчестные поступки. Закон преследует вас, люди от вас отворачиваются, а на кого это ложится пятном? Все на него.

— Вы слышите, товарищи? Слышите? Что это такое? Не сон ли это? — крикнул Кокосинский.

Девушка подошла еще ближе к ним и, указывая рукой на дверь, сказала:

— Вон отсюда!

Все побледнели, но не ответили ни слова. Лишь зубы их заскрежетали, руки схватились за сабли, а глаза метали молнии. Но через минуту ими овладел страх. Ведь этот дом под опекой могущественного Кмицица, а эта надменная девушка его невеста. И они побороли свой гнев, а она стояла с блестящими глазами и указывала на дверь.

Наконец Кокосинский заговорил прерывающимся от сдерживаемого бешенства голосом:

— После такого радушного приема... нам ничего не остается... как поклониться любезной хозяйке и... и... поблагодарить за гостеприимство...

Сказав это, он с преувеличенной почтительностью поклонился до земли, а за ним поклонились остальные и все поочередно вышли из комнаты. Когда дверь затворилась за последним, Оле нька в изнеможении упала в кресло.

А они собрались у крыльца, чтобы посоветоваться, как им быть, но никто не решался заговорить первым.

Наконец Кокосинский сказал:

— Ну что же, милые барашки?

— А что?

— Как вы себя чувствуете?

— А ты?

— Эх, если бы не Кмициц, — сказал Раницкий, — мы бы расправились по-своему с панной.

— Попробуй тронь только Кмицица, — запищал Рекуц. Лицо Раницкого все покрылось багровыми пятнами.

— Не боюсь я Кмицица, а тебя тем более. Становись хоть сейчас!

— Прекрасно, — ответил Рекуц.

Оба схватились за сабли, но в эту минуту между ними очутился Кульвец-Гиппоцентавр.

— Видели вы это? — сказал он, потрясая огромным кулачищем. — Видели? Первому, кто поднимет саблю, я размозжу голову.

Сказав это, он посмотрел сначала на одного, потом на другого, точно спрашивая, кто из них первый захочет отведать, но они сейчас же успокоились.

— Кульвец прав, — заметил Кокосинский. — Теперь, больше чем когда-либо, нам нужно согласие. Я советовал бы вам как можно скорее ехать к Кмицицу, чтобы она не успела вооружить его против нас. Хорошо, что мы сдержали себя, хотя, сознаюсь, у меня и язык, и руки чесались. Едемте к Кмицицу. Она будет на нас жаловаться, так мы тоже зевать не будем. Сохрани Бог, если он нас оставит. На нас сейчас же сделают облаву, как на волков.

— Пустяки, — сказал Раницкий. — Ничего с нами не сделают. Теперь война: мало ли таких же бесприютных, как мы, шатается по свету. Наберем себе товарищей, и тогда пусть нас ищут. Дай руку, Рекуц, я тебя прощаю.

— Я бы тебе уши обрезал, — пропищал Рекуц, — но так и быть, помиримся. Общая у нас обида!

— Указать на дверь таким кавалерам, как мы! — воскликнул Кокосинский.

— И мне, в чьих жилах течет сенаторская кровь! — прибавил Раницкий.

— Нам, доблестным людям и шляхте!

— Заслуженным солдатам!

— Беднякам!

— Невинным сиротам!

— Хоть я еще и не совсем без подметок, а ноги у меня начинают мерзнуть, — сказал Кульвец. — Что мы здесь будем стоять, как нищие? Нам пива не поднесут. Мы здесь не нужны. Сядемте и поедем, а людей лучше всего отправить назад, — без оружия и пороху они для нас бесполезны.

— В Упиту?

— К Ендреку, нашему дорогому приятелю. Ему мы пожелаем.

— Как бы только с ним не разъехаться.

— На коней, Панове, трогайте.

Все сели на лошадей и отправились в путь, сдерживая свой гнев и стыд. За

воротами Раницкий повернулся и погрозил кулаком по направлению к дому.

— Эх, крови мне, крови!..

— Если только мы когда-нибудь поссоримся с Кмицицем, мы еще вернемся сюда и расправимся как надо.

— Это возможно.

— Бог нам поможет, — прибавил Углик.

— Иродова дочь, тетерька проклятая!

Осыпая такими проклятиями молодую девушку, а порою браня и друг друга, они доехали до леса. Только миновали они несколько деревьев, как огромная стая ворон закружилась над их головами. Зенд начал пронзительно каркать, и тысячи голосов ответили ему сверху. Стая спустилась так низко, что лошади начали пугаться шума крыльев.

— Замолчи ты, — крикнул на Зенда Раницкий. — Еще накличешь какую-нибудь беду. Каркает над нами это воронье, точно над падалью.

Но другие смеялись: Зенд не переставал каркать. Вороны опускались все ниже, и шум их крыльев смешивался с пронзительным карканьем. Глупые, они не поняли этого дурного предзнаменования.

Проехав лес, они увидели Волмонтовичи и прибавили шаг; был сильный мороз, и они очень озябли; до Упиты было еще далеко. Но по деревне им пришлось ехать медленнее, так как вся дорога была запружена людьми, возвращавшимися из церкви. Шляхта поглядывала на незнакомцев, отчасти догадываясь, кто они и откуда. Молодые девушки, слышавшие обо всем, что творилось в Любиче, и о том, каких грешников привез с собой Кмициц, присматривались к ним с еще большим любопытством. А они ехали, гордо подняв головы, приняв воинственные позы, в бархатных кафтанах, в рысьих шапках и на прекрасных лошадях. Видно было, что это действительно храбрые солдаты. Они ехали в ряд, никому не уступая дороги, и лишь по временам покрикивая: «Прочь с дороги!» Некоторые из Бутрымов посматривали на них исподлобья, но уступали; а они говорили между собой о шляхте.

— Обратите внимание, Панове, — говорил Кокосинский, — какие здесь все рослые мужики — настоящие зубры, и каждый волком смотрит.

— Если бы не рост и не эти громадные сабли, их можно было бы принять за мужиков, — сказал Углик.

— А сабли-то какие, — заметил Раницкий. — Хотелось бы мне с кем-нибудь из них помериться.

И он начал размахивать руками.

— Он бы так, а я так! Он так, а я так — и шах.

— Тебе нетрудно доставить себе это удовольствие: с ними немного хлопот.

— А я предпочел бы иметь дело вот с этими девушками, — сказал Зенд.

— Елки, а не девушки! — воскликнул Реуц.

— Не елки, а сосны. А щеки как расписные.

— Трудно усидеть на лошади, видя таких красавиц.

Выехав из «застенка», они опять пустились рысью. Через полчаса подъехали к корчме, называемой «Долы», стоявшей на полдороге между Волмонтовичами и Митрунами. Бутрымы и их жены и дочери обычно останавливались здесь, чтобы отдохнуть и согреться во время морозов. Поэтому перед постоялым двором молодые люди увидели несколько саней и несколько верховых лошадей.

— Выпьем-ка водки, а то холодно, — предложил Кокосинский.

— Не мешает, — ответили все хором.

Они сошли с лошадей и привязали их к столбам, а сами вошли в громадную темную корчму. В ней они застали множество людей. Шляхта, сидя на скамьях или стоя кучками у стойки, потягивала пиво или крупник, приготовленный из масла, меда, водки и кореньев. Здесь собрались почти одни мрачные, неразговорчивые Бутрымы,

и в избе не было почти никакого шума. Все они были одеты в кафтаны из серого домашнего сукна на бараньем меху, в кожаные пояса с саблями в черных железных ножнах. Этот однообразный костюм делал их похожими на какое-то войско. По большей части это были старики лет шестидесяти или юноши, так как остальные отправились в Россиены.

Увидев оршанских кавалеров, все отошли от стойки и с любопытством стали к ним присматриваться. Их выправка и молодецкий вид понравились воинственной шляхте; временами слышались вопросы: «Это из Любича?» — «Да, это товарищи Кмицица». — «Так это они?» — «Как же».

Молодые люди принялись за водку, но вдруг Кокосинский почувствовал заманчивый запах крупника и приказал подать себе. Когда на столе появился дымящийся котелок, они уселись и стали попивать, поглядывая прищуренными глазами на шляхту, так как в избе было почти совсем темно. Окна были занесены снегом, а большое отверстие в печи, где горел огонь, закрывали какие-то повернувшиеся спиной к присутствующим фигуры.

Когда крупник стал расходиться по жилам молодых людей, разливая приятную теплоту, к ним вернулось веселое настроение, испорченное приемом в Водоктах, и Зенд начал каркать по-вороньему так искусно и неподражаемо, что все лица повернулись к нему.

Товарищи смеялись, а развеселившаяся шляхта, особенно подростки, стали подходить ближе. Сидевшие у печки фигуры повернулись лицом к избе, и Рекуц первый заметил, что это были женщины.

А Зенд закрыл глаза и продолжал каркать; вдруг он замолчал, и через минуту все услышали голос травленного собаками зайца; заяц пищал, как в агонии, все тише, все слабее, наконец, умолк навеки.

Бутрымы стояли в изумлении и все еще прислушивались, хотя заяц умолк уже; в это время раздался пискливый голос Рекуца:

— У печи сидят девки.

— Правда, — ответил Кокосинский, прикрывая глаза рукой.

— Верно, — повторил Углик, — но в избе так темно, что их нельзя рассмотреть.

— Любопытно, что они здесь делают?

— Может, для танцев пришли.

— Погодите, я сейчас спрошу, — сказал Кокосинский. — Что вы там делаете около печи, милые?

— Ноги греем, — ответили тонкие голоса.

Тогда молодые люди встали и подошли к огню. На длинной скамье сидело несколько молодых женщин, вытянувших ноги на лежавшее у огня бревно, а с другой стороны сушились их промокшие сапоги.

— Значит, ноги греете? — спросил Кокосинский.

— Да, озябли.

— Хорошенькие ножки, — запищал Рекуц, нагибаясь над бревном.

— Оставьте нас, ваць-пане! — ответила одна из шляхтянок.

— Я бы охотнее пристал, чем отстал, тем более что я знаю лучшее средство согреть озябшие ножки, чем огонь; вам надо потанцевать, и вы мигом согреетесь.

— Потанцевать так потанцевать, — сказал Углик. — Нам не нужно ни скрипки, ни контрабаса, я вам сыграю на чекане.

И, вынув из кожаного футляра свой неразлучный инструмент, он стал играть; молодые люди начали подходить к девушкам и стаскивать их со скамьи. Они будто и сопротивлялись, но более криком, чем руками, так как на самом деле они и сами были не прочь от этого. Может быть, и мужчины пустились бы в пляс, ведь ничего нельзя было иметь против танцев в воскресенье после обедни, особенно во время Масленицы, но репутация этой компании была слишком известна в Волмонтовичах, и

потому старший, Юзва Бутрым, тот, у которого не было ступни, встал со скамьи и, подойдя к Кульвецу-Гиппоцентавру, схватил его за грудь и сказал:

— Если вы хотите танцевать, так не угодно ли со мной?

Кульвец прищурил глаза и стал усиленно шевелить усами.

— Я предпочитаю с девушкой, а с вами уж потом.

В это время подбежал Раницкий с лицом, покрытым пятнами, так как уже чуял скандал.

— Ты кто такой? — спросил он, хватаясь за саблю.

Углик перестал играть, а Кокосинский крикнул:

— Эй, товарищи, сюда, сюда!

Но на помощь Юзве бросились все Бутрымы, старики и подростки; они подходили ворча, как медведи.

— Что вам нужно? Хотите отведать наших кулаков? — спросил Кокосинский.

— Да что тут с вами разговаривать, пошли прочь! — ответил флегматично Юзва.

Раницкий, больше всего беспокоившийся, как бы не обошлось без драки, толкнул Юзву в грудь рукояткой сабли, так что эхо разнеслось по всей корчме, и крикнул:

— Бей!

Заблестели, зазвенели сабли, раздался крик женщин, шум и замешательство. Вдруг Юзва вскочил, схватил стоявшую около стола огромную скамью и, подняв ее, как щепку, крикнул:

— Рум, рум!

С полу поднялась страшная пыль, так что не видно было сражающихся, и лишь порою слышались стоны.

V

В этот же день вечером в Водокты приехал Кмициц в сопровождении ста с лишним человек, которых он привел из Упиты, чтобы отправить их в Кейданы к гетману, ибо сам убедился, что в таком маленьком местечке негде поместить такое большое количество людей, и от голода солдаты поневоле должны прибегать к насилию, особенно такие, которых только страх перед начальством мог удерживать в повиновении. Стоило только взглянуть на волонтеров Кмицица, чтобы видеть, что худших людей трудно найти во всей Речи Посполитой. Но Кмицицу неоткуда было достать других. После поражения гетмана неприятель запрудил всю страну. Остатки регулярных литовских войск вернулись в Биржи и Кейданы. Смоленская, витебская, полоцкая, Мстиславская и минская шляхта или ушла за войском, или скрылась в не занятые неприятелем воеводства. Наиболее воинственная и храбрая шляхта съезжалась в Гродну к Госевскому, где назначен был сборный пункт, но, к несчастью, ее было немного, да и та, что последовала голосу своей совести, собиралась так неохотно и медленно, что неприятель безнаказанно наводнял страну, и никто не давал ему отпора, кроме Кмицица, который действовал самостоятельно, побуждаемый скорее рыцарским призванием, чем патриотизмом. Нетрудно понять, что, за недостатком войска, он набирал людей, каких только можно было найти, а именно: тех, которые не считали себя обязанными идти на помощь к гетману и которым нечего было терять. А потому отряд его состоял из бродяг, людей низкого происхождения, беглых солдат, мещан или преследуемых законом преступников, которые надеялись найти у Кмицица защиту да, кроме того, чем-нибудь и поживиться. В руках Кмицица они превратились в смелых, до безумия, солдат, и, если бы сам Кмициц был более степенным человеком, они могли бы оказать Речи Посполитой неоспоримые услуги. Но у него была неугомонная натура, душа его вечно жаждала

приключений, да кроме того, ему неоткуда было брать лошадей и оружие, ибо, как волонтер, он не мог рассчитывать на помощь казны. И он брал насильно, не только у неприятеля, но часто и у своих. Сопротивления он не выносил и строго за него наказывал.

В постоянных сражениях и стычках с неприятелем он одичал и привык к кровопролитию, хотя по природе у него было очень доброе сердце. Он полюбил этих бесшабашных, ни перед чем не останавливавшихся людей. Имя его вскоре прославилось. Мелкие неприятельские отряды не решались показываться там, где действовал страшный партизан. Но и разорившиеся во время войны местные помещики боялись его людей не меньше чем неприятеля, особенно если они были под командой не Кмицица, а его офицеров. Самым бесчеловечным из них был Раницкий. Где он ни появлялся, там, поневоле, являлось сомнение: враги ли это или защитники отечества. Кмициц иногда наказывал и своих людей нещадно, но это случалось довольно редко; чаще же всего он становился на их сторону, не обращая внимания ни на закон, ни на слезы, ни на человеческую жизнь.

Подстрекаемый своими товарищами, кроме Рекуца, на котором не тяготела невинная кровь, он все более и более разнуздывал свои дикие наклонности.

Теперь он собрал свой сброд, чтобы его отправить в Кейданы. Когда они остановились перед домом в Водоктах, панна Александра даже испугалась, увидев их в окно. Каждый из них был вооружен по-разному: одни — в отнятых у неприятеля шлемах, другие — в казацких шапках, иные в полинявших бархатных кафтанах, в тулупах, с ружьями, луками или бердышами, на лохматых лошадях в польской, московской и турецкой сбруе. Она успокоилась лишь тогда, когда в комнату вбежал веселый и оживленный, как всегда, Кмициц и стал целовать ее руки.

Она хоть и решила встретить его холодно, но не могла скрыть своей радости. Может быть, в этом случае играла роль и женская хитрость. Она должна была рассказать Кмицицу о своем столкновении с его товарищами и потому хотела его задобрить. Впрочем, он приветствовал ее так искренне и с такой любовью, что если и осталась в ее сердце еще капля недовольства, то она должна была растаять, как снег на огне. «Он любит меня — в этом нельзя сомневаться», — подумала она.

А он говорил:

— Я так по тебе стосковался, что готов был сжечь всю Упиту, лишь бы скорее вернуться к тебе. Пусть они пропадут, эти лапотники.

— Я тоже очень беспокоилась, как бы там не дошло до битвы. Слава богу, что вы приехали.

— Какая битва! Солдаты потрепали малость лапотников.

— Но вы их усмирили?

— Я сейчас тебе все расскажу, мое сокровище, как все было, дай мне только сесть, я очень устал. Как тепло, как хорошо в этих Водоктах, совсем как в раю. Я хотел бы здесь сидеть всю жизнь, глядеть в эти чудные глаза и... но не мешало бы выпить чего-нибудь теплого, на дворе изрядный мороз.

— Я велю согреть вам вина и сама принесу.

— Дай и моим висельникам бочонок водки и прикажи их пустить в сарай, пусть они обогреются хоть около скотины, а то они совсем окоченели.

— Я ничего для них не пожалею, ведь это ваши солдаты.

Сказав это, она так улыбнулась, что у Кмицица сердце забилося от радости, и выскользнула, как кошечка, чтобы сделать нужные распоряжения.

Кмициц ходил по комнате и, то поглаживая свои кудри, то покручивая усы, обдумывал, как ему рассказать о том, что произошло в Упите.

— Нужно сознаться во всем, — пробормотал он, — делать нечего. Пусть товарищи смеются, что я под башмаком.

И он снова начал ходить по комнате и обдумывать, но наконец ему надоело так

долго оставаться одному.

В это время казачок внес свечи, поклонился в пояс и вышел, а следом за ним вошла и молодая хозяйка, с блестящим цинковым подносом в обеих руках, на котором стоял горшочек с дымящимся венгерским и резной хрустальный стакан с гербом Кмицицев. Старый Биллевич получил его когда-то от отца Андрея в память своего пребывания у него в гостях.

Увидев хозяйку, Кмициц подбежал к ней с распростертыми объятиями.

— Ага, — закричал он, — обе ручки заняты, теперь ты не вырвешься у меня. И он нагнулся через поднос, а она отвернула свою русую головку, защищенную только паром, выходившим из горшочка.

— Да перестаньте же, я уроню поднос.

Но он не испугался этой угрозы, а потому воскликнул:

— Клянусь Богом, можно с ума сойти от таких прелестей!

— Вы уж давно с него сошли. Ну садитесь, садитесь. Он повиновался, а она налила ему в стакан вина.

— Говорите теперь, как вы судили в Упите виновных?

— В Упите? Как Соломон.

— Ну и слава богу! Мне бы хотелось, чтобы все в окрестности считали вас человеком степенным и справедливым. Ну рассказывайте, как все было...

Кмициц хлебнул вина и начал:

— Я должен рассказать все по порядку. Дело было так: мещане, во главе с бургомистром, требовали бумаги от великого гетмана или от пана подскарбия⁴ на выдачу провианта. «Вы, — обратились они к солдатам, — волонтеры и не имеете права ничего требовать от нас даром. Квартиры мы вам даем из любезности, а провизии дадим тогда, когда будем знать, кто нам за нее заплатит».

— Они были правы или нет?

— По закону правы, но у солдат были сабли, а по старой пословице — «у кого сабля, тот и прав». Поэтому они и ответили мещанам: «Мы сейчас же выпишем разрешение на вашей шкуре». С этого и началось. Бургомистр со своими лапотниками спрятались в одной из улиц, солдаты их осадили; не обошлось, конечно, без выстрелов. Для острастки солдаты зажгли несколько амбаров, а нескольких человек отправили на покой.

— Как на покой?

— Кто получит саблей по голове, тот и идет на покой.

— Господи боже! Да ведь это разбой.

— Поэтому я и поехал. Солдаты сейчас же явились ко мне с жалобами на голод и притеснения. «В брюхе у нас пусто, — говорили они, — что же нам делать?» Я велел позвать бургомистра. Он долго раздумывал, наконец пришел, а с ним еще трое и все стали плакаться: «Пусть бы уж денег не платили, но зачем убивать людей и жечь город? Есть и пить мы бы им дали, но они требовали сала, меда и всяких лакомств, а мы — люди бедные, и у нас этого нет. Мы будем жаловаться, и вы перед судом ответите за ваших солдат».

— Господь вас не оставит, — воскликнула панна, — если вы над ними учинили суд праведный.

— Праведный?

При этом Кмициц сделал виноватое лицо, как школьник, принужденный сознаться в своих шалостях.

— Королева моя, — проговорил он наконец жалобным голосом, — сокровище мое, не сердись на меня...

⁴ *Подскарбий* — государственный казначей.

— Что же вы сделали? — спросила Оле нька тревожно.

— Я велел дать по сто плетей бургомистру и тем троим, — выпалил торопливо Кмициц.

Оле нька ни слова не ответила, опустила лишь голову на грудь и погрузилась в молчание.

— Вели казнить меня, — воскликнул Кмициц, — но не сердись. Я еще не все сказал...

— Еще? — простонала девушка.

— Они послали в Поневеж за помощью. Оттуда прислали сотню каких-то дураков под командой офицеров. Первых я усмирив раз навсегда, а офицеров... ради бога, не сердись... велел гнать голых по снегу, как сделал это с Тумгратом в Оршанском.

Девушка подняла голову; ее суровые глаза пылали гневом, а щеки покрылись краской.

— У вас нет ни стыда ни совести! — сказала она.

Кмициц взглянул на нее с изумлением, помолчал с минуту и, наконец, спросил нетвердым голосом:

— Это правда или шутка?

— Я говорю без шуток, такой поступок достоин разбойника, но не честного офицера. Я говорю это потому, что мне дорога ваша репутация, что мне стыдно за вас; не успели вы приехать, как все соседи считают вас насильником и пальцами на вас указывают.

— Что мне ваши соседи! Одна собака десять дворов сторожит, и то ей нечего делать.

— Они бедны — это правда, но над ними не тяготеет никаких преступлений, их имя ничем не запятнано. Никого кроме вас здесь не будет преследовать закон.

— Не беспокойся об этом. У нас всяк пан, кто может держать саблю в руках и собрать кое-какую партию. Что со мной могут сделать? Кого я боюсь?

— Если вы никого не боитесь, то знайте, что я боюсь гнева Божьего и... человеческих слез! А позора ни с кем делить я не хочу. Хотя я и слабая женщина, но честь имени, видно, дороже мне, чем тому, кто называет себя мужчиной и рыцарем.

— Ради бога, не угрожай мне отказом. Ты еще не знаешь меня...

— Верю, но, должно быть, и мой дед вас не знал.

Глаза Кмицица метнули молнии, но и в ней заговорила кровь Биллевичей.

— Кидайтесь, скрежещите зубами, — говорила она, — я не испугаюсь, хоть я одна, а у вас целая шайка разбойников: на моей стороне правда. Вы думаете, я не знаю, что вы в Любиче стреляли в портреты и насиловали девушек?! Вы меня не знаете, если думаете, что я всегда буду покорно молчать. Я требую от вас честности, и этого меня не может лишить никакое завещание. Напротив, дед мой поставил непременным условием, чтобы я сделалась женой только честного человека.

Кмицицу, видно, стало совестно за свои проделки в Любиче, потому что он опустил голову и спросил уже более тихим голосом:

— Кто вам рассказал об этом?

— Да вся шляхта говорит.

— Я рассчитаюсь с этими лапотниками, изменниками за их участие, — ответил мрачно Кмициц. — Все это произошло под пьяную руку, а в таких случаях солдаты не умеют себя сдерживать. Что же касается девок, то я их не трогал.

— Я знаю, что это они, эти бесстыдники, эти разбойники, ко всему дурному вас подстрекают.

— Они не разбойники, а мои офицеры.

— Я этим вашим офицерам велела выйти вон из моего дома.

Оле нька ожидала с его стороны вспышки, но, к своему великому изумлению,

она заметила, что известие об изгнания его товарищей не только не произвело никакого впечатления, но, наоборот, привело его в прекрасное расположение духа.

— Ты им велела выйти вон? — спросил он.

— Да.

— И они ушли?

— Да.

— Ей-богу, ты смела и решительна, как рыцарь. С такими людьми шутить опасно. За это уж не один поплатился. Но они знают, что значит иметь дело с Кмицицем. Видишь, ушли покорно, как овечки. А почему? Потому что боятся меня!

При этом Кмициц взглянул самодовольно на Оле ньку и стал подкручивать усы; но эта перемена настроения и это неуместное самодовольство рассердило ее вконец, и она сказала решительным тоном:

— Вы должны выбрать или меня, или их — иначе быть не может. Кмициц, казалось, не заметил ее решительного тона и ответил небрежно, почти шутливо:

— Зачем же мне выбирать, если и они, и ты принадлежите мне. Ты можешь делать себе в Водоктах все, что угодно... Но если мои компаньоны ничем тебя не оскорбили, то за что же мне их гнать? Ты не понимаешь, что значит — вместе служить. Никакое родство так не связывает людей, как совместная служба. Знай, что они чуть не тысячу раз спасли мне жизнь; а если их преследует закон, то я им обязан дать приют. Все это — шляхта и люди высокого происхождения за исключением Зенда. Но зато такого кавалериста, как он, нет во всей Речи Посполитой. Кроме того, если бы ты слышала, как он подражает голосам птиц и зверей, то он бы и тебе понравился.

При этом Кмициц рассмеялся так, точно никакого недоразумения между ними не было, а она сжимала в отчаянии руки, видя, что все, что она говорила об общественном мнении, о необходимости исправиться, о бесчестии, пролетело мимо его ушей. Уснувшая совесть этого солдата не могла понять ее отвращения к каждой несправедливости, к каждому бесчестному поступку. Как говорить с ним, чтобы он наконец понял?

— Да будет воля Божья! — сказала она наконец. — Если вы от меня отказываетесь, то идите своей дорогой... Бог не оставит сироты.

— Я от тебя отказываюсь? — спросил с изумлением Кмициц.

— Если не словами, то поступками; и если не вы, то я... Я не выйду за человека, на чьей совести лежат слезы и невинная кровь, на кого показывают пальцами и зовут разбойником и изменником.

— Как изменником? Не доводи меня до бешенства, не то сделаю что-нибудь такое, о чем потом буду жалеть! Пусть меня молния разразит, пусть черти возьмут мою душу, если я изменник, я, защищавший отчизну даже тогда, когда все уже опустили руки!

— Вы ее защищаете, а в то же время делаете то же самое, что и неприятель, — вы ее бесчестите, вы истязаете людей, презрев законы Божеские и человеческие. Пусть у меня сердце разорвется от боли, но я не хочу иметь такого мужа, не хочу!

— Не говори мне об отказе — я с ума сойду. Спасите меня, святые угодники! Не захочешь по доброй воле, я тебя силой возьму, хотя бы у тебя на страже стоял не только этот ляуданский сброд, но Радзивиллы и даже сам король, хотя бы для этого пришлось продать дьяволу свою душу...

— Не призывайте злого духа, не то он вас услышит, — воскликнула Оле нька, протягивая вперед руки.

— Чего ты от меня хочешь?

— Будьте честны.

Оба замолчали, и наступила тишина. Слышны были только тяжелые вздохи Кмицица. Последние слова Оле ньки прорвали кору, покрывавшую его совесть. Он чувствовал себя униженным, но не знал, что ей ответить, как защищаться. Начал

быстрыми шагами ходить по горнице, а она сидела неподвижно. Над ними точно нависла черная туча. Им было тяжело друг с другом, и долгое молчание становилось все нестерпимее.

— Будь здорова, — промолвил вдруг Кмициц.

— Уезжайте, — ответила Оле нька, — и пусть Господь вас наставит на путь истинный!

— Я уеду. Горько было твое питье, горек твой хлеб. Желчью меня здесь напоили...

— А вы думаете, что мне сладко? — ответила она голосом, в котором дрожали слезы. — Будьте здоровы!

— Будь здорова!

Кмициц направился было к дверям, но вдруг повернулся, подбежал к ней и, схватив ее за обе руки, сказал:

— Не отталкивай меня, ради Христа, неужто ты хочешь, чтобы я умер по дороге?!

При этих словах девушка зарыдала, а он держал ее в своих объятиях и повторял сквозь стиснутые зубы:

— Бейте меня, кто в Бога верует, бейте! Наконец воскликнул:

— Не плачь, Оле нька, ради бога, не плачь! Я сделаю все, что хочешь. Тех отправлю... в Упите все улажу... буду жить иначе... я люблю тебя... Ради бога не плачь, у меня сердце разрывается. Я сделаю все, только не плачь и люби меня.

И он продолжал ее ласкать и успокаивать, а она, наплакавшись, сказала:

— Поезжайте! Господь водворит между нами мир и согласие. Я не сержусь на вас, мне только больно...

Луна уже высоко поднялась над снежными полями, когда Кмициц возвращался в Любич, а за ним, растянувшись длинной цепью по широкой дороге, следовали его солдаты. Они ехали через Волмонтовичи, но более кратким путем, был сильный мороз, и можно было безопасно ехать через болота.

К Кмицицу подъехал вахмистр Сорока.

— Пане ротмистр, — спросил он, — а где нам остановиться в Любиче?

— Иди прочь, — ответил Кмициц.

И он поехал вперед, ни с кем не разговаривая. Это была первая ночь в его жизни, когда в нем заговорила совесть, и он стал сводить с нею счеты, и счеты эти были для него тяжелее его панциря. Вот, например, он приехал сюда с запятнанной уже репутацией, а что он сделал, чтобы ее исправить? В первый же день позволил стрелять в портреты и развратничать, потом солгал, что сам не принимал в этом участия; потом позволял повторять это каждый день. Затем солдаты избили и обидели мешан, а он не только не наказал виновных, а бросился на поневежское войско, перебил солдат, офицеров погнал голыми по снегу. Они пожалуются на него, и он, конечно, будет присужден к лишению чести, состояния, а может быть, и жизни... Ведь нельзя же ему будет, как прежде, собрать шайку кое-как вооруженного сброда и смеяться над законом. Ведь он хочет жениться и поселиться в Водоктах. Ему придется служить под начальством гетмана, а там его легко могут найти и наказать по заслугам. Но даже если допустить, что все пройдет безнаказанно, то все-таки поступки останутся бесчестными, недостойными рыцаря, и воспоминание о них не изгладится ни в сердцах людей, ни в сердце Оле ньки.

И когда он вспомнил, что она его все-таки не оттолкнула, что, уезжая, он прочел в ее глазах прощение, она показалась ему доброй, как ангел. Ему захотелось вернуться не завтра, а сейчас же, упасть к ее ногам, молить о прощении и целовать эти чудные глаза, которые плакали сегодня из-за него.

Он готов был разрыдаться и чувствовал, что так любит эту девушку, как никогда в жизни никого не любил. «Клянусь Пресвятой Богородицей, — думал он, — что

сделаю все, чего она от меня потребует; награжу щедро моих товарищей и отправлю их на край света: действительно, они подстрекают меня ко всему дурному».

Тут ему пришла в голову мысль, что, приехав в Любич, он, вероятно, застанет их пьяными или с девками, и им овладела такая злоба, что он готов был броситься на кого попало, хотя бы на этих солдат, и рубить их без милосердия.

— Задам я им! — бормотал он, теребя свои усы. — Они меня еще таким никогда не видели.

И он начал с ожесточением вонзать свои шпоры в бока лошади, дергать за узду и хлестать ее, так что она взвилась на дыбы, а вахмистр Сорока сказал солдатам:

— Наш ротмистр взбесился. Не дай бог теперь попасться ему под руку.

Кмициц действительно бесился. Кругом царила полнейшая тишина. Луна светила ярко, небо горело тысячами звезд, только в сердце рыцаря бушевала буря. Дорога в Любич казалась ему бесконечно длинной. И мрак, и лесная глубина, и поля, в зеленоватом свете луны, наполняли его сердце незнакомым до сих пор страхом. Наконец Кмициц почувствовал страшную усталость, что, впрочем, было и не странно, так как накануне он всю ночь кутил. Но быстрой ездой и утомлением он хотел стряхнуть с себя беспокойство и потому повернулся к солдатам и скомандовал:

— В галоп.

И помчался, как стрела, а за ним помчался весь отряд. Они неслись по лесам и пустынным полям, как адский отряд рыцарей-крестоносцев, которые, по преданию жмудинов, появляются иногда в ясные лунные ночи и летят по воздуху, предвещая войну и несчастья; и лишь когда показались покрытые снегом любичские крыши, они убавили шаг.

Ворота были раскрыты настежь. Кмицица удивляло, что, когда двор наполнился людьми и лошадьми, никто не вышел навстречу. Он рассчитывал увидеть освещенные окна, услышать звуки чекана, скрипок или громкие голоса своих товарищей, а между тем везде было темно, тихо, и лишь в окнах столовой мерцал слабый огонек. Вахмистр Сорока соскочил с лошади, чтобы поддержать ротмистру стремя.

— Ступай спать, — сказал Кмициц. — Часть поместится в людской, остальные в конюшнях. Лошадей тоже разместите, где можно, и принесите им сена.

— Слушаю, — ответил вахмистр.

Кмициц сошел с лошади, дверь в сени была открыта настежь.

— Эй, вы! Есть здесь кто-нибудь? Никто не откликнулся.

— Эй, вы! — повторил он еще громче. Молчание.

— Перепились, — пробормотал Кмициц. И он стиснул зубы от овладевшего им бешенства. Дорогой его охватывал неописанный гнев при мысли, что он застанет здесь пьянство и разврат, теперь эта тишина раздражала его еще больше.

Он вошел в столовую. На огромном столе горела красноватым светом сальная свеча. Ворвавшийся из сеней воздух заколебал пламя, и в течение нескольких секунд Кмициц ничего не мог рассмотреть. Лишь когда свеча перестала мерцать, он заметил ряд фигур, лежавших рядом вдоль стены.

— Перепились насмерть, что ли? — пробормотал он с беспокойством.

С этими словами он быстро подошел к первой фигуре с краю. Лица ее нельзя было рассмотреть, так как оно лежало в тени, но по белому поясу он узнал Углика и стал толкать его ногой.

— Вставайте вы, такие-сякие, вставайте!

Но Углик лежал неподвижно, с руками, вытянутыми вдоль туловища, а за ним и остальные; никто из них не зевнул, не дрогнул, не проснулся, не издал ни звука. Только теперь Кмициц заметил, что все они лежат на спине, в одинаковых позах, и сердце его сжалось от какого-то страшного предчувствия.

Он подбежал к столу и, схватив дрожащей рукой свечу, поднес ее к лицам

лежащих.

Волосы дыбом встали у него на голове при виде страшной картины. Углика он узнал лишь по белому поясу, лицо и голова его представляли одну бесформенную, окровавленную массу, без глаз, носа и губ, и лишь огромные усы торчали в этой луже крови. Кмициц подошел к следующему: это лежал Зенд с оскаленными зубами и вышедшими из орбит глазами; в них отражался предсмертный ужас. Третьим был Раницкий; глаза у него были полузакрыты, а лицо покрыто белыми, кровавыми темными пятнами. Четвертый был Кокосинский, его любимец. Он, казалось, спокойно спал, и лишь сбоку на шее у него зияла большая рана, должно быть нанесенная кинжалом. За ним лежал громадный Кульвец-Гиппоцентавр с разорванным на груди кафтаном и с изрубленным сабельными ударами лицом. Кмициц снова поднес свечу ко всем лицам по очереди, и когда он подошел к Рекуцу, то ему показалось, что веки несчастного дрогнули.

Он сейчас же поставил свечу на пол и стал его слегка шевелить.

— Рекуц, Рекуц, — кричал он, — я Кмициц.

Лицо Рекуца дрогнуло, глаза и рот то открывались, то закрывались.

— Это я, — повторил Кмициц.

Глаза Рекуца открылись совсем, — он узнал друга и простонал.

— Ендрек... ксендза...

— Кто вас перебил? — кричал Кмициц, хватаясь за волосы.

— Бутрымы... — слышался едва слышимый голос.

Затем Рекуц вытянулся, открытые глаза закатились, и он скончался.

Кмициц молча подошел к столу, поставил на нем свечу, а сам сел в кресло и стал ощупывать себе лицо, как человек, который, проснувшись, еще не знает, проснулся ли он на самом деле или продолжает спать.

Потом он снова взглянул на лежащие в полумраке тела. Холодный пот выступил у него на лбу, волосы поднялись дыбом, и он крикнул с такой страшной силой, что стекла задрожали:

— Все, кто жив, ко мне!

Солдаты, разместившиеся в людской, первые услышали его голос и мигом сбежались в комнату. Кмициц указал им рукой на трупы.

— Убиты, убиты! — повторял он хриплым голосом.

Они бросились туда, куда он указывал, и остолбенели; но через несколько минут поднялся шум и суматоха. Прибежали и те, что спали в сараях. Дом наполнился светом и людьми, раздавались вопросы, восклицания, угрозы, и одни лишь убитые лежали тихо, равнодушные ко всему вокруг и, вопреки своей натуре, спокойные. Душа их улетела, а тел не могли разбудить уже ни призывы к битве, ни даже звон стаканов.

Между тем среди этого шума и говора все чаще и чаще слышались крики угроз и бешенства. Кмициц, смотревший на все до сих пор блуждающими глазами, вдруг вскочил и крикнул:

— На лошадей!

Все бросились к дверям. Не прошло и получаса, как сто с лишком человек мчалось во весь дух по широкой снежной дороге, а впереди летел, как безумный, Кмициц без шапки, с обнаженной саблей в руках. В ночной тишине раздавались от времени до времени восклицания:

— Бей, режь!

Луна дошла уже до предела своего небесного пути, и ее свет смешался с розовым светом, выходившим точно из-под земли. Небо все больше алело, точно от утренней зари, и, наконец, кровавое зарево залило всю окрестность. Целое море огня бесновалось над огромным бутрымовским «застенком», а разъяренные солдаты среди дыма и огня резали без пощады растерявшееся и обезумевшее от страха

население.

Жители соседних «застенок» тоже поднялись. Госцевичи, Домашевичи, Гаштофты и Стакьяны, собравшись кучками около своих домов, указывали в сторону пожара и говорили: «Должно быть, ворвался неприятель и поджег Бутрымов, это не простой пожар».

Звуки выстрелов, раздававшиеся по временам, подтверждали их предположения.

— Идемте на помощь, — говорили более смелые, — не дадим братьям погибнуть.

Пока старики это говорили, молодежь, оставшаяся дома из-за молотьбы, садилась уже на лошадей. В Кракинове и Упите ударили в набат. В Водоктах тихий стук в дверь разбудил панну Александру.

— Оле нька, встань, — звала панна Кульвец.

— Войдите, тетя. Что случилось?

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Выстрелы даже здесь слышны, там битва. Господи, смилуйся над нами!

Оленька вскрикнула, потом вскочила с постели и стала торопливо одеваться. Она вся дрожала, как в лихорадке: сразу догадалась, какой неприятель напал на несчастных Бутрымов.

Несколько минут спустя в комнату прибежали все находящиеся в доме женщины, плача и рыдая. Оле нька упала перед образом на колени, они последовали ее примеру, и все стали громко читать молитву за умирающих.

Но не успели они прочесть молитву и до половины, как в сенях раздался сильный стук в двери. Женщины в испуге вскочили, и снова их рыдания огласили комнату.

— Не отпирайте! Не отпирайте!

Стук повторился с еще большей силой. В это время в комнату вбежал казачок.

— Панна, — кричал он, — какой-то человек стучит, отпереть или нет?

— Он один?

— Один.

— Иди отопри.

Казачок побежал исполнить приказание, и она со свечой пошла в столовую, а за нею пошла панна Кульвец и все девушки.

Но едва она успела поставить свечу на стол, как в сенях послышался лязг железного засова, скрип отворяемых дверей, и перед женщинами предстал Кмициц; страшный, черный от дыма, окровавленный, задыхающийся, с помутневшими глазами.

— У меня близ леса лошадь пала, — воскликнул он, — меня преследуют. Панна Александра впилась в него глазами.

— Это вы сожгли Волмонтовичи? — Я... я...

Он хотел еще сказать что-то, но вдруг со стороны дороги и леса послышались крики и топот лошадей, который приближался с невероятной быстротой.

— Это черти за моей душой... Хорошо!.. — крикнул он точно в бреду. Панна Александра тотчас же бросилась к девушкам:

— Если будут спрашивать, сказать, что здесь никого нет, а теперь уходите в людскую.

Затем она указала рукой на соседнюю комнату и сказала Кмицицу:

— Спрячьтесь там, — и почти насильно втолкнула его в открытую дверь и тотчас ее заперла.

Между тем двор наполнился вооруженными людьми, и в один миг Бутрымы, Госцевичи, Домашевичи и другие вбежали в дом. Увидев свою панну, они остановились в столовой. А она со свечой в руках загораживала дорогу в следующую

дверь.

— Скажите, что это? Чего вы хотите? — спрашивала она, не моргнув глазом перед их грозными взглядами и зловещим блеском обнаженных сабель.

— Кмициц сжег Волмонтовичи, — крикнула хором шляхта, — замучил мужчин, женщин и детей. Это Кмициц все сделал!

— Мы перерезали его людей, — раздался голос Юзвы Бутрыма, — а теперь ищем его самого!

— Крови его, крови! Растерзать его, разбойника!

— Ищите его! — закричала девушка. — Чего же вы здесь стоите, бегите за ним.

— Да разве он не здесь скрылся? Мы его лошадь нашли около леса.

— Здесь его нет. Дом был заперт. Ищите в конюшнях, сараях.

— Он убежал в лес! — крикнул какой-то шляхтич. — Айда за ним, братцы.

— Молчать! — крикнул мощным голосом Юзва Бутрым. — А вы не скрывайте его, — обратился он к девушке. — На нем Божье проклятие!

Оле нька подняла обе руки над головой.

— Проклинаю его, вместе с вами.

— Аминь! — воскликнула шляхта. — Скорее в лес. Отыщем его, живей, живей!

— Айда!

Снова раздался звон сабель и топот шагов. Шляхта выбежала на крыльцо и стала торопливо садиться на лошадей. Несколько человек бросились к постройкам и стали искать в конюшнях, в амбарах, потом голоса их стали доноситься все слабее и, наконец, удалились в сторону леса.

Панна Александра долго прислушивалась; когда все утихло, она постучала в дверь той комнаты, где скрылся Кмициц.

— Выходите, никого нет.

Кмициц вышел, шатаясь как пьяный.

— Оле нька! — воскликнул он.

Она встряхнула распущенными волосами, закрывавшими, как плащ, ее плечи и сказала:

— Я ни знать, ни видеть вас не хочу! Берите лошадь и уезжайте отсюда.

— Оле нька! — простонал Кмициц, протягивая к ней руки.

— Кровь на вас, как на Каине! — воскликнула она, отшатнувшись от него, как от змеи. — Прочь навеки!

VI

Бледный день осветил в Волмонтовичах развалины домов и хозяйственных построек и обгорелые или разрубленные мечами трупы людей и лошадей. В пепле, среди догоравших угольев, кучки бледных, истомленных людей искали тел убитых родственников или остатков своего достояния. Это был страшный день для всей Ляуды. Правда, шляхта одержала победу над людьми Кмицица, но победа эта была не легкая и кровавая. Кроме Бутрымов, которых пало больше всего, не было деревни, где бы вдовы не оплакивали своих мужей, родители сыновей или дети отцов. Шляхте стоило больших усилий одолеть неприятеля, так как взрослые и самые сильные из мужчин отсутствовали, и в этой битве могли принимать участие только старики и юноши. Несмотря на это, никто из людей Кмицица не уцелел. Одни пали в Волмонтовичах, других поймали на следующий день в лесу и били без пощады. Но сам Кмициц как в воду канул. Все терялись в догадках, что с ним могло случиться. Некоторые утверждали, что он добрался до пущи Зеленки, а оттуда скрылся в Роговской пуще, где его могли найти разве Домашевичи. Многие утверждали, что он убежал к Хованскому и оттуда приведет неприятеля, но эти опасения были по меньшей мере преждевременны.

Между тем те из Бутрымов, которые уцелели от побоища, направились к Водоктам и расположились там как бы лагерем. Дом был полон женщин и детей. Те, что не могли поместиться, ушли в Митруны, которые панна Александра отдала в распоряжение погорельцев. Кроме того, около ста вооруженных людей, сменившихся по очереди, стояли в Водоктах на страже: все ждали, что Кмициц не успокоится и со дня на день может явиться, чтобы силой взять панну. Наиболее значительные в округе дома, как Соллогубы, Шиллинги и другие, прислали на подмогу своих дворовых казаков и гайдуков. Водокты были похожи на укрепленный город, ожидавший осады. Среди этих вооруженных людей, шляхты и женщин ходила панна Александра, бледная, скорбная, слушала проклятия и жалобы на Кмицица, которые, как кинжалом, пронзали ее сердце, так как и она была косвенной причиной всех несчастий. Из-за нее прибыл сюда этот безумный человек, который нарушил здесь покой и оставил по себе кровавую память, попраля законы, перебил людей, а деревни истребил огнем и мечом. Трудно было поверить, чтобы один человек и в такое недолгое время мог причинить столько зла, тем более что он по натуре был вовсе не злой и не вконец испорченный. Это панна Александра знала лучше, чем кто-нибудь другой. Целая пропасть лежала между Кмицицем и его поступками. Но именно поэтому мысль, что человек, которого она полюбила со всем жаром молодого сердца, обладал качествами, которые могли бы его сделать образцом гражданина и рыцаря и возбудить вместо презрения любовь и уважение, а вместо проклятий вызвать благословение, убивала ее.

Минутами ей казалось, что это какое-то роковое несчастье, какая-то нечистая сила толкала его на все преступления, совершенные им, и ей становилось невыразимо жаль этого несчастного, и неугасшая любовь вспыхивала с новой силой в ее сердце.

Против него были возбуждены сотни жалоб, а староста Глебович послал людей в погоню за преступником.

Закон его обвинит.

Но от приговоров до их исполнения было далеко, так как волнения в Речи Посполитой усиливались все более и более. Стране угрожала страшная война, которая приближалась кровавыми шагами к Жмуди. Правда, могущественный биржанский Радзивилл мог дать отпор неприятелю, но он был занят всецело политикой, и более всего замыслами, касающимися его дома, и решил привести их в исполнение, хотя бы ценой общественного блага. Другие магнаты тоже больше думали о себе, нежели о Речи Посполитой.

Богатая, населенная, славившаяся храбрыми рыцарями страна стала добычей неприятеля, а произвол и самоуправство безнаказанно попирали законы, чувствуя за собой силу.

Единственную защиту угнетаемые могли найти лишь в саблях, и потому вся Ляуда не удовлетворилась жалобами на Кмицица и долго еще продолжала его выслеживать, чтобы лично учинить над ним суд и расправу.

Но прошел уже месяц, а о Кмицице не было ни слуху ни духу. Все вздохнуло свободнее. Более богатая шляхта отозвала дворовых, высланных на помощь в Водокты, а мелкая братия соскучилась по работам и понемногу тоже стала разъезжаться. Когда воинственный пыл постепенно стал слабеть, шляхта решила вознаградить себя за понесенные убытки судом. Правда, обвиняемый отсутствовал, но оставался Любич, большое и богатое имение, которое могло с избытком возместить их потери. Старшие из ляуданцев дважды приезжали к панне Александре за советом, и она поражала всех своими здравыми суждениями и недюжинным умом. Сначала ляуданцы хотели было самовольно занять Любич и отдать его Бутрымам, но девушка решительно отсоветовала им это делать.

— Не платите злом за зло, — говорила она. — Он человек богатый, со связями,

и если вы дадите хоть малейший повод, то можете пострадать еще больше. Вы должны поступать так, что если бы суд состоял из родных его братьев, то чтобы и тогда он решил бы дело в вашу пользу. Убедите Бутрымов не брать из Любича ни скота, ни хлеба. Все, что им будет нужно, они получают из Митрун, а там всякого добра больше, чем было в Волмонтовичах. Если бы Кмициц вернулся, пусть они его не трогают и предоставят все решению суда. Помните, что, только пока он жив, вы можете надеяться на возмещение ваших убытков.

Умная девушка говорила все это с умыслом, а они прославляли ее мудрость, не думая о том, что проволочка может принести пользу и Кмицицу или, по крайней мере, спасти ему жизнь. Но шляхта послушала ее, так как привыкла с давних пор беспрекословно повиноваться всякому слову Биллевичей, и Любич остался нетронутым; если бы и появился Кмициц, он мог бы спокойно жить в Любиче.

Но он не появлялся. Лишь месяца через полтора к девушке пришел какой-то неизвестный человек и подал ей письмо. Оно было от Кмицица:

«Дорогая моя, любимая, бесценная Оленька. Всякому созданию, а особенно человеку, свойственно желание отомстить за обиды, и Бог свидетель, что я перебил эту дерзкую шляхту не для удовлетворения своих зверских склонностей, а единственно потому, что она, вопреки законам Божеским и человеческим, невзирая на молодость и высокое происхождение, подвергла товарищей моих такой позорной и жестокой смерти, какая не могла бы их встретить даже у татар или казаков. Не стану отрицать, что мной овладел нечеловеческий гнев, но кто бы мог устоять против гнева? Души Кокосинского, Раницкого, Углика, Рекуца, Кульвеца и Зенда, невинно убитых в расцвете лет и славы, вооружили мою руку именно тогда, когда — клянусь Богом! — я единственно и думал о согласии и дружбе со всей ляуданской шляхтой, решив последовать твоему доброму совету и совершенно изменить свою жизнь. Ты выслушиваешь их жалобы, выслушай и мое оправдание и суди по справедливости. Мне жаль теперь этих людей, ибо многие из них пострадали невинно, но солдат, мстя за братскую кровь, не может отличать невинных от виновных. О, если бы не случилось всего этого, что столь повредило мне в твоих глазах! За чужие грехи, за справедливый гнев я так жестоко наказан, ибо, утратив тебя, я сплю с отчаянием в сердце и просыпаюсь в отчаянии. Пусть суд меня приговорит к какому угодно наказанию, пусть меня заключат в тюрьму, пусть земля разверзнется у меня под ногами — только бы ты не вычеркнула меня из своего сердца. Я сделаю все, что от меня потребуют, отдам Любич, отдам оршанские имения, отдам деньги, зарытые в лесах, — лишь ты сдержи свое слово, как это тебе велел и покойный дедушка. Ты спасла мне жизнь, спаси же и мою душу, дай мне загладить все нанесенные людям обиды, изменить свою жизнь. Если ты меня оставишь, то меня оставит и Бог, и отчаяние толкнет меня к еще худшим поступкам».

Кто отгадает, кто опишет, сколько голосов сострадания поднялось в душе Оленьки в защиту Кмицица. Любовь, как лесное семя, гонимое ветром, летит быстро, и если вырастет в сердце, то только с сердцем и можно ее вырвать. Панна Александра принадлежала именно к числу таких натур, любящих всем сердцем. Но не могла же она все забыть и все простить по первому слову. Раскаяние Кмицица было, конечно, искренне, но характер и дикие склонности его не могли так скоро измениться, чтобы можно было думать о будущем без опасений. А главное, как могла она сказать человеку, который залил кровью всю округу и имени которого никто во всей Ляуде не произносит без проклятия: «Приди ко мне. За убийства, разорение, кровь и человеческие слезы я отдаю тебе свою любовь и свою руку».

И она ответила ему:

«Я вам уже сказала, что не хочу вас ни видеть, ни знать, и сдержу свое слово, хотя бы сердце мое разорвалось на части. Обид, которые вы причинили людям, нельзя загладить деньгами, ибо мертвые не воскреснут. Вы потеряли не имущество ваше, а честное имя. Пусть шляхта, которую вы замучили и сожгли, простит вас, тогда прощу и я; пусть она примет вас, тогда приму и я; пусть она вступится за вас, и я ее выслушаю и не откажу. Но так как этого никогда не будет, то ищите себе счастья где-нибудь в другом месте; а прощения вам прежде всего нужно вымолит у Бога».

Окончив письмо, панна Александра запечатала его старинным перстнем Биллевичей и сама вынесла его посланному.

— Откуда ты? — спросила она, разглядывая смешную фигуру полумужика-полуслуги.

— Из лесу, панночка.

— А где твой пан?

— Этого мне нельзя сказать. Но он отсюда далеко: я ехал пять дней.

— Вот тебе талер, — сказала Оле нька. — А твой пан не болен?

— Здоров, как тур.

— А он ни в чем не нуждается?

— Он — богатый пан.

— Ну, иди с Богом.

— Прощайте, панночка.

— Скажи... постой... скажи пану, что я желаю ему всякого счастья...

Мужик ушел, и снова шли дни и недели, а о Кмицице не было ни слуху, зато известия о положении дел в Речи Посполитой приходили одни за другими, и все они были одно хуже другого. Московские войска Хованского все больше наводняли страну. Не считая Украины, в самом княжестве Литовском были заняты воеводства: Полоцкое, Смоленское, Витебское, Мстиславское, Минское и Новогрудское; лишь часть Виленского воеводства, Брест-Литовское, Троцкое и староство Жмудское еще дышали свободно, да и то со дня на день ожидали гостей.

Должно быть, Речь Посполитая дошла до последней степени бессилия, если не могла дать отпора тем силам, которым доселе не придавала никакого значения и которые всегда побеждала. Правда, эти силы поддерживал вечно возрождавшийся, как стоглавая гидра, бунт Хмельницкого; но, по словам опытных солдат, несмотря на бунт и истощенные предшествующими войнами силы, одно Великое княжество Литовское могло не только дать отпор, но и одержать блестящую победу. К несчастью, этой возможности мешали внутренние раздоры, которые парализовали усилия даже тех граждан, которые готовы были ради родины жертвовать имуществом и жизнью.

Между тем в землях, еще не занятых, скрывались тысячи беглецов как из шляхты, так и из простонародья. Города, местечки и деревни на Жмуди были полны людей, доведенных войной до нищеты и самого отчаянного положения. Местные жители не могли ни поместить их, ни прокормить; поэтому они часто умирали от голоду или брали силой то, в чем им отказывали, стычки и разбои повторялись все чаще и чаще.

Стояла необычно суровая зима. Наступил апрель, а поля и леса были еще покрыты толстым слоем снега. Прошлогодние запасы истощились, новых еще не было — и голод, брат войны, стал свирепствовать все сильнее и сильнее. Выезжая из дому, приходилось постоянно натекать на лежавшие на дорогах и полях трупы людей, окоченевшие и обглоданные волками, которые так размножились, что целыми стаями подходили к деревням. Вой их смешивался со стопами бездомных. В лесах и на полях тут же, около деревень, ночью горели костры, около которых эти несчастные согревали свои иззябшие члены; а если кто-нибудь проезжал мимо, они бежали за ним, умоляя дать денег или хлеба, а в случае отказа проклинали и угрожали. Всеми

овладел какой-то суеверный страх. Многие утверждали, что все эти неудачные войны и небывалые несчастья имеют связь с королевским именем. Объясняли, что буквы I. C. R., вырезанные на монетах, обозначают не только Ioannes Casimirus Rex⁵, но еще и Initium Calamitatis Regni⁶. Вся Речь Посполитая делилась на партии и находилась в положении человека при смерти. Предсказывали и внутренние, и внешние войны. И действительно, причин для них было достаточно. Все влиятельные дома Речи Посполитой охватил вихрь раздоров, и они посматривали друг на друга, точно неприятельские государства, а за ними делились на враждебные лагеря и целые области и уезды. Так было и на Литве, где вражда великого гетмана Януша Радзивилла с Госевским, полевым гетманом и подскарбием Великого княжества Литовского, перешла в открытую войну. На стороне последнего были Сапегы, для которых уже с давних пор могущество радзивилловского дома было бельмом на глазу. Их сторонники упрекали великого гетмана в том, что он, думая лишь о личной славе, погубил войско под Шкловом, а страну отдал в жертву неприятелю, что он больше добивался права заседать в сеймах немецкого государства, чем счастья своей родины, что он даже мечтал об удельной короне и преследовал католиков.

Между приверженцами обеих сторон дело не раз доходило до битв, якобы без ведома патронов; а патроны посылали друг на друга жалобы в Варшаву, и раздор их отражался и на сеймах; на месте же он усиливал волнение и обеспечивал безнаказанность. Поэтому такой человек, как Кмициц, мог быть вполне уверен в своей безопасности, если бы только он пожелал примкнуть к одной из этих партий.

Между тем неприятель свободно подвигался вперед, натываясь лишь кое-где на укрепленные замки.

При таком положении дел ляуданцы должны были быть постоянно настороже, особенно потому, что поблизости не было гетманов, оба сражались с неприятельскими войсками, и если не могли вытеснить их совсем, то, по крайней мере, не пускали их в не занятые еще воеводства. В отдельности и Павел Сапега давал им отпор и окружил свое имя славой, а Януш Радзивилл, знаменитый воин, чье имя до Шкловского поражения приводило в страх и трепет неприятеля, одержал даже несколько значительных побед. Госевский старался удержать напор неприятеля то стычками, то перемириями; оба вождя собирали войска с зимних квартир и вообще отовсюду, откуда было возможно, зная, что с началом весны война разгорится снова. Но войск было мало, казна была пуста, а на помощь занятых уже воеводств нельзя было рассчитывать, так как их удерживал неприятель. «Нужно было об этом подумать до шкловского сражения, — говорили сторонники Госевского, — а теперь поздно».

И действительно, было поздно. Королевские войска тоже были отосланы на Украину против Хмельницкого, Шереметева и Бутурлина.

И вот лишь слухи о героических подвигах, о захваченных городах, о небывалых походах, доходившие из Украины, немного подкрепляли упавших духом ляуданцев. Прославились имена гетманов, а наряду с ними имя Стефана Чарнецкого повторялось все чаще и чаще, но слава не могла заменить недостатка в войске, и литовские гетманы понемногу отступали, не переставая по дороге ссориться друг с другом.

Наконец вернулся Радзивилл, а вместе с ним на Ляуде настало и временное спокойствие. Лишь кальвинисты, пользуясь близостью своего покровителя, стали нападать на церкви и учинять много других бесчинств, но зато предводители

⁵ Ян Казимир, государь (лат.).

⁶ Начало гибели государства (лат.).

различных волонтерских шаек бог весть чьих партий, разорявших страну, скрылись в леса, разбрелись, и люди вздохнули свободнее.

А так как от сомнения к надежде всего один шаг, то и ляуданцы вдруг воспрянули духом. Панна Александра спокойно жила в Водоктах. Володыевский, живший еще в Пацунелях, говорил, что весной придет король с войском, и тогда война примет другой оборот. Успокоенная шляхта стала приниматься за полевые работы. Снега растаяли, и березы стали покрываться свежей листвой.

Ляуда широко разлилась. Небо прояснилось. Ко всем вернулась обычная бодрость.

Вдруг произошли события, которые снова нарушили тишину, оторвали людей от работ и не дали саблям покрыться ржавчиной.

VII

Пан Володыевский, славный и опытный воин, хотя и молодой еще, жил пока в Пацунелях у Пакоша Гаштофта, пацунельского патриарха, пользовавшегося репутацией первого богача из всей ляуданской мелкой шляхты. Действительно, своим трем дочерям, вышедшим замуж за Бутрымов, он дал по сто талеров деньгами и столько серебра и всякого добра, что многие девушки, принадлежащие к значительным домам, не могли бы пожелать большего. Остальные три дочери были дома и ходили за Володыевским, здоровье которого то поправлялось, то ухудшалось. Вся шляхта очень беспокоилась о его руке, ибо видела ее в деле под Шкловом и Шепелевом и вывела заключение, что лучшую трудно найти во всей Литве. Поэтому молодой полковник пользовался необыкновенным уважением и любовью. Гаштофты, Домашевичи, Госцевичи, Стакьяны, а за ними и все другие то и дело посылали в Пацунели рыбу, грибы, дичь, сено для лошадей и деготь для экипажей, чтобы рыцарь и его люди ни в чем не нуждались. Когда ему становилось хуже, то все наперебой скакали в Поневеж за фельдшером, — словом, все хотели оказать ему какую-нибудь услугу.

Володыевскому было так хорошо, что хотя в Кейданах он мог бы пользоваться большими удобствами и лечиться у знаменитого врача, но он предпочитал жить у Гаштофта, чему тот был несказанно рад и чуть не сдувал с него каждую пылинку, ибо пребывание в его доме такого знаменитого гостя, который мог бы оказать честь и самому Радзивиллу, усиливало его значение на Ляуде.

После изгнания Кмицица шляхта, очарованная Володыевским, решила его женить на панне Александре. «Зачем нам искать по свету мужа для нее, — говорили старики на состоявшемся с этой целью совещании. — Раз тот изменник опозорил себя такими бесчестными поступками, то и панна наша должна выбросить его из своего сердца, ибо об этом говорится и в завещании. Пусть на ней женится Володыевский. Как опекуны, мы можем разрешить ей такое замужество, ибо она приобретает достойного мужа, а мы — вождя».

Когда вопрос этот был решен, старики поехали сначала к Володыевскому; тот, недолго думая, согласился на все; потом они поехали к панне, которая, не раздумывая, решительно отказала. «Любичем, — сказала она, — мог распоряжаться только покойный дедушка, и имение это может быть отнято у Кмицица лишь по решению суда, а что касается моего замужества, то о нем и не говорите. У меня слишком тяжело на душе, чтобы думать о чем-нибудь подобном. От того я отказалась, а этого лучше не привозите, я к нему даже не выйду».

Услышав такой решительный отказ, шляхта вернулась домой опечаленная; гораздо меньше огорчился сам Володыевский, а еще меньше молодые дочери Гаштофта: Тереза, Мария и София. Это были высокие, сильные, румяные девушки, с волосами как лен и глазами как незабудки. Вообще, пацунельки славились своей

красотой; когда они шли вместе в церковь, их можно было сравнить с цветами на лугу. Старик Гаштофт ничего не пожалел для их образования. Органист из Митрун научил их читать, петь церковные песни, а старшую даже играть на лютне. Добрые по природе, они взяли под свою опеку большого Володыевского и прилагали все старания, чтобы облегчить его страдания. Говорили даже, что Мария влюбилась в молодого рыцаря, но этот слух был не совсем верен, ибо все три были в него по уши влюблены. Он их тоже очень любил, особенно Марию и Софию, так как Тереза постоянно упрекала мужчин в измене и непостоянстве.

Бывало, в длинные зимние вечера старый Гаштофт, выпив лишний ковшик крупника, ляжет спать, а они сядут с Володыевским у камина: Тереза прядет, Марыня щиплет перья, а Зося наматывает нитки. Но только лишь Володыевский начинал рассказывать о войнах, в которых он принимал участие, или о диковинках, которые ему случалось видеть в разных магнатских домах, работа сейчас же прекращалась, и молодые девушки слушали, не спуская с него глаз, а по временам вскрикивали от удивления: «Ну, и чудеса же бывают на свете, милые вы мои!» А другая прибавит: «Всю ночь я глаз не сомкну».

Володыевский чем больше выздоравливал, тем становился все веселее и все охотнее рассказывал о своих приключениях. Однажды вечером они, по обыкновению, сидели у камина, яркое пламя которого освещало темную комнату, но не прошло и минуты, как молодые люди начали спорить. Девушки хотели, чтобы он им что-нибудь рассказал, а он просил Терезу спеть.

— Вы сами спойте, ваша милость, — ответила девушка, отталкивая инструмент, который ей принес Володыевский, — у меня работа. Бывая в свете, вы должны были научиться всяким песням.

— Конечно, научился. Ну хорошо. Сперва спою я, а вы после меня. Работа не пропадет. Если бы вас просила какая-нибудь женщина, вы бы, наверно, не стали спорить.

— С вами так и надо.

— Разве вы и меня презираете?

— Вы — другое дело. Да уж пойте, ваша милость.

Володыевский соорудил смешную гримасу и запел фальшивым голосом:

В сих краях живу далеких
Я, несчастлив и уныл...
Ни одной из чернооких
В сих краях не стал я мил...

— Это неправда! — прервала Марыся, покраснев, как вишня.

— Это наша солдатская песенка; мы ее пели на зимних квартирах, чтоб тронуть чье-нибудь доброе сердце.

— Я бы первая сжалилась.

— Спасибо вам, ваць-панна! Если так, то нечего мне продолжать, а лучше передать инструмент в более достойные руки.

Тереза на этот раз не оттолкнула инструмента, так как ее тронула песня Володыевского, в которой на самом деле было более хитрости, нежели правды; она тотчас же ударила по струнам и запела:

Эй, панна, смотри не ходи на свиданье,
Эй, панна, мужчине не верь до венчанья...

Володыевский так развеселился, что хватился за бока и воскликнул:

— Неужели все мужчины изменники? А военные, ваць-панна?

Тереза надула губки и запела с удвоенной энергией:

Эти хуже всех, эти хуже всех.

— Не обращайтесь на Терезу внимания, она уж всегда такая, — сказала Мария.

— Как же мне не обращать внимания, если панна Тереза оскорбила все воинское сословие, и я не знаю, куда деться от стыда.

— Вы просили, чтобы я пела, а теперь смеетесь надо мной, — ответила Тереза обиженным тоном.

— Я не пеняю касаясь, но смысла вашей песни, ибо в ней задета честь всех военных; что же касается вашего голоса, то лучшего я не слышал даже в Варшаве. Вас бы только одеть в панталончики, и вы могли бы с успехом петь в кафедральном костеле Святого Иоанна, где бывают их величества.

— А для чего же ей одевать панталончики? — спросила с любопытством панна Зося.

— Там в хоре женщины не поют, а лишь мужчины и мальчики, одни поют такими грубыми голосами, как ни один бык не зарычит, а другие — так тонко, точно скрипка. Я их не раз слышал, когда мы с незабвенным воеводой русским⁷ ездили на коронацию теперешнего нашего короля. Просто дух захватывает. Там музыкантов много, например: Форстер, Капула, Джан Батиста, Элерт, Марк и композитор Мельчевский. Как они запоют все вместе, то кажется, будто слышишь наяву хор серафимов.

— Это верно, клянусь Богом, — воскликнула Марыся, всплеснув руками.

— А короля вы много раз видели? — спросила Зося.

— Я разговаривал с ним так, как вот теперь с вами. После одного удачного сражения он меня обнял. Он так добр и милостив, что, увидев его однажды, нельзя его не полюбить.

— Мы и не видели любим его. А что, он всегда носит на голове корону?

— Нужно бы иметь железную голову, чтобы носить ее постоянно. Корона хранится в костеле, чем усиливается и значение ее, а его королевское величество носит черную шляпу с брильянтами, блеск коих точно озаряет весь замок...

— Говорят, что королевский замок лучше даже кейданского.

— Что кейданский? Его и сравнивать с кейданским нельзя. Это огромное здание, все из камня, дерева нигде и не увидишь. Кругом два ряда покоев, один другого лучше... Стены расписаны масляными красками; на них изображены сцены из различных войн и победы королей, как то: Сигизмунда Третьего и Владислава. Глаз оторвать нельзя: они — точно сама действительность. Удивляешься, что все это не двигается и не говорит. Но этого не может представить даже самый лучший художник. Иные покои сплошь из золота; стулья и скамейки вышиты бисером или покрыты тафтой, столы из мрамора и алебаstra... А зеркал, часов, показывающих время и днем, и ночью, — всего и на воловьей шкуре не выписать. Вот король с королевой по этим комнатам ходят и радуются, глядя на свои богатства, а вечером для развлечения идут в театр.

— Что такое театр?

— Как это вам объяснить?... Такое место, где танцуют разные итальянские танцы и представляют комедии. Комната так велика, как церковь, и вся украшена колоннами. С одной стороны зрители, а с другой расставлены размалеванные полотна. Одни поднимаются вверх, другие опускаются вниз; иные на винтах поворачиваются в разные стороны; перед собой вы видите тьму, тучи, то свет приятный, а наверху небо,

⁷ Воеводой русским в 1646–1651 гг. был князь Иеремия Вишневецкий.

и на нем солнце или звезды, внизу же страшный ад.

— О господи! — воскликнули девушки.

— И с чертями. Иногда безмерное море, а на нем корабли и сирены. Одни фигуры спускаются с неба, другие выходят из земли.

— А вот я ад не хотела бы видеть, — воскликнула Зося, — и дивлюсь, какая охота людям смотреть на такие ужасы.

— Они не только смотрят, но еще и в ладоши плещут от удовольствия, — продолжал Володыевский, — ибо все это не настоящее и от креста не исчезает. Здесь не злые духи представляют, а люди. Кроме их величеств бывают там епископы и разные другие лица, которые потом вместе с королем садятся за стол.

— А утром и днем они что делают?

— Это зависит от их настроения. Утром они ходят в ванну. Это такая комната — нет пола, а только блестящий, как серебро, цинковый ящик, а в нем вода.

— Вода в комнате... Да слыхано ли это?

— Да, вода. Ее можно, по желанию, прибавить или убавить; воду можно сделать горячей или холодной, ибо там проведены трубы с кранами. Вывернешь кран и наливаешь воды, какой хочешь и сколько хочешь. Можешь налить столько, что будешь плавать, как в озере. Ни у одного короля нет такого дворца, как у нашего, — это говорят и послы заграничные. Кроме того, ни один король не царствует над таким красивым народом, ибо хоть на свете и много есть разных красивых наций, но нашу Господь, по милосердию своему, больше всех одарил красотой.

— Счастлив наш король, — вздохнув, сказала Тереза.

— Конечно, он был бы счастлив, если бы не эти неудачные войны, которые губят Речь Посполитую за наши грехи и раздоры. За все отвечает король, и его же за наши грехи упрекают. А чем он виноват, если его не слушают? Тяжелые времена настали для нашей отчины, столь тяжелые, каких еще никогда не бывало. Какой-нибудь ничтожный неприятель и тот смеет теперь идти против нас, которые до сих пор побеждали турецкого царя. Так-то Бог наказывает за гордость! Слава Ему, что моя рука уже действует, ибо пора, уже давно пора вступить за дорогую отчину. Грешно в такое время сидеть сложа руки.

— Вы только не вспоминайте о своем отъезде.

— Не может быть иначе. Хорошо мне здесь с вами, но в то же время и плохо. Пусть там умные на сеймах спорят, а солдату скучно, когда он не на войне. Поколе жив, он должен служить отчизне. А после смерти Бог, читающий в сердцах людей, больше всего наградит тех, кто не только ради одной славы служил отчизне... Но теперь уже таких мало, ибо настали для нас черные дни.

На глазах у Марыси показались слезы и наконец потекли по румяным щекам.

— Вы уедете и забудете нас, а мы здесь высохнем с тоски. Кто же будет здесь защищать нас в случае опасности?

— Уеду, но сохраню в сердце благодарность. Не часто встречаются такие люди, как в Пацунелях. А вы все еще боитесь Кмицица?

— Конечно, боимся. Им матери детей пугают, точно упырем.

— Он уже не вернется больше, а если и вернется, то не с теми шалопаями, что, по словам всех, были гораздо хуже его. Жаль, что такой хороший солдат так опозорил себя и утратил честь и состояние.

— И невесту.

— И невесту. Много хорошего говорят о ней.

— Она, несчастная, по целым дням теперь все плачет и плачет.

— Да ведь не Кмицица же она оплакивает, — возразил Володыевский.

— Кто знает? — сказала Марыся.

— Тем хуже для нее, ибо он уже не вернется; часть ляуданцев гетман отправил домой, — значит, и силы здесь есть. Они бы здесь и без суда с ним покончили. Он,

верно, знает об их возвращении и носу сюда не покажет.

— Да, кажется, наши опять скоро уйдут, ибо их отпустили на очень короткий срок.

— Гетман их распустил потому, что у него денег нет, — ответил Володыевский. — Горе, да и только! В такое время, когда люди всего более нужны, их приходится вдруг отсылать... Ну, доброй ночи, ваць-панна, пора спать. Желаю вам увидеть во сне Кмицица с огненным мечом.

Сказав это, Володыевский встал со скамейки и пошел было в спальню, но едва он сделал несколько шагов, как из сеней донесся отчаянный крик:

— Ради бога, отворите, скорее.

Девушки перепугались, а Володыевский побежал за саблей, но не успел он еще вернуться, как в комнату вбежал незнакомый человек и бросился перед рыцарем на колени.

— Спасите, помогите, пане полковник... Нашу панну похитили...

— Какую панну?

— Из Водокт.

— Кмициц! — воскликнул Володыевский.

— Кмициц! — закричали девушки.

— Кмициц! — повторил посланный.

— Кто же ты? — спросил Володыевский.

— Слуга из Водокт.

— Мы его знаем, — сказала Тереза, — он привозил вам лекарство.

В это время из-за печки вылез заспанный старик Гаштофт, а в дверях появилось двое слуг Володыевского, которые, услышав шум, прибежали в комнату...

— Лошадей, — крикнул Володыевский. — Один из вас пусть сейчас же бежит к Бутрымам, а другой пусть седлает мне лошадь.

— У Бутрымов я уже был, — ответил старик, — они ближе всего. Они меня к вашей милости и послали.

— Когда панну похитили? — спросил Володыевский.

— Только что. Там теперь бьют дворовых... а я вскочил на лошадь...

Старый Гаштофт спросил, очнувшись:

— Что? Панну похитили?

— Кмициц ее похитил, — сказал Володыевский. — Едемте на помощь.

Сказав это, он обратился к посланному:

— Ступай к Домашевичам и скажи им взять оружие и ехать в Водокты.

— Ну же, вы, козы! — вдруг крикнул Гаштофт дочерям. — Бегите на деревню и будите шляхту, пусть берутся за сабли. Панну похитил Кмициц... А?.. Господи помилуй!.. Разбойник, злодей... А?..

— Давайте и мы будить, — сказал Володыевский, — это будет скорее... Идемте. Лошади, кажется, уже поданы.

Через минуту они сели на лошадей, а с ними двое слуг: Огарек и Сыруц. Все поехали по дороге, между изб, стучали в двери, в окна и кричали что есть мочи:

— За сабли, за сабли! Панну похитили! Кмициц в Водоктах!

Услышав крик, все выбегали из избы и, поняв, в чем дело, сами начинали кричать: «Кмициц в Водоктах! Панну похитили!» — и с этим бежали седлать лошадь или в избу искать саблю. Все большее количество голосов повторяло: «Кмициц в Водоктах». Поднялась суматоха; в окнах замелькал свет, раздавался плач женщин, лай собак. Наконец шляхта тронулась в путь, кто на лошадях, кто пешком. Над массой человеческих голов в темноте блестели сабли, пики, рогатины и даже железные вилы.

Пан Володыевский, окинув глазами весь этот отряд, сейчас же разослал несколько человек в разные стороны, а сам с остальными отправился вперед.

Верховые ехали впереди, а за ними шли пешие. Все они направлялись к Волмонтовичам, чтобы присоединиться к Бутрымам. Те из шляхты, что вернулись от воеводы, сейчас же построились в ряды; другие, особенно пешие, шли не так исправно, шумели оружием, болтали, громко зевали и, наконец, ругали на чем свет стоит Кмицица, нарушившего их покой. Так они дошли до Волмонтовичей, где встретились с вооруженным отрядом.

— Стой! Кто едет? — слышались оттуда голоса.

— Гаштофты.

— А мы Бутрымы. Домашевичи тоже здесь.

— Кто вами командует? — спросил Володыевский.

— Юзва Безногий... К услугам вашей милости.

— Имеете известия?

— Он ее увез в Любич, куда проехал по болотам, чтобы миновать Волмонтовичи.

— В Любич? — спросил с удивлением Володыевский. — Неужели он там считает себя в безопасности? Ведь Любич не крепость.

— Вероятно, рассчитывает на свои силы. С ним двести человек. Верно, хочет увезти из Любича имущество, с ним много телег и лошадей. Нужно полагать, что он не знал о нашем возвращении, иначе не решился бы так смело действовать.

— Наше счастье! — сказал Володыевский. — Теперь он от нас не уйдет. Сколько у вас ружей?

— У нас, Бутрымов, ружей тридцать, а у Домашевичей вдвое больше.

— Хорошо. Возьмите пятьдесят человек и закройте проход к болотам. Только живее! Остальные пойдут со мной. Не забудьте захватить топоры.

— Все будет исполнено!

Началось движение: маленький отряд под командой Юзвы Безногого пошел к болотам.

В это время приехали и остальные Бутрымы, которых Володыевский послал созывать шляхту.

— Госцевичей не видно? — спросил Володыевский.

— А, это вы, пане полковник? Слава богу! — воскликнули Бутрымы. — Госцевичи уже идут; они теперь должны быть в лесу. Вам ведомо, что он увез барышню в Любич?

— Да. Недалеко он уйдет.

Действительно, Кмициц не предвидел одной опасности: он не знал о том, что большая часть шляхты вернулась, и думал, что вся округа пуста, как во время его первого приезда в Любич. Но оказалось, что, не считая Стакьянов, которые не могли подойти вовремя, Володыевский вел против него около трехсот опытных в военном деле людей.

Шляхты в Волмонтовичи прибывало все больше и больше. Наконец пришли и Госцевичи, которых давно ждали. Володыевскому не стоило никакого труда привести их в надлежащий порядок, и это ему доставило большое удовольствие. С первого же взгляда в них можно было узнать настоящих солдат, а не обыкновенную беспорядочную шляхту. Это радовало Володыевского особенно потому, что ему вскоре предстояло идти с ними на серьезное дело.

Они пошли к Любичу тем же лесом, через который проезжал Кмициц. Было уже далеко за полночь. Взошла луна и осветила лес, дорогу и отряд, шедший по ней, бросала свои бледные лучи на острия пик, отражалась на блестящих саблях. Шляхта переговаривалась потихоньку о необыкновенном событии, заставившем ее покинуть свои дома.

— Здесь шатались всякие люди, — говорил один из Домашевичей, — мы думали, что это беглые, а это, верно, были его разведчики.

— Конечно. Каждый день какие-то незнакомые нищие приходили в Водокты, будто за милостыней, — прибавил другой.

— А что за люди у Кмицица?

— Дворовые из Водокт говорят, что казаки. Он, верно, снюхался с Хованским или Золотаренкой. До сих пор был только разбойником, а теперь стал изменником...

— Как же он мог привести сюда казаков?

— Первый попавшийся отряд мог их остановить.

— Во-первых, они могли идти лесом, а во-вторых, мало ли наших магнатов со своими казаками разъезжает... Кто их отличит от неприятеля?

— Он будет защищаться до крайности; это храбрый, решительный человек, но наш полковник сумеет с ним справиться.

— Бутрымы тоже поклялись, что он не уйдет отсюда живым, хоть бы для этого им пришлось всем лечь костью.

— Если мы его убьем, то с кого требовать вознаграждения за убытки? Лучше поймать его живым и отдать в руки правосудия.

— Не время теперь о судах думать, когда все потеряли голову. Разве вы не слышали, что нам предстоит еще война со шведами?

— Господи, спаси и сохрани! Московская сила, Хмельницкий! Шведов только недоставало, тогда уж придут последние дни для Речи Посполитой.

Вдруг Володыевский, ехавший впереди, повернулся к ним и сказал:

— Тише, Панове!

Шляхта умолкла, вдали показался Любич. Через четверть часа они подъехали не дальше чем на полверсты. Все окна были освещены, а на дворе виднелась масса вооруженных людей и лошадей. Нигде не было стражи, не было принято никаких предосторожностей. По-видимому, Кмициц был слишком уверен в своей силе. Подъехав ближе, Володыевский сразу узнал казаков, с которыми ему пришлось не раз воевать, сначала при жизни великого Еремии, а потом под начальством Радзивилла, и пробормотал:

— Если это неприятельские казаки, то этот бездельник хватил уж через край.

Он остановил свой отряд и стал присматриваться. На дворе была страшная суeta. Одни казаки держали зажженные факелы, другие бегали во все стороны: то входили в дом, то опять выходили, выносили вещи, укладывали тюки на телеги; другие выводили лошадей из конюшен, скот из сараев; со всех сторон раздавались крики, приказания. Вся эта картина напоминала переезд арендатора в новое имение.

Христофор, старший из Домашевичей, подъехал к Володыевскому.

— Пан полковник, — сказал он, — похоже на то, что они хотят весь Любич уложить на телеги.

— Не вывезут, — ответил Володыевский, — не только Любича, но и своей шкуры. Я совершенно не узнаю Кмицица: ведь он опытный солдат, а нигде не поставил стражи.

— Он уверен в своей силе; у него, должно быть, будет более трехсот человек. Если бы мы не вернулись, то он мог бы среди бела дня проехать с возами через все деревни.

— Хорошо! — сказал Володыевский. — А есть ли еще другая дорога к дому или только эта одна?

— Только эта, а дальше пруд и болота.

— Это хорошо! Сойдите с лошадей!

Шляхта поспешила исполнить приказание; затем, образовав длинную цепь, она окружила дом со всех сторон.

Володыевский с главным отрядом подошел к воротам.

— Ожидать команды! — сказал он тихо. — Не стрелять, пока не прикажу!

Лишь несколько десятков шагов отделяли шляхту от ворот, когда их заметили со

двора. Несколько человек сейчас же вскочили на забор и, перегнувшись через него, стали всматриваться в темноту, а грозные голоса спросили:

— Эй, что за люди?

— Стой! — крикнул Володыевский. — Огня!

Из всех имевшихся у шляхты ружей грянули выстрелы, а вслед за ними снова раздался голос Володыевского:

— Бегом!

— Бей, режь! — крикнули ляуданцы, бросившись вперед, как поток.

Казак тоже ответил выстрелами, но зарядить во второй раз уже не успели. Шляхта налегла на ворота, и под ее могучим напором они рухнули. Впереди стеной шли великаны Бутрымы, самые опасные в рукопашном бою. Шли, как стадо разъяренных буйволов, ломая, давя, уничтожая и рубя все на своем пути, а за ними следовали Домашевичи и Госцевичи.

Солдаты Кмицица храбро защищались; из-за телег и тюков, из окон дома и с крыши раздались выстрелы, но редкие, потому что факелы погасли, и трудно было отличить своих от неприятелей. Несколько минут спустя казаков оттеснили к дому и к конюшням. Раздались крики о пощаде. Шляхта торжествовала.

Но когда она осталась на дворе одна, во всех окнах показались дула ружей, и град пуль посыпался на двор. Большая часть казаков спряталась в доме.

— К дому, к дверям! — крикнул Володыевский.

Действительно, у стен выстрелы не могли им причинить никакого вреда. Но положение их было довольно тяжелое. О штурме окон нечего было и думать, так как их встретили бы выстрелами в упор, и Володыевский велел рубить двери.

Но это было нелегко исполнить, так как двери были сделаны из толстых Дубовых крестовин, покрытых сплошь огромными гвоздями, от которых зазубривались топоры, прежде чем успевали вонзиться в дерево. Самые сильные мужики напирали время от времени, плечами, но напрасно. Двери с внутренней стороны были заперты железными болтами, да, кроме того, их подперли кольями. Но Бутрымы рубили бешено. Кухонную дверь штурмовали Домашевичи и Госцевичи.

После часа тщетных усилий их сменили другие. Некоторые крестовины вывалились, но на их месте показались ружейные дула. Снова раздались выстрелы. Двое Бутрымов упали с простреленной грудью. Но остальные не растерялись и стали рубить с еще большим ожесточением.

Образовавшиеся отверстия, по команде Володыевского, заткнули кафтанами. В это время со стороны дороги раздались голоса: это Стакьяны спешили на помощь своим братьям, а за ними вооруженные мужики из Водокт.

Прибытие новых подкреплений, очевидно, встревожило осажденных — из-за двери послышались голоса:

— Стой, не руби, слушай! Да постой же, черт... Поговорим.

Володыевский велел прекратить работу и спросил:

— Кто говорит?

— Оршанский хорунжий Кмициц, — послышался ответ. — А вы кто?

— Полковник Михал-Юрий Володыевский.

— Челом вам, — отозвался голос из-за дверей.

— Не время любезничать... Скажите, что нужно?

— Мне бы следовало вас об этом спросить. Вы не знаете меня, а я вас. С какой стати вы на меня нападаете?

— Изменник! — крикнул Володыевский. — Со мной вернувшиеся с войны ляуданцы, а у них с тобою счеты за разорение, за безвинно пролитую кровь и ту панну, которую ты сейчас похитил. Знаешь, что тебя ожидает? Ты не уйдешь отсюда живым.

Наступило минутное молчание.

— Ты бы меня не называл во второй раз изменником, — заговорил опять Кмициц, — если б не дверь, которая нас отделяет.

— Так отопри ее... я тебе не запрещаю.

— Не одна ляуданская собака ноги протянет, прежде чем вы возьмете меня живым.

— Так мы тебя мертвого за ноги вытащим. Нам все равно.

— Слушайте, ваць-пане, и запомните то, что я вам скажу. Если вы нас не оставите в покое, у меня наготове бочонок пороху: я взорву дом, а с ним и всех, кто здесь. Клянусь Богом, что я это сделаю. А теперь берите меня, если хотите.

На этот раз воцарилось долгое молчание. Володыевский напрасно искал ответа. Шляхта с испугом переглядывалась. Столько было дикой энергии и решимости в словах Кмицица, что они ни на минуту не усомнились в их правдивости. Вся победа могла рухнуть от одной искры, а вместе с тем и панна будет потеряна навсегда.

— Что нам делать? — пробормотал один из Бутрымов. — Это сумасшедший человек. Он готов исполнить свою угрозу.

Вдруг у Володыевского явилась счастливая, как ему казалось, мысль.

— Есть еще способ, — воскликнул он. — Выходи, изменник, на поединок со мной. Убьешь меня, — уезжай себе с Богом, никто тебя не тронет.

Некоторое время ответа не было. Сердца ляуданцев тревожно бились.

— На саблях? — спросил наконец Кмициц. — Можно!

— Можно, если ты не трусишь.

— И вы дадите честное слово, что я уеду свободно?

— Даю.

— Этого никак нельзя! — крикнул Бутрым.

— Тише, черт вас дери! — крикнул Володыевский. — А если вы не хотите, то пусть он взрывает и себя, и вас.

Бутрымы замолчали, а минуту спустя один из них сказал:

— Пусть будет по-вашему.

— А что, — спросил насмешливо Кмициц, — лапотники согласны?

— И поклянутся на мечях, если угодно.

— Пусть поклянутся.

— Ко мне, Панове, ко мне! — крикнул Володыевский шляхте, стоявшей под стенами дома.

Через несколько минут все собрались у входной двери, и весть, что Кмициц хочет взорвать дом, так их ошеломила, что они как будто окаменели и не могли произнести ни слова; вдруг среди этой гробовой тишины раздался голос Володыевского:

— Всех вас, панове, беру в свидетели, что я вызвал оршанского хорунжего пана Кмицица на поединок с условием, что если он одолеет меня, то может беспрепятственно уехать отсюда, в чем вы поклянетесь на рукоятках сабель всемогущим Богом и святым его Евангелием.

— Погодите, — крикнул Кмициц, — уеду беспрепятственно со всеми людьми и панной.

— Панна останется, а люди пойдут в плен к шляхте.

— На это я не согласен.

— Ну так взрывай дом! Панну мы уже оплакали, а что касается людей, то спросите их, что они предпочитают.

Снова наступила тишина.

— Пусть и так будет, — сказал наконец Кмициц. — Не удалось похитить ее сегодня, удастся — в другой раз. Вы ее даже и под землей от меня не скроете. Клянись!

— Клянись! — повторил Володыевский.

— Клянемся всемогущим Богом и святым его Евангелием. Аминь.

— Выходите же наконец! — сказал Володыевский.

— Вы торопитесь на тот свет?

— Хорошо, хорошо, только скорей.

Лязгнули железные болты, подпиравшие двери изнутри.

Пан Володыевский отодвинулся, а за ним и вся шляхта, чтобы очистить место. Дверь тотчас отворилась, и в ней показался пан Андрей высокий, стройный, как тополь. На дворе уже светало, и первые бледные лучи дня упали на его молодое, воинственное, гордое лицо. Остановившись в дверях, он смело взглянул на шляхту и сказал:

— Я верю вам, ваць-панове. Бог знает, хорошо ли я делаю, но не в этом дело. Который тут пан Володыевский?

Маленький полковник выступил вперед.

— Я, — ответил он.

— Хо-хо, а вы таки непохожи на великана, — сказал Кмициц, намекая на рост рыцаря, — я думал, что вы подороднее, а все ж видно, что вы опытный солдат.

— О вас я этого не скажу, ваць-пане: вы даже забыли расставить стражу. Если вы и деретесь так, то мне недолго придется трудиться.

— Где станем? — быстро спросил Кмициц.

— Здесь... двор гладок, как стол.

— Согласен, приготовьтесь к смерти.

— Вы так уверены, ваць-пане?

— Видно, вы в Оршанском не бывали, если в этом сомневаетесь. Я не только уверен, но мне жаль даже вас, пане: о вас я слышал как о славном солдате. Потому я в последний раз говорю: оставьте меня в покое. Мы не знаем друг друга, к чему нам друг другу мешать? Чего вы от меня хотите? Девушка принадлежит мне по завещанию, как и имение, и Бог свидетель, что я только отстаиваю свое право. Правда, что я изрубил шляхту в Волмонтовичах, но Бог рассудит, кто кого раньше обидел. Были мои офицеры сорванцами или не были, это все равно, довольно того, что они здесь никому не сделали зла, а их перерезали всех до одного, как собак, из-за того, что они хотели потанцевать в корчме с девушками. Пусть же будет кровь за кровь. Потом еще перебили солдат. Клянусь Богом, что я ехал сюда не с дурными намерениями, а как меня приняли? Но пусть же будет обида за обиду. А убытки я вознагражу, еще своего прибавлю... по-соседски... Лучше так, чем иначе...

— А что за люди пришли теперь с ваць-паном? Откуда вы взяли таких помощников? — спросил Володыевский.

— Откуда взял, откуда взял! Я их привел не против отчизны, а ради своего личного дела.

— Так вот как? Ради личного дела вы соединились с неприятелем... А чем же заплатите за эту услугу, как не изменой? Нет, братец, я не мешал бы тебе поладить со шляхтой, но звать неприятеля на помощь — это другое дело. Теперь пустяками не отделаешься. Становись-ка, становись, я знаю, что трусишь, хотя и выдаешь себя за оршанского рубаку.

— Ты сам хочешь, — сказал Кмициц, становясь в позицию.

Но пан Володыевский не спешил и, не вынимая еще сабли, посмотрел на небо. Уже светало. Золотисто-голубая лента опоясала восток, но на дворе было еще довольно темно, особенно перед домом, там царил совершенный мрак.

— Хорошо начинается день, — сказал Володыевский, — но солнце взойдет еще не скоро. Может быть, вы хотите, чтобы нам принесли огонь?

— Мне все равно.

— Мосци-панове, — обратился Володыевский к шляхте, — сбегайте-ка за лучинами и факелами, нам будет светлее плясать этот оршанский танец.

Шляхта, которую очень ободрил шутливый тон полковника, живо побежала на кухню; некоторые стали собирать брошенные во время битвы факелы, и через несколько минут в бледном утреннем полумраке засверкало около пятидесяти огней. Пан Володыевский указал на них саблей Кмицицу.

— Смотрите, ваша милость, — настоящие похороны. А Кмициц ответил сразу:

— Полковника хоронят, без почестей нельзя...

— Ишь как кусается!

Между тем шляхта молча окружила рыцарей, все подняли вверх зажженные лучины, дальше разместились любопытные; посредине стали противники и смерили друг друга глазами. Наступила страшная тишина, и только угольки с обгорелых лучин падали с шипением на снег. Пан Володыевский был весел, как щегленок в погожее утро.

— Начинайте, — сказал Кмициц.

Первый звон сабель отозвался эхом в сердцах всех зрителей. Пан Володыевский взмахнул как бы нехотя. Кмициц отбил удар и тоже ударил. Володыевский снова отбил. Сухой лязг слышался все чаще. Все затаили дыхание. Кмициц нападал с бешенством, пан Володыевский заложил левую руку за спину и стоял спокойно, делая небрежные, почти незаметные движения рукой; казалось, что он хочет только защитить себя и вместе с тем щадит противника; порой он отступал на шаг, порою делал шаг вперед, — он, видно, изучал искусство Кмицица. Тот волновался, этот был холоден, как учитель, который испытывает ученика, и становился все спокойнее; наконец, к величайшему изумлению шляхты, он заговорил:

— Поболтаем, чтобы не было скучно. Ага, это оршанские приемы; видно, вы там сами горох молотите, размахиваете саблей, как цепом. Ну и устанете вы. Неужели вы лучший рубака в Оршанском?.. Такой удар только у писарей в моде... Это курляндский... им хорошо от собак отмахиваться. Присматривайте за концом сабли. Не выгибайте так ладони, не то смотрите, что может случиться... Поднимите...

Последние слова Володыевский произнес отчетливо, и в то же время, описав дугу, он притянул саблю к себе и прежде, чем присутствующие могли понять, что значит «поднимите», сабля Кмицица, как выдернутая из нитки игла, сверкнула над головою Володыевского и упала за его спиной, а он сказал:

— Это называется вышибать саблю!

Кмициц стоял бледный, с блуждающими глазами, пораженный не менее ляуданской шляхты; а маленький полковник отошел в сторону и, указывая на лежащую на земле саблю, повторил:

— Поднимите!

Была минута, когда казалось, что Кмициц бросится на него.

Он уже готовился сделать прыжок, но Володыевский, прижав к груди рукоятку, вытянул вперед острие; Кмициц схватил саблю и бросился на страшного противника.

Среди шляхты послышался громкий шепот, круг суживался все более и более, за ним образовался второй и третий. Казаки Кмицица просовывали головы между головами шляхты, точно жили с ними всегда в вечной дружбе. Невольные крики восторга и удивления срывались с уст зрителей; порой раздавался неудержимый взрыв нервного хохота, все узнали мастера своего дела.

А тот играл со своим противником, как кот с мышью, и делал все более небрежные движения саблей; левую руку засунул в карман штанов. Кмициц метался, скрежетал зубами, наконец, сквозь стиснутые зубы у него вырвались хриплые слова:

— Кончайте... пане... Спасите от позора...

— Хорошо, — ответил Володыевский.

Послышался короткий, страшный свист, потом сдавленный крик... Кмициц распростер руки, сабля упала на землю... и он рухнул лицом вниз, к ногам

полковника.

— Жив, — сказал Володыевский, — не на спину упал.

Шляхта зашумела, и в этих криках все чаще слышалось:

— Добить изменника... Добить... Зарубить...

И несколько Бутрымов бросились с обнаженными саблями. Вдруг произошло что-то необыкновенное; казалось, будто маленький полковник вырос на глазах, сабля одного из Бутрымов вылетела у него из рук, точно подхваченная ветром, а Володыевский крикнул со сверкающими глазами:

— Не трогать! Прочь!.. Теперь он мой, а не ваш... Прочь!..

Все умолкли, боясь гнева этого человека, а он сказал:

— Я резни не допущу... Как шляхта, вы должны знать рыцарский обычай — лежачего не бьют. Так не поступают даже с неприятелем, а тем более с противником, побежденным на поединке.

— Он — изменник! — пробормотал один из Бутрымов. — Такого надо бить.

— Если он изменник, то должен быть отдан в руки пана гетмана и будет наказан по заслугам. Наконец, я вам сказал, он теперь мой, а не ваш. Если он останется жив, то вы можете требовать с него судом вознаграждения за убытки и обиды. Кто из вас умеет перевязывать раны?

— Христофор Домашевич. Он с давних пор всех лечит.

— Пусть он сейчас же сделает перевязку, потом вы перенесете его на постель, а я пойду успокоить несчастную панну.

И Володыевский, сунув саблю в ножны, вошел через изрубленную дверь в дом. Шляхта начала ловить и вязать казаков, которые с сегодняшнего дня должны были пахать у них землю. Они даже не сопротивлялись; лишь несколько человек выскочили в противоположные окна дома, но и те попали в руки карауливших там Стакьянов. Вместе с тем шляхта принялась грабить нагруженные телеги, на которых было немало всякого добра, некоторые советовали разграбить и дом, но боялись Володыевского, а может быть, и присутствие панны Александры Биллевич заставило их отказаться от этой мысли. Своих убитых, среди которых было трое Бутрымов и двое Домашевичей, положили на возы, чтобы похоронить по христианскому обряду, а для казаков велели вырыть одну большую могилу за садом.

Володыевский искал девушку по всему дому и наконец нашел ее в кладовой, куда вела маленькая дверь из спальни. Это была небольшая квадратная комната с узкими решетчатыми окнами и такими толстыми стенами, что если б Кмициц и взорвал дом, то эта комната, без сомнения, уцелела бы. Это заставило его быть лучшего мнения о Кмицице. Панна сидела на сундуке, недалеко от двери, опустив голову, с лицом, почти совсем закрытым волосами. Услышав шаги рыцаря, она не пошевелинулась, — должно быть, думала, что это Кмициц или кто-нибудь из его людей. Володыевский остановился в дверях, снял шапку, откашлялся раз, другой, но, видя, что это не помогает, произнес:

— Вы свободны, ваць-панна!

Тогда из-под волос на него взглянули синие глаза, а затем поднялось и чудное, хоть очень бледное и точно безумное, лицо. Володыевский ожидал благодарности и проявления радости, но вместо этого девушка оставалась неподвижной и смотрела на него блуждающими глазами, и рыцарь сказал снова:

— Опомнитесь, ваць-панна, Бог сжалился над вами! Вы свободны и можете возвращаться в Водокты.

На этот раз взгляд панны Биллевич был более сознательным. Встав с сундука, она откинула назад волосы и спросила:

— Кто вы, ваць-пане?..

— Михал Володыевский, драгунский полковник виленского воеводы.

— Я слышала звуки битвы... выстрелы... Скажите...

— Да. Это мы пришли на помощь ваць-панне.

Девушка совсем пришла в себя.

— Благодарю вас, — ответила она тихим голосом, в котором слышалась тревога. — А что с тем случилось?

— С Кмицицем? Не беспокойтесь, ваць-панна, лежит без дыхания на дворе... Это, не хвастаясь, сделал я.

Володыевский произнес это с оттенком самодовольства, но если ожидал удивления, то сильно ошибся. Девушка не ответила ни слова, пошатнулась слегка и стала искать руками опоры, наконец, опустилась на тот же сундук, с которого только что поднялась. Рыцарь быстро подбежал к ней:

— Что с вами, ваць-панна?

— Ничего, ничего... Погодите... позвольте... Пан Кмициц убит?

— Что мне Кмициц! — перебил ее Володыевский. — Тут все дело в вас.

Вдруг силы ее вернулись, она опять встала и, взглянув ему прямо в глаза, крикнула с гневом, нетерпением и отчаянием:

— Ради бога, отвечайте: он убит?

— Пан Кмициц ранен, — ответил Володыевский с изумлением.

— Жив?

— Жив!

— Хорошо! Благодарю вас...

И, все еще шатаясь, она пошла к дверям. Володыевский простоял с минуту, шевеля усиками и качая головой, наконец пробормотал:

— Благодарила ли она меня за то, что Кмициц ранен, или за то, что он жив? И пошел вслед за нею. Она стояла посреди спальни, как в оцепенении.

В эту минуту четыре шляхтича внесли Кмицица. Двое передних, шедших боком, показались в дверях, а между их рук свешивалось бледное лицо пана Андрея с закрытыми глазами и с запекшейся черной кровью в волосах.

— Осторожнее, — говорил шедший за ними Христофор Домашевич, — осторожнее через порог! Пусть кто-нибудь поддержит голову. Осторожнее!

— А как же мы будем держать, если у нас руки заняты? — ответили шедшие впереди.

В эту минуту к ним подошла панна Александра, такая же бледная, как Кмициц, и положила обе руки под его безжизненную голову.

— Это паненка! — сказал Домашевич.

— Я... осторожнее... — ответила она чуть слышно.

Пан Володыевский смотрел на нее и усиленно шевелил усиками. Между тем Кмицица уложили в постель. Домашевич стал обмывать ему голову водой и, приложив к ране приготовленный пластырь, сказал:

— Теперь пусть он только лежит спокойно. Эх, железная, должно быть, у него голова, если от такого удара не раскололась надвое! Может, и выздоровеет, молод! Ну и досталось ему!

Потом обратился к Оле ньке:

— Дайте, панна, я вам вымою руки. Вот вода! Доброе у вас сердце, если вы для такого человека не побоялись запачкать руки в крови.

Он вытирал ей руки, а она так страшно побледнела, что Володыевский снова подбежал к ней:

— Вам здесь нечего более делать, ваць-панна. Вы проявили христианское милосердие к врагу, а теперь возвращайтесь домой.

И он предложил ей руку; но она даже не взглянула на него, а, обратившись к Домашевичу, сказала:

— Пане Христофор, проводите меня!

И они вышли, за ними пошел и Володыевский. На дворе шляхта стала

восторженно ее приветствовать, а она шла бледная, шатаясь, со сжатыми губами и сверкающими глазами.

— Да здравствует наша панна, да здравствует наш полковник! — раздавалось со всех сторон.

Час спустя Володыевский, во главе ляуданцев, возвращался домой. Солнце уже взошло. Утро было радостное, настоящее весеннее утро. Ляуданцы в беспорядке рассыпались по дороге, болтая о событиях прошлой ночи и восхваляя до небес Володыевского, но он ехал задумчивый и молчаливый. Из головы у него не выходили эти глаза, глядевшие на него из-под спадавших на лоб волос, не выходила ее стройная и величавая, хоть и согбенная горем и страданием фигура.

— Чудо как хороша! — бормотал он. — Настоящая княжна! Гм... я спас ее честь, а может быть, и жизнь: ведь если б дом и уцелел, она могла бы умереть от одного страха. Она должна мне быть благодарна... Но кто поймет женщину... Смотрела на меня, как на слугу; не знаю, от гордости ли это или от смущения.

VIII

Эти мысли не давали ему спать и всю следующую ночь. Прошло несколько дней, а он все не переставал думать о панне Александре и наконец понял, что она слишком глубоко запала ему в сердце. Ведь ляуданская шляхта хотела его женить на ней. Правда, она ему наотрез отказала, но ведь тогда она еще не видела его и не знала. Теперь другое дело. Он, как истый рыцарь, вырвал ее из рук насильника, подвергая опасности свою жизнь; просто взял ее с бою, как крепость. Кому же она принадлежит, как не ему? Может ли она в чем-нибудь отказать ему? Хотя бы даже в руке? А что, если попробовать? А что, если благодарность превратилась в другое чувство? Часто бывает, что спасенная девушка отдает руку и сердце своему спасителю. Если, наконец, она и не питает еще к нему такого чувства, ему тем более следует этого добиваться.

«А если она не забыла еще того и любит?»

— Не может быть! — повторял Володыевский. — Если бы она его не прогнала от себя, зачем же было ее похищать?

Правда, она проявила по отношению к нему необыкновенное сострадание, но женщины всегда жалеют раненых, даже врагов.

Она молода, некому о ней позаботиться, да и замуж ей пора. В монастырь, видно, она не собирается, не то давно могла уйти. Времени было достаточно. Такую красивую панну всегда будут атаковать разные поклонники: одни ради ее богатства, другие из-за красоты или высокого происхождения. Ей приятно будет иметь защитника, которого она видела уже в деле!

«Да и тебе пора остепениться, Михал! — говорил про себя Володыевский. — Ты еще молод, но годы идут. Богатства ты не наживешь, разве только получишь больше ран на шкуре. А всем шалостям пора положить конец».

Тут перед глазами Володыевского встал целый ряд девушек, по которым он вздыхал в своей жизни. Были между ними и красивые, и высокого рода, но красивее и милее ее не было. Ведь эту девушку и ее род славят по всей окрестности. Дай Бог всякому такую жену.

Володыевский чувствовал, что в руки к нему само идет счастье, какое в другой раз может и не встретиться, особенно раз он оказал девушке такую необыкновенную услугу.

«Что тут откладывать? — говорил он про себя. — Чего я дождусь? Надо действовать!»

Но ведь война на носу! Рука здорова. Стыдно рыцарю думать о любви, когда отчизна простирает руки и молит о спасении. Володыевский был честный солдат и,

хотя чуть не с детских лет служил в военной службе и участвовал во всех тогдашних войнах, знал, чем он обязан родине, и об отдыхе не думал.

Но именно потому, что он служил родине не из-за каких-нибудь расчетов или выгод, а из преданности, и в этом отношении у него была чистая совесть, он знал себе цену, и это ободряло его.

«Другие бездельничали, а я дрался с врагами! — думал он. — Бог вознаградит солдата и поможет ему».

Наконец он решил, что если теперь некогда ухаживать, то нужно спешить ехать, сделать предложение, а потом или обвенчаться, или остаться с носом.

— Я уж не раз оставался с носом, останусь и теперь! — бормотал Володы — евский, шевеля желтыми усиками.

Но была одна сторона в этом быстром решении, которая ему не совсем нравилась. Не будет ли его предложение, тотчас же после оказанной им услуги, похоже на назойливость кредитора, который хочет как можно скорее получить свой долг с процентами.

«Может быть, это будет не по-рыцарски?»

Но за что же тогда требовать благодарности, если не за услуги? А если такая поспешность будет ей не по сердцу, ей можно сказать: «Мосци-панна, я бы охотно целый год ездил к вам и смотрел бы в ваши чудные глаза, но я солдат, и долг мой зовет меня на войну!»

«Непременно поеду!» — говорил себе Володыевский.

Но минуту спустя ему пришло в голову другое. А вдруг она скажет: «Ну так идите на войну, пан солдат, а когда она кончится — ездите целый год и смотрите мне в глаза, потому что я незнакомому человеку не отдам ни души, ни тела».

Тогда все пропало!

Что все пропадет, Володыевский знал прекрасно, потому что, уж не говоря о девушке, которую за это время может у него отнять кто-нибудь другой, он не был уверен и в своем постоянстве. Совесть подсказывала ему, что чувство в нем загоралось так же быстро, как солома, но так же, как солома, оно и гасло.

Тогда все пропало! Тогда уж скитайся опять, солдат, из лагеря в лагерь, из битвы в битву, без родного крова, без близкого человека!

В конце концов он и сам не знал, на что решиться.

Ему стало тесно и душно в пацунельском домике, он взял шапку и пошел подышать весенним солнечным воздухом. На пороге он наткнулся на одного из пленных казаков Кмицица, который по разделу достался Пакошу. Он сидел на пороге и брэнчал на бандуре.

— Что здесь делаешь? — спросил Володыевский.

— Граю, пане, — ответил казак, поднимая исхудалое лицо.

— Откуда ты? — продолжал спрашивать пан Михал, обрадовавшись, что может хоть на минуту прервать свои размышления.

— Издалека, пане, из-под Вягла.

— Отчего ж ты не убежал, как остальные твои товарищи? О, чертовы дети! Вам шляхта даровала жизнь в Любиче, думая, что вы будете на нее работать, а вы удрали, как только вас выпустили на свободу.

— Я не удеру! Я здесь издохну, как собака.

— Так тебе здесь понравилось?

— Кому в поле лучше, тот удрал, а мне тут лучше. У меня была нога прострелена, а тут шляхтянка, дочь старика, перевязала ее, да еще ласковое слово молвила. Такой красавицы я еще никогда не видывал. Зачем мне уходить?

— Которая тебе так приглянулась?

— Марыся.

— И ты тут останешься?

— Если издохну, так вынесут, а нет, так останусь.

— Надеешься выслужить у Пакоша дочь?

— Не знаю, пане.

— Скорее он такого голыша убьет, чем отдаст за него дочь.

— У меня червонцы зарыты в лесу, две горсти.

— Награбил?

— Награбил, пане.

— Будь у тебя хоть гарнец, все ж ты — мужик, а Пакош — шляхтич.

— Я из боярских детей.

— Если ты из боярских детей, так это еще хуже, ты, значит, изменник. Как же ты мог служить неприятелю?

— Я ему и не служил.

— А откуда вас Кмициц взял?

— С большой дороги. Я у гетмана польного служил, потом полк разбрелся, нечего было есть. Домой мне незачем было возвращаться, сожгли его. Люди пошли на большую дорогу грабить, и я с ними пошел.

Пан Володыевский очень удивился — до сих пор он думал, что Кмициц ворвался в Водокты с силами, взятыми у неприятеля.

— Значит, пан Кмициц взял вас не у Трубецкого?

— Было между нами много таких, что раньше служили у Трубецкого и у Хованского, но тоже сбежали от них на большую дорогу.

— А почему вы за паном Кмицицем пошли?

— Он славный атаман. Нам говорили, что кого он только кликнет, тот за ним и пойдет, точно он ему мешок золота насыпал. И мы пошли! Да не посчастливилось.

Пан Володыевский покачал головой и подумал, что слишком уж очернили Кмицица: потом взглянул на исхудалого боярского сына и опять покачал головой.

— Так ты ее любишь?

— Да, пане.

Володыевский отошел и подумал, уходя: «Вот решительный человек, он долго не раздумывает, полюбил и остается. Так всего лучше! Если он в самом деле из боярских детей, то это ведь то же самое, что шляхта. Как откопает свои червонцы, может, старик и отдаст ему дочь. А почему? Потому, что он решил добиться своего. Буду добиваться и я!»

С такими мыслями Володыевский шел по дороге; порой он останавливался и то опускал глаза в землю, то смотрел на небо; вдруг увидел стаю диких уток и по ним стал гадать: ехать или не ехать? Вышло — ехать!

— Поеду, не может иначе быть.

Сказав это, он повернул к дому, но по дороге зашел в конюшню, перед которой два его конюха играли в кости.

— Сыруц, — спросил Володыевский, — заплетена грива у Басёра?

— Заплетена, пане полковник.

Пан Володыевский вошел в конюшню; лошадь, услышав его шаги, радостно заржала; он подошел к ней и похлопал ее по шее, а потом стал считать косички и опять загадал:

— Ехать... не ехать... ехать... Вышло опять — ехать.

— Седлать лошадей и самим одеться получше! — скомандовал Володыевский.

Затем быстро пошел к дому и стал наряжаться. Надел высокие желтые сапоги с золочеными шпорами и новый красный мундир, а к поясу привесил рапиру в стальных ножнах, с золотым эфесом, верхнюю часть груди покрывал стальной полупанцирь; была у него и рысья шапка с пером, но она не подходила к остальному костюму, и он предпочел надеть шведский шлем и вышел на крыльцо.

— Куда это вы едете, ваша милость? — спросил его старый Пакош, сидевший на

завалинке.

— Куда еду? Да вот надо проведать вашу панну и о здоровье спросить ее, а то она меня невежей сочтет.

— Ваша милость так и горит! Нужно панне слепой быть, чтобы сразу не влюбиться.

В это время подошли две младшие дочери Пакоша. Каждая из них держала в руках подойник с молоком; увидев Володыевского, они остановились как вкопанные.

— Король — не король... — сказала Зося.

— Вы нарядились как на свадьбу! — прибавила Марыся.

— Может, и будет скоро свадьба, — пошутил Пакош, — пан полковник едет к нашей панне.

Едва старик сказал это, как из рук Марыси выпал подойник, и молочный ручей побежал к ногам Володыевского.

— Смотри, что держишь! — крикнул старик. — Вот коза!

Марыся ничего не ответила и, подняв подойник, тихо ушла.

Пан Володыевский вскочил на лошадь, а за ним его двое слуг, и все втроем поехали в Водокты. День был прекрасный. Майское солнце весело играло на блестящем нагруднике и шлеме Володыевского, так что издали, из-за деревьев, казалось, будто по дороге движется другое солнце.

— Интересно знать, вернусь ли я с обручальным кольцом или с носом? — пробормотал про себя рыцарь.

— Что прикажете, ваша милость? — спросил Сыруц.

— Дурак!

Слуга осадил лошадь, а Володыевский продолжал:

— Счастье, что для меня это не новость. Эта мысль ободрила его.

Когда он приехал в Водокты, панна Александра сразу не узнала его, так что он должен был назвать себя. Тогда она приняла его очень любезно, но с некоторою принужденностью; он, почтительно поклонившись, положил руку на сердце и проговорил:

— Я приехал узнать о вашем здоровье, ваць-панна, что мне следовало сделать на другой же день после того происшествия, но я не осмелился вас беспокоить.

— Это очень любезно со стороны ваць-пана, что, избавив меня от столь великой опасности, вы все-таки не забыли меня. Садитесь, прошу, будьте Дорогим гостем.

— Мосци-панна, — ответил Володыевский, — если бы я вас забыл, то недостоин был бы великой милости, ниспосланной мне Богом, — приветствовать столь прекрасную особу.

— Нет, это я должна прежде всего благодарить Бога, а потом — вас.

— Если так, то возблагодарим его оба, ибо я ни о чем его более не прошу, как лишь о том, чтобы и на будущее время мог защищать вас всегда, когда в этом будет нужда.

Сказав это, пан Володыевский пошевелил от удовольствия своими нафабранными усами. Он был доволен, что сразу выложил на стол свое чувство, а она сидела, смущенная и молчаливая, но прекрасная, как весенний день. Легкий румянец выступил у нее на щеках, а глаза были прикрыты длинными ресницами.

«Это смущение — хороший знак», — подумал Володыевский и, откашлявшись, продолжал:

— Ваць-панне известно, что после смерти вашего дедушки я командовал ляуданской шляхтой?

— Я это знаю, — ответила молодая девушка, — покойный дедушка не мог сам участвовать в последней войне и был очень рад, узнав, кому князь, воевода виленский, передал команду. Он говорил, что знает вас как опытного и славного солдата.

— Он говорил так обо мне?

— Я сама слышала, как он превозносил вас до небес, то же делала и шляхта после похода.

— Я простой солдат и недостойн не только того, чтобы меня превозносили до небес, но даже ставили выше других. Но я очень рад, что не совсем неведом вам. Вы не подумаете теперь, что ваш гость прямо с неба свалился. Всегда приятнее знать, с кем имеешь дело. По свету шатается немало людей, которые причисляют себя к знатым родам, а на самом деле они бог весть кто, и часто даже не шляхтичи.

Пан Володыевский умышленно перевел разговор на эту тему, чтобы иметь возможность сказать о своем происхождении, но Оле нька перебила его:

— Ваць-пана в этом никто не может заподозрить, ибо и здесь, на Литве, есть шляхта того же племени.

— Но у них герб «Оссория», а я Корчак-Володыевский. Мы родом из Венгрии и ведем свое начало от некоего дворянина Атиллы, который, будучи преследуем неприятелем, дал обет Пресвятой Деве, что если благополучно уйдет от неприятеля, то примет католичество. Этот обет он и исполнил, переплыв через три реки, те самые, которые мы носим в нашем гербе.

— Значит, вы не здешний родом?

— Нет, мосци-панна, из Украины, из русских Володыевских, где и до сих пор у меня есть деревушка, которую теперь занял неприятель. Но я с молодых лет служу в войске и больше забочусь о достоянии отчизны, нежели о своем собственном. Я служил под знаменами русского воеводы, незабвенного князя Еремии, с коим участвовал во всех войнах. Был я и под Махновкой, и под Константиновом, и выдержал збаражский голод. Бог свидетель, что я приехал к вам не хвастать своими доблестями, но говорю это только для того, чтобы вы знали, ваць-панна, что я не лежебок какой-нибудь, щадящий свою кровь, но что вся жизнь моя прошла в честном служении отчизне, где я стяжал и кое-какую славу, не запятнав совести. Клянусь Богом, я не лгу! Об этом, впрочем, могут засвидетельствовать и другие.

— Если бы все были на вас похожи! — сказала со вздохом молодая девушка.

— Ваць-панна, верно, вспомнила того насильника, который осмелился поднять на вас руку?

Панна Александра опустила глаза и не ответила ни слова.

— Поделом ему! — продолжал Володыевский. — Хоть мне и говорили, что он выживет, но кары ему не миновать. Все честные люди его осудили, и даже слишком, ибо он и не сносился с неприятелем. Все, кто были с ним, взяты с большой дороги, а не от неприятеля.

— Откуда вы это знаете? — спросила с живостью панна, поднимая на Володыевского свои чудные глаза.

— От его же людей. Станный человек этот Кмициц! Когда я перед поединком упрекнул его в измене, он не стал оправдываться, хотя я и упрекнул его несправедливо. Должно быть, у него чертовская гордость!

— И вы всем говорите, что он не изменник?

— Не говорил, потому что сам не знал, но теперь буду говорить. Ведь негоже взводить такое обвинение даже на врага.

Глаза панны Александры во второй раз остановились на Володыевском с симпатией и благодарностью.

— Вы такой прекрасный человек, ваць-пане, как редко бывает!

Володыевский от удовольствия зашевелил усиками. «Ну, к делу, пан Михал!» — мелькнуло у него в голове, и он продолжал:

— Скажу более! Я не хвалю способ Кмицица, но не удивляюсь, что он так добивался руки ваць-панна, ибо сама Венера едва достойна прислуживать вам! Это отчаяние толкнуло его на такой поступок и, несомненно, толкнет снова, если

представится случай. Как же вы, при такой необычайной красоте, останетесь одна, без защитника? Ведь таких Кмипицев много на свете, и ваша добродетель может не раз подвергнуться опасности. Бог явил мне милость и позволил вас защитить, но вот уже меня зовут военные трубы. Кто же о вас будет заботиться? Мосци-панна, нас, военных, обвиняют в легкомыслии, но это несправедливо! И у меня сердце не из камня, и оно не могло остаться равнодушно к таким прелестям...

И пан Володыевский упал перед нею на колени.

— Мосци-панна! Я наследовал полк вашего дедушки, позвольте мне унаследовать и его внуку! Поручите мне опеку над собою, дайте вкусить сладость взаимного чувства, позвольте мне быть вашим опекуном, и вы будете спокойны. Ибо, хотя я и уйду на войну, вас будет охранять одно мое имя.

Панна вскочила со стула и с изумлением слушала Володыевского, который продолжал:

— Я бедный солдат, но шляхтич и честный человек. Клянусь вам, что ни на моем щите, ни на моей совести вы не найдете ни единого пятна. Быть может, я согрешил своей поспешностью, но поймите, что меня зовет отчизна, а от нее я не отрекусь даже ради вас. Неужели вы не утешите меня? Не ободрите? Не скажете доброго слова?

— Вы требуете от меня невозможного, ваць-пане! — ответила со страхом Оленька. — Это невозможно!

— Это зависит от вашей воли.

— Потому-то я вам прямо говорю: нет! Тут панна нахмурила брови.

— Мосци-пане, я многим вам обязана и готова вам отдать все, кроме руки.

Пан Володыевский поднялся.

— Вы не хотите быть моею, ваць-панна?

— Не могу!

— И это ваше последнее слово?

— Последнее и неизменное!

— А может быть, вам не нравится только поспешность моя? Дайте мне хоть надежду!

— Не могу, не могу...

— Значит, мне нет счастья, как не было его нигде... Мосци-панна, не предлагайте мне уплаты за услугу, я не за ней приехал, а если я просил руки, то не как уплаты, а по доброй воле. Если бы вы сказали мне, что отдаете ее, потому что должны отдать, я бы ее не принял. Насильно мил не будешь! Вы пренебрегаете мной — дай вам Бог найти лучшего. Я выхожу из этого дома, как и пришел, и только... Больше я не вернусь! Меня здесь считают ничем! Пусть будет так. Будьте же счастливы, хотя бы с этим самым Кмицицем. Если он лучше, то вы, конечно, не для меня.

Оленька схватилась руками за голову и несколько раз повторила:

— Боже! Боже! Боже!

Но ее страдание не смягчило пана Володыевского, и, раскланявшись, он вышел из комнаты злой и гневный, затем вскочил на лошадь и уехал.

— Ноги моей здесь больше не будет! — произнес он громко.

Сыруц, ехавший позади, подъехал и спросил:

— Что изволите говорить, ваша милость?

— Дурак! — ответил пан Володыевский.

— Это вы мне уж изволили сказать, когда мы ехали в Водокты.

Настало молчание, а затем пан Михал снова забормотал:

— Мне отплатили неблагодарностью. На чувство ответили презрением. Видно, придется умереть холостяком. Так уж на роду написано. Что ни попытка, то отказ... Нет на этом свете справедливости. Что она имеет против меня?

Тут пан Володыевский нахмурился, потом вдруг хлопнул себя рукой по колену.
— Теперь знаю, — крикнул он, — она любит еще того, иначе и быть не может!
Но это не обрадовало его.

— Тем хуже для меня, — прибавил он после минутного молчания. — Если она после всего, что произошло, любит его, то и не перестанет любить. Самое плохое, что он мог сделать, он уже сделал. Он пойдет на войну, прославится, исправит свою репутацию... И в этом ему нельзя мешать, а даже помочь надо, ибо это отчизне на пользу. Правда, он прекрасный солдат... Но чем он ее так взял? Кто угадает? Впрочем, бывают такие счастливцы, что как только взглянут на женщину, она уж готова за ними в огонь и воду. Если бы знать, как это делается, или достать какой-нибудь талисман, — может быть, что-нибудь и вышло бы. Заслугами женщину не прельстишь. Правду сказал Заглоба, что женщина и гусеница самые неверные создания. Но жаль, что все пропало! А уж как она красива, притом и добродетельна, говорят... А и горда, должно быть, как дьявол! Кто знает, пойдет ли она за него, хотя и любит: слишком он ее оскорбил. Она готова совсем отказаться и от замужества, и от детей. Мне тяжело, да и ей, бедняжке, может быть, еще тяжелее.

Тут пан Володыевский расчувствовался над долей Оле ньки и закачал головой.

— Пусть Бог ей поможет! Я на нее не в обиде. Это ведь не первый отказ! Бедняжка едва дышит от забот, а я ее еще попрекнул этим Кмицицем. Этого не следовало делать, и нужно во что бы то ни стало это исправить. Я поступил, как грубиян! Напишу сначала письмо с извинением, а потом буду помогать, по мере сил.

Дальнейшие размышления Володыевского прервал подъехавший к нему Сыруц.

— Ваша милость, там, на горе, пан Харламپ едет, а с ним еще кто-то.

— Где?

— Да вон там.

— Правда, два всадника... но ведь пан Харламп остался при князе-воеводе виленском. А как ты его издали узнал?

— Я по его буланке. Ведь ее все войско знает.

— Действительно, и я буланку вижу!.. А может, это кто-нибудь другой.

— Я и ход ее знаю. Это, наверно, пан Харламп.

Они пришпорили лошадей, ехавшие им навстречу сделали то же, и вскоре Володыевский убедился, что это был действительно пан Харламп, поручик пятигорского полка и старый знакомый Володыевского, прекрасный солдат. Когда-то они часто ссорились между собою, но, служа вместе, полюбили друг друга; Володыевский подъехал к нему с распростертыми объятиями и воскликнул:

— Как живешь, Носач? Откуда ты взялся?

Товарищ, который благодаря своему огромному носу действительно заслуживал название Носача, бросился в объятия полковника и после радостных приветствий сказал:

— Я приехал к тебе нарочным, с поручением и деньгами.

— С поручением и деньгами? От кого же?

— От князя-воеводы виленского, нашего гетмана. Он прислал тебе письмо и приказ набирать полк; второе письмо пану Кмицицу, который находится где-то в этих краях.

— Пану Кмицицу? Как же мы вместе будем набирать в одной и той же местности?

— Он должен ехать в Троки, а ты останешься здесь.

— От кого ты узнал, где меня искать?

— Гетман сам расспрашивал о тебе, и ему здешние люди, которые у него еще служат, сказали, где тебя искать, и я ехал наверняка. Ты пользуешься большим расположением князя. Я сам слышал, как он сказал, что не рассчитывал получить от русского воеводы никакого наследства, между тем как получил лучшего рыцаря.

— Пусть Бог ему поможет унаследовать и военное счастье! Великая честь для меня — такое поручение, и я тотчас же примусь за дело. В людях здесь не будет недостатка, были бы лишь средства их на ноги поставить. А денег много ты привез?

— Как приедешь к Пацунелям, так и сосчитаешь.

— Так ты и у Пацунелей побывал? Берегись, там красивых девушек — что маку в огороде.

— Потому-то ты и гостишь здесь, но постой, у меня есть к тебе еще и частное письмо от гетмана.

— Давай.

Поручик вынул из кармана письмо, с малой радзивилловской печатью, вскрыл его и начал читать.

«Мосци-пане полковник Володыевский!

Зная искреннее желание ваше служить отчизне, посылаю вам это письмо и поручаю собрать войско, но не так, как это делается обычно, а с величайшей поспешностью, ибо медлить опасно. Если хотите нас порадовать, то пусть полк будет готов в июле, а самое позднее — в половине августа. Нас больше всего беспокоит, откуда вы возьмете хороших лошадей, тем более что и денег мы посылаем мало, ибо по-прежнему нерасположенный к нам подскарбий не пожелал дать больше. Половину этих денег отдайте пану Кмицицу, которому пан Харламپ тоже везет письмо. Надеемся, что и он нам поможет. Но так как до слуха нашего дошли вести об его шалостях в Упите, то лучше всего прочтите предназначенное ему письмо и сами решите, можно ли ему его отдать. Если вы найдете, что он совершил поступки, позорящие его, то не отдавайте ему письма; мы опасаемся, как бы враги наши, пан подскарбий и пан воевода витебский⁸, не могли упрекнуть нас, что мы даем такие поручения недостойным людям. Если же вы ничего особенного не найдете, то пусть Кмициц постарается усердной службой искупить все провинности и не является ни в какие суды, ибо он всецело подлежит нашей гетманской инквизиции, и мы сами будем его судить по окончании войны. Поручение это примите в знак особого нашего к вам доверия, каковое мы питаем к вашему уму и верности.

Януш Радзивилл. Князь на Биржах и Дубинках, воевода виленский».

— Гетман сильно беспокоится насчет лошадей, — сказал Харламп, когда маленький рыцарь окончил чтение письма.

— Да, на этот счет будет трудновато, — ответил Володыевский. — Шляхты явится много по первому же слову, но у них есть только жмудские лошади, а они не особенно годны для службы. Их бы непременно нужно заменить другими.

— Это хорошие лошади и, насколько я слышал, очень выносливые.

— Да, — ответил Володыевский, — но они слишком малы, а здешний народ рослый. Если его посадить на таких лошадей, то полки будут казаться сидящими на собаках. Но я возьмусь тотчас же за дело. Передай мне письмо к Кмицицу, как гетман приказывает, я сам ему отвезу. Письмо это как нельзя более кстати.

— Почему?

— Он тут по-татарски жить начал и девушек в полон брал. У него нет столько волос на голове, сколько тяготеет над ним обвинений. Несколько дней тому назад я дрался с ним на саблях.

— Ну раз на саблях дрались, — сказал Харламп, — значит, он теперь болен.

⁸ Воевода витебский — Павел Ян Сапега.

— Поправляется, через неделю, а много через две и совсем выздоровеет... Ну, что там слышно у вас?

— По-прежнему плохо. Пан подскарбий Госевский постоянно не в ладах с нашим князем, а где гетманы в ссоре, там не может быть порядка. Впрочем, теперь немного тверже стали на ноги, и если так и впредь будет, то авось мы и справимся с неприятелем. Всему виной пан подскарбий.

— А другие говорят, что именно гетман виноват.

— Это говорят изменники. Утверждает это и воевода витебский, который уже давно снюхался с подскарбием.

— Воевода витебский — честный человек.

— Неужели и ты стоишь на стороне Сапеги против Радзивилла?

— Я стою на стороне отчизны, где и все должны стоять. То-то и плохо, что даже и солдаты делятся на партии, вместо того чтобы драться; а что Сапега честный человек, то это я скажу и самому князю, хотя и служу под его начальством.

— Пробовали добрые люди их помирить, — продолжал Харламп, — напрасно. Теперь послы от короля то и дело приезжают к нашему князю... Говорят, что там что-то новое затевается. Мы ожидали всеобщего ополчения во главе с королем, но оно не состоялось; говорят, что оно может понадобиться в другом месте.

— Разве только на Украине.

— Почему я знаю? Поручик Брохович рассказывал то, что слышал своими ушами. Тизенгауз приехал от короля, долго шептался с гетманом, запершись, а потом, когда они выходили, гетман сказал: «Из этого может возникнуть новая война». Все мы после этого терялись в догадках, что могли означать эти слова.

— Должно быть, ослышался. С кем бы теперь могла быть новая война. Император к нам расположен больше, чем к неприятелю, и, конечно, заступится за нас. Со шведом еще не кончился срок перемирия, татары нам помогают на Украине, чего бы, конечно, не сделали помимо желания Турции...

— Мы тоже не могли догадаться.

— Потому что ничего подобного и не было. Но слава богу, что у меня наконец есть дело. Я уже стосковался без войны.

— Так ты сам хочешь передать письмо Кмицицу?

— Да ведь я тебе говорил, что так приказывает гетман. По рыцарскому обычаю, мне следовало давно его навестить, теперь, кстати, есть предлог. Отдам ли я ему письмо, другое дело; об этом я еще подумаю, ибо это предоставлено на мое усмотрение.

— Это мне и на руку, я тороплюсь с третьим письмом к Станкевичу — к нему тоже есть письмо; потом поеду в Кейданы, там нужно забрать пушки; а затем заверну в Биржи, чтобы посмотреть, все ли готово к обороне.

— И в Биржи?

— Да.

— Это меня удивляет. Никаких побед неприятель не одержал, — значит, ему до Бирж, до курляндской границы, далеко. Но раз нам приказано сформировать полки, то думаю, что будет кому защищать и те местности, которые подпали под власть неприятеля. Ведь курляндцы не думают о войне с нами. Это прекрасные солдаты, но их так мало, что и Радзивилл мог бы их придушить одной рукой.

— И меня это удивляет, — ответил Харламп, — тем больше, что и мне приказали спешить и сказали, что если я найду беспорядки, то должен тотчас же донести князю Богуславу, который немедленно же пришлет инженера Петерсона.

— Что бы это могло значить? Как бы только из этого не вышло междоусобной войны. Боже, сохрани нас и помилуй от такого несчастья! Уж где только князь Богуслав вмешается, там черту будет чему радоваться!

— Не осуждай его. Это храбрый пан.

— Я не спорю, но он больше похож на француза или на немца, чем на поляка. До Речи Посполитой ему нет дела, он больше всего заботится о доме Радзивиллов — возвысить его, а всех остальных унижить. Он-то, главным образом, и возбуждает князя — воеводу виленского против Сапег и Госевского.

— Ты, вижу, большой политик; советую тебе, Михал, жениться скорее, чтобы такой ум не пропал даром.

Володыевский пристально взглянул на товарища.

— Жениться?

— Конечно! А может быть, ты уж и сам об этом подумал. Ты нарядился точно на свадьбу.

— Оставь меня в покое.

— Ну, сознайся!

— Нечего тебе в чужие дела нос совать, к тому же не время думать о женитьбе, когда война на носу.

— А справишься ли ты к июлю?

— К концу июля я буду готов, хотя бы мне пришлось добывать лошадей из-под земли. Слава богу, что работа есть, а то бы меня меланхолия заела...

Письма гетмана и предстоящее дело доставили большое облегчение Володыевскому, и не успел он еще приехать в Пацунели, как уже совсем перестал думать о полученном отказе. Известие о наборе быстро облетело всю шляхту. Шляхта сейчас же явилась к Володыевскому, и он подтвердил известие. Все изъявили свое согласие, хотя не без колебаний: была самая страда. Пан Володыевский разослал гонцов и в другие местности — в Упиту и по большим усадьбам. Вечером к нему приехали Бутрымы, Стакьяны и Домашевичи.

Шляхта шумела, подбодряла друг друга, грозила неприятелю и кричала о будущих победах. Одни только Бутрымы молчали, но никто не ставил им этого в вину — все знали, что они станут, как один человек.

На следующее утро в «застенке» зашумело, словно в улье. Все забыли уже о Кмицице и о панне Александре; всюду только и слышались толки о предстоящем походе. Пан Володыевский от души простил Оле ньке ее отказ, утешаясь мыслью, что не одна она на свете и что это не первый отказ. И в то же время думал, что делать с письмом Кмицицу.

IX

Для пана Володыевского настало время тяжелого труда. На следующей же неделе он переехал в Упиту и принялся за дело. Шляхта съезжалась к нему со всех сторон, как к знаменитому полковнику, но среди нее было больше всего ляуданцев, поэтому нужно было позаботиться о лошадях. Володыевский суетился, и благодаря его энергии дело подвигалось очень быстро. В то же время он навестил и пана Кмицица, который значительно поправился, хотя еще не вставал с постели.

По-видимому, поскольку у Володыевского была тяжелая сабля, постольку легка была рука. Кмициц тотчас же узнал Володыевского и при его появлении сильно побледнел; но, видя его улыбающимся, успокоился и протянул ему свою исхудалую руку.

— Благодарю за посещение. Ваш поступок достоин такого кавалера, как вы!

— Я приехал спросить, не сердитесь ли вы на меня? — спросил пан Михал.

— Нет, не сержусь, потому что меня победил мастер, каких мало! Чуть богу душу не отдал...

— Ну а как ваше здоровье?

— Вы, вероятно, удивляетесь, что я вышел из ваших рук живым? Я и сам считаю это чудом. — Кмициц улыбнулся. — Но не отчаивайтесь, еще успеете покончить со

мной.

— Я вовсе не затем приехал.

— Вам, верно, дьявол помогает! — прервал Кмициц. — Я далек от хвастовства, но до сих пор я считал себя если не первым, то, по крайней мере, одним из лучших рубак во всей Речи Посполитой; между тем — неслыханная вещь! — вы могли бы покончить со мной с первого же удара, если бы захотели. Скажите, где вы так выучились?

— Отчасти природные способности, — ответил маленький рыцарь, — затем отец, твердивший мне с детства: «Бог не одарил тебя ростом, и если люди не будут тебя бояться, то будешь посмешищем». Наконец, служа у русского воеводы, я завершил свои знания. У него было несколько человек, которые с успехом могли состязаться со мной.

— Разве могли быть такие?

— Не только могли, но и были. Был пан Подбипента, литовец, которого убили под Збаражем, — упокой, Господи, его душу! Это был человек такой необычайной силы, что его удары невозможно было отражать; был еще Скшетуский, мой друг и приятель, о котором вы, без сомнения, слышали.

— Как же! Ведь это он из Збаража пробрался к королю сквозь неприятельские войска. Кто о нем не слышал! Так вы из их числа? Челом, челом! Постойте, я слышал о вас от воеводы виленского. Вас зовут Михалом?

— Собственно, я Юрий-Михал; но так как святой Михаил предводительствует всеми небесными силами и одержал столько побед над нечистыми духами, то я его и выбрал своим патроном.

— Конечно, Юрию не сравняться с Михаилом. Так вы тот Володыевский, который зарубил Богуна.

— Я!

— Ну от такого необидно и в лоб получить. Дай Бог, чтобы мы остались друзьями. Вы меня называли изменником, но в этом вы ошиблись.

При этом Кмициц поморщился, точно снова почувствовал боль в ране.

— Признаюсь — ошибся, — ответил Володыевский, — об этом я узнал от ваших людей. Иначе я бы не приехал сюда, знайте, ваць-пане!

— Уж и точили на меня здесь зубы, — сказал с горечью Кмициц. — Но будь что будет! Не одно пятно лежит на моей душе, это правда, но и здешняя шляхта приняла меня далеко не любезно.

— Вы больше всего повредили себе сожжением Волмонтовичей и похищением девушки.

— Потому-то они меня и душат судом. Уже пришли повестки. Не дадут больному и выздороветь! Перед сожжением Волмонтовичей я дал обет жить со всеми в дружбе и любви, и что же я нашел, когда вернулся в Любич: все мои товарищи были зарезаны, как быки на бойне. Когда я узнал, что это сделали Бутрымы, в меня бес вселился, и я отомстил жестоко. А знаете ли вы, за что их зарезали?.. Я сам это узнал от одного из Бутрымов: за то, что они хотели потанцевать в корчме со шляхтянками. Кто бы тут не стал мстить?!

— Мосци-пане, — ответил Володыевский, — они поступили с вашими товарищами дурно, но виной всему их репутация: если бы на их месте были учтивые солдаты, то, наверно, шляхта не тронула бы их.

— Бедняги! — продолжал Кмициц. — Когда я теперь лежал в горячке, каждый вечер видел я их, они входили вот из той двери. Подходили к кровати синие, израненные и молили: «Ендрек, вели отслужить панихиду, ибо муки терпим». У меня просто волосы становились дыбом. Я уже заказал панихиду. Дай Бог, чтобы это облегчило их страдания.

Несколько мгновений длилось молчание.

— А что касается похищения, — продолжал Кмициц, — то вы не знаете, и вам никто не мог сказать, что *она* спасла мне жизнь, когда шляхта гналась за мной, а затем выгнала меня и запретила показываться на глаза. Что же мне оставалось делать?

— Все-таки это татарский способ.

— Вы, вероятно, не знаете, что такое любовь и до какого отчаяния она может довести человека, когда он теряет то, что для него дороже всего на свете.

— Я не знаю, что такое любовь?! — воскликнул Володыевский. — С тех пор как я саблю ношу, я всегда был влюблен... Правда, предметы я менял часто, но это потому, что никогда еще не пользовался взаимностью.

— Ну какая это любовь, когда предметы менялись!

— Ну так я вам расскажу другое, что видел собственными глазами. В начале восстания Хмельницкого тот самый Богун, который теперь пользуется среди казаков необычайным уважением, похитил возлюбленную моего друга Скшетуского, княжну Курцевич. Вот это была любовь! Все войско плакало, видя его отчаяние: на двадцать пятом году жизни у него борода побелела, как у старика; и угадайте, что он сделал?

— Почему я знаю.

— Видя, что отчизна в опасности, что Хмельницкий торжествует, он так и не пошел разыскивать невесту. Принес свои муки в жертву Господу. Он бился во всех сражениях под командой князя Еремии и стяжал себе великую славу под Збаражем... Сравните теперь этот поступок со своим — и вы поймете разницу.

Кмициц молчал, закусив губу, а Володыевский продолжал:

— Господь наградил за это Скшетуского и возвратил ему невесту. По окончании войны они поженились, и в настоящее время у него уже трое детей; но он и до сих пор служит. А вы, бесчинствуя, этим самым служили неприятелю, не говоря о том, что могли навсегда потерять и невесту.

— Каким же образом? — спросил Кмициц, садясь на постели. — Что с нею было?

— Ничего с ней не случилось, только нашелся человек, который просил ее руки и хотел взять ее в жены.

Кмициц побледнел, глаза его начали метать молнии. Он захотел приподняться, что ему удалось на минуту, и крикнул:

— Кто этот вражий сын?! Скажите, ради бога!

— Я, — ответил Володыевский.

— Вы? Вы?! — спрашивал изумленный Кмициц. — Как так?

— Да, я! — ответил Володыевский.

— Изменник! Это тебе не пройдет даром. А она? Говори уж все. Она приняла предложение?

— Отказала наотрез, не задумываясь.

Наступило молчание. Кмициц впился глазами в Володыевского и тяжело дышал. А тот сказал:

— За что вы меня называете изменником? Разве я вам брат или сват? Разве я вам давал слово и не сдержал его? Ведь я победил вас в равном бою и мог делать с вами, что мне угодно.

— По старинному обычаю, один из нас должен был бы поплатиться кровью. Если я не убил бы вас саблей, то застрелил бы, и пусть бы меня потом черти взяли!

— Разве что застрелили бы, а то, если бы она приняла мое предложение, я не согласился бы на второй поединок. Зачем мне было бы драться? А знаете ли, почему она мне отказала?

— Почему? — повторил, как эхо, Кмициц.

— Потому, что любит вас!

Это было выше сил больного. Голова Кмиицица упала на подушки, на лбу у него

выступили крупные капли пота. Некоторое время он лежал молча.

— Я чувствую себя очень слабым. Откуда же вы знаете... что она меня любит?..

— Потому что у меня есть глаза и ум. Я все понял, когда она мне отказала. Прежде всего, когда я после поединка пришел ей сказать, что она свободна и что вы ранены, с ней сделалось дурно, и, вместо того чтобы благодарить, она как будто меня и не видела; во-вторых, когда Домашевичи вас несли, она поддерживала вашу голову, как мать; а в-третьих, когда я ей сделал предложение, то она меня приняла так, точно пощечину дала. Если этого для вас мало, то, вероятно, у вас голова еще плохо работает.

— Если бы это была правда... — ответил слабым голосом Кмициц, — тогда бы мне не нужны были никакие мази, ваши слова для меня как бальзам.

— И этот бальзам принес вам изменник?

— Простите меня, ваць-пане! Я не могу поверить, что она все еще хочет быть моей.

— Я говорил, что она вас любит, и не говорил, что хочет быть вашей. Это не одно и то же.

— Если она не согласится, то я разобью себе о стену голову. Иначе быть не может!

— Могло бы быть иначе, если бы только вы искренне желали искупить свою вину. Теперь война, вы можете оказать отчизне большие услуги, прославиться мужеством, исправить репутацию. Кто же не грешен? У кого совесть совсем чиста? У каждого есть что-нибудь... Но для покаяния и исправления всякому дорога открыта. Вы грешили против отчизны, спасайте ее; вы причиняли обиды людям, вознаградите их... Вот вам верный путь для достижения цели, а головой о стену биться нечего.

Кмициц пристально смотрел на Володыевского и сказал:

— Вы говорите, как искренний друг.

— Я не друг вам, но, во всяком случае, и не враг, и мне более всего жаль этой панны, хотя она мне и отказала. Из-за ее отказа я не повешусь: для меня это не новость — обид я долго помнить не умею; если же мне удастся навести вас на путь истины, то это будет до некоторой степени благодеянием для отчизны, ибо вы опытный и храбрый солдат.

— Неужели мне еще не поздно возвратиться на этот путь? Меня ждет правосудие. Ведь прямо с постели мне нужно идти в суд... Разве бежать? Нет, я этого не хочу. Столько процессов. И что ни процесс, то верное осуждение!

— У меня есть и против этого лекарство! — сказал пан Володыевский, вынимая из кармана приказ гетмана.

— Приказ гетмана?! — воскликнул Кмициц. — Для кого?

— Для вас. И знайте, что вы свободны ото всяких судов, ибо принадлежите лишь гетманской инквизиции. Слушайте же, что пишет мне князь-воевода.

И Володыевский прочел частное письмо Радзивилла, передохнул, шевельнул усиками и сказал:

— Как видите, от меня зависит, отдать вам письмо или нет. Неуверенность, тревога и надежда отразились на лице Кмицица.

— А что вы сделаете? — спросил он тихо.

— А я отдам его вам, — ответил Володыевский.

Кмициц опустил голову на подушки и некоторое время молчал. Вдруг глаза его сделались влажны... и незнакомые ему доселе слезы повисли на его ресницах.

— Пусть меня четвертуют, — воскликнул он наконец, — пусть с меня кожу сдерут, если я когда-нибудь встречал человека благороднее, чем вы. Если вы из-за меня получили отказ, если Оле нька любит меня еще, как вы говорите, то вы должны бы были тем более мне мстить; а вы протягиваете мне руку и точно из могилы меня спасаете!

— Ибо я личной обиде не хочу приносить в жертву отчизну, а ей большие услуги может оказать такой опытный солдат, как вы; но знайте, что если бы вы казаков взяли от Трубецкого или Хованского, то я ни за что не отдал бы этого письма. Ваше счастье, что вы этого не сделали.

— С вас надо брать пример другим! — ответил Кмициц. — Дайте же мне вашу руку. Буду молить Бога, чтобы он послал мне случай отплатить вам добром, потому что вам я обязан жизнью.

— Об этом поговорим потом. А теперь слушайте. Не являйтесь ни в какие суды, а принимайтесь за дело. Если вы услужите отчизне, то и шляхта простит вас, она очень отзывчива к людям, любящим отчизну. Вы можете не только искупить ваши грехи, восстановить репутацию, но и прославиться, и я знаю одну панну, которая придумает для вас награду.

— Да разве буду я в постели гнить, когда неприятель отчизну топчет! — воскликнул Кмициц с воодушевлением. — Эй! Кто там? Подать мне сапоги! Не хочу я больше валяться в постели, разрази меня гром!

Володыевский весело улыбнулся и сказал:

— Видно, ваш дух сильнее тела.

С этими словами он стал прощаться, а Кмициц удерживал его и предлагал выпить вина.

И было уже к вечеру, когда маленький рыцарь выехал из Любича и направился в Водокты.

— Нельзя лучше вознаградить ее за резкие слова, как сказать, что Кмициц встал не только с постели, но и из мрака бесславия. Он еще не совсем испорченный человек, только страшно горяч. Я ее очень обрадую и думаю, что теперь она меня лучше примет, чем тогда, когда я ей предлагал свою особу...

Тут пан Михал вздохнул и пробормотал:

— Интересно, есть ли на свете женщина, предназначенная и для меня?..

Среди подобных размышлений Володыевский приехал в Водокты. Лохматый жмудин выбежал к воротам, но не торопился их открывать и сказал:

— Панны нет дома.

— Уехала?

— Уехала.

— Куда?

— Кто ее знает.

— А когда вернется?

— Кто ее знает.

— Да говори же по-человечески! Не сказала, когда вернется?

— Вернее, что совсем не вернется: с возами уехала и с тюками. Видно, уехала далеко и надолго.

— Так! — пробормотал пан Михал. — Вот что я наделал!

Х

Всегда бывает так, что лишь только теплые лучи солнца начинают выглядывать из-за зимних туч, лишь только на деревьях начинают появляться первые почки и зеленая травка покрывает поля, — в сердцах людей возрождается надежда на лучшее. Но весна 1655 года не принесла с собой обычного утешения для угнетенной Речи Посполитой. Вся ее восточная граница, до самых Диких Полей, была опоясана как бы огненной лентой, и весенние дожди не могли погасить этого пожара, — напротив, лента становилась все шире и занимала все большие и большие пространства. На небе появились зловещие знамения, предвещающие еще большие несчастья и бедствия. Тучи по временам принимали форму то бойниц, то высоких

башен, которые проваливались с грохотом. Гром гремел уже тогда, когда поля были еще покрыты снегом; сосновые леса пожелтели, а ветви сосен свертывались в какие-то странные, болезненные формы; животные и птицы падали от какой-то неизвестной болезни. Наконец, и на солнце заметили какие-то необыкновенные пятна, в виде руки, держащей яблоко, в виде пронзенного сердца и креста. Умы волновались все больше — ученые монахи тщетно пытались разгадать, что означали эти небесные явления. Всеми овладела какая-то странная тревога.

Предсказывали новые войны, и вдруг, неизвестно откуда, разнеслась зловещая весть, что несчастья идут со стороны шведов. На вид ничто не подтверждало этих слухов, потому что срок перемирия истекал через шесть лет, а все же об опасности этой войны говорил и сам король на сейме, бывшем в Варшаве 19 мая.

Больше всего беспокоились люди за Великую Польшу, на которую прежде всего могла налететь буря. Лещинский, воевода ленчицкий, и Нарушевич, полевой писарь литовский, выехали в качестве послов в Швецию; но их отъезд, вместо того чтобы успокоить, еще более встревожил умы.

«Это посольство пахнет войной!» — писал Януш Радзивилл.

«Если бы опасность не грозила с этой стороны, то зачем бы и послов посылать? — говорили другие. — Давно ли вернулся из Стокгольма прежний посол Каназиль; но, видно, он ничего не мог сделать, если послали туда новых сенаторов».

Но более благоразумные люди еще не верили в возможность войны.

«Ведь Речь Посполитая не подала никакого повода к этому, — говорили они, — следовательно, перемирие должно оставаться в силе. Не может быть, чтобы шведы нарушили клятву и, как разбойники, напали на соседа. Кроме того, Швеция, верно, еще помнит раны, нанесенные ей польской саблей под Кирхгольмом. Ведь и Густав-Адольф, который во всей Европе не находил себе достойного соперника, был несколько раз побежден Конечпольским. Шведы не решатся рисковать своей славой, добытой с таким трудом в войне с противником, который их всегда побеждал. Правда, что Речь Посполитая теперь обессилена войнами, но одной Пруссии и Великопольши хватит, чтобы прогнать этот голодный народ за моря, до бесплодных скал. Не будет войны».

На это более опасливые люди отвечали, что в Гродне, еще перед варшавским сеймом, советовали укрепить великопольские границы, что после этого налагались новые подати, вербовались солдаты, а этого бы, конечно, не Делали, если бы никакой опасности не было...

Так колебались умы между опасением и надеждой, пока всему этому не положило конец воззвание Богуслава Лещинского, генерала великопольского, призывающее всеобщее ополчение шляхты Калишского и Познанского воеводств для защиты границ от шведского нашествия.

Всякое сомнение исчезло. Слово «война» раздавалось по всей Великопольше и во всех землях Речи Посполитой.

Это была не только война, это была новая война. Хмельницкий, поддерживаемый Бутурлиным, свирепствовал на юге и востоке; Хованский и Трубецкой — на севере и востоке, а шведы приближались с запада. Огненная лента превращалась в огненное кольцо.

Страна была похожа на осажденный лагерь.

В самом лагере было тоже неблагополучно. Один изменник, Радзейовский, уже бежал из этого лагеря к неприятелю, указал врагам на слабые стороны польских войск и склонял пограничные отряды к измене. Кроме того, не было недостатка и в магнатах, которые из-за личной вражды и честолюбия, из недовольства королем готовы были принести в жертву даже отчизну; немало было диссидентов, готовых праздновать свою победу хоть на могиле отчизны, но больше всего было лентяев, бездельников, заботившихся только о своих удовольствиях и богатствах. Но все же

богатая и не изнуренная войнами Великопольша не жалела денег на защиту. Города и деревни доставили необходимое количество пехоты; за нею двинулась шляхта, за которой тянулись полки полевых войск во главе с полковниками, назначенными сеймиками, из числа людей опытных в военном деле.

Познанскую пехоту вел пан Станислав Дембинский, костянскую — Владислав Влостовский, а валецкой предводительствовал Гольц, славный солдат и инженер; калишскими крестьянами командовал ротмистр — пан Станислав Скшетуский, двоюродный брат Яна Скшетуского, збаражского героя. Пан Каспер Жихлинский вел конинских мельников и сотских. Из-под Пыздров шел пан Станислав Ярачевский, из Кцыни — пан Петр Скорашевский и Кослецкий — из Накла. Но опытнее всех в военном деле был Владислав Скорашевский; его советов слушали даже генералы и воеводы.

Заняв позицию в трех местах под Пилой, Устьем и Велюнем, ротмистры начали поджидать шляхту — ополченцев. В ожидании конницы пехота с утра до вечера возводила окопы и шанцы.

Между тем приехал первый из сановников, пан Андрей Грудзинский, воевода калишский, и остановился в доме бургомистра, с многочисленной свитой, одетой в голубые и белые цвета. Он рассчитывал, что его сейчас же окружит калишская шляхта, но так как никто не являлся, то он послал за ротмистром Станиславом Скшетуским, занятым устройством шанцев над рекой.

— А где же мои люди? — спросил он после первых же приветствий у ротмистра, которого знал еще с детства.

— Какие люди? — спросил пан Скшетуский.

— А всеобщее ополчение калишское?

Полупрезрительная-полускорбная улыбка показалась на смуглом лице ротмистра.

— Ясновельможный воевода, — ответил он, — ведь теперь идет стрижка овец, а плохо вымытую шерсть в Гданьске не покупают. Все они теперь на прудах за промывкой руна, справедливо полагая, что шведы не убегут.

— Как же это? — воскликнул смущенный воевода. — Неужели никого еще нет?

— Ни единой души, кроме полевой пехоты. А там и жатва близка... Хороший хозяин не уезжает из дому в такую пору.

— Что вы мне говорите?

— Шведы не убегут, а подойдут к нам еще ближе, — повторил ротмистр.

Рябое лицо воеводы побагровело.

— Что мне шведы? Мне будет стыдно перед другими, если я останусь один как перст!

Скшетуский снова улыбнулся.

— Позвольте сказать вашей милости, — возразил он, — что главное все же — шведы, а стыд — это уж не так важно. Впрочем, стыдиться вам не придется, нет не только калишской, но и никакой другой шляхты.

— Да они с ума сошли! — воскликнул Грудзинский.

— Нет, они только уверены, что если сами не пойдут на шведов, то шведы пойдут на них.

— Погодите, — сказал воевода.

И, позвав слугу, он велел принести перо и бумагу, а затем сел и стал что-то писать.

Спустя полчаса он посыпал письмо песком и, хлопнув по бумаге рукой, сказал:

— Посылаю второе воззвание — собраться не позднее двадцать седьмого, и надеюсь, что на этот раз они явятся к сроку на помощь отчизне. А теперь скажите, есть какие-нибудь известия о неприятеле.

— Есть. Виттенберг обучает свои войска под Дамой.

— Много их?
— Одни говорят, что семнадцать тысяч, другие — что больше.
— Гм! Нас столько не будет. Как вы думаете, справимся мы с ними?
— Если шляхта не явится, то не о чем и говорить.
— Конечно, явится. Ополченцы всегда мешкают! А со шляхтой мы, без сомнения, справимся.

— Нет, — ответил Скшетуский, — ясновельможный пан воевода, у нас совсем нет солдат.

— Как нет солдат?
— Вашей милости, как и мне, известно, что все наши войска на Украине. Нам оттуда не прислали ни одного полка, хотя неизвестно, какая сила грознее.

— Но... пехота... всеобщее ополчение...
— Из двадцати мужиков едва ли один видел войну, а из десяти вряд ли один умеет держать ружье в руках. Что же касается ополченцев, то спросите, ваша милость, всякого, кто понимает военное дело, можно ли ополчение сравнивать с регулярными войсками, да еще такими, как шведские, — с ветеранами, привыкшими к победам.

— Вот вы как превозносите шведские войска!
— Нисколько не превозношу, если бы у нас было хоть пятнадцать тысяч таких солдат, какие были под Збаражем, тогда бы я шведов не боялся, но с этими мы вряд ли что-нибудь сделаем.

Воевода опустил руки на колени и пытливо посмотрел Скшетускому в глаза, точно желал прочесть в них какую-то скрытую мысль.

— Так зачем же мы сюда пришли? Уж не думаете ли вы, что лучше просто сдаться?

На это Скшетуский, вспыхнув, ответил:
— Если бы у меня в голове зародилась такая мысль, я просил бы вас посадить меня на кол. На вопрос, верю ли я в победу, я отвечаю как солдат: «Не верю!» А зачем мы сюда пришли — это другой вопрос, на который я отвечаю как гражданин: «Мы пришли сюда затем, чтобы хоть на время задержать неприятеля и дать время народу опомниться; мы пришли затем, чтобы удержать неприятеля, пока не падем все до последнего».

— Похвальное намерение, — ответил холодно воевода, — но вам, солдатам, легче говорить о смерти, нежели тем, на которых падет ответственность за напрасно пролитую шляхетскую кровь.

— На то и кровь у шляхты, чтобы ее проливать!
— Так-то так! Все мы готовы головы сложить, но это, впрочем, и легче всего. Но, во всяком случае, на нас, начальниках, лежит долг не только искать славы, но и приносить пользу. Война почти что начата, но ведь Карл-Густав родственник нашего государя, и я должен об этом помнить. А потому нам надо начать переговоры! Иногда словом можно сделать больше, чем оружием.

— Это меня не касается, — ответил сухо пан Скшетуский.
Воевода, очевидно, с этим согласился, потому что в знак прощания кивнул ротмистру.

Но Скшетуский был прав лишь наполовину, говоря о медлительности шляхты, призванной в ополчение. Действительно, до окончания стрижки овец их явилось очень мало, но к сроку, назначенному во вторичном воззвании, ополченцы стали шумно съезжаться в большом количестве, со съестными припасами, с оружием, начиная с копий, ружей и сабель и кончая вышедшими из употребления молотками для разбивания доспехов.

Странное войско представляли собой эти люди — и начальники ладили с ними не легко. Приезжал, например, шляхтич с копьём в девятнадцать футов, с панцирем

на груди и в соломенной шляпе «от жары». Одни из них во время учения жаловались на жару, зевали, другие звали слуг, третьи ели и пили и все считали возможным говорить в строю так громко, что не слышно было команды. И трудно было ввести в таком войске дисциплину: дисциплина оскорбляла шляхетское самолюбие. Правда, объявлены были правила, но их никто не соблюдал. Войско это до невероятности было обременено целым табором возов, запасных лошадей, скота, а главное, слуг, присматривавших за хозяйским добром и вечно поднимавших ссоры и драки.

И против такого войска со стороны Штеттина шел Арвид Виттенберг, старый вождь, прошедший свою молодость в Тридцатилетней войне, и вел с собой семнадцать тысяч ветеранов, привыкших к железной дисциплине.

С одной стороны отряд стоял беспорядочный, шумный, похожий на ярмарочное скопище — польский лагерь, где все ссорились, спорили, критиковали распоряжения начальников, выражали неудовольствие; лагерь, состоявший из простых крестьян, наскоро превращенных в пехоту, и из панов шляхты, оторванной прямо от стрижки овец; с другой — грозные, молчаливые каре, превращавшиеся по мановению вождей в линии и полукруги; войско, состоявшее из солдат, вооруженных ружьями и копьями, настоящих мужей войны, холодных, спокойных, достигших в своем ремесле совершенства. Кто же из сведущих людей мог сомневаться относительно того, на чьей стороне будет победа?

Между тем шляхты прибывало все больше, но еще раньше съехались сановники из Великопольши и других провинций, с отрядами войска и слуг. Вскоре после Грудзинского прибыл в Пилу могущественный познанский воевода, пан Криштоф Опалинский. Впереди его кареты шло триста гайдуков, одетых в желтые с красным наряды; толпа придворных и шляхты окружала его высокую особу; за ними в боевом порядке тянулись рейтары, одетые в мундиры тех же цветов, как и гайдуки; сам воевода ехал в карете со своим шутом Стахом Острожкой, на обязанности которого лежало развлекать в дороге своего мрачного пана.

Въезд такого знаменитого сановника ободрил всех; и всем, кто с благоговением смотрел на его почти монаршее величие, на его величественное лицо, на его высокий лоб, из-под которого светились умные и суровые глаза, на его властную осанку, даже в голову не могло прийти, чтобы кто-нибудь устоял перед его могуществом.

Людям, привыкшим к почитанию чинов и местничеству, казалось, что шведы даже не осмелятся поднять руку на особу такого магната. Труссы чувствовали себя под его крыльями в безопасности. И все приветствовали его с пламенной радостью; крики раздавались по всей улице, по которой шествие подвигалось к дому бургомистра. Все склоняли головы перед воеводой, видневшимся в окнах кареты; на эти поклоны вместе с ним отвечал Острожка с таким достоинством, как будто они предназначались исключительно ему.

Едва улеглась пыль после приезда воеводы познанского, как прибежали гонцы с известием, что едет его двоюродный брат, воевода полесский — Петр Опалинский со своим зятем, Яковом Роздражевским, воеводой иновроцлавским. Каждый из них привел с собой по сто пятьдесят вооруженных солдат кроме придворных и челяди. А потом дня не проходило, чтобы не приезжали новые сановники: Сендзивой Чарнковский, зять Опалинского, каштелян калишский, Максимилиан Мясковский и Павел Гембицкий. Город был так переполнен людьми, что не хватило домов для одних только придворных. Соседние луга пестрели палатками ополченцев.

Всюду мелькали красный, зеленый, голубой, синий и белый цвета, ибо кроме шляхты и ополченцев, из которых все одевались по-разному, кроме слуг и сановников пехота каждого повета имела свои отдельные цвета.

Приехали, наконец, и торговцы, построили шалаши поблизости от города и начали продавать оружие, одежду и напитки. Полевые кухни дымились днем и ночью.

Перед шалашами толпилась шляхта, вооруженная не только саблями, но и ложками, ела, пила, рассуждала то о неприятеле, которого еще не было видно, то о приезжих магнатах.

Между этими группами важно прохаживался Острожка, одетый в наряд из пестрых лоскутков, с жезлом в руке, увешанным колокольчиками. Где он ни появлялся, его тотчас же окружала толпа шляхты, а он подливал масла в огонь, острил насчет сановников и задавал такие язвительные загадки, от которых все покатывались со смеху.

Однажды в полдень по базару проходил сам воевода познанский и, смешавшись со шляхтой, заговаривал милостиво то с тем, то с другим, жалуясь на короля, что, несмотря на нашествие такого многочисленного неприятеля, он не прислал им ни одного регулярного полка.

— Видно, о нас там не думают, мосци-панове, и без помощи оставляют! В Варшаве говорят, что на Украине и так войска мало и что гетманы не могут справиться с Хмельницким. Ничего не поделаешь! Видно, Украина милее Великопольши. Мы в немилости, мосци-панове! Нас прислали сюда на убой.

— А кто виноват? — спросил пан Шлихтинг, веховский судья.

— Кто виноват во всех несчастьях Речи Посполитой? — спросил воевода. — Конечно, не мы, шляхта, защищающая ее грудь!

Шляхте было очень лестно то, что «граф на Бнине и Опаленице» сравнивает себя с нею, поэтому пан Кошутский тотчас же ответил:

— Ясновельможный воевода! Если бы у короля было больше таких советников, как ваша милость, то, наверно, нас бы не пригнали сюда на убой... Но там, по-видимому, правят те, кто низко кланяется...

— Спасибо вам, Панове братья, за доброе слово! Виноват и тот, кто слушает таких советников. Им наша свобода костью в горле стала. Чем больше погибнет шляхты, тем легче им будет провести свое «*absolutum dominium*»⁹.

— Так неужели мы должны гибнуть только затем, чтобы наши дети были рабами?

Воевода ничего не ответил, а шляхта стала с недоумением поглядывать друг на друга.

— Так вот как! — кричали многочисленные голоса. — Вот зачем нас сюда призвали! Уж давно говорят об этом «*absolutum dominium*». Но если на то пошло, то и мы сумеем постоять за себя...

— И за наших детей!

— И за наше достояние, которое неприятель будет уничтожать огнем и мечом!

Воевода молчал. Странное средство избрал он для подбодрения солдат!

— Король во всем виноват! — кричала шляхта.

— А помните ли вы, Панове, деяния Яна Ольбрахта? — спросил воевода.

— При короле Ольбрахте погибла шляхта! Измена, Панове, измена!

— Король, король изменник! — раздался чей-то голос. Воевода молчал.

Вдруг Острожка, стоявший близ воеводы, захлопал в ладоши и закричал петухом так пронзительно, что глаза всех обратились на него.

— Панове, — крикнул он, — братцы родные, послушайте мою загадку!

С истинной изменчивостью весенней погоды возмущение ополченцев сменилось любопытством и желанием услышать от шута какую-нибудь новую остроту.

— Слушаем, слушаем, — отозвалось несколько голосов.

Шут заморгал глазами, как обезьяна, и продекламировал пискливо:

⁹ Абсолютную власть (*лат.*).

Подканцлера прогнав, известен тем стране,
Что сам подканцлер он — лишь при чужой жене.

— Король, король! Как есть Ян Казимир! — раздалось со всех сторон.

И смех, как гром, прокатился в толпе.

— Черт его возьми, как он это ловко сочинил! — кричала шляхта.

Воевода смеялся вместе с другими, а когда все стихли, сказал серьезно:

— И за это мы должны отвечать своей кровью! Вот до чего дошло... А ты, шут, получай червонец за хорошую загадку, — обратился он к шуту.

И оба удалились.

Воевода отправился на военный совет и занял на нем председательское место. Это был совсем особенный совет. В нем принимали участие только те сановники, которые не имели никакого понятия о войне. Великопольские магнаты и не могли следовать примеру литовских и украинских «королевичей», которые всю жизнь проводили в постоянных войнах. Там — канцлер ли, воевода ли, — все были рыцари, у которых на груди не сходили рубцы от погнутого панциря, вся молодость которых проходила в степи, в лесах, среди засад, стычек, битв... Здесь собрались сановники, знавшие войну только в теории, и хотя они, в случае нужды, становились в ряды всеобщего ополчения, но никогда во время войны не занимали ответственных должностей. Глубокое спокойствие в стране усыпило воинственный дух этих потомков рыцарей, перед железной силой которых не могли устоять некогда ряды крестоносцев: они превратились в дипломатов, ученых и литераторов. И только суровая шведская школа научила их потом тому, что они забыли.

Между тем собравшиеся сановники посматривали друг на друга, никто не решался заговорить первым, все ждали, что скажет «Агамемнон», воевода познанский.

«Агамемнон» же попросту не имел ни малейшего понятия о военном деле и начал свою речь упреками королю за то, что тот, не задумываясь, послал их на убой. Но зато как он был красноречив! Как напоминал римского сенатора: голова была высоко поднята, черные глаза метали молнии, уста — громы, а седеющая борода дрожала от волнения, когда он рисовал будущие несчастья отчизны.

— Если страдают дети отчизны, то страдает и она сама... а мы прежде всех пострадаем! По нашей земле, по нашим имениям, добытым заслугами и кровью наших предков, пройдет прежде всего нога того неприятеля, который теперь приближается, подобно буре, с моря. И за что мы страдаем? За что захватят наши стада, вытопчут наши поля, сожгут деревни, приобретенные нашими трудами? Разве мы виноваты, что невинно осужденный и преследуемый, как преступник, Радзейовский должен был искать защиты у чужих? Разве мы настаиваем на том, чтобы пустой титул короля шведского, который стоил уже столько крови, был присоединен к подписи нашего Яна Казимира? Две войны уже охватили пожаром наши границы, зачем же нам еще третья? Кто виноват в этом, пусть его Бог судит, а мы умываем руки, ибо мы неповинны в той крови, которая будет несправедливо пролита.

Воевода продолжал свою громовую речь, но когда пришлось коснуться дела, то не мог дать никакого совета.

Поэтому решили послать за ротмистрами полевой пехоты, а главным образом, за паном Владиславом Скорашевским, славным и несравненным рыцарем, знающим военное искусство как свои пять пальцев. Его советов слушались даже и опытные полководцы, тем необходимее они были теперь.

Пан Скорашевский советовал разделить войско на три отряда и расставить их под Пилой, Велюнем и Устьем неподалеку друг от друга, чтобы, в случае нападения,

они могли соединиться, советовал построить окопы и траншеи вдоль всего побережья и занять главные переправы.

— Когда мы узнаем, где неприятель намерен устроить переправу, мы двинем туда все три отряда, — говорил Скорашевский, — и дадим ему сильный отпор. Тем временем я, с вашего разрешения, пройду с небольшим отрядом к Чаплинке, чтобы оттуда следить за неприятелем.

Было начало июля: дни были погожие и жаркие. Солнце пекло так сильно, что шляхта попряталась в лесах; там под тенью деревьев разбивали шатры и задавали шумные пиры. Еще больше шумела прислуга, сгонявшая три раза в день по несколько тысяч лошадей на водопой к Нотеце и Брде и затевавшая там драки за лучшие места у берега.

Воинственный дух, несмотря на то что воевода познанский своими действиями только ослаблял его, не падал. Если бы Виттенберг подошел в первых числах июля, то, несомненно, встретил бы сильный отпор, который во время битвы превратился бы в неодолимую ярость, как тому бывали примеры и раньше. Ведь в жилах этих людей, хоть и отвыкших от войны, все же текла рыцарская кровь. Кто знает, не нашелся ли бы второй Еремия Вишневецкий, который превратил бы Устье в другой Збараж и покрыл бы себя славой. Но, к несчастью, воевода познанский умел только владеть пером.

Виттенберг, знавший не только военное дело, но и людей, может быть, нарочно не спешил. Долголетний опыт научил его, что солдат из новобранцев опаснее всего в первую минуту и что часто у него недостает не храбрости, а военной выдержки, которую вырабатывает практика. Он может, как ураган, налететь на самые опытные полки и пройти по их трупам. Это то же, что железо, которое дрожит, живет и сыплет искрами и жжет до тех пор, пока оно красно, а когда остынет, то превратится в мертвую глыбу.

И когда прошла неделя, другая, стала проходить и третья, продолжительная бездеятельность начала уже тяготить ополченцев. Жара все усиливалась. Шляхта отказывалась ходить на учение, оправдываясь тем, что «лошади от укусов оводов не могут устоять на месте и в этой болотистой местности нет никакого спасения от комаров».

Слуги стали еще больше ссориться из-за тенистых мест, отчего и среди панов дело нередко доходило до поединков. Случалось, что некоторые, свернув вечером к реке, уезжали из лагеря с тем, чтобы более не возвращаться. Не было недостатка в дурных примерах и выше.

Пан Скорашевский только что дал знать, что шведы уже близко; в это же время на военном совете решено было отпустить домой пана Зигмунта Грудзинского, старосту средзинского, о чем хлопотал его дядя, воевода калишский.

— Если я сложу здесь голову, — сказал он, — то пусть хоть племянник мой наследует после меня славу и память, чтобы мои заслуги не пропали даром.

Тут он стал говорить о молодости, о добродетелях племянника, о его щедрости, с которой он предоставил в распоряжение Речи Посполитой сто человек прекрасной пехоты. Военный совет согласился удовлетворить просьбу дяди.

Утром шестнадцатого июля, накануне осады и битвы, пан староста в сопровождении нескольких слуг открыто уезжал из лагеря. Толпа шляхты провожала его насмешками за лагерь, во главе ее шел Острожка и кричал ему вслед:

— Мосци-пане староста, я милостиво присоединяю к вашему гербу и фамилии прозвище «Deest»¹⁰.

— Да здравствует Deest-Грудзинский! — кричала шляхта.

¹⁰ Отсутствует; здесь: дезертир (*лат.*).

— Да не оплакивай дядю, — продолжал кричать Острожка, — он так же не любит шведов, как и ты, и пусть только шведы покажутся, он, наверно, тотчас покажет им спину.

У молодого магната кровь бросилась к лицу, но он сделал вид, что не слышит оскорблений, и лишь пришпорил лошадь, чтобы поскорее очутиться вне лагеря и освободиться от своих преследователей, которые в конце концов, не обращая внимания на происхождение и сан отъезжающего, стали бросать в него комьями земли и кричать: «Ату его! Ату!»

Поднялась такая свалка, что воевода познанский прибежал с несколькими ротмистрами успокаивать шляхту, уверяя, что староста взял отпуск только на неделю по очень важным делам.

Но дурной пример подействовал; и в тот же день нашлось несколько сот человек шляхты, которые не захотели быть хуже старосты, хотя и удирали с меньшей свитой и тайком. Пан Станислав Скшетуский, ротмистр калишский, рвал на себе волосы, так как и его пехота, следуя примеру товарищей, стала удирать из лагеря. Опять собрали совет, в котором толпы шляхты обязательно хотели принять участие. Настала бурная ночь, полная криков и споров. Все подозревали друг друга в намерении сбежать. Восклицания: «Все или никто!» — переходили из уст в уста.

Поминутно возникали слухи о намерении воевод бежать, и в лагере поднялось такое волнение, что воеводы принуждены были несколько раз показываться вооруженной толпе. Наутро несколько тысяч человек сидело на конях, а между ними ездил воевода познанский с открытой головой, похожий на римского сенатора, и повторял торжественным тоном:

— С вами, мосци-панове, жить и умирать!

В некоторых местах его встречали радостными криками, в других — насмешками; он, едва успокоив толпу, возвратился на совет, уставший, охрипший, упоенный собственными словами и уверенный, что в эту ночь он оказал отечеству огромные услуги.

Но на совете он не находил слов, а в отчаянии хватался за голову и кричал:

— Советуйте, Панове, если умеете... а я умываю руки, потому что с такими солдатами невозможно защищаться!

— Ясновельможный воевода, — ответил пан Станислав Скшетуский, — сам неприятель усмирят эти волнения. Пусть только запоят пушки, пусть только начнется осада — каждый в интересах собственной жизни будет стоять на валах, а не безобразничать в лагере. Так уж не раз было!

— Да чем защищаться? У нас нет пушек, кроме двух «виватувок», из которых можно стрелять во время пиров.

— У Хмельницкого под Збаражем было семьдесят орудий, а у князя Еремии только несколько октав да гранатников.

— Но у него было войско, а не ополченцы; известные во всем мире полки, а не то что их милости, шляхта, которая только и умеет, что баранов стричь.

— Послать за паном Владиславом Скорашевским, — сказал познанский каштелян, пан Сендзивой Чарнковский, — и назначить его обозным. Он пользуется расположением шляхты и сумеет ее сдержать.

— Послать за Скорашевским! — повторил Андрей Грудзинский, воевода калишский. — Чего ему сидеть в Чаплинке!

И послали гонца за Скорашевским.

Других постановлений на совете сделано не было, зато все жаловались и сетовали на короля, на королеву, на недостаток в войске. Следующее утро принесло мало утешительного. Кто-то вдруг пустил слух, что иноверцы, а именно кальвинисты, сочувствуют шведам и при первом удобном случае намерены перейти на их сторону. Но главное, ни Шлихтинг, ни Курнатовские, Эдмунд и Яцек, которые были

кальвинистами, не старались опровергнуть этого слуха, хотя были преданы отчизне. Напротив, они подтверждали, что иноверцы составили особый кружок под председательством пана Рея, который некогда служил в немецком войске и был другом шведов. Едва распространилась эта весть, как несколько тысяч человек обнажили сабли, и началась настоящая буря.

— Мы кормим изменников! Мы кормим змей, которые готовы жалить лоно матери! — кричала шляхта.

— Давайте их сюда!

— Вырезать их до одного! Измена заразительна, мосци-панове! Вырвать зло с корнем, иначе все мы погибнем!

Воеводам и ротмистрам пришлось снова успокаивать толпу, но это было еще труднее, чем вчера. Сами они были убеждены, что Рей может открыто изменить отчизне, так как это был иностранец, в котором, кроме речи, не было ничего польского. Решено было выслать его из лагеря, что сразу несколько успокоило взволнованную толпу. Но долго еще раздавались крики:

— Давайте его сюда! Измена! Измена!

Странное настроение воцарилось под конец в лагере. Одни пали духом и погрузились в печаль, другие молча ходили вдоль валов, бросая тревожные взгляды на равнины, где должен был показаться неприятель, или шепотом передавали друг другу все худшие новости. Некоторыми овладевало бешеное веселье и готовность умереть, и они устраивали пиры, чтобы весело провести остаток дней. Некоторые думали о спасении души и ночи проводили в молитвах. Никто не рассчитывал на победу, несмотря на то что силы неприятеля ничуть не превышали сил поляков; у них только было больше орудий, дисциплинированные солдаты и полководец, знавший толк в войне.

Пока польский лагерь шумел, волновался, пировал, бурлил и успокаивался, как море под ветром, пока посполитое рушение совещалось, точно перед выборами короля, по отлогим зеленым лугам спокойно подвигались полчища шведов.

Впереди всех шла бригада королевской гвардии; вел ее Бенедикт Горн, имя которого немцы произносили со страхом. Рослые, здоровые солдаты его были одеты в гребенчатые шлемы, в желтые кожаные кафтаны и вооружены рапирами и мушкетами.

Немец Карл Шеддинг вел следующую, вестготландскую, бригаду, состоявшую из двух полков пехоты и одного полка тяжелых рейтар, одетых в панцири без наплечников; у половины пехоты были мушкеты, а у другой — копья. В начале битвы мушкетеры выступали вперед, а в случае атаки их заменяли копейщики, которые, укрепив один конец копья в землю, другой подставляли навстречу коннице. Во времена Сигизмунда III под Тжцянной один полк гусар разнес саблями и лошадиными копытами эту самую вестготландскую бригаду, в которой служили, главным образом, немцы.

Две смаландские бригады вел Ирвин, прозванный Безруким, так как потерял правую руку, защищая знамя, зато в левой у него была такая сила, что одним взмахом он мог отрубить лошади голову. Это был мрачный солдат, любящий войну и кровопролитие, суровый как к себе, так и к солдатам. В то время как другие капитаны благодаря частым войнам превратились в ремесленников, он оставался фанатиком и убивал людей, распевая священные псалмы.

Вестмаландская бригада шла под командой Дракенборга, а гельсингерская, состоявшая из известнейших в мире стрелков, — под командой Густава Оксенсьерна, родственника известного канцлера, еще молодого воина, подающего большие надежды. Во главе эстготландской бригады стоял полковник Ферзен, а нерикскую и вермландскую вел сам Виттенберг, который вместе с тем был главнокомандующим всей армии.

Семьдесят два орудия взрывали борозды по сырым лугам; всего войска было семнадцать тысяч солдат, с которыми могла сравниться разве лишь французская королевская гвардия.

Лес копий торчал над массой голов, шлемов и шляп, а среди них над этим лесом развевались белые знамена с голубыми крестами посредине.

С каждым днем уменьшалось расстояние, разделявшее два войска.

Наконец двадцать седьмого июля в лесу, близ деревушки Гейнрихсдорф, шведы увидели польский пограничный столб. При виде его раздался восторженный крик; загремели трубы, загудели котлы и барабаны, развернулись все знамена; Виттенберг, окруженный великолепным штабом, выехал вперед; перед ним проходили полки, отдавая честь. Был полдень, дивная погода. Лесной воздух пахнул смолой.

Серая, залитая солнечными лучами дорога, по которой проходили шведские полки, выходя из гейнрихсдорфского леса, терялась в отдалении. Когда войска миновали лес, глазам их представились желтеющие поля, группы деревьев, зеленые луга. Там, где на лугах просвечивала вода, важно расхаживали аисты.

Какая-то тишина и сладость были разлиты по этой стране, текущей млеком и медом. Казалось, что она широко раскрывает свои объятия навстречу дорогим гостям, а не врагам.

При виде этой картины новый крик вырвался из груди этих солдат, особенно природных шведов, привыкших к дикой, бедной природе родного края. В сердцах этого хищного, бедного народа вспыхнула жажда обладания этими богатствами, которые открывались перед их глазами.

Но солдаты, закаленные в боях Тридцатилетней войны, знали, что им этого нелегко достигнуть, ибо эту благодатную страну населял храбрый народ, который умел ее защищать. Шведы еще не забыли страшного разгрома под Кирхгольмом, где три тысячи гусар под командой Ходкевича уничтожили дотла восемнадцать тысяч лучшего шведского войска. В деревнях Вестготланда, Смаланда и Далекарлии рассказывали об этих крылатых рыцарях, как о великанах из саги... Свежо еще было воспоминание о войнах Густава-Адольфа, ибо не вымерли еще люди, принимавшие в них участие. Скандинавский орел дважды поломал свои когти о войска Конецпольского.

Поэтому к радости примешивалась в шведских сердцах и некоторая доля страха, которого не был чужд и сам вождь, Виттенберг. Он смотрел на проходившие полки пехоты, как пастырь на своих овец, затем обратился к толстому человеку в шляпе с пером и в светлом парике, локоны которого спадали ему на плечи...

— Вы уверены, сударь, — сказал он, — что с этими силами можно победить войска, стоящие под Устьем?

Человек в светлом парике улыбнулся:

— Ваша милость может быть вполне спокойна. Если бы под Устьем были регулярные войска и кто-нибудь из гетманов, я первый бы посоветовал подождать, пока его королевское величество не подоспеет с армией, но против ополченцев и этих панов войска нашего более чем достаточно.

— А не пришлют ли им какого-нибудь подкрепления?

— Не пришлют по двум причинам: во-первых, потому, что все войска, которых вообще немного, заняты в Литве и на Украине; во-вторых, потому, что в Варшаве ни король Ян Казимир, ни его канцлеры, ни сенат не хотят до сих пор верить, что его королевское величество, король Карл-Густав, несмотря на перемирие и последнее посольство, начнет войну. Они надеются заключить мир, хотя бы в последнюю минуту.

Толстяк, сняв шляпу, вытер пот с красного лица, а затем прибавил:

— Трубецкой и Долгорукий на Литве, Хмельницкий на Украине, а мы входим в Великопольшу... Вот к чему привело правление Яна Казимира!

Виттенберг посмотрел на него странным взглядом и, помолчав, спросил:

— А вас это радует?

— А меня радует, что будут отомщены мои обиды и мое невинное осуждение; кроме того, я вижу как на ладони, что сабля вашей милости и мои советы возденут эту прекраснейшую в мире корону на голову Карла-Густава.

Виттенберг окинул взглядом леса, поля и луга и сказал, помолчав:

— Да, это плодородная и прекрасная страна. Вы можете быть уверены, что по окончании войны его величество никому другому не доверит управления этой страной.

Толстяк снова снял шляпу.

— И я не желаю служить другому государю! — прибавил он, подняв глаза к небу...

Небо было чисто и прозрачно; ни одна молния не грянула на голову изменника, который предавал свою отчизну, обремененную и без того двумя войнами, в руки неприятеля. Человек, разговаривавший с Виттенбергом, был не кто иной, как Радзейовский, бывший подканцлер коронный, продавшийся шведам.

Некоторое время оба молчали; между тем две последние бригады, нерикская и вермландская, прошли границу, за ними прошла артиллерия; звуки труб, гул котлов и барабанов заглушали шаги солдат и наполняли лес зловещим эхо. Наконец проехал штаб. Радзейовский ехал рядом с Виттенбергом...

— Оксенсьерна не видно, — сказал Виттенберг. — Не случилось ли с ним какого-нибудь несчастья... Хорошо ли я сделал, послав его с письмами в Устье?

— Хорошо, — ответил Радзейовский, — по крайней мере, он узнает положение войск, увидит воевод, выведает их образ мыслей, а с такими поручениями нельзя было послать кого-нибудь.

— А если его узнают?

— Один Рей его знает, а он — наш; впрочем, если бы его и узнали, то ничего не сделают, даже наградят. Я знаю поляков, они готовы на все, лишь бы только в глазах других прослыть обходительным народом; поэтому вы можете быть за Оксенсьерна покойны, ни один волос не спадет у него с головы. А не вернулся он до сих пор, потому что не успел.

— А как вы думаете, принесут ли наши письма какую-нибудь пользу? Радзейовский расхохотался:

— Если вы, ваша милость, позволите мне быть пророком, то я предскажу все, что случится. Воевода познанский — прекрасный дипломат и ученый, поэтому ответит нам любезно. Но так как он любит разыгрывать роль римлянина, то и ответ его будет полон римского величия; во-первых, он ответит, что предпочитает пролить последнюю каплю крови, чем сдаться, что смерть лучше бесславия и что любовь к отчизне повелевает ему лечь костями на ее границе.

Радзейовский рассмеялся громче прежнего, а мрачное лицо Виттенберга прояснилось.

— А вы не думаете, что он готов сделать так, как пишет? — спросил Виттенберг.

— Он? — ответил Радзейовский. — Правда, он любит отчизну, но любовь эта более тоща, чем его шут, который помогает ему писать стихи. Я уверен, что вслед за римским ответом последуют всякие пожелания, уверения в любви и преданности и, наконец, покорнейшая просьба, чтобы мы пощадили имения его и его родных, за что он, вместе со своими родственниками, будет вечно нам благодарен.

— А каков же будет результат наших писем?

— Тот, что они окончательно упадут духом, а паны сенаторы вступят с нами в переговоры; и затем, после нескольких выстрелов на воздух, мы займем Великопольшу.

— Дай Бог, чтобы вы были правдивым пророком.

— Я уверен, что так будет, ибо знаю этих людей. У меня есть там много сторонников и друзей, и я знаю, как приняться за дело. Я ничего не забуду, порукой в этом — оскорбление, нанесенное мне Яном Казимиром, и любовь к Карлу-Густаву. Наши больше интересуются своими поместьями, чем благом родины. Все эти земли, по которым мы будем проходить, все это поместья Опалинских, Чарнковских и Грудзинских, а они-то и стоят под Устьем и поэтому будут при переговорах покладисты, а что касается шляхты, то она, понятно, пойдет за панами воеводами.

— Своим знанием страны и ее жителей вы, ваша милость, оказываете его королевскому величеству такие услуги, которые не могут остаться без соответственной награды. Из всего вами сказанного я прихожу к заключению, что эта страна уже наша.

— Вполне можете! Вполне! Вполне! — повторил несколько раз Радзейовский.

— А в таком случае я занимаю ее именем его королевского величества Карла-Густава, — произнес серьезно Виттенберг.

Раньше чем шведские войска за Гейнрихсдорфом вступили в великопольскую землю, восемнадцатого июля в Устье прибыл шведский трубач с письмами от Радзейовского и Виттенберга.

Пан Владислав Скорашевский сам повел трубача к воеводе познанскому, а шляхта из ополченцев с удивлением присматривалась к «первому шведу», восхищаясь его выправкой, мужественным лицом и истинно панской осанкой. Толпа провожала его до самого воеводы, знакомые подзывали друг друга, указывая на него пальцами, смеялись над его сапогами с длинными и широкими голенищами и над длинной рапирой (которую прозвали «рожном»), висевшей на расшитом серебром поясе. Швед тоже бросал любопытные взгляды из-под широкой шляпы, как бы стараясь рассмотреть и пересчитать силы поляков, то разглядывал ополченцев, восточные наряды которых были для него новинкой.

Наконец его ввели к воеводе, где находились и все сановники, бывшие в лагере.

После прочтения писем началось совещание; воевода же поручил своим придворным угостить трубача по-солдатски, потом его перехватила шляхта и стала с ним пьянствовать; Скорашевский пристально всматривался в трубача и заподозрил в нем переодетого офицера, вечером он и высказал это подозрение воеводе, но тот все-таки не позволил его арестовать.

— Будь это сам Виттенберг, — сказал он, — все же это посол и должен уехать неприкосновенным. Я прикажу еще дать ему десять червонцев на дорогу.

Трубач между тем болтал на ломаном немецком языке со шляхтой, знавшей этот язык благодаря сношениям с прусскими городами, рассказывал о победах Виттенберга в различных краях, о численности войск, стоящих под Устьем, а особенно о необыкновенных орудиях. Все эти рассказы быстро облетели весь лагерь и взволновали шляхту.

В эту ночь никто почти не спал; во-первых, в полночь пришли отряды, стоящие под Пилой и Велюнем, затем сенаторы до утра совещались о том, как ответить Виттенбергу, а шляхта провела ночь в рассказах о шведском могуществе.

Она с лихорадочным любопытством расспрашивала трубача о шведских начальниках, о вооружении, о состоянии шведских войск. Близость неприятеля возбуждала необыкновенный интерес даже к каждой подробности, и все, что они слышали, не могло их особенно ободрить.

На рассвете приехал пан Станислав Скорашевский с известием, что шведы уже под Валчем и через день могут быть здесь. Шляхта засуетилась; почти все лошади были на пастбище, пришлось за ними посылать. Полки сели наконец на лошадей. Настала самая страшная минута для этих людей, не привыкших к войне: минута перед битвой. Ротмистрам стоило немало труда водворить хоть некоторый порядок. Не было слышно ни слов команды, ни труб, только слышались со всех сторон голоса:

«Ян!», «Петр!», «Онуфрий!», «Где ты?», «Давай лошадь!» Если бы в эту минуту раздался хоть один пушечный выстрел, то он вызвал бы полную панику.

Но понемногу полки выстраивались; врожденная склонность шляхты к войне возместила ее неопытность, и к полудню ополчение приняло вполне боевой вид. Пехота стояла на валах, своими разноцветными одеждами напоминая цветы, а за валами, под защитой орудий, равнина запестрела полками поветовой конницы: ржание лошадей отдавалось эхом в прилегавших лесах и волновало сердца воинов.

Между тем воевода познанский, наградив шведского трубача, отпустил его с ответными письмами, более или менее оправдавшими предсказания Радзейовского; потом он приказал послать отряд на западный берег Нотеци для разведок.

Петр Опалинский, воевода полесский, двинулся во главе отряда драгун под Устье; кроме того, ротмистрам Скорашевскому и Скшетускому приказано было выбрать охотников из шляхты и послать их поближе посмотреть в глаза неприятелю.

Оба ротмистра, объезжая ряды войск, вызывали охотников познакомиться со шведами, но объехали уже большую половину, а никто еще не выходил. Все посматривали друг на друга, как бы говоря: «Если ты пойдешь, то и я».

Ротмистры уже начали выходить из терпения, как вдруг, подъехав к шляхте Гнезненского уезда, они заметили какого-то человека, одетого в пестрый костюм, который выдвинулся вперед и крикнул:

- Панове ополченцы, я иду в охотники, а вы — в шуты!
- Осторожка! Осторожка! — закричала шляхта.
- Я такой же шляхтич, как и вы! — ответил шут.
- Тьфу, черт! Довольно шутить! — воскликнул судья Росинский. — Я иду!
- И я, и я! — отозвались многочисленные голоса.
- Раз родиться, раз и умереть!
- Найдутся еще кроме вас.
- Никому не запрещено. Нечего перед другими нос задирать!

И как прежде охотников не находилось, так теперь они являлись со всех сторон. В несколько минут из рядов выехало пятьсот охотников-кавалеристов, а новые все выезжали и выезжали. Скорашевский, видя это, рассмеялся своим искренним, добродушным смехом:

- Довольно, довольно, панове! Мы все идти не можем.

Потом он со Скшетуским привел людей в надлежащий порядок, и отряд тронулся.

Воевода полесский тоже присоединился к ним, и вскоре они переправились через Нотец, а затем скрылись на повороте.

Через полчаса воевода познанский велел людям разойтись по палаткам, так как немыслимо было держать их в строю даже теперь, когда неприятель был еще на расстоянии целого дня пути от лагеря. Но на всякий случай была расставлена многочисленная стража; запрещено было выгонять лошадей на пастбище и приказано садиться на коней по первому сигналу трубы.

Кончилось, наконец, ожидание, кончились и ссоры; близость неприятеля, как и предсказывал Скшетуский, вызвала подъем духа. Первое удачное сражение могло бы поднять его очень высоко; вечером произошел случай, предвещавший счастливый исход войны.

Солнце уже садилось, заливая последним ослепительным блеском Нотец и занотецкие леса, как вдруг на другом берегу реки поднялось облако пыли, и среди него задвигались какие-то люди. Все вышли на валы и с нетерпением стали всматриваться в даль. Спустя некоторое время от Грудзинского прибежал гонец с известием, что отряд его возвращается назад.

- Возвращаются назад. Не съели их шведы, — раздались голоса.

Между тем отряд подходил все ближе и, наконец, переправился через Нотец.

Шляхта присматривалась к нему, держа руки над глазами, так как блеск солнца становился все сильнее, и казалось, что весь воздух пропитан пурпуром и золотом.

— Э, да отряд, кажется, увеличился, — воскликнул Шлихтинг.

— Верно, пленных ведут! — крикнул какой-то шляхтич, должно быть трус, не веря своим глазам.

— Пленных ведут, пленных ведут! — прогремело по валам.

Наконец отряд приблизился настолько, что можно было различить лица. Впереди ехал пан Скорашевский, кивая, по обыкновению, головой и весело болтая со Скшетуским; за ними шла конница, окружавшая несколько десятков пехотинцев в круглых шляпах. Это действительно были шведы, взятые в плен. При виде их шляхта побежала навстречу отряду с криком:

— Виват Скорашевский! Виват Скшетуский!

Толпа тотчас же окружила отряд. Одни с любопытством смотрели на пленных, другие расспрашивали солдат, каким образом их захватили, третьи насмехались над шведами.

— А что? Так вам и надо, собачьи дети! С поляками захотелось воевать? Вот вам поляки!

— Давайте их нам! В сабли их! Изрубить!

— Ну что, нехристи, попробовали вы польских сабель?

— Мосци-панове, не кричите, как мальчишки, не то пленные подумают, что война для вас новинка! — сказал Скорашевский. — Это самая обыкновенная вещь, на войне ведь всегда берут в плен!

Охотники, участвовавшие в экспедиции, с гордостью посматривали на шляхту, которая забрасывала их вопросами.

— Ну как? Легко они дались вам или пришлось-таки потрудиться?.. Хорошо дерутся?

— Молодцы, — ответил пан Росинский, — защищались хорошо, но, видно, и они не из железа... Поддались наконец, не выдержали напора.

— Слышите, мосци-панове, не выдержали напора! А что? Напор — первое дело!

— Напор — лучшее средство против шведа! Помните!

Если бы этой шляхте приказали в эту минуту броситься на неприятеля, у нее хватило бы сил и для напора, но неприятеля не было видно, а вместо него около полуночи перед форпостом раздался новый звук трубы. Приехал другой шведский трубач с письмом от Виттенберга, который предлагал шляхте сдаться. Узнав об этом, толпа хотела зарубить посла, но воеводы решили обсудить письмо, хотя содержание его было попросту наглым.

Шведский генерал объявлял, что Карл-Густав посылает войска своему родственнику Яну Казимиру на помощь против казаков, и поэтому великополяки должны сдаться без сопротивления. Грудзинский, читая это письмо, не мог удержаться и стукнул в ярости кулаком по столу, но воевода познанский успокоил его вопросом:

— Вы верите, ваша милость, в победу? Сколько дней мы можем защищаться? Возьмете ли вы на себя ответственность за шляхетскую кровь, которая может завтра пролиться?

После продолжительного совещания воеводы решили не отвечать Виттенбергу, а ждать, что будет дальше. Но ждать пришлось недолго. 24 июля стража дала знать, что шведские войска уже перед Пилой. В лагере зашумело, как в улье.

Шляхта садилась на коней, воеводы проезжали вдоль рядов, отдавая противоречивые приказания; наконец, Скшетуский привел все в порядок и выехал во главе нескольких сот охотников, чтобы затеять стычку с неприятелем. Конница пошла за ним довольно охотно, так как первые стычки состояли обычно из ряда отдельных столкновений и даже поединков, и шляхта, умевшая фехтовать, таких стычек не

боялась. Вышли за реку и остановились в виду неприятеля, который подходил все ближе и чернел на горизонте длинной линией. Развертывались пешие и конные полки, занимая все большее пространство. Шляхта думала, что рейтары, увидев поляков, сейчас же бросятся на них, но ошиблась. На возвышенностях, находившихся от них в нескольких сотнях шагов, показались небольшие группы всадников, стоявших на месте; увидев их, Скорашевский скомандовал:

— Налево кругом!

Но не успела прозвучать его команда, как на возвышенности показались белые облака дыма, и пули, словно стая птиц, прожужжали над головами шляхты; слышались крики и стоны раненых.

— Стой! — крикнул пан Скорашевский.

Пули прожужжали во второй и в третий раз, и снова слышались стоны раненых. Шляхта не слушала команды начальника и быстро отступала, крича и взывая о помощи. Скорашевский ругался, но это не помогало.

Прогнав с такой легкостью передовой отряд, Виттенберг подвигался дальше и наконец остановился у Устья, прямо против шанцев, защищаемых калишской шляхтой. Поляки начали стрелять из пушек, но шведы не отвечали. Дым тянулся длинными полосами в прозрачном воздухе, а в промежутках виднелись полки шведской пехоты и конницы, развертывавшиеся с таким спокойствием, точно они были уверены в победе.

Шведы стали устанавливать на возвышенностях пушки, возводить окопы, словом, укрепляться, не обращая никакого внимания на град пуль, которые только взрывали землю перед окопами.

Станислав Скетуский вывел из окопов два полка калишан, рассчитывая смелой атакой смять шведов; но шляхта шла неохотно, отряд растянулся в бесформенную массу — смельчаки мчались вперед, трусы сдерживали своих лошадей. Виттенберг послал против них два полка рейтар, которые после непродолжительной борьбы прогнали шляхту к лагерю.

Между тем наступили сумерки и закончили бескровный бой.

Но выстрелы из пушек не прекращались до поздней ночи; в польском лагере поднялся такой шум, что его слышно было на другом берегу Нотеци. Вызван он был тем, что несколько сот ополченцев, воспользовавшись темнотой, попытались скрыться из лагеря. Заметив это, шляхта их непустила. Схватились за сабли. Слова: «Или все, или никто» — снова переходили из уст в уста. Но с каждой минутой становилось вероятнее, что уйдут все. Шляхта выражала свое неудовольствие против вождей. «Нас выслали против пушек с голыми руками», — кричали ополченцы.

Это была страшная ночь: беспорядок и суматоха росли с каждой минутой, никто не слушал приказаний. Воеводы потеряли головы и не пробовали даже водворять порядок. Беспомощность их, как и беспомощность войска, сказывалась во всем. Виттенберг мог бы в эту ночь овладеть лагерем почти без боя.

Рассвело. Бледное утро осветило это хаотическое сборище упавших духом людей, частью пьяных, готовых скорее на позор, чем на борьбу. К довершению всего шведы переправились ночью под Дзембовом на другую сторону Нотеци и окружили польский лагерь.

С этой стороны не было почти никаких окопов, и нельзя было защищаться; следовало немедленно же возвести окопы, о чем и заботились более всего Скорашевский и Скетуский, но их никто не хотел слушать. У вождей и у шляхты на устах было только одно: «Послать парламентаров!» В ответ на предложение поляков в лагерь прибыл великолепный отряд, во главе которого были генерал Виртц и Радзейовский, оба с зелеными ветвями в руках.

Ехали к дому воеводы познанского. По дороге Радзейовский остановился среди

толпы шляхты и, сняв шляпу, здоровался со знакомыми, улыбался и наконец произнес громким голосом:

— Мосци-панове, дорогие мои братья! Не тревожьтесь! Мы приехали сюда не как враги. От вас самих зависит прекратить кровопролитие. Если хотите, вместо тирана, посягающего на вашу свободу, мечтающего об *absolutum dominium* и приведшего отечество к гибели, если хотите — повторяю — иметь государя доброго, великодушного, воина столь славного, что при одном его имени разбегутся все враги Речи Посполитой, то отдайтесь под покровительство его величества, короля Карла-Густава... Мосци-панове, я везу вам обеспечение вашей свободы и религии, от вас самих зависит ваше спасение. Его величество король Карл обещает успокоить казаков и прекратить литовскую войну¹¹, и он один сумеет это сделать. Сжальтесь же над несчастной отчизной, если не хотите сжалиться над собою...

Голос изменника дрогнул, точно от слез. Шляхта слушала его с изумлением. Кое-где раздавались голоса: «Виват Радзейовский, наш подканцлер!» Между тем он ехал далее, снова раскланивался со шляхтой, и все раздавался его громкий голос. Наконец оба они с Виртцем и всей свитой скрылись в доме воеводы познанского.

Шляхта столпилась перед домом так тесно, что по головам можно было проехать. Она чувствовала и понимала, что там решается участь не только ее, но и всей отчизны. Вдруг вышли слуги воеводы и стали приглашать более знатных лиц в комнаты; за ними пробралось и несколько человек мелкой шляхты, остальные ожидали у крыльца, теснились к окнам, прикладывали Уши даже к стенам.

Царило глубокое молчание. Стоявшие ближе к окнам слышали порою шум громких голосов; но час проходил за часом, а совещание все еще не кончалось.

Вдруг дверь с треском открылась, и на крыльцо выбежал пан Владислав Скорашевский.

Шляхта попятилась в ужасе.

Человек этот, всегда такой спокойный и ласковый, о котором говорили, что под его рукой заживают раны, был теперь страшен. Глаза его были красны, взгляд безумен, платье расстегнуто на груди; обеими руками он держался за голову и, ворвавшись, как ураган, в толпу шляхты, кричал отчаянным голосом:

— Измена! Позор! Мы уже больше не поляки, а шведы!

И он стал рыдать страшным голосом и рвать на себе волосы, как человек, потерявший рассудок. Гробовое молчание царило вокруг. Всеми овладело какое-то страшное предчувствие. Скорашевский вскочил вдруг и опять начал бегать среди шляхты и кричать голосом, полным отчаяния:

— К оружию, к оружию! Кто в Бога верует!

Тогда в толпе послышался какой-то прерывистый шепот, точно первый порыв ветра перед бурей; люди колебались, а в это время трагический голос не переставал повторять:

— К оружию! К оружию!

Вскоре к нему присоединились и два другие: Скшетуского и ротмистра познанского полка, Клодзинского.

Их окружила толпа шляхты. Поднялся грозный ропот; лица вспыхнули огнем, глаза разгорелись, и некоторые хватались за сабли. Наконец Скорашевский овладел собой и, указывая на дом, в котором происходили переговоры, произнес:

— Слышите, мосци-панове. Они там, как Иуды, предают и позорят отчизну. Знайте, что нет уж Польши... Им мало отдать в руки неприятеля вас всех, войско, орудия, весь лагерь. Они еще подписали от нашего имени, что мы отказываемся от связи с отчизной, отрекаемся от государя, что вся страна, все города и крепости на

¹¹ Т.е. войну Речи Посполитой с Русским государством.

вечные времена принадлежат Швеции. Что сдается войско — это часто бывает; но кто имеет право отречься от своей отчизны, государя?! Кто может присоединять отчизну к чужому народу, отречься от родной матери?! Ведь это измена, позор, Панове братья! Кто шляхтич, спасайте отчизну. Пожертвуем своей жизнью, прольем кровь до последней капли, но не будем шведами, нет! Пусть бы лучше не родился тот, кто теперь жалеет свою кровь. Спасем мать-отчизну!

— Измена! — крикнуло несколько голосов. — Измена! Руби их!

— Кто чести не потерял, за мной! — кричал Скшетуский.

— На шведа, на смерть! — прибавил Клодзинский.

И они пошли дальше по лагерю с криком: «За нами, за нами! Измена!» — а за ними пошло несколько сот человек шляхты с обнаженными саблями.

Но большинство осталось на месте, да и те, что пошли, как только заметили, что их мало, начали приостанавливаться и оглядываться на других.

В это время дверь дома открылась снова, и на пороге появился воевода познанский Кристофор Опалинский в сопровождении генерала Виртца и Радзейовского, за ними шли: Андрей Грудзинский, Максимилиан Мясковский, Павел Гембицкий и Андрей Слупский.

Опалинский держал в руке сверток пергамента со свешивающимися печатями; голову он держал высоко, но лицо его было бледно, хотя он старался казаться веселым. Окинув взглядом толпу, среди которой царило мертвое молчание, он отчетливо, слегка хриповатым голосом произнес:

— Мосци-панове, с сегодняшнего дня мы отдаемся под покровительство его величества короля шведского. Да здравствует король Карл-Густав!

Молчание было ему ответом; вдруг загремел чей-то голос:

— Veto!¹²

Воевода взглянул туда, откуда раздался голос, и ответил:

— Здесь не сеймик, veto неуместно. Кто хочет перечить, пусть идет под шведские пушки, которые через час превратят лагерь в развалины.

После минутного молчания он спросил:

— Кто сказал «veto»?

Никто не откликнулся.

Воевода продолжал еще более отчетливым голосом:

— Свобода шляхты и духовенства будет сохранена; подати не будут увеличены и будут собираться в том же порядке, как и раньше. Теперь никто уже не будет терпеть ни обид, ни грабежей; войска его величества будут иметь право постоя в шляхетских имениях, но шляхта не обязана их содержать.

Он замолчал и жадно слушал шум голосов в толпе, точно силясь понять его смысл. Потом опять поднял руку:

— Кроме того, мы заручились словом генерала Виттенберга, данным от имени короля, что если вся страна последует нашему примеру, то войска его пойдут на Литву и Украину и будут драться до тех пор, пока все замки не будут возвращены Речи Посполитой. Да здравствует король Карл-Густав!

— Да здравствует король Карл-Густав! — пронеслось по всему лагерю.

Тут, на глазах у всех, воевода стал обниматься с Радзейовским и Виртцем, а затем его примеру последовали другие. Радостные крики огласили воздух. Но воевода познанский просил еще слова:

— Мосци-панове, генерал Виттенберг приглашает нас к себе на пир, чтобы за бокалами вина скрепить братский союз с мужественным народом.

— Да здравствует Виттенберг! Виват! Виват!

¹² Запрещаю! (лат.).

— А затем, мосци-панове, мы разойдемся по домам и с Божьей помощью примемся за жатву, с той мыслью, что спасли сегодня нашу отчизну от гибели.

— История воздаст вам должное! — сказал Радзейовский.

— Аминь! — закончил воевода познанский.

Вдруг он заметил, что глаза всех устремлены на что-то над его головой. Обернувшись, он увидел, что его шут, поднявшись на цыпочки и одной рукой держась за дверь, пишет на стене углем: «Мене — Текел — Фарес»¹³. Небо было покрыто тучами; собиралась буря.

XI

В деревне Буржец, расположенной на границе Полесского воеводства и принадлежавшей в то время Скшетуским, в саду, между домом и прудом, сидел на скамейке старик, а у его ног играли два мальчика, четырех и пяти лет, загорелые и черные, как цыганята, здоровые и румяные. У старика тоже был бодрый вид. Время не согнуло его широких плеч, по взгляду его глаз, или, вернее, одного глаза, так как другой был покрыт бельмом, было видно, что он пользуется цветущим здоровьем и хорошим расположением духа; у него была седая борода, лицо красное, а на лбу широкий рубец, под которым виднелась кость черепа.

Оба мальчика, схватившись за уши голенищ его сапог, тащили их в разные стороны, а он между тем смотрел на освещенный солнечными лучами пруд, где весело прыгали рыбки, зыбля гладкую поверхность воды.

— Рыбы пляшут, — пробормотал он про себя. — Погодите, не так вы запляшете на столе, когда вас кухарка ножом будет чистить.

Потом он обратился к мальчикам:

— Да отвяжитесь наконец, сорванцы; если кто-нибудь из вас оторвет мне ухо от голенища, я ему тоже уши оборву. Что за несносные жуки! Идите и кувыркайтесь на траве, а меня оставьте в покое; я не удивляюсь Лонгину — он маленький, но ты должен уже быть умнее, Еремка. Вот схвачу вас да и брошу в пруд.

Но эта угроза, видимо, не особенно испугала их; напротив, старший, Еремка, стал еще сильнее теревить голенище, топоча ножками и повторяя:

— Если бы ты, дедушка, был Богуном и схватил Лонгина.

— Говорю тебе, отвяжись от меня, жук ты этакий.

— Если бы ты был Богуном...

— Я тебе задам Богуну... Вот сейчас мать позову.

Еремка взглянул на дверь, ведущую из дома в сад, но, не видя нигде матери, еще раз повторил, вытягивая губы:

— Если бы ты был Богуном...

— Замучат меня эти бесенята... Ну хорошо, я буду Богуном, но только один раз. Наказание Божье с ними. Помни, чтобы это было в последний раз!

С этими словами старик со вздохом поднялся со скамьи, схватил маленького Лонгина и, издав дикий крик, понес его по направлению к пруду.

Но у Лонгина был надежный защитник в лице Еремки, который в таких случаях назывался не Еремкой, а драгунским ротмистром паном Володыевским.

Пан Михал, вооружившись липовым прутом, заменявшим в данном случае саблю, пустился в погоню за толстым Богуном, догнал его наконец и стал немилосердно хлестать его по ногам.

Лонгинек, играющий в эту минуту роль матери, кричал, Богун кричал, Еремка-Володыевский тоже кричал; наконец мужество одержало верх, и Богун,

¹³ Сочтено — взвешено — измерено (*халдейск.*).

выпустив свою жертву, начал удирать назад под липу, затем сел на скамью и, запыхавшись, сказал:

— Ах вы, басурманы! Чудо будет, если я не задохнусь...

Но этим не кончились его мучения, через минуту перед ним опять стоял Ерема с разбурявшимся лицом, растрепанными волосами, раздувающимся ноздрями и похожий на маленького ястреба и еще настойчивее повторял:

— Если бы ты, дедушка, был Богом...

Затем, после усиленных просьб и торжественного обещания, что это в последний раз, опять повторилась та же история, потом они сели на скамью, и Еремка стал спрашивать:

— Дедушка, скажи, пожалуйста, кто из нас самый храбрый.

— Ты, ты, — ответил старик.

— И когда вырасту, я буду рыцарем?

— Еще бы... В тебе настоящая рыцарская кровь. Дай Бог, чтобы ты был похож на отца; тогда ты будешь не только храбр, но и не так надоедлив... Понимаешь?

— Скажи, сколько человек папа убил?

— Да я уже сто раз говорил. Скорее можно было бы сосчитать листья на этой липе, чем всех тех врагов, которых мы убили с твоим отцом. Если бы у меня было столько волос на голове, сколько я их сам уложил, то цирюльники давно бы нажили состояние. Будь я шельма, если я солг...

Тут Заглоба — это был он — вспомнил, что ему не годится в присутствии детей ни ругаться, ни божиться, и он, хотя и любил, за недостатком других слушателей, рассказывать о своих подвигах детям, умолк, тем более что в эту минуту рыбы в пруде начали прыгать и гоняться друг за другом еще сильнее.

— Нужно сказать садовнику, — произнес он, — на ночь поставить верши; много рыбы у самого берега.

Вдруг дверь дома отворилась, и в ней появилась молодая женщина, прелестная, как южное солнце, высокая, стройная, черноволосая, с ярким румянцем на щеках и с глазами как бархат. Трехлетний мальчик, такой же черный, как она, держался за ее платье, а она, прикрыв рукой глаза от солнца, стала смотреть по направлению к липе.

Это была Елена Скшетуская, урожденная княжна Булыга-Курцевич.

Увидев пана Заглобу с Еремкой и Лонгином, она подошла к канаве, наполненной водой, и крикнула:

— Дети, сюда. Вы там, верно, надоедаете дедушке.

— Зачем надоедают. Очень прилично себя ведут, — ответил пан Заглоба.

Мальчики подбежали к матери, а она спросила:

— Отец, что вы сегодня будете пить: дубнячок или мед?

— На обед была свинина, так мед будет соответственное.

— Сейчас пришло. Но вы, отец, не спите в саду, а то ведь лихорадку схватите.

— Сегодня тепло и не ветрено. А где же Ян, доченька?

— Пошел в ригу.

Пани Скшетуская называла Заглобу отцом, а он ее дочерью, хотя они вовсе не были родными. Ее родня жила в Заднепровье, в прежнем княжестве Вишневецком, а что касается его, то один Бог знал, откуда он был родом, ибо сам разное об этом говорил. Но в то время, когда она еще была девушкой, Заглоба оказал ей немало услуг, не раз спасал от страшных опасностей, и оба они с мужем чтили его, как родного отца. Впрочем, он пользовался огромным уважением всех окрестных жителей благодаря необыкновенному уму и необыкновенному мужеству, оказанному им во время войны с казаками.

Имя его гремело по всей Речи Посполитой; сам король восхищался его остроумиями, и вообще о нем говорили больше, чем о Скшетуском, хотя он некогда пробрался из осажденного Збаража сквозь все казачьи войска.

Несколько минут спустя после ухода пани Скшетуской казачок принес под липу ковш меда. Пан Заглоба налил, затем закрыл глаза и, хлебнув глоток, стал смаковать.

— Знал Господь, для чего создал пчел, — пробормотал он. И стал попивать маленькими глотками, тяжело вздыхая и поглядывая на пруд, на лес вдаль, синевший на том берегу.

Было два часа пополудни, на небе ни облачка. Липовый цвет падал без шелеста на землю, а на липе, между листьями, пел целый хор пчел, которые садились на край стакана и стали собирать своими косматыми ножками сладкий напиток.

Над огромным прудом, с отдаленных тростников, поднимались время от времени стаи диких уток и гусей и реяли в прозрачно-голубой выси. Иногда чернела в вышине стая журавлей, оглашая воздух громким криком.

Глаза старика то поднимались к небу, то устремлялись вдаль; наконец, по мере того как убывал мед из кувшина, веки его стали тяжелеть, а пчелы продолжали петь свою песню, точно убаюкивая его.

— Да, Бог дал дивную погоду для жатвы, — пробормотал пан Заглоба. — Сено уже убрали, да и с жатвой скоро покончат... Да...

Он закрыл глаза, потом опять открыл их, пробормотал: «Замучили меня ребяташки» — и уснул...

Заглоба спал долго. Его разбудил прохладный ветерок и разговор двух мужчин, приближавшихся к липе. Один из них был пан Ян Скшетуский, збаражский герой, оставшийся дома лечиться от упорной лихорадки; второго пан Заглоба не знал, хотя он был очень похож на Яна.

— Позвольте вам, отец, представить моего двоюродного брата, — сказал Ян, — калишского ротмистра Станислава Скшетуского.

— Вы так похожи на Яна, — произнес Заглоба, протирая глаза, — что где бы я вас ни встретил, непременно бы сказал: «Скшетуский». Вы — дорогой гость.

— Мне очень приятно познакомиться с ваць-паном, — ответил Станислав, — ибо имя ваше повторяет с благоговением вся Речь Посполитая.

— Не хвастая, скажу: делал я что мог, пока чувствовал себя сильным. Я и теперь не отказался бы от войны, потому что привычка — вторая натура. Но скажите, Панове, чем вы оба так опечалены? Ян даже побледнел.

— Станислав привез ужасные вести, — ответил Ян. — Шведы вошли в Великопольшу и заняли ее целиком своими войсками.

Пан Заглоба так быстро вскочил со скамьи, точно у него с плеч свалилось сорок лет; потом широко раскрыл глаза и невольно стал ощупывать левый бок, словно искал саблю.

— Как?! — воскликнул он. — Неужели они в самом деле ее заняли?!

— Потому что воевода познанский и другие сами отдали ее в руки неприятеля под Устьем, — ответил Станислав.

— Ради бога... Что вы говорите?! Неужто они сдались?

— Не только сдались, но и подписали договор, в котором отреклись от короля и Речи Посполитой. Отныне там уже будет Швеция, а не Польша.

— Боже милосердный... Видно, уж конец света! Что я слышу... Мы еще вчера с Яном говорили об этом. Мы слышали, что они идут, но были уверены, что все кончится ничем, а в крайнем случае тем, что наш король откажется от шведского титула.

— А между тем началось с потери провинции, а кончится бог знает чем.

— Не говорите, ваць-пане, со мной удар сделается. Как же это? И вы были под Устьем? И вы видели это собственными глазами? Да ведь это была измена, страшная, не слыханная ни в одной истории...

— Да, я был и видел все собственными глазами, а была ли это измена — вы скажете, когда я вам расскажу все. Все мы вместе с ополчением стояли под Устьем, и

было нас около пятнадцати тысяч. Правда, войска было мало, а вы, как человек сведущий, знаете лучше других, что ополченцы, в особенности великопольские, где шляхта совсем отвыкла от войны, не могут его заменить. И все же если бы нашелся настоящий вождь, можно было бы, по крайней мере, задержать неприятеля до тех пор, пока не подоспела бы помощь. Но только лишь показался Виттенберг, как уже начались переговоры. Потом приехал Радзейовский и своими доводами склонил всех сделать все то, о чем я уже говорил, то есть пойти на неслыханный позор.

— Как так? И никто не протестовал? Никто не назвал их изменниками? Все согласились на измену королю и отчизне?

— Гибнет добродетель, а с нею и Речь Посполитая... Почти все согласились. Я, двое Скорашевских, Цисвицкий и Клодзинский употребляли все усилия, чтобы воодушевить шляхту; мы бежали по лагерю от полка к полку и умоляли их не губить отчизны. Но это не помогло: большинство предпочло лучше ехать с ложками на пир к Виттенбергу, кто по домам, кто в Варшаву, уведомить обо всем короля, а я приехал к брату, надеясь, что, быть может, мы вместе пойдем против неприятеля. Какое счастье, что я вас застал дома.

— Так вы прямо из-под Устья?

— Да. Я ехал сюда почти без отдыха, одна лошадь даже пала от усталости. Шведы теперь, вероятно, в Познани и скоро наводнят всю страну.

Все умолкли. Ян сидел, закрыв лицо руками, Станислав вздыхал, Заглоба смотрел то на одного, то на другого.

— Это дурное предзнаменование, — сказал, наконец, Ян. — Прежде на десять побед приходилось одно несчастье, и мы удивляли весь мир своим мужеством! Теперь же кроме поражений случилась еще и измена, и не единичных лиц, а целых провинций. Боже, смилуйся над отчизной!

— Боже... Много я видел на свете, но и то ушам своим не верю, — сказал Заглоба.

— Ну а ты, как решил? — спросил Станислав.

— Конечно, дома не останусь, хотя меня еще трясет лихорадка. Жену и детей нужно будет усладить куда-нибудь в безопасное место. Мой родственник, королевский ловчий, пан Стабровский, живет в Беловеже. Если даже вся Речь Посполитая будет в руках шведов, то все-таки они туда не доберутся. Завтра же я отошлю жену и детей.

— Эта предосторожность не будет излишней, — ответил Станислав. — Правда, что отсюда до Великопольши далеко, но кто может поручиться, что пламя войны не охватит и наших краев.

— Нужно будет дать знать шляхте, — сказал Ян, — чтобы она позаботилась о защите, здесь никто еще ни о чем не знает.

Затем он обратился к Заглобе:

— Ну а вы, отец, пойдете с нами или останетесь с Еленой?

— Я? — сказал Заглоба. — Пойду ли? Если бы мои ноги выросли в землю, то я бы и тогда постарался их вырвать. Мне так хочется снова попробовать шведского мяса, как волку — баранины. Черти! Нехристи! Должно быть, их блохи одолели, вот ноги и чешутся, не сидится им на месте, лезут в чужие края. Знаю я их хорошо, собачьих детей. Я воевал против них с Конецпольским, и если хотите знать, кто взял в плен Густава-Адольфа, — спросите хоть покойного пана Конецпольского, я больше ничего не скажу. Знаю я их, но и они меня знают. Не иначе как узнали, шельмы, что Заглоба состарился... Погодите, вы еще его увидите! Господи милосердный, зачем ты так разгородил эту несчастную Речь Посполитую, что все соседние свиньи в нее лезут; вот и теперь три лучшие провинции изрыли. Вот что. А кто этому виной, как не изменники?! Не знала зараза, кого брать, и честных людей забрала, а изменников оставила. Пошли ее, Боже, на воеводу познанского и воеводу калишского, а прежде всего на Радзейовского со всей его семьей. А если хочешь население ада увеличить,

то пошли туда всех, кто под Устьем подписал капитуляцию. Состарился Заглоба? Вы увидите, как состарился. Ян, решай скорее, что нам делать, а то мне уж на коня хочется.

— Конечно, нужно решить. На Украину к гетманам трудно пробраться, неприятель отрезал их от Речи Посполитой; остается свободной только дорога в Крым. Счастье, что татары на нашей стороне. По-моему, лучше всего нам ехать в Варшаву, защищать нашего дорогого государя.

— Как бы нам только не опоздать, — ответил Станислав. — Его величество теперь наспех собирает полки против неприятеля и, может, уже выступил против него.

— И это может быть.

— Значит, едем в Варшаву, только поскорее, — сказал Заглоба. — Послушайте, панове. Хотя наши имена и страшны для неприятеля, но втроем мы сделаем не много, и я посоветовал бы кликнуть охотников и собрать хоть небольшой отряд в подмогу королю. Я думаю, что их легко будет уговорить, так как им все равно придется идти в ополчение. С большей силой можно больше и сделать, да и нас примут с распростертыми объятиями.

— Не удивляйтесь моим словам, — сказал Станислав, — но после того, что я видел, я питаю такое отвращение к ополченцам, что предпочитаю идти лучше один, чем с толпой людей, несведущих в военном деле.

— Вы не знаете здешней шляхты. Здесь вы ни одного человека не найдете, который бы не служил в военной службе. Все они прекрасные и опытные солдаты.

— Разве что так.

— Да как же может быть иначе? Но погодите. Ян уже знает, что если моя голова начнет работать, то что-нибудь придумает. Поэтому я жил в такой дружбе с русским воеводой, князем Еремией. Ян может подтвердить, сколько раз этот первый в мире воин слушался моих советов и никогда об этом не жалел.

— Говорите скорее, отец, что вы хотели, а то время дорого, — сказал Ян.

— Что я хотел сказать? А вот что: я хотел сказать, что не тот защищает отчизну и короля, кто держится за его полы, но тот, кто бьет неприятеля; а бьет тот, кто служит под начальством великого полководца. Зачем идти в Варшаву, когда король уже, быть может, выехал в Краков, в Львов или на Литву? Я советую отправиться без промедления под знамена великого гетмана, князя Януша Радзивилла. Хотя его и упрекают в честолюбии, но он, конечно, не пойдет на капитуляцию со шведами. Это, по крайней мере, настоящий вождь И гетман. Правда, тесновато нам тут будет, придется иметь дело с двумя врагами, но зато мы увидим пана Михала Володыевского и по-прежнему станем служить вместе. Если мой совет не хорош, то пусть меня первый швед проткнет шпагой.

— Кто знает, может быть, так будет лучше всего, — ответил с живостью Ян. — По дороге и Гальшку отвезем в пущу с детьми, ведь нам все равно ехать мимо.

— И будем служить в войске, а не с ополченцами, — прибавил Станислав.

— И будем драться, а не спорить на сеймиках да кур и творог поедать в деревнях.

— Я вижу, что вы не только лучший воин, но и лучший советчик.

— А что? Правда?

— Действительно, — заметил Ян, — это самый лучший совет. Мы по-прежнему соберемся вместе, и ты, Станислав, узнаешь одного из лучших солдат Речи Посполитой, моего искреннего друга. А теперь пойдем к Елене и скажем, чтобы она готовилась в путь.

— А разве она уже знает о войне? — спросил Заглоба.

— Знает. Станислав при ней рассказывал. Бедная, вся в слезах. Но когда я ей сказал, что нужно идти, то сейчас же ответила: «Иди».

— Хорошо бы завтра отправиться! — воскликнул Заглоба.

— Мы отправимся завтра на рассвете, — ответил Ян. — Ты, Станислав, должно быть, устал с дороги, но до завтра немного отдохнешь. Я сегодня же вышлю лошадей в Белую, Лосицы, Дрогичин и Бельск, чтобы были свежие для перемены. А за Вельском недалеко и пуца. Возы с вещами тоже отправлю. Жаль мне оставлять милый угол, но на то воля Божья. Одно меня утешает: что жена и дети будут в безопасности; пуца — самая лучшая крепость. Ну идемте, панове, домой — время заняться сборами.

Они пошли.

Пан Станислав, измученный долгой дорогой, отправился отдохнуть, а Заглоба с Яном принялись за приготовления к дороге; так как в доме пана Яна был образцовый порядок, то к вечеру и возы, и люди были отправлены, а ночью за ними отправилась коляска, в которую Ян усадил жену с детьми. Сам он в сопровождении Станислава, Заглобы и пяти слуг выехал верхом и сопровождал коляску.

Они ехали почти без остановок и на пятый день доехали до Вельска, а на шестой углубились в девственную пуцу со стороны Гайновщины.

Они погрузились в сумрак огромного леса, занимавшего несколько десятков квадратных миль и сливавшегося с одной стороны с пуцами Зеленкой и Роговской, а с другой — с прусскими лесами.

Никогда еще неприятель не заходил в эти темные глубины, где так легко было заблудиться и сделаться жертвой хищных зверей. Неверные тропинки среди непроходимой пуцы, среди болот и страшных сонных озер, проложенные не выходившими целые века из пуцы, могли завести бог весть куда. В Беловеж вел только один широкий тракт, прорезываемый проселками, по которому короли ездили на охоту. По этой-то дороге и ехал Скшетуский со стороны Вельска и Гайновщины.

Пан Стабровский, королевский ловчий, старый холостяк, сидел безвыездно в пуце, точно зубр; он принял Скшетуских с распростертыми объятиями, детей чуть не задушил поцелуями. Он был в одиночестве и не видел годами живой души. Узнав о причине их посещения и о войне, он сильно опечалился. Впрочем, часто случалось, что умирал король или разгоралась война, а в пуце об этом никто и не знал. Только тогда и узнавал он новости, когда возвращался от литовского подскарбия, после ежегодного доклада об охотничьем хозяйстве, которым заведовал.

— Скучно будет здесь, очень скучно, — говорил Стабровский Елене, — но зато безопасно как нигде. Ни один неприятель не проберется через эти стены, а если бы и попробовал, то ему несдобровать. Легче завоевать Речь Посполитую — чего не приведи Бог! — чем пуцу. Я здесь живу двадцать лет, но и я не знаю ее хорошо; есть совершенно недоступные места, где живет только зверь, да, может, еще злые духи прячутся от церковного благовеста. Мы здесь живем набожно; в деревне у нас есть часовня, куда раз в год приезжает ксендз из Вельска. Вам будет здесь как у Христа за пазухой, если только не соскучитесь. Зато в дровах недостатка не будет.

Пан Ян был рад, что нашел жене такое убежище, но напрасно Стабровский убеждал его погостить. Только переночевав, он на следующее утро на рассвете отправился в путь в сопровождении проводников, которых дал ему ловчий.

XII

Когда, после утомительного путешествия, пан Ян с братом и Заглобой прибыли в Упиту, пан Михал Володыевский чуть с ума не сошел от радости, тем более что уже давно не имел о них никаких известий и думал, что Ян на Украине с королевским полком. Он еще больше обрадовался, когда узнал, что они приехали в Упиту, чтобы поступить на службу к Радзивиллу.

— Слава богу, что мы опять собрались вместе! — воскликнул он. — С такими

товарищами и служить веселее.

— Это была моя мысль, — сказал пан Заглоба. — Ведь они хотели ехать в Варшаву. Но я им сказал: а почему бы нам не вспомнить старые времена с паном Михалом. Если Господь нам поможет, как помогал с татарами и казаками, то не одна шведская душа будет у нас на совести.

— Господь вас вдохновил, — сказал пан Михал.

— Но я удивляюсь, как это вы узнали об Устье и о войне, — заметил Ян. — Мы думали первые привезти вам это известие.

— Должно быть, это известие дошло через жидов, — сказал Заглоба, — это они всегда первые узнают все новости. Уж известно, что если кто-нибудь из них утром чихнет в Великопольше, то вечером на Жмуди и на Литве ему отвечают: «На здоровье».

— Не знаю, как это случилось, — ответил пан Михал, — но мы все знаем уже два дня — и это нас просто убило. В первый день мы не поверили, но на другой день уже никто не сомневался. Скажу больше: еще войны не было, а казалось, что птицы о ней в воздухе пели, потому что все вдруг и без всякого повода заговорили о ней. Наш князь-воевода, должно быть, узнал что-то раньше других, потому что еще два месяца тому назад прилетел в Кейданы и приказал собирать войска. Собирал я, Станкевич и некто Кмициц, оршанский хорунжий, который, я слышал, со своим полком уже в Кейданах. Он справился скорее всех.

— Ты хорошо знаешь князя-воеводу, Михал? — спросил Ян.

— Как же мне не знать, когда я под его начальством прослужил всю последнюю войну.

— Что же ты думаешь о нем? Надежный это человек?

— Это лучший воин, после князя Еремии, во всей Речи Посполитой. Правда, его разбили недавно, но у него было только шесть тысяч человек против восьмидесяти тысяч. Пан подскарбий и пан воевода витебский упрекают его за это и говорят, что он потому пошел на неприятеля с такими ничтожными силами, что не хотел делиться славой с ними. Бог знает, как это было. Но я, видевший все собственными глазами, могу только сказать, что если бы у него было достаточно войска и денег, то неприятель лег бы костями в этой стране. Я уверен также, что если он примется за шведов, то мы не станем здесь ожидать, но пойдем им навстречу в Инфляндию¹⁴.

— Из чего вы это заключаете?

— Во-первых, из того, что после цыбиховского поражения князь захочет восстановить свою репутацию, во-вторых, он любит войну.

— Правильно, — сказал Заглоба, — я его знаю — мы вместе в школу ходили, и я за него сочинения писал. Он всегда любил войну и дружил со мной больше, чем с другими, потому что я и сам предпочитал лошадь латыни.

— Конечно, он не то что воевода познанский, — заметил Станислав Скшетуский, — это совсем другой человек!

Володыевский начал расспрашивать его обо всем, что произошло под Устьем, и хватался за голову, а когда Скшетуский кончил, он воскликнул:

— Вы правы! Наш Радзивилл на это неспособен. Горд он как дьявол и думает, что во всем свете нет никого знатнее Радзивиллов. Он не выносит противоречий и сердит на Госевского, прекрасного человека, за то, что тот не пляшет под дудку Радзивиллов. На короля он тоже дует за то, что ему довольно долго пришлось дожидаться литовского гетманства. Все это правда. Но я готов поклясться, что он скорее пролил бы до капли свою кровь, чем согласился бы подписать капитуляцию

¹⁴ *Лифляндия (пол. Инфлянты)* — территория современной северной части Латвии и южной части Эстонии).

под Устьем. Нам, может быть, и тяжело придется, но зато у нас будет настоящий гетман.

— Этого и надо! — воскликнул Заглоба. — Нам нечего больше и желать. Опалинский писака и сейчас же показал, на что он способен. Это самый последний сорт людей. Кое-как владеет пером, а уж думает, что умнее всех. Я сам в молодости занимался стихотворством, желая покорить женские сердца, и давно бы Кохановского в бараний рог загнул, если б солдатская натура не помешала.

— Кроме того, я должен сказать и то, — прибавил Володыевский, — что если двинется здешняя шляхта, то народу соберется немало, лишь бы только денег хватило.

— Ради бога! — воскликнул пан Станислав. — Не нужно нам ополченцев! Ян и пан Заглоба знают, что я предпочитаю быть последним солдатом в регулярном войске, чем гетманом в ополчении.

— Здесь народ храбрый! — возразил пан Володыевский. — Примером может служить мой полк. Я уверен, что если бы я не сказал вам раньше, то не узнали бы, что это молодые солдаты. Каждый из них закален в огне, как старая подкова. С ними не так легко справятся шведы, как с вашими великополянами под Устьем.

— Будем надеяться, что Бог нам поможет, — сказал Скшетуский. — Говорят, что шведы хорошие солдаты. Мы били их всегда, даже тогда, когда они пришли к нам с лучшим полководцем, какой только у них был.

— Правду говоря, любопытно узнать, каковы они в деле, — сказал пан Володыевский, — и если бы не то, что у нас уже две войны, я бы этой радовался. Мы имели дело с турками, татарами, казаками и бог весть еще с кем, а теперь не мешает испробовать свои силы на шведах. Плохо только то, что гетманы и все войска заняты на Украине. Но здесь я знаю, что будет: князь-воевода сам займется шведами. Трудно нам будет, но авось Бог нас не оставит.

— В таком случае, едемте скорее в Кейданы, — сказал Станислав Скшетуский.

— Я уже получил приказание держать полк наготове и не позже трех дней явиться туда. Я должен показать его вам, из него явствует, что воевода уже подумал о шведах.

При этом Володыевский достал из шкатулки вдвое сложенную бумагу и начал читать:

— «Мосци-пане полковник Володыевский.

Мы с большим удовольствием прочли ваш рапорт, что полк ваш уже на ногах и готов в поход. Держите его наготове, ибо настают тяжелые времена, каких еще не бывало, и спешите в Кейданы, где мы с нетерпением будем вас ожидать. Если до вас будут доходить какие-нибудь известия, то не верьте им, пока не услышите все из наших уст. Мы поступим так, как Бог и совесть нам предписывают, не обращая внимания на злобу наших врагов. Но мы радуемся, что скоро настанет время, когда выяснится, кто искренний друг Радзивиллов и кто готов служить им даже в несчастье. Кмициц, Невяровский и Станкевич привели уже свои полки. Ваш полк пусть станет в Упите, ибо он там может понадобиться, или же двинется под командой моего двоюродного брата, его сиятельства князя Богуслава, на Полесье. Обо всем вы узнаете от нас лично, а пока поручаем себя вашей преданности и готовности исполнить наши приказания и ждем вас в Кейданах.

Януш Радзивилл. Князь на Биржах и Дубинках, воевода виленский и великий гетман литовский».

— Да, по этому письму видно, что затевается новая война, — заметил Заглоба.

— Но князь пишет, что поступит, как велит ему Бог и совесть, — значит, он будет бить шведов, — прибавил Станислав.

— Меня только удивляет, — заметил Ян Скшетуский, — что он пишет о верности Радзивиллам, а не об отчизне, которая гораздо больше нуждается в помощи.

— Да уж такая у них панская манера, — возразил Володыевский, — она мне самому не нравится, потому что я служу отчизне, а не Радзивиллам.

— А когда ты получил это письмо? — спросил Ян.

— Сегодня утром, а в полдень хотел ехать. За это время здесь отдохнете, а я завтра вернусь, и затем мы вместе с полком пойдем, куда нам прикажут.

— Может быть, на Полесье? — сказал Заглоба.

— К князю Богуславу? — прибавил Станислав Скшетуский.

— Князь Богуслав сейчас тоже в Кейданах, — возразил Володыевский. — Это интересная личность; вы обратите внимание на него. Это великий воин и рыцарь, но ничуть не поляк. Одевается по-заморски и говорит или по-немецки, или по-французски, точно орехи грызет, слушай его хоть целый час — ничего не поймешь. Те, что знают его ближе, не особенно хвалят, потому что он преклоняется перед французами и немцами, да и неудивительно, ибо мать его — урожденная принцесса бранденбургская. Когда его покойный отец на ней женился, то не только не взял никакого приданого, но должен был еще кое-что приплатить. Но Радзивиллы из династических соображений заботятся о том, чтобы породниться с немецкими принцами. Мне рассказывал это старый слуга князя Богуслава, теперешний ошмянский староста, Сакович. Вместе с Невяровским он ездил с Богуславом по разным заморским краям и был свидетелем его бесчисленных поединков.

— Разве у него было так много поединков? — спросил Заглоба.

— Столько же, сколько у него волос на голове. Сколько он переколол всяких французских и немецких графов и князей! Он очень вспыльчив и из-за малейшей безделицы вызывает на поединок.

Скшетуский вышел из задумчивости:

— Я тоже кое-что слышал о нем. Он часто бывает у курфюрста, который живет неподалеку от нас. Помню, отец рассказывал, что когда его родитель женился на дочери курфюрста, то все ворчали, что такой знатный род вступает в родство с иностранцами; но это, пожалуй, к лучшему: как родственник Радзивилла, курфюрст должен сочувственно отнестись и к делам Речи Посполитой, а от него много зависит. То, что вы говорите, будто у них насчет денег туго, это не совсем верно. Правда, что, продав Радзивиллов, можно было бы купить курфюрста со всем его королевством, но нынешний курфюрст Фридрих-Вильгельм скопил немало и держит около двадцати тысяч отборного войска, которое могло бы помериться и со шведами; а это он обязан сделать, как ленник Речи Посполитой, в благодарность за все ее благодеяния.

— А сделает ли он это? — спросил Ян.

— Если бы он поступил иначе, то это была бы с его стороны черная неблагодарность, — ответил Станислав.

— Трудно рассчитывать на чужую благодарность, а особенно на благодарность еретика. Я помню еще мальчиком этого вашего курфюрста, — сказал Заглоба. — Он всегда был нелюдим и как будто прислушивался к тому, что ему черт на ухо нашептывает. Я ему сказал это в глаза, когда мы с покойным Конецпольским были в Пруссии. Он такой же лютеранин, как и шведский король. Дай Бог, чтобы они не соединились еще вместе против Речи Посполитой.

— Знаешь что, Михал, — сказал вдруг Ян, — я сегодня не буду отдыхать, а поеду с тобой в Кейданы. Теперь ночью лучше ехать, не так жарко, кроме того, мучит меня эта неизвестность. Будет еще время для отдыха, ведь не завтра же князь выступает.

— Тем более что полк он велел оставить в Упите, — прибавил Володыевский.

— Вы дело говорите! — воскликнул пан Заглоба. — Поеду и я.

— Так поедем все вместе, — прибавил пан Станислав.

— Завтра утром будем уже в Кейданах, — сказал Володыевский — а в дороге на седле можно прекрасно уснуть.

Два часа спустя, закусив и выпив, рыцари тронулись в путь и еще до захода солнца были в Кракинове.

Дорогой пан Михал рассказывал им о знаменитой ляуданской шляхте, о Кмицице и обо всем, что с ним произошло за последнее время, он признался в своей любви к панне Биллевич — любви несчастной, как всегда.

— Все дело в том, что теперь война, — говорил он, — иначе я бы иссох от горя. Видно, таково уж мое счастье. Придется умереть холостяком.

— И холостяцкое дело не плохое, даже Богу угодное, — сказал Заглоба. — Еще недавно, когда мы с тобою были на выборах в Варшаве... на кого все панны оглядывались?.. На кого, как не на меня? А ты тогда жаловался, что на тебя ни одна не взглянет. Но не огорчайся, придет и твоя очередь. Искать не надо: когда искать не будешь, тогда и найдешь. Теперь время тревожное, и много молодежи погибнет. Тогда девушек будут дюжинами продавать по ярмаркам.

— Может быть, и мне погибнуть придется, — сказал пан Михал. — Довольно уже шататься по свету. Я не умею вам описать, Панове, как хороша эта панна Биллевич. Как бы я ее любил и лелеял! Да нет! Принесли же черти этого Кмицица. Он, верно, ее чем-нибудь приворожил, иначе и быть не может. Вот смотрите, там из-за горки виднеются как раз Водокты, но теперь там нет никого, она уехала неизвестно куда. Это было бы мое убежище — там бы мне и умереть. У медведя и то есть своя берлога, а у меня нет ничего, кроме этой лошади и седла, на котором сижу.

— Видно, она у тебя засела в сердце, — заметил пан Заглоба.

— Как вспомню я ее или как увижу, проезжая мимо, Водокты — мне опять становится грустно. Я решил наконец клин клином выбить и поехать к Шиллингу, у которого есть красавица дочь. Я один раз ее издали видел в дороге, и она мне очень понравилась. Поехал я туда, и что же вы думаете? Отца не застал дома, а она меня приняла не за Володыевского, а за его слугу. После такого афронта я больше и не показывался к ней.

Заглоба захохотал:

— А чтоб тебя, Михал! Все дело в том, что ты не находишь жены под стать твоему росту. А где теперь эта плутовка, на которой покойный пан Подбицепта — царство ему небесное! — хотел жениться? Ростом она как раз тебе пара, сама — ягодка... а глаза как горели!..

— Это Ануся Божобогатая-Красенская, — сказал Ян Скшетуский. — Мы все в свое время были в нее влюблены, и Михал тоже. Бог весть, где она теперь...

— Эх, найти бы ее и утешиться, — сказал пан Михал. — При одном воспоминании о ней у меня как будто теплее стало на сердце. Прекрасная была девушка! Дал бы Бог с нею встретиться! Хорошие были времена в Лубнах, но они уже никогда не вернуться. Не будет и такого вождя, как князь Еремия. Раньше мы всегда знали: что ни сражение, то победа. Радзивилл великий воин, но далеко ему до Вишневецкого. Кроме того, он и к подчиненным относится не так, как князь: тот был для нас отец, а этот держит себя как какой-нибудь монарх, хотя Вишневецкие ничуть не хуже Радзивиллов.

— Бог с ним, — возразил Ян Скшетуский. — Теперь в его руках судьба отчизны, а так как он готов для нее пожертвовать жизнью, то да благословит его Бог.

Так разговаривали рыцари, ехавшие среди ночи, и то вспоминали прежние времена, то говорили о тяжелом настоящем, о трех войнах, которые обрушились на Речь Посполитую. Потом помолились и задремали, раскачиваясь в седлах.

Ночь была тихая и теплая; миллионы звезд сверкали на небе, а они подвигались шагом, спали сладким сном до самого рассвета. Первым проснулся пан Михал.

— Панове, проснитесь, Кейданы уже видно! — закричал он.

— Что? Кейданы? — спросил Заглоба. — Где?
— Да вон там. Видите башни?
— Прекрасный город, — заметил Станислав Скшетуский.
— Очень красивый, — ответил Володыевский, — вы сами воочию убедитесь в этом.

— Ведь это собственность князя-воеводы?
— Да; прежде они принадлежали роду Кишко, и отец нынешнего князя получил их в приданое за Анной Кишко, дочерью воеводы витебского. Во всей Жмуди нет города лучше, ибо Радзивиллы не пускают туда жидов, разве с особого разрешения. Кейданы еще славятся медом.

Заглоба открыл глаза.

— Значит, тут живут порядочные люди. А какое это здание виднеется на горе, такое огромное?

— Это новый замок, построенный Янушем.

— Крепость?

— Нет. Это резиденция. Его не укрепляли, потому что неприятель никогда сюда не заходил. А этот шпиц посередине города — это костел. Он построен крестоносцами еще во время язычества, потом был отдан кальвинистам, но ксендз Кобылинский судился до тех пор, пока его опять не присудили католикам.

— И слава богу!

Так, разговаривая, они доехали до предместья.

Между тем уже рассвело, и начало всходить солнце. Рыцари с любопытством смотрели на незнакомый городок, а Володыевский рассказывал:

— Вот это жидовская улица, где живут те из жидов, которые имеют разрешение. Вот уж люди проснулись и начинают выходить из домов. Смотрите, сколько лошадей перед кузней, и слуги, судя по цветам, не Радзивиллов. Должно быть, какой-нибудь съезд. Сюда всегда съезжаются много шляхты и вельмож, порою даже из чужих краев, ибо Кейданы столица еретиков всей Жмуди, которые под защитой Радзивиллов могут открыто исповедовать свои заблуждения. А вот и рынок. Обратите внимание на часы, что на ратуше. Лучших, верно, и в Данциге нет. А это лютеранская церковь, где каждую неделю совершаются кощунственные богослужения. Вы думаете, что здешние мещане — поляки или литвины? Вовсе нет. Здесь почти все немцы и шотландцы, шотландцев больше всего. У князя есть шотландский полк, из одних только охотников, мастеров драться топорами. А сколько там телег на рынке! Должно быть, съезд. Здесь нет заезжих домов, а все останавливаются у знакомых, а шляхта — в замке, где для гостей построены громадные флигеля. Там всех принимают гостеприимно, хоть год живи, а есть такие, что всю жизнь там и живут.

— А это что за постройка? — спросил Ян Скшетуский.

— Это бумажная фабрика, построенная князем, а это книгопечатня, где печатаются еретические книги.

— Тьфу, — произнес Заглоба, — пошли Боже заразу на этот город. Здесь только и дышишь еретическим воздухом. Тут с тем же правом, что и Радзивилл, мог бы царствовать Вельзевул.

— Мосци-пане, не оскорбляйте так Радзивилла, — прервал его Володыевский, — может быть, скоро отчизна будет обязана ему своим спасением.

И они ехали дальше молча, рассматривая город и удивляясь, что все улицы были мощеные, что в те времена считалось редкостью.

Проехав рынок и Замковую улицу, они очутились перед великолепным замком, построенным князем Янушем и размерами своими превосходившим все тогдашние замки и дворцы. По обеим сторонам главного корпуса пристроены были под прямым углом два крыла и образовывали огромный двор, отгороженный железной решеткой.

В средней части решетки были устроены каменные ворота с гербами Радзивиллов и города Кейдан, на котором была изображена нога орла с черным крылом на золотом фоне, а у ноги подкова с тремя крестами. У ворот находилась гауптвахта, где всегда на часах стояли шотландские алебардчики.

Было еще рано, но на дворе царило оживление: перед главным корпусом происходило учение драгунского полка, одетого в голубые колеты и шведские шлемы. Перед фронтом солдат, стоявших на месте с рапирами в руках, ездил офицер и что-то говорил солдатам. Около стен толпился народ, глаза на драгун и делясь наблюдениями и замечаниями.

— Боже! Смотрите, Панове! — воскликнул пан Михал. — Да ведь это Харламپ учит солдат!

— Как? — спросил Заглоба. — Это тот, который дрался с вами на поединке во время выборов?

— Он самый. Но мы с тех пор с ним очень подружились.

— Верно, — сказал Заглоба, — я его узнаю по носу, который торчит у него из-под шлема. Хорошо, что теперь забрала вышли из моды, для него, верно, не нашлось бы подходящего; а он так нуждается в особом вооружении для своего носа.

Между тем пан Харламп, заметив Володыевского, пустился к нему рысью.

— Как поживаешь, пан Михал? — воскликнул он. — Хорошо, что ты приехал!

— Еще лучше, что я встретил тебя первым. Рекомендую: это пан Заглоба, которого ты, кажется, уже встречал в Липкове, а это братья Скшетуские: Ян, ротмистр королевского гусарского полка, збаражский герой...

— Так я имею счастье видеть перед собой первого рыцаря в Польше? — воскликнул Харламп. — Челом! Челом!

— А это — Станислав, ротмистр калишский, — продолжал Володыевский, — едет прямо из-под Устья.

— Из-под Устья? Значит, вы были очевидцем позора? Мы ведь обо всем уже знаем.

— Я поэтому сюда и приехал, рассчитывая, что здесь ничего подобного не случится.

— Вы можете быть в этом уверены. Радзивилл — не Опалинский.

— То же самое вчера говорили и мы в Упите.

— Приветствую вас, Панове, от своего и княжеского имени. Князь будет вам очень рад, тем более что он в таких рыцарях нуждается. Пойдемте ко мне в цейхгауз. Вы, верно, захотите переодеться и закусить, и я вас провожу, учение я уже кончил.

С этими словами Харламп опять подъехал к солдатам и скомандовал коротко и отчетливо:

— Налево кругом, марш!

Лошадиные копыта застучали по мостовой. Солдаты выстроились по четыре в ряд и стали удаляться по направлению к цейхгаузу.

— Хорошие солдаты, — сказал Скшетуский, окинув взглядом знатока мерные движения драгун.

— Сейчас видно, что не ополченцы, — воскликнул Станислав.

— Но как же ими командует Харламп? — спросил Заглоба. — Если не ошибаюсь, он служил в пятигорском полку и носил серебряную петличку.

— Верно! — подтвердил Володыевский. — Но уже года два, как он командует драгунским полком. Это старый, опытный солдат.

Между тем Харламп, отправив драгун, подъехал к рыцарям.

— Прошу вас, Панове! Цейхгауз там, за дворцом.

Спустя полчаса рыцари сидели впятером за миской гретого пива, заправленного сметаной, и толковали о новой войне.

— Что у вас здесь слышно? — спросил пан Володыевский.

— У нас что ни день, то новости, и все разные: люди теряются в догадках и потому выдумывают всякие новости, — ответил Харламп. — А правду знает один только князь. Он, должно быть, что-то затевает, и хотя на вид весел и любезен со всеми, как никогда, но очень задумчив. По ночам, говорят, не спит и все ходит по комнатам и сам с собой разговаривает, а днем по целым часам совещается о чем-то с Герасимовичем.

— Что это за Герасимович? — спросил Володыевский.

— Заблудовский эконо́м из Полесья; птица невелика и выглядит так, точно у него черт за пазухой сидит, но князь ему очень доверяет, и он знает все его тайны. По-моему, последствием этих совещаний будет мстительная и страшная война со шведами, по которой мы так вздыхаем. Каждый день приходят сюда письма то от курляндского князя, то от Хованского, то от курфюрста. Одни говорят, что князь ведет переговоры с Москвой, чтобы втянуть ее в союз против шведов; другие — что наоборот; но, кажется, никакого союза не будет. Войск прибывает все больше и больше. Но, панове, с кем бы ни была война, нам придется по локоть обагрить руки в крови. Радзивилл уж если выйдет в поле, то не затем, чтобы вести переговоры.

— Вот, вот! — воскликнул Заглоба, потирая руки. — Немало шведской крови прилипло к моим рукам, немало и еще прилипнет. Немного осталось старых солдат, которые меня помнят под Пуцком, но те, что живут, никогда не забудут.

— А князь Богуслав здесь? — спросил Володыевский.

— Здесь. Кроме того, сегодня мы ожидаем каких-то знатных гостей, потому что готовят верхние апартаменты, а вечером будет бал. Сомневаюсь, Михал, чтобы ты сегодня мог видаться с князем.

— Да ведь он сам меня вызвал.

— Это ничего, он страшно занят. Кроме того... не знаю, могу ли я вам все сказать... Впрочем, через час все об этом будут знать. Здесь происходит что-то необыкновенное...

— Что же именно, что? — спросил Заглоба.

— Нужно вам сказать, Панове, что дня два тому назад сюда приехал некий пан Юдицкий, кавалер Мальтийского ордена, вы, должно быть, слышали о нем.

— Как же, — ответил Ян, — это знаменитый рыцарь.

— Вслед за ним приехал и гетман Госевский. Мы все очень удивились, ведь все знают, в каких они ужасных отношениях с князем. Некоторые даже радовались и говорили, что это шведская война примирила этих панов. Я тоже так думал; между тем вчера они позакрывали все двери и заперлись втроем, чтобы никто не мог слышать, о чем они говорят; но пан Крепштуль, стоявший на часах у двери, говорил, что они очень громко о чем-то спорили, а особенно Госевский. Потом сам князь проводил их в спальни, а ночью велел приставить к каждой двери по часовому, со строжайшим приказанием: не впускать и не выпускать никого.

Пан Володыевский даже вскочил с места.

— Не может быть!

— Но это так. У дверей стоят шотландцы с ружьями, и им приказано никого не пропускать.

Рыцари посмотрели друг на друга в недоумении, а Харламп смотрел на них, вытаращив глаза, точно ожидая от них разъяснения загадки.

— Это значит, что пан подскарбий арестован, — сказал Заглоба, — великий гетман арестовал гетмана польного, что же это такое?

— Почему я знаю. И Юдицкий, такой славный рыцарь...

— Ведь должны же были офицеры князя разговаривать об этом? Вы ничего не слышали?

— Вчера ночью я спрашивал Герасимовича.

— И что же он вам сказал? — спросил Заглоба.

— Ничего не хотел сказать, а потом, приложив палец к губам, произнес: «Это изменники».

— Как изменники?.. Как изменники?.. — кричал, хватаясь за голову, Володыевский. — Ни подскарбий Госевский, ни пан Юдицкий не изменники. Их знает вся Речь Посполитая как честных людей, любящих отчизну...

— Теперь никому нельзя верить, — заметил мрачно Станислав. — Разве Опалинский не выдавал себя за Катона? Разве не обвинял он других в недостатке гражданских чувств и в преступлениях? А потом первый изменил отчизне и увлек за собой целую провинцию.

— Но за Госевского и Юдицкого я головой ручаюсь! — воскликнул Володыевский.

— Не ручайся, Михал, ни за кого! — воскликнул Заглоба. — Конечно, их не без основания арестовали. Должно быть, какие-нибудь интриги. Не стал бы он, готовясь к войне, лишать себя их помощи. Кого же он арестовал, как не тех, кто мешает ему вести войну?! Если все это правда, что о них говорят, то это прекрасно... Их нужно в подземелье засадить. А, шельмы! В такую минуту сноситься с неприятелем, стоять на дороге у величайшего воина! Мать Пресвятая Богородица! Им еще мало этого!

— Такие чудеса, что они и в голове не могут уместиться, — сказал Харлам. — Таких сановников арестовали без суда, без сейма, без воли Речи Посполитой. Этого и сам король не может сделать.

— Видно, князь хочет завести у нас римские обычаи и стать диктатором на время войны.

— А пусть будет и диктатором, лишь бы шведов бил, — ответил Заглоба. — Я тогда первый подаю голос за то, чтобы ему была доверена диктатура.

Ян Скшетуский задумался и потом заметил:

— Только бы он не захотел быть протектором, как тот англичанин Кромвель, который, не задумываясь, поднял святотатственную руку на своего государя.

— Ну, Кромвель! Кромвель — еретик! — воскликнул Заглоба.

— А князь-воевода? — спросил серьезно Ян Скшетуский.

Вдруг все умолкли и со страхом смотрели в темное будущее, только Харлам рассердился и сказал:

— Я служу у князя-воеводы с молодых лет и знаю его лучше, чем вы, а вместе с тем люблю и уважаю и потому прошу вас не сравнивать его с Кромвелем, иначе мне придется сказать вам нечто такое, чего бы, как хозяин, я говорить не хотел.

При этом Харлам зашевелил усами и искоса посмотрел на Яна Скшетуского, а Володыевский, видя это, окинул Харлама холодным взглядом, как бы говоря: «Посмей только!»

Усач тотчас спохватился. Он очень любил пана Михала и знал, что с ним опасно ссориться, и поэтому продолжал более спокойным тоном:

— Князь — кальвинист, но ведь он не изменил нашей вере, а родился кальвинистом. Никогда он не будет ни Кромвелем, ни Радзейовским, ни Опалинским, хотя бы Кейданы в землю провалились. Не такая это кровь! Не такой это род!

— Если он дьявол и если у него рога на голове, — сказал Заглоба, — то тем лучше, по крайней мере, у него будет чем бодать шведов.

— Но все-таки пан Госевский и Юдицкий арестованы! — говорил, качая головой, Володыевский. — Не особенно любезен князь со своими гостями.

— Что ты говоришь, Михал? — возразил Харлам. — Так любезен и милостив, как никогда. Это настоящий отец для солдат. Прежде к нему страшнее было подойти, чем к королю, а теперь он сам к каждому подходит, расспрашивает о семье, о детях, называет каждого по имени, спрашивает, доволен ли он службой. Он, который до сих пор не хотел знать себе равного среди панов, вчера прогуливался под руку с молодым Кмицием. Мы просто глазам своим не верили. Правда, Кмициц из знатного

рода, но ведь он почти мальчик, да, кроме того, над ним несколько приговоров тяготеет, о чем ты, Михал, знаешь лучше всех.

— Знаю, знаю! — ответил Володыевский. — Кмициц давно здесь?

— Сейчас его нет. Он вчера уехал в Чейкишки за полком пехоты. Кмициц теперь в такой милости у князя, как никто. Когда он уезжал, князь посмотрел ему вслед и, помолчав с минуту, сказал: «Этот человек готов самого черта за хвост схватить, если я ему прикажу». Мы сами это слышали, собственными ушами. Правда, что Кмициц привел такой полк, какого в целом войске не найти. Люди и кони — как драконы.

— Нечего и говорить. Дельный солдат и действительно готов на все! — ответил Володыевский.

— Он, говорят, просто чудеса делал во время последней войны! За его голову была назначена награда, когда он командовал отрядом охотников.

Дальнейший разговор был прерван приходом нового лица.

Это был шляхтич лет сорока, маленький, худенький, юркий, с маленьким лицом, тонкими губами, жиденькими усами и немного раскосыми глазами. Одет он был в жупан с длинными рукавами, спускавшимися ниже кисти. Войдя в комнату, он согнулся вдвое, потом вдруг выпрямился, как на пружинах, затем опять поклонился, мотнул головою и быстро заговорил голосом, напоминавшим скрип заржавленного флюгера:

— Челом, пане Харлам! Челом, пане полковник! Ваш нижайший слуга!

— Челом, пане Герасимович! Чем могу вам служить?

— Бог послал нам дорогих гостей. Я пришел им предложить услуги и познакомиться.

— А разве они к вам приехали, пане Герасимович?

— Конечно, не ко мне, я этого недостойн. Но так как я заменяю отсутствующего маршала, то и пришел им поклониться, низко поклониться.

— Далеко вам до маршала. Маршал — это персона, а вы всего — заблудовский подстароста, простите за выражение.

— Слуга радзивилловских слуг. Верно, пане Харлам. Я от этого не отрекаюсь. Боже сохрани! Но князь, узнав о прибытии гостей, прислал меня узнать, кто они, и вы ответите, пане Харлам, ответите, хотя бы я был не подстаростой, а гайдуком.

— Я бы ответил и обезьяне, если бы она явилась от имени князя с приказанием, — сказал Носач. — В таком случае, слушайте и зарубите себе на носу, если головы не хватит запомнить: это пан Скшетуский, збаражский герой, а это его двоюродный брат, Станислав.

— Великий Боже! Что я слышу! — воскликнул Герасимович.

— Это пан Заглоба.

— Великий Боже! Что я слышу!

— Если вы так смутились, услышав мое имя, то поймите, как смущен будет неприятель, увидев меня на поле брани, — заметил Заглоба.

— А это пан полковник Володыевский, — dokonчил Харлам.

— И это знаменитая сабля, притом радзивилловская, — сказал с поклоном Герасимович. — Хотя князь и завален делами, но для таких гостей найдет свободную минуту. А пока чем могу служить вам, Панове? Весь замок к вашим услугам и погреб также.

— Слышали мы о славном кейданском меде, — поспешно сказал Заглоба.

— О да! — ответил Герасимович. — Прекрасный мед в Кейданах, прекрасный! Я сейчас пришлю вам на выбор. Надеюсь, что вы здесь пробудете еще долго...

— Мы с тем и приехали, чтобы не покидать князя! — ответил Станислав Скшетуский.

— Прекрасное намерение, особенно прекрасное в нынешние тяжелые времена! Сказав это, Герасимович съехал так, что стал меньше на целый аршин.

— Что слышно? — спросил пан Харламپ. — Есть какие-нибудь новости?

— Князь всю ночь глаз не смыкал, потому что приехали два посла. Плохо, очень плохо! Карл-Густав уже вошел вслед за Виттенбергом в Речь Посполитую. Познань занята, Великопольша занята; шведы уже в Ловиче, под Варшавой. Наш король бежал и оставил Варшаву без защиты. Не сегодня завтра в нее войдут шведы. Говорят, что король потерпел поражение и хочет бежать в Краков, а оттуда — в чужие края просить помощи. Плохо, Панове! Есть, правда, и такие, которые говорят, что это хорошо, потому что шведы свято держат свое слово, не обременяют податями, не притесняют. Вот почему все так охотно принимают Карла-Густава. Провинился, провинился наш король. Для него теперь все пропало. Как ни жаль, а все пропало!

— Чего это вы, пане, так извиваетесь, как вьюн, которого кладут в горшок с кипятком, — крикнул Заглоба. — Говорите о несчастьях так, будто это вас радует.

Герасимович притворился, что не слышит, и, подняв глаза к небу, повторил несколько раз:

— Все пропало, навеки пропало! С тремя войнами не сладить Речи Посполитой. Но воля Божья! Один наш князь может спасти Литву.

Зловещие слова Герасимовича еще не отзвучали, как он уже исчез за дверью, точно в землю провалился, а рыцари сидели молча, придавленные бременем страшных мыслей.

— От всего этого можно с ума сойти! — крикнул наконец Володыевский.

— Это вы верно говорите! — произнес Станислав Скшетуский. — Дал бы Бог скорее войну, по крайней мере, тогда человек не теряется в догадках, не отчаивается, а дерется!

— Придется пожалеть о временах восстания Хмельницкого: тогда были несчастья, но, по крайней мере, изменников не было.

— Три такие войны, когда и на одну не хватит сил! — сказал Станислав Скшетуский.

— Не сил не хватает, а подъема. Из-за негодяев гибнет отчизна. Дай Бог дожждаться лучших времен! — возразил мрачно Ян Скшетуский.

— Я только в поле вздохну свободно, — сказал Станислав.

— Хоть бы уж поскорее увидеться с князем! — воскликнул Заглоба. Желание его очень скоро исполнилось, так как час спустя снова явился Герасимович и с униженными поклонами оповестил рыцарей, что князь желает их немедленно видеть.

Все вскочили. Герасимович повел их из цейхгауза во двор, где была масса шляхты и военных. В некоторых местах слышался шумный разговор о тех новостях, которые Герасимович сообщил рыцарям. На лицах у всех была тревога. Отдельные группы офицеров и шляхты окружили в разных местах ораторов. Порою раздавались крики: «Вильна горит! Вильна сожжена дотла!», «Варшава взята!», «Нет, еще не взята!», «Шведы в Малопольше», «Измена!», «Несчастье!», «О господи, господи!»

На главной лестнице, уставленной померанцевыми деревьями, было еще теснее, чем на дворе. Здесь уже шла речь об аресте Госевского и Юдицкого. Толпа народа, запрудившего лестницу, надеялась узнать истину из уст самого князя, который в это время принимал своих полковников и наиболее родовитых шляхтичей.

Наконец блеснули голубые своды аудиенц-залы, и наши рыцари вошли. В глубине зала было возвышение, занятое вельможами и рыцарями в разноцветных одеждах. Впереди возвышения, под балдахином, стояло пустое кресло, с высокой спинкой, оканчивающейся золотой княжеской короной, из-под которой свешивался малиновый бархат, опушенный горностаем.

Князя еще не было в зале, но Герасимович, протискавшись вместе с нашими рыцарями сквозь собравшуюся шляхту, остановился у маленькой двери, находившейся в стене, рядом с возвышением; там он попросил их подождать, а сам

скрылся за дверь.

Через несколько минут он возвратился и доложил, что князь их просит.

Двое Скшетуских, Володыевский и Заглоба вошли в небольшую комнату, обитую кожей, с вытисненными по ней золотыми букетами цветов. Рыцари остановились, видя, что в глубине комнаты за столом, заваленным бумагами, сидели два человека и о чем-то оживленно разговаривали. Один из них, молодой, одетый в иностранный костюм, в парике с длинными локонами, шептал что-то на ухо старшему, который слушал его, наморщив лоб, и утвердительно кивал головой. Он так был занят разговором, что не заметил вошедших. Это был человек лет сорока, огромного роста, одетый в пунцовый польский кунтуш, застегнутый у шеи дорогими застегжками. В крупных чертах его лица была гордость, величие, мощь. Это было гневное, львиное лицо воина и властелина. Длинные, свесившиеся усы придавали ему угрюмость, и во всем лице была какая-то каменная мощь. Во всей его фигуре было что-то величественное, и комната, в которую вошли рыцари, показалась им слишком тесной для него. В нем с первого взгляда можно было узнать Януша Радзивилла, князя на Биржах и Дубинке, воеводу виленского и великого гетмана литовского, человека, столь мощного, гордого и властолюбивого, что ему было тесно не только в его огромных имениях, но даже на Жмуди и на Литве.

Младший его товарищ, в длинном парике, был его двоюродный брат, князь Богуслав, конюший Великого княжества Литовского.

Они шептались еще о чем-то с минуту, не замечая вошедших; наконец Богуслав громко сказал:

— Я оставляю свою подпись на документе и уезжаю.

— Если это нужно, то уезжайте, ваше сиятельство, — сказал Януш, — хотя я бы предпочел, чтобы вы остались. Ведь неизвестно, что может случиться.

— Вы все обдумали, ваше сиятельство, а там важные дела...

— Да хранит тебя Бог, и да хранит он наш дом!

— Adieu, mon fr^{re}¹⁵.

— Adieu.

Князя пожали друг другу руки, и конюший поспешно вышел; гетман обратился к приезжим:

— Извините, панове, что я заставил вас ждать, — сказал он медленно низким голосом, — но теперь и время, и внимание разрываются на части. Я уже слышал ваше мнение и душевно обрадовался, что Бог посылает ко мне в столь тяжелую минуту таких рыцарей. Садитесь, дорогие гости. Кто из вас — Ян Скшетуский?

— К услугам вашего сиятельства, — ответил Ян.

— Так это вы староста... забыл...

— Я не староста, — ответил Ян.

— Как? — воскликнул князь, насупив мощные брови. — Да разве вам не дали староства за то, что вы сделали под Збаражем?

— Я никогда не хлопотал об этом.

— Они обязаны были это сделать! Как? Что вы говорите? Ничем не наградили? Забыли? Это меня удивляет. Впрочем, чему удивляться? Теперь ведь награждают только тех, кто умеет низко кланяться. Слава богу, что вы приехали сюда, у нас память не так коротка, чтобы забыть чьи-нибудь заслуги, в том числе и ваши, пан полковник Володыевский!

— Но я еще не заслужил...

— Предоставьте это знать мне, а пока возьмите вот этот документ, явленный в Россиенах, коим мы предоставляем вам в пожизненное владение имение Дыдкемы.

¹⁵ Прощай, брат (фр.).

Это недурной кусок земли: ее каждую весну вспахивают сто плугов. Возьмите хоть это, ибо я не могу дать больше, и скажите пану Скшетускому, что Радзивилл не забывает ни своих друзей, ни тех, кто под его знаменем служит отчизне.

— Ваша светлость... — пробормотал смутившийся Володыевский.

— Не говорите ничего и простите, что так мало. Скажите только их милостям, панам, что ни один из них не пропадет, соединив свою судьбу с радзивилловской. Я не король, но если бы был им, то, Бог свидетель, я никогда бы не забыл ни такого воина, как Ян Скшетуский, ни такого, как пан Заглоба.

— Я! — выходя вперед, отозвался Заглоба, начинавший уже выходить из терпения, что о нем до сих пор не упоминают.

— Я догадался, мне говорили, что вы человек пожилой.

— Я имел честь ходить в школу с достойным родителем вашей светлости. А так как в нем и тогда уже заметны бы рыцарские наклонности, то он проявлял ко мне дружелюбные чувства, ибо и я предпочитал копье латыни!

Станислав Скшетуский, мало знавший Заглобу, удивился, услышав это, так как вчера в Упите Заглоба говорил, что ходил в школу не с покойным князем, а с Янушем, чему, конечно, трудно было поверить, потому что князь был гораздо моложе его.

— Скажите пожалуйста! Так, значит, вы из Литвы?

— Из Литвы! — ответил без запинки Заглоба.

— Я угадываю, что и вы не получили награды, ибо мы, литвины, уже привыкли к тому, что нам платят неблагодарностью. Если бы я дал вам то, что вы заслужили, то мне самому ничего бы не осталось! Но такова уж судьба! Мы жертвуем жизнью, состоянием, а нам за это никто даже головою не кивнет. Но что посеют, то и пожнут. Так велит Бог и справедливость... Ведь это вы зарубили Бурлая и отрубили сразу три головы под Збаражем?

— Бурлая я зарубил, ваша светлость, ибо все говорили, что с ним никто не может мериться силами, и я хотел показать молодежи, что мужество еще не совсем угасло в Речи Посполитой, а что касается трех голов, то это и могло случиться в какой-нибудь битве, но под Збаражем это сделал другой. Князь на минуту замолчал, а потом спросил:

— Неужели вам не обидно, что вас так презрительно обошли?

— Что делать, ваша светлость, — ответил Заглоба.

— Утешьтесь, все это скоро изменится. Я считаю себя вашим должником уже за то, что вы сюда приехали, и хотя я не король, но я не ограничусь обещаниями.

— Ваша светлость! — возразил живо и не без гордости Скшетуский. — Мы сюда не за наградой приехали. Неприятель вторгся в отчизну, и мы хотим идти ей на помощь под знаменами столь славного вождя. Брат мой, Станислав, собственными глазами видел под Устьем измену, предательство и торжество неприятеля. Здесь мы будем служить под предводительством верного защитника престола и отчизны. Здесь неприятеля ждут несчастье и смерть, а не торжество и победа. Вот почему мы пришли предложить вашей светлости свои услуги. Мы — солдаты, хотим биться и рвемся в бой...

— Если таково ваше желание, то, надеюсь, вы скоро будете удовлетворены, — ответил князь. — Ждать вам придется недолго, хотя мы сначала выступим против другого неприятеля. Не сегодня, так завтра мы выступим в поход и сторицей отомстим за обиды. Не задерживаю вас, Панове: вам нужно отдохнуть, да и меня ждут дела. А вечером пожалуйста ко мне: не мешает перед походом повеселиться. К нам в Кейданы съехалось перед войной много дам... Мосци-полковник Володыевский, принимайте дорогих гостей, как в собственном доме, все, что мое, то и ваше. Пан Герасимович, скажите там в зале, что я не могу выйти, а сегодня вечером они узнают все, что хотят знать. Прощайте, Панове, и будьте друзьями Радзивилла, ибо теперь это для нас много значит.

И с этими словами гордый и могущественный пан стал по очереди пожимать руки Заглобе, Скшетуским, Володыевскому и Харлампю, как равным. Угрюмое его лицо осветилось ласковой улыбкой, и неприступность, окружающая его, как темная туча, исчезла совершенно.

— Вот это вождь, это воин, — говорил Станислав, пробираясь сквозь толпу шляхты, собравшейся в зале.

— Я в огонь за него пойду! — воскликнул Заглоба. — Вы заметили, что он все мои подвиги наизусть знает. Туго придется шведам, когда этот лев зарычит, а я ему заворю. Нет ему равного в Речи Посполитой, а из прежних разве только князь Еремия да Конецпольский-отец могут с ним сравниться. Это не каштелян какой-нибудь, который первый в роду на сенаторское кресло сел и еще не успел даже одной пары штанов просидеть, как уж нос задирает, шляхту младшей братией зовет и велит писать свой портрет, чтобы даже во время еды видеть свое сенаторское достоинство. Вот и ты, пан Михал, добился состояния. Видно, что кто только потрется около Радзивилла, так сейчас же и озолотит свой потертый кафтан. Здесь, вижу, легче получить награду, чем у нас кварту гнилых груш. Засунешь руку в воду и уж держишь щуку. Поздравляю тебя, пан Михал. Ты смутился, как девушка после венца, но это ничего. Как называется твое имение? Дудков, что ли? И поганые же названия в этом крае. Но если хорошее имение, то не жаль и язык коверкать.

— Действительно, я очень смутился, — ответил Володыевский, — но то, что вы сказали о наградах, это не совсем верно. Я не раз встречал старых солдат, которые жаловались на его скупость, а теперь начинают сыпаться неожиданные милости одна за другой.

— Спрячь этот документ за пояс — сделай это для меня. И если кто-нибудь в твоём присутствии станет обвинять князя в неблагодарности, ты вытащи документ и дай лжецу по морде. Это будет самый красноречивый аргумент.

— Одно только ясно вижу: что князь подбирает себе людей, — сказал Ян Скшетуский, — должно быть, у него есть какие-то планы, для осуществления которых ему нужна помощь.

— Да разве ты не слышал об этих планах? — ответил Заглоба. — Разве он не сказал, что мы должны сначала отомстить за сожжение Вильны? Про него ведь говорили, что он ограбил Вильну, а он хочет доказать, что ему не только чужого не надо, но и свое еще готов отдать. Вот это самолюбие, Ян! Дай Бог побольше таких сенаторов!

Разговаривая так, они снова очутились на дворе, куда каждую минуту въезжали то отряды конницы, то толпы вооруженной шляхты, то экипажи сановников из окрестностей, с женами и детьми. Заметив это, пан Михал повел всех к воротам, чтобы посмотреть на приезжающих.

— Кто знает, пан Михал, сегодня твой счастливый день, — сказал Заглоба. — Может быть, между этими шляхтянками едет твоя жена... Смотрите, вон едет какая-то панна в белом в открытой коляске.

— Это не панна, а тот, кто может меня с нею обвенчать, — ответил дальнзоркий Володыевский. — Я уже издали вижу, что это епископ Парчевский с архидиаконом виленским Белозором.

— А разве наше духовенство посещает князя, раз он кальвинист?

— В интересах страны они должны поддерживать хорошие отношения.

— Эх и людно же здесь, и шумно! — воскликнул Заглоба. — Я заржавел в деревне, как старый ключ в замке. Но здесь мы вспомним лучшие времена, и назовите меня шельмой, если я сегодня же не приволокнусь за какой-нибудь девчонкой.

Дальнейшие слова Заглобы прервали солдаты, стоящие в воротах на страже. Увидев подъезжающего епископа, они выбежали из гауптвахты и построились в две

шеренги; он проехал мимо них, благословляя солдат и собравшийся народ.

— И какой учтивый пан этот князь, — заметил Заглоба. — Сам не признает духовной власти, а между тем принимает епископа с таким почетом... Но почему это шотландцы еще стоят? Вероятно, приедет еще какая-нибудь особа.

Вдали показался отряд вооруженных людей.

— Это драгуны Гангофа, — сказал Володыевский, — но какие это кареты едут посредине?

Вдруг забили барабаны.

— Ого, видно, это кто-нибудь поважнее епископа жмудского, — воскликнул Заглоба.

— Подождите, сейчас увидим.

— Посредине две кареты.

— Верно. В первой Корф, воевода венденский.

— Неужели? — воскликнул Ян. — Мы с ним знакомы со Збаража. Воевода тоже узнал их, и прежде всего Володыевского, которого видел чаще; высунувшись из экипажа, он крикнул:

— Привет вам, старые товарищи! Вот гостей везем.

В другой карете, с гербами князя Януша, запряженной четверкой белых лошадей, сидело двое вельмож, одетых по-иностранному, в шляпах с широкими полями, из-под которых на плечи спускались светлые локоны париков, падавшие на большие кружевные воротники.

У одного из них, очень полного, была остроконечная бородка, усы, распушенные на концах и поднятые вверх; другой, молодой, одетый во все черное, был не столь представителен, но, по-видимому, еще знатнее, так как на шее у него висела золотая цепь с каким-то орденом. Оба, по-видимому, были иностранцы, так как с любопытством смотрели на замок, людей и их костюмы.

— Это что за черти? — спрашивал Заглоба.

— Не знаю; никогда не видел, — ответил Володыевский.

В это время карета проехала мимо них и, сделав полукруг по двору, подъехала к подъезду, а драгуны остались у ворот.

Володыевский узнал командовавшего ими офицера.

— Токаревич! — воскликнул он. — Здравствуйте.

— Челом вам, мосци-полковник.

— Каких это вы чучел привезли сюда?

— Это шведы.

— Шведы?

— Да, и очень высокопоставленные... Этот толстяк — граф Левенгаупт, а потоньше — Бенедикт Шитте, барон фон Дудергоф.

— Дудергоф? — переспросил Заглоба.

— А чего им здесь надо? — спросил пан Володыевский.

— Бог их знает, — ответил офицер. — Мы их эскортируем от Бирж. Верно, приехали для переговоров с нашим князем, так как в Биржах разнесся слух, что Радзивилл собирает войска и хочет выступить в Инфляндию.

— А, шельмы, трусили! — воскликнул Заглоба. — Наводнили Великопольшу, выжили короля, а теперь приходите кланяться Радзивиллу, чтобы он вас не погнал в Инфляндию. Погодите, так удирать будете в свои Дудергофы, что и чулки растеряете. Да здравствует Радзивилл!

— Да здравствует! — повторила стоявшая у ворот шляхта.

— Defensor patriae!¹⁶ Наш защитник! На шведа, мосци-панове! На шведа!

¹⁶ Защитник родины! (лат.).

На дворе собиралось все больше шляхты; видя это, Заглоба вскочил на выдавшийся цоколь ворот и крикнул:

— Мосци-панове, слушайте. Кто меня не знает, тому я скажу, что я старый збаражец, который вот этой старческой рукой зарубил Бурлая, величайшего гетмана после Хмельницкого; кто не слышал о Заглобе, тот, верно, во время первой войны с казаками горох лущил, кур щупал или телят пас, что, впрочем, трудно предположить насчет столь блестящих кавалеров.

— О, это великий рыцарь! — отозвались многочисленные голоса. — Нет в Речи Посполитой ему равного! Слушайте.

— Слушайте, мосци-панове. Старым костям пора бы на покой; лучше было бы на печи валяться, творог со сметаной есть, по садам гулять, яблоки собирать, засунув руки в карманы, следить за косарями или девок по спине хлопать. Неприятель, конечно, был бы этому очень рад, ибо и шведы, и казаки прекрасно знают, какова у меня рука.

— А что это за петух там поет? — спросил кто-то из толпы.

— Не прерывай! Молчать! — закричали остальные.

Но Заглоба услышал:

— Простите, панове, этого петушка: он еще не знает, с которой стороны хвост, а с которой голова.

Шляхта разразилась громким смехом, а смущенный шляхтич старался поскорее скрыться, чтобы избавиться от насмешек, сыпавшихся со всех сторон на его голову.

— Возвращаюсь к делу, — продолжал Заглоба. — Повторяю, что мне пора бы отдохнуть; но, видя, что отечество в опасности, что неприятель вторгся в него, я, мосци-панове, здесь, чтобы вместе с вами биться во имя той матери, что нас всех вспоила и вскормила. Кто не пойдет ей на помощь, тот не сын, а пасынок, тот недостойн ее любви. Я, старик, иду, да будет воля Божья! А если придется погибнуть, то и умирая я не перестану взывать: на шведа, Панове братья, на шведа! Поклянемся, что не выпустим сабли из рук, пока не прогоним неприятеля из отчизны.

— Мы и без клятв готовы! — кричала шляхта. — Пойдем всюду, куда нас гетман поведет!

— Мосци-панове, вы видели этих двух нехристей, что приехали сюда в золоченой карете? Они знают, что с Радзивиллом шутки плохи; вот и будут за ним по комнатам бегать да руки целовать, чтобы он оставил их в покое. Но князь, мосци-панове, от которого я возвращаюсь с совещания, уверил меня от имени всей Литвы, что не пойдет ни на какие уступки, а что будет война и война.

— Война, война! — как эхо, повторили слушатели.

— Но и вождь, — продолжал Заглоба, — действует тем смелее, чем больше он уверен в своих солдатах, а потому проявим, мосци-панове, наши чувства. Подойдем к окнам и будем кричать: «На шведа!» За мной, панове!

С этими словами он соскочил с цоколя и пошел вперед, а толпа за ним; шляхта шумела, и наконец голоса слились в один крик:

— На шведа! На шведа!

В ту же минуту в сени выбежал пан Корф, воевода венденский, в необычайном смущении, а за ним Гангоф, полковник княжеских рейтар, и оба начали успокаивать шляхту и просить ее разойтись.

— Ради бога, ведь там наверху стекла дрожат, — сказал Корф. — Можно ли так оскорблять послов и являть пример непослушания. Кто вам поддал эту мысль?

— Я, — ответил Заглоба. — Скажите пану князю от нашего имени, чтобы он был тверд, ибо мы готовы за него пролить свою последнюю каплю крови.

— Благодарю вас, панове, от имени гетмана, благодарю, но советую разойтись, иначе вы можете окончательно погубить отчизну. Медвежьёу услугу оказывает тот, кто оскорбляет ее послов.

— Какое нам дело до послов! Мы хотим драться, а не переговоры вести!

— Мне очень приятно видеть воинственный дух ваш, панове. Ваше желание исполнится, и, может быть, очень скоро. Теперь же пока отдохните перед походом. Пора выпить и закусить. Пустой желудок — последнее дело.

— Что верно, то верно! — первый воскликнул Заглоба.

— Верно. Если князь знает наши чувства, то нам нечего здесь больше делать.

И толпа стала расходиться. Большинство направилось во флигель, где были уже накрыты столы. Пан Заглоба шел впереди. Пан Корф вместе с полковником Гангофом отправился к князю, который советовался со шведскими послами, с епископом Парчевским, Белозором, паном Комаровским и Межеевским, придворным короля Яна Казимира, часто гостившим в Кейданах.

— Кто был виновником этого беспорядка? — спросил князь.

— Только что прибывший шляхтич, славный пан Заглоба, — ответил Корф.

— Это храбрый рыцарь, но он что-то слишком рано начинает тут распоряжаться...

Сказав это, князь кивнул головой полковнику Гангофу и стал что-то шептать ему на ухо.

Между тем пан Заглоба, довольный собою, шел торжественными шагами в нижние залы и говорил сопровождавшим его Скшетуским и Володыевскому:

— А что, друзья, едва я появился, как успел уже возбудить в этой шляхте любовь к отчизне. Теперь князю легче будет ни с чем отправить послов, ему достаточно будет указано то, что мы его защитники. Думаю, это не останется без награды, хотя для меня главное — честь. Чего ж ты стоишь, как окаменевший, пан Михал, и смотришь на эту коляску у ворот?

— Это она, — сказал маленький рыцарь, шевеля усами, — клянусь Богом, она!

— Кто такая?

— Панна Биллевич.

— Та, что тебе отказала?

— Да. Смотрите, панове, смотрите. Ну как же не умереть от скорби по такой красавице.

— Пойдите-ка, — сказал Заглоба, — надо посмотреть.

В это время коляска поравнялась с разговаривающими. В ней сидел видный шляхтич с седыми волосами, а рядом с ним панна Александра, прекрасная, как всегда, спокойная и величавая.

Пан Михал впился в нее скорбными глазами и низко поклонился ей, но она не заметила его в толпе. Заглоба же, глядя на ее нежные, благородные черты, заметил:

— Это панский ребенок, пан Михал, она слишком хрупка для солдата. Красива, спору нет, да только я предпочитаю таких, чтоб сразу нельзя было разобрать — женщина это или пушка!

— Не знаете, ваць-пане, кто сейчас приехал? — спросил Володыевский какого-то шляхтича, стоявшего рядом.

— Как не знать, — ответил шляхтич. — Это пан Томаш Биллевич, россиенский мечник. Его здесь все знают, он старый радзивилловский слуга и друг.

XIII

Князь не показывался в этот день шляхте до самого вечера; он обедал с послами и несколькими сановниками, с которыми утром совещался. Однако полковники получили приказ, чтобы придворные радзивилловские полки, находившиеся под командой иностранных офицеров, были наготове. В воздухе пахло войной. Замок, хотя и не было осады, был окружен со всех сторон войском, точно под

его стенами должна была разыгаться битва. Все ждали похода не позже как на следующий день. И это предположение подтверждалось тем, что несметная княжеская челядь укладывала на возы оружие, ценные вещи и княжескую казну.

Герасимович рассказывал шляхте, что вещи отправляют в Тыкоцин, на Полесье, ибо было опасно оставлять их в неукрепленном замке.

Разнесся слух, что польный гетман Госевский арестован за то, что не хотел примкнуть к Радзивиллу и этим подвергал отечество величайшей опасности. Но вскоре движение войск, грохот пушек и вся эта суетня, которая всегда предшествует всяким сборам, отвлекли общее внимание и заставили на минуту забыть о Госевском и Юдицком.

Обедавшая в нижних залах шляхта только и говорила что о войне, о пожаре Вильны, продолжавшемся десять дней, о коварстве шведов, нарушивших договор, и т. д. Но все эти известия не только не беспокоили, но, наоборот, возбуждали мужество и готовность вступить в бой с неприятелем. Все это объяснялось тем, что все уже знали причину торжества шведов. Они до сих пор ни разу еще не сталкивались ни с настоящим войском, ни с настоящим вождем. А в военных дарованиях Радзивилла все были уверены, тем более что их в этом поддерживали и полковники.

— Я помню прежние войны, — говорил Станкевич, старый и бывалый воин. — Прежде шведы никогда не бились в открытом поле, а всегда из-за траншей или из укрепленных замков, а если, рассчитывая на свои силы, они и решались выступить в поле, то им жестоко влетало за храбрость. Не победа отдала в их руки Великопольшу, а измена и беспомощность ополченцев.

— Конечно! — воскликнул Заглоба. — Это слабый народ, у них земля никуда не годится. У них даже хлеба нет, вместо муки они мелют сосновые шишки и пекут из нее лепешки. Другие плавают по морю и жрут то, что выбросят волны, да еще дерутся из-за этих лакомых кусочков. Потому-то они так и жадны!

Потом он обратился к Станкевичу и спросил:

— А вы где познакомились со шведами?

— Когда служил у покойного князя, отца теперешнего гетмана.

— А я служил у Конецпольского, отца нынешнего хорунжего. Ну и пощипали же мы тогда Густава-Адольфа в Пруссии. Конецпольский ведь знал их прекрасно и умел их всегда обойти. Немало посмеялась тогда наша молодежь над ними! Нужно вам сказать, что шведы прекрасные водолазы, вот мы и заставили их нырять. Бросишь, бывало, кого-нибудь из этих мерзавцев в прорубь, а он сейчас же вынырнет в другую, да еще живую селедку в зубах держит.

— Да ну? Что вы говорите?

— Вы не верите? Провались я на этом месте, если я этого собственными глазами не видел! Помню я и то, как они откормились на прусских хлебах. Они не хотели домой возвращаться! Правду говорит пан Станкевич, что солдаты они неважные. Пехота еще туда-сюда, но конница никуда не годится; у них на родине лошадей нет, и они не могут смолodu приучаться к езде.

— Говорят, что мы сначала пойдем не против них, — заметил пан Щит, — прежде надо отомстить за Вильну.

— Ясное дело! Я сам так советовал князю, когда он спросил моего мнения в этом деле. Но покончим с одними, пойдем и на других. Шведские послы, верно, потеют теперь у князя!

— Их очень учтиво принимают, — заметил пан Заленский, — но на большее они могут не рассчитывать: лучшее доказательство — приказ, отданный войскам.

— Иначе и быть не может! — сказал Станкевич. — Будет с нас — натерпелись! Немало было всяких невзгод! Надеюсь на короля и на посполитое рушение, мы дошли до края пропасти — либо перескочим через нее, либо погибнем.

— Бог нам поможет! Довольно нам ждать!

— Мы их проучим! Не будет у нас Устья, как Бог свят!

И чем больше осушались кубков и бокалов, тем больше оживлялись разговоры и принимали все более воинственный характер. Все умы, все сердца были заняты Радзивиллом; все уста повторяли его грозное имя, которое до сих пор всегда было окружено ореолом побед. От него зависело собрать и пробудить уснувшие силы страны, достаточные для усмирения двух врагов.

После обеда князь поочередно призывал к себе полковников; старые солдаты удивлялись, что он совещается с ними поодиночке, но все выяснилось очень скоро: каждый уходил от него с какой-нибудь наградой, с каким-нибудь явным доказательством его расположения, взамен чего князь просил лишь доверия и преданности. Он спросил, не приехал ли Кмициц, и велел уведомить его, как только тот приедет.

Кмициц вернулся лишь поздно вечером, когда все залы были освещены и гости начали уже собираться на бал. Пройдя прямо в цейхгауз, чтобы переодеться, он встретился там с Володыевским и остальной компанией.

— Как я рад, что вижу вас здесь! — сказал Кмициц, пожимая руку маленького рыцаря. — Точно родного брата увидел. Верьте, я говорю искренне, кривить душой я не умею. Правда, вы наградили меня ловким ударом сабли, но вы же вернули мне и жизнь, и я этого до смерти не забуду. Не будь вас, я уже давно сидел бы за железной решеткой.

— Ну что говорить об этом, все это пустяки!

— За вас я готов в огонь и в воду! Клянусь Богом, я не вру! Выходите вперед, кто не верит?

И пан Андрей окинул взглядом всех; но никто не думал оспаривать его расположения к пану Михалу, так как все его любили и уважали.

— Это порох, а не солдат, — заметил Заглоба. — Чувствую, что полюблю вас за это расположение к пану Михалу. Вы только меня спросите, чего он стоит.

— Больше всех нас! — воскликнул Кмициц с обычной горячностью. Затем, взглянув на Скшетуских, на Заглобу, он прибавил:

— Простите, Панове, я не хочу никого оскорбить, тем более что знаю о вашей доблести и военных заслугах. Не сердитесь на меня, я от души желал бы заслужить вашу дружбу.

— Пустяки! — ответил Ян Скшетуский. — Что на уме, то и на языке.

— Позвольте мне вас расцеловать! — воскликнул Заглоба.

— О, я не заставляю просить себя об этом дважды! И они бросились друг другу в объятия.

— Мы сегодня обязательно должны выпить!

— О, я не заставляю просить себя об этом дважды! — повторил, как эхо, Заглоба.

— Надо будет пораньше ускользнуть в цейхгауз, а о напитках я уж сам позабочусь.

«Вряд ли тебе захочется ускользнуть из замка, когда ты увидишь, кто будет на балу», — подумал Володыевский и хотел было уже сказать ему, что мечник россиенский и панна Александра приехали в Кейданы, но что-то сжало его сердце, и он переменял разговор.

— А где ваш полк? — спросил он.

— Здесь! Готов! У меня был Герасимович и передал княжеский приказ, чтобы в полночь все были уже на конях. Я спросил его, все ли войска идут, он отвечал, что не все. Не понимаю, что это все значит. Одним такой приказ отдан, другим — нет, зато вся иностранная пехота без исключения получила такое же приказание.

— Может быть, часть войск уйдет сегодня, а остальные завтра?.. — сказал Скшетуский.

— Ну, во всяком случае, кутнуть мы успеем, а я догоню свой полк. В эту минуту в цейхгауз вбежал Герасимович.

— Ясновельможный пане хорунжий оршанский! — крикнул он, кланяясь у дверей.

— Что? Горит? Я здесь! — сказал Кмициц.

— Князь просит вас! Князь просит!

— Сейчас! Только переоденусь. Эй, кто там: кунтуш и пояс, живо! Казачок мигом принес все нужное, и минуту спустя Кмициц, разодетый как на свадьбу, пошел к князю. Все, взглянув на него, пришли в невольное восхищение. На нем был жупан из серебристой ткани, шитый золотом, застегнутый у ворота огромным сапфиром. Поверх него голубой бархатный кунтуш и белый пояс, необыкновенно дорогой и такой тонкой работы, что его можно было просунуть сквозь кольцо. У пояса висела серебряная, усеянная сапфирами сабля, а за поясом был заткнут ротмистровский буздыган. Этот наряд необыкновенно шел молодому рыцарю, и казалось, трудно было найти другого подобного ему во всей этой громадной толпе, собравшейся в Кейданах.

Пан Володыевский вздохнул, глядя на него, а когда Кмициц скрылся за дверью, сказал Заглобе:

— С таким, как он, трудно соперничать!

— Сбрось с моих плеч только тридцать лет! — сказал Заглоба.

Князь был уже одет, когда вошел Кмициц. Камердинер в сопровождении двух негров выходил из его комнаты. Они остались вдвоем.

— Спасибо, что ты поторопился, — сказал князь.

— Я всегда к услугам вашего сиятельства.

— А как твой полк?

— Готов, по приказанию.

— А люди надежные?

— Готовы в огонь и в воду!

— Это хорошо. Такие люди мне нужны... И такие, как ты! Я на тебя рассчитываю больше всего.

— Мои заслуги, ваше сиятельство, не равны заслугам старых солдат, но если мы пойдем на врагов нашей дорогой отчизны, то, Бог мне свидетель, я не отстану от других.

— Я их заслуг не отрицаю, но могут настать такие тяжелые времена, что даже самые верные будут колебаться.

— Проклятие тому, кто ваше сиятельство покинет в тяжелую минуту!

— А ты... не покинешь?

Кмициц вспыхнул:

— Ваше сиятельство!..

— Что ты хочешь сказать?

— Я покался перед вами во всех своих грехах, а их было так много, что только родительское сердце могло их простить. Но в числе моих грехов нет одного: неблагодарности.

— И предательства... Ты покался передо мной, как перед отцом, а я не только простил тебя, как отец, но полюбил, как сына, которым Бог не наградил меня. Будь же мне другом!

С этими словами князь дружески протянул ему руку, которую Кмициц без колебания поцеловал.

С минуту оба молчали; потом князь пристально взглянул на Кмицица и сказал:

— Панна Александра Биллевич здесь!

Кмициц побледнел и что-то забормотал.

— Я нарочно послал за нею, чтобы вы могли объясниться. Сейчас ты ее

увидишь. Несмотря на массу спешных дел, я сегодня говорил с мечником.

Кмициц схватился за голову:

— Чем мне отблагодарить вас, ваше сиятельство?

— Я ясно дал понять мечнику, что лично желаю, чтобы вы скорее повенчались, и он ничего не имеет против. Вместе с тем я велел ему подготовить к этому панну. Времени у нас довольно. Все зависит от тебя, а я буду счастлив, если эту награду ты получишь из моих рук, как и множество других, тебя достойных. Ты грешил, потому что молод, но ты и прославился, так что все молодые люди готовы всюду идти за тобой. Ты должен подняться высоко. Сан хорунжего тебе не по плечу. Известно ли тебе, что ты родственник Кишко, из коих я происхожу по матери? Бери же эту девушку, если она тебе по сердцу, и помни, кто тебе ее дал.

— Я с ума сойду от счастья! Вся моя жизнь принадлежит вам. Что мне сделать, чтобы отблагодарить вас?! Приказывайте сами, ваше сиятельство!

— Добром отплатить за добро. Верь, что если я что-нибудь сделаю, то для общего блага. Не покидай меня, когда увидишь, что другие изменяют мне, и когда меня...

Вдруг князь замолчал.

— Клянусь до последнего издыхания не покидать вас, моего вождя, отца и благодетеля! — с горячностью воскликнул Кмициц, глядя на князя глазами, полными искренности. Заметив, что лицо его вдруг налилось кровью, жилы надулись и крупные капли пота выступили на высоком лбу, рыцарь тревожно спросил:

— Что с вами, ваше сиятельство?

— Ничего, ничего!

Радзивилл быстро поднялся и, подойдя к аналою, взял лежавшее на нем распятие.

— Поклянись мне вот перед этим распятием, что не оставишь меня до смерти.

Несмотря на готовность и горячность, Кмициц взглянул на князя изумленными глазами.

— Поклянись мне именем мук Христовых, — настаивал князь.

— Клянусь! — торжественно произнес Кмициц, положив руку на распятие.

— Аминь! — прибавил князь торжественно.

Эхо высокой комнаты повторило это «Аминь», и затем наступила глубокая тишина. Слышалось только дыхание мощной радзивилловской груди. Кмициц не сводил с него изумленных глаз.

— Ну теперь ты мой, — сказал наконец князь.

— Я всегда принадлежал вам, ваше сиятельство! — ответил молодой рыцарь. — Но скажите, ваше сиятельство, что дало вам повод сомневаться во мне? Не грозит ли вашему сиятельству какая-нибудь опасность? Не открыта ли измена или что-нибудь в этом роде?

— Близок час испытания, — ответил угрюмо князь, — а что касается врагов, то ты знаешь, что Госевский, Юдицкий и воевода витебский рады погубить меня. Враги мои грозят мне изменой. Потому я и говорю, что близок час испытания.

Кмициц молчал, но мрак, окружавший его, не рассеялся. Что могло грозить могущественному Радзивиллу? Ведь теперь он сильнее, чем когда-либо. В Кейданах и его окрестностях столько войск, что, будь у князя такие силы под Шкловом, война приняла бы совсем другой оборот.

Правда, Госевский и Юдицкий недолюбливали его, но оба они арестованы, а что касается витебского воеводы, то он слишком хороший гражданин, чтобы накануне войны мешать князю.

— Клянусь Богом, я ничего не понимаю! — воскликнул Кмициц, не умевший скрывать свои мысли.

— Сегодня ты поймешь все, — ответил Радзивилл. — А теперь идем в зал. — И,

взяв под руку молодого рыцаря, он направился к двери.

Они прошли ряд комнат. Из большой залы неслись звуки оркестра, которым управлял француз, нарочно выписанный из-за границы князем Богуславом. Играли менуэт, который в то время танцевали при французском дворе. Мягкие звуки его сливались с шумом и говором гостей.

— Дай Бог, чтобы все гости, которых я принимаю сегодня под своим кровом, не стали завтра моими врагами, — сказал князь после минутного молчания.

— Надеюсь, что между нами нет сторонников Швеции, — возразил Кмициц. Радзивилл вздрогнул и остановился.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Лишь то, что там честные люди!

— Пойдем... Время покажет, и рассудит Бог, кто честен.

У самых дверей стояло двенадцать пажей, прелестных мальчиков, одетых в бархат и перья. Увидев гетмана, они построились в два ряда.

— Ее сиятельство уже в зале? — спросил князь.

— Точно так, ваше сиятельство, — ответили пажи.

— А Панове послы?

— Тоже здесь.

— Откройте дверь!

Обе половинки дверей распахнулись настежь, и поток ослепительного света залил мощную фигуру гетмана, который в сопровождении пажей и Кмицица взошел на возвышение, где были приготовлены кресла для наиболее почетных гостей.

В зале поднялось движение и раздались крики:

— Да здравствует Радзивилл! Да здравствует наш гетман!

Князь раскланялся на все стороны, а затем приветствовал гостей, собравшихся на эстраде, которые при его появлении поднялись. В числе почетных лиц кроме княгини были шведские послы, посол московский, воевода венденский, епископ Парчевский, архидиакон Белозор, пан Коморовский, Межеевский, жмудский староста Глебович, зять гетмана Пац, Гангоф, полковник Мирский, курляндский посол Вейсенгоф и несколько дам из свиты княгини.

Гетман, как учтивый хозяин, приветствовал сначала послов, потом остальных и лишь тогда сел в кресло, стоявшее под горностаевым балдахином; посмотрел на залу, в которой еще раздавались крики:

— Да здравствует гетман!

Между тем Кмициц, скрывшись за балдахином, обегал глазами всю залу, надеясь увидеть черты той, которая в эту минуту наполняла его душу и сердце, стучавшее, как молот.

«Она здесь!.. Через минуту я увижу ее, буду говорить с ней...» — повторял он мысленно. И искал, искал ее все с большим нетерпением, все с большей тревогой. Но что это? Там из-за перьев веера выглядывают чьи-то черные брови, белый лоб и светлые волосы. Это она!

Кмициц затаил дыхание, точно из страха, что видение исчезнет, но в эту минуту лицо открывается... «Нет, это не она, не Оле нька, моя милая, драгоценная...» Глаза его несутся дальше, скользят по хорошеньким лицам, перьям, атласу, и каждую минуту он разочаровывается. Ее нет! Наконец в глубине оконной ниши мелькнуло что-то белое; у рыцаря потемнело в глазах. Это она, дорогая, милая Оле нька.

Снова раздаются звуки оркестра, пары кружатся, мелькают, а Кмициц ничего не видит, кроме нее, своей возлюбленной. В громадной зале она кажется как бы меньше, а личико как у ребенка. Вот взять бы ее на руки и прижать к груди! Но это она; те же нежные черты, те же коралловые губы, те же длинные ресницы и мраморный лоб. Ему вспомнилась людская в Водоктах, где он ее в первый раз увидел, уютные комнаты, где они проводили вечера, катанье, поцелуи, которыми он иногда ее осыпал.

А потом... их разлучили люди!

«Вот чем я обладал и что я утратил теперь навсегда! — воскликнул Кмициц в душе. — Как она была близка и как далека теперь! Сидит, как чужая, и не подозревает, что я здесь».

Не раз уже Кмициц проклинал себя за свои поступки, но никогда он не чувствовал такого гнева на себя, как теперь, когда после долгой разлуки он снова увидел ее, еще прекраснее, чем всегда, прекраснее, чем он мог представить ее себе в своем воображении! Он готов был казнить себя, кричать, но, вспомнив про присутствие князя и других особ, он лишь стиснул зубы и мысленно повторял: «Поделом тебе, дурак! Поделом!»

Вдруг звуки музыки смолкли, и над ухом его раздался голос гетмана:

— Иди за мной!

Кмициц очнулся и последовал за князем, который, сойдя с возвышения, смешался с толпой. Блуждавшая на его лице ласковая, добродушная улыбка, казалось, усиливала его величие. Это был тот вельможа, который, принимая у себя королеву Марию-Людвигу, поражал и затмевал французских придворных не только роскошью обстановки, но и изысканностью манер; тот, о котором с таким восторгом отзывался Жан Лабурер в своих «Путешествиях». Теперь он то и дело останавливался перед более пожилыми дамами, знатной шляхтой и полковниками, находя для каждого какое-нибудь ласковое слово, поражая своей памятью и привлекая к себе все сердца. Присутствовавшие следили глазами за каждым его движением, а он подошел к мечнику россиенскому Биллевичу и сказал:

— Благодарю тебя, старый друг, за то, что ты пожаловал ко мне. Биллевичи от Кейдан не за сто миль, а все же ты такой редкий гость!

— Отнимая от вашего сиятельства драгоценное время, я бы обидел отчизну, — ответил мечник с низким поклоном.

— А я уже хотел отомстить и навестить тебя в Биллевичах; надеюсь, что ты принял бы своего старого товарища по оружию.

Мечник, услышав это, даже вспыхнул от счастья, а князь продолжал:

— Я вот все времени не выберу свободного; но уж когда будешь выдавать замуж внуку покойного Гераклия, то на свадьбу приеду непременно, ибо я у вас обоих в долгу.

— Дай Бог, чтобы это было как можно скорее! — воскликнул мечник.

— А пока позволь представить тебе оршанского хорунжего, пана Кмицица, из тех, что в родстве с Кишко, а через них и с Радзивиллами. Ты, верно, слышал эту фамилию от Гераклия Биллевича, он их любил, как родных братьев.

— Челом вам! — произнес мечник, удивленный высоким происхождением молодого рыцаря, о котором впервые услышал из уст Радзивилла.

— Бью челом вам, пане мечник, и поручаю себя вашей дружбе, — смело и не без гордости ответил Кмициц. — Полковник Гераклий был для меня вторым отцом и благодетелем, и, хотя потом между нами произошло недоразумение, я все же не переставал любить Биллевичей, как самых близких родных.

— А особенно, — сказал князь, дружески положив руку на плечо молодого человека, — не переставал любить одну из Биллевичей, в чем мне давно сознался.

— И каждому повторяю это в глаза! — горячо произнес Кмициц.

— Тише, тише, — остановил его князь. — Мосци-мечник, этот кавалер — из серы и огня, за что он уже порядком поплатился; но теперь он под моим особым покровительством, и надеюсь, что если мы вдвоем умолим нашего прелестного судью, то удостоимся милостивого снятия опалы.

— Делайте, ваше, сиятельство, все, что вам угодно, — ответил мечник. — Несчастливая панна должна теперь воскликнуть, как некая жрица перед Александром Македонским: «Кто устоит перед тобою!»

— А мы, как сей македонянин, удовлетворимся этим, — ответил со смехом князь. — Ну води же нас к своей родственнице, я буду очень рад ее видеть.

— Готов к услугам вашего сиятельства. Она сидит с пани Войниллович, нашей родственницей. Простите, ради бога, если она смутится, ибо я не успел ее предупредить.

Предчувствие мечника оправдалось. К счастью, Оле нька увидела его раньше и потому успела немного оправиться, но в первую минуту она чуть не лишилась чувств. Она смотрела на молодого рыцаря, как на призрак, и долго не могла поверить своим глазам. Ведь она думала, что этот несчастный скитается теперь где-нибудь по лесам, гонимый, как дикий зверь, правосудием, или с отчаянием смотрит сквозь решетку на веселый Божий мир. Сколько слез пролила она по нему, одному Богу ведомо! А между тем он в Кейданах, под покровительством гетмана, гордый, в бархате и парче, с полковничьим буздыганом за поясом, с поднятой головой, с надменным выражением лица, и сам великий гетман, сам Радзивилл дружески кладет ему руку на плечо. Станные и противоречивые чувства наполнили сердце девушки. Она то чувствовала облегчение, точно кто-нибудь снял с ее плеч тяжелое бремя, то сожаление о даром пролитых слезах и то с восторгом, то с каким-то страхом смотрела на рыцаря, который сумел спастись из пропасти.

А князь, мечник и Кмициц, окончив разговор, направились к ней. Девушка опустила ресницы и подняла руки, как птица поднимает крылья, когда хочет спрятать между них голову. Она чувствовала, что они приближаются, и заранее знала, что они подойдут к ней. Когда они остановились, она, не поднимая глаз, вдруг встала и низко поклонилась князю.

— Господи! — воскликнул князь. — Как этот цветок чудесно расцвел! Привет вам, милая панна! Привет внучке незабвенного Биллевича! Узнаете ли вы меня?

— Узнаю, ваше сиятельство! — ответила девушка.

— А я бы вас не узнал, в последний раз я видел вас почти ребенком. Поднимите же эти завесы с ваших глаз. Счастлив будет тот, кто получит такую жемчужину, и несчастен тот, кто имел ее и потерял. Вот и теперь перед вами стоит такой несчастный в лице этого молодого кавалера! А вы его узнаете?

— Узнаю, — прошептала девушка, не поднимая глаз.

— Он великий грешник, и я привел его каяться перед вами. Наложите на него какую угодно епитимью, но не отказывайте в прощении грехов, ибо отчаяние приведет его к еще худшим поступкам.

Затем князь обратился к мечнику и пани Войниллович:

— Оставимте, Панове, молодых людей наедине, при исповеди не полагается присутствовать, и моя религия это запрещает.

Молодые люди остались с глазу на глаз. Сердце молодой девушки билось, как сердце голубя, когда его готовится схватить ястреб. Он тоже был взволнован. Обычная его смелость и порывистость оставили его. Некоторое время оба молчали. Наконец Кмициц спросил едва слышным голосом:

— Ты не думала меня здесь встретить, Оле нька?

— Нет, — прошептала девушка.

— Ради бога, успокойся! Если бы перед тобой встал вдруг татарин, ты и тогда, верно, испугалась бы меньше. Не бойся! Смотри, сколько здесь людей. Я тебя ничем не обижу! Но если бы даже мы были совсем одни, то и тогда тебе нечего было бы бояться, ведь я поклялся уважать тебя. Верь мне!

— Как же могу я верить? — ответила она, поднимая на него глаза.

— Правда, я грешил, но теперь это прошло и больше не вернется. Когда после поединка с Володыевским я лежал на смертном одре, я сказал себе: «Ты не будешь больше брать ее силой, саблей, огнем, ты заслужишь ее добрыми делами и вымолишь у нее прощение. Ведь у нее сердце не каменное, ее гнев пройдет; она

увидит, что ты исправился, и простит». Я поклялся исправиться и сдержу свое слово. Бог услышал мои молитвы: приехал пан Володыевский и привез мне гетманский приказ. Он мог его не передать, но передал. Добрая душа! С этих пор я был избавлен от суда покровительством гетмана. Я признался князю, как отцу, во всех своих грехах, и он не только простил меня, но даже обещал защитить от врагов. Да благословит его Бог! Я больше не буду злодеем, сойду с хорошими людьми, верну добрую славу, послужу отчизне, заглажу все мои проступки... Оле нька, а ты что скажешь на это? Скажи мне хоть одно ласковое слово!

И он смотрел на нее, сложив с мольбою руки, точно молился на нее.

— Могу ли я поверить всему этому? — ответила девушка.

— Не только можешь, но и должна! — ответил Кмициц. — Ты видишь, все поверили: и князь-гетман, и пан Володыевский. Ведь они знают все мои проступки, а поверили... Почему же ты одна только не веришь?

— Я видела слезы, пролитые из-за вас... Я видела могилы, еще не поросшие травой.

— Могилы зарастут, а слезы я сам вытру.

— Так сделайте же это раньше, ваць-пане!

— Только дай мне надежду, что если я сделаю это, то ты вернешься ко мне. Хорошо тебе говорить: «Прежде сделай это». Ну а что будет, если ты за это время выйдешь за другого? Не приведи этого Бог, я с ума сойду от отчаяния. Заклинаю тебя, Оле нька, дай мне уверенность, что я не потеряю тебя, прежде чем помирюсь с вашей шляхтой! Успокой меня! Ведь ты сама мне это писала, а я это письмо сохранил и в тяжелые минуты перечитываю. Я тебя ни о чем больше не прошу, только повтори мне еще раз, что ты будешь ждать меня и не выйдешь за другого.

— Вы знаете, ваць-пане, что я не могу этого сделать, по смыслу заветания. Я могу только поступить в монастырь.

— Вот бы ты мне удружила! Ради бога, оставь в покое монастырь: при одной мысли о нем у меня мороз проходит по коже! Не думай об этом, не то я тут же, при всех, упаду к твоим ногам и буду молить, чтобы ты этого не делала. Пану Володыевскому ты отказала, знаю, он мне сам говорил об этом. Он и уговорил меня заслужить тебя добрыми делами. Но к чему все это, если бы ты захотела идти в монастырь? Ты скажешь, что нужно делать добро для добра; а я тебе скажу, что люблю тебя до отчаяния и больше ничего знать не хочу. Когда ты уехала из Водокт, едва я поднялся с постели, как опять начал тебя искать. Я ставил полк на ноги, у меня не было времени ни поесть, ни выспаться, но и тогда я не переставал тебя искать. Такова уж, знать, моя доля, что без тебя мне нет ни жизни, ни покоя! Точно заноза в сердце. Только одними вздыханиями и жил я! Наконец я узнал, что ты у пана мечника в Биллевичах. И вот, говорю тебе, боролся я с мыслями, как с медведем. Наконец я сказал себе: я не сделал еще ничего хорошего — не поеду. Но вот князь, отец родной, сжалился надо мной и пригласил вас в Кейданы, чтобы я мог хоть насмотреться на тебя... Ведь мы на войну идем... Я не прошу, чтобы ты завтра же выходила за меня. Но дай услышать хоть одно слово от тебя, дай надежду — и мне станет легче. Я не хочу погибнуть, но на войне это с каждым может случиться, ведь я не стану прятаться за других... и ты должна простить мне, как прощают умирающему.

— Да хранит вас Бог и вернет невредимым! — ответила девушка мягким голосом, по которому Кмициц сразу угадал, что его слова произвели впечатление.

— Золото мое! Спасибо тебе и за это! Так ты не пойдешь в монастырь?

— Пока нет.

— Да благословит тебя Бог!

И как весной тают снега, так таяло их недоверие — и они опять становились близки друг другу. На душе у них стало легче, глаза повеселели. А ведь она ничего не обещала, да и он был настолько умен, что ничего сразу не требовал. Но она сама

чувствовала, что ей нельзя, что она не имеет права закрывать перед ним дорогу к исправлению, о котором он говорил так искренне. В его искренности она не сомневалась ни минуты, это был не такой человек, который мог бы притворяться. Но главная причина, благодаря которой она его не оттолкнула и оставила ему надежду, была та, что в глубине души она еще его любила. Любовь эту на время придавила гора горечи, разочарования и боли, но она жила, готовая верить и прощать без конца.

«Он лучше, чем его поступки, — думала девушка, — и нет уж тех, кто толкал его на дурные дела. С отчаяния он мог бы решиться на что-нибудь еще худшее, так пусть же он не отчаивается!»

И ее доброе сердце обрадовалось тому, что простило. На щеках Оле ньки выступил румянец, как свежие розы на росе. Глаза нежно и живо блестели и точно наполняли своим светом залу. Проходившие мимо любовались этой прелестной парой — и действительно, трудно было найти другую такую же во всей зале, хотя в ней собрался цвет всей шляхты.

Притом оба, точно сговорившись, были одинаково одеты. На ней тоже было платье из серебристой парчи, застегнутое сапфиром, и голубой из венецианского бархата контуш. «Должно быть, брат и сестра?» — спрашивали те, кто их не знал. Но другие замечали: «Не может быть, у него слишком блестят глаза, когда он на нее смотрит».

Между тем маршал дал знать, что пора садиться за стол, и в зале поднялось необыкновенное движение. Граф Левенгаупт, весь в кружевах, шел впереди под руку с княгиней, шлейф которой несли два пажа; за ним барон Шитте вел пани Глебович, тут же шли ксендз-епископ Парчевский с ксендзом Белозором; оба были чем-то опечалены. Князь Януш, который в шествии уступал дорогу гостям, но за столом сидел рядом с княгиней на первом месте, вел баронессу Корф, которая уже неделю гостила в Кейданах, Кмициц вел Оле ньку, которая слегка опиралась рукой на его руку, а он смотрел сбоку на ее нежное лицо, счастливый, сияющий, чувствующий себя богаче всех собравшихся здесь магнатов, ибо был близок к обладанию величайшим сокровищем. И так шли пары одна за другой, как стоцветный змей, отливавший чешуей.

Гости мерными шагами, при звуках оркестра, вошли в огромную столовую, где столы, в виде подковы, были сервированы на триста персон и гнулись под тяжестью серебра и золота. Князь Януш, родственник стольких королей и сам носивший в себе как бы часть королевского величия, сел рядом с княгиней на первое место, а гости, проходя мимо, кланялись ему низко, а затем садились сообразно сану и званию.

Но, по-видимому, князь (так казалось присутствующим) помнил, что это последний пир перед страшной войной, в которой решится участь огромных государств, так как в лице его не было спокойствия. Он притворялся веселым и улыбающимся, но вид у него был такой, точно его мучит лихорадка. Порой его грозное чело точно заволакивалось тучей, и сидевшие ближе могли заметить, что оно было покрыто крупными каплями пота; порою взор его быстро пробежал по лицам присутствующих и останавливался испытующе на полковниках; то вдруг князь морщил львиные брови, точно от боли или точно чье-либо лицо вдруг возбуждало в нем гнев. И странно: все сановники, сидевшие поблизости от князя, как то: послы, ксендз-епископ Парчевский, ксендз Белозор, пан Коморовский, пан Межеевский, пан Глебович, пан воевода венденский и другие, были так же рассеяны и беспокойны. На двух противоположных концах огромной подковы слышался уже веселый разговор, обычный на пирах, а середина ее угрюмо молчала или шептала что-то изредка или, наконец, обменивалась рассеянными и тревожными взглядами.

Но в этом не было ничего странного, так как ниже сидели полковники и рыцари, которым близость войны угрожала, самое большее, смертью. Легче умереть на войне, чем нести на своих плечах бремя ответственности за нее. Не омрачится душа

солдата, когда, искупив кровью грехи свои, отлетает она с поля на небо; только тот тяжело клонит голову и отдает отчет Богу и совести, кто накануне решительного дня не знает, какую чашу даст он испить отчизне.

Так и говорили на нижних концах.

— Он всегда такой: перед каждой войной с душой своей беседует, — говорил старый полковник Станкевич пану Заглобе, — но чем он мрачнее, тем хуже для неприятеля, ибо в день битвы он наверное будет весел.

— Ведь и лев перед битвой рычит, — ответил пан Заглоба, — чтобы возбудить этим в себе еще большую ненависть к врагу. Что же касается великих полководцев, то у каждого из них свой обычай. Аннибал, говорят, играл в кости, Сципион африканский сочинял вирши, пан Конецпольский-отец всегда о женщинах разговаривал, а я охотно люблю поспать часик-другой, хоть и от выпивки с хорошими людьми не сторонюсь.

— Посмотрите, ваць-панове, епископ Парчевский бледен, как бумага, — сказал Станислав Скшетуский.

— Потому что сидит за кальвинистским столом и мог съесть что-нибудь нечистое, — вполголоса объяснил Заглоба. — К напиткам, говорят старые люди, нечистый не имеет доступа, и их можно пить везде, а кушаний, особенно супов, нужно остерегаться. Так было и в Крыму, когда я там был в плену. Татарские муллы — священники, значит, — умели так готовить баранину с чесноком, что кто раз пробовал, тот готов был сейчас же отречься от своей веры и признать ихнего вруна-пророка.

Тут Заглоба понизил голос еще больше:

— Не в обиду князю-пану будь сказано, но советую ваць-панам перекрестить кушанье: береженого и Бог бережет.

— Что вы говорите, ваць-пане! Кто перед едой перекрестится, с тем уж нечего не случится! У нас в Великопольше лютеран и кальвинистов тьма-тьмущая, но я не слышал, чтобы они колдовали на кухне.

— У вас в Великопольше лютеран тьма-тьмущая, потому они и снюхались со шведами, — ответил пан Заглоба. — Я бы на месте князя этих послов собаками затравил, а не набивал бы им брюхо всякими сладостями. Посмотрите только на этого Левенгаупта. Жрет, точно его через месяц на убой поведут. Он еще в карманы припрячет всякие лакомства для жены и детей. Забыл, как зовут эту вторую заморскую птицу. Как его?

— Спросите, отец, у Михала, — ответил Ян Скшетуский.

Но пан Михал, хотя сидел недалеко, ничего не видел и не слышал: он сидел между двумя паннами; по левую руку сидела панна Эльжбета Селявская, девушка лет около сорока, а по правую Оле нька Биллевич, за которой сидел Кмициц. Панна Эльжбета трясла головою, украшенной перьями, перед маленьким рыцарем и рассказывала что-то оживленно, а он, поглядывая на нее время от времени осоловелыми глазами, отвечал: «Так, мосци-панна! Совершенно верно!» — но не понимал ни слова, ибо все его внимание было поглощено другой соседкой. Он ловил каждое слово Оле ньки и так шевелил усами, точно хотел этим испугать панну Эльжбету.

«Что за чудная девушка! — думал он. — Ну и красавица! Господи, воззри на мое горе: нет никого на свете сиротливее меня! Душа так и пищит во мне от тоски по суженой, а на кого я ни взгляну, все уже заняты. Куда же мне деться, несчастному скитальцу?»

— А после войны что ваць-пан думает делать? — вдруг спросила его панна Эльжбета, сложив губки бантиком и обмахиваясь веером.

— В монастырь идти! — раздраженно ответил маленький рыцарь.

— А кто это на балу говорит о монастыре? — весело спросил Кмициц,

перегибаясь через Оленьку. — Это вы, пане Володыевский?

— У ваць-пана не то на уме? Верю!

Но вот в его ушах зазвенел сладкий голос Оленьки:

— Ваць-пану не нужно об этом думать. Бог пошлет вам жену любимую и столь же достойную, как и ваць-пан!

Добрый пан Михал расчувствовался.

— Если бы кто-нибудь заиграл мне на флейте, мне не было бы приятнее слушать!

Все усиливавшийся шум за столом прервал дальнейший разговор. Дошла очередь и до рюмок. Беседа оживлялась. Полковники спорили о будущей войне, морща брови и бросая огненные взгляды.

Пан Заглоба рассказывал об осаде Збаража, у слушателей кровь бросалась к лицу, а в сердце росло мужество... Казалось, дух бессмертного «Еремы» витал в зале и героическим одушевлением наполнял сердца солдат.

— Вот это был вождь, — воскликнул знаменитый полковник Мирский, командовавший радзивилловскими гусарами. — Я один раз его видел, но и умирая буду его помнить.

— Юпитер с перунами в деснице! — воскликнул старик Станкевич. — Не дошло бы до того, что теперь, будь он жив!

— Ба, ведь это он за Ромнами велел рубить леса, чтобы открыть дорогу к неприятелю!

— Не будь его, мы бы не одержали победы под Берестечком!

— И Бог отнял его у нас в самую тяжелую минуту...

— Бог его отнял, — сказал, возвысив голос, пан Станкевич, — но после него осталось завещание для будущих вождей, сановников и всей Речи Посполитой: ни с одним неприятелем не вести переговоров, а всех бить!

— Бить, бить! — повторило несколько сильных голосов.

В столовой стояла страшная жара и возбуждала кровь в воинах — и вот взгляды их стали как молнии, а лица грозны.

— Наш пан гетман будет исполнителем этого завещания! — сказал Мирский.

Вдруг громадные часы, помещавшиеся у потолка залы, пробили полночь, и в ту же минуту задрожали стены, жалобно зазвенели стекла и грохот салютных выстрелов раскатился по двору. Разговоры умолкли. Настала глубокая тишина. Вдруг в верхней части стола раздался крик:

— Епископу Парчевскому дурно! Воды!

Произошло замешательство. Многие вскочили со своих мест, чтобы посмотреть, что случилось. Епископ не упал в обморок, а лишь очень ослаб, и маршал поддерживал его, пока жена венденского воеводы прыскала ему в лицо водой.

В эту минуту раздался второй выстрел — дрогнули стекла; за ним третий, четвертый...

— Виват Речь Посполитая! Да погибнут враги ее! — крикнул пан Заглоба. Но дальнейшие выстрелы заглушили его слова.

Шляхта стала считать:

— Десять, одиннадцать, двенадцать.

Стекла каждый раз отвечали жалобным стоном. Пламя свечей колебалось от сотрясения.

— Тринадцать, четырнадцать! Ксендз-епископ не привык к такому грохоту. Он испортил своим испугом веселье. И князь обеспокоился. Посмотрите, мосци-панове, какой он мрачный... Пятнадцать, шестнадцать... Ого, палят как на войне! Деятнадцать, двадцать!

— Тише там! Князь хочет говорить! — раздалось со всех концов стола. Все вдруг смолкло, и глаза всех устремились на Радзивилла, который с бокалом в руке

был похож на великана. Но что за зрелище предстало их глазам!

Лицо князя было в эту минуту просто страшно. Оно было не бледное, а синее, искривлено судорожной улыбкой, которую князь старался вызвать на губах. Дыхание его, всегда короткое, стало еще короче, а глаза были полузакрыты ресницами. В его мощном лице было что-то страшное и холодное, как в лице покойника.

— Что с князем? Что с ним? — тревожно шептали вокруг.

И зловещее предчувствие охватило всех: тревожное ожидание отразилось на лицах.

А он заговорил прерывающимся от астмы голосом:

— Мосци-панове! Многих из вас... удивит... или просто испугает этот тост... но... кто мне верит... кто поистине желает добра отчизне... кто верный друг моего дома... тот его примет... и повторит: «Да здравствует король Карл-Густав... отныне все милостивейше царствующий над нами!»

— Да здравствует! — повторили два посла, Левенгаупт и Шитте, и несколько иностранных офицеров.

Но в зале воцарилось глухое молчание. Полковники и шляхта в ужасе переглядывались, точно спрашивая друг друга: не сошел ли князь с ума. Несколько голосов раздалось в разных концах стола:

— Не ослышались ли мы? Что это?

Потом снова наступила тишина.

Невыразимый ужас, соединенный с изумлением, отразился на лицах, и глаза всех снова обратились на Радзивилла — он все еще стоял, тяжело дыша, точно сбросил с себя страшную тяжесть. Потом он обратился к пану Коморовскому и сказал:

— Пора прочесть договор, который мы сегодня подписали, чтобы их милости, паны, знали чего держаться. Читайте, ваць-пане!

Коморовский встал, развернул лежавший перед ним пергамент и стал читать страшный договор, начинающийся словами:

«Не имея возможности лучше и выгоднее поступить в настоящую минуту бедствий и потеряв всякую надежду на помощь его величества короля, мы, сановники и шляхта Великого княжества Литовского, вынужденные необходимостью, отдаемся под покровительство его величества короля шведского на следующих условиях:

1) Вместе воевать против неприятеля, исключая короля и коронных войск.

2) Великое княжество Литовское не будет присоединено к Швеции, а соединится с нею на таких же условиях, как доньше с королевством Польским, то есть чтобы народ народу, сенат сенату и рыцарство рыцарству были во всем равны.

3) Свобода голоса на сеймах никому не должна быть возбраняема.

4) Свобода религии должна быть неприкосновенна...»

И так далее читал пан Коморовский среди тишины и ужаса, пока не дошел до следующего места: «Акт сей, скрепленный подписями нашими, как мы, так и потомки наши обязуемся хранить нерушимо».

По залу пробежал ропот, точно первое дуновение бури всколыхнуло лес. Но не успела она еще разразиться, как седой как лунь пан Станкевич обратился к князю с речью и мольбой:

— Мосци-князь, мы не верим собственным ушам! Во имя Господа! Неужели должно погибнуть дело рук Владислава и Сигизмунда-Августа? Неужели можно, неужели достойно отречься от своих братьев и заключать унию с неприятелем? Мосци-князь! Вспомните о том имени, которое вы носите, и о принесенных на алтарь

отчизны заслугах, о незапятнанной славе вашего рода и порвите, растопчите этот позорный документ! Я знаю, что молю вас об этом от имени всей шляхты и войск. Ведь и мы властны решать нашу судьбу! Мосци-князь, не делайте этого! Еще время! Сжальтесь над собой, над нами, сжальтесь над Речью Посполитой!

— Не делайте этого! Сжальтесь! Сжальтесь! — отозвались сотни голосов.

И все полковники вскочили со своих мест и стали подходить к нему, а маститый Станкевич упал на колени посреди залы, и все громче раздавалось вокруг:

— Не делайте этого! Сжальтесь над нами!

Радзивилл поднял свою мощную голову, и глаза его метнули молнии. Вдруг он обрушился:

— Вам ли, мосци-панове, первым давать пример неповиновения? Прилично ли солдатам отступать от вождя и гетмана и протестовать? Вы хотите учить меня, как нужно поступать для блага отчизны? Здесь не сеймик, вас сюда не голосовать позвали. Я перед Богом беру ответственность на себя!

И он ударил себя рукой по широкой груди, глядя пылающими глазами на рыцарей, и наконец крикнул:

— Кто не со мной, тот против меня! Я знал вас, знал, что будет! Но знайте же и вы, что меч висит над вашими головами!

— Мосци-гетман, гетман наш, — молил старик Станкевич, — сжался над собой и над нами.

Но его слова прервал Станислав Скшетуский. Он, схватившись обеими руками за волосы, закричал с отчаянием:

— Не просите его! Напрасный труд! Он эту змею давно лелеял в своем сердце! Горе тебе, Речь Посполитая! Горе нам всем!

— Два сановника на двух концах Речи Посполитой продают отчизну! — воскликнул пан Ян. — Проклятие этому дому, позор и гнев Божий!

Услышав это, Заглоба очнулся от изумления и гаркнул:

— Спросите его, сколько он отступного получил от шведов? Сколько заплатили, сколько еще обещали? Мосци-панове, это Иуда Искаротский! Чтоб ты издох в отчаянии! Чтоб род твой погиб! Чтоб дьявол душу из тебя вырвал! Изменник! Изменник! Трижды изменник!

Вдруг Станкевич, в порыве отчаяния, выхватил полковницкую булаву из-за пояса и с грохотом бросил ее к ногам князя; вторым бросил Мирский, за ним Юзефович, Гощиц, Оскерко и бледный, как труп, Володыевский. И катились по полу булавы, и в логове льва, льву в глаза все громче повторялось страшное слово: «Изменник!», «Изменник!»

Вся кровь бросилась в голову гордого магната; он посинел и, казалось, вот-вот свалится под стол мертвым.

— Гангоф и Кмициц, ко мне! — крикнул он страшным голосом.

В ту же минуту четверо дверей, ведущих в залу, раскрылись настежь, и отряды шотландской пехоты вошли, грозные, молчаливые, с мушкетами в руках. Из главных дверей их вел Гангоф.

— Стой! — крикнул князь. Потом обратился к полковникам:

— Кто со мной, пусть перейдет направо.

— Я солдат, гетману служу! Пусть Бог меня судит! — сказал Харлам, переходя на правую сторону.

— И я! — прибавил Мелешко. — Не мой грех!

— Я протестовал как гражданин, но как солдат должен повиноваться! — сказал Невяровский, который хотя и бросил булаву, но теперь, по-видимому, испугался Радзивилла.

За ними перешло еще несколько человек и часть шляхты, но Мирский, человек наиболее заслуженный среди всех, Станкевич, Гощиц, Володыевский, Оскерко, двое

Скшетуских, Заглоба и огромное большинство как офицеров разных хоругвей, так и шляхты остались на месте.

Шотландская пехота окружила их стеной.

Кмициц, с первой же минуты, как князь провозгласил тост в честь Карла-Густава, вскочил с места с другими и стоял окаменелый, с неподвижными глазами и повторял побледневшими губами:

— Боже! Боже! Что я наделал?!

И вот тихий, но явственный шепот раздался близ него:

— Пане Андрей...

Он схватился руками за голову и простонал:

— Проклят я навеки! Пусть земля меня поглотит!..

На лице панны Биллевич выступил яркий румянец; глаза, горящие, как звезды, смотрели на Кмицица.

— Позор тем, кто станет на сторону гетмана! Выбирайте! Господи всемогущий!.. Что вы делаете?! Выбирайте!..

— Боже! Боже! — крикнул Кмициц.

Между тем зала огласилась криками; другие бросали булавы под ноги князю, но Кмициц не присоединился к ним. Не тронулся и тогда, когда князь крикнул: «Гангоф и Кмициц, ко мне!» — и когда шотландская пехота вошла в зал... Стоял, терзаемый мукой и отчаянием, с обезумевшими глазами и посиневшими губами.

Вдруг он повернулся к панне Александре и протянул руки:

— Оле нька! Оле нька! — повторял он с жалобным стоном, как обиженный ребенок.

— Прочь, изменник! — отчетливо ответила она.

В эту минуту Гангоф скомандовал: «вперед», и отряд шотландцев, окружавший арестованных, направился к дверям.

Кмициц пошел за ними, ничего не сознавая и не зная, куда и зачем он идет. Пир кончился.

XIV

В эту ночь князь долго еще совещался с паном Корфом, воеводой венденским и шведскими послами. Результат обнародования договора обманул его ожидания и открыл перед ним грозное будущее. Он нарочно сделал так, что обнародование совершилось в тот момент, когда люди немного подвыпили и, можно было рассчитывать, станут податливее. Он ожидал протеста, но рассчитывал и на сторонников, между тем энергия протеста превзошла его ожидания. Кроме незначительной горсти шляхтичей-кальвинистов и иностранных офицеров, которые, как иностранцы, не имели права голоса в этом деле, все восстали против договора с Карлом-Густавом, или, вернее, с его фельдмаршалом и зятем, де ла Гарди. Правда, князь велел арестовать войсковых старшин, но что же из этого? Что скажут на это войска? Не заступятся ли они за своих полковников? Не взбунтуются ли и не захотят ли силой освободить их? Но в таком случае что же останется у гордого гетмана, кроме нескольких полков драгун и иностранной пехоты? Кроме этого останется еще вся страна, вся вооруженная шляхта и Сапега, воевода витебский, грозный противник радзивилловского дома, который во имя родины готов на войну со всем миром. Все эти полковники, которым нельзя ведь срубить головы, перейдут к нему, и Сапега станет во главе страны, а князь Радзивилл останется без сторонников, без войска, без значения... Что же тогда?

Вопрос этот был страшен, как и само положение князя. Князь хорошо понимал, что тогда и договор, над которым ему пришлось втайне столько поработать, потеряет всякое значение, и шведы будут пренебрежительно относиться к нему, Радзивиллу,

или даже мстить за обман. Ведь он отдал им свои Биржи в залог верности и этим еще больше ослабил себя.

Карл-Густав готов был обеими руками осыпать могущественного Радзивилла наградами, но слабым и покинутым он пренебрежет. А если вдруг превратность судьбы пошлет победу Яну Казимиру — тогда настанет час последней гибели для пана, который еще сегодня утром не имел себе равного во всей Речи Посполитой.

После отъезда послов и венденского воеводы князь схватил обеими руками обремененную заботами голову и стал быстрыми шагами ходить по комнате. Снаружи доносились голоса шотландской стражи и грохот отъезжающих экипажей. Шляхта уезжала так быстро, с такой поспешностью, точно зараза посетила великолепный кейданский дом. Радзивиллом овладело страшное беспокойство.

Ему минутами казалось, что кто-то в комнате ходит за ним и шепчет: «Одиночество... нищета... и позор!» Его, великого гетмана и воеводу виленского, унизили и оскорбили! Кто бы мог вчера подумать, что найдется во всей Короне и Литве — мало того, во всем мире! — хоть один человек, который осмелился бы крикнуть ему в глаза: «Изменник!» А ведь он выслушал это и жив еще, как живы и те, что произнесли это слово. Если он войдет в зал, где происходил пир, он услышит еще под сводами эхо: «Изменник, изменник!»

И бешеный, безумный гнев разрывал порою грудь мощного олигарха. Ноздри его раздувались, глаза метали молнии, а на лбу выступили жилы. Кто смеет противиться его воле? И обезумевшая фантазия рисовала перед его глазами картины казней и мук бунтовщиков, которые осмелились не последовать за ним, как псы за господином. Он уже видел кровь, стекающую с топоров палачей, слышал треск костей на колесе и любовался, и наслаждался этими кровавыми видениями.

Но когда трезвая мысль напомнила ему, что за этими бунтовщиками стоит войско, что нельзя безнаказанно свернуть им головы, — страшное, невыносимое, адское беспокойство возвращалось в душу, и снова кто-то шептал на ухо: «Одиночество, нищета, суд и позор!»

Как? Значит, даже Радзивилл не имеет права решать участь страны? Не может оставить ее Яну Казимиру или передать Карлу-Густаву? Передать, подарить, кому он хочет? Магнат с недоумением смотрел в пространство.

Кто же, в таком случае, Радзивиллы? Чем они были вчера? Что говорили о них на Литве? Неужели это был мираж? Неужели на сторону великого гетмана не станет князь Богуслав со своими поляками, за ним его дядя, электор Бранденбургский, а за ними тремя — Карл-Густав, король шведский, со своими победоносными войсками, перед которыми так недавно еще дрожала неметчина во всю ширь и даль. Да и сама Речь Посполитая протягивает к новому властелину руки и содрогается при одной мысли о приближении этого полнощного льва. Кто устоит против этой неодолимой силы?

С одной стороны, король шведский, электор Бранденбургский, Радзивиллы, в случае нужды, и Хмельницкий со всеми своими силами, и валашский господарь, и Ракоци семиградский¹⁷, чуть не пол-Европы, с другой — воевода витебский с паном Мирским и Станкевичем с этой троицей шляхты, прибывшей из-под Лукова, и несколько взбунтовавшихся полков! Что же? Шутки? Комедия?

И князь громко рассмеялся.

— Клянусь Люцифером и всем адским сеймом, я с ума сошел, что ли? Пусть они все идут к воеводе витебскому!

Но через несколько минут лицо его снова омрачилось.

— Сильные принимают в компанию только сильных. Радзивилл, повергающий к

¹⁷ Ракоци — князя Семиградья (Трансильвании).

шведским ногам Литву, будет всегда желанным... Радзивилл же, взывающий о помощи против Литвы, будет отвергнут.

Что же делать?

Иностранные офицеры останутся при нем, но их недостаточно, и если польские полки перейдут к воеводе витебскому, то судьба края будет в его руках. Впрочем, каждый из этих офицеров хотя и будет исполнять его Приказания, но не отдастся делу Радзивиллов всей душой не только как солдат, но и как сторонник.

Нужны, во что бы то ни стало нужны, не иностранцы, а свои, которые могли бы привлечь на свою сторону именем, мужеством, славой, готовностью на все. Нужно иметь сторонников в стране, хотя бы для вида.

Кто же из своих остался при князе? Харламп, старый, бывалый солдат, служака и ничего больше; Невяровский, не любимый солдатами и не влиятельный, затем еще несколько человек, ничего не значащих... Никого, никого из таких, за кем пошло бы войско, кто умел бы вести пропаганду дела.

Оставался один Кмициц, смелый, предприимчивый, прославившийся рыцарь, носящий знаменитое имя, стоящий во главе прекрасного полка, сформированного на собственные средства; человек, точно созданный быть вождем всех беспокойных душ на Литве, притом полный пыла. Если бы он взялся за дело Радзивиллов, он взялся бы с верою, которую дает молодость, слепо шел бы за своим гетманом. Он был бы апостолом гетмана, а такой апостол значит больше, чем полки и отряды иноземцев. Свою веру он привьет рыцарству, потянет его за собой и этим пополнит радзивилловский лагерь.

Но и он, видимо, колеблется. Правда, он не бросил своей булавы к ногам гетмана, но и не стал на его сторону в первую минуту.

«Ни на кого нельзя рассчитывать, ни в ком нельзя быть уверенным, — мрачно подумал князь. — Все они перейдут к воеводе витебскому, и никто не захочет разделить со мной...»

«Позора!» — прошептала совесть.

«Литвы!» — ответило тщеславие.

В комнате потемнело, на свечах образовался нагар; лишь в окна лился серебристый свет луны. Радзивилл всматривался в этот свет и глубоко задумался.

Понемногу в этом лунном свете стали появляться какие-то фигуры, их становилось все больше, наконец князь ясно увидел войско, которое шло по широкой дороге лунного света. Идут полки панцирные, гусарские, легкие пятигорские, за ними лес знамен, а во главе едет кто-то без шлема на голове, должно быть, триумфатор, возвращающийся после победы. Вокруг тишина, а князь ясно слышит голоса войска и народа: «Да здравствует защитник отечества!» Войска подходят все ближе, уже можно различить лицо вождя. Он держит в руке булаву; по числу бунчуков можно узнать, что это — великий гетман.

— Во имя Отца и Сына! Это Сапега, это воевода витебский! А где же я? Что мне предназначено?

«Позор!» — шепчет совесть.

«Литва!» — отвечает тщеславие.

Князь хлопнул в ладоши; дежуривший с соседней комнате Герасимович тотчас же появился в дверях и согнулся в три погибели.

— Огня! — сказал князь.

Герасимович снял нагар со свечей и ушел, но сейчас же вернулся с подсвечником в руках.

— Ваше сиятельство, пора отдохнуть! Уже вторые петухи пропели.

— Не хочу! — сказал князь. — Я вздремнул, и кошмар меня душил. Что нового?

— Какой-то шляхтич привез из Несвижа письмо от князя-кравчего, но я не смел войти без зова.

— Давай скорее письмо!

Герасимович подал запечатанный пакет, князь вскрыл его и начал читать:

«Пусть Бог хранит и удержит ваше сиятельство от таких замыслов, которые могут принести всему нашему дому позор и гибель. При одной мысли об этом надо не о власти думать, а надеть власяницу! Я тоже забочусь о величии нашего дома: лучшее доказательство — мои хлопоты в Вене, чтобы нам получить право решающего голоса на сеймах. Но ни отечеству, ни своему королю я не изменю ни за какие награды и блага мира, чтобы за такой посев не собрать позора при жизни и вечных мук — после смерти. Вспомните, ваше сиятельство, заслуги предков, их незапятнанную славу и опомнитесь, пока не поздно. Неприятель осаждает меня в Несвиже, и не знаю, дойдет ли письмо до рук вашего сиятельства; хотя мне каждую минуту угрожает опасность, я не о спасении молю Бога, но о том, чтобы Он удержал ваше сиятельство от этих намерений и наставил на путь добродетели. Если и случилось что дурное, еще можно отступить и скорым исправлением загладить грехи. От меня не ждите помощи, ибо предупреждаю, что я, не глядя на узы крови, соединю свои силы с подкоморием и воеводой витебским и, стократ скорее, оружие мое обращу против вашего сиятельства, чем добровольно приложу руку к этой позорной измене. Поручаю Богу ваше сиятельство.

Михаил-Казимир Радзивилл. Князь на Несвиже и Олыке, кравчий Великого княжества Литовского».

Гетман, прочитав письмо, опустил его на колени и начал качать головой с болезненной улыбкой на губах.

«И этот оставляет меня; родная кровь отрекается от меня за то, что я хочу украсить дом наш невиданным доселе блеском... Нечего делать! Остается Богуслав, и он меня не оставит. С нами электор и Карл-Густав, а кто не хочет сеять, тот и собирать не будет...»

«Позора!» — шепнула совесть.

— Ваше сиятельство, изволите дать ответ? — спросил Герасимович.

— Ответа не будет.

— Мне можно уйти и прислать спальников?

— Постой... Стража расставлена везде?

— Точно так.

— Приказы по полкам разосланы?

— Точно так.

— Что делает Кмициц?

— Бился головой об стену и кричал о вечном проклятии. Извивался как вьюн. Хотел бежать за Биллевидами, но стража его непустила. Схватился за саблю, его пришлось связать. Теперь лежит спокойно.

— Мечник россиенский уехал?

— Не было приказа его удержать.

— Забыл! — сказал князь. — Отвори окна, меня астма душит... Скажи Харлампю ехать в Упиту за полком и сейчас же привести его сюда. Дай ему денег, пусть уплатит людям за первую четверть и позволит им погулять. Скажи ему, что я ему даю Дыдкемы Володыевского в пожизненное владение. Астма меня душит... Постой!

— Что прикажете, ваше сиятельство?

— Что делает Кмициц?

— Я уже докладывал вашему сиятельству: лежит спокойно.

— Правда, ты говорил. Пришли его сюда. Мне нужно с ним поговорить. Прикажи развязать его!

— Ваше сиятельство, это сумасшедший человек...

— Не бойся, ступай!

Герасимович вышел; князь вынул из венецианского стола ящик с пистолетами, открыл его и, поставив около себя, сел в кресло.

Спустя четверть часа вошел Кмициц в сопровождении четырех шотландских драбантов. Князь велел солдатам уйти. Они остались вдвоем.

На лице Кмицица, казалось, не было ни кровинки. Только глаза горели лихорадочным огнем, но, несмотря на это, он казался спокойным, хотя и погруженным в безграничное отчаяние.

Некоторое время оба молчали. Князь заговорил первый:

— Ты поклялся распятием, что не оставишь меня.

— Я проклят, если сдержу свою клятву, проклят, если не сдержу! Все равно! — ответил Кмициц.

— Ты не будешь отвечать, если даже я веду тебя к злу!

— Месяц тому назад мне грозил суд и наказание за убийство... Теперь мне кажется, что тогда я был невинен, как дитя!

— Прежде чем ты выйдешь из этой комнаты, ты будешь чувствовать себя разрешенным от всех грехов, — сказал князь.

Вдруг, переменив тон, он спросил с оттенком дружеского добродушия:

— Как ты думаешь, что я должен был сделать, находясь посреди двух неприятелей, во стократ сильнееших, чем я, против которых я не мог защитить страну?

— Погибнуть! — резко ответил Кмициц.

— Позавидуешь вам, солдатам: вы так легко можете сбросить с себя гнетущее бремя. Погибнуть! Кто смотрел смерти в глаза и не боится ее, для того нет ничего проще на свете. Вам и в голову не придет, что если бы я теперь поднял войну и умер, не заключив договора, то в стране не осталось бы камня на камне... Не дай бог, чтобы это случилось, ибо и в небе моя душа не нашла бы покоя. О, счастливы, стократ счастливы те, что могут погибнуть! Неужели ты думаешь, что и мне жизнь не в тягость, что я не жажду вечного сна и покоя? Но нужно чашу желчи и горечи выпить до дна. Нужно спасать этот несчастный край и для его спасения согнуться под новой тяжестью. Пусть завистники обвиняют меня в тщеславии, пусть говорят, что я изменяю отчизне, чтобы самому возвыситься. Бог свидетель, хочу ли я этого и не отказался ли бы я от всего, если бы был другой выход. Найдите же его вы, которые отрекаетесь от меня и называете изменником, и я еще сегодня порву этот документ, подниму на ноги все полки и пойду на неприятеля. Кмициц молчал.

— Ну, что же ты молчишь? — воскликнул, возвысив голос, Радзивилл. — Я ставлю тебя на свое место, на место великого гетмана и воеводы виленского, а ты не умирай — ведь это не штука! — а спасай страну, защити занятые воеводства, отомсти за сожжение Вильны, защити Жмудь от нашествия шведов, — ха! — защити всю Речь Посполитую, выгони всех неприятелей из ее пределов... Разорвись на тысячу частей, но не умирай... Не умирай, потому что не имеешь права, а спасай страну!

— Я не гетман и не воевода виленский, — ответил Кмициц, — и что меня не касается, то не моего ума дело. Но если надо разорваться на тысячи частей, я разорвусь!

— Слушай, солдат! Если не твоего ума дело спасать страну, то предоставь все мне и верь!

— Не могу! — ответил Кмициц, стиснув зубы.

Радзивилл мотнул головой.

— Я не рассчитывал на тех — я ожидал того, что случилось, но в тебе я ошибся. Не прерывай меня, слушай. Я поставил тебя на ноги, освободил от суда и наказания, прижал к сердцу, как сына. И знаешь ли почему? Я думал, что ты смелая душа,

способная на великие дела. Не скрою, мне нужны были такие люди. Около меня не было никого, кто решился бы смело взглянуть на солнце. Все были люди малодушные — им нельзя указать иного пути, как тот, по которому ходили их отцы. Иначе они закаркают, что ты ведешь их по беспутнице. А куда же, как не к пропасти, пришли мы этими старыми путями? Что стало с той Речью Посполитой, которая когда-то была грозой всего мира?

И князь схватился руками за голову и трижды воскликнул:

— Боже! Боже! Боже! Затем он продолжал:

— Настал час гнева Божьего, година таких бедствий и такого упадка, что обыкновенным способом нам не подняться, а когда я хочу избрать новый путь, единственный, могущий привести к спасению, то меня покидают даже те, на чью готовность я рассчитывал, которые должны были верить мне, которые мне в этом поклялись перед распятием. Скажи мне, Богом заклинаю тебя, неужели ты думаешь, что я навсегда отдаю себя под покровительство Карла-Густава? Что я действительно думаю присоединить эту страну к Швеции, что договор, за который вы меня прозвали изменником, будет продолжаться более года? Что ты смотришь на меня изумленными глазами? Ты еще более изумишься, когда выслушаешь все... Ты даже испугаешься! Здесь произойдет то, о чем никто не предполагает, чего обыкновенный ум объять не может... Но, говорю тебе, не бойся, ибо в этом спасение нашей страны. Не отступай, ибо, если я ни в ком не найду помощи, я погибну, но со мной погибнет и Речь Посполитая, и вы все навеки. Я один ее могу спасти, но для этого должен уничтожить и растоптать все преграды. Горе тому, кто будет мне противиться, будь то воевода витебский, или пан подскарбий Госевский, или шляхта. Я хочу спасти отчизну, а для этого все средства хороши... В минуту опасности Рим назначал диктаторов. Такой — нет, еще большей! — власти мне нужно... Не гордость тянет меня к ней! Кто чувствует себя сильнее, пусть берет ее! Но если нет никого — возьму я, пусть даже хоть эти стены обрушатся на мою голову!

С этими словами князь поднял вверх обе руки, точно на самом деле хотел поддержать падающие на него своды, и в нем было столько величия, что Кмициц широко раскрыл глаза и смотрел на него так, точно никогда раньше не видел его. Наконец спросил изменившимся голосом:

— К чему вы стремитесь, ваше сиятельство? Чего хотите?

— Хочу... короны! — крикнул Радзивилл.

— Иезус, Мария!

Настала минута полной тишины, только филин на башне пронзительно смеялся.

— Слушай, — сказал князь. — Пора сказать все. Речь Посполитая погибнет и должна погибнуть. Нет для нее спасения на земле. Прежде всего нужно спасти наш край; наше ближайшее отечество, Литву, от разгрома... а потом возродить все из пепла. Я это сделаю! Бремя короны возложу на голову, чтобы на этой великой могиле возродить новую жизнь... Не дрожи: земля не разверзается под тобою, все стоит на своем прежнем месте, лишь времена новые наступают... Я отдал этот край шведам, чтобы их оружием удержать другого врага, выгнать его из наших границ, вернуть то, что потеряно, и в его же столице мечом вынудить трактат. Слышишь ты меня? В этой скалистой голодной Швеции не хватит людей, не хватит сил, чтобы забрать в свои руки всю Речь Посполитую. Они могут нас победить раз, другой, но удержать нас в повиновении они не в силах. Если бы к каждому десятку здешних людей приставить по стражнику-шведу, то для многих десятков стражников не хватит. И Карл-Густав сам знает это, он не хочет и не может захватить всю Речь Посполитую, он займет Пруссию и часть Великопольши — и довольно... Но чтобы владеть ими в будущем, он должен будет поневоле разорвать союз Литвы с Польшей, иначе ему не усидеть в тех провинциях. Что тогда будет с этой страной? Кому ее отдадут? Если я откажусь от короны, которую Бог и судьба посылают мне на голову, — страну эту

отдадут тому, кто действительно в данное время ею владеет. Но Карл-Густав не сделает этого, чтобы не дать слишком усилиться соседям и не создать себе грозного врага. Вот если я отвергну корону, тогда так и будет. Но есть ли у меня право отвергнуть ее? Могу ли я допустить, чтобы случилось то, что грозит последней гибелью? В сотый раз я спрашиваю: где другой путь спасения? Да будет воля Божья! Я принимаю это бремя на свои плечи. Освобожу край от войны! Победками и расширением границ начну свое царствование. Везде зацветет спокойствие и благополучие, огонь не будет жечь села и города. Так будет и так должно быть! Да поможет мне Бог и святой крест, — я чувствую силу, данную мне свыше, я хочу счастья этой стране, ибо и на этом не кончаются мои замыслы. Клянусь светилами небесными, клянусь этими дрожащими звездами, что отстрою рухнувшее здание и сделаю его сильнее, нежели оно было когда-нибудь!

Глаза его пылали огнем, и всю его фигуру точно окружал какой-то необыкновенный блеск.

— Ваше сиятельство! — воскликнул Кмициц. — Ум мой не может постичь всего этого! Глазам больно смотреть вперед!

— Потом, — продолжал Радзивилл, точно следуя за потоком своих мыслей, — потом... Яна Казимира шведы не лишат ни престола, ни власти, но оставят его на Мазовии и в Малопольше. Бог ему не дал потомства. Настанут выборы. Кого же выберут на престол, если захотят продолжать союз с Литвой? Когда польская Корона добилась такого могущества, что раздавила мощь крестоносцев? Когда на престол вступил Владислав Ягелло! И теперь так будет. Поляки могут выбрать на трон только того, кто здесь будет царствовать. Они не могут и не сделают иначе, не то они задохнутся между немцами и турками, ведь и без того уже рак казачества подтачивает им грудь. Слеп тот, кто этого не видит; глуп, кто не понимает! Тогда обе страны снова сольются воедино. Тогда посмотрим, устоят ли эти скандинавские царьки на своих прусских и великопольских завоеваниях. Тогда я скажу им: «Quos ego!»¹⁸ — и этой самой ногой придавлю им исхудалые ребра и создам такую силу, какой свет еще не видал, о какой не писала история. Быть может, и в Константинополь понесем крест, меч и огонь и будем грозить неприятелю, спокойные в своей стране! Великий Боже, помоги мне спасти этот несчастный край во славу твою и всего христианства! Дай мне людей, которые поняли бы мою мысль и захотели бы приложить руки свои к спасению... Вот — весь я! Тут князь распростер руки и поднял глаза к небу.

— Ты меня видишь! Ты меня видишь!

— Ваше сиятельство! — воскликнул Кмициц.

— Иди! Покинь меня! Брось мне буздыган под ноги! Нарушь клятву! Назови изменником! Пусть в этом терновом венце, который мне возложили на голову, будут все шипы! Погубите край, столкните его в пропасть, оттолкните руку, которая может его спасти, и идите на суд Божий. Там пусть нас рассудят...

Кмициц бросился на колени перед Радзивиллом:

— Мосци-князь! Я ваш до смерти! Отец отчизны! Спаситель!

Радзивилл положил ему обе руки на голову, и снова наступила минута молчания, только филин на башне не переставал смеяться.

— Все получишь, что ты хотел и чего жаждал, — произнес торжественно князь. — Ни в чем не будешь обойден, получишь больше, чем то, о чем мечтали для тебя отец и мать. Встань, будущий великий гетман и виленский воевода!

На небе начало светать.

¹⁸ «Я вас!» — грозный окрик Нептуна, обращенный к ветрам (*лат.*) (Вергилий. «Энеида»).

XV

У пана Заглобы уже сильно шумело в голове, когда он трижды крикнул в глаза страшному гетману слово: «Изменник». Час спустя, когда винные пары несколько испарились и когда он очутился с двумя Скшетускими и паном Михалом в кейданском подземелье, он понял задним умом, какой опасности подвергал себя и своих товарищей, и, очень опечалился.

— Что теперь будет? — спрашивал он, посматривая осовевшими глазами на маленького рыцаря, на которого в тяжелые минуты возлагал все надежды.

— Черт возьми жизнь! Мне все равно! — ответил Володыевский.

— Мы доживем до таких времен и до такого позора, каких свет не видывал! — сказал пан Скшетуский.

— Хорошо, если доживем, — ответил Заглоба, — по крайней мере, мы могли бы хорошим примером направлять других на путь истины. Но доживем ли? Вот в чем дело!

— Это странная, неслыханная вещь! — сказал Станислав Скшетуский. — Ну где было что-нибудь подобное? Спасите меня, мосци-панове, — я чувствую, что у меня в голове мутится... Две войны... третья казацкая... А в довершение всего измена, словно зараза какая: Радзейовский, Опалинский, Грудзинский, Радзивилл!.. Видно, настанет конец света и день Страшного суда. Пусть уж земля расступится под нашими ногами! Клянусь Богом, я с ума схожу!

И, заложив руки за голову, он стал ходить по подземелью, точно дикий зверь в клетке.

— Помолиться, что ли? — сказал он наконец. — Господи милосердный, спаси!

— Успокойтесь, — сказал Заглоба, — не время теперь приходить в отчаяние. Станислав вдруг стиснул зубы, им овладело бешенство.

— Чтоб вас разорвало! — крикнул он Заглобе. — Это ваша выдумка: ехать к этому изменнику. Чтоб вас обоих разорвало!

— Опомнись, Станислав! — сурово сказал Ян. — Того, что случилось, никто не мог предвидеть... Терпи — ведь ты не один терпишь — и знай, что наше место здесь и нигде больше!.. Боже милосердный, смилуйся не над нами, но над нашей несчастной отчизной!

Станислав ничего не ответил и лишь заламывал руки так, что в суставах трещало.

Все молчали. Только пан Михал свистел, не переставая, и казался равнодушным ко всему, что делалось вокруг, хотя в действительности страдал вдвойне: во-первых, за свою несчастную отчизну, во-вторых, из-за того, что отказал в повиновении своему гетману. Для этого солдата, с ног до головы, это была ужасная вещь. Он предпочел бы тысячу раз погибнуть.

— Не свисти, пан Михал! — сказал ему Заглоба.

— Мне все равно!

— Как же так? Никто из вас не подумает о каком-нибудь средстве к спасению? А ведь стоит из-за этого пошевелить мозгами! Неужели мы будем гнить в этом погребе, когда отчизне нужна каждая лишняя рука, когда один честный человек приходится на десять изменников?

— Отец прав! — сказал Ян Скшетуский.

— Ты один не одурел от горя... Как полагаешь, что с нами хочет сделать этот изменник? Ведь не казнит же он нас?

Володыевский вдруг разразился каким-то нервным смехом:

— А почему, интересно знать? Разве не при нем инквизиция? Разве не при нем меч? Вы, верно, не знаете Радзивилла!

— Что ты говоришь! Какое он имеет право?

— Надо мной — право гетмана, а над вами — право сильного.

— За которое ему придется отвечать!

— Перед кем? Перед шведским королем?

— Ну и утешил, нечего сказать!

— Я и не думаю вас утешать.

Они замолчали, и слышны были только шаги солдат за дверью подземелья.

— Нечего делать, — сказал Заглоба, — тут надо прибегнуть к фортелю.

Никто ему не ответил, а он спустя немного начал опять:

— Мне не верится, чтобы вас казнили. Если бы за каждое слово, сказанное сгоряча и по пьяному делу, рубили головы, то во всей Речи Посполитой не было бы ни одного шляхтича с головой. Это вздор!

— Лучший пример — вы и мы! — сказал Станислав Скшетуский.

— Все это произошло сгоряча, но я уверен, что князь одумается. Мы люди посторонние и ни в коем случае не подлежим его юрисдикции. Он должен считаться с общественным мнением и не может начинать с насилия, чтобы не возбудить против себя шляхты. Нас слишком много, чтобы можно было всем рубить головы. Над офицерами он имеет право, этого я отрицать не могу, но и то думаю, что ему придется иметь в виду и войско, ибо оно будет отстаивать своих... А где твой полк, пан Михал?

— В Упите.

— Скажи мне только, ты уверен в своих людях?

— Почем я знаю? Они меня любят, но знаю также, что надо мной гетман.

Заглоба на минуту задумался.

— Напиши им приказ, чтобы они во всем слушались меня, если я появлюсь между ними.

— Да вы, ваць-пане, воображаете, что вы уже свободны.

— Это не помешает! Бывали мы и не в таких переделках, и то Бог спасал. Дайте приказ мне и обоим панам Скшетуским. Кому первому удастся удрать, тот сейчас же отправится за полком и придет на помощь остальным.

— Что вы за глупости говорите! Стоит ли попусту терять слова? Как же отсюда удрать? Да и на чем приказ писать? Есть у вас чернила и бумага? Вы голову потеряли.

— Несчастье прямо! — ответил Заглоба. — Дайте хоть свой перстень.

— Берите и оставьте меня в покое! — сказал пан Михал.

Заглоба взял перстень, надел его на мизинец и стал ходить по подземелью.

Тем временем огонь погас, и они очутились в совершенной темноте; лишь через решетку окна проглядывало звездное небо. Заглоба не отрывал глаз от этой решетки.

— Будь жив покойный Подбипента, — пробормотал он, — живо он выломал бы решетку, и через час мы были бы уже за Кейданами.

— А вы подсадите меня к окну? — спросил вдруг Ян Скшетуский.

Заглоба со Станиславом стали у стены, Ян взобрался к ним на плечи.

— Трещит! Ей-богу, трещит! — крикнул Заглоба.

— Что вы говорите, отец! — ответил Ян. — Я еще и не пробовал ломать.

— Влезайте вы вдвоем с братом, авось я вас как-нибудь удержу. Я всегда жалел, что Володыевский такой маленький, теперь жалею, отчего он еще не меньше, он бы мог проскользнуть как змея.

В эту минуту Ян соскочил с плеч.

— Шотландцы стоят с той стороны.

— Чтоб они превратились в соляные столбы, как Лотова жена! — пробормотал Заглоба. — Ну и темно здесь, хоть глаз выколи. Скоро, кажется, начнет светать. Нам, верно, принесут чего-нибудь закусить, ведь и у лютеран нет обычая морить узников голодом. А может быть, Бог даст, и гетман одумается. Часто случается, что ночью в

человеке просыпается совесть, и черти начинают грешника беспокоить. Не может быть, чтобы из этого погреба был только один выход. Днем посмотрим. Сейчас у меня голова что-то тяжела, ничего не выдумая, авось завтра Бог вразумит; а теперь, Панове, помолимся Богу и Пресвятой Деве, чтобы она приняла нас под свою защиту.

И узники громко стали читать молитвы; вскоре Володыевский и оба Скшетуские замолчали, и один Заглоба продолжал бормотать вполголоса.

— Наверняка будет так, что завтра нам скажут: или-или! — перейдете на сторону Радзивилла, и я вам все прощу! Посмотрим, кто кого проведет! Вы сажаете шляхту, невзирая на лета и заслуги, в тюрьму! Хорошо! Я пообещаю вам, чего хотите, но того, что сдержу из обещанного, вам и на починку сапог не хватит. Если вы отчизне изменяете, то честен тот, кто вам изменит. Должно быть, пришел последний час Речи Посполитой, если первые сановники соединяются с неприятелем. Этого еще на свете не бывало. Просто с ума сойти! Для таких предателей в аду, верно, еще и мук не придумали. Чего не хватало этому Радзивиллу? Мало для него делала его отчизна? А он, как Иуда, продал ее в самую тяжелую минуту, в годину трех войн. Справедлив гнев твой, Господи! Пошли им скорее наказание! Только бы мне вырваться на свободу, я тебе наготовлю столько партизан, мосци-гетман, что не обрадуешься! Узнаешь, каковы плоды измены! Ты будешь считать меня своим другом, но если у тебя нет лучших, то не ходи на медведя, коли тебе жизнь мила.

Так рассуждал сам с собой пан Заглоба. Между тем прошел час, другой, и наконец начало светать. Сероватый отблеск наступающего утра стал прокрадываться сквозь решетку окна и осветил мрачные фигуры сидевших у стен рыцарей. Володыевский и оба Скшетуских дремали.

Когда рассвело совсем и со двора слышались шаги солдат, звон оружия, топот копыт и звук труб, рыцари быстро вскочили.

— Не слишком счастливо начинается день, — проговорил Ян Скшетуский.

— Дай Бог, чтобы он кончился счастливее! — ответил Заглоба. — Знаете ли, Панове, что я ночью придумал? Радзивилл нам, верно, предложит прощение с условием остаться у него на службе. Мы должны на это согласиться, а потом, воспользовавшись свободой, встать на защиту отчизны.

— Боже меня сохрани! — воскликнул Ян Скшетуский. — К измене я руки не приложу. Ведь если бы я потом и оставил его, все же мое имя останется навсегда опозоренным. Я лучше умру, но не сделаю этого!

— Я тоже! — прибавил Станислав.

— А я заранее предупреждаю, что сделаю. На фортель фортеlem отвечу, а там — что Бог даст. Никто меня не заподозрит, что я это сделал по доброй воле. Черт его побери, этого проклятого Радзивилла! Увидим еще, чья возьмет.

Разговор был прерван криками, доносившимися со двора. Слышались зловещие возгласы гнева, отдельные голоса команды, топот массы ног и тяжелый грохот передвигаемых орудий.

— Что там такое? — спросил Заглоба. — Уж не помощь ли подоспела?

— Да, это не обыкновенный шум, — заметил Володыевский. — Подсадите-ка меня к окну, я сейчас узнаю, в чем дело.

Ян Скшетуский взял его под мышки и поднял вверх, как ребенка, а Володыевский, ухватившись за решетку, стал смотреть на двор.

— Что-то происходит! — сказал он. — Я вижу полк венгерской пехоты, которым командовал Оскерко; его очень любили, а он тоже арестован; верно, требуют его выдачи. Все построены в боевом порядке, с ними поручик Стахович, друг Оскерки.

Вдруг крики усилились.

— Гангоф подъехал к Стаховичу и о чем-то с ним говорит... Но как кричат!.. Стахович с двумя офицерами куда-то идут, — верно, к гетману в качестве депутатов. Ей-богу, войска взбунтовались! Пушки направлены на венгерцев; шотландцы тоже в

боевом порядке... Отряды польских войск присоединяются к венгерцам; без них они бы не посмели: в пехоте страшная дисциплина.

— Господа, — воскликнул Заглоба, — в этом наше спасение! Пан Михал, много там польского войска? Что они взбунтуются, это как пить дать.

— Гусарский полк Станкевича и панцирный — Мирского стоят в двух днях от Кейдан, — ответил Володыевский. — Если бы они были здесь, то их не посмели бы арестовать. Погодите... Вон драгуны Харлампа... полк Мелешки; те за князя... Невяровский тоже на его стороне, но его полк далеко. Два шотландских полка...

— Значит, на стороне князя четыре полка?

— И артиллерия под командой Корфа...

— Ой, что-то много.

— Полк Кмицица, прекрасно вооруженный, в шестьсот человек.

— А он на чьей стороне?

— Не знаю.

— Вы не заметили? Бросил он вчера булаву или не бросил?

— Не знаем.

— Какие же полки против князя?

— Прежде всего, должно быть, венгры. Там их человек двести. Потом масса вольных людей Мирского и Станкевича, немного шляхты и Кмициц, но тот не надежен.

— А, чтоб его! Господи боже! Мало, мало!

— Венгры сойдут за два полка. Это старые, опытные солдаты. Ого... артиллеристы зажигают фитили, — кажется, быть битве...

Скшетуские молчали, а Заглоба метался как в лихорадке.

— Бейте их, изменников! Бейте чертовых детей! Эх, Кмициц! Кмициц! Все от него зависит. Это смелый солдат?

— Как дьявол... Готов на все!

— Не может быть иначе, он на нашей стороне.

— В войске бунт! Вот до чего довел гетман! — воскликнул Володыевский.

— Кто тут бунтовщик? Войско или гетман, который бунтует против своего короля? — спросил Заглоба.

— Бог это рассудит! Погодите! Там опять какое-то движение. Часть драгун Харлампа стала на сторону венгров. В этом полку служит лучшая шляхта. Слышите, кричат?

— Полковников, полковников! — кричали грозные голоса на дворе.

— Пан Михал! Христа ради, крикни им послать за твоим полком, за гусарами и панцирными.

— Тише, вы!

Заглоба снова закричал:

— Послать скорее за другими польскими полками и перерезать изменников!

— Тише, вы!

Вдруг не на дворе, а позади замка послышался короткий залп мушкетов.

— Иезус, Мария! — вскрикнул Володыевский.

— Пан Михал, что это?

— Верно, расстреляли Стаховича и двух офицеров, которые пошли депутатами к гетману, — ответил лихорадочно Володыевский. — Это так, нет сомнения.

— Святые угодники, значит, и нам нечего ждать пощады!

Грохот выстрелов прервал их разговор. Пан Михал схватился судорожно за решетку и прижался к ней головой, но сразу ничего не мог рассмотреть, кроме ног шотландцев, стоявших тут же за окном. Залпы из мушкетов становились все чаще, наконец загрохотали и пушки. Сухие удары пуль о стены были прекрасно слышны, точно падал град. Замок весь дрожал.

— Михал, слезай с окна, погибнешь! — закричал Ян Скшетуский.

— Ни за что! Пули летят выше, а пушки направлены в другую сторону. Ни за что не слезу!

И пан Володыевский, ухватившись еще крепче за решетку, вполз на подоконник, где он больше не нуждался в поддержке Скшетуского. В погребе, правда, стало совсем темно, так как окно было очень маленькое, и пан Михал, несмотря на то что был мал, заслонил его совершенно, но зато товарищи, оставшиеся внизу, получали каждую минуту свежие новости с поля битвы.

— Вижу теперь! — крикнул Володыевский. — Венгры стали у стены и оттуда стреляют... Я боялся, чтобы они не забились в угол: пушки бы их вмиг уничтожили. Превосходные солдаты! И без офицеров знают, что делать. Снова дым! Ничего не вижу...

Выстрелы начали ослабевать.

— Боже милосердный, не откладывай кары! — воскликнул Заглоба.

— Ну что, Михал? — спросил Скшетуский.

— Шотландцы идут в атаку.

— Черт бы побрал, а мы должны тут сидеть! — крикнул с отчаянием Станислав.

— Вот они! Алебардщики! Венгры принимают их в сабли, боже, и вы не можете их видеть! Что за солдаты!

— И дерутся со своими, а не с неприятелем.

— Венгры побеждают... Шотландцы с левого фланга отступают, клянусь Богом! Драгуны Мелешки переходят на их сторону. Шотландцы между двух огней. Корф не может пустить в ход пушек, иначе перебьет и шотландцев. Вижу и мундиры Гангофа между венграми. Атакуют ворота. Хотят вырваться отсюда. Идут, как буря! Все ломают!

— Что? Как? А разве они не будут брать замок? — крикнул Заглоба.

— Это ничего! Завтра они вернутся с полками Мирского и Станкевича... Что это?... Харлам пал? Нет, только ранен, встает. Вот они уже у ворот... Но что это? Неужто и шотландцы к ним присоединяются? Открывают ворота. Столбы пыли оттуда. А! Кмициц, Кмициц с драгунами въезжает в ворота!

— На чьей он стороне? На чьей он стороне? — кричал Заглоба.

С минуту пан Михал не отвечал; шум, лязг и звон оружия, между тем снова послышался с удвоенной силой.

— Они погибли! — пронзительно крикнул Володыевский.

— Кто? Кто?

— Венгры! Конница их разбила, топчет, рубит! Они в руках Кмицица! Конец! Конец, конец!!

С этими словами пан Михал соскользнул с подоконника и упал на руки Яна Скшетуского.

— Бейте меня, — кричал он, — бейте! Я этого человека держал под саблей и выпустил живым. Я отвез ему приказ князя! Благодаря мне он собрал этот полк, с которым он будет теперь воевать против отчизны! Знал, кого брать: мошенников, висельников, разбойников, грабителей, как он сам! Пусть только попадетсЯ мне в руки! Боже милосердный, продли мою жизнь на погибель этому изменнику, и, клянусь, он больше не уйдет из моих рук!

Между тем крики, топот копыт, выстрелы слышались с прежнею силой, но постепенно стали ослабевать; час спустя в кейданском замке воцарилась глубокая тишина, нарушаемая лишь мерными шагами шотландских патрулей и голосами команды.

— Пан Михал, выгляни-ка еще раз, что там случилось? — умолял Заглоба.

— Зачем? — спросил маленький рыцарь. — Всякий военный угадает, что случилось. Впрочем, я видел, что они разбиты, Кмициц торжествует.

— Чтоб его четвертовали, мерзавца, висельника! Чтоб ему евнухом быть при татарском гареме!

XVI

Пан Михал был прав: Кмициц торжествовал. Венгры и часть драгун Мелешки, а также Харлампа, которые примкнули к ним, устлали трупами двор кейданского замка. Лишь десятка два-три бежало и рассеялось по окрестностям, где их ловили драгуны. Часть их была поймана, а остальные, должно быть, бежали к Сапеге, воеводе витебскому, и первые принесли ему страшную весть об измене великого гетмана, о переходе его на сторону шведов, об аресте полковников.

Между тем Кмициц, весь в крови и пыли, с венгерским знаменем в руках, явился к Радзивиллу, который встретил его с распростертыми объятиями. Но победа не опьянила пана Андрея. Наоборот, он был мрачен и зол, точно поступил против совести.

— Ваше сиятельство, я не хочу слушать похвал, — сказал он, — и сто раз предпочел бы драться с неприятелем отчизны, чем с солдатами, которые могли бы ей пригодиться. У меня такое чувство, точно я сам себе пустил кровь!

— А кто же виноват, как не эти бунтовщики? — возразил князь. — И я бы предпочел вести их под Вильну, как предполагал сделать. Они предпочли восстать против власти. Что случилось, того не вернуть. Надо было, и надо будет пример дать другим.

— А что вы, ваше сиятельство, намерены сделать с узниками?

— По жребию — десятому пулю в лоб. Остальных смешать с другими полками. Сегодня поедешь к полкам Мирского и Станкевича и отвезешь им мой приказ готовиться в поход. Я отдаю под твою команду эти два полка и третий Володыевского. Наместники будут тебе во всем повиноваться. Сначала я хотел в этот полк назначить Харлампа, но он не годится, и я раздумал.

— А если будет сопротивление, что делать? Ведь все эти люди Володыевского меня ненавидят.

— Ты им объявишь, что Мирский, Станкевич и Володыевский будут немедленно расстреляны.

— Тогда они пойдут на Кейданы и силою потребуют их выдачи. У Мирского в полку — все знатная шляхта.

— Тогда возьми с собой шотландский полк и полк немецкой пехоты, окружи их сначала, а потом и объяви.

— Как вашему сиятельству угодно. Радзивилл опустил руки на колени и задумался.

— Мирского и Станкевича я расстрелял бы с удовольствием, если бы не то, что они пользуются влиянием и уважением не только в своих полках, а во всей войске и во всей стране. Боюсь шума и открытого бунта, пример коего мы сейчас видели. К счастью, ты так их проучил, что теперь каждый сначала крепко призадумается, прежде чем пойдет против нас.

— Вы говорите только о Мирском и Станкевиче, а о Володыевском и Оскерке не упомянули.

— Оскерку я тоже должен пощадить, у этого человека большие связи, но Володыевский чужой. Он прекрасный солдат, не отрицаю. Я даже рассчитывал на него, но он обманул мои надежды. Если бы черти не принесли этих бродяг, его товарищей, то он, может быть, поступил бы иначе, но после того, что случилось, его ждет пуля в лоб, как и обоих Скшетуских и того быка, что первый начал кричать: «Изменник, изменник!»

Кмициц вскочил, точно его прижгли раскаленным железом.

— Ваше сиятельство! Солдаты рассказывали, что Володыевский спас вам жизнь под Цыбиховом.

— Он исполнил свой долг, и за это я хотел ему отдать в пожизненное владение Дыдкемы. Теперь он мне изменил, и я прикажу его расстрелять!

Глаза Кмицица разгорелись, а ноздри широко раздулись.

— Этого быть не может! — воскликнул Кмициц.

— Как не может? — спросил Радзивилл, сдвигая брови.

— Молю вас, ваше сиятельство! — говорил взволнованным голосом Кмициц. — С головы Володыевского не должен упасть ни один волос. Ведь он мог не передать мне вашего приказа, а передал. Вырвал меня из пропасти. Благодаря ему я попал под покровительство вашего сиятельства. Он даже не задумался спасти меня, несмотря на то что любил ту же девушку, что и я! Я обязан ему жизнью и поклялся отблагодарить его. Вы сделаете это для меня: и он, и его друзья останутся живы и невредимы! Волос не спадет с их головы, пока я жив! Молю вас, ваше сиятельство!

Кмициц просил, но в его словах невольно звучал гнев и угроза. Необузданная натура взяла верх. Он стоял против Радзивилла с лицом, напоминавшим разъяренную хищную птицу, со сверкавшими от еле сдерживаемого гнева глазами. У гетмана в душе тоже клочкотала буря. Перед его железной волей, перед его деспотизмом до сих пор гнулось все на Литве и на Руси. Никто никогда не смел ему сопротивляться, никто не смел просить о помиловании осужденных, а теперь Кмициц просил, и то лишь для виду, на самом же деле требовал! Но гетман был теперь в таком положении, что почти не мог отказать.

Деспот этот сразу понял, что ему не раз придется уступать деспотизму людей и обстоятельств, что он будет зависеть от собственных сторонников, что Кмициц, которого он думал превратить в верного пса, будет скорее прирученным волком, который в бешенстве готов кусать собственного господина.

Все это возмутило гордость Радзивилла. Он решился сопротивляться, к этому его толкала и врожденная мстительность.

— Володыевский и его товарищи будут казнены! — сказал князь, возвысив голос.

Но этим он лишь подлил масла в огонь.

— Не разбей я венгров, они бы не погибли! — воскликнул Кмициц.

— Что же это? Ты уже попрекаешь меня своими услугами?

— Нет, ваше сиятельство, — горячо воскликнул Кмициц, — я не попрекаю! Я прошу, молю! Но этого не будет! Эти люди известны всей Речи Посполитой! Этого быть не может! Я не буду Иудой для Володыевского! Я пойду за вас в огонь и в воду, но не отказывайте мне в этой милости!

— А если я откажу?

— Тогда велите расстрелять и меня! Я не хочу после этого жить. Пусть на меня обрушатся все громы небесные! Пусть черти меня живым тащат в ад!

— Опомнись, несчастный, с кем ты говоришь?

— Ваше сиятельство, не доводите меня до отчаяния!

— Просьбу я мог выслушать, но на угрозы не обращаю внимания.

— Я прошу... умоляю...

И Кмициц бросился перед ним на колени.

— Ваше сиятельство, позвольте мне служить вам всей душой, а не по принуждению, не то я с ума сойду!

Радзивилл молчал. Кмициц все еще стоял на коленях; он то бледнел, то краснел, и глаза его метали молнии. Видно было, что еще минута, и он вспыхнет страшным гневом.

— Встань! — сказал князь. Кмициц встал.

— Ты умеешь защищать друзей, — сказал гетман, — в этом я только что

убедился, и надеюсь, что сумеешь постоять и за меня, в случае нужды. Жаль лишь, что ты создан не из мяса, а из селитры и того и гляди вспыхнешь. Я ни в чем не могу тебе отказать. Слушай: Станкевича, Мирского и Оскерку я хочу отослать в Биржи; ну так пусть с ними едут Володыевский и оба Скшетуские. Голов им там не срубят, но если они во время войны посидят там посмирнее, то это будет для них же лучше!

— Благодарю вас, ваше сиятельство! — воскликнул с горячностью Кмициц.

— Постой... — сказал князь. — Я исполнил твою просьбу, теперь исполни ты мою. Того старого шляхтича, я забыл, как его зовут, того рычащего черта, который приехал сюда со Скшетускими, я обрек на смерть. Он первый назвал меня изменником, он заподозрил меня в продажности, восстановил против меня других! Может быть, и не было бы такого бунта, если бы не его наглость! — И князь ударил кулаком по столу. — Я ждал скорее смерти, скорее светопреставления, чем того, что кто-нибудь мне, Радзивиллу, посмеет крикнуть в глаза: «Изменник!» В глаза, в присутствии других! Нет такой смерти, нет таких мук, которых было бы достаточно за такое преступление. За него ты не проси, это напрасный труд!

Но Кмициц не так скоро отказывался от того, на что раз решился. Но теперь он не сердился, не угрожал; напротив, схватив руку гетмана, он стал осыпать ее поцелуями и просить так искренне и задушевно, как он один умел это делать:

— Никаким канатом, никакой цепью вы не привяжете так моего сердца, как этой милостью. Не оказывайте ее наполовину. То, что вчера сказал этот шляхтич, думали все, среди них и я, пока вы мне не открыли глаз. Чем виноват человек, что он глуп! Он думал, что этим оказывает услугу отчизне, а за привязанность к ней нельзя наказывать. Кроме того, он был пьян и болтал, что ему взбрело на ум. Он знал, что подвергает себя опасности, и все-таки сказал. Мне совершенно все равно, будет ли он жив или нет, но Володыевский любит его, как отца родного, и его это очень огорчит. Уж такая у меня натура, что если полюблю кого-нибудь, то душу за него отдам! Будь проклят тот, кто пощадит меня и убьет моего друга! Ваше сиятельство, отец, благодетель, сделайте для меня эту милость, даруйте жизнь этому шляхтичу, за это я отдам вам свою жизнь — хоть завтра, хоть сегодня, хоть сейчас!

Радзивилл закусил губы.

— Вчера я в душе приговорил его к смерти.

— Приговор гетмана и воеводы виленского отменит великий князь литовский, а с Божьей помощью и будущий король польский, как милостивый монарх!

Кмициц говорил без задней мысли, говорил то, что чувствовал, но, будь он самым ловким дипломатом, он и тогда не мог бы найти более сильного довода в защиту своих друзей. Гордое лицо вельможи прояснилось, он закрыл глаза, точно наслаждаясь звуком этого титула, которым он еще не обладал.

— Ты так умеешь просить, что отказать тебе ни в чем нельзя. Хорошо, пусть все они едут в Биржи и каются там в своих грехах, а когда исполнится то, что ты сейчас сказал, ты можешь просить новых милостей для своих друзей.

— И наверное буду просить! — воскликнул Кмициц. — Дай только Бог, чтобы это случилось как можно скорее!

— Ну иди и сообщи им приятную новость!

— Новость эта приятна для меня, но не для них; они, верно, но примут ее с благодарностью, ибо не ожидали того, что могло с ними произойти. Я не пойду к ним, ваше сиятельство, они могут принять это за хвастовство с моей стороны!

— Делай как хочешь. Но если так, то не теряй даром времени и отправляйся за полками Мирского и Станкевича; вслед за этим тебя ожидает еще одно поручение, от которого ты, наверно, не откажешься.

— Какое, ваше сиятельство?

— Ты поедешь к мечнику россиенскому Биллевичу и пригласишь его от моего имени переселиться на время в кейданский замок.

— Он на это не согласится! — ответил Кмициц. — Он уехал из Кейдан в страшном негодовании.

— Надеюсь, что теперь он успокоился; но, на всякий случай, возьми с собой людей, и, если они не захотят этого сделать добровольно, ты усадишь их в экипаж, окружишь драгунами и привезешь сюда. Шляхтич был мягок как воск в то время, когда я с ним разговаривал; краснел, как девушка, и кланялся до земли; он лишь испугался шведского имени, как черт креста, и уехал. Мне он нужен как для себя, так и для тебя. Я уверен, что из этого воска я сумею сделать свечу и зажгу ее, перед кем мне будет угодно. А если это не удастся, он будет моим заложником. Биллевичи имеют большое влияние на Жмуди, они в родстве почти со всей знатнейшей шляхтой. Если один из них, старший в роде, будет в моих руках, то они не решатся идти против меня. Ведь за ними и за твоей возлюбленной целый ляуданский муравейник, и если он перейдет на сторону воеводы витебского, то он, конечно, их примет с распростертыми объятиями. Это очень важно, и я думаю, не начать ли нам с Биллевичей.

— В полку у Володыевского служит исключительно, ляуданская шляхта.

— Опекуны твоей невесты. А если так, начнем с нее! Мечника я берусь уговорить сам, а с панной ты уж поступай как знаешь. Если она согласится, мы сейчас же вас и обвенчаем, а не согласится — бери ее силой. С женщинами — это лучшее средство. Когда ее будут вести под венец, она поплачет, на другой день подумает, что не так страшен черт, как его малюют, а на третий — будет даже рада! Как же вы вчера расстались?

— Она точно пощечину мне дала!

— Что же она тебе сказала?

— Назвала меня изменником. Я чуть не умер на месте!

— Когда ты будешь ее мужем, скажи ей, что женщине больше к лицу прялка, чем политика, и держи ее в руках.

— Вы ее не знаете, ваше сиятельство. У нее на первом плане честь; а уму ее многие могли бы позавидовать. Не успеешь и глазом моргнуть, как она тебя насквозь разгадает!

— Ну и полонила же она твое сердце! Постарайся сделать то же.

— Если б Бог дал, ваше сиятельство! Я уж раз пробовал ее взять силой, но поклялся больше этого не делать. Силой я ее под венец не поведу. Вся моя надежда на вас, ваше сиятельство. Если вы убедите мечника, что мы совсем не изменники, а, наоборот, желаем спасти нашу родину, если и он ее убедит, тогда она будет совсем иначе ко мне относиться. Теперь я поеду к Биллевичу и привезу ее сюда; я боюсь, как бы она не пошла в монастырь. Но признаюсь вашему сиятельству, что хотя великое для меня счастье смотреть в глаза этой девушке, но лучше бы мне идти одному на все шведское войско! Она ведь не знает моих побуждений и считает меня изменником!

— Если хочешь, я пошлю за ними Харлампа или Мелешку.

— Нет! Лучше я отправлюсь сам; к тому же Харламп ранен.

— Тем лучше. Вчера я хотел послать Харлампа за полком Володыевского, но там, верно, пришлось бы употребить силу, а он на это и неспособен и, как оказалось, не может справиться даже со своими людьми. Итак, поезжай прежде всего к мечнику, а затем за этими полками. В крайнем случае, не щади себя. Нужно показать шведам, что мы сильны и не боимся бунта. Полковников я отправлю под конвоем; их проводит Мелешко. Тяжело идет дело сначала, ох как тяжело! Чуть не половина Литвы, вижу, восстанет против меня.

— Это ничего, ваше сиятельство. У кого совесть чиста, тому нечего бояться!

— Я думал, что все Радзивиллы, по крайней мере, будут на моей стороне; а между тем смотри, что мне пишет князь-кравчий из Несвижа.

И гетман подал Кмицицу письмо князя Казимира-Михаила, которое тот быстро пробежал глазами.

— Если бы мне не были известны побуждения вашего сиятельства, я бы думал, что он прав и что это честнейший человек в мире. Я говорю то, что думаю!

— Ну поезжай скорее! — сказал гетман с оттенком раздражения.

XVII

Но Кмициц не выехал ни в этот, ни на следующий день; каждую минуту в Кейданы приходили все более грозные известия. Под вечер прискакал гонец с известием, что полки Мирского и Станкевича идут к гетманской резиденции, чтобы вооруженной силой требовать выдачи своих полковников, что среди них страшное волнение и что высланы депутации во все полки поблизости Кейдан, на Полесье и вплоть до Заблудова с извещением об измене Радзивилла и с призывом соединиться всем для защиты отчизны. Легко можно было предвидеть, что вся шляхта примкнет к взбунтовавшимся полкам и составит силу, против которой трудно будет устоять в неукрепленных Кейданах, тем более что Радзивилл не был уверен во всех бывших у него под рукой полках.

Это изменило все планы гетмана, но, вместо того чтобы ослабить в нем энергию, это, казалось, еще более ее укрепило. Он решил самолично выступить против бунтовщиков во главе верных шотландцев, рейтар и артиллерии и потушить огонь в самом начале. Он знал, что солдаты без командиров — не более чем беспорядочная толпа, которая рассеется при одном его имени.

И он решил не щадить крови и навести страх на все войско, на всю шляхту, на всю Литву, чтобы они и вздохнуть не смели под его железной рукой. Его замыслы должны исполниться и исполнятся.

В этот же день несколько иностранных офицеров поехало в Пруссию с Целью набрать новые полки, а Кейданы кишели вооруженными людьми. Шотландские полки, рейтары, драгуны Харлампа и Мелешки, артиллерия Корфа готовились к походу. Княжеские гайдуки, челядь и местные мещане должны были пополнить, в случае надобности, его силы. Отдан был приказ поспешить с отправкой полковников в Биржи, где держать их было безопаснее, чем в неукрепленных Кейданах. Князь рассчитывал, что ссылка их в такую далекую крепость, где, по договору, должен был быть уже шведский гарнизон, уничтожит надежду на их освобождение и лишит самый бунт всякого основания.

Заглоба, Скшетуские и Володыевский должны были разделить участь остальных.

Был уж вечер, когда в их подземелье вошел офицер с фонарем и сказал:

— Пожалуйте, Панове, за мной!

— Куда? — спросил с беспокойством Заглоба.

— Там будет видно... Скорее, скорее!

— Идем!

Все вышли. В коридоре их окружили солдаты, вооруженные мушкетами. Заглоба волновался все более.

— Надо думать, что нас не повели бы на казнь без покаяния, — шепнул он на ухо Володыевскому, а потом обратился к офицеру: — Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— А вам зачем?

— У меня на Литве много родственников, да, кроме того, всегда приятнее знать, с кем имеешь дело.

— Не время теперь представляться, впрочем, только дурак стыдится своего имени. Я — Рох Ковальский, если угодно!

— Достойные люди Ковальские. Мужчины все храбрые солдаты, а женщины добродетельны. Моя бабушка была тоже Ковальская, но, к несчастью, умерла еще до моего рождения. А вы из каких Ковальских? Из «Верушей» или из «Кораблей»?

— Что вы тут ночью ко мне пристаёте с расспросами?

— Да ведь вы непременно мой родственник; мы с вами и сложены одинаково. У вас такие же широкие плечи, как и у меня, а я это унаследовал от бабушки.

— Об этом мы в дороге поговорим... Времени еще много.

— В дороге, — повторил Заглоба, и точно камень свалился у него с души. Он вздохнул свободнее и сразу ободрился. — Пан Михал! — шепнул он. — Ну что? Разве не говорил я вам, что с нами ничего не сделают?

Между тем они вышли на двор. Была туманная ночь. Кое-где багровело лишь красное пламя факелов или виднелся тусклый свет фонариков, бросавших неверный свет на группы конных и пеших солдат. Весь двор был запружен войсками. То здесь, то там мелькали копья и дула ружей; слышался топот лошадиных копыт; какие-то всадники переезжали от группы к группе; по-видимому, это были офицеры, отдававшие приказания.

Ковальский остановился с конвоем и узниками перед громадной телегой, запряженной четверкой лошадей, и сказал:

— Садитесь, Панове!

— Здесь уж кто-то сидит, — заметил Заглоба, взбираясь на телегу. — А вещи наши где?

— Вещи под соломой! — ответил Ковальский. — Скорей, скорей!

— А кто здесь? — спросил Заглоба, всматриваясь в темные фигуры, лежащие на соломе.

— Мирский, Станкевич, Оскерко, — отозвались голоса.

— Володыевский, Ян Скшетуский, Станислав Скшетуский, Заглоба, — ответили рыцари.

— Челом, челом!

— Челом! В хорошем обществе мы поедем. А не знаете ли, Панове, куда нас везут?

— Вы едете в Биржи, — ответил Ковальский.

И с этими словами он скомандовал, и пятьдесят драгун окружили телегу, и затем все двинулись в путь.

Узники стали потихоньку разговаривать.

— Нас выдадут шведам! — сказал Мирский. — Этого и нужно было ждать.

— Я предпочитаю сидеть между шведами, чем между изменниками! — ответил Станкевич.

— А я предпочел бы пулю в лоб, — воскликнул Володыевский, — чем сидеть во время этой несчастной войны!

— Ну я с этим не согласен, — возразил Заглоба, — с телеги и из Бирж можно удрать при случае, а с пулей во лбу далеко не уйдешь. Я знал заранее, что на это этот изменник не решится!

— Радзивилл не решится? — сказал Мирский. — Вы, видно, приехали издалека. Если он задумал кому отомстить, то того уж можно хоронить: я не помню случая, чтобы он когда-нибудь простил малейшую вину.

— А все-таки он не посмел поднять на меня свою руку, — ответил Заглоба. — Кто знает, не мне ли вы обязаны своим спасением?

— А это почему?

— Крымский хан очень меня полюбил за то, что я, будучи у него в плену, открыл заговор, посягавший на его жизнь. Наш милостивый король, Ян Казимир, меня тоже очень любит. Потому и понятно, что этот чертов сын, Радзивилл, побоялся меня тронуть, чтобы не вооружить их против себя. Они бы его нашли и на Литве.

— Что за глупости! Он ненавидит короля, как черт святую воду, и если бы только знал, что вы его любимец, вам бы несдобровать, — возразил Станкевич.

— А я думаю, — сказал Оскерко, — что гетман сам не хотел пятнать рук нашей кровью, боясь еще большего мятежа, но уверен, что этот офицер везет шведам приказ, чтобы нас тотчас же расстреляли.

— Ой! — воскликнул Заглоба.

Все на минуту умолкли. Между тем телега с пленными и с конвоем въехала на кейданский рынок. Город уже спал, в нем уже не было огней, лишь собаки злобно лаяли на проезжавших и проходивших путников.

— Все равно, — наконец отозвался Заглоба. — Мы хоть выиграли время, а там... может быть, какая-нибудь счастливая мысль и осенит нас.

Тут он обратился к старым полковникам:

— Вы, панове, еще меня не знаете, но спросите моих товарищей; они вам скажут, что, в каких бы переделках я ни бывал, мне всегда удавалось выпутаться из беды. Скажите, что это за офицер конвоирует нас? Нельзя ли его убедить оставить изменника и перейти на нашу сторону?

— Это Рох Ковальский, — ответил Оскерко. — Я его знаю. Вы с таким же Успехом могли бы убеждать его лошадей; я даже не знаю, кто из них глупее.

— Как же он попал в офицеры?

— Он был у Мелешки знаменщиком, а для этого большого ума не надо.

В офицеры он попал потому, что понравился князю за необыкновенную силу. Он легко ломает подковы и борется с медведем.

— Он такой силач?

— Мало того что силач; он, если ему начальник прикажет разбить лбом стену, не задумываясь, бросится исполнять приказание. Ему велено отвезти нас в Биржи, и он отвезет, хоть бы земля должна была расступиться под его ногами.

— Скажите на милость! — воскликнул Заглоба. — Ну и решительный малый!

— Решительность его равна его глупости! Кроме того, в свободное время он если не ест, то спит. Раз он проспал в цейхгаузе сорок восемь часов, а когда его разбудили, то зевал так, точно провел без сна несколько суток.

— Мне страшно нравится этот офицер, — ответил Заглоба. — Я всегда люблю знать, с кем имею дело!

А потом, обратившись к Ковальскому, он сказал покровительственным тоном:

— Подойдите ко мне, мосци-пане!

— Зачем? — спросил Ковальский, поворачивая лошадь.

— Нет ли у вас горилки?

— Есть.

— Так давайте сюда.

— Как так — давайте?

— Видите ли, мосци-Ковальский, если бы это было запрещено, то вам было бы приказано не давать, а так как вам ничего не сказали, значит, давайте!

— Гм... — проворчал изумленный пан Рох. — Вы, кажется, хотите меня принудить?..

— Я вас не принуждаю, но если дозволено, то почему бы не помочь родственнику, а тем более старшему; ведь, женись я на вашей матери, я бы мог быть вашим отцом.

— Какой вы мне родственник?

— Есть два рода Ковальских. У одних Ковальских в гербе козел с поднятой задней ногой, и они называются «Верушами», у других корабль, на котором их предок приехал из Англии в Польшу, и они называются «Кораблями», к ним принадлежу и я со стороны бабушки.

— Неужели? Значит, вы на самом деле мой родственник?

— А разве вы «Корабль»?

— «Корабль».

— Моя кровь, клянусь Богом! — воскликнул Заглоба. — Как я рад, что мы встретились, ведь я, собственно, приехал сюда, на Литву, к Ковальским, и хоть я под арестом, а ты на лошади и на свободе, но я с удовольствием прижал бы тебя к своей груди: родная кровь, ничего не поделаешь!

— К несчастью, я вам ничем помочь не могу. Мне велено отвезти вас в Биржи, и я должен вас отвезти. Родство родством, а служба службой.

— Называй меня дядей, — сказал Заглоба.

— Вот вам, дядя, горилка! — сказал Рох. — Это дозволено.

Заглоба взял манерку и с наслаждением выпил. Минуту спустя приятная теплота распространилась по его телу, он повеселел и стал как будто лучше соображать.

— Слезай-ка ты с лошади, — сказал он Роху, — и садись ко мне в телегу: поболтаем немного. Мне хочется узнать кое-что о моих родственниках. Я почитаю дисциплину, но ведь это тебе не запрещено.

Ковальский подумал с минуту.

— Мне этого не запретили, — сказал он наконец.

И вскоре он сидел или, вернее, лежал рядом с Заглобой, который сердечно его обнимал.

— Как же твой старик поживает? Как, бишь, его зовут?.. Совсем забыл...

— Тоже Рох.

— Верно! Рох родил Роха! Это по Писанию. Ты должен своего сына также назвать Рохом, чтобы не изменить семейным традициям. Ты женат?

— Конечно, женат! Я Ковальский, а это — пани Ковальская, и другой не хочу.

С этими словами он поднес к самому лицу Заглобы тяжелую драгунскую саблю и повторил:

— Другой не хочу!

— Правильно! — воскликнул Заглоба. — Ты мне очень нравишься, Рох, сын Роха. Настоящий солдат тот, у которого такая жена, как у тебя; притом скорее она овдовеет, чем ты! Жаль, что у тебя от нее не будет маленьких Рохов; по всему вижу, что ты парень с мозгами, и было бы очень прискорбно, если бы такой род вымер.

— Ну вот еще! — ответил Ковальский. — Нас шесть братьев.

— И все Рохи?

— Вы угадали, дядюшка: у каждого из нас если не первое, то второе имя Рох, ведь это наш патрон.

— Ну тогда выпьем еще!

— Я не прочь!

Заглоба пригубил из манерки, но не выпил всего, а передал ее офицеру и прибавил:

— До дна, до дна! Жаль, что я не могу тебя разглядеть! — продолжал он. — Ночь такая темная, нельзя собственных пальцев узнать. Послушай, Рох, куда это собираются войска из Кейдан!

— На бунтовщиков.

— Один Бог может знать, кто бунтовщик: ты или они?

— Я бунтовщик? А это как же так? Что гетман мне приказывает, то я и делаю.

— Но гетман не делает того, что ему приказывает король; ведь король, наверно, не приказывал ему соединяться со шведами. Я думаю, что и ты предпочел бы драться со шведами, чем отдавать в их руки меня, своего родственника?

— Пожалуй, что так, но служба прежде всего!

— И пани Ковальская тоже бы это предпочла! Я ее хорошо знаю. Между нами говоря, гетман изменил королю и отчизне. Ты этого никому не говори, но это так! И те,

кто служит ему, тоже бунтовщики.

— Мне и слушать этого не годится. У гетмана свое начальство, а у меня свое, и Бог накажет меня, если я его ослушаюсь. Это была бы неслыханная вещь!

— Правильно. Но послушай: если бы, к примеру, ты попал в руки этих бунтовщиков, то и я был бы свободен, и ты не виноват: ведь «один в поле не воин»! Жаль только, что я не знаю, где они стоят, но ты, верно, знаешь... И если бы ты захотел... мы могли бы поехать в ту сторону.

— Что такое?

— Да просто поехать к ним! Ты не был бы виноват, если бы они нас отбили. Уж во всяком случае твоя совесть была бы чиста в отношении своего родственника, а ты и сам, вероятно, знаешь, что иметь родственника на совести — это большой грех.

— Не говорите мне больше об этом! Не то я сейчас сойду с телеги и сяду на коня! Не я буду отвечать перед Богом, а гетман. Пока я жив, ничего из этого не выйдет!

— Ну, делать нечего! — сказал Заглоба. — Спасибо за откровенность, хотя я раньше был твоим дядей, чем Радзивилл твоим гетманом. А понимаешь ты, что значит дядя?

— Дядя, значит, дядя.

— Ответ твой очень остроумен, но знаешь ли ты, что если у кого-нибудь нет отца, то, по Писанию, он должен слушаться дяди. Тогда его власть равняется родительской, коей грех не повиноваться. В дяде течет та же кровь, что и в матери. Я, правда, не брат твоей матери, но, должно быть, моя бабушка была тетушкой твоей бабушки; во мне совмещается власть нескольких поколений. Все люди смертны, а потому власть от одних переходит к другим, и ни гетман, ни король не могут заставить ей противиться. Может ли, например, великий или полевой гетман заставить не только шляхтича, но даже простого мужика поднять руку на отца, мать, на деда или на старую слепую бабушку? Ответь мне на этот вопрос, Рох!

— Что? — спросил сонным голосом Ковальский.

— На старую слепую бабушку? — повторил Заглоба. — Кто бы в таком случае хотел жениться, иметь детей и дождаться внуков?

— Я Ковальский, а это пани Ковальская! — бормотал сквозь сон офицер.

— Если хочешь, пусть так и будет, — ответил Заглоба. — Пожалуй, и лучше, что у тебя не будет детей, меньше дурней будет на свете! Как думаешь, Рох?

Заглоба приложил к нему ухо, но не услышал уже никакого ответа.

— Рох, Рох! — окликнул его тихо Заглоба. Рох спал как убитый.

— Спишь?.. — пробормотал Заглоба. — Ну, подожди... Я вот сниму с тебя этот железный горшок, а то тебе неудобно, и расстегну плащ, чтобы с тобой не приключилось удара. Я был бы плохим родственником, если бы не заботился о тебе.

И руки Заглобы стали шарить около головы и шеи Ковальского. На возу все спали глубоким сном; солдаты тоже качались на седлах, ехавшие впереди слегка напевали, всматриваясь в дорогу, так как ночь была темная.

Вдруг солдат, ехавший позади телеги, увидел плащ и блестящий шлем своего офицера. Ковальский, не останавливая телеги, кивнул, чтобы ему подали лошадь.

Спустя минуту он уже был на лошади.

— Мосци-комендант, а где мы будем кормить лошадей? — спросил вахмистр, подъехав к нему.

Рох не ответил ни слова и, миновав конвойных, исчез во мраке. Вскоре быстрый топот лошадиных копыт донесся до слуха драгун.

— Куда это наш комендант поскакал? — спрашивали друг друга солдаты.

— Должно быть, хочет посмотреть, нет ли поблизости корчмы. Время бы дать отдых лошадям.

Между тем прошло полчаса, прошел час, два, а Ковальский не возвращался.

Лошади совсем устали и едва тащились.

— Поезжайте-ка догоните коменданта и скажите, что лошади еле ноги волочат.

Один из солдат поехал исполнить приказание, но через час вернулся один.

— Коменданта и след простыл, — сказал он. — Должно быть, уехал куда-нибудь далеко!

— Ему хорошо, — ворчали с недовольством солдаты, — он целый день спал, да и теперь выспался на возу, а ты тащишь всю ночь без отдыха.

— Отсюда в двух шагах корчма, — ворчал посланный, — я думал, что найду его там, а там его нет! Куда его черти понесли?

— Остановимся и без него, коли так, — сказал вахмистр. — Нужно отдохнуть.

И они остановились перед корчмой. Солдаты сошли с лошадей, одни из них пошли стучаться в двери, другие стали отвязывать вязанки сена, чтобы хоть с рук покормить лошадей.

Узники, услышав шум, тоже проснулись.

— Куда это мы приехали? — спросил Станкевич.

— Впотьмах трудно разобрать, — ответил Володыевский, — тем более что мы не к Упите едем.

— Но ведь из Кейдан в Биржу надо ехать через Упиту? — спросил Ян Скшетуский.

— Конечно. Но там мой полк, и князь велел ехать по другой дороге. Сейчас же за Кейданами мы свернули на Данов и Кроков, а оттуда, верно, поедем на Бейсаголу и Шавли. Это немного не по дороге, но зато Упита и Поневеж останутся в стороне.

— А пан Заглоба спит себе сном праведника, — заметил Станислав Скшетуский, — вместо того чтобы придумать какой-нибудь выход, как обещал.

— Пусть спит... Должно быть, его утомил разговор с этим болваном комендантом. Видно, ни к чему не привели его красноречивые уверения в родстве между ними. Кто для отчизны не изменил Радзивиллу, тот ему не изменит и ради дальнего родственника.

— А разве они в самом деле родственники? — спросил Оскерко.

— Такие же, как и мы с вами, — ответил Володыевский. — Но где же пан Ковальский?

— Должно быть, в корчме.

— Я хотел у него просить разрешения пересесть на какую-нибудь лошадь: у меня ноги затекли, — сказал Мирский.

— Он, наверное, на это не согласится, — возразил Станкевич, — в темноте легко улизнуть незаметно. А как догнать?

— Я дам ему рыцарское слово, что не удеру, а кроме того, скоро и светать начнет.

— Послушай, где ваш комендант? — спросил Володыевский у стоящего вблизи драгуна.

— А кто его знает.

— Как так: кто знает? Если я тебе приказываю его позвать, так зови.

— Мы, пане полковник, сами не знаем, где он, — ответил драгун, — как Уехал ночью, так и до сих пор не возвращался.

— Скажи ему, когда он вернется, что мы хотим с ним говорить.

— Слушаюсь! — ответил солдат.

Пленные замолчали.

Время от времени слышалось только их громкое позевывание; рядом лошади жевали сено. Солдаты, сторожившие телегу, дремали, другие болтали между собой или закусывали, чем бог послал, так как корчма оказалась необитаемой.

Вскоре и ночь стала бледнеть; на востоке появилась светлая полоса, звезды понемногу стали меркнуть, а затем крыша корчмы и деревья перед корчмою словно

покрылись серебром. Немного погодя можно было уже различить лица, желтые плащи и блестящие шлемы.

Володыевский зевнул наконец, открыл глаза и взглянул на спящего Заглобу; вдруг он вскочил и вскрикнул:

— А чтоб его! Панове! Панове! Посмотрите, ради бога!

— Что случилось? — спросили полковники, открывая глаза.

— Посмотрите, посмотрите! — кричал Володыевский.

Пленники взглянули, куда указывал Володыевский, и остолбенели: под буркой в шапке Заглобы спал сном праведным Рох Ковальский. Заглобы в телеге не было.

— Удрал! Ей-богу, удрал! — воскликнул Мирский, оглядываясь по сторонам, точно не веря собственным глазам.

— Снял шлем и плащ с этого дурака и удрал на его же лошади!

— Ну и хитер! Чтоб его разорвало! — сказал Станкевич.

— Как в воду канул.

— Он исполнил свое обещание, что придумает что-нибудь!

— Только его и видели!

— Панове, — сказал Володыевский, — вы его не знаете, но я готов поклясться, что он и нам придет на помощь. Я не знаю как, но уверен в этом.

— Ей-богу, собственным глазам не верю! — сказал Станислав Скшетуский.

Но вот и солдаты узнали, в чем дело, и подняли страшную суматоху. Все подбегали к телеге и таращили глаза на своего спящего коменданта, одетого в бурку из верблюжьего сукна и в рысью шапку.

Вахмистр начал его трясти без всякой церемонии:

— Мосци-пане комендант! Мосци-пане комендант!

— Я Ковальский, а это пани Ковальская! — бормотал Рох.

— Мосци-комендант, пленный удрал! Ковальский вскочил и открыл глаза.

— Чего тебе?

— Удрал тот толстый шляхтич, с которым вы разговаривали.

— Не может быть! — крикнул испуганным голосом Ковальский. — Как это? Как удрал?

— В вашем шлеме и плаще: ночь была темная, солдаты его не узнали.

— Где моя лошадь? — крикнул Ковальский.

— Нету... шляхтич на ней-то и уехал.

— На моей лошади?

— Да.

Ковальский схватился за голову и воскликнул:

— Господи Иисусе! Затем прибавил:

— Давайте мне сюда этого подлеца, который ему дал лошадь.

— Мосци-комендант, солдат не виноват. Ночь была темная, хоть глаз выколи, а на нем был ваш плащ и шлем. Он проехал мимо меня, и я его тоже не узнал. Не садись вы на телегу, ничего такого и не могло бы случиться!

— Бей меня! Бей меня! — кричал несчастный офицер.

— Что прикажете делать, мосци-комендант?

— Ловите его!

— Это невозможно! Он ведь на вашей лошади уехал, а это одна из лучших. Наши лошади страшно устали, кроме того, он удрал уже давно. Мы его не можем догнать.

— Ищи ветра в поле! — сказал Станкевич.

Тогда Ковальский накиннулся на пленных:

— Это вы помогли ему удрать! Я вас!..

И он сжал кулаки и стал приближаться к ним. Вдруг Мирский сказал грозно:

— Не кричите и помните, что говорите со старшими!

Ковальский вздрогнул и машинально вытянулся в струнку; его значение, в сравнении с значением Мирского, равнялось нулю, да и остальные пленные стояли выше его как по чинам, так и по происхождению.

— Куда вам приказали нас везти, туда и везите, но голоса не возвышайте, ибо завтра же можете попасть под нашу команду! — прибавил Станкевич.

Рох вытаращил глаза и молчал.

— Ну и оболванились же вы, пане Рох, — сказал Оскерко. — А что касается того, будто мы помогли ему удрать, то это глупость, каждый из нас прежде всего помог бы самому себе! Никто тут не виноват, кроме вас. Слыханная ли вещь, чтобы комендант позволил удрать своему пленному в своем плаще, в своем шлеме и на своей лошади.

— Старая лиса провела молодую! — сказал Мирский.

— Иезус, Мария, у меня и сабли нет! — крикнул Ковальский.

— А вы думали, что ему сабля не нужна? — сказал, улыбаясь, Станкевич. — Справедливо заметил пан Оскерко, что вы оболванились... У вас, верно, были и пистолеты?

— Были... — точно не сознавая того, что происходит, ответил Ковальский. Вдруг он схватился обеими руками за голову и крикнул страшным голосом:

— И письмо князя-гетмана к биржанскому коменданту. Что я теперь, несчастный, буду делать? Я пропал навек! Остается только пуля в лоб!

— Это вас не минует! — возразил Мирский. — Как же вы теперь повезете нас в Биржи? Что будет, если вы скажете, что привезли нас как пленных, а мы, как старшие вас чинами, скажем, что арестовать нужно вас! Кому комендант скорее поверит? Неужели вы думаете, что шведский комендант задержит нас только потому, что пан Ковальский его об этом попросит?

— Пропал я! Пропал! — стонал Ковальский.

— Пустяки! — утешал его Володыевский.

— Что нам делать, мосци-комендант? — спрашивал вахмистр.

— Убирайся ко всем чертям! — крикнул Ковальский. — Разве я знаю, что делать и куда ехать?

— Ехать в Биржи! — посоветовал Мирский.

— Поворачивай в Кейданы! — крикнул Ковальский.

— Не будь я Оскерко, если вас там сейчас же не расстреляют! Как же вы покажетесь на глаза князю? Ведь вас ждет там позор и пуля в лоб!

— Я большего и не стою! — воскликнул несчастный офицер.

— Глупости, пане Рох! Мы одни можем вас спасти, — сказал Оскерко. — Вы знаете, что мы за князя готовы были идти в огонь и в воду. За нами было немало и других заслуг. Мы не раз проливали кровь за отчизну и никогда от этого не откажемся; но гетман изменил отчизне, изменил королю, коему мы поклялись в верности. Неужто вы думаете, что нам легко было идти против гетмана и против дисциплины? Но кто на стороне гетмана, тот против короля и Речи Посполитой. Поэтому мы бросили ему под ноги булавы. И кто это сделал? Не я один, но лучшие и умнейшие люди! Кто при нем остался? Негодяи! Вы хотите опозорить свое имя? Хотите быть изменником? Спросите собственную совесть, что надо делать: остаться на стороне изменника Радзивилла или идти с теми, кто готов пожертвовать ради отчизны последней каплей крови?

Слова эти, казалось, произвели сильное впечатление на Ковальского. Он вытаращил глаза, открыл рот и, после некоторого молчания, сказал:

— Чего вы, Панове, от меня хотите?

— Чтобы вы вместе с нами шли к воеводе витебскому, который стоит на стороне отчизны.

— Да ведь мне велено отвезти вас в Биржи.

— Вот и разговаривай с ним после этого! — воскликнул с нетерпением Мирский.

— Мы хотим, чтобы вы нарушили приказ и шли с нами, понимаете ли вы наконец? — крикнул Оскерко, потеряв терпение.

— Вы можете говорить что угодно, но из этого ничего не выйдет. Я солдат и должен повиноваться гетману. Если он грешит, то он ответит перед Богом, а не я! Я человек простой, чего рукой не сделаю, того и голова не рассудит! Знаю одно: что я должен во всем его слушаться.

— Делайте как знаете! — крикнул, махнув рукой, Мирский.

— Я уж и теперь нарушил приказ, ибо велел возвращаться в Кейданы, вместо того чтобы везти вас в Биржи; но меня одурачил этот шляхтич. И это называется родственник! У него совести нет! Из-за него я должен лишиться не только княжеской милости, но и жизни! Но будь что будет, а вы должны ехать в Биржи.

— Нечего терять попусту время! — сказал Володыевский.

— Поворачивать в Биржи, черти! — крикнул Ковальский драгунам.

И они повернули.

Комендант приказал одному из солдат сесть в телегу, а сам взял его лошадь и поехал рядом с пленными, не переставая бормотать:

— Родственник — и так меня подвел!

Узники, хоть и озабоченные своей судьбой, не могли все же удержаться от смеха, и Володыевский наконец сказал:

— Утешьтесь, пане Ковальский, не такие, как вы, но даже и сам Хмельницкий не раз попадался ему на удочку. В этом отношении равных ему нет!

Ковальский ничего не ответил, он лишь поотстал немного от телеги, чтобы избежать насмешек. Впрочем, ему было стыдно и перед собственными солдатами, и он был так убит, что на него жаль было смотреть.

Между тем полковники говорили о Заглобе и его волшебном исчезновении.

— Странная вещь, право, — говорил Володыевский, — нет такого затруднительного положения, из которого этот человек не сумел бы выкарабкаться. Где нельзя взять силой и храбростью, он берет хитростью. Другие теряются, когда у них смерть висит над головой, а у него в это время голова работает, как никогда. В случае нужды, он храбр как Ахиллес, но предпочитает идти по стопам Улисса.

— Не хотел бы я его караулить, будь он даже закован в кандалы, — сказал Станкевич. — Было бы еще полбеды, если бы только удрал, но ведь он, кроме того, Ковальского на смех подымет.

— Еще бы, — сказал Володыевский, — он теперь до смерти не забудет Ковальского. А уж не дай Бог попасться ему на язык, острее языка нет, вероятно, во всей Речи Посполитой. При этом он обычно не щадит красок в своих повествованиях, и слушатели просто помирают со смеху.

— Но в случае нужды, вы говорите, он и саблей умеет работать? — спросил Станкевич.

— Как же! Ведь он на глазах всего войска зарубил Бурлая под Збаражем.

— Клянусь Богом, — воскликнул Станкевич, — я таких еще не видывал!

— Теперь он тоже оказал немалую услугу тем, что увез письмо князя; кто знает, что там было написано. Сомневаюсь, чтобы шведский комендант поверил нам, а не Ковальскому! Мы едем как пленные, а он командует конвоем. Но во всяком случае, там не будут знать, что с нами делать. И мы останемся живы, а это главное.

— Я ведь просто пошутил, чтобы еще более сконфузить Ковальского, — сказал Мирский. — Но нам нечего особенно радоваться, если даже пощадят нашу жизнь! Все складывается так ужасно, что лучше умереть. Зачем мне, старику, смотреть на все эти ужасы!

— Или мне, человеку, который помнит другие времена? — прибавил Станкевич.

— Вы не должны так говорить: милосердие Божье сильнее злобы людей; Господь может послать нам свою помощь, когда мы меньше всего ее ждем.

— Святая истина говорит вашими устами! — сказал Ян Скшетуский. — Конечно, нам, служившим под начальством князя Еремии, тяжело теперь жить, мы привыкли к победам. Но если Бог пошлет нам настоящего вождя, на которого можно было бы положиться, то мы еще послужим родине.

— Каждый из нас готов будет сражаться день и ночь! — воскликнул Володыевский.

— В том-то все несчастье! — сказал Мирский. — Каждый ходит во мраке и не знает, что делать. Меня так мучит то, что я не мог не бросить князю под ноги булаву и стал зачинщиком бунта. Когда я вспомню об этом, у меня остатки волос дыбом встают на голове. Но что же было делать ввиду явной измены? Счастлив тот, кому не пришлось искать в душе ответов на все эти страшные вопросы!

— Господи милосердный, пошли нам истинного вождя! — воскликнул Станкевич, подняв глаза к небу.

— Говорят, что воевода витебский честнейший человек, — заметил Станислав Скшетуский.

— Это верно, — ответил Мирский, — но он не гетман, и, пока ему король не пожалует этого титула, он может вести военные действия только на собственный страх. Я уверен, что он не перейдет ни к шведам, ни к кому бы то ни было!

— А Госевский, гетман польный, в плену у Радзивилла!

— Вот тоже прекрасный человек, — воскликнул Оскерко. — Когда я узнал об его аресте, то меня точно кольнуло какое-то недоброе предчувствие.

Пан Михал на минуту задумался, а потом стал рассказывать:

— Когда я после сражения под Берестечком удостоился чести быть приглашенным на обед нашим милостивым королем, я познакомился там с паном Чарнецким, в честь коего и устроено было торжество. Король, выпив слегка, стал обнимать Чарнецкого и наконец сказал: «Я уверен, что если даже все меня покинут, то и тогда ты останешься со мной!» Я собственными ушами слышал эти его пророческие слова. Чарнецкий от волнения почти не мог говорить и все повторял: «До последнего издыхания!» И король заплакал.

— Кто знает, не сбылись ли его предсказания? — вздохнув, сказал Мирский.

— Должно быть, нет человека во всей Речи Посполитой, который бы не произносил имени Чарнецкого!

— Говорят, что татары, которые сражаются вместе с Потоцким против Хмельницкого, так его любят, что без него не хотят никуда идти.

— Это верно, — подтвердил Оскерко. — Я слышал это еще в Кейданах — у князя; все мы тогда расхваливали Чарнецкого до небес, но князю, по-видимому, это не нравилось: он поморщился и наконец сказал: «Это королевский обозный, но с таким же успехом он мог бы быть у меня в Тыкоцине подстаростой».

— Должно быть, его зависть мучила!

— Известное дело, преступление не выносит света добродетели!

Так разговаривали друг с другом пленные; затем разговор их снова перешел на Заглобу. Володыевский уверял всех, что они могут быть уверены в его помощи: этот человек неспособен покинуть друзей в несчастье.

— Я уверен, — сказал он, — что он уехал в Упиту, найдет там моих людей, если только их не разбили или насильно не увели в Кейданы, возьмет их с собой и будет спешить к нам на помощь; вот разве только они не послушают, но этого я от них не ожидаю: в моем полку почти исключительно ляуданцы, а они меня любят.

— Но ведь это давние радзивилловские друзья, — заметил пан Мирский.

— Правда, но лишь только они узнают об измене гетмана, об аресте пана Госевского, Юдицкого и всех нас, то, наверное, переменят о нем свое мнение. Это все честная шляхта, а Заглоба передаст им все это так, как не сумеет никто другой.

— Ну а нам-то что?! — воскликнул Станислав Скшетуский. — Ведь мы тогда

будем в Биржах.

— Ни в коем случае. Чтобы миновать Упиту, мы делаем крюк, а из Упиты туда прямая дорога. Если бы даже мы выехали двумя днями раньше, то и тогда они бы нас опередили. Теперь мы едем на Шавли и лишь оттуда свернем к Биржам, а надо вам знать, что оттуда в Биржи ближе, чем из Шавель.

— Конечно, ближе, — согласился Мирский, — и дорога лучше.

— Вот видите! А нам еще до Шавель далеко.

И действительно, только под вечер они увидели гору, известную под названием «Салтувес калнас», под которой расположены были Шавли. По дороге они заметили, что во всех деревнях и местечках чуялась какая-то тревога. По-видимому, известие о переходе гетмана на сторону шведов разнеслось по всей Жмуди... Кое-где расспрашивали солдат, правда ли, что край вскоре будет занят шведами? Местами им встречались массы крестьян, покидавших свои пепелища и уезжавших со своими женами и детьми в глушь лесов. У иных из них был очень воинственный и грозный вид, так как они принимали драгун за неприятелей. В шляхетских «застенках» прямо спрашивали, кто они и куда едут; а когда Ковальский вместо ответа кричал: «Давать дорогу», то не обходилось без криков и угроз, и лишь ружья, взятые наперевес, открывали дорогу.

Большая дорога, ведущая из Ковны на Шавли и Митаву, была запружена крестьянскими телегами и шляхетскими возами, в которых шляхта ехала семьями, желая скрыться от неприятеля в курляндских владениях. В самых Шавлях войска не было, но зато в них пленные полковники в первый раз увидели шведский отряд, из двадцати пяти рейтар, высланный на разведки. За ними бежали толпы евреев и мещан; с неменьшим любопытством осматривали их и полковники, особенно Володыевский, не видавший их ни разу в жизни; он смотрел на них так, как волк смотрит на стадо овец, и шевелил усами.

Ковальский подъехал к шведскому офицеру, сказал, кто он, куда едет, кого везет, и просил соединиться с ним для безопасности. Но офицер ответил, что им велено разузнать о состоянии края, а следовательно, он не может терять времени и ехать назад; кроме того, он уверил Ковальского, что дорога совершенно безопасна, ибо всюду можно встретить небольшие отряды шведов, и что некоторые из них вызваны в Кейданы. Отдохнув до полуночи и покормив лошадей, Рох должен был без посторонней помощи отправиться дальше. Из Шавель он повернул на восток, через Югавишкили и Посволь, чтобы выбраться на проезжую дорогу, ведущую из Упиты в Поневеж.

— Если Заглоба придет нам на помощь, — сказал на рассвете Володыевский, — то, всего вернее, мы встретим его на этой дороге.

— Может быть, он где-нибудь нас уже поджидает, — заметил Станислав Скшетуский.

— И я так думал, пока не увидел шведов, — прибавил Станкевич, — но теперь ясно, что для нас спасения нет.

— На то он и Заглоба, чтобы обойти их или провести, и он это сделает.

— Но он не знает местности.

— Но ляданцы знают, они по этой дороге возят в Ригу пеньку и деготь.

— Шведы, должно быть, уже заняли все местечки около Бирж.

— А какие прекрасные солдаты те, которых мы видели в Шавлях, нужно отдать им справедливость! — сказал маленький рыцарь. — Все как на подбор... А вы заметили, какие у них прекрасные лошади?

— Это очень сильные лошади, инфляндские, — прибавил Мирский. — Наши гусары и панцирные товарищи всегда покупают таких, наши очень мелки!

— Вы лучше скажите, что у них превосходная пехота, а конница совсем уж не так хороша, как кажется. Не раз, бывало, один полк нашей конницы разносил в пух и

прах этих самых рейтар.

— Вы все уже имели с ними дело, — вздохнув, сказал Володыевский, — а я могу лишь слюнки глотать! Вы не поверите: когда я увидел их желтые, как лен, бороды, то у меня руки зачесались. Эх, и рада бы душа в рай, да грехи не пускают!

Полковники замолчали, но, видно, не один Володыевский питал такие дружеские чувства к шведам; вскоре до ушей пленных донесся разговор драгун...

— Видели вы этих нехристей? — говорил один из солдат. — А мы с ними не драться будем, а чистить у них лошадей!

— Чтоб их черт побрал! — проворчал другой.

— Тише ты, шведы научат тебя слушаться метлой по лбу!

— Или я их!

— Дурак ты! И те, что почище тебя, ничего не могли с ними поделаться.

— Самых что ни на есть первейших рыцарей отвозим мы в пасть этим собакам. Будут над ними жидовские их морды издеваться.

— Без жида с этими чучелами и не разговоришься. Ведь и комендант в Шавлях должен был сейчас за жидом послать.

— Будь они прокляты!

Тут первый солдат, понизив голос, сказал:

— Говорят, все лучшие солдаты отказались идти с ними против своего короля.

— Вот, к примеру, венгерский полк! А теперь гетман пошел с своим войском на тех, что взбунтовались! Бог весть, чем это кончится. На сторону венгров перешла большая часть наших драгун, их, верно, всех расстреляют!

— Вот награда за верную службу!

— Стой! — вдруг раздался голос ехавшего впереди Роха.

— Чтоб тебе голову размозжило! — пробормотал один из солдат.

— Что там такое? — спрашивали драгуны друг друга.

— Стой! — повторил комендант.

Телега остановилась. Всадники задержали лошадей. Погода была великолепная. Солнце уже взошло и осветило вдали столб пыли, точно там шло стадо или войско.

Вскоре среди облаков пыли засверкало что-то блестящее, точно кто-нибудь сыпал искры, и чем ближе, тем этот свет полыхал все ярче и ярче.

— Копья блестят! — воскликнул Володыевский.

— Войско идет!

— Должно быть, какой-нибудь шведский отряд.

— У них ведь только пехота вооружена копьями. Это наша конница!

— Наши, наши! — закричали драгуны.

— Стройся! — послышался голос Ковальского.

Драгуны окружили пленных, у Володыевского загорелись глаза.

— Это мои ляуданцы с Заглобой! Не может быть иначе!

Уж не больше версты отделяло приближавшийся отряд от телеги, и расстояние это с каждой минутой все уменьшалось: отряд шел рысью. Наконец можно было ясно рассмотреть мчавшихся, точно в атаку, драгун, во главе какого-то великана с булавой в руке и под бунчуком. Володыевский, увидев его, воскликнул:

— Да это пан Заглоба! Клянусь Богом, Заглоба!

Лицо Яна Скшетуского прояснилось.

— Не кто другой, как он! — сказал он. — И под бунчуком! Он себя уж в гетманы пожаловал! Я бы его всюду узнал! Он таким родился, таким и умрет!

— Да продлит ему Господь здоровье и жизнь! — сказал Оскерко.

Затем стал кричать:

— Мосци-Ковальский! Смотрите, да ведь это ваш родственник едет.

Но пан Рох не слышал. Он отдавал приказания своим драгунам. И нужно ему

отдать справедливость, что хотя у него была лишь горсть людей, а против него шел целый полк, он нисколько не растерялся. Построил своих солдат в два ряда перед телегой; приближавшийся отряд между тем раздвигался в стороны, по татарской манере, полумесяцем. Но отряд, очевидно, хотел сначала вступить в переговоры, так как издали там стали махать знаменем и кричать:

— Стой, стой!

— Рысью вперед! — крикнул Ковальский.

— Сдайся! — кричали с дороги.

— Огня! — скомандовал, вместо ответа, Ковальский.

Настала могильная тишина: ни один драгун не выстрелил.

Пан Рох на минуту опешил, а затем бросился, как бешеный, на своих солдат.

— Огня, чертовы дети! — крикнул он отчаянным голосом и одним ударом кулака свалил с лошади ближайшего солдата, а остальные рассыпались в разные стороны, как стая испуганных куропаток.

— Таких солдат я велел бы расстрелять! — пробормотал Мирский.

Между тем Ковальский, видя, что солдаты бросили его, повернул свою лошадь в сторону атакующих.

— Там мне смерть! — крикнул он и понесся к ним, как ураган.

Но не успел он проехать и половины расстояния, как навстречу раздался выстрел; лошадь Ковальского повалилась, придавив собой всадника.

В эту самую минуту какой-то солдат из полка Володыевского бросился вперед и схватил за шиворот офицера, пытавшегося подняться.

— Это Юзва Бутрым! — воскликнул Володыевский. — Юзва Безногий.

Пан Рох схватил Юзву за полу, и она осталась у него в руке; потом они стали бороться, как два коршуна, ибо оба обладали нечеловеческой силой.

У Бутрыма лопнуло стремя, и он свалился на землю, но не выпустил Ковальского, и оба сплелись в какую-то массу, катавшуюся по большой дороге.

К нему на помощь прибежали и другие. Ковальского сразу схватило рук двадцать, но он рвался и метался, как медведь в западне; он отшвыривал людей, как мячики, падал, вставал, но не сдавался. Он искал смерти, а между тем кругом раздавались десятки голосов: «Живым, живым его брать!»

Наконец он лишился сил и потерял сознание.

Заглоба уже взобрался на телегу и, обнимаясь со Скшетускими, Володыевским и Оскеркой, восклицал, запыхавшись:

— Ну что? Пригодился-таки Заглоба! Зададим мы теперь перцу Радзивиллу! Мы на свободе и у нас люди! Пойдем теперь разорять его имения. Ну что, удалась выдумка? Так или иначе, а я бы вас освободил. На Радзивилла, Панове, на Радзивилла! Вы еще не знаете всех его проделок.

Дальнейший разговор был прерван ляуданцами, которые бросились приветствовать своего полковника. Бутрымы, Госцевичи, Стакьяны, Домашевичи, Гаштофты толпились кругом телеги и кричали во все горло:

— Да здравствует наш полковник!

— Панове, — сказал маленький рыцарь, когда крики немного утихли, — товарищи дорогие, благодарю вас от всего сердца за ваше ко мне расположение. Тяжело отказывать в повиновении гетману и поднимать на него руку, но он изменник, и мы не можем поступить иначе. Не оставим же отчизны и нашего милостивого короля. Да здравствует король Ян Казимир!

— Да здравствует! — повторило триста голосов.

— Ну а теперь в имение Радзивилла почистить у него погреб! — кричал Заглоба.

— Лошадей нам! — скомандовал маленький рыцарь.

Солдаты бросились исполнить приказание. Между тем Заглоба обратился к

Володыевскому:

— Пан Михал! Я командовал твоими людьми в твое отсутствие и признаюсь, что делал это с удовольствием, они храбрые солдаты, но теперь ты свободен, и я передаю власть в твои руки.

— Пусть примет над ними команду пан Мирский, он здесь старше всех нас! — сказал пан Михал.

— И не думаю, — возразил старый полковник, — зачем мне это?

— Ну так пан Станкевич.

— У меня есть свой полк, мне чужого не надо. Оставайтесь вы на своем месте; к чему все эти церемонии? Вы знаете своих людей, они знают вас, и всем им будет гораздо приятнее оставаться с вами!

— Сделай так, Михал, как тебе советуют, — заметил Ян Скшетуский.

— Ну, пусть будет так, — сказал Володыевский и, взяв из рук Заглобы булаву, привел в порядок свой полк и тронулся с остальными товарищами в путь.

— Куда же мы едем? — спросил его Заглоба.

— Правду говоря, я и сам не знаю, не успел еще подумать.

— Надо посоветоваться и решить, что делать, — вмешался Мирский. — Только прежде позвольте выразить пану Заглобе нашу общую благодарность за спасение.

— А что? — ответил с гордостью Заглоба, поднимая вверх голову и покручивая усы. — Без меня вы попали бы в Биржи. Справедливость требует признать, что когда никто не может ничего придумать, то придумает Заглоба! Мы бывали и не в таких переделках. Помните, как я вас спас, когда мы с Еленой удирали от татар? — сказал он, обращаясь к маленькому рыцарю.

Пан Михал, правду говоря, мог ему ответить, что в тот раз было наоборот, но он промолчал и лишь шевельнул усиками... Старик продолжал:

— Мне благодарности не надо! Сегодня я услужил вам, завтра вы мне тем же ответите. Я так рад, что вижу вас на свободе, точно я одержал какую-нибудь большую победу. Оказывается, что у меня еще не устарели ни голова, ни руки.

— Значит, вы в Упиту отправились? — спросил его Володыевский.

— А куда же мне было ехать, уж не в Кейданы ли? Можете быть уверены, что я не жалел лошади, а славная была кляча! Вчера утром я был в Упите, в полдень мы уже отправились в Биржи по той дороге, где я думал вас встретить.

— И мои люди вам сразу поверили? — спросил Володыевский. — Ведь они вас не знали и видели вас у меня всего два-три раза.

— Ну с этим у меня не было больших затруднений; во-первых, я показал им ваш перстень, во-вторых, они уже знали об измене Радзивилла. Я застал там нарочных от людей полковника Мирского и Станкевича, которые звали общими силами соединиться против изменника-гетмана. Когда я им сказал, что вас везут в Биржи, то точно сунул палку в муравейник. Лошади были на пастбище, за ними сейчас же сбегали, и в полдень мы уже тронулись в путь. Вы видите, что я принял команду по праву?

— А откуда, отец, вы взяли бунчук? — спросил Ян Скшетуский. — Мы вас издали приняли за гетмана.

— А разве я плохо выглядел? Вы спрашиваете, откуда я взял бунчук? Вместе с депутациями от гетмана приехал полковник Щит с приказом ляуданцам отправляться в Кейданы, его, для пущей важности, снабдили бунчуком. Я велел его арестовать, а бунчук носить над собою, на случай встречи со шведами.

— Как вы все остроумно придумали! — воскликнул Оскерко.

— Как Соломон! — прибавил Станкевич.

Заглоба сиял от восторга.

— Ну теперь решим, что нам делать, — сказал он. — Если вы хотите послушать меня, то вот что я вам посоветую. С Радзивиллом, по-моему, нам связываться нечего,

потому что мы, попросту говоря, окуни, а он щука! Для нас выгоднее поворачиваться хвостом, а не головою. От души желаю ему поскорее попасть к черту на рога! Кроме того, если бы мы попались к нему в лапы, то нам бы несдобровать. Прочтите, панове, письмо, которое Ковальский вез шведскому коменданту в Биржи, и вы узнаете воеводу виленского, если до сих пор его не знали.

Сказав это, он вынул из кармана письмо и подал его Мирскому.

— По-немецки или по-шведски? — спросил старый полковник. — Кто из вас может прочесть?

Оказалось, что лишь один Станислав Скшетуский знал немецкий язык, но мог читать только по-печатному.

— Ну так я расскажу вам содержание письма, — сказал Заглоба. — Пока в Упите солдаты послали за лошадьми, я велел привести за пейсы жида и заставил его прочесть письмо. Оказалось, что гетман велел биржанскому коменданту прежде всего отправить обратно конвой, а потом всех вас расстрелять, но так, чтобы об этом никто не знал.

Полковники даже руками всплеснули, а Мирский, покачив головою, сказал:

— Я ведь хорошо его знаю, и меня очень удивило, что он живыми везет нас в Биржи. Должно быть, у него были причины не казнить нас сейчас же.

— Он, верно, боялся возмущения?

— Может быть!

— Но что за мстительный человек, — сказал маленький рыцарь. — Я ведь недавно вместе с Гангофом спас ему жизнь!

— А я служу Радзивиллам тридцать пять лет, — сказал Станкевич.

— Страшный человек! — прибавил Станислав Скшетуский.

— Вот поэтому его и нужно избегать! — сказал Заглоба. — Черт его побери! Избегать встречи с ним мы будем, но погреба его по дороге почистить не мешает. Поедем-ка теперь к воеводе витебскому, чтобы иметь какую-нибудь защиту, а по дороге захватим, что можно. Если найдутся деньги, и от них отказываться нечего. Чем с большими средствами мы придем, тем лучше нас примут.

— Воевода и так примет нас радушно, — ответил Оскерко. — Конечно, к нему, лучшего не придумаешь!

— Все с этим согласятся, — прибавил Станкевич.

— Пусть он будет тем вождем, о коем мы просили Господа.

— Аминь! — сказали остальные.

И некоторое время они молчали; вдруг Володыевский завертелся на седле и сказал:

— А недурно бы теперь встретить по дороге шведов.

— Я бы тоже не прочь, — заметил Станкевич. — Верно, Радзивилл убедил шведов, что вся Литва у него в руках, так они вот убедятся, что это ложь.

— Конечно, — сказал Мирский, — если попадется нам какой-нибудь отряд, не мешает дать ему потасовку, но Радзивилла надо избегать, с ним мы не справимся. А все же я посоветовал бы повертеться несколько дней около Кейдан.

— Чтобы разорить его имения?

— Нисколько. Чтобы собрать побольше людей! Мой полк и полк Станкевича присоединятся к нам, если только они не разбиты; шляхты соберется тоже немало. Тогда мы приведем воеводе витебскому больше войска, а это сейчас значит немало.

Расчет был верен, примером этому могли послужить драгуны Ковальского, которые без всякого колебания перешли к Володыевскому. Таких могло набраться в радзивилловских войсках немало. Но, главное, можно было предполагать, что первая победа, одержанная над шведами, вызовет общее восстание.

И Володыевский решил отправиться в сторону Поневежа, собрать как можно больше лядуанской шляхты, а оттуда идти в Роговскую пуцу, где он надеялся

встретить остатки разбитых полков. На отдых он остановился возле реки Лавечи.

Там они стояли до ночи, поглядывая из лесной чащи на большую дорогу. Ехали все больше крестьяне, убегавшие в леса перед нашествием неприятеля.

Солдаты, которых высылали на дорогу, приводили время от времени мужиков, от которых полковники хотели что-нибудь узнать о шведах; но добиться ничего не могли.

Крестьяне, под влиянием слышанных ими ужасов, твердили, будто шведы уже совсем близко, но сказать больше не могли ничего.

Когда стемнело, Володыевский велел людям собираться в путь. Вдруг ясно послышался звон колоколов.

— Что это? — спросил Заглоба. — На молитву ведь слишком поздно! Володыевский несколько времени прислушивался, затем сказал:

— Это набат!

Потом он обратился к солдатам и спросил:

— Не знает ли кто-нибудь, что это за деревня или местечко в той стороне?

— Это Клеваны, мосци-полковник, мы по этой дороге поташ возили.

— Вы слышите звон?

— Слышим. Должно быть, случилось что-нибудь.

Володыевский дал знак трубачу, и тихий звук трубы зазвенел в темноте. Отряд двинулся вперед.

Глаза всех были направлены туда, откуда слышался тревожный звон; наконец на горизонте показался красный свет, который увеличивался с каждой минутой.

— Зарево! — раздалось среди солдат.

— Шведы! — сказал Володыевский Скшетускому.

— Попробуем! — ответил пан Ян.

— Но зачем они жгут?

— Должно быть, шляхта или крестьяне оказали сопротивление.

— Посмотрим! — ответил Володыевский. Вдруг к нему подъехал Заглоба и спросил:

— Я уж вижу, что вы почуяли запах шведского мяса. Ну что, быть битве, как вы думаете?

— Как Бог даст.

— А кто будет сторожить пленного?

— Какого пленного?

— Уж конечно, не меня, а пана Ковальского. Видишь, пан Михал, нам очень важно, чтобы он не убежал! Помни, что гетман не знает ничего о том, что случилось, и ни от кого не узнает, если ему не донесет Ковальский. Надо велеть каким-нибудь надежным людям его стеречь, так как во время битвы легко улизнуть, тем более что он и на хитрости пуститься может!

— Он так же хитер, как эта телега, на которой вы сидите. Вы хотите присмотреть за ним?

— Гм... Мне битву жаль пропускать!.. Правда, что ночью при огне я ничего не вижу. Если бы нам пришлось биться днем, ты бы меня никогда не уговорил стеречь Ковальского... Но если это в общих интересах, то пусть и так будет.

— Ладно. Я оставлю вам человек пять в подмогу, и, если он захочет удирать, пустить ему пулю в лоб...

— Я его в пальцах разомну, как воск! Но пожар все растет! Где мне быть с Ковальским?

— Где хотите. Теперь времени нет! — сказал пан Михал. И поехал вперед.

Пожар разливался все шире. Ветер подул с пожарища и вместе с колокольным звоном донес отголоски выстрелов.

— Рысью! — скомандовал Володыевский.

XVIII

Когда стали подъезжать к ближайшей деревне, они убавили шаг и увидели улицу, настолько ярко освещенную пламенем, что можно было найти булавку. По обеим сторонам горело несколько изб, другие начинали загораться, так как сильный ветер разносил искры, даже целые снопы их, которые перелетали, точно огненные птицы, на соседние крыши. На улицах пламя освещало большие и маленькие толпы людей, которые метались в разные стороны. Крики людей смешивались со звоном колоколов в церкви, скрытой за деревьями, с ревом скота, лаем собак и выстрелами.

Подъехав ближе, солдаты пана Володыевского увидели небольшой отряд рейтар, одетых в круглые шляпы. Некоторые из них дрались с толпою крестьян, вооруженных вилами и цепами, стреляли в них из пистолетов, другие выгоняли скот на дорогу или ловили домашнюю птицу. Несколько человек держали лошадей тех товарищей, которые были заняты грабежом в избах.

Дорога в деревню спускалась несколько вниз и вела через березовый лесок, так что ляуданцы в то время, как никто не мог их видеть, видели как бы картину, изображающую нашествие неприятеля на деревню, освещенную пожаром; в пламени можно было ясно различать иноземных солдат, а местами — крестьян и женщин, защищавшихся беспорядочными толпами. Все это двигалось с криками, бранью, рыданиями и плачем.

Пан Володыевский, подъехав с полком к открытым воротам, велел убавить шаг. Он мог нагрянуть на шведов врасплох и одним взмахом уничтожить неприятеля, не ожидавшего нападения; но ему хотелось «попробовать шведов», помериться с ними силой в открытом бою, и он нарочно ехал медленно, чтобы его успели заметить.

И действительно, несколько рейтар, стоявших поблизости, увидев приближавшееся войско, бросились к офицеру и стали ему что-то говорить, указывая рукой в ту сторону, откуда ехал Володыевский. Офицер прикрыл глаза рукой, посмотрел с минуту, потом сделал знак рукой, и тотчас послышался звук трубы.

Тут наши рыцари могли наглядеться на исправность шведских солдат: чуть раздались первые звуки сигнала, как часть солдат стала выскакивать из домов, другие бросили награбленные вещи и кинулись к лошадям.

В одну минуту отряд был в полном боевом порядке, при виде которого маленький рыцарь пришел в восторг. Все это был народ рослый, одетый в кафтаны с кожаными ремнями через плечо, в однообразные черные шляпы с приподнятыми слева полями; у всех были одинаковые гнедые лошади; они стали плотной стеной с рапирами в руках и спокойно смотрели в сторону дороги.

Наконец из рядов вышел вперед офицер с трубачом и, по-видимому, хотел узнать, что за люди приближаются так медленно.

Он, должно быть, предполагал, что это один из радзивилловских полков, со стороны которого не ожидал нападения, и потому принялся махать шляпой и рапирой; трубач продолжал трубить в знак того, что офицер желает говорить.

— Выстрели кто-нибудь им в ответ, — сказал маленький рыцарь, — они тогда поймут, чего им от нас нужно ждать.

В ту же минуту раздался выстрел, но пуля не долетела — было далеко. Офицер, по-видимому, продолжал еще думать, что это какое-нибудь недоразумение, и стал кричать еще громче и по-прежнему махал шляпой.

— Повтори еще раз! — скомандовал Володыевский.

После второго выстрела офицер повернулся к своим; те приближались к нему рысью.

Первый ряд ляуданцев въезжал уже в ворота.

Шведский офицер что-то прокричал; рапиры, до сих пор торчавшие остриями

вверх, повисли на эфесах, солдаты тотчас вынули пистолеты и, оперев о луку седел, подняли дулами вверх.

— Прекрасные солдаты! — пробормотал Володыевский, видя эту необыкновенную, почти механическую быстроту их движений.

Он оглянулся на своих и, убедившись, что все в порядке, поправился на седле и крикнул:

— Вперед!

Ляуданцы пригнулись к лошадиным шеям и помчались вихрем.

Шведы подпустили их совсем близко, а потом дали залп из пистолетов, но залп этот не причинил большого вреда ляуданцам; лишь несколько человек выпустили из рук уздечки и откинулись назад, остальные были невредимы и грудью столкнулись с неприятелем.

В то время вся литовская кавалерия пользовалась еще копьями, которые в коронных войсках были только у гусар, но Володыевский, рассчитывая на битву в тесноте, велел их оставить по дороге, в ход были пущены сабли.

Первый напор не мог разбить шведов, он лишь оттолкнул их назад. Они отступали, рубя направо и налево рапирами, ляуданцы с ожесточением напирали. Улица стала все больше покрываться трупами. Лязг сабель напугал мужиков — они бросились врассыпную. Жара от пожарища была нестерпимая, так как дома от дороги отделялись лишь садиками.

Шведы, под натиском ляуданцев, отступали медленно и спокойно. Трудно было им, впрочем, рассеяться, так как с обеих сторон их сжимали высокие заборы. Временами они пробовали остановиться, но их усилия были напрасны.

Эта была странная битва. Благодаря узости пространства сражались только первые ряды, а остальные могли лишь подталкивать стоящих впереди. Поэтому-то сражение скоро превратилось в настоящую резню.

Володыевский, поручив старым полковникам надзор за солдатами во время атаки, работал всюду в первом ряду. Каждую минуту какая-нибудь шведская шляпа исчезала в толпе, точно проваливалась сквозь землю; порой выбитая из рук рейтара рапира взлетала над головами всадников, и в ту же минуту раздавался отчаянный стон, и падала шляпа, другая, третья; сам Володыевский все подвигался вперед, его маленькие глазки горели, как две зловещие искры; он не горячился, но махал саблей, как цепом, направо и налево; иногда, когда прямо против него никого не было, он поворачивал лицо и клинок слегка правее или левее и сталкивал рейтара движением почти незаметным, но страшным, молниеносным, нечеловеческим.

Как женщина, когда она рвет коноплю, нагнувшись, скрывается в ней, так и Володыевский то и дело исчезал в толпе рослых солдат, и там, где они падали, как колосья под серпом жнеца, непременно был он. Станислав Скшетуский и угрюмый Юзва Бутрым следовали за ним по пятам.

Наконец задние ряды шведского отряда стали выходить на более просторное место перед церковью, и за ними двинулись и передние. Раздалась команда офицера, и продолговатый прямоугольник стремглав растянулся в длинную прямую линию.

Но Ян Скшетуский, следивший за общим ходом сражения, не последовал примеру шведского капитана, он сплоченной колонной ринулся вперед, и колонна, натолкнувшись на слабую неприятельскую стену, тотчас ее прорвала и так же быстро устремилась к правой стороне церкви, овладев, таким образом, одной половиной шведов; а на другую бросился Мирский и Станкевич с частью ляуданцев и драгун Ковальского.

Закипели две битвы, но продолжались недолго. Левое крыло, на которое нагрянул Скшетуский, не успело выстроиться и рассеялось прежде всего; правое держалось немного дольше, но так как было слишком растянуто, то, несмотря на

отчаянное сопротивление, вскоре последовало примеру первого.

Площадь была широкая, но, к несчастью, окружена со всех сторон высоким забором, а противоположные ворота были заперты.

Рассеянные шведы метались по площади, ляуданцы гнались за ними. Кое-где сражались группами по несколько человек; в других местах сражение было рядом поединков, рапиры скрещивались с саблями, порой раздавался пистолетный выстрел. То тут, то там швед или литвин вылезал из-под упавшей лошади и снова падал под ударом сабли.

Посреди площади бегали обезумевшие лошади без всадников, с раздувающимися от страха ноздрями; некоторые грызлись, иные поворачивались задом к группам сражающихся и били их копытами.

Володыевский косил, точно мимоходом, неприятельских солдат и искал глазами офицера; наконец он увидел его: тот защищался от двух Бутрымов. Пан Михал бросился к нему.

— Прочь! — крикнул он Бутрымам. — Прочь!

Офицер, очевидно, хотел столкнуть противника с лошади рапирой, но Володыевский подставил рукоятку сабли, описал ею полукруг, и рапира выскользнула из рук офицера, он схватился за пистолет, но в эту минуту, раненный в щеку, он выпустил из левой руки уздечку.

— Братъ живым! — крикнул Володыевский.

Ляуданцы подхватили шатающегося офицера, а маленький рыцарь поехал дальше, оставляя за собой ряд трупов.

Шведы наконец поддались шляхте, более опытной в одиночной борьбе. Некоторые хватались за острия рапир и рукоятки поворачивали в сторону неприятеля, другие бросали под ноги оружие; все чаще и чаще слышалось слово «pardon». Но на это не обращали внимания, так как пан Михал отдал приказ пощадить только нескольких; видя это, остальные снова бросались в борьбу и умирали, обливаясь кровью.

Час спустя крестьяне, высыпавшие целой толпой из деревни, стали хватать лошадей, добывать раненых и грабить убитых.

Так кончилась первая встреча литвинов со шведами.

Между тем Заглоба, карауля в березняке пана Роха, лежавшего на возу, должен был выслушивать его упреки в том, что поступил так неблагородно с родственником.

— Вы меня, дядюшка, совсем погубили! Меня ожидает в Кейданах не только пуля в лоб, но и вечный позор. С этих пор если кто захочет обозвать другого дураком, то будет говорить: Рох Ковальский.

— И все, верно, с этим будут согласны, — ответил Заглоба, — доказательства налицо: тебе странно, что я, игравший крымским ханом, как куклой, тебя провел? Неужели ты думаешь, что я позволил бы себя и своих товарищей, первых рыцарей и украшение всей Речи Посполитой, отвезти в Биржи шведам в пасть?

— Да ведь я не по собственной воле вас туда вез.

— Но ты был слугой палача, а это позор для шляхтича, который ты должен смыть, иначе я откажусь от тебя и от всех Ковальских. Быть изменником хуже, чем палачом, быть помощником палача — это уж последнее дело.

— Я служил гетману!

— А гетман — дьяволу. Понимаешь теперь? Ты глуп, а потому откажись раз и навсегда от всяких диспутов и держись за меня; знай, что я уж не одного вывел в люди.

Дальнейший разговор был прерван грохотом выстрелов, потому что в эту минуту начинался бой. Потом выстрелы прекратились, но шум и крики доносились даже до их отдаленного убежища в березняке.

— Видно, что там пан Михал работает, — сказал Заглоба. — Он мал, но ядовит,

как змея. Почистит он этих заморских дьяволов... Я тоже предпочел бы быть с ними, но ради тебя должен сидеть здесь. Вот какова твоя благодарность? Вот поступок, достойный родственника?

— А за что я должен быть вам благодарен?

— За то, что я тебя, изменник, не запряг в плуг вместо быка, хотя ты для этого более всего пригоден, потому что глуп и силен, понимаешь? Однако, там все жарче дерутся. Слышишь? Это, верно, шведы там мычат, как телята на пастбище...

Заглоба замолчал, он уже начинал беспокоиться. Наконец, взглянув проницательно в глаза пану Роху, он спросил:

— Кому ты желаешь победы?

— Конечно, нашим.

— Вот видишь! А почему же не шведам?

— Потому, что сам не прочь с ними драться. Наши — всегда наши!

— Наконец-то совесть заговорила! А как же ты хотел своих братьев отвезти шведам?

— Потому что мне было приказано.

— Но теперь уж такого приказания нету!

— Нету!

— Твой начальник теперь пан Володыевский, а не кто другой.

— Это... как будто и правда.

— Ты должен теперь делать только то, что он прикажет!

— Конечно, должен.

— Он тебе приказывает прежде всего отречься от Радзивилла и служить отчизне.

— Как же это? — спросил Ковальский, почесывая затылок.

— Тебе приказывают! — крикнул Заглоба.

— Слушаюсь! — ответил пан Рох.

— Ну и прекрасно! При первом удобном случае будешь драться со шведами.

— Если приказывают, то это другое дело! — ответил Ковальский и вздохнул свободнее, точно кто-нибудь снял у него тяжесть с груди.

Заглоба был тоже очень доволен, так как у него были свои виды на пана Роха. Оба они стали прислушиваться к отголоскам выстрелов и слушали с час, пока все не утихло...

Заглоба все более и более беспокоился.

— Неужто нашим не повезло?

— Как вы можете говорить подобные вещи? А еще старый военный! Если бы они были разбиты, то оставшиеся в живых прибежали бы к нам.

— Ты прав! Вижу, что и твой ум на что-нибудь годится.

— Слышите топот? Они возвращаются, и притом медленно: должно быть, вырезали шведов!

— Только — наши ли? Поехать, что ли, им навстречу?

Сказав это, Заглоба подвязал саблю, взял в руки пистолет и отправился. Вскоре он увидел двигавшуюся ему навстречу черную массу, и в ту же минуту до него донесся гул голосов.

Впереди ехало несколько человек, оживленно о чем-то разговаривая, и тотчас до слуха Заглобы донесся знакомый ему голос Володыевского, который говорил:

— Хорошие солдаты! Не знаю, какова у них пехота, но конница великолепная!

Заглоба пришпорил лошадь.

— Как поживаете, как поживаете? Я от нетерпения готов был лететь в огонь. Никто не ранен?

— Все, слава богу, здоровы, — ответил пан Михал, — но все-таки мы потеряли двадцать с лишком хороших солдат.

— А шведы?

— Все перебиты!

— Уж ты там погулял, пан Михал! А меня, старика, здесь оставили. Чуть душа у меня вон не вылетела — так мне хотелось попробовать шведского мяса. Я готов их сырыми съесть!

— Можете получить и жареных, несколько человек сгорело.

— Пусть их собаки едят! А пленные есть?

— Есть: ротмистр и семь человек солдат.

— Что ты думаешь с ними делать?

— Я велел бы их повесить, потому что они, как разбойники, напали на беззащитную деревню и сожгли ее, но Скшетуский говорит, что это не годится.

— Послушайте меня, панове! По-моему, их тоже не следует вешать, а отпустить сейчас же в Биржи.

— Зачем?

— Вы знаете меня как солдата, теперь узнайте как дипломата. Мы шведов отпустим, но не скажем, кто мы; что еще лучше — назовемся радзивилловскими сторонниками и скажем, что мы на них напали по приказанию гетмана и не будем пропускать ни одного шведского отряда, если он нам попадется по дороге. Скажем, что гетман, мол, и не думал переходить на сторону шведов. Шведы будут за голову хвататься, а мы этим подорвем гетманский кредит. Если эта мысль не стоит больше вашей победы, то пусть у меня вырастет хвост, как у лошади. Пока все выяснится, они готовы будут подраться. Мы поссорим изменника с врагами, мосци-панове, а от этого выиграет Речь Посполитая.

— В самом деле, ваша мысль достойна победы! — воскликнул Станкевич.

— У вас канцлерский ум! — ответил Мирский. — Это их собьет с толку!

— Так и нужно сделать, — сказал пан Михал. — Завтра я их отпущу, а теперь я не хочу ни о чем знать и думать, ибо страшно устал. Жара там была как в пекарне... Совсем рук не чувствую... Офицер тоже не может сегодня ехать, он ранен в щеку.

— Но как мы это им скажем? — спросил Скшетуский.

— Я уж об этом позаботился, — ответил Заглоба. — Ковальский говорит, что среди его драгун есть двое прусаков. Пусть они им все это скажут по-немецки; должно быть, шведы их поймут, так как сколько лет с ними воевали. Вы знаете что? Ковальский теперь уже наш телом и душой.

— Ну вот и хорошо! — сказал Володыевский. — Прошу вас, займитесь ими, я уже и говорить не могу от усталости. Я объявил своим людям, что мы пробудем в лесу до утра. Есть нам принесут из деревни, а теперь спать. За стражей будет наблюдать мой поручик. Ей-богу, я уж вас почти не вижу: у меня слипаются глаза.

— Мосци-панове, — сказал Заглоба, — здесь недалеко от березняка стог сена, — заберемся туда, а завтра в путь. Сюда мы уж не вернемся, разве что с паном Сапегой!

XIX

На Литве вспыхнула междоусобная война, которая вместе с нашествием двух неприятелей в пределы Речи Посполитой переполнила чашу бедствий.

Регулярные литовские войска были слишком ничтожны численно и поэтому не могли дать настоящего отпора неприятелю; кроме того, они разделились на два лагеря. Одни, особенно иностранные полки, стали на сторону Радзивилла; другие (а таких было большинство) объявили гетмана изменником, протестовали против соединения со Швецией; но и среди них не было ни единения, ни определенного плана действий, ни вождя. Вождем мог быть лишь воевода витебский, но он в то время был занят защитой Быхова и страшной борьбой внутри страны и не мог стать

во главе движения, направленного против Радзивилла.

Между тем неприятели, считая этот край своей собственностью, стали посылать один другому посольства с угрозами и предостережениями. Эти раздоры могли бы, пожалуй, спасти Речь Посполитую, но, прежде чем у них дошло до настоящей войны, на Литве наступил полный хаос. Радзивилл, обманувшись в своих расчетах на войско, решил принудить его силою к послушанию.

Не успел Володыевский после клеванского сражения прийти в Поневеж, как до него дошло известие о том, что гетманом уничтожены полки Мирского и Станкевича. Часть их была силою присоединена к радзивилловским войскам, часть избита, часть разбрелась в разные стороны; остальные скрывались в деревнях и лесах и искали убежища от мести и погони...

Каждый день к Володыевскому приходили беглецы, увеличивая тем самым его силы и привозя разные известия.

Самое важное из них было известие о бунте регулярных войск на Полесье, около Белостока и Тыкоцина. После взятия Вильны московским войском они должны были охранять доступ к Речи Посполитой, но, узнав об измене князя, они образовали конфедерацию во главе с полковниками Горошкевичем и Яковом Кмицицем, двоюродным братом верного гетманского сторонника Андрея.

Имя Андрея все честные солдаты произносили с ужасом. Он разбил полки Мирского и Станкевича, он расстреливал без милосердия своих товарищей. Гетман верил ему слепо и высылал его против полка Невяровского, который не пошел по следам своего полковника и отказал ему в повиновении. Володыевский слушал это последнее сообщение с большим вниманием, затем обратился к своим товарищам:

— Что вы скажете — не пойти ли нам, Панове, вместо Быхова на Полесье к полкам, которые составили конфедерацию.

— Вы предвосхитили мою мысль! — воскликнул Заглоба. — Конечно, лучше всего идти туда, там мы все же будем между своими.

— Беглецы рассказывают также, — сказал Ян Скшетуский, — что король отдал приказ некоторым полкам вернуться из Украины и не дать шведам переправиться через Вислу. Если это верно, то мы в самом деле будем служить со старыми товарищами, вместо того чтобы бродить здесь из угла в угол.

— А кто будет командовать этими полками? Не знаете, панове?

— Говорят, пан коронный обозный, — ответил Володыевский, — но это, впрочем, ни на чем не основанные слухи.

— Что бы ни было, — сказал Заглоба, — я советую вам отправиться на Полесье. Мы присоединим к себе взбунтовавшиеся полки Радзивилла и пойдем вместе на помощь королю, а это, наверно, не останется без награды.

— Пусть и будет так! — ответили Оскерко и Станкевич.

— Но на Полесье не так легко попасть, — заметил маленький рыцарь, — ведь надо будет пробираться перед самым носом гетмана. Однако попробуем. Если бы Бог дал встретиться с Кмицицем, я бы сказал ему на ухо пару слов, от которых он позеленеет.

— Он этого и стоит! — сказал Мирский. — Не странно, что старые солдаты, прослужившие с Радзивиллом всю жизнь, остаются на его стороне, но ведь этот головорез служит ради собственной выгоды и ради того наслаждения, которое он находит в измене.

— Значит, на Полесье? — спросил Оскерко.

— На Полесье! На Полесье! — закричали все хором.

Но этот план было нелегко привести в исполнение, как и говорил Володыевский: нужно было проходить мимо Кейдан, то есть мимо самого львиного логова.

Все дороги, местечки и деревни были в руках Радзивилла; в некотором расстоянии от Кейдан стоял Кмициц с драгунами, пехотой и артиллерией. Гетман уже

знал о побеге пленных, о бунте в полку Володыевского, о клеванском сражении, и известие о последнем привело его в такую ярость, что опасались за его жизнь — он чуть не задохся от страшного припадка астмы.

И ему было от чего выходить из себя, даже отчаиваться: это сражение навлекло на его голову целую бурю. Прежде всего, вслед за этим сражением начались, одно за другим, разгромы небольших шведских отрядов. Это делали крестьяне и шляхта на свой риск, но шведы во всем винили только одного Радзивилла, тем более что офицер и солдаты, отосланные Володыевским в Биржи, заявили, что их разбили гетманские войска, по его же приказанию.

Неделю спустя к князю пришло письмо от биржанского коменданта, а через десять дней от главнокомандующего шведскими войсками, самого Понтуса де ла Гарди.

«Или вы, ваше сиятельство, не имеете никакого значения, — писал последний, — а в таком случае, не имели права заключать договор от имени всего края, или вы хотите умышленно погубить войска его величества, короля шведского. Если это так, то милость моего государя к вашему сиятельству сменится заслуженным гневом, вслед за коим немедленно последует наказание, если вы не выкажете своего раскаяния и верной службою не искупите своей вины...»

Радзивилл сейчас же послал гонцов с объяснением, но письмо это как стрела вонзилось в его самолюбие. Он, чье одно слово приводило в страх и трепет всю страну; он, за половину состояния которого можно было купить всех шведских вельмож; он, считавший себя равным монархам, победами своими прославившийся на весь мир, должен был теперь выслушивать угрозы какого-то шведского генерала, должен был выслушивать уроки покорности и верности. Правда, этот генерал был зятем короля; но кто же был король, присваивающий себе корону Яна Казимира, принадлежащую ему по праву и крови?

Но гнев его прежде всего обрушился на тех, кто были главными виновниками его унижения, и он поклялся, что не пощадит на этот раз Володыевского, ни его товарищей, ни весь ляуданский полк. С этой целью он выступил против них и, подобно охотникам, окружающим волков во время облавы, окружил их и гнал без отдыха.

Но вот до него дошла весть, что Кмициц разбил полк Невяровского, часть солдат разогнал или перерезал, остальных присоединил к своему полку; поэтому князь велел ему тотчас прислать один отряд драгун на помощь.

«Люди, жизнь коих ты так отстаивал, — писал он, — паче же всего Володыевский и тот старый бродяга, бежали по дороге в Биржи. Мы нарочно отправили с ними самого глупого офицера, которого они не могли бы уговорить перейти на их сторону, но он или изменил, или попался впросак; у Володыевского в руках теперь весь ляуданский полк и беглые солдаты из полков Мирского и Станкевича. Под Клеванами они вырезали шведский отряд в сто двадцать человек и пустили слух, что сделали это по нашему приказанию, и это привело к великим между нами и Понтусом недоразумениям. Эти предатели могут испортить все дело, и если б не твои просьбы, мы бы велели им срубить головы. Но надеюсь, что скоро их постигнет возмездие. До нас также дошли слухи, что в Биллевичах у мечника россиенского собирается шляхта и сговаривается идти против нас; нужно это предупредить. Драгун всех отправишь ко мне, а пехоту отошлешь в Кейданы караулить замок и город. Сам же возьми несколько десятков людей и отвези в Кейданы мечника вместе с его родственницей. Теперь это важно не только для тебя, но и для меня. Имея их в руках, мы будем иметь в руках всю шляхту, которая начинает восставать против нас во главе с Володыевским. Герасимовича мы выслали с инструкциями касательно конфедератов в Заблудов. Твой двоюродный брат Яков имеет на них большое влияние; напиши ему, если полагаешь, что письмом

ты сможешь его убедить. Выражая тебе благоволение наше, поручаем тебя Божьей милости».

Кмициц, прочитав письмо, был рад в душе, что полковникам удалось вырваться из рук шведов, и втайне желал им так же благополучно вырваться из радзивилловских рук; но все же он исполнил все приказания князя, отправил драгун, отослал пехоту в Кейданы и, кроме того, начал насыпать шанцы вокруг замка, решив в душе по окончании работ ехать в Биллевици к мечнику.

«К насилию я прибегать не стану, разве в крайнем случае, — думал он. — Во всяком случае, не буду принуждать Оленю. Впрочем, это не моя воля, а княжеский приказ. Знаю, что она не любезно меня примет, но, Бог даст, со временем она узнает мои побуждения, убедится, что я служу отчизне, спасаю ее, а не Радзивилла!»

С такими думами он усердно работал над укреплением будущей резиденции своей дорогой Оленю.

Между тем пан Володыевский уходил от гетмана, а гетман гнался за ним по пятам. Все же пану Михалу приходилось туго, ибо к югу от Бирж были отправлены большие отряды шведских войск, восточная часть страны была занята русскими, а по дороге в Кейданы его поджидал Радзивилл.

Заглоба был очень недоволен таким положением вещей и то и дело приставал к Володыевскому с вопросами:

— Скажи, пан Михал, ради бога, пробьемся мы или нет?

— Тут нечего и думать о том, чтобы пробиться, — отвечал маленький рыцарь. — Вы хорошо знаете, что я не трус и не испугаюсь даже самого черта. Но с гетманом я не справлюсь — не мне с ним равняться! Сами вы сказали, что мы окуни, а он щука. Я сделаю все, что могу, лишь бы как-нибудь улизнуть, но если дойдет до сражения, то заранее предупреждаю, что мы будем перебиты.

— А потом он велит нас расстрелять и отдать на съедение собакам? Уж лучше попасться в чьи угодно руки, только не в радзивилловские... А не вернуться ли нам к Сапеге?

— Теперь уж поздно, мы окружены со всех сторон шведскими и гетманскими войсками.

— Черт меня дернул посоветовать Скшетуским идти к Радзивиллу! — ворчал Заглоба.

Но пан Михал еще не терял надежды, тем более что шляхта и крестьяне предупреждали его обо всех действиях гетмана, ибо все уже отвернулись от Радзивилла. Изворачивался пан Михал, как умел, а умел он это делать превосходно, ибо чуть ли не с детства привык к войнам с татарами и казаками. Еще когда он служил в войске князя Еремии, он прославился своими проделками под самым носом у неприятеля: неожиданными нападениями, молниеносными поворотами, в которых он не имел соперников.

Теперь, запертый между Упитой и Роговом, с одной стороны, и Невяжью — с другой, он вертелся на пространстве нескольких миль, избегая битв, утомляя радзивилловские отряды и даже пощипывая их понемногу. Так волк, преследуемый гончими, когда собаки подойдут к нему слишком близко, сверкает своими белыми клыками.

Но когда подросли драгуны Кмицица, князь забил ими самые тесные проходы, а сам поехал присмотреть, чтобы концы сети, опутавшей Володыевского, сошлись. Это было под Невяжью.

Полки Мелешки и Гангофа и два полка драгун под командой князя образовали точно лук, тетивой которого была река. Пан Володыевский со своим полком находился в середине.

Он мог только переправиться через болотистую реку, но на другом берегу стояли два полка шотландской пехоты, двести радзивилловских казаков и шесть

полевых орудий, направленных так, что даже одному человеку невозможно бы было переправиться под их огнем на другую сторону.

Лук стал суживаться. Центр его вел сам гетман.

К счастью для пана Володыевского, ночь и буря с проливным дождем приостановили наступление, но зато у осажденных оставалось в распоряжении не более двух квадратных верст луга, поросшего ветлой, между полукругом радзивилловских войск и рекой, которую караулили с другого берега шотландцы.

На следующий день, едва ранний рассвет залил беловатой мутью ветлы, полки двинулись вперед, дошли до реки и остановились в немом изумлении.

Пан Володыевский сквозь землю провалился — в чаще кустарника не было ни души.

Онемел от изумления и гетман, и настоящие громы разразились над головами офицеров, карауливших переправу. И снова с князем случился такой сильный приступ астмы, что присутствующие опасались за его жизнь. Но гнев превозмог даже астму. Двух офицеров, которым поручен был надзор за переправой, приказано было расстрелять, но Гангоф упросил все-таки князя узнать прежде, каким образом зверь выбрался из западни.

Оказалось, что Володыевский, пользуясь темнотой и дождем, переправил весь полк через реку и проскользнул около правого крыла радзивилловских войск. Несколько завязших в болоте лошадей указывали место, где он переправился на правый берег.

По дальнейшим следам легко можно было догадаться, что он полным маршем направился в сторону Кейдан. Гетман тотчас же понял, что он хотел пробраться к Гороткевичу и Якову Кмицицу на Полесье.

Но, проходя мимо Кейдан, не подожжет ли он город и не ограбит ли замок?

Сердце князя сжалось от страшного беспокойства. Большая часть наличных его денег и драгоценностей хранилась в Кейданах. Кмициц, правда, должен был отправить пехоту для их защиты, но если он этого еще не сделал, то неукрепленный замок легко мог стать добычей дерзкого полковника. Радзивилл не сомневался, что у Володыевского хватит храбрости поднять руку даже на его резиденцию. Для этого у него и времени было достаточно, ибо, ускользнув в начале ночи, он оставил погоню, по крайней мере, в шести часах расстояния за собою.

Во всяком случае, приходилось спешить на спасение Кейдан. Князь оставил пехоту и отправился со всей конницей.

Прибыв в Кейданы, он не застал Кмицица, но все нашел в порядке, и мнение, составленное им об исполнительности молодого полковника, еще более укрепилось в нем при виде заново возведенных укреплений, на которых были расставлены полевые орудия. В тот же день он осматривал их вместе с Гангофом, а вечером сказал ему:

— Он сделал это по собственному соображению, без моего приказанья, и сделал так хорошо, что можно будет защищаться даже против артиллерии. Если этот человек не свернет себе шеи, то он может пойти далеко.

Был еще и другой человек, при воспоминании о котором князь не мог устоять против некоторого рода изумления, смешанного с бешенством, человек этот был пан Михал Володыевский.

— Я бы скоро справился с бунтом, — сказал он Гангофу, — будь у меня два таких слуги... Кмициц, может быть, показистее, но у него недостает опытности, а тот воспитывался в школе князя Еремии, за Днестром.

— Вы не прикажете его преследовать, ваше сиятельство? — спросил Гангоф.

— Тебя он разобьет, а от меня удерет!

Помолчав с минуту, он нахмурил брови и продолжал:

— Теперь здесь все спокойно, но нам вскоре нужно будет отправиться на

Полесье, чтобы покончить с теми.

— Ваше сиятельство, — ответил Гангоф, — если мы отсюда уйдем, все сейчас же возьмется за оружие против шведов.

— Кто это все?

— Шляхта и крестьяне. Кроме того, они не удовлетворятся шведами, а обратят оружие и против диссидентов, ибо они приписывают эту войну людям, исповедующим нашу религию; мы, мол, перешли на сторону неприятеля и даже привели его сюда.

— Меня больше всего беспокоит брат Богуслав. Справится ли он там с конфедератами?

— Надо и Литву удержать в повиновении нам и шведскому королю. Князь начал ходить по комнате и продолжал:

— Если бы как-нибудь удалось забрать в руки Гороткевича и Якова Кмицица. Они там сделают наезд на мои имения, разграбят, уничтожат все, камня на камне не оставят.

— Вот если бы войти в соглашение с генералом де ла Гарди, чтобы он на то время, пока мы будем на Полесье, прислал сюда побольше войск.

— С ним? Никогда! — ответил Радзивилл; кровь ударила ему в голову. — Если уж просить, то только самого короля. Мне нет нужды переговариваться со слугами, раз я могу говорить с самим господином. Если бы король приказал Понтию прислать мне на помощь тысячи две драгун, тогда другое дело. Нужно будет кого-нибудь послать к королю, пора начать с ним переговоры.

Гангоф слегка покраснел, и глаза его загорелись от страстного желания:

— Если бы вы, ваше сиятельство, мне приказали!..

— Ты бы поехал, знаю; но доехал ли бы ты, это другой вопрос. Ты немец, а иностранцу опасно заходить в глубь взволнованной страны. Кто знает, где теперь король и где он будет недели через две или через месяц? Придется рыскать по всей стране. А главное... это невозможно... Ты не поедешь, туда надо послать своего человека, с влиянием, чтобы его величество король, мог убедиться, что еще не вся шляхта меня покинула.

— Неопытный человек может сильно повредить, — несмело возразил Гангоф.

— Послу придется только отдать королю мои письма и привезти ответ. А сказать, что я не велел бить шведов под Клеванами, сумеет всякий.

Гангоф молчал.

Князь снова начал ходить беспокойными шагами по комнате, и лицо его выражало страшную борьбу мыслей. И действительно, со времени заключения договора со шведами он не знал ни минуты покоя. Его пожирало тщеславие, мучила совесть, терзало сопротивление войска, пугала неверность будущего и угроза разорения. Он терзался, метался, проводил бессонные ночи — и здоровье его ухудшалось, Глаза ввалились, лицо, прежде румяное, стало каким-то синим, чуть не с каждым часом увеличивалось количество седых волос на голове и в усах. Словом, он жил в муках и гнулся под непосильным бременем.

Гангоф следил за ним глазами; он не терял еще надежды, что князь раздумает и пошлет именно его. Но князь остановился, крикнул и ударил себя ладонью по лбу:

— Два полка драгун на коней сию минуту! Я сам их поведу!

Гангоф посмотрел на него с удивлением.

— Экспедиция? — невольно вырвалось у него.

— Отправляйся! — сказал князь. — Дай Бог, чтобы не было слишком поздно!

XX

Кмициц, окончив возведение укреплений в Кейданах и укрепив их на случай

внезапного нападения, не мог дольше откладывать свою поездку в Биллевичи за паном мечником россиенским и Оле нькой, тем более что в приказе князя говорилось о том, чтобы привезти их в Кейданы. Но пану Андрею было как-то не по себе, и, лишь только он отправился во главе пятидесяти драгун, им овладело такое беспокойство, точно он ехал на верную смерть. Он чувствовал, что там его встретят более чем недружелюбно, и дрожал при мысли, что шляхтич, может быть, будет сопротивляться, и ему придется прибегнуть к вооруженной силе.

Но он решил прежде уговаривать его и просить. С этой целью, чтобы его приезд никак не мог походить на вооруженное нападение, он приказал своим драгунам остаться в корчме, находившейся в полуверсте от деревни, а сам отправился только с вахмистром и слугой в дом, приказав заранее приготовленной коляске приехать немного погодя.

Полдень уже миновал, и солнце клонилось к западу, но после дождливой и бурной ночи день был ясный, небо чисто и только кое-где на западе пестрели розовые облака, которые медленно уходили за горизонт, точно стада овец, возвращающиеся с поля. Кмициц ехал по деревне с таким тревожным чувством, как татарин, который, въезжая первым во главе чамбула в деревню, оглядывается по сторонам, нет ли где вооруженных людей, укрывшихся в засаде. Но три всадника не обратили на себя ничьего внимания; только крестьянские дети, завидев лошадей, удирали босиком с дороги; а крестьяне, видя красавца офицера, снимали шапки и кланялись ему в землю. Он ехал вперед и, миновав деревню, увидел перед собой усадьбу, старое гнездо Биллевичей, а за нею громадные сады до самых лугов.

Кмициц еще убавил шаг и начал разговаривать сам с собою; он, по-видимому, заранее обдумывал ответы на вопросы и в то же время задумчиво посматривал на возвышающиеся перед ним постройки. Это не была резиденция магната, но с первого взгляда можно было угадать, что здесь живет шляхтич более чем среднего достатка. Самый дом, обращенный фасадом к большой дороге, был громадный, но деревянный. Сосновые бревна стен почернели от старости, так что стекла окон, в сравнении с ними, казались белыми. Над срубами стен возвышалась огромная крыша с четырьмя трубами посередине и двумя голубятнями по краям. Целые тучи белых голубей носились над крышей, то шумно срываясь вверх, то опускаясь на крышу подобно снежным хлопьям, то кружась вокруг столбов, поддерживавших крыльцо.

Крыльцо это, украшенное щитом, на котором были изображены гербы Биллевичей, нарушало общую гармонию, так как стояло не посередине, а сбоку. По-видимому, дом когда-то был меньше и впоследствии его с одной стороны увеличили. Но и пристройка уже почернела и ничем не отличалась от старого здания. По обеим сторонам главного дома возвышались два флигеля, соединявшиеся с домом по бокам и образовывавшие точно два крыла.

В них помещались комнаты для гостей, во время больших съездов, кухни, кладовые, каретные сараи, конюшни для выездных лошадей, помещения для приказчиков, экономов, дворни и казаков.

Посредине огромного двора росли старые липы с гнездами аистов; ниже, среди деревьев, сидел ручной медведь. Два колодца с журавлями по краям двора и крест с распятием у въезда дополняли картину этой резиденции зажиточного шляхетского рода. С правой стороны дома, среди густых лип, поднимались соломенные крыши скотного двора, овчарня, амбары и риги.

Кмициц въехал в открытые настежь ворота. Легавые собаки, бродившие по двору, дали сейчас же знать о прибытии чужого, и из флигеля выбежало двое слуг, чтобы подержать лошадь.

В это время на крыльце главного дома показалась какая-то женская фигура, в которой Кмициц сейчас же узнал Оле ньку. Сердце его забилось сильнее, и, бросив

поводья слуге, он пошел к крыльцу с обнаженной головой, держа в одной руке саблю, в другой шапку.

А она, постояв с минуту, как чудное видение, прикрыв рукой глаза от солнца, вдруг исчезла, точно испугавшись приближающегося гостя.

«Плохо, — подумал Кмициц, — прячется от меня».

Ему стало тяжело, тем более что несколько минут тому назад погожий закат солнца, вид усадьбы и спокойствие, разлитое вокруг, наполнили его сердце бодростью, хотя пан Андрей, может быть, сам не отдавал себе в этом отчета.

Ему как будто казалось, что он едет к своей невесте, которая встретит его с блестящими от радости глазами и с румянцем на щеках.

И самообман этот вдруг рассеялся. Лишь только она увидела его, как исчезла, точно заведя злого духа, и вместо нее на крыльце появился мечник с тревожным и хмурым лицом.

Кмициц поклонился ему и сказал:

— Я давно собирался засвидетельствовать вам свое почтение, но раньше в столь тревожные времена не мог, хотя недостатка в искреннем желании у меня не было.

— Спасибо, ваша милость; прошу в комнаты! — ответил мечник, поглаживая свой чуб, что он делал всегда, когда был смущен или не уверен в себе.

И он отошел от дверей в сторону, чтобы пустить гостя вперед.

Кмициц не хотел войти первым, и потому они кланялись друг другу у порога; наконец пан Андрей сделал шаг вперед, и через минуту оба очутились в комнате.

Там они застали двух шляхтичей: один из них, в цвете сил, был Довгирд из Племборга, ближайший сосед Биллевичей; другой — пан Худзынский, арендатор из Эйраголы. Кмициц заметил, что, как только они услышали его имя, лица у них изменились, и они ощерились, как охотничьи собаки при виде волка; он взглянул на них вызывающе и потом решил делать вид, что их не замечает.

Наступило неловкое молчание.

Пан Андрей начинал терять терпение и кусал свои усы; гости посматривали на него исподлобья, а пан мечник поглаживал свой чуб.

— Не выпьете ли с нами, ваша милость, скромного шляхетского меду? — спросил, наконец мечник, указывая на стоящие на столе ковш и чарки.

— С вами, мосци-пане, выпью с удовольствием! — ответил довольно резко Кмициц.

Пан Довгирд и Худзынский засопели, приняв такой ответ за пренебрежение к своей особе, но не хотели поднимать ссоры в доме своего друга, особенно с этим буйном, пользующимся страшной славой на всей Жмуди. Но их выводило из себя это пренебрежение.

Между тем пан мечник хлопнул в ладоши и приказал слуге принести четвертую чарку и, наполнив ее, поднес к своим губам, а затем сказал:

— Здоровье вашей милости... Очень рад видеть вас у себя в доме.

— Я был бы очень рад, если б так и было.

— Гость — всегда гость, — ответил сентенциозно мечник.

Затем, почувствовав обязанность хозяина поддерживать разговор, он спросил:

— А что слышно в Кейданах? Как здоровье пана гетмана?

— Неважно, пане мечник, — ответил Кмициц, — да в настоящее беспокойное время и не может быть иначе. Масса забот и неприятностей у князя.

— Охотно верим! — ответил Худзынский.

Кмициц посмотрел на него с минуту, потом обратился снова к мечнику и продолжал:

— Князь, заручившись обещанием его величества шведского короля прислать подкрепление, немедля отправится на Вильну, чтобы отомстить за ее сожжение.

Вашим милостям, должно быть, ведомо, что теперь Вильну в Вильне надо искать, она семнадцать дней горела. Говорят, что среди развалин там чернеют лишь ямы погребов, которые до сих пор еще дымятся.

— Несчастье! — сказал мечник.

— Поистине несчастье, за которое следует отомстить, превратив неприятельскую столицу в такие же развалины. И это было бы уже сделано, если бы не смутьяны, которые, заподозрив намерения лучшего из людей, объявили его изменником и оказывают ему вооруженное сопротивление, вместо того чтобы соединенными силами идти на врагов. И не диво, что здоровье гетмана начинает ему изменять, когда он, которого Бог создал для великих дел, видит, что людская злоба готовит ему каждый день новые козни, из-за которых может погибнуть все предприятие. Лучшие друзья обманули князя и перешли на сторону его врагов.

— Так и случилось! — серьезно ответил мечник.

— И его это страшно огорчает, — ответил Кмициц. — Я сам слышал, как он говорил: «Знаю, что и самые достойные люди меня осуждают, но почему же они не приедут в Кейданы, почему они мне в глаза не скажут, что имеют против меня, почему не хотят выслушать моих оправданий?»

— Кого же князь имеет в виду? — спросил пан мечник.

— Прежде всего вашу милость, ибо, питая к вам истинное уважение, он подозревает, что вы принадлежите к числу его врагов.

Пан мечник стал быстро гладить чуб, видя, что разговор принимает нежелательный оборот, и хлопнул в ладоши. В дверях появился слуга.

— Разве ты не видишь, что темнеет? Свечей! — крикнул пан мечник.

— Бог видит, — продолжал Кмициц, — что у меня самого было искреннее желание выразить вам свое почтение, но в настоящую минуту я прибыл, вместе с тем, и по приказанию князя, который и сам бы выбрался в Биллевици, будь время другое.

— Велика честь! — ответил мечник.

— Этого вы не говорите, ваша милость, дело обычное, что сосед навестит соседа, но у князя нет минуты свободной, и он сказал мне так: «Извинись за меня перед паном Биллевицем, что я сам к нему ехать не могу, но пусть он ко мне приедет вместе со своей родственницей и непременно сейчас, потому что я не знаю, где буду завтра или послезавтра». Вот ваша милость видите, я приехал с приглашением и рад, что вижу вас обоих в добром здоровье. Когда я подъезжал сюда, я видел панну Александру в дверях, но она исчезла, как туман на лугу.

— Это я ее послал посмотреть, кто приехал, — сказал мечник.

— Жду ответа, мосци-пане, — сказал Кмициц.

В эту минуту слуга внес свечи и поставил их на стол. При их свете можно было разглядеть на лице мечника крайнее смущение.

— Честь для меня не малая, — сказал он, — но сейчас не могу, у меня гости... Извинитесь за меня перед князем...

— Ну это не помеха, пане мечник, я думаю, их милости князю уступят.

— У нас у самих есть языки, и мы можем за себя ответить, — сказал пан Худзынский.

— Не дожидаясь, чтобы другой решал за нас! — прибавил пан Довгирд из Племборга.

— Вот видите, мосци-пане мечник, — ответил Кмициц, делая вид, что не понял ворчания шляхты, — я знал, что эти паны — люди учтивые. Впрочем, чтобы их не обидеть, прошу от имени князя и их в Кейданы.

— Велика честь! — ответили оба. — У нас есть другие дела.

Кмициц взглянул на них пристально, а потом сказал, как будто обращаясь к кому-то четвертому:

— Когда князь просит, отказывать нельзя.

Шляхтичи при этих словах поднялись с кресел.

— Так это насилие? — сказал пан мечник.

— Пане мечник, благодетель мой! — воскликнул горячо Кмициц. — Их милости поедут, потому что мне так нравится, но в отношении к вам я не хочу прибегать к насилию, а только прошу исполнить желание князя. Я у него на службе и имею приказание привезти вас к нему; но пока не потеряю надежды, что добьюсь чего-нибудь просьбой, до тех пор я не перестану просить. Клянусь, что ни один волос не спадет с вашей головы. Князь просит вас, чтобы в это беспокойное время, когда даже мужики собираются в вооруженные шайки, вы жили в Кейданах. Вот и все. Вас встретят там с должным почтением, как гостя и друга, даю вам в этом рыцарское слово.

— Как шляхтич, я протестую, — сказал пан мечник, — и на моей стороне закон!

— И сабли! — крикнули Худзынский и Довгирд.

Кмициц рассмеялся и сказал:

— Спрячьте, мосци-панове, ваши сабли, не то велю поставить вас у сарая — и пулю в лоб.

Услышав это, оба трусили и стали со страхом посматривать друг на друга, а мечник воскликнул:

— Это бессовестное посягательство на шляхетскую свободу и привилегии.

— Не будет посягательства, если вы добровольно меня послушаетесь, — ответил Кмициц. — Лучшее доказательство — то, что я оставил драгун в деревне. Я приехал просить вас как соседа. Не отказывайтесь, прошу вас, — теперь времена такие, что трудно принять во внимание отказ. Сам князь за это извинится перед вами, и будьте уверены, что вас примут как соседа и друга... Поймите и то, если бы могло быть иначе, то я предпочел бы пулю в лоб, чем ехать сюда за вами. Волос не спадет с головы Биллевича, пока я жив. Подумайте, кто я, вспомните пана Гераклия, его завещание и рассудите: разве гетман выбрал бы меня ехать за вами, будь у него в отношении вас какие-нибудь дурные намерения?

— Но зачем же он насилует меня?.. Как могу я ему доверять, раз вся Литва только и говорит что о притеснениях лучших граждан в Кейданах.

Кмициц вздохнул с облегчением: по тону и словам мечника он понял, что тот начинает колебаться.

— Благодетель мой! — сказал он почти весело. — Между соседями насилие часто бывает началом дружеских чувств. Ну а когда вы приказываете снять колеса с кареты милого гостя, разве это не насилие? А тут знайте, что если бы мне даже пришлось связать вас и везти в Кейданы с драгунами, то для вашего же блага. Подумайте только: повсюду бродят толпы взбунтовавшихся солдат и бесчинствуют, приближаются шведские войска, а вы думаете, что вам удастся уцелеть здесь, что не могут прийти одни или другие, ограбить вас, сжечь, разорить и покуситься на вашу жизнь? Разве Биллевичи — крепость? Разве вы можете здесь быть вне опасности. Только в Кейданах вам ничто не угрожает; а здесь будет стоять княжеский отряд, который будет охранять ваше имущество как зеницу ока, и если у вас пропадут хотя бы вилы, то вы можете конфисковать все мои имения. Мечник начал ходить по комнате.

— Могу ли я верить вашей милости?

— Как самому себе! — ответил Кмициц.

В эту минуту в комнату вошла панна Александра. Кмициц подошел к ней порывисто, но вдруг он вспомнил, что произошло в Кейданах, и ее холодное лицо приковало его к месту. Он лишь молча поклонился.

Мечник остановился перед нею.

— Мы должны ехать в Кейданы! — сказал он.

— Это еще зачем? — спросила она.

— Князь-гетман просит.

— Очень любезно... как сосед... — прибавил Кмициц.

— Так любезно, что если мы не поедem, — с горечью ответил мечник, — то этому кавалеру приказано окружить нас драгунами и отвезти силой.

— Не дай же господи, чтобы до этого дошло! — сказал Кмициц.

— Разве я вам не говорила, дядя, — сказала панна Александра, — что надо бежать как можно дальше, ибо нас тут не оставят в покое... Вот оно и вышло!..

— Что делать? Что делать? От насилия нету лекарства! — воскликнул мечник.

— Да, — сказала панна, — но мы не должны по доброй воле ехать в этот опозоренный дом! Пусть же разбойники берут нас силой и везут! Не одних нас будут преследовать, не на одних нас обрушится месть изменников; но пусть они знают, что мы предпочитаем смерть позору!

Тут она с выражением глубочайшего презрения обратилась к Кмицицу:

— Свяжите нас, пан офицер или пан палач, и велите привязать к лошадям, иначе мы не поедem!

Кровь бросилась в голову Кмицицу; минуту казалось, что он разразится страшным гневом, но он поборол себя:

— Ах, мосци-панна! — сказал он сдавленным от волнения голосом. — Я в опале у вас, коли вы хотите сделать из меня изменника и насильника! Пусть Господь рассудит, кто из нас прав: я ли, служа гетману, или вы, помыкая мной, как собакой. Бог дал вам красоту, но дал и жестокое, неумолимое сердце! Вы сами готовы страдать, только бы доставить другому еще большие муки! Но вы переходите границы, — клянусь Богом! — переходите границы! И это ни к чему не приведет!

— Она дело говорит! — воскликнул мечник, у которого вдруг прибавилось храбрости. — Мы не поедem добровольно! Везите нас с драгунами!

Но Кмициц был так взволнован, что не обратил на его слова никакого внимания.

— Вам доставляют наслаждение чужие страдания, — продолжал он, — вы называли меня изменником без всякого суда, не позволив мне сказать ни слова в свое оправдание. Пусть будет так... Но в Кейданы вы поедете, неволей иль волей, все равно. Там обнаружатся все мои стремления, там вы узнаете, справедливо ли меня оскорбили; там совесть вам подскажет, кто из нас для кого был палачом. Другой мести мне не надо... Я ничего больше не хочу! Вы гнули лук, пока его не сломали... Под вашей красотой, как под цветком, скрывается змея. Но бог с вами! Бог с вами!

— Мы не поедem! — повторил еще решительнее мечник.

— Не поедem! — крикнули паны Худзынский из Эйраголы и Довгирд из Племборга.

Тогда Кмициц, бледный, со стучащими от гнева зубами, крикнул им:

— Ну! Попробуйте еще раз сказать, что не поедете! Слышите топот? Мои драгуны едут. Скажите кто-нибудь, что не поедете.

Действительно, за окном раздался топот лошадиных копыт. Все увидели, что спасения нет. Кмициц сказал:

— Панна! Через несколько минут вы должны быть уже в коляске, иначе дядюшке достанется пуля в лоб.

Им, очевидно, все больше овладевал приступ бешеного гнева, он крикнул так, что стекла задрожали:

— В дорогу!

Но в это время дверь в сени тихо отворилась, и чей-то незнакомый голос спросил:

— А куда это, мосци-кавалер?

Все окаменели от удивления и посмотрели на дверь, в которой стоял какой-то маленький человек в панцире и с обнаженной саблей в руках. Кмициц отшатнулся, точно увидел привидение.

— Пан... Володыевский! — вскрикнул Кмициц.

— К вашим услугам! — ответил маленький человек.

И он вошел в комнату; за ним вошли толпой Мирский, Заглоба, двое Скшетуских, Станкевич, Оскерко и Рох Ковальский.

— А, — крикнул Заглоба, — поймал казак татарина! А мечник обратился к вошедшим:

— Кто бы вы ни были, рыцари, спасите гражданина, коего, вопреки праву, происхождению и сану, хотят арестовать. Спасите, мосци-панове братья, шляхетскую свободу!

— Не бойтесь, ваць-пане! — ответил Володыевский. — Драгуны этого кавалера уже связаны, и теперь он больше нуждается в помощи, чем вы!

— А еще больше в священнике! — прибавил Заглоба.

— Не везет вам, пан кавалер! Второй раз сводит нас судьба, и я опять у вас на дороге! — сказал Володыевский, обращаясь к Кмицицу. — Вы, верно, не ждали меня?

— Не ждал! — ответил Кмициц. — Я думал, что вы в руках князя.

— Бог дал мне вырваться из его рук, а вам ведомо, что здесь идет дорога на Полесье. Но не в том дело! Когда вы первый раз хотели похитить эту панну, я вызвал вас на поединок... Не правда ли?

— Да, — ответил Кмициц, невольно прикасаясь к голове.

— Теперь дело другое! Тогда вы были забиякой, что часто встречается среди шляхты, и ничего в этом позорного нет; теперь же вы недостойны того, чтобы драться с честным человеком.

— Почему? — спросил Кмициц, гордо подняв голову и глядя прямо в глаза Володыевскому.

— Ибо вы ренегат и изменник! — ответил Володыевский. — Ибо вы честных солдат, защищающих отчизну, резали, как палач, ибо благодаря вам наша несчастная страна стонет под новым бременем... Короче говоря, выбирайте смерть, пришел ваш последний час!

— По какому же это праву вы хотите меня судить и казнить? — спросил Кмициц.

— Мосци-пане, — ответил Заглоба, — лучше молитесь, чем спрашивать нас о праве. Если вы можете сказать что-нибудь в свое оправдание, то говорите скорее: здесь не найдется ни одной души, которая бы за вас заступилась. Я слышал, что один раз эта панна добилась вашего освобождения из рук Володыевского, но после того, что вы сделали теперь, и она, верно, откажется просить за вас.

Глаза всех присутствующих невольно обратились на молодую девушку, стоявшую неподвижно, точно в окаменении. Глаза ее были опущены, лицо мертвенно и холодно; но она даже шагу вперед не сделала и не сказала ни слова.

Тишину нарушил голос Кмицица:

— Я не прошу у этой панны заступничества.

Панна Александра молчала.

— Эй, сюда! — крикнул Володыевский, подойдя к дверям.

Послышались тяжелые шаги, которым завторил звон шпор, и в комнату вошло шесть солдат во главе с Юзвой Бутрымом.

— Берите его, — скомандовал Володыевский, — уведите за деревню и пулю в лоб!

Тяжелая рука Бутрыма легла на плечо Кмицица; схватили его и остальные солдаты.

— Не позволяйте им тормозить меня, как собаку! — сказал он Володыевскому. — Я и сам пойду!

Маленький рыцарь дал знак солдатам, и они отпустили его, но окружили со всех сторон; а он шел спокойно, никому не говоря ни слова и шепча про себя молитву.

Панна Александра тоже вышла в противоположную дверь. Она прошла одну

комнату, другую, вытягивая в темноте руки; наконец голова у нее закружилась, что-то сдавило ей грудь, и она упала без чувств.

А среди оставшихся в первой комнате некоторое время царило молчание, наконец мечник спросил:

— Неужели нет для него пощады?

— Жаль мне его, — ответил Заглоба, — он так храбро шел на смерть.

— Он расстрелял несколько человек из моего полка, не считая тех, которых перебил во время битвы, — сказал Мирский.

— И из моего тоже, — прибавил Станкевич. — А людей Невяровского он, говорят, перерезал всех до одного!

— Должно быть, ему Радзивилл приказал, — сказал Заглоба.

— Мосци-панове, — заметил мечник, — вы этим накличете на мою голову месть гетмана!

— Вы должны бежать! Мы едем на Полесье, к восставшим полкам, собирайтесь и вы с нами. Иначе сделать нельзя! Можете скрыться в Беловеже у родственника пана Скшетуского. Там вас никто не найдет.

— Но они разорят мое имение!

— Речь Посполитая вас вознаградит.

— Пан Михал, — сказал вдруг Заглоба, — я побегу сейчас посмотреть, нет ли при этом несчастном каких-нибудь гетманских писем? Помните, что я нашел у Роха Ковальского?

— Ну так садитесь на коня! Не то запоздаете, и бумаги запачкаются кровью! Я нарочно велел вывести его за деревню, чтобы не испугать панну выстрелами, иные панны очень чувствительны...

Заглоба вышел, и в ту же минуту раздался топот лошадиных копыт; Володыевский обратился к мечнику:

— А что делает ваша родственница?

— Должно быть, молится за того, кто сейчас предстанет перед Богом.

— Пусть Господь пошлет ему вечный покой! — сказал Ян Скшетуский. — Если бы он служил Радзивиллу не по доброй воле, я бы первый за него заступился, но если он не захотел стать на защиту отчизны, то он мог хоть не продавать своей души гетману.

— Верно! — ответил Володыевский.

— Он виновен и заслуживает того, что с ним случилось! — сказал Станислав Скшетуский. — Но я предпочел бы все же, чтобы на его месте был Радзивилл или Опалинский... Ох, Опалинский!

— Насколько он виноват, — вмешался Оскерко, — вы можете судить из того, что эта панна, женой которой он был, не нашла ни слова в его защиту! Я видел, как она мучилась, но молчала, — как же можно заступаться за изменника?!

— А любила она его когда-то всей душой, знаю я это, — сказал мечник. — Позвольте мне, Панове, пойти посмотреть, что с нею; это для нее тяжелое испытание.

— И собирайтесь поскорее в дорогу, ваць-панове! — сказал маленький рыцарь. — Мы дадим лишь немного отдохнуть лошадям и едем дальше. Отсюда слишком близко до Кейдан, а Радзивилл должен был туда вернуться.

— Хорошо! — сказал шляхтич. И вышел из комнаты.

В ту же минуту раздался пронзительный крик. Рыцари бросились на крик, не понимая, что случилось; бежала прислуга со свечами, и все увидели мечника, поднимавшего молодую девушку, которую он нашел лежащей без чувств на полу.

Володыевский подбежал к нему на помощь, и они положили ее без признаков жизни на диван. Прибежала старая ключница с разными лекарствами и стала приводить ее в чувство. Наконец панна открыла глаза.

— Вам не место здесь, Панове! — сказала старая ключница. — Мы и без вас

обойдемся!

Мечник вывел гостей.

— Я предпочел бы, чтобы всего этого не было, — сказал он. — Вы могли бы взять с собой этого несчастного и расправиться с ним по дороге, а не у меня! Как же теперь ехать, когда девушка еле жива? Ведь она может захворать!

— Свершилось, — сказал Володыевский. — Мы посадим панну в коляску. Бежать вам все-таки нужно, месье Радзивилла никого не щадит.

— А может быть, панна скоро оправится, — заметил Ян Скшетуский.

— Коляска удобна и запряжена, Кмициц ее привез с собою, — сказал Володыевский. — Идите же, пан мечник, и скажите вашей панне, пусть она соберется с силами, поездки откладывать нельзя. Мы должны ехать сейчас, не то к утру, пожалуй, подоспеют радзивилловские войска.

— Правда! — ответил мечник. — Иду!

Спустя некоторое время он вернулся со своей родственницей, которая не только оправилась, но была уже одета в дорогу. Лишь щеки ее горели и глаза блестели, как в лихорадке.

— Едемте, едемте! — сказала она, войдя в комнату.

Володыевский вышел на минуту в сени, чтобы распорядиться насчет коляски, и вскоре все стали собираться в путь.

Не прошло и четверти часа, как за окнами раздался грохот подъезжающего экипажа и топот лошадиных копыт по камням, которыми была вымощена дорога перед крыльцом.

— Едемте! — сказала Оле нька.

— В дорогу! — крикнули офицеры.

Вдруг дверь с шумом раскрылась, и в комнату вбежал запыхавшийся Заглоба.

— Я приостановил казнь! — крикнул он.

Оле нька в одну минуту побледнела как полотно; казалось, что она тут же лишится чувств, но никто на нее не обратил внимания, глаза всех были устремлены на Заглобу, который в это время дышал, как огромная рыба, ловя губами воздух...

— Вы приостановили казнь? — спросил его Володыевский. — Почему?

— Почему? Дайте отдышаться... Если б не этот Кмициц, мы все давно уже висели бы на кейданских деревьях... Уф! Мы хотели убить нашего благодетеля... Уф!..

— Как так? — вскрикнули все разом.

— Как? Вот прочтите это письмо и узнаете.

С этими словами Заглоба подал Володыевскому письмо, тот стал читать его, останавливаясь каждую минуту и посматривая на товарищей; это было письмо, в котором Радзивилл упрекал Кмицица, что благодаря его усиленным просьбам он освободил их от смерти в Кейданах.

— А что? — говорил при каждой остановке Заглоба.

Письмо кончалось, как известно, поручением привезти Биллевича и Оле ньку в Кейданы. Кмициц, должно быть, захватил его с собою, чтобы, в крайнем случае, показать его мечнику, но не успел.

Теперь уже не было никакого сомнения, что если бы не Кмициц, то оба Скшетуские, Володыевский и Заглоба были бы казнены тотчас же после подписания знаменитого договора с Понтусом де ла Гарди.

— Панове, — сказал Заглоба, — если теперь вы прикажете его расстрелять, клянусь Богом, я отрекаюсь от вас совсем...

— Об этом и речи быть не может! — ответил Володыевский.

— Ах! Какое счастье, — воскликнул Скшетуский, — что вы, отец, прочли письмо прежде, чем везти его к нам.

— Ну и догадлив же! — заметил Мирский.

— А что? — воскликнул Заглоба. — Другой на моем месте вернулся бы к вам прочесть письмо, а того бы уж в это время расстреляли. Как только мне принесли найденную при нем бумагу, меня точно что-то кольнуло — ведь я от природы любопытен. Двое проводников с фонарями ушли вперед и были уже на лугу, но я велел их позвать. И когда начал читать, со мной чуть дурно не стало, точно меня обухом по голове хватили. «Скажите, ради бога, пан кавалер, — говорю я Кмицицу, — почему вы не показали этого письма?» — «Потому что не хотел!» — ответил он. Вот гордая бестия, даже в минуту смерти. Тут я схватил его и давай обнимать. «Благодетель наш! — говорю я ему. — Если бы не ты, то нас бы давно воронье клевало». И велел вести его назад, а сам во весь дух помчался к вам, чтобы сообщить обо всем, что произошло... Уф...

— Станный человек! — заметил Скшетуский. — В нем столько же хорошего, сколько и дурного! Если бы такой человек...

Но не успел он договорить, как дверь отворилась, и солдаты ввели Кмицица.

— Вы свободны, пан кавалер, — сказал ему Володыевский, — и, пока мы живы, никто из нас вас не тронет. Скажите же, безумный человек, почему вы не показали сразу этого письма? Мы бы вас и беспокоить не стали.

Тут он обратился к солдатам:

— Оставьте пана офицера и садитесь на лошадей!

Солдаты ушли. Пан Андрей остался один посреди комнаты. Лицо его было спокойно, но мрачно, и он не без гордости смотрел на стоявших перед ним офицеров.

— Вы свободны! — повторил Володыевский. — Возвращайтесь куда хотите, хоть к Радзивиллу; но должен сказать, что больно видеть такого кавалера на службе у изменника — против отчизны!

— Ну так лучше подумайте, — ответил Кмициц, — я заранее предупреждаю, что вернусь к Радзивиллу.

— Оставайтесь с нами! Пусть черти возьмут кейданского тирана! — воскликнул Заглоба. — Вы будете нашим другом и желанным товарищем, а наша мать-отчизна, простит вам все ваши грехи.

— Ни за что! — горячо воскликнул Кмициц. — Бог рассудит, кто лучше служил отчизне, тот ли, кто поднимает междоусобную войну, или тот, кто служит человеку, который один лишь и может спасти несчастную Речь Посполитую. Вы пойдете своей дорогой, я своей! Поздно меня наставлять; одно скажу вам от чистого сердца: отчизну губите вы, а не я. Изменниками я вас не назову, ибо знаю чистоту ваших побуждений! Но отчизна гибнет, Радзивилл протягивает ей руку помощи, а вы раните саблями эту руку и называете изменниками тех, кто с ним.

— Ради бога! Если бы я не видел, как храбро шли вы на смерть, — сказал Заглоба, — я бы думал, что вы от страха рассудок потеряли. Кому вы присягали: Радзивиллу или Яну Казимиру? Швеции или Речи Посполитой? Да вы с ума сошли!

— Я знал, что мне не переубедить вас!.. Прощайте!

— Пойдите, — крикнул Заглоба, — у меня есть к вам дело! Скажите, Радзивилл обещал вам пощадить нас, когда вы его об этом просили?

— Обещал! — ответил Кмициц. — Вы должны были пробыть в Биржах в течение всей войны!

— Ну так узнайте же своего Радзивилла, который изменяет не только отчизне и королю, но и собственным слугам. Вот письмо Радзивилла к биржанскому коменданту, которое я нашел у офицера, сопровождавшего нас в Биржи. Читайте!

Сказав это, Заглоба подал ему письмо гетмана... Кмициц взял его в руки, начал пробегать его глазами, и краска стыда за гетмана все больше и больше покрывала его лицо. Наконец он смял письмо и швырнул его на пол.

— Прощайте! — сказал он. — Лучше мне было погибнуть от вашей пули! И вышел из комнаты.

— Мосци-панове, — сказал после минутного молчания Скшетуский. — Напрасно убеждать этого человека: он верит в своего Радзивилла, как турок в Магомета. Я, как и вы, думал сначала, что он служит из корысти, но теперь Убедился, что он не дурной человек, а только заблуждающийся.

— Если он до сих пор верил в своего Магомета, — заметил Заглоба, — то я сильно подорвал его веру. Вы видели, что с ним делалось, когда он читал письмо. Заварится у них там каша. Ведь этот человек готов не только на Радзивилла, а на самого черта броситься. Клянусь Богом, я больше рад тому, что избавил его от смерти, чем если бы кто-нибудь подарил мне стадо баранов.

— Правда, он вам обязан своей жизнью, — сказал мечник. — Никто этого не будет отрицать.

— Ну, бог с ним! — сказал Володыевский. — Давайте лучше решим, что нам делать?

— Как что? Садиться и ехать!.. Лошади уже отдохнули немного! — ответил Заглоба.

— Конечно. Едемте как можно скорее. А вы поедете с нами? — спросил Мирский мечника.

— Я-то тут не засижусь, мне тоже надо ехать. Но если вы сейчас же хотите ехать, то скажу вам прямо, что мне несподручно ехать с вами. Если тот кавалер уехал живым, то меня не сожгут сейчас, не убьют, а к такой дальней дороге надо подготовиться, захватить то и другое... Бог весть, когда я вернусь... Надо кое-чем распорядиться, спрятать кой-какие вещи, инвентарь отослать к соседям, уложить все нужное... Есть у меня и денег немного, которые надо взять с собой. Завтра к утру все будет готово, но так сразу ехать я не могу.

— Ну а мы ждать не можем, над нами меч висит, — ответил Володыевский. — Где же вы думаете скрыться?

— В пуще, как вы советуете... Девушку я оставляю там, а сам послужу отчизне: я еще не очень стар, может, и моя сабля пригодится отчизне и государю.

— Тогда — прощайте, ваша милость... Дай Бог нам встретиться в лучшие времена!

— Да благословит вас Бог за помощь! Должно быть, встретимся на поле брани.

— Будьте здоровы!

— Счастливого пути!

Прощавшись друг с другом, они стали по очереди подходить к панне Александре.

— Поцелуйте, ваць-панна, от меня мою жену и мальчиков и цветите в добром здоровье, — сказал Ян Скшетуский.

— И вспоминайте порой солдата, который хоть и не пользовался вашим расположением, но готов за вас в огонь и в воду! — прибавил Володыевский.

За ним подходили другие; наконец подошел и Заглоба.

— Примите, цветик нежный, и от меня, старика, пожелания счастливого пути! Обнимите от меня пани Скшетускую и моих маленьких сорванцов! Славные мальчуганы!

Вместо ответа Оле нька схватила его руку и молча поднесла к губам.

XXI

В ту же ночь, часа через два после отъезда отряда Володыевского, в Биллевичи прибыл во главе драгун сам Радзивилл, который выехал навстречу Кмицицу, опасаясь, чтобы он не попал в руки Володыевского. Узнав о том, что случилось, он захватил мечника вместе с племянницей и, не отдохнув даже, повернул назад.

Гетман был страшно взбешен, выслушав рассказ мечника, который передавал

все со всеми подробностями, чтобы отвлечь этим от себя гнев грозного магната. Он, по той же причине, не стал протестовать против своего отъезда в Кейданы и радовался в душе, что буря так благополучно кончилась. У Радзивилла, хотя он и подозревал мечника в недоброжелательстве и заговоре, было столько других забот, что он о нем забыл.

Исчезновение Володыевского могло сильно изменить положение дел на Полесье. Гороткевич и Яков Кмициц, стоявшие во главе взбунтовавшихся войск, были прекрасные солдаты, но не пользовались достаточным значением, а потому и затеянная ими конфедерация не пользовалась популярностью. Между тем с Володыевским бежали такие люди, как Мирский, Станкевич и Оскерко, не считая самого маленького рыцаря, — все прекрасные офицеры, пользовавшиеся всеобщим уважением.

Правда, на Полесье был и князь Богуслав, который мог дать им сильный отпор; но ведь он все ждал помощи от дяди электора, а дядя электор не спешил, очевидно выжидая хода событий; между тем силы бунтовщиков с каждым днем увеличивались.

Гетман сначала хотел сам отправиться на Полесье и одним ударом разгромить бунтовщиков, но его удерживала мысль, что лишь только он выйдет за границы Жмуди, как сейчас же восстанет вся страна, и все радзивилловское значение упадет в глазах шведов до нуля. Он даже решил, что на Полесье придется махнуть рукой, а князя Богуслава вызвать на Жмудь.

Это было очень важно, ибо до него доходили угрожающие известия о действиях воеводы витебского. Гетман пробовал войти с ним в соглашение и перетянуть его на свою сторону, но Сапега вернул письма без ответа; говорили зато, что он ликвидирует свое имущество, продает, что может, перечеканивает серебро в деньги, продает скот, закладывает у евреев драгоценности, отдает в аренду имения и собирает войска.

Гетман, по натуре жадный и неспособный на денежные жертвы, сначала не хотел верить тому, чтобы кто-нибудь мог без колебания принести на алтарь отчизны все свое состояние, но время убедило его, что все это правда. К нему собирались со всех сторон беглецы, оседлая шляхта, патриоты, радзивилловские враги, даже хуже — его прежние друзья, а что еще хуже — даже его родственники, например, ловчий, князь Михаил. О нем сообщали, что доход со всех своих имений, не занятых неприятелем, он велел отдать в распоряжение воеводы витебского.

Такие трещины давал фундамент того здания, которое было построено тщеславием Януша Радзивилла. Это здание должно было вместить всю Речь Посполитую, а между тем оказалось вскоре, что оно не может вместить и одной Жмуди.

Положение становилось все больше похожим на заколдованный круг. Правда, он мог призвать на помощь против витебского воеводы шведские войска, но это значило открыто сознаться в своем бессилии. Наконец, отношения гетмана с главнокомандующим были поколеблены клеванским сражением и уловкой Заглобы, и теперь со стороны главнокомандующего к нему было лишь подозрение и раздражение.

Гетман, отправляясь на помощь Кмицицу, надеялся, что ему, по крайней мере, удастся настигнуть и разбить Володыевского, но и эта надежда обманула его, и он возвращался в Кейданы мрачный и злой. Ему казалось странным, что по дороге в Биллевици он не встретился с Кмицицем, а это случилось потому, что, возвращаясь, Кмициц предпочел ехать кратчайшим путем, через лес, оставляя в стороне Племборг и Эйраголу.

На следующий день, в полдень, гетман был уже в Кейданах, и первый его вопрос был о Кмицице. Ему ответили, что он вернулся, но без солдат. Князь уже знал об этом, но хотел услышать подробности из уст самого Кмицица, и потому велел

тотчас же позвать его к себе.

— И тебе не повезло так же, как и мне, — сказал он, лишь только Кмициц вошел. — Мечник уже рассказал мне, что ты попал в руки этого маленького черта.

— Точно так! — ответил Кмициц.

— И тебя спасло мое письмо?

— О каком письме вы говорите, ваше сиятельство? Они, прочитав письмо, находившееся при мне, прочли мне в награду и другое — к биржанскому коменданту.

Мрачное лицо Радзивилла подернулось как бы кровавой тучей.

— Так ты знаешь?

— Знаю! — резко ответил Кмициц. — Как могли вы, ваше сиятельство, так поступить со мной? Простому шляхтичу стыдно не сдерживать слова, а что же сказать о князе и гетмане?

— Молчи! — крикнул Радзивилл.

— Я не буду молчать, потому что должен был краснеть за вас перед этими людьми! Они уговаривали меня остаться с ними, я не согласился и ответил им: «Я служу Радзивиллу, ибо на его стороне справедливость и добродетель». И они показали мне ваше письмо и сказали: «Смотри, каков твой Радзивилл!» — и я должен был смолчать.

Губы гетмана задрожали от бешенства. Им овладело дикое желание свернуть шею этому дерзкому человеку, и он уже поднял руку, чтобы позвать слугу. Он задышался от гнева, и, вероятно, дорого бы заплатил Кмициц за свою вспышку, если бы не внезапный припадок астмы. Лицо князя почернело, он вскочил со стула и стал ловить воздух руками, глаза его вышли из орбит, а из горла вырвалось хриплое рычание, из которого Кмициц едва разобрал одно слово:

— Задыхаюсь!..

На крики сбежалась прислуга и придворные медики; все начали приводить в чувство князя, который тотчас потерял сознание. Его приводили в чувство с час, и когда наконец он стал подавать признаки жизни, Кмициц вышел из комнаты.

В коридоре он столкнулся с Харлампом, который уже оправился от ран, полученных во время битвы с взбунтовавшимися венграми Оскерки.

— Что нового? — спросил он.

— Очнулся! — ответил Кмициц.

— А в другой раз он может и не очнуться. Плохи наши дела, пан полковник: если князь умрет, нам придется отвечать за все его провинности. Вся надежда на Володыевского: он не даст в обиду старых товарищей; и, говоря между нами, — Харламп понизил голос, — я очень рад, что ему удалось бежать.

— А ему тугο приходилось?

— Это еще пустяки! Но представьте себе, что в той лощине, где мы его окружили, были волки, и те не могли прошмыгнуть, а он ускользнул. Кто знает, кто знает, не придется ли еще ему кланяться, а то у нас что-то ненадежно... Шляхта страшно вооружена против князя и говорит, что предпочитает ему настоящего врага, шведа, даже татарина, но только не ренегата! Вот как! А князь между тем велит каждый день ловить граждан и сажать их в подземелье, что, говоря по совести, делает вопреки праву и дарованной им свободе. Сегодня привезли россиенского мечника.

— Привезли?

— Как же, и даже с родственницей. Панна — как маков цвет! Можно вас поздравить!

— Где же их поместили?

— В правом флигеле. Им дали прекрасное помещение, они жаловаться не могут, разве лишь на то, что у дверей стоит стража. Когда же свадьба, мосци-полковник?

— Еще оркестр на эту свадьбу не заказан! Будьте здоровы, ваць-пане! — сказал

Кмициц.

И, распрощавшись с паном Харлампом, он пошел к себе. Бессонная ночь, бурные события вчерашнего дня и последнее столкновение с князем так его утомили, что он едва держался на ногах. А главное — как малейшее прикосновение к больному телу причиняет боль, так и простой вопрос Харлампа: «Когда свадьба?» — больно кольнул его. Перед ним, как живое, встало холодное лицо Оле ньки и ее сжатые губы в то время, когда ее молчание утверждало произнесенный над ним смертный приговор. Другое дело, обратил ли бы Володыевский внимание на ее слова; ему было больно, что она не сказала этого слова. А ведь раньше она спасла его два раза. Неужели теперь образовалась между ними такая пропасть? Неужели любовь до такой степени угасла в ее сердце, и не любовь даже, а простое участие, которое следует иметь и к чужому человеку? Чем больше думал он об этом, тем бессердечнее казалась ему его Оле нька. «Что же я сделал такого, чтобы помыкать мною, как человеком, преданным анафеме? Может быть, и дурно служить Радзивиллу, но я, служа ему, не знаю никакой вины и, положа руку на сердце, могу сказать, что служу не из-за хлеба, не из-за тщеславия, а потому, что вижу в этом пользу для отчизны. За что же меня осуждают?»

— Ну что ж? Пусть и так будет! Я не стану просить отпущения грехов! Не стану просить помилованья! — повторял он тысячу раз.

Но мучения его не унимались, а все возрастали. Когда он пришел в свою квартиру, он бросился на постель, пробовал заснуть, но не мог, несмотря на всю усталость. Наконец встал и начал ходить по комнате, хватаясь, время от времени за голову и повторяя:

— Бессердечная, и больше ничего... Этого я от тебя не ожидал, панна!.. Бог с тобою...

В таких думах прошел час, два; наконец, окончательно утомленный, он начал дремать, сидя на постели, но не успел еще заснуть, как его разбудил княжеский придворный Шкиллондз и потребовал к князю.

Радзивилл чувствовал себя лучше и дышал свободно, но на его свинцовом лице была заметна слабость. Он сидел в глубоком кресле, обитом кожей, и говорил с доктором, которого про появлении Кмицица тотчас же услал.

— Из-за тебя я чуть на тот свет не отправился! — сказал он Кмицицу.

— Не моя в том вина, ваше сиятельство; я сказал, что думал!

— Ну так пусть этого больше не будет! Не прибавляй хоть ты тяжести к тому бременю, которое мне приходится нести на своих плечах; другому бы я этого не простил, но тебе прощаю!

Кмициц молчал.

— Если я, — произнес князь после минутного молчания, — не сказал тебе, что велел казнить этих людей в Биржах, несмотря на твои просьбы, то не потому, что хотел обмануть тебя, но лишь для того, чтобы не причинять тебе излишних страданий. Я уступил тебе для виду, ибо питаю к тебе слабость! Их смерть была необходима. Разве я палач? Неужели ты думаешь, что я проливаю кровь только для того, чтобы упиваться ее алым цветом? Придет время, и ты поймешь необходимость жертв для достижения великих целей. Эти люди должны были погибнуть непременно здесь, в Кейданах. Посмотри, что случилось по твоей милости: упорство мятежников усиливается, добрые отношения со шведами нарушены и, благодаря дурному примеру, бунт растет как зараза. Мало того, я сам, своей особой, пошел за ними в погоню и должен был краснеть перед всем войском; ты сам чуть не погиб от их рук, а они отправились на Полесье и станут во главе бунта. Смотри и учись! Если бы я расстрелял их в Кейданах, ничего этого не было бы. Ты, прося за них, думал только о личных чувствах, а я приговаривал их к казни, потому что опытнее тебя и знаю, что, если кто-нибудь споткнется, когда бежит, хоть о маленький камешек, тот может легко

упасть, а упав, может и не подняться, и это тем вернее, чем быстрее он бежит. Немало уже натворили бед эти люди.

— Но все же они не так сильны, чтобы помешать исполнению предприятия вашего сиятельства!

— Довольно того, что они поселили раздор между мной и шведским главнокомандующим, — это могло бы быть непоправимо. Положим, теперь все уже выяснилось, но письмо Понтия ко мне осталось, и я этого ему никогда не прощу! Он зять короля, но вряд ли он мог бы стать моим зятем, не слишком ли это была бы большая честь для него!

— Вы можете переговорить об этом с самим королем, а не с его слугой!

— Так я и хочу сделать... и если только не умру от забот, то научу этого шведа вежливости... Я говорю: если не умру, а это может случиться, так как немало терний на моем пути. Ох, тяжело, тяжело! Кто бы поверил, что я тот самый Радзивилл, который сражался под Лоевом, под Речицей, под Мозырем, под Туровом, под Киевом и Берестечком? Вся Речь Посполитая смотрела на меня и Вишневецкого, как на два небесных светила... Все дрожало перед Хмельницким, а он дрожал передо мной. И те самые войска, кои благодаря мне прославились своими победами, теперь оставили меня и осмеливаются поднять на меня свою руку...

— Но ведь не все, — горячо возразил Кмициц, — есть люди, которые еще вам верят, ваше сиятельство!

— Еще верят... пока не перестанут? — ответил с горечью Радзивилл. — Действительно, велика милость!.. Дай Бог только не отравиться ею! Каждый из вас вонзает мне нож в сердце, хоть порой и невольно!

— Обращайте внимание, ваше сиятельство, не на слова, а на побуждения.

— Спасибо за совет!.. Постараюсь им воспользоваться и приложу все старания, чтобы угодить всем.

— Горьки ваши слова, ваше сиятельство!

— А жизнь сладка?.. Бог создал меня для великих дел, а между тем я принужден тратить силы на междоусобную войну. Я хотел помериться силами с монархами, а пал так низко, что должен ловить в собственных поместьях какого-то пана Володыевского. Вместо того чтобы поразить весь мир своей мощью, я удивляю его своим бессилием: вместо того чтобы за сожжение Вильны отплатить сожжением Москвы, я должен благодарить тебя, что ты укрепил Кейданы валами. Тесно мне!.. Душно мне!.. Это не астма... Бессилие меня убивает... Бездеятельность убивает!.. Тесно мне и тяжело... Понимаешь?..

— Я тоже думал, что дела пойдут иначе, — угрюмо заметил Кмициц.

Радзивилл начал тяжело дышать.

— Раньше чем надеть мне на голову корону, мне надели терновый венец! Я велел гадалщику Адерсу посмотреть на звезды, и он сказал, что видит дурные предзнаменования, но что это все скоро пройдет; а между тем я страшно мучаюсь... Ночью мне что-то не дает спать, кто-то ходит по комнате... Какие-то лица заглядывают в мою постель, а иногда вдруг веет холодом... Это значит, что смерть проходит около меня... Я страдаю! Я должен каждый день ждать новых измен; я знаю, что есть много таких, которые колеблются!

— Таких более нет! — ответил Кмициц. — Те, что не хотели остаться, ушли!

— Не обманывай меня. Ты знаешь сам, что польские полки уже начинают переглядываться...

Кмициц вспомнил свой разговор с Харлампом и замолчал.

— Это ничего! — сказал Радзивилл. — Страшно, тяжело, но нужно все вынести. Не говори никому того, что я тебе сказал! Хорошо, что припадок кончился, он сегодня не повторится, а к вечеру мне надо собраться с силами и быть веселым, я даю пир, надо быть веселым и подбодрить людей! Ты тоже прибодрись и не говори никому о

том, что я тебе сказал. Я все это сказал лишь для того, чтобы ты меня больше не огорчал. Я сегодня погорячился... Смотри, пусть это больше не повторится, иначе я не ручаюсь за твою жизнь! Но я уже простил тебя. Ступай и позови ко мне Мелешку. Сегодня привели беглых из его полка, я велю их перевешать! Надо дать пример! Прощай... Сегодня в Кейданах должно быть весело!..

XXII

Мечнику россиенскому пришлось долго убеждать панну Александру пойти на гетманский бал. Он должен был чуть не со слезами умолять стойкую и смелую девушку, доказывая, что они за это могут поплатиться жизнью, ибо не только военные, но и все окрестные помещики должны явиться к князю под страхом его гнева. Панна, чтобы не подвергать опасности своего дядю, наконец согласилась.

И, действительно, в Кейданы съехалась чуть ли не вся окрестная шляхта с женами и дочерьми. Но военных было больше всего, особенно иностранцев, которые почти все без исключения стали на сторону князя. Сам он, прежде чем показаться гостям, постарался вызвать на свое лицо улыбку, точно ни одна забота не тяготила его; он хотел этим пиром не только поддержать бодрость духа в своих сторонниках, но и доказать, что большинство шляхты на его стороне, а только горсть каких-то своевольников протестует против соединения со Швецией; он хотел доказать, что страна радуется вместе с ним, и не жалел ни денег, ни хлопот, чтобы пир вышел на славу, был великолепен и чтобы слух о нем распространился по всему краю. Лишь только начало смеркаться, как сотни смоляных бочек запылали на дороге и на дворе, раздавалась пальба из орудий, а солдатам было приказано держать себя шумно и весело.

Одна за другой подъезжали кареты, шарабаны и брички с местными сановниками и шляхтой. Двор наполнился экипажами, лошадьми и прислугой. Толпа, разодетая в шелк, в бархат, парчу и дорогие меха, наполняла так называемую «золотую залу», а когда в ней появился князь, сверкающий дорогими камнями и с ласковой улыбкой на всегда угрюмом лице, к тому же изнуренном болезнью, офицеры воскликнули единогласно:

— Да здравствует наш гетман! Да здравствует воевода виленский!

Радзивилл окинул взглядом собравшуюся шляхту, желая убедиться, присоединилась ли и она к приветствиям военных. Оказалось, что лишь несколько человек повторили приветствие, но князь кланялся и благодарил всех за искреннее и «единодушное» выражение преданности.

— С вами, Панове, — говорил он, — мы одолеем врагов отчизны, которые замышляют погубить ее! Спасибо!

И он обходил всю залу, останавливаясь перед знакомыми, и не жалел ласковых слов: «дорогой брат», «милый сосед» — и не одно угрюмое лицо прояснилось под магической мощью этих теплых лучей панской милости.

— Трудно думать, — говорили недавние его недоброжелатели, — чтобы такой вельможа и сенатор был врагом отчизны: или он не мог иначе поступить, или видит в этом пользу для Речи Посполитой.

— Дай Бог, чтобы все изменилось к лучшему.

Но были и такие, что покачивали головами и точно говорили глазами: «Мы здесь потому, что нас к этому принудили».

Но они молчали, между тем как более податливые говорили так, чтобы их мог слышать князь:

— Лучше переменить монарха, чем погубить Речь Посполитую.

— Пусть Речь Посполитая заботится о себе, а мы о себе.

— Кто же, впрочем, нам подал пример, как не Великопольша.

— Крайняя необходимость заставляет прибегать и к крайним средствам!
— *Extrema necessitas extremis nititur rationibus!*¹⁹
— *Tentanda omnia!*²⁰
— Доверимся князю и предоставим все ему! Пусть он правит Литвой!
— Он достоин этого! Если он не спасет нас, то мы погибли. В нем вся наша надежда...

— Он нам ближе, чем Ян Казимир. Наша кровь!

Радзивилл жадно ловил эти слова, подсказанные страхом или лестью, и не обращал внимания на то, что они выходили из уст людей безвольных, которые при первой опасности первые бы его и оставили, из уст людей, которых малейшее дуновение ветра колеблет, как волну. Он упивался этими словами и обманывал свою совесть, повторяя выражение, которое его больше всего оправдывало:

— Крайняя необходимость заставляет прибегать и к крайним средствам.

Но когда, проходя мимо шляхты, он услышал из уст пана Южица: «Он нам ближе, чем Ян Казимир!» — лицо его совсем прояснилось. Самое сравнение с королем льстило его самолюбию, он подошел к пану Южицу и сказал:

— Вы правы, что в Яне Казимире на гарнец крови только кварта литовской, а во мне нет другой. Ежели же до сих пор эта кварта повелевала гарнцем, то от вас зависит изменить это!

— Мы готовы гарнцем пить здоровье вашего сиятельства! — ответил Южиц.

— Вот это дело! Веселитесь, Панове братья! Я рад бы всю Литву принять у себя.

— Для этого ее нужно было бы еще больше урезать, — сказал Щанецкий, человек смелый и острый на язык.

— Что вы под этим подразумеваете? — спросил князь, пристально глядя ему в глаза.

— Что сердце вашего сиятельства обширнее Кейдан.

Радзивилл принужденно улыбнулся и прошел дальше.

В эту минуту маршал доложил, что ужин подан. Толпа последовала за князем в ту самую залу, где недавно был заключен договор со шведами. Маршал рассаживал гостей по знатности и сану; но, по-видимому, относительно Кмицица были даны особые распоряжения, так как он очутился между мечником и панной Александрой.

У обоих дрогнули сердца, когда они слышали свои имена, произнесенные одновременно, и оба решились не сразу; но, вероятно, им пришло на мысль, что отказаться — значит обратить на себя внимание всех гостей, и они сели рядом.

Кмициц решил быть равнодушным, точно около него сидела какая-нибудь незнакомая девушка. Но вскоре он понял, что ни он сам не может быть таким равнодушным, ни эта девушка не может быть для него настолько чужой, чтобы с нею можно было вести какой-нибудь незначительный разговор. Наоборот, оба поняли, что среди этой массы людей, среди чувств, страстей и желаний, они будут думать исключительно друг о друге. У них было прошлое, но не было будущего. Прежняя любовь и доверие были подорваны. Между ними не осталось более ничего общего, кроме чувства обиды и разочарования. Если бы и этот огонь погас совершенно, они чувствовали бы себя свободнее; но это могло сделать лишь время, а пока было еще рано.

Кмициц страдал невыносимо, но ни за что на свете не уступил бы своего места. Он жадно ловил шелест ее платья, следил за каждым ее движением, чувствовал

¹⁹ Исключительные обстоятельства требуют исключительных средств! (*лат.*).

²⁰ Все надо испытать! (*лат.*).

исходившую от нее теплоту, и все это вместе доставляло ему мучительное наслаждение.

Он заметил, что и она следит за ним, хотя на вид не обращает на него никакого внимания. Им овладело неодолимое желание взглянуть на нее, и он стал искоса поглядывать в ее сторону, пока не увидел ее ясного лба, глаз, прикрытых темными ресницами, и белого, не подрумяненного, как у других дам, лица.

В этом лице для него всегда было столько притягательной силы, что сердце бедного рыцаря сжалось от боли. «Неужели под ее ангельской наружностью может скрываться такое жестокое сердце?» — подумал он. Но рана, нанесенная ею, была слишком глубока, и он мысленно прибавил: «Между нами все кончено, пусть тебя берет другой».

И вдруг он почувствовал, что если бы этот «другой» попробовал воспользоваться его разрешением, то он размозил бы ему голову. При одной мысли об этом его охватил страшный гнев. Он успокоился лишь тогда, когда вспомнил, что ведь он сам, а не кто-нибудь другой сидит возле нее.

«Ну взгляну на нее еще раз, — подумал он, — а потом отвернусь в другую сторону».

И снова стал искоса смотреть на нее, но в эту минуту она сделала то же самое, и оба смущенно опустили глаза, точно кто-нибудь их поймал на месте преступления.

Панна Александра тоже боролась с собой. Из того, что произошло, из поступка Кмицица в Биллевичах, из слов Заглобы и Скшетуского ей стало ясно, что Кмициц заблуждается; он не был так виноват, не заслуживал такого презрения, такого безусловного осуждения, как она думала раньше. Ведь он спас тех честных рыцарей от смерти; ведь в нем было столько какой-то великолепной гордости, что, попав в их руки и имея письмо, которое могло его если не оправдать, то, по крайней мере, избавить от смерти, он не показал его, не сказал ни слова и пошел на смерть с гордо поднятой головой.

Панна Александра, воспитанная старым солдатом, ставящим презрение к смерти выше всех добродетелей, преклонялась перед мужеством и не могла удержаться от восхищения перед этой рыцарской гордостью и самообладанием, которые у него можно было отнять разве лишь с жизнью.

Она поняла и то, что если Кмициц служил Радзивиллу, то из хороших побуждений; поняла, как оскорблять должно было его подозрение в измене. А между тем она первая нанесла ему это оскорбление и не простила даже перед липом смерти.

«Исправь свою ошибку! — подсказывало ей сердце. — Все между вами кончено, ты должна перед ним сознаться, что осудила его несправедливо. Ты в долгу перед собственной совестью!»

Но панна была не менее горда и самолюбива, и ей вдруг пришло в голову, что этот кавалер теперь совсем не нуждается в ее извинениях, и щеки ее вспыхнули.

«Если не нуждается, то и не надо!» — сказала она в душе.

Но совесть подсказала ей, что, нуждается ли оскорбленный в извинениях или не нуждается, все же надо исправить ошибку; с другой стороны, самолюбие приводило все новые и новые доказательства.

«А если он не захочет выслушать меня, ведь тогда мне придется сгореть со стыда. А во-вторых, делает ли он это обдуманно или в заблуждении, он все равно на стороне изменников и врагов отчизны, помогает ее погубить! Для отчизны безразлично, чего у него не хватает: ума или честности. Его может простить Бог, а люди должны осудить и назвать изменником... Человек, у которого нет настолько ума, чтобы отличить дурное от хорошего, все же достоин презрения!»

Тут ею овладел гнев, и щеки ее вспыхнули.

«Буду молчать! — сказала она про себя. — Пусть он страдает по заслугам. Пока

я не увижу раскаяния, до тех пор я имею право осуждать».

Затем она взглянула на Кмицица, точно желая убедиться, не видно ли на его лице раскаяния, и тогда-то взгляды их встретились, и оба смутились.

Раскаяния, может быть, в лице кавалера Оле нька и не увидела, но увидела страдание и страшную усталость; лицо рыцаря было бледно, как после долгой болезни; ее охватила невыразимая жалость, на глазах навернулись слезы, и она нагнулась еще ниже над столом, чтобы скрыть свое волнение.

А пир между тем постепенно оживлялся.

Сначала, по-видимому, все находились под тяжелым впечатлением, но, когда стали подавать все новые бокалы, настроение поднялось. Шум усиливался.

Наконец князь поднялся с кресла:

— Мосци-панове, прошу слова!

— Князь хочет говорить! Князь хочет говорить! — раздалось со всех сторон.

— Первый тост я провозглашаю за его величество короля шведского, который пришел нам на помощь против врага и, временно завладев этой страной, вернет нам ее тогда, когда будет водворено в ней спокойствие. Встаньте, мосци-панове, за здоровье пьют стоя.

Все гости, кроме женщин, встали и выпили наполненные бокалы, но без криков и воодушевления. Щанецкий что-то бормотал, обращаясь к своим соседям, и те закусали губы, чтобы не рассмеяться: он, видно, острит насчет шведского короля.

И лишь когда князь провозгласил другой тост за здоровье «дорогих гостей», которые, несмотря на дальнейшее расстояние, не отказались выказать свое доверие к хозяину, ему ответили дружными восклицаниями:

— Благодарим! Благодарим от всего сердца!

— Здоровье князя!

— Нашего литовского Гектора!

— Да здравствует князь-гетман!

Вдруг Южиц, немножко подвыпивший, крикнул изо всех сил:

— Да здравствует Януш Первый, великий князь литовский!

Радзивилл покраснел, как девушка, но, видя, что присутствующие молчат и смотрят на него с недоумением, произнес:

— Все это зависит от вас, но слишком рано вы меня величаете, пане Южиц, слишком рано!

— Да здравствует Януш Первый, великий князь литовский! — повторил с упрямством пьяного Южиц.

Вслед за ним поднялся Щанецкий и, подняв бокал, произнес медленно и отчетливо:

— Великий князь литовский, король польский и государь немецкий! Снова наступило молчание; вдруг среди гостей раздался взрыв хохота.

Глаза у всех выкатились, усы заходили на покрасневших лицах, тела вздрагивали от смеха, а эхо разносило этот смех по всей зале; так продолжалось до тех пор, пока, взглянув на князя, они не увидели его искаженного гневом лица. Но он сдержал свой гнев и сказал на вид спокойно:

— Шутки не к месту, пане Щанецкий!

Шляхтич, ничуть не растерявшись, отвечал:

— В пожелании моем нет ничего невозможного. Если вы, как шляхтич, ваше сиятельство, можете быть польским королем, то, князь земли немецкой, вы можете стать императором. Вам так же далеко и так же близко до одного, как и до другого, и кто не желает этого — пусть встанет, а мы уж с ним разделаемся с саблями в руках!

Затем он обратился к присутствующим:

— Встаньте, кто не желает князю императорской короны.

Никто не встал, конечно, но никто и не смеялся, ибо в голосе Щанецкого было

столько наглого издевательства, что всеми овладевало страшное беспокойство.

Но ничего не случилось, и только исчезло веселое настроение. Напрасно прислуга то и дело наполняла бокалы. Вино не могло разогнать мрачных мыслей в головах пирующих. Радзивилл с трудом скрывал свой гнев. Он чувствовал, что своим тостом Щанецкий уронил его достоинство в глазах собравшейся шляхты, и умышленно или невольно он привил шляхте убеждение, что ему так же далеко до великокняжеской короны, как и до короны немецкой. Правда, все было обращено в шутку, но ведь он единственно с той целью устроил пир, чтобы освоить всех с мыслью о будущем радзивилловском правлении. Его сильно беспокоило, как бы такое осмеяние его заветных надежд не отразилось на офицерах, посвященных в его тайну. И действительно, на их лицах он прочел глубокое разочарование.

Гангоф пил бокал за бокалом, избегая глаз князя, а Кмициц не пил совсем, но сидел насупившись, как будто что-то обдумывал или вел внутреннюю борьбу. Радзивилл дрогнул при мысли, что в этой голове может вдруг просветлеть, и тогда истина откроется; этот офицер разорвет единственную связь остатков польских войск с Радзивиллом, если даже ему придется вместе с этим разорвать и собственное сердце. Гетман уже и так давно тяготится Кмицицем, и если бы не то огромное значение, которое придало ему странное стечение обстоятельств, Кмициц давно пал бы жертвой своей смелости и гетманского гнева. Но на этот раз князь ошибался, подозревая, что у него враждебные ему мысли: пан Андрей был всей душой занят Оленькой и их размолвкой.

Минутами ему казалось, что он любит эту девушку больше всего в мире, то вдруг он чувствовал к ней такую ненависть, что готов был убить и ее, и себя.

Жизнь его сложилась так путано, что стала ему в тягость. Он чувствовал то же, что чувствует зверь в сетях.

Мрачное и тревожное настроение присутствующих раздражало его в высшей степени. Ему стало просто невыносимо тяжело.

Вдруг в залу вошел новый гость. Князь, увидев его, воскликнул:

— Да это пан Суханец! Верно, с письмами от брата Богуслава.

Вошедший низко поклонился:

— Вы угадали, ваше сиятельство... Я прямо с Полесья!

— Дайте же ваши письма, а сами садитесь за стол. Простите, Панове, что я прочту их за столом, но в них могут быть важные новости, которыми я хотел бы поделиться с вами. Позаботьтесь о дорогом госте, пане маршал.

Сказав это, князь взял из рук Суханца пачку писем и, быстро ломая печати, стал их вскрывать по очереди.

Гости устремили свои глаза на князя, чтобы по выражению его лица угадать содержание писем. Первое письмо, должно быть, не сообщало ничего приятного, так как лицо князя вдруг побагровело, а глаза сверкнули гневом.

— Панове братья, — сказал он, — князь Богуслав сообщает мне, что те, кто, вместо того чтобы идти отомстить неприятелю за Вильну, предпочли восстать против меня и теперь жгут на Полесье мои поместья. Конечно, легче воевать по деревням с бабами! Храбрые рыцари, нечего сказать! Ну да награда от них не уйдет...

Затем он взял другое письмо, но лишь только пробежал его глазами, как лицо его прояснилось улыбкой торжества и радости.

— Серадзское воеводство сдалось шведам, — воскликнул он, — и вслед за Великопольшей приняло протекторат Карла-Густава. А вот еще новость! — через минуту добавил он. — Наша взяла! Мосци-панове, Ян Казимир разбит под Видавой и Жарновом! Войска покидают его. Сам он отступает на Краков. Шведы преследуют его. Брат пишет, что скоро и Краков будет взят.

— Радуйтесь, Панове! — сказал каким-то странным голосом пан Щанецкий.

— Конечно, радоваться нужно! — ответил гетман, не заметив тона, каким

Щанецкий произнес свои слова.

Он весь пылал от радости; лицо его точно помолодело, глаза блестели; он дрожащей от счастья рукой вскрыл последнее письмо и, сияя, как солнце, воскликнул:

— Варшава взята... Да здравствует Карл-Густав!

И только тут он заметил, что его новости производят на присутствующих совсем обратное впечатление, чем на него. Все сидели молча и лишь обменивались несмелыми взглядами. Другие закрыли лица руками. Даже княжеские придворные, даже трусливые люди не смели изъяслять своей радости при известии о падении Варшавы и о неизбежном падении Кракова, при известии о том, что воеводства одно за другим отрекаются от своего короля и присоединяются к врагам. Князь понял, что надо сгладить впечатление, и сказал:

— Мосци-панове, я первый бы плакал вместе с вами, если бы дело шло о несчастьи Речи Посполитой; но она от этого не пострадает, а лишь переменит правителя. Вместо неудачника Яна Казимира у ней королем будет великий и счастливый воин. Я вижу уже все войны оконченными и всех неприятелей разбитыми.

— Вы правы, ваше сиятельство! — ответил Щанецкий. — То же самое говорили Радзейовский и Опалинский под Устьем!.. Итак, возрадуемся, Панове! На погибель Яну Казимиру!

Сказав это, Щанецкий с шумом оттолкнул стул и вышел из комнаты.

— Вин самых лучших, — крикнул князь, — какие только есть в погребах! Маршал побежал исполнять его приказания. В зале поднялся шум. Когда первое впечатление прошло, шляхта начала обсуждать полученные новости.

Вдруг в залу вкатили бочки с вином и начали их вскрывать. Настроение поднялось и становилось все лучше.

Все чаще слышались слова: «Свершилось!», «Может, и к лучшему!», «Нужно с этим мириться!», «Князь-гетман не даст нас в обиду!», «Нам лучше, чем другим...», «Да здравствует Януш Радзивилл, наш воевода, гетман и князь!»

— Великий князь литовский! — снова воскликнул Южиц.

Но на этот раз этот возглас не сопровождался ни молчанием, ни смехом, — напротив, несколько десятков хриплых голосов закричали изо всей мочи:

— Мы от всего сердца этого желаем! Пусть он царствует над нами! Магнат встал с багрово-красным лицом.

— Благодарю вас, братья, — спокойно ответил он. В зале стало невыносимо душно.

Панна Александра нагнулась к мечнику и сказала:

— Мне дурно, пойдем отсюда!

Лицо ее было бледно, на лбу выступили капли пота. Но мечник искоса поглядывал на гетмана, боясь, как бы его уход не вызвал его гнева. В поле он был храбрый солдат, но гетмана боялся как огня. К довершению же всего князь в эту минуту сказал:

— Враг мой тот, кто не выпьет со мной до дна всех тостов, — я сегодня весел!

— Слышишь? — сказал мечник.

— Но я не могу, мне дурно, дядя! — сказала умоляющим голосом Оле нька.

— Так уходи одна, — отвечал мечник.

Панна встала, стараясь пройти незамеченной, но вдруг почувствовала сильную слабость и схватилась за спинку стула. В эту минуту ее поддержали чьи-то сильные руки.

— Я провожу вас, ваць-панна! — сказал пан Андрей.

И, не дожидаясь разрешения, он обнял ее стан; но не успели они дойти до дверей, как она упала без чувств к нему на руки. Он взял ее на руки, как ребенка, и

вынес из залы.

XXIII

В тот же вечер, после бала, пан Андрей во что бы то ни стало хотел видаться с князем, но ему ответили, что князь занят разговором с Суханцем. Он пришел на следующее утро и был тотчас принят.

— Я к вашему сиятельству с просьбой, — сказал он.

— В чем дело?

— Я не могу здесь дольше оставаться. Каждый день приносит мне все новые страдания. Мне здесь нечего делать. Выдумайте для меня какое-нибудь поручение; отправьте, куда хотите. Я слышал, что вы отправляете войска против Золотаренки; отправьте меня с ними.

— Золотаренко рад бы пощипать нас, да это ему не удастся, ибо мы под протекторатом шведов, а без шведов мы на него идти не можем... Граф Магнус слишком медлит, и я знаю почему. Он не доверяет мне. А разве тебе уж так плохо в Кейданах?

— Вы милостивы ко мне, ваше сиятельство, но все-таки мне так плохо, что я и сказать не сумею. Правду говоря, я думал, что все будет иначе. Я думал, что мы будем драться, жить постоянно в огне и в дыму, день и ночь на седле. Для такой жизни меня Бог и создал. А тут — сиди и слушай диспуты, сиди сложа руки или бей своих... Я больше не могу. Лучше уж смерть!

— Я знаю причину этого отчаяния. Все это любовь, и больше ничего. Состаришься, так сам будешь смеяться над этими муками! Видел я вчера, как вы косились друг на друга.

— Что мне она и что я ей! Между нами все кончено!

— А что это, она вчера заболела?

— Да.

Князь помолчал.

— Я уж говорил тебе и еще раз повторяю, — сказал он, — бери ее, если хочешь, волей или неволей. Я велю вас обвенчать. Поплачет немножко, покричит, но это ничего. После венца возьмешь ее к себе, и если она на другой день будет плакать, то ты...

— Я прошу ваше сиятельство дать мне какое-нибудь поручение, а не венчать меня! — резко ответил Кмициц.

— Значит, ты ее не хочешь?

— Не хочу! Ни я ее, ни она меня. Пусть сердце у меня разорвется от боли, но не стану ее ни о чем просить. Я хотел бы уехать как можно дальше, чтобы обо всем забыть, иначе я с ума сойду! Здесь у меня нет никакого дела, а безделье хуже всего! Вспомните, мосци-князь, как вам вчера было тяжело, пока не пришли хорошие известия. Так и со мной. Что мне делать? Схватиться за голову и держать ее, чтобы она не лопнула от горьких мыслей? Чего мне сидеть? Бог знает, что это за время, что за война, которой я до сих пор не могу понять... И от этого мне еще тяжелей. Клянусь Богом, если вы, ваше сиятельство, меня куда-нибудь не отправите, то я сбегу, соберу ватагу и буду бить...

— Кого? — спросил князь.

— Кого? Пойду под Вильну и буду там щипать, как щипал Хованского. Дайте мне мой полк, тогда и война начнется.

— Твой полк нужен мне против внутреннего врага.

— Да ведь это же мука сидеть в Кейданах сложа руки или гоняться за Володыевским, которому я предпочел бы быть товарищем.

— У меня есть для тебя дело, — ответил князь. — Под Вильну я тебя не пущу и

войска тебе не дам. Если же ты поступишь вопреки моей воле и, собрав ватагу, уйдешь, то знай, что не будешь больше состоять на моей службе.

— Но буду служить отчизне!

— Отчизне служит тот, кто служит мне! Я уже раз убедил тебя в этом. Припомни также, что ты дал мне клятву! Наконец, как волонтер, ты выйдешь из-под моего покровительства, а тогда тебя ожидает суд с его приговорами. Для своего же блага ты не должен этого делать.

— Что суд для меня теперь?

— За Ковной ничего, но здесь, где еще спокойно, он не перестал действовать. Ты можешь не явиться, но приговоры будут приведены в исполнение, когда все успокоится; а ляуданская шляхта позаботится, чтобы о тебе не забыли.

— Говоря по совести, ваше сиятельство, я подчинюсь им беспрекословно. Раньше я готов был вести войну со всей Речью Посполитой и придавал такое же значение приговорам, как покойный Лащ, который велел ими подшить свою шубу... Но теперь у меня на совести какой-то нарыв, а душевное беспокойство его только берedit!

— Не думай об этом! Я уже сказал тебе, что если ты хочешь отсюда уехать, то у меня есть для тебя очень важное поручение. Гангофу очень хочется получить его, но он для этого не годится. Мне нужно послать туда человека влиятельного, с известным именем, и поляка, который бы сам по себе мог доказать, что не все еще меня покинули и что есть еще богатые граждане, которые на моей стороне. Ты для этого как раз годишься: ты и храбр, и предпочитаешь, чтобы тебе кланялись, чем кланяться самому!

— В чем же дело, ваше сиятельство?

— Нужно ехать очень далеко!

— Я сегодня же буду готов.

— И на свой счет, у меня сейчас денег мало. Одни поместья захватил неприятель, другие — грабят свои; все войско, которое осталось со мной, содержится на мой счет; подскарбий же, который сидит у меня под замком, не дает ни гроша, и не потому, что не хочет, а потому, что вряд ли у него что-нибудь есть. Положим, я пользуюсь общественными деньгами, не спрашивая, но много ли их. От шведов можно получить все, кроме денег, у них у самих руки дрожат при виде монеты!

— Вы напрасно говорите об этом! Если я поеду, то не иначе как на свой счет.

— Но там нужно показать себя и денег не жалеть.

— Я ничего не пожалею!

Лицо гетмана прояснилось, у него в самом деле не было наличных денег, хотя он недавно ограбил Вильну, да притом был большой скряга. Но действительно, его огромные имения, начиная от границ Инфляндии, до Киева, Смоленска и Мазовии, не давали дохода.

— Вот это хорошо! — ответил он. — Гангоф сейчас бы заглянул мне в карман, но ты другой человек. Вот в чем дело, слушай внимательно!

— Слушаю.

— Прежде всего ты поедешь на Полесье. Дорога опасная, там ты можешь всюду натолкнуться на конфедератов. Изворачивайся как знаешь! Яков Кмициц, может, тебя и пощадит, но берегись Гороткевича, Жиромского, а особенно Володыевского с его ляуданской компанией.

— Я уже был в их руках, и со мной ничего не случилось!

— И прекрасно. Заедешь в Заблудово к Герасимовичу. Вели ему собрать с моих имений как можно больше денег, подати и все прислать мне, только не сюда, а в Тыльцу, где мой обоз. Что возможно, пусть заложит или возьмет займы у жидов. Во-вторых, пусть подумает о конфедератах, как бы их известить. Но это уж не твоя забота, я дам ему особые инструкции. Ты ему передай письмо и тотчас отправляйся в

Тыкоцин к князю Богуславу.

Гетман замолчал и стал тяжело дышать, продолжительный разговор утомлял его. Кмициц так и пожирал его глазами — душа рвалась к отъезду, он чувствовал, что это путешествие, полное неожиданных приключений, будет целебным бальзамом для его душевных страданий. Через минуту гетман продолжал:

— Я просто в ужасе, почему князь Богуслав сидит до сих пор на Полесье. Господи, он может этим погубить и себя, и меня! Запомни хорошенько, что я тебе говорю. Ты передашь ему мои письма, но кроме того, ты должен будешь ему лично объяснить все, чего нельзя написать. Знай, что вчерашние известия были вовсе не так хороши, как я сказал шляхте и как думал сам в первую минуту. Правда, что шведы берут верх, что они взяли Великопольшу, Мазовию и Варшаву, что они гонят Яна Казимира к Кракову, и осадят Краков — вот помяни мое слово, — Чарнецкий будет его защищать. Он новоиспеченный сенатор, но, должен признаться, прекрасный воин. Кто может предвидеть, что случится. Шведы, правда, умеют брать крепости, а Краков даже не успели еще укрепить. Во всяком случае, этот каштелян Чарнецкий может продержаться два-три месяца, ведь бывают же чудеса, сами мы помним, что было под Збаражем! Если он продержится, все может пойти к черту. Знай это! В Вене не очень дружелюбно смотрят на возрастающее могущество шведов и могут прислать подкрепление... Татары тоже, я знаю, готовы помочь Яну Казимиру и пойдут на казаков и на Москву, а тогда из Украины к нему подоспеет на помощь Потоцкий. Сегодня Яну Казимиру не везет, но завтра счастье может оказаться на его стороне.

Тут князь опять должен был сделать передышку, а пан Андрей испытывал странное чувство, в котором сам не мог дать себе отчета. Он, сторонник Радзивилла и шведов, испытывал радость при мысли, что счастье может изменить шведам.

— Мне говорил Суханец, — продолжал князь, — что было под Видавой и Жарновом; наши передовые отряды... я хотел сказать польские, стерли шведов в порошок. Это не ополченцы!.. И шведы, говорят, чувствовали себя не очень весело.

— Но ведь победа была на их стороне и тут, и там?

— Да, потому что полки Яна Казимира взбунтовались, а шляхта объявила, что будет стоять в рядах, но драться не станет. Но во всяком случае оказалось, что в поле шведы ничуть не лучше наших регулярных войск. Одна, другая победа, и все может измениться. Пусть к Яну Казимиру придут денежные подкрепления, чтобы он мог заплатить солдатам жалованье, и они не будут бунтовать. У Потоцкого немного войск, но все это ученые и храбрые полки. Татары присоединятся к нему, а в довершение всего, на нашего курфюрста надежда плоха.

— Почему же?

— Мы рассчитывали с Богуславом, что он сейчас же присоединится к нам и к шведам, ибо мы знаем, что думать о его любви к Речи Посполитой. Но он слишком осторожен и думает только о себе. А пока он выжидает и заключает союз... но с прусскими городами, которые тоже на стороне Яна Казимира. Я думаю, что здесь кроется какая-нибудь измена, или он положительно перестал быть собой и не верит в силу шведов. Но пока это выяснится, союз против шведов останется союзом, и если только они в Малопольше поскользнутся, то сейчас же поднимется Великопольша, а за нею мазуры и пруссаки, и тогда может случиться такое...

Тут князь вздрогнул, как бы ужаснувшись собственному предположению.

— Что же может случиться? — спросил Кмициц.

— Что ни одному шведу не удастся уйти живым из Речи Посполитой! — ответил угрюмо князь.

Кмициц хмурил брови и молчал.

— Тогда, — продолжал князь, понизив голос, — и мы упадем настолько низко, насколько до сих пор стояли высоко...

Пан Андрей вскочил с места и с пылающими глазами, с краской на щеках

крикнул:

— Что это значит, ваше сиятельство? Почему же вы мне говорили недавно, что Речь Посполитая гибнет и только вы в союзе со шведами можете ее спасти? Чему мне верить? Тому ли, что вы мне говорили раньше, или тому, что я слышу сейчас? Если правда то, что вы сейчас говорите, то почему же мы держим сторону шведов, а не бьем их? Ведь душа к этому так и рвется!

Радзивилл взглянул сурово на молодого человека и сказал:

— Ты слишком смел.

Но Кмицица трудно было сдержать в его горячности.

— О том, каков я, — после. А теперь дайте мне ответ на мой вопрос!

— Вот тебе ответ, — сказал князь, отчеканивая каждое слово, — если дела примут такой оборот, как я говорю, то мы шведов будем бить.

Кмициц вдруг замолчал и, ударив себя рукой по лбу, воскликнул:

— Дурак я, дурак!

— Этого я не отрицаю, — ответил князь, — и скажу, что твоя дерзость переходит границы. Пойми, что я тебя затем и посылаю, чтобы ты узнал о положении вещей. Я хочу только блага отчизне, и больше ничего. Все, что я говорил, — это только предположения, и они могут не оправдаться, и вернее всего не оправдаются. Но нужно быть осторожным! Кто не хочет утонуть, должен уметь плавать, а кто идет через лес, где нет дороги, тот должен время от времени останавливаться и соображать, куда идти... Понимаешь?

— Все, как на ладони!

— Отказаться от договора нам можно, если это будет нужно для блага отчизны, но нам нельзя будет этого сделать, если князь Богуслав будет сидеть на Полесье. Он с ума сошел, что ли? Сидя там, он должен присоединиться или к шведам, или к Яну Казимиру, а это было бы хуже всего.

— Глуп я, ваше сиятельство, потому что опять не понимаю.

— Полесье близко от Мазовья, и или шведы его захватят, или из Пруссии придет подкрепление против них. Тогда придется выбирать.

— А почему же князю Богуславу и не выбрать?

— Пока он будет выбирать, шведы будут наблюдать за нами, как и курфюрст! Если же придется порвать с ними договор и идти против них, то он будет посредником между мной и Яном Казимиром, чего не сможет сделать, если раньше примкнет к шведам. А так как, сидя на Полесье, он принужден что-нибудь выбрать, то пусть едет в Пруссию и там выжидает, что случится. Курфюрст сидит теперь в маркграфстве, поэтому князь Богуслав будет пользоваться там большим влиянием, он может прибрать пруссаков к рукам, увеличить число своих войск и стать во главе значительных сил. Тогда и те, и Другие сделают для нас что угодно, лишь бы привлечь нас на свою сторону, и Род наш не только не упадет, но возвысится, а это главное.

— Вы, ваше сиятельство, говорили, что главное — благо отечества!

— Не придирайся к каждому слову; я уже тебе раз сказал, что это одно и то же... Я прекрасно знаю, что хотя князь Богуслав подписал наш договор со Шведами, но они его не считают своим сторонником. Пусть же он распустит слух, да и ты его распускай, что я его принудил подписать; этому легко поверят, так как часто случается, что родные братья принадлежат к разным партиям. Таким образом у него будет возможность войти в сношения с конфедератами и, пригласив начальников к себе, как будто для переговоров, потом схватить их и увезти в Пруссию. Это лучший способ, и благодетельный для отчизны, ибо иначе эти люди окончательно ее погубят.

— И это все, что я должен сделать? — спросил с некоторым разочарованием Кмициц.

— Это только часть, и даже не самая главная. От князя Богуслава ты поедешь с

моими письмами к самому Карлу-Густаву. Я здесь не могу ничего добиться от графа Магнуса со времени клеванской битвы. Он все косится на меня и думает, что если только у шведов нога поскользнется или татары пойдут на другого врага, то я пойду против шведов.

— Судя по тому, что вы раньше сказали, ваше сиятельство, его предположения справедливы!

— Справедливы или несправедливы, но я не хочу, чтобы так было и чтобы он заглядывал мне в карты... Впрочем, он и лично не расположен ко мне. Вероятно, он уж оговаривал меня перед королем, а в том, что назвал меня или слабым, или ненадежным, я уверен. Нужно это исправить! Ты передашь королю мои письма, и, если он будет расспрашивать тебя о клеванском сражении, расскажи все, как было. Ты можешь еще прибавить, что я этих людей приговорил к смерти, но что ты упросил помиловать. Тебе за это ничего не будет, наоборот, такая искренность может понравиться. Графа Магнуса прямо осуждать перед королем ты не должен, он его зять... Но если бы король, между прочим, спросил тебя об общем настроении, ты скажи ему, что все упрекают графа в неблагодарности гетману за его искреннюю дружбу к шведам, что самого князя это очень огорчает. Если он спросит, правда ли, что все меня оставили, скажи, что это неправда, и в доказательство сошлись на себя. Называй себя полковником, это на самом деле так! Скажи, что сторонники Госевского взбунтовали войска, и прибавь, что мы — заклятые враги. Дай понять, что если бы граф Магнус прислал бы мне несколько орудий и конницу, я давно разгромил бы мятежников... что это общее мнение. Прислушивайся внимательно ко всему, что говорят при дворе, и сообщай все не мне, а князю Богу славу в Пруссию. Ты можешь это сделать и через людей графа, если представится случай. Ты ведь, кажется, говоришь по-немецки?

— У меня был товарищ курляндский дворянин, некий Зенд. От него я выучился недурно говорить по-немецки. В Лифляндии тоже приходилось бывать.

— Это хорошо.

— А где мне найти шведского короля? — спросил Кмициц.

— Там, где он будет. Во время войны трудно это сказать. Если найдешь его около Кракова, тем лучше, у тебя будут письма и к другим лицам, которые сейчас в той местности.

— Значит, мне нужно будет ехать еще и к другим?

— Конечно. Тебе нужно обязательно видаться с маршалом коронным Любомирским, которого мне очень важно перетянуть на свою сторону. Это очень богатый человек и в Малопольше пользуется большим влиянием. Если он согласится перейти на сторону шведов, то Яну Казимиру нечего будет делать в Речи Посполитой. О том, что ты везешь к нему письма, а также и о цели своей поездки, ты не скрывай от короля... но не хвастай этим, а сделай вид, что проболтался случайно. Дай Бог, чтобы Любомирский не отказался. Сначала он, конечно, будет колебаться; но надеюсь, что мои письма произведут на него впечатление, особенно потому, что у него есть важная причина заботиться о моем к нему расположении. Впрочем, я тебе скажу, чтобы ты знал, как действовать. Он уже давно подъезжал ко мне, чтобы выпытать, не отдам ли я свою единственную дочь за его сына, Гераклия. Оба они еще дети, но можно будет заключить условие, а для него это очень важно, ибо другой такой невесты нет во всей Речи Посполитой; а если бы два таких состояния соединить в одно, то ему не было бы равного в мире. А если еще подать надежду, что его сын за моей дочерью унаследует и великокняжескую корону, о чем ты дашь понять ему, то он соблазнится, как Бог свят: уж очень он заботится о славе своего дома — больше, чем о Речи Посполитой.

— Что же мне ему сказать?

— То, что мне неудобно писать... Но нужно подсунуть ему все это осторожно.

Боже тебя сохрани сказать ему, что ты от меня слышал о моем желании добиться короны. Это слишком рано... Но скажи, что вся шляхта на Литве и Жмуди только и говорит об этом, что сами шведы говорят об этом, что ты и при дворе это слышал... Обрати внимание, кто ближе всего к нему стоит, и подай тому такую мысль: если Любомирский перейдет на сторону шведов и поможет князю получить великокняжескую корону, то он в награду сможет требовать для своего сына руки дочери Радзивилла и со временем унаследовать его корону; намекни ему также, что, получив ее, он может рассчитывать уже и на польский престол. Если они за эту мысль не ухватятся обеими руками, то тем самым покажут, что они мелкие люди! Кто боится великих планов, тот должен довольствоваться булавой, каштелянством, пусть выслуживается, гнет спину, через слуг добывается милости, ибо он ничего лучшего не стоит!.. Бог меня предназначил для другого, и я смело протягиваю руку ко всему, что в человеческой власти, — я хочу дойти до тех пределов, какие сам Бог предоставил людям...

И, сказав это, князь вытянул вперед руки, точно желая схватить какую-то невидимую корону, но вдруг от возбуждения стал задыхаться. Но скоро он успокоился и сказал прерывающимся голосом:

— В то время, когда душа стремится... точно к солнцу... болезнь твердит свое «Memento!»...²¹ Будь что будет... но я предпочитаю, чтобы смерть застала меня в короне... а не в королевской приемной...

— Может, позвать доктора? — спросил Кмициц.

Радзивилл махнул рукой:

— Не надо... не надо... Мне уже лучше... Вот все, что я хотел тебе сказать... Кстати... следи за тем, что предпримут Потоцкий и его сторонники. Они держатся крепко и... и сильны... Конецпольский и Собеский тоже неизвестно, на чьей стороне... Смотри и учись... Вот, все прошло... Ты меня хорошо понял?

— Да. Если в чем-нибудь и ошибусь, то по собственной вине.

— Письма почти все написаны. Когда ты хочешь ехать?

— Сегодня, и как можно скорее!

— Ты ни о чем не хочешь меня попросить?

— Ваше сиятельство... — начал Кмициц и запнулся.

— Говори смело, — сказал князь.

— Прошу вас, — сказал Кмициц, — пусть мечнику и ей... не причинят никакой обиды...

— Можешь быть уверен. Но вижу, ты эту панну еще любишь.

— И сам не знаю! — ответил Кмициц. — Минутами люблю, минутами ненавижу. Все между нами кончено... осталось лишь одно страдание... Я не женюсь на ней, но не хочу также, чтобы она досталась другому. Не допускайте до этого, ваше сиятельство... Я сам не знаю, что говорю... и вы не обращайтесь на мои слова внимания... Мне нужно уехать, тогда Бог вернет мне рассудок.

— Будь покоен; я к ней никого не допущу, и отсюда они не уедут. Лучше всего бы отправить ее в Тауроги к княжне. Будь покоен, пан Андрей! Ступай, готовься к дороге, а потом приходи ко мне обедать...

Кмициц поклонился и вышел, а князь вздохнул с облегчением. Он был рад отъезду Кмицица. При нем останется его полк и имя, как сторонника, а о нем самом он не заботился.

Напротив, уехав, Кмициц мог оказать ему большую услугу; в Кейданах он давно стал ему в тягость. Гетман был в нем увереннее издали, чем вблизи; а его дикая горячность могла окончиться в Кейданах взрывом и опасным для них обоих

²¹ Помни! (лат.) *Memento mori* — помни о смерти.

разладом.

— Уезжай скорее, сущий дьявол! — пробормотал князь, посматривая на дверь, за которой скрылся Кмициц.

Потом он велел пажу позвать Гангофа.

— Кмициц тебе передает свой полк, он уезжает; кроме того, ты будешь командовать всей конницей.

На холодном лице Гангофа мелькнуло что-то похожее на радость; он получил повышение.

Он почтительно поклонился и произнес:

— Постараюсь верной службой отплатить вашему сиятельству за милость. Потом выпрямился и ждал, точно желая что-то сказать.

— Что еще? — спросил князь.

— Сегодня утром из Вилькомира приехал шляхтич с донесением, что против вашего сиятельства идет Сапега с войсками.

Радзивилл вздрогнул, но тотчас овладел собой и сказал Гангофу:

— Можешь идти!

А потом глубоко задумался.

XXIV

Кмициц ревностно занялся приготовлениями к отъезду и выбором людей, которые должны были его сопровождать; он решил ехать со свитой, во-первых, для безопасности, а во-вторых, для представительства, подобающего послу. Он торопился выехать в тот же день на ночь, а если дождь не пройдет, то на следующее утро. Наконец ему удалось найти шесть надежных солдат, служивших у него в лучшие времена и готовых идти за ним хоть на край света. Это была исключительно шляхта, остатки некогда сильной шайки, уничтоженной Бутрымами. В числе его свиты был и вахмистр Сорока, давнишний слуга Кмицица, опытный и храбрый солдат, на душе которого тяготело немало преступлений.

После обеда гетман передал Кмицицу письма и пропуск к шведским комендантам, потом распрощался с ним трогательно и советовал быть осторожным.

К вечеру погода прояснилась, бледное осеннее солнце показалось над Кейданами и скрылось за багровыми тучами, покрывавшими небо на западе длинными полосами. Кмициц за чаркой меда прощался с офицерами, когда вошел Сорока и спросил:

— Скоро тронемся, мосци-комендант?

— Через час! — ответил Кмициц.

— Все готовы и ждут на дворе.

Вахмистр вышел, а офицеры принялись еще чаще чокаться, хотя Кмициц скорее делал вид, что пьет. Вино ему казалось противным и ничуть не улучшало его настроения, между тем как остальные были уже изрядно навеселе.

— Мосци-полковник! — говорил Гангоф. — Передайте от меня низжайший поклон князю Богуславу. Столь умного и храброго рыцаря нет во всей Речи Посполитой. Приехав к нему, вы подумаете, что попали во Францию. Другой язык, другие обычаи, и этикет такой, какого вы не встретите и при королевском дворе.

— Я помню князя Богуслава под Берестечком, — сказал Харлам. — У него был драгунский полк, вышколенный на французский лад и несший обязанности и пехоты, и конницы. Как офицеры, так и солдаты были почти сплошь французы и такие франты, что ото всех от них пахло всякими благовониями, как из аптеки. Благовоспитанность же и любезность они строго соблюдали даже во время битвы:

проколов врага рапирой, каждый из них обязательно прибавлял: «Pardonnez moi!»²² А князь Богуслав ездил среди них всегда улыбающийся, хоть бы во время самого горячего боя, ибо у французов в моде смеяться во время кровопролития. После сражения ему сейчас же приносили свежие воротнички, волосы он приглаживал горячими щипцами, делая из них локоны. Но несмотря на это, он все же очень храбр и всегда шел первым в огонь.

— Да, — заметил Гангоф, — интересные вещи ожидают вас там, вы увидите самого шведского короля, а это после нашего князя первый воин в мире.

— И Чарнецкого, — прибавил Харлам, — а об его храбрости тоже немало рассказывают.

— Чарнецкий на стороне Яна Казимира и он наш враг! — ответил Гангоф.

— Странные вещи бывают на свете, — заметил, точно про себя, пан Харлам. — Если бы год тому назад кто-нибудь сказал мне, что сюда придут шведы, — все мы, конечно, были бы уверены, что будем их бить, а между тем...

— Не мы одни, а вся Речь Посполитая приняла их с распростертыми объятиями! — возразил Гангоф.

— Совершенно верно! — ответил задумчиво Кмициц.

— Кроме Сапеги, Госевского, Чарнецкого и коронных гетманов! — сказал Харлам.

— Лучше бросим об этом говорить, — ответил Гангоф. — Ну, мосци-полковник, возвращайтесь к нам в добром здоровье... вас здесь ожидают повышения...

— И панна Биллевич! — прибавил Харлам.

— Вам до нее никакого дела нет! — ответил резко Кмициц.

— Конечно, нет, я уж слишком стар. Последний раз... Постойте, Панове... Когда же это было?.. Да, во время коронации нашего милостивого короля Яна Казимира...

— Забудьте вы это имя! — прервал Гангоф. — В настоящее время над нами царствует Карл-Густав.

— Правда... Но привычка вторая натура... Ну так вот, последний раз, во время коронации Яна Казимира, бывшего нашего короля и великого князя литовского, я страшно влюбился в одну из фрейлин княжны Вишневецкой. Прехорошенькая была девушка. Но только я захочу подойти к ней, пан Володыевский тут как тут! Я с ним даже драться хотел, да в это время между нами затесался Богун, которого Володыевский выпотрошил, как зайца. Не случись он, вы бы меня живым не видели. Но тогда я готов был драться с самим чертом. Володыевский, впрочем, не подпускал меня к ней только из любви к другу, с которым она была помолвлена, еще большим забиякой... Я думал, что не переживу... Но когда князь послал меня к Смоленску, по дороге и любовь моя выветрилась. Доехав до Вильны, я и думать о ней перестал, и до сих пор остался холостяком. Нет лучшего лекарства от неудачной любви, чем путешествие!

— Так это правда? — спросил Кмициц.

— Ей-богу! К черту всех красавиц! Мне они больше не нужны!

— И вы уехали, не попрощавшись.

— Нет, не прощался; бросил только за собой ее красную ленту, как мне посоветовала одна старая женщина, опытная в любовных делах.

— Ваше здоровье! — воскликнул Гангоф, обращаясь к Кмицицу.

— Благодарю вас! — ответил Кмициц.

— Вам ехать пора, — заметил Гангоф, — да и нас служба ждет. Счастливого пути!

— Прощайте, Панове!

²² Извините! (фр.).

— Не забудьте бросить за собой красную ленту, — сказал Харлам, — на первом ночлеге залейте огонь водой. Помните мой совет!

— Прощайте!

— Не скоро увидимся!

— А может быть, на поле битвы, — прибавил Гангоф. — Дай Бог, чтобы не пришлось воевать друг против друга.

— Этого и быть не может, — ответил Кмициц. И офицеры вышли.

На часах пробило семь. На дворе лошади били копытами о каменные плиты. Какая-то странная тревога овладела Кмицицем при мысли о предстоящем путешествии.

«Нужно ехать скорей, а там — будь что будет!» — думал он.

Но теперь, когда лошади уже фыркали за окном и наступил час отъезда, он почувствовал, что та жизнь будет для него чужда, а все, с чем он сжился, с чем невольно сросся душой и телом, останется здесь. Прежний Кмициц останется здесь, туда поедет другой человек, столь же чужой для всех, как и они, эти люди, для него. Ему придется там начать новую жизнь, а бог знает, хватит ли для этого желания.

Кмициц страшно устал душой, а потому чувствовал себя перед поездкой в новые страны, к новым людям бессильным... Ему даже казалось, что он будет там так же страдать, как и здесь.

«Ну, пора. Надо одеваться и ехать!»

«Но неужели не простившись?»

«Возможно ли, чтобы он, который был так близок с ней, стал так далек, что не может даже попрощаться перед дорогой? Вот до чего дошло! Но что же сказать ей?.. Разве лишь то, что все кончено, что «она может идти своей дорогой, а я своей». Но зачем говорить, когда это и без слов ясно. Ведь я уже больше ей не жених. Все прошло и никогда не вернется. К чему терять время, слова, к чему мучиться?»

«Не пойду», — сказал он.

Но ведь их еще соединяет воля покойного. Нужно расстаться без гнева, нужно сказать: «Вы меня не хотите, я возвращаю вам слово. Забудем о завещании; и пусть каждый из нас ищет счастья, где может».

Но она может ответить: «Я давно уже это сказала вам, к чему же повторять».

«Не пойду», — повторил Кмициц.

И, надвинув шапку, он вышел в коридор. Хотел вскочить на лошадь и поскорее очутиться за воротами.

Но вдруг точно кто схватил его за волосы.

Им овладело такое страстное желание повидаться с нею, что он не рассуждал больше и не шел, а бежал с закрытыми глазами, точно хотел броситься в воду.

У самой двери, около которой стояла стража, он наткнулся на слугу мечника.

— Пан мечник у себя? — спросил он.

— Пан мечник в цейхгаузе.

— А панна?

— Панна у себя.

— Доложи ей, что пан Кмициц уезжает и хочет с нею проститься. Слуга пошел исполнить его приказание, но не успел он вернуться с ответом, как Кмициц взялся за ручку двери и вошел, не спрашивая разрешения.

— Я пришел с вами проститься, — сказал он, — бог весть, увидимся ли мы когда-нибудь. Я хотел ехать, не простившись, но не мог. Кто знает, вернусь ли я и когда вернусь. Лучше расстанемся без гнева, чтобы нас не постигла кара Божья. Мне многое хотелось бы сказать, но я не могу. Не было счастья, значит, не было воли Божьей, и теперь, хоть головой об стену бейся, ничто не поможет. Не осуждайте меня, и я вас судить не буду. Не будем обращать внимания на волю покойного, ибо она перед Божьей волей ничего не значит. Дай Бог вам счастья и спокойствия! Главное:

простим друг другу. Не знаю, что меня там ожидает. Но дольше оставаться здесь я не могу... Нет для меня спасения... Я ничего здесь не могу делать, как только по целым дням думать о своем горе и ничего, в конце концов, не выдумать. Мне нужен этот отъезд, как рыбе вода, как птице воздух, иначе я с ума сойду!..

— Пошли вам Господь счастья! — ответила панна Александра.

Она стояла перед ним, точно оглушенная его словами. На лице ее отражалась тревога и замешательство, которые она напрасно старалась скрыть; она смотрела на молодого человека широко раскрытыми глазами и наконец сказала:

— Я не сержусь на вас.

— Дай Бог, чтоб так было, — ответил Кмициц. — Какой-то злой дух стал меж нас и разъединил нас, точно морем, и этого моря нам не переплыть. Мы шли не туда, куда нам хотелось, а туда, куда нас что-то толкало, и заблудились оба. Но теперь, когда нам надо расстаться, лучше крикнуть хоть издали друг другу: «Счастливого пути!» Я тоже не сержусь на вас и думаю только, что все же нам лучше объясниться. Вы меня считаете изменником, и это для меня больше всего, ибо — клянусь спасением души! — я никогда им не был и не буду.

— Я теперь этого не думаю! — ответила девушка.

— Как же вы могли думать это хоть один час?! Правда, я раньше мог, не задумываясь, поджечь кого-нибудь, застрелить, но изменить ради собственной выгоды, ради себя — никогда! Вы женщина и не можете понять, в чем спасение отчизны, и не должны меня осуждать. Знайте же, что спасение в руках Радзивилла и шведов, и кто думает иначе, тот губит отчизну; я не изменник и никогда им не буду. Вы осудили меня несправедливо!.. Клянусь вам, я говорю это для того, чтобы вместе с тем сказать: я прощаю вас, но и вы меня простите.

Панна Александра уже овладела собою.

— Я сознаюсь в своей вине и прошу у вас прощения...

Голос ее дрогнул, и глаза наполнились слезами; Кмициц воскликнул взволнованным голосом:

— Прощаю, прощаю, я бы тебе и смерть свою простил!

— Пусть же Бог наставит вас на путь истины и не даст идти дальше по пути заблуждения!

— Замолчи, бога ради! — воскликнул Кмициц. — Как бы опять между нами не произошло недоразумения. На ложной ли я дороге или нет, но не говори об этом. Один Бог мне судья! Дай же мне руку на прощанье... Ни завтра, ни послезавтра, а может быть, и никогда уже я не увижу тебя, Оле нька!.. Неужели мы с тобой уже не увидимся больше?..

Крупные слезы, как жемчуг, стали падать на ее щеки.

— Пан Андрей... Оставьте этих изменников... и, может быть, все...

— Замолчи!.. Замолчи!.. — ответил Кмициц прерывающимся голосом. — Не могу!.. Лучше не говори... Если бы меня убили, я бы не страдал так! Боже милостивый, за что такая мука? Прощай... в последний раз... Пусть смерть потом закроет мне глаза! Зачем ты плачешь?.. Не плачь, я с ума сойду!!

И, подбежав к ней, он прижал ее к груди и стал покрывать поцелуями ее глаза, губы, затем упал к ее ногам, наконец вскочил, как безумный, и, схватившись за голову, выбежал из комнаты, воскликнув:

— Тут и сам черт не поможет, не то что красная лента!

Оле нька видела через окно, как он сел на лошадь и в сопровождении шести всадников направился к воротам, где часовые отдали ему честь; ворота захлопнулись, и они скрылись в темноте. Настала ночь...

XXV

Ковна и вся сторона на левом берегу Вилии, а также все дороги были заняты неприятелем, и так как Кмициц не мог ехать на Полесье большой дорогой, через Ковну и Гродну, то поехал боковыми дорогами, по берегу Невяжи до самого Немана, миновав который очутился в Троцком воеводстве.

Всю эту, правда не очень большую, часть пути он проехал без приключений, ибо местность эта находилась еще в руках Радзивилла.

Местечки, а кое-где и деревни, были заняты радзивилловскими войсками или небольшими шведскими отрядами, которые гетман умышленно выдвинул против Золотаренки, стоящего по другую сторону Вилии.

Золотаренко был бы не прочь «потрепать» шведов, но те, чьим он был помощником, не хотели с ними войны или, по крайней мере, желали отложить ее на продолжительное время; поэтому Золотаренко получил строжайший приказ — не переходить реки, а в случае, если бы сам Радзивилл вместе со шведами выступил против него, он должен был сейчас же отступить.

Благодаря этому местность по правой стороне Вилии была спокойнее, но так как через реку посматривали друг на друга, с одной стороны, казацкие сторожевые отряды, а с другой — шведские и радзивилловские, то один выстрел мог повлечь за собой страшную войну.

В ожидании этого все попрятались в более безопасные места. Было спокойно, но и пусто. Повсюду Кмициц встречал безлюдные местечки и деревни.

Поля тоже были пусты, в этом году их никто не засеивал. Простой народ прятался в непроходимые леса, куда забирал и все свое достояние; шляхта бежала в соседнюю Пруссию, которой пока еще не грозила война. Только на дорогах было движение, ибо число бежавших увеличивали и те, которым удалось переправиться с левого берега Вилии, из-под гнета Золотаренки.

Последних было много, особенно крестьян, — шляхта была большей частью или взята в плен, или перерезана на порогах собственных домов.

Кмициц то и дело встречал целые толпы крестьян с женами и детьми; они гнали перед собой стада рогатого скота, лошадей и овец. Эта часть Троцкого воеводства была богата и плодородна, и у крестьян было что припрятать. Наступающая зима не пугала беглецов, и они предпочитали ожидать лучших дней среди лесных мхов, в шалашах, покрытых снегом, чем в своих родных деревнях умереть от рук неприятеля.

Кмициц часто подъезжал к беглецам или к кострам, горевшим ночью в лесных зарослях, и всюду слышал страшные рассказы о зверствах Золотаренки и его приверженцев, которые резали людей, не глядя ни на возраст, ни на пол, жгли деревни, рубили в садах деревья, оставляя только землю и воду. Ни одно татарское нашествие не причиняло такого опустошения.

Они не довольствовались обыкновенной смертью своих жертв и, прежде чем убить их, мучили страшными пытками. Многие из этих людей бежали, лишившись рассудка, и по ночам наполняли лес раздирающими душу криками; другие хоть и перешли уже на другую сторону Немана и Вилии, где их от Золотаренки отделяли леса и болота, но жили все время под страхом и протягивали руки к Кмицицу и его спутникам, умоляя о пощаде, точно перед ними стоял неприятель.

Встречал он по пути и шляхетские кареты, в которых ехали старики, женщины и дети; а за ними шли телеги, нагруженные запасами живности, домашней утварью и другими вещами. Всюду был страшнейший переполох, скорбь...

Кмициц порой утешал этих несчастных, говорил, что скоро придут шведы и прогонят того неприятеля, что за рекой. Тогда беглецы поднимали руки к небу и говорили:

— Пошли, Господи, здоровья и счастья нашему князю-воеводе за то, что он этих добрых людей привел для нашего спасения. Как только придут шведы, мы вернемся домой, на наши родные пепелища.

Все с благоговением произносили имя князя. Из уст в уста передавалась весть, что он скоро придет во главе своих и шведских войск. Сперва прославляли «скромность» шведов и их человеческое обращение с местными жителями. Радзивилла называли литовским Гедеоном, Самсоном и спасителем. Люди, бежавшие из местностей, где дымились еще теплая кровь и пожарища, ожидали его, как спасения.

А в Кмицице, когда он слышал эти благословения и пожелания, росла вера в Радзивилла, и он повторял в душе: «Вот какому человеку я служу! Я пойду за ним всюду с закрытыми глазами. Он бывает иногда страшен и загадочен, но он умнее других, и в нем одном спасение».

У него стало легче на душе при этой мысли, и он продолжал путь, то тоскуя о Кейданах, то раздумывая о безвыходном положении отчизны.

Тоска в нем все росла, но красной ленточки он не бросил, огня не залил, ибо заранее был убежден, что это не поможет.

— Ах, будь она здесь, если бы слышала она эти рыдания и стоны, то не молила бы Бога, чтобы он меня наставил, не говорила бы, что я заблуждаюсь, как те еретики, что изменили истинной вере. Но это ничего! Рано или поздно она увидит, кто ошибался. А тогда будет, что Бог даст! Может, мы еще увидимся.

И вместе с тоской в нем росло убеждение, что он идет по верному пути, и это вернуло ему спокойствие, которого он давно лишился. С тех пор как он, после стычек с Хованским, возвращался в Любич, у него ни разу еще не было так весело на душе.

Харламб был прав, говоря, что нет лучшего лекарства от душевных страданий, как путешествие. Здоровье у Кмицица было железное, и врожденная любовь к приключениям снова ожила в его душе. Он уже видел их перед собою, радовался им и гнал свой отряд без отдыха, делая лишь короткие остановки для ночлега.

Перед глазами у него все стояла его дорогая Оле нька, заплаканная, дрожащая в его объятиях, как птичка, и он говорил себе: «Вернусь!»

Порою перед ним вставала фигура гетмана, мрачная, огромная, грозная. Но, может быть, именно потому что он от нее удалялся все больше, она становилась для него почти дорогой. До сих пор он ему подчинялся, теперь начинал любить. До сих пор Радзивилл захватывал его, как водоворот, который втягивает все, что находится вблизи него; теперь Кмициц чувствовал, что он сам добровольно хочет плыть за ним.

И издали этот огромный воевода вырос в глазах молодого рыцаря почти до невероятных размеров. Не раз, закрыв глаза, он видел гетмана на троне, и трон этот был выше сосен. На голове его была корона, лицо было то же, как всегда, но мрачное, огромное, в руках меч и жезл, а у ног вся Речь Посполитая.

И он склонялся в душе перед его величием.

На третий день Кмициц со своими людьми оставили Неман далеко за собой и въехали в еще более лесистую местность. Беглецов он встречал на дорогах целыми толпами, а шляхта, которая не могла владеть оружием, почти вся уходила в Пруссию от набегов неприятеля, ибо, не задерживаемый в этой местности радзивилловскими и шведскими отрядами, он мог проходить к самым границам Пруссии. Главной его целью был грабеж.

Часто это были шайки, якобы принадлежащие Золотаренке, а на деле не признававшие над собой никакого начальства — просто разбойничьи шайки, так называемые «партии», предводительствуемые местными громилами. Они избегали встреч с войсками и даже с городскими жителями, предпочитая нападать на деревни, имения и на отдельных путников.

Шляхта громила их при случае и украшала ими придорожные сосны, но, несмотря на это, всегда можно было наткнуться на большие их отряды, и Кмициц должен был соблюдать чрезвычайную осторожность.

Несколько далее Кмициц застал жителей, сидящих спокойно в своих жилищах;

мещане рассказывали ему, что дня два тому назад на староство напал отряд Золотаренки в пятьсот человек и вырезал бы всех, как всегда, а город поджег бы, если бы не неожиданная помощь, которая на них точно с неба свалилась.

— Уж мы готовились к смерти, — рассказывал арендатор заезжего дома, где остановился Кмициц, — как вдруг Господь послал нам на помощь какое-то войско. Мы сперва думали, что это новый неприятель, а оказалось — свои. Они сейчас же бросились на этих негодяев и в час их всех с нашей помощью уложили.

— Чей же это был отряд? — спросил Кмициц.

— Пусть Бог им даст здоровья... Они ничего не сказали, а мы и спрашивать не смели, кто они такие. Покормили лошадей, взяли сена, хлеба и уехали.

— А откуда они пришли и куда пошли?

— Пришли со стороны Козловой Руды, а пошли на юг. Мы хотели было раньше бежать в лес, но раздумали, остались, нам пан подстароста сказал, что после такой трепки разбойники сюда не скоро явятся.

Кмицица сильно заинтересовало известие об этой битве, и он спросил снова:

— А вы не знаете, как зовут полковника?

— Не знаем, но полковника мы видели, он разговаривал с нами. Молодой он и маленький, как иголка. На вид совсем не такой воин, каков на самом деле.

— Володыевский! — воскликнул Кмициц.

— Володыевский или другой кто, мы не знаем, но пусть Бог даст ему сделаться гетманом!

Кмициц глубоко задумался. Очевидно, он шел по той же дороге, по которой несколько дней тому назад проходил Володыевский со своими ляуданцами. И это было вполне естественно, ибо оба они шли на Полесье. Ему пришло в голову, что если он будет торопиться, то может наткнуться на маленького рыцаря, а в таком случае все радзивилловские письма попадут в руки конфедератов. Подобное столкновение могло бы свести на нет всю его миссию и причинить бог знает какой вред радзивилловскому делу. Кмициц решил остановиться в Пильвишках дня на два, чтобы Володыевский за это время ушел как можно дальше.

На следующий день он убедился, что поступил более чем благоразумно, ибо не успел еще одеться, как к нему явился хозяин постоялого двора.

— Я к вашей милости с новостью, — сказал он.

— Хорошей?

— Ни дурной, ни хорошей, а только то, что у нас гости. Сегодня утром к нам съехался целый двор и остановился в доме старосты. Сколько войска, карет, прислуги. Мы думали сначала, что это сам король.

— Какой король?

Корчмарь замялся и стал теревить в руках шапку.

— Правда, у нас теперь два короля, но ни один из них не приехал, а приехал князь-конюший.

Кмициц вскочил.

— Что? Князь-конюший? Князь Богуслав?

— Точно так. Двоюродный брат князя-воеводы виленского.

— Вот приятная встреча! — воскликнул Кмициц.

Корчмарь, поняв, что Кмициц знаком с князем, поклонился ему ниже, чем накануне, и вышел из комнаты, а Кмициц стал торопливо одеваться и час спустя был уже у дома старосты.

Все местечко было полно солдат. Пехота устанавливала в козлы ружья; Драгуны спешили и заняли соседние дома. Солдаты и придворные в самых разнообразных одеждах стояли перед домами или прогуливались по улицам. Всюду слышалась французская и немецкая речь. Нигде ни одного польского воина, ни одного польского мундира; пехота и драгуны были одеты в какие-то странные

костюмы, совсем не похожие на те, которые Кмициц видел на иностранных солдатах в Кейданах. Солдаты были так красивы и видны, что каждого рядового можно было принять за офицера. Кмициц залюбовался ими. Все они с любопытством разглядывали молодого рыцаря, шедшего в дорогом праздничном наряде в сопровождении свиты.

По двору бродили придворные, все одетые по-французски: пажи в беретах с перьями, берейторы в высоких шведских ботфортах.

Видимо, князь не имел намерения останавливаться надолго в Пильвишках и заехал только накормить лошадей, так как экипажи стояли тут же, а лошадей кормили из жестяных сит, которые держали в руках.

Кмициц подошел к офицеру, стоявшему на карауле перед домом, и сказал, кто он и зачем приехал; тот отправился сейчас же доложить о нем князю. Немного спустя он торопливо вернулся с уведомлением, что князь немедленно хочет видеть гетманского посланного, и, указывая Кмицицу дорогу, вошел вместе с ним в дом.

Миновав сени, они в столовой застали нескольких придворных, сидевших с вытянутыми в креслах ногами и сладко дремавших. Перед дверью следующей комнаты офицер остановился и, поклонившись пану Андрею, сказал по-немецки:

— Князь там!

Пан Андрей вошел и остановился у порога. Князь сидел перед зеркалом, поставленным в углу комнаты, и так пристально всматривался в свое лицо, только что покрытое румянами и белилами, что не обратил внимания на вошедшего. Двое слуг, стоя на коленях, застегивали пряжки высоких дорожных сапог, он же расчесывал медленно густую, ровно подрезанную надо лбом гривку золотистого парика или, может быть, собственных густых волос.

Это был еще молодой человек, лет тридцати пяти, которому на вид можно было дать лет двадцать пять самое большое. Кмициц знал его, но смотрел на него с любопытством, во-первых, потому, что много слышал об его рыцарской славе и многочисленных поединках с разными заграничными вельможами, а также благодаря необыкновенной наружности его, которую, увидев раз, трудно было забыть. Князь был высок и прекрасно сложен, но над его плечами возвышалась такая маленькая голова, что, казалось, она была приставлена с другого туловища; черты лица были тоже необыкновенно мелки, почти как у юноши, но и в нем не было симметрии: большой римский нос и громадные глаза, необыкновенной красоты и блеска, с орлиной смелостью взгляда. Остальная часть лица, окаймленная вдобавок длинными, густыми локонами, исчезла почти совсем; над маленькими, чуть ли не детскими губами росли небольшие усики. Нежный цвет лица, подкрашенного белилами и румянами, делал его похожим на девушку, но в то же время смелость, гордость и самоуверенность его лица не позволяли забывать, что это тот знаменитый «chercheur de noises»²³, как его называли при французском дворе, у которого острота так же легко вылетала из уст, как сабля из ножен.

В Германии, в Голландии и Франции рассказывали чудеса об его военных подвигах, ссорах, приключениях и поединках. В Голландии он бросился в самый разгар битвы в толпу несравненной испанской пехоты и собственными руками отбивал орудия и знамена; во главе полков принца Оранского брал крепости, признанные опытными вождями неприступными; над Рейном, во главе французских мушкетеров, он разбивал полки тяжелой немецкой пехоты; ранил на поединке первого французского фехтовальщика, князя де Фремуйля; другой известный забияка, барон фон Гетц, на коленях умолял его даровать ему жизнь; он ранил барона Грота, за что должен был выслушивать от брата Януша горькие упреки в том,

²³ Искатель ссор, задира, забияка (фр.).

что унижает свое княжеское достоинство, выходя на поединок с людьми низшего происхождения; наконец, на балу в Лувре, в присутствии всего французского двора, он дал пощечину маркизу де Риэ за то, что тот ему сказал дерзость.

Поединки, происходившие инкогнито по маленьким городам, гостиницам и постоялым дворам, не входили, конечно, в расчет. Все в нем было полно какой-то смеси женской изнеженности с необузданной отвагой. Во время редких кратковременных посещений родной страны он забавлялся ссорами с родом Сапег и охотой. Но тогда лесникам приходилось отыскивать для него медведиц с медвежатами, самых опасных и остервенелых, на которых он шел, вооружившись только рогатиной. Впрочем, он скучал на родине и приезжал домой нехотя, главным образом, во время войны; большими победами он прославился под Берестечком, Смоленском, Могилевом. Война была его стихией, хотя его быстрый и гибкий ум годился и для дипломатических интриг.

В них он умел быть терпеливым и твердым, гораздо более постоянным, чем в своих «амурах», длинная вереница которых дополняла историю его жизни. Мужья, у которых были красивые жены, боялись его как огня. Должно быть, поэтому он сам до сих пор не женился, хотя высокое происхождение и несметные богатства делали его одним из завиднейших женихов в Европе. Его сватали французский король и королева Мария-Людвика польская, князь Оранский и дядя, принц Бранденбургский, но он предпочитал свободу.

— Приданого мне не надо, — говорил он цинично, — а в других радостях у меня нет недостатка.

Так он дожил до тридцати пяти лет.

Кмициц, стоя у порога, с любопытством присматривался к отражавшемуся в зеркале лицу, а князь задумчиво расчесывал волосы; пан Андрей наконец кашлянул раз, другой, тогда князь, не поворачивая головы, спросил:

— Кто там? Не посланный ли от князя-воеводы?

— Не посланный, но от князя-воеводы! — ответил пан Андрей.

Тогда князь повернул голову и, увидев перед собой блестящего молодого человека, понял, что имеет дело не с обыкновенным слугой.

— Простите, мосци-пане кавалер! — сказал он любезно. — Вижу, что я ошибся. Но лицо ваше мне знакомо, хотя фамилии не могу вспомнить. Вы не придворный князя-воеводы?

— Меня зовут Кмициц, — ответил пан Андрей, — я не придворный, а полковник, с того времени, как привел князю-гетману собственный полк.

— Кмициц! — воскликнул князь. — Тот самый, который во время последней войны делал выпады на Хованского... а потом недурно справлялся и на собственный страх... Я много о вас слышал!

Сказав это, князь стал внимательнее и с некоторым удовольствием всматриваться в пана Андрея, в котором он, по рассказам, видел человека своего покроя.

— Садитесь, пане кавалер! — сказал он. — Я очень рад познакомиться поближе. А что слышно в Кейданах?

— Вот письмо от князя-гетмана, — ответил Кмициц.

Слуги, окончив застегивание сапог, вышли, князь сломал печать и стал читать, спустя минуту на его лице отразились скука и апатия. Он бросил письмо под зеркало и сказал:

— Ничего нового. Князь-воевода советует мне перебраться в Пруссию или Тауроги, что я и делаю, как видите. Ma foi!²⁴ Я не понимаю пана брата! Он пишет мне,

²⁴ Право же! (фр.).

что курфюрст в маркграфстве, что в Пруссию пробраться благодаря шведам он не может. Пишет, что у него волосы дыбом встают на голове: почему я молчу? А что же мне делать? Если курфюрст не может пробраться, то как же проберется мой посланный? Я сидел на Полесье потому, что ничего другого не оставалось делать. И скажу вам, мосци-кавалер, что скучал там, как черт на молебне. Медведей, что были близ Тыкоцина, я перебил всех, женщины тамошние пахнут овчиной, а этого запаха мой нос не выносит. Кстати, вы понимаете по-французски или по-немецки?

— По-немецки понимаю, — ответил Кмициц.

— Ну слава богу... Буду говорить по-немецки: от вашего языка у меня губы пухнут.

Сказав это, князь слегка вытянул нижнюю губу и прикоснулся к ней пальцами, как бы желая убедиться, не распухла ли она в самом деле, потом посмотрел в зеркало и продолжал:

— До меня дошли слухи, что около Лукова у какого-то шляхтича Скшетуского дивной красоты жена. Это далеко. Но я послал людей похитить ее и привезти сюда. И вот, вы не поверите, ее не нашли дома!

— Ваше счастье, — ответил пан Андрей, — потому что это жена знаменитого кавалера и рыцаря, который из Збаража пробрался через все войска Хмельницкого к королю.

— Мужа осаждали в Збараже, а я бы жену осадил в Тыкоцине. Вы думаете, что она защищалась бы с такой же яростью?

— Ваше сиятельство, при такой осаде вы не нуждались бы в моих советах, поэтому легко можете обойтись и без моего мнения! — ответил резко Кмициц.

— Правда. Жаль терять время на такие разговоры, — ответил князь. — Возвращаюсь к делу: у вас есть еще какие-нибудь письма?

— Письмо вашему сиятельству я уже передал, есть еще к шведскому королю. Не можете ли вы мне сказать, где его искать?

— Ничего не знаю. И откуда мне знать? В Тыкоцине его нет, за это я ручаюсь, потому что если бы он хоть раз заглянул туда, то отказался бы от обладания всей Речью Посполитой. Варшава, как я уже вам писал, в шведских руках, но вы и там не найдете его королевского величества. Он, должно быть, около Кракова или в самом Кракове, если не ушел еще в королевскую Пруссию. В Варшаве вы все узнаете. По моему мнению, Карл-Густав должен подумать о прусских городах, так как не может оставить их за собою. Кто бы мог ожидать, что в то время, когда вся Речь Посполитая отказывается от своего короля, когда вся шляхта присоединяется к шведам и воеводства сдаются одно за другим, — прусские города не хотят и слышать о шведах и готовятся дать отпор. Они хотят спасти Речь Посполитую и поддержать Яна Казимира. Задумывая наше дело, мы полагали, что все будет иначе, что они-то нам и помогут разрезать тот каравай, который вы зовете своей Речью Посполитой. А тут — ни с места! Счастье, что курфюрст глаз с них не спускает. Он уже обещал им помощь против шведов, но жители Гданьска ему не доверяют и говорят, что у них довольно своих сил.

— Мы уже знали это в Кейданах, — ответил Кмициц.

— Если у них недостаточно своих сил, то во всяком случае у них хорошее чутье, — продолжал князь, — графу столько же дела до Речи Посполитой, сколько мне или воеводе виленскому.

— Позвольте мне, ваше сиятельство, не согласиться с вами! — воскликнул с жаром Кмициц. — Князь-воевода только и заботится о Речи Посполитой и готов за нее пролить последнюю каплю крови.

Князь Богуслав захохотал:

— Вы слишком молоды, кавалер, молоды! Дядя-курфюрст больше всего заботится о том, как бы сцапать королевскую Пруссию, и только поэтому и

предлагает им свою помощь. Но как только она будет у него в руках, как только в городах будут стоять его гарнизоны, он на следующий же день заключит союз со шведами, турками, даже с дьяволами. Если бы еще шведы прибавили ему часть Великопольши, то он бы из кожи вылез, чтобы помочь им забрать остальное. В том-то и горе, что шведы сами точат зубы на Пруссию, и отсюда все недоразумения между ними.

— Я с недоумением слушаю слова вашего сиятельства, — сказал Кмициц.

— Черт меня брал на Полесье, — продолжал князь, — что мне приходилось так долго сидеть сложа руки. Но что мне было делать? Мы условились с князем-воеводой, что, пока в Пруссии дело не выяснится, я не перейду открыто на сторону шведов. И это правильно, ибо этим путем всегда будет открыт тайный выход. Я послал даже тайно гонцов к Яну Казимиру, объявляя, что готов созвать на Полесье посполитое рушение, лишь бы мне прислали манифест. Короля, может быть, мне и удалось бы провести, но королева мне не верит и, должно быть, отсоветовала. Если бы не бабы, я бы уж сегодня стоял во главе всей полесской шляхты, а главное, во главе тех конфедератов, что разоряют теперь имения князя-воеводы: ведь им не оставалось бы ничего более, как пойти под мою команду. Я называл бы себя сторонником Яна Казимира, а на самом деле, имея в руках силу, торговался бы со шведами. Но эта баба слышит, как трава растет, и отгадывает самые сокровенные мысли. Она не королева, а настоящий король. У нее больше ума в одном мизинце, чем у Яна Казимира во всей голове.

— Князь-воевода... — начал Кмициц.

— Князь-воевода, — перебил с нетерпением Богуслав, — вечно опаздывает со своими советами, он пишет мне в каждом письме «сделай то-то и то-то», а я это давно уже сделал. Князь-воевода, кроме того, голову потерял... Послушайте, пане кавалер, чего он от меня требует...

И князь схватил письмо и стал читать вслух:

— «Сами вы, ваше сиятельство, будьте в дороге осторожны, а этих сорванцов конфедератов, которые шалют там, на Полесье, и взбунтовались против меня, постарайтесь разбить, чтобы они не могли пойти к королю. Они идут на Заблудов, а там крепкое пиво: как только перепьются, пусть их всех перережут, потому что они не стоят ничего лучшего. Когда будут перерезаны главари, остальные разбредутся».

Богуслав с недовольством бросил письмо на стол.

— Ну посудите, как же я могу в одно и то же время ехать в Пруссию и Устраивать резню в Заблудове? Играть роль патриота и сторонника Яна Казимира и вместе с тем резать тех, кто не хочет изменять королю и отчизне. Есть ли здесь смысл? Разве одно другому не противоречит? Ma foi, князь-гетман теряет голову! Ведь я сейчас, по дороге в Пильвишки, встретил какой-то взбунтовавшийся полк, идущий на Полесье. Я бы с удовольствием его разгромил, хотя бы для того, чтобы доставить себе удовольствие; но пока я не стал открытым сторонником шведов, пока дядя-курфюрст хотя бы для виду на стороне прусских городов а, следовательно, и на стороне Яна Казимира, — до тех пор я не могу доставлять себе подобные удовольствия, ей-богу, не могу... Единственно, что я мог сделать, — это любезничать с этими бунтовщиками, как и они со мной любезничали, подозревая меня в сношениях с гетманом, но не имея явных доказательств.

Тут князь уселся удобнее в кресло, вытянул ноги и, заложив небрежно руки под голову, начал повторять:

— Ну и галиматья в вашей Речи Посполитой! Ну и галиматья! Ничего подобного нельзя встретить во всем мире.

Вдруг он замолчал; ему, видно, пришла в голову какая-то новая мысль, он хлопнул себя по парике и спросил:

— А вы не будете на Полесье, ваць-пане?

— Как же, — ответил Кмициц, — у меня есть письмо с инструкциями к Герасимовичу, подстаросте в Заблудове.

— Вот как? Но ведь Герасимович здесь, со мной, — сказал князь. — Он едет с гетманскими вещами в Пруссию; мы боялись, что они попадут в руки бунтовщиков. Погодите, я прикажу его позвать.

Князь кликнул слугу и велел позвать подстаросту, а сам продолжал:

— Как все хорошо складывается. Вы избавите себя от лишних хлопот. Хотя... пожалуй, и жаль, что вы не едете на Полесье, там в числе конфедератских главарей есть и ваш однофамилец... Может быть, вам удалось бы его к нам завербовать.

— У меня не хватило бы времени, — ответил Кмициц, — мне нужно спешить к королю шведскому и пану Любомирскому.

— А! Значит, у вас есть письмо и к пану коронному маршалу? Догадываюсь, в чем дело... Когда-то Любомирский думал сосватать своего сына с дочерью Януша... Не хочет ли теперь гетман деликатным образом возобновить сватовство?

— В том-то и дело!

— Оба они еще совершенные дети... Гм, деликатная миссия! Ведь гетману неудобно напрашиваться первому. Притом... — Князь наморщил брови. — Притом из этого ничего не выйдет. Князь-гетман должен понимать, что его состояние должно остаться в руках Радзивиллов.

Кмициц с удивлением посматривал на князя, который ходил быстрыми шагами по комнате. Вдруг он остановился перед Кмицицем и сказал:

— Дайте мне кавалерское слово, что ответите на мой вопрос искренне.

— Ваше сиятельство, — сказал Кмициц, — лгут только те, кто боится, а я никого не боюсь.

— Приказал ли вам князь-воевода сохранить передо мной в секрете сватовство с Любомирским?

— Если бы мне было дано такое приказание, то я бы и не упоминал о нем.

— Могли бы проговориться. Даете слово?

— Даю! — ответил Кмициц, нахмутив брови.

— Вы сняли камень с моего сердца: я думал, что гетман и со мной ведет двойную игру.

— Не понимаю, ваше сиятельство.

— Я не женился во Франции на дочери Рогана, не считая еще с полусотни других княжон, которых мне сватали... знаете почему?

— Не знаю.

— Потому что мы заключили с князем-воеводой условие, что его дочь и его состояние растут для меня. Как верный слуга Радзивиллов, вы можете знать обо всем.

— Благодарю за доверие... Но вы несколько ошибаетесь, ваше сиятельство... Я не слуга Радзивиллов.

Князь Богуслав широко открыл глаза.

— Кто же вы?

— Я гетманский, но не придворный полковник и, кроме того, родственник князя-воеводы.

— Родственник?

— Я в родстве с Кишками, а мать гетмана — урожденная Кишко. Князь Богуслав с минуту смотрел на Кмицица, на щеках которого выступил легкий румянец. Вдруг он протянул руку и сказал:

— Прошу извинения, кузен, мне лестно такое родство.

Последние слова были произнесены с какой-то небрежной, хотя изысканной любезностью, в которой было что-то оскорбительное для пана Андрея. Щеки его еще больше вспыхнули, и он уже открыл рот, чтобы что-то ответить, как вдруг дверь

открылась и на пороге появился управляющий Герасимович.

— Вам письмо, — сказал ему князь Богуслав.

Герасимович поклонился князю, затем пану Андрею, который подал ему письмо.

— Читайте, пане, — сказал ему князь Богуслав. Герасимович стал читать.

— «Пане Герасимович. Теперь время вам доказать преданность верного слуги своему господину. Деньги, которые вы можете собрать в Заблудове, а пан Пшинский в Орле...»

— Пана Пшинского зарубили конфедераты, — прервал князь, — поэтому пан Герасимович удирает.

Подстароста поклонился и продолжал читать:

— «...а пан Пшинский в Орле — подати, чинш и аренду...»

— Все уже забрали конфедераты, — снова прервал князь Богуслав.

— «...присылайте мне все как можно скорее, — продолжал читать Герасимович. — Можете и деревни какие-нибудь заложить у соседей, взяв как можно больше. Лошадей, все вещи, а в Орле большой подсвечник, картины и утварь, а главное — пушки, что стоят у крыльца, вышлите с моим братом-князем, ибо нужно ожидать грабежей».

— Опять запоздалый совет, пушки идут со мной! — сказал князь.

— «...Пушки разобрать по частям и хорошенько прикрыть, чтобы нельзя было догадаться, что везете. Везите все это немедленно в Пруссию, особенно избегая по дороге тех изменников, которые, взбунтовав мои войска, разоряют мои староства...»

— Да, уж и разоряют! Скоро от них и камня на камне не останется, — прервал князь.

— «...разоряют мои староства и собираются идти на Заблудов, а оттуда, должно быть, к королю. С ними биться трудно, ибо их много, но при встрече их можно подпоить, а ночью спящих перерезать (каждый хозяин может это сделать) или подсыпать чего-нибудь в крепкое пиво, а еще, может, собрать какую-нибудь шайку и устроить на них облаву...»

— Ничего нового! — сказал князь Богуслав. — Можете ехать со мной, пане Герасимович...

— Есть еще какая-то приписка, — ответил подстароста. И начал читать снова.

— «...Если нельзя вывезти все вина, то сейчас же их продать за наличные...»

Тут пан Герасимович схватился за голову:

— Господи боже! Вина ведь идут в полдне пути за нами и, верно, попали в руки того отряда мятежников, который проходил мимо нас. Потеря не меньше тысячи червонцев. Засвидетельствуйте, ваше сиятельство, что вы сами приказали мне ожидать, пока бочки не уложат на телеги.

Страх пана Герасимовича еще бы усилился, если бы он знал пана Заглобу и то, что он в этом отряде. Князь Богуслав расхохотался и сказал:

— Пусть пьют на здоровье, читайте дальше.

— «...если же не найдется покупателя...»

Князь Богуслав схватился за бока и сказал:

— Уже нашелся. Придется лишь в долг ему поверить.

— «...если же не найдется покупателя, — читал жалобным голосом Герасимович, — то зарыть их в землю, но незаметно, чтобы более двух человек об этом не знало. Две-три бочки оставить в Орле и Заблудове, непременно самого лучшего и сладкого, чтобы разлакомить, а потом всыпать туда яду, чтобы хоть старшины околели, а без них вся шайка сама разбредется. Ради бога, не откажите мне в ваших услугах и, главное, сохраните все в тайне; они или сами найдут и выпьют, или пригласите их и угостите».

Подстароста, окончив чтение письма, стал пристально смотреть на князя Богуслава, как бы ожидая инструкций, а князь сказал:

— Вижу, что мой брат хорошего мнения о конфедератах, жаль лишь, что он опять запоздал... Додумайся он до этого недели две или хоть неделю назад, можно бы попробовать. А теперь идите с Богом, пане Герасимович, вы нам больше не нужны.

Герасимович поклонился и вышел.

Князь Богуслав остановился перед зеркалом и стал внимательно присматриваться к своей наружности, — поворачивал голову то вправо, то влево, отходил от зеркала, подходил к нему, встряхивал своими кудрями, не обращая никакого внимания на Кмицица, который сидел в тени, спиной к окну.

Но если бы князь хоть раз взглянул на молодого посла, то понял бы, что с ним творится что-то неладное: лицо Кмицица было бледно, лоб был весь в крупных каплях пота, руки судорожно дрожали. Он вскочил было со стула, но тотчас же сел снова, как человек, который борется с охватившим его бешенством или отчаянием. Наконец черты его лица точно онемели, очевидно, он напрягал всю силу воли, чтобы овладеть собою.

— Из того доверия, каким я пользуюсь у князя, вы можете заключить, что у него нет от меня тайн. Я душой и телом предан его делу; при таком состоянии, как у него и у вашего сиятельства, увеличится и мое, а потому я готов всюду следовать за вами... Я на все готов... и хотя я во все посвящен, но я не все понимаю толком...

— Чего же вы от меня хотите, очаровательный кузен? — спросил князь.

— Я прошу вас, ваше сиятельство, научить меня уму-разуму, стыдно мне у таких знаменитых дипломатов ничему не научиться. Не знаю лишь, захотите ли вы мне искренне ответить?

— Это будет зависеть от вашего вопроса и от моего настроения, — ответил князь Богуслав, не переставая смотреться в зеркало.

Глаза Кмицица сверкнули, но он продолжал спокойно:

— Дело вот в чем: князь-воевода виленский все свои поступки прикрывает благом и спасением Речи Посполитой. Она у него с уст не сходит. Так будьте же так добры, скажите прямо: это маска или правда и действительно ли князь-гетман думает о Речи Посполитой?

Князь окинул Кмицица пронизательным взглядом и спросил:

— А если бы я вам сказал, что это маска, продолжали бы вы служить нам и впредь?

Кмициц пожал плечами и ответил:

— Я уже вам сказал, что при вашем состоянии и мое увеличится. Мне только этого и нужно, а до остального мне нет никакого дела!

— Вы выйдете в люди! Попомните мои слова. Но отчего же брат никогда не говорил с вами искренне?

— Может быть, потому, что он скрытен, а может быть, к слову не пришлось.

— Вы очень сообразительны, мосци-кавалер! Он действительно скрытен и не очень любит показывать свою настоящую шкуру. Такая уж у него натура. Ведь он и в разговоре со мной, как только забудется, начинает расцветчивать свою речь любовью к отчизне, пока наконец я не рассмеюсь ему в лицо. Правда! Правда!

— Значит, это — только маска? — спросил Кмициц.

Князь повернул стул, сел на нем верхом, как на лошади, и, облокотив руки на спинку, с минуту молчал, точно что-то обдумывая, а потом сказал:

— Послушайте, пан Кмициц. Если бы мы, Радзивиллы, жили во Франции, Испании или Швеции, где сын наследует престол после отца и где королевская власть от Бога, тогда, не принимая, конечно, во внимание каких-нибудь междоусобий, прекращения королевского рода, каких-нибудь необыкновенных событий, мы служили бы королю и отчизне, довольствуясь самым высшим положением, на какое дает нам право наше происхождение и богатство. Но здесь, в этой стране, где у

короля власть не от Бога, где его шляхта выбирает, мы справедливо задали себе вопрос: почему должен царствовать Ваза, а не Радзивилл... Ваза еще ничего, он ведет свой род от королей, но кто может поручиться, что после него шляхте не придет в голову посадить на королевский и великокняжеский престол хотя бы пана Герасимовича или какого-нибудь Пегласевича из Песей Воли. Тьфу! Да почему я знаю кого? А мы, князья Радзивиллы, должны будем, по древнему обычаю, целовать его королевскую песью-Вольскую руку... Тьфу, пора, мосци-кавалер, покончить с этим, черт дери!.. Посмотрите, что делается в Германии, сколько там удельных князей, которые по состоянию своему годились бы у нас только в подстаросты. А ведь у них есть свои уделы, они носят на голове короны и считаются выше нас, хотя им бы больше пристало носить шлейфы наших мантий. Пора с этим покончить, мосци-кавалер, пора привести в исполнение то, что задумал еще мой отец.

Тут князь оживился, встал с кресла и начал ходить по комнате.

— Нелегко, конечно, это сделать, так как олыкские и несвижские Радзивиллы не хотят нам помочь. Князь Михал писал брату, что нам надо скорее думать о власянице, а не о королевской мантии. Пусть он сам о ней и думает, пусть постится, пусть посыплет пеплом главу, пусть ему иезуиты спину полосуют плетью. Если он довольствуется саном кравчего, то пусть за всю свою добродетельную жизнь он только режет каплунов. Обойдемся и без него и рук не опустим — теперь самое время. Речь Посполитую черти берут! Она уж так бессильна, что никому не может сопротивляться. Всякий, кому не лень, лезет в ее границы. Того, что здесь произошло со шведами, не случалось еще нигде в мире. Мы с вами можем пропеть: «Те, Deum, laudamus»²⁵, а все же это неслыханная и небывалая вещь... Как? Враг, известный своим хищничеством, нападает на страну и не только не встречает сопротивления, но все, кто жив, оставляют своего прежнего короля и спешат к новому: магнаты, шляхта, войско, замки, города, все! Ни чести, ни славы, ни стыда!.. Другого такого примера в истории нет! Тьфу, пане кавалер! Канальи живут в этой стране! И такая страна не должна погибнуть? Она рассчитывает на милость шведов. Уж они им покажут милость! В Великопольше шведы силой суют шляхте мушкеты в руки. И не может быть иначе, такой народ должен погибнуть, должен быть презираем, должен идти в услужение к соседям!

Кмициц становился все бледнее и еле сдерживал взрыв бешенства, но князь, увлеченный своей речью, упивался собственными словами, собственным умом и, не обращая внимания на слушателя, продолжал:

— Есть в этой стране обычай, мосци-кавалер, что когда кто-нибудь умирает, то родственники вытаскивают у него подушку из-под головы, чтобы он дольше не мучился. Я и князь-воевода решили оказать именно эту услугу Речи Посполитой. Но так как хищников много, и все рассчитывают на наследство, то мы всего захватить не сможем и хотим получить хоть часть, но, конечно, не какую-нибудь! Как родственники, мы имеем на это право. Если я не убедил вас моим сравнением насчет подушки, то объясню вам иначе. Речь Посполитая — это кусок красного сукна, за который ухватились шведы, Хмельницкий, русские, татары, электор и другие соседи. А мы с князем решили, что нам из этого куска должно остаться столько, чтобы хватило на мантию; поэтому мы не только не мешаем тянуть другим, но и сами тянем. Пусть за Хмельницким останется Украина, за шведами и принцем Бранденбургским — Пруссия и Великопольша, пусть Малопольшу берет Ракочи или кто другой, а Литва должна принадлежать князю Янушу, а потом, вместе с его дочерью, мне.

Кмициц поднялся:

— Благодарю вас, ваше сиятельство: это все, что я хотел узнать!

²⁵ Тебе, Бога, хвалим (*лат.*).

— Вы уже уходите?

— Да!

Князь внимательно взглянул на Кмицица и только теперь заметил его бледность и волнение.

— Что с вами, пане Кмициц? — спросил он. — Вы походите на выходца с того света.

— Я так устал, что валяюсь с ног, и голова кружится! Прощайте, ваше сиятельство, перед отъездом я еще зайду.

— Только поспешите, после обеда я тоже уезжаю.

— Самое большее я буду через час!

Сказав это, Кмициц поклонился и вышел.

В следующей комнате слуги, увидев его, встали с своих мест, но он прошел, как пьяный, никого не видя. На пороге он схватился обеими руками за голову, повторяя чуть не со стоном:

— Иисусе Назарейский! Царь Иудейский! Господи! Господи!

Он прошел, шатаясь, через двор, мимо стражи, состоявшей из шести человек, вооруженных алебардами. За воротами стояли его люди с вахмистром Сорокой во главе.

— За мной! — крикнул Кмициц.

И направился через город к постоялому двору.

Сорока, старый слуга Кмицица, знал его прекрасно и тотчас заметил, что с молодым полковником творится что-то необыкновенное.

— Держи ухо востро! — сказал он тихо своим людям. — Горе тому, на кого обрушится его гнев!

Солдаты молча следовали за ним, а Кмициц не шел, а почти бежал вперед, размахивая руками и повторяя бессвязные слова.

До ушей Сороки доносились только отрывочные восклицания: «Отравители, клятвопреступники, изменники!.. Преступник и изменник!.. Оба одинаковы...»

Потом Кмициц стал поминать имена прежних своих товарищей. Имена: Кокосинский, Кульвец, Раницкий, Реуц и другие вылетали из его уст одно за другим. Несколько раз он упомянул Володыевского. Сорока слушал его с изумлением, тревожился все больше, а в душе думал:

«Чья-нибудь кровь прольется, не может иначе быть!»

Но вот они пришли на постоянный двор. Кмициц тотчас заперся в своей комнате и с час не подавал признаков жизни.

А солдаты между тем без всякого приказа укладывали тюки и седлали лошадей. Сорока говорил им:

— Это не помешает, — нужно быть ко всему готовым.

— Мы и готовы! — отвечали старые забияки, шевеля усами. Оказалось, что Сорока хорошо знал своего господина: в сенях вдруг появился Кмициц, без шапки, в одной рубахе и шароварах.

— Седлать лошадей! — крикнул он.

— Уже оседланы.

— Тюки укладывать!

— Уложены.

— По червонцу на брата! — крикнул молодой полковник, который, несмотря на все свое волнение, заметил, что эти солдаты схватывают на лету каждую его мысль.

— Благодарим, пане комендант! — крикнули все хором.

— Двое возьмут с собой вьючных лошадей и сию же минуту поедут из города в Дубовую. Через город ехать шагом, а за городом пустить лошадей вскачь и остановиться только в лесу.

— Слушаюсь!

— Четверым зарядить ружья, для меня оседлать двух лошадей.

— Я знал, что что-то будет! — пробормотал Сорока.

— А теперь, вахмистр, за мной! — крикнул Кмициц.

И так, как был, в одних только шароварах и расстегнутой на груди рубашке, он вышел в сени, а Сорока пошел за ним; так они дошли до колодца. Здесь Кмициц остановился и, указывая на висящее у журавля ведро, сказал:

— Лей на голову воду.

Вахмистр знал по опыту, как опасно было спрашивать два раза; схватил шест, опустив ведро в колодезь, вытащил его быстро и вылил всю воду на голову Кмицица; пан Андрей начал фыркать и похлопывать руками по мокрым волосам, затем крикнул:

— Еще!

Сорока повторил это еще раз — и лил воду так, точно хотел потушить пламя.

— Довольно! — сказал наконец Кмициц. — Ступай за мной; поможешь мне одеться!

И оба вошли в дом.

В воротах они встретили двоих людей, уезжающих с вьючными лошадьми.

— Через город шагом, а там вскачь! — повторил вслед им Кмициц и вошел в комнату.

Полчаса спустя он появился на дворе одетый в дорогу: на нем были высокие сапоги, лосиный кафтан, опоясанный кожаным поясом, за который был заткнут пистолет.

Солдаты заметили, что из-под кафтана выглядывал край проволочной кольчуги, точно он собирался в битву. Сабля была тоже пристегнута высоко, чтобы легче было схватиться за рукоятку; лицо было спокойно, но сурово и грозно...

Окинув взглядом солдат, готовы ли они и хорошо ли вооружены, он вскочил на лошадь и, бросив хозяину червонец, выехал из постоянного двора.

Сорока ехал с ним рядом, а остальные трое сзади, ведя запасную лошадь. Вскоре они очутились на рынке, заполненном войсками князя Богуслава. Там царил необыкновенное движение. Должно быть, был получен приказ собираться. Драгуны подтягивали подпруги и взнуздывали лошадей, пехота разбирала мушкеты, установленные в козлы перед домами; лошадей запрягали в телеги.

Кмициц очнулся от своей задумчивости.

— Слушай, старик, — сказал он Сороке, — ведь от усадьбы старосты дорога идет дальше и не нужно возвращаться через рынок?

— А куда мы поедem, пане полковник?

— В Дубовую.

— Тогда с рынка надо свернуть мимо усадьбы. Рынок останется за нами.

— Хорошо! — сказал Кмициц.

Спустя минуту он пробормотал точно про себя:

— Эх, если бы те жили теперь! Мало у меня людей для такого предприятия. Между тем они проехали рынок и стали сворачивать к дому старосты, который был в версте от дороги. Вдруг раздалась команда Кмицица:

— Стой!

Солдаты остановились, а он повернулся к ним и спросил:

— Готовы вы к смерти?

— Готовы! — ответили хором оршанские забияки.

— Мы лезли в горло Хованскому, и он нас не съел... Помните?

— Помним.

— Сегодня нужно нам решиться на большое дело... Удастся — тогда милостивый наш король сделает из вас вельмож... Я в том порукой... Не удастся — сидеть вам на колу.

— Почему не удастся! — ответил Сорока, глаза которого сверкнули, как у старого волка.

— Удастся! — повторили трое других, Белоус, Завратынский и Лубенец.

— Мы должны похитить князя-конюшего! — сказал Кмициц.

И замолчал, точно желая проверить, какое впечатление произведет на солдат эта безумная мысль. Они тоже молчали и не спускали с него глаз, только усы их шевелились и лица приняли грозное и разбойничье выражение.

— Кол близко, награда далеко! — сказал наконец Кмициц.

— Мало нас, — пробормотал Завратынский.

— Это хуже, чем с Хованским! — прибавил Лубенец.

— Войска все на рынке, а в доме только стража и человек двадцать придворных, — сказал Кмициц, — которые ничего не ожидают и у которых нет даже сабель с собой.

— Ваша милость подставляете свою голову, почему бы и нам не подставить наши! — ответил Сорока.

— Слушайте! — сказал Кмициц. — Если мы не возьмем его хитростью, то никак не возьмем... Слушайте. Я войду в комнату и вскоре выйду с князем... Если князь сядет на моего коня, я сяду на другого, и поедем... Как только мы отъедем сто или полтора шагов от города, двое из вас подхватят его за руки и будут мчаться с ним во весь дух.

— Слушаю-с!

— Если же мы не выйдем, — продолжал Кмициц, — и вы услышите выстрел в комнате, пустите стражам пулю в лоб, а мне подавайте коня, как только я выбегу из двери.

— Слушаюсь! — ответил Сорока.

— Вперед! — скомандовал Кмициц.

Все тронулись и четверть часа спустя очутились перед воротами старостиной усадьбы.

У ворот по-прежнему стояло шесть часовых с алебардами, а двое стояли в сенях, у двери. На дворе, около кареты, возились слуги, за которыми присматривал какой-то придворный, судя по костюму и парикку иностранец.

Дальше, возле конюшни, гайдуки огромного роста укладывали на телеги тюки и другую поклажу, за ними следил какой-то человек, весь в черном, похожий по лицу на доктора или астролога.

Кмициц доложил о своем приходе через дежурного офицера, который тотчас же вернулся и пригласил его к князю.

— Как поживаете, мосци-кавалер? — сказал весело князь. — По вашему уходу я предположил, что мои слова вызвали в вас ложные упреки совести, и не думал вас больше увидеть.

— Как же я мог перед отъездом не засвидетельствовать вам своего почтения? — ответил Кмициц.

— Конечно, князь должен был знать, кому доверяет такое важное поручение. Я тоже не упущу случая воспользоваться вашими услугами и дам вам несколько писем к разным высокопоставленным лицам, а в том числе и к королю шведскому. Но зачем вы так вооружились?

— Еду в местности, занятые конфедератами, и не дальше как вчера мне рассказывали, что по этой дороге на днях проходил конфедератский полк. В Пильвишках они порядком потрепали людей Золотаренки; недаром ими командует знаменитый рыцарь.

— Кто же это?

— Пан Володыевский, а с ним Мирский, Оскерко и двое Скшетуских: один из них — тот самый, жену которого вы хотели осаждать в Тыкоцине. Все они восстали

против князя, а жаль — это прекрасные солдаты. Что делать? Есть еще в этой Речи Посполитой такие дураки, которые не хотят тащить красное сукно вместе с казаками и шведами.

— В дураках нигде недохвата не бывает, особенно в этой стране! — ответил князь. — Вот вам письма, а кроме того, при свидании со шведским королем скажите ему по секрету, что я такой же его сторонник, как и гетман, и лишь до поры до времени должен играть комедию...

— Каждому приходится это делать, — заметил Кмициц, — особенно тем, кто хочет чего-нибудь добиться.

— Ну так устройте все хорошенько, молодой человек, а в награде я уж не дам себя перещеголять воеводе виленскому.

— Если вы так милостивы, то я попрошу награду вперед!

— Вот как. Гетман, верно, не очень щедро снабдил вас на дорогу!

— Сохрани меня бог просить денег; я не хотел их брать от гетмана, не возьму и от вас. До сих пор я довольствовался своим и никогда себе не изменю.

Князь Богуслав взглянул с удивлением на молодого рыцаря.

— Я вижу, что Кмицицы не принадлежат к числу тех, которые любят заглядывать в чужой карман! Так в чем же дело, пан кавалер?

— Вот в чем, ваше сиятельство. Не подумав хорошенько, я с собой взял очень ценную лошадь, чтобы было чем похвастать перед шведами. Смело могу сказать, что лучшую трудно найти в кейданских конюшнях. А теперь я боюсь, как бы от таких долгих переездов она не испортилась или не попала в руки неприятеля, хотя бы того же Володыевского, который на меня очень зол. Поэтому я решил просить ваше сиятельство поддержать ее у себя, пока мне не представится возможность взять ее обратно.

— Так лучше продайте ее мне!

— Для меня это было бы то же самое, что продать лучшего друга. Она не раз уже выносила меня из опасностей, ибо в числе других достоинств она имеет еще обыкновение кусать во время битвы врагов.

— Да не может быть? — спросил заинтересованный этим рассказом князь.

— Если бы я был уверен, что вы не рассердитесь, то держал бы с вами пари, что такой вы не найдете и в ваших конюшнях!

— И я бы не отказался, не будь то, что теперь не время для спорта. С удовольствием ее сохраню, но все же предпочел бы купить. А где же это чудо находится?

— Там, около ворот. Вы изволили справедливо назвать эту лошадь чудом; сам султан может позавидовать ее обладателю.

— Пойдем посмотрим!

— К услугам вашего сиятельства. Князь взял шляпу, и они вышли.

У ворот люди Кмицица держали двух оседланных лошадей, одна из них была действительно очень породистая, черная, как вороново крыло, с белой стрелкой на лбу и белым пятнышком на задней ноге, завидев своего хозяина, она заржала.

— Это она! Угадываю! — сказал князь. — Не знаю, такое ли она чудо, как вы говорили, но, во всяком случае, прекрасная лошадь.

— Проведите ее! — крикнул Кмициц. — Или нет! Лучше я сам сяду!

Солдаты подвели лошадь, и Кмициц стал объезжать ее около ворот. Под умелым всадником лошадь показалась вдвое прекраснее. Грива ее развевалась, выпуклые глаза горели, а из ноздрей, казалось, вырывался огонь. Кмициц делал крутые повороты, изменял аллюр, наконец, подъехал к князю так близко, что ноздри лошади были не дальше, как на шаг расстояния от его лица, и крикнул по-немецки:

— Стой!

Лошадь остановилась как вкопанная.

— Как это говорится: «Глаза и ноги оленя, ход волка, ноздри лося, а грудь девичья!» — сказал Богуслав. — В ней соединены все эти достоинства, да и немецкую команду она понимает.

— Ее объезжал Зенд, он был родом из Курляндии.

— А быстро бежит?

— Ветер ее не догонит. Татарин от нее не уйдет.

— Должно быть, этот немец был мастер своего дела, лошадь прекрасно выезжена.

— Она так выезжена, что во время галопа вы можете отпустить поводья, и она не выдвинется ни на вершок из строя. Если вы хотите попробовать и если она на расстоянии двух верст выдвинется хоть на полголовы, я ее даром вам отдам.

— Ну это было бы действительно чудо! — заметил князь.

— И кроме того, большое удобство, так как обе руки свободны. Не раз, бывало, я в одной руке держал саблю, в другой пистолет, а лошадь шла сама.

— А если строй поворачивает?

— Тогда повернет и она, не выходя из строя.

— Не может быть! — воскликнул князь. — Этого не сделает ни одна лошадь. Во Франции я видел лошадей королевских мушкетеров. Они все прекрасно дрессированы, но и их нужно вести на уздечке.

— У этой лошади человеческая сметка... Не хотите ли убедиться?

— Пожалуй! — сказал, подумав, князь.

Сам Кмициц подержал лошадь, князь вскочил на седло и стал похлопывать рукой по блестящему крупу.

— Странная вещь, — сказал он, — самые лучшие лошади к осени в лохмах, а эта точно сейчас из воды вышла. А в какую сторону мы поедем?

— По-моему, лучше всего к лесу, около города нам могут помешать телеги.

— Пусть будет так!

— Ровно две версты. Пустите ее вскачь и не держите уздечки... Двое поедут с вами рядом, а я сзади.

— Становитесь! — сказал князь.

Солдаты стали по бокам, а князь между ними.

— Трогай! — скомандовал он. — С места вскачь... Марш!

Строй помчался и через минуту неся уже, как вихрь. Туча пыли скрыла их от глаз придворных и берейторов, которые, собравшись у ворот, с любопытством смотрели на это состязание. Всадники проехали с той же скоростью уже более версты, а княжеский скакун действительно не выдвинулся ни на вершок вперед. Вдруг Кмициц повернулся и, не видя за собой ничего, кроме тучи пыли, крикнул страшным голосом:

— Брать его!

В ту же минуту Белоус и громадный Завратынский схватили князя за обе Руки, так что кости захрустели, и пришпорили лошадей.

Измучение, страх, ветер, хлеставший в лицо князя, в первую минуту отняли у него язык. Он пробовал было вырваться, но почувствовал такую невыносимую боль, что отказался от своего намерения.

— Как вы смеете? Мошенники!.. Разве вы не знаете, кто я!

Вдруг Кмициц ударил его прикладом пистолета между лопаток и крикнул:

— При малейшем сопротивлении пуля в спину!

— Изменник! — крикнул князь.

— А ты кто? — спросил Кмициц. И они мчались дальше.

XXVI

Мчались через лес так, что придорожные сосны, казалось, отскакивали назад от страха; по дороге попадались корчмы, избы лесников, смолокурни, порою нагруженные телеги, ехавшие в сторону Пильвишек. Время от времени князь нагибался к седлу, точно пробуя вырваться, но в ту же минуту железные руки Лубенца и Завратынского сжимали его как в тисках, а Кмициц приставлял к спине дуло пистолета, и они снова мчались, пока лошади не покрылись пеной.

Пришлось придержать лошадей, так как и люди, и лошади задыхались; Пильвишки остались далеко позади, и возможность погони исчезла совершенно.

Князь долго молчал, по-видимому, стараясь успокоиться, и наконец спросил:

— Куда вы меня везете?

— Потом узнаете, ваше сиятельство, — ответил Кмициц.

— Прикажите этим хамам выпустить меня, они мне руки вывернут. Если они этого не сделают, быть им на виселице.

— Это не хама, а шляхта! — ответил Кмициц. — А что до наказания, то бог знает еще, кого оно раньше постигнет!

— Знаете ли вы, на кого вы подняли руку? — спросил князь, обращаясь к солдатам.

— Знаем! — ответили те.

— Черти! Дьяволы! — воскликнул князь. — Да прикажите же наконец этим людям освободить меня!

— Я прикажу связать вашему сиятельству руки сзади, так будет удобнее всего.

— Но тогда они вконец вывихнут мне руки.

— Другого я освободил бы на слово, но вы не умеете сдерживать слова, — ответил Кмициц.

— Я вам даю другое слово, — ответил князь, — что при первом случае не только вырвусь из ваших рук, но велю вас четвертовать, как только попадетесь в мои руки...

— Что Бог даст, то и будет! — ответил Кмициц. — Я все же предпочитаю искреннюю угрозу ложным обещаниям. Выпустите его руки, а сами ведите под уздцы его лошадь; а вы, — обратился он к князю, — смотрите сюда! Стоит мне потянуть за спуск, чтобы пустить вам пулю в лоб, а я никогда не промахнусь. Сидите же спокойно и не пробуйте вырваться.

— Меня это ничуть не беспокоит.

Сказав это, он вытянул затекшие руки, а солдаты схватили с обеих сторон его лошадь за уздечку.

Помолчав с минуту, князь сказал:

— А что вы прячетесь у меня за спиной? Совестно в глаза взглянуть?

— Нисколько, — ответил Кмициц и, погнав лошадь, отстранил Завратынского и сам, схватив за повод княжеского скакуна, посмотрел прямо в глаза князю Богуславу.

— Ну что, какова моя лошадь? Приврал ли я хоть чуть-чуть?

— Хорошая лошадь! — ответил князь. — Хотите, я куплю ее?

— Спасибо. Она стоит лучшей участи, чем до смерти носить на себе изменника.

— Глуп ты, пан Кмициц!

— Потому что в Радзивиллов верил!

И снова наступило молчание, которое прервал князь.

— Скажите мне, пан Кмициц, — произнес он, — в своем ли вы уме? Уж не рехнулись ли вы? Спросили ли вы себя, что вы делаете, безумный человек? Не пришло ли вам в голову, что лучше бы вам не родиться на свет? Что на такой дерзкий поступок не решился бы никто, не только в Речи Посполитой, но и во всей Европе?

— Ну, значит, не очень-то храбр народ в вашей Европе. А я вот вас схватил, держу и не пущу!

— Не иначе как с сумасшедшим имею дело! — пробормотал точно про себя

князь.

— Ваше сиятельство, — ответил пан Андрей. — Теперь уж вы в моих руках и должны с этим примириться. А даром слов не теряйте. Погони не будет, ваши люди до сих пор думают, что вы поехали с нами по доброй воле. Когда вас схватили мои люди под руки, никто этого не видел. Нас закрывала туча пыли, да и без того никто бы ничего не увидел — слишком далеко. Часа два будут вас ожидать, на третий потеряют терпение, четвертый, пятый будут беспокоиться, на пятый или шестой вышлют за вами людей, а мы к тому времени будем уже за Мариамполем.

— Что же из этого?

— А то, что за нами не погонятся, а если бы и погнались, то не могли бы догнать, потому что ваши лошади только что с дороги, а наши отдохнули; наконец, если каким-нибудь чудом и догнали бы, то я сию же минуту пустил бы вашему сиятельству пулю в лоб... что и сделаю, если это будет необходимо! Вот как! У Радзивилла есть двор, войско, орудия, драгуны, а у Кмицица только шесть человек, и, несмотря на это, Кмициц схватил Радзивилла за шиворот...

— Что же дальше? — спросил князь.

— Ничего! Поедем туда, куда мне заблагорассудится. Благодарите Бога, ваше сиятельство, что вы еще до сих пор живы; если б я не приказал вылить себе на голову ведер с десять воды, вы были бы уже на том свете, иначе говоря, в аду; во-первых, как изменник, а во-вторых, как кальвинист.

— И вы бы на это осмелились?

— Не хвастая скажу, что вы, ваше сиятельство, не найдете такого предприятия, на которое я бы не решился.

Князь внимательно взглянул в лицо юноше и сказал:

— Сам дьявол, мосци-кавалер, написал на вашем лице, что вы на все готовы. И это справедливо. В доказательство — я сам скажу, что вы даже меня удивили своей смелостью, а это не легко.

— Мне это все равно. Благодарите Бога, что вы до сих пор живы, ваше сиятельство, и баста!

— Нет, пан кавалер! Прежде всего вы должны благодарить Бога... Знайте, что если бы хоть один волос упал с моей головы, то Радзивиллы нашли бы вас и под землею. Если вы рассчитываете на то, что теперь между нами нелады и что олыкские и несвижские Радзивиллы не будут вас преследовать, то вы ошибаетесь. Кровь Радзивилла должна быть отомщена, страшный пример должен быть дан, иначе нам не жить в этой Речи Посполитой. За границей вы тоже не скроетесь. Германский император вас выдаст, ибо я из удельных немецких князей; курфюрст — мой дядя, принц Оранский — его зять, французский король и его министры — мои друзья. Куда вы скроетесь? Турки и татары вас продадут, хотя бы нам пришлось отдать им половину нашего состояния. Нет такого уголка на земле, нет такой пустыни, нет такого народа, где бы вас не нашли...

— Мне странно, — сказал Кмициц, — что вы, ваше сиятельство, так беспокоитесь о моем здоровье. Радзивилл — такая важная персона! А стоит мне только нажать курок...

— Этого я не отрицаю. Не раз уже бывало на свете, что великие люди погибали от рук простых людей. Ведь Помпея убил хам, и французские короли погибали от рук простых людей. Наконец, к чему далеко ходить за примерами: и с моим отцом приключилось то же. Я только спрашиваю вас: что же дальше?

— Ну что там! Я никогда особенно не заботился о том, что будет завтра. Если придется воевать со всеми Радзивиллами, то бог весть, чья еще возьмет! Уж давно меч висит над моей головой! Мало мне будет одного Радзивилла, я похищу и другого, и третьего!

— Клянусь Богом, кавалер, вы мне нравитесь. Повторяю, что во всей Европе вы

одни могли бы решиться на что-нибудь подобное. Даже не подумает, бестия, о том, что завтра! Люблю смелых людей! К несчастью, их все меньше на свете... Вот схватил Радзивилла и держит его, как собственность. Кто вас таким воспитал? Откуда вы?

— Я оршанский хорунжий.

— Пане оршанский хорунжий, жаль, что Радзивиллы теряют такого человека, как вы, — с такими людьми можно много сделать. Если бы не сегодняшнее приключение. Гм... я бы ничего не пожалел, чтобы перетянуть вас на свою сторону!

— Поздно! — сказал Кмициц.

— Разумеется! — ответил князь. — Даже очень поздно. Но обещаю вам, что прикажу вас только расстрелять, так как вы достойны умереть солдатской смертью... Что за дьявол во плоти! Похитил меня в присутствии всех моих слуг!..

Кмициц ничего ему на это не ответил; князь задумался на минуту, а потом воскликнул:

— Впрочем, черт с вами! Если вы меня сейчас отпустите, я не буду вам мстить. Дайте мне только слово, что никому не скажете о том, что между нами произошло.

— Этого не будет! — ответил Кмициц.

— Хотите выкуп?

— Не хочу.

— Так зачем же вы меня схватили, черт возьми, не понимаю?

— Долго говорить об этом. Впрочем, узнаете со временем, ваше сиятельство.

— А что ж нам делать в дороге, как не говорить? Сознаться, что вы схватили меня в порыве отчаяния и бешенства, а теперь вы сами не знаете, что со мной делать.

— Это мое дело, — ответил Кмициц, — а знаю ли я, что делаю, вы скоро увидите.

Нетерпение отразилось на лице князя Богуслава.

— Вы не очень разговорчивы, пане хорунжий оршанский, — сказал он, — но ответьте мне, по крайней мере, на один вопрос: ехали ли вы ко мне уже с готовым намерением совершать покушение на мою особу или это пришло вам в голову потом?

— Я могу вам искренне ответить, ваше сиятельство, мне самому давно хочется сказать, почему я покидаю вас и, пока жив, не вернусь... Князь-воевода виленский меня обманул и начал с того, что заставил меня поклясться перед распятием не покидать его до смерти...

— Недурно вы сдерживаете клятву!.. Нечего сказать...

— Да! — воскликнул с жаром Кмициц. — И если я погубил душу, если я теперь достоин вечного осуждения, то через вас... Но я предпочитаю гореть на вечном огне, чем сознательно грешить дольше, чем служить вам, зная, что служу греху и измене. Пусть же Бог смилуется надо мной... Предпочитаю гореть! Ведь я и так бы горел, останься я с вами. Нечего мне терять. Теперь я, по крайней мере, могу сказать на суде Божьем: «Я не знал, в чем клялся, а когда понял, что дал клятву губить отчизну и польское имя, тогда нарушил клятву... А теперь суди меня, Господи!»

— К делу, к делу! — прервал его князь.

Но пан Андрей тяжело дышал и ехал некоторое время в молчании, опустив голову, как человек, убитый горем.

— К делу! — повторил князь.

Кмициц очнулся, тряхнул головой и продолжал:

— Я верил гетману, как отцу родному. Помню день, когда он впервые сказал нам, что заключил союз со шведами. Сколько я выстрадал тогда, одному Богу известно. Другие, честные люди бросали ему под ноги булавы, а я стоял, как дурак, с булавой, со стыдом, с позором, со страшной мукой в сердце, ибо меня в глаза называли

изменником. И кто же?... Ох, лучше не вспоминать, чтобы не забыть и не пустить вашему сиятельству пулю в лоб... Это вы, продажные души, довели меня до этого!

И Кмициц бросал на князя взгляд, полный ненависти, что, как змея, выползла из своего убежища на свет дневной, но князя это не испугало; он, спокойно глядя ему в глаза, сказал:

— Это очень интересно, продолжайте.

Кмициц выпустил из рук уздечку княжеской лошади и снял шапку, чтобы освежить свою разгоряченную голову.

— В ту же ночь, — продолжал Кмициц, — я пошел к князю-гетману и думал: откажусь от службы, нарушу присягу, задушу его вот этими руками, взорву Кейданы, а там будь что будет. Но он хорошо знал меня. Я видел, что он шарит руками в ящике, где лежали пистолеты. Пусть, думаю я, или он меня, или я его! Но он стал меня так уговаривать, рисовать передо мной такие заманчивые картины, выказал себя таким благодетелем отчизны, что знаете, чем кончилось?

— Он убедил простачка? — ответил князь Богуслав.

— Я перед ним на колени упал, — воскликнул Кмициц, — я видел в нем единственное спасение отчизны; я отдался ему душой и телом, я готов был за него броситься с кейданской башни.

— Я догадывался, что тем и кончится! — заметил князь Богуслав.

— Что я из-за этого потерял, говорить не буду, но ему я оказал важную услугу: прежде всего удержал в повиновении свой полк, который с ним теперь и остался, — Бог дай, на погибель ему! — тех, которые взбунтовались, я стер в порошок. Обагрил руки в крови братьев, думая, что этого требует благо моей родины. Не раз мое сердце сжималось от боли, когда приходилось поднимать руку на честных солдат. Но я думал: «Я глуп, он умен, — значит, так надо». И только теперь из писем я узнал вас вполне! Разве это война? Вы хотите травить солдат? Разве гетманы так делают? Разве так делают Радзивиллы? Как же я могу отвозить подобные письма?..

— Вы ничего не смыслите в политике, пане хорунжий, — прервал его князь Богуслав.

— Ну ее к черту, такую политику! Пусть ею занимаются лживые итальянцы, но не шляхта, кою Господь наградил благородной кровью и обязал воевать саблями, а не ядами и не позорить своего имени!

— Значит, письма подействовали на вас так, что вы решили покинуть Радзивиллов?

— Совсем не письма. Я бы их бросил к черту или сжег, ибо я для таких поручений не гожусь. Я бы отказался от этого поручения, но дела бы все-таки не оставил. Ну поступил бы хоть в драгуны или по-прежнему собрал бы шайку и пошел на Хованского. Но у меня тогда явилось подозрение: а что, если они хотят и отчизну отравить так же, как этих солдат?... Слава богу, что я не проболтался, что опомнился и имел силу сказать себе: «Потяни его за язык, и ты узнаешь всю правду; но себя не выдавай, представься подлецом еще худшим, чем сами Радзивиллы, и тяни за язык».

— Кого? Меня?

— Да, вас! И с Божьей помощью мне, человеку бесхитростному, удалось провести такого искусного дипломата, как вы; считая меня подлецом, вы не сочли нужным скрывать от меня всех ваших подлостей, во всем сознались, все сказали. Волосы у меня вставали на голове дыбом, но я слушал и дослушал до конца... О, изменники, дьяволы, христопродавцы!.. Как это громы не разразились еще над вашей головой?! Как вас земля носит?! Значит, вы с Хмельницким, со шведами, с курфюрстом, с Ракочи и с самим дьяволом сговорились погубить Речь Посполитую? Значит, хотите выкроить себе из нее мантию? Продать? Разделить? Разорвать мать вашу? Так вот какова благодарность за все благодеяния, которыми она осыпала вас, за титулы, почести, привилегии, староства, за ваши богатства, которым завидуют

даже иноземные короли?.. И вас не трогают ее слезы, страдания, унижения?.. Где же у вас совесть? Где Бог, где честь?.. Что за чудовища произвели вас на свет?..

— Довольно! — холодно перебил его князь. — Я в ваших руках, и вы можете меня убить, но не говорите таких скучных вещей!

Оба замолчали.

Но из слов Кмицица оказалось, что ему удалось вывести всю правду от дипломата и что князь сделал большую ошибку, выдав тайные замыслы и свои, и гетмана. Это задело его самолюбие, и, не скрывая своего неудовольствия, он сказал:

— Не приписывайте этого вашему уму, пане Кмициц. Говоря с вами откровенно, я думал, что князь-воевода лучше знает людей и пришлет человека, которому можно доверять.

— Князь-воевода прислал действительно человека, которому можно было довериться, — ответил Кмициц, — но теперь вы уж его потеряли. Отныне вам будут служить подлецы!

— А способ, каким вы меня похитили, не подл? — спросил князь.

— Это хитрость. Я этому выучился в хорошей школе. Вы хотели узнать Кмицица, так вот он! Зато я поеду к нашему королю не с пустыми руками.

— И вы думаете, что Ян Казимир со мной что-нибудь сделает?

— Это дело судей, а не мое!

Вдруг Кмициц остановил лошадь.

— Гей! — крикнул он. — А письмо князя-воеводы с вами?

— Будь оно даже со мной, я бы его вам не отдал! — отвечал князь. — Оно осталось в Пильвишках.

— Обыскать его! — скомандовал Кмициц.

Солдаты снова схватили князя за руки, а Сорока принялся шарить по карманам и наконец нашел.

— Вот еще документ против вас, — сказал Кмициц. — Из него узнает польский король о ваших намерениях, узнает о них и шведский король, хотя вы ему теперь служите, что гетман, в случае неудачи, не поколеблется идти против него. Откроются все ваши хитросплетения. Ведь у меня есть еще письма к шведскому королю, к Виттенбергу, Радзейовскому. Вы велики и могущественны, но не знаю, не будет ли вам тесно на родине, когда оба короля придумают для вас достойную ваших деяний награду...

Глаза князя Богуслава зловеще сверкнули, но он овладел собой и сказал:

— Хорошо! Значит, между нами война на жизнь и на смерть! Мы еще встретимся... Это может нам обоим причинить много зла, но все-таки скажу: никто до сих пор в вашей стране не решился бы на что-нибудь подобное, и горе вам и вашим единомышленникам!

— У меня есть сабля для защиты, а своих у меня есть чем выкупить! — ответил Кмициц.

— А, значит, я ваш заложник! — воскликнул князь.

И, несмотря на гнев, он вздохнул с облегчением, так как только теперь понял, что его жизни ничто не угрожает, и решил этим воспользоваться.

Между тем они снова пустились рысью и через час увидели двух всадников, из которых каждый вел по паре выючных лошадей. Это были люди Кмицица, высланные им раньше из Пильвишек.

— Ну, что у вас? — спросил их Кмициц.

— Лошади наши страшно устали, ваша милость, мы до сих пор не отдыхали.

— Сейчас отдохнем.

— Там на повороте какая-то избушка, не корчма ли?

— Пусть вахмистр едет вперед корчму приготовить. Корчма не корчма, а нужно остановиться.

— Слушаюсь, пане комендант.

Сорока пустил лошадь рысью, а они поехали за ним шагом. С одной стороны князь ехал Кмициц, а с другой Лубенец. Князь совершенно успокоился и не заводил больше разговора с паном Андреем. Он, казалось, устал от дороги или от того положения, в котором находился, — слегка опустил голову на грудь и прикрыл глаза. Но иногда он искоса поглядывал то на Кмицица, то на Лубенца, — которые держали поводья его коня, — как бы соображая, которого из них легче будет опрокинуть, чтобы вырваться на свободу.

Между тем они подъехали к строению, стоявшему у дороги, на полянке. Это была не корчма, а кузница и колесная мастерская, где обыкновенно останавливались проезжие, чтобы подковать лошадей или починить телегу. Между кузницей и дорогой был небольшой двор, изредка поросший вытоптанной травой; остатки телег и испорченные колеса были разбросаны то тут, то там по всему двору, но из проезжающих не было никого; только лошадь Сороки стояла, привязанная к столбу. Сам Сорока разговаривал у кузницы с кузнецом-татарином и его двумя помощниками.

— Вряд ли нам удастся хорошенько накормить лошадей и самим поесть, — сказал князь, — мы здесь ничего не найдем.

— У нас с собой съестные припасы и водка, — сказал Кмициц.

— Это хорошо. Нам надо будет набрать сил.

Между тем они остановились. Кмициц засунул за пояс пистолет, соскочил с седла и, отдав жеребца Сороке, снова схватился за уздечку княжеского скакуна, которого, впрочем, Лубенец не выпускал из рук.

— Собогаволите, ваше сиятельство, сойти с лошади, — сказал Кмициц.

— Это зачем? Я буду есть и пить с седла! — сказал князь, нагибаясь к нему.

— Прошу на землю! — грозно крикнул Кмициц.

— А ты в землю! — страшным голосом крикнул князь и, с быстротой молнии вырвав из-за пояса Кмицица пистолет, выстрелил ему в лицо.

— Господи! — крикнул Кмициц.

В ту же минуту князь пришпорил лошадь, так что она взвилась на дыбы, как змея, изогнулся на седле и изо всей силы ударил Лубенца пистолетом в лоб.

Лубенец отчаянно вскрикнул и свалился с лошади.

Прежде чем остальные поняли, в чем дело, прежде чем они успели опомниться, князь, растолкав их, промчался, как вихрь, по направлению к Пильвишам.

— Лови! Держи! Бей! — раздались дикие голоса.

Трое солдат, которые еще сидели на лошадях, погнались за ним, а Сорока схватил прислоненное к стене ружье и прицелился в беглеца, или, вернее, в его лошадь.

Скакун вытянулся, как серна, и несясь с быстротой стрелы. Раздался выстрел, Сорока бросился сквозь дым вперед, чтобы лучше разглядеть результат, но, постояв с минуту, воскликнул:

— Промах!

В эту минуту князь исчез за поворотом, а за ним и его преследователи. Тогда вахмистр обратился к кузнецу и его помощникам, которые до сих пор смотрели с неммым ужасом на все происходившее, и крикнул:

— Воды!

Кузнечные подмастерья бросились к колодцу, а Сорока стал на колени перед лежащим без движения паном Андреем. Лицо его было покрыто сажей и каплями крови. Вахмистр стал сначала ощупывать его череп и наконец пробормотал:

— Голова цела...

Но Кмициц не подавал признаков жизни, и потоки крови стекали по лицу. Между тем подмастерья принесли ведро воды и тряпки для перевязки. Сорока медленно и

осторожно принялся обмывать лицо Кмицица.

Наконец из-под крови и сажи показалась рана. Пуля разрежала Кмицицу левую щеку и оторвала конец уха. Сорока стал ощупывать, не раздроблена ли лицевая кость, но, убедившись, что нет, вздохнул с облегчением. Вместе с тем Кмициц, под влиянием холодной воды и боли, стал подавать признаки жизни. Лицо его начало вздрагивать, грудь стала подниматься.

— Жив! — воскликнул с радостью Сорока.

И слеза скатилась по разбойничьему лицу вахмистра.

В это время на повороте дороги показался Белоус, один из солдат, который погнался за князем.

— Ну что? — спросил Сорока. Солдат только махнул рукой.

— Ничего!

— А те скоро вернутся?

— Те не вернутся.

Вахмистр дрожащими руками опустил голову Кмицица на порог кузницы и вскочил.

— Как так?

— Пан вахмистр, да ведь это колдун! Первым догнал его Завратынский, у него самая лучшая лошадь была — и догнал! У нас на глазах он у Завратынского саблю из рук вырвал и проколол его насквозь. Мы и вскрикнуть не успели. Витковский был ближе всех и бросился к нему на помощь... Он его зарубил — повалил, словно в него гром грянул... Ну а я уж своей очереди ждать не стал... Пан вахмистр, он, чего доброго, еще сюда вернется.

— Мешкать нельзя! — крикнул Сорока. — К лошадям!

И он в ту же минуту принялся привязывать к лошадям носилки для пана Кмицица.

Два солдата, по приказанию Сороки, стали с мушкетами в руках на дороге, на случай, если страшный князь вернется.

Но князь Богуслав, будучи убежден, что Кмициц убит, спокойно возвращался в Пильвишки.

В сумерки его встретил отряд рейтар, посланный Петерсоном, которого тревожило долгое отсутствие князя.

Офицер, увидев князя, помчался к нему.

— Ваше сиятельство!.. Мы не знали...

— Это ничего, — перебил князь. — Я проезжал лошадь в компании того кавалера, у которого я ее купил.

И, помолчав, прибавил:

— И хорошо заплатил!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Верный Сорока вез своего полковника через дремучие леса, сам не зная, куда ехать, что делать, куда обратиться.

Кмициц был не только ранен, но и оглушен выстрелом.

Сорока время от времени смачивал тряпку в ведре, привязанном к седлу лошади, и вытирал ему лицо; останавливался у ручьев и озер, чтобы почерпнуть свежей воды, но ни вода, ни остановки, ни движения лошади не могли привести полковника в чувство. Он лежал, как мертвый, и солдаты, менее опытные, чем их вахмистр, в лечении ран, начинали уже тревожиться, жив ли он?

— Жив, — отвечал Сорока, — через три дня будет сидеть на коне, как и прежде!
Не больше чем через час Кмициц открыл глаза и произнес только одно слово:
— Пить!

Сорока приложил к его губам флягу с чистой водой, но оказалось, что раненый не мог раскрыть рта от страшной боли. Сознания он не потерял, ни о чем не спрашивал, точно ничего не помнил, смотрел широко раскрытыми глазами в лесную чащу, на спутников, на просинь неба между деревьями — смотрел как человек, только что очнувшийся от сна или протрезвившийся после опьянения; позволял, не говоря ни слова, осматривать себя Сороке и не стонал при перевязке, даже, напротив, холодная вода, которой вахмистр обмывал ему раны, по-видимому, доставляла ему удовольствие, так как он иногда улыбался глазами.

А Сорока утешал его:

— Завтра, пан полковник, все пройдет. Бог даст, мы найдем какое-нибудь убежище.

И действительно, под вечер раненому стало легче. Перед заходом солнца Кмициц посмотрел вокруг себя более осмысленно и внезапно спросил:

— Что это за шум?

— Какой шум? Никакого шума нет! — ответил вахмистр.

Очевидно, шумело только в голове пана Андрея. Вечер был тихий, погожий. Заходящее солнце косыми лучами проникало в чащу, насыщало золотом лесной мрак и делало алыми стволы могучих сосен. Ветра не было, и только порой с берез и грабов падали на землю засохшие листья, или какой-нибудь зверь робко сворачивал в сторону, заведя всадников.

Вечер был холодный, но у пана Андрея, должно быть, появилась горячка, и он повторил несколько раз:

— Ваше сиятельство! Меж нами война на жизнь и смерть!

Наконец уже совсем стемнело, и Сорока стал подумывать о ночлеге, но они въехали в лес, и под копытами зашлепала грязь — надо было добраться до более сухого места.

Ехали уже час, другой, а все не могли выбраться из болота. Взошла луна, снова стало светлее. Вдруг Сорока, ехавший впереди, соскочил с седла и стал внимательно осматривать землю.

— По этой дороге лошади шли, — проговорил он, — след по грязи!

— Кто же тут мог проезжать, коли здесь и дороги нет? — возразил один из солдат, поддерживавших пана Кмицица.

— А следы есть, и много! Вон там, между соснами, видно как на ладони.

— Может, скот проходил?

— Нет, лесные пастбища отошли. Ясно видны следы лошадиных подков. Здесь проезжали какие-то люди. Хорошо бы найти хоть шалаш какой.

— Ну, едем по следам.

— Едем!

Сорока снова вскочил на коня, и они поехали дальше. Следы на торфянистой почве становились все яснее, и некоторые, по-видимому, были совершенно свежие. А между тем лошади вязли все глубже; всадники уже стали опасаться, не начнется ли дальше еще более глубокая топь, как вдруг до них донесся запах дыма и смолы.

— Должно быть, смолокурня, — заметил вахмистр.

— Да, вон там искры видны! — сказал один из солдат. Действительно, вдали показался красноватый дым, вокруг которого кружились искры от тлевшего под землею огня.

Подъехав ближе, солдаты увидели избу, колодец и большой сарай, построенный из сосновых бревен. Усталые с дороги лошади заржали; им ответило ржание из сарая; в ту же минуту перед всадниками показался какой-то человек,

одетый в полушубок, вывернутый овчиной наизнанку.

— А лошадей много? — спросил человек в тулупе.

— Мужик, чья это смолокурня? — спросил Сорока.

— Что вы за люди? Откуда взялись? — продолжал расспрашивать смолокур голосом, в котором был страх и удивление.

— Не бойся, — ответил Сорока, — не разбойники.

— Проезжайте, здесь вам делать нечего.

— Замолчи и веди в хату, пока честью просим. Не видишь, хам, раненого везем?

— Да кто вы такие?

— Смотри, как бы я тебе из ружья не ответил. Получше тебя! Веди нас в избу, не то мы тебя в твоей же смоле сварим!

— Одному мне с вами не справиться, но скоро нас больше будет. Все вы тут головы сложите.

— Будет и нас больше, веди.

— Ну тогда идите, не мое дело.

— Дай чего-нибудь поесть и горилки. Мы везем пана, он заплатит.

— Если живым отсюда уедет...

Разговаривая так, они вошли в избу, где топилась печь, и из горшков распространялся запах тушеного мяса. Горница была довольно просторная. Сорока заметил вдоль стен шесть настилок из овечьих шкур.

— Здесь живет какая-то компания! — сказал он товарищам. — Зарядить ружья и держать ухо востро. За этим хамом присматривать, чтобы не удрал. Компания пусть сегодня ночует на дворе. Мы избу не уступим.

— Паны сегодня не приедут, — сказал смолокур.

— Это и лучше, не будем из-за избы спорить, завтра мы уедем, — ответил Сорока. — А теперь выкладывай мяса на миску, мы голодны. Да и коням подсыпь овса.

— А откуда мне достать овса? Тут ведь смолокурня, вельможный пане.

— Я слышал, кони ржали в сарае. Не смолой же ты их кормишь?

— Это не мои кони.

— Все равно, твои или нет, есть они должны, как и наши. Ну, живо, холоп! Живо, если тебе жизнь дорога!

Смолокур ничего не ответил.

Между тем солдаты положили пана Андрея на одну из настилок, потом сели ужинать и жадно ели тушеное мясо с капустой, которое взяли из печи.

В чулане, рядом с горницей, Сорока нашел изрядный ковш горилки. Но сам он отпил лишь немного, а солдатам не дал вовсе, так как решил быть настороже всю ночь.

Эта пустая изба, с настилками на шесть человек, сарай, где ржали лошади, показались ему очень подозрительными. Он думал, что это просто разбойничий притон, тем более что в чулане было много оружия, развешанного на стенах, пороху и других вещей, вероятно награбленных в шляхетских домах. В случае, если бы хозяева избы вернулись, от них едва ли можно было бы ждать не только гостеприимства, но и пощады; Сорока решил занять избу с оружием в руках и остаться в ней при помощи ли силы или мирных переговоров.

Это было необходимо и ввиду болезни Кмицица, для которого переезд мог быть гибельным, и в целях общей безопасности. Сорока был солдат бывалый, которому было чуждо одно лишь чувство — чувство страха; но теперь при одной мысли о князе Богуславе им овладела тревога. Уже много лет состоя на службе у Кмицица, он слепо верил не только в мужество, но и в счастье молодого полковника, не раз видел его смелые до безумия поступки, которые все же заканчивались благополучно и постоянно сходили ему с рук. Вместе с Кмицицем он участвовал во всех походах

против Хованского, во всех драках, нападениях, наездах, похищениях и пришел к убеждению, что молодой пан все может, все умеет и каждого спасет в несчастье. Кмициц был для него воплощением величайшей силы и счастья, но вот теперь, очевидно, нашла коса на камень. Кмициц попал на такого, как и он, нет, даже на лучшего! Как? Человек, который был уже в руках Кмицица, безоружный, беззащитный, сумел вырваться у него из рук, ранить его самого, разгромить его солдат и навести на них такой страх, что они разбежались, боясь его возвращения... Это было чудо из чудес, и Сорока долго ломал голову, думая о случившемся; он всего мог ожидать на этом свете, только не того, что найдется человек, который сможет провести пана Кмицица.

— Неужто кончилось уж наше счастье? — бормотал вахмистр, внимательно осматривая хату.

Прежде, бывало, Сорока слепо шел за паном Кмицицем в лагерь Хованского, где стояла семидесятитысячная армия, а теперь, при одном воспоминании об этом длинноволосом князе с девичьими глазами и румяным лицом, его охватывал суеверный страх. Он сам не знал, как поступить. Его ужасала мысль, что завтра или послезавтра придется снова выехать на открытую дорогу, где их может встретить этот страшный князь или его погоня. Потому-то он и свернул с дороги в глухие леса и теперь хотел остаться в этой лесной хате, чтобы обмануть погоню.

Но и это убежище по разным причинам казалось ненадежным, он хотел знать, с кем имеет дело. Поэтому велел солдатам сторожить у дверей и окон хаты, а сам обратился к смолокуру:

— Мужик, бери фонарь и иди за мной!

— Не осветить ли лучиной, вельможный пан? У меня фонаря нет.

— Свети хоть лучиной. Сожжешь сарай и лошадей, мне все равно. После этих слов в чулане нашелся и фонарь. Сорока приказал мужику идти вперед, а сам пошел за ним с пистолетом в руке.

— Кто здесь живет, в этой избе? — спросил он дорогой.

— Паны живут.

— Как их зовут?

— Этого мне нельзя сказать.

— Вижу я, мужик, что быть тебе битым!

— Да что ж, сударь, — ответил смолокур, — ежели я вам и совру, почем вы узнаете?

— Это правда. А много их, панов-то?

— Один старый пан, двое молодых и двое слуг.

— Как так? Разве они шляхта?

— Должно, шляхта...

— И здесь живут?

— Когда здесь, когда бог знает где.

— А лошади откуда?

— Паны навели, не знаю откуда.

— Говори правду: не разбоем промышляют твои паны?

— Да нешто я знаю, сударь. Коней уводят, а у кого — не мое дело.

Они подошли к сараю, откуда слышалось ржанье лошадей, и вошли внутрь.

— Свети! — приказал Сорока.

Мужик поднял фонарь и стал освещать лошадей, стоявших в ряд у стены. Сорока осмотрел их глазами знатока, покачивал головой, прищелкивал языком и сказал:

— А с лошадьми что делают?

— Случается, приведут штук десять — двенадцать и погонят, а куда — тоже не знаю.

— Покойный пан Зенд остался бы доволен. Есть польские, московские, вот немецкая кобыла. Хорошие кони... А чем вы их кормите?

— Что ж, лгать не буду, весной я засеял овсом две полянки.

— Твои паны сами весной коней привели?

— Нет, прислали слугу!

— А ты чей, ихний?

— Был ихний, пока они на войну не ушли.

— На какую войну?

— Да нешто я знаю, сударь? Ушли далеко, еще в прошлом году, а вернулись летом.

— А теперь ты чей?

— Это леса королевские.

— Кто тебя посадил на смолокурне?

— Королевский лесничий, он моим панам родня. Он с ними и лошадей приводил, да только как-то раз уехал с ними и больше не вернулся.

— А гостей у панов тут не бывало?

— Сюда никто не попадет, болота вокруг, только один проход сюда и есть. Дивлюсь я, сударь, что вы сюда попали. Кто не попадет, того болото затянет.

Сорока хотел было ответить, что и лес этот, и этот проход он хорошо знает, но после минутного раздумья решил промолчать и спросил вместо этого:

— А леса тут большие?

Мужик не понял вопроса.

— Ась?

— Далеко ли идут леса?

— Ну разве их пройдешь? Один кончится, другой начнется. Бог весть, где им конец! Я там не был.

— Ладно, — сказал Сорока.

И велел мужику идти назад, а сам пошел к избе.

По дороге он раздумывал, как ему поступить, и колебался. Ему хотелось воспользоваться отсутствием хозяев, взять лошадей и удрать. Добыча была ценная, и лошади пришлось по сердцу старому солдату, но через минуту он поборол искушение. Взять легко, но что потом делать?

Вокруг болота, один проход только — как попасть на него? Случай помог однажды, другой раз такого случая может и не быть. Идти по следу лошадиных копыт нет смысла, ведь у здешних хозяев могло хватить ума нарочно провести ложный след прямо к трясинам. Сорока хорошо знал обычаи людей, которые живут конокрадством и разбоем.

Он долго раздумывал, наконец ударил себя ладонью в лоб.

— Что я за дурак! — пробормотал он. — Возьму мужика на веревку и велю ему вывести нас на дорогу.

И тут же вздохнул от звука последнего слова.

— На дорогу? А там князь и погоня. Пятнадцать лошадей потерять! — пробормотал старый пройдоха с такой грустью, точно он этих лошадей сам вырастил. — Не иначе как кончилось наше счастье. Надо сидеть в избе, пока пан Кмициц не выздоровеет, сидеть, не глядя на то, позволят ли хозяева или нет... А что потом делать, над этим пусть уж сам полковник голову себе поломает.

Раздумывая так, он вернулся в избу. Караульные стояли у дверей, и хотя видели издали фонарь, мигавший в темноте, тот самый, с которым вышел смолокур и Сорока, но, прежде чем впустить их в избу, заставили их откликнуться. Сорока отдал приказ, чтобы караульные сменились в полночь, а сам лег на настилку рядом с Кмицицем.

В избе было тихо, только сверчки пели обычную песню, в соседней комнате скреблись мыши, больной по временам просыпался в лихорадочном бреду, и Сорока

слышал тогда его бессвязные слова:

— Ваше величество, простите!.. Они изменники!.. Я раскрою все их тайны!.. Речь Посполитая — красное сукно!.. Хорошо, князь, вы у меня в руках. Держи!! Ваше величество! Сюда! Там измена!!

Сорока подымался со своей постели и слушал, но больной, вскрикнув раз, другой, засыпал снова и потом опять просыпался и кричал:

— Оле нька! Оле нька! Не сердись!

Только около полуночи он заснул совершенно спокойно, и Сорока тоже начал дремать, но его разбудил вдруг стук в дверь. Солдат тотчас вскочил на ноги и выбежал из избы.

— Что такое? — спросил он.

— Пан вахмистр, смолокур убежал.

— Сто чертей! Он сюда разбойников приведет! Кто смотрел за ним?

— Белоус!

— Я пошел с ним лошадей поить, — говорил Белоус, оправдываясь, — велел ему ведро вытаскивать, а сам лошадей держал.

— Ну, и в колодец прыгнул?

— Нет, пан вахмистр, он пропал не то между бревен, которых много у колодца, не то в ямах. Я бросил лошадей — хоть и разбегутся там, так другие есть — да за ним и попал в яму. Ночь, темнота... Этот черт местность знает, так и пропал. Чтoб его зараза!

— Приведет сюда этих чертей, приведет. Разрази его гром! Вахмистр помолчал и сказал потом:

— Ну, придется просидеть до утра, ложиться нельзя. Того и гляди, подъедут. И, в пример другим, он сел на пороге избы с мушкетом в руке, солдаты сели вокруг него, разговаривая друг с другом тихо или напевая вполголоса, и все время прислушивались, не раздастся ли среди ночных отголосков леса топот и фыркание лошадей.

Ночь была погожая и лунная, но шумная. В глубинах леса кипела жизнь. Была пора течи, и пуца гремела вокруг грозным ревом оленей, и рев этот, короткий, хриплый, полный гнева и бешенства, отдавался во всех частях леса, в глубине и поблизости, иногда тут же, рядом, в нескольких десятках шагов от избы.

— Если они поедут, то будут тоже реветь по-оленьи, чтоб обмануть нас, — сказал Белоус.

— Ну, нынче ночью еще не подъедут; пока мужик доберется до них, настанет утро, — ответил другой солдат.

— А завтра, пан вахмистр, хорошо бы осмотреть хату и под стенами в земле порыться; раз тут разбойники живут, должен быть и клад.

— Лучший клад вон там, — заметил Сорока, указывая на конюшню.

— Мы их возьмем с собою?

— Дурак! Здесь выхода нет — кругом болото.

— Да ведь мы сюда приехали?

— Бог помог. Сюда никто не сможет попасть, и никто отсюда не выйдет, если дороги не найдет.

— Днем найдем.

— Не найдем, они нарочно ложные следы оставили. Не надо было мужика отпускать.

— Да ведь знаем мы, что до дороги отсюда день езды, — сказал Белоус, — и она вон в той стороне...

Тут он указал рукой на восток.

— Будем ехать, пока не приедем, вот и все!

— А ты думаешь, что, на дорогу выехав, барином будешь? Нешто тебе больше

разбойничья пуля нравится, чем виселица — там?

— Как так, отец? — спросил Белоус.

— Там уж нас, наверно, ищут.

— Кто, отец?

— Князь.

Тут Сорока вдруг замолчал, за ним замолчали и другие, точно испугавшись чего-то.

— Ох! — сказал наконец Белоус. — Тут плохо и там плохо... Як нэ круты, нэ вэрты...

— Загнали нас, как сиромах, в силки; тут разбойники, а там князь! — сказал другой солдат.

— Чтоб их громом разразило! Лучше дело с разбойниками иметь, чем с колдуном! — ответил Белоус. — А князь не простой человек, ох не простой. Завратынский ведь с медведем мог бороться, а он у него саблю из рук вырвал, как у ребенка. Не иначе как околдовал его князь — я ведь и то видел, что когда он потом на Витковского бросился, то на глазах у меня как сосна вырос. Не будь это, я бы его живьем не выпустил.

— И так ты дурак, что на него не бросился!

— Что бы делать, пан вахмистр? Я думал так: сидел он на самом лучшем коне, значит, коли захочет, удерет, а если наедет, так я с ним не сложаю — колдуна ведь человеческой силе не одолеть. Из глаз пропадет или тучей накроется...

— Оно правда, — сказал Сорока, — когда я в него стрелял, его точно мглой подернуло — вот и промахнулся... С коня всякий промахнуться может, когда конь под ним танцует, но так, с земли, этого со мной уж десять лет не случалось.

— Что говорить! — сказал Белоус. — Лучше сосчитать: Любенец, Витковский, Завратынский, наш полковник — и всех их один человек уложил, безоружный. А ведь каждый из них с четырьмя мог сладить. Без чертовой помощи он бы этого сделать не мог.

— Одна надежда на Бога; раз князь колдун — черт ему и сюда дорогу укажет!

— У него и без того руки длинные — пан такой, каких мало.

— Тише! — сказал вдруг Сорока. — Что-то шелестит в лесу!..

Солдаты замолчали и прислушались. Действительно, неподалеку слышались какие-то тяжелые шаги, под которыми явственно шелестели опавшие листья.

— Лошади — ясно слышно! — шепнул Сорока.

Но шаги стали удаляться от избы, и вскоре раздался грозный и хриплый рев оленя.

— Это олени. Самец ланям голос подает, потому — другого рогача почуял.

— По всему лесу рев, как у черта на свадьбе.

Они снова замолчали и стали дремать, один только вахмистр поднимал порою голову и прислушивался, потом наконец ближайšie сосны из черных стали серыми, и верхушки их белели все больше, точно их кто-нибудь полил расплавленным серебром. Олений рев замолк, и в глубинах леса царила совершенная тишина. Понемногу рассветная муть стала редеть, белый бледный свет впитывал в себя золотой и розовый отблеск, наконец настал день и озарил утомленные лица солдат, спавших глубоким сном перед избой.

Вдруг дверь избы открылась, и на пороге показался Кмициц.

— Сорока, ко мне! — крикнул он. Все солдаты тотчас вскочили.

— Господи боже, ваша милость уж на ногах! — воскликнул Сорока.

— А вы спали, как волы; можно было бы вам головы срубить и за забор выбросить, прежде чем кто-нибудь из вас проснулся бы.

— Мы сторожили до утра, пан полковник, и уснули только перед рассветом. Кмициц стал смотреть по сторонам.

— Где мы?
— В лесу, пан полковник.
— Да ведь вижу. Чья это изба?
— Мы сами не знаем.
— Иди за мной! — сказал пан Андрей.

Кмициц вошел в избу, Сорока последовал за ним.

— Слушай, — сказал Кмициц, сев на настилку, — это князь меня ранил?

— Так точно.

— А где же он сам?

— Убежал.

Наступило минутное молчание.

— Это плохо, — сказал Кмициц, — очень плохо. Лучше было б его убить, чем отпускать живым.

— Мы так и хотели, но...

— Но что?

Сорока рассказал в нескольких словах все, что случилось. Кмициц слушал его совершенно спокойно, только глаза его сверкали. Наконец он сказал:

— На этот раз он вырвался, но мы еще встретимся. Почему ты свернул с дороги?

— Боялся погони.

— И хорошо сделал. Погоня, наверное, и была. Нас слишком мало, чтобы с войском Богуслава встретиться, кроме того, он теперь уехал в Пруссию, туда мы гнаться за ним не можем, надо подождать.

Сорока вздохнул с облегчением. Пан Кмициц, очевидно, не очень уж боялся князя Богуслава, если говорил о том, чтобы его преследовать. Это чувство сейчас же передалось старому солдату, привыкшему думать головою своего полковника и чувствовать его сердцем. Пан Андрей глубоко задумался и, очнувшись, стал чего-то искать на себе.

— А где мои письма? — спросил он.

— Какие письма?

— Которые были при мне! Они были спрятаны в пояс! Где пояс?

— Пояс я сам снял с вашей милости, чтобы вам легче было дышать. Вот он лежит!

— Давай!

И Сорока подал ему пояс с карманами, которые стягивались шнурками. Кмициц развязал их и быстро вынул бумаги.

— Это грамоты к шведским комендантам, а где же письма? — спросил он встревоженным голосом.

— Какие письма? — снова спросил Сорока.

— Тысяча чертей! Письма гетмана к королю шведскому, к пану Любомирскому, все те, которые у меня были?!

— Если их нет в поясе, значит, их нигде нет. Должно быть, потеряны в дороге.

— На коней и искать! — крикнул не своим голосом Кмициц.

Но прежде чем изумленный Сорока успел выйти из комнаты, Кмициц бросился на настилку, точно силы вдруг оставили его, и, схватившись за голову, повторял стонущим голосом:

— Письма мои, письма мои!

Между тем солдаты уехали, кроме одного, которому Сорока велел караулить избу. Кмициц остался один и стал раздумывать о своем незавидном положении.

Богуслав бежал. Над паном Андреем нависла страшная и неотвратимая месть могущественнейших Радзивиллов. И не только над ним, но над всеми, кого он любил — короче говоря, над Оле нькой. Кмициц знал, что князь Януш не задумается ранить

его в самое больное место, то есть мстить ему на панне Биллевич. А ведь Оле нька в Кейданах в полной зависимости от страшного магната, сердце которого не знало жалости. Чем больше раздумывал Кмициц над своим положением, тем больше убеждался, что оно было ужасно. После его попытки похитить Богуслава Радзивиллы будут считать его изменником; сторонники Яна Казимира, приверженцы Сапеги и конфедераты, восставшие на Полесье, считают его тоже изменником, запродавшимся Радзивиллу.

Среди всех лагерей, партий, иностранных войск, занявших теперь Речь Посполитую, не было ни одного лагеря, ни одной партии, ни одного войска, которые не считали бы его своим величайшим и заклятым врагом. Ведь назначил же Хованский награду за его голову, а теперь ее назначат Радзивиллы, шведы — и, кто знает, не назначили ли уже сторонники несчастного Яна Казимира. «Заварил кашу, а теперь приходится расхлебывать», — думал Кмициц. Похищая князя Богуслава, он делал это для того, чтобы бросить его к ногам конфедератов, дать им несомненное доказательство того, что он порвал с Радзивиллом, стать в их ряды и приобрести себе право бороться за короля и за отчизну. С другой стороны, Богуслав был в его руках заложником безопасности Оле ньки. Но теперь, когда Богуслав перехитрил Кмицица и бежал, исчезла не только безопасность Оле ньки, исчезло и доказательство того, что пан Кмициц не притворно бросил службу у Радзивилла. Дорога к конфедератам открыта, но если он наткнется на отряд Володыевского и его приятелей — полковников, они, может быть, даруют ему жизнь, но захотят ли они принять его, как товарища, поверят ли они ему, не подумают ли, что он приехал шпионить или перетягивать людей на сторону Радзивилла? Тут он вспомнил, что на нем тяготеет кровь конфедератов, вспомнил, что он первый перебил взбунтовавшихся венгров и драгун в Кейданах, что он рассеивал мятежные полки и принуждал их к сдаче, что он расстреливал непокорных офицеров и резал солдат, что он укрепил Кейданы валами и этим обеспечил могущество Радзивилла на Жмуди.

«Как же мне идти туда, — думал он, — ведь для них чума более желанный гость, чем я! Будь у меня Богуслав на аркане, тогда бы можно, но теперь, с пустыми руками...»

Будь у него хоть эти письма, то, если бы он и не купил ими доверия у конфедератов, он все же держал бы ими в руках князя Януша, так как эти письма могли подорвать кредит гетмана даже у шведов... Ценой этих писем можно было бы спасти Оле ньку.

Но злой дух сделал так, что письма пропали.

Когда Кмициц передумал все это, он снова схватился за голову.

«Я изменник в глазах Радзивилла, изменник в глазах Оленьки, изменник в глазах конфедератов, в глазах короля... Я погубил все: честь, себя, Оленьку».

Рана на лице горела, но еще более мучительный огонь жег душу... К довершению всего страдало и его рыцарское самолюбие. Богуслав разбил его самым позорным образом. Что в сравнении с этим были сабельные удары Володыевского, которых он не сумел отразить в Любиче? Там его победил вооруженный рыцарь, которого он вызвал на поединок, здесь — безоружный пленник, который был у него в руках!

С каждой минутой Кмициц видел все отчетливее, в какое страшное, в какое позорное положение он попал. И чем больше присматривался он к нему, тем явственнее вставал перед ним весь его ужас... Он находил все новые темные стороны: позор, стыд, гибель его самого, гибель Оленьки, обида, нанесенная отчизне, — и в конце концов его охватил страх и изумление.

— Неужели все это сделал я? — спрашивал он самого себя. И волосы дыбом вставали у него на голове. — Это невозможно. Меня, должно быть, еще лихорадка

трясет! — вскрикнул он. — Матерь Божья, ведь это невозможно!..

«Слепой, глупый сумасброд! — сказала ему совесть. — Разве не лучше было тебе стать на сторону короля и отчизны, не лучше было послушаться Оле ньки?»

И скорбь забушевала в нем вихрем. Эх! Если бы он мог себе сказать: «Шведы против отчизны — я против них! Радзивилл против короля — я против Радзивилла!» Как ясно, как чисто было бы тогда на душе. Он набрал бы тогда шайку забияк и головорезов и гулял бы с ними, как вихрь по полям, подкрадывался бы к шведам и проезжал по их трупам, с чистым сердцем, с чистой совестью... Как лучами солнца, залитый славой, он стал бы перед Оле нькой и сказал:

— Я уже не разбойник, преследуемый законом, я защитник отчизны, — люби же меня так, как я тебя люблю!

А теперь что?

Но гордая душа слишком привыкла делать себе поблажки, не хотела сразу во всем сознаться: это Радзивиллы опутали его, довели до гибели, покрыли позором, связали руки, лишили чести и любимой девушки.

Пан Кмициц заскрежетал зубами, протянул руку в сторону Жмуди, где сидел князь Януш, гетман, как волк на трупе, и вскрикнул сдавленным от бешенства голосом:

— Мести! Мести!

Вдруг, охваченный отчаянием, он бросился на колени среди горницы и проговорил:

— Даю обет тебе, Господи Иисусе Христе, изменников этих бить и избивать, огнем и мечом преследовать, до последнего издыхания и скончания живота! В том мне, Царю Назарейский, помоги! Аминь!

Но какой-то внутренний голос сказал ему в эту минуту: «Отчизне служи, месть — потом!»

Глаза пана Андрея лихорадочно горели, губы ссохлись, он дрожал всем телом, как в горячке, размахивал руками и, разговаривая с самим собой, ходил или, вернее, бегал по горнице и наконец опять упал на колени:

— Вдохнови же меня, Господи, что мне делать, чтобы мне не сойти с ума!

Вдруг он услышал гул выстрела — лесное эхо отбрасывало его от сосны к сосне, пока не донесло до избы, словно раскат грома. Кмициц вскочил и, схватив саблю, выбежал в сени.

— Что там? — спросил он солдата, стоявшего у порога.

— Выстрел, пан полковник!

— Где Сорока?

— Поехал письма искать.

— Где выстрелили?

Солдат указал на восточную часть леса, поросшую густым кустарником:

— Там!

В эту минуту послышался топот лошадей, которых еще не было видно.

— Слушать! — крикнул Кмициц.

Из зарослей показался Сорока, летевший во весь дух на коне, а за ним Другой солдат.

Оба они подъехали к избе и, соскочив с лошадей, стали за ними, как за прикрытием, с мушкетами, обращенными к зарослям.

— Что там? — спросил Кмициц.

— Шайка идет! — ответил Сорока.

II

Стало тихо, но вскоре в ближайших зарослях послышался шум, точно там

проходило стадо кабанов. Но шум этот чем был ближе, тем становился все слабее, потом опять воцарилась тишина.

— Сколько их там? — спросил Кмициц.

— Человек шесть будет или восемь, сосчитать не успел, — ответил Сорока.

— Тогда наше дело верное. Они с нами не сладят.

— Не сладят, пан полковник, только нужно одного живьем взять и попытать, чтобы он нам дорогу указал...

— Успеем еще. Слушай!

И едва Кмициц проговорил «слушай», как из зарослей показался белый дымок, и точно птицы прошуршали по траве в каких-нибудь тридцати шагах.

— Мелкими гвоздями стреляют из самопалов, — проговорил Кмициц. — Если у них мушкетов нет, они нам ничего не сделают, оттуда не донесет.

Сорока, держа одной рукой мушкет, положенный на седло стоявшего перед ним коня, приложил другую к губам, сложил ладонь в трубку и закричал:

— А покажись-ка кто-нибудь из кустов, мигом кувыркнуешься! Настала тишина, потом громкий голос спросил из зарослей:

— Кто вы такие?

— Лучше тех, что по проезжим дорогам грабят.

— По какому праву вы нашу избу заняли?

— Разбойник о праве спрашивает?! Палач научит вас праву — к палачу и ступайте!

— Мы выкурим вас, как барсуков из норы.

— Ну выкуривай, только смотри, как бы самому тебе не задохнуться в этом дыму.

Голос в зарослях умолк; вероятно, нападающие стали совещаться; между тем Сорока прошептал Кмицицу:

— Надо будет кого-нибудь заманить и связать, тогда у нас заложник и проводник будет.

— Нет! Если кто-нибудь из них придет, — сказал Кмициц, — то только на наше честное слово.

— С разбойниками можно и честного слова не держать.

— Тогда и давать не надо! — возразил Кмициц.

Но вот из зарослей послышался новый вопрос:

— Чего вы хотите?

Отвечать стал сам Кмициц:

— Мы бы как приехали, так и уехали, если бы ты, болван, рыцарское обхождение знал и не начинал с самопала.

— Ты тут не загостишься, вечером наши приедут сто человек!

— А до вечера к нам двести драгун придет, и болота вас не защитят — есть и такие, что дорогу знают, они же нам дорогу и показали.

— Значит, вы солдаты?

— Не разбойники, ясное дело.

— А из какого полка?

— А ты что за гетман? Не тебе нам отчет давать.

— Ну так съедят вас волки!

— А вас вороны заклюют!

— Говорите, чего хотите, черт вас дери! Зачем в нашу избу залезли?

— Иди-ка сюда ближе! Нечего горло драть из зарослей. Ближе!

— На слово?

— Слово рыцарям дают, а не разбойникам. Хочешь — верь, хочешь — не верь.

— А можно вдвоем?

— Можно.

Немного погодя из зарослей, шагах в ста, вышло двое высоких и плечистых людей. Один из них шел немного сгорбившись: он был, должно быть, уже пожилой человек; другой же шел прямо и только с любопытством вытягивал шею по направлению к избе. Одеты они были в серые суконные полушубки, какие носила мелкая шляхта, в высокие кожаные сапоги и меховые шапки, надвинутые на глаза.

— Что за черт? — пробормотал Кмициц, пристально разглядывая этих двух людей.

— Пан полковник, — сказал Сорока, — чудо какое-то! Ведь это наши люди!

Те подошли еще на несколько шагов, но не могли разглядеть стоявших у избы, так как их закрывали лошади...

Кмициц вышел к ним навстречу. Но они все еще не узнавали его, так как лицо полковника было обвязано платком; все же они остановились и стали рассматривать его с любопытством и тревогой.

— А где же твой другой сын, Кемлич? — спросил пан Андрей, — Уж не убит ли?

— Кто это? Как? Что? Кто говорит? — спросил старик странным и как бы испуганным голосом. И застыл в неподвижности, широко открыв глаза и рот; вдруг сын, у которого были молодые и зоркие глаза, сорвал шапку с головы.

— Господи боже! Отец, да ведь это пан полковник! — воскликнул он.

— Иисусе! Иисусе сладчайший! — затараторил старик. — Это пан Кмициц!

— Ах вы такие-сякие, — сказал, улыбаясь, пан Андрей, — так вот вы как меня встречаете!

Старик подбежал к избе и закричал:

— Эй! Идите сюда все! Сюда!

Из зарослей показалось еще несколько человек, между ними был второй сын старика и смолочур; все бежали сломя голову, так как не знали, что произошло...

Старик снова крикнул:

— На колени, шельмы! На колени! Это пан Кмициц! Какой дурак из вас стрелял? Давайте его сюда!

— Да ты сам стрелял, отец! — сказал молодой Кемлич.

— Врешь, врешь, как собака! Пан полковник, кто же мог знать, что это ваша милость в нашем жилье. Ей-богу, я глазам еще не верю!

— Я сам собственной персоной! — сказал Кмициц, протягивая ему руку.

— Господи! — отвечал старик. — Такой гость в лесу! Глазам не верю. Чем же мы вашу милость принимать будем? Если б мы только догадаться могли, если б мы знали...

И он обратился к сыновьям:

— Ну, живо, болваны, беги кто-нибудь в погреб, меду неси!

— Так дай ключ от колоды, отец! — сказал один из сыновей.

Старик стал искать за поясом и в то же время подозрительно поглядывал на сына:

— Ключ от колоды? Знаю я тебя, мошенника! Сам выпьешь больше, чем принесешь. Что? Нет, уж лучше я сам пойду! Идите только бревна отвалите, а я открою и принесу сам.

— У тебя, значит, погреб под бревнами, пан Кемлич? — спросил Кмициц.

— Да разве можно что-нибудь спрятать от таких разбойников? Они и отца родного готовы съесть! — отвечал он, указывая на сыновей. — А вы еще здесь? Идите бревна отвалить. Так вот вы как отца слушаете!

Молодые люди опрометью бросились на двор, к кучам нарубленных дров.

— Вижу, ты по-старому с сыновьями воюешь, — сказал Кмициц.

— Да кто же с ними поладит? Драться умеют, добычу брать умеют, а когда придется с отцом поделиться, я у них из горла должен свою часть вырывать... Вот какая мне, старику, от них радость!.. А парни как туры. Пожалуйте в избу, ваша

милость, тут мороз пощипывает. Господи боже, такой гость, такой гость! Ведь мы под командой вашей милости больше добычи взяли, чем за весь этот год... Теперь — хоть шаром покати. Нищие мы! Времена плохие, и все хуже... А старость не радость... В избу пожалуйте, челом бью. Господи! Кто мог тут вашу милость ожидать!..

Старик Кемлич говорил как-то особенно быстро и жалостно и все время украдкой поглядывал по сторонам тревожными глазами. Это был костлявый старик, огромного роста, с вечно недовольным и сердитым лицом. Глаза у него косили, как и у обоих сыновей, брови нависли, под огромными усами торчала отвисшая нижняя губа, и, когда он говорил, она поднималась у него почти до самого носа, как у беззубых людей. Его дряхлость страшно не соответствовала крепости всей его фигуры, обнаруживавшей необычайную физическую силу и выносливость. Движения у него были быстрые, точно весь он был на заводных пружинах; он вечно поворачивал во все стороны голову, стараясь охватить глазами все, что его окружало: и людей, и вещи. По отношению к Кмицицу он с каждой минутой становился все подобострастнее, по мере того как в нем оживала привычка слушаться прежнего начальника, страх перед ним, а может быть, преклонение или привязанность.

Кмициц хорошо знал Кемличей, так как отец и оба сына служили под его начальством в то время, как он в Белоруссии, на свой страх, вел войну с Хованским. Это были храбрые солдаты, столь же жестокие, сколь храбрые. Сын, Козьма, одно время был знаменщиком в отряде Кмицица, но вскоре он отказался от этой почетной должности, так как она ему мешала брать добычу. Среди игроков, гуляк и забубённых головушек, из которых состоял отряд Кмицица и которые днем пропивали и проигрывали то, что ночью кровавыми руками вырывали у неприятеля, Кемличи отличались необычайной жадностью. Они собирали добычу и прятали ее в лесах. Особенно жадны были они к лошадям, которых продавали потом по усадьбам и городам. Отец дрался не хуже сыновей-близнецов; после каждой битвы он вырывал у них самую лучшую часть добычи и слезно жаловался при этом, что сыновья его обижают, грозил им отцовским проклятием, стонал и причитал. Сыновья ворчали на него, но, будучи от природы глуповатыми, позволяли отцу тиранить себя. Несмотря на постоянные ссоры и драки, в битве они бешено заступались друг за друга, не жалея крови. Товарищи не любили их, но боялись: в столкновениях они были страшны. Даже офицеры избегали их задевать. Один только Кмициц возбуждал в них неописуемый ужас, да еще, пожалуй, пан Раницкий, перед которым они дрожали, когда лицо его от гнева покрывалось красными пятнами. В обоих они чтили их высокое происхождение, так как Кмицицы еще недавно были самым влиятельным родом в Оршанском повете, а в жилах Раницкого текла сенаторская кровь.

В отряде говорили, что они собрали огромные сокровища, но никто не знал хорошенько, была ли в этом хоть доля правды. Однажды Кмициц отправил их увести табун лошадей, взятых в добычу, — с тех пор они исчезли. Кмициц думал, что они погибли, солдаты говорили, что они удрали с лошадьми, так как слишком тут было велико для них искушение. Теперь, когда пан Андрей увидел их здоровыми и невредимыми, когда из стойла подле избы слышалось ржанье каких-то лошадей, а радость и подобострастие старика перемешивалась с каким-то беспокойством, пан Андрей подумал, что солдаты были правы.

И вот, когда они вошли в избу, он сел на подстилку из шкур и, подбоченившись, посмотрел старику прямо в глаза и потом спросил:

— Кемлич! А где мои кони?

— Иисусе! Иисусе сладчайший! — застонал старик. — Золотаренковы люди забрали, избили нас, изранили, больше ста верст за нами гнались, еле мы ноги унесли. Мать честная, Богородица! Мы не могли уж ни вашей милости, ни отряда найти. Загнали нас сюда, в эти леса, на голод и холод, в эту избу, в эти болота...

Благодарение Богу, ваша милость живы-здоровы, хоть, вижу, ранены. Может, осмотреть рану, целебным отваром смочить? А сынки-то мои? Пошли бревна отваливать? Чего доброго, дверь выломают и к меду подберутся. Голод здесь, нищета, только грибами и пробавляемся. Но для вашей милости будет что и выпить и перекусить... Так вот, забрали они у нас коней, ограбили... Что уж говорить — и службы у вашей милости нас лишили. Куска хлеба нет на старости лет, разве что вы, ваша милость, нас приютите и на службу опять примете...

— Может и так случиться, — ответил Кмициц.

В эту минуту в горницу вошли два сына старика: Козьма и Дамьян, близнецы, парни рослые, неуклюжие, с огромными головами, поросшими невероятно густыми и твердыми, как шетина, волосами, неровными, торчащими у ушей и на макушке какими-то фантастическими клочьями и чубами. Они остановились у дверей, так как не смели сесть в присутствии Кмицица. Дамьян сказал:

— Бревна отвалили!

— Ладно, — сказал старик Кемлич, — пойду принесу меду. Тут он многозначительно посмотрел на сыновей.

— А коней Золотаренковы люди забрали, — сказал он с ударением.

Кмициц взглянул на обоих парней, стоявших у дверей, похожих на два деревянных чурбана, грубо вытесанных топором, и спросил вдруг:

— Что вы тут делаете?

— Лошадей забираем! — ответили они одновременно.

— У кого?

— У кого попало.

— А у кого всего больше?

— У Золотаренковых людей.

— Это хорошо, у неприятеля можно брать, но если вы у своих берете, так вы бездельники, а не шляхтичи. Что с лошадьми делаете?

— Отец продает в Пруссию.

— А у шведов случалось забирать? Ведь тут где-то недалеко шведские отряды. К шведам подбирались?

— Подбирались.

— Должно быть, к отставшим или к небольшим отрядам? А когда они не давались, что вы делали?

— Лупили.

— Ага! Лупили! Стало быть, у вас счеты и с Золотаренкой, и со шведами, и, верно, вам сухими из воды не выйти, если вы к ним в руки попадете?

Козьма и Дамьян молчали.

— Опасную штуку вы затеяли, больше она бездельникам пристала, чем шляхте. Должно быть, и приговоры на вас тяготеют еще с прежних времен?

— Как не тяготеть... — ответили Козьма и Дамьян.

— Так я и думал. Вы родом откуда?

— Мы здешние.

— Где отец жил раньше?

— В Боровичке.

— Деревня его была?

— В совладении с Копыстынским.

— А что с ним случилось?

— Зарубили его мы.

— И пришлось от суда скрываться? Дрянь ваше дело, Кемличи, придется вам на суку повисеть. С палачом познакомитесь, верное дело!

Вдруг дверь в избу скрипнула, и вошел старик с ковшом меда и двумя чарками. Вошел, взглянул тревожно на сыновей и пана Кмицица и потом сказал:

— Идите погреб прикрыть!

Близнецы тотчас вышли, отец налил меду в одну чарку, а другую оставил пустой, не зная, позволит ли ему Кмициц пить с ним.

Но Кмициц и сам пить не мог, он даже говорил с трудом — так болела рана. Видя это, старик сказал:

— Мед при ранах дело неподходящее. Разве что залить рану медом, чтобы ее прижгло хорошенько! Позвольте, ваша милость, осмотреть и перевязать, я не хуже цирюльника толк в ранах понимаю.

Кмициц согласился, Кемлич снял перевязку и внимательно осмотрел рану.

— Кожа содрана, пустое дело. Пуля верхом прошла, вот только распухло...

— Оттого и болит.

— Ране и двух дней не будет. Матерь Божья! Кто-то, должно быть, выстрелил в вашу милость в двух шагах.

— А почему ты так думаешь?

— Потому что порох даже не весь сгореть успел, и зернышки, как веснушки, под кожей сидят. Это уж навсегда у вас останется, ваша милость. Теперь только хлеба с паутиной приложить надо. В двух шагах, должно, кто-то в вас выстрелил... Хорошо еще, не убил вашу милость.

— Значит, не то у меня на роду написано. Ну намни хлеба с паутиной, пан Кемлич, и приложи поскорее, мне нужно с тобой поговорить, а у меня скулы болят.

Старик подозрительно взглянул на полковника, так как в сердце его зародилось опасение, как бы этот разговор не коснулся опять лошадей, которых якобы увели казаки. И он сейчас же засуетился. Размял сначала смоченный хлеб, и так как паутины в избе было сколько угодно, то он вскоре перевязал Кмицицу рану.

— Теперь хорошо, — сказал пан Андрей. — Садись, мосци-Кемлич.

— Слушаюсь, пан полковник, — ответил старик, садясь на краю скамьи и вытягивая тревожно свою седую, щетинистую голову в сторону Кмицица.

Но Кмициц, вместо того чтобы спрашивать или разговаривать, охватил руками голову и глубоко задумался. Потом он встал и начал ходить по горнице; порой он останавливался перед Кемличем и смотрел на него рассеянными глазами, — по-видимому, обдумывая что-то, боролся с мыслями. Так прошло с полчаса, старик вертелся на месте все тревожнее.

Вдруг Кмициц остановился перед ним.

— Мосци-Кемлич, — сказал он, — где тут ближе всего стоят те полки, что взбунтовались против князя-воеводы виленского?

Старик подозрительно заморгал глазами.

— Ваша милость хочет к ним ехать?

— Я тебя не спрашивать прошу, а отвечать.

— Говорят, в Щучине постоем станет один полк, тот, что последний проходил этими местами со Жмуди.

— Кто говорил?

— Люди из полка.

— Кто ведет полк?

— Пан Володыевский.

— Хорошо. Зови сюда Сороку!

Старик вышел и через минуту вернулся с вахмистром.

— А письма нашлись? — спросил Кмициц.

— Нет, пан полковник! — ответил вахмистр. Кмициц щелкнул пальцами.

— Вот беда, беда! Можешь идти, Сорока. За то, что вы письма потеряли, вас повесить надо. Можешь идти. Мосци-Кемлич, есть у тебя на чем писать?

— Пожалуй, найдется, — ответил старик.

— Хоть два листика и перо.

Старик исчез за дверью каморки, которая, по-видимому, была складом всякого рода вещей, и искал долго. Кмициц между тем ходил по комнате и разговаривал сам с собой.

— Есть ли письма или их нет, — говорил он, — гетман не знает, что они пропали, и будет бояться, как бы я их не опубликовал... Он у меня в руках... Хитрость за хитрость! Я пригрожу ему, что отошлю письма воеводе витебскому. Да, да! Даст Бог, он этого испугается.

Дальнейшие его размышления прервал старик Кемлич, который вышел из каморки и сказал:

— Три листка нашел, но пера и чернил нет.

— Нет пера? А птиц разве нет в лесу? Пристрели-ка из ружья.

— Есть чучело ястреба над конюшней.

— Давай крыло, живо!

Кемлич бросился опрометью, так как в голосе Кмицица слышалось лихорадочное нетерпение. Вскоре он вернулся с ястребиным крылом. Кмициц схватил его, вырвал перышко и стал чинить его своим ножом.

— Уходи! — сказал он, глядя на свет. — Легче людям головы резать, чем перо чинить. Теперь чернил надо!

Сказав это, он засучил рукав, сделал сильный укол на руке и обмочил перо в крови.

— Отправляйся, мосци-Кемлич, — сказал он, — и оставь меня одного. Старик вышел из горницы, а пан Андрей сейчас же начал писать:

«От службы вашему сиятельству отказываюсь, ибо изменникам и отступникам служить долее не хочу. От клятвы же моей, перед распятием данной, не оставляю ваше сиятельство по гроб жизни, Господь меня освободит, а если и осудит — лучше мне гореть в геенне огненной за ошибку, чем за измену явную и умышленную отчизне моей и государю моему. Ваше сиятельство обманули меня, дабы был я в руках ваших как некий меч слепой, к пролитию братской крови готовый. И вот вызываю я на Божий суд ваше сиятельство — рассудит Господь, в ком из нас была измена и в ком чистые намерения. Ежели встретимся, то, не глядя на могущество ваше и на то, что вы не только одного человека, но и всю Речь Посполитую укусить насмерть можете, а у меня только сабля в руках, — я вашему сиятельству о себе напомню и в покое сиятельства вашего не оставлю, силы для сего черпая в скорби моей и муках моих. Вашему сиятельству и то известно, что из людей я, кои без полков придворных, без замков и пушек повредить могут. Поколе дней моих хватит, потоле месть моя над вами — ни дня, ни часа не быть вам в покое от мести моей. Сие подтверждаю кровью моею, коей пишу. В руках моих письма вашего сиятельства, гибельные для вас не только перед королем польским, но и перед королем шведским, ибо в них измена явная Речи Посполитой, а также и то, что ваше сиятельство бросить шведов готовы, только лишь нога у них поскользнется. Ежели бы Радзивиллы и вдвое могущественнее были — гибель ваша в моих руках, ибо подписям и печатям каждый верить должен. И вот объявляю вашему сиятельству: если хоть волос единый спадет с голов тех, кого люблю я и кто остался в Кейданах, письма ваши и документы отсылаю к пану Сапеге, а копии пропечатать велю и по всей стране разбросаю. У вашего сиятельства выбор: либо после войны, когда в Речи Посполитой спокойно будет, вы Биллевичей мне отдадите, а я верну вашему сиятельству письма, либо, буде услышу только какую недобрую весть, письма ваши пан Сапега покажет тотчас Понтию де ла Гарди. Вашему сиятельству короны захотелось, да только не знаю, будет ли ее на что надеть, когда голову срубят польский или шведский топор. Лучше, вижу, нам обменяться, ибо хоть мести я и потом не оставлю, но мы уж расправляться друг с другом

будем как частные люди. Богу готов бы поручить я особу вашего сиятельства, ежели б не то, что сами дьявольскую помощь Господней предпочли.

Кмициц.

Р. S. Конфедератов вы, ваше сиятельство не перетравите, найдутся люди, что, перейдя со службы дьявольской на службу Господню, их предостерегут: чтоб пива ни в Орле, ни в Заблудове не пили...»

Тут пан Кмициц вскочил и начал ходить по горнице. Лицо его горело, так как собственное письмо жгло его как огонь. Письмо это было чем-то вроде объявления войны Радзивиллам, но все же пан Кмициц чувствовал в себе какую-то необычайную силу и готов был хоть сейчас начать эту войну с могущественным родом, который потрясал всей страной. Он, простой шляхтич, простой рыцарь, он, преступник, преследуемый законом, он, ниоткуда не ждавший помощи, так насолил всем, что все его считали своим врагом; он, побежденный недавно, чувствовал в себе такую мощь, что как бы пророческим оком видел уже унижение князей Януша и Богуслава и свою победу. Как он будет вести войну, где он найдет союзников, как он победит — он не знал, даже больше: он об этом не думал. Он лишь верил глубоко, что делает то, что должен, что правда и справедливость, а стало быть и Бог, на его стороне. Это придавало ему бодрости и веры безграничной. На душе у него стало гораздо легче. Перед ним открывались какие-то совсем новые миры. Сесть только на коня и ехать туда, и он доедет до славы, до чести, до Оле ньки.

— Ни единый волос не спадет у нее с головы, — повторял он про себя с какой-то лихорадочной радостью, — письма ее защитят... Гетман будет беречь ее как зеницу ока... как я сам! Вот я и нашел выход! Я жалкий червь, но ведь и моего жала надо бояться!

Вдруг у него мелькнула такая мысль: «А что, если и ей написать? Посыльный, который отвезет письмо гетману, может передать и ей тайком записку. Как же не уведомить ее, что я порвал с Радзивиллом и иду искать другой службы?»

Эта мысль сначала пришлась ему очень по сердцу. Сделав снова надрез на руке, он смочил кровью перо и начал писать: «Оле нька, я больше не служу Радзивиллам, ибо прозрел...» Но вдруг он бросил, подумал минуту и потом сказал про себя: «Пусть отныне дела мои, а не слова говорят обо мне... Не буду писать!»

И он разорвал письмо.

Зато он написал на третьем листке письмо к Володыевскому; оно было следующее:

«Мосци-пане полковник! Нижеподписавшийся приятель ваш предупреждает, чтобы вы были настороже, как вельможный пан, так и другие полковники. Были письма гетмана к князю Богуславу и пану Герасимовичу, велено в них ваших милостей травить или резать, буде станете вы постоем у крестьян. Герасимовича нет, он с князем Богуславом в Пруссию уехал, в Тильзит, но приказания те же гетман мог отдать и другим экономам. Надлежит вашим милостям их остерегаться, ничего от них не принимать и по ночам без стражи не спать. Знаю верно, что пан гетман вскоре выступит против вас с войском, он ждет только кавалерию, — де ла Гарди пришлет ему отряд в полторы тысячи. Блюдите, как бы он не напал на вас врасплох и не смял поодиночке. Лучше всего вам послать верных людей к пану воеводе витебскому, чтобы он собственной персоной приехал поскорее и принял начальство над всеми. Друг ваш советует вам — верьте ему! А пока держитесь все вместе, выбирая квартиры неподалеку друг от друга, чтобы в нужде вы один другому помочь могли. У гетмана кавалерии

мало, есть несколько десятков драгун и люди Кмицица, да на тех ему положиться нельзя. Кмицица самого нет, гетман придумал для него какое-то поручение, ибо, говорят, он больше ему не верит. Кмициц не изменник, как о нем говорят, но человек обманутый. Господу Богу вас поручаю.

Бабинич».

Пан Андрей не хотел под письмом подписывать свое имя, так как думал, что оно может вызвать отвращение или, во всяком случае, недоверие. «Если они думают, что им лучше скрываться от гетмана, чем, собравшись вместе, преградить ему путь, тогда, прочтя мое имя, они будут подозревать, что я нарочно хочу их собрать вместе и что тогда, мол, гетман одним ударом сможет с ними покончить; они подумают, что это какой-то новый подвох, и скорее послушаются предостережений какого-то неизвестного Бабинича».

Пан Андрей назвал себя Бабиничем потому, что неподалеку от Орши лежал городок Бабиничи, который издавна принадлежал Кмицицам.

Написав это письмо, в конце которого он поместил несколько робких слов в свою защиту, он снова обрадовался при мысли, что этим письмом он оказывает первую услугу не только пану Володыевскому и его друзьям, но и всем полковникам, которые не захотели бросить отчизну ради Радзивилла. Он чувствовал, что этим положит начало нитям постоянных сношений между ними. Положение, в которое он попал, было действительно тяжелым, почти отчаянным, но ведь вот — нашелся же выход, какая-то узенькая тропинка, которая могла вывести его на широкую дорогу.

Но теперь, когда, по всей видимости, Оле нька была в безопасности от мести князя-воеводы, конфедераты — от неожиданного нападения, пан Андрей задал себе вопрос, что же он будет делать сам?

Он порвал с изменниками, сжег за собой все мосты, хотел теперь служить отчизне, принести ей в жертву свою силу, здоровье, жизнь, но как было это сделать? Как начать? К чему прежде всего приложить руку?

И ему опять пришло в голову: «Идти к конфедератам...»

Но если его не примут, если назовут его изменником и убьют или — что еще хуже — прогонят с позором?

— Лучше бы убили! — вскрикнул пан Андрей и весь вспыхнул от стыда и чувства собственного унижения. — Легче спасти Оле ньку, спасти конфедератов, чем собственную славу.

И только тут его положение предстало перед ним во всем его ужасе.

И снова в его пылкой душе закипело.

«Но разве я не могу действовать так, как я действовал против Хованского? — сказал он про себя. — Соберу шайку, буду подкрадываться к шведам, жечь, резать! Это для меня не новость! Никто против них устоять не смог, я устою, — и придет минута, когда не Литва уже, как прежде, а вся Речь Посполитая спросит: «Кто тот молодец, что сам лазил в пасть льву?» Тогда я сниму шапку и скажу: «Смотрите, это я, Кмициц».

И в нем проснулось такое страстное желание начать эту кровавую работу, что он готов был сейчас же выбежать из избы, велеть Кемличам, их челяди и своим солдатам садиться на лошадей и трогаться в путь.

Но не успел он подойти к двери, как что-то словно толкнуло его в грудь и не подпустило к порогу. Он остановился среди горницы и смотрел изумленными глазами:

— Как? Неужели я и этим не искуплю своей вины? И началась борьба с совестью.

«А где же раскаяние в том, что ты совершил? — спросила совесть. — Тут нужно что-то другое». — «Что?» — спросил Кмициц. «Чем же ты можешь искупить свою вину, как не некоей безмерно трудной службой, честной и чистой, как слеза... Разве это

служба — собрать шайку бездельников и гулять с ними, как ветер по полю? Уж не потому ли ты этого так хочешь, что тебя, забияку, манит молодецкая расправа? Ведь это потеха, а не служба, пирушка, а не война, разбой, а не защита отчизны! Ты так поступал, справлялся с Хованским — и чего же ты достиг? Разбойники, что пошаливают в лесах, тоже не прочь нападать на шведские отряды, а ты откуда возьмешь других людей? Шведов ты нарежешь вдоволь, но и мирных граждан подведешь, навлечешь на их головы шведскую месть, а чего добьешься? Нет, ты шутками отделаться хочешь от труда и раскаяния!..»

Так говорила Кмицицу совесть, и пан Кмициц знал, что все это правда, и злился на свою совесть за то, что она говорила ему такую горькую правду.

— Что мне делать? — сказал он наконец. — Кто мне поможет, кто меня спасет?

Ноги подогнулись под паном Андреем, и, наконец, он опустился на колени и стал молиться громко, от всей души, от всего сердца.

— Господи Иисусе Христе, — молился он, — как спас ты на кресте разбойника, так спаси и меня. Вот жажду я смыть вину мою, новую жизнь начать, честно отчизне служить, но не знаю как, ибо глуп я. Я служил тем изменникам, Господи, но не по злобе, а по глупости; просвети же меня, вдохнови меня, утешь в отчаянии моем и спаси, во имя милосердия твоего, ибо гибну...

Тут голос пана Андрея дрогнул, он стал ударять себя кулаком в широкую грудь, так, что в избе загудело, и повторял:

— Буди милостив ко мне, грешному! Буди милостив ко мне, грешному! Буди милостив ко мне, грешному!

Потом, протянув вверх руки, он продолжал:

— А ты, Пресвятая Дева, еретиками в отчизне моей отверженная, заступись за меня перед Сыном твоим, снизойди к спасению моему, не оставляя меня в несчастьи моем и скорби моей, дабы мог я служить тебе и за то, что отвергли тебя, отомстить, дабы мог я в час смерти назвать тебя Заступницей несчастной души моей.

И пока Кмициц молился, слезы, как горох, сыпались из его глаз. Наконец он опустил голову на настилку из шкур и застыл в молчании, точно ожидая результата своей горячей молитвы. В горнице было тихо, и только из лесу доносился могучий шум ближайших сосен. Вдруг за дверью что-то зашуршало, раздались тяжелые шаги, и послышались два голоса:

— А как ты думаешь, пан вахмистр, куда мы отсюда поедем?

— А я почему знаю? — ответил Сорока. — Поедем, вот и все. Может, туда, к королю, который стонет от шведских рук.

— Неужто правда, что его все покинули?

— Господь Бог его не покинул!

Кмициц вдруг поднялся с колен, лицо его было ясно и спокойно; он подошел к двери, открыл ее и сказал солдатам:

— Лошадей готовить, в дорогу пора!

III

Солдаты засуетились, они были рады уехать из лесу в далекий мир тем более, что боялись еще погони со стороны Богуслава Радзивилла. Старик Кемлич вошел в избу, думая, что он понадобится Кмицицу.

— Ваша милость ехать желаете? — сказал он, входя.

— Да. Ты выведешь меня из лесу. Ты знаешь здесь все лазейки!

— Знаю, я здешний... А куда ваша милость ехать желаете?

— К его величеству, королю. Старик отступил в изумлении.

— Мать честная! — вскрикнул он. — К какому королю, ваша милость?

— Да уж ясно, не к шведскому.

Кемлича это не только не успокоило, но он даже стал креститься.

— Стало быть, вы, ваша милость, не знаете, что люди говорят: будто король в Силезию бежал, потому все его оставили! Краков даже осажден.

— Поедем в Силезию!

— Да, но как вы через шведов проберетесь?

— Шляхтой ли одевшись или мужиками, на конях ли или пешком — это все равно: только бы пробраться!

— На это и времени нужно много...

— Времени у нас довольно... Но хорошо бы поскорей!..

Кемлич перестал удивляться. Старик был слишком хитер, чтобы не догадаться, что в этом предприятии пана Кмицица кроются какие-то особенные и таинственные причины, и тысячи предположений стали лезть ему в голову. Но так как солдаты Кмицица, которым пан Андрей велел молчать, не сказали ни старику, ни его сыновьям ни слова о похищении князя Богуслава, то ему казалось наиболее вероятным предположение, что князь-воевода посылает молодого полковника с каким то поручением к королю. В этом убеждении его укрепляло и то, что он считал Кмицица ярым сторонником гетмана и знал об услугах, которые он оказал Радзивиллу. Полки конфедератов разнесли весть об этих услугах по всему Полесскому воеводству, называя Кмицица палачом и изменником.

«Гетман посылает доверенного к королю, — подумал старик, — это значит, что он, должно быть, хочет с ним помириться и бросить шведов. Надоело ему, верно, хозяйничанье шведов... Зачем бы он иначе посылал?»

Старик Кемлич недолго думал над разрешением этого вопроса, его интересовало совсем другое, а именно то, какую пользу он может извлечь для себя из этого предприятия? Служа Кмицицу, он выслужится одновременно перед гетманом и перед королем, а это, конечно, не останется без награды. Милость таких панов пригодится и тогда, когда ему придется давать отчет и в прежних грехах. Притом, должно быть, будет война, вся страна вспыхнет, а тогда добыча сама лезет в руки. Все это очень улыбалось старику, который и без того привык слушаться Кмицица и продолжал его бояться, питая к нему вместе с тем нечто вроде слабости, которую пан Андрей умел вызвать во всех, кто находился под его начальством.

— Ваша милость, — сказал он, — надо вам будет проехать через всю Речь Посполитую, чтобы добраться до короля. Шведские отряды еще пустяки, города ведь можно миновать и ехать лесами... Хуже всего то, что леса, как и всегда в тревожное время, кишмя кишат разбойничьими шайками, которые нападают на проезжих, а у вашей милости мало людей...

— Если ты поедешь со мной, пан Кемлич, с сыновьями и с челядью, которая у тебя есть, то нас будет больше!

— Если вы велите, ваша милость, я поеду, но я человек бедный. Впроголодь живем, вот ей-ей! Как же мне оставить мой домик и скarb убогий?

— За все, что ты сделаешь, тебе заплатят, а вам лучше головы отсюда унести, пока они у вас на плечах!

— Святые угодники!.. Что вы говорите, ваша милость? Как? Что мне, невинному, грозит? Кому я жить мешаю?

Пан Андрей ответил:

— Знают вас здесь, мошенники! У вас с Копыстынским имение было в совладении, и вы его зарубили, а потом убежали от суда и служили у меня; потом увели у меня табун лошадей!..

— Да вот, Богом клянусь! Царица Небесная! — воскликнул старик.

— Молчи, дай говорить! Потом вы вернулись в старое логово и стали грабить по дорогам, как разбойники, захватывая деньги и лошадей. Не запирайся, я ведь не судья тебе, но ты сам лучше всего знаешь, что я правду говорю... Вы уводите коней у

Золотаренковых людей, уводите у шведов, это хорошо! Когда они вас поймают и шкуру с вас драть начнут — пускай дерут, это их дело.

— Мы только у неприятеля берем, а это дозволено, — сказал старик.

— Неправда, вы и на своих нападаете, мне уж твои сыновья признались, а ведь это просто разбой и позор шляхетскому имени! Стыдитесь, бездельники! Мужиками вам быть, а не шляхтой!

Старый плут покраснел и сказал:

— Ваша милость обижаете нас! Мы, помня о шляхетском достоинстве нашем, мужицкими делами не занимаемся. Другое дело — в лугах стадо поймать. Это можно, и в этом нет позора шляхетскому имени в военное время. Но конь в конюшне святая вещь, и разве только цыган, жид или мужик его украдет, но не шляхтич, мы этого, ваша милость, не делаем! А уж раз война, значит, война.

— Будь не одна, а десять войн, добычу можно только в битве брать, а если ты ее на большой дороге ищешь, так ты разбойник!

— Бог свидетель, что в этом мы не повинны!

— А все-таки кашу вы тут заварили! Короче говоря, лучше вам отсюда уходить: рано ли, поздно ли, а виселицы вам не миновать! Поедем со мной; верной службой вы загладите свои вины и честь свою вернете. Я беру вас на службу, а там уж вам больше прибыли будет, чем от этих лошадей.

— Мы поедем с вашей милостью всюду, проведем вас через шведов и через разбойничьи шайки. Правду говоря, ваша милость, очень тут нас злые люди преследуют, а за что? За то, что мы бедны, только за это!.. Может, Господь сжалятся над нами и поможет нам в несчастьи.

Тут старик Кемлич невольно потер руки и сверкнул глазами. «От таких дел, — подумал он, — в стране все закипит, как в котле, а тогда только дурак не попользуется!»

Кмициц взглянул на него пристально.

— Только ты не попробуй мне изменять! — сказал он грозно. — Смотри! Тогда и Господь тебя из моих рук не спасет.

— Не таковские мы люди, — мрачно ответил Кемлич, — и пусть Господь меня осудит, если была у меня в голове хоть мысль об этом!

— Верю, — сказал после короткого молчания Кмициц, — измена хуже разбоя, и не всякий разбойник изменять станет!

— Что вы прикажете теперь, ваша милость? — спросил Кемлич.

— Прежде всего есть два письма, которые нужно сейчас же отправить. Есть ли у тебя расторопные люди?

— Куда им ехать?

— Один поедет к князю-воеводе, но князя ему видеть не надо! Пусть просто передаст письмо, как только встретит первый попавшийся княжеский полк, и не ждет ответа.

— Смолокур поедет, это человек расторопный и бывалый.

— Хорошо; другое письмо надо отвезти на Полесье, — спросить, где стоит ляуданский полк пана Володыевского, и отдать письмо самому полковнику в руки...

Старик хитро заморгал и подумал:

«О, значит, работа на все руки, если они уж и с конфедератами снюхались; ну и жарко будет!»

Потом он сказал громко:

— Ваша милость! Если это письмо не спешное, можно бы, выехав из лесу, отдать кому-нибудь по дороге. Много шляхты здесь заодно с конфедератами, и каждый охотно отвезет, а у нас одним человеком больше останется.

— Это ты умно придумал, — лучше, чтобы тот, кто отвезет письмо, не знал, от кого везет. А скоро мы выедем из лесу?

— Как вашей милости угодно. Можно выезжать из него и две недели, можно и завтра выехать.

— Об этом потом поговорим, а пока слушай меня внимательно, Кемлич!

— Слушаюсь, ваша милость.

— Во всей Речи Посполитой, — сказал Кмициц, — меня называют палачом, запродавшимся гетману или шведам. Если бы король знал, кто я, он мог бы мне не поверить и отвергнуть мои намерения, хотя видит Бог, что они чисты. Слушай, Кемлич!

— Слушаю ваша милость.

— Не называй меня Кмициц, а зови Бабинич, понимаешь? Никто не должен знать моего настоящего имени. Ни пикнуть мне! А будут спрашивать, откуда я, скажешь, что по дороге ко мне пристал и не знаешь, а если, мол, кому любопытно, то пусть у меня у самого спрашивает.

— Понимаю, ваша милость!

— Сыновьям это скажешь и людям. Если бы с них шкуру драли, пусть и тогда знают только, что я Бабинич! Вы мне за это головой ответите!

— Так и будет, ваша милость. Пойду скажу сыновьям — этим шельмам надо все разжевать да в рот положить. Вот какая мне от них радость! Бог меня ими покарал за прежние грехи. Вы дозволейте, ваша милость, еще одно слово сказать?

— Говори смело!

— Вижу я, лучше будет, ежели мы не скажем ни солдатам, ни челяди, куда едем...

— Может и так быть!..

— Пусть знают только, что едет не пан Кмициц, а пан Бабинич. И вот еще: отправляясь в такую дорогу, лучше скрывать чин вашей милости.

— Почему?

— Потому что шведы дают пропускные грамоты только известным людям, а у кого грамоты нет, тех ведут к коменданту.

— У меня есть грамоты к шведским начальникам.

Удивление блеснуло в хитрых глазах Кемлича, и, подумав минуту, он сказал:

— Вы позволите, ваша милость, сказать вам еще, что я думаю?

— Только советуй хорошенько и не мямли, ну, говори, я вижу, ты человек оборотистый.

— Если грамоты есть, это и лучше, можно при нужде показать, но ежели ваша милость на такую работу едете, которая должна в тайне остаться, лучше грамот не показывать. Я не знаю, даны ли они на имя Бабинича или пана Кмицица, но коли показывать их — ведь след останется, и тогда погоню снарядить легче.

— Вот это не в бровь, а в глаз! — быстро сказал Кмициц! — Лучше грамоты спрятать на другое время, если только можно будет без них пробраться!

— Можно, ваша милость, но только надо будет мужиками переодеться или мелкой шляхтой. Это нетрудно, у меня есть кое-какая одежда, шапки и серые тулупы, какие мелкая шляхта носит. Возьмем табун лошадей и поедем с ними, будто на ярмарку, и будем пробираться все глубже, под самый Лович и Варшаву. Я уже это проделывал, ваша милость, не раз, в спокойные времена, и дорогу я хорошо знаю. Как раз об эту пору бывает ярмарка в Субботе, на нее съезжаются люди со всех сторон. В Субботе мы узнаем о других городах, когда в них бывает ярмарка, и — только бы дальше, только бы дальше! Шведы тоже обращают меньше внимания на мелкую шляхту, ведь ими кишмя кишат все ярмарки. А ежели нас какой-нибудь комендант и будет допрашивать, так мы сумеем вывернуться, а если случится наткнуться на маленький отряд, можно будет, с Божьей помощью, и по трупам проехать!

— А если у нас лошадей отнимут? Ведь реквизиция в военное время вещь

обыкновенная!

— Либо купят, либо отнимут! Если купят, тогда мы поедem в Субботу будто не продавать, а покупать лошадей; а если отнимут, тогда мы поднимем вой и будем ехать с жалобой в Варшаву или Краков!

— Ну и хитер же ты, — сказал Кмициц, — вижу, что ты мне понадобишься! А если шведы лошадей заберут, так найдется такой, кто за них заплатит!

— Мне и так нужно было ехать с ними в Эльк, в Пруссию, и все так хорошо сложилось — нам как раз туда и дорога. Из Элька мы поедem вдоль границы, потом прямо к Остроленке, а оттуда пущей на Пултуск и Варшаву.

— Где же это Суббота?

— Неподалеку от Пятницы, ваша милость!

— Ты шутишь, Кемлич.

— Да нешто я смею! — ответил старик, скрестив на груди руки и склонив голову. — Уж так странно там города называются. Это за Ловичем, ваша милость, но еще подальше.

— И большая ярмарка бывает в этой Субботе?

— Не такая, как в Ловиче, но об эту пору как раз приходится большая ярмарка, на нее сгоняют лошадей из Пруссии и съезжается тьма народу. В этом году, должно быть, будет не хуже, потому там все спокойно. Везде шведы пануют, и по городам у них гарнизоны. Если там народ и захочет подняться, так не сможет.

— Тогда я принимаю твой совет... Мы поедem с лошадьми, за которых я тебе сразу заплачу, чтобы тебе убытка не было.

— Благодарю вас, ваша милость, за помощь.

— Приготовь-ка только тулупы, шапки и прямые сабли. Скажи сыновьям и челяди, кто я такой, как меня зовут, скажи, что я еду с лошадьми, а вас нанял в помощь. Ну, трогай!

А когда старик повернулся к двери, пан Андрей сказал ему вдогонку:

— И пусть меня никто не называет ни начальником, ни полковником, а просто: ваша милость. А зовут меня Бабинич.

Кемлич вышел, и через час все они сидели уже на лошадях, готовые двинуться в далекий путь.

Пан Кмициц, одетый в серый тулуп мелкого шляхтича, в серую потертую барашковую шапку, с повязкой на лице, точно после какой-нибудь пьяной драки, был совершенно неузнаваем и походил как две капли воды на мелкого шляхтича, который бродит с ярмарки на ярмарку. Его окружали люди, одетые точно так же, как и он, вооруженные прямыми саблями, длинными бичами, чтобы погонять лошадей, и арканами, чтобы ловить их, когда они разбегутся.

Солдаты с удивлением поглядывали на своего полковника и делились вполголоса своими замечаниями. Им было странно, что это уже пан Бабинич, а не пан Кмициц, что им нужно величать его «вашей милостью». Но больше всех пожимал плечами и поводил усами старый Сорока, который, не сводя глаз со своего полковника, бормотал, наклонившись к Белоусу:

— Никак я его не научусь величать по-новому. Пусть меня он убьет, а я по старине величать его буду, как надо!

— Коль приказ, так приказ, — ответил Белоус. — Но как пан полковник переменялся страшно.

Солдаты не знали, что и душа пана Андрея переменялась так же, как и его внешний вид.

— Трогай! — крикнул вдруг пан Бабинич.

Щелкнули бичи, всадники окружили стадо лошадей, которые сбились в кучу, и тронулись в путь.

IV

Пробираясь вдоль границы между воеводством Троким и Пруссией, они ехали бесконечными лесами по тропинкам, которые знал только Кемлич, и наконец достигли Луга, или, как его называл старый Кемлич, Элька, где почерпнули кое-какие новости из политической жизни от шляхты, которая собралась там, бежав от шведов под покровительство курфюрста, вместе с женами, детьми и имуществом.

Луг был похож на лагерь. Можно было, пожалуй, сказать, что в нем происходит какой-то сеймик. Шляхта в кабаках распивала прусское пиво, рассуждала, то и дело кто-нибудь привозил новости. Ни о чем не спрашивая и только внимательно ко всему прислушиваясь, пан Бабинич узнал, что королевская Пруссия с ее значительными городами решительно стала на сторону Яна Казимира, заключила договор с курфюрстом, чтобы общими силами бороться с неприятелем. Говорили, однако, что, несмотря на договор, мещане наиболее значительных городов не хотели впустить гарнизоны курфюрста, боясь, как бы хитрый князь-избиратель, раз заняв их с оружием в руках, не захотел потом навсегда их присвоить или как бы он в решительную минуту не обманул поляков и не заключил союза со шведами, на что его делала способным его врожденная хитрость.

Шляхта роптала на это недоверие мещан, но пан Андрей, зная о сношениях Радзивилла с курфюрстом, должен был раз навсегда прикусить язык, чтобы не разболтать всего, что ему было известно. К тому же от этого шага его удерживала мысль, что в Пруссии нельзя было говорить против курфюрста, а во-вторых, и то, что мелкому шляхтичу, который приехал с лошадьми на ярмарку, не пристало вдаваться в сложные политические вопросы, над которыми самые опытные политики тщетно ломали себе головы.

Продав несколько лошадей и докупив новых, они поехали дальше вдоль прусской границы, но уже по той дороге, которая вела из Луга в Щучин, лежавший на краю Мазовецкого воеводства, между Пруссией и воеводством Полесским. В самый Щучин пан Андрей ехать не хотел, потому что ему сказали, будто в городе стоит полк конфедератов под командой пана Володыевского.

По-видимому, пан Володыевский должен был ехать по той же дороге, по которой ехал теперь Кмициц, и задержался в Щучине, не то чтобы отдохнуть у самой полесской границы, не то чтобы занять временную квартиру в таком месте, где легче было доставать провиант, людей и лошадей, чем в полуопустошенном Полесье.

Но пан Кмициц не хотел встречаться теперь с знаменитым полковником, так как думал, что, раз у него нет никаких других доказательств, кроме слов, он не сумеет убедить его в том, что бросил прежний путь и сделал это искренне. А потому в двух милях от Щучина он велел свернуть к западу, в сторону Вонсоши. Письмо, которое было у него к пану Володыевскому, он решил переслать с первой попавшейся оказией.

Но, не доезжая Вонсоши, он остановился в корчме, по дороге, и расположился на ночлег, обещавший быть очень удобным, так как в корчме никого, кроме хозяина, не было.

Но едва лишь Кмициц с тремя Кемличами и Сорокой сел ужинать, как на дворе послышался грохот колес и топот лошадей.

Так как солнце еще не зашло, Кмициц вышел посмотреть, кто едет, — он подумал, не шведы ли это, — но вместо шведов увидел бричку, а за нею два воза, с вооруженными людьми по бокам.

На первый взгляд можно было подумать, что это едет какая-нибудь влиятельная особа. Бричка была запряжена четверкой лошадей прусской породы, с толстыми костями и выгнутыми спинами; на одной из передних сидел фореитор и держал на привязи двух прекрасных собак; на козлах сидел кучер, а рядом с ним гайдучок,

одетый по-венгерски, сзади сидел, подбоченившись, сам пан в шубе на волчьем меху, без рукавов, застегивавшейся на золоченые пуговицы.

Сзади шли два воза, нагруженные доверху, за каждым возом шло четыре человека челяди, вооруженных саблями и пистолетами.

Сам пан был человек еще молодой, лет двадцати с лишним. Лицо у него было одутловатое, красное, и по всему было заметно, что он любил поест.

Когда бричка остановилась, гайдучок подбежал ссадить пана, а пан, увидев Кмицица, стоявшего у порога, поманил его рукой в рукавице и крикнул:

— А поди-ка сюда, приятель.

Кмициц, вместо того чтобы подойти, вернулся в корчму, так как вдруг разозлился. Он не привык еще к своему серому тулупу и к тому, чтобы его можно было манить рукой. Вернувшись, он сел за стол и снова принялся есть. Незнакомый пан пошел вслед за ним.

Войдя, он прищурил глаза, так как в горнице было темно — только в печи горел небольшой огонь.

— А почему это никто не выходит, когда я подъезжаю? — спросил незнакомый пан.

— Корчмарь пошел в овин, — ответил Кмициц, — а мы проезжие, как и вы, пане.

— Какие такие проезжие?

— Я шляхтич, с лошадьми еду.

— А остальные тоже шляхта?

— Хоть и мелкая, а все же шляхта.

— Тогда челом вам, Панове! Куда бог несет?

— С ярмарки на ярмарку, только бы табун продать.

— Если вы тут ночуете, я завтра утром осматрю, может, и выберу что-нибудь. А пока дозвольте, панове, сесть за стол.

Незнакомый пан хотя и спросил, можно ли ему сесть, но спросил таким тоном, точно был в этом совершенно уверен, и он не ошибся, так как ему ответили вежливо:

— Милости просим, ваша милость, хоть и угощать нам нечем, кроме как гороховой колбасой.

— Есть у меня в мешках лакомства получше, — ответил не без спеси молодой панок, — да только глотка у меня солдатская, и гороховую колбасу, когда к ней подливка есть, я всему предпочту!

Говоря это (а говорил он очень медленно, хотя взгляд у него был быстрый и далеко не глупый), сел на скамью, а когда Кмициц подвинулся, чтобы дать ему место, он прибавил милостиво:

— Прошу, прошу, не беспокойтесь, ваць-пане! В дороге я удобств не ищу, и, если вы меня локтем заденете, у меня корона с головы не свалится.

Кмициц, который только что придвинул незнакомцу миску с гороховой колбасой и который, как было уже сказано, не привык еще к подобному обращению, наверное разбил бы эту миску о голову спесивого молодчика, если бы не то, что в его спеси было что-то такое, что забавляло пана Андрея, и он не только удержался от этого желания, но даже улыбнулся и сказал:

— Времена теперь такие, ваша милость, что и с коронованных голов короны спадают: вот пример — король наш Ян Казимир должен по праву носить две короны, а теперь у него нет ни одной, разве лишь терновый венец...

Незнакомец пристально взглянул на Кмицица, потом вздохнул и сказал:

— Времена теперь такие, что лучше о них не говорить, разве что с людьми, которым доверяешь.

Немного помолчав, он прибавил:

— Но это вы метко сказали. Вы, должно быть, где-нибудь при дворе служили, среди обходительных людей, ибо, по разговору вашему судя, вы много учение, чем

мелкому шляхтичу пристало.

— Случалось людей видеть, случалось слышать то и се, только служить не случалось.

— А откуда вы родом, пане?

— Из «застенка», в Троцком воеводстве.

— Это пустяки... что из «застенка»? Быть бы только шляхтичем, это главное! А что там, на Литве, слышно?

— По-прежнему изменников не мало.

— Изменников, говорите, пане? А что это за изменники?

— Те, что короля и Речь Посполитую покинули.

— А как поживает князь-воевода виленский?

— Болен, говорят: удушье.

— Дай ему Бог здоровья, почтенный муж!

— Для шведов почтенный, он им ворота настежь открыл!

— Значит вы, пане, не из его партии?

Кмициц заметил, что незнакомец, расспрашивая его с добродушной улыбкой, старается его выпытать.

— Ну какое мне дело, — ответил он, — пусть об этом другие думают... Я только одного боюсь: как бы у меня шведы лошадей не отняли.

— Надо их было на месте сбыть. Вот и на Полесье стоят, говорят, те полки, что против гетмана взбунтовались, а лошадей у них, верно, не очень уж много.

— Этого я не знаю, я их не видал, хоть какой-то проезжий и дал мне письмо к одному из полковников и просил передать при случае.

— Как же проезжий мог дать вам письмо, если вы на Полесье не едете?

— В Щучине стоит один полк конфедератов, и вот проезжий сказал мне так: или сам отдай, или оказию найди, когда мимо Щучина будешь проезжать.

— Вот как хорошо случилось, ведь я в Щучин и еду!

— А вы, ваша милость, тоже от шведов бежите?

Незнакомец, вместо того чтобы ответить, посмотрел на Кмицица и спросил флегматично:

— Почему это вы говорите, ваць-пане: «тоже», коли сами не только не бежите, но даже к ним едете и лошадей им будете продавать, ежели они силой их у вас не отнимут.

Кмициц пожал плечами.

— Я сказал: «тоже», потому что видел в Луге много шляхты, которая от них бежала, а что меня касается, хорошо бы было, если бы все им так служили, как я им служу... тогда, полагаю, они бы у нас долго не засиделись...

— И вы не боитесь это говорить? — спросил незнакомец.

— Не боюсь потому, что я тоже не дурак, а к тому ж вы, ваша милость, в Щучин едете, а в той стороне все говорят вслух то, что думают. Дал бы только Бог поскорее от разговоров к делу перейти.

— Вижу, ваша милость, умнейший вы человек, не по званию, — повторил незнакомец. — Но если вы так шведов не любите, зачем вы уходите от тех полков, что взбунтовались против гетмана? Разве они взбунтовались потому, что им жалованья не заплатили, или просто чтоб побезобразничать? Нет: потому что они не хотели служить гетману и шведам. Лучше б было этим солдатам несчастным под гетманской командой оставаться, а все же они пошли на то, чтобы их называли бунтовщиками, пошли на то, чтобы голодать и холодать, но не воевать против короля! Уж быть войне между ними и шведами, помяните мое слово! Она бы уж и была, если бы не то, что шведы в эти края еще не забрели... Подождите, забредут, найдут и сюда дорогу, а тогда вы увидите, ваша милость!

— Так и я думаю, что здесь прежде всего начнется война, — сказал Кмициц.

— Ну а если вы так говорите и искренне не любите шведов (а я по глазам вижу, что вы правду говорите, меня не проведешь!), то почему вы не пристанете к этим честным солдатам? Разве не время, разве не нужны им люди и сабли? Там служит немало честных людей, что предпочли своего государя чужому, и их все больше будет. Вы едете, ваша милость, из тех краев, где шведов еще не знают, но те, что их узнали, горькими слезами заливаются. В Великопольше, хотя она сдалась им добровольно, шляхту насилуют, грабят и отнимают у нее все, что можно отнять... В тамошнем воеводстве это лучше всего видно. Генерал Стенбок издал манифест, чтобы все сидели спокойно по домам, тогда оставят неприкосновенными и их самих, и их добро. Но какое там! Генерал одно поет, а начальники маленьких отрядов другое, так что никто не знает, что ждет его завтра и будет ли у него завтра кусок хлеба. Ведь каждый хочет пользоваться тем, что ему принадлежит, каждый хочет жить спокойно и в довольстве. А тут придет первый попавшийся бродяга и говорит: «Давай!» Не дашь — тебя обвинят в чем-нибудь, чтобы лишить тебя твоих имений, а то и без всякой вины голову срубят. Немало людей там горькими слезами плачут, прежнего государя вспоминая; и все они в притеснении, и все поглядывают на конфедератов, не придет ли от них помощь отчизне и гражданам...

— Ваша милость, — сказал Кмициц, — вижу, не больше добра шведам желаете, чем я!

Незнакомец с некоторым беспокойством осмотрелся по сторонам, но вскоре успокоился и продолжал:

— Я желаю, чтоб их зараза передушила, и этого от вашей милости не скрываю, ибо вижу, что вы человек хороший, а если бы и не были таким, так вы меня все равно не свяжете и к шведам не отвезете, так как я не дамся, у меня вооруженная челядь и сабля у пояса!

— Можете быть спокойны, ваша милость, что я этого не сделаю; мне даже по сердцу ваши мысли. Нравится мне и то, что ваша милость не задумалась оставить имение свое, на которое неприятель не замедлит излить свою месть. Такое радение об отчизне очень похвально.

Кмициц невольно заговорил покровительственным тоном, как начальник с подчиненным, не подумав о том, как странно звучали такие слова в устах мелкого шляхтича, торгующего лошадьми. Но, по-видимому, и молодой панок не обратил на это внимания, так как он хитро подмигнул и ответил:

— Разве я дурак? У меня первое правило, чтобы мое не пропадало: что Господь дал, беречь надо. Я сидел тихо до самой жатвы и молотбы. И только когда все зерно, весь инвентарь и весь скот в Пруссию продал, я подумал: пора в путь. Пусть же они теперь мстят мне, пусть забирают все, что им нравится.

— Но ведь оставили вы землю и постройки?

— Да ведь я староство Вонсоцкое арендовал у воеводы мазовецкого, и в этом году как раз у меня контракт кончился. Арендной платы я еще не платил и не заплачу: слышал я, что пан воевода мазовецкий со шведом заодно. Пусть пропадает его плата, а мне всегда готовый грош пригодится.

Кмициц захохотал:

— А чтоб вас, пане! Вижу, что вы не только храбрый человек, но и расторопный.

— А то как же! — ответил незнакомец. — Расторопность первое дело, но я не о расторопности с ваць-паном говорил. Отчего вы, видя, как обижают отчизну и всемилостивейшего государя, не поедете к тем честным солдатам на Полесье и не поступите в какой-нибудь полк? И Богу послужите, и самому вам посчастливиться может, не раз уже случалось, что в военное время мелкий шляхтич в паны выходил. Видно по вас, ваша милость, что вы человек смелый и решительный, и, ежели вам происхождение не мешает, вы вскоре можете и разбогатеть, если Господь Бог даст добычу брать. Только бы не проматывать того, что тут и там попадет в руки, а тогда и

кошелек разбухнет. Я не знаю, есть ли у вас какое именье или нет, но тогда все возможно: с кошельком и аренды добиться нетрудно, а от арендатора, с Божьей помощью, недалеко и до помещика. Родившись мелким шляхтичем, вы можете умереть офицером или на какой-нибудь земской службе, если лениться не будете... Кто рано встает, тому Бог подает.

Кмициц грыз усы: его разбирал смех; все лицо его вздрагивало и морщилось, так как минутами болела засохшая рана. Незнакомец продолжал:

— Принять они вас примут, там люди нужны, а впрочем, вы мне понравились, ваць-пане, я беру вас под свою опеку, и можете быть уверены, что я вас устрою.

Тут молодчик не без гордости поднял одутловатое лицо, стал поглаживать усы и наконец сказал:

— Хотите быть моим подручным? Саблю будете за мной носить и за челядью наблюдать!

Кмициц не выдержал и залился искренним, веселым смехом, обнажив свои белые зубы.

— Чего это вы смеетесь, ваць-пане? — спросил незнакомец, наморщив брови.

— Это я от радости перед такой службой.

Молодой панок обиделся и сказал:

— Дурак вас таким манерам учил, помните, с кем говорите, чтобы вежливостью моей не злоупотребить.

— Простите, ваша милость, — весело сказал Кмициц, — я вот как раз не знаю, с кем говорю.

Молодой пан подбоченился.

— Я пан Жендзян из Вонсоши! — сказал он гордо.

Кмициц уже открыл было рот, чтобы назвать свое вымышленное имя, как вдруг в избу быстро вошел Белоус.

— Пан началь...

И солдат не договорил, остановленный грозным взглядом Кмицица, смешался, запнулся и наконец проговорил с трудом:

— Ваша милость, какие-то люди едут!

— Откуда?

— Со стороны Щучина.

Пан Кмициц немного смутился, но быстро поборол смущение и сказал:

— Быть наготове! Много людей идет?

— Человек десять будет!

— Пистолеты иметь наготове! Ступай!

Потом, когда солдат ушел, он обратился к пану Жендзяну из Вонсоши и сказал:

— Уж не шведы ли это?

— Да ведь вы к ним и едете, ваша милость, — ответил пан Жендзян, который с некоторого времени с удивлением поглядывал на молодого шляхтича, — значит, рано или поздно придется с ними встретиться!

— Я бы предпочел, чтобы это были шведы, чем какие-нибудь бродяги, которых всюду тьма-тьмущая... Кто едет с лошадьми, тот должен вооруженным ехать и быть всегда настороже: лошади — большая приманка!

— Если правда, что в Щучине стоит пан Володыевский, — ответил Жендзян, — то это, верно, его отряд. Прежде чем расположиться на квартирах, они, верно, хотят убедиться, все ли спокойно; под носом у шведов трудно быть спокойным.

Услышав это, пан Андрей прошелся по горнице и сел в самом темном углу, где навес над печью бросал густую тень на край стола. Между тем со двора послышался топот и фыркание лошадей, и через минуту в избу вошло несколько человек.

Впереди шел какой-то великан и постукивал деревянной ногой по дощатому полу горницы. Кмициц взглянул на него, и сердце забило у него в груди. Это был

Юзва Бутрым по прозванию Безногий.

— А где хозяин? — спросил он, остановившись посередине горницы.

— Я хозяин, — ответил корчмарь, — к услугам вашей милости!

— Корму для лошадей.

— Нет у меня корма, вот, может, эти паны дадут?.. Сказав это, корчмарь указал на Жендзяна и остальных.

— Чьи это люди? — спросил Жендзян.

— А кто вы сами, ваць-пане?

— Староста в Вонсоши.

Люди Жендзяна обычно называли его старостой, как арендатора старосты, и сам он называл себя так в важные минуты.

Юзва Бутрым смутился, видя, с какой высокой особой ему приходится иметь дело, снял шапку и ответил вежливо:

— Челом, вельможный пане!.. В потемках я не мог разглядеть сана...

— Чьи это люди? — повторил Жендзян, подбочениваясь.

— Из ляуданского полка, прежде биллевичевского, под командой пана Володыевского.

— Ради бога! Стало быть, пан Володыевский в Щучине?

— Он сам собственной персоной, а с ними и другие полковники, которые пришли со Жмуди.

— Слава богу, слава богу! — повторял обрадованный пан староста. — А какие полковники с паном Володыевским?

— Был пан Мирский, — сказал Бутрым, — но с ним удар по дороге случился, остался пан Оскерко, пан Ковальский и два пана Скшетуские...

— Какие Скшетуские? — воскликнул Жендзян. — Уж не пан ли Скшетуский из Бурца?

— Я не знаю откуда, — ответил Бутрым, — знаю только, что один из них — збаражский герой.

— Господи. Да ведь это мой пан!

Тут Жендзян заметил, как странно звучит такое восклицание в устах пана старосты, и прибавил:

— Это мой кум, хотел я сказать.

Сказав это, пан староста не врал, так как действительно крестил первого сына Скшетуского, Еремку.

Между тем в голове Кмицица, который сидел в темном углу горницы, одна за другой теснились мысли. В первую минуту кровь вскипела в нем при виде грозного шляхтича, и рука невольно схватилась за саблю. Кмициц знал, что Юзва был главным виновником того, что перерезали его компаньонов, и поэтому был самым заклятым его врагом. Прежний пан Кмициц велел бы его сию же минуту схватить и четвертовать, но сегодняшний пан Бабинич поборол себя. Наоборот, его охватила тревога при мысли, что если шляхтич его узнает, то это может вызвать страшную опасность для дальнейшего путешествия и для всего предприятия. Он решил остаться неузнанным и все глубже отодвигался в тень; наконец оперся локтями о стол и, закрыв лицо руками, притворился, что дремлет.

Но в ту же минуту он прошептал сидевшему рядом Сороке:

— Беги на конюшню, пусть лошади будут готовы. Едем ночью! Сорока встал и ушел.

Кмициц продолжал притворяться, что дремлет. Всевозможные воспоминания теснились у него в голове. Люди эти напомнили ему Водокты и то короткое прошлое, которое миновало, как сон. Когда минуту назад Юзва сказал, что он принадлежит к прежнему биллевичевскому полку, у пана Андрея сердце забилося при одном этом имени. И ему пришло в голову, что был как раз такой же вечер, и точно так же горел в

печи огонь, когда он, точно снег на голову, свалился в Водокты и впервые увидел в людской, среди сенных девушек, Оле ньку.

Из-за полузакрытых век он видел все это, как наяву: видел и панну, ясную и спокойную; вспоминал все, что произошло, как она хотела быть его ангелом-хранителем, укрепить его в добре, охранить от зла, указать ему прямую, честную дорогу. О, если бы он послушался ее, если бы он послушался ее! Ведь она знала, что делать, знала, на чью сторону надо стать; знала, где добродетель, честность и долг. Она просто взяла бы его за руку и повела, если бы он не захотел ее слушаться. И вот любовь под наплывом воспоминаний так наполнила сердце пана Андрея, что он был готов отдать последнюю каплю крови, чтобы упасть этой панне к ногам; в эту минуту он готов был расцеловать этого ляуданского медведя, который перерезал его компаньонов, — только за то, что он был из тех краев, что он произнес имя Биллевичей, что он видел Оле ньку!

От задумчивости его заставило очнуться его же собственное имя, произнесенное несколько раз Юзвой Бутрымом. Арендатор из Вонсоши расспрашивал о знакомых, а Юзва рассказывал ему, что произошло в Кейданах со времени памятного соглашения гетмана со шведами: говорил о положении войска, об аресте полковников, о ссылке их в Биржи, о счастливом спасении. Имя Кмицица постоянно повторялось в этом рассказе, покрытое всем ужасом измены и жестокости. О том, что пан Володыевский, Скшетуский и Заглоба были обязаны жизнью Кмицицу, Юзва не знал. Теперь он рассказывал о том, что произошло в Биллевичах.

— Наш полковник поймал этого изменника в Биллевичах, как лису в норе, и велел тотчас вести на смерть; я сам вел его с великой радостью, что Божья десница поразила его, и то и дело светил ему фонарем в лицо, чтобы поглядеть, не будет ли в лице хоть капли раскаяния. Но нет! Он шел смело, не думая о том, что должен стать на Божий суд. Такая уж у него натура закоренелая. А когда я ему посоветовал, чтобы он хоть перекрестился, он мне ответил: «Заткни глотку, панок, не твое дело!» Мы поставили его за деревней, под грушей, и я уже стал командовать, как вдруг пан Заглоба, который шел за нами, велел его обыскать, нет ли у него каких-нибудь бумаг. И нашел письмо. Говорит пан Заглоба: «Посвети!» И тотчас принялся читать. Не успел прочесть нескольких слов, как вдруг схватился за голову: «С нами крестная сила, давай его назад, в усадьбу!» Сам он вскочил на коня и поехал, а мы проводили Кмицица, думая, что его еще будут пытать перед смертью, чтобы что-то от него выведать. Но нет! Отпустили изменника с миром. Не моей головы дело знать то, что они прочли, но я бы его не отпустил.

— Что в этих письмах было? — спросил арендатор из Вонсоши.

— Не знаю что было; думаю только, что в руках князя-воеводы было еще несколько офицеров, которых бы он тотчас велел расстрелять, если бы мы расстреляли Кмицица. А может быть, наш пан полковник сжалился и над слезами панны Биллевич; говорят, она без памяти упала, едва ее в чувство привели... А все же не смею я говорить, но плохо все случилось, ведь этот человек так много зла наделал, что, верно, сам дьявол за него краснел. Вся Литва из-за него плачет, сколько вдов, сколько сирот, сколько бедных людей на него жалуются. Одному Богу известно! Кто его убьет, того Господь благословит и люди: его убить — бешеного пса убить.

Тут разговор снова перешел на пана Володыевского, на панов Скшетуских и на полки, стоявшие в Полесье.

— Провианту мало, — говорил Бутрым, — поместья князя-гетмана дотла опустошены, ни людям, ни лошадям в них есть нечего, а шляхта там сплошь бедняки, по «застенкам» сидит, как у нас на Жмуди. Решили полковникиделиться на мелкие отряды, человек по сто, и стоять друг от друга верстах в десяти. А когда зима настанет, я уж не знаю, что и делать.

Кмициц, который все время, пока разговор шел о нем, слушал терпеливо, теперь вдруг шевельнулся и уже открыл было рот, чтобы сказать из своего темного угла: «Тогда гетман выудит вас по одиночке, как рыбу из проруби». Но в эту минуту дверь открылась, и в ней показался Сорока, которого Кмициц послал сказать, чтобы готовили лошадей. Свет из печи падал прямо на суровое лицо вахмистра; Юзва Бутрым взглянул на него, смотрел долго, потом обратился к Жендзяну и сказал:

— А это ваш человек, вельможный пане? Я его откуда-то знаю.

— Нет, — ответил Жендзян, — он со шляхтичами, которые с лошадьми на ярмарку едут.

— А куда вы едете? — спросил Юзва.

— В Субботу, — ответил старик Кемлич.

— Где это?

— Недалеко от Пятницы.

Юзва, точно так же, как раньше Кмициц, понял это как неуместную шутку и сказал, наморщив брови:

— Отвечай, когда тебя спрашивают!

— А ты по какому праву спрашиваешь?

— Я тебе могу и так объяснить: меня на разведки выслали, посмотреть, нет ли в окрестности подозрительных людей. И вижу я, что есть, раз они не хотят говорить, куда едут.

Кмициц, опасаясь, как бы из этого разговора не вышло какого-нибудь недоразумения, сказал, не выходя из своего темного угла:

— Не сердитесь, пане! Пятница и Суббота — такие же города, как и другие, там осенью лошадиные ярмарки бываю. А коли не верите, то спросите пана старосту, он о них должен знать.

— Как же, как же! — сказал Жендзян.

На это Бутрым ответил:

— Если так, тогда другое дело. Но зачем вам в те города ехать? Вы можете и в Щучине лошадей продать, у нас большая нехватка, а те, которых мы в Павлишках захватили, никуда не годятся, заморены.

— Каждый едет туда, где ему лучше, а мы свою дорогу знаем, — ответил Кмициц.

— Я не знаю, где ваць-пану лучше, но нам лучше не будет, если вы к шведам лошадей будете уводить!

— Странно мне что-то... — сказал арендатор из Вонсоши. — Эти люди шведов ругают, а уж что-то больно им нужно к ним пробраться.

Тут он обратился к Кмицицу:

— Ваць-пан что-то тоже не очень на мелкого шляхтича похож, я вот на руке у вас драгоценный перстень видел, какого и вельможа не постыдится...

— Если он так вашей милости понравился, так купите его у меня, я за него две орты заплатил в Луге, — ответил Кмициц.

— Две орты? Значит, он не настоящий или хорошо подделан... Покажите, ваша милость!

— Возьмите, пане, сами!

— А сами с места двинуться не можете? Стало быть, мне самому подойти?

— Устал я что-то!

— Эй, братец, можно подумать, что ты свое лицо боишься показать!

Услышав это, Юзва, не сказав ни слова, подошел к печи, вынул горящую головню и, держа ее высоко над головой, подошел к Кмицицу и посветил ему прямо в лицо.

Кмициц в одну минуту поднялся во весь рост, и некоторое время они смотрели друг другу прямо в глаза, — вдруг головня выпала из рук Юзвы, рассыпавшись на

тысячи искр.

— Иезус, Мария! — вскрикнул Бутрым. — Это Кмициц!

— Да, я! — ответил пан Андрей, видя, что скрываться больше невозможно. Юзва закричал солдатам, которые остались перед избой:

— Сюда! Сюда! Держи!

Потом он обратился к пану Андрею:

— Так это ты, чертово отродье, изменник? Так это ты, дьявол во плоти? Ты уже раз ушел из моих рук, а теперь к шведам переодетый перебираешься? Это ты, Иуда? Вот ты и попался!

С этими словами он схватил пана Андрея за шею, а пан Андрей схватил его; но еще раньше два молодых Кемлича, Козьма и Дамьян, поднялись со скамьи, чуть не касаясь потолка всклокоченными головами, и Козьма спросил:

— Отец, лупить?

— Лупить! — ответил старик Кемлич, обнажая саблю.

Вдруг дверь распахнулась, и солдаты Юзвы ввалились в избу; тут же за ними, чуть не на шее у них, ворвалась челядь Кемличей.

Юзва схватил пана Андрея левой рукой за шею, а в правой держал обнаженную саблю, образуя ею вокруг головы Кмицица целый вихрь молний. Но пан Андрей, хотя у него не было такой огромной силы, тоже схватил его за горло и сжал, как в клещах. У Юзвы глаза вылезли на лоб, рукояткой своей сабли он хотел ударить Кмицица в руку, но не успел, так как Кмициц первый ударил его саблей в темя. Пальцы Юзвы, которыми он вцепился в шею противника, тотчас ослабели, сам он пошатнулся и упал от удара. Кмициц толкнул его еще раз, чтобы иметь возможность размахнуться, и изо всей силы ударил его саблей по лицу, Юзва повалился, как дуб, ударившись головой об пол.

— Бей! — крикнул Кмициц, в котором сразу проснулся прежний забияка.

Но звать людей было излишним, так как в горнице все кипело, как в котле. Два молодых Кемлича рубили саблями, бодались головами, как два быка, и после каждого их удара люди валялись на землю. Следом за ними шел старик, то и дело приседая почти до земли, щуря глаза и ежеминутно просовывая саблю из-под рук сыновей.

Но Сорока, привыкший к битвам в корчмах и в тесноте, разил губительнее всех. Он подходил так близко к противникам, что они не могли владеть саблей, и, выстрелив из обоих пистолетов, молотил по головам рукояткой сабли, разбивал носы, вышибал зубы и глаза. Челядь Кемличей и два солдата Кмицица помогали панам.

Вихрь борьбы теперь переместился от стола в другой конец горницы. Ляуданцы защищались с бешенством, но с той минуты, когда Кмициц свалил Юзву и бросился в самую гущу дерущихся, тут же уложив другого Бутрыма, победа стала клониться на его сторону.

Челядь Жендзяна тоже ворвалась в избу, с саблями и пистолетами, но хотя Жендзян и кричал: «Бей!» — она не знала, что делать, так как не могла разобрать, кто с кем дерется: ляуданцы никаких мундиров не носили. И в общей неразберихе слугам старосты попало и от тех, и от других.

Жендзян держался осторожно, вне борьбы, стараясь разглядеть Кмицица и указать, чтобы в него выстрелили, но при слабом свете лучин Кмициц то и дело исчезал у него из глаз; он то появлялся, как какой-то красный дьявол, то исчезал в темноте.

Соппротивление ляуданцев слабело с каждой минутой: они пали духом, увидев, как свалился Юзва, и услышав страшное имя Кмицица. Но дрались они бешено. Между тем корчмарь тихонько проскользнул мимо дравшихся с ведром воды в руке и выплеснул воду в огонь. В горнице стало совершенно темно; дерущиеся сбились в такую тесную кучу, что могли биться только врукопашную. На минуту крики замолкли,

слышалось только хриплое дыхание и беспорядочный топот ног. Вдруг в открытую дверь выбежали сначала люди Жендзяна, потом ляуданцы, за ними люди Кмицица.

Началась погоня в сених, в кустах перед сенями и по всему двору. Раздалось несколько выстрелов, потом крики и визг лошадей. Закипела битва у возов Жендзяна, под которыми скрылась его челядь; ляуданцы также искали под ними спасения, и тогда челядь, приняв их за нападающих, дала по ним несколько залпов.

— Сдавайтесь! — крикнул старик Кемлич, просунув острие своей сабли под один из возов и тыча ею в спрятавшихся под ними людей.

— Стой, сдаемся! — ответило несколько голосов.

И тотчас челядь Жендзяна стала бросать из-под возов сабли и пистолеты, потом сыновья Кемлича стали вытаскивать за волосы людей из-под возов; наконец старик Кемлич крикнул:

— К возам! Брать все, что в руки попадет! Живо, к возам!

Молодым Кемличам не нужно было повторять приказания, и они бросились снимать холщовину, которой были накрыты сокровища Жендзяна. Они уже выбрасывали на землю разные вещи, как вдруг раздался голос Кмицица.

— Стой!

И Кмициц, чтобы придать больше весу своему приказанию, стал бить Кемличей рукояткой своей окровавленной сабли. Козьма и Дамьян бросились в сторону.

— Ваша милость... Нельзя? — покорно спросил старик.

— Не трогать! — крикнул Кмициц. — Ступай искать старосту!

Козьма и Дамьян, а за ними и отец бросились исполнять приказание, и через четверть часа они появились снова с Жендзяном, который, увидев Кмицица, низко поклонился и сказал:

— Простите, ваша милость, но меня тут обижают... Я ни с кем войны не искал, а если и еду проведать знакомых, так ведь это всякому можно.

Кмициц, опершись на саблю, тяжело дышал и молчал; Жендзян продолжал:

— Я ни шведам, ни князю-гетману никакого вреда не сделал, я к пану Володыевскому ехал, он старый мой знакомый, мы с ним вместе на Руси воевали... Зачем мне драки искать?... Я в Кейданах не был, и никакого мне дела нет до того, что там произошло... Я только о том забочусь, чтобы мне злые люди головы с плеч не сняли и чтобы не пропало то, что мне Господь Бог дал... Ведь я не украл, а в поте лица заработал... Никакого мне дела до всего, что тут произошло, нету. Позвольте мне, ваша милость, ехать...

Кмициц тяжело дышал и продолжал смотреть на Жендзяна как бы рассеянными глазами.

— Прошу вас покорно, вельможный пане, — снова начал староста. — Вы изволили видеть, что я этих людей не знал и другом их не был! Они на вашу милость напали, за это им досталось, так за что же мне страдать, за что мое добро пропадать будет? В чем я провинился? Уж ежели нельзя иначе, так я солдатам вашей милости выкуп дам, хоть бедный я человек и многого дать не могу... По талеру им дам, чтоб их труды даром не пропадали... По два талера дам!.. Может, и ваша милость соблаговолите принять от меня...

— Накрывать возы! — крикнул вдруг Кмициц. — А вы забирайте раненых и убирайтесь к черту!

— Благодарю покорно, ваша милость! — ответил арендатор из Вонсоши.

Вдруг подошел старик Кемлич и, показывая остатки зубов над обвисшей нижней губой, произнес:

— Ваша милость... это наше!.. Зерцало справедливости... это наше!..

Но Кмициц так взглянул на него, что старик сгорбился чуть не до земли и не посмел вымолвить ни слова.

Челядь Жендзяна бросилась запрягать лошадей в возы. Кмициц снова

обратился к пану старосте:

— Берите всех этих раненых и убитых, каких найдете, отвезите их пану Володыевскому и скажите ему от меня, что я ему не враг, а может быть, и друг, лучший, чем он думает... Я не хотел с ним встречаться, нам еще встречаться не время. Может быть, позднее придет время, и встретимся, но сегодня он бы мне не поверил, и мне бы нечем было его убедить. Может, потом... Слушайте, ваць-пане! Скажите ему, что эти люди на меня напали и что я должен был защищаться...

— По справедливости говоря, это так и было, — ответил Жендзян.

— Подождите... Скажите еще пану Володыевскому, чтобы они держались все вместе, потому что Радзивилл, как только дождется присылки конницы от де ла Гарди, тотчас выступит против них. Может быть, он уже в дороге. Оба они сносятся с князем-конюшим и курфюрстом, и близко к границе стоять опасно. Но прежде всего пусть держатся вместе, иначе погибнут. Воевода витебский хочет пробраться на Полесье... Пусть они идут к нему навстречу, чтобы он, в случае чего, мог им помочь.

— Все скажу, ничего не забуду.

— Хоть это говорит Кмициц, хоть Кмициц предостерегает, но пусть они ему верят, пусть посоветуются с другими полковниками и обдумают, не лучше ли им будет держаться вместе. Повторяю, гетман уже в дороге, а я пану Володыевскому не враг!

— Если бы у меня был какой-нибудь знак от вашей милости, чтобы показать ему, было бы лучше, — сказал Жендзян.

— Почему лучше?

— Потому что пан Володыевский скорее бы поверил в искренность слов вашей милости и подумал бы, что это не зря, если ваша милость со мной знак присылаете.

— Ну вот тебе перстень, — ответил Кмициц, — хоть знаков я немало оставил на лбах у этих людей, которых ты отвезешь пану Володыевскому.

Сказав это, он снял с пальца перстень. Жендзян радостно его принял и сказал:

— Благодарю покорно, ваша милость!

Час спустя Жендзян вместе со своими возами и челядью, слегка помятой в драке, спокойно ехал в сторону Щучина, отвозя трех убитых и несколько раненых, среди которых был Юзва Бутрым, с рассеченным лицом и разбитой головой. По дороге Жендзян то и дело поглядывал на перстень, на котором при луне чудесно сверкал драгоценный камень, и раздумывал об этом страшном человеке, который, сделав столько зла конфедератам и столько добра Радзивиллу и шведам, хотел теперь, по-видимому, спасти конфедератов от окончательной гибели.

«То, что он советовал, он советовал искренне, — думал Жендзян. — Вместе всегда лучше держаться. Но почему он предостерегает? Должно быть, из благодарности к пану Володыевскому за то, что он в Биллевичах даровал ему жизнь. Должно быть, из благодарности. Да, но ведь от такой благодарности может не поздоровиться князю-гетману. Станный человек... Служит Радзивиллу и благоприятствует нашим... А едет к шведам... Этого я не понимаю...»

Минуту спустя он прибавил про себя: «Щедрый пан... Только нельзя ему поперек дороги становиться!»

Столь же усиленно и столь же безрезультатно ломал себе голову старик Кемлич, чтобы ответить на вопрос: кому служит пан Кмициц.

«К королю едет, а конфедератов бьет, хотя они на стороне короля. Что это? И шведам не верит, потому что скрывается... Что с нами будет?»

И, не находя никакого ответа, он со злостью обрушился на сыновей:

— Шельмы! Подохнете без моего благословения! Не могли вы разве хоть карманы у убитых пощупать?

— Боялись! — ответили Козьма и Дамьян.

Но один Сорока был доволен и весело трусил за своим полковником.

«Теперь к нам опять счастье вернулось, — думал он, — если мы тех избили. А любопытно знать, кого мы теперь будем бить?»

Это для него было совершенно безразлично, как и то, куда он теперь ехал.

К Кмицицу никто не смел ни подъехать, ни спросить его о чем-нибудь, так как молодой полковник ехал мрачный, как ночь. Он терзался страшно: ему пришлось перебить тех людей, в ряды которых он хотел стать как можно скорее. Но если бы даже он сдался и позволил ляуданцам отвезти себя к пану Володыевскому, что бы подумал пан Володыевский, узнав, что его схватили, когда он, переодетый, пробирался к шведам с грамотами к шведским начальникам.

«Старые грехи идут за мной по пятам и преследуют меня, — говорил про себя Кмициц. — Я уйду как можно дальше, и ты, Господи, веди меня!»

И стал он горячо молиться и заглушать голос совести, которая повторяла ему: «Снова трупы за тобой, и не шведов трупы...»

— Боже, буди милостив ко мне!.. — шептал Кмициц. — Я еду к государю моему, и там начнется моя служба...

V

У Жендзяна не было намерения оставаться на ночь в корчме, так как из Вонсоши до Щучина было не далеко — он хотел только дать отдохнуть лошадям, особенно тем, которые тащили нагруженные возы. И когда Кмициц позволил ему ехать дальше, Жендзян не стал терять времени и час спустя, уже поздней ночью, въезжал в Щучин и, назвав себя страже, расположился на рынке, так как дома были заняты солдатами, для которых даже не хватало места. Щучин считался городом, хотя на самом деле городом не был: в нем не было еще крепостных валов, не было ратуши, не было суда, а монастырь пиаров возник в нем только во времена Яна III, домов было немного, все больше простые избы; город этот только потому назывался городом, что избы были построены правильными рядами, образуя улицы, кварталы и рынок, не менее болотистый, впрочем, чем дно пруда, над которым был расположен город.

Выспавшись в теплой волчьей шубе, пан Жендзян дождался утра и сейчас же отправился к пану Володыевскому, который, не видев его с давних пор, принял его с радостью и сейчас же повел в квартиру панов Скшетуских и пана Заглобы. Жендзян даже расплакался, увидев своего прежнего пана, которому верно служил столько лет, с которым столько пережил вместе и с которым ему посчастливилось так разбогатеть. Не стыдясь того, что он прежде был слугой, он стал целовать пану Яну руки и повторять с волнением:

— Ваша милость... ваша милость... В какие времена мы с вами встречаемся!

И все они принялись жаловаться на плохие времена, наконец пан Заглоба сказал:

— Но ты, Жендзян, всегда у Христа за пазухой сидишь и, вижу, теперь в паны вышел. Помнишь, я тебе предсказывал, что если тебя не повесят, то ты нас еще порадуешь... Что же ты теперь делаешь?

— Ваша милость, да за что же меня было вешать, коли я ни против Бога, ни против закона ничего дурного не сделал?.. Я служил верно, и если изменял кому, то только врагам, что за заслугу почитаю. И если случалось мне какого-нибудь мошенника за нос провести, как, к примеру сказать, мятежников или ту колдунью — помните, ваша милость? — так это не грех, а если и грех, так не мой, а вашей милости, так как ваша милость меня и научили людей за нос водить!

— Ну нет-с, этому не бывать!.. Вы только посмотрите на него! — сказал Заглоба. — Если ты хочешь, чтобы я после смерти за грехи твои отвечал, так отдай мне при жизни их плоды. Ведь сам ты пользуешься всеми теми богатствами, которые

среди казаков собрал, за это тебя и будут жарить в пекле.

— Господь милостив, пане, и этого не будет!.. Я своими богатствами не пользовался, я с соседями прежде всего судом разделался. И родителей обеспечил — они теперь спокойно в Жендзянах сидят, никакой нужды больше не знают, потому что Яворские по миру пошли, а я теперь только начал на собственную руку работать!

— Значит, ты больше не живешь в Жендзянах? — спросил пан Ян Скшетуский.

— В Жендзянах по-прежнему живут родители мои, а я живу в Вонсоше и жаловаться не могу, Господь благословил! Но когда я услышал, что ваши милости в Щучине, я уж не мог усидеть на месте и подумал: видно, опять пора в путь. Если быть войне, так пусть будет!

— Признайся, — сказал пан Заглоба, — что ты шведов в Вонсоше испугался.

— Шведов еще в Видской земле нет, разве лишь маленькие отряды, да и те заходят осторожно, так как мужики больно на них озлились.

— Ты мне хорошую новость привез, — сказал Володыевский, — я вчера отряд на разведки выслал, чтобы узнать про шведов: я не знал, можно ли оставаться в Щучине безопасно. Ты, должно быть, с этим отрядом и приехал.

— С отрядом? Я? Я его сам сюда привел, а вернее, привез: от него ни одного человека не осталось, который бы мог без чужой помощи на коне усидеть!

— Как так? Что ты говоришь? Что случилось? — спросил Володыевский.

— Их страшно побили, — объяснил Жендзян.

— Кто их побил?

— Пан Кмициц.

Скшетуские даже вскочили со скамьи, спросив одновременно:

— Пан Кмициц? Да что же он здесь делает? Неужели князь-гетман уже сюда подошел? Ну, говори скорее, что случилось?

Но пан Володыевский уже выбежал из избы, чтобы собственными глазами увидеть размеры поражения и осмотреть людей; между тем Жендзян продолжал:

— Зачем мне говорить, подождем лучше, пока пан Володыевский вернется, это его больше всех касается, ни к чему два раза повторять одно и то же.

— Ты видел Кмицица собственными глазами? — спросил пан Заглоба.

— Как вас вижу, ваша милость.

— И говорил с ним?

— Как же мне было не говорить, когда мы съехались с ним в корчме, недалеко отсюда; я остановился, чтобы дать лошадям отдохнуть, а он на ночлег. Мы больше часу говорили, потому что нечего было больше делать. Я ругал шведов, и он ругал шведов...

— Шведов? Он ругал шведов? — спросил Скшетуский.

— Как чертей, хотя к ним ехал!

— Много с ним войска было?

— Никакого войска не было, челядь только, правда, вооруженная и с такими мордами, что уж верно те, которые младенцев резали при Ироде, были не страшнее их. Он сказал мне, что он мелкий шляхтич и едет на ярмарку с лошадьми. И хотя у него был табун, лошадей в двадцать, я ему не очень-то поверил, потому что и по виду он непохож на лошадирика, и разговор у него не такой, и дорогой перстень я у него на руке видел... Вот этот самый.

Тут Жендзян поднес к глазам слушателей сверкающий перстень, а пан Заглоба всплеснул руками и вскрикнул:

— Он уж и у него выклянчил! По одному этому я бы тебя узнал, Жендзян, на другом конце света.

— Простите, ваша милость, я не кланчал! Я шляхтич всякому равный, а не цыган, хотя пока арендаторством и занимаюсь, ибо Господь Бог мне собственной земли еще не дал. А этот перстень пан Кмициц дал мне в знак того, что то, что он

говорил, — правда. Я сейчас же вашим милостям его слова повторю, ибо вижу, что дело это такое, за которое мы собственными шкурами можем поплатиться.

— Как так? — спросил Заглоба.

В эту минуту вошел пан Володыевский, весь трясаясь от гнева, бледный, бросил шапку на стол и воскликнул:

— Просто не верится! Трое убитых, Юзва ранен, едва дышит...

— Юзва Бутрым? Да ведь это человек медвежьей силы! — сказал изумленный Заглоба.

— Его-то пан Кмициц и повалил, я сам видел! — вставил Жендзян.

— Слышать я больше не хочу об этом пане Кмицице! — возбужденно говорил Володыевский. — Где только этот человек ни покажется, за ним трупы остаются, точно зараза прошла. Довольно этого! Теперь мы с ним квиты, и у нас с ним новые счета, он мне столько народу перепортил, на лучших солдат напал!.. Я это ему попомню при первой же встрече...

— Правду говоря, не он на них напал, а они на него, он в самом темном углу сидел, чтобы они его не узнали, — сказал Жендзян.

— А ты, вместо того чтобы моим людям помогать, еще за него заступаешься! — с гневом сказал пан Володыевский.

— Я по справедливости... А что касается помощи, мои хотели помогать, да несподручно было, в суматохе они не знали, кого бить и за кого заступаться, за это им самим влетело. И если я сам ноги унес и возы увез, так это только по великодушию пана Кмицица. Вы послушайте Панове, как все это случилось. Жендзян стал подробно рассказывать про битву в корчме, ничего не пропуская, и, когда наконец рассказал то, что ему велел сказать пан Кмициц, офицеры страшно удивились.

— Он сам это говорил? — спросил Заглоба.

— Сам, — ответил Жендзян. — «Я, говорит, пану Володыевскому и конфедератам не враг, хотя они думают иначе. Они потом увидят, а пока пусть держатся вместе, Богом заклинаю, иначе их воевода виленский разгромит поодиночке».

— И он сказал, что воевода уже в дороге? — спросил пан Скшетуский.

— Он говорил только, что воевода ждет подкрепления от шведов и сейчас же тронется на Полесье.

— Что вы думаете об этом, Панове? — спросил Володыевский, поглядывая на товарищей.

— Удивительное дело! — ответил Заглоба. — Или этот человек изменяет Радзивиллу, или нам готовит какой-нибудь подвох. Но какой? Он советует держаться вместе, чем же это может быть плохо?

— Тем, что мы от голода перемерем, — ответил Володыевский. — У меня есть известие, что Жиромский, Котовский и Липницкий разделят полки на мелкие отряды и расположатся по всему воеводству, так как вместе им невозможно прокормить лошадей.

— Но если Радзивилл действительно придет, — спросил Станислав Скшетуский, — кто тогда даст ему отпор?

Никто не умел ответить на этот вопрос, так как было совершенно ясно, что если бы великий гетман литовский пришел и застал силы конфедератов разрозненными, он разбил бы их с необычайной легкостью.

— Удивительное дело! — повторил Заглоба. И после минутного молчания он прибавил:

— Ведь Кмициц доказал уже, что он искренне желает нам добра. Я готов думать, что он оставил Радзивилла... Но в таком случае ему незачем было бы пробираться переодетым, и, главное, куда? — к шведам!

Тут он обратился к Жендзяну:

— Ведь он говорил тебе, что едет в Варшаву?
— Говорил! — сказал Жендзян.
— Ну да, а там уже шведы!
— Да. И теперь он должен был уже встретить шведов, если ехал всю ночь, — ответил Жендзян.

— Видели ли вы когда-нибудь такого человека? — спросил Заглоба, поглядывая на товарищей.

— В нем зло перемешано с добром, как плевелы с зерном, это несомненно, — ответил Ян Скшетуский, — но что касается того, чтобы в том совете, который он нам сейчас дает, было бы какое-нибудь предательство, то я это категорически отрицаю. Я не знаю, куда он едет, почему он пробирается к шведам переодетый, да и напрасно было бы ломать себе над этим голову, ибо здесь какая-то тайна... Но он дает хороший совет, он искренне предостерегает, я в этом могу поклясться, как и в том, что единственное спасение Для нас — послушаться этого совета. Кто знает, не будем ли мы снова обязаны ему жизнью и здоровьем.

— Господи боже! — воскликнул Володыевский. — Как же Радзивилл может сюда прийти, если у него на дороге стоят войска Золотаренки и пехота Хованского? Другое дело мы: отдельный полк может проскользнуть, да ведь и то в Павлишках мы должны были саблями расчищать себе дорогу. Другое дело Кмициц, который пробирался с несколькими людьми, но как же князь-гетман пройдет со всем своим войском? Ему придется раньше разбить тех... Пан Володыевский не успел закончить, как вдруг дверь открылась, и вошел слуга.

— Посыльный с письмом к пану полковнику, — сказал он.

— Давай его сюда! — ответил Володыевский.

Слуга вышел и через минуту вернулся с письмом. Пан Михал быстро сорвал печать и стал читать.

— «Чего вчера недосказал арендатору из Вонсоши, то дописываю сегодня. У гетмана войска достаточно, чтобы расправиться с вами, но он нарочно подкрепления ждет от шведов, чтобы выступить против вас от имени шведского короля. Если бы тогда казаки его задели, им пришлось бы и на шведов ударить, а это было бы то же, что с королем шведским начать войну. Этого они не сделают, ибо им это запрещено, — шведов они боятся и начинать с ними войну не будут. Они убедились и в том, что Радзивилл нарочно избегает подвергать шведов опасности; довольно было бы застрелить или изрубить одного, чтоб тотчас война возникла. Теперь казаки сами не знают, что делать, ибо Литва шведам сдалась; они стоят на месте, выжидая, что будет, и не смея воевать. Потому они Радзивилла не задержат и никакого вреда ему не причинят, — он пойдет прямо на вас и будет вас разбивать поодиночке, если вы не соберетесь вместе. Богом заклинаю, сделайте так и скорее воеводу витебского к себе зовите, ибо и ему теперь легче добраться к вам, пока казаки стоят, не зная, что делать. Я хотел вас от чужого имени предупредить, чтобы вы скорее поверили, но так как теперь вы знаете, от кого это известие, то я подписываю свое собственное имя. Горе вам, если вы не поверите, ибо я уже не тот, что был раньше, и, даст Бог, вы услышите обо мне нечто другое.

Кмициц».

— Ты хотел знать, как Радзивилл придет к нам, вот тебе и ответ! — сказал Ян Скшетуский.

— Правда... Он дает хороший совет! — отвечал Володыевский.

— Как так — хороший? Святой совет! — воскликнул Заглоба. — Тут не может быть сомнений. Я первый разгадал этого человека, и, хоть нет проклятий, которых бы не посылали на его голову, я вам говорю, что мы еще будем его благословлять... С

меня довольно посмотреть на человека, чтобы знать, чего он стоит. А помните, как он мне понравился в Кейданах? Сам он тоже нас любит, как истых рыцарей, а когда он в первый раз услышал мое имя, он от восторга чуть не задушил меня и благодаря мне всех вас спас.

— А вы, ваша милость, нисколько не изменились, — заметил Жендзян, — отчего же пан Кмициц должен любить вашу милость больше моего пана или пана Володыевского?

— Дурак ты! — ответил Заглоба. — Я тебя тоже сразу разгадал, и если называю тебя арендатором, а не дурнем из Вонсоши, так только из вежливости.

— Так, может быть, он тоже из вежливости выражал вам свой восторг? — ответил Жендзян.

— Ишь какой бодливый! Женись, пан арендатор, и ты еще бодливей станешь! Уж я ручаюсь!

— Все это хорошо, — ответил пан Володыевский, — но если он так желает нам добра, то почему он к нам не приехал, а прокрался мимо нас, как волк, и искушал наших людей?

— Не твоей головы это дело, — ответил Заглоба. — Что мы порешим, то ты и делай, и плохо тебе не будет! Если бы ты так же головой работал, как саблей, ты бы давно уже был великим гетманом вместо пана Потоцкого. Зачем Кмицицу было сюда приезжать? Не затем ли, чтобы ты ему так же не поверил, как и письму его не веришь, не затем ли, чтобы у вас до драки дошло, — он ведь в обиду себя не даст? Допустим даже, что ты бы поверил, но что сказали бы другие полковники: Котовский, Жиромский, Липницкий? Что сказали бы твои ляуданцы, разве бы они его не зарубили, если б ты только хоть на минуту оставил его с ними?

— Отед прав, — сказал Ян Скшетуский, — он сюда не мог приехать.

— Так чего же он едет к шведам? — упорно повторил пан Михал.

— Черт его знает еще, к шведам ли? И черт его знает, что пришло ему в его шальную голову? Нам до этого дела нет, а его советы для нас — спасение, если мы только хотим ноги унести.

— Тут нечего и раздумывать, — сказал Станислав Скшетуский.

— Надо поскорее известить Котовского, Жиромского, Липницкого и другого Кмицица, — сказал Ян Скшетуский. — Дай им знать как можно скорее, пан Михал, но не пиши, кто их остерегает, ведь они ни за что не поверят.

— Мы одни будем знать, кто оказал нам услугу, и в свое время не замедлим за нее отблагодарить! — крикнул Заглоба. — Ну, живо, пан Михал!

— А сами мы отправимся под Белосток и назначим там сборный пункт. Дал бы Бог, чтобы как можно скорее подошел воевода витебский! — сказал Ян.

— Из Белостока нужно будет выслать к нему депутацию от войска. Даст Бог, мы выйдем навстречу пану гетману литовскому с равными силами, а может, и с большими. Нам с ним не сладить, но когда соединимся с воеводой витебским, тогда другое дело. Это почтенный человек и добродетельный, нет такого другого в Речи Посполитой!

— А разве вы знаете пана Сапегу? — спросил Станислав Скшетуский.

— Знаю ли? Я знал его еще мальчиком, когда он был не больше моей сабли. Но и тогда это был ангел.

— Ведь он теперь не только заложил имения свои, но серебро, золото и драгоценности в деньги переплавил, чтобы собрать как можно больше войска против неприятелей отчизны! — сказал пан Володыевский.

— Слава богу, хоть один такой человек нашелся! — сказал Станислав. — Ведь вы помните, как мы некогда и Радзивиллу верили?

— Не кощунствуйте, ваша милость! — вскрикнул Заглоба. — Воевода витебский. Ого! Да здравствует воевода витебский! А ты, Михал, посылай скорей, посылай!

Пусть тут, в этом щучинском пруду, одни мелкие рыбешки остаются, а мы поедем в Белосток, где, даст Бог, и крупных рыб увидим... Кстати говоря, там евреи в праздник замечательные булки пекут. Ну, по крайней мере, война начнется. А то я уж соскучился... А когда мы Радзивилла разобьем, тогда и за шведов возьмемся. Мы уж показали, что мы умеем. Ну, посылай, пан Михал, мешкать опасно.

— А я пойду подниму на ноги полк, — сказал пан Ян.

Час спустя несколько гонцов помчались во весь дух в сторону Полесья, а через некоторое время двинулся весь ляуданский полк. Офицеры ехали впереди, совещаясь и обсуждая дальнейшие действия, а солдат вел пан Рох Ковальский, наместник. Они шли на Осовец, по прямой дороге к Белостоку, где должны были ждать другие конфедератские полки.

VI

Письма пана Володыевского, в которых он сообщал о выступлении Радзивилла, произвели сильное впечатление на полковников, рассеянных по всему Полесскому воеводству. Некоторые из них уже разделили свои полки на маленькие отряды, чтобы легче было перезимовать, другие позволили солдатам разъехаться по частным домам, так что на месте оставалось лишь по несколько солдат да по несколько десятков обозной челяди. Полковники поступили так отчасти из опасения перед голодом, отчасти потому, что трудно было держать в необходимой дисциплине полки, которые, раз послушавшись установленных властей, склонны были теперь к послушанию своим вождям при всяком удобном случае. Если бы нашелся вождь достаточно авторитетный и сразу повел их в бой против одного из неприятелей или хотя бы даже против Радзивилла, тогда бы можно было сохранить дисциплину; но праздная жизнь в Полесье, где время проходило в нападениях на маленькие радзивилловские замки, в разграблениях имений князя-воеводы и в переговорах с князем Богуславом, подорвала дисциплину. В этих условиях солдаты приучались только к своеволию и к насилиям над мирными жителями воеводства. Некоторые солдаты, особенно обозные и челядь, убежав из полков, образовали разбойничьи шайки и занимались грабежом на больших дорогах. И вот войско, которое еще ни разу не встречалось с неприятелем, единственная надежда короля и патриотов, разлагалось с каждым днем. Раздробление полков на мелкие отряды довершило процесс разложения. Правда, стоя всем на одном месте, трудно было прокормиться, но, может быть, голодная опасность и нарочито раздувалась: ведь была осень, урожай был хороший, неприятель не заходил еще в воеводство и не истреблял запасы грабежом и пожарами. Их истребляли скорее грабежи солдат-конфедератов, которых развращала бездеятельность.

Обстоятельства сложились так странно, что неприятель оставлял в покое эти полки. Шведы, морем разлившиеся по стране с запада, направлялись к северу и не заходили на Полесье, лежавшее между воеводством Мазовецким и Литвой; с другой стороны полчища Хованского, Трубецкого и Серебряного стояли в занятых ими местностях в полнейшем бездействии, так как колебались, или, вернее, не знали, что им делать. На Руси действовали Бутурлин и Хмельницкий, и в последнее время они разбили под Гродной небольшую горсть войска, которой предводительствовал великий гетман коронный, пан Потоцкий. Но Литва была под протекторатом Швеции. Опустошать ее и занимать своими войсками значило (как верно заметил Кмициц в своем письме) то же самое, что объявить войну шведам, перед которыми дрожал весь мир. «Можно было немного передохнуть от казаков», и опытные люди предсказывали даже, что они вскоре станут союзниками Яна Казимира и Речи Посполитой против короля шведского, чье могущество, если бы он завладел Речью Посполитой, не имело бы себе равного во всей Европе.

Поэтому Хованский не нападал ни на Полесье, ни на полки конфедератов, а они, без вождя, рассеянные по всему воеводству, не нападали и не были в состоянии напасть ни на кого, как не могли предпринять ничего более значительного, чем грабежи радзивилловских имений. И это их развращало. Письма пана Володыевского, предупреждающие о выступлении Радзивилла, пробудили полковников от спячки и бездеятельности. Они принялись приводить в порядок полки, рассылать повестки, сзывающие разошедшихся по домам солдат под знамена и грозящие наказаниями тем, кто не явится. Жиромский, наиболее заслуженный среди полковников, чей полк был в образцовом порядке, первым двинулся под Белосток, не медля; вслед за ним, неделю спустя, прибыл Яков Кмициц, правда, только со ста двадцатью людьми; потом стали собираться солдаты Котовского и Липницкого, то поодиночке, то небольшими кучками; сходились волонтеры из мелкой шляхты, прибыли даже волонтеры из Люблинского воеводства; порою появлялись и богатые шляхтичи с отрядами хорошо вооруженных слуг. От полков были высланы депутации с целью достать денег и провиант под расписку, — словом, все пришло в движение, закипели военные приготовления, и, когда пан Володыевский подошел со своим ляуданским полком, под знаменами уже стояло несколько тысяч человек, у которых не хватало только вождя.

Все это войско было довольно беспорядочной и неопытной массой, но не такой беспорядочной и не такой неопытной, как та великопольская шляхта, которая несколько месяцев тому назад под Устьем имела столкновение со шведами, при переправе их через реку. Все эти полешуки, люблинцы и литвины были людьми, привыкшими к войне, и среди них не было ни одного человека, кроме подростков, которым бы ни разу не приходилось нюхать порохового дыма. Все они в жизни своей воевали то с казаками, то с турками, то с татарами; были и такие, которые помнили еще и шведские войны. Всех их превосходил своим военным опытом и красноречием пан Заглоба, и он с удовольствием вращался среди этих солдат, которые так любили поболтать за полными чарками.

Авторитетом своим он затмевал самых знаменитых полковников. Ляуданцы рассказывали, что если бы не он, тогда пан Володыевский, Скшетуский, Мирский и Оскерко погибли бы от рук Радзивилла, так как их везли уже на смертную казнь в Биржи. Он сам не скрывал своих заслуг и при всяком удобном случае воздавал себе должное, чтобы все знали, с кем они имеют дело.

— Я хвастать не люблю, — говорил он, — не люблю и рассказывать о том, чего не было, для меня важнее всего правда, это и мой племянник подтвердит!

Тут он обращался к пану Роху Ковальскому, который тотчас выступал из-за пана Заглобы и говорил отчетливым, не допускающим возражения голосом:

— Дядя... не... лжет.

И, засопев, он обводил глазами присутствующих, точно искал дерзкого, который посмел бы с ним не согласиться.

Но такого дерзкого никогда не находилось, и пан Заглоба начинал рассказывать о своих прежних подвигах: как, еще при жизни пана Конецпольского, он дважды был главным виновником победы над Густавом-Адольфом, как потом он провел Хмельницкого, каким героем выказал он себя под Збаражем, как князь Еремия слушался во всем его совета, как он поручал ему руководить вылазками...

— А после каждой вылазки, — говорил он, — когда мы вырезали у Хмельницкого тысяч по пяти или по десяти его сброду, Хмельницкий от отчаяния головой об стену бился и повторял: «Никто, кроме этого черта Заглобы, не мог этого сделать». А при заключении Зборовского трактата хан сам разглядывал меня, как некое чудо, и просил дать ему мой портрет, чтобы послать его в подарок султану.

— Таких рыцарей нам надо теперь больше чем когда-нибудь! — повторяли слушатели.

А так как многие и без того слышали о необычайных подвигах пана Заглобы, ибо молва о них ходила по всей Речи Посполитой, равно как и о недавних происшествиях в Кейданах: об освобождении полковников, о клеванской битве со шведами, то слава его росла с каждым днем, и пан Заглоба ходил в лучах этой славы, затмевая всех других ее сиянием.

— Если бы в Речи Посполитой были тысячи таких, не случилось бы того, что теперь случилось, — повторяли в лагере.

— Слава богу, что хоть один такой есть среди нас!

— Он первый назвал Радзивилла изменником!

— И вырвал из его рук лучших рыцарей и по дороге так разбил шведов под Клеванами, что никто живым не ушел.

— Он одержал первую победу!

— Даст Бог, и не последнюю!

Полковники, вроде Жиромского, Котовского, Якова Кмицица и Липницкого, тоже относились к Заглобе с необычайным уважением. Его буквально вырывали друг у друга из рук, во всем спрашивая его совета и изумляясь его необычайному уму, равному его храбрости.

Как раз в это время решали очень важный вопрос. Хотя была послана депутация к воеводе витебскому с просьбой приехать и принять начальство над войском, но так как никто хорошенько не знал, где в эту минуту находится пан воевода, то депутаты уехали и словно в воду канули. Были вести, что их захватили отряды Золотаренки, которые доходили до Волковыска и грабили на собственный страх.

Полковники, стоявшие под Белостоком, решили избрать временного вождя и вручить ему начальство над войском до приезда пана Сапеги.

Излишним будет говорить, что, за исключением пана Володыевского, каждый из полковников имел в виду себя.

Началась агитация и подбор голосов. Войско заявило, что оно желает принять участие в выборах не через уполномоченных, а на общем собрании, которое тотчас же и было назначено.

Володыевский, посоветовавшись со своими товарищами, стал агитировать за пана Жиромского, человека добродетельного, уважаемого, который импонировал войску своей красотой и огромной «сенаторской» бородой до пояса. Притом это был храбрый и опытный солдат. Жиромский из благодарности советовал выбрать пана Володыевского, но Котовский, Липницкий и Яков Кмициц с этим не соглашались, утверждая, что нельзя выбрать вождем самого молодого полковника, так как вождь должен быть прежде всего человеком представительным...

— А кто здесь старше всех? — спросили многочисленные голоса.

— Дядя старше всех! — крикнул вдруг пан Рох Ковальский таким громовым голосом, что все повернули голову в его сторону.

— Жаль только, что у него полка нет, — сказал пан Яхович, наместник пана Жиромского.

Но другие закричали:

— Ну так что? Разве нам неволя обязательно полковника выбирать? Разве это не в нашей власти? Разве мы не свободны выбрать кого хотим? Любого шляхтича можно королем выбрать, а не только начальником...

Вдруг пан Липницкий, который не любил Жиромского и ни в коем случае не хотел допустить, чтобы его выбрали, попросил голоса:

— А ведь и то правда, ваши милости могут голосовать как угодно! И ежели вы выберете не полковника, оно и лучше будет: никого не обидите, и никто никому завидовать не будет.

Поднялся страшный шум. Раздались крики: «Собирать голоса! Собирать

голоса!» Другие закричали: «Кто славнее пана Заглобы? Какой рыцарь знаменитее его, кто его опытнее? Пана Заглобу просим!.. Да здоровствует пан Заглоба!»

— Да здоровствует! Да здоровствует! — кричало все больше голосов.

— Кто не согласен, тех саблями разнесем! — кричали буяны.

— Все согласны! — в один голос ответила толпа.

— Да здоровствует пан Заглоба! Он Густава-Адольфа разгромил! Он Хмельницкого вздул!

— Он наших полковников спас!

— И шведов под Клеванами разгромил!

— Виват! Виват Заглоба, вождь! Виват! Виват!

Толпа стала бросать вверх шапки. Побежали искать пана Заглобу.

Он в первую минуту изумился и смешался, так как и не думал о такой должности, — он стоял за Скшетуского и никак не предвидел такого оборота дела.

И вот, когда толпа в несколько тысяч человек стала выкрикивать его имя, он слова вымолвить не мог и покраснел как рак.

Но солдаты окружили его; в минуту первого порыва они объясняли себе смущение пана Заглобы его скромностью и закричали:

— Смотрите, покраснел, как панна. Скромность его мужеству равняется. Да здоровствует пан Заглоба, и да ведет нас к победе!

Между тем подошли полковники, и им волей-неволей пришлось его поздравлять; некоторые из них, пожалуй, были довольны, что эта честь миновала других. Пан Володыевский что-то уж очень быстро поводил усами и был изумлен не менее пана Заглобы. Жендзян вытаращил глаза и, разинув рот, смотрел на пана Заглобу с недоверием, но вместе с тем и с почтением. Заглоба понемногу пришел в себя и минуту спустя стоял, уже подбоченившись и задрав голову вверх; поздравления он принимал с достоинством, вполне отвечавшим его высокой должности.

Первым его поздравил Жиромский, от лица полковников, потом от лица войска очень красноречиво говорил офицер из полка Котовского, пан Жимирский, который цитировал изречения разных мудрецов.

Заглоба слушал, кивал головой; наконец, когда оратор кончил, новоизбранный пан начальник обратился ко всем со следующими словами:

— Мосци-панове! Если бы кто-нибудь захотел истинную доблесть утопить в глубочайшем океане или сдавить ее огромными горами, все же она, имея свойства как бы масла, всегда выплывет наверх, из земли наружу выйдет, чтобы сказать прямо в глаза: «Вот я, не боящаяся света дневного, не боящаяся суда и ждущая награды». Но как драгоценный камень в золото, так доблесть должна быть в скромность оправлена, и потому я спрашиваю вас, мосци-панове, стоя перед вами: разве я не скрывал моих заслуг? Разве я хвастал перед вами? Разве я добивался той чести, коей вы меня удостоили? Вы сами Узрели доблести мои, ибо я и теперь еще готов их отрицать и сказать вам: есть тут рыцари лучше меня, — вот пан Жиромский, пан Котовский, пан Липницкий, пан Кмициц, пан Оскерко, пан Скшетуский, пан Володыевский — кавалеры столь доблестные, что древность могла бы ими гордиться... Но ведь вы меня, а не кого-нибудь из них избрали вождем? Еще есть время... Снимите с меня это достоинство и облеките в плащ его кого-нибудь другого, кто доблестнее меня!

— Не быть тому! Не быть тому! — заревели сотни и тысячи голосов.

— Не быть тому! — повторили и полковники, польщенные всенародной похвалой, желая вместе с тем доказать свою скромность перед войском.

— Вижу и я, что не может быть иначе, — ответил Заглоба, — пусть же исполнится ваша воля, панове! От всего сердца благодарю, Панове братья, и льщу себя надеждой, что, Бог даст, я не обману того доверия, коим вы меня облекли. Как вы мне, так и я вас клянусь не покидать, и принесут ли нам неисповедимые пути

Господни победу или гибель — сама смерть не разлучит нас, ибо мы и после смерти будем делиться славой.

Необычайный пыл охватил всех собравшихся. Одни схватились за сабли, другие прослезились; у пана Заглобы капли пота выступили на лысине, но воодушевление его все росло.

— В защиту короля нашего, избранного по праву, в защиту милой отчизны нашей мы станем! — крикнул он. — Ради них жить, ради них умирать будем. Мосци-панове! С тех пор как существует отчизна наша, никогда еще не обрушивались на нее такие несчастья. Изменники открыли двери, и нет уже пяди земли, кроме этого воеводства, которая бы не была занята неприятелями. В вас надежда отчизны, а во мне надежда ваша, — на вас и на меня вся Речь Посполитая смотрит! Докажем же ей, что она не тщетно протягивает руки. Как вы требуете от меня мужества и веры, так я требую от вас послушания, и когда мы, живя в полном согласии, примером нашим откроем глаза тем, которых обманул неприятель, тогда к нам сбежится пол Речи Посполитой. Кто Бога носит в сердце, тот встанет в наши ряды, силы небесные будут за нас, и кто тогда против нас устоит?!

— Так и будет! Богом клянемся, так будет! Сам Соломон говорит: бить, бить! — гремели кругом голоса.

Заглоба протянул руки к северу и стал кричать:

— Приходи же теперь, Радзивилл! Приходи, пан гетман, пан еретик, чертов воевода! Мы ждем тебя не вразброд, а все вместе, не в раздорах, а в согласии, не с бумагами, не с договорами, но с мечами в руках! Тебя ждет здесь благочестивое воинство и я, его начальник! Ну же, выходи! Померяйся с Заглобой! Вызови чертей на помощь, и мы поборемся!.. Выходи!

Тут он снова обратился к войску и продолжал кричать так, что эхо отдавалось по всему лагерю:

— Богом клянусь, мосци-панове! Пророческий голос говорит во мне! Только в согласии жить, и мы разобьем этих шельм, этих нехристей, этих заморских франтов, этих рыбоедов, всю эту вшивую братию, что летом в шубах ходит и в санях ездит; мы зададим им перцу, так что они штаны растеряют! Бей же их, чертовых детей, кто в Бога верует, кому добродетель и отчизна дороги!

В единый миг сверкнуло несколько тысяч сабель. Толпа окружила пана Заглобу, слившись в тесную кучу, и кричала:

— Веди! Веди!

— Завтра же поведу! Готовьтесь! — крикнул сгоряча пан Заглоба.

Выборы эти происходили утром, а после полудня состоялся смотр войскам. Полки стояли один возле другого в величайшем порядке, с полковниками и хорунжими во главе, а перед полками ездил начальник, под бунчуком, с золоченой булавой в руке и с пером цапли на шапке. Точь-в-точь прирожденный гетман! Он поочередно осматривал полки, как пастух осматривает свое стадо, и воодушевление росло в войске, когда оно смотрело на эту великолепную фигуру. Все полковники поочередно подъезжали к нему, он с каждым из них разговаривал, одно хвалил, другое бранил, и даже те полковники, которые в первую минуту были не рады его выбору, должны были признать в душе, что новый начальник очень сведущ в военном деле и командовать войском для него дело привычное.

Один только пан Володыевский как-то странно поводил усами, когда новый начальник после смотра похлопал его по плечу в присутствии других полковников и сказал:

— Пан Михал, я тобой доволен, так как твой полк в таком порядке, как никакой другой. Продолжай в том же духе и можешь быть уверен, что я тебя не забуду.

— Ей-богу, — шепнул пан Володыевский Скшетускому, возвращаясь со смотра, — разве настоящий гетман мог бы сказать что-нибудь другое?

В тот же самый день пан Заглоба разослал разведочные отряды и туда, куда нужно, и туда, куда не нужно. Когда они вернулись утром на завтрашний день, он внимательно выслушал все сообщения, а потом отправился в квартиру пана Володыевского, который жил вместе со Скшетускими.

— В присутствии войска я должен вести себя как начальник, — сказал он милостиво, — но когда мы одни, мы можем разговаривать, как прежде, по простоте. Здесь я приятель, а не начальник. Вашими советами я тоже не пренебрегу, хоть у меня собственная голова на плечах, ибо знаю, что вы люди опытные и что таких солдат не много в Речи Посполитой.

Они поздоровались по-прежнему, и вскоре в их беседе была уже «прежняя простота», один только Жендзян не смел разговаривать с паном Заглобой так просто, как раньше, и сидел на самом краю скамьи.

— Что ты думаешь делать, отец? — спросил Ян Скшетуский.

— Прежде всего хочу поддерживать порядок и дисциплину в войске и занять солдат, чтобы они не бездействовали. Я прекрасно видел, пан Михал, как ты был недоволен, когда я разослал во все стороны разведочные отряды, но я должен был это сделать, чтобы приучить людей к службе и чтобы они на печи не залеживались. Это во-первых, а во-вторых, чего у нас не хватает? Не людей, их сюда лезет все больше и больше! Та шляхта, которая бежала от шведов из воеводства Мазовецкого, тоже придет сюда. В людях и в саблях недостатка не будет, но вот провианта мало, а без запасов никакое войско на свете драться не может! И вот я думаю отдать приказ разведочным отрядам, чтобы они свозили сюда все, что им попадется в руки: скот, овец, свиней, хлеб, сено — и из этого воеводства, и из Видской земли, куда точно так же не заходил до сих пор неприятель и где всего вдоволь.

— Но ведь шляхта завопит благим матом, — заметил Скшетуский, — если мы у нее заберем весь урожай и весь скот!

— Войско больше значит, чем шляхта. Пусть вопит! Впрочем, мы даром брать не будем, я велю выдавать расписки, я их столько наготовил за ночь, что на них можно было бы купить пол Речи Посполитой. Денег у меня нет, но, когда кончится война и когда мы прогоним шведов, Речь Посполитая за все заплатит. Да и что вы говорите? Шляхте же будет хуже, когда ее станет грабить голодное войско. Я думаю также пошарить в лесах, мне доносят, что туда бежало много мужичья со своим добром. Пусть же войско Господа Бога благодарит, что он вдохновил его выбрать меня начальником, ибо никто Фугой так бы придумать не мог.

— У вашей милости сенаторская голова, это верно, — сказал Жендзян.

— А? Что? — сказал Заглоба, обрадованный тем, что ему польстили. — И у тебя, шельма, мозги есть. Вот увидишь, что я тебя заместником назначу, как только вакансия откроется!

— Благодарю покорно вашу милость... — ответил Жендзян.

— Вот моя мысль, — сказал пан Заглоба. — Прежде всего собрать столько провианту, чтобы мы могли выдержать осаду, потом устроить укрепленный лагерь, и пусть тогда приходит Радзивилл со шведами или с самими чертями. Я дурак буду, если здесь второго Збаража не устрою!

— А ведь ей-богу, это прекрасная мысль! — воскликнул Володыевский. — Только откуда мы пушек возьмем?

— У пана Котовского есть две небольшие пушки, у пана Кмицица есть пушка для салютов, в Белостоке есть четыре октавы, которые должны были быть отправлены в тыкоцинский замок; вы знаете, панове, что пан Веселовский завещал Белостоку содержать тыкоцинский замок, и эти пушки еще в прошлом году были закуплены из чиншевых денег, о чем мне говорил пан Стенпальский, здешний управляющий. Он говорил также, что и порох у него есть на сто выстрелов. Мы за себя сумеем постоять, мосци-панове, только поддерживайте меня в душе и о теле не забывайте, коему и

выпить пора!

Володыевский велел принести меду, и беседа продолжалась уже за чашами.

— Вы думали, что у вас будет кукольный начальник, — говорил Заглоба, потягивая старый мед маленькими глотками. — О нет! Я не просил этой чести, но если она мне оказана, то в войске должно быть послушание и порядок. Я знаю, что значит столь высокая должность, и вы увидите, дорос ли я до нее. Я тут второй Збараж устрою, не что иное, как второй Збараж! Подавится Радзивилл, подавятся шведы, прежде чем нас проглотить! Я хотел бы, чтобы и Хованский вышел против нас, я бы его так припрятал, что его бы и не нашли, когда пришлось бы его на Страшный суд вести. Он стоит недалеко, пусть приходит, пусть попробует. Меду, пан Михал!

Володыевский налил, пан Заглоба выпил залпом, наморщил брови и, словно вспоминая что-то, сказал:

— О чем же я говорил? Что это я хотел? Ага, меду, пан Михал!

Володыевский снова налил.

— Говорят, — продолжал пан Заглоба, — что и пан Сапега любит выпить в хорошей компании. Оно и не диво! Каждый порядочный человек любит. Одни изменники не пьют, потому что боятся, как бы не проболтаться в своей измене и в своих кознях. Радзивилл пьет березовый сок, а после смерти смолу будет пить, чего дай ему Боже! Я уже теперь вижу, что мы с паном Сапегой друг друга полюбим, потому что похожи один на другого как две капли воды или как пара сапог. К тому же он начальник и я начальник, и я уж так дело поведу, что, когда он приедет, все будет уже готово. Немало забот у меня на шее, но что же делать. Некому думать в отчизне, так думай ты, старый Заглоба, пока еще дышишь! Хуже всего то, что у меня канцелярии нет!

— А зачем тебе канцелярия, отец? — спросил Скшетуский.

— А зачем королю канцлер? А зачем при войске всегда писарь войсковой бывает? Надо будет в город послать, чтобы мне печать сделали.

— Печать?.. — повторил с восторгом Жендзян, все с большим уважением поглядывая на пана Заглобу.

— А на чем вы, ваць-пане, печать прикладывать будете? — спросил Володыевский.

— В нашей компании ты можешь говорить мне «ваць-пане», пан Махал, как прежде. Не я буду прикладывать печати, а мой канцлер... Вы это хорошенько зарубите себе на носу!

Тут Заглоба гордо и торжественно обвел присутствующих глазами, так что Жендзян даже привскочил со скамьи, а Скшетуский пробормотал:

— Honores mutant mores!²⁶

— Зачем мне канцелярия? Вы послушайте только! — продолжал пан Заглоба. — Прежде всего знайте, что все эти несчастья, которые обрушились на нашу отчизну, по-моему, произошли от распущенности, от своеволия, от жизни, проводимой в увеселениях (меду, пан Михал), и это, как зараза, поразило всю нашу отчизну. Но, прежде всего, виной всему еретики, которые оскверняют истинную веру нашу, не почитая Пресвятой Девы, Заступницы нашей, и тем приводя ее в справедливую ярость...

— Вот это правда! — хором отозвались рыцари. — Диссиденты первые пристали к неприятелю, и кто знает, не сами ли они его сюда привели...

— Пример — великий гетман литовский!

— Но так как и в этом воеводстве, где я состою начальником войска, тоже

²⁶ Почести меняют нравы! (лат.).

немало еретиков, к примеру сказать — в Тыкоцине и других городах, поэтому, чтобы снискать Божье благословение для нашего предприятия, я издам универсал, чтобы все, кто живет в заблуждениях, в течение трех дней вернулись на путь истинный, а у тех, кто этого не сделает, имения будут конфискованы в пользу войска.

Рыцари переглядывались изумленными глазами. Они знали, что велик ум пана Заглобы, но не предполагали, чтобы пан Заглоба был столь великим политиком и столь прекрасно умел рассуждать об общественных делах.

— И вы спрашиваете, — с триумфом сказал Заглоба, — откуда я возьму денег для войска? А конфискация имений? Ведь тем самым все имения Радзивилла перейдут в собственность войска!

— Но будет ли закон на нашей стороне? — вставил Володыевский.

— Такие времена теперь, что у кого сабля в руках, у того и закон. По какому такому закону шведы и все неприятели грабят нашу отчизну?

— Это правда! — убежденно ответил пан Михал.

— Но это еще не все! — воскликнул пан Заглоба, воодушевляясь. — Другой универсал я издам к шляхте воеводства Полесского и тех воеводств, которые еще не попали в руки неприятеля, и велю созывать посполитое рушение. Шляхта вооружит челядь, чтобы у нас не было недостатка в пехоте. Я знаю, что многие рады бы идти и только ждут какого-нибудь распоряжения правительства. Вот у них и будет правительство и распоряжение...

— У вас, ваць-пане, столько же ума, сколько у великого канцлера коронного! — воскликнул пан Володыевский.

— Меду, пан Михал! Третий универсал я пошлю Хованскому, чтобы он убирался ко всем чертям, а если нет, так мы его выкурим из всех городов и замков. Правда, он стоит теперь в Литве спокойно и не воюет, но зато казаки Золотаренки собираются в шайки, тысячи по две, и грабят. Пусть же он их обуздает, иначе мы их сотрем с лица земли.

— Вот это можно бы сделать, — сказал Ян Скшетуский, — чтобы солдаты, кстати, не сидели сложа руки.

— Я уже думал об этом и как раз сегодня посылаю разведочные отряды под Волковыск, но есть еще и многое другое, чего не следует забывать... Четвертое письмо я пошлю к нашему королю, к нашему всемилостивейшему государю, чтобы порадовать его в печали известием, что есть еще такие, кто не покинул его, что есть сабли, готовые к битве по первому его знаку. Пусть же у него, нашего отца, нашего дорогого пана, нашего правого государя, на чужбине, где он должен скитаться, будет хоть то утешение, что... что...

Тут пан Заглоба не смог говорить, и так как он был уже сильно под хмельком, то вдруг заревел навзрыд над горькой судьбой короля, и пан Михал заворил ему тоненьким голоском. Жендзян также всхлипывал, или делал вид, что всхлипывает, а Скшетуские сидели, подперев руками голову, и молчали.

Некоторое время царила тишина, вдруг пан Заглоба впал в ярость.

— Плевать я хочу на курфюрста! — крикнул он. — Если он заключил союз с прусскими городами, так пусть же выходит против шведов, пусть не служит и нашим и вашим, пусть делает то, что должен сделать верный ленник, и пусть становится в защиту своего государя и благодетеля!

— А кто его знает, может быть, он еще станет на сторону шведов? — сказал Станислав Скшетуский.

— Станет на сторону шведов? Я ему стану! Прусская граница недалеко, а у меня несколько тысяч сабель наготове! Заглобу не проведешь. Вот как вы меня здесь видите, как начальник я над честным войском, так обрушусь я на него с огнем и мечом! Провианта нет? Ладно! Мы найдем его вдоволь в прусских амбарах!

— Господи боже! — воскликнул Жендзян в изумлении. — Ваша вельможность

уже коронованным особам грозитя?

— Я сейчас же ему напишу: «Ваше высочество! Довольно нам в кошки-мышки играть. Довольно изворотов и проволочек! Выходите против шведов, а не хотите, так я вас в Пруссию приду проводить. Иначе быть не может...» Перо, чернил, бумаги!! Жендзян, ты поедешь с письмом!

— Слушаюсь! — сказал арендатор из Вонсоши, обрадованный новой должностью.

Но прежде чем пану Заглобе приготовили чернила, перо и бумагу, за окном послышались крики и на дворе зачернели толпы солдат. Одни кричали: «Виват!» — другие по-татарски: «Алла!» Заглоба с товарищами вышел посмотреть, что там такое.

Оказалось, что везут те октавы, о которых упоминал пан Заглоба и вид которых обрадовал теперь сердца солдат.

Пан Стенпальский, белостокский управляющий, подошел к пану Заглобе и проговорил:

— Ясновельможный пан начальник! С тех пор как бессмертной памяти пан маршал Великого княжества Литовского завещал Белостоку содержать тыкоцинский замок, я, как управляющий городом, верно и честно обращал доходы города на содержание замка, что могу доказать и реестрами перед всей Речью Посполитой. Трудясь над этим более двадцати лет, я снабжал замок порохом, пушками и мортирами, считая священным долгом своим, чтобы на это шел каждый грош, ибо так завещал ясновельможный маршал Великого княжества Литовского. Но теперь, когда в превратностях войны тыкоцинский замок стал важнейшей опорой неприятеля в нашем воеводстве, я спросил у Господа Бога и у совести своей, не должен ли я все эти военные припасы и чиншевые деньги, собранные за этот год, передать вашей вельможности...

— Должен!.. — торжественно перебил его пан Заглоба.

— Я только об одном прошу: чтобы вы, ваша вельможность, соизволили посвидетельствовать перед всем войском и дать мне расписку в том, что я ничего из этих денег и припасов не обратил в собственную пользу и все отдал в руки Речи Посполитой, столь доблестно представленной здесь в лице вашей вельможности.

Заглоба кивнул в знак согласия и тотчас стал просматривать реестры.

Оказалось, что кроме октав на чердаках спрятаны еще триста немецких мушкетов, еще очень хороших, две сотни русских бердышей для пехоты, при защите стен и валов, и шесть тысяч злотых наличными деньгами.

— Деньги разделить между войском, — сказал Заглоба, — а что касается мушкетов и бердышей...

Тут он огляделся по сторонам.

— Пан Оскерко, — сказал он, — возьмите и сформируйте пеший полк... Тут есть немного пехотинцев, бежавших от Радзивилла, а если не хватит, вы доберете!

Потом он обратился ко всем присутствующим:

— Мосци-панове! Есть деньги, есть орудия, будет пехота и провиант... Вот первые плоды моего начальства!

— Виват! — крикнули солдаты.

— А теперь, мосци-панове, бегите все по деревням, за кирками, лопатами и заступами, мы устроим здесь укрепленный лагерь. Второй Збараж! Ни солдаты, ни офицеры пусть не стыдятся взять в руки лопаты и работать!

Сказав это, пан начальник удалился в свою квартиру, провожаемый радостным криком войска.

— Ей-богу же, у этого человека есть голова на плечах, — говорил Ян Скшетуский Володыевскому, — и все начинает идти лучше!

— Только бы Радзивилл не пришел слишком скоро, — заметил Станислав

Скшетуский, — ведь это воин, каких нет в Речи Посполитой, а наш пан Заглоба годится только на то, чтобы снабжать войско провиантом, и не ему мериться с таким воином!

— Это правда! — ответил Ян. — Ну когда дело дойдет до столкновения, мы ему будем помогать советом, потому что он менее сведущ в военном деле. Впрочем, его роль будет кончена, как только приедет пан Сапега.

— А за это время он может сделать очень много хорошего, — сказал пан Володыевский.

И действительно, войско нуждалось в каком-нибудь начальнике, хотя бы даже таком, как пан Заглоба, так как со дня его выбора в лагере царил полный порядок. На следующий день с самого рассвета лагерь стали окружать валами. Пан Оскерко, который служил в иностранных войсках и знал искусство возводить укрепления, руководил всей работой.

В три дня лагерь был уже окружен довольно высоким валом и действительно несколько напоминал Збараж, так как по бокам и сзади был защищен болотистыми прудами. Вид его придавал бодрости солдатам; войско почувствовало, что у него теперь есть почва под ногами. Но еще больше ободрились солдаты при виде запасов провианта, которые свозились под охраной сильных отрядов. Ежедневно в лагерь сгоняли волов, овец, свиней, ежедневно въезжали возы с хлебом и сеном. Некоторые из них приходили даже из Чуковской земли, другие из Видской. Съезжалось все больше богатой и мелкой шляхты, так как всюду разнеслась весть, что опять есть настоящее войско и начальник, и это внушало людям больше доверия. Населению трудно было кормить «целую дивизию», но, во-первых, пан Заглоба об этом не спрашивал, а во-вторых, лучше было отдать половину войску и спокойно пользоваться другой половиной, чем рисковать ежеминутно потерять все от грабежей и нападений разбойничьих шаек, которые рыскали по всему воеводству, подобно татарам, и которые пан Заглоба велел преследовать и истреблять.

— Если он будет так же командовать, как он хозяйничает, — говорили в лагере о новом начальнике, — то Речь Посполитая и не знает даже, сколь великого мужа она имеет.

Сам пан Заглоба с некоторым беспокойством думал о приходе Януша Радзивилла. Он вспоминал все победы Радзивилла, и тогда личность гетмана принимала в воображении нового начальника какие-то чудовищные размеры, и он говорил про себя: «Ох, кто же сможет устоять против такого дракона... Я говорил, что он мной подавится, но ведь он меня, как щука карася, проглотит».

И он обещал себе не давать генерального сражения Радзивиллу.

«Будет осада, — думал он, — а это всегда продолжается долго. Можно будет и переговоры вести, а к этому времени подойдет пан Сапега».

В случае, если бы он не подошел, пан Заглоба решил слушаться во всем пана Яна Скшетуского, так как помнил, что князь Еремия очень ценил этого офицера и его военные таланты.

— Ты, пан Михал, — говорил пан Заглоба Володыевскому, — создан только для атаки, или для разведок, с отрядами даже очень значительными, ибо ты умеешь подкрадываться к неприятелю, как волк к овцам; но если бы тебе дали командовать целым войском, твое дело дрянь. Ведь ты своими мозгами торговать не можешь, у тебя их еле на себя хватает, а у Яна голова полководца, и, если бы меня не стало, он один мог бы меня заменить.

Между тем приходили всевозможные противоречивые известия; то говорили, что Радзивилл уже идет через Пруссию, то, что, разбив войска Хованского, он занял Гродну и оттуда надвигается с огромным войском; но были и такие, которые утверждали, что это не Радзивилл, а Сапега разбил Хованского с помощью князя Михаила Радзивилла. Разведочные отряды не привезли никаких достоверных

известий, кроме того разве, что под Волковыском остановился отряд казаков Золотаренки, численностью до двух тысяч человек, и угрожает городу. Вся окрестность была уже в огне.

На следующий день начали стекаться и беглецы, которые подтвердили это известие, добавляя, что мещане отправили послов к Хованскому и Золотаренке с просьбой пощадить город, на что они получили ответ от Хованского, что город осаждает шайка всякого сброда, не имеющая ничего общего с его войском, что же касается Золотаренки, то он посоветовал мещанам дать выкуп, но у мещан, обедневших после недавнего пожара и непрерывных грабежей, ничего не было.

И они молили о милосердии пана начальника, просили поспешить с помощью, пока идут переговоры относительно выкупа, ибо потом уже будет поздно. Пан Заглоба выбрал полторы тысячи лучших солдат, среди них и весь ляуданский полк, и, позвав пана Володыевского, сказал ему:

— Ну, пан Михал, пора показать, что ты умеешь. Ты пойдешь под Волковыск и разобьешь этих бездельников, что осадили незащищенный город. Не новое дело для тебя такая экспедиция. Я думаю, что ты за честь считаешь, что я именно тебе ее доверяю.

Тут он обратился к другим полковникам:

— Я сам должен в лагере остаться, ибо вся ответственность на мне, это во-первых, а во-вторых, достоинство мое не позволяет идти походом на разбойников. Вот пусть пан Радзивилл придет, тогда я покажу себя в большой войне, и все увидят, кто лучше: пан гетман или ваш начальник...

Володыевский поехал охотно, так как он соскучился уже в лагере по кровавым делам. Полки, командированные в экспедицию, выходили не менее охотно и распевали песни, а начальник, на коне, благословлял их с вала в путь. Были такие, которые удивлялись, что пан Заглоба так торжественно отправлял отряд, но он помнил, что и Жолкевский, и другие гетманы имели обыкновение крестным знаменем провожать войска, шедшие в битву; впрочем, он все любил делать торжественно, ибо это поднимало его авторитет в глазах войска.

Едва лишь отряд исчез во мгле отдаления, как он стал о нем беспокоиться.

— Ян, — сказал он, — а может быть, послать Володыевскому еще небольшой отряд в подмогу?

— Оставь в покое, отец, — отвечал Скшетуский. — Володыевскому идти в такую экспедицию то же самое, что съесть миску яичницы. Ведь он всю свою жизнь только этим и занимался.

— Но если он натолкнется на более сильное войско?

— Ну разве можно сомневаться в таком солдате? Он сам все хорошенько обдумает, прежде чем ударить, и если там силы слишком велики, то он сделает, что возможно, и пришлет сюда за подкреплением. Ты, отец, можешь спать спокойно!

— Ну да, я ведь знал, кого посылаю, но должен тебе сказать, что этот пан Михал просто приворожил меня — такая у меня к нему слабость; кроме покойного пана Подбипенты и тебя, я никого еще так не любил... Не иначе как приворожил он меня... этот франтик!

В лагерь все еще продолжали свозить провиант, приходили и волонтеры, но о пане Михале не было ни слуху. Беспокойство Заглобы возрастало, и, несмотря на уверения Скшетуского, что Володыевский ни в коем случае не мог еще вернуться из-под Волковыска, пан Заглоба отправил сотню пятигорцев под командой пана Кмицица, чтобы узнать, в чем дело.

Но отряд ушел, и опять прошло два дня в полнейшей неизвестности.

И только на седьмой день, в серые туманные сумерки, мужики, отправленные за сеном в Боровники, очень быстро вернулись назад с сообщением, что видели какое-то войско, которое за Боровниками выходило из лесу.

— Это пан Михал! — радостно вскрикнул Заглоба.

Но мужики это отрицали. Они не поехали навстречу войску именно потому, что видели какие-то незнакомые мундиры, которых в войске пана Володыевского не было. Притом же войско было гораздо многочисленнее. Мужики не могли, конечно, точно сосчитать, но говорили, что видели тысячи три, пять, а то и больше.

— Я захвачу с собой двадцать человек и поеду навстречу, — сказал пан ротмистр Липницкий.

И он уехал.

Прошел, час, другой, и наконец дали знать, что подходит не отряд, а целое войско.

И неизвестно отчего в лагере вдруг раздались крики:

— Радзивилл идет!

Известие это, как электрическая искра, привело в движение весь лагерь; солдаты высыпали на вал, на некоторых лицах отразился ужас; но полки не выстраивались, одна только пехота Оскерки заняла указанное ей место; зато среди волонтеров в первую минуту поднялась паника. Из уст в уста передавались всевозможные слухи. «Радзивилл наголову разбил Володыевского и отряд Кмицица», — повторяли одни. «Ни одного человека живым не выпустил», — говорили другие. «А вот теперь еще пан Липницкий точно сквозь землю провалился», «Где начальник?», «Где начальник?»

Полковники принялись приводить войска в порядок, и так как, за исключением волонтеров, большинство войска в лагере были солдаты опытные, то полки тотчас выстроились, ожидая дальнейших приказаний.

Пан Заглоба, услышав крики: «Радзивилл идет», ужасно смутился и в первую минуту не хотел верить. Что же случилось с Володыевским? Неужели он дал возможность Радзивиллу застать себя врасплох, так что не осталось ни одного человека, который мог бы их предупредить? А второй отряд? А пан Липницкий?

— Это невозможно! — повторял пан Заглоба, вытирая лоб, на котором выступили крупные капли пота. — Этот дракон, этот убийца, этот дьявол успел уже прийти сюда из Кейдан? Неужто пришел последний час?

Между тем со всех сторон слышалось все громче: «Радзивилл!», «Радзивилл!» Пан Заглоба перестал сомневаться. Он опрометью бросился в квартиру Скшетуского.

— Ян, спасай! Теперь пора!

— Что случилось? — спросил Скшетуский.

— Радзивилл идет! Я все передаю в твои руки, потому что князь Еремия говорил мне, что ты врожденный вождь. Я сам буду за всем смотреть, но ты советуй и всем руководи!

— Это не может быть Радзивилл, — сказал Скшетуский. — Откуда идет войско?

— Со стороны Волковыска. Говорят, что они окружили Володыевского, разбили его, разбили и другой отряд, который я недавно выслал.

— Володыевский позволил бы себя окружить? Ты его не знаешь, отец! Это он и возвращается, и никто другой.

— Но ведь говорят, что идет огромное войско.

— Слава богу! Значит, пан Сапега идет!

— Ради бога, что ты говоришь? Ведь они дали бы знать. Липницкий поехал навстречу...

— Вот это-то и доказывает, что идет не Радзивилл. Он узнал, кто соединился, и они возвращаются вместе. Идем! Идем!

— Ведь я же это и говорил! — крикнул Заглоба. — Все перепугались, а я говорил: это невозможно! Я сейчас же так и подумал. Ну идем скорей, Ян, идем! Как я их всех пристыжу... Ха-ха-ха!

Оба они вышли торопливо, и, подойдя к валам, которые были уже запружены

войском, они пошли вдоль лагеря; лицо Заглобы сияло, он то и дело останавливался и кричал так, чтобы все его слышали:

— Мосци-панове! К нам гость идет. Не падайте духом! Если это Радзивилл, я ему покажу дорогу назад в Кейданы.

— Покажем и мы! — кричало войско.

— Развести костры на валах. Мы прятаться не будем. Пусть видят, что мы готовы. Развести костры!

Тотчас принесли дров, и через четверть часа горел весь лагерь, так что небо алело, точно от вечерней зари. Солдаты, отворачиваясь от света, смотрели в темноту, в сторону Боровников. Некоторые кричали, что слышат уже фыркание и топот лошадей.

Вдруг в темноте раздались выстрелы мушкетов. Пан Заглоба схватил Скшетуского за полу.

— Они стрелять начинают! — сказал он тревожно.

— Это салют, — ответил Скшетуский.

Вслед за выстрелами раздались радостные крики. Нельзя было больше сомневаться; минуту спустя подскакало несколько всадников на взмыленных конях, и раздались крики:

— Пан Сапега! Пан воевода витебский!

Едва это услышали солдаты, как они, словно река, хлынули с валов и побежали навстречу с таким криком, что если бы кто-нибудь услышал их со стороны, то подумал бы, что здесь идет какая-то страшная резня.

Заглоба сел на коня и во главе полковников выехал навстречу войску, захватив с собой все знаки своего достоинства: бунчук и булаву — и надев шапку с пером цапли.

Минуту спустя пан воевода витебский въезжал уже в круг света, во главе своих офицеров, рядом с паном Володыевским. Это был человек почтенных лет, довольно дородный, с лицом некрасивым, но умным и добродушным. Волосы у него были седые, слегка подстриженные, и такая же бородка, что делало его похожим на иностранца, хотя он одевался по-польски. Несмотря на то что он был известен несколькими военными подвигами, но он скорее был похож на дипломата, чем на воина; те, кто знал его ближе, говорили также, что в душе пана воеводы Минерва сильнее Марса. Но кроме Минервы и Марса в его душе было еще более редкое в те времена достоинство: честность, которая отражалась в глазах, как свет солнца в воде. На первый же взгляд было видно, что это человек честный и справедливый.

— Мы как отца ждали! — кричали солдаты.

— И вот пришел наш вождь! — растроганно кричали другие.

— Виват, виват!

Пан Заглоба подскакал к Сапеге во главе полковников, а он задержал коня и снял с головы рысью шапку.

— Ясновельможный пан воевода! — начал свою речь Заглоба. — Если бы я обладал красноречием римлян, хотя бы самого Цицерона или, отступая в древнейшие времена, славного афинянина Демосфена, я бы не сумел высказать той радости, которая разыгралась в сердцах наших при виде досточтимой особы ясновельможного пана. Вся Речь Посполитая радуется в наших сердцах, встречая мудрейшего сенатора и лучшего сына родины, тем более что радость эта неожиданная. Мы стояли в этих окопах, готовые не встречать, а воевать... Не радостные крики слушать, а пушечный гром... Не слезы проливать, а кровь нашу... Когда же стоустая молва разнесла весть, что идет защитник отчизны, а не изменник, воевода витебский, а не великий гетман литовский, Сапега, а не Радзивилл...

Пан Сапега, по-видимому, торопился ехать, так как махнул рукой с добродушной небрежностью магната и сказал:

— Идет и Радзивилл! Через два дня он будет здесь.

Пан Заглоба смутился, во-первых, потому, что пан Сапега прервал нить его речи, а во-вторых, потому, что известие о Радзивилле произвело на него большое впечатление. Он постоял некоторое время, не зная, как продолжать; но вскоре он пришел в себя и, быстро вынув из-за пояса булаву, сказал торжественно, вспоминая, что было под Збаражем:

— Войско избрало меня своим вождем, но я передаю этот знак власти моей в достойнейшие руки, дабы дать пример младшим, как надлежит ради общественного блага отречься от самых великих почестей.

Солдаты выражали знаки одобрения, но пан Сапега только улыбнулся и сказал:

— Как бы вас, пане-брате, Радзивилл не заподозрил, что вы от страха перед ним булаву мне отдаете! Он был бы рад!

— Он меня уже знает, — ответил Заглоба, — и в страхе не заподозрит, я первый назвал его как следует в Кейданах, подав пример и другим.

— Если так, то ведите меня в лагерь, — сказал Сапега. — Говорил мне по дороге Володыевский, что вы отменный хозяин и что у вас найдется что поесть, а мы устали и голодны!

Сказав это, он пришпорил лошадь, за ним поехали другие, и вскоре все уже въезжали в лагерь, среди радостных криков. Пан Заглоба вспомнил, что говорили о пане Сапеге — будто он очень любит пировать за чашей, — и решил торжественно отпраздновать день его приезда. И он задал такой великолепный пир, какого еще не случалось в лагере. Все пили и ели. За чаркой пан Володыевский рассказывал, что произошло под Волковыском, как неожиданно для себя самого он был окружен большими силами, которые предатель Золотаренко выслал на помощь осаждавшим, как трудно ему приходилось и как внезапный приход пана Сапегу превратил отчаянную самооборону в великолепную победу.

— Мы им так всыпали, — говорил он, — что с этих пор они и носа не покажут.

Потом разговор перешел на Радзивилла. У пана воеводы витебского были достоверные известия относительно всего, что произошло в Кейданах. Он рассказывал, что гетман литовский выслал некоего Кмицица с письмом к королю шведскому и убеждал его обрушиться на Полесье с двух сторон.

— Вот чудо из чудес! — воскликнул Заглоба. — Ведь если бы не этот Кмициц, мы бы до сих пор не могли собраться вместе, и Радзивилл, если бы он подошел, мог бы съесть нас поодиночке, живьем.

— Пан Володыевский рассказывал мне, — ответил Сапега, — из чего я заключаю, что он лично к вам питает добрые чувства. Жаль, что этих чувств у него нет по отношению к родине. Но такие люди, которые ничего не видят, кроме себя, никому хорошо служить не могут и каждому готовы изменить, как изменил в данном случае Кмициц Радзивиллу.

— Только между нами нет изменников, и все мы последнюю каплю крови готовы отдать по приказу вашему, ясновельможный пан воевода! — сказал Жиромский.

— Я верю, что здесь только честные солдаты, — ответил воевода, — я даже не надеялся застать здесь такой порядок и достаток, за что должен благодарить его милость, пана Заглобу.

Пан Заглоба даже покраснел от удовольствия, так как ему до сих пор казалось, что хотя воевода витебский обращается с ним ласково, но не столь почтительно, сколь этого хотел бывший начальник. И он стал рассказывать, что он делал, что предпринимал, какие запасы собрал, сколько пушек достал, сколь обширную корреспонденцию должен был вести и, наконец, заявил, что сформировал пехотный полк.

Не без некоторого самохвальства упомянул он о письмах, отправленных к изгнанному королю, к Хованскому и к курфюрсту.

— После моего письма его высочество курфюрст должен ясно ответить, за кого же он, наконец: за нас или против нас.

Но воевода витебский был человек веселый, а может быть, и подвыпил немного, поэтому он погладил ус, усмехнулся язвительно и сказал:

— Пане-брате, а к немецкому государю вы не писали?

— Нет! — ответил с удивлением Заглоба.

— Вот это жаль, — сказал воевода, — равный писал бы к равному!

Полковники разразились громким смехом, но пан Заглоба тотчас доказал, что если пан воевода хотел быть косой, то он, Заглоба, может быть и камнем...

— Ясновельможный пане воевода, — сказал он, — курфюрсту я могу писать, как могу писать и к королю, ибо, будучи шляхтичем, я имею право сам быть избранным королем и не так давно еще подавал голос за Яна Казимира.

— Вот это ловко! — ответил воевода витебский.

— Но с такой персоной, как государь немецкий, я не переписываюсь, — продолжал Заглоба, — чтобы мне не сказали одну пословицу, какую я слышал на Литве...

— Какая же эта пословица?

— «Коли не очень умен, значит, из Витебска он...» — ответил, не моргнув и глазом, Заглоба.

Услышав это, полковники даже испугались, но воевода витебский так и покатился со смеху.

— Вот так отрезал! Давайте я вас расцелую... Когда мне бриться придется, я у вашей милости язык попрошу одолжить.

Пир затянулся до поздней ночи; его прервал приезд нескольких шляхтичей из-под Тыкоцина, которые привезли известие, что отряды Радзивилла подошли уже к этому городу.

VII

Радзивилл уже давно нагрянул бы на Полесье, если бы не то, что всевозможные дела задерживали его в Кейданах. Во-первых, он ждал шведских подкреплений, с которыми Понтус де ла Гарди умышленно медлил. Хотя шведского генерала связывали родственные узы с самим королем, но ни блеском своего рода, ни значением, ни обширными родственными связями он не мог равняться с этим литовским магнатом, а что касается богатства, то, хотя в эту минуту в казне Радзивилла не было наличных денег, все же и половины имений Радзивилла, если бы ее разделить между шведскими генералами, хватило бы на то, чтобы каждый из них мог считать себя богачом. И вот когда превратности судьбы привели к тому, что Радзивилл стал в зависимость от Понтуса, генерал не мог отказать себе в удовольствии дать почувствовать этому магнату всю тяжесть зависимости и собственное превосходство.

Радзивилл нуждался в подкреплении не для того, чтобы разбить конфедератов, так как для этого у него было достаточно собственного войска, шведы были ему нужны именно по тем причинам, о которых упоминал Кмициц в письме к пану Володыевскому. Путь на Полесье Радзивиллу преграждали полчища Хованского, которые могли его туда не допустить; если бы Радзивилл выступил со шведскими войсками, от имени шведского короля, тогда выступление Хованского против Радзивилла могло бы считаться как вызов, брошенный Карлу-Густаву. Радзивилл хотел этого в душе и потому с нетерпением ожидал прибытия хотя бы одного шведского полка, и, жалуясь на Понтуса, он не раз говорил своим придворным:

— Несколько лет тому назад он бы за счастье почел, если бы получил от меня письмо, он бы его, как драгоценность, потомкам завещал, а теперь он говорит со

мной, как высший.

На что один шляхтич, остряк и сумасброд, известный во всей окрестности, осмелился ему ответить:

— Это по пословице, ваше сиятельство: «Как постелешь, так и поспишь».

Радзивилл разразился гневом и велел запереть шляхтича в башню, но на другой день выпустил и подарил ему золотой перстень, так как о шляхтиче говорили, что у него много денег, и князь хотел у него взять денег под залог имений. Шляхтич перстень принял, но денег не дал.

Наконец пришло подкрепление от шведов в размере восьмисот человек тяжелой конницы, трехсот пехотинцев и сотни легкой кавалерии. Понтус выслал их прямо в тыкоцинский замок, чтобы иметь в нем, на всякий случай, собственный гарнизон.

Войска Хованского расступились перед этим отрядом, не причинив ему никакого вреда, и он благополучно прибыл в Тыкоцин, так как все это происходило еще тогда, когда конфедератские полки были рассеяны по всему Полесью и занимались только разграблением радзивилловских имений.

Все думали, что князь, дождавшись желанного подкрепления, сейчас же двинется в поход, но он медлил. Причиной этому было известие из Полесья о беспорядках, царящих в этом воеводстве, о раздорах между конфедератами и о недоразумениях, которые возникли между Котовским, Липницким и Яковом Кмицицем.

— Надо дать им время, — говорил князь, — чтобы они успели передрались. Они загрызут друг друга, и силы эти исчезнут без войны, а мы тем временем ударим на Хованского.

Но вдруг стали приходить известия совершенно обратного характера; полковники не только не передрались, но даже соединились вместе и остановились под Белостоком. Князь ломал себе голову, что могло быть причиной такой перемены. Наконец князь услышал имя Заглобы как главного начальника этого войска. Ему сообщили также о том, что под Белостоком построен укрепленный лагерь, что войско снабжается провиантом, что Заглоба выписал в Белосток пушки, что силы конфедератов растут и пополняются добровольцами, сходящимися со всех сторон. Князь Януш впал в такое бешенство, что Гангоф, неустрашимый солдат, не решался подойти к нему в течение целых суток.

Наконец полкам отдан был приказ готовиться в поход. В один день дивизия была готова: полк немецкой пехоты, два полка датской пехоты и один полк литовской; пан Корф вел артиллерию; Гангоф командовал конницей. Кроме драгун Харлампа и шведских рейтар был еще легкоконный полк Невяровского и тяжелая конница самого князя, которой командовал Слижень. Это было значительное войско, состоявшее исключительно из ветеранов. В былые времена князь с таким же отрядом одержал ту блестящую победу над Хмельницким, которая покрыла его имя бессмертной славой; не с большими силами он разбил турок, разгромил наголову многотысячное войско Кшечовского, вырезал Мозырь, Туров, взял штурмом Киев и так прижал в степях Хмельницкого, что он должен был прибегнуть к переговорам, чтобы спасти себя.

Но, по-видимому, счастливая звезда этого могучего полководца уже заходила, и самого его мучили дурные предчувствия. Он пылливо смотрел в будущее и не видел ничего ясного. Он пойдет на Полесье, разгромит бунтовщиков, велит содрать шкуру с ненавистного Заглобы, — а что же дальше? Что дальше? Что изменится от этого? Он пойдет на Хованского, отомстит за цыбиховское поражение и украсит свою голову новыми лаврами. Хотя князь и говорил так, но он сомневался, так как появились слухи, что северные полчища Хованского, боясь возрастающего могущества шведов, перестали воевать и, может быть, даже заключат союз с Яном Казимиром. Сапега сталкивался с ними и громил, где мог, но и он уже вошел с ними в переговоры. Те же

планы были и у Госевского.

И вот если бы Хованский отступил, для Радзивилла было бы закрыто и это поле действий и исчезла бы последняя возможность доказать свое могущество; а если бы Яну Казимиру удалось заключить союз и толкнуть на шведов прежнего врага, тогда счастье могло бы перейти на его сторону и обратилось бы против шведов и тем самым против Радзивилла.

Из Польши к князю приходили самые утешительные известия. Успех шведов превосходил всякие ожидания. Воеводства сдавались одно за другим; в Великопольше было уже шведское правительство, Варшавой управлял Радзейовский; Малопольша не сопротивлялась; Краков должен был пасть с минуты на минуту; король, покинутый войском и шляхтой, с разбитой верой в свой народ, бежал в Силезию, и сам Карл-Густав удивлялся той необычайной легкости, с которой он сломил ту мощную силу, которая всегда раньше побеждала шведов.

Но именно в этой легкости Радзивилл видел опасность для себя, так как предчувствовал, что ослепленные успехом шведы не захотят с ним считаться, не будут обращать на него внимания, особенно потому, что он не оказался таким могущественным и властным на Литве, каким его считали все, не исключая и его самого.

А в таком случае отдаст ли ему шведский король Литву или хотя бы Белую Русь? Не захочет ли он удовлетворить вечно голодного соседа какой-нибудь восточной окраиной Речи Посполитой, чтобы развязать себе руки в остальной Польше?

Это были вопросы, которые вечно мучили душу князя Януша. Дни и ночи он проводил в тревоге. Он подозревал, что Понтус де ла Гарди не осмелился бы обращаться с ним так высокомерно, почти пренебрежительно, если бы не был уверен, что король одобрит такое обращение, или, что еще хуже, если бы у него не было уже готовой инструкции.

«Пока я стою во главе нескольких тысяч войск, — думал Радзивилл, — до тех пор со мной будут считаться. Но когда у меня не хватит денег и наемные полки разбредутся, что будет тогда?»

А тут как раз огромные имения князя не принесли в этом году никакого Дохода: огромная часть их, рассеянная по всей Литве, до самого Полесья, была разорена, полесские же имения разграбили конфедераты.

Минутами князю казалось, что он валится в пропасть. Из всех его начинаний, из всех его планов для него могло остаться только одно: имя изменника, и больше ничего.

Его пугал и другой призрак, призрак смерти; каждую ночь почти он появлялся за пологом его ложа и манил его к себе рукой, точно хотел сказать: «Пойдем со мной во мрак, по ту сторону неведомой реки...»

Если бы он был на вершине славы, если бы он хоть на один день, хоть на один миг мог надеть на свою голову ту корону, которой он так страстно желал, он бы встретил этот страшный немой призрак не моргнув глазом. Но умереть и оставить после себя бесславие и презрение людей — казалось этому магнату, гордому, как сам дьявол, адом еще при жизни.

И не раз, когда он был один или со своим астрологом, которому он особенно доверял, он хватался за голову и повторял задыхающимся голосом:

— Горю! Горю! Горю!

При таких обстоятельствах он собирался в поход на Полесье; вдруг накануне выступления ему дали знать, что князь Богуслав приехал в Тауроги.

При одном известии об этом князь Януш, еще не видавший брата, точно ожил, так как этот Богуслав привозил с собой молодость и слепую веру в лучшее будущее. В нем должна была возродиться линия Радзивиллов, для него только и работал князь Януш.

Узнав, что он едет, он во что бы то ни стало хотел выехать к нему навстречу, но, так как этикет не позволял встречать младшего, он послал ему навстречу золоченую карету и целый полк Невяровского; с укреплений, возведенных Кмицицем, и из самого замка он велел палить из пушек, точно встречал короля.

Когда братья, после официальной встречи, остались наконец одни, Януш схватил Богуслава в объятия и стал повторять взволнованным голосом:

— Вот ко мне и молодость вернулась! Вот ко мне и здоровье вернулось! Но князь Богуслав посмотрел на него пристально и сказал:

— Что с вами, ваше сиятельство?

— К чему титулы, раз нас никто не слышит... Что со мной? Болезнь меня изводит, и я, наконец, свалюсь, как подгнившее дерево. Но это пустяки. Как моя жена и как Марыська?

— Обе уехали из Таурогов в Тильзит. Обе здоровы, а Мари — как розовый бутон; она станет прелестной розой, когда расцветет! Ma foi! Более красивой ноги во всем свете нет, а волосы у нее до самой земли.

— Она показалась тебе такой красивой? Это и хорошо. Господь внушил тебе мысль сюда приехать! У меня лучше на душе, когда я тебя вижу... Ну, какие же вести ты мне привозишь? Что курфюрст?

— Ты знаешь, что он заключил союз с прусскими городами?

— Знаю.

— Но они ему не очень верят. Гданьск не хотел принять его гарнизона... У немцев есть чутье!

— И это знаю. А ты не писал к нему? Что он о нас думает?

— О нас? — рассеянно повторил Богуслав.

И стал разглядывать комнату, потом встал; князь Януш думал, что он чего-нибудь ищет, но он подбежал к зеркалу, стоявшему в углу, и, повернув его к свету, стал ощупывать лицо и наконец сказал:

— У меня кожа немного потрескалась с дороги, но это до завтра пройдет... что курфюрст думает о нас? Ничего... Он писал мне, что нас не забудет.

— То есть как это — не забудет?

— У меня письмо с собой, я тебе его покажу... Он пишет, что, чтобы ни случилось, он нас не забудет... А я ему верю, так как это в его интересах. Курфюрсту столько же дела до Речи Посполитой, сколько мне до старого парика, и он охотно отдал бы ее Швеции, если бы мог зацапать Пруссию. Но могущество шведов начинает его беспокоить, и ему хочется на будущее время иметь готового союзника, и он у него будет, если ты сядешь на литовском троне.

— Дал бы Бог... Я не для себя хочу трона!

— Все Литвы сначала выторговать не удастся, но для начала довольно было бы Белой Руси и Жмуди.

— А шведы?

— Шведы будут рады защититься нами с востока.

— Ты мне бальзам вливаешь в душу...

— Бальзам, ага... Какой-то чернокнижник в Таурогах хотел продать мне бальзам, о котором он говорил, что если им натереться, то можно не бояться ни сабли, ни шпаги, ни копья. Я велел натереть его самого и ударить его копьем; вообрази: копьё прошло насквозь.

Князь Богуслав захохотал, показывая при этом белые, как слоновая кость, зубы. Но Янушу не понравился этот разговор, и он опять заговорил о политике.

— Я послал письма к шведскому королю и ко многим нашим сановникам, — сказал он. — Ведь и ты должен был получить письмо через Кмицица.

— Постой! Ведь я, отчасти, по этому делу и приехал. Что ты думаешь о Кмицице?

— Это горячий, шальной человек, не выносящий узды, но один из тех редких людей, которые служат нам верно.

— Несомненно, — ответил Богуслав, — я по его милости чуть не попал в царство небесное.

— Как так? — спросил с беспокойством Януш.

— Говорят, что, если тебе затронуть желчь, у тебя сейчас же бывает удушье. Обещай мне, что ты будешь слушать терпеливо и спокойно, а я расскажу тебе о твоём Кмицице нечто такое, что даст тебе возможность узнать его лучше, чем ты знал его до сих пор.

— Хорошо, я буду терпелив, но поскорее к делу.

— Я каким-то чудом вырвался из рук этого воплощенного дьявола, — ответил князь Богуслав.

И он начал рассказывать обо всем, что произошло в Павлишках.

Каким-то чудом с князем Янушем не случилось припадка астмы, хотя вид его был такой, будто с ним вот-вот случится удар. Он весь дрожал, скрежетал зубами, закрывал рукой глаза, наконец воскликнул хриплым голосом:

— Так! Хорошо! Он забыл только, что его зазноба здесь в моих руках...

— Да подожди ты, ради бога, и слушай дальше, — ответил Богуслав. — Я расправился с ним по-рыцарски, и, если я этим приключением не буду хвастать, то только потому, что мне стыдно: как я мог дать провести себя этому наглецу. Я, про которого говорят, что в интригах и в хитрости я не имею себе равных при всем французском дворе! Но это неважно... Я думал раньше, что убил твоего Кмицица, между тем у меня теперь есть доказательства, что он жив.

— Это ничего. Мы его найдем. Мы его откопаем, хотя бы из-под земли. А пока я нанесу ему такой удар, который будет для него больнее, чем если бы с него живьем кожу содрали.

— Никакого удара ты ему не нанесешь, а только повредишь своему здоровью. Слушай! Когда я ехал сюда, я заметил какого-то человека, который ехал верхом и все время держался около моей коляски. Я заметил его потому, что лошадь у него была серая, в яблоках, и велел его наконец позвать: «Куда едешь?» — «В Кейданы». — «Что везешь?» — «Письмо к пану воеводе». Я велел подать себе письмо, и так как секретов между нами нет, то я прочел. Вот оно!

Сказав это, он подал князю Янушу письмо Кмицица, написанное в лесу в то время, когда он с Кемличами отправлялся в дорогу.

Князь пробежал его глазами, скомкал в бешенстве и наконец воскликнул:

— Правда! Видит Бог, правда! У него мои письма, а в них такие вещи, которые не только наведут шведского короля на подозрение, но и оскорбят его смертельно...

Тут с ним случился припадок икоты, а потом удушья. Рот его широко открылся, губы ловили воздух, руками он разрывал ворот; князь Богуслав, видя это, захлопал в ладоши, и, когда прибежали слуги, он им сказал:

— Спасайте князя-гетмана, а когда он опять придет в себя, попросите его прийти ко мне; я пока немного отдохну.

И он вышел.

Через два часа Януш, с глазами, налитыми кровью, с распухшими веками и посиневшим лицом, постучал в комнату Богуслава. Богуслав принял его, лежа на постели, с лицом, смоченным миндальным молоком, которое должно было придавать коже мягкость и блеск. Без парика, без грима, лишь с подрисованными бровями, он казался гораздо старше, но князь Януш не обратил на это внимания.

— Я пришел к тому заключению, что Кмициц не может опубликовать этих писем, так как, если бы он сделал это, он сам бы вынес смертный приговор этой девочке. Он это прекрасно понял, так как только этим способом он может держать меня в руках, но зато и я не могу ему отомстить, и это терзает меня так, точно у меня огонь в груди.

— Но эти письма надо будет во что бы то ни стало получить обратно.

— Но каким же образом?

— Ты должен послать к нему какого-нибудь ловкого человека; пусть он поедет, пусть подружится с ним и при первом удобном случае похитит письма, а его самого пырнет ножом. Надо будет только пообещать большую награду.

— Но кто же за это возьмется?

— Будь это в Париже или хотя бы в Пруссии, я нашел бы сотни охотников, но здесь даже этого добра нет.

— А нужно будет достать своего, так как иностранцев он будет остерегаться.

— Тогда предоставь это дело мне, может быть, я найду кого-нибудь в Пруссии.

— Эх, вот если бы его захватить живьем и отдать мне в руки. Я отплатил бы ему за все сразу. Говорю тебе, что дерзость этого человека переходит всякие границы. Я потому его и выслал, что он меня ни капли не боялся и чуть не с кулаками на меня лез из-за всякого пустяка, во всем навязывая свою волю. Чуть не сто раз я готов был отдать приказ расстрелять его, но... не мог, не мог.

— Скажи, пожалуйста, он действительно наш родственник?

— Он родственник Кишкам, а через них и нам.

— Во всяком случае это дьявол... И очень опасный противник!

— Он? Ты бы мог приказать ему ехать в Царьград, свергнуть с трона султана, оборвать бороду у шведского короля и привезти ее в Кейданы! Что он тут выделял во время войны!

— Это и видно. А он поклялся нам мстить до последнего издыхания. Слава богу, я проучил его и показал, что с нами не так-то легко бороться. Согласись, что я с ним расправился по-радзивиловски, и, если бы какой-нибудь французский кавалер мог похвастать подобным происшествием, он бы лгал о нем по целым дням, делая маленькие передышки для обеда, сна и поцелуев; стоит французам сойтись, как они начинают лгать наперебой, так что солнцу стыдно светить...

— Правда, ты его проучил! Но я бы предпочитал, чтобы этого не случилось.

— А я бы предпочитал, чтобы ты выбирал себе лучших слуг, которые имели бы больше почтения к радзивиловским костям.

— Ах, письма, письма!

Братья минуту помолчали, наконец Богуслав заговорил первый:

— Что это за девушка?

— Панна Биллевич.

— Биллевич или не Биллевич, это решительно все равно. Я не об имени спрашиваю, а о том, красива ли она?

— Я на это не обращаю внимания, но должен сказать, что и польская королева могла бы позавидовать такой красоте.

— Королева польская? Мария-Людвика? Во времена Сен-Марса²⁷ она, может быть, и была красива, а теперь собаки при виде ее воют. Если твоя Биллевич тоже такая, то ты можешь ее спрятать. Но если она действительно красива, тогда дай мне ее в Тауроги, и я уж вместе с ней придумаю, как отомстить Кмицицу.

Януш на минуту задумался.

— Я не дам тебе ее, — сказал он наконец, — потому что ты ее возьмешь силой, а Кмициц тогда опубликует письма.

— Я стану брать силой какую-нибудь вашу наседку?! Хвастать не хочу, но скажу только, что я и не с такими имел дело, а все же никогда не насиловал. Раз только это было во Фландрии... Она была уж очень глупа... Дочь ювелира... Потом подошли

²⁷ Анри-Куафье де Рюзэ, маркиз Cinq-Mars — фаворит Людовика XIII (1620–1642). (примеч. переводчика).

испанские солдаты, и она досталась им.

— Ну так ты этой девушки не знаешь... Она из хорошего дома, ходячая добродетель, можно подумать, монашенка!

— И с монашенками имел дело...

— Кроме того, эта девушка нас ненавидит, так как она большая патриотка. Это она так и настроила Кмицица. Таких немного среди наших девушек... У нее совсем мужской ум... И она горячая сторонница Яна Казимира...

— Тогда я постараюсь о том, чтобы размножить сторонников короля!

— Это невозможно, потому что Кмициц опубликует письма. Я должен ее беречь как зеницу ока до поры до времени. Потом я отдам ее тебе или твоим драгунам, это мне все равно.

— Я даю тебе рыцарское слово, что не буду по отношению к ней прибегать к насилию, а слова, которые я даю честным образом, я всегда сдерживаю. В политике — другое дело! Мне было бы даже стыдно, если бы я ничего не мог поделаться с ней добром!

— И не поделаешь!

— В худшем случае она меня ударит по лицу, а от женщины это не позорно... Ты едешь на Полесье, что же ты будешь с ней делать? С собой ее не возьмешь, здесь не оставишь, так как сюда придут шведы, а нужно, чтобы она всегда была у нас в руках. Разве не лучше будет, если я возьму ее в Тауроги... А к Кмицицу я пошлю не разбойника, а нарочного с письмом, в котором напишу: отдай мне письма, я тебе отдам девушку.

— Правда, — сказал князь Януш, — это способ хороший.

— Если же я, — продолжал Богуслав, — отдам ему ее не совсем такой, какой взял, то это и будет началом мести.

— Но ведь ты дал слово не прибегать к насилию?

— Дал и скажу еще раз, что я бы этого постыдился.

— Тогда тебе придется взять и ее дядю, мечника россиенского, который гостит с нею здесь.

— Не хочу! Здешняя шляхта в сапоги солому кладет, а я этого совершенно не выношу.

— Она одна не захочет ехать.

— Мы это еще увидим... Пригласи их сегодня к ужину, я ее посмотрю и тогда решу, стоит ли с ней возиться и как это сделать. Ради бога, не говори ей только о поступках Кмицица, так как это подняло бы его в ее глазах и укрепило бы ее верность ему. И за ужином ты не поправляй меня, что бы я ни говорил.

Князь Януш махнул рукой и вышел, а князь Богуслав подложил руки под голову и погрузился в раздумье.

VIII

К ужину кроме мечника россиенского и Оле ньки были приглашены также наиболее заслуженные офицеры кейданских войск и несколько придворных князя Богуслава. Сам он появился таким разряженным и великолепным, что с него не сводили глаз. Его парик был искусно завит волнистыми буклями; лицо нежностью кожи напоминало молоко и розы. Усы были как шелковые, глаза горели, как звезды. Он был одет во все черное, кафтан был сшит из суконных и шелковых полос, рукава с разрезами застегивались вдоль руки. Вокруг шеи у него был широкий воротник из великолепных брабантских кружев, огромной стоимости, и такие же манжеты на руках. На груди свешивалась золотая цепь, а с правого плеча вдоль всего кафтана шел темляк из голландской кожи, так густо унизанный брильянтами, что был похож на поток искрящегося света. Брильянтами горела и рукоятка шпаги, в пряжках его

туфель сверкало два огромных алмаза величиной с лесной орех. Вся фигура его была великолепно, необычайно благородна и прекрасна.

В одной руке он держал кружевной платок, а другой поддерживал повешенную на рукоятку шпаги шляпу, украшенную черными страусовыми перьями необычайной длины.

Все, не исключая князя Януша, смотрели на него с изумлением и восторгом. Князю-воеводе вспомнились его молодые годы, когда он точно так же затмевал всех при французском дворе красотой и богатством. Годы эти были уже далеко, но теперь гетману казалось что он воскрес в этом блестящем кавалере, который носил то же имя.

Князь Януш повеселел и, проходя мимо, коснулся указательным пальцем груди брата.

— Ты весь горишь, как луна, — сказал он, — уж не для панны ли Биллевич ты так разрядился?

— Луне легко проникнуть куда угодно, — находчиво ответил князь Богуслав.

И стал разговаривать с Гангофом, к которому он нарочно подошел, чтобы выиграть рядом с ним, так как Гангоф был необычайно безобразен: у него было темное лицо, изрытое оспой, горбатый нос и торчащие кверху усы; он был похож на духа тьмы, а князь Богуслав на духа света.

Но вот вошли дамы: пани Корф и Оле нька. Богуслав окинул ее быстрым взглядом и, наскоро поклонившись пани Корф, приложили было, по тогдашней моде, пальцы руки к губам, послать панне Биллевич воздушный поцелуй, как вдруг разглядел ее изысканную, гордую и властную красоту и сейчас же изменил тактику. Он взял в правую руку шляпу и, сделав шаг по направлению к Оле ньке, поклонился ей так низко, что согнулся почти вдвое, букли парика упали у него по обеим сторонам, шпага приняла горизонтальное положение, а он стоял, как нарочно проводя по земле шляпой и сметая пыль перьями с паркетного пола, в знак уважения к Оле ньке. Более изысканного поклона он не мог отдать и королеве французской. Панна Биллевич, которая знала об его приезде, тотчас догадалась, кто стоит перед ней, и, взявшись кончиками пальцев за платье, сделала ему глубокий реверанс.

Все изумились красоте и изысканности манер их обоих; они были редкостью в Кейданах, так как жена князя Януша, как валашка, больше любила восточную пышность, чем западный придворный этикет; а княжна была еще маленькой девочкой.

Вдруг Богуслав поднял голову, стряхнул букли парика на плечи и, шаркая ногами, быстро подошел к Оле ньке; бросив шляпу пажу, он подал ей руку.

— Глазам не верю! Должно быть, я во сне вижу то, что вижу, — сказал он, подводя ее к столу, — но скажи же мне, прелестная богиня, каким чудом ты спустилась с Олимпа в Кейданы?

— Хотя я простая шляхтянка, а не богиня, — ответила Оле нька, — я все же не такая простушка, чтобы слова вашего сиятельства принять за что-нибудь другое, как не за придворный комплимент.

— Никакой комплимент не скажет вам большего, чем ваше зеркало!

— Ну, если и не так много, то зато искренне, — ответила она, стягивая губы по тогдашней моде.

— Если бы в этой комнате было хоть одно зеркало, я бы тотчас подвел вас к нему... А пока посмотрите в мои глаза: не прочтете ли вы в них искреннего изумления.

Тут Богуслав откинул голову, и перед Оле нькой заблестели его большие, черные, как шелк, глаза — нежные, пронизывающие и жгучие.

Под этим огнем лицо девушки покрылось пурпурным румянцем, она опустила веки и отодвинулась немного, потому что почувствовала, что Богуслав слегка сжал ее

руку своей рукой.

Так они подошли к столу. Он сел рядом с нею, и видно было, что ее красота действительно произвела на него огромное впечатление. Он думал встретить шляхтянку прекрасную, как козочка, смеющуюся и крикливую, как сойка, красную, как маков цвет, а встретил гордую панну, в черных бровях которой было так много непоколебимой воли, в глазах столько ума, а во всем лице ясное детское спокойствие, фигура которой была так прелестна и гибка, что при любом королевском дворе эта панна могла бы стать предметом поклонения и воздыханий лучших кавалеров в стране.

Ее невыразимая красота вызывала изумление и страсть, но в ней в то же время было какое-то такое величие, которое обуздывало людей, так что Богуслав невольно подумал: «Я слишком рано сжал ее руку, с такой, как она, надо исподволь, а не сразу». Но тем не менее он решил завладеть ее сердцем и испытывал дикую радость при мысли, что придет минута, когда это свое девичье величие и несказанную красоту она отдаст в его распоряжение. Грозное лицо Кмицица стояло на пути этих мечтаний, но для смелого юноши это была только новая приманка. Под влиянием этих чувств он весь просиял, кровь заиграла в нем, как в восточном жеребце, все его чувства необычайно оживились, и светом горело все его лицо, а глаза сверкали, как алмазы. Разговор за столом стал общим, или, вернее, превратился в общий хор похвал и лести князю Богуславу; блестящий кавалер слушал его с улыбкой, но без слишком явно выраженного удовольствия, как нечто такое, к чему он давно привык. Сначала говорили об его военных подвигах и поединках. Имена побежденных им князей, маркизов, баронов сыпались одно за другим. Сам он порою небрежно добавлял какое-нибудь имя. Слушатели изумлялись, князь Януш с довольным лицом гладил свои длинные усы, наконец Гангоф сказал:

— Если бы звание мое и происхождение позволили мне стать на дороге вашего сиятельства, я бы этого не сделал, и странно мне, что находятся еще такие смельчаки!

— Что ты говоришь, пан Гангоф! — сказал князь. — Есть люди с железным лицом и глазами тигра, один их вид пугает, но Бог мне этого не дал... Моего лица не испугается даже панна!

— Ночная бабочка тоже не боится огня, — ответила кокетливо пани Корф, — пока в нем не сгорит...

Богуслав рассмеялся, а пани Корф продолжала с той же кокетливостью:

— Рыцарей больше интересуют ваши поединки, а мы, женщины, хотели бы услышать нечто о любовных приключениях вашего сиятельства, о которых даже сюда слухи доходят.

— Но неверные, сударыня, неверные... Все они выросли по дороге... Меня сватали, это правда... Ее величество королева французская была столь милостива...

— С принцессой де Роган, — прервал его Януш.

— Нет, с другой, с де ля Форс, — поправил его Богуслав, — но так как сердцу и сам король не может велеть любить, а в деньгах я, слава богу, не нуждаюсь, поэтому я не счел нужным искать счастья во Франции, и из этого ничего не вышло... Это были девицы знатного рода и необычайно красивые, но ведь у нас есть и красивее... И мне не нужно даже выходить из этой комнаты, чтобы таких найти.

И тут он остановился пристальным взглядом на Оле ньке. А она, сделав вид, что не расслышала его, заговорила о чем-то с мечником россиенским. Снова заговорила пани Корф:

— Красивых и здесь немало, но нет таких, которые могли бы сравняться с вашим сиятельством знатностью рода и богатством.

— Позвольте мне не согласиться с этим, — быстро ответил Богуслав, — так как, во-первых, я не думаю, чтобы польская шляхтянка была чем-нибудь хуже каких-то

Роган и де Форс, а во-вторых, Радзивиллам не новость жениться на шляхтянках, ибо история дает этому многочисленные примеры. Уверяю вас, сударыня, что та шляхтянка, которая станет женой Радзивилла, даже при французском дворе будет принята лучше тамошних принцесс.

— Обходительный кавалер!.. — шепнул Оле ньке мечник россиенский.

— Я всегда так думал, — продолжал Богуслав, — хотя мне не раз стыдно становится за польскую шляхту, когда я ее сравниваю с заграничной, ибо там никогда не случалось того, что случилось здесь: шляхта не только покинула своего государя, но даже готова покушаться на его жизнь. Французский шляхтич может сделать какую угодно подлость, но никогда не изменит своему государю.

Гости переглянулись и с удивлением смотрели на князя Богуслава. Князь Януш наморщил брови и насторожился, а Оле нька смотрела в лицо князя Богуслава с изумлением и благодарностью.

— Простите, ваше сиятельство, — сказал Богуслав, обращаясь к Янушу, который еще не успел прийти в себя, — я знаю, что вы не могли иначе поступить, так как вся Литва погибла бы, если бы вы последовали моему совету; но, уважая вас, как старшего, и любя вас, как брата, я никогда не перестану с вами спорить относительно Яна Казимира. Здесь только свои, и поэтому я могу говорить то, что думаю: это бесценный государь, добрый, милостивый, набожный и лично для меня вдвойне дорогой. Я первый из поляков провожал его, когда его выпустили из французской тюрьмы. Я тогда был почти ребенком, но все же никогда этого не забуду и теперь готов отдать последнюю каплю крови, чтобы защитить его хотя бы от тех, кто злоумышляет на его жизнь.

Янушу, хотя он и понял уже игру Богуслава, она показалась слишком смелой и слишком азартной по сравнению с ее пустой целью, и, не скрывая неудовольствия, он спросил:

— Ради бога! О каких замыслах против особы нашего бывшего короля вы говорите, ваше сиятельство? Кто же в них повинен? Неужели такое чудовище могло найтись среди польского народа? Этого еще не случилось в Речи Посполитой от самого сотворения мира.

Богуслав опустил голову.

— Не больше чем месяц тому назад, — ответил с грустью в голосе Богуслав, — ко мне, когда я ехал с Полесья в Пруссию, приехал один шляхтич знатного рода... Шляхтич этот, не зная, по-видимому, моих искренних чувств к нашему дорогому государю, думал, что я враг ему, как и другие. И вот за большую награду он обещал мне поехать в Силезию, схватить Яна Казимира и, живым или мертвым, отдать в руки шведов...

Все онемели от ужаса.

— И когда я с гневом и презрением отверг такое предложение, — закончил Богуслав, — этот страшный человек ответил мне: «Я поеду к Радзейовскому, он купит у меня короля на вес золота...»

— Я не друг бывшему королю, — сказал Януш, — но, если бы мне сделали такое предложение, я велел бы его без суда поставить под стеной и расстрелять.

— В первую минуту и я хотел так сделать, — ответил Богуслав, — но разговор происходил с глазу на глаз, и я боялся, как бы потом не стали кричать, что Радзивиллы самовластные тираны. Я напугал его тем, что и Радзейовский, и король шведский, и даже сам Хмельницкий повесят его за такое предложение; одним словом, я довел этого преступника до того, что он отказался от своего замысла.

— Этого мало! Его нельзя было отпускать живым, его надо было на кол посадить! — воскликнул Корф.

Богуслав вдруг обратился к Янушу:

— Я надеюсь, что кара его не минет, и первый стою за то, чтобы он не погиб

обыкновенной смертью. Вы, ваше сиятельство, одни можете его наказать, так как он ваш придворный и полковник ваших войск.

— Что ты говоришь? Мой придворный? Мой полковник? Кто же это? Кто?! Говорите, ваше сиятельство.

— Его зовут Кмициц! — ответил Богуслав.

— Кмициц?! — повторили все с ужасом.

— Это неправда!! — крикнула вдруг панна Биллевич, вставая с кресла, с горящими глазами и часто вздымающейся грудью.

Настало еще раз молчание. Одни не успели еще прийти в себя от страшной новости Богуслава, другие изумились дерзкому поступку панны, которая осмелилась упрекнуть молодого князя во лжи; мечник россиенский забормотал: «Оле нька! Оле нька!» — но Богуслав сделал грустное лицо и ответил без гнева:

— Если это ваш родственник или жених, ваць-панна, то я скорблю о том, что сказал вам эту новость, но вы должны выбросить его из своего сердца, ибо он вас недостоин...

Она продолжала стоять вся в огне страдания и ужаса; но понемногу лицо у нее остывало, стало холодным и бледным; она опять опустилась в кресло и сказала:

— Простите, ваше сиятельство! Я напрасно спорила... От этого человека всего можно ожидать...

— Да накажет меня Бог, если я чувствую к вам что-нибудь другое, кроме сострадания, — ласково ответил князь Богуслав.

— Это был жених этой панны, — сказал князь Януш, — я сам их сватал. Человек он был молодой, горячая голова, накуролесил немало... Я спасал его от закона, так как он был хороший солдат. Я знал, что это сорвиголова и что он таким и останется... Но чтобы шляхтич был способен на подобную подлость, этого я от него не ожидал...

— Это был дурной человек, я давно знал! — сказал Гангоф.

— И вы не предупредили меня! Почему? — тоном упрека спросил Януш Гангофа.

— Я боялся, что вы, ваше сиятельство, заподозрите меня в зависти, так как вы во всем предпочитали его мне!

— Даже страшно слушать, — сказал Корф.

— Мосци-панове, — воскликнул Богуслав, — оставим этот вопрос. Если вам тяжело это слушать, то каково панне Биллевич.

— Не обращайтесь на меня внимания, — сказала Оле нька, — теперь я все уже могу слушать.

Но ужин кончался, подали воду для мытья рук, потом Януш встал первый и подал руку пани Корф, а князь Богуслав — Оле ньке.

— Бог наказал уже изменника, — сказал он ей, — ибо кто потерял вас, тот потерял небо. Нет двух часов с тех пор, как я вас знаю, прелестная панна, и теперь я жажду видеть вас вечно, но не в скорби и слезах, а в радости и счастье!

— Благодарю вас, ваше сиятельство, — ответила Оле нька.

Когда дамы разошлись, мужчины вернулись еще к столу искать радости в вине, которое лилось рекой. Князь Богуслав пил больше всех, так как он был доволен собой. Князь Януш разговаривал с мечником россиенским.

— Я завтра уезжаю с войском на Полесье, — сказал он ему. — В Кейданы придет шведский гарнизон. Бог знает, когда я вернусь... Вам нельзя оставаться здесь с девушкой, ибо ей не пристало оставаться среди солдат. Оба вы поедете с князем Богуславом в Тауроги, где девушка может быть причислена к свите моей жены.

— Ваше сиятельство! — ответил мечник россиенский. — Бог дал нам собственный угол, зачем же нам ездить в чужие края? Очень милостиво с вашей стороны, что вы, ваше сиятельство, о нас помните, но... я не хочу злоупотреблять вашими милостями и предпочел бы остаться под собственной кровлей! Князь не мог

объяснить мечнику россиенскому всех действительных причин, которые заставляли его во что бы то ни стало не выпускать из рук Оле ньки, но часть этих причин он ему открыл со всей грубостью магната.

— Если вы считаете это милостью, оно и лучше... Но я должен сказать вам, что это осторожность. Вы будете у меня заложником; вы ответите мне за всех Биллевичей, которые, я это хорошо знаю, не принадлежат к числу моих друзей и готовы поднять мятеж на Жмуди, когда я уеду... Поэтому дайте вы им благой совет сидеть спокойно и не задирать со шведами, так как вы ответите за это и собственной головой, и головой девушки.

У мечника, очевидно, не хватило терпения, и он ответил быстро:

— Я бы тщетно стал упоминать о моих шляхетских правах. Сила на стороне вашего сиятельства, а мне все равно, где сидеть лишенным свободы; я даже предпочитаю здесь, чем там.

— Ну, довольно этого! — грозно сказал князь.

— Если довольно, так довольно! — ответил мечник. — Бог даст, кончатся насилия и воцарится опять закон. Короче говоря, ваше сиятельство, можете мне не грозить, потому что я не боюсь!

Богуслав, по-видимому, заметил молнии гнева в глазах Януша, потому что подошел быстро и спросил, остановившись между ними:

— В чем дело?

— Я сказал пану гетману, — ответил с раздражением мечник, — что предпочитаю тюрьму в Таурогах тюрьме в Кейданах.

— В Таурогах нет тюрьмы, там только дом мой, где вы, ваша милость, будете, как у себя. Я знаю, что гетман хочет видеть в вашей милости заложника, а я вижу только милого гостя.

— Благодарю вас, ваше сиятельство, — ответил мечник.

— Я должен вас благодарить. Давайте чокнемтесь и выпьем: говорят, что Дружбу надо полить, когда она еще в зародыше, иначе завянет.

Сказав это, князь Богуслав подвел мечника к столу, они стали чокаться и пить друг с другом чашу за чашей.

Час спустя мечник возвращался нетвердыми шагами в свою горницу, повторяя вполголоса:

— Обходительный кавалер! Настоящий пан! Честнее его днем с огнем не сыскать... Я за него готов кровь пролить!

Между тем братья остались наедине. Они должны были еще переговорить друг с другом, притом же пришли какие-то письма, за которыми к Гангофу был послан паж.

— Конечно, — сказал Януш, — в том, что ты говорил о Кмицице, нет ни слова правды?

— Конечно, — ты сам это прекрасно знаешь. — Ну что? Ведь ты согласишься, что Мазарини был прав? Одним ударом страшно отомстить врагу и сделать пролом в этой очаровательной крепости... Ну? Кто это сумеет сделать? Это называется интригой, достойной лучшего двора в мире. Ну и жемчужинка эта панна Биллевич! Как она прекрасна, как она величественна, точно принцесса! Я думал, что из кожи выскочу.

— Помни, что ты дал слово! Помни, что ты погубишь нас, если тот опубликует письма...

— Что за брови! Что за царственный взгляд, перед которым невольно преклоняешься. Откуда у простой девушки чуть не царственное величие? Однажды в Антверпене я видел Диану, очень искусно вышитую на гобелене, — в ту минуту, когда она спустила собак на любопытного Актеона... Точь-в-точь она!

— Смотри, как бы Кмициц не опубликовал писем, тогда собаки загрызут нас насмерть.

— Неправда! Я Кмицица превращу в Актеона и затравлю насмерть. Дважды я его разбил наголову, но мы еще с ним встретимся.

Дальнейший разговор прервало появление пажа с письмом.

Воевода виленский взял письмо в руки и перекрестил его. Он всегда делал так, чтобы оградить себя от дурных новостей; затем, вместо того чтобы распечатать его, он стал его внимательно разглядывать.

Вдруг он изменился в лице.

— Печать Сапеги! — вскрикнул он. — Это от воеводы витебского!

— Распечатай скорей, — сказал Богуслав.

Гетман распечатал и стал читать, то и дело выкрикивая вслух:

— Он идет на Полесье... спрашивает, нет ли у меня поручений в Тыкоцин... Издевается надо мной... даже хуже... Послушай, что он пишет:

«Ваше сиятельство захотели междоусобной войны, захотели еще один меч погрузить в лоно матери? Тогда приезжайте на Полесье, я жду вас и верю, что Господь накажет вашу гордость моими руками... Но если у вас есть жалость к отчизне, если хоть что-нибудь дрогнуло в вашей совести, если вы, ваше сиятельство, сожалеете о прежних поступках и хотите исправить их, тогда перед вами открытая дорога. Вместо того чтобы начинать междоусобную войну, созовите посполитое рушение, поднимите крестьян и ударьте на шведов, пока де ла Гарди, в безопасности себя мнящий, ничего не ожидает, никаких мер предосторожности не принимает. Со стороны Хованского вашему сиятельству препятствий не будет, ибо до меня дошли слухи из Москвы, что они там подумывают о походе в Инфляндию, хотя держат это в тайне. Наконец, если бы Хованский захотел что-нибудь предпринять, я его обуздаю, и если только буду иметь уверенность в вашей искренности, я изо всех сил буду помогать вашему сиятельству. Все это единственно от вашего сиятельства зависит, ибо еще время вернуться на истинный путь и искупить грехи. Тогда окажется, что вы, ваше сиятельство, не в личных видах, но для отвращения последней гибели Литвы приняли протекторат шведов. Пусть же Господь вдохновит вас сделать так, о чем я Его каждодневно молю, хотя вы, ваше сиятельство, изволите подозревать меня в зависти.

Р. S. Я слышал, что осада Несвижа снята и что князь Михал хочет соединиться с нами, лишь только исправит повреждения. Вот пример вашему сиятельству, как поступают честные люди в вашем роду, подумайте над этим примером и во всяком случае помните, какой у вас выбор!»

— Слышал? — сказал, окончив читать, князь Януш.

— Слышал... Ну и что? — ответил Богуслав, пристально глядя на брата.

— Нам бы пришлось от всего отказаться, все бросить, собственную работу разбить своими же руками...

— Объявить войну мощному Карлу-Густаву, а у изгнанного Казимира валяться в ногах и просить, чтобы он помиловал и снова принял на службу?.. А у пана Сапеги — заступничества?!

Лицо Януша налилось кровью.

— Ты заметил, как он мне пишет: «Исправьтесь, и я прощу вас», — как начальник к подчиненному.

— Он бы иначе писал, если бы у него на шее шесть тысяч сабель висело.

— А все же... — Князь Януш мрачно задумался.

— Что — все же?

— Поступить так, как советует Сапега, было бы спасением для отчизны.

— А для тебя? Для меня? Для Радзивиллов?

Януш ничего не ответил, опустил голову на сложенные на столе руки и думал.

— Пусть и так будет! — сказал он наконец. — Пусть свершится...

— Что ты решил?

— Завтра иду на Полесье, а через неделю нападу на Сапегу.

— И ты поступишь, как Радзивилл! — сказал Богуслав.

И они подали друг другу руки.

Через минуту Богуслав ушел спать. Януш остался один. Тяжелыми шагами он прошелся раз, другой по комнате, наконец захлопал в ладоши. В комнату вошел слуга.

— Пусть астролог придет ко мне через час с готовой фигурой, — сказал он.

Слуга вышел, а князь снова принялся ходить по комнате и читать молитвы. Потом он запел вполголоса псалом, часто прерывая пение, так как у него не хватало дыхания, и поглядывая временами в окно на сверкавшие в далеком небе звезды.

Огни в замке гасли один за другим, но кроме астролога и князя еще одно существо проводило бессонную ночь в своей комнате: Оле нька Биллевич.

Опустившись на колени перед своей кроватью, она обеими руками держалась за голову и шептала с закрытыми глазами:

— Боже, буди милостив к нам...

В первый раз, после того как Кмициц уехал, она не хотела, не могла молиться за него.

IX

У пана Кмицица действительно были грамоты Радзивилла ко всем шведским капитанам, комендантам и губернаторам, — с которыми он мог всюду ехать беспрепятственно; но он не решался пользоваться этими грамотами. Он полагал, что князь Богуслав сейчас же из Павлишек разослал во все стороны гонцов, чтобы предупредить шведов о том, что произошло, и с приказом поймать его. Поэтому-то пан Андрей переменил фамилию и даже переоделся. Миную Ломжу и Остроленку, куда, по его расчетам, раньше всего могли Дойти предостережения, он мчался со своими товарищами в сторону Прасныша, откуда он думал пробраться в Варшаву через Пултуск.

Но вместо того чтобы ехать прямо на Прасныш, он поехал окольным путем, вдоль прусской границы, через Вонсошу, Кольно и Мышинец, во-первых, потому, что Кемличи хорошо знали тамошние леса, все ходы и выходы, а кроме того, у них были «свои» среди местных жителей, у которых, в случае чего, они могли найти защиту.

Пограничные местности были по большей части уже заняты шведами, но шведы ограничивались только тем, что занимали наиболее значительные города и не решались заходить в дремучие, непроходимые леса, в которых жили вооруженные люди, промышлявшие охотой, никогда не выходившие из своих лесов и настолько еще дикие, что год тому назад королева Мария-Людвика велела построить в Мышинеце монастырь и посадила в нем иезуитов, которые должны были научать вере этих лесных людей и смягчать их нравы.

— Чем дольше мы не будем встречать шведов, — говорил старик Кемлич, — тем лучше для нас.

— В конце концов мы должны же их встретить, — отвечал пан Андрей.

— Когда встречаешь их у больших городов, они обижают бояться, в городах ведь всегда есть какие-нибудь власти, какой-нибудь старший начальник, которому можно жаловаться. Я уж об этом расспрашивал у людей и знаю, что есть приказы шведского короля, запрещающие грабежи и самовластие. Но мелкие отряды, вдали от начальнических глаз, не обращают никакого внимания на приказы и грабят мирных людей.

И они подвигались лесами, нигде не встречая шведов и ночуя в смолокурнях и лесных хуторах. Среди местных жителей, хотя никто почти из них не видал еще шведов, ходили всевозможные вести об их нашествии. Говорили, что пришли из-за

моря какие-то люди, не понимающие человеческого языка, не верящие ни в Иисуса Христа, ни в Пресвятую Деву, ни в святых, — странные и хищные люди. Иные говорили о необычайной жадности неприятеля к скоту, шкурам, орехам, меду и сушеным грибам и о том, что если им их не давали, то они поджигали леса. Некоторые говорили, что это не люди, а упыри, которые особенно любят человеческое мясо и питаются главным образом мясом девушек.

Под влиянием этих грозных вестей, которые залетели сюда, в самую глубь лесов, жители начали саукиваться и собираться кучками в лесах. Те, что выгоняли поташ и смолу, и те, что занимались собиранием хмеля, и дровосеки, и рыболовы, и охотники, и пчеловоды, и скорняки собирались теперь по большим хуторам, слушали рассказы, обменивались новостями и совещались о том, как прогнать неприятеля, если бы он показался в лесах.

Кмициц со своим отрядом не раз встречал большие и маленькие кучки этих людей, одетых в льняные рубашки и в волчьи, лисьи или медвежьи шкуры. Не раз его останавливали и спрашивали:

— Кто ты? Не швед ли?

— Нет! — отвечал пан Андрей.

— Да хранит тебя Бог!

Пан Андрей с любопытством присматривался к этим людям, жившим в вечном сумраке лесов, лица которых никогда не обжигало открытое солнце; он удивлялся их росту, смелости взгляда, искренности речи и совсем не мужицкой предприимчивости.

Кемличи, которые их знали, уверяли пана Андрея, что лучших стрелков нет во всей Речи Посполитой. Он сам заметил, что у всех у них были прекрасные немецкие ружья, которые они получали из Пруссии в обмен на меха. Он не раз видел, как искусно они стреляли, изумлялся и думал про себя: «Когда мне придется набирать партию, я приду сюда».

В самом Мышинце он нашел большое сборище. Больше ста стрелков стояло на страже в монастыре, так как опасались, что шведы прежде всего покажутся здесь, тем более что староста остроленский велел прорубить в лесу дорогу, чтобы монахи имели «доступ в мир».

Сборщики хмеля, которые доставляли свой товар в Прасныш, тамошним славным пивоварам, и поэтому считались людьми бывалыми, говорили, что Ломжа, Остроленка и Прасныш кишмя кишат шведами и что шведы хозяйничают там, как у себя дома, и собирают подати.

Кмициц стал подговаривать весь этот лесной люд, чтобы он не дожидался шведов, нагрянул на Остроленку и начал войну. Он сам предлагал их вести. Нашлось много охотников, но два ксендза отговорили их от этого безумного предприятия и убеждали подождать, пока не поднимется вся страна; преждевременным выступлением они только навлекут на свои головы страшную месть неприятеля.

Пан Андрей уехал и все же жалел, что упустил такой случай. У него осталось только то утешение, что в случае, если где-нибудь поднимется народ, то у Речи Посполитой и короля здесь недостатка в защитниках не будет.

«Если так и в других местах, тогда можно начинать», — подумал он.

И его горячая натура рвалась к тому, чтобы начать сейчас же, но рассудок говорил: «С этими людьми тебе шведов не разбить... Ты пройдешь огромное пространство страны, увидишь все, присмотришься и будешь слушаться королевских приказов».

И он ехал дальше. Выехав из лесных трущоб в места более населенные, он во всех деревнях заметил необычайное движение. Дороги были полны шляхты, которая ехала в бричках, колясках или верхом. Все спешили в ближайшие города и городки, чтобы принять присягу перед шведскими комендантами на верность новому государю. Им за это выдавали свидетельства, которые должны были доставлять им

личную и имущественную безопасность. В главных городах староств и поветов провозгласили «капитуляцию», охранявшую свободу религии и привилегии шляхетского сословия.

Эта торопливость с присягой объяснялась не столько добровольным желанием, сколько страхом, так как послушникам грозили всевозможными наказаниями, а главное — конфискацией имений и грабежами. Говорили, что шведы уже в некоторых местах стали приводить в исполнение свои угрозы. Повторяли со страхом, что наиболее богатую шляхту умышленно оставляли в подозрении, чтобы иметь возможность ее грабить.

В силу всех этих обстоятельств оставаться в деревнях было опасно; более зажиточная шляхта спешила в города, чтобы, сидя под непосредственным наблюдением шведских комендантов, избежать подозрений в кознях против шведского короля.

Пан Андрей внимательно прислушивался ко всему, что говорила шляхта, и хотя с ним не очень хотели разговаривать, как с птицей невысокого полета, но все же он понял, что даже близкие соседи, знакомые, даже друзья не говорили друг с другом искренне о шведах и их новом владычестве. Все вслух роптали на военные поборы, и действительно было на что роптать, так как в каждую деревню, в каждый город приходили письма комендантов с приказами доставить большое количество зерна, хлеба, соли, скота, денег, и часто это количество превосходило всякую возможность особенно потому, что, когда у шведов истощались одни запасы, они требовали других; к тем, кто не хотел платить, присылали карательные отряды, и они забирали втрое больше.

Но прежние времена уже миновали. Каждый тянулся как мог, отдавал все, что было возможно, платил с жалобами и стонами, а все же думал в душе, что раньше было иначе. Пока все утешались тем, что, когда война кончится, окончатся и эти поборы. Это обещали и сами шведы, говоря, что, как только король завладеет всей страной, он тотчас начнет править как добрый отец.

Шляхте, которая покинула прежнего монарха и отчизну на произвол судьбы, которая еще недавно называла тираном доброго Яна Казимира, подозревая, что он стремится к абсолютной монархии, — которая сопротивлялась ему во всем, протестуя на сеймиках и сеймах, и в жажде новизны и перемены дошла до того, что почти без сопротивления признала своим государем Карла, лишь бы добиться какой-нибудь перемены, — этой шляхте теперь стыдно было даже жаловаться. Ведь Карл-Густав освободил их от тирана, ведь они добровольно покинули своего законного монарха, ведь теперь и произошла та перемена, которой они так страстно желали...

Вот почему даже наиболее близкие люди не говорили друг с другом откровенно о том, что они думают насчет этой перемены, охотно прислушиваясь к тем, кто утверждал, что наезды, поборы, грабежи и конфискации — только временное и необходимое бремя, которое спадет с плеч, лишь только Карл-Густав утвердится на польском троне.

— Тяжко, пане-брате, тяжело, — говорил порою шляхтич шляхтичу, — но мы и так должны быть рады новому государю. Он государь могучий и воин великий; он усмирит казаков, удержит турок в их границах, и мы зацветем в союзе со шведами...

— Если бы мы теперь и не рады были, — отвечал другой, — то что же поделаешь с такой мощью? Плетью обуха не перешибешь.

Часто ссылались и на недавно принятую присягу. Кмициц негодовал, слушая подобные разговоры, и однажды, когда какой-то шляхтич говорил в его присутствии о том, что надо оставаться верным тому, кому дана присяга, пан Андрей не удержался и крикнул:

— У вас, ваць-пане, должно быть, два языка: один для истинных, а другой для

ложных присяг, ибо вы и Яну Казимиру присягали.

Тут было много разной шляхты, так как это происходило в корчме недалеко от Прасныша. Услыхав слова Кмицица, все заволновались; на лице одних было изумление перед смелостью пана Андрея, другие покраснели; наконец какой то почтенный шляхтич ответил:

— Никто не нарушал присяги прежнему королю. Он сам освободил нас от нее, бежав из страны и не желая ее защищать.

— Чтоб вас громом разразило! — крикнул Кмициц. — А король Локетек сколько раз должен был из страны уходить, а ведь возвращался, ибо народ не покидал его, — тогда еще люди Бога боялись. Не Ян Казимир бежал, а бежали от него предатели и теперь его же поносят, чтобы собственную вину от Бога и людей скрыть!

— Что-то ты больно смело говоришь, молодчик! Откуда ты, который хочешь нас учить, как нужно Бога бояться? Смотри, как бы тебя шведы не услышали...

— Коли вам любопытно, так я вам скажу, что я из королевской Пруссии и подданный курфюрста... Но в жилах моих сарматская кровь, сердце велит мне служить отчизне, и стыдно мне видеть, как зачерствело сердце у народа.

Тут шляхта, забывая свой гнев, окружила его и стала жадно расспрашивать:

— Так вы, пане, из королевской Пруссии? Говорите скорее, что знаете? Как же курфюрст? Не думает ли он защитить нас от притеснений?

— От каких притеснений? Ведь вы довольны новым государем, так нечего о притеснениях и говорить! Как постелешь, так и поспишь.

— Довольны, потому что нельзя иначе. Они у нас за спиной с мечами стоят. А вы говорите так, как будто бы мы недовольны!

— Дайте ему чего-нибудь выпить, пусть у него язык развяжется. Говорите смело, изменников среди нас нет!

— Все вы изменники, — крикнул пан Андрей, — и я не хочу с вами говорить! Шведские прислужники!

Сказав это, он вышел из горницы, хлопнул дверью, а они остались пристыженные и изумленные; никто не схватился за саблю, никто не бросился за Кмицицем, чтобы отомстить за оскорбление.

А он направился прямо к Праснышу. В нескольких верстах от города его захватил шведский патруль и повел к коменданту. Патруль этот состоял из шести рейтар и одного офицера, Сорока и три Кемлича стали поглядывать на них жадными глазами, как волки на овец, а потом глазами спросили Кмицица, не прикажет ли он немножко позабавиться с ними. Пан Андрей также испытывал немалое искушение, особенно потому, что поблизости была река с берегами, поросшими камышом; но он поборол себя и позволил отвести себя к коменданту.

Коменданту он назвал себя, сказал, что родом он из Пруссии и каждый год ездит в Субботу на конскую ярмарку. У Кемличей также были свидетельства, которыми они запаслись в Луге, городе хорошо им знакомом; комендант, бывший сам прусским немцем, во всем им поверил и только подробно расспрашивал, каких лошадей они ведут, и захотел их видеть.

Когда челядь Кмицица, по его приказу, привела лошадей, он внимательно их осмотрел и сказал:

— Я их куплю! У другого я бы их так взял, но так как ты из Пруссии, то я тебя обижать не хочу.

Кмициц немного смутился; если бы пришлось продать лошадей, то это лишило бы его возможности иметь наглядное доказательство, зачем он едет, и пришлось бы возвращаться в Пруссию. Он назначил такую высокую цену, что она вдвое превышала действительную стоимость лошадей. Но сверх ожидания офицер не только не возмущился, но даже не стал торговаться.

— Хорошо! — сказал он. — Ведите лошадей на конюшню, а я с вами сейчас

расплачусь.

Кемличи обрадовались в душе, но пан Андрей разозлился и стал ругаться. Но все же ничего не оставалось делать, как отдать лошадей. Иначе он мог вызвать подозрение, что торгует лошадьми только для виду.

Между тем офицер вернулся и подал Кмицицу кусочек исписанной бумаги.

— Что это? — спросил пан Андрей.

— Деньги, или то же самое, что деньги, — расписка.

— А где мне по ней заплатят?

— В главной квартире.

— А где главная квартира?

— В Варшаве, — ответил офицер, насмешливо улыбаясь.

— Мы только за наличные деньги продаем... Как же это? Как так? — застонал старик Кемлич. — Царица Небесная!

Но Кмициц повернулся к нему и, грозно глядя ему в глаза, сказал:

— Для меня слово пана коменданта то же самое, что деньги, а в Варшаву я охотно поеду: там у армян можно разного товару достать, за который в Пруссии хорошо заплатят.

Затем, когда офицер ушел, пан Андрей сказал, чтобы утешить Кемлича:

— Тише ты, шельма! Эта расписка лучше всяких грамот, мы с ней и в Краков можем идти, жалуясь, что нам не хотят платить. Легче из камня сыр выжать, чем деньги из шведов... Но это мне как раз на руку! Этот нехристь думает, что провел нас, а между тем не знает, какую услугу нам оказал... Тебе я из собственных денег за лошадей заплачу, чтобы тебе убытку не было!

Старик вздохнул и уже только по старой привычке продолжал жаловаться:

— Обокрали! Ограбили! Вконец разорили!

Но пан Андрей был в душе доволен, что перед ним открытая дорога: он заранее предвидел, что ни в Варшаве, ни в другом месте ему ничего не заплатят, — и у него будет возможность ехать все дальше, якобы с жалобой на причиненную ему обиду, ехать хотя бы к самому шведскому королю, который стоял под Краковом, занятый осадой древней столицы.

Между тем пан Андрей решил ночевать в Прасныше, дать отдохнуть лошадям и, не меняя своего вымышленного имени, переменить свою одежду мелкого шляхтича. Он заметил, что к бедному торговцу лошадьми все относятся пренебрежительно и, скорее всего, могут напасть, не опасаясь ответственности за обиду, причиненную какому-то незначительному человеку. Кроме того, ему трудно было в этой одежде проникнуть в среду более зажиточной шляхты и таким способом узнать образ ее мыслей.

Поэтому пан Андрей оделся так, как одевались люди из знатного рода, и стал прислушиваться в корчмах к тому, что говорила шляхта. Но то, что он слышал, его не радовало. В корчмах и шинках шляхта пила здоровье шведского короля и чокалась со шведскими старшинами, смеялась над теми остротами и насмешками, которые позволяли себе офицеры по адресу короля Яна Казимира и Чарнецкого.

Страх за собственную кожу и имущество так оподлил людей, что они подлаживались к врагам, стараясь поддержать в них хорошее настроение. Но и эта подлость имела свои границы. Шляхта позволяла смеяться над собою, над королем, над гетманом, над паном Чарнецким, но только не над религией. И когда какой-то шведский капитан заявил, что лютеранская вера ничуть не хуже католической, то сидевший рядом с ним молодой пан Грабковский не мог вынести этого кощунства, ударил капитана рукояткой сабли в висок, а сам, воспользовавшись поднявшейся суматохой, выбежал из корчмы и исчез в толпе.

За ним бросились в погоню, но пришли известия, которые направили внимание всех в другую сторону. Примчались курьеры с донесениями, что Краков сдался, что

пан Чарнецкий в плену и последнее сопротивление шведскому владычеству сломлено.

Шляхта в первую минуту онемела, но шведы начали веселиться и кричать: «Виват!» В костеле Св. Духа, в костеле бернардинцев и в костеле бернардинок, недавно отстроенном, велели ударить в колокола. Пехота и кавалерия в боевом порядке вышли на рынок и дали несколько залпов из пушек и мушкетов. Затем выкатили бочки с медом, водкой и пивом для войска и мещан, зажгли бочки со смолой и пировали до поздней ночи. Шведы вытащили из домов мещанок, заставляя их плясать с собой и веселиться. Среди толпы пировавшего войска бродили кучки шляхты, которая пила с солдатами и должна была притворяться обрадованной падением Кракова и поражением пана Чарнецкого.

Кмицица охватило негодование, и он рано ушел к себе на квартиру в предместье, но спать не мог: его мучила лихорадка, в душе зародилось сомнение, не поздно ли он стал на честный путь, раз вся страна была уже в руках шведов. Ему пришло в голову, что все уже потеряно, что Речь Посполитая никогда не сможет подняться и стать на ноги.

«Это уже не несчастная война, — думал он, — которая может кончиться потерей какой-нибудь провинции, это совершенная гибель. Вся Речь Посполитая становится шведской провинцией... Мы сами этому виной, и я больше всех».

Эта мысль жгла его, упреки совести не давали ему покоя. Сон от него бежал... Сам он не знал, что ему делать: ехать ли дальше, оставаться ли на месте или возвращаться? Если бы он даже собрал партию и начал нападать на шведов, то его стали бы преследовать как разбойника, а не как солдата. Впрочем, он уже в чужой стороне, где его никто не знает. Кто примкнет к нему? На Литве вокруг него собирались бесстрашные люди, так как их звал к себе славный Кмициц, но здесь если кто-нибудь и слышал о Кмицице, то считал его изменником и другом шведов, а уж о Бабинице, конечно, никто не слыхал.

Не зачем ехать и к королю, так как уже поздно! Незачем ехать и на Полесье, так как конфедераты считают его изменником! Незачем возвращаться на Литву, так как там властвует Радзивилл! Незачем оставаться и здесь, так как тут нечего делать! Уж лучше умереть, чтобы не глядеть на этот мир и бежать от упреков совести... Но разве на том свете будет лучше тому, кто, согрешив, ничем не искупил своих грехов и станет на Страшном суде с его страшным бременем?

Кмициц метался на своей постели, точно он лежал на одре пыток. Таких ужасных мучений он не испытывал даже тогда, когда сидел в избе Кемличей.

Он чувствовал себя сильным, здоровым, предприимчивым, душа его рвалась к делу, к подвигам, а тут все пути были отрезаны, хоть головой о стену бейся, нет выхода, нет спасения, нет надежды! Промучившись всю ночь, он вскочил еще на рассвете, разбудил людей и поехал куда глаза глядят. Он ехал по направлению к Варшаве, но сам не знал, зачем и для чего? Он готов был в Сечь бежать от отчаяния, если бы не то, что времена переменялись, и что Хмельницкий вместе с Бутурлиным как раз в это время прижал великого гетмана коронного под Гродной, истребляя огнем и мечом весь юго-восток Речи Посполитой и забредая со своими хищными полками под самый Люблин.

По дороге в Пултуск пан Андрей всюду встречал шведские отряды, которые конвоировали возы со съестными припасами, зерном, хлебом, пивом и стада всевозможного скота. За стадами и возами толпами шли мужики или мелкая шляхта, с плачем и стонами, так как их заставляли идти за подводами по несколько десятков верст. Счастье еще, если им позволяли вернуться домой, так как это случалось не всегда: после доставки провианта шведы гнали мужиков и шляхту на работу — исправлять замки, строить конюшни и провиантские склады.

Пан Кмициц видел также, что вблизи Пултуска шведы хуже обращались с

людьми, чем в Прасныше, и не мог понять почему. Он расспрашивал об этом шляхту, которую встречал по дороге.

— Чем дальше вы будете подвигаться к Варшаве, тем больший гнет шведов вы там увидите. В тех местах, куда они зашли недавно и где они еще не обосновались, там они с людьми обращаются хорошо, исполняют королевские приказы, изданные против угнетателей, и сами их распространяют. Но где они чувствуют себя твердо и уверенно, где у них поблизости есть какие-нибудь крепости, там они тотчас нарушают все обещания, забывают всякую жалость, обижают, обдирают, грабят, поднимают руки на церкви, на духовных лиц и даже на монашенок. Тут еще ничего, но что делается в Великопольше, этого и словами не перескажешь!

И шляхтич стал ему рассказывать, что происходило в Великопольше, как грабил там, насиловал и убивал жестокий неприятель, как он мучил там и пытал людей, чтобы выведать, где деньги... Рассказал, что в самой Познани Шведы убили ксендза Бронецкого, а над простым народом издевались так, что волосы на голове становились дыбом.

— Так везде будет, — говорил шляхтич, — кара Божья... Близок Страшный суд... Все идет хуже и хуже, а помощи нет ниоткуда...

— Странно мне, — сказал Кмициц, — я не здешний и нравов здешних не знаю, но как же вы можете переносить этот гнет, будучи шляхтичами и рыцарями?

— С чем же нам воевать? — ответил шляхтич. — С чем? В их руках замки, крепости, пушки, порох, мушкеты, а у нас даже детские ружья отобрали. Была еще надежда на пана Чарнецкого, но теперь, когда он в плену, а его величество король в Силезии, кто же может думать о сопротивлении?.. Руки есть, да только ничего в руках нет...

— И надежды нет!

Тут они прервали разговор, так как наткнулись на шведский отряд, который вел возы с провиантом и мелкую шляхту.

Это было странное зрелище. Усатые и бородатые рейтары сидели на огромных, жирных, как быки, лошадях; все они ехали, подбоченившись, в шляпах набекрень, с десятками гусей и кур, привязанных к седлам, а над ними клубился туман перьев и пуха. Глядя на их воинственные и гордые лица, легко было понять, как весело, как уверенно, как по-барски они себя чувствовали. А братья шляхта шла пешком за возами, многие босиком, с поникшими на грудь головами, забитые, запуганные... Шведы погоняли их бичами.

У Кмицица, когда он это увидел, губы задрожали, как в лихорадке, и он стал повторять шляхтичу, с которым ехал:

— Ох, руки чешутся! Руки чешутся, руки чешутся!

— Тише, пане, ради бога! — ответил шляхтич. — Вы погубите себя, меня и моих детей.

Но иногда пан Андрей встречал еще более странные зрелища. Порою вместе с отрядами рейтар он встречал большие или маленькие кучки польской шляхты; она ехала весело, с песнями, пьяная и браталась со шведами и немцами.

— Как же так, — спросил Кмициц, — иных шляхтичей они преследуют и угнетают, а с иными дружат? Должно быть, те шляхтичи, которых я вижу среди шведских солдат, — последние предатели?

— Не только последние предатели, но даже хуже: еретики, — ответил шляхтич. — Для нас, католиков, они хуже шведов; они-то больше всего и грабят, сжигают усадьбы, похищают женщин. Весь край их боится, так как все им сходит с рук, и у шведских начальников легче добиться суда-расправы над шведом, чем над нашим еретиком. Каждый комендант точно по писаному тебе ответит: «У меня нет права его преследовать, он не мой человек, идите в ваши трибуналы». А какие же теперь трибуналы и какое правосудие, раз все в шведских руках? Куда швед сам не

попадет, его еретики приведут, особенно они зуб имеют на костелы и духовенство. Они мстят матери-отчизне за то, что, когда в других христианских странах их справедливо преследуют за их злую ересь, она приютила их и дала им свободу исповедовать их кощунственную веру...

Тут шляхтич замолчал и тревожно взглянул на Кмицица.

— Но ведь вы, говорили, из Пруссии, ваша милость, — может, вы сами тоже лютеранин!

— Да сохранит меня от этого Господь! — ответил пан Андрей. — Я из Пруссии, но род наш искони католический, мы пришли в Пруссию с Литвы.

— Ну слава богу, а то я испугался... Что же Литвы касается, пане, то и там диссидентов немало, а во главе их могучий Радзивилл, который проявил себя таким страшным изменником, что с ним один только Радзейовский равняться может.

— Чтоб у него черти душу из горла вырвали, когда новый год настанет! — яростно крикнул Кмициц.

— Аминь! — ответил шляхтич. — Того же я желаю и его слугам, его помощникам, его палачам, о которых даже сюда слухи дошли и без которых он не рискнул бы губить отчизну!

Кмициц побледнел, но не ответил ни слова. Он не спрашивал и не смел расспрашивать, о каких помощниках, слугах и палачах говорит шляхтич.

Медленно подвигаясь, доехали они вечером до Пултуска; там Кмицица вызвали в епископский дворец представиться коменданту.

— Я доставляю лошадей войскам его шведского величества, — сказал пан Андрей, — у меня расписки, с которыми я еду в Варшаву за деньгами.

Полковник Израэль (так звали коменданта) улыбнулся в ус и сказал:

— О, спешите, спешите! Да захватите с собой воз, чтобы было на чем деньги везти.

— Спасибо за совет! — ответил пан Андрей. — Я так понимаю, что вы, ваша милость, шутите надо мной, но ведь я не за чужим, а за своим добром еду, и хоть к самому королю поеду.

— Поезжайте, не давайте себя в обиду, — сказал швед, — вам денег немало получать надо!

— Придет время, вы мне заплатите! — сказал, выходя, Кмициц.

В самом городе он опять наткнулся на пир, так как торжество по поводу взятия Кракова должно было продолжаться три дня. Но он здесь узнал, что в Прасныше умышленно преувеличивают известие о шведском триумфе: пан каштелян киевский²⁸ вовсе не был в плену, а получил право уйти с войском. Говорили, что он отправился в Силезию. Это было не большое утешение, но все же утешение.

В Пултуске стояли большие силы, которые под командой Израэля должны были отправиться к прусской границе, чтобы напугать курфюрста. Поэтому ни город, ни замок, хотя он был очень велик, не могли вместить солдат. Тут Кмициц впервые увидел войско, стоящее постоем в костеле. В великолепном готическом соборе, построенном двести лет тому назад епископом Гижицким, стояла наемная немецкая пехота. Внутренность храма вся была освещена, так как на каменном полу горели костры. Над кострами дымились котлы. Вокруг бочек с пивом толпились шведские солдаты, состоявшие главным образом из старых грабителей, которые опустошили всю католическую Пруссию и которым наверное уже не раз случалось ночевать в костелах. Изнутри доносился гул разговоров и крики. Хриплые голоса пели военные песни; слышался визг и смех женщин, которые в это время обычно сопровождали войска.

²⁸ Каштелян киевский — Стефан Чарнецкий.

Кмициц остановился в дверях; сквозь дым, в красном свете огня он увидел красные, разгоряченные вином, усатые лица солдат, сидевших на бочках и пивших пиво; иные из них играли в кости или в карты, иные продавали Церковную утварь, иные обнимали женщин, одетых в яркие платья. Шум, смех, звон чарок и лязг мушкетов отдавались под сводами и оглушили его. В голове у него закружилось, глаза не хотели верить тому, что видели, дыхание остановилось в груди; вид ада ужаснул бы его менее.

Наконец он схватился за голову и убежал, повторяя как безумный:

— Боже, заступись! Боже, покарай! Боже, спаси!!

Стефан Чарнецкий, оборонявший в это время Краков от шведов.

Х

В Варшаве уже давно хозяйничали шведы. Так как Виттенберг, начальник гарнизона, в ведении которого находился город, был в это время в Кракове, то его обязанности исполнял Радзейовский. В самом городе, окруженном валами, в местностях, прилегающих к валам и застроенных великолепными церковными и светскими зданиями, стояло не менее двух тысяч солдат. Ни замок, ни город разрушены не были, так как пан Вессель, староста маковский, сдал их без боя, а сам вместе с гарнизоном поспешно удалился, боясь мести своего личного недруга — Радзейовского.

Но когда пан Кмициц стал присматриваться ближе, он во многих домах заметил следы хищных рук. Это были дома тех жителей, которые бежали из города, не найдя в себе сил переносить владычества неприятеля, или которые оказали сопротивление в ту минуту, когда шведы взбирались на валы.

Из магнатских дворцов прежнее великолепие сохранили только те, владельцы которых душой и телом были на стороне шведов. Во всем великолепии стоял дворец Казановских, так как его охранял Радзейовский; стоял его собственный дворец, дворец пана хорунжего Конецпольского и тот, который построил Владислав IV и который звали дворцом Казимира; но дворцы духовных лиц были значительно повреждены; дом Денгофа был наполовину разрушен, дворец канцлера, или так называемый «Оссолинский», на Реформатской улице, был разграблен совершенно. В окна выглядывали немецкие наемные солдаты, а та драгоценная мебель, которую покойный канцлер за безумные деньги выписывал из Италии, — флорентийские кожи, голландские гобелены, столики с перламутровой инкрустацией, картины, бронзовые и мраморные статуи, венецианские и данцигские часы, великолепные зеркала, — либо лежали в беспорядочных кучах на дворе, либо, запакованные в ящики, ждали того времени, когда их можно будет переправить по Висле в Швецию. Эти драгоценности охраняла стража, но все же они портились на ветру и на дожде.

Во многих других местах можно было видеть то же самое, хотя столица сдалась без боя. На Висле стояло уже более тридцати шун, которые должны были увезти добычу.

Варшава походила на какой-то иностранный город. На улицах иноземная речь слышалась чаще польской; всюду можно было встретить шведских и немецких солдат, французских, английских и шотландских наемников, в самой разнообразной одежде, в шляпах, в шлемах с перьями, в кафтанах, в панцирях, в чулках или шведских сапогах с голенищами, как ведра. Всюду непривычная глазу пестрота — чужие одежды, чужие лица, чужие песни. Даже лошади были каких-то непривычных пород.

Съехалось сюда и множество армян, с темными лицами и черными волосами, покрытыми пестрыми ермолками; они съехались сюда скупать добычу.

Но особенно удивляло неимоверное количество цыган, которые неизвестно

зачем прибыли в столицу вместе со шведами. Шатры их были разбиты около Уяздовского дворца, и табор их был чем-то вроде холщового города среди каменных зданий столицы.

В этой разноязычной толпе местных жителей почти не было заметно: ради безопасности они предпочитали сидеть по домам взаперти, редко показываясь на улицах. Порою только какая-нибудь панская карета, спешившая по Краковскому предместью к замку, окруженная гайдуками, пажами или солдатами, напоминала еще, что это польский город.

Только по воскресеньям и по праздникам, когда колокольный звон сзывал людей в костелы, жители толпами выходили из своих домов, и столица принимала прежний вид, хотя и тогда перед костелами стеной стояли ряды иноземных солдат, которые присматривались к женщинам, трогали их за платье, когда они проходили с опущенными глазами, — смеялись, а иногда пели непристойные песни перед костелами, особенно в те минуты, когда там шла обедня.

Все это, как сон, промелькнуло перед изумленными глазами пана Андрея; он в Варшаве засиживаться не стал, так как не знал там никого, и ему не с кем было даже поговорить. Даже с той польской шляхтой, которая временно жила в городе и занимала общественные гостиницы, построенные еще во времена короля Зигмунта III на Долгой улице, пан Кмициц сблизиться не мог; он, правда, заговаривал то с тем, то с другим, чтобы узнать что-нибудь новенькое, но все это были ярые сторонники шведов, которые, ожидая возвращения Карла-Густава, чуть не в ногах валялись у Радзейовского и шведских офицеров в надежде получить староства и имения, конфискованные у частных лиц. Каждый из них стоил того, чтобы плюнуть ему в глаза, и пан Андрей даже не очень себя от этого удерживал.

Пан Кмициц слышал, что одни лишь мещане сожалеют о прежних временах, о гибели отчизны и о прежнем короле. Шведы их жестоко преследовали, отнимали дома и выжимали всяческие поборы.

Говорили также, что у цехов было припрятано оружие, особенно у скорняков, мясников и у мощного цеха сапожников; говорили, что они все ждут возвращения Яна Казимира, не теряя надежды, и, лишь только придет какая-нибудь помощь извне, готовы сейчас же ударить на шведов.

Кмициц, слыша это, ушам своим не верил, и в голове у него никак не могло поместиться то, что люди низкого происхождения проявляли большую любовь к отчизне и большую верность законному государю, чем шляхта, которая с этими чувствами должна рождаться на свет.

Но именно шляхта и магнаты были на стороне шведов, а жажда сопротивления была только у простого народа. Не раз случалось, что, когда шведы, с целью укрепить Варшаву, сгоняли простой народ на работу, этот простой народ предпочитал побои и тюрьму, даже смерть — позорной необходимости приложить свои руки к утверждению шведского могущества.

За Варшавой во всех местах кипело как в котле. Все дороги, города и городки были заняты солдатами, панской и шляхетской челядью и шляхтой, перешедшей на сторону шведов. Все уже было во власти шведов и имело такой вид, точно всегда было в шведских руках.

Пан Андрей не встречал здесь других людей, кроме шведов, шведских сторонников или людей, впавших в полное отчаяние и равнодушие и убежденных в душе, что все уже пропало. Никто и не думал о сопротивлении, все быстро и безмолвно исполняли такие приказания, которые в прежние времена наверно вызвали бы оппозицию и протест. Страх перед шведами дошел до того, что даже те, кого обижали шведы, громко славили имя нового государя Речи Посполитой.

Раньше нередко бывало, что шляхтич с ружьем в руке встречал депутатов от войска или гражданских властей, когда они приходили за незаконными поборами, —

теперь же шведы назначали такие налоги, какие им только вздумалось, и шляхта платила их с той же покорностью, с какой овцы дают стричь свою шерсть. Случалось не раз, что один и тот же налог приходилось платить дважды. Тшетно было ссылаться на расписки. Бывало и так, что офицер мочил расписку в вине и приказывал ее съесть тому, кто ее предъявлял. И ничего! Шляхтич кричал: «Да здравствует король!» — а когда офицер уезжал, он велел слугам лезть на крышу и смотреть, не подъезжает ли другой. И если бы все кончалось шведскими контрибуциями! Нет, хуже шведов были те, кто им продался. Они вспоминали прежние споры, прежние оскорбления, захватывали луга и леса, и этим друзьям шведов все сходило с рук. Еще хуже были диссиденты, хотя и ими дело не ограничивалось. Несчастные, обиженные, отчаявшиеся, люди без Бога в душе, игроки, которым нечего было терять, собирались в вооруженные шайки. Шайки эти нападали на мужиков и шляхту. Им помогали шведские мародеры и всякого рода сброд. Вся страна стояла в огне пожарищ; над городами тяготели мечи солдат, а в лесах нападали разбойники. О возрождении Речи Посполитой, о спасении, о свержении иноземного ига никто не думал... Никто не надеялся... Случилось, что под Сохачевом шведский и немецкий сброд напал на пана Лушевского, старосту сохачевского, и окружил его в его имении Стругах. Он, будучи человеком воинственным, хотя и старым, оказал сильное сопротивление. Как раз в это время туда приехал пан Кмициц, и так как терпение его, подобно созревшему нарыву, готово было лопнуть с минуты на минуту, то оно лопнуло именно под Стругами. И вот он позволил Кемличам «лупить» и сам набросился на осаждавших с таким бешенством, что разбил их наголову, перерубил, никого не оставляя в живых, а пленных велел перетопить. Пан староста, для которого помощь как с неба свалилась, принял своего спасителя с распростертыми объятиями и стал угощать. Пан Андрей, видя перед собой сановника и человека большого государственного ума, принадлежавшего к прежнему поколению, признался ему в своей ненависти к шведам и стал расспрашивать, что он думал о грядущих судьбах Речи Посполитой, в надежде, что пан староста вольет ему в душу целительный бальзам.

Но пан староста очень невесело смотрел на все, что произошло, и сказал:

— Мосци-пане! Я не знаю, что бы я сказал вам тогда, когда у меня были еще рыжие усы и когда ум мой был затемнен телесными страстями; но теперь у меня седые усы и семидесятилетний опыт; я вижу грядущее, ибо одной ногой стою в могиле, и скажу вам, что шведского могущества не сломим не только мы, если даже исправим наши ошибки, но не сломит и вся Европа...

— Да разве это возможно? Откуда все это? — крикнул Кмициц. — Когда же Швеция была такой могущественной? Разве польского народа не больше на свете, разве у нас не может быть больше войска, чем у них? Разве наше войско уступало когда-нибудь шведам в мужестве?

— Нас в десять раз больше; Господь дал нам такой достаток, что в одном моем Сохачевском старостве пшеницы родится больше, чем во всей Швеции, а что касается мужества, то ведь я был под Кирхгольмом, где три тысячи наших гусар разбили наголову восемнадцать тысяч лучшего шведского войска...

— Ну а если так, — сказал Кмициц, у которого глаза разгорелись при воспоминании о Кирхгольме, — то где же причины того, что мы их теперь не можем победить?

— Во-первых, — сказал старец, не торопясь, — мы измельчали, а они возросли, так что теперь они завоевали нас нашими собственными руками, как некогда завоевали немцев, с помощью их же самих. Такова воля Господня, и нет силы, которая могла бы теперь против них устоять.

— Но если шляхта опомнится и соберется вокруг своего государя, если все возьмутся за оружие, что вы, ваша милость, посоветуете делать тогда и что сами

будете делать?

— Тогда я пойду с другими, сложу свою голову и каждому посоветую ее сложить, ибо потом придут такие времена, коих свидетелем лучше не быть...

— Но они не могут быть хуже, Богом клянусь, не могут!.. Это невероятно!.. — воскликнул Кмициц.

— Видите, ваша милость, — сказал пан староста, — перед концом мира и перед Страшным судом придет Антихрист, и сказано в Писании, что злые возьмут верх над добрыми, дьяволы будут ходить по земле, возглашать богопротивную веру и научать ей людей. С Божьего соизволения зло будет побеждать всюду до того часа, когда трубы архангельские возгласят кончину мира.

Тут пан староста откинулся на спинку кресла, на котором сидел, и продолжал тихим, таинственным голосом:

— Сказано: будут знамения... На солнце знамения были, в виде длани и меча... Боже, милостив буди к нам, грешным!.. Злые берут верх над добрыми, ибо шведы и приверженцы их побеждают. Падает истинная вера и восстают лютеране... Люди, неужто не зрите, что день гнева, что «день гнева, день сей» грядет... Мне семьдесят лет, я стою на берегу Стикса, ожидая перевозчика и лодки... и я вижу!

Тут пан староста замолчал, а Кмициц смотрел на него со страхом, ибо слова его казались ему справедливыми и выводы верными; он испугался Страшного суда и крепко задумался.

Пан староста смотрел не на него, а прямо перед собой и наконец сказал:

— Как же мы можем победить шведов, если такова воля Господня, воля явственная, в пророчествах и предсказаниях откровенная? В Ченстохов надо людям, в Ченстохов!.. — И пан староста снова замолчал.

Солнце уже заходило, косыми лучами оно заглядывало в комнату, тысячами радуг преломлялось в стеклах, оправленных в свинцовые рамы, и отбрасывало на пол семицветные блики. Глубина комнаты оставалась в темноте. Кмицицу с каждой минутой становилось все жутче, и временами ему казалось, что только померкнет этот свет, как трубы архангелов возвестят Страшный суд.

— О каких пророчествах вы говорите, ваша милость? — спросил он наконец старосту, так как тишина его пугала.

Староста, вместо ответа, повернул голову к соседней комнате и крикнул:

— Оле нька! Оле нька!

— Ради бога! — крикнул пан Кмициц. — Кого вы зовете?

Он в эту минуту готов был верить, что его Оле нька, чудом перенесенная сюда из Кейдан, предстанет перед его глазами.

Он забыл обо всем, впился глазами в дверь и ждал затаив дыхание.

— Оле нька! Оле нька! — повторил староста.

Дверь открылась. Вошла не его Оле нька, а панна красивая, худая, высокая, немного похожая на Оле ньку необыкновенно спокойным выражением лица. Она была бледна, быть может, больна, быть может, испугана недавним Нападением — шла, опустив глаза, но так легко и тихо, точно плыла в воздухе.

— Это дочь моя, — сказал староста. — Сыновей моих нет дома. Они в войске пана краковского, а стало быть, с нашим несчастным королем.

Потом он обратился к дочери:

— Поблаговари сначала ваць-пана, этого храброго кавалера, за спасение, а Потом прочти нам пророчество святой Бригады.

Девушка поклонилась пану Андрею и ушла; через минуту она вернулась с печатными листками в руке и, став в радужном свете окна, прочла звучным и нежным голосом:

— Пророчество святой Бригады: «Вот покажу тебе пять царей и царства их: Густав, сын Эрика, осел ленивый, ибо, забыв правую веру, перешел в неправую.

Отступившись от веры апостольской, ввел в царство исповедание аугсбургское, мня позор свой славой. Смотри Екклезиаст, где говорит он о Соломоне, опозорившем славу свою идолопоклонством...»

— Слышите, ваша милость? — спросил староста, загнув перед Кмицицем большой палец левой руки, а другие держа наготове для счета.

— Слышу!

— «Эрик, сын Густава, волк жадности ненасытной, — читала панна, — чем навлек на себя ненависть всех людей и брата Яна. Сначала поразил войной Яна (подозревая его в тайных сношениях с Данией и Польшей) и, захватив его вместе с женой, продержал четыре года в подземелье. Ян, наконец спасенный из темницы, нашедши помощь в превратностях судьбы, победил Эрика, лишил его короны и вверг в вечную темницу. Вот происшествие непредвиденное...»

— Внимайте, — сказал староста. — Это уже второй!

Панна продолжала читать:

— «Ян, брат Эрика, орел выпренный, троекратный победитель Эрика, датчан и септентрионов. Сын его, Зигмунт, на польский престол избран, в жилах его праведная кровь. Хвала его отпрыскам».

— Понимаете? — спросил староста.

— Да продлит Господь дни Яна Казимира! — ответил Кмициц.

— «Карл, князь зудерманский, баран, ибо как баран идет во главе стада, так он довел шведов до несправедливости. Он же боролся со справедливостью...»

— Это уж четвертый, — перебил староста.

— «Пятый — Густав-Адольф, — читала панна, — агнец убиенный, но не беспорочный. Кровь его была причиной раздоров и несогласий...»

— Да, это Густав-Адольф, — сказал староста. — О Христине не упомянуто, ибо перечисляются только мужи. Читай же, ваць-панна, заключение, которое и относится к теперешним временам.

Панна прочла следующее:

— «Шестого тебе покажу, — он сушу и море возмутит, чистых сердцем опечалит... Он час кары Моей в руке своей держит. Если быстро своего не достигнет, близок над ним суд Мой, и оставит царство в слезах, и исполнится написанное: радость сеют, слезы собирают. Поражу не только это царство, но города богатые и сильные, ибо призван будет голодный, и он пожрет их достаток. Немало будет зла в душах людей, и размножатся раздоры. Властвовать будут глупые, а мудрецы и старцы не поднимут голову. Честность и правда будут в упадке, но придет тот, кто умолит Меня положить предел гневу Моему и кто души своей не пожалеет из любви к правде».

— Вот вам! — сказал староста.

— Все это сбывается так, что разве лишь слепой может сомневаться, — отвечал Кмициц.

— Вот почему шведы непобедимы, — сказал староста.

— Но придет тот, кто души своей не пожалеет из любви к правде! — воскликнул Кмициц. — Пророчество оставляет надежду. Не суд, а спасение нас ждет.

— Содом должен был быть спасен, если бы в нем нашлось десять праведников, — ответил староста, — но и их не нашлось. Точно так же не нашелся тот, кто души своей не пожалел бы из любви к правде.

— Пане староста, пане староста, не может этого быть! — ответил Кмициц. Пан староста не успел ответить, как дверь открылась и в комнату вошел не молодой уже человек, в панцире и с мушкетом в руке.

— Пан Щебжицкий? — спросил староста.

— Да, — ответил вошедший, — я слышал, что какие-то бездельники напали на вас, ясновельможный пане, и поспешил на помощь.

— Без Господней воли ни единый волос не спадет у человека с головы, — ответил старец. — Этот кавалер уже спас меня в моем несчастье. А вы откуда едете?

— Из Сохачева.

— Есть новости?

— Что ни новость, то хуже и хуже, ясновельможный пан староста. Новое несчастье...

— Что случилось?

— Воеводства: Краковское, Сандомирское, Русское, Люблинское, Белзское, Волынское и Киевское поддались Карлу-Густаву. Акт уже подписан и послами, и Карлом.

Староста стал кивать головой и наконец обратился к Кмицицу:

— Видишь, — сказал он, — и ты еще думаешь, что найдется тот, что души своей не пожалеет из любви к правде!

Кмициц стал рвать на голове волосы.

— Отчаяние! Отчаяние! — повторял он в ужасе.

А пан Щебжицкий продолжал:

— Говорят, что остатки войска, которое находится под командой пана гетмана Потоцкого, уже отказывает в послушании и хочет перейти на сторону шведов. Гетман будто бы опасается за свою жизнь среди войска и должен делать то, что оно хочет.

— Радость сеют, а слезы и горе соберут, — ответил староста. — Кто хочет каяться во грехах, тому пора!

Но Кмициц не мог больше слушать ни пророчеств, ни новостей; ему хотелось как можно скорее сесть на коня и освежить на ветру свою разгоряченную голову. Он вскочил и стал прощаться со старостой.

— Куда же это вы так торопитесь? — спросил старик.

— В Ченстохов, ибо я тоже грешник.

— Тогда я вас не задерживаю, хотя был бы рад, если бы вы у меня погостили. Но это дело важнее, ибо час Суда близок.

Кмициц вышел, и за ним вышла панна, чтобы вместо отца проводить уезжающего, так как у старосты были больные ноги.

— Оставайтесь в добром здоровье, панна, — сказал Кмициц, — вы не знаете даже, как я добра вам желаю.

— Если вы желаете мне добра, — ответила ему панна, — то окажите мне одну услугу. Вы в Ченстохов едете... Вот червонец... отдайте его в часовню, пусть отслужат обедню...

— Во имя чего? — спросил Кмициц.

Пророчица опустила глаза, грусть залила ее лицо, и в то же время на щеках выступил слабый румянец, и она ответила тихим голосом, похожим на шорох листьев:

— Во имя того, чтобы Господь вернул на истинный путь заблудшего Андрея...

Кмициц отступил два шага, вытаращил глаза и от изумления не мог сказать ни слова.

— Господи боже, — сказал он наконец, — что же это за дом? Где я? Пророчества, предсказания, все одни пророчества! Вас зовут, ваць-панна, Оле нька, и вы даете деньги на обедню за душу грешного Андрея? Это неспроста, это не случайность, это перст Божий!.. Это... Я с ума сойду!.. С ума сойду!!

— Что с вами?

Но он схватил ее с силой за руки и стал их трясти.

— Пророчествуйте дальше, договаривайте до конца... Если тот Андрей исправится, искупит свою вину, останется ли верна ему Оле нька? Говорите, говорите, я не уеду без этого!

— Что с вами, ваць-пане?

— Останется ли верна ему Оле нька? — повторил Кмициц.

Вдруг слезы сверкнули в глазах у панны.

— До последнего издыхания, до смертного часа! — ответила она, рыдая.

Она еще не успела ответить, как пан Кмициц повалился ей в ноги. Она хотела убежать, но он не пустил и, целуя ее ноги, повторял:

— Я тоже грешный Андрей, который жаждет вернуться на истинный путь... У меня есть тоже моя Оле нька, которую я люблю. Пусть же твой исправится, а моя останется мне верной... Да будут твои слова пророчеством!.. Бальзам надежды влила ты мне в измученную душу!.. Подай тебе Бог, подай тебе Бог!

Он вскочил, сел на коня и уехал.

XI

Слова панны старостянки сохачевской наполнили душу Кмицица бодростью и надеждой и целых три дня не выходили у него из головы. Днем на коне, ночью в постели он все продолжал думать о том, что случилось, и каждый раз приходил к тому выводу, что это не могла быть простая случайность, а скорее явный перст Божий и предсказание, что если он твердо устоит и не сойдет с того пути, который указала ему Оле нька, то девушка останется ему верна и вознаградит его прежней любовью.

«Ведь если старостянка, — думал пан Кмициц, — остается верной своему Андрею, который до сих пор не стал на путь исправления, то и для меня, раз есть у меня искреннее желание служить отчизне, добродетели и королю, не потеряна еще надежда».

Но, с другой стороны, у пана Андрея было немало и горьких мыслей. Искреннее желание у него было, но не слишком ли поздно оно пришло? Есть ли перед ним еще какой-нибудь выход? Речь Посполитая с каждым днем опускалась все глубже в бездну несчастий, и трудно было закрывать глаза перед страшной истиной, что для нее уже нет спасения; Кмициц ничего не желал так страстно, как приняться за дело, но не находил вокруг людей, которые бы ему сочувствовали.

Все новые лица, все новые люди встречались ему по пути, но один их вид, их разговоры и стремления отнимали последнюю надежду. Одни душой и телом перешли на сторону шведов и искали в этом главным образом собственной выгоды; они пили, гуляли, веселились, как на свадьбе, и топили в вине и разврате свой стыд и шляхетскую честь.

Другие в каком-то непонятном ослеплении рассуждали о том, какую силу будет представлять собой Речь Посполитая, когда она соединится со Швецией, под скипетром первого полководца в мире; эти были особенно опасны, так как были искренне убеждены, что весь шар земной должен будет преклониться перед такой силой.

Третьи, как пан староста сохачевский, люди почтенные и любящие родину, искали знамений на земле и на небе, повторяли пророчества, усматривали во всем, что происходило, Божью волю и несокрушимое предопределение и приходили к тому выводу, что нет надежды, нет спасения, что близится конец мира, что думать о земном, а не о небесном спасении — явное безумие.

Другие, наконец, скрывались в лесах или бежали за границу.

И пан Кмициц встречал только развратных, испорченных, безумных, трусливых или отчаявшихся; но верящих он не встречал.

Между тем удачи шведов все росли. Известие, что остатки войска бунтуют, устраивают заговоры, угрожают гетманам и хотят перейти на сторону шведов, с каждым днем становилось более вероятным. Слух о том, что пан хорунжий Конецпольский со своей дивизией сдался Карлу-Густаву, громовыми раскатами

отдался по всей Речи Посполитой и убил последнюю надежду в сердцах, ибо пан Конецпольский был збаражский герой. Его примеру последовал староста Яворский и князь Димитрий Вишневецкий, которого от этого шага не удержало даже имя, покрытое бессмертной славой.

Начали сомневаться и в пане маршале Любомирском. Те, которые хорошо его знали, утверждали, что в нем самолюбие и гордость сильнее рассудка и любви к отчизне, что до сих пор он был на стороне короля, так как ему льстило, что глаза всех были обращены на него, что то те, то другие тянули его на свою сторону, звали и говорили ему, что судьбы отечества у него в руках. Но удачи шведов поколебали его, он стал медлить и все яснее давал чувствовать Яну Казимиру, что может спасти его или окончательно погубить.

Король-изгнанник сидел в Глоговой, и горсть тех, кто оставались ему верными, кто разделяли его участь, редела: то тот, то другой покидал его и уходил к шведам. Так слабые духом, даже такие, которым сердце велит идти честной, хотя бы и тернистой дорогой, сгибаются под бременем несчастий. Карл-Густав принимал их с распростертыми объятиями, награждал, осыпал обещаниями, с их помощью переманивал на свою сторону других, и власть его все возрастала; сама судьба устраняла перед ним все препятствия, с помощью польских сил он покорял Польшу и побеждал ее без битв. Толпы воевод, каштелянов, коронных и литовских сановников, целые полчища вооруженной шляхты, полки несравненной польской конницы стояли в его лагере, заглядывая в глаза новому повелителю и ожидая его приказаний.

Остатки коронных войск все настойчивее кричали своему гетману: «Иди! Преклони свою седую голову перед величием Карла, иди, мы хотим принадлежать шведам!»

— К шведам! К шведам!

И грозно сверкали тысячи сабель.

В то же время пожар войны не прекращался и на востоке. Страшный Хмельницкий снова осадил Львов, и полчища его союзников, минуя неприступные стены Замостья, разливались по всему Люблинскому воеводству, до самого Люблина.

Литва была в руках шведов и Хованского. Радзивилл начал войну на Полесье; курфюрст медлил и с минуты на минуту мог нанести последний удар умирающей Речи Посполитой, — пока же он собирал силы в королевской Пруссии.

Со всех сторон к шведскому королю спешили посольства и поздравляли его со счастливым завоеванием.

Подходила зима, листья падали с деревьев, стаи галок и ворон, покинув леса, носились над деревнями и городами Речи Посполитой.

За Петроковым Кмициц снова стал встречать шведские отряды, которые занимали все большие и проселочные дороги. Некоторые из них после взятия Кракова шли к Варшаве, ибо был слух, что Карл-Густав, после того как южные и восточные воеводства изъявили ему покорность и он подписал «капитуляцию», ждет только покорности от остатков того войска, которое находилось под командой Потоцкого и Лянцкоронского, а потом сейчас же двинется в Пруссию, и поэтому высылает вперед войска. Пана Андрея нигде не задерживали, ибо шляхта вообще не возбуждала подозрений, тем более что немало шляхты с вооруженной челядью шло вместе со шведами; другие ехали в Краков, либо на поклон к новому государю, либо с какой-нибудь просьбой, поэтому ни у кого не спрашивали ни пропускных грамот, ни паспортов, тем более что неподалеку от главной квартиры Карла, игравшего в великодушие, никто не решался притеснять шляхту.

Последняя ночевка перед Ченстоховом пришлась пану Андрею в Крушине, но не успел он расположиться на ночлег, как в Крушину прибыли гости. Сначала подошел шведский отряд человек в сто, под командой нескольких офицеров и какого-то

важного капитана. Это был человек средних лет, довольно представительный, высокий, сильный, плечистый, с пристальным взглядом, и хотя он носил чужеземное платье и был совершенно похож на иностранца, но, войдя в корчму, он заговорил с паном Адреем на чистейшем польском языке, спрашивая его, кто он и куда едет.

Пан Андрей на этот раз сказал, что он шляхтич из Сохачевского воеводства, так как офицеру могло показаться странным, что подданный курфюрста забрался в такие далекие края. Узнав, что пан Андрей едет к шведскому королю с жалобой на то, что ему не платят за лошадей, офицер сказал:

— Всегда лучше молиться у главного алтаря, и вы, ваць-пане, совершенно правильно поступаете, что едете к самому королю, ибо хотя у него тысячи дел в голове, но ведь он всех выслушивает, а по отношению к вашей шляхте он так великодушен, что шведы даже вам завидуют!

— Только бы деньги нашлись в казне...

— Карл-Густав не ваш прежний Ян Казимир, который должен был даже у жидов занимать, ибо все, что имел, отдавал просителям. Впрочем, если только удастся одно предприятие, то денег в казне хватит!

— О каком предприятии вы говорите, ваша милость?

— Я слишком мало вас знаю, пан кавалер, чтобы передавать вам секреты. Знайте только одно: что через неделю или через две казна шведского короля будет так же богата, как казна султана.

— Значит, какой-нибудь алхимик наделает ему денег, ибо в этой стране их ниоткуда нельзя достать!

— В этой стране? Достаточно только смело протянуть руку. А смелости у нас хватит. Доказательство этому — то, что мы здесь властвуем!

— Правда, правда! — сказал Кмициц. — Мы очень этому властвованию рады, особенно потому, что вы научите нас, как загребать деньги лопатой...

— Средства к этому были в ваших руках, но вы предпочли бы с голоду умереть, чем взять оттуда хоть один грош...

Кмициц быстро взглянул на офицера.

— Но ведь есть такие места, на которые даже татары не смеют поднять руку! — сказал он.

— Вы слишком догадливы, пан кавалер, — ответил офицер, — помните, что вы за деньгами едете не к татарам, а к шведам.

Дальнейший разговор прервало прибытие нового отряда. Офицер, очевидно, ожидал его, так как быстро выбежал из корчмы. Кмициц вышел за ним и остановился в дверях сеней, чтобы посмотреть, кто приехал.

Сначала подъехала закрытая карета, запряженная четверкой лошадей и окруженная отрядом шведских рейтар, и остановилась перед корчмой. Тот офицер, с которым разговаривал Кмициц, быстро подошел к карете, открыл дверцы и отвесил глубокий поклон особе, сидевшей внутри.

«Должно быть, какой-нибудь сановник...» — подумал Кмициц.

Между тем из корчмы вынесли горящие факелы. Из кареты вышел какой-то человек, одетый по-иноземному, в черный плащ до колен, на лисьем меху, в шляпе с перьями.

Офицер выхватил факел из рук рейтара и, поклонившись еще раз, сказал:

— Сюда, ваше сиятельство!

Кмициц быстро вернулся в избу, а они вошли вслед за ним. Офицер поклонился в третий раз и сказал:

— Ваше сиятельство, я Вейхард Вжещович — ординарец и провиантмейстер его величества короля Карла-Густава, посланный навстречу вашему сиятельству с отрядом.

— Мне приятно познакомиться со столь знаменитым кавалером, — сказал

человек, одетый в черное, отвечая поклоном на поклон.

— Вашему сиятельству угодно остановиться здесь или сейчас же ехать дальше? Его королевское величество жаждет видеть ваше сиятельство как можно скорей.

— Я хотел остановиться в Ченстохове, чтобы помолиться, — ответил приезжий, — но в Велюне я получил известие, что его королевское величество велит мне спешить, и поэтому, отдохнув немного, мы двинемся дальше, а пока отправьте отряд и поблагодарите командира, который его привел.

Офицер вышел отдать соответственное приказание. Пан Андрей остановил его по дороге.

— Кто это? — спросил он.

— Барон Лизоля, императорский посол, который отправлен бранденбургским двором к нашему королю, — ответил офицер.

И, сказав это, он вышел, но сейчас же вернулся.

— Приказания вашего сиятельства исполнены, — сказал он барону.

— Спасибо, — ответил Лизоля.

И с изысканной любезностью высокопоставленной особы он указал Вжещовичу место против себя.

— Ветер что-то завыл во дворе, — сказал он, — и дождь идет. Может быть, придется обождать здесь подольше. А мы пока поговорим до ужина. Что здесь слышно? Мне говорили, что малопольские воеводства покорились его шведскому величеству.

— Точно так, ваше сиятельство. Его королевское величество ждет только изъявления покорности от остатков войска, а потом сейчас же пойдет на Варшаву и оттуда в Пруссию.

— А разве войско наверное изъавит покорность?

— Депутаты от войска уже в Кракове. Впрочем, они иначе поступить не могут, так как у них нет другого выхода. Если они не перейдут на нашу сторону, то Хмельницкий вырежет их всех до одного. Лизоля склонил свою умную голову на грудь.

— Страшные, неслыханные вещи! — сказал он.

Разговор шел на немецком языке. Кмициц старался не потерять из него ни слова.

— Ваше сиятельство, — ответил Вжещович, — что должно было случиться, то и случилось.

— Возможно... Все же нельзя не пожалеть об участи огромного государства, которое пало на наших глазах. Всякий не швед должен скорбеть о нем.

— Я не швед, но раз сами поляки не скорбят, я тоже не чувствую себя обязанным скорбеть, — ответил Вжещович.

Лизоля взглянул на него внимательно.

— Правда, у вас не шведская фамилия. Вы откуда родом?

— Я чех.

— Следовательно, подданный австрийского императора... Значит, мы подданные одной и той же страны.

— Я на службе у его величества шведского короля, — ответил с поклоном Вжещович.

— Я нисколько не хочу вас упрекнуть, — ответил старик Лизоля, — но ведь такую службу нельзя назвать постоянной, а главное, будучи подданным нашего государя, где бы вы ни служили, вы не можете признавать над собой другого государя!

— Не отрицаю.

— И поэтому я искренне скажу вашей милости, что государь наш скорбит об участи великолепной Речи Посполитой, о судьбе ее монарха и не может сквозь

пальцы смотреть на тех своих подданных, которые способствуют окончательному падению союзного нам государства. Что сделали вам поляки, что вы так плохо о них отзываетесь?

— Ваше сиятельство, я мог бы об этом слишком много рассказать, но боюсь злоупотребить терпением вашего сиятельства.

— Вы кажетесь мне не только превосходным офицером, но и умным человеком, а мне моя должность велит ко всему присматриваться и ко всему прислушиваться; поэтому говорите, ваша милость, как можно пространнее и не бойтесь злоупотребить моим терпением. Наоборот, если вы когда-нибудь перейдете на службу к нашему государю, чего я желаю вам от всей души, вы всегда найдете во мне друга, который сумеет за вас заступиться и повторить ваши доводы, если вас будут упрекать за вашу теперешнюю службу.

— В таком случае я скажу все, что думаю. Как многим нашим дворянам, так и мне пришлось искать счастья за границей; я прибыл сюда, где народ родственный моему и где иностранцев охотно принимают на службу.

— И что же, вас плохо приняли?

— Мне поручили заведовать соляными копиями. Я нашел доступ к хлебу, к людям и к самому королю. Теперь я служу шведам, но, если бы кто-нибудь назвал меня неблагодарным, я бы должен был протестовать.

— А это почему?

— Потому, что от меня нельзя требовать большего, чем от самих поляков. Где теперь поляки? Где сенаторы этого королевства, князья, магнаты, шляхта, солдаты — разве они не в шведском лагере? А ведь они первые должны знать, что им надо делать, где спасение и где гибель для их отчины. Я следую их примеру, кто же имеет право назвать меня неблагодарным? Почему же я, иностранец, должен быть вернее польскому королю и Речи Посполитой, чем сами поляки? Почему мне было пренебречь той службой, на которую они сами напрашиваются.

Лизоля ничего не ответил. Он подпер руками голову и задумался. Казалось, что он слушает свист ветра и шум осеннего дождя, который стал барабанить в оконные стекла.

— Продолжайте, — сказал он наконец, — действительно, вы говорите мне вещи не совсем обыкновенные.

— Я ищу счастья там, где могу его найти, — сказал Вжещович, — а о том, что этот народ погибает, мне нечего скорбеть больше его самого. Впрочем, если бы я и скорбел, я бы ничем не мог помочь, потому что они должны погибнуть.

— А это почему?

— Прежде всего потому, что они сами этого хотят; во-вторых, потому, что они этого заслуживают. Ваше сиятельство! Есть ли на свете другая страна, где было бы столько неурядиц и столько своеволия? Какое здесь правительство? Король не управляет, потому что ему не дают... Сеймы не управляют, потому что их срывают... Войска нету, потому что никто не хочет платить податей; нет послушания, потому что послушание несовместимо с их свободой; нет справедливости, потому что некому приводить в исполнение приговоры, и всякий более или менее влиятельный человек может их попирать ногами; у этого народа нет даже верности, ибо, вот, все покинули своего государя. Нет любви к отчизне, ибо они отдали ее шведам за обещание, что шведы не будут мешать им жить по-прежнему, с их своеволием... Где можно встретить что-нибудь подобное? Какой народ стал бы помогать неприятелю завоевывать его страну? Какой народ покинул бы своего государя не за тиранию, не за дурные поступки, а только потому, что пришел другой, который сильнее его? Какой народ стал бы заботиться больше о своих частных интересах, чем о государственных делах? Что у них есть, ваше сиятельство? Пусть мне назовут хотя бы одну их добродетель: постоянство, ум, дальнорзкость, воздержание? Что у них есть?

Хорошая конница — и больше ничего... Но ведь конницей славились и нумидийцы, и галлы, как это можно прочесть в римской истории, — а где они? Погибли, как погибнут и эти! Кто хочет их спасать, тот только даром потеряет время, потому что они сами не хотят себя спасти... Одни безумцы, своевольники, злые и продажные люди населяют эту землю.

Вжешович проговорил последние слова со вспышкой настоящей ненависти, столь странной в чужеземце, который у этого народа нашел кусок хлеба; но Лизоля не удивился. Искусный дипломат знал свет и людей, знал, что тот, кто не умеет платить благодарностью своему благодетелю, тот ревностно ищет в нем каких-нибудь недостатков, чтобы прикрыть ими свою неблагодарность. Впрочем, он, может быть, сознавал, что Вжешович прав, и поэтому не спорил; он только спросил вдруг:

— Пан Вейхард, вы католик?

— Точно так, ваше сиятельство, — ответил он.

— Я слышал в Велюне, что есть такие, которые подговаривают его величество Карла-Густава занять Ясногорский монастырь... Это правда?

— Ваше сиятельство! Монастырь этот неподалеку от силезской границы; Ян Казимир очень легко может получать от него подкрепления. Мы должны его занять, чтобы помешать этому... Я первый обратил на это внимание, и поэтому его королевское величество поручил мне осуществить эту задачу.

Тут Вжешович вдруг замолчал, так как вспомнил, что в другом конце горницы сидит Кмициц. Он подошел к нему и спросил:

— Пан кавалер, вы понимаете по-немецки?

— Ни единого звука! — ответил пан Андрей.

— Жаль, а мы хотели пригласить вас с нами побеседовать. Сказав это, он обратился к Лизоля:

— Тут есть польский шляхтич, но он по-немецки не понимает, и мы можем говорить свободно.

— У меня нет никаких тайн, — ответил Лизоля, — но так как я тоже католик, то я не хотел бы обидеть чем-нибудь это святое место... И так как я уверен, что мой государь питает те же чувства, то я буду просить его величество шведского короля пощадить монахов. А вы не торопитесь с занятием монастыря, впредь до новых распоряжений.

— У меня есть вполне определенные, хотя и тайные инструкции; я не утаю их перед вашим сиятельством, ибо всегда хочу верно служить моему государю. Я могу только тем успокоить ваше сиятельство, что святое место ничем не будет осквернено, я католик...

Лизоля улыбнулся и, желая выпытать у менее опытного человека правду, спросил шутливо:

— Но в сокровищницу вы таки заглянете? Без этого не обойдется? Правда?

— Это возможно, — ответил Вжешович. — Пресвятой Деве талеры из этой сокровищницы не нужны. Раз все платят, пусть и монахи платят.

— А если они будут защищаться?

Вжешович рассмеялся:

— В этой стране никто не будет защищаться, а теперь даже и не может... Для этого было время раньше, а теперь поздно...

— Поздно, — повторил Лизоля.

На этом разговор кончился. После ужина они уехали. Кмициц остался один. Это была для него самая ужасная ночь из всех, какие он провел с тех пор, как уехал из Кейдан.

Слушая слова Вейхарда Вжешовича, он должен был сдерживаться изо всех сил, чтобы не крикнуть ему: «Лжешь, пес!» — и не выхватить саблю. И если он этого не

сделал, то потому, что, увы, чувствовал и признавал правду в словах иностранца — страшную, палящую как огонь, но несомненную правду.

«Что бы я мог ему сказать? — говорил он про себя. — Какие возражения я мог бы представить кроме своего кулака? Какие доводы привести? Этот пес прав... Чтоб его разорвало! Да и тот дипломат согласился с ним, что теперь уже все потеряно и защищаться поздно!»

Кмициц страдал так отчасти потому, что это «поздно» было приговором не только для отчизны, но и для его личного счастья. А ведь этих мучений было уже довольно; у него уже сил не хватало, ибо в течение целых недель он не слышал ничего другого, как только: все пропало, все слишком поздно. Ни единый луч надежды нигде не запал ему в душу.

Подвигаясь все дальше, он потому так спешил, потому ехал днями и ночами, что хотел бежать от этих зловещих предчувствий и найти какое-нибудь место, какого-нибудь человека, который влил бы в его душу хоть каплю утешения. Между тем он всюду находил все больший упадок, все большее отчаяние. Наконец, слова Вжешовича переполнили чашу горечи и желчи: для него стало совершенно ясно то, что раньше он только смутно чувствовал: отчизну погубили не столько шведы, русские и казаки, сколько сам народ.

«Одни безумцы, своевольники, злые и продажные люди населяют эту землю», — повторил пан Кмициц слова Вжешовича, — и нет в ней других... Короля не слушаются, сеймы срывают, податей не платят, сами помогают неприятелю завоевывать эту землю. Они должны погибнуть»...

— Господи боже, если бы хоть что-нибудь здесь было ложью! Неужели, кроме конницы, у народа нет ничего хорошего, а есть только зло?

Пан Кмициц искал в душе ответа. Он был уже так измучен и дорогой, и огорчениями, и всем, что он пережил, что у него стало мутиться в голове. Он почувствовал, что болен, и им овладела какая-то смертельная усталость. В голове был все больший хаос. Мелькали знакомые и незнакомые лица, те, кого он знал раньше, и те, кого он встретил в пути.

Все эти люди говорили, точно на сейме, приводили цитаты, пророчества, — и все это касалось Оле ньки. Она ждала спасения от пана Андрея, но Вжешович удерживал его за руку и, глядя ему в глаза, повторял: «Слишком поздно! Что шведам, то шведам!»... А Богуслав Радзивилл смеялся и вторил Вжешовичу. Потом все закричали: «Слишком поздно! Слишком поздно!» — и, схватив Оле ньку, исчезли где-то в темноте.

Кмицицу казалось, что Оле нька и отчизна — одно и то же и что он обеих погубил и предал шведам.

Тогда его охватывала такая безмерная скорбь, что он просыпался и изумленными глазами поводил вокруг или прислушивался к ветру, который свистел на разные голоса в печи, на крыше и гудел в щелях, как в органных трубах.

Но видения возвращались. Оле нька и отчизна снова сливались для него в одно существо, которое похищал Вжешович со словами: «Слишком поздно! Слишком поздно!»

В таком горячечном бреде пан Андрей провел всю ночь. Когда к нему возвращалось сознание, он думал, что придется серьезно заболеть, и хотел уже звать Сороку, чтобы тот пустил ему кровь. Между тем начало светать. Кмициц вскочил и вышел на двор. Первые проблески рассвета слегка разрежали мрак; день обещал быть погожим; тучи вытянулись в длинные ленты и полосы на западе, но на востоке небо было чисто; оно бледнело слегка, и мерцали звезды, не заслоненные утренним туманом. Кмициц разбудил людей, оделся в праздничное платье, так как было воскресенье, и они тронулись в путь.

После ужасной бессонной ночи Кмициц устал телом и душой.

И это осеннее утро, бледное, прохладное и погожее, не могло рассеять грусти, которая камнем лежала на сердце рыцаря. Надежда выгорела в нем до последней искорки и погасла как светильник, в котором не хватило масла. Что принесет ему этот день? Ничего! Ту же грусть, те же огорчения... Он скорее еще прибавит тяжести в душе, чем облегчит ее.

Он ехал молча, уставившись глазами в какую-то точку, которая ярко сверкала на горизонте. Кони фыркали, предвещая хорошую погоду; люди запели сонными голосами утреннюю молитву.

Между тем становилось все светлее, небо стало избледна-зеленым и золотистым, а точка на горизонте сверкала так, по глазам было больно смотреть.

Люди перестали петь, и все смотрели в ту сторону, наконец Сорока сказал:

— Чудо, что ли? Ведь там запад, а будто солнце восходит?

И действительно, это сияние росло в глазах, из точки оно превратилось сначала в кружок, а потом в большой круг — издали казалось, точно кто-то повесил над землей огромную звезду, сверкавшую нестерпимым блеском.

Кмициц и его люди с изумлением смотрели на это световое явление, дрожащее и лучезарное, не зная, что перед ними.

В эту минуту по дороге от Крушины показалась мужицкая телега. Кмициц подъехал к телеге и увидел, что мужик, который сидел в ней, держал шапку в руках и, глядя на это сверкающее пятно, молился.

— Эй, мужик, — спросил пан Андрей, — что это там так светится?

— Ясногорские купола! — ответил мужик.

— Слава тебе, Пресвятая Дева! — воскликнул Кмициц и снял с головы шапку; то же сделали и его люди.

После стольких дней огорчений, сомнений и неудач пан Андрей почувствовал вдруг, что в нем происходит что-то странное. Как только он услышал слова: «Ясногорские купола» — грусть свалилась с его сердца, точно кто-нибудь рукой ее снял.

Рыцаря охватил какой-то невыразимый страх, полный благоговения, и вместе с тем какая-то неведомая радость, великая и благодатная. От этого монастыря, который горел куполами в первых лучах солнца, исходила надежда, которой пан Кмициц не знал так давно, вера, которой он напрасно искал, неодолимая сила, на которую он мог опереться. В него вступила как бы новая жизнь и разлилась в жилах вместе с кровью. Он вздохнул так глубоко, как больной, когда он очнется от горячечного беспамятства.

А монастырь горел все ярче, точно он впитал в себя весь солнечный свет.

Вся страна лежала у его подножия, а он смотрел на нее с высоты, точно страж ее и опекун.

Кмициц долго не мог оторвать глаз от этого света и пил его, как некий целительный бальзам. Лица его людей были сосредоточены и выражали страх.

Вдруг в тихом утреннем воздухе раздался звук колокола.

— С коней! — крикнул пан Андрей. Все соскочили с седел и, опустившись на колени на дороге, начали молиться. Кмициц читал молитву вслух, солдаты вторили ему хором. К этому времени подъехали новые телеги; мужики, видя людей, молящихся на дороге, присоединились к ним, и толпа все росла.

Когда, наконец, молитва кончилась, пан Андрей встал; за ним поднялись и его люди, но дальше они пошли уже пешком, ведя лошадей под уздцы, и пели: «К вратам осиянным прибегаем...»

Пан Андрей шел так бодро, точно крылья были у него за спиной. Монастырь то исчезал перед ним, то показывался снова. Когда его заслоняли холмы или когда дорога шла оврагом, Кмицицу казалось, что мрак заволакивает мир, но, когда монастырь начинал сверкать вновь, лица всех прояснялись.

Так шли они долго. Костел, монастырь и окружавшие его стены виднелись все отчетливее, становились все огромнее и великолепнее. Наконец они увидели город вдали, а у подножия горы, на которой стоял монастырь, ряды домов и изб, которые в сравнении с огромным монастырем казались маленькими птичьими гнездышками.

Было воскресенье, и, когда солнце взошло на небе, вся дорога заройлась телегами и пешими людьми, которые шли к обедне. С высоких башен доносился гул больших и маленьких колоколов, наполнявших воздух торжественными звуками. Во всей этой картине и в этом колокольном звоне была какая-то мощь, какое-то безмерное величие и вместе с тем спокойствие. Этот кусок земли у подножия Ясной Горы был совсем не похож на остальную часть страны.

Толпы людей чернели вокруг монастырских стен. У подножия горы стояли сотни телег, бричек, колясок, карет; шум людских голосов смешивался с ржанием лошадей, привязанных к повозкам. Дальше, справа, вдоль главной дороги, которая вела в монастырь, виднелись ряды палаток, где продавали металлические и восковые образки, свечи, четки и кресты. Все было затоплено волной людей.

Монастырские ворота были широко открыты, — кто хотел, входил, кто хотел, выходил. По-видимому, монастырь и костел охраняла самая святость места, а может быть, верили грамотам Карла-Густава, в которых он ручался за неприкосновенность монастыря.

XII

Мужики и шляхта, мещане из разных местностей, люди всех возрастов и состояний ползли на коленях от монастырских ворот к костелу и пели божественные песни. Река эта плыла очень медленно, и течение ее то и дело замедлялось, когда люди сбивались в слишком тесную толпу. Над ними развевались хоругви. Минутами песни замолкали, и толпа начинала вслух читать молитвы, и тогда из конца в конец перекатывался рокот слов. В перерывах между песнями и молитвами толпа замолкала — люди клали земные поклоны или падали ниц; тогда слышались только резкие молящие голоса нищих, которые, сидя по обоим берегам этой человеческой реки, выставляли напоказ свои искалеченные члены. Вой их смешивался со звоном медной монеты, которую бросали на жестяные и деревянные тарелки. И снова река голов плыла дальше, и снова звучали песни.

По мере того как толпа подвигалась к двери костела, в душах людей росло волнение и превращалось в экстаз. Виднелись руки, протянутые к небу, поднятые к небу глаза, лица, бледные от волнения или воспламененные молитвой.

Здесь все были равны: мужицкие кафтаны смешались с контушами шляхты, панцири солдат с желтыми кафтанами мещан.

В дверях костела давка еще увеличилась. Тела людей образовали здесь уже не реку, а мост, так что по головам и плечам людей можно было свободно идти, не коснувшись ногой земли. Людям не хватало воздуха, не хватало места, но дух, который их оживлял, давал им железную силу. Все молились, никто не думал ни о чем другом; каждый нес на себе всю тяжесть этой массы, но никто не падал и плыл, подталкиваемый сзади, чувствуя в себе силу тысяч, и плыл с этой силой вперед, погруженный в молитву, в упоение, в экстаз.

Кмициц, который вместе со своими людьми подвигался в первых рядах, в числе первых пробрался в костел; течение вынесло его потом в часовню, где была чудотворная икона. Там люди падали лицом на землю и с восторгом и плачем целовали пол. Так сделал и пан Андрей, и когда наконец он осмелился поднять голову, чувство блаженства, счастья и вместе с тем смертельного страха почти лишило его сознания.

В часовне царил красноватый сумрак, которого не могло рассеять пламя свечей,

горевших у алтаря. Свет вливался сквозь цветные стекла — красные, фиолетовые, золотистые и огненные блики дрожали на стенах, скользили по лепным фрескам, пробивались в самые темные уголки и полуосвещали какие-то неясные предметы, точно погруженные в сон. Таинственный свет расплывался и сливался с мраком так незаметно, что исчезала почти всякая разница между светом и тенью. Пламя свечей у алтаря было окружено ореолом; белая риза монаха, служившего обедню, отливала цветами радуги. Все это было полувидимо, полуприкрыто, все было каким-то неземным: неземной свет, неземной мрак — все таинственно, торжественно, благословенно, полно молитв, восторга и святости...

Из главного алтаря доносился смешанный шум голосов, точно шум огромного моря, а здесь царила глубокая тишина, прерываемая только голосом монаха, читавшего акафист. Чудотворная икона была еще завешена, и ожидание сдавливало дыхание в груди. Виднелись глаза, устремленные в одну сторону, неподвижные лица, точно отрешившиеся от всего земного, руки, скрещенные на груди, как у ангелов на образах.

Голосу монаха вторил орган, издавая нежные и сладкие звуки, плывшие словно из каких-то неземных флейт. Минутами эти звуки журчали, как вода в источнике, то падали тихо и часто, как майский дождь...

Вдруг раздался гром труб и литавр — дрожь охватила сердца.

Завеса на образе раздвинулась, и на молящихся хлынул поток алмазного света.

Стон, плач и крики раздались в часовне.

«Salve, Regina²⁹, — раздались голоса шляхты, — monstra Te esse matrem!³⁰» А мужики кричали: «Пресвятая Богородица! Царица ангелов! Спаси! Помоги! Утешь! Смилуйся над нами!»

И долго раздавались эти крики вместе с рыданием женщин, с жалобами несчастных, с мольбами о чуде больных или калек.

Кмициц почти терял сознание; он чувствовал только, что перед ним что-то безмерное, чего он никогда не поймет и не постигнет, но перед чем все исчезает. Чем же были его сомнения перед этой верой, которой не могло вместить существо человеческое; чем были несчастья перед таким утешением; чем было могущество шведов перед такой защитой; чем была злоба людская перед таким заступничеством?

Он уже не думал, он мог только чувствовать; он забылся, перестал помнить и сознавать, кто он и где он... Ему казалось, что он умер, что душа его плывет вместе со звуками органа, смешивается с дымом камильниц; руки, привыкшие к мечу и пролитию крови, он поднял вверх и стоял на коленях в каком-то забытье и восторге.

Между тем обедня кончилась. Пан Андрей не помнил, как он очутился снова у главного алтаря. Ксендз говорил проповедь, но пан Андрей еще долго ничего не слышал и не понимал, как человек, проснувшись от сна, не может сразу разобрать, где кончается сон и где начинается действительность.

Первые слова, которые он услышал, были: «Здесь изменятся сердца и исправятся души, ибо шведу не одолеть этой мощи, как пребывающему во мраке не одолеть истинного света».

«Аминь!» — подумал в душе Кмициц и стал ударять себя в грудь, ибо ему теперь казалось, что он тяжко согрешил, думая, что все уже пропало и что неоткуда ждать надежды.

Когда служба кончилась, он остановил первого встречного монаха и сказал ему,

²⁹ Радуйся, царица (лат.).

³⁰ Яви нам, что наша ты мать! (лат.).

что по делу, касающемуся костела и монастыря, он должен видаться с настоятелем.

Настоятель тотчас его принял. Это был человек зрелых лет, жизнь которого близилась к закату. Лицо его было необыкновенно ясно. Черная густая борода обрамляла его снизу, глаза были голубые, спокойные, с необычайно проникновенным взглядом. В своей белой рясе он был похож на святого. Кмициц поцеловал его в рукав рясы, а он обнял его за голову и спросил, кто он и откуда приехал.

— Я приехал со Жмуди, — ответил пан Андрей, — чтобы послужить Пресвятой Деве, погибающей отчизне и покинутому государю, против коих я до сих пор грешил, что подробно расскажу на святой исповеди, и прошу только, чтобы меня отысповедовали еще сегодня или завтра с утра, ибо раскаяние в грехах того требует. Мое настоящее имя я тоже скажу вам, святой отец, под тайной исповеди, а не иначе, ибо оно предубеждает против меня людей и может помешать моему исправлению. Для людей я хочу называться Бабинич, по имени одного моего именина, занятого неприятелем. А пока — я привез важное известие, и вы его выслушайте терпеливо, отец, ибо оно касается этого святого места и монастыря!

— Хвалю ваши намерения и желание исправиться, — ответил ксендз-настоятель Кордецкий. — Что касается исповеди, я охотно удовлетворю ваше желание, а пока слушаю.

— Я долго ехал, — ответил Кмициц, — многое видел и исстрадался немало... Неприятель всюду укрепился, еретики всюду поднимают головы, и даже католики переходят в неприятельский лагерь. После завоевания двух столиц неприятель набрался такой дерзости, что хочет поднять святотатственную руку на Ясную Гору.

— От кого у вас эти известия? — спросил ксендз Кордецкий.

— Последнюю ночь я провел в Крушине. Туда приехал Вейхард Вжешович и императорский посол Лизоля, который возвращался от бранденбургского двора и спешил к шведскому королю.

— Шведский король уже не в Кракове, — ответил на это ксендз, пристально глядя в глаза пану Кмицицу.

Но пан Андрей не опустил глаз и продолжал:

— Я не знаю, там ли он или не там... Я знаю, что Лизоля ехал к нему и что Вжешович был прислан затем, чтобы сменить эскортный отряд и проводить его дальше. Оба они разговаривали при мне по-немецки, нисколько не опасаясь моего присутствия, так как не думали, чтобы я мог понимать их язык, который я знаю с детства так же хорошо, как и польский; я понял, что Вейхард настаивал на том, чтобы занять монастырь и добраться до сокровищницы, на что он получил разрешение от короля.

— И вы это слышали собственными ушами?

— Слышал собственными ушами.

— Да будет воля Божья! — спокойно сказал ксендз.

Кмициц испугался. Он думал, что ксендз называет Божьей волей приказ шведского короля и не думает о защите; и он сказал смущенно:

— В Пултуске я видел костел в шведских руках. В Божьем доме солдаты играли в карты, пили пиво из бочек и обнимали бесстыдных женщин!

Ксендз все смотрел прямо в глаза рыцарю.

— Странное дело, — сказал он, — искренность и правду я вижу в ваших глазах...

Кмициц вспыхнул:

— Пусть я здесь трупом паду, если я говорю неправду!

— Во всяком случае, это — важные известия, о которых надо будет посоветоваться. Вы позволите мне пригласить сюда старших монахов и кое-кого из почтенной шляхты, которая сейчас гостит у нас и которая помогает нам советами в эти ужасные времена? Вы позволите?

— Я охотно это им повторю!

Ксендз Кордецкий вышел и через четверть часа вернулся с четырьмя старшими монахами.

Вскоре вошел пан Ружиц-Замойский, мечник серадзский, человек почтенных лет; пан Окельницкий, хорунжий велюнский; пан Петр Чарнецкий, молодой кавалер с грозным и воинственным лицом, ростом и силой напоминавший дуб, и несколько шляхтичей разного возраста. Ксендз Кордецкий представил им пана Бабинича из Жмуди, потом повторил всем присутствующим новости, привезенные Кмицицем. Все они страшно удивились и стали внимательно и недоверчиво присматриваться к пану Андрею; никто не решался заговорить первым; тогда снова заговорил ксендз Кордецкий:

— Да хранит меня Бог, чтобы я стал подозревать этого кавалера в каких-нибудь дурных намерениях или во лжи; те новости, которые он привез, кажутся мне настолько невероятными, что я счел нужным расспросить его вместе с вами. Оставляя в стороне всякие дурные намерения, этот кавалер мог просто ошибиться, плохо слышать, плохо понять или же был нарочно врагами церкви введен в заблуждение. Наполнить наши сердца страхом, вызвать панику в святом месте, помешать отправлению богослужений — для них великая радость, от которой никто бы из них не отказался, по злобе своей.

— Это кажется мне очень правдоподобным, — ответил отец Нешковский, самый старший из собравшихся.

— Надо прежде всего узнать, не еретик ли сам этот кавалер, — сказал Петр Чарнецкий.

— Я католик, так же как и вы! — ответил Кмициц.

— Надо прежде всего узнать обстоятельства, — заметил пан Замойский.

— А обстоятельства таковы, — сказал ксендз Кордецкий, — что, должно быть, Бог и Пресвятая Дева умышленно ввергли неприятеля в такое ослепление, что он переполнил чашу своих неправедностей. Иначе он никогда бы не решился поднять меча на это святое место. Не собственными силами он завоевал Речь Посполитую, сами сыновья ее помогли ему в этом; но как низко ни пал наш народ, в какие грехи он ни погрузился — ведь и в самых грехах есть известная граница, которой он не посмел бы перейти. Он покинул своего государя, он отступился от Речи Посполитой, но он не перестал почитать Мать свою. Заступницу и Царицу. Неприятель издевается над нами и презирает нас, спрашивая, что осталось от наших прежних добродетелей? А я отвечаю: все они исчезли, но все же нечто осталось, ибо осталась вера, осталась любовь к Пресвятой Деве, и на этом фундаменте все может быть отстроено заново. И вижу ясно, что пусть только одна шведская пуля оцарапает эти святые стены, как самые закоренелые грешники отвернутся от шведов, из друзей их превратятся во врагов и обнажат мечи против них. Но ведь и шведы должны сознавать, что в этом для них гибель, и они прекрасно это понимают... А потому, если Бог, как я говорил, умышленно не ввергнул их в ослепление, они никогда не посмеют поднять свою руку на Ясную Гору, ибо в этот день свершилась бы перемена в их судьбе и опомнился бы наш народ.

Кмициц с изумлением слушал слова Кордецкого, которые были как бы ответом на то, что говорил Вжешович, осуждая польский народ. Но, оправившись немного от удивления, он заговорил: ослепление? Достаточно вспомнить его гордость, его жадность к земным благам, достаточно вспомнить невыносимый гнет и те подати, которыми облагают даже духовенство, и тогда можно понять, что он не остановится ни перед каким кощунством.

Ксендз Кордецкий ничего не ответил Кмицицу; обратившись ко всем присутствующим, он продолжал:

— Говорит этот кавалер, что видел посла Лизоля, который ехал к шведскому

королю; как же это может быть, если у меня есть достоверные известия из краковского монастыря паулинов³¹, что короля нет ни в Кракове, ни во всей Малопольше, ибо сейчас же после сдачи Кракова он уехал в Варшаву...

— Это невозможно, — ответил Кмициц, — и лучшее доказательство то, что он ждет изъявления покорности со стороны войска, которое осталось у Потоцкого.

— Изъявление покорности должен от имени короля принять генерал Дуглас, — ответил ксендз, — так мне пишут из Кракова.

Кмициц замолчал, он не знал, что ответить.

— Но я могу допустить, — продолжал ксендз, — что король шведский не хотел видеть императорского посла и предпочел умышленно с ним разъехаться. Карл-Густав любит так поступать: вдруг приехать, вдруг уехать; притом же его сердит вмешательство императора. Я охотно верю, что он уехал, сделав вид, что не знает о приезде посла. Меня не удивляет и то, что он послал графа Вжешовича, столь знаменитого человека, навстречу послу, — возможно, что он хотел загладить все любезностью, — но можно ли поверить, чтобы граф Вжешович стал сейчас же открывать свои намерения барону Лизоля, католику, другу Речи Посполитой и нашего изгнанного короля.

— Невероятно! — сказал отец Нешковский.

— И у меня это не укладывается в голове, — сказал мечник серадзский.

— Вжешович сам католик и наш благодетель, — сказал другой монах.

— И этот кавалер говорит, что слышал это собственными ушами? — резко спросил пан Петр Чарнецкий.

— Подумайте и о том, — прибавил ксендз-настоятель, — что у меня есть охранительная грамота от Карла-Густава, в коей значится, что ни монастырь, ни костел не могут быть заняты войсками и свободны от постоя.

— Надо признаться, — серьезно заметил пан Замойский, — что в этих известиях ничто одно с другим не вяжется: для шведов напасть на Ченстохов значило бы только повредить себе, никакой пользы от этого они не могли бы извлечь. Короля нет, следовательно, Лизоля не мог к нему ехать, и Вжешович не мог с ним откровенничать. Далее — он не еретик, а католик, не враг церкви, а ее друг. Наконец, если бы дьявол и стал искушать его напасть на монастырь, то он не посмел бы этого сделать вопреки воле и охранительной грамоте короля.

Тут он обратился к Кмицицу:

— Что же вы говорите, пан кавалер, и почему, с какими намерениями хотите вы испугать святых отцов и нас?

Кмициц стоял, как преступник перед судом. С одной стороны, его охватывало отчаяние при мысли, что если ему не поверят, то монастырь станет Добычей неприятеля, с другой стороны, его сжигал стыд, ибо он сам знал, что все говорит против его известий и что его легко могут упрекнуть во лжи. При этой мысли гнев терзал его, проснулась врожденная порывистость, мучило оскорбленное самолюбие — просыпался прежний полудикий Кмициц. Но он до тех пор боролся с собой, пока не поборол себя, — призвал на помощь все свое терпение и, повторяя в душе: «За грехи мои! За грехи мои!» — ответил с пылающим лицом:

— То, что я слышал, я повторяю еще раз. Вейхард Вжешович нападет на монастырь. Когда это произойдет — я не знаю, но думаю, что скоро... Я предупреждаю, и на ваши головы падет ответственность, если вы меня не послушаетесь!

Пан Чарнепкий ответил на это с ударением:

— Полегче, кавалер, полегче! Не возвышайте голоса! Потом пан Чарнецкий

³¹ *Паулины* — второстепенный по значению монашеский орден.

обратился к собравшимся:

— Позвольте мне, святые отцы, задать несколько вопросов этому незваному гостю...

— Вы не имеете права меня оскорблять, ваць-пане! — крикнул Кмициц.

— У меня нет и желания, — холодно ответил пан Петр, — но ведь здесь решается вопрос, касающийся Пресвятой Девы и ее храма. Поэтому вы, ваць-пане, должны отложить в сторону вашу обидчивость, если не совсем, то хотя бы на время, ибо будьте уверены, что я всегда к вашим услугам. Вы привезли известия, мы хотим их проверить, это наш долг, и удивляться этому нечего, а если вы не захотите отвечать, мы будем думать, что вы боитесь запутаться.

— Хорошо, спрашивайте! — сказал Бабинич, стиснув зубы.

— Вот что: вы говорите, что вы из Жмуди?

— Да.

— И приехали сюда, чтобы не служить шведам и изменнику Радзивиллу?

— Да.

— Но ведь там есть такие, которые ему не служат и стоят на стороне отчизны, есть полки, которые против него взбунтовались, есть пан Сапега... Почему вы к ним не пристали?

— Это мое дело!

— Ага! Ваше дело! — сказал Чарнецкий. — Так, может быть, вы ответите мне на другие вопросы?

Руки пана Андрея дрожали, глаза его впились в тяжелый медный звонок, стоявший перед ним на столе, и с этого звонка переходили на голову пана Чарнецкого. Им овладело безумное, неодолимое желание схватить этот звонок и запустить им пану Чарнецкому в голову. Прежний Кмициц все больше брал верх над богобоязненным и раскаивающимся паном Бабиничем. Но он еще раз поборол себя и сказал:

— Спрашивайте!

— Если вы из Жмуди, то вы должны знать, что происходит при дворе изменника. Назовите мне тех, кто помог ему погубить отчизну, назовите тех полковников, которые остались у него на службе.

Кмициц побледнел как полотно и назвал несколько имен. Пан Чарнецкий выслушал и сказал:

— Есть у меня приятель, придворный короля, пан Тизенгауз, который мне рассказывал еще об одном полковнике, самом знаменитом. Вы не знаете об этом архиподлеце?

— Не знаю...

— Как же так? Вы не слышали о том, кто проливал кровь братьев, как некий Каин? Не слышали, будучи на Жмуди, о Кмицице?

— Святые отцы! — вскрикнул вдруг пан Андрей, дрожа как в лихорадке. — Пусть меня спрашивает духовное лицо, я все перенесу... Но ради Господа Бога не позволяйте этому панку мучить меня дольше...

— Оставьте, — сказал ксендз Кордецкий, обращаясь к пану Петру. — Дело касается не этого кавалера.

— Еще один вопрос, — сказал мечник серадзский. И, обратившись к Кмицицу, он спросил:

— Вы не думали, ваць-пане, что мы не поверим вашим известиям?

— Видит Бог, не думал! — ответил пан Андрей.

— Какой же вы награды за них ждали?

Пан Андрей вместо ответа засунул обе руки в небольшой кожаный мешок, привешенный к поясу, высыпал на стол две пригоршни жемчуга, смарагдов, рубинов и других драгоценных камней.

— Вот вам!.. — сказал он задыхающимся голосом. — Я не за деньгами сюда пришел! Не за вашей наградой! Вот жемчуг и другие камни... Все это на войне взято... С боярских шапок сорвано... Я весь перед вами! Разве нужна мне награда? Я хотел это Пресвятой Деве в дар принести... Но только после исповеди... С чистым сердцем... Вот они!.. Вот они!.. Вот как нужна мне награда!.. У меня и больше есть!.. Чтоб вас!..

Все замолчали с изумлением: вид драгоценностей, которые Кмициц высыпал как горох из мешка, произвел немалое впечатление; каждый невольно спрашивал самого себя: «Какие причины могли заставить этого человека лгать, если ему не нужна была награда?»

Пан Петр Чарнецкий смутился, ибо такова натура человеческая, что ее ослепляет вид чужого могущества и богатства. Наконец и подозрения его исчезли, ибо он не мог предположить, чтобы такой пан, швыряющийся драгоценностями, стал пугать монахов ради личной выгоды.

Присутствующие переглядывались, а он стоял над драгоценностями с поднятой кверху головой, похожий на разозленного орла, с огнем в глазах и краской в лице. Недавняя рана, проходившая сквозь висок и щеку, посинела, и страшен был пан Бабинич, хищными глазами глядевший на Чарнецкого, против которого он и обратил свой гнев.

— Сквозь гнев ваш проглядывает правда, — сказал ксендз Кордецкий, — но эти драгоценности вы спрячьте, ибо не может Пресвятая Дева принять то, что подарено ей в гневе, хотя бы и в справедливом. Впрочем, как я сказал, не в вас тут дело, а в известиях, которые наполнили нас страхом и ужасом. Одному Господу известно, нет ли здесь какого-нибудь недоразумения или ошибки, ибо, как вы сами видели, то, что вы говорите, не вяжется с правдой. Как же мы можем прогнать богомольцев, как же мы можем день и ночь Держать ворота закрытыми и не дать народу молиться Пресвятой Деве?

— Заприте ворота! Ради Господа Бога, заприте ворота!.. — крикнул пан Кмициц, заломив руки так, что пальцы затрещали в суставах.

В голосе его было столько искренности и непритворного отчаяния, что присутствующие невольно вздрогнули, точно опасность была уже близко; пан Замойский сказал:

— Ведь мы и так зорко следим за окрестностями и починяем стены. Днем Можно пускать людей молиться, но все же надо быть осторожными, хотя бы Потому, что Карл-Густав уехал, а Виттенберг, говорят, держит Краков в ежовых рукавицах, притесняет духовенство наравне со светскими людьми.

— Хотя я в нападение не верю, но против осторожности ничего не имею, — отвечал пан Петр Чарнепкий.

— А я вышлю монахов к Вжещовичу, — сказал ксендз Кордецкий, — с вопросом: «Неужели охранительная грамота короля уже ничего не значит?»

Кмициц облегченно вздохнул:

— Слава богу! Слава богу! — воскликнул он.

— Пан кавалер! — сказал ему ксендз Кордецкий. — Бог вознаградит вас за добрые намерения... Если вы предупредили нас основательно, это будет незабвенная заслуга перед Святой Девой и отчизной; не удивляйтесь, что мы приняли с недоверием ваши известия. Нас уже не раз здесь пугали; одни делали это из ненависти к нашей вере, чтобы оскорбить Пресвятую Деву; другие из алчности, чтобы чем-нибудь попользоваться; третьи только потому, чтобы принести новость и обратить на себя внимание, а может быть, были и такие, которых ввели в заблуждение, как, вероятно, и вас. Дьявол ненавидит место сие и прилагает все усилия, чтобы помешать отправлению богослужений, допустить к участию в них как можно меньше верующих, ибо ничто не приводит в такое отчаяние царство дьявола,

как почитание той, кто сокрушила главу змия... А теперь пора к вечерне! Будем молить ее о милости, поручим себя ее опеке, и пусть каждый потом спокойно ляжет спать, ибо где же должен быть покой и безопасность, если не под ее крыльями?

И все разошлись.

Когда вечерня кончилась, сам ксендз Кордецкий стал исповедовать пана Андрея и исповедовал его долго в пустом уже костеле; потом пан Андрей лежал распростертый на полу у входа в часовню до самой полуночи.

В полночь он вернулся к себе в келью, разбудил Сороку и, прежде чем лечь спать, велел Сороке бичевать его так, что спина и плечи залились кровью.

XIII

На следующий день в монастыре поднялось странное и необычное движение. Хотя ворота были открыты, доступ для богомольцев был свободен и церковная служба отправлялась обычным порядком, но после богослужения всем было приказано уйти из монастыря. Сам ксендз Кордецкий в сопровождении пана мечника серадзекого и пана Чарнецкого тщательно осматривал подпоры и эскарпы, поддерживавшие стены снаружи и изнутри. Кое-что пришлось починять; кузнецам в городе приказано было заготовить наконечники для копий, приладить косы, вдоль древка, к длинным деревянным палкам, заготовить дубины и тяжелые деревянные колоды, унизанные острыми гвоздями; а так как всем было известно, что в монастыре был уже большой запас такого оружия, то по всему городу сейчас же пошли слухи, что монастырь готовится к скорому нападению. Все новые и новые распоряжения, казалось, подтверждали эти слухи.

К ночи двести человек было занято починкой стен; двенадцать тяжелых орудий, присланных еще до осады Кракова паном Варшицким, каштеляном краковским, были поставлены на новых лафетах и приведены в боевую готовность.

Из монастырского арсенала монахи и прислуга выносили ядра, которые грудами сваливали у пушек, выкатили бочки с порохом, развязали связки мушкетов и раздавали их гарнизону. На башнях и в бойницах была расставлена стража, которая должна была днем и ночью внимательно следить за окрестностями; кроме того, были высланы разведочные отряды в сторону Пжистайни, Клобуцка, Кшепиц, Крушины и Мстова.

В монастырские кладовые, и без того полные припасов, свозили провиант из города, предместья и деревень, принадлежавших монастырю.

Слух об этом как гром пронесся по всей округе. Мещане и мужики стали собираться на сходы и совещаться. Многие не хотели верить, чтобы неприятель, кто бы он ни был, посмел поднять руку на Ясную Гору.

Утверждали, что занят будет только город Ченстохов, но и это волновало умы, особенно когда люди вспоминали, что шведы — еретики, которых ничто не удержит и которые могут умышленно осквернить храм Пресвятой Девы.

И вот люди колебались, сомневались и верили в то же время. Одни заламывали руки, ожидая страшных явлений на земле и на небе, видимых знамений гнева Божьего; другие погрузились в беспомощное и немое отчаяние; третьих охватывал нечеловеческий гнев, и умы их словно пылали. И как только фантазия людей развернула к полету свои крылья, тотчас начали кружить всевозможные известия, все более беспорядочные, все более чудовищные.

И как бывает, когда кто-нибудь палкой разроет муравейник или бросит в него тлеющий уголек, тотчас на поверхность муравейника выползают встревоженные рои муравьев, клубятся, разбегаются по сторонам и сбегаются снова, — так все заклобуилось и закипело в городе и в окрестных деревнях.

После полудня толпы мещан и мужиков вместе с женами и детьми окружили

монастырские стены и точно осадили монастырь с плачем и стоном, К вечеру к ним вышел ксендз Кордецкий и, войдя в толпу, спросил:

— Люди, чего вы здесь хотите?

— Мы хотим составить гарнизон, монастырь защищать и Богородицу! — кричали мужчины, потрясая цепями, вилами и другим деревенским оружием.

— Хотим на Пресвятую Деву последний раз посмотреть! — стонали женщины.

Ксендз Кордецкий встал на выступ скалы и сказал:

— Врата адовы не одолеют сил небесных! Успокойтесь и надейтесь! Не вступит нога еретика в эти святые стены, ни лютеране, ни кальвинисты не будут совершать здесь, в храме веры и благочестия, свои богопротивные службы. Я не знаю, придет ли сюда дерзкий неприятель, но знаю, что если бы он пришел, то должен был бы уйти со стыдом и позором, ибо мощь его сломит большая мощь, будет положен предел его злобе, и силы его разобьются о монастырские стены и переменится судьба его! Да вступит бодрость в ваши сердца. Вы не последний раз видите нашу Защитницу, вы увидите ее в еще большей славе и узрите новые чудеса. Да вступит бодрость в ваши сердца, утрите слезы, укрепитесь в вере, ибо говорю вам, — и не я говорю, а дух Божий говорит моими устами, — благодать исходит от сего места, и мраку не одолеть света, как той ночи, что приближается сегодня, не помешать Божьему солнцу завтра взойти.

Солнце как раз заходило. Сумерки заволокли землю, и только костел алел в последних лучах зари. Видя это, люди опустились на колени около стен, и бодрая вера вступила в их сердца. Между тем колокол на башне зазвонил к вечерней молитве. Ксендз Кордецкий запел ее, и ему вторила вся толпа. Шляхта и солдаты, стоявшие на стенах, присоединили к этому хору свои голоса; вот зазвенели другие колокола, и казалось, вся гора поет и звенит, как огромный орган, гудящий во все стороны мира.

Пели долго; ксендз Кордецкий благословил уходивших и сказал им:

— Кто служил в войске, умеет обращаться с оружием и у кого сердце мужественное, пусть завтра утром приходит в монастырь!

— Я служил! Я был в пехоте! Я приду! — раздались многочисленные голоса.

И толпа расплылась понемому. Спустилась спокойная ночь. Все проснулись с радостным криком: «Шведов нет». Но все же ремесленники весь день свозили заказанные у них предметы.

Лавочникам, которые держали свои лавки у восточной стены, было приказано свезти товар в монастырь, а в самом монастыре все еще продолжались работы у стен. Особенно укрепляли узкие проходы в стенах, которые могли служить для вылазок. Пан Ружиц-Замойский велел завалить их бревнами, кирпичом и навозом, но так, чтобы проходами изнутри можно было пользоваться.

Весь день подходили возы с запасами и провиантом, съехалось несколько шляхетских семейств, которых встревожило известие о наступлении неприятеля.

Около полудня вернулись люди, высланные вчера на разведки, но никто из них не видел шведов и даже не слышал о них, кроме тех, которые стояли в Кшепицах.

Но военные приготовления в монастыре продолжались. По приказу ксендза Кордецкого пришли те мещане и мужики, которые раньше служили в пехоте и были знакомы с военной службой. Они были отданы под команду пана Зигмунта Мосинского, под наблюдением которого находились северовосточные башни. Пан Замойский весь день размещал людей, учил их, что надо делать, или совещался в трапезной с монахами. Кмициц с радостью в сердце смотрел на военные приготовления, на учения солдат, на пушки, на горы мушкетов, луков, копий и дубин. Это была его стихия. Среди грозных орудий, среди суеты приготовлений и военной лихорадки он чувствовал себя великолепно, легко и весело. Особенно легко и весело было ему потому, что он отысповедовался в грехах всей своей жизни, как делают

умирающие, и, сверх его ожиданий, ему было дано отпущение грехов, ибо священник принял во внимание его добрые намерения, искреннее желание исправиться и то, что он уже вступил на путь исправления.

Так пан Андрей избавился от бремени, под тяжестью которого уже падал почти. На него была наложена тяжелая епитимья, и каждый день спина его заливалась кровью под плетью Сороки; ему было велено укреплять себя в смирении, и это было особенно тяжело, ибо смирения было мало в его сердце; наоборот, в нем была гордость и горячность. Наконец, ему велели добродетельными поступками подтвердить свое раскаяние, но это было совсем легко. Всей своей молодой душой он рвался к подвигам и под подвигами подразумевал, конечно, войну и возможность резать шведов с утра до вечера, без усталости и без милосердия. И какая прекрасная, какая широкая дорога открывалась перед ним в этом смысле! Бить шведов, не только защищая отчизну, не только защищая государя, которому он дал клятву верности, но еще защищая Царицу ангелов, — ведь это было такое счастье, о котором он не смел и думать. Куда девались те времена, когда он стоял словно на распутье, спрашивая себя, куда ему идти; куда девались те времена, когда он не знал, что ему делать, когда во всех людях он встречал одно лишь сомнение и сам уже начал терять надежду.

А здешние люди, эти монахи в белых рясах, эта горсточка мужиков и шляхты готовились к обороне, к борьбе на жизнь и смерть. Это был единственный такой уголок во всей Речи Посполитой, и пан Андрей как раз в него и попал, точно его вела какая-то счастливая звезда. Кроме того, он свято верил в победу, хотя бы эти стены окружили все шведские силы. В сердце его были молитва, радость и благодарность.

В таком настроении ходил он по стенам, с просветлевшим лицом, обо всем расспрашивал, ко всему присматривался и видел, что все идет хорошо. Глаз знатока уже во время самых приготовлений разглядел, что они ведутся людьми опытными, которые сумеют показать себя и тогда, когда дело дойдет до войны. Он удивлялся спокойствию ксендза Кордецкого, к которому стал питать чувство какого-то обожания, удивлялся уму пана мечника серадзского и даже не очень косо смотрел на пана Чарнецкого, хотя немного и злился на него.

Этот рыцарь всегда осматривал его строгими глазами и, встретив его однажды на стене, через день после возвращения разведочных отрядов, сказал ему:

— А шведов что-то не видно, пан кавалер, и если они не придут, так репутации вашей и пес не позавидует.

— Зато, если их приход чем-нибудь будет угрожать святому месту, мне нечего будет думать о репутации, — ответил Кмициц.

— Лучше бы вам не нюхать их пороха! Знаем мы таких героев, у которых сапоги заячьей шкуркой подбиты!

Кмициц опустил глаза, как панна.

— Лучше бы вы оставили ссоры! — сказал он. — Чем я перед вами провинился? Я забыл свой гнев, забудьте и вы!

— Но вы называли меня панком, — резко ответил пан Петр. — А сами вы кто такой? Чем Бабиничи лучше Чарнецких? Разве это какой сенаторский род?

— Мосци-пане, — весело ответил Кмициц, — если бы не смирение, в коем мне велено себя укреплять, если бы не плеть, что каждый день спину мне хлещет за прежние грехи, я бы вас еще иначе назвал, да только боюсь я, как бы мне в прежние грехи не впасть. А что касается того, кто лучше, Бабиничи или Чарнецкие, это мы увидим, когда шведы придут.

— А какую должность вы думаете получить? Уж не думаете ли вы, что вас назначат одним из начальников?

Кмициц стал серьезнее.

— Вы заподозрили меня в том, что я добивался награды, теперь подозреваете,

что я добиваюсь должности. Так знайте, что я не за почестями сюда приехал, в другом месте я бы больших мог добиться. Я буду простым солдатом, хотя бы под вашей командой.

— Почему «хотя бы»?

— Потому что вы злитесь на меня и хотите ко мне придирааться.

— Гм... Нечего сказать! Это прекрасно с вашей стороны, что вы хотите стать простым солдатом, ибо видно, что военного духу в вас хоть отбавляй и смирение вам не легко дается. Так вы хотите биться?

— Это видно будет, когда шведы придут, — я уже сказал.

— Ну а если шведы не придут?

— Тогда знаете что, ваць-пане? Мы пойдем их искать! — сказал Кмициц.

— Вот за это люблю! — воскликнул пан Петр. — Можно бы недурную партию набрать... Тут Силезия неподалеку, можно бы хороших солдат достать. Старшины, как и дядя мой, связаны словом, но нас, простеньких, и не спрашивали. По первому зову много народа соберется!

— И хороший пример можно другим дать! — восторженно воскликнул Кмициц. — У меня тоже есть здесь горсточка людей... Вы бы только посмотрели их за работой!

— Ну... ну... — сказал пан Петр. — Видит Бог, я вас расцелую!

— И я вас! — сказал Кмициц.

И, не долго думая, они бросились друг к другу в объятия.

Как раз в это время проходил ксендз Кордецкий и, увидев эту сцену, стал благословлять их, а они сейчас же рассказали ему, о чем говорили. Ксендз только улыбнулся спокойно и прошел дальше, пробормотав как бы про себя:

— К больному здоровье возвращается.

К вечеру приготовления были кончены и крепость была совершенно готова к обороне. Ни в чем не было недостатка: ни в порохе, ни в пушках, ни в стенах, ни в гарнизоне, довольно многочисленном и сильном.

Ченстохов или, вернее, Ясная Гора считалась одной из незначительных и слабых крепостей Речи Посполитой, несмотря на ее природные и искусственные укрепления. Что же касается гарнизона, то его можно было набрать в любом количестве, стоило бы только клич кликнуть, но монахи не хотели обременять крепость гарнизоном, чтобы запасов хватило подольше.

Поэтому были и такие, особенно среди немецких пушкарей, которые были убеждены, что Ченстохов защищаться не сможет.

Глупые! Они не знали, что защищает его помимо стен, не знали, что значит сердце, вдохновенное верой. Ксендз Кордецкий, опасаясь, как бы они не сеяли сомнений между людьми, удалил их, кроме одного, который считался мастером своего дела.

В тот же день к Кмицицу пришел старик Кемлич вместе с сыновьями и просил освободить его от службы.

Пана Андрея охватила злоба.

— Псы! — крикнул он. — Вы добровольно от такого счастья отказываетесь и Пресвятую Деву не хотите защищать!.. Хорошо, пусть и так будет. За лошадей я вам заплачу, а сейчас заплачу и за службу!

Он достал кошель и швырнул его им под ноги.

— Так вот вы какие! Вы хотите по ту сторону стен добычи искать! Хотите разбойниками быть, а не защитниками Девы Марии? Прочь с моих глаз! Недостойны вы умереть такой смертью, какая ждет вас здесь! Прочь! Прочь!

— Недостойны, — ответил старик, разводя руками и склоняя голову, — недостойны мы, чтобы глаза наши взирали на благолепие ясногорское. Врата небесные! Звезда утренняя! Грешных прибежище! Недостойны мы, недостойны!

Он поклонился низко, так низко, что согнулся в три погибели, и вместе с тем своей исхудавшей хищной рукой схватил кошель, лежавший на полу.

— Но и за стенами, — сказал он, — мы не перестанем служить... ваша милость... В случае чего, мы дадим знать обо всем. Пойдем всюду, куда нужно будет... Сделаем, что прикажут... У вас, ваша милость, за стенами слуги будут всегда наготове...

— Прочь! — повторил пан Андрей.

Они вышли, отвешивая поклоны и дрожа от страха. Они были счастливы, что все этим и кончилось. К вечеру в крепости их уже не было.

Ночь настала темная и дождливая. Было 8 октября. Приближалась ранняя зима, и вместе с потоками дождя на землю ложились первые хлопья мокрого снега. Тишину прерывали только протяжные возгласы, которыми перекликалась стража от башни к башне: «Слуша-ай». В темноте то тут, то там мелькала белая ряса ксендза Кордецкого. Кмициц не спал; он был на стенах вместе с паном Чарнецким, с которым разговаривал о прежних войнах. Кмициц рассказывал про войну с Хованским, не упоминая, конечно, о том, какое участие он сам принимал в ней, а пан Чарнецкий рассказывал о стычках со шведами под Пжедбожем, Жарновцами и в окрестностях Кракова, причем прихвастывал слегка и говорил:

— Делали мы что могли. Каждому шведу, которого мне удавалось уложить, я особый счет вел, узелки завязывал на ремне от сабли. Шесть узелков у меня есть и, Бог даст, больше будет. Поэтому у меня сабля все выше висит, чуть не под мышкой... Скоро ремня не хватит, но я узлов развязывать не буду, в каждый узелок велю драгоценный камень вставить и после войны на образе повешу. А у вас на совести есть хоть один швед?

— Нет, — ответил со стыдом Кмициц. — Недалеко от Сохачева я разбил шайку, но это был какой-то сброд...

— Но гиперборейцев вы могли бы много насчитать?

— Этих набралось бы порядочно!

— Со шведами труднее! Из них редко который — не колдун... У финнов научились они колдовству, и у каждого из них по два или по три черта в услужении, а есть и такие, у которых и по семи! Во время стычек они их защищают... Но если они сюда придут, черти тут ничего поделат не смогут, ибо во всей округе, откуда Ясногорская башня видна, сила бесовская ничего не может! Вы об этом слышали, ваша милость?

Кмициц ничего не ответил, повернул голову и стал прислушиваться.

— Идут! — сказал он вдруг.

— Что? Ради бога! Что вы говорите?!

— Лошадей слышу!

— Это ветер с дождем гудит!

— Богом клянусь, это не ветер, а лошади! У меня ухо к этому привычно. Едет целое войско конницы... Оно уже близко, только ветер заглушает! Слуша-ай!

Голос Кмицица разбудил дремавшую поблизости и окоченевшую от холода стражу, но не успел он еще отзвучать, как вдруг внизу, в темноте, послышались пронзительные звуки труб и загудели протяжно, жалобно и жутко. Все в монастыре проснулось, все с недоумением и ужасом спрашивали друг у друга:

— Уж не трубы ли Судного дня гудят в глухую ночь?

Монахи, солдаты, шляхта высыпали на монастырский двор. Звонари бросились на колокольню, и вскоре зазвенели все колокола, точно грянули в набат, и звуки их смешались со звуками труб, все еще не замолкавших.

В бочки со смолой, заранее приготовленные и привешенные на цепях, были брошены зажженные фитили, потом их подтянули вверх. Красный свет залил подножие скалы, и вот из темноты выступил сначала отряд конных трубачей, с

трубами, поднятыми вверх, а за ним длинные и глубокие ряды рейтар с развевающимися знаменами.

Трубачи еще трубили некоторое время, точно хотели этими медными звуками выразить всю мощь шведов и испугать монахов. Наконец звуки труб замолкли; один из трубачей выступил вперед и, размахивая белым платком, подъехал к воротам.

— Именем его королевского величества, — воскликнул трубач, — короля шведов, готов и вандалов, великого князя финляндского, эстонского, карельского, герцога бременского, верденского, штеттинского, померанского, кашубского, князя ругийского, господина Ингрии, Бисмарка и Баварии, графа — паладина Рейнского и графа бергского!.. Отворите!..

— Пустить! — раздался голос ксендза Кордецкого.

Ворот не открыли, открыли лишь дверцу в воротах. Всадник с минуту колебался, наконец слез с лошади, вошел внутрь стен и, увидев кучку людей в белых рясах, спросил:

— Кто из вас настоятель монастыря?

— Я! — ответил ксендз Кордецкий.

Всадник подал ему письмо с печатями и сказал:

— Граф будет ждать ответа у костела Святой Варвары.

Ксендз Кордецкий тотчас вызвал на совещание монахов и шляхту. По дороге пан Чарнецкий сказал Кмицицу:

— Пойдите и вы!

— Пойду, но только из любопытства, — ответил пан Андрей, — мне там нечего делать. Я не языком хочу служить Пресвятой Деве!

Когда все заняли места, ксендз Кордецкий сорвал печати и прочел следующее:

— «Ведомо вам, почтенные отцы, сколь благожелателен и расположен душевно был я всегда к сему святому месту и к ордену вашему, а равно с каким постоянством заботился я о вас и осыпал благодеяниями. А потому хочу искренне, чтобы верили вы, что благорасположение мое к вам не исчезло и ныне. Не как враг, а как друг ваш, прибыл я сюда. Без страха сдайте ваш монастырь на мое попечение, ибо этого требуют обстоятельства. Этим путем вы приобретете спокойствие, столь для вас необходимое, и безопасность. Я торжественно обещаю вам, что святыни ваши будут неприкосновенны, добро ваше будет в безопасности, я сам буду нести все расходы и даже приумножу ваши богатства. А потому обдумайте: сколь полезно будет для вас удовлетворить желание мое и доверить моему попечению ваш монастырь. Помните и о том, чтобы большее несчастье не постигло вас от грозного генерала Мюллера, приказания коего будут тем для вас тяжелее, что еретик он и враг истинной веры. Когда он подойдет, вам придется покориться и исполнить его волю; тогда поздно будет вам с болью душевной сожалеть, что отклонили вы мой дружеский совет».

Воспоминания о недавних благодеяниях Вжещовича сильно подействовало на монахов. Были и такие, которые верили, что он искренне расположен к монастырю, и в его совести видели предотвращение будущих бедствий и несчастий.

Но никто не просил голоса, выжидая, что скажет ксендз Кордецкий; он молчал некоторое время, и только губы его шевелились в безмолвной молитве; потом он сказал:

— Разве истинный друг приходит ночной порой, разве станет он смущать покой спящих слуг Божьих столь ужасным ревом труб? Разве друг приходит во главе многих тысяч войска, как то, что стоит теперь перед стенами? Ведь он не приехал сам-пят, сам-десять, зная, что, как благодетель наш, он мог бы ждать только радостной встречи? Что означают эти полчища солдат, как не угрозу на тот случай, если мы не захотим отдать монастыря... Братья дорогие, вспомните и о том, что неприятель этот нигде не сдерживал слов своих и клятв, нигде не соблюдал охранительных грамот! Ведь

вот и у нас есть королевская грамота, которую нам прислали добровольно и которая содержит ясное обещание, что монастырь не может быть занят войсками, а ведь войска стоят под его стенами, и лживость королевских обещаний возвещают они трубными звуками. Братья дорогие! Пусть каждый из вас имеет на сердце горе, дабы Дух Святой снизошел в него, и тогда советуйте, говорите, что подсказывает вам совесть и забота о благе сего святого места!

Настала тишина.

Вдруг раздался голос Кмицица:

— Я слышал в Крушине, — сказал он, — как Лизоля спросил: «А вы пошарите в монастырской сокровищнице?» — и Вжещович, тот самый, который стоит под стенами, ответил: «Матери Божьей талеры из монастырской сокровищницы не нужны». Сегодня тот же самый Вжещович пишет вам, святые отцы, что он сам будет нести все расходы и еще приумножит ваши богатства. Взвесьте искренность слов его!

На это ответил ксендз Мелецкий, самый старший из всех собравшихся, служивший раньше на военной службе:

— Мы живем в бедности, а деньги идут на свечи, что горят перед образами Пресвятой Девы. И если мы отдадим их, чтобы тем самым купить безопасность святого места, то кто же поручится нам, что неприятель не сорвет кощунственными руками святые ризы с образа, не отнимет церковную утварь? Разве можно верить лжецам?

— Без епископа, которого мы обязаны слушаться, мы ничего не можем решить! — сказал отец Доброш.

А ксендз Томицкий прибавил:

— Война не наше дело, и потому выслушаем сначала, что скажет рыцарство, которое собралось под кровом Богоматери.

Глаза всех обратились на пана Замойского, старшего по годам, по авторитету и по сану; он встал и сказал следующее:

— Дело касается вашей участи, почтенные отцы. А потому сравните мощь неприятеля с тем сопротивлением, которое вы можете оказать ему по мере сил и средств ваших, и поступайте согласно вашей воле. Какой же совет можем вам дать мы, гости? Но так как вы спрашиваете нас, святые отцы, что делать, то я отвечаю: пока крайность нас к тому не принудит, пусть мысль о сдаче будет далеко. Ибо позорное и недостойное дело — покорностью покупать ненадежное спокойствие у неприятеля. Мы искали у вас убежища вместе с нашими женами и детьми, поручая себя попечению Пресвятой Девы с непоколебимою верой, и решили жить с вами, а если Бог того захочет, то и умереть с вами вместе. Воистину, так лучше, чем добровольно принять позорную неволю или смотреть на осквернение святыни... О, Мать Всевышнего Бога, вдохновившая наши сердца мыслью защищать ее от безбожников и кощунственных еретиков, поможет слугам своим в их благочестивых усилиях и поддержит дело святой обороны!

Тут пан мечник серадзский замолк; все обдумывали его слова, ободряясь их содержанием, а Кмициц, как всегда не успев еще подумать, подскочил к старцу и прижал его руку к губам.

Эта картина произвела сильное впечатление на присутствующих: все Увидели в этом юношеском порыве хорошее предзнаменование — сердца всех охватило окрепшее желание защищать монастырь.

И тут же все услышали еще нечто, что было понято как предзнаменование: за окном трапезной раздался вдруг дрожащий старческий голос монастырской нищенки Констанции, которая пела:

Тщетно, гусит, ты страшишь и грозишься,

Тщетно на помощь дьявола льстишься,
Тщетно воюешь и кровь проливаешь —
Мощи моей не знаешь!

— Вот предостережение для нас, — сказал ксендз Кордецкий, — которое ниспосылает нам Господь устами старой нищенки. Будем защищаться, братья, ибо ни у кого из воюющих не было еще такой помощи, как у нас.

— Мы с радостью жизнь отдадим! — воскликнул пан Петр Чарнецкий.

— Не будем верить вероломным! Не будем верить ни еретикам, ни католикам, которые вступили на службу к злему духу! — кричали другие голоса, не давая слова тем, кто хотел возражать.

Решено было выслать двух ксендзов к Вжещовичу с заявлением, что монастырские ворота будут закрыты и что осажденные будут защищаться, на что им дает право охранительная грамота короля.

Но в то же время послы должны были смиренно просить Вжещовича оставить свои намерения или, по крайней мере, отложить их на время, пока монахи не спросят разрешения у епископа Броневского, в ведении которого находился орден и который сейчас был в Силезии.

Послы, отец Бенедикт Ярачевский и Марцелий Томицкий, вышли за ворота; остальные с трепетно бившимся сердцем ожидали их в трапезной, ибо монахов, непривычных к войне, охватывал ужас при мысли, что настает минута, когда им приходится выбирать между служением долгу и местью неприятелю.

Но не прошло и получаса, как оба монаха снова предстали перед собранием. Они поникли головами, лица их были печальны и бледны. Молча подали они ксендзу Кордецкому новое письмо Вжещовича. Он взял его в руки и прочел вслух. Это были те условия, на которых Вжещович предлагал монахам сдать монастырь.

Окончив чтение письма, настоятель остановил свои глаза на присутствующих и наконец сказал торжественным голосом:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Во имя Пресвятой и Пречистой Матери Господа Бога нашего! На стены, братья дорогие!

— На стены! На стены! — раздались голоса в трапезной.

Минуту спустя пламя осветило подножие монастыря. Вжещович велел поджечь постройки при костеле Святой Варвары. Пожар, охватив старые дома, разрастался с каждой минутой. Вскоре столбы красного дыма взвились к небу, и в них зазмеились красные языки пламени. Наконец зарево разлилось по всему небу.

При свете огня виднелись отряды конницы, которые быстро переносились с места на место. Началась обычная воинская потеха. Рейтары выгоняли из овинов скот, который, разбегаясь в ужасе, наполнял воздух жалобным ревом. Овцы, сбившись в кучи, лезли прямо на огонь. Запах гари проник даже в монастырь. Многие из защитников впервые видели кровавый лик войны, и сердца их немели от ужаса при виде людей, которых гнали солдаты и поражали мечами, при виде женщин, которых солдаты таскали за волосы. В кровавом свете пожара все было видно как на ладони. Осажденные слышали не только крики, но даже отдельные слова.

Так как монастырские пушки все еще молчали, то рейтары соскакивали с лошадей и подходили к самому подножию горы, потрясая мечами и мушкетами.

Каждую минуту подбегал какой-нибудь солдат в желтом рейтарском плаще и, сложив рупор ладони у рта, ругался и грозил осажденным, которые слушали это терпеливо, стоя у пушек с зажженными фитилями.

Пан Кмициц стоял рядом с паном Чарнецким прямо против костела и видел все прекрасно. На щеках у него выступил яркий румянец, глаза были похожи на две зажженные свечи; в руках он держал великолепный лук, доставшийся ему по наследству от отца, который отнял его у одного убитого им под Хотинном турецкого

аги. Он слушал угрозы и ругань; наконец, когда огромный рейтар подъехал к скале и закричал что-то снизу, пан Андрей оборотился к Чарнецкому:

— Господи боже! Да ведь он Пресвятую Деву поносит!.. Я по-немецки понимаю... И как ругается! Я не выдержу!!

И он хотел было уже взять лук на прицел, но пан Чарнецкий удержал его за руку.

— Господь его накажет за богохульство, — сказал он, — а ксендз Кордецкий запретил нам стрелять первыми. Пусть они сами начинают!

Не успел он это сказать, как рейтар прицелился из мушкета — грянул выстрел, и пуля, не долетев до стен, пропала где-то в расщелине скалы.

— Теперь можно? — крикнул Кмициц.

— Можно! — отвечал Чарнецкий.

Кмициц, как настоящий воин, в одну минуту успокоился. Рейтар, защищая ладонью глаза, старался разглядеть, куда попала пуля; Кмициц натянул лук, провел пальцем по тетиве, которая зазвенела, как ласточка, подался вперед и крикнул:

— Труп! Труп!

Раздался свист страшной стрелы; рейтар уронил мушкет, поднял обе руки вверх, закинул голову и повалился навзничь. Некоторое время он метался, как рыба, вынутая из воды, бился ногами о землю, но вдруг вытянулся и застыл в неподвижности.

— Вот первый! — сказал Кмициц.

— Завяжи узелок для памяти! — сказал пан Петр.

— Веревки на колокольне не хватит, если даст Господь! — крикнул пан Андрей.

В эту минуту к трупам подбежал другой рейтар, чтобы посмотреть, что с ним, а может быть, чтобы отнять кошелек; но снова просвистела стрела, и рейтар повалился на труп товарища.

Но вот загрохотали полевые орудия, которые Вжешович привез с собой. Он не мог ими разрушить крепости, как не мог и думать о взятии ее, раз с ним была только конница. Он велел стрелять, чтобы поугаждать ксендзов. Но все же начало было дано.

Ксендз Кордецкий подошел к пану Чарнецкому; за ним шел ксендз Доброш, который в мирное время заведовал монастырской артиллерией и в праздничные дни давал салюты, поэтому среди монахов он считался прекрасным пушкарем.

Настоятель перекрестил орудие и указал на него ксендзу Доброшу; тот засучил рукава и стал наводить его на промежуток между двумя домами, где виднелось десятка два драгун и среди них офицер с рапирой в руке. Долго Целился ксендз Доброш, чтобы не уронить свою репутацию. Наконец он взял фитиль и поднес его к пушке.

Грохнул выстрел, и все заволокло дымом. Минуту спустя ветер его развеял. В промежутке между домами не было уже ни одного всадника. Несколько человек лежали на земле вместе с лошадьми, другие бежали.

Монахи запели на стенах. Треск рушащихся строений близ костела Святой Варвары вторил их пению. Стало темнее, и лишь огромные столбы искр поднялись высоко в воздухе.

Снова раздались звуки труб в войске Вжешовича, но все отдалялись и отдалялись. Пожар догорал. Мрак окутал подножие Ясной Горы. То тут, то там слышалось ржанье лошадей, но все дальше, все слабее. Вжешович отступал к Кшепицам.

Ксендз Кордецкий опустился на колени.

— Мария, Матерь Бога живого, — сказал он сильным голосом, — сделай так, чтобы тот, кто придет после него, ушел также со стыдом и с бессильным гневом в душе!

Пока он молился, тучи вдруг расступились на небе и полная луна ярким белым светом залила башню, стены, коленопреклоненного настоятеля и развалины

строений, сожженных близ костела Святой Варвары.

XIV

На следующий день у подножия Ясной Горы все было спокойно, — пользуясь этим, монахи с особенным рвением занялись приготовлениями к обороне: делали последние исправления в стенах и башнях, заготавливали запасы орудий, служащих для отражения штурмов. Из соседних деревень пришло десятка два мужиков, которые служили раньше в полевой пехоте. Их приняли и причислили к гарнизону. Ксендз Кордецкий работал за троих. Он служил обедни, председательствовал на совещаниях, не пропускал ни одной службы ни днем ни ночью, а в остальное время осматривал стены, разговаривал со шляхтой и крестьянами. В лице и во всей фигуре его было такое спокойствие, какое бывает только у изваяний. Посмотрев на его лицо, побледневшее от бессонных ночей, можно было подумать, что этот человек спит легким и сладким сном; но тихая, безропотная покорность и почти веселость, горевшая в глазах, губы, которые так часто шептали молитвы, говорили, что он чувствует, мыслит, молится и жертвует всем ради других. Из этой души, всеми силами устремленной к Богу, вера плыла спокойным и глубоким потоком; все пили ее полной чашей, и у кого душа была больная, тот выздоравливал. Где белела его ряса, там лица людей прояснялись, глаза улыбались и уста говорили: «Отец наш добрый, утешитель, защитник, надежда наша!» Целовали его руки и рясу, а он улыбался, как заря, и проходил дальше, а вокруг него, над ним и перед ним шли бодрость и спокойствие.

Но он не забывал и о земных средствах защиты; отцы, входившие в его келью, если не заставляли его за молитвой, то заставляли за письмами, которые он рассылал во все стороны. Он писал Виттенбергу, главному коменданту Кракова, умоляя о милосердии к святому месту, писал Яну Казимиру, который делал в Ополье последние усилия, чтобы спасти свой неблагодарный народ; писал к пану каштеляну киевскому, которого данное им слово держало как на цепи в Северске; писал к Вжешовичу и к полковнику Садовскому, чеху и лютеранину, который служил под начальством Мюллера, но, как человек необычайного благородства, старался удержать страшного генерала от нападения на монастырь.

Две партии образовались вокруг Мюллера. Вжешович, обозленный сопротивлением, которое он встретил 8 октября, прилагал все усилия к тому, чтобы склонить генерала к походу; он обещал добыть неслыханные богатства и говорил, что во всем мире найдется едва лишь несколько монастырей, которые могли бы сравняться своим богатством с Ясногорским. Садовский же возражал на это следующее.

— Генерал, — говорил он Мюллеру, — вы, который взяли столько знаменитых крепостей, что немецкие города справедливо называют вас Поликратом³², знаете, сколько крови и времени стоит хотя бы самая маленькая крепость, если осажденные решатся защищаться до последней возможности, не на жизнь, а на смерть.

— Но ведь монахи не будут защищаться? — недоумевал Мюллер.

— В том-то и дело, что будут. Чем они богаче, тем яростнее будут они защищаться, полагаясь не только на силу оружия, но и на святость места, которое эти люди в своем религиозном заблуждении считают неприступным. Достаточно вспомнить немецкую войну; как часто монахи давали пример храбрости и упорства там, где солдаты отчаивались в возможности защищаться? Так будет и теперь, тем

³² Иначе: *Полиоркет* (греч.) — осаждающий города; прозвище македонского царя Деметрия I (конец IV-начало III в. до н. э.).

более что крепость совсем не так доступна, как думает граф Вейхард. Она лежит на скалистой горе, под которую трудно подводить мины; стены, если даже они и не были в исправности, должны быть уже починены; что же касается запасов оружия, пороха и провианта, то у такого богатого монастыря они неисчерпаемы. Фанатизм оживит сердца, и...

— И вы думаете, полковник, что они заставят меня отступить?

— Я этого не думаю, но предполагаю, что нам придется стоять под стенами очень долго, придется посылать за большими орудиями, так как те, которые у нас есть, слишком малы, а между тем вам нужно спешить в Пруссию. Надо рассчитать, сколько времени мы можем потратить на Ченстохов, ибо если бы его величество отправил вас по более важным делам в Пруссию, то монахи наверное распустили бы слух, что это они заставили вас отступить. А тогда подумайте, генерал, какой ущерб был бы причинен вашей славе Поликрата, не говоря уже о том, что это подало бы пример к сопротивлению во всей стране. Итак, — тут Садовский понизил голос, — уже одно намерение напасть на монастырь, если только оно станет известным, произведет самое ужасное впечатление. Вы не знаете, генерал, и этого не может знать ни один иностранец и не католик, что такое Ченстохов для этого народа. Нам необходимо удержать при себе ту шляхту, которая так легко нам подчинилась, необходимо удержать магнатов и регулярные войска, которые вместе с гетманом перешли на нашу сторону. Без них мы не могли бы совершить того, что совершили. Ведь, главным образом, их же руками мы покорили эту страну, и если только под Ченстоховом раздастся хоть один выстрел... Кто знает, может быть, на нашей стороне не останется ни одного поляка... Такова сила религиозных предрассудков... И может вспыхнуть страшная война...

Мюллер в душе соглашался с доводами Садовского, и даже больше: монахов вообще, а ченстоховских особенно, он считал колдунами, а колдовства шведский генерал боялся больше пушек, но все же, быть может просто Для того, чтобы продолжить спор, он сказал:

— Вы говорите так, полковник, точно вы настоятель ченстоховского монастыря... или же вас подкупили монахи...

Садовский был человек смелый и вспыльчивый, и так как он знал себе Цену, то обиделся.

— Я больше не скажу ни слова! — ответил он высокомерно.

Теперь уже Мюллер оскорбился тем тоном, которым были сказаны эти слова.

— Я вас об этом и не прошу! — ответил он. — А посоветоваться я могу с графом Вейхардом, который лучше знает эту страну.

— Увидим! — сказал Садовский и вышел из комнаты.

Вейхард действительно занял его место. Он принес письмо, которое получил недавно от епископа Варшицкого, с просьбой оставить монастырь в покое; но из этого письма Вейхард вывел совершенно обратное заключение.

— Они просят, — сказал он Мюллеру, — следовательно, знают, что им защищаться невозможно.

Через день поход на Ченстохов был в Велюне окончательно решен.

Этого даже не держали в тайне, и велюнский ксендз Яцек Рудницкий имел поэтому возможность поехать в Ченстохов предупредить монахов. Бедный ксендз ни минуты не предполагал, что ясногорцы станут защищаться. Он хотел их только предупредить, чтобы они знали, чего держаться, и постарались добиться возможно лучших условий. Это известие удручающим образом подействовало на монастырскую братию. Многие сразу упали духом. Но ксендз Кордецкий ободрил их, согрел жаром собственного сердца, обещал дни чудес и даже самую смерть рисовал монахам такой прекрасной, что они невольно стали готовиться к нападению так же, как готовились к торжественным церковным службам — радостно и благоговейно.

В то же время светские начальники гарнизона, пан мечник серадзский и пан Петр Чарнецкий, делали последние приготовления. Отдан был приказ сжечь все лавки, ютившиеся вдоль монастырских стен, так как они могли помогать неприятелю во время штурмов; не пощадили даже и жилых построек близ монастыря, так что весь день монастырь был окружен огненным кольцом; но, когда от лавок и строений остались одни обугленные бревна, перед монастырскими пушками лежало открытое пространство. Их черные жерла смотрели вдаль, точно высматривая неприятеля, чтобы как можно скорее встретить его своим зловещим грохотом.

Между тем надвигались холода. Дул резкий северный ветер, намокшая земля замерзла, и вода стала затягиваться тонкой ледяной скорлупой; ксендз Кордецкий, обходя стены, потирал посиневшие руки и говорил:

— Бог посылает нам помощь — морозы. Трудно будет насыпать прикрытия для батарей, делать подкопы, а главное — вы будете сидеть в тепле, а им из-за морозов скоро надоест осада.

Но именно поэтому Бурхард Мюллер хотел разделаться с монастырем как можно скорее. Он вел с собой девять тысяч войска, главным образом пехоты, и девятнадцать орудий. У него было также два полка польской конницы, но на нее он рассчитывать не мог, так как, во-первых, конницей нельзя было пользоваться при взятии крепости на горе, а во-вторых, эти люди шли неохотно и сразу же заявили, что никакого участия в осаде они не примут. Шли они скорее затем, чтобы в случае взятия крепости защитить ее от хищности неприятеля. Во всяком случае, так говорили солдатам полковники; шли они, наконец, потому, что им приказывали идти шведы и этого приказа нельзя было ослушаться.

От Велюня до Ченстохова недалеко. Двадцать восьмого октября должна была начаться осада. Шведский генерал рассчитывал, что она продолжится всего лишь несколько дней и что ему путем переговоров удастся занять крепость.

Между тем ксендз Кордецкий подготавливал души людей к предстоявшим испытаниям. Была отслужена торжественная обедня, точно в великий и радостный праздник, и, если бы не страх и бледность на лицах монахов, можно было бы подумать, что настала Пасха. Сам настоятель служил обедню, звонили во все колокола. После обедни вокруг костела был совершен торжественный крестный ход.

Ксендза Кордецкого, который нес чашу со Святыми Дарами, вели под руки мечник серадзский и пан Петр Чарнецкий. Впереди шли мальчики в белых стихарях, с кадильницами, ладаном и миррой. Впереди Кордецкого и за ним подвигались ряды монастырской братии в белых рясах — все они шли с поднятыми к небу глазами; среди них были люди разного возраста, начиная от дряхлых старцев и кончая юношами, которые только недавно поступили в послушники. Желтое пламя свечей колебалось на ветру, а они шли с пением, погруженные в созерцание Бога, точно забыв обо всем на свете. За ними виднелись бритые головы шляхты и лица женщин, заплаканные, но спокойные, полные веры и бодрости. Шли и мужики в кафтанах, длинноволосые, похожие на первых христиан. Маленькие дети, девочки и мальчики, смешавшись с толпой, присоединяли свои ангельские тоненькие голоса к общему хоралу. И Бог слушал эту песнь, молитву переполненных сердец, видел жажду забвения горестей земных под сенью Божьего дома.

Ветер утих, в воздухе все успокоилось, небо посинело, а солнце посылало на землю мягкие, бледно-золотистые и еще теплые лучи.

Процессия уже раз обошла стены, но люди все еще не расходились и продолжали идти дальше. Отблеск золотой дароносицы падал на лицо настоятеля, и лицо это казалось золотистым и лучезарным. Глаза ксендза Кордецкого были полузакрыты, на губах у него была почти неземная улыбка счастья, блаженства и упоения; душой он был в небе, в вечном свете, в вечной радости, в вечном покое. И, точно получая оттуда веления не забывать о костеле, о людях, о крепости и о том

часе, который был уже близок, он минутами останавливался, открывал глаза, поднимал дароносицу и благословлял ею окружающих.

Он благословлял народ, войско, цветные знамена, отливавшие всеми цветами радуги; благословлял стены и гору, благословлял большие и маленькие пушки, пули и ядра, ящики с порохом, груды оружия, служившего для отражения штурмов, благословлял север, восток, юг и запад, точно хотел на всю окрестность, на всю эту землю распространить Божью благодать.

Было уже два часа пополудни, а процессия была еще на стенах. Вдруг на горизонте, где земля, казалось, сливалась с небом и где разливалась синеватая мгла, что-то замаячило, задвигалось, стала выделяться какая-то масса, очертания которой были сначала смутны, но становились все отчетливее. Вдруг в хвосте процессии раздался крик:

— Шведы! Шведы идут!

Потом настала тишина, точно сердца и языки людей онемели, только колокола продолжали звонить. В тишине раздался голос Кордецкого, громкий и спокойный:

— Возрадуемся, братия! Близится час побед и чудес! Минуту спустя он запел:

— Под твою милость прибегаем, Богородице, Дево!

Между тем масса шведских войск вытянулась змеей, которая подползала все ближе. Виднелись ее страшные кольца. Она то свивалась, то развивалась, порою сверкала на солнце ее стальная чешуя — и она ползла, ползла издали.

Вскоре со стен можно было все разглядеть. Впереди подвигалась конница, за нею колонны пехоты; каждый полк образовывал длинный прямоугольник, над которым поднимался лес копий; дальше, за пехотой, тащились пушки с жерлами, повернутыми назад и наклоненными к земле.

Их тяжелые дула, черные или желтоватые, зловеще сверкали на солнце; за ними грохотали по неровной дороге возы с порохом и бесконечная вереница телег с палатками и всевозможными военными припасами.

Грозное и прекрасное зрелище представляло это шествие регулярного войска, которое продефилировало перед монастырем с целью испугать монахов. Но вот от этой массы оторвалась конница и, слегка колеблясь, как вода на ветру, поплыла вперед и тотчас распалась на несколько больших и маленьких частей. Некоторые отряды подошли к самой крепости; другие в одно мгновение разбрелись по окрестным деревням, в погоне за добычей; иные стали кружить около крепости, осматривать стены, исследовать местность, занимать ближайшие постройки. Отдельные всадники то и дело мчались во весь дух, отрываясь от больших отрядов, к колоннам пехоты, извещая офицеров, где им расположиться.

Топот и ржанье лошадей, крики, зовы, гул нескольких тысяч голосов и глухой грохот орудий были прекрасно слышны осажденным, которые продолжали спокойно стоять на стенах и удивленными глазами смотрели на суетливые движения неприятельских войск.

Вот подошли пехотные полки и стали бродить вокруг крепости, подыскивая наиболее удобные места для укрепленных позиций. Часть войска ушла в предместье, где стояли мужицкие избы.

Полк финнов вошел туда первым и с бешенством напал на беззащитных мужиков. Их за волосы вытаскивали из изб, а тех, которые сопротивлялись, резали без всякой пощады; уцелевших жителей прогнали, затем на них напал конный полк и разогнал их на все четыре стороны.

К монастырским воротам подъехал парламентар и, затрубив в трубу, передал предложение Мюллера сдаться; но осажденные, при виде резни и жестокостей солдат, ответили на это пушечными выстрелами.

Теперь, когда местное население было изгнано из всех ближайших домов и в них расположились шведы, эти дома необходимо было как можно скорее уничтожить,

чтобы неприятель под их прикрытием не мог вредить монастырю. И вот монастырские стены задымились, как борт корабля, окруженного пиратами. Огненные ядра, вырываясь из белых тучек, описывали зловещие дуги и падали на дома, занятые шведами, ломая крыши и стены. Дым столбом поднимался в тех местах, куда попадали ядра.

Пожар охватил строения.

Шведские полки, едва успевшие в них расположиться, должны были их покинуть и метались из стороны в сторону в поисках новых жилищ. В войске поднялся беспорядок. Пришлось увозить еще не установленные орудия, чтобы спрятать их от монастырских выстрелов. Мюллер изумился: он никогда не ожидал такого приема и никогда не думал найти на Ясной Горе таких пушкарей.

Между тем приближалась ночь, ему нужно было привести в порядок войска, и он послал трубача с просьбой о перемирии.

Монахи охотно согласились.

Но все же ночью были подожжены огромные амбары с большими запасами провианта, где расположился вестландский полк.

Пожар охватил строения так быстро, пушечные выстрелы были так метки, что вестландцы не успели унести ни мушкетов, ни зарядов, которые взорвались в огне, разрушив пылающие постройки.

Шведы ночью не спали; они делали всевозможные приготовления: устанавливали пушки на насыпях, укрепляли лагерь. Солдаты, воевавшие столько лет и участвовавшие в стольких битвах, храбрые и выносливые, без радости ждали завтрашнего дня. Первый день принес поражение.

Монастырские пушки причинили такой огромный урон в людях, что старые ветераны недоумевали; они приписывали это тому обстоятельству, что войска слишком неосторожно окружили крепость и слишком близко подошли к стенам.

Но завтрашний день, если бы даже он и принес победу, не обещал славы, ибо что значило занятие какой-то никому не ведомой крепости и монастыря для них, взявших столько славных городов, укрепленных гораздо лучше. Одна лишь надежда на богатую добычу поддерживала дух в войске, но та душевная тревога, с которой польские полки подходили к Ясногорскому монастырю, как-то невольно передалась и шведам. Но разница была в том, что одни дрожали при мысли о возможном кощунстве и святотатстве шведов, а другие боялись чего-то неопределенного, в чем сами не могли дать себе отчета и что они называли действием колдовских чар. В эти чары верил и сам Бурхард Мюллер, как же могли не верить в них солдаты?

С первых же шагов заметили, что, когда Мюллер подъезжал к костелу Святой Варвары, лошадь его вдруг остановилась, стала пятиться назад, раздула ноздри, прыдала ушами, тревожно фыркала и не хотела сделать и шагу вперед. Старый генерал не выдал своего беспокойства, но на следующий день велел эту позицию занять ландграфу гессенскому, а сам с большими орудиями отошел к северной части монастыря, к деревне Ченстоховке. Там он всю ночь возводил окопы, чтобы ударить завтра из-за них.

И чуть рассвело на небе, начался артиллерийский бой; но на этот раз первыми загрохотали шведские орудия. Неприятель не думал сделать сразу пролом в стенах, чтобы взять крепость штурмом; он хотел только навести страх, засыпать монастырь и костел ядрами, поджечь постройки, повредить орудия, перебить людей и вызвать панику.

На крепостные стены снова вышел крестный ход, ибо ничто так не укрепляло осажденных, как вид Святых Даров и спокойно идущих за ними монахов. Монастырские пушки громами отвечали на грома, молниями на молнии. Земля, казалось, содрогалась до основания. Море дыма залило монастырь и костел.

Какие минуты, какие ужасы переживали люди! А в крепости было много таких,

которые никогда в жизни не видели кровавого лика войны...

Неустанный гул, молнии, дым, вой ядер, разрывавших воздух, страшное шипение гранат, удары пуль о камни, глухие удары о стены, звон разбитых стекол, взрывы огненных ядер, свист осколков, хаос, уничтожение, ад.

И за все время ни минуты покоя, ни минуты отдыха для людей, задыхавшихся от дыма; все новые и новые стаи ядер, крики ужаса в разных местах крепости, костела и монастыря.

— Горит! Воды! Воды!

— На крышу с ведрами! Мокрых тряпок больше!

На стенах раздавались крики воспламененных битвою солдат:

— Выше дуло!.. Выше... между строений... Пли!

Около полудня смерть работала вовсю. Могло казаться, что, когда дым рассеется, глаза шведов увидят только груды ядер и гранат на месте монастыря. Известковая пыль поднималась со стен под ударами ядер и, смешиваясь с дымом, заслоняла все вокруг. Монахи вышли с иконой заклинять этот туман, чтобы он не мешал обороне.

Вдруг на башне, недавно отстроенной после прошлогоднего пожара, раздались гармонические звуки труб, игравших божественную песню. Это песнь плыла сверху и была слышна повсюду вокруг, даже там, где грохотали шведские пушки.

К звукам труб присоединились вскоре человеческие голоса, и среди рева, свиста, криков, грохота и трескотни мушкетов раздались слова:

Богородице Дево,
Богом славленная Мария...

В эту минуту разорвалось несколько гранат... Послышался треск на крыше, а потом крики: «Воды!» — и... снова раздалось спокойное пение.

Кмициц, стоявший на стенах у орудия, наведенного на Ченстоховку, где была позиция Мюллера и откуда шла самая жестокая пальба, оттолкнул неопытного пушкаря и сам взялся за работу. А работал он так усердно, что вскоре, хотя дело было в октябре и день был холодный, он скинул тулуп на лисьем меху, скинул жупан и остался в одних только шароварах и рубашке.

Людей, незнакомых с войной, воодушевлял вид этого солдата по плоти и крови, для которого все, что происходило кругом — и рев пушек, и стаи пуль, и уничтожение, и смерть, — было только привычной стихией, как огонь для саламандры.

Брови его нахмурились, глаза сверкали, на щеках выступил румянец, в лице была какая-то дикая радость. Он то и дело наклонялся к дулу, тщательно прицеливался, всей душой уйдя в это занятие и обо всем забыв; он целился, наводил прицел то выше, то ниже и кричал наконец: «Пли!» А когда Сорока подносил фитиль, он подбегал к самому краю стены и время от времени вскрикивал:

— Вдребезги!

Его орлиные глаза видели сквозь дым и пыль; как только между строений ему удавалось различить плотную массу шляп или шлемов, он тотчас метким выстрелом поражал ее, как громом.

Порой он разражался смехом, когда ему удавалось нанести особенно значительный урон. Пули пролетали над ним и мимо него — он не обращал на них внимания. После одного выстрела он подскочил к краю стены, впился глазами и крикнул:

— Пушку разбило! Там теперь только три штуки поют!

После обеда он отдыхать не стал. Пот струился у него со лба, рубашка его дымилась, лицо было испачкано в саже, глаза горели.

Сам пан Петр Чарнецкий изумлялся меткости его выстрелов и несколько раз

сказал ему:

— А для вас война не новость. Это сразу видно. Где это вы так выучились? В третьем часу на шведской батарее замолкло еще одно орудие, разбитое метким выстрелом Кмицица. Через некоторое время и остальные пушки были сняты с окопов. По-видимому, шведы сочли невозможным оставаться на этой позиции.

Кмициц глубоко вздохнул.

— Отдохните! — сказал ему Чарнецкий.

— Хорошо! Мне есть хочется, — ответил рыцарь. — Сорока, дай, что у тебя есть под рукой.

Старый вахмистр мигом все устроил. Принес горилки в жестяной посуде и копченой рыбы. Пан Кмициц жадно стал есть, то и дело поднимая глаза и глядя на пролетавшие неподалеку гранаты, точно смотрел на ворон.

А их пролетало много, и не из Ченстоховки, а с противоположной стороны; но все они перелетали через костел и монастырь.

— У них пушкари дрянь, слишком высоко наводят, — сказал пан Андрей, не переставая есть, — смотрите, все переносит!

Слышал эти слова молоденький монашек, семнадцатилетний юноша, недавно начавший послух. Он подавал Кмицицу ядра для зарядов и не уходил, хотя каждая жилка дрожала в нем от страха, ибо он в первый раз в жизни видел войну. Кмициц необычайно импонировал ему своим спокойствием, и теперь, услышав его слова, он сделал к нему невольное движение, точно хотел найти убежище под крыльями этого спокойствия.

— А разве ядра могут залететь к нам с той стороны? — спросил он.

— Отчего же нет? — ответил пан Андрей. — Что же, братец, боитесь?

— Пане, — ответил юноша дрожащим голосом, — я всегда думал, что война что-то страшное, но никогда не думал, чтобы она была так страшна.

— Не всякая пуля убивает, иначе уж людей не было бы на свете и матери не успевали бы рожать.

— Больше всего, пане, боюсь я этих огненных ядер, гранат. Отчего они трескаются с таким грохотом... Спаси, Царица Небесная!.., и так ужасно ранят людей?

— Я вам объясню, и вы все поймете. Это железное ядро, внутри полое и начиненное порохом. В одном месте есть маленькое отверстие, куда вставлена тулея, иногда из бумаги, а иногда из дерева.

— Господи боже! Тулея?

— Да, а в тулее — пропитанный серой фитиль, который от выстрела загорается. И вот ядро должно упасть на землю тулеей, которая должна вонзиться в середину, тогда огонь доходит до пороха, и ядро разрывается. Но много ядер падает и не тулеей, хотя и это ничего, потому что огонь в конце концов все равно доберется до пороха и наступит взрыв...

Вдруг Кмициц протянул руку и сказал быстро:

— Смотрите, смотрите! Вот вам пример!

— Господи Иисусе Христе! — крикнул монашек, увидев подлетающую гранату.

Граната между тем упала на землю, зажужжала, закружилась, запрыгала по камням, оставляя за собой синий дымок, перевернулась раз, другой, подкатилась к стене, на которой они сидели, попала в кучу мокрого песка и, почти потеряв силу, осталась без движения.

К счастью, она упала тулеей вверх, но фитиль не погас, так как он продолжал дымиться.

— Лицом на землю! Ложись!.. — раздались испуганные голоса. — Лицом на землю!

Но Кмициц в ту же минуту прыгнул со стены в кучу песка и быстрым движением руки схватил тулею, рванул, вырвал и, подняв тлеющий фитиль, крикнул:

— Вставайте! Это точно волку зубы вырвать. Она теперь и мухи не убьет!

Сказав это, он толкнул ногой лежавшую гранату. Присутствующие онемели, видя такой безумный по смелости поступок, и некоторое время никто не мог промолвить ни слова; наконец Чарнецкий крикнул:

— Безумный человек! Ведь если бы она разорвалась, тебя бы в порошок превратило.

Но пан Андрей рассмеялся так весело, что зубы у него засверкали, как у волка.

— А чтоб тебя... Неужели ты никогда страха не знавал?

Молодой монашек заломил руки и с немым обожанием смотрел на Кмицица. Но его поступок видел ксендз Кордецкий, который как раз шел в ту сторону. Он подошел к пану Андрею, взял его обеими руками за голову и потом перекрестил его.

— Такие, как ты, не отдадут Ясной Горы! — сказал он. — Но я запрещаю тебе рисковать жизнью, которая нам нужна! Уже выстрелы утихают, и неприятель уходит с поля; возьми же это ядро, высыпь из него порох и принеси его в дар Пресвятой Деве в часовню. Этот дар будет ей дороже, чем тот жемчуг и те цветные камушки, которые ты ей пожертвовал!

— Отец! — сказал взволнованно Кмициц. — Это пустяки... Я бы для Пресвятой Девы... вот, слов не хватает... Я бы на муки пошел, на смерть... Я не знаю, что бы мог сделать, только бы ей служить!

И слезы блеснули в глазах пана Андрея. А ксендз Кордецкий сказал:

— Иди же к ней с этими слезами, пока они не высохли, благодать ее снизойдет на тебя, успокоит, утешит, украсит славой и почетом!

Сказав это, он взял его под руку и повел в костел. Пан Чарнецкий некоторое время смотрел им вслед и наконец сказал:

— Немало видел я отважных кавалеров, которые шутили с опасностями, но этот литвин — это уже просто чер...

И тут пан Петр закрыл себе рот рукой, чтобы не произносить нечистого имени в святом месте.

XV

Пушечный обстрел все же не мешал переговорам. Монахи решили использовать их с тем, чтобы держать неприятеля в заблуждении, выиграть время и дожждаться либо какой-нибудь помощи, либо наступления зимних холодов; Мюллер все еще верил, что монахи хотят лишь выторговать возможно лучшие условия.

И вот вечером, после особенно яростного обстрела, он снова выслал полковника Куклиновского с предложением сдаться. Настоятель показал этому Куклиновскому охранительную грамоту короля и сразу зажал ему рот. Но у Мюллера был приказ короля, более позднего происхождения, занять Болеслав, Велюнь, Кшепицы и Ченстохов.

— Отнесите им этот приказ, — сказал он Куклиновскому, — я полагаю, что, когда они его увидят, они больше не смогут увертываться.

Но он ошибся.

Ксендз Кордецкий заявил, что раз приказ касается Ченстохова, то пусть генерал занимает его себе на здоровье и пусть будет уверен, что монастырь ему в этом препятствовать не будет. Ясная Гора не Ченстохов, и о ней в приказе ничего не говорится.

Услышав этот ответ, Мюллер понял, что он имеет дело с дипломатами более искусными, чем он сам; у него был отнят последний козырь переговоров — оставались только пушки.

Но все же всю ночь продолжалось перемирие. Шведы усиленно возводили новые окопы; ясногорцы исправляли вчерашние повреждения и с изумлением

убедились, что их почти не было. Лишь кое-где были проломлены крыши, кое-где на стенах обвалилась штукатурка — вот и все. Никто из людей не был убит, никто даже не был ранен. Ксендз Кордецкий, обходя стены, говорил с улыбкой солдатам:

— Смотрите, не так страшен неприятель и его пушки, как о том говорили. После храмового праздника случаются иногда большие повреждения. Божья десница защищает нас, и, если только мы продержимся дольше, мы увидим новые чудеса.

Настало воскресение, праздник Введения во храм Богородицы. Богослужение прошло беспрепятственно, так как Мюллер ожидал окончательного ответа, который монахи обещались прислать после полудня.

И как некогда Израиль обносил вокруг лагеря ковчег Завета для устрашения филистимлян, так монахи опять совершили вокруг костела крестный ход с дароносицей.

Письмо было послано в два часа, но не с готовностью сдаться, а с повторением того ответа, который был дан Куклиновскому: «Костел и монастырь зовутся Ясной Горой, а город Ченстохов к монастырю не принадлежит».

«А потому смиренно просим вас, — писал ксендз Кордецкий, — оставить в покое орден наш и костел, Господу Богу и Пресвятой Богородице посвященный, дабы могли мы в нем и впредь молиться о здравии и благополучии его королевского величества. Ныне же мы, недостойные, обращая к вам мольбы наши, паче всего поручаем себя великодушию вашей вельможности, уповая на доброту сердца вашего и ожидая от вас впредь великих и богатых милостей...»

При чтении этого письма присутствовали: Вжещович, Садовский, Горн, де Фоссис, знаменитый инженер, наконец, ландграф гессенский, человек очень молодой и гордый, который, будучи подчиненным Мюллера, на каждом шагу подчеркивал свое высокое происхождение. Он язвительно улыбнулся и с ударением повторил окончание письма:

— Ожидают от вас великих и богатых милостей; это намек на пожертвования! Я задам вам один вопрос, господа: что монахи лучше делают — просят или стреляют?

— Правда, — сказал Горн. — Ведь за первые дни мы потеряли столько людей, сколько не потеряешь и в большом сражении.

— Что касается меня, — продолжал ландграф гессенский, — денег мне не нужно, славы я здесь не добьюсь, а рискую лишь отморозить себе ноги. Как Жаль, что мы не пошли в Пруссию; край там богатый, веселый, а города один лучше другого!

Мюллер, который действовал быстро, но думал не спеша, только теперь понял смысл письма, покраснел и сказал:

— Монахи над нами издеваются, господа!

— Может быть, это не входит в их желания, но на деле это так, — ответил Горн.

— Итак, к окопам! Им вчера мало было ядер и пуль!

Приказ быстро перелетел из одного конца лагеря в другой. Окопы покрылись синеватыми тучками, монастырь тотчас ответил со всей энергией. Но на этот раз шведские пушки были наведены лучше и причиняли большие повреждения. Летели бомбы, начиненные порохом, с огненными хвостами. Бросали зажженные факелы и связки конопли, пропитанные смолой.

Как стаи перелетных журавлей, уставшие после долгого полета, садятся на возвышенных местах, так стаи этих огненных птиц падали на крыши костела и на деревянные постройки. Те, что не принимали участия в обороне и не были заняты у пушек, стояли на крышах. Одни доставали воду из колодцев, другие подтягивали ведра веревками, третьи тушили огонь мокрыми тряпками. Иной раз ядра проламывали крыши, проваливались на чердак, тотчас слышался запах гари и показывался дым. Но и на чердаках были расставлены люди с бочками воды. Наиболее тяжелые бомбы пробивали даже потолки. Несмотря на нечеловеческие усилия, казалось, что пожар рано или поздно должен охватить весь монастырь.

Факелы и связки конопли, которые палками сбрасывали с крыш, образовали под стенами целые дымящиеся горы. Стекла лопались от жара, а женщины и дети, запертые по домам, задыхались от дыма и жары.

Едва успевали потушить в одном месте, едва вода успевала сбежать с крыш, как летели новые стаи ядер, горящих связок конопли, искр и огня. Весь монастырь был в огне: казалось, небо разверзлось над ним и хлынули на него потоки молний. Он пылал местами, но не горел, зажигался, но не сгорал; даже больше: среди этого огненного моря он опять запел, как некогда отроки в печи огненной.

Точно так же, как вчера, с башни раздавалась песня, с сопровождением труб. Для людей, стоявших на стенах и работавших у пушек, которые каждую минуту могли думать, что там, за ними, все уже охвачено пламенем и рушится, песнь эта была как бы целительным бальзамом, ибо она говорила им неустанно, что стоит еще монастырь, стоит костел, что огонь еще не одолел осажденных. С тех пор вошло в обыкновение облегчать музыкой тяжесть осады и заглушать ею для женщин крики солдат.

Но и в шведском лагере эта песня производила сильное впечатление. Солдаты в окопах слушали ее сначала с изумлением, а потом с суеверным страхом.

— Как? — говорили они друг другу. — Мы бросили в этот курятник столько железа и огня, что любая добрая крепость давно бы взлетела на воздух с огнем и пеплом, а они играют... Что это?

— Чары! — отвечали другие.

— Ядра не берут этих стен. Гранаты катятся с крыши, точно мы в них караваями швыряем. Чары! Чары! — повторяли они. — Нам здесь добра ждать нечего!

Но и старшины готовы были приписать этим звукам какое-то таинственное значение. Впрочем, не все объясняли это так. Садовский сказал громко так, чтобы его мог слышать Мюллер:

— Они себя, должно быть, недурно чувствуют, если так веселятся. Мы напрасно потратили столько пороха.

— Которого у нас немного, — сказал ландграф гессенский.

— Но зато у нас вождь — Поликрат, — ответил Садовский таким тоном, что нельзя было понять, издевается ли он или хочет польстить Мюллеру.

Но Мюллер принял это, вероятно, за насмешку и рванул себя за ус.

— Вот увидим, будут ли они еще играть через час, — сказал он, обращаясь к своему штабу.

И приказал вдвое усилить огонь.

Но его приказание было исполнено чересчур ревностно. От излишней торопливости пушки были наведены слишком высоко, и ядра перелетали. Некоторые из них, описывая дугу над костелом и монастырем, залетали в шведские окопы с противоположной стороны; там они разрушали укрепления, убивали людей.

Прошел час, потом другой. С монастырской башни все еще раздавалась торжественная музыка.

Мюллер с подозрительной трубой стоял в городе. Он смотрел долго.

Присутствующие заметили, что рука, которой он держал трубу у глаз, дрожала у него все сильнее; наконец он обернулся и крикнул:

— Выстрелы не вредят костелу!

И неудержимый, бешеный гнев охватил старого воина. Он швырнул подозрительную трубу на землю, так что она разлетелась на куски.

— Я с ума сойду от этой музыки! — крикнул он.

В эту минуту к нему подскочил инженер де Фоссис.

— Генерал, — сказал он, — мины подводить нельзя. Под слоем земли — скала. Здесь нужны углекопы.

Мюллер выругался; в эту минуту подъехал офицер из лагеря и, отдавая честь,

сказал:

— Самое большое орудие разбито. Не привезти ли другое из Лыготы? Огонь действительно несколько ослабел — музыка звучала все торжественнее.

Мюллер уехал в свою квартиру, не сказав ни слова. Но он не отдал распоряжения прекратить пальбу. Он решил замучить осажденных. Ведь там, в крепости, было всего лишь двести человек, а у него солдат можно было ставить посменно.

Подошла ночь, орудия все еще ревели; но из монастыря отвечали так же энергично, даже энергичнее, чем днем, так как шведские огни могли служить теперь мишенью. Не раз случалось, что только лишь солдаты рассядутся вокруг костра, чтобы поесть, как вдруг из темноты врывается огненное ядро, словно дух смерти. Костер разлетался огненными щепками, солдаты разбегались с нечеловеческим криком, искали убежища в других местах или блуждали среди ночи, иззябшие, голодные и испуганные.

Около полуночи пальба из монастыря так усилилась, что на всем пространстве, открытом для выстрелов, нельзя было зажечь огня. Казалось, что осажденные на языке пушек говорят: «Вы хотели нас измучить — попробуйте, мы сами бросаем вам вызов».

Пробило час пополудни, наконец два. Заморосил мелкий дождь, опускаясь на землю клубами холодной непроницаемой мглы, которая местами сбивалась в столбы, колонны и мосты, красневшие от огня.

За этими фантастическими столбами и арками виднелись порою грозные очертания монастыря, которые изменялись на глазах: то монастырь казался выше, чем всегда, то он словно куда-то проваливался. От окопов до самых стен шли какие-то зловещие коридоры, своды из мглы и мрака, и по этим коридорам пролетали ядра, неся с собой смерть. Порою воздух над монастырем светлел, точно его освещала молния. Тогда стены и башни ярко сверкали и потом потухали снова.

Солдаты смотрели вперед с угрюмой и суеверной тревогой. То и дело кто-нибудь обращался к товарищу и шептал:

— Видел? Монастырь то появляется, то исчезает. Это колдовство!

— Это пустяки, а вот что я видел! — говорил другой. — Мы наводили как раз пушку, которую разорвало, как вдруг весь монастырь стал прыгать и плясать, точно его кто-нибудь за веревку тянул. Вот и целься в такую крепость, вот и попадай!

Сказав это, солдат бросил банник и, помолчав, прибавил:

— Стоя тут, мы ничего не добьемся. И не понюхать нам их денежек! Брр! Холодно! Нет ли у вас там бочки со смолой, зажгите, мы хоть руки погреем.

Один из солдат стал зажигать смолу с помощью фитиля.

— Погасить свет! — раздался голос офицера.

Но почти в ту же минуту раздался свист ядра, потом короткий крик, и свет погас.

Ночь принесла шведам тяжелые потери. Много людей погибло у огня; в некоторых местах поднялась такая паника, что полки не могли собраться вместе до самого утра. Осажденные, точно желая показать, что сон им не нужен, все усиливали пальбу.

Рассвет озарил на стенах измученные, бледные от бессонницы лица, как-то лихорадочно оживленные; ксендз Кордецкий всю ночь молился перед образом; лишь только рассвело, он появился на стенах, и его сладкий голос раздавался у орудий:

— Бог нам день посылает, дети... Да будет благословен его свет! Повреждений нет ни в костеле, ни в постройках... Огонь погашен, никто не убит. Пан Мосинский, граната попала под колыбельку вашего ребенка и погасла, не причинив ему никакого вреда. Поблагодарите Пресвятую Деву и постарайтесь отплатить ей ревностной службой.

— Да славится имя ее! — ответил Мосинский. — Я служу ей как могу.

Настоятель прошел дальше.

Уже совсем рассвело, когда он подошел к Чарнецкому и Кмицицу. Кмицица он не заметил, так как он подполз к самому краю стены осмотреть то место, которое было немного повреждено шведскими ядрами. Ксендз сейчас же спросил:

— А где же Бабинич? Неужели он спит?

— Как можно спать в такую ночь? — ответил пан Андрей, слезая со стены. — Надо же совесть иметь. Лучше бодрствовать на службе у Пресвятой Девы.

— Лучше, лучше, верный слуга! — ответил ксендз Кордецкий.

Пан Андрей заметил в эту минуту блеснувший вдали огонек и сейчас крикнул:

— Огонь там, огонь! Наводи! Выше! Бей их, песьих детей!

Ксендз Кордецкий улыбнулся ангельской улыбкой, видя такое рвение, и вернулся в монастырь, чтобы послать утомленным солдатам винной похлебки, заправленной сыром.

Через полчаса появились женщины, монахи и монастырские нищие с дымящимися мисками и кружками.

Солдаты жадно принялись за них, и вскоре вдоль стен раздалось вкусное чавканье. Люди хвалили напиток и говорили:

— А нам неплохо живется на службе у Пресвятой Девы. Кормят отменно!

— Шведам хуже, — говорили другие, — несподручно им было ночью пищу варить, а нынче еще хуже будет.

— Настрелялись они вдоволь, черти! Должно быть, днем сами отдохнут и нам передохнуть дадут. У них, верно, и пушки от лая охрипли.

Но солдаты ошибались, так как день не принес покоя.

Когда утром офицеры, пришедшие с рапортами, доложили Мюллеру, что ночная стрельба не дала никаких результатов и что даже, наоборот, она им самим принесла большой урон в людях, генерал пришел в бешенство и велел продолжать стрельбу.

— Ведь должны же они когда-нибудь устать! — сказал он ландграфу гессенскому.

— У них неистощимые запасы пороха, — ответил тот.

— Но ведь они его расходуют.

— Должно быть, у них много селитры и серы, а уголь мы сами им доставляем, как только нам удастся поджечь какое-нибудь строение. Ночью я подъезжал к стенам и, несмотря на шум, отчетливо слышал гул жерновов. Это не иначе как пороховая мельница.

— Я велю до самого захода солнца стрелять так же, как вчера. Ночью мы отдохнем. Увидим, не пришлют ли они нам послов.

— Вы знаете, генерал, что они отправили послов к Виттенбергу?

— Знаю, вот и я пошлю за самыми большими осадными орудиями. Если нельзя будет их напугать или вызвать пожар внутри, придется сделать пролом.

— Вы думаете, генерал, что фельдмаршал одобрит осаду?

— Фельдмаршал знал о моих намерениях и ничего не говорил, — резко ответил Мюллер. — Если меня и дальше будут здесь преследовать неудачи, фельдмаршал, конечно, меня не похвалит и всю вину свалит на меня. Его величество с ним согласится, это я знаю. Я уж немало натерпелся от язвительности фельдмаршала, точно я виноват в том, что его желудок плохо варит!

— В том, что он на вас свалит вину, я не сомневаюсь, особенно когда обнаружится, что Садовский был прав.

— То есть как это прав? Садовский заступает за этих монахов, точно он у них на службе. Что он говорит?

— Он говорит, что эти выстрелы отдадутся по всей стране — от Балтики до Карпат.

— В таком случае пусть его величество прикажет содрать с Вжещовича шкуру, я

пошлю ее в дар монастырю, так как он и настаивал на этой осаде.

И Мюллер схватился за голову.

— Но ведь надо же кончить во что бы то ни стало. Мне кажется, я попросту предчувствую, что они пришлют кого-нибудь ночью для переговоров. А пока — огня, огня!

И опять прошел день, точно такой же, как и вчера, полный грома, дыма и огня. Много таких дней ожидало еще ясногорцев. Но они тушили пожары и стреляли с немалым упорством. Половина солдат отдыхала, другая была у стен при пушках.

Люди стали привыкать к постоянному грохоту, особенно когда они убедились, что никаких особенных повреждений нет. Менее опытных поддерживала вера, но были среди осажденных и старые солдаты, знакомые с войной, которые несли службу как ремесленники. Эти ободряли мужиков.

Среди них особенным авторитетом пользовался Сорока, так как, проведя большую часть жизни на войне, он был столь же равнодушен к ее шуму, как старый корчмарь к крикам пьяных. Вечером, когда выстрелы утихли, он стал рассказывать товарищам об осаде Збаража. Сам он в ней не участвовал, но знал ее хорошо по рассказам солдат, которые ее выдерживали, и говорил:

— Там набралось столько казаков, татар и турок, что одних поваров у них было больше, чем здесь всех шведов. А наши не сдались. Кроме того, здесь злой дух ничего не может, а там только по пятницам, субботам и воскресеньям черти не помогали осаждавшим, а в остальное время они колобродили по целым дням и ночам. Они посылали смерть в лагерь, чтобы она являлась солдатам и не давала им воевать. Это я знаю от одного солдата, который сам ее видел.

— Смерть видел? — спрашивали с любопытством мужики, столпившись вокруг вахмистра.

— Собственными глазами! Он возвращался от колодца, который рыли, потому что у них воды не хватало, а в прудах вода была гнилая. Идет, идет, вдруг видит, навстречу ему какая-то фигура в черном плаще.

— В черном, а не в белом?

— В черном: на войне она всегда в черном ходит. Смеркалось. Подходит солдат. «Кто идет?» — спрашивает, а она ничего. Он потянул ее за плащ — смотрит: скелет! «А тебе чего надо?» — «Я, — говорит, — смерть и приду за тобой через неделю». Видит солдат, дело плохо. «Отчего, — говорит, — через неделю? Разве тебе раньше нельзя?» Она и говорит: «Раньше недели я с тобой ничего не смогу поделать, таков приказ». Солдат думает: «Делать нечего, но если она сейчас со мной ничего поделать не может, так я хоть разделаюсь с ней пока». Сорвал он с нее плащ и повалил скелет на камни. Она кричит и давай просить: «Приду через две недели». — «Нет, шалишь!» — «Приду через три, через четыре, через десять, после осады через год, через два, через пятнадцать». — «Шалишь!» — «Приду через пятьдесят лет». Подумал мужик — ему уж пятьдесят лет было. «Ну, ста довольно». Пустил он ее, а сам жив и здоров до сей поры, в битву идет словно в пляс, ведь ему теперь на все наплевать.

— А если бы испугался, поминай как звали!

— Хуже всего смерти бояться, — серьезно ответил Сорока. — Этот солдат и другим услугу оказал, — он ее так избил, так извел, что она три дня без ног лежала, и за все это время никто в лагере не умер, хоть и вылазки делали.

— А мы не выйдем когда-нибудь ночью к шведам?

— Не вашей головы это дело, — ответил Сорока.

Этот вопрос и этот ответ услышал Кмициц, который стоял неподалеку. Потом он взглянул на шведские окопы. Была уже ночь. В шведском лагере уже больше часу было совершенно тихо. Утомленные солдаты, вероятно, спали у орудий.

Вдали, на расстоянии двух пушечных выстрелов, сверкало несколько десятков

огней, но окопы тонули в темноте.

— Они и подозревать такой вещи не могут, — прошептал про себя Кмициц.

И он направился прямо к пану Чарнецкому, который, сидя на лафете, перебирал пальцами четки и постукивал одной ногой об другую, так как они у него мерзли.

— Холодно, — сказал он, увидя Кмицица, — и голова болит от этого грохота днем и ночью. В ушах даже звенит.

— У кого в ушах не звенит от этого грома! Но сегодня мы отдохнем. Там спят вовсю. На них хоть с облавой иди, как на медведя в берлоге; пожалуй, и из ружья не разбудишь...

— О чем это ты думаешь? — сказал Чарнецкий, поднимая голову.

— Я думаю о Збараже, там осажденные вылазками немалый урон врагам причиняли.

— А тебе, что волку, все кровь снится?

— Ради бога, устроим вылазку! Людей перережем, пушки заклепаем. Они там ничего и не подозревают.

Чарнецкий вскочил.

— Завтра, должно быть, с ума посходят. Должно быть, думают, что запугали нас и мы уж о сдаче думаем, вот мы им и ответим. Ей-богу, великолепная мысль и настоящее рыцарское дело! Как это мне раньше в голову не пришло. Надо только ксендза Кордецкого уведомить. Он здесь распоряжается.

И они пошли.

Ксендз Кордецкий совещался в трапезной с паном мечником серадзским. Услышав шаги, он поднял голову и, отставляя в сторону свечу, спросил:

— А кто там? Что нового?

— Это я, Чарнецкий, — сказал пан Петр, — со мной Бабинич. Оба мы спать не можем, все к шведам тянет. Этот Бабинич, отче, беспокойный человек, никак не может на месте усидеть! Вертится, вертится он около меня, все ему к шведам хочется, за окопы, спросить их, будут ли они завтра стрелять или дадут нам и себе передышку?

— Как? — спросил, не скрывая удивления, ксендз Кордецкий. — Бабинич хочет выйти из крепости?

— В компании, в компании! — быстро ответил пан Петр. — Со мной и с двумя-тремя десятками людей. Они там, кажется, спят как убитые: огней не видно, стражи не видно. Слишком они убеждены в нашей слабости.

— Пушки заклепаем! — горячо прибавил Кмициц.

— Давайте мне этого Бабинича! — воскликнул пан мечник. — Дайте мне его обнять! Зудит у вас жало, шершень вы этакий, готовы и ночью кусаться. Это прекрасное предприятие, которое может дать очень хороший результат. Господь дал нам только одного литвина, да зато бешеного и зубастого! Я одобряю это намерение; никто против него спорить не будет, и сам я готов идти.

Ксендз Кордецкий сначала испугался, так как он боялся кровопролития; но, ознакомившись ближе с этой мыслью, он счел ее достойной защитников Марии.

— Дайте мне помолиться, — сказал он.

И, опустившись на колени перед образом Богородицы, он молился некоторое время, воздев руки, и наконец сказал с просветленным лицом:

— Помолитесь и вы, — сказал он, — а потом идите!

Через четверть часа они вышли вчетвером и пошли к стенам. Лагерь спал вдали. Ночь была очень темная.

— Сколько людей ты хочешь взять? — спросил ксендз Кордецкий Кмицица.

— Я? — ответил с удивлением пан Андрей. — Я здесь не начальник и не знаю местности так, как пан Чарнецкий. Пойду один, пусть пан Чарнецкий ведет людей и меня с ними. Хорошо бы только, если бы мой Сорока пошел, он резун страшный!

Ответ этот понравился и пану Чарнецкому, и ксендзу-настоятелю, который видел в нем явное доказательство смирения. И они тотчас принялись за Дело. Выбрали людей, велели соблюдать необычайную тишину и стали отодвигать бревна и кирпичи от прохода в стенах.

Эта работа продолжалась с час. Наконец проход в стене был открыт, и люди стали опускаться в узкое отверстие. У них были сабли, пистолеты, у некоторых ружья, а у мужиков косы, насаженные вдоль древка, так как к этому оружию они привыкли больше всего.

Очутившись по ту сторону стен, они сделали перекличку; пан Чарнецкий стал впереди отряда, а Кмициц в самом конце, и они пошли вдоль окопов, тихо, затаив дыхание, как волки, когда они подкрадываются к овчарне.

Но порою звякала коса, ударившись об другую, порою камни шуршали под ногой — и только по этим звукам можно было догадаться, что они подвигаются вперед. Спустившись в котловину, пан Чарнецкий остановился. Тут он оставил часть людей, неподалеку от окопов, под начальством Янича Венгра, старого и опытного солдата, и велел им лечь на землю; сам он свернул немного правее и, подвигаясь по мягкой земле, на которой шаги не были слышны, быстро повел свой отряд дальше.

У него было намерение обойти окопы и, нагрянув на спящих сзади, погнать их к монастырю, прямо на людей Янича. Эту мысль подал ему Кмициц, который теперь шел рядом с ним с саблей в руке и шептал:

— Окопы, верно, выдвинуты вперед, так что между ними и лагерем есть пустое пространство. Стража, если только она есть, стоит перед окопами, а не сзади... Поэтому мы свободно их обойдем и нападём на них с той стороны, откуда они менее всего ожидают нападения.

— Хорошо, — ответил пан Петр, — ни один человек из них не должен уйти живым.

— Если кто-нибудь окликнет нас, когда мы будем входить, — говорил пан Андрей, — позвольте мне ответить... По-немецки я говорю, как по-польски, — подумают, что это кто-нибудь от генерала из лагеря.

— Как бы только не наткнуться на стражу за окопами.

— Если она и есть там, мы налетим сразу. Прежде чем они успеют опомниться, мы уже сядем им на шею.

— Пора поворачивать, вот уж окопы кончаются, — сказал пан Чарнецкий.

Тут он обернулся и сказал тихо:

— Направо, направо!

Отряд молча повернул. Вдруг луна осветила немного край тучи, и стало светлее. Люди увидели пустое пространство сзади окопов.

Как и предвидел Кмициц, стражи на этом пространстве не было, так как шведам не к чему было расставлять патрули между собственными окопами и главной армией, которая стояла подальше. Самый дальновидный вождь не мог бы предположить, что опасность могла грозить с этой стороны.

— Теперь как можно тише! — сказал пан Чарнецкий. — Вот уже палатки видны.

— В двух палатках огонь... там еще не спят. Должно быть, старшины.

— Проход сзади должен быть открыт.

— Конечно, — ответил Кмициц. — Здесь проходят войска и провозят пушки... Вот начинается насыпь. Смотрите, ни звука...

Они подошли к возвышению сзади окопов. Там стоял ряд возов, на которых подвозили порох и ядра.

Но у возов никого не было, и, миновав их, отряд стал подниматься на окопы без всякого труда, так как подъем был не крутой и прекрасно устроен.

Так дошли они до самых палаток и с обнаженными саблями остановились в нескольких шагах. В двух палатках действительно горел огонь; пан Кмициц,

обменявшись с Чарнецким несколькими словами, сказал:

— Я пойду вперед к тем, что не спят... Ждите моего выстрела, а потом прямо на них!

Сказав это, он пошел вперед.

Успех вылазки был обеспечен, поэтому он не старался даже идти особенно тихо. Он миновал несколько шатров, в которых было темно; никто не просыпался, никто не спрашивал: «Кто идет?»

Ясногорские солдаты слышали шорох его смелых шагов с дрожью в сердце. Он подошел к освещенной палатке, приподнял ее крыло и, войдя, остановился у входа с пистолетом в руке и с саблей на привязи.

Он остановился потому, что свет слегка ослепил его; на походном столе стоял канделябр, в котором горело шесть свечей.

За столом сидели три офицера, склоненные над планами. Один из них, сидевший в середине, изучал их так внимательно, что его длинные волосы упали на бумагу. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову и спросил спокойным голосом:

— А кто там?

— Солдат, — ответил Кмициц.

Тогда и два другие офицера повернули головы ко входу.

— Какой солдат? Откуда? — спросил первый.

Это был инженер де Фоссис, который руководил работами по осаде.

— Из монастыря, — ответил Кмициц. Но в его голосе было что-то страшное.

Де Фоссис поднял руку к глазам. Кмициц стоял выпрямившись и неподвижно, как призрак, и только грозное лицо его, в котором было что-то хищное, предвещало какую-то опасность.

Как молния, мелькнула в голове инженера мысль, что, быть может, это беглец из монастыря, и он спросил снова, но уже с лихорадочной торопливостью:

— Чего тебе здесь надо?

— Вот чего! — крикнул Кмициц.

И выстрелил ему прямо в грудь из пистолета.

Раздался страшный крик и вслед за ним залп выстрелов. Де Фоссис упал, как падает сосна, разбитая молнией; другой офицер со шпагой бросился на Кмицица, но он ударил его саблей меж глаз, так что сталь стукнула о кость; третий офицер бросился на землю, чтобы проскользнуть под полотнищем палатки, но Кмициц бросился к нему, наступил ногой на спину и пригвоздил его саблей к земле.

Между тем тихая ночь превратилась в Судный день. Дикие крики: «Бей, убивай!» — смешались с воем и криками о пощаде шведских солдат. Люди сходили с ума от страха, выбегали из палаток, не зная, куда бежать. Некоторые из них, не сообразив, с какой стороны произошло нападение, бросались к монастырю и погибали под саблями, косами и топорами, не успев даже попросить пощады. Иные в темноте шпагами кололи своих товарищей; иные, безоружные, полуодетые, без шляп, с руками, поднятыми вверх, стояли неподвижно на месте; иные падали на землю вместе с опрокинутыми шатрами. Часть солдат пыталась защищаться, но озверевшая толпа набрасывалась на них, сшибала с ног, топтала. Стоны умирающих, раздирающие крики о милосердии еще более увеличивали панику.

Когда наконец стало ясно, что нападение было сделано не со стороны монастыря, а с тылу, со стороны шведского лагеря, какое-то безумие охватило застигнутых врасплох шведов. Они, очевидно, думали, что на них напали внезапно союзные польские полки.

Толпы пехотинцев стали прыгивать с окопа и бежать к монастырю, точно думали найти убежище в его стенах. Но новые крики говорили о том, что они наткнулись на отряд Янича Венгра, который вырезал их у самой крепости.

Между тем ясногорцы, расчищая себе путь саблями и косами, дошли до пушек.

Люди с заготовленными гвоздями бросились к орудиям, а другие продолжали сеять смерть. Мужики, которые не могли бы устоять против опытных солдат в открытом поле, бросались теперь на целые толпы.

Бравый полковник Горн старался собрать вокруг себя разбежавшихся солдат и, взобравшись на окоп, стал кричать в темноте и размахивать шпагой. Шведы узнали его и тотчас стали вокруг него собираться, но в ту же минуту нагрянули и нападавшие, которых трудно было различить в темноте.

Вдруг раздался страшный свист косы, и Горн замолчал. Толпа солдат разбежалась, точно ее разогнали гранаты. Кмициц и пан Чарнецкий с десятком людей набросились на них и вырезали всех до одного.

Окоп был взят.

В главном шведском лагере затрубили тревогу. Загрохотали вдруг монастырские пушки, и огненные ядра стали вылетать из монастыря, чтобы осветить дорогу возвращавшимся. Они возвращались, задыхаясь от усталости, испачканные кровью, как волки, которые, устроив резню в овчарне, бегут, заслышав приближение охотников. Пан Чарнецкий шел впереди, Кмициц замыкал шествие.

Через полчаса они наткнулись на отряд Янича, но сам Янич не ответил на их зов; один только он и поплатился жизнью, так как, когда он погнался за каким-то офицером, его собственные солдаты застрелили его из ружья.

Отряд, сделавший вылазку, вернулся в монастырь среди грохота орудий и вспышек пламени. Его ждал уже ксендз Кордецкий и стал считать людей по мере того, как они вылезали из отверстия потаенного входа. Все были налицо, недоставало одного только Янича.

Искать его отправились два солдата и через полчаса принесли его тело: ксендз Кордецкий хотел похоронить его с воинскими почестями.

Но прерванная раз ночная тишина не вернулась уже до самого рассвета. На стенах гремели пушки, в шведском лагере все еще царила паника. Шведы, не зная в точности размеров поражения, не зная, откуда может нагрянуть неприятель, бежали с ближайших окопов. Целые полки в какой-то отчаянной беспомощности блуждали до самого утра, принимая зачастую своих за неприятеля и давая по ним залпы. В главном лагере солдаты и офицеры покинули палатки и стояли под открытым небом, ожидая, когда кончится эта ужасная ночь. Тревожные вести перелетали из уст в уста. Говорили, что к монахам подоспела помощь, другие утверждали, что все ближайшие окопы взяты поляками.

Мюллер, Садовский, ландграф гессенский, Вжещович и все главные офицеры делали нечеловеческие усилия, чтобы привести в порядок испуганные полки. На монастырские выстрелы ответили огненными гранатами, чтобы рассеять темноту и дать возможность разбежавшимся вернуться на позицию.

Одна из гранат ударилась о крышу часовни и отскочила с треском и грохотом назад, в лагерь, оставляя в воздухе струи огня.

Но вот кончилась шумная ночь. Монастырь и шведский лагерь замолкли. В лучах рассвета забелели монастырские крыши, башня все больше алела — и наконец рассвело совсем.

Тогда Мюллер во главе штаба подъехал к отнятым окопам. Из монастыря легко могли его заметить и начать канонаду со стен, но старый генерал и не думал об этом. Он хотел собственными глазами убедиться в размерах причиненных повреждений и сосчитать убитых. Штабные ехали за ним, со смущенными, печальными и угрюмыми лицами. Доехав до окопов, они слезли с лошадей и стали подниматься вверх. Следы битвы виднелись всюду: внизу под орудиями валялись разбросанные палатки, некоторые из них еще стояли на месте, но в них было пусто и тихо.

Среди палаток лежали груды тел, полуобнаженные, ободранные трупы, с вытаращенными глазами, с ужасом в мертвых зрачках — и представляли собой

жуткое зрелище. По-видимому, все эти люди были застигнуты во время глубокого сна; лишь некоторые из них были обуты, почти ни у кого не было даже рапиры в руках, все были без шлемов и шляп. Одни лежали в палатках, особенно у входа в окопы — они все же, по-видимому, успели проснуться; другие лежали у самых палаток, застигнутые смертью как раз в ту минуту, когда хотели спастись бегством. Всюду была такая масса тел, всюду были такие груды, что можно было подумать, будто какое-то землетрясение перебило этих солдат, но глубокие раны на лицах или на теле, следы выстрелов, произведенных на таком близком расстоянии, что не весь порох успел выгореть, свидетельствовали о том, что это дело рук человеческих.

Мюллер поднялся выше, к пушкам; они стояли глухие, забитые, бессильные, как пни; на одной из них лежало тело убитого командира, почти перерезанное пополам страшным ударом косы. Кровь залила лафет и образовала под ним огромные лужи. Мюллер все тщательно осмотрел, молча и нахмутив брови. Никто из офицеров не смел прервать этого молчания.

Как же утешить старого генерала, который поплатился за свою неосторожность, как какой-нибудь новичок? Это было не только поражение, это был позор, так как сам генерал называл крепость курятником и обещал раздавить ее между пальцев, так как у него было десять тысяч войска, а там всего лишь двести человек гарнизона и, наконец, так как генерал этот был воином по плоти и крови, а противниками его были монахи.

Тяжело начался для Мюллера этот день.

Между тем подошли пехотинцы и стали уносить тела. Четверо из них, пронося чей-то труп, остановились перед генералом без его приказаний.

Мюллер взглянул на носилки и закрыл глаза.

— Де Фоссис... — сказал он глухо.

Едва успели они отойти, как поднесли другие носилки. Садовский сделал движение к ним и крикнул издали, обращаясь к штабу:

— Горна несут!

Но Горн был еще жив, и перед ним были долгие дни страшных мучений. Мужик, который ранил его, ударил его самым концом косы, но удар был так страшен, что обнажил всю грудную клетку. Но раненый даже не терял сознания. Увидев Мюллера и штаб, он улыбнулся, хотел что-то сказать, но вместо слов у него на губах выступила розовая пена, он заморгал глазами и лишился чувств.

— Отнести его в мою палатку, — сказал Мюллер, — и пусть мой медик сейчас же его осмотрит.

И офицеры услышали, как он говорил про себя:

— Горн, Горн... Я во сне его видел... С самого вечера... Страшная, непонятная вещь...

И, уставившись глазами в землю, он глубоко задумался; вдруг его пробудил от задумчивости испуганный голос Садовского:

— Генерал, генерал! Смотрите!.. Там, там... монастырь!..

Мюллер взглянул и изумился.

Был погожий день, и только мгла висела над землей, но небо было чистое и румяное от зари. Белый туман закрывал самую верхушку Ясной Горы, и было бы в порядке вещей, если бы он закрывал и весь костел; но между тем, в силу какого-то странного закона природы, костел вместе с башней поднимался не только над скалой, но и над туманом, высоко, высоко, точно он оторвался от основания и повис в лазури неба.

Крики солдат говорили о том, что они заметили это явление.

— Это игра тумана! — крикнул Мюллер.

— Но ведь туман под костелом! — ответил Садовский.

— Странное дело, но этот костел в десять раз выше, чем был вчера... и он висит

в воздухе, — сказал ландграф гессенский.

— Он все поднимается вверх, вверх, вверх! — кричали солдаты. — Он сейчас из глаз исчезнет.

И действительно, туман, висевший на скале, стал подниматься, подобно огромному столбу дыма, к небу, а костел, помещавшийся точно на верхушке этого столба, казалось, взвивался все выше и выше, и в то же время уже под самыми облаками он заволакивался белой дымкой и словно таял, расплывался, мутнел и наконец совсем исчез из глаз.

Мюллер обратился к офицерам, и в глазах его было удивление, смешанное с каким-то суеверным ужасом.

— Я должен признаться, — сказал он, — что такого феномена в жизни не видел. Это уже совсем противно природе... Должно быть, чары папистов...

— Я слышал, — сказал Садовский, — как солдаты кричали: «Как же стрелять в такую крепость?» И я действительно не знаю как.

— Что же теперь будет, господа? — спросил ландграф гессенский. — Есть ли там во мгле костел или его уже нет?

И они еще долго стояли в молчаливом недоумении, наконец ландграф сказал:

— Хотя бы это было и вполне естественное явление природы, оно, во всяком случае, не предвещает нам ничего хорошего. Смотрите, господа, ведь с тех пор, как мы здесь, мы не сделали ни шагу вперед.

— Эх, — ответил Садовский, — если бы только вперед... Ведь, говоря правду, мы терпим поражение за поражением... А сегодняшняя ночь хуже всего! У солдат пропадает охота, пропадает храбрость, и они становятся вялыми. Вы и понятия не имеете, господа, какие слухи ходят по полкам. Кроме того, с некоторого времени происходят действительно странные вещи — никто не может выйти один или вдвоем из лагеря, а если осмелится это сделать, так словно в землю проваливается. Можно думать, что волки кружат около Ченстохова. Я сам недавно послал хорунжего с тремя людьми в Велюнь за теплой одеждой, и до сих пор о них ни слуху ни духу.

— Хуже будет, когда зима подойдет; уж и теперь по ночам невыносимо холодно, — прибавил ландграф гессенский.

— Мгла редет! — сказал вдруг Мюллер.

И действительно, подул ветер и стал сдувать туман. В клубах мглы что-то замаячило, выглянуло солнце, и воздух стал прозрачен.

Слегка обрисовались стены, потом показались очертания костела и монастыря. Все стояло на прежнем месте. В крепости было спокойно и тихо, точно в ней не жили люди.

— Генерал, — энергично сказал ландграф гессенский, — попробуйте возобновить еще раз переговоры. Ведь надо же кончить!

— А если переговоры ни к чему не приведут, то вы мне советуете бросить осаду? — мрачно спросил Мюллер.

Офицеры молчали. И через минуту заговорил Садовский:

— Вы знаете лучше всех, генерал, что вам нужно делать.

— Знаю, — гордо ответил Мюллер, — и скажу вам одно: я проклиная день и час, в который прибыл сюда, как проклиная и советчиков, — тут он впился глазами во Вжешовича, — которые мне посоветовали эту осаду; но знайте, что после всего, что произошло, я не отступлю, пока не превращу эту проклятую крепость в груды развалин или пока не погибну сам.

Ландграф гессенский сделал брезгливую гримасу. Он никогда не питал к Мюллеру особенного уважения, а эти слова счел просто хвастовством, совершенно неуместным в такой обстановке: на отбитых окопах, среди груды тел, среди заклепанных пушек; он повернулся к нему и сказал с явным неудовольствием:

— Вам, генерал, нельзя этого обещать, так как вы должны будете отступить по

первому приказу короля или фельдмаршала. Иногда же и обстоятельства распоряжаются людьми не хуже королей и фельдмаршалов!

Мюллер наморщил свои густые брови, и, видя это, Вжешович сказал торопливо:

— А пока попробуем возобновить переговоры. Они сдадутся, иначе быть не может!

Дальнейшие его слова заглушил веселый звон колокола в монастыре, который сзывал к ранней обедне. Генерал вместе со своим штабом медленно поехал в сторону Ченстохова, но не успел он еще доехать до главной квартиры, как к нему подлетел офицер на взмыленном коне.

— От фельдмаршала Виттенберга, — сказал Мюллер.

Между тем офицер подал ему письмо. Генерал быстро сорвал печати и, пробежав письмо глазами, сказал со смущением на лице:

— Нет, это из Познани... Дурные вести. В Великопольше восстала шляхта, народ соединился с ней... Во главе движения стоит Криштоф Жегоцкий, который хочет идти на помощь Ченстохову.

— Я предсказывал, что эти выстрелы отдадутся от Карпат до Балтики, — пробормотал Садовский. — Этот народ ужасно непостоянен. Вы еще не знаете поляков, но узнаете потом!

— Хорошо, узнаем! — ответил Мюллер. — Я предпочитаю открытого неприятеля, чем неискреннего союзника. Они сами покорились, а теперь восстают с оружием в руках... Хорошо, они понюхают нашего оружия.

— А мы ихнего, — проворчал Садовский. — Генерал, давайте кончать с Ченстоховом путем переговоров; мы согласимся на все условия. Тут вопрос уже не в крепости, а во власти его королевского величества над этой страной.

— Монахи сдадутся, — сказал Вжешович. — Сегодня-завтра сдадутся!

Так разговаривали шведские офицеры, а в монастыре после ранней обедни царила великая радость. Те, которые не участвовали в вылазке, расспрашивали о ней участников. А участники хвастались, славили свое мужество и победу, которую они одержали над неприятелем.

Даже монахов и женщин одолело любопытство. У стен пестрели белые рясы и пестрые платья женщин. Это был прекрасный, радостный день. Женщины окружили пана Петра Чарнецкого и кричали: «Спаситель наш! Защитник!» Он отбивался от них, особенно когда они стали целовать ему руки, и, указывая на Кмицица, сказал:

— Вот кого благодарите! Он хоть Бабинич, но не баба! Рук он целовать вам не даст, потому что они у него еще в крови; но если какая-нибудь молоденькая губы ему подставит, думаю, он не отвернется.

Молодые женщины стыдливо и вместе с тем кокетливо поглядывали на пана Андрея, изумляясь его необыкновенной красоте; но он не отвечал глазами на их немые вопросы, так как они напомнили ему Оле ньку.

«Эх, горемычная моя, — подумал он, — если бы ты хоть знала, что я уже на службе у Девы Пресвятой, защищаю ее от того неприятеля, которому, на горе свое, раньше служил».

И он дал себе в душе обещание, что сейчас же после окончания осады напишет ей в Кейданы и пошлет с письмом Сороку. «Ведь я пошлю ей не одни пустые слова, — мои поступки теперь будут говорить за меня, и я без похвальбы опишу ей все подробности, пусть она знает, что все это сделала она, и пусть порадуется».

И он так обрадовался этой мысли, что даже не заметил, как женщины говорили друг дружке, отходя от него:

— Красивый кавалер, но, видно, только о войне думает и никакого обхождения не знает.

Согласно желанию своих офицеров Мюллер снова начал переговоры. В монастырь из неприятельского лагеря прибыл именитый польский шляхтич, человек почтенного возраста и ума. Ясногорцы приняли его радушно, так как думали, что он только для виду и по принуждению будет убеждать их сдать монастырь, а на самом деле ободрит их и подтвердит новости, которые проникли уже и внутрь монастырских стен: о восстании в Великопольше, о неприязни польских войск к шведам, о переговорах Яна Казимира с казаками, которые якобы снова хотели изъявить ему покорность, наконец, о грозных обещаниях татарского хана прийти на помощь изгнанному королю и преследовать огнем и мечом всех его неприятелей.

Но как обманулись монахи. Сановный шляхтич действительно привез немало новостей, но таких, которые могли охладить и испугать самых пылких людей, поколебать самые твердые решения, самую горячую веру.

В трапезной его окружили монахи и шляхта и слушали среди полнейшей тишины и напряженного внимания; из уст его, казалось, плыла сама искренность и скорбь о судьбах отчизны. Он часто хватался руками за седую голову, точно хотел удержать взрыв отчаяния, взирая на распятие и со слезами на глазах говорил медленным, прерывающимся голосом:

— Ах, каких дней дождалась наша бедная отчизна! Нет выхода! Надо покориться шведскому королю! Поистине, ради кого вы, святые отцы, и вы, братья шляхта, обнажили мечи? Ради кого вы не жалеете трудов, мучений, бессонных ночей, крови? Ради кого из упорства — увы, тщетного! — вы подвергаете опасности себя и святое место, навлекая на монастырь страшную месть непобедимых шведских полчищ? Ради Яна Казимира? Но ведь он сам покинул свое королевство! Разве вы не знаете, что он уже сделал выбор и, предпочитая жизнь в довольстве, веселые пиры и развлечения тяжелому венцу, отрекся от престола в пользу Карла-Густава? Вы не хотели его покидать, а он сам вас покинул; вы не хотели нарушить присягу, он сам ее нарушил; вы готовы умереть за него, а он не думает ни о вас, ни о нас... Законный государь наш теперь Карл-Густав! И вот подумайте, как бы вам не навлечь на головы ваши не только гнев, месть, но и грех перед небом, перед крестом и перед Пресвятой Девой, ибо вы подымаете руку теперь не против неприятеля, а против вашего законного государя...

Звучали в тишине эти слова: словно смерть пролетела через залу. Что могло быть страшнее, чем известие об отречении Яна Казимира? Известие это было действительно чудовищно и невероятно, но старый шляхтич говорил о нем перед распятием, перед образом Марии и со слезами на глазах.

И если оно было правдивым, то дальнейшее сопротивление было, конечно, явным безумием. Шляхта закрыла руками глаза, монахи надвинули на головы капюшоны, царила гробовая тишина; один только ксендз Кордецкий шептал молитву побледневшими устами, и глаза его, спокойные, глубокие, светлые и проникновенные, неподвижно уставились в старого шляхтича.

Он чувствовал на себе этот пристальный взгляд, и ему было под ним как-то неловко и тяжело; он не снимал еще маски добродетельного человека, исстрадавшегося над несчастьями отчизны, но носить ее ему было все трудней; глаза его забегали, он беспокойно смотрел на монахов и продолжал:

— Хуже всего вывести кого-нибудь из терпения долгим сопротивлением. А ваше сопротивление приведет к тому, что костел будет разрушен и вам будет навязана (да не допустит того Бог!) страшная воля, которой вы не сможете послушаться. Презрение мирских дел и удаление от мира — вот оружие монахов. Что общего с войной у вас, коим устав монастырский предписывает одиночество и молчание? Братья мои, отцы святые! Не берите на сердце ваше, не берите на совесть вашу такую страшную ответственность... Не вашими руками выстроено это святое место, и не для вас

одних оно должно существовать. Сделайте так, чтобы цвело оно, чтобы было оно благословением этой земли на долгие века, чтобы могло оно радовать детей и внуков наших!

Изменник скрестил руки и залился слезами; молчала шляхта, молчали монахи; сомнение охватило всех, сердца были измучены и близки к отчаянию; сознание, что все усилия пропали даром, тяжелым бременем легло на души.

— Я жду вашего ответа, отцы! — сказал именитый предатель, опуская голову на грудь.

Но вот ксендз Кордецкий встал и заговорил голосом, в котором не было ни малейшего колебания, ни малейшего сомнения — точно в пророческом видении:

— То, что вы говорите о Яне Казимире, будто он покинул нас, от престола отрекся и передал свои права Карлу, — ложь! В сердце нашего изгнанного короля вступила надежда, и никогда еще он не трудился так ревностно над тем, чтобы спасти отчизну, вернуть себе трон и прийти к нам на помощь.

Маска с лица предателя тотчас свалилась; злость и разочарование были явственны на его лице, — словно змеи выползли вдруг из тех нор его души, где они до сих пор гнездились.

— Откуда это известие? Откуда такая уверенность? — спросил он.

— Отсюда! — ответил ксендз Кордецкий, указывая на большое распятие на стене. — Подойди, вложи персты свои в язвы Господни и повтори еще раз то, что ты сказал.

Изменник согнулся, точно под тяжестью железной руки; из нор его души выползла новая змея: страх.

А ксендз Кордецкий все стоял, великолепный и грозный, как Моисей; лицо его было точно озарено огненным сиянием.

— Иди, повтори! — сказал он, не опуская руки, таким мощным голосом, что эхо дрогнуло под сводами трапезной и повторило, как бы с ужасом: «Иди, повтори!»

Настала минута глухого молчания; наконец раздался сдавленный голос шляхтича:

— Умываю руки...

— Как Пилат, — закончил ксендз Кордецкий.

Изменник выпрямился и вышел из трапезной. Он быстро прошел через монастырский двор и, когда очутился за воротами, почти бросился бежать, точно что-то гнало его из монастыря к шведам.

Между тем пан Замойский подошел к Чарнецкому и Кмицицу, которых не было в трапезной, чтобы рассказать им, что произошло.

— Он, верно, принес хорошие известия, этот посол? — спросил пан Петр. — У него было такое честное лицо!

— Да хранит нас Бог от таких честных людей, — ответил пан мечник серадзский, — он принес с собой сомнение и искушение!

— Что же он говорил? — спросил Кмициц, поднимая немного выше зажженный фитиль, который он держал в руке.

— Говорил, как предатель, которому заплатили.

— Вот потому он так сейчас и убегает, — сказал пан Петр Чарнецкий. — Смотрите, Панове, он к шведам сломя голову летит... Эх, выстрелить бы ему вслед.

— Ладно! — сказал вдруг Кмициц и поднес фитиль к пушке.

Раздался грохот выстрела, прежде чем Замойский и Чарнецкий могли спохватиться.

Замойский схватился за голову.

— Ради бога! — крикнул он. — Что вы сделали?.. Ведь это посол!

— Плохо сделал, — ответил Кмициц, глядя вдаль, — промахнулся! Вот он поднялся и удирает. Эх, жаль, перенесло!

Тут он обратился к Замойскому:

— Пан мечник, если бы я даже и попал в него, они не могли бы доказать, что мы стреляли именно в него, а я, ей-ей, не мог удержать фитиля в руках. Я бы никогда не стал стрелять в шведского посла, но когда я вижу поляков-изменников, то у меня внутри переворачивается.

— А вы все-таки себя сдерживайте, иначе и они станут наших послов обижать.

Во всяком случае, пан Чарнецкий был доволен в душе, так как Кмициц услышал, как он бормотал себе под нос:

— Зато уж этот изменник к нам во второй раз послом не заглянет! Расслышал это Замойский и сказал:

— Не он, так другой найдется, а вы, Панове, переговорам не мешайте и самовольно их не прерывайте, чем дольше они тянутся, тем это выгоднее для нас. Помощь, если только Господь пошлет ее нам, будет иметь время подойти, а зима становится все лютее и делает все труднее осаду. Медлить для них губительно, для нас — спасенье!

Сказав это, он пошел в трапезную, где совещание продолжалось и после ухода посла. Слова изменника ужаснули людей и поколебали их твердость. Правда, отречению Яна Казимира не поверили, но посол напомнил о могуществе шведов, о котором люди забыли благодаря удачам предыдущих дней. Теперь это могущество, сломившее и не такие крепости, и не такие города, встало перед глазами людей во всем его ужасе. Познань, Варшава, Краков, не считая множества замков, открыли свои ворота перед победителями, как же среди этого моря бедствий могла уцелеть Ясная Гора?

«Мы будем защищаться еще неделю, две, три, — думали некоторые из монахов и шляхты, — но что же дальше, каков конец этих усилий?»

Вся страна, как погибающий корабль, уже погрузилась в бездну несчастий, и только этот монастырь торчал еще, как верхушка мачты над поверхностью моря. Разве могли уцелеть от кораблекрушения люди, которые уцепились за эту верхушку, разве могли они думать не только о собственном спасении, но и о спасении всего корабля из морской бездны?

По человеческим расчетам это было невозможно.

Но как раз в ту минуту, когда пан Замойский вернулся в трапезную, ксендз Кордецкий говорил:

— Братья мои! Я не сплю, когда вы не спите, я молюсь, когда вы умоляете нашу Заступницу о спасении. Усталость, слабость так же знакомы и мне, как и вам; ответственность мне тоже знакома, ибо она тяготеет больше на мне, чем на вас, — почему же я верю, а вы уже начинаете сомневаться? Спросите самих себя, не видят ли ваши глаза, ослепленные земным могуществом, большей мощи, чем сила шведов? Неужели вы думаете, что защищаться больше нельзя, что нас раздавит шведская рука? Если так, братья мои, то грешны ваши мысли, и вы кощунствуете против милосердия Божья, против всемогущества Господа нашего, против мощи Защитницы нашей. Чьими слугами вы себя называете? Кто из вас посмеет сказать, что Царица Небесная не сможет нас защитить и послать нам победу? Будем же просить ее, будем молить ее денно и ночью, пока стойкостью нашей, смирением нашим, слезами мы не смягчим ее сердца и не вымолим у нее прощения за прежние наши грехи!

— Отец, — сказал один шляхтич, — не в нашей жизни дело, не в наших женах и детях, — мы дрожим при мысли, что чудотворная икона может быть осквернена, если неприятель возьмет крепость штурмом.

— И не хотим брать на себя ответственность, — прибавил другой.

— Ибо никто не имеет права брать на себя такую ответственность, даже отец настоятель! — прибавил третий.

И оппозиция росла, набиралась смелости тем более, что многие монахи

молчали.

Настоятель, вместо ответа, снова стал молиться:

— Матерь Бога Единого, — сказал он, подняв глаза и руки к небу, — если ты посетила нас затем, чтобы мы в столице твоей подали и всем другим пример стойкости, мужества и верности тебе, отчизне, королю... если ты выбрала место сие, чтобы оно разбудило совесть людскую и спасло всю страну, — смилуйся над нами, недостойными, преграждающими поток милостей твоих, мешающими проявлению чудес твоих, противящимися твоей святой воле...

Минуту он молчал в молитвенном экстазе, потом обратился к монахам и шляхте:

— Кто возьмет такую ответственность на себя? Кто захочет помешать проявлению чудес Богоматери, помешать благодати Ее, спасению королевства и веры католической?

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! — раздалось несколько голосов.

— Нет здесь таких! — воскликнул пан Замойский.

А те из монахов, в чьих сердцах зародилось сомнение, ударяли себя кулаком в грудь, ибо богобоязненный страх охватил их. И никто уже в тот вечер не думал о сдаче.

Но хотя сердца старших укрепили слова Кордецкого, все же губительное семя, брошенное послом-изменником, принесло ядовитые плоды.

Известие об отречении Яна Казимира и о невозможности ждать помощи извне перешло от шляхты к женщинам, от женщин к прислуге, челядь распространила его в войске, на которое оно произвело самое ужасное впечатление. Не так испугало оно крестьян, но именно опытные солдаты-профессионалы стали собираться на сходы, доказывать невозможность дальнейшего сопротивления, жаловаться на упорство монахов, ничего не понимающих в военном деле, и составлять заговоры.

Один пушкар, немец, посоветовал, чтобы солдаты сами взяли в руки все дело и вошли в сношение со шведами о сдаче крепости. Другие подхватили эту мысль, но нашлись и такие, которые не только запротестовали против такой измены, но еще дали знать о ней Кордецкому.

Ксендз Кордецкий, который умел соединять в себе глубочайшую веру в силы небесные с самой дальновидной земной осторожностью, уничтожил в корне тайно распространившийся мятеж. Прежде всего он прогнал из монастыря зачинщиков мятежа, с пушкарем во главе, не опасаясь нисколько, что они могут донести шведам о состоянии крепости и о ее слабых местах; наконец, удвоив гарнизону месячное содержание, он взял с него клятву защищать монастырь до последней капли крови.

Но в то же время он удвоил и свою бдительность, решив одинаково следить как за наемными солдатами, так за шляхтой и даже за своими монахами. Старшие отцы должны были участвовать в ночных песнопениях; молодые кроме Божьей службы должны были нести и службу на стенах; на следующий день состоялся смотр пехоты; в каждую башню было назначено по одному шляхтичу, с его челядью, десятью монахами и двумя надежными пушкарями. Все они должны были не сходить с назначенных им позиций ни днем ни ночью.

Северо-восточную башню занял пан Зигмунд Мосинский, прекрасный солдат, тот самый, ребенок которого чудом уцелел от гранаты, упавшей под его колыбель. С ним вместе стоял на страже отец Гилярий Славошевский. В западной башне стоял отец Мелецкий, а из шляхты пан Николай Криштопорский, человек угрюмый и неразговорчивый, но мужественный и неустрашимый. Юго-восточную башню занял пан Петр Чарнецкий с Кмицицем, а с ними отец Адам Стыпульский, который служил раньше на военной службе. Он, в случае нужды, охотно засучивал рукава рясы и наводил пушку, а на пролетающие ядра обращал не больше внимания, чем старый вахмистр Сорока. Наконец, юго-западную башню предназначили пану Скужевскому и отцу Даниилу Рыхтальскому, который отличался тем, что по двое и по трое суток

сряду мог не спать, и это нисколько не отражалось на его здоровье.

Начальником стражи был назначен ксендз Доброш и отец Захария Малаховский. Неспособных к битве расположили на крыше, а арсенал и все военные припасы были отданы в ведение отца Лассоты. Он же занял должность фейерверкера, которую раньше занимал ксендз Доброш.

Ночью он должен был освещать стены, чтобы к ним не могла подходить неприятельская пехота. Он же приладил к стенам башни железные кольца, в которые на ночь втыкались горящие лучины и факелы.

И каждую ночь башня походила на огромный пылающий столб. Правда, это облегчало шведам стрельбу в нее, но в то же время могло служить и знаком, что крепость еще защищается, если бы на помощь осажденным пришло какое-нибудь войско.

И вот не только ни к чему не привели намерения сдать крепость, но люди еще ревностнее принялись за оборону. На следующий день ксендз Кордецкий обходил стены, как пастырь свои стада, видел, что все идет хорошо, и улыбался, хвалил начальников и солдат и, подойдя к пану Чарнецкому, сказал с сияющим лицом:

— И пан мечник серадзский, наш дорогой вождь, радуется в душе вместе со мной и говорит, что мы теперь вдвое сильнее, чем прежде. Новый дух вступил в сердца, а остальное довершила благодать Пресвятой Девы; пока же я снова примусь за переговоры. Мы будем оттягивать, медлить, ибо тем сэкономим людей, сократим кровопролитие.

Кмициц ответил на это:

— Эх, святой отец, к чему переговоры? Времени жаль! Лучше бы сегодня ночью опять вылазку сделать и нарезать этих песьих детей!

Ксендз Кордецкий, будучи в очень хорошем расположении духа, улыбнулся, как мать улыбается надоедливому ребенку, затем схватил веревку, лежавшую у пушки, и сделал вид, что бьет ею Кмицица по спине.

— А будешь ты всюду свой нос совать, литвин несчастный, — говорил он, — а будешь ты крови, как волк, жаждать, будешь мне тут подавать пример непослушания, — вот тебе, вот тебе!

А Кмициц повеселел, как школьник, покачивался то влево, то вправо и повторял весело:

— Бить шведов, бить, бить, бить!

Так шутили они, люди чистого сердца, посвященного служению отчизне. Но ксендз Кордецкий не бросил переговоров; он угадывал, что не все уж обстоит так благополучно у неприятеля, если он хочет кончить как можно скорее.

И вот потекли один за другим дни, когда молчали пушки и ружья и работали главным образом перья. Таким путем затягивалась осада, а зима все свирепела. Тучи, собравшиеся на вершинах Татр, предвещали снежные бури и морозы и плыли по небу в Польшу; шведы проводили ночи вокруг костров, предпочитая погибнуть от монастырских пуль, чем от мороза.

Затвердевшая земля затрудняла возведение окопов и подведение мин. Осада не подвигалась. Не только офицеры, но и солдаты думали только об одном: о переговорах.

И вот монахи прежде всего делали вид, что хотят сдаться. К Мюллеру пришло посольство из двух монахов: отца Марцелия Доброша и ученого ксендза Себастьяна Ставицкого. Они оставили Мюллеру нечто вроде надежды на соглашение. Едва лишь он это услышал, как раскрыл объятия и готов был их расцеловать от радости. Теперь уже дело касалось не одного Ченстохова, а всей страны. Падение Ясногорского монастыря отняло бы у патриотов последнюю надежду и окончательно толкнуло бы Речь Посполитую в объятия шведского короля, в то время как сопротивление, и сопротивление победоносное, наоборот, могло бы изменить психологию людей и

вызвать новую страшную войну.

Доказательств вокруг было много. Мюллер знал об этом и чувствовал, какая страшная ответственность тяготела теперь на нем; знал, что его ждут либо королевские милости, фельдмаршальский жезл, почести и титулы, или окончательное падение. И так как он сам начал убеждаться, что этого «ореха» ему не раскусить, то он принял ксендзов с необычайной любезностью, как императорских или султанских посланников. Пригласив их на обед, он сам пил за их здоровье, пил за здоровье настоятеля и пана мечника серадзского; он подарил им рыбы для монастыря, наконец, вручил условия сдачи настолько необременительные, что ни минуты не сомневался, что они будут приняты с радостью. Отцы смиренно поблагодарили, как приличествует монахам, взяли бумагу и ушли. Мюллер предсказывал, что к восьми часам утра ворота монастыря будут открыты. Радость в шведском лагере царила неопишуемая. Солдаты оставили свои позиции, подходили к стенам и начинали разговаривать с осажденными.

Но из монастыря дали знать, что по столь важному делу настоятель должен созвать общий совет, и поэтому монахи просят отсрочки еще на один день. Мюллер согласился без колебания. И действительно, в трапезной совещались до поздней ночи. Хотя Мюллер был старым и опытным воином, хотя в шведской армии не было, пожалуй, генерала, который вел бы столько переговоров со всевозможными городами и крепостями, но все же сердце у него тревожно билось, когда на следующее утро он увидел двух монахов в белых рясах, подходивших к квартире, которую он занимал. Это были уже другие; впереди шел ксендз Матвей Блешинский, лектор философии, несший письмо с печатями. За ним шел отец Захария Малаховский, скрестив руки на груди, опустив голову, с лицом слегка побледневшим.

Генерал принял их в присутствии штаба и всех старших офицеров и, любезно ответив на поклон отца Блешинского, быстро взял у него письмо из рук, сорвал печать и стал читать.

Вдруг лицо его страшно изменилось: волна крови ударила ему в голову, глаза вышли из орбит, шея вздулась, и от страшного гнева волосы дыбом встали у него под париком. Некоторое время он не мог даже говорить и лишь указал рукой на письмо ландграфу гессенскому, который пробежал его глазами и, обратившись к полковникам, сказал спокойно:

— Монахи заявляют, что они до тех пор не могут отречься от Яна Казимира, пока архиепископ не провозгласит королем Карла-Густава, то есть, другими словами, они не хотят его признавать!

Тут ландграф рассмеялся, Садовский впился насмешливыми глазами в Мюллера, а Вжещович в бешенстве теребил бороду. Среди присутствующих послышался грозный ропот негодования.

Вдруг Мюллер хлопнул в ладоши и крикнул:

— Караульные, сюда!

В дверях показались усатые лица мушкетеров.

— Взять эти бритые морды и запереть! — крикнул генерал. — Пан Садовский, пошлите парламентариев в монастырь с предупреждением, что, если они сделают хотя бы один выстрел, я обоих монахов сейчас же повешу.

Ксендзов увели среди насмешек и издевательств солдат. Мушкетеры надели им на голову свои шляпы, так что они закрывали им глаза, и нарочно наводили их на всевозможные препятствия, и, когда кто-нибудь из ксендзов спотыкался или падал, среди солдат раздавался взрыв смеха. Упавшего поднимали, прикладами ружей били по спине и по плечам. Другие бросали в них конским навозом, некоторые растирали снег в руке и прикладывали его к тонзурам на голове монахов или клали за ворот. Какой-то солдат отрезал шнур от трубы и, обвязав его вокруг шеи монаха, представлял, будто ведет продавать скотину, и выкрикивал цену.

Оба они шли тихо, скрестив на груди руки, с молитвой на губах. Наконец, их заперли в амбаре, продрогших от холода и тяжело оскорбленных; вокруг стояла стража с мушкетами.

В монастырь сообщили уже приказ или, вернее, угрозу Мюллера.

Отцы испугались, войско онемело от ужаса. Пушки замолкли; никто не знал, что делать. Оставить монахов в руках неприятеля было невозможно; послать других — их снова задержал бы Мюллер. Но через несколько часов сам он прислал гонца с вопросом, что они думают делать.

Ему ответили, что, пока он не освободит монахов, никакие переговоры не могут иметь места, ибо как же монастырь может верить, что генерал выполнит предложенные условия, если, вопреки общепринятому праву народов, он арестовал послов, которых даже варвары считают неприкосновенными.

На это заявление не было получено ответа, и страшная неуверенность тяготела над монастырем и леденила души осажденных.

А шведские войска, в руках которых были теперь заложники, лихорадочно работали над тем, чтобы приблизиться к недоступному монастырю. Наскоро возводили новые окопы, устанавливали пушки. Набравшиеся храбрости солдаты подходили к стенам на расстояние полувыстрела. Они угрожали монастырю, защитникам. Полупьяные шведы кричали, грозили кулаками монастырю:

— Сдавайтесь, или висеть вам, как висеть вашим послам!

Некоторые из них поносили Пресвятую Деву и католическую веру. Осажденные, опасаясь за жизнь ксендзов, должны были выслушивать это терпеливо. У Кмицица дыхание захватывало от бешенства. Он рвал на себе волосы и одежду, заламывал руки и наконец обратился к пану Чарнецкому:

— Ох, говорил я, говорил, что никаких переговоров не надо с разбойниками! А теперь — стой, терпи! А они на нас чуть не с кулаками лезут и кощунствуют... Матерь Божья, смилуйся надо мной, дай мне терпение... Господи боже, они скоро на стену полезут... Держите меня, свяжите, как разбойника, я не выдержу!

А те подходили все ближе и кощунствовали все больше.

Между тем случилось новое событие, которое привело осажденных в полнейшее отчаяние. Пан каштелян киевский, сдавая Краков, выговорил себе условие, что он со всем войском уйдет в Силезию и будет стоять там до конца войны. Семьсот человек пехоты из этого войска королевские гвардейцы, под командой полковника Вольфа, стояли неподалеку от границы и, доверяя договору, не принимали никаких мер предосторожности.

И вот Вжешович уговорил Мюллера захватить этих людей. Он послал самого Вжешовича с двумя тысячами рейтар, которые ночью перешли границу, напали на спящих и взяли их в плен, всех до одного. Когда их привели в шведский лагерь, Мюллер велел нарочно обводить их вокруг стен, чтобы показать монахам, что то войско, на помощь которого они рассчитывали, будет теперь участвовать во взятии Ченстохова.

Осажденные с ужасом смотрели на королевскую гвардию, которую водили вокруг стен; никто не сомневался, что Мюллер пошлет ее первой на штурм.

В войске снова поднялась паника; некоторые из солдат стали ломать оружие и кричать, что выхода больше нет и ничего не осталось, как сдаться возможно скорее. Упала духом и шляхта.

Кое-кто из шляхты опять обратился к Кордецкому с просьбой пожалеть Детей, пожалеть святое место, икону и монастырскую братию. И только авторитет Кордецкого и пана Замойского с трудом уладили это волнение.

А ксендз Кордецкий думал прежде всего об освобождении арестованных монахов и взялся за лучшее средство: он написал Мюллеру письмо, что охотно жертвует двумя монахами для блага церкви. Пусть генерал приговаривает их к

смерти; тогда все будут знать, чего можно от него ожидать и можно ли верить его обещаниям.

Мюллер обрадовался, так как думал, что дело подходит к концу. Но он не сразу поверил словам Кордецкого и его готовности пожертвовать двумя монахами. И одного из них, ксендза Блешинского, он отправил в монастырь, взяв с него клятву, что он вернется сам, добровольно, независимо от того, какой бы ответ он ни принес. Он также обязал его клятвой преувеличить размеры шведских сил и доказать невозможность дальнейшей обороны. Монах повторил все добросовестно, но глаза его говорили совсем другое; наконец он сказал:

— Но, дорожа своей жизнью менее, чем благом церкви, я ожидаю решения совета, и то, что вы решите, я в точности передам неприятелю.

И ему велено было ответить, что монастырь хочет вести переговоры, но не может верить генералу, который задерживает послов. На следующий день Мюллер послал в монастырь другого монаха, отца Малаховского, но и он вернулся с тем же ответом.

Тогда обоим был объявлен смертный приговор.

Это было на квартире Мюллера, в присутствии всего штаба и старших офицеров. Все они пристально смотрели в лица монахов, интересуясь тем, какое впечатление произведет на них смертный приговор, и с величайшим изумлением увидели на лицах обоих такую великую, неземную радость, точно их посетило величайшее счастье. Побледневшие лица монахов слегка зарумянились, глаза наполнились светом, и отец Малаховский сказал дрожащим от волнения голосом:

— Ах, почему же мы умираем не сегодня, если предназначено нам пасть жертвой за Бога и короля!

Мюллер велел их сейчас же увести. Оставшиеся офицеры переглядывались друг с другом, и наконец один из них сказал:

— С таким фанатизмом трудно бороться.

Ландграф гессенский спросил:

— То есть вы хотите сказать, что такая вера была только у первых христиан?

Потом он обратился к Вжещовичу.

— Граф Вейхард, — сказал он, — интересно знать, что вы думаете об этих монахах?

— Мне нечего о них думать, — высокомерно ответил Вжещович, — о них подумал уже генерал!

Вдруг Садовский выступил на середину комнаты и остановился перед Мюллером.

— Вы не можете приговорить к казни этих монахов! — сказал он решительно.

— Это еще почему?

— Потому, что тогда ни о каких переговорах не может быть и речи, ибо осажденные возгорятся местью и скорее падут все до одного, чем сдадутся!

— Виттенберг пришлет мне тяжелые орудия.

— Вы не сделаете этого, генерал, — с силой повторил Садовский, — так как это послы, которые пришли к нам с доверием.

— Так ведь я их и повешу не на доверии, а на веревке!

— Эхо этого поступка разнесется по всей стране, взволнует умы и лишит нас симпатий поляков.

— Оставьте, пожалуйста, в покое ваше эхо... Я слышал о нем сто раз!

— Вы не сделаете этого, генерал, без ведома его королевского величества!

— Вы не имеете права напоминать мне о моих обязанностях по отношению к королю!

— Но имею право просить уволить меня от службы, по причинам, которые я изложу его королевскому величеству. Я хочу быть солдатом, а не палачом!

Вслед за ним выступил маршал, ландграф гессенский, и сказал демонстративно:

— Садовский, дайте мне вашу руку. Вы благородный и честный человек!

— Что это? Что это значит? — закричал Мюллер, срываясь с места.

— Генерал, — холодно сказал ландграф гессенский, — я осмеливаюсь думать, что Садовский честный человек, и полагаю, что в этом нет ничего противного дисциплине!

Мюллер не любил ландграфа гессенского, но этот холодный, вежливый и в то же время презрительный способ разговаривать с людьми, свойственный людям высокого происхождения, очень ему импонировал. Мюллер даже старался усвоить себе эту манеру, что ему, впрочем, не удавалось; он сдержался все же и сказал спокойно:

— Монахи завтра будут повешены!

— Это не мое дело, — ответил ландграф гессенский, — но в таком случае, генерал, велите еще сегодня перерезать те две тысячи поляков, которые стоят в нашем лагере, ибо если вы этого не сделаете, то они завтра нападут на нас... И то уж шведскому солдату безопаснее быть среди стаи волков, чем попасть на их стоянку. Вот все, что я хотел сказать, а теперь позвольте пожелать вам успеха...

Сказав это, он вышел из квартиры.

Мюллер наконец сообразил, что зашел слишком далеко. Но приказаний своих он не отменил, и в тот же день стали строить виселицу на глазах у всего монастыря. А солдаты, пользуясь временным перемирием, подходили еще ближе к стенам, не переставали издеваться, кощунствовать и ругаться. Они подходили целыми толпами, точно намеревались идти на штурм.

Вдруг пан Кмициц, которого не связали, как он ни просил, не выдержал и выстрелил из пушки в самую большую толпу так искусно, что уложил на месте всех солдат, которые стояли в линии выстрела. Это было точно сигналом: в ту же минуту без приказаний и даже вопреки им загрохотали все орудия, затрещали ружья и самопалы.

Шведы, находясь со всех сторон под выстрелами, с воем и криками бросились бежать от монастыря, оставляя по дороге убитых и раненых.

Чарнецкий побежал к Кмицицу.

— А ты знаешь, что за это пуля в лоб?

— Знаю. Мне все равно, берите меня!

— Ну тогда целься лучше.

И Кмициц целился прекрасно. В шведском лагере все заволновалось, но было очевидно, что шведы первые нарушили перемирие, и Мюллер в душе находил, что ясногорцы были правы.

Даже больше, Кмициц и ожидать не мог, что своими выстрелами он спас жизнь обоим монахам, так как благодаря этим выстрелам Мюллер окончательно убедился, что монахи, в крайнем случае, действительно готовы пожертвовать двумя товарищами ради блага церкви и монастыря. Кроме того, выстрелы привели его к убеждению, что, если хоть один волос упадет с головы послов, он никогда уже не услышит со стороны монастыря ничего, кроме этого грохота.

На следующий день он пригласил обоих монахов к обеду и через день отослал их в монастырь.

Ксендз Кордецкий заплакал, увидев их; все обнимали их и изумлялись, слыша из их уст, что именно эти выстрелы их и спасли. Настоятель, который раньше сердился на Кмицица, позвал его и сказал:

— Я сердился на тебя, думал, что ты их погубил, но тебя, верно, Пресвятая Дева вдохновила. Это знак благодати, радуйся!

— Отец дорогой, теперь уж переговоров не будет? — спросил Кмициц, целуя его

руки.

Но не успел он этого спросить, как вдруг у ворот раздался звук трубы, и новый посол Мюллера вошел в монастырь.

Это был пан Куклиновский, полковник добровольческого полка, таскавшегося за шведами.

В полку этом служили одни беспутные люди, без чести и совести, а частью диссиденты: лютеране, ариане и кальвинисты. Этим и объяснялась их дружба со шведами; к Мюллеру их загнала жажда грабежей и добычи. Шайка эта, состоявшая из шляхты, преступников и беглых арестантов, а частью из висельников, сорвавшихся с веревки, немного напоминала прежнюю «партию» Кмицица; но Кмицицовы люди дрались как львы, а эти предпочитали грабить, насиловать женщин, уводить лошадей и взламывать сундуки.

И Куклиновский тоже не был похож на Кмицица. Волосы его уже серебрились, лицо его было увядшее, нахальное и бессовестное. Огромные хищные глаза говорили о необузданном характере. Это был один из тех солдат, в которых благодаря разгульной жизни и постоянным войнам совесть выгорела до последней искры. Много ему подобных участвовало в Тридцатилетней войне. Они готовы были служить кому угодно, и зачастую простая случайность решала, на чью сторону им стать.

Ни отчизны, ни веры — словом, ничего святого для них не существовало. Они знали только войну, в ней искали наслаждения, разврата, денег и забвения. Поступая к кому-нибудь на службу, они служили довольно верно, в силу каких-то особенных понятий о военно-разбойничьей чести, и еще потому, чтобы не портить себе и другим репутации. Таков был и Куклиновский. Благодаря своей храбрости и необыкновенной настойчивости он пользовался большим авторитетом среди своей шайки. Он с легкостью набирал людей. Жизнь свою он провел в разных полках и в разных войсках. Был он атаманом в Сечи, водил полки в Валахию, набирал добровольцев в Австрии, а во время Тридцатилетней войны прославился как командир конного полка. Его кривые, дугообразные ноги говорили о том, что большую часть своей жизни он провел на коне. Притом он был худ как палка и слегка сутуловат от распутной жизни. Немало крови, пролитой не только на войне, тяготело на его совести, и все же это был по натуре человек не совсем плохой; у него бывали иногда благородные порывы; он был просто испорчен до мозга костей. Сам он говорил не раз в компании, под пьяную руку:

— Случались и такие дела, за которые меня громы должны были поразить, а вот не поразили!

Эта безнаказанность была причиной того, что он не верил в справедливость и кару Божью не только при жизни, но и после смерти, иначе говоря, в Бога он не верил, верил только в черта, в колдунов, в астрологов и в алхимиков.

Одевался он по-польски, так как считал этот костюм наиболее подходящим для кавалериста; и только подстригал по-шведски свои черные усы, закручивая вверх их длинные концы. Речь свою он пересыпал уменьшительными и ласкательными именами, как ребенок, и их странно было слышать из уст такого воплощенного дьявола, волка, лакающего человеческую кровь. Говорил он много и пространно, считал себя знаменитостью и одним из первых в мире кавалеристов.

Мюллер, который, вообще говоря, тоже принадлежал к подобному сорту людей, очень ценил его и любил сажать у себя за стол. Теперь Куклиновский сам навязался помочь ему, ручаясь, что он своим красноречием тотчас образумит монахов. Еще раньше, когда после ареста ксендзов пан Замойский, мечник серадзский, лично собирался в лагерь Мюллера и требовал заложника, Мюллер послал Куклиновского; но пан Замойский и ксендз Кордецкий его не приняли, как человека не надлежащего сана.

С тех пор Куклиновский оскорбился смертельно на защитников Ясной Горы и решил всеми силами им вредить.

И он отправился послом, во-первых, чтобы выполнить эту функцию, а во-вторых, чтобы все осмотреть и заронить кое-где злые семена. Так как он давно знал пана Чарнецкого, то вошел в те ворога, которые охранял пан Петр; но пан Чарнецкий спал еще, его заменял Кмициц; он и проводил гостя в трапезную.

Куклиновский глазами знатока осмотрел пана Андрея, и ему сейчас же понравились не только лицо, но и прекрасная военная выправка молодого человека.

— Солдат всегда разглядит солдата! — сказал он, приподнимая колпак. — Я никогда не ожидал, чтобы у монахов гостили такие прекрасные офицеры! Позвольте узнать, как вас зовут?

У Кмицица вся душа переворачивалась при виде поляков, служивших шведам, все же он вспомнил недавний гнев ксендза Кордецкого и то значение, которое он придавал переговорам, и ответил ему холодно и спокойно:

— Я Бабинич, бывший полковник литовских войск, а теперь волонтер на службе у Пресвятой Девы.

— А я Куклиновский, тоже полковник, о котором вы, должно быть, слышали, ибо и имя мое, и саблю мою вспоминали не раз во время войн как в Речи Посполитой, так и за границей.

— Челом вам, — сказал Кмициц, — слышал!

— Ну вот видите... значит, вы с Литвы... И там бывают славные солдаты... Мы всегда друг про друга знаем, ведь трубы славы далече слышно!.. Знали вы там некоего Кмицица?

Вопрос был задан так неожиданно, что пан Андрей остановился как вкопанный.

— А вы, ваша милость, почему о нем спрашиваете?

— Ибо я его люблю, хоть не знаю: мы похожи друг на друга, как пара сапог... Я это всегда повторяю: только два солдата и есть во всей Речи Посполитой — я в Польше, а Кмициц на Литве. Пара голубков! А вы его лично знали?

«Чтобы тебя разорвало!» — подумал Кмициц.

Но, вспомнив о цели прихода Куклиновского, он сказал громко:

— Я его лично не знал... Войдите, пожалуйста, вас совет ожидает.

Сказав это, он указал ему на дверь, куда встретить гостя вышел один из монахов. Куклиновский отправился вместе с ним в трапезную, но успел обернуться и сказать Кмицицу:

— Приятно мне будет, пан кавалер, если вы, а не другой и назад меня проводите.

— Я подожду вас, — ответил Кмициц.

И он остался один. Стал ходить взад и вперед быстрыми шагами. Вся душа была возмущена в нем, и сердце обливалось черной кровью от злости.

— Смола не так прилипчива, как худая слава, — пробормотал он. — Этот негодяй, этот предатель называет меня братом и считает товарищем, вот чего я дождался! Все висельники считают меня своим братом, и никто из честных людей не вспомнит обо мне без отвращения. Мало я еще сделал, мало! Если бы я мог хоть проучить эту шельму... Не может быть иначе, надо это сделать...

Совещание в трапезной еще продолжалось. Стемнело.

Кмицицу пришлось ждать долго. Наконец показался пан Куклиновский. Лица его пан Андрей разглядеть не мог, но по его частому сапу он догадался, что миссия его оказалась неудачной и не особенно ему понравилась, так как у него даже пропала охота разговаривать. Некоторое время они шли молча; Кмициц решил разузнать у него всю правду и сказал с притворным сочувствием:

— Должно быть, вы возвращаетесь ни с чем... Наши ксендзы упорны, и, говоря между нами, они поступают не очень умно! — Тут он понизил голос. — Ведь не век же

нам защищаться.

Пан Куклиновский остановился и взял его за руку.

— Ага, вот и вы, стало быть, думаете, что они делают глупость? Есть у вас умишко, есть! А попиков мы в муку измелем — помяните мое слово! Не хотят слушать Куклиновского — послушают его саблю!

— Мне, изволите ли видеть, до них дела нет, — ответил Кмициц, — а беспокоит меня участь места этого: оно ведь как-никак свято! Чем позже оно сдастся, тем тяжелее будут условия... Разве что верны слухи, будто вся страна поднимается, будто шведов местами уже начинают бить и будто хан идет с помощью... Если так, то Мюллер должен будет отступить.

— Я вам скажу по секрету: в стране уже не прочь пустить шведам кровь, да и в войске тоже, — это правда! Насчет хана тоже поговаривают! Но Мюллер не отступит. Через несколько дней ему привезут тяжелые орудия. Вот мы и выкурим этих лисиц из их норы, а потом что будет, то будет! Но умишко у вас есть!..

— Вот и ворота! — сказал Кмициц. — Здесь мне надо проститься с вами. А может быть, вы хотите, чтобы я проводил вас вниз?

— Проводите, проводите! Несколько дней тому назад вы стреляли вслед послу...

— Ну что вы говорите?

— Может быть, нечаянно... А все-таки лучше проводите! Мне, кстати, надо сказать вам несколько слов.

— И мне — вам!

— Ну вот и прекрасно!

Они вышли за ворота и погрузились в темноту. Здесь Куклиновский остановился и, схватив Кмицица за рукав, заговорил снова:

— Вы, пан кавалер, кажетесь мне расторопным и неглупым, притом же я угадываю в вас солдата телом и душой. Зачем вы, черт возьми, держите сторону ксендзов, а не таких же, как мы, солдат? Зачем вы хотите быть ксендзовским прислужником? Наша компания лучше и веселей, — за чарками, за игрой, с женщинами... Понимаете?

И он сжал его руку пальцами.

— Этот дом, — продолжал он, указывая на монастырь, — горит, и глуп тот, кто не бежит из загоревшегося дома! Вы, может быть, боитесь, что вас назовут изменником? Так плюньте на тех, кто вас так назовет. Идите в нашу компанию. Я, Куклиновский, предлагаю вам это! Хотите, слушайте, не хотите, не слушайте, я сердиться не буду. Генерал примет вас хорошо, я за это ручаюсь, а мне вы понравились, и я все это говорю из расположения к вам. А компания у нас веселая, веселенькая... На то солдату и свобода, чтобы он служил кому хочет. На что вам монахи? Помните, что среди нас есть и честные люди. Столько шляхты, столько панов, гетманов!.. Чем вы лучше? А разве кто-нибудь теперь держит сторону Казимира? Никто! Один только Сапега Радзивилла душит. Кмициц заинтересовался:

— Сапега, говорите вы, Радзивилла душит?

— Да. Он его жестоко поколотил на Полесье, а теперь осаждает в Тыкоцине. А мы ему не мешаем.

— Почему?

— Король шведский предпочитает, чтобы они съели друг друга! Радзивилл никогда не был надежен, он о себе только думал... Кроме того, он, говорят, уже еле дышит. Кто допустил до того, что его окружили, того поминай как звали. Он уже погиб!

— И шведы не идут к нему на помощь?

— Кому же идти? Сам король в Пруссии, так как там самые важные дела. Курфюрст до сих пор все изворачивался (но теперь он не вывернется!), в Великопольше война, Виттенберг служит в Кракове, у Дугласа работа с горцами, вот

они и предоставили Радзивилла самому себе. Пусть его Сапега съест. Вырос Сапега, что и говорить... Но придет и ему черед! Наш Карл, как только поладит с Пруссией, мигом Сапеге рога снимет. Теперь с ним ничего не поделаешь, потому что за ним вся Литва стоит.

— А Жмудь?

— Жмудь держит в своих лапах Понтус де ла Гарди, а у него рука тяжелая, уж я знаю!

— Так вот как пал Радзивилл, он, который мощью с королями равнялся?

— Гаснет он, гаснет!

— Неисповедимы пути Господни.

— Превратности войны! Но не в том дело. Ну так как же? Вы ничего не решили насчет того предложения, которое я вам сделал? Вы жалеть не будете. Идемте к нам! Если вам нельзя сейчас, то подумайте до завтрашнего или послезавтрашнего дня, пока не придут тяжелые орудия. Они, видно, верят вам, если позволяют выходить за ворота, как сейчас. Или же возьмитесь отнести нам письма и больше не возвращайтесь.

— Вы тянете меня на сторону шведов, потому что вы шведский посол, — сказал Кмициц, — иначе вам поступить нельзя, но в душе бог вас знает, что вы думаете. Есть такие, которые служат шведам, но в душе желают им всякого зла.

— Даю кавалерское слово, — ответил Куклиновский, — что я говорю искренне, и не потому, что я посол. За воротами я уже не посол, и, если вы хотите, я добровольно слагаю с себя свое звание и говорю вам как частный человек: бросьте вы к черту эту поганую крепость!

— Это вы говорите как частное лицо?

— Да.

— И я могу вам ответить как частному лицу?

— Я сам вам это предлагаю.

— Тогда послушай меня, пан Куклиновский, — тут Кмициц наклонился и взглянул прямо в глаза собеседнику, — ты — шельма, предатель, мерзавец, подлец и архипес! Довольно с тебя или хочешь, чтобы я тебе еще в глаза плюнул?!

Куклиновский до того изумился, что некоторое время не мог вымолвить ни слова.

— Как так? Что? Хорошо ли я расслышал?

— Довольно этого с тебя, собака, или хочешь, чтобы я тебе в глаза плюнул?!

В руке Куклиновского сверкнула сабля, но Кмициц схватил его своей железной рукой, вырвал саблю, затем дал пощечину, так что эхо раздалось в темноте, дал другую, повернул Куклиновского несколько раз в руках и, толкнув его изо всей силы в спину, крикнул:

— Частному лицу, а не послу!

Куклиновский покатился вниз как камень, выброшенный из пращи, а пан Андрей спокойно пошел к воротам.

Все это происходило почти у подножия горы, так что со стен их трудно было разглядеть. Но все же у ворот Кмициц встретил ксендза Кордецкого, который поджидал его и тотчас, отведя его в сторону, спросил:

— Что ты так долго делал с Куклиновским?

— Я вышел с ним поговорить, — ответил пан Андрей.

— Что же он говорил?

— Говорил, что насчет хана — правда.

— Слава Богу, умеющему вдохновить сердца басурманам и из врагов сделать их друзьями!

— Говорил также, что Великопольша восстала.

— Слава Богу!

— Что регулярные войска все неохотнее служат шведам, что на Полесье воевода витебский, Сапега, разбил изменника Радзивилла и что на его стороне все честные граждане. Говорил, что за ним стоит вся Литва, за исключением Жмуди, которую держит в своих руках Понтус де ла Гарди.

— Слава Богу! А больше вы ни о чем не говорили?

— Как же, потом Куклиновский уговаривал меня перейти к шведам.

— Я так и думал, — ответил ксендз Кордецкий, — это дурной человек! Что же ты ему ответил?

— Видите ли, отец, он сказал мне: «Я слагаю с себя мое посольское звание, так как за воротами посольство мое и так кончилось, и уговариваю вас как частное лицо». А я для большей уверенности еще спросил его, могу ли ответить ему как частному лицу? Он сказал: «Хорошо!» — и тогда...

— Что — тогда?

— Тогда я дал ему по морде, так что он покатился вниз.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

— Не сердитесь, отец... Я все это очень ловко устроил, и ручаюсь, что он никому об этом и не заикнется!

Ксендз помолчал немного.

— Что ты сделал это из благородства, я знаю! — ответил он через минуту. — Меня огорчает только то, что ты нажил себе нового врага. Это страшный человек.

— Ну, одним больше, одним меньше!.. — сказал Кмициц и потом шепнул ксендзу на ухо: — Вот князь Богуслав — это враг! А что мне какой-нибудь Куклиновский? Я и думать о нем забуду.

XVII

Между тем откликнулся грозный Арфуйд Виттенберг. Офицер привез в монастырь его строгое письмо с приказанием сдать крепость Мюллеру. «В противном же случае, — писал Виттенберг, — если вы не захотите подчиниться упомянутому генералу и не перестанете сопротивляться, будьте уверены, что вас ждет за это суровая кара, которая послужит примером для других. И во всем виноваты будете вы сами».

Монахи, по получении этого письма, решили, как прежде, медлить, каждый день выдумывая все новые препятствия, и снова потекли дни, в которые гром пушек прерывал переговоры и переговоры — гром пушек.

Мюллер заявил, что он хочет ввести в монастырь свой гарнизон для защиты его от разбойничьих шаек.

Монахи ответили, что раз их гарнизон оказался достаточным для обороны против такого мощного войска, то он, конечно, будет достаточен и для защиты от разбойничьих шаек. И они умоляли Мюллера, заклинали его всем святым уйти в Велюнь или куда ему будет угодно. Но истощилось, наконец, и терпение шведов. Эта покорность осажденных, которые просили о милосердии и в то же время все яростнее стреляли из пушек, доводила до отчаяния Мюллера и его войско.

Мюллер сначала никак не мог понять, почему, после того как покорилась вся страна, одно это место еще защищается, недоумевал, какая сила поддерживает его, на что надеются монахи, не сдаваясь, чего они хотят и чего ожидают?

Но время давало все более ясные ответы на эти вопросы. Сопротивление, начало которого было здесь положено, ширилось по всей стране, как пожар.

Несмотря на всю свою тупость, генерал наконец понял, чего добивался ксендз Кордецкий, впрочем, это ему доказал, как дважды два четыре, Садовский: дело касалось не этого скалистого гнезда, не Ясной Горы, не сокровищ, нагроможденных в монастыре, не безопасности братии, а судеб всей Речи Посполитой. Мюллер понял,

что этот тихий ксендз знал, что делает, что он вполне сознавал свою миссию, что он восстал, как пророк, чтобы подать пример всей стране, чтобы голосом мощным воззвать на все четыре стороны мира: «Горе сердца!» — чтобы победой ли своею или смертью и самопожертвованием разбудить спящих, очистить грешных, возжечь свет во мраке.

Поняв это, старый воин попросту испугался и этого защитника, и той задачи, которую он выполнял. Вдруг этот ченстоховский «курятник» показался ему огромной горой, защищаемой титаном, а сам он показался себе карликом и в армии своей впервые в жизни увидел лишь горсточку жалких червей! Разве могут они поднимать руку на какую-то страшную, таинственную и неземную мощь? Мюллер испугался, и сомнение закралось в его сердце. Зная, что, в случае чего, всю вину свалят на него, он сам стал искать виновных, и гнев его обрушился прежде всего на Вжещовича. В шведском лагере начались нелады и взаимная неприязнь; от этого страдали осадные приготовления.

Но Мюллер слишком привык в жизни мерить людей и события обыкновенной солдатской меркой и поэтому все утешал себя мыслью, что крепость в конце концов сдастся, и по обыкновенной человеческой логике выходило, что иначе и случиться не может. Ведь Виттенберг прислал ему шесть осадных орудий огромного калибра, мощь которых была испытана уже при осаде Кракова.

«Черт возьми, — думал Мюллер, — такие стены не устоят против них, а когда это гнездо страхов, суеверий, колдовства развеется как дым, тогда все примет другой оборот, и вся страна успокоится».

В ожидании больших орудий, он велел стрелять из тех, которые у него были. Снова наступили дни войны. Но тщетно падали на крыши огненные ядра, тщетно самые искусные пушки делали нечеловеческие усилия. Каждый раз, когда ветер сдувал море дыма, монастырь показывался вновь, неповрежденный, великолепный, как всегда, с башнями, спокойно уходившими в небесную лазурь. Между тем случались события, вселявшие суеверный страх в сердца осаждавших. То ядра, перелетев через всю гору, поражали шведов, стоявших по другую сторону; то пушкарь, наводивший орудие, вдруг падал; то дым принимал странные и страшные формы; то порох в ящиках воспламенялся, точно его поджигала невидимая рука.

Кроме того, постоянно погибали солдаты, которые поодиночке, вдвоем или втроем выходили из лагеря. Подозрение падало на польские полки, которые, за исключением полка Куклиновского, отказались от какого бы то ни было участия в осаде и становились все опаснее для шведов. Мюллер пригрозил полковнику Зброжеку отдать его людей под суд, а тот ответил ему в глаза, в присутствии всех офицеров: «Попробуйте, генерал!»

Солдаты из польских полков нарочно заглядывали в шведский лагерь, выказывая презрение и пренебрежение солдатам и затевая ссоры с офицерами. Дело доходило до поединков, в которых шведы, как менее опытные фехтовальщики, обычно падали жертвой. Мюллер издал строгий приказ, запрещавший поединки, и в конце концов запретил полякам входить в шведский лагерь. В результате получилось то, что оба войска стояли друг около друга, как два враждебные лагеря, выжидающие лишь удобной минуты, чтобы начать битву.

А монастырь между тем защищался все успешнее. Оказалось, что орудия, которыми располагал монастырь, нисколько не уступали тем, которые были у Мюллера, а пушки благодаря постоянной практике дошли до такого искусства, что каждый их выстрел вредил неприятелю. Шведы объясняли это колдовством. Пушки прямо заявляли офицерам, что бороться с той силой, которая защищает монастырь, не в их власти.

Однажды утром в юго-восточных окопах случился переполох: солдаты совершенно явственно увидели деву в голубом плаще, осенявшую костел и

монастырь. Завидев это, все они бросились ниц на землю. Тщетно приезжал сам Мюллер; тщетно объяснял он им, что это туман и дым принял такие формы; тщетно грозил он им судом и карой. В первую минуту никто не хотел его слушать, особенно потому, что сам генерал не сумел скрыть своего ужаса.

После этого случая во всем войске укрепилось убеждение, что никто из тех, кто принимает участие в осаде, не умрет своей смертью. Многие офицеры разделяли это убеждение, да и сам Мюллер не был чужд некоторого беспокойства, так как он позвал лютеранских священников и приказал им молитвами прогнать чары. И они ходили по всему лагерю, распевая псалмы; но ужас настолько распространился среди солдат, что им не раз доводилось слышать шепот: «Не в вашей власти это сделать!»

Под гром пушечных выстрелов в монастырь вошел новый посол Мюллера и предстал перед ксендзом Кордецким и военным советом.

Это был пан Слядковский, подстольник равский, которого захватили шведы, когда он возвращался из Пруссии. Его приняли холодно и сурово, хотя у него было честное лицо и глаза чистые, как небо. Монахи уже привыкли видеть такие честные лица у изменников. Но он нисколько не смутился таким приемом и, перебирая пальцами чуб на голове, проговорил:

— Да славится имя Господне!

— Во веки веков! — ответили хором собравшиеся.

А ксендз Кордецкий сейчас же прибавил:

— Благословенны слуги его!

— И я ему служу, — ответил пан подстольник, — и лучше, чем Мюллеру, это вы сейчас увидите! Гм! Позвольте, святые отцы, мне плюнуть, должен же я гадость выплюнуть... Итак, Мюллер... тьфу!.. прислал меня, Панове, чтобы я уговорил вас сдаться... тьфу! И я взялся за это, чтобы сказать вам: защищайтесь, не думайте о сдаче! Шведы уже тонким голосом поют, и скоро их черти возьмут совсем!

Изумились монахи и воины, видя такого посла; вдруг пан мечник серадзский воскликнул:

— Богом клянусь, это какой-то честный человек!

И, подбежав к нему, он стал трясти его руку, а пан Слядковский свободной рукой продолжал гладить чуб и заговорил:

— Что я не шельма, это вы тоже увидите. Я просил Мюллера отправить меня послом еще и затем, чтобы сообщить вам новости, которые так прекрасны, что хочется их все единым духом выложить... Благодарите Бога и его Пресвятую Матерь, что она избрала вас орудием к исправлению сердец человеческих. Ваш пример, ваша оборона научила всю страну, и она уже сбрасывает с себя шведское иго. О чем тут говорить? Бьют шведов в Великопольше, бьют в Малопольше, уничтожают небольшие отряды, занимают дороги и проходы. В иных местах им задали уже здоровую трепку. Шляхта садится на коней, мужики собираются кучками, а поймают какого шведа — шкуру сдирают! Перья летят! Вот до чего дошло. А кто это сделал? Вы!

— Ангел, ангел говорит! — восклицали монахи и шляхта, поднимая к небу руки.

— Не ангел, а Слядковский, подстольник равский, всегда к услугам вашим готовый... Но это еще ничего! Слушайте дальше: хан, помня благодеяния законного государя нашего, Яна Казимира, коему пошли Бог здоровья и многая лета, идет к нам на помощь и уже вступил в пределы Речи Посполитой. Казаков, которые ему сопротивлялись, он изрубил в труху и идет со сотысячной ордой к Львову, а Хмельницкий, волей-неволей, с ним.

— Господи Боже! Господи Боже! — повторяли многочисленные голоса, точно придавленные этим счастьем.

А пан Слядковский даже вспотел и кричал, все быстрее размахивая руками:

— Но это еще ничего, — пан Чарнецкий, которого обманули шведы, не сдержав

данного слова и захватив его пехоту, считает себя также свободным от слова и уже садится на коня. Король Казимир войско собирает и не сегодня завтра вступит в страну, а гетманы, — слушайте, отцы! — гетманы пан Потоцкий и пан Лянцкоронский, а с ними все войско, только и ожидают прихода короля, чтобы покинуть шведов и обратить против них свои сабли. А пока они сносятся с паном Сапегой и с ханом. Шведы в ужасе: по всей стране пожар восстания, везде война... Все живое в поле выходит!

Что делалось в сердцах монахов и шляхты — трудно описать, трудно высказать. Некоторые плакали, некоторые бросились на колени, некоторые повторяли: «Это невозможно, это невозможно». Услышав это, пан Слядковский подошел к большому распятию, висевшему на стене, и проговорил:

— Влагаю персты мои в язвы Господни и клятву даю, что говорю правду истинную! Повторяю вам только: защищайтесь, не падайте духом, не верьте шведам, не рассчитывайте на то, что покорностью и сдачей монастыря вы можете обеспечить свою безопасность! Они не сдерживают никаких обещаний, никаких уговоров. Вы заперты здесь и не знаете, что творится по всей стране, какой везде гнет насилия, убийства, осквернение святынь, попираание всех законов. Шведы все обещают и ничего не исполняют. Вся страна отдана в добычу распутству солдат. Даже те, которые стоят на стороне шведов, не могут избежать обид. Вот кара Божья изменникам, нарушившим верность королю! Выигрывайте время! Я, как вы видите меня тут, если только жив буду, если смогу отвязаться от Мюллера, сейчас же отправлюсь в Силезию к нашему государю. Там я паду ему в ноги и скажу: «Великий государь! Спасай Ченстохов и вернейших слуг своих!» Но вы держитесь, святые отцы: от вас зависит спасение всей Речи Посполитой!

Тут голос пана Слядковского дрогнул, и слезы показались у него на глазах; потом он продолжал:

— Настанут еще для вас тяжелые дни: к нам везут осадные пушки из-под Кракова, их провожают двести человек пехоты. Одно орудие особенно страшно... Будут жестокие штурмы... Но это будут последние усилия... Продержитесь еще, ибо к вам уже идут на помощь! Клянусь язвами Господними, придет король, гетманы, войско, вся Речь Посполитая идет спасти свою Покровительницу... Вот что я вам говорю... Спасение, избавление, слава... Уже, уже... недолго...

И расплакался благородный шляхтич — и в ответ ему зарыдали все.

Ах, этой горсточке изнуренных защитников, этой горсточке верных, покорных слуг давно уже нужны были какие-нибудь лучшие вести, какое-нибудь утешение изнутри страны!

Ксендз Кордецкий встал с своего места, подошел к пану Слядковскому и широко раскрыл объятия.

Слядковский бросился к нему на шею, и долго они обнимали друг друга. Другие, следуя их примеру, тоже упали друг другу в объятия, целовались и поздравляли один другого, точно шведы уже ушли. Наконец ксендз Кордецкий сказал:

— В часовню, братья мои, в часовню!

И пошел первый, а за ним и другие. Зажгли все свечи, так как на дворе было уже сумрачно, раздвинули завесу у чудотворной иконы, и она засверкала нежным и полным блеском. Ксендз Кордецкий опустился на колени на ступеньках, за ним монахи, шляхта и простой народ; пришли и женщины с детьми. Бледные, измученные лица и заплаканные глаза поднимались к образу; но сквозь слезы на всех лицах сияла улыбка счастья. Некоторое время царило молчание, наконец ксендз Кордецкий начал:

— Под твою милость прибегаем, Богородице Дево!

Дальнейшие слова застряли у него в горле; усталость, прежние страдания, затаенное беспокойство вместе с радостной надеждой на спасение залили его душу

огромной волной — и рыдания потрясли его грудь. И этот человек, который нес на своих плечах судьбы всей страны, согнулся теперь под их бременем, как слабый ребенок, упал ниц и едва лишь смог выговорить среди рыданий:

— О, Мария, Мария... Мария!

Плакали вместе с ним все, а икона сверкала чудесным блеском...

Только позднюю ночью монахи и шляхта разошлись по стенам, а ксендз Кордецкий остался в часовне и всю ночь пролежал ниц. В монастыре опасались, как бы усталость не свалила его с ног, но на следующий день, рано утром, он появился уже среди солдат, осматривал башни и ходил веселый, отдохнувший и то и дело повторял:

— Дети, Пресвятая Дева покажет еще, что она сильнее осадных орудий, — и тогда придет конец всем нашим мучениям и заботам!

В то же утро ченстоховский мещанин, Яцек Бжуханский, переодевшись шведом, подошел к подножию стен, чтобы подтвердить известие о присылке больших орудий из Кракова, но вместе с тем и о приближении хана с ордой. Кроме того, пришло письмо от отца Антония Пашковского из Кракова, в котором тот, описывая нечеловеческую жестокость и грабежи шведов, просил и умолял ясногорских отцов не верить обещаниям неприятеля и всеми силами защищать святое место от дерзких безбожников.

«Ибо нет у шведов никакой веры, — писал ксендз Пашковский, — никакой религии. Ничто Божеское, ничто человеческое не кажется им святым и неприкосновенным; они не привыкли исполнять того, что обещают в своих договорах и соглашениях».

Это был день Непорочного зачатия Пресвятой Девы. Несколько офицеров и солдат из союзных польских полков настойчивыми просьбами добились от Мюллера разрешения отлучиться в крепость к обедне. Быть может, Мюллер рассчитывал, что они разговаривая с монастырским гарнизоном и, сообщив о присылке осадных орудий, напугают монахов, быть может, своим отказом он не хотел усилить в поляках ту ненависть, которая делала их отношения со шведами не совсем безопасными, — одним словом, он разрешил.

И вот с этими польскими солдатами в монастырь зашел некий татарин, из польских татар, магометанин. Среди всеобщего изумления он стал убеждать монахов не сдавать святое место шведам, уверяя, что шведы скоро отступят со стыдом и позором. То же самое повторяли и польские солдаты, во всем подтверждая сообщение пана Слядковского. Все это ободрило осажденных до такой степени, что они нисколько не боялись огромных орудий и даже подшучивали над ними.

После обедни началась перестрелка. Какой-то шведский солдат несколько раз подходил к самым стенам и громовым голосом поносил Пресвятую Деву. Осажденные стреляли в него несколько раз, но безуспешно. У Кмицица, когда он стал метиться, лопнула тетива лука, а швед все больше набирался смелости и подавал пример другим. О нем говорили, что у него семь дьяволов в услужении и они его оберегают и защищают.

В этот день он опять подошел к стенам, но осажденные, веря, что в день Непорочного зачатия чары не будут иметь такой силы, решили во что бы то ни стало его наказать.

Долго стреляли в него, но без успеха, наконец пушечное ядро, отскочив от земли и прыгая по снегу, подобно птице, ударило его в самую грудь и разорвало надвое. Осажденные ободрились этим и стали кричать со стен: «Кто же еще будет поносить ее?» — но шведы в беспорядке разбежались к окопам.

Мишенью для выстрелов были стены и крыши. Но ядра не пугали уже осажденных.

Старушка нищенка, Констанция, которая жила в расщелине скалы, точно

издеваясь над шведами, ходила по отлогой горе и собирала в подол шведские ядра и грозила по временам своим костылем в сторону шведов. Шведы принимали ее за колдунью, боялись, как бы она не причинила им какого-нибудь вреда, особенно когда заметили, что пули ее не берут.

Прошло целых два дня в безрезультатной перестрелке. На крыши бросали корабельные канаты, пропитанные смолой, которые летели, подобно огненным змеям. Но образцовая стража вовремя устраняла опасность. И вот наступила такая темная ночь, что, несмотря на костры, бочки со смолой и ракеты ксендза Лассоты, осажденные ничего не могли разглядеть.

Между тем в шведском лагере царило какое-то необычайное движение. Слышался скрип колес, гул людских голосов, порою ржание лошадей и какой-то грохот. Солдаты на стенах угадывали, что там происходит.

— Не иначе как пушки привезли, — говорили одни.

— И окопы насыпают, а тут такая темнота, что собственной руки не видишь.

Старшины обсуждали план вылазки, которую предлагал пан Чарнецкий, но мечник серадзский возражал, что при столь важной работе неприятель должен был принять все меры предосторожности и, наверное, держит наготове пехоту. Поэтому решено было только стрелять в северном и южном направлении, откуда слышался наибольший шум. Но результатов нельзя было разглядеть в темноте.

Наконец забрезжил день и осветил работу шведов. С северной и южной стороны возвышались окопы, над которыми работало несколько тысяч человек. Они были так высоки, что осажденным казалось, будто они на одном уровне со стенами. В равномерных выемках на их поверхности зияли огромные жерла пушек, за которыми стояли солдаты, похожие на рой желтых ос.

В костеле еще не отошла обедня, как вдруг воздух вздрогнул от страшного грохота, задребезжали стекла, в некоторых местах стекла вылетели из рам, со звоном разбиваясь о каменный пол, и весь костел наполнился пылью обвалившейся штукатурки.

Огромные орудия заговорили.

Начался страшнейший огонь, какого не видывали еще осажденные. Когда отошла обедня, все бросились на стены и на крыши. Прежние обстрелы показались им теперь невинной забавой в сравнении с этим страшным адом огня и свинца.

Маленькие пушки вторили осадным. В воздухе летели ядра, гранаты, связки тряпок, насыщенных смолой, факелы, огненные канаты. Двадцатишестифунтовые ядра срывали штукатурку со стен, иногда даже вязли в стенах, иногда делали огромные пробоины, вырывали штукатурку и кирпичи. Стены, окружающие монастырь, кое-где дали трещины, и не утихавшие ни на минуту выстрелы угрожали тем, что все они могут рухнуть. Монастырские строения были буквально засыпаны огнем.

Трубачи на башнях чувствовали, как они колеблются. Костел весь дрожал от постоянных толчков; в некоторых алтарях свечи попадали из подсвечников.

Вода, которую в невероятном количестве приходилось употреблять для тушения пожаров, образовала вместе с дымом и пылью такие густые клубы пара, что за ним ничего не было видно. Обнаружены были повреждения и в стенах строений. Крики: «Горит!» — раздавались все чаще среди грохота выстрелов и свиста пуль. Близ северной башни разбило два колеса у пушки, одно орудие принуждено было совершенно замолчать. В конюшню залетела граната, убила трех лошадей, и там начался пожар. Не только пули, но и осколки гранат дождем сыпались на крыши, башни и стены.

Вскоре раздались стоны раненых. По странной случайности убиты были три молодых солдата, все Яны. Это ужаснуло других защитников, носивших то же имя, но в общем оборона была достойна штурма. На стены выбежали даже женщины, дети и

старики. Солдаты бесстрашно стояли в огне и в дыму, среди града выстрелов и с бешеным упорством отвечали на неприятельский огонь. Одни, хватаясь руками за колеса, перевозили орудия в наиболее опасные места, другие сталкивали в пробоины в стенах камни, бревна, балки, навоз, землю. Женщины, с распущенными волосами, с пылающими лицами, подавали пример храбрости, и были среди них даже такие, которые с ушатами воды гонялись за гранатами, прыгавшими по земле и готовыми взорваться каждую минуту. Воодушевление росло с часу на час, точно в этом запахе пороха, дыма, пара, в этом грохоте, в волнах огня и железа было что-то возбуждающее. Все действовали без команды, так как слова исчезали в страшном шуме. И только песню, которую пели трубы на башне, можно было еще слышать среди грохота.

К полудню огонь ослабел. Все вздохнули с облегчением. Но вот у ворот затрещал барабан, и барабанщик, присланный Мюллером, стал спрашивать, не довольно ли с монахов этой пальбы и не пожелают ли они немедленно сдаться? Сам ксендз Кордецкий ответил, что ему нужно подумать до завтрашнего дня. Как только этот ответ был сообщен Мюллеру, снова начался штурм, с удвоенной энергией.

Время от времени огромные колонны пехоты под огнем подходили к стенам, точно намереваясь взять крепость приступом, но под убийственной пальбой из пушек и мушкетов они, с огромными потерями, каждый раз отступали назад, к батареям. И как волна, залившая берег, отхлынув, оставляет после себя на песке всевозможные водоросли, раковины и камешки, так эти волны шведов, отхлынув назад, каждый раз оставляли после себя трупы, разбросанные там и сям на земле.

Мюллер велел стрелять не в башни, а в стены и именно в те места, где ответный огонь был слабее. Кое-где стены дали значительные трещины, но они были слишком малы, чтобы пехота могла проникнуть через них внутрь крепости.

Вдруг произошло событие, которое прервало штурм.

Это было вечером; у одного из больших орудий стоял шведский артиллерист с зажженным фитилем, который он намеревался приложить к орудию, — вдруг монастырское ядро попало ему в самую грудь, но так как, из-за дальности расстояния, оно потеряло уже свою силу, то, сделав три скачка по земле, оно лишь отбросило артиллериста вместе с фитилем на несколько шагов в сторону. Он упал на открытый ящик, наполненный порохом. Тотчас раздался страшный грохот, и клубы дыма покрыли окопы. Когда дым рассеялся, оказалось, что пять артиллеристов были убиты, колеса орудия повреждены, остальных же солдат охватила паника. Пришлось прекратить огонь с этого окопа, и так как стало темно, его прекратили и на других.

На следующий день было воскресенье.

Лютеранские священники отправляли богослужения на окопах, и орудия молчали. Мюллер снова запросил монахов: не довольно ли с них? Они ответили, что перенесут и больше.

Между тем стали осматривать повреждения в монастыре. Они были значительны. Помимо того что много народу было убито, оказалось, что и стены местами грозили рухнуть. Страшнее всех оказалось одно орудие, стоявшее с юга. Оно настолько повредило стены, вырвало столько камней и кирпичей, что если бы огонь продолжился еще несколько дней, то огромная часть стены могла бы рассыпаться в прах.

Пробоину, которая образовалась бы в этом месте, нельзя было бы заложить ни бревнами, ни землей, ни навозом. И ксендз Кордецкий озабоченными глазами смотрел на это опустошение, с которым он не мог бороться.

Между тем в понедельник снова начался штурм, и огромное орудие продолжало свою страшную работу. Но и в шведском лагере случались различные бедствия. К вечеру этого дня шведский пушкарь на месте убил племянника Мюллера, которого генерал любил как собственного сына и которому намеревался завещать не только

свое имя и свою славу, но и все свое состояние. Но это лишь наполнило душу старого воина еще большей ненавистью. Стена у южной башни уже так потрескалась, что ночью начали делать приготовления к рукопашному штурму. Для того чтобы пехота могла подойти к стенам возможно безопаснее, Мюллер велел не зажигать огня по всей линии окопов. Но ночь была ясная, и на бледном снегу явственны были все движения неприятеля. Ясногорские пушки прогоняли солдат.

На рассвете пан Чарнецкий заметил готовую осадную машину, которую уже подвели к стенам. Но осажденные без труда разрушили ее пушечными выстрелами; при этом было перебито столько народу, что этот день можно было бы считать днем победы для осажденных, не будь того осадного орудия, которое со страшной силой разрушало стены.

На следующий день была оттепель и такой густой туман, что монахи объясняли его чарами злых духов. Нельзя было разглядеть ни осадных машин, ни работ осаждающих. Шведы подходили к самым монастырским стенам. Вечером Чарнецкий взял настоятеля под руку, когда он, по обыкновению, обходил стены, и сказал ему на ухо:

— Плохо, святой отец! Стена дольше чем день не выдержит.

— Может быть, туман помешает им стрелять, — ответил ксендз Кордецкий, — а мы между тем поправим повреждения.

— И туман не помешает, так как орудие уже наведено и может продолжать свое дело в темноте, а между тем стена все осыпается и осыпается.

— В Боге и Пресвятой Деве наша надежда...

— Так-то так! А что, если сделать вылазку? Пусть даже придется потерять много людей, только бы заткнуть глотку этому дьявольскому дракону...

Вдруг в тумане зачернела какая-то фигура, и около разговаривающих очутился пан Бабинич.

— Смотрю, кто говорит, лица и в трех шагах не разглядишь, — сказал он. — Добрый вечер, святой отец! О чем вы говорите?

— Вот об этой пушке. Пан Чарнецкий советует вылазку! Это дьявол туман развесил!.. Я уже велел молиться...

— Отец святой! — сказал пан Андрей. — С тех пор как это орудие разрушает нам стену, я все думаю о нем, и кое-что мне уже пришло в голову. Вылазка здесь ни к чему... Зайдемте куда-нибудь в комнаты, я вам расскажу, что я надумал.

— Хорошо, — ответил настоятель, — пойдемте в мою келью.

Вскоре они уселись за сосновым столом в убогой келье настоятеля. Ксендз Кордецкий и пан Чарнецкий внимательно смотрели в молодое лицо Кмицица, а он сказал:

— Здесь вылазка ни к чему. Заметят и прогонят. Здесь один человек должен действовать.

— Как так? — спросил пан Чарнецкий.

— Должен пойти один человек и взорвать орудие порохом. Он может это сделать, пока такой туман. Лучше всего ему переодеться. Тут, говорят, есть шведская одежда. А если нельзя будет иначе, тогда придется проникнуть к шведам, и если с этой стороны окопов, откуда выглядывает к нам жерло орудия, нет людей, то тем лучше.

— Боже мой, да что может сделать один человек?

— Ему нужно будет только всадить в дуло пушки ящик с порохом, приладить к нему пороховую нитку и зажечь ее. Когда порох вспыхнет, орудие будет взорвано.

— Эх, милый мой, что ты говоришь? Мало ли пороха суют в него каждый день, а оно не разрывается?

Кмициц рассмеялся и поцеловал ксендза в рукав рясы.

— Отец святой, великое у вас сердце, геройское и святое...

— Ну, брось... — перебил его ксендз.

— ...и святое, — повторил Кмициц, — но только в пушках вы ничего не понимаете. Другое дело, когда порох вспыхнет в задней части дула, тогда он своим напором выбрасывает ядро; но если заткнуть переднее отверстие и зажечь порох, то нет такой пушки, которая могла бы выдержать этот опыт. Спросите пана Чарнецкого. Бывает, что когда в дуло ружья набьется снег, то ружье обязательно разорвется при выстреле. Уж такая дьявольская сила! А что будет, если целый ящик вспыхнет? Спросите пана Чарнецкого.

— Да, это не новость для солдата, — ответил Чарнецкий.

— И вот, если бы только взорвать это орудие, — продолжал Кмициц, — то все остальные — пустяки!

— Но мне кажется, что это невозможно, — ответил на это ксендз Кордецкий, — и прежде всего, кто возьмется это сделать?

— Такой человек есть, — ответил пан Андрей, — и зовут его Бабинич.

— Ты? — воскликнули вместе ксендз и пан Петр Чарнецкий.

— Эх, отче! Ведь я у вас на исповеди был и все свои проделки вам рассказал. Были среди них проделки не хуже той, которую я задумал; неужели вы можете сомневаться, что я за это возьмусь? Или вы меня еще не знаете?

— Это герой, это рыцарь из рыцарей, Богом клянусь! — воскликнул Чарнецкий.

И, обняв Кмицица за шею, он сказал:

— Дай я тебя расцелую за одно только желание.

— Укажите мне другое средство, и я не пойду, — сказал Кмициц, — но кажется мне, что я справлюсь сумею. И помните о том, что я по-немецки говорю, как немец. Это много значит; если у меня только платье будет, они не скоро догадаются, что я не ихний. Но я думаю, что перед орудием стражи нет и что я успею все сделать, прежде чем они опомнятся.

— Пана Чарнецкий, что вы об этом думаете? — спросил вдруг настоятель.

— Из ста человек один лишь возьмется за такое предприятие, — ответил пан Петр, — но храбрость города берет.

— Бывал я и в худших переделках, — сказал Кмициц, — и ничего мне не будет, уж такое мне счастье, отец святой. Какая разница? Прежде я рисковал жизнью только бы порисоваться, из-за пустого тщеславия, а теперь я делаю это ради Пресвятой Девы. Если мне даже и придется сложить голову, то скажите сами: можно ли пожелать кому-нибудь более славной смерти, чем в таком деле?

Ксендз долго молчал, наконец сказал:

— Я бы стал удерживать тебя убеждениями и просьбами, если бы ты хотел этим добиться только славы, но ты прав: дело касается Пресвятой Девы, этого святого места и всей страны. А ты, мой сын, вернешься ли счастливо или примешь мученический венец, — тебя ждет высшее счастье, вечное спасение. И вот, наперекор сердцу своему, я говорю тебе: иди, я тебя не удерживаю. Молитвы наши будут тебя хранить...

— С ними я пойду смело и рад буду погибнуть.

— Нет, возвращайся, солдатик Божий, возвращайся счастливо, мы тебя здесь полюбили от всей души. Пусть же тебя святой Рафаил ведет, дитя мое, сын мой дорогой!

— Я сейчас же сделаю все приготовления, — весело сказал пан Андрей, обнимая ксендза, — я переоденусь шведом, захвачу с собой порох, а вы пока молитесь, чтобы туман не проходил, он нужен шведам, но нужен и мне.

— А не хочешь ли ты отысповедоваться перед дорогой?

— Разве можно иначе? Без исповеди не пойду, иначе черти будут иметь ко мне доступ.

— Ну так с этого и начнем!

Пан Петр вышел из кельи, а Кмициц опустился перед ксендзом на колени и очистился от грехов. И, веселый, как птица, он пошел сделать необходимые приготовления.

Час или два спустя, поздней ночью, он снова постучал в келью ксендза-настоятеля, где его ждал и пан Петр.

Оба они с ксендзом едва узнали его — такой превосходный швед из него вышел. Усы он закрутил кверху, надел шляпу набекрень и как две капли воды был похож на какого-нибудь знатного офицера.

— Господи боже, рука невольно за саблю берется при его виде, — сказал пан Петр.

— Уберите свечу, — воскликнул Кмициц, — я вам что-то покажу...

И когда ксендз Кордецкий заботливо отодвинул свечу, пан Андрей положил на стол толстую кишку из просмоленного полотна, туго набитую порохом. На одном конце ее свешивался длинный шнур, пропитанный серой.

— Ну, — сказал он, — когда я дам пушке принять это лекарство, у нее мигом брюхо лопнет.

— А чем ты зажжешь шнур? — спросил ксендз Кордецкий.

— В этом-то и вся опасность предприятия: мне придется высекать огонь. У меня есть хороший кремьень, трут и огниво. Но придется нашуметь, они могут заметить. Надеюсь, что шнур они погасить не успеют, он будет висеть у самого жерла пушки, и его трудно будет заметить, тем более что он будет скоро тлеть, но они могут броситься за мной в погоню, а я бежать прямо в монастырь не могу.

— Почему не можешь? — спросил ксендз.

— Меня может убить взрывом. Как только я увижу искру, мне сейчас же нужно отбежать шагов пятьдесят в сторону и лечь на землю. Только после взрыва мне можно будет бежать в монастырь.

— Боже, боже, как это опасно! — сказал настоятель, поднимая глаза кверху.

— Отец дорогой, я так уверен, что вернусь к вам, что даже не волнуюсь нисколько, хотя люди всегда волнуются в такие минуты. Ну да это все равно! Будьте здоровы и молитесь, чтобы Господь дал мне удачу. Проводите меня только до ворот.

— Как? Ты сейчас хочешь идти? — спросил пан Чарнецкий.

— А что же? Ждать, пока рассветет или когда туман пройдет? Разве мне жизнь не мила?

Но в эту ночь Кмициц не пошел, ибо только лишь они дошли до ворот, как стало светать. Кроме того, у большого орудия слышалось какое-то движение. На следующее утро осажденные убедились, что его перевезли на другое место.

Шведами было получено сообщение, что на повороте у южной башни стена особенно слаба, и они решили направить туда выстрелы. Быть может, это была проделка ксендза Кордецкого, так как накануне из монастыря выходила куда-то старушка Констанция, а ею всегда пользовались, когда нужно было сообщить шведам какие-нибудь ложные известия. Во всяком случае, это была ошибка со стороны шведов, так как осажденные могли тем временем поправить поврежденную стену, а для того чтобы сделать новый пролом, нужно было несколько дней.

Ночи все еще были ясны, а дни шумны. Стреляли с отчаянной энергией. Дух сомнения снова закрался в сердца осажденных. Среди шляхты было немало таких, которые попросту хотели сдаться; некоторые монахи тоже упали духом. Оппозиция все росла. Ксендз Кордецкий боролся с нею с неутомимой энергией, но здоровье его ухудшилось. Между тем к шведам подходили новые подкрепления и транспорты из Кракова. Особенно страшны были большие бомбы, наполненные порохом и свинцом. Они не столько вредили осажденным, сколько вселяли в них панику.

Кмициц, с тех пор как он решил взорвать орудие, скучал в крепости. И каждый день он с тоской поглядывал на свою кишку. После некоторого раздумья он сделал

ее еще длиннее, так что она была в аршин длиной и толщиной в голенище.

По вечерам он жадными глазами смотрел в ту сторону, где стояло орудие, изучал небо, как астролог. Но луна, освещавшая по ночам снег, делала невозможным его предприятие. Но вот наконец настала оттепель, тучи закрыли горизонт, и настала темная ночь. Пан Андрей так повеселел, точно ему кто-нибудь подарил настоящего арабского коня, и лишь пробила полночь, как он очутился у пана Чарнецкого в своем рейтарском костюме и с кишкой под мышкой.

— Иду! — сказал он.

— Подожди, я дам знать настоятелю.

— Хорошо. Ну, пан Петр, давай поцелуемся, и иди за ксендзом Кордецким.

Чарнецкий сердечно расцеловал его и ушел. Не успел он сделать тридцати шагов, как перед ним забелела ряса настоятеля. Он догадывался, что Кмициц сегодня отправится, и шел с ним проститься.

— Бабинич готов. Он ждет вас, отец.

— Иду, иду, — ответил ксендз. — Матерь Божья, помоги ему и защити!

Минуту спустя они были уже в проходе, где пан Чарнецкий оставил Кмицица, но его уже и след простыл.

— Ушел? — с изумлением сказал ксендз Кордецкий.

— Ушел, — ответил пан Чарнецкий.

— Ах он изменник, — взволнованно сказал настоятель, — я ему хотел ладанку на шею повесить.

Оба замолчали; всюду было тихо, так как ночная темнота не позволяла стрелять. Вдруг пан Чарнецкий сказал:

— Боже мой, он даже не старается идти тихо. Вы слышите шаги? Снег хрустит...

— Пресвятая Дева, храни своего слугу! — сказал настоятель. Некоторое время они внимательно прислушивались, пока шаги и скрип снега не утихли.

— Вы знаете что, отец? — шепнул Чарнецкий. — Минутами я думаю, что ему все удастся, и несколько за него не боюсь. Этот шельмец пошел так, точно в корчму горилки выпить. Что за удасть в нем! Либо он рано голову сложит, либо гетманом будет! Если бы я не знал, что он слуга Пресвятой Девы, я бы думал... Дай Бог ему счастья, дай Бог ему счастья, ибо другого такого кавалера не сыскать во всей Речи Посполитой.

— Так темно, так темно, — сказал ксендз Кордецкий, — а они после нашей вылазки стали осторожнее. Он может нарваться на целый отряд, ничего не подозревая...

— Этого я не думаю; стража, конечно, стоит на постах, но на окопах, а не перед окопами. Если они не услышат шагов, то он легко может подкрасться под окопы, а потом окопы и защитят.

Тут пан Чарнецкий замолчал, так как сердце его тревожно билось от ожидания и ему трудно было дышать.

Ксендз осенил крестом ту сторону, куда уходил Кмициц. Вдруг к ним кто-то подошел. Это был мечник серадзский.

— А что там? — спросил он.

— Бабинич пошел взорвать осадное орудие порохом.

— Как?! Что?!

— Взял кишку с порохом, шнур, кремень и пошел.

Пан Замойский схватился руками за голову.

— Господи боже мой! — воскликнул он. — Один?!

— Один.

— Кто же ему позволил? Ведь это страшно опасно!

— Я! Для Господа все возможно, даже и то, что он вернется благополучно! — ответил ксендз Кордецкий.

Замойский замолчал.

— Будем молиться, — сказал ксендз.

Они втроем опустились на колени и стали молиться. Но волосы дыбом вставали на голове у рыцарей от беспокойства. Прошло четверть часа, полчаса, потом час, длинный как вечность.

— Должно быть, ничего не выйдет! — сказал пан Чарнецкий. И глубоко вздохнул.

Вдруг вдали сверкнул огромный столб огня и раздался грохот, точно небо свалилось на землю, вздрогнули стены костела и монастыря.

— Взорвал! Взорвал! — закричал пан Чарнецкий. Но новый взрыв прервал его слова.

Ксендз бросился на колени и, подняв руки к небу, воскликнул:

— Пресвятая Дева, Заступница и Защитница, дай ему вернуться невредимым!

На стенах показались люди. Гарнизон, не зная, что случилось, схватился за оружие. Из келий выбежали монахи. Никто еще не спал. Выбежали даже женщины. Вопросы и ответы перекрещивались с молниеносной быстротой.

— Что случилось?

— Штурм!

— Взорвало шведскую пушку! — сказал один из пушкарей.

— Чудо! Чудо!

— Взорвало самое большое орудие!

— Где ксендз Кордецкий?

— На стенах, молится. Он это сделал!

— Бабинич взорвал орудие! — крикнул пан Чарнецкий.

— Бабинич! Бабинич! Слава Пресвятой Деве! Оно уже не будет нам вредить!

Из шведского лагеря доносились какие-то беспорядочные голоса. На всех окопах блеснули огни. Слышалась все большая суматоха. При свете костров виднелись толпы солдат, которые беспомощно бегали в разные стороны; раздались звуки труб, затрещали барабаны; до стен доносились крики, полные тревоги и ужаса.

Кордецкий все еще стоял на коленях.

Но вот ночь стала бледнеть, а Бабинич все еще не возвращался в крепость.

XVIII

Что же случилось с паном Бабиничем и как он привел в исполнение свое намерение?

Выйдя из крепости, он некоторое время шел уверенными, хотя и осторожными шагами. Спустившись с горы, он остановился и стал прислушиваться. Вокруг было тихо, так что слышался хруст снега под ногами. Пришлось идти еще осторожнее. Он часто останавливался и прислушивался. Боялся поскользнуться и упасть — на снегу порох мог отсыреть. Он вынул саблю и стал на нее опираться. Это очень помогло. Нащупывая перед собой дорогу, он через полчаса услышал впереди легкий шорох.

«Караулят... Вылазка научила их осторожности», — подумал он и дальше шел уже очень медленно. Его радовало то, что он не сбился с пути, хотя было так темно, что не видно было конца сабли.

— Те окопы гораздо дальше, значит, я иду по правильному пути, — шепнул он про себя. Перед окопами он не думал кого-нибудь встретить, там солдатам нечего было делать, особенно ночью. Возможно, что была расставлена стража, но не ближе чем в ста шагах пост от поста — и в темноте он надеялся проскользнуть мимо нее незамеченным.

На душе у него было весело.

Кмициц был человек не только смелый, но и самонадеянный. Мысль взорвать

огромное орудие радовала его до глубины души не только как геройский подвиг, не только как огромная услуга осажденным, но как шалость по отношению к шведам. Он воображал, как они перепугаются, как Мюллер будет скрежетать зубами, как он будет глядеть на монастырские стены в сознании полной беспомощности, — и порою его душил смех.

И как сам он говорил недавно: он не чувствовал ни волнения, ни страха, ни тревоги; ему и в голову не приходило, на какую страшную опасность он идет. Он шел как школьник в чужой сад за яблоками. Ему вспомнились те времена, когда он подкрадывался к лагерю Хованского и с двумя сотнями забияк, таких же, как он, забирался внутрь тридцатитысячного лагеря.

Вспомнил он своих компаньонов: Кокосинского, огромного Кульвеца-Гиппоцентавра, Раницкого, потомка сенаторского рода, и других — и вздохнул, вспомнив их.

«Пригодились бы теперь, шельмецы, — подумал он, — с ними можно было бы сегодня ночью шесть пушек взорвать!» — На минуту сердце его сжалось от чувства одиночества, но не надолго. Перед глазами у него встала вдруг Оле нька. Любовь заговорила в нем с огромной силой. Он расчувствовался... Если бы его могла видеть хоть эта девушка, как бы она обрадовалась! Быть может, она думает еще, что он служит шведам. Недурна служба! Уж они его поблагодарят! Что будет, когда она узнает про все его проделки? Что она подумает? Подумает, верно: «Ветренный он человек, но когда дойдет до дела, то лучше его не найдешь; он ни перед чем не остановится. Вот каков этот Кмициц!»

— Я еще не то покажу, — сказал про себя пан Андрей, хвастливо улыбаясь.

Но, несмотря на эти мысли, он не забыл, где он, куда идет, что намеревается сделать, и продолжал подкрадываться, как волк к ночному пастбищу. Он оглянулся раз, другой. Ни костела, ни монастыря. Все окутал густой, непроницаемый мрак. Судя по времени, он должен был зайти уже далеко, и окопы, верно, были уже рядом.

«Интересно знать, есть ли стража?» — подумал он.

Но не успел он сделать и двух шагов, как вдруг перед ним раздался шум мерных шагов, и несколько голосов спросило в разных местах:

— Кто идет?

Пан Андрей остановился как вкопанный. Его даже в жар бросило.

— Свои, — ответили другие голоса.

— Пароль?

— «Упсала».

— Лозунг?

— «Корона».

Кмициц сейчас же догадался, что происходит смена караула.

«Дам я вам «Упсалу» и «Корону», — подумал он.

И он обрадовался. Это было для него необыкновенно счастливое обстоятельство, так как он мог теперь, в минуту смены караула, пройти через линию стражи: шаги солдат заглушали его собственные шаги.

И он сделал это без малейшего затруднения и пошел вслед за возвращавшимися солдатами, не соблюдая даже особенной предосторожности; дошел до самого окопа, там солдаты повернули, обошли его, а он соскочил в ров и спрятался в нем.

Между тем стало немного светлее. Пан Андрей и за это должен был благодарить небо, иначе ему бы не удалось ощупью найти орудие, к которому он шел. Теперь, подняв вверх голову и напрягая зрение, он увидел черную линию окопов и темные очертания орудий.

Он мог даже разглядеть их жерла, немного выступавшие над поверхностью окопов. Подвигаясь медленно вдоль рва, он нашел наконец свое орудие.

Остановился и стал прислушиваться.

За окопами слышался шум. Должно быть, пехота стояла наготове неподалеку от орудий. Но во рву, перед линией окопов, Кмицица нельзя было заметить; его могли слышать, но видеть не могли. Теперь он был озабочен только тем, сможет ли он снизу достать до дула пушки, которая торчала высоко над его головой.

К счастью, края рва не были слишком отвесны, а кроме того, ров был вырыт недавно, и, хотя его поливали водой, он еще не успел замерзнуть, тем более что все это время была оттепель.

Сообразив все это, Кмициц стал делать небольшие выемки в стене рва и понемногу подниматься к пушке.

Через четверть часа ему удалось ухватиться рукой за отверстие ствола. Он повис в воздухе, но его огромная сила дала ему возможность удержаться, пока он не всунул кишку с порохом внутрь пушки.

— Вот тебе колбаса, песик! — пробормотал он.

Потом он опустился вниз и стал искать шнур, прикрепленный к кишке и свешивавшийся в ров.

Вскоре он нащупал его рукой. Но теперь предстояло самое трудное дело: надо было высекать огонь и зажечь шнур.

Кмициц немного подождал и, когда шум за окопами стал немного сильнее, стал слегка ударять огнивом о кремь.

Но в ту же минуту у него над головой раздался вопрос по-немецки:

— А кто там, во рву?

— Это я, Ганс, — ответил без колебания Кмициц, — шомпол у меня в ров свалился, вот хочу свету зажечь, чтобы его найти.

— Ну ладно, ладно, — ответил пушкарь. — Твое счастье, что сейчас не стреляют, иначе бы тебе голову оторвало одним только напором воздуха.

«Ага, — подумал Кмициц, — значит, кроме моего заряда в пушке есть собственный заряд. Тем лучше!»

В эту минуту пропитанный серой шнур воспламенился и нежные искорки зазмеились вверх по его сухой поверхности.

Пора было бежать, и Кмициц, не теряя ни минуты, помчался вдоль рва изо всех сил, не слишком думая о том, что его могут слышать. Пробежав шагов двадцать, он остановился: любопытство превозмогло в нем страшную опасность.

«А вдруг шнур погас: в воздухе сыро», — подумал он.

Оглянувшись назад, он увидел искру, но уже гораздо выше, чем раньше.

«Не слишком ли близко?» — подумал он, и ему стало страшно.

Он опять помчался во весь дух, но споткнулся о камень и упал. Вдруг страшный грохот потряс воздух; земля заколебалась; осколки дерева, железа, камни, глыбы льда, комья земли засвистели у него мимо ушей — и больше он уже ничего не ощущал.

Потом раздались новые взрывы. Взорвались от сотрясения ящики с порохом, стоявшие неподалеку от орудия.

Но пан Кмициц этого уже не слышал, так как он лежал во рву, как мертвый.

Не слышал он и того, как после минутной мертвенной тишины раздались вдруг стоны, крики и мольбы о помощи, как на место происшествия сбежалась чуть ли не половина шведских и польских войск, как потом приехал сам Мюллер в сопровождении штаба. Суматоха и замешательство продолжались очень долго, и наконец из хаоса свидетельских показаний генералу удалось добиться страшной правды: орудие было кем-то взорвано умышленно. Он сейчас же распорядился начать поиски. Утром рано солдаты нашли во рву пана Кмицица, лежавшего без чувств.

Оказалось, что он был только оглушен и от сотрясения воздуха не мог

некоторое время владеть руками и ногами. Это бессилие продолжалось весь следующий день. Его старательно лечили. К вечеру он почти совсем пришел в себя.

Мюллер велел сейчас же его привести.

Он сидел в своей квартире за столом, рядом с ним сидел ландграф гессенский, Вжещович, Садовский, все известные шведские офицеры, а из поляков — Зброжек, Калинин и Куклиновский.

Последний, увидев Кмицица, посинел, глаза его засверкали как угли, усы задрожали. И, не дожидаясь вопроса генерала, он сказал:

— Я знаю эту птичку... Он из ченстоховского гарнизона, зовут его Бабинич.

Кмициц молчал. Лицо его было бледно и носило следы утомления, но глаза смотрели гордо, и лицо было спокойно.

— Ты взорвал орудие? — спросил Мюллер.

— Я! — ответил Кмициц.

— Как это ты сделал?

Кмициц рассказал все в нескольких словах, ничего не утаивая. Офицеры переглядывались с изумлением.

— Герой!.. — шепнул Садовскому ландграф гессенский.

А Садовский наклонился к Вжещовичу.

— Граф, — спросил он, — ну как же? Возьмем мы крепость, если там такие защитники? Как вы думаете, они сдадутся?

Но Кмициц ответил:

— Нас много в крепости, готовых на все. Вы не знаете дня и часу...

— У меня тоже много веревок в лагере, — ответил Мюллер.

— Это и мы знаем. Но Ясной Горы вам не взять, пока там остался хоть один живой человек.

Наступило минутное молчание. Затем Мюллер продолжал допрос:

— Тебя зовут Бабинич?

Пан Андрей подумал, что после того, что он сделал, и перед лицом близкой смерти ему уже нет нужды скрывать свое собственное имя. Пусть же люди забудут о его прегрешениях и поступках, пусть же это имя покроют лучи славы и самопожертвования.

— Меня зовут не Бабинич, — ответил он не без гордости, — меня зовут Андрей Кмициц, я был полковником собственного полка в Литовском воеводстве.

Куклиновский, едва услышав это, вскочил с места как ужаленный, вытаращил глаза, раскрыл рот, стал бить себя руками по бедрам и наконец крикнул:

— Генерал, прошу вас на два слова! Прошу вас на два слова! Но сейчас, сейчас!

Среди польских офицеров поднялось какое-то движение, и шведы с удивлением присматривались к нему, так как им ничего не говорило имя Кмицица. Но вместе с тем они догадались, что это, верно, не совсем обыкновенный человек, так как Зброжек встал, подошел к пленнику и сказал:

— Мосци-полковник! В том положении, в каком вы находитесь, я ничем вам помочь не могу, но прошу вас, подайте мне руку.

Кмициц высокомерно поднял голову и ответил:

— Я не подаю руки изменникам, которые служат против отчизны!

Лицо Зброжека налилось кровью.

Калинский, который стоял рядом с ним, отошел в сторону; шведские офицеры тотчас их окружили, расспрашивая, кто этот Кмициц, имя которого произвело на них такое впечатление.

Между тем в соседней комнате Куклиновский стоял с Мюллером у окна и говорил:

— Генерал, вам ничего не говорит имя Кмицица. Но это первый солдат и первый

полковник Речи Посполитой. Все знают о нем, все знают это имя. Некогда он служил Радзивиллу и шведам, но теперь, видно, перешел на сторону Яна Казимира. Нет ему равного среди солдат, разве что я! Только он мог это сделать: пойти один и взорвать орудие. По одному этому его можно узнать. Он так вредил Хованскому, что была назначена награда за его голову. С двумя- или тремястами людей, он, после шкловского поражения, держал в своих руках всю войну, пока другие не опомнились, не стали следовать его примеру и не выступили против неприятеля. Это самый опасный человек во всей стране.

— Что вы ему хвалу поете? — перебил его Мюллер. — Что он опасен, я убедился на собственной шкуре.

— Что вы хотите сделать с ним, генерал?

— Я велел бы его повесить, но так как я сам солдат и умею ценить отвагу... Кроме того, этот шляхтич знатного рода... Я велю его расстрелять еще сегодня!

— Генерал, не мне учить самого знаменитого офицера и государственного человека последних времен, но позвольте вам сказать, что это человек слишком славный. Если вы это сделаете, полки Зброжека и Калинского уйдут в тот же день и перейдут на сторону Яна Казимира.

— Если так, то я велю их вырезать до ухода! — крикнул Мюллер.

— Генерал, это слишком ответственное дело: если только об этом узнают, а уничтожение двух полков скрыть трудно, — все польское войско бросит Карла-Густава. Вам известно, генерал, что оно уже теперь колеблется. Даже в гетманах нельзя быть уверенными. На стороне нашего государя пан Конецпольский с шестью тысячами превосходной конницы... А это не шутка... Сохрани бог, если бы они обратились против нас и против особы его величества. А кроме того, эта крепость защищается, вырезать же полки Зброжека и Калинского нелегко, так как здесь и Вольф с пехотой. Они могли бы войти в сношения с крепостью...

— Тысяча чертей! — вспыхнул вдруг Мюллер. — Чего же вы хотите? Чтобы я этому Кмицицу даровал жизнь? Это невозможно!

— Я хочу, — ответил Куклиновский, — чтобы вы подарили его мне.

— А что вы с ним сделаете?

— Я велю содрать с него кожу.

— Вы не знали даже его настоящего имени, значит, не знали его лично. Что же вы против него имеете?

— Я узнал его только в Ченстохове, когда вторично был в монастыре для переговоров.

— Какие же у вас причины ему мстить?

— Генерал, я хотел частным образом склонить его перейти на нашу сторону. А он, пользуясь тем, что моя посольская миссия уже кончилась, оскорбил меня, Куклиновского, так, как никто меня никогда не оскорблял!

— Что же он вам сделал?

Куклиновский вздрогнул и стиснул зубы.

— Лучше об этом не говорить... Дайте мне его, генерал! Ему и так не избежать смерти, и я хотел бы сначала с ним немножко поиграть... Тем больше, что это тот самый Кмициц, перед которым я когда-то преклонялся и который мне так отплатил... Дайте мне его. Это и для вас будет лучше: когда я его убью, Зброжек, Калинский, все польское войско обрушатся не на вас, а на меня, а я сумею за себя постоять. Не будет ни гнева, ни возмущения, ни бунта. Это будет мое частное дело, а я тем временем из Кмицицевой кожи барабан сделаю.

Мюллер задумался; вдруг в его глазах мелькнуло подозрение.

— Куклиновский, может быть, вы хотите его спасти?

Куклиновский рассмеялся тихо, это был такой страшный и искренний смех, что Мюллер перестал сомневаться.

— Может быть, вы и правы, — сказал он.

— За все мои услуги я прошу только этой одной награды.

— Ну так берите его!

Потом они оба вошли в комнату, где оставались собравшиеся офицеры. Мюллер обратился к ним и сказал:

— За заслуги полковника Куклиновского я отдаю ему пленника в его распоряжение.

Настало минутное молчание; Зброжек подбоченился и спросил с оттенком презрения в голосе:

— А что пан Куклиновский намерен сделать с пленником?

Куклиновский, обычно слегка сгорбленный, выпрямился вдруг, губы его искривились зловещей усмешкой, зрачки глаз чуть заметно дрогнули.

— Кому не понравится то, что я сделаю с пленником, — сказал он, — тот знает, где меня искать!

И он ударил рукой по рукоятке сабли.

— Слово, пан Куклиновский! — сказал Зброжек.

— Слово!

Сказав это, он подошел к Кмицицу.

— Ну пойдем, миленький, пойдем со мной... Ты ослабел немного, полечить тебя надо... я тебя полечу. Пойдем, гордая душа, пойдем!

Офицеры остались в комнате, а Куклиновский вышел и сел на лошадь; одному из трех солдат, которые были с ним, он велел вести Кмицица на аркане, и все они вместе направились в Лыготу, где стоял полк Куклиновского.

Кмициц по дороге горячо молился. Он видел, что настал его смертный час, и всецело поручил себя Богу. Он так погрузился в молитву, что не слышал даже, что говорил ему Куклиновский, и не заметил, как они дошли.

Они остановились наконец в пустом, полуразрушенном амбаре, стоявшем в открытом поле, несколько вдали от полковой стоянки. Полковник велел ввести Кмицица в амбар, а сам обратился к одному из солдат.

— Беги в лагерь, — сказал он, — за веревками и бочонком смолы.

Солдат помчался вскачь и через четверть часа привез все нужное вместе с другим солдатом.

— Раздеть эту птичку догола, — сказал Куклиновский, — связать ему ручки и ножки, а потом поднять на балку.

Один из солдат взлез на балку, а другие стали раздевать Кмицица. Когда его раздели, ему связали руки и ноги длинной веревкой, положили лицом на землю и, обмотав веревку посередине тела, перебросили другой ее конец солдату, сидевшему на балке.

— Теперь поднять его вверх, закрутить веревку и завязать, — сказал Куклиновский.

Его приказание было исполнено в минуту.

— Пускай! — раздался голос полковника.

Веревка скрипнула, и пан Андрей повис над землей.

Тогда Куклиновский обмакнул мазницу в смоле, зажег ее, подошел к Кмицицу и сказал:

— Ну что, пан Кмициц? Говорил я, что есть только два лихих полковника во всей Речи Посполитой: я и ты! А ты не хотел быть в одной компании с Куклиновским и оскорбил его. Правильно, миленький, правильно! Не для тебя компания Куклиновского! Куклиновский не тебе чета! Хоть и славный полковник Кмициц, а он у Куклиновского в руках, и Куклиновский ему бока прожжет...

И он дотронулся горячей мазницей до бока Кмицица, потом сказал:

— Не сразу, не сразу, спешить некуда.

В эту минуту раздался топот лошадей неподалеку от амбара.
— Кого там черти несут? — спросил полковник.
Ворота скрипнули, и вошел солдат.
— Пан полковник, — сказал он, — генерал Мюллер желает немедленно видеть вашу милость.
— А, это ты, старик, — сказал Куклиновский. — По какому делу? Что за черт?
— Генерал просит вашу милость приехать к нему немедленно.
— Кто был от генерала?
— Был шведский офицер, он уже уехал. Чуть лошадь не загнал.
— Хорошо, — сказал Куклиновский.
Потом он обратился к Кмицицу:
— Было тебе жарко, так ты остынь немного, миленький, я вернусь, и мы еще поболтаем.
— А что сделать с пленником? — спросил один из солдат.
— Оставить так. Я сейчас же вернусь. Кто-нибудь поедет со мной.
Полковник вышел вместе с солдатом, который раньше сидел на балке. Остались только трое, но вскоре в амбар вошло три новых солдата.
— Можете идти спать, — сказал тот, который сообщил Куклиновскому о приказе Мюллера, — полковник велел нам вас сменить.
Кмициц вздрогнул при звуках этого голоса. Ему показалось, что он его знает.
— Лучше остаться, — ответил один из прежних, — будет на что посмотреть, когда такого...
Вдруг он оборвал речь.
Какой-то страшный нечеловеческий звук вырвался у него из горла, похожий на крик петуха, которого режут. Он вскинул руками и упал как пораженный громом.
В ту же минуту в амбаре раздался крик:
— Лупить!
И два только что прибывших солдата набросились на прежних. Завязалась страшная, короткая борьба при свете горящей мазницы. Вот два тела повалились на солому. Некоторое время слышался еще хрип умирающих, потом снова раздался тот голос, который раньше показался Кмицицу знакомым:
— Ваша милость, это я, Кемлич, и мои сыновья. Мы с самого утра ждали удобного случая.
Тут старик обратился к сыновьям:
— Живо, шельмы! Отвязывайте пана полковника.
И прежде чем Кмициц успел сообразить, что случилось, около него появились всклокоченные головы Козьмы и Дамьяна. Веревку перерезали, и Кмициц встал на ноги. Он слегка шатался и едва смог выговорить сведенными губами:
— Это вы? Благодарю!
— Это мы, — ответил страшный старик. — Матерь Божья! Одевайтесь, ваша милость. Живо, шельмы!
И он стал подавать Кмицицу платье.
— Кони стоят за амбаром, — сказал он. — Дорога свободна. Стража никого не впустит, но выпустить — выпустит. Мы знаем пароль. Как вы чувствуете себя, ваша милость?
— Он бок мне прижег, да не очень. А стоять трудно...
— Выпейте горилки, ваша милость.
Кмициц жадно схватил флягу, которую ему подал старик, и, опорожнив ее наполовину, сказал:
— Я озяб. Теперь мне лучше!..
— На седле вы согреетесь. Кони ждут!
— Мне уже лучше, — повторил Кмициц. — Бок немного жжет, но это ничего. Мне

совсем хорошо.

И он присел на краю балки.

Некоторое время спустя силы действительно к нему вернулись, и он совершенно сознательно смотрел на зловещие лица трех Кемличей, освещенные желтоватым пламенем горящей смолы.

Старик остановился перед ним:

— Ваша милость, скорее. Кони ждут!

Но в пане Андрее проснулся уже прежний Кмициц.

— О, не бывать тому! — крикнул он вдруг. — Теперь я этого изменника подожду!

Кемличи переглянулись с изумлением, но ни один из них не сказал ни слова — так слепо привыкли они повиноваться прежнему вождю.

А у него жилы выступили на лбу, глаза сверкали в темноте, как две звезды, горело в них упорство и жажда мести. То, что он делал теперь, было безумием, за которое он мог поплатиться жизнью. Но чем была его жизнь, как не рядом таких безумий? Бок у него страшно болел, так что он минутами невольно хватался за него рукой, но он все думал о Куклиновском и готов был ждать хоть до утра.

— Послушайте, — сказал он, — Мюллер его действительно вызывал?

— Нет, — ответил старик. — Это я выдумал, чтобы легче было с теми справиться. Будь их пятеро, нам бы трудно было сладить втроем, да кроме того, кто-нибудь мог бы крик поднять.

— Это хорошо. Он вернется сюда один или в компании. Если с ним будет несколько человек, мы сейчас же на них набросимся... Его вы оставьте мне. А потом к лошадям. Пистолеты есть?

— У меня есть, — ответил Козьма.

— Давай. Заряжен?

— Заряжен!

— Ладно. Если он вернется один, тогда, как только он войдет, броситься на него и зажать ему рот. Можете ему его же шапку в рот засунуть.

— Слушаюсь! — сказал старик. — А вы позволите, ваша милость, тех пока обыскать? Мы люди бедные...

Сказав это, он указал на трупы, лежавшие на соломе.

— Нет. Быть наготове... Что найдете при Куклиновском, то ваше!

— Если он вернется один, — сказал старик, — тогда я ничего не боюсь. Стану в воротах, и если даже сюда придет кто-нибудь из лагеря, я скажу, что полковник не велел пускать.

— Так и будет. Слушай...

За амбаром послышался топот коня. Кмициц вскочил и стал в темный угол. Козьма и Дамьян заняли места у входа, как два кота, поджидающие мышь.

— Один! — сказал старик, потирая руки.

— Один! — повторили Козьма и Дамьян.

Топот приближался, вдруг замолк, и за амбаром раздался голос:

— Эй, выходи кто-нибудь лошадь подержать. Старик побежал.

Настало минутное молчание, а потом послышался такой разговор:

— Это ты, Кемлич? Что за дьявол. Ты взбесился или с ума сошел? Ночь, Мюллер спит, стража не пропускает, говорит, что никакой офицер не уезжал. Что это значит?

— Офицер ждет в амбаре, ваша милость. Вернулся, как только вы уехали, и говорит, что разминутся с вами, теперь ждет.

— Что все это значит? А пленник?

— Висит!

Ворота скрипнули, и Куклиновский просунул голову внутрь амбара. Но не успел он сделать и шагу, как две железные руки схватили его за горло и подавили крик

ужаса. Козьма и Дамьян с навыком настоящих разбойников повалили его на землю, наступили ему коленями на грудь, сдавили ее так, что ребра затрещали, и в одну минуту заткнули ему рот.

Тогда Кмициц выступил вперед и, поднеся мазницу к глазам Куклиновского, сказал:

— Ах, это вы, пане Куклиновский! Теперь мне надо с вами поговорить...

Лицо Куклиновского посинело, жилы напряглись так, что, казалось, готовы были лопнуть каждую минуту, и в его выступивших из орбит и налитых кровью глазах было столько же изумления, сколько и ужаса.

— Раздеть его и на балку! — крикнул Кмициц.

Козьма и Дамьян стали раздевать его так старательно, точно хотели сорвать с него кожу вместе с платьем.

Через четверть часа Куклиновский, связанный по рукам и ногам, висел уже на балке.

Тогда Кмициц подбоченился и произнес страшным голосом:

— Ну как же, пане Куклиновский, — сказал он, — кто лучше, Кмициц или Куклиновский?

Вдруг он схватил горящую мазницу и подошел еще ближе.

— Твой лагерь в ста шагах, твои тысячи разбойников под носом. Недалеко и твой шведский генерал, а ты висишь на этой балке, на которой думал меня зажарить. Узнай же Кмицица. Ты хотел с ним равняться — к компании его принадлежать, подружиться? Ты — мошенник, подлюга! Ты — пугало воробьиное, ты пан Шельмовский из Шельмова, ты кривая рожа, хам, невольник! Я бы тебя мог ножом зарезать, как каплуна, да лучше я тебя живьем поджарю, как ты меня хотел...

Сказав это, он поднял мазницу и приставил ее к боку несчастного висельника, но держал ее долго, пока по амбару не разошелся запах горелого мяса.

Куклиновский скорчился, так что веревка закачалась. Глаза его, устремленные на Кмицица, выражали страшную боль и немую мольбу о пощаде; из заткнутого рта вырывались жалобные стоны, но сердце пана Андрея так затвердело в войнах, что жалости в нем не было, особенно для изменников.

И вот, отняв наконец мазницу от бока Куклиновского, он поднес ее ему к носу, обжег ему усы, ресницы и брови, а потом сказал:

— Я дарю тебе жизнь, чтобы ты мог раздумывать о Кмицице, повисишь здесь до утра, а пока молись Богу, чтобы тебя люди нашли, пока ты не замерзнешь.

Тут он обратился к Козьме и Дамьяну:

— На коней!

И вышел из амбара.

Полчаса спустя всадники ехали уже по тихому взгорью, молчаливому и пустынному. Грудь жадно вдыхала свежий воздух, не насыщенный пороховым дымом. Кмициц ехал впереди, Кемличи за ним. Они разговаривали потихоньку, а он молчал: читал утренние молитвы, — рассвет был уже близок.

Временами из груди его вырывался тихий стон, так как обожженный бок страшно болел. Но в то же время он чувствовал себя на коне свободным, и мысль, что он взорвал самое страшное орудие, и к тому же вырвался из рук Куклиновского и отомстил ему, наполняла его такой радостью, что он иногда забывал даже про боль.

Между тем тихий разговор между отцом и сыновьями переходил в громкую ссору.

— Кошелек-то так, — злобно ворчал старик, — а где перстни? На пальцах у него были перстни, в одном был камень, червонцев двадцать стоил.

— Забыли снять, — сказал Козьма.

— Чтоб вас убили! Ты, старик, обо всем думай, а у этих шельм на грош ума нет. Забыли про перстень, разбойники? Лжете как псы!

— Тогда вернись, отец, и посмотри сам, — проворчал Дамьян.

— Лжете, шельмы, за нос меня водите. Старого отца обижать? Лучше мне было не родить вас. Умереть вам без моего благословения.

Кмициц слегка сдержал лошадь.

— Поди-ка сюда, — сказал он. Ссора кончилась.

Кемличи быстро подъехали к нему, и они продолжали ехать все в ряд.

— Знаете вы дорогу к силезской границе? — спросил пан Андрей.

— Как же, знаем, — ответил старик.

— Шведских отрядов по дороге нет?

— Нет, все под Ченстоховом стоят... Разве отдельных шведов можно встретить, и дал бы Бог!

Настало минутное молчание.

— Вы, стало быть, у Куклиновского служили? — спросил снова Кмициц.

— Да, мы думали, что, будучи неподалеку, можем чем-нибудь услужить святым отцам и вашей милости. Так оно и случилось. Мы против крепости не воевали, сохрани нас бог. И жалованья не брали, разве что при шведах находили.

— Как при шведах?

— Мы хотели и вне монастыря Пресвятой Деве служить... Вот мы и ездили по ночам вокруг лагеря, а коли давал Господь, так и днем, и стоило нам повстречать какого-нибудь шведа одного, мы его... того... грешных убежище!.. мы его...

— Лупили! — закончили Козьма и Дамьян.

Кмициц улыбнулся.

— Недурными слугами вы были для Куклиновского! — сказал он. — А он об этом знал?

— Нарядили следствие, стали догадываться... Он знал и велел нам, разбойник, по талеру за шведа платить... Иначе грозил, что выдаст. Этаким разбойник! Бедных людей обирал. Мы все время оставались верными вашей милости, вам служить — другое дело... Вы свое отдадите, ваша милость, а он по талеру за человека! За наш труд, за нашу работу! Чтоб его!..

— Я вас щедро награжу за то, что вы сделали! — ответил Кмициц. — Не ожидал я этого от вас!

Вдруг далекий гул орудий прервал его слова. Это шведы, по-видимому, начали канонаду вместе с первыми проблесками рассвета. Минуту спустя гул усилился. Кмициц остановил лошадь; ему казалось, что он отличает звуки монастырских пушек от шведских; сжал кулаки и, грозя ими в сторону неприятельского лагеря, крикнул:

— Стреляйте, стреляйте! Где же ваша самая страшная пушка?..

XIX

Взрыв огромного орудия действительно произвел на Мюллера удручающее впечатление, так как все его надежды основывались до сих пор на этом орудии. Пехота была уже готова к штурму, были заготовлены лестницы и веревки, а теперь приходилось оставить всякую мысль о штурме.

План взорвать крепость при помощи подкопа тоже ни к чему не привел. Правда, рудокопы, приведенные из Олькушской каменоломни, делали пролом в стене, но работа их подвигалась туго. Несмотря на все предосторожности, они часто падали под выстрелами из монастыря и работали неохотно. Многие из них предпочитали погибнуть, чем служить на гибель святому месту. С каждым днем Мюллера постигали неудачи; мороз отнял остаток храбрости у разочарованного войска, в котором с каждым днем росло суеверное убеждение, что взять этот монастырь — выше сил человеческих.

Наконец и сам Мюллер стал терять надежду, а после того как было взорвано

осадное орудие, он пришел в полнейшее отчаяние. Его охватило чувство совершенного бессилия и беспомощности.

На следующий день, рано утром, он созвал военный совет, но, вероятно, только для того, чтобы от самих офицеров услышать просьбу о снятии осады.

Офицеры стали собираться, усталые и угрюмые. Ни в одном лице не было уже надежды, не было военной удачи. Молча сели они за стол в огромной холодной горнице, где от дыхания поднимался пар и застилал лица. Каждый из них чувствовал усталость и изнурение, каждый говорил себе в душе, что никакого совета он подать не может, а с тем, который невольно напрашивался, лучше не выступать первому. Все ждали, что скажет Мюллер; а он велел прежде всего принести подогретого вина, думая, что с его помощью ему легче будет добиться от этих молчаливых людей какой-нибудь искренней мысли и что они скорее решатся посоветовать ему отступить от крепости.

Наконец, когда, по его расчету, вино уже стало действовать, он сказал:

— Вы замечаете, господа, что один из польских полковников не явился на совет, хотя я всем послал приглашения?

— Вам, генерал, должно быть известно, что челядь из польских полков нашла в пруду монастырское серебро, когда ловила рыбу, и подралась из-за него с нашими солдатами. Несколько человек убиты насмерть.

— Знаю! Часть этого серебра я успел вырвать из их рук, даже большую часть. Теперь оно здесь, и я думаю, что с ним сделать.

— Вот почему, вероятно, рассердились господа полковники. Они говорят, что если поляки нашли это серебро, то оно принадлежит полякам.

— Правильно! — воскликнул Вжещович.

— По-моему, это до некоторой степени правильно, — сказал Садовский, — и полагаю, что если бы вы, граф, нашли это серебро, то вы не сочли бы нужным делиться им не только с поляками, но даже со мной, хотя я чех.

— Прежде всего, я не разделяю ваших симпатий к врагам нашего короля, — мрачно ответил Вжещович.

— Но зато мы, благодаря вам, должны делиться с вами стыдом и позором, ничего не поделав с крепостью, взять которую вы нас уговаривали.

— Значит, вы потеряли всякую надежду?

— А вы можете ею с нами поделиться?

— Вы угадали. Я полагаю, что все эти господа охотнее разделят со мной мою надежду, чем с вами вашу трусость.

— Вы меня считаете трусом, граф Вжещович?

— Я не приписываю вам храбрости больше, чем вижу на деле.

— А я приписываю вам меньше!

— А я, — сказал Мюллер, который с некоторого времени косо смотрел на Вжещовича, как на инициатора несчастного похода, — решил отослать серебро в монастырь. Может быть, добротой и лаской мы добьемся большего от этих нелюбезных монахов, чем ядрами и пушками. Пусть они поймут, что мы хотим овладеть крепостью, а не их сокровищами.

Офицеры с удивлением взглянули на Мюллера — так не привыкли они к подобному великодушию с его стороны. Наконец Садовский сказал:

— Ничего лучше нельзя придумать. Этим мы сейчас же закроем рот польским полковникам, которые заявляют свои притязания на серебро. В крепости это тоже, наверно, произведет прекрасное впечатление.

— Самое лучшее впечатление произведет смерть этого Кмицица, — ответил Вжещович. — Куклиновский, наверное, содрал уже с него кожу.

— Да, его уж теперь поминай как звали, — отвечал Мюллер. — Но это имя опять напоминает нам о нашей невознаградимой потере. Это было самое большое орудие

во всей артиллерии его королевского величества. Я не скрою от вас, что возлагал на него все мои надежды. Пролом был уже сделан, в монастыре стала подниматься паника. Еще несколько дней, и мы взяли бы крепость штурмом. Теперь все это пропало даром, тщетны все усилия. Стену они починят в один день. А те пушки, которые у нас в распоряжении, не лучше монастырских. Лучших мне неоткуда взять, так как их нет даже у маршала Виттенберга. Господа, чем больше я об этом думаю, тем наше несчастье кажется мне страшнее. И подумать только, что это сделал один человек... один дьявол! С ума сойти можно!..

И Мюллер ударил кулаком по столу, его охватил неудержимый гнев, который был тем страшнее, что был бессильным. Спустя минуту он крикнул:

— А что скажет его величество, когда узнает о такой потере? Что мы будем делать? Зубами эту скалу не укусишь. Пусть зараза передушит тех, которые уговаривали меня идти под эту крепость.

С этими словами он схватил хрустальный бокал и с бешенством швырнул его на пол, так что хрусталь разлетелся в мелкие куски. Офицеры молчали. Неприличная выходка генерала, достойная скорее мужика, чем генерала, занимающего столь высокую должность, никому не понравилась и окончательно испортила настроение присутствующих.

— Советуйте, господа! — крикнул Мюллер.

— Советовать можно только спокойно, — заметил ландграф гессенский.

Мюллер немного успокоился и, обводя глазами окружающих, точно ободряя их, сказал:

— Извините, господа, но гневу моему удивляться нечего. Я не буду вспоминать о тех городах, которые взял в своей жизни, так как в эту минуту бедствия я не хочу хвастать прежними удачами. Все, что происходит под этой крепостью, уму человеческому непостижимо. Но надо посоветоваться... За тем я и пригласил вас. Советуйте, и то, что мы решим большинством голосов, я и сделаю.

— Извольте сказать, о чем мы должны совещаться, генерал, — сказал ландграф гессенский, — только ли о способах овладеть крепостью или и о том, не лучше ли нам отступить?

Мюллер не хотел оставить вопрос в такой резкой форме, не хотел, чтобы это «или» было сказано впервые именно им, потому он сказал:

— Пусть каждый из вас, господа, откровенно скажет то, что он думает. Все мы должны единственно думать о благе и славе его величества.

Но ни один из офицеров не хотел выступить первый с предложением оставить крепость; снова наступило молчание.

— Полковник Садовский, — сказал через минуту Мюллер голосом, которому он хотел придать оттенок дружеского расположения, — вы всегда говорите искреннее других то, что думаете, ибо репутация ваша ставит вас вне всяких подозрений...

— Я думаю, генерал, — ответил полковник, — что этот Кмициц был одним из величайших воинов нашего времени и что положение наше отчаянное.

— Но ведь вы всегда были за отступление от крепости?

— Простите, генерал, я был только за то, чтобы не начинать осады... Это совсем другое дело.

— Что же вы советуете теперь?

— Теперь я уступаю голос Вжещовичу...

Мюллер выругался.

— Граф Вейхард ответит за весь этот несчастный поход, — сказал он.

— Не все мои советы исполнялись, — смело ответил Вжещович, — и поэтому я могу снять с себя ответственность. Здесь были люди, которые их всегда критиковали, которые, из какой-то странной и попросту необъяснимой симпатии к монахам, отговаривали вас принять какие бы то ни было строгие меры. Я советовал повесить

послов и убежден, что, если бы это случилось, страх открыл бы нам ворота этого курятника.

Вжешович впился глазами в Садовского, но, прежде чем тот успел что-нибудь ответить, вмешался ландграф гессенский.

— Не называйте вы, граф, этой крепости курятником, — сказал он, — Умалая ее значение, вы увеличиваете наш позор.

— И все-таки я советовал повесить послов. Страх, и всегда страх, вот в чем советовал я с утра до ночи держать монахов. Но полковник Садовский пригрозил выйти в отставку, и монахи ушли невредимыми.

— Граф, отправляйтесь сегодня в монастырь, — ответил Садовский, — взорвите самое большое орудие, как это сделал Кмициц, и ручаюсь вам, что это наведет больший страх, чем разбойничья расправа с послами.

Вжешович обратился прямо к Мюллеру:

— Генерал, я полагаю, что мы собрались сюда на совет, а не на какую-то комедию.

— А не можете ли вы сказать что-нибудь посущественнее пустых упреков? — спросил Мюллер.

— Могу, несмотря на всю веселость этих господ, которую лучше было бы припрятать для более подходящего времени.

— Господа, всем вам известно, что божество, покровительствующее нам, не Минерва, но так как Марс нас подвел и так как вы отказались от голоса, то позвольте говорить мне.

— Гора застонала, сейчас мы увидим мышиный хвостик, — проронил Садовский.

— Прошу молчать! — строго сказал Мюллер.

— Говорите, граф, но только помните, что все ваши советы до сих пор приносили горькие плоды.

— Которые нам приходится есть зимой в виде гнилых сухарей! — добавил ландграф гессенский.

— Теперь я понимаю, почему вы, ваше сиятельство, пьете так много вина! — ответил Вжешович. — И хотя вино не может заменить врожденного остроумия, зато оно помогает вам весело переносить даже позор. Но это пустяки. Я прекрасно знаю, что в крепости есть партия, которая давно уже мечтает о сдаче, и только наше бессилие, с одной стороны, и нечеловеческое упорство настоятеля — с другой, не дает ей ходу. Держать ее в страхе — значит усилить ее, а потому мы должны делать вид, что мы несколько не смущены потерей орудия, и продолжать еще энергичный обстрел.

— И это все?

— Если бы даже это было все, то я полагаю, что подобный совет более совместим с честью шведских солдат, чем пустые насмешки над ним за чаркой вина. Но это не все. Необходимо распространить между нашими солдатами, особенно между поляками, слух о том, что рудокопы, которые теперь работают над подведением мины, открыли старый подземный ход, ведущий под самый монастырь и костел...

— Вы правы, это недурной совет, — сказал Мюллер.

— Когда известие об этом распространится среди наших и польских солдат, сами поляки будут убеждать монахов сдаться, так как и для них, как и для монахов, не безразлична участь этого гнезда суеверий.

— Недурно для католика, — пробормотал Садовский.

— Если бы он служил туркам, он бы и Рим назвал гнездом суеверий! — сказал ландграф гессенский.

— Тогда поляки, несомненно, вышлют от себя депутацию к монахам, —

продолжал Вейхард, — и та партия в монастыре, которая давно добивается сдачи, под влиянием ужаса возобновит свои усилия, и, кто знает, не заставит ли она настоятеля и его сторонников открыть монастырские ворота.

Мюллеру этот совет понравился, и он в самом деле не был плох. Партия, о которой упоминал Вжешович, действительно существовала в монастыре. Даже некоторые монахи, слабые духом, принадлежали к ней. Кроме того, страх мог распространиться и среди гарнизона и охватить даже тех, которые раньше хотели защищаться до последней капли крови.

— Попробуем, попробуем, — сказал Мюллер, который, как утопающий, хватался за каждую соломинку и легко переходил от отчаяния к надежде.

— Но согласятся ли Калинин и Зброжек отправиться в монастырь, поверят ли они этому слуху и захотят ли о нем предупредить монахов?

— Во всяком случае, согласится Куклиновский, — ответил Вжешович, — но лучше будет, если он и сам поверит в существование подкопа.

Вдруг перед избой послышался топот лошади.

— Вот и Зброжек приехал, — сказал ландграф гессенский, выглядывая в окно.

Минуту спустя зазвенели шпоры в сенях, и Зброжек вошел или, вернее, влетел в избу. Лицо его было бледно, взволнованно, и, прежде чем офицеры успели спросить его о причине этого волнения, полковник крикнул:

— Куклиновский убит!

— Как? Что вы говорите? Что случилось? — спросил Мюллер.

— Позвольте мне передохнуть, — сказал Зброжек. — То, что я видел, превосходит всякое воображение.

— Говорите скорей, кто его убил? — воскликнули все.

— Кмициц! — ответил Зброжек.

Офицеры повскакивали со своих мест и смотрели на Зброжека, как на помешанного; а он, выпуская ноздрями клубы пара, сказал:

— Если бы я не видел, я бы глазам своим не поверил, это что-то сверхъестественное! Куклиновский убит, убито три солдата, а Кмицица и след простыл. Я знал, что это страшный человек. Репутация его известна во всей стране... Но, будучи в плену, связанным, не только вырваться, но перебить солдат и замучить Куклиновского... этого человек не мог сделать без помощи дьявола!

— Ничего подобного я никогда и не слыхивал... Это уму непостижимо! — прошептал Садовский.

— Вот Кмициц и показал, что он умеет, — ответил ландграф гессенский. — А мы вчера не верили полякам, когда они говорили нам, что это за птица; думали, что они привирают, как всегда.

— С ума можно сойти! — крикнул Вжешович.

Мюллер схватился руками за голову и молчал. Когда он наконец поднял глаза, молнии гнева чередовались в них с молниями подозрений.

— Полковник Зброжек, — сказал он, — будь это сам сатана, а не человек, он без чужой помощи, без чьей-нибудь измены не мог бы этого сделать. У Кмицица были здесь поклонники, а у Куклиновского враги, и вы принадлежали к их числу.

Зброжек был в полном смысле этого слова бесстрашный солдат, и потому, услышав подозрение по своему адресу, он побледнел еще больше, вскочил с места, подошел к Мюллеру и, став прямо перед ним, взглянул ему в глаза.

— Вы меня подозреваете, генерал? — спросил он.

Настало тяжелое молчание. Все присутствующие ни минутки не сомневались, что, если Мюллер ответит утвердительно, произойдет нечто страшное и неслыханное в военной истории. Все невольно схватились за сабли. Садовский даже обнажил свою саблю совсем.

Но в ту же минуту офицеры увидели в окно, что весь двор наполнился

польскими драгунами. Вероятно, они прибыли с известиями о Куклиновском, — в случае какого-нибудь столкновения они, несомненно, стали бы на сторону Зброжека. Их увидел и Мюллер, и хотя лицо его побледнело от бешенства, но он сдержался и, делая вид, что не видит ничего вызывающего в поведении Зброжека, ответил делано-спокойным голосом:

— Расскажите нам, как это все случилось?

Зброжек продолжал стоять со сверкающими глазами, но также опомнился, а главное — внимание его направилось в другую сторону: поляки, приехавшие только что, вошли в комнату.

— Куклиновский убит! — повторяли они один за другим. — Его отряд разбегается! Солдаты сходят с ума!

— Господа, дайте говорить пану Зброжеку, который первый привез известие! — крикнул Мюллер.

Стало тихо, и Зброжек начал:

— Вы знаете, господа, что на последнем совете я вызвал Куклиновского и взял с него слово. Я был поклонником Кмицица, это правда, но ведь и вы, хотя вы его враги, должны согласиться, что не всякий мог совершить такой подвиг, не всякий бы решился один взорвать пушку. Храбрость нужно ценить даже в неприятеле, вот почему я подал ему руку, которой он не принял, назвав меня изменником. И я подумал: пусть Куклиновский делает с ним, что хочет... Я боялся только того, что если Куклиновский поступит с ним противно правилам рыцарской чести, то тень этого поступка падет на всех поляков, а в том числе и на меня. Поэтому я решил драться с Куклиновским и сегодня утром с двумя товарищами поехал к нему в лагерь. Приезжаем к нему на квартиру, говорят: его нет. Я посылаю сюда, здесь его нет. В квартире говорят, что он и ночью не возвращался, но там не тревожились, думали, что он остался у вас, генерал. Наконец, один солдат сказал нам, что он ночью поехал с Кмицицем в амбар, где должен был сжечь его живьем. Я бегу в амбар, ворота открыты. Вхожу, вижу: на балке висит какое-то голое тело. Я подумал, что это Кмициц, но, когда глаза мои привыкли к темноте, я разглядел, что труп этот что-то уж очень худ и костляв, а ведь тот был похож на Геркулеса. Мне показалось странным, что он мог так съежиться за одну ночь. Подхожу ближе — Куклиновский.

— На балке? — спросил Мюллер.

— Да! Я перекрестился... Думаю: что это — наваждение, чары? И только когда я увидел трупы трех солдат, я понял, что это правда. Этот страшный человек убил тех троих, этого повесил, прижег на огне, а сам бежал.

— До силезской границы недалеко! — сказал Садовский.

Настало минутное молчание.

Все подозрения относительно участия Зброжека исчезли в душе Мюллера. Но само по себе это происшествие смутило его, ужаснуло и наполнило каким-то неопределенным беспокойством. Он видел, как вокруг него нагромождаются опасности или, вернее, какие-то грозные их тени, с которыми он не знал, как бороться; чувствовал, что его окружает какая-то цепь неудач. Первые звенья ее были у него перед глазами, но дальнейшие тонули во мраке будущего. У него было такое чувство, точно он живет в доме, который дал трещину и мог с минуты на минуту обрушиться ему на голову. Неуверенность давила его страшной тяжестью, и он спрашивал самого себя: что же ему делать?

Вдруг Вжещович всплеснул руками.

— Господи боже! — сказал он. — Со вчерашнего дня, как только я увидел Кмицица, мне все кажется, что я его откуда-то знаю. Теперь вот опять я вижу перед собой его лицо, вспоминаю звуки его речи. Должно быть, я встретился с ним случайно в темноте и ненадолго, но он все не выходит у меня из головы...

И он стал тереть себе лоб.

— Что нам из того, — сказал Мюллер, — если вы и вспомните, то пушки не склеите и Куклиновского не воскресите.

Тут он обратился к офицерам:

— Кому угодно, господа, поехать со мной на место происшествия. Все захотели ехать, так как всех мучило любопытство.

Подали лошадей. Всадники тронулись рысью, генерал впереди. Подъехав к амбару, они увидели несколько десятков польских всадников, расположившихся кучками в поле и на дороге.

— Что это за люди? — спросил Мюллер Зброжека.

— Это, должно быть, люди Куклиновского. Они просто с ума сходят.

Сказав это, Зброжек подозвал одного из всадников:

— Эй, сюда! Живо! Солдат подъехал.

— Вы из полка Куклиновского?

— Точно так.

— А где остальные?

— Разбежались. Говорят, что не хотят больше воевать против Ясной Горы.

— Что он говорит? — спросил Мюллер.

Зброжек объяснил.

— Спросите его, куда они ушли? — сказал генерал.

Зброжек повторил вопрос.

— Неизвестно, — ответил солдат. — Некоторые ушли в Силезию. Другие говорили, что идут служить Кмицицу, так как другого такого полковника нет ни среди поляков, ни среди шведов.

Мюллер, когда Зброжек перевел ему слова солдата, задумался. Действительно, такие люди, какие были у Куклиновского, готовы были без колебания перейти под команду Кмицица. Но тогда они могли стать опасными если не для армии Мюллера, то для его транспортов.

Волна опасностей поднималась все выше от этого проклятого монастыря.

Должно быть, Зброжеку пришло в голову то же самое, так как он, словно отвечая на мысль Мюллера, сказал:

— Несомненно, что во всей Речи Посполитой поднялась буря. Стоит такому Кмицицу только клич кликнуть, как около него соберутся сотни и тысячи, особенно теперь, после его геройского подвига.

— Что же он может сделать? — спросил Мюллер.

— Помните, генерал, что этот человек до отчаяния доводил Хованского, а у Хованского, считая казаков, было в шесть раз больше войска, чем у нас... Ни один транспорт не придет к нам без его разрешения, а деревни кругом опустошены, и мы уже начинаем голодать. Кроме того, Кмициц может соединиться с Жегоцким и Кулешой, а тогда у него под рукой будет несколько тысяч сабель. Это опасный человек, и тогда он может...

— А вы уверены в ваших солдатах?

— Больше чем в самом себе! — ответил с резкой откровенностью Зброжек.

— То есть как это больше?

— Правду говоря, всем нам надоела осада.

— Я уверен, что она скоро кончится.

— Но вопрос: как? Впрочем, взять эту крепость — такое же несчастье, как от нее отступить.

Между тем они подъехали к самому амбару. Мюллер слез с коня, за ним слезли все офицеры, и они вошли внутрь. Солдаты уже сняли Куклиновского с балки и, накрыв его буркой, положили на соломе. Тела трех солдат лежали поодаль рядом.

— Они зарезаны, — шепнул Зброжек.

— А Куклиновский?

— На Куклиновском ран нет, только бок сожжен и опалены усы. Он, должно быть, замерз или задохся, так как до сих пор у него во рту его собственная шапка.

— Открыть его!

Солдаты подняли бурку, и из-под нее выглянуло страшное, раздувшееся лицо, с вытаращенными глазами. На остатках опаленных усов висели сосульки оледенелого дыхания, смешанного с копотью, и были похожи на клыки, торчавшие над губами. Лицо это было так безобразно, что хотя Мюллер и привык ко всякого рода ужасам, но он вздрогнул и сказал:

— Закройте скорее! Страшно! Страшно!.. Угрюмая тишина царила в амбаре.

— Зачем мы сюда приехали? — спросил, сплевывая, ландграф. — Весь день я не прикоснусь к пище.

Вдруг Мюллера охватила какая-то необыкновенная раздражительность, граничащая почти с сумасшествием. Лицо его посинело, зрачки расширились, он заскрежетал зубами. Им овладела дикая жажда крови, жажда сорвать свою злость на ком-нибудь, и, обратившись к Зброжеку, он крикнул:

— Где тот солдат, который видел, что Куклиновский был в амбаре? Давайте его сюда. Это, должно быть, сообщник.

— Я не знаю, здесь ли он еще, — ответил Зброжек, — все люди Куклиновского разбежались, точно с цепи сорвавшись.

— Тогда ловите его! — заревел с бешенством Мюллер.

— Тогда ловите его сами! — с таким же бешенством крикнул Зброжек.

И снова страшный взрыв как бы повис на волоске над головами шведов и поляков. Последние столпились вокруг Зброжека, грозно шевеля усами и бряцая саблями.

Вдруг снаружи раздался говор, эхо выстрелов и топот лошадей. В амбар влетел шведский офицер.

— Генерал, — крикнул он, — вылазка из монастыря! Рудокопы, подводившие мины, перебиты все до одного. Отряд пехоты рассеян.

— Я с ума сойду! — крикнул Мюллер, хватаясь за волосы парика. — На коней!

Минуту спустя все мчались уже, как вихрь, к монастырю, так что комья снега градом сыпались из-под конских копыт. Сто драгун Садовского, под командой его брата, присоединились к штабу Мюллера и помчались на помощь. По дороге они видели отряды пехотинцев, бежавших в панике и полнейшем беспорядке: так пали духом несравненные шведские солдаты. Они бежали даже с тех окопов, которым не могла грозить никакая опасность. Очутившись за версту от крепости, они остановились только затем, чтобы с возвышенности, откуда все было видно как на ладони, увидеть, что участники вылазки благополучно возвращаются в монастырь. Песни, крики и веселый смех достигли слуха Мюллера.

Иные из возвращавшихся останавливались даже и грозили в сторону штаба окровавленными саблями. Поляки, находившиеся около шведского генерала, узнали самого Замойского, который лично руководил вылазкой и который теперь, увидев штаб, издали раскланивался с ним, сняв шапку. И неудивительно: под прикрытием монастырских орудий он чувствовал себя в полнейшей безопасности.

Но вот на стенах показался дым, и железные стаи ядер со свистом пролетели над головами офицеров. Несколько рейтар покачнулись в седлах, и стон ответил свисту ядер.

— Мы под огнем, надо отступать! — крикнул Садовский. Зброжек схватил лошадь Мюллера за поводья.

— Генерал, назад! Здесь смерть!

А Мюллер точно окаменел, он не ответил ни слова, и его силой увезли за линию обстрела. Вернувшись в свою квартиру, он заперся в ней и весь день никого не принимал.

Должно быть, раздумывал о славе Поликрата.

Между тем Вжещович взял в свои руки все руководство осадой и с невероятной энергией стал делать приготовления к штурму. Возводили новые окопы, продолжали делать пролом в скале для подведения мин. Лихорадочное движение царило во всем шведском лагере; казалось, что новый дух вступил в осаждающих и что к ним подошли подкрепления.

Несколько дней спустя в шведском и союзном польском лагере как гром грянула весть, что рудокопы нашли подземный ход, ведущий под самый костел и монастырь, и что только от личной воли генерала зависит, взлетит ли крепость на воздух.

Безмерная радость охватила солдат, истомленных морозами, голодом и бесплодными трудами.

Крики: «Ченстохов наш! Мы взорвем этот курятник!» — переходили из уст в уста. Начались пирушки и пьянство.

Вжещович был всюду, ободрял солдат, по сто раз в день подтверждал известие о том, что подземный ход найден, сам поощрял к пьянству и гульбе.

Эхо этих ликований дошло наконец до монастыря. Известие о том, что мины уже подведены и монастырь может быть взорван с минуты на минуту, с быстротой молнии облетело стены. Испугались даже самые храбрые. Женщины с плачем осаждали квартиру настоятеля, и, когда он показывался, они протягивали к нему детей и кричали:

— Не губи невинных! Кровь их падет на тебя!

Труссы с особенной яростью набрасывались теперь на ксендза Кордецкого и требовали, чтобы он не доводил до гибели святое место, столицу Пресвятой Девы.

Для непреклонного героя в рясе настали такие тяжелые и мучительные дни, каких еще не бывало. К счастью, шведы оставили пока бомбардировку, чтобы тем убедительнее доказать осажденным, что им не нужны уже ни пули, ни пушки, что им достаточно зажечь одну пороховую нитку. Но это-то и усиливало панику в монастыре. В глухие ночи иным, особенно трусливым людям, казалось, что они слышат под землей какие-то шорохи, какое-то движение и что шведы находятся уже под самым монастырем. Пало духом и большинство монахов. Они, с отцом Страдомским во главе, отправились к настоятелю просить его немедленно начать переговоры о сдаче. Вместе с ними отправилось большинство солдат и несколько человек шляхты.

Ксендз Кордецкий вышел на двор, и, когда толпа окружила его кольцом, он проговорил:

— Разве не дали вы клятву до последней капли крови защищать святое место? Истинно говорю вам: если нас взорвут порохом, то с нас спадет лишь брменная оболочка наша, а души наши улетят... Небо откроется над ними, и они внидут туда в веселии и блаженстве, безграничном, как море. Там примет их Иисус Христос и его Пресвятая Матерь, а они, как золотые пчелки, сядут на ее плаще, будут пребывать во свете и смотреть в лицо Господа.

И отблеск этого света загорелся на его лице, он устремил вверх вдохновенный взор и продолжал торжественно, с неземным спокойствием:

— Господи, ты, который управляешь мирами, ты смотришь в сердце мое и видишь, что я не лгу этим людям, говоря, что, если бы я желал только собственного счастья, я бы протянул к тебе руки и воззвал из глубины души моей: «Господи, сделай так, чтобы взорвался этот порох, ибо в такой смерти — искупление грехов и вечное отдохновение, а слуга твой устал и утружден... И кто не пожелал бы такой награды за смерть без мучений, краткую, как мгновение ока, как молния, сверкнувшая в небе, за которой — вечность, неизмеримое счастье и радость бесконечная... Но ты повелел мне охранять храм твой, и не могу я уйти; ты поставил меня на страже и влил в меня силу свою, и вижу я, Господи, знаю и чувствую, что если бы злоба неприятеля подкопалась под самый костел, зажгла под ним губительный порох, то

достаточно было бы мне осенить его крестом, чтобы он не взорвался». Тут он обратился к присутствующим и продолжал:

— Бог дал мне силу, а вы снимите страх с сердец ваших. Дух мой проникает в глубь земли и говорит вам: «Лжет неприятель ваш, и нет пороха под костелом». Вы, люди робкого сердца, вы, в коих страх погасил веру, не заслужили того, чтобы еще сегодня войти в царствие благодати и одуховления, — и нет пороха у вас под ногами. Господь хочет сохранить этот храм, чтобы, как Ноев ковчег, носился он по волнам несчастий и бедствий, и, во имя Бога, в третий раз говорю вам: нет пороха под костелом. А если я говорю именем Господа, кто посмеет мне перечить? Кто посмеет еще сомневаться?

Сказав это, он замолчал и смотрел на толпу монахов, шляхты и солдат. В его голосе была такая непоколебимая вера, твердость и сила, что молчали и они, и никто не решался выступить. Наоборот, бодрость вступила в сердца, и наконец один из солдат, простой мужик, сказал:

— Да славится имя Господне! Вот три дня уж они говорят, что могут взорвать крепость, а почему не взрывают?

— Слава Пресвятой Деве! Почему не взрывают? — повторило несколько голосов.

Вдруг произошло странное событие. В воздухе раздался вдруг шум крыльев, и на монастырском дворе появились целые стаи птиц и летели, летели без конца из разоренных и опустошенных окрестностей. Летели хохлатые жаворонки, подорожники с золотистыми грудками, жалкие воробьи, зеленые синицы, красные снегири, садились на крыши, на фронтоны, на выступы стен, иные разноцветным венком кружились над головою ксендза, трепеща крылышками и жалобно чирикавая, — точно милостыню просили, — и нисколько не боялись людей. Изумились, видя это, все присутствующие, а ксендз Кордецкий, помолвившись с минутой, сказал:

— Вот птички лесные прибегают под милость Матери Божьей, а вы усомнились в ее силе.

Бодрость и надежда вступили в сердца, и монахи, ударяя себя в грудь, пошли молиться в костел, а солдаты разошлись по стенам.

Женщины вышли высыпать зерна птичкам, которые его жадно клевали.

Все объясняли появление маленьких лесных жителей как хорошее предзнаменование.

— Должно быть, большие снега повсюду, если эти птички не обращают внимания даже на грохот выстрелов и спасаются в жилом месте, — говорили солдаты.

— Но отчего же они прилетели к нам, а не к шведам?

— Потому что у зверя даже настолько ума хватает, что он отличает своего от неприятеля.

— Нет, это не так, — ответил другой солдат, — ведь в шведском лагере есть поляки. Это значит просто, что там уже голод и не хватает корма для лошадей.

— Это еще лучше, — заметил третий, — значит, то, что они говорят насчет пороховой мины, — ложь!

— Почему? — спросили все хором.

— Старые люди говорят, — ответил солдат, — что, когда какой-нибудь дом должен рухнуть, все ласточки и воробьи, у которых гнезда под крышей, переселяются за два или за три дня. Птицы всегда первые знают об опасности. И вот, если бы под монастырем были мины, птицы бы сюда не прилетели.

— А это правда?

— Вот ей-ей!

— Слава Пресвятой Деве! Значит, шведам приходится туго.

В эту минуту у юго-западных ворот послышался звук трубы; все побежали

смотреть, кто приехал.

Это был шведский трубач, который принес письмо из лагеря.

Монахи сейчас же собрались в трапезной. Письмо было от Вжешовича и заключало в себе угрозу, что если монастырь не сдастся до завтрашнего дня, то он будет взорван.

Но даже те, которые раньше изнемогали под бременем страха, не верили теперь этой угрозе.

— Нас не запугаешь! — кричали монахи и шляхта. — Напишите им, чтобы они нас не жалели, пускай взрывают.

И действительно, ответ был написан в этом духе. Между тем солдаты, которые столпились около трубача, тоже смехом отвечали на его предостережения.

— Ладно! — говорили они. — Отчего вы нас щадите? Мы скорее пойдем на небо!

А тот, который вручал трубачу письмо с ответом, сказал ему:

— Не теряйте даром времени и слов. Вы вот уже голодать стали, а у нас, слава богу, ни в чем недостатка нет.

Так ни к чему и не привел последний фортель Вжешовича.

А когда прошел еще день, стало вполне очевидно, что осажденные напрасно боялись. В монастыре опять воцарилось спокойствие.

На следующий день ченстоховский мещанин Яцек Бжуханский подбросил письмо, предупреждавшее о штурме, но вместе с тем и о том, что Ян Казимир уже тронулся из Силезии и что вся Речь Посполитая восстала против шведов. Впрочем, судя по известиям, которые кружили в шведском лагере, это должен был быть последний штурм.

Бжуханский подбросил письмо вместе с мешком рыбы для монахов и подошел к стенам, переодетый шведским солдатом.

К несчастью, его узнали и поймали. Мюллер велел подвергнуть его пыткам; но старца во время мучений посетили небесные видения, и он улыбался сладко, как ребенок, — и на лице его вместо боли отражалась невыразимая радость. Генерал сам присутствовал при пытках, но не добился никаких сообщений от мученика; он пришел лишь к ужасному убеждению, что этих людей не поколеблет и не сломит никакая сила, и впал в совершенную апатию.

Между тем в лагерь пришла старушка нищая Констанция с письмом от ксендза Кордецкого, в котором он смиренно просил не штурмовать крепость во время богослужения в первый день Рождества. Стража и офицеры приняли нищенку со смехом и издевательствами, но она им ответила:

— Никто не хотел идти, потому что вы с послами по-разбойничьи поступаете, а я пошла за кусок хлеба... Мне уж недолго жить на свете, и вас я не боюсь, а если не верите, то берите меня.

Но ее оставили в покое. Даже больше: Мюллер решил еще раз испробовать поладить с монахами мирным путем и согласился на просьбу настоятеля; он принял даже выкуп за Яцека Бжуханского, которого еще не успели замучить насмерть; в то же время он отослал и то серебро, которое нашли в пруду. Это он сделал назло Вжешовичу, который после неудавшейся попытки запугать монахов опять попал в немилость.

Наконец наступил сочельник. Вместе с первой звездой вся крепость загорелась огнями. Ночь была тихая, морозная, но погожая. Шведские солдаты, коченея от холода в окопах, поглядывали снизу на черные стены неприступной крепости, и им невольно вспоминались теплые, выложенные мохом избы родины, вспоминались жены, дети, рождественские елки — и не одна железная грудь тяжело вздыхала от печали, тоски и отчаяния. А в монастыре за столами, покрытыми сеном, осажденные вкушали вечернюю трапезу. Тихая радость была на лицах всех — все

предчувствовали, были почти уверены, что дни бедствий скоро кончатся.

— Завтра штурм, но уже последний! — повторяли монахи и солдаты. — Кому Господь назначил смерть, пусть благодарит, что он позволил ему раньше выслушать обедню и тем вернее обеспечил ему вход в Царствие Небесное. Ибо кто в день Рождества Христова погибает за веру, тот причисляется к лику святых.

И вот все желали друг другу счастья, долголетия или же мученического венца. И так легко было у всех на сердце, точно опасность уже миновала.

Рядом с местом настоятеля было одно свободное место, перед которым стоял накрытый прибор.

Когда все уселись и это место все-таки осталось свободным, мечник сказал:

— Вижу я, святой отец, что вы, по старому обычаю, оставили место и для пана Загурского?

— Не для пана Загурского, — ответил ксендз Августин, — а для того, чтобы почтить память человека, которого мы все здесь полюбили, как сына, и душа которого взирает на нас теперь с улыбкой и просит сохранить о ней добрую память.

— Ему теперь лучше, чем нам. Мы должны его вечно благодарить! — сказал мечник серадзский.

У ксендза Кордецкого слезы были в глазах, а пан Чарнецкий проговорил:

— И о менее важных подвигах пишут в истории. Если Господь Бог продлит мою жизнь, всякий раз, когда будут спрашивать меня, был ли среди нас солдат, равный древним героям, я буду отвечать: «Его звали Бабинич».

— Его звали не Бабинич, — ответил ксендз Кордецкий.

— Как — не Бабинич?

— Я давно уже знал его настоящее имя, но под тайной исповеди... И только когда он уходил взрывать орудие, он сказал мне: «Если я погибну, пусть люди знают, кто я; пусть добрая слава покроет мое имя и искупит прежние грехи». Он ушел, погиб, и теперь я могу вам сказать: это был Кмициц.

— Знаменитый литовский Кмициц! — крикнул, схватив себя за голову, пан Чарнецкий.

— Да. Так милость Господня изменяет сердца.

— Господи боже! Теперь я понимаю, что именно он мог решиться на такое дело. Теперь я понимаю, откуда в этом человеке была такая удача, такая отвага, что с ним никто не мог равняться. Кмициц! Страшный Кмициц, которого славят вся Литва!

— Иначе славить будет его теперь не только Литва, но и вся Речь Посполитая.

— Он первый предупредил нас относительно Вжешовича!

— Благодаря ему мы вовремя закрыли ворота и сделали все приготовления!

— Он убил первого шведа из лука!

— А сколько он перебил из пушки! А кто убил де Фоссиса?!

— А большая пушка! Если мы не боимся завтрашнего штурма, то не его ли должны благодарить?!

— Пусть же каждый благоговейно вспоминает и прославляет, где можно, его имя, дабы воздать ему по заслугам, — сказал Кордецкий, — а теперь пошли ему, Господи, вечный покой!

Но пан Чарнецкий еще долго не мог успокоиться, и мысли его постоянно возвращались к Кмицицу.

— Я должен вам сказать, Панове, — проговорил он, — в нем было что-то такое, что хотя он служил как простой солдат, но власть сама лезла ему в руки. Даже странно было, что люди невольно слушались этого юношу. Ведь на башне он, собственно, и командовал, я сам его слушался. Если бы я только знал, что это Кмициц!

— А ведь странно, — сказал мечник серадзский, — что шведы не похвастали перед нами его смертью.

Ксендз Кордецкий вздохнул:

— Должно быть, его убило взрывом.

— А я голову дам на отсечение, что он жив! — крикнул пан Чарнецкий. — Как же такой Кмициц мог допустить, чтобы его убило взрывом.

— Он отдал за нас свою жизнь! — сказал ксендз Кордецкий.

— Если бы это орудие было еще на окопах, мы бы не могли думать так весело о завтрашнем дне.

— Завтра Господа даст нам новую победу, — сказал ксендз Кордецкий, — ибо Ноев ковчег не может потонуть в волнах потопа.

Так разговаривали они за трапезой, а потом разошлись — монахи в костел, солдаты по своим постам у ворот и на стенах. Но бдительность была излишней: невозмутимое спокойствие царило и в шведском лагере. Шведы также отдыхали и предались раздумью: и для них наступал самый великий из праздников.

В полночь шведские солдаты слышали нежные звуки органа, которые плыли с горы. Потом к ним присоединились человеческие голоса и звон колоколов. Радость, бодрость и великое спокойствие были в этих звуках, и тем большее сомнение, тем большее бессилие сжало сердца шведов.

Польские солдаты из полков Зброжека и Калинского, не спросив разрешения, подошли к самым стенам. В монастырь их не пустили, так как боялись измены. Но к стенам пустили. Они собрались огромной толпой. Одни стояли на коленях на снегу, другие грустно качали головами, вздыхая над своей долей, иные ударяли себя в грудь и каялись в грехах — и все с наслаждением и со слезами на глазах слушали музыку и песнопения, которые, по исконному обычаю, пели в монастыре.

Между тем стража на стенах, которая не могла быть в костеле, чтобы вознаградить себя за это, тоже запела, и вскоре вдоль всех стен раздалась колядовая песня:

В яслях лежит,
Кто поспешит,
Славить Младенца?

На следующий день в полдень снова загрохотали пушки. Все окопы задымили сразу, земля дрогнула; опять полетели на монастырские крыши тяжелые ядра, бомбы и гранаты, опять полетели горящие факелы, просмоленные веревки и связки конопля. Никогда еще гром пушек не был так непрерывен, никогда еще на монастырь не обрушивался такой ливень огня и свинца; но среди шведских орудий уже не было той огромной пушки, которая одна только и могла сделать пробоины в стенах, необходимые для штурма.

Впрочем, осажденные так уже привыкли к огню, что хорошо знали все, что им надо делать, чтобы оборона шла своим путем, даже без вмешательства начальников. На огонь отвечали огнем, на выстрелы выстрелами, но только более меткими, более спокойными.

К вечеру Мюллер, при последних лучах заходящего солнца, поехал посмотреть результаты бомбардировки, и глаза его остановились на башне, которая спокойно вырисовывалась на фоне голубого неба.

— Этот монастырь будет стоять во веки веков! — крикнул он взволнованно.

— Аминь! — спокойно сказал Зброжек.

Вечером в главной квартире опять происходил военный совет, еще более мрачный, чем всегда. Его начал сам Мюллер.

— Сегодняшний штурм, — сказал он, — не дал никаких результатов. Порох у нас кончается; люди мерзнут, никто не верит в успех осады, все ждут только дальнейших неудач. Запасов у нас нет, подкрепления мы ждать не можем.

— А монастырь стоит невредим, как и в первый день осады, — прибавил Садовский.

— Что нам остается?

— Позор...

— Я получил приказание, — сказал генерал, — скорее кончать или отступить и уйти в Пруссию.

— Что нам остается делать? — повторил ландграф гессенский.

Глаза всех обратились к Вжещовичу, и он сказал:

— Спасать честь!

Короткий, прерывистый смех, скорее похожий на скрежет зубов, вырвался из груди Мюллера, которого звали Поликратом.

— Пан Вжещович хочет научить нас, как воскрешать мертвых! — сказал он. Вжещович сделал вид, что не расслышал.

— Честь спасли только мертвые! — сказал Садовский.

Мюллер стал терять хладнокровие:

— И этот монастырь еще стоит... Эта Ясная Гора!.. Этот курятник!.. И я его не взял!.. И мы отступаем!.. Что это — чары, сон или явь?..

— Этот монастырь, эта Ясная Гора еще стоит, — дословно повторил ландграф гессенский, — а мы отступаем... разбитые...

Настало минутное молчание; казалось, что вождь и его подчиненные находят какое-то особенное наслаждение в постоянных напоминаниях о собственном позоре и стыде.

Вдруг заговорил Вжещович медленным и отчетливым голосом:

— Не раз случалось в истории, что осажденные откупались от осады, и тогда осаждающие уходили как победители, ибо тот, кто платит выкуп, признает себя побежденным.

Офицеры, которые сначала слушали Вжещовича с нескрываемым презрением, стали теперь слушать внимательнее.

— Пусть монастырь даст нам какой-нибудь выкуп — тогда никто не скажет, что мы не могли его взять, а что просто не захотели.

— Но согласятся ли они? — спросил ландграф гессенский.

— Я головой ручаюсь, — ответил Вейхард, — и даже больше: моей воинской честью.

— Возможно, — сказал вдруг Садовский. — Осада надоела и нам, но она и им надоела. Что вы думаете об этом, генерал?

Мюллер обратился к Вжещовичу:

— Ваши советы доставили мне немало тяжелых, невероятно тяжелых минут, граф, но за этот совет я благодарю и охотно им воспользуюсь.

Все вздохнули с облегчением. Действительно, не оставалось ничего, как думать о возможно более почетном отступлении.

На следующий день, в день святого Стефана, офицеры собрались у Мюллера, чтобы выслушать ответ ксендза Кордецкого на письмо генерала, которое заключало в себе предложение уплатить выкуп и было выслано утром.

Ждать пришлось долго. Мюллер старался притвориться веселым, но это ему плохо удавалось. Никто из офицеров не мог усидеть на месте. Сердца всех бились тревожно.

Ландграф гессенский и Садовский стояли у окна и разговаривали вполголоса.

— Что вы думаете? Они согласятся? — спросил ландграф.

— Все говорит за то, что согласятся. Кто не согласится избавиться от такой страшной опасности ценой нескольких тысяч талеров? Кроме того, у монахов нет понятий о воинской чести и рыцарском самолюбии, — во всяком случае, этих понятий у них не должно быть. Я боюсь только, не слишком ли много потребовал генерал.

— Сколько?

— Сорок тысяч талеров от монахов и двадцать — от шляхты. Ну, в худшем случае, они будут торговаться.

— Надо уступить, во что бы то ни стало уступить. Если бы я знал, что у них нет денег, я бы предпочел одолжить им свои, только бы отступить без внешних признаков позора.

— А я скажу вам, что хотя и считаю совет Вжещовича хорошим и верю в то, что они дадут выкуп, но я так волнуюсь, что предпочел бы десять штурмов этому ожиданию.

— Вы правы! А Вжещович... может высоко подняться...

— Пожалуй, даже на виселицу...

Но они не угадали. Графа Вейхарда Вжещовича в будущем ждало нечто худшее, чем виселица.

Разговор их прервал гром выстрелов.

— Что это? Выстрел из крепости?! — крикнул Мюллер.

И, вскочив как ужаленный, он выбежал из избы.

За ним выбежали все офицеры и стали прислушиваться. Из крепости доносились регулярные залпы.

— Господи боже, что же это может значить? Битва внутри крепости, что ли? — воскликнул Мюллер. — Я не понимаю!

— Я объясню вам, генерал, — сказал Зброжек, — сегодня день святого Стефана, именины панов Замойских, сына и отца, в их честь и стреляют.

Из крепости слышались крики, а потом опять салюты.

— Пороха у них довольно, — мрачно сказал Мюллер. — Это для нас новое предупреждение.

Но судьба не пощадила Мюллера и от другого, еще более страшного предупреждения. Шведские солдаты, которые были очень утомлены и совершенно пали духом, при звуке монастырских выстрелов в панике бежали с ближайших окопов.

Мюллер видел целый полк превосходных фламандских стрелков, которые в беспорядке бросились бежать и убежали за его квартиру; он слышал также, как офицеры, видя это, повторяли друг другу:

— Пора, пора отступить!

Но понемногу все успокоилось — осталось только тяжелое впечатление. Вождь и его подчиненные снова вошли в избу и стали нетерпеливо ждать; даже неподвижное до сих пор лицо Вжещовича обнаруживало тревогу.

Наконец в сенях раздался звон шпор, и вошел трубач, покрасневший от мороза, с заиндевелыми усами.

— Ответ из монастыря! — сказал он, передавая Мюллеру большой пакет, завернутый в цветной платок и перевязанный бечевкой.

Руки Мюллера дрожали. Вместо того чтобы развязать бечевку, он перерезал ее кинжалом.

Глаза всех впились в пакет, офицеры затаили дыхание.

Генерал приоткрыл край платка, потом быстро вынул пакет, и на стол посыпалась целая пачка облаток³³.

Он побледнел и, хотя никто не спрашивал, что это такое, сказал:

— Облатки!

— И больше ничего? — спросил кто-то в толпе.

— И больше ничего! — как эхо, ответил генерал.

³³ Для причастия (примеч. переводчика).

Настало минутное молчание; порою слышались лишь чьи-нибудь вздохи да лязг оружия.

— Полковник Вжещович! — сказал наконец Мюллер страшным, зловещим голосом.

— Его уже нет! — ответил один из офицеров.

И снова настало молчание.

Ночью во всем лагере поднялось какое-то необычное движение. Чуть погасли последние лучи зари, стали раздаваться крики команды, слышалось передвижение больших отрядов конницы, отголоски тяжелых шагов пехоты, ржание лошадей, скрип возов, глухой грохот орудийных колес, лязг железа, звон цепей, шум, говор, гул...

— Неужели завтра штурм? — спрашивала стража у ворот.

Но не могла ничего разглядеть, так как с вечера небо было затянуто тучами и шел густой снег.

Около 5 часов утра все замолкло, — шел густой снег. Толстым слоем он покрыл стены и башню, точно хотел спрятать от глаз врагов и костел и монастырь и защитить его от неприятельского огня.

Наконец рассвело, стали уже звонить к заутрене, как вдруг солдаты, стоявшие на страже у южных ворот, услышали фыркание лошадей.

У ворот стоял мужик, весь занесенный снегом; за ним на дороге виднелись низенькие санки, запряженные тощей клячей.

Мужик от холода потирал руки и переступал с ноги на ногу:

— Люди, откройте!

— Кто там? — спросили из монастыря.

— Свой. Я дичь привез святым отцам.

— А как же тебя шведы пропустили?

— Какие шведы?

— Что костел осаждают.

— Да шведов уж и след простыл.

— С нами крестная сила! Ушли?!

— Следы их уж снегом замело.

На дороге показались кучки мещан, мужиков; одни ехали верхом, другие шли пешком; были и женщины. Все кричали издали:

— Нет шведов! Нет!

— Ушли в Велюнь!

— Откройте ворота! Никого нет!

— Шведы ушли! Шведы ушли! — И весть эта громом прокатилась по стенам.

Солдаты бросились на колокольню и ударили в набат.

Все, кто только жил в монастыре, выбегали из келий, из квартир, из костела.

Все передавали друг другу новость. Двор был полон монахов, солдат, женщин и детей. Радостные клики раздавались повсюду. Одни побежали на стены, чтобы убедиться, что лагерь пуст, другие смеялись и плакали от радости.

Иные до сих пор все еще не хотели верить; но подходили все новые толпы мужиков и мещан.

Они шли из города Ченстохова и окрестных деревень, шумно, весело, с песнями. Приходили все новые известия; все видели отступление шведов и рассказывали, куда они отступили.

Через несколько часов вся монастырская гора была полна людей. Ворота монастыря были настежь открыты, как бывало раньше; звонили во все колокола... И их торжественные звуки летели вдаль, и слышала их вся Речь Посполитая.

Снег заметал следы шведов.

* * *

К полудню костел был так переполнен, что негде было яблоку упасть. Сам ксендз Кордецкий служил благодарственный молебен, и людям казалось, что служит его белый архангел. И казалось людям, что душа его улетит вместе со звуками песнопений или с кадильным дымом и развеется в выси во славу Господню.

Гул орудий не потрясал уже стен и оконных стекол, не засыпал уже людей градом ядер, не прерывал уже ни молитв, ни той благодарственной песни, которую среди восторга и плача молящихся запел старый настоятель:

Te, Deum, laudamus!

XX

Кмициц и Кемличи быстро подвигались к силезской границе. Они ехали осторожно, чтобы не встретиться с каким-нибудь шведским отрядом. У хитрого Кемлича были пропускные грамоты, выданные Куклиновским и подписанные Мюллером, но все же солдат, у которых были такие документы, обычно подвергали допросу, и такой допрос мог плохо кончиться для пана Андрея и его спутников. Они ехали быстро, чтобы как можно скорее перейти границу и углубиться внутрь Силезии. Пограничные местности не были свободны и от шведских мародеров; часто случалось, что шведские отряды заходили даже в Силезию, чтобы ловить тех, кто прокрадывался к Яну Казимиру. Но Кемличи, которые за все время осады ченстоховского монастыря только и занимались что охотой на одиночных шведов, прекрасно изучили всю окрестность, все пограничные дороги, тропинки и проходы, где шведов им удавалось встречать особенно часто и где они чувствовали себя, как дома.

По дороге старик Кемлич рассказывал пану Андрею, что слышно в Речи Посполитой, а пан Андрей, который столько времени безвыходно сидел в крепости, жадно слушал эти новости и даже забыл о собственной боли: новости эти были очень неблагоприятны для шведов и предвещали близкий конец шведскому владычеству в Польше.

— Войску уже надоели шведы и их компания, — говорил старик Кемлич, — и если раньше солдаты грозили убить гетманов, раз они не согласятся соединиться со шведами, то теперь они сами высылают депутации к пану Потоцкому, прося спасти Речь Посполитую и давая клятву остаться при нем до последнего издыхания. Некоторые полковники ведут со шведами войну на свой страх.

— Кто же первый начал?

— Пан Жегоцкий и пан Кулеша. Они начали действовать в Великопольше и нанесли шведам значительный урон; есть много маленьких отрядов во всей стране, но имена начальников никому не известны, они их умышленно скрывают, чтобы, в случае чего, спасти свои семьи и имения от мести шведов. В войске первым восстал тот полк, которым командует пан Войнилович.

— Габриель? Это мой родственник, хотя я его не знаю.

— Прекрасный солдат. Он разбил отряд изменника Працкого, который служил шведам, самого его расстрелял, а теперь отправился в горы, которые лежат за Краковом; там он разбил шведский отряд и спас горцев, которых теснили шведы.

— Значит, и горцы шведов бьют?

— Они первые и начали; но мужичье ведь глупый народ, хотели с топорами идти на защиту Кракова, генерал Дуглас их рассеял, тем более что они в открытом поле ничего не стоят. Зато, когда за ними отправили несколько отрядов в горы, оттуда ни один человек не вернулся. Теперь пан Войнилович, оказавший помощь горцам, ушел

к пану Любомирскому и соединился с его войсками.

— Значит, пан маршал — против шведов?

— Разное о нем говорили, будто он колебался, куда перейти, но когда во всей Польше поднялось восстание, тогда и он решил идти против шведов. Влиятельный он человек и много плохого может сделать шведам. Он один мог бы воевать со шведским королем. Говорят, что к весне в Речи Посполитой ни одного шведа не будет...

— Дал бы Бог!

— Да разве может быть иначе, ваша милость, если все на них озлились за осаду Ченстохова? Войска бунтуют, шляхта их бьет, где может, мужики собираются толпами, к тому ж татары идут, идет хан собственной особой, который разбил Хмельницкого и казаков и пригрозил им стереть их с лица земли, если они не пойдут против шведов.

— Но ведь и у шведов есть еще влиятельные сторонники из панов и шляхты?

— Только тот, кто должен, стоит еще на их стороне, но и то лишь до поры до времени. Один только князь-воевода виленский всей душой на их стороне, но он за это и поплатился.

Кмициц даже задержал коня и в то же время схватился за бок от приступа внезапной боли.

— Господи боже! — воскликнул он, подавив стон. — Говори скорее, что с Радзивиллом? Он все еще в Кейданах?

— Я знаю только то, что говорят люди, а разве им верить можно? Одни говорят, что князя-воеводы нет в живых; другие говорят, будто он еще воюет с Сапегой, но сам еле дышит. Говорят, они на Полесье столкнулись, пан Сапега его одолел, а шведы не могли его спасти. Теперь говорят, что его осадили в Тыкоцине и что он уже пропал.

— Слава тебе, Боже! Честные торжествуют над изменниками. Слава тебе, Боже!

Кемлич исподлобья взглянул на Кмицица и сам не знал, что думать. Всем в Речи Посполитой было известно, что если Радзивилл и удержал в повиновении свои войска и шляхту, которая не хотела шведского владычества, то это случилось главным образом благодаря Кмицицу и его людям.

Но старик не решился высказать полковнику этих мыслей, и они продолжали ехать молча.

— А что слышно насчет князя Богуслава? — спросил наконец пан Андрей.

— Насчет него я ничего не слыхал, ваша милость, — ответил Кемлич. — Может, он в Тыкоцине, может, у курфюрста. Теперь там война, и шведский король сам выступил в Пруссию, а мы пока поджидаем нашего государя. Пошли его Бог поскорей! Все до единого человека перешли бы к нему, и войско сейчас бы бросило шведов.

— Неужто так?

— Ваша милость, я знаю только то, что говорили солдаты, которые должны были стоять под Ченстоховом. Там было несколько тысяч драгун под командой пана Зброжека, Калинского и других полковников. Смею сказать вашей милости, что ни один из них не служит там по доброй воле, разве лишь головорезы Куклиновского, да и те все рассчитывали на монастырские сокровища. А честные люди из них отчаяния руки заламывали и все жаловались друг другу: «Довольно нам служить нехристям! Пусть только государь границу перейдет, мы сейчас на шведов нагрянем, но пока его нет, что нам Делать, куда идти?» — так жаловались они. А в тех полках, которые под командой гетманов, еще хуже. Знаю я одно: что приезжали от них депутаты к пану Зброжеку и совещались с ним по ночам, о чем Мюллер не знал, хотя и чувствовал, что вокруг него творится что-то неладное.

— А князя-воеводу виленского осаждают в Тыкоцине? — спросил пан Андрей.

Кемлич снова тревожно взглянул на Кмицица, так как подумал, что у него,

должно быть, лихорадка, если он заставляет дважды повторять одно и то же, но все же ответил:

— Его осаждает пан Сапега.

— Справедлив суд Господень! — сказал Кмициц. — Он, который с королями мог равняться мощью... Никого при нем не осталось.

— В Тыкоцине есть шведский гарнизон, но с князем остались только несколько шляхтичей, которые до сих пор ему верны.

Грудь Кмицица наполнилась радостью. Он боялся мести страшного магната над Оле нькой, и хотя ему казалось, что он предотвратил эту месть своими угрозами, но все же он не мог отделаться от мысли, что Оле ньке и всем Биллевичам было бы безопаснее жить в львиной пещере, чем в Кейданах, с князем, который никогда никому ничего не прощал. Теперь, когда он был разбит, когда он лишился войска и значения, когда у него оставался один маленький замок, где он защищал свою жизнь и свободу, он не мог думать о мести; рука его не тяготела больше над врагами.

— Слава Богу, слава Богу! — повторял Кмициц.

И так поразила его эта перемена в судьбе Радзивилла, так поразило все, что случилось за время его пребывания в крепости, так озаботил вопрос, где та, которую он любил, и что с ней случилось, что он в третий раз спросил Кемлича:

— Так ты говоришь, князь разбит?

— Разбит совершенно, — ответил старик. — Вам нездоровится, ваша милость?

— Бок болит. Но это ничего, — ответил Кмициц.

И они снова поехали молча. Усталые лошади понемногу замедляли ход и наконец пошли шагом. Их мерные движения усыпили смертельно уставшего пана Андрея, и он заснул, покачиваясь в седле. Проснулся он только на рассвете.

Он с удивлением огляделся по сторонам, ибо в первую минуту ему показалось, что все, что он пережил ночью, было только сном. Наконец он спросил:

— Это ты, Кемлич? Мы из-под Ченстохова едем?

— Точно так, ваша милость.

— А где мы?

— О, уже в Силезии. Нас тут шведы не достанут.

— Это хорошо, — сказал Кмициц, совершенно приходя в себя. — А где сейчас король?

— В Глогове.

— Туда мы и поедем, чтобы пасть к ногам государя и проситься на службу. Только слушай, старик...

— Слушаю, ваша милость.

Но Кмициц задумался и заговорил не сразу. По-видимому, он обдумывал что-то, колебался и наконец сказал:

— Нельзя иначе!

— Слушаюсь.

— Ни королю, ни кому из придворных не говорить ни слова, кто я. Зовут меня Бабинич, едем мы из Ченстохова. Насчет пушки и Куклиновского говорить можете. Но имени моего не называть, чтобы люди не поняли превратно моих намерений и не считали меня изменником: в ослеплении своем я некогда служил князю-воеводе виленскому и помогал ему, об этом при дворе могли слышать.

— Пан полковник, после того, что вы сделали под Ченстоховом...

— А кто докажет, что это правда, пока монастырь осажден?

— Слушаюсь.

— Придет время, когда правда выплывет наружу, — сказал как бы про себя Кмициц, — но сначала государь должен сам убедиться...

На этом разговор оборвался. Между тем рассвело совершенно. Старый Кемлич запел утреннюю молитву, Козьма и Дамьян вторили ему басом. Дорога была тяжелая,

стоял лютый мороз, кроме того, путников постоянно останавливали, спрашивали новости, особенно интересуясь тем, защищается ли еще Ченстохов. Кмициц отвечал, что он еще защищается и будет защищаться, но вопросам не было конца. Дороги были полны проезжих, все гостиницы по дороге переполнены. Одни прятались в глубь страны из пограничных областей Речи Посполитой, чтобы уйти от шведского засилья, другие перебирались через границу, чтобы узнать новости; то и дело по дороге встречалась шляхта, которой надоело уже выносить шведское иго и которая, как и Кмициц, ехала предложить свои услуги изгнанному королю. Порою встречались панские обозы, порою — отряды солдат из тех полков, которые либо добровольно, либо в силу договоров со шведами перешли границу, как, например, полки пана каштеляна киевского.

Известия из страны оживили надежду этих беглецов, и многие из них готовились вернуться назад с оружием в руках. Во всей Силезии, особенно в княжествах Ратиборском и Опольском, кипело как в котле: гонцы летели с письмами к королю и от короля к каштеляну киевскому, к примасу, к канцлеру Корицинскому, к пану Варшицкому, каштеляну краковскому, первому сенатору Речи Посполитой, который ни на минуту не покидал Яна Казимира.

Вместе с королем и с королевой, которая обнаружила необычайную душевную стойкость и твердость в несчастье, все эти лица сносились с наиболее значительными людьми Речи Посполитой, о которых было известно, что они готовы вернуться к прежнему королю. Гонцов посылали и пан маршал коронный, и гетманы, и войско, и шляхта, которая готовилась к восстанию. Это было накануне повсеместной войны, которая в некоторых местах уже вспыхнула. Шведы тушили эти местные вспышки либо оружием, либо топором палача, но огонь, погашенный в одном месте, вспыхивал в другом. Страшная буря нависла над головами скандинавских пришельцев; ненависть и месть окружали их со всех сторон, и им приходилось теперь бояться собственной тени.

И они точно обезумели. Недавние песни триумфа замерли у них на губах, и они спрашивали друг друга с изумлением: «Неужели это тот самый народ, который только вчера бросил своего короля и покорился без боя? Как? Паны, шляхта, войско сделали нечто, чего еще не знала история: перешли на сторону победителя!» Города сами открывали свои ворота; страна была покорена. Никогда еще покорение не стоило так мало усилий и крови. Сами шведы, удивляясь той легкости, с которой они заняли могущественную Речь Посполитую, не могли скрыть презрения к побежденным, которые лишь только увидели обнаженные шведские мечи, как отступились от короля, от отчизны, только бы жить спокойно, сохранить свои имения или ловить рыбу в мутной воде. То, что недавно Вжештович говорил императорскому послу Лизоля, повторял теперь сам король и все шведские генералы: «Нет у этого народа мужества, нет постоянства, нет порядка, нет веры, нет патриотизма — и он должен погибнуть».

Но они забыли о том, что у этого народа есть еще одно чувство, и земным выражением его была Ясная Гора.

И в этом чувстве было его возрождение. Гром пушек, который раздался под стенами святого места, нашел отклик во всех сердцах: и магнатов, и шляхты, и мещан, и мужиков. Крик ужаса пронесся от Карпат до Балтийского моря — и спящий великан проснулся.

— Это другой народ! — с изумлением говорили шведские генералы.

И, начиная с Виттенберга и кончая комендантами отдельных замков, все посылали Карлу-Густаву, находившемуся в Пруссии, письма, полные ужасных известий. Земля ускользала из-под ног у шведов; вместо прежних друзей они везде встречали врагов; вместо послушания — сопротивление; вместо страха — дику и на все готовую храбрость; вместо мягкости — жестокость; вместо терпения — месть.

А между тем во всей Речи Посполитой из рук в руки переходил манифест Яна Казимира, который раньше, будучи только что издан в Силезии, не нашел никакого отклика. Теперь, наоборот, он проникал всюду, где еще не хозяйничали шведы. Шляхта собиралась толпами и, ударяя себя в грудь, слушала высокие слова изгнанного короля, который, указывая ошибки и грехи народа, повелевал не терять надежды и спешить на помощь Речи Посполитой.

«Не поздно еще, — писал Ян Казимир, — хотя неприятель зашел уже далеко, вернуть утраченные провинции и города, воздать Господу должную хвалу, осквернение костелов кровью неприятельской смыть, свободу и закон ввести в прежнее русло и вернуться к старопольскому устройству государства; только бы вернулась к вам старопольская добродетель и свойственная предкам вашим верность и любовь к государю, коими столь мог похвалиться перед другими народами дед наш, Зигмунд Первый. Настало уже время искупления прежних грехов и возвращения на путь добродетели. Все, для кого Господь Бог и вера святая превыше всех благ земных, восстаньте против шведов, врагов наших. Не дожидайтесь вождей и воевод, а равно и того порядка, что общими законами предписан, ибо неприятель все порядки перемешал в стране; но, вкуче с подданными своими, соединяйтесь, где можно, друг с другом — двое с третьим, трое с четвертым, четверо с пятым — и, где найдете возможным, оказывайте неприятелю сопротивление. Собравшись в отряд, соединяйтесь с другими отрядами и, образовав, по мере сил, значительное войско, избирайте себе вождя из людей, в деле военном сведущих, и ждите особу нашу, не упуская случая, буде он представится, громить неприятеля. Мы же, коль скоро услышим о готовности верноподданных наших встать нам на защиту, тотчас прибудем и жизнь нашу готовы положить за честь и целостность отчизны».

Манифест этот читали даже в лагере Карла-Густава, даже в тех замках, где стояли шведские гарнизоны, и везде, где только были польские войска. Шляхта слезами заливала каждое слово манифеста, сожалея о добром государе, и клялась исполнить его волю. И делала это, пока не остывал первый порыв, пока не высыхали слезы в глазах: садилась на лошадей и бросалась на шведов. Небольшие шведские отряды таяли и гибли. Так было на Литве, на Жмуди, в Великой и Малой Польше. Случалось не раз, что шляхта, собравшись у соседа на крестины, на именины или просто на веселую пирушку, без всяких воинственных намерений, кончала тем, что, подвыпив, вихрем налетала на ближайший шведский отряд и вырезала его до одного человека. Потом участники пирушки с песнями и криками ехали дальше, к ним приставали те, кто хотел «погулять», — и толпа превращалась в «партию», которая начинала вести регулярную войну. К партии этой примыкали обычно крепостные мужики и челядь; партии нападали на одиночных шведов или на небольшие отряды, неосторожно расположившиеся в деревнях. И эти кровавые забавы были полны веселья и удали, которая была свойственна народу.

Шляхта охотно переодевалась татарами, один вид которых наводил ужас на шведов. Об этих детях крымских степей, об их дикости и невероятной жестокости среди шведов ходили целые легенды. А так как всюду было известно, что на помощь Яну Казимиру идет хан со стотысячной ордой, то переодетую шляхту принимали за татар, и поднималась паника. В некоторых местах полковники и коменданты были действительно убеждены, что татары уже пришли, и они спешно отступали в большие крепости, распространяя повсюду ложные известия и тревогу. Между тем в тех местностях, которые таким путем избавились от неприятеля, шляхта вооружалась и из беспорядочной толпы превращалась в регулярное войско. Но еще страшнее для шведов было крестьянское движение. С первых же дней осады Ченстохова среди крестьян поднялось брожение: спокойные и терпеливые до сих пор, пахари то тут, то там стали оказывать сопротивление, хвататься за косы и цепи,

помогать шляхте. Наиболее дальновидные шведские генералы с тревогой смотрели на эти тучи, которые в очень недалеком будущем могли разразиться настоящим потоком и смыть победителей.

Самым действительным средством подавить бунт в самом зародыше шведам казалось — держать народ в страхе. Карл-Густав лаской и лестью удерживал еще при себе польские полки, которые отправились за ним в Пруссию. Лыстил он и пану Конецпольскому, известному полководцу, збаражскому герою. Он стоял на стороне короля с шестью тысячами великолепной конницы, которая при первом же столкновении с войсками курфюрста навела на них такую панику, что курфюрст поспешил поскорее приступить к переговорам.

Король посылал письма гетманам, магнатам и шляхте, полные обещаний и увещаний сохранить ему верность. Но в то же самое время он отдал своим генералам и комендантам приказ подавлять всякое сопротивление внутри страны огнем и мечом, а шайки мужиков вырезать беспощадно. И вот начались дни самовластия солдат. Шведы сбросили с себя маску дружелюбия. Из замков высылали большие отряды для преследования бунтовщиков. Целые деревни, усадьбы, костелы были сровнены с землей. Пленников из шляхты отдавали в руки палачей; у мужиков, захваченных в плен, отрубали правые руки и потом отправляли домой.

Особенно свирепствовали эти отряды в Великопольше, которая раньше всех покорила и раньше всех восстала против чужого владычества. Комендант Штейн велел там однажды отрубить руки тремстам мужикам, пойманным с оружием. В городах были поставлены постоянные виселицы, и каждый день к ним подводились новые жертвы. То же самое делал де ла Гарди на Литве и Жмуди, где взялись за оружие сначала шляхетские поселки, а потом и мужики. Так как в этой неразберихе шведам трудно было отличить своих сторонников от врагов, то они не щадили никого.

Но огонь, который старались потушить кровью, вместо того чтобы погаснуть, все усиливался — и началась война, в которой обе стороны думали уже не о победах, не о замках или провинциях, а о жизни или смерти. Жестокость с обеих сторон только разжигала ненависть, и началась не борьба, а беспощадное взаимное истребление.

XXI

Но это истребление еще только начиналось, когда пан Кмициц вместе с тремя Кемличами, после долгого и трудного пути, приехал наконец в Глотову. Они приехали ночью. Город был переполнен солдатами, панами, шляхтой, слугами короля и магнатов, все гостиницы были заняты, и старик Кемлич с величайшим трудом разыскал квартиру для пана Андрея у одного мещанина, жившего за городом.

Весь день пан Андрей пролежал больной, в лихорадке, от ожога. Минутами ему казалось, что придется расхвораться надолго. Но его железная натура справилась с болезнью. На следующую ночь ему стало лучше, а на рассвете он оделся и отправился в костел поблагодарить Бога за свое чудесное спасение. Серое снежное утро чуть брезжило. Город еще спал. Но сквозь открытые двери костела в алтаре виднелся свет и слышались звуки органа.

Кмициц вошел. Ксендз молился перед алтарем, в костеле было еще мало народа, на скамьях сидело всего лишь несколько человек, но, когда глаза пана Андрея освоились с темнотой, он увидел какую-то фигуру, лежавшую ниц перед самым алтарем на ковре. За ним на коленях стояли два подростка, с румяными, почти детскими лицами. Человек этот лежал без движения, и только по его тяжелым вздохам можно было догадаться, что он не спит, а молится ревностно, от всей души. Кмициц тоже погрузился в благодарственную молитву; но, когда он кончил молиться, глаза его невольно обратились снова на человека, лежавшего на полу, и не могли

уже оторваться, точно что-то их приковывало. Тело лежавшего вздрагивало от вздохов, похожих на стоны, которые отчетливо звучали в тишине костела. Желтый блеск свечей перед алтарем и бледный дневной свет в окнах делали эту фигуру все более отчетливой.

Пан Андрей по его одежде сразу догадался, что это должен быть какой-нибудь сановник, и все присутствующие, не исключая и ксендза, служившего раннюю обедню, то и дело поглядывали на него с глубоким уважением. Незнакомец был весь в черном бархате, отделанном соболем, на шее у него был белый кружевной воротник, из-под которого проглядывали звенья золотой цепи; рядом лежала черная шляпа со страусовыми перьями, один из пажей, стоявших на коленях за ковром, держал в руке его перчатки и шпагу в голубых ножнах. Лица незнакомца пан Кмициц разглядеть не мог, так как оно тонуло в складках ковра и, кроме того, его совершенно закрывали упавшие по сторонам локоны парика.

Пан Андрей подошел почти к самому алтарю, чтобы иметь возможность разглядеть лицо незнакомца, когда он встанет. Между тем заутреня кончалась. Люди, которые хотели присутствовать при поздней обедне, входили в главные двери. Костел понемногу наполнялся людьми с бритыми головами, одетыми в шубы и военные бурки. Становились тесно. Кмициц спросил стоявшего рядом с ним шляхтича:

— Простите, ваша милость, что я вам мешаю молиться, но любопытство сильнее. Кто это?

И он указал глазами на человека, лежавшего на ковре.

— Вы, должно быть, издалека приехали, если не знаете, кто это? — ответил шляхтич.

— Уж конечно, издалека, если спрашиваю вас. Надеюсь, что вы мне любезно ответите.

— Это король!

— Господи боже! — воскликнул Кмициц.

И в ту же минуту король поднялся, так как ксендз стал читать Евангелие.

Пан Андрей увидел исхудалое, желтое лицо, прозрачное, как церковный воск. Глаза короля были влажны, веки красны. Казалось, что все судьбы родной страны отразились на этом благородном лице — столько было в нем боли, муки и забот. Бессонные ночи, проведенные в молитвах и тревогах, ужасные разочарования, изгнание, одиночество, оскорбленное достоинство сына, внука и правнука мощных королей, горечь, которой так долго и в таком изобилии поили его собственные подданные, неблагодарность страны, ради которой он готов был пожертвовать кровью и жизнью, — все это можно было прочесть в этом лице, как в книге. Но в этом лице была не только безропотная покорность, которую дала ему вера и молитва, не только величие короля и помазанника Божьего, но такая бесконечная доброта, что невольно думалось: если самый ужасный преступник протянет руки к нему, как к отцу, этот отец примет его, простит и забудет о собственных обидах. У Кмицица, когда он смотрел на него, какая-то железная рука сжимала сердце. Скорбью наполнилась душа молодого человека. Раскаяние, жалость и преданность не давали ему дышать, чувство огромной вины подкосило его ноги, он стал дрожать всем телом, и новое, неведомое чувство вспыхнуло у него в груди. В одну минуту он полюбил этого скорбно-величавого человека, почувствовал, что для него на свете нет ничего дороже этого государя и отца, что он готов пожертвовать ради него жизнью, претерпеть самые страшные мучения. Он готов был броситься к его ногам, обнять колени и просить об отпущении грехов. Шляхтич, дерзкий головорез, умер в нем в одну минуту, и родился монархист, всей душой преданный своему королю.

— Это наш государь! Наш несчастный государь! — повторял он про себя, точно словами хотел подтвердить то, что видели его глаза и чувствовало сердце.

Между тем Ян Казимир, когда прочли Евангелие, снова опустился на колени, воздел руки, поднял глаза вверх и погрузился в молитву. Ксендз уже ушел, в костеле поднялось движение, а король все еще стоял на коленях.

Вдруг тот шляхтич, с которым заговорил Кмициц, слегка дотронулся до его руки.

— А вы кто такой? — спросил он.

Кмициц не сразу понял вопрос и не сразу ответил, так как сердце и мысли его были заняты особой короля.

— Кто вы такой? — повторил стоявший рядом.

— Шляхтич, как и вы! — ответил пан Андрей, точно просыпаясь от сна.

— Как вас зовут?

— Как меня зовут? Меня зовут Бабинич, я из Литвы, из-под Витебска.

— А я — Луговский, придворный короля. Так вы из Литвы, из-под самого Витебска едете?

— Нет... Я еду из Ченстохова.

Пан Луговский от удивления не мог проговорить ни слова.

— Ну, если так, то привет вам, привет, вы нам сообщите новости. Король попросту умирает от нетерпения, так как целых три дня не было никаких достоверных известий. Как же так? Вы, верно, из полка Зброжека, Калинского или Куклиновского? Из-под Ченстохова?

— Не из-под Ченстохова, а из самого монастыря.

— Да вы шутите. Что там? Что слышно? Монастырь еще защищается?

— Защищается и будет защищаться. Шведы не сегодня завтра уйдут.

— Господи боже! Король озолотит вас! Вы из самого монастыря, говорите? Как же вас шведы пропустили?

— Я у них разрешения не спрашивал, но простите меня, ваша милость, я в костеле подробно рассказывать не могу.

— Правильно, правильно! — ответил пан Луговский. — Боже милостивый! Вы с неба нам свалились, но в костеле не подобает, это правильно! Подождите, пане! Король сейчас встанет, поедет домой завтракать. Сегодня воскресенье... Пойдемте со мной, вы станете рядом со мной в дверях, и я сейчас же вас представлю королю... Пойдемте, пойдемте, иначе будет поздно!

Сказав это, он пошел вперед, а Кмициц за ним. Едва лишь они остановились в дверях, как вдруг показались два пажа, а за ними медленно вышел Ян Казимир.

— Ваше величество, — воскликнул пан Луговский, — есть известия из Ченстохова!

Восковое лицо Яна Казимира вдруг оживилось.

— Что, где, кто? — спросил он.

— Вот этот шляхтич. Говорит, что едет из самого монастыря.

— Разве монастырь уже взят? — крикнул король. В эту минуту пан Андрей упал в ноги королю.

Ян Казимир наклонился и стал поднимать его за руки.

— Потом, потом, — сказал он. — Вставай, ради бога, вставай! Говори скорей! Монастырь взят?

Кмициц вскочил со слезами на глазах и воскликнул горячо:

— Не взят, государь, и не будет взят! Шведы разбиты! Самое большое орудие взорвано! В их лагере страх, голод, нищета. Они думают об отступлении!

— Слава тебе, Царица Небесная! — произнес король.

Потом он вернулся к двери костела, снял шляпу и, не заходя внутрь, опустился на колени на снегу у двери. Прислонился головой к стене и погрузился в молчание. Минуту спустя он уже рыдал.

Волнение охватило всех. Пан Андрей ревел, как зубр. Помолившись и наплакавшись, король встал уже успокоенный, с просветленным лицом. Он сейчас же

спросил у Кмицица его имя, и, когда тот назвал ему свою вымышленную фамилию, он сказал.

— Пусть пан Луговский сейчас же отведет тебя на нашу квартиру. Мы куска хлеба в рот не возьмем, прежде чем не узнаем про осаду.

И четверть часа спустя пан Кмициц стоял уже в королевских покоях перед собравшимися там сановниками. Король ждал королеву, чтобы сесть с ней завтракать; через минуту вошла и Мария-Людвика. Ян Казимир, завидев ее, крикнул с места:

— Ченстохов выдержал! Шведы отступают! Здесь пан Бабинич, который приехал оттуда и привез эти известия!

Черные глаза королевы пристально остановились на лице молодого человека и, увидев в нем искренность, засияли радостью; а он, отвесив ей низкий поклон, смело смотрел ей в глаза, как смотрит всегда честность и правдивость.

— Слава Господу! — сказала королева. — Вы сняли с нашего сердца огромную тяжесть. Бог даст, с этого и начнется перемена судьбы. Вы едете прямо из-под Ченстохова?

— Не из-под Ченстохова! Он говорит, что из самого монастыря, это один из защитников! — воскликнул король. — Дорогой гость... Дай Бог, чтобы такие каждый день сюда приезжали; но позвольте же ему говорить... Рассказывай, брат, рассказывай, как вы защищались и как охраняла вас десница Господня!

— Да, ваше величество, десница Господня и чудеса Пресвятой Девы, которые мы видели собственными глазами каждодневно!

Пан Кмициц принялся уже было рассказывать, как вдруг начали сходиться новые сановники. Вошел папский нунций, ксендз-примас Лещинский, за ним ксендз Выджга, проповедник-златоуст, бывший прежде канцлером королевы, потом епископом варминским и, наконец, примасом. Вместе с ними вошел коронный канцлер пан Корицинский и француз Нуайе. За ними то и дело входили другие сановники, которые не оставили государя в несчастье и предпочли делить с ним горечь изгнания, но не нарушить присягу.

Король сгорал от нетерпения и поминутно отрывался от кушанья, повторяя:

— Слушайте, панове, слушайте! Гость из Ченстохова! Хорошие известия, слушайте! С самой Ясной Горы!

Сановники с любопытством смотрели на Кмицица, стоявшего точно перед судом, но он, смелый по природе и привыкший бывать в обществе великих людей, нисколько не смутился, видя перед собой столько знаменитостей, и, когда все расселись по местам, начал рассказывать об осаде.

Правда чувствовалась в его словах, так как он говорил ясно, подробно, как солдат, все видевший своими глазами, все переживший, ко всему прикасавшийся. Он говорил о ксендзе Кордецком, как о святом пророке, превозносил до небес пана Замойского и пана Чарнецкого, прославлял некоторых монахов, не забывая ни о ком, кроме себя; но весь успех осады он без колебания приписывал Пресвятой Деве, ее милостям и чудесам.

Король и сановники слушали его с изумлением.

Ксендз-архиепископ поднимал к небу полные слез глаза, ксендз Выджга наскоро переводил все нунцию, некоторые сановники хватались за голову, другие молились и ударяли себя в грудь.

Наконец, когда Кмициц дошел до последних штурмов, когда он начал рассказывать о том, как Мюллер привез тяжелые орудия из Кракова и с ними осадное орудие, против которого не могли бы устоять не только ченстоховские стены, но ни одни стены в мире, — стало так тихо, точно ангел пролетел, и глаза всех впились в рассказчика.

Но пан Кмициц вдруг замолчал и стал быстро дышать; румянец выступил у него

на лине, он наморщил брови и сказал гордо:

— Теперь я должен рассказывать о себе, хотя предпочел бы молчать... И если я скажу что-нибудь для себя похвальное, то, Бог свидетель, я расскажу это не ради наград, ибо они мне не нужны: величайшая награда для меня — пролить кровь за ваше величество.

— Говори смело, мы тебе верим, — сказал король. — Ну, как же это орудие?

— Это орудие... я... подкравшись ночью к лагерю, взорвал порохом на мелкие куски!

— Господи боже! — воскликнул король. И после этого восклицания настала тишина: изумление охватило слушателей. Все не сводили глаз с молодого человека, который стоял перед ними с искрящимися глазами, с румянцем в лице и с гордо поднятой головой. И в эту минуту в лице его было что-то зловещее, какое-то дикое мужество, и всем невольно пришло в голову, что такой человек мог решиться на подобный поступок.

И после минутного молчания ксендз-примас проговорил:

— Это на него похоже!

— Как же ты это сделал? — воскликнул король.

Кмициц рассказал все, как было.

— Я ушам своим не верю! — сказал канцлер Корьшинский.

— Мосци-панове, — торжественно проговорил король, — мы не знали, кто стоит перед нами. Жива еще надежда, что не погибнет Речь Посполитая, пока у нее есть такие кавалеры и защитники.

— Это почти невероятно, — снова сказал канцлер. — Скажите, пан кавалер, как вы могли спасти свою жизнь после такого предприятия и как вы могли бежать из шведского лагеря?

— Взрыв оглушил меня, — сказал Кмициц, — и только на следующий день шведы нашли меня во рву близ окопа лежащим без чувств. Меня сейчас же судили, и Мюллер приговорил к смерти.

— И ты бежал?

— Некто Куклиновский выпросил меня у Мюллера, чтобы убить меня самому, ибо он мной был оскорблен смертельно...

— Это известный головорез и разбойник, мы здесь о нем слышали, — сказал каштелян Кшивинский. — Его полк стоит с Мюллером под Ченстоховой. Это правда!

— Этот Куклиновский был однажды в монастыре послом от Мюллера и частным образом уговаривал меня изменить нашим, когда я провожал его к воротам. Я ударил его по лицу и столкнул с горы ногой. За это он меня и возненавидел!

— Да ты, вижу, из огня и серы, шляхтич! — весело сказал король. — Тебе поперек дороги не становись!.. Значит, Мюллер отдал тебя Куклиновскому.

— Точно так, ваше величество. Он заперся со мной и с несколькими людьми в пустом амбаре... Там привязал меня к балке, стал мучить и прижег мне бок огнем.

— Господи боже!

— Но в это время его позвали к Мюллеру, а в амбар пришли три шляхтича, некие Кемличи, его солдаты, которые раньше служили у меня. Они убили стражу и отвязали меня от балки!

— И вы бежали? Теперь понимаю! — сказал король.

— Нет, ваше величество. Мы подождали возвращения Куклиновского. Тогда я велел привязать его к той же балке и тоже прижег ему бок огнем.

Сказав это, пан Кмициц, разгоряченный воспоминаниями, снова покраснел, и глаза у него заблестели, как у волка.

Но король, который легко переходил от грусти к веселью, от серьезности к шуткам, захлопал в ладоши и воскликнул со смехом:

— Так ему и надо, так ему и надо! Ничего лучшего этот изменник не заслужил!

— Я оставил его живого, — ответил Кмициц, — но к утру он, должно быть, умер.
— Вот штучка, никому спуска не дает! Побольше бы нам таких! — воскликнул король уже совсем весело. — А сам ты с этими солдатами приехал сюда. Как их зовут?

— Кемличи; отец и два сына.

— Моя мать урожденная Кемлич, — сказал канцлер королевы, Выджга.

— Значит, есть Кемличи большие и маленькие, — весело ответил Кмициц, — а эти не только маленькие, но и шельмы, хотя солдаты, каких мало, и мне верны.

Между тем канцлер Корицинский что-то шептал на ухо архиепископу гнезненскому и наконец сказал:

— Сюда приезжает много таких, которые рассказывают нам всякие небылицы про себя, лишь бы похвастать или добиться какой-нибудь награды. Часто они привозят сюда неверные известия, а иногда даже по поручению неприятеля.

Это замечание обдало холодом всех присутствующих. Лицо Кмицица побагровело.

— Я не знаю вашего сана, вельможный пане, — ответил он, — но полагаю, что сан это не малый, а потому оскорблять вас не хочу, но думаю, что нет такого сана, который позволял бы без достаточных оснований упрекать шляхтича во лжи.

— Опомнись, ты говоришь с великим канцлером коронным! — сказал пан Луговский.

Кмициц вспылал:

— Кто упрекает меня во лжи, тому, будь он хоть канцлером, я скажу: легче во лжи упрекать, чем жизнью рисковать, легче печати ставить воском, чем кровью!..

Но пан Корицинский не рассердился нисколько и ответил:

— Я вас во лжи не упрекаю, пан кавалер, но если правда то, что вы говорите, то у вас должен быть сожжен бок?

— Так пожалуйста, ваша вельможность, куда-нибудь на сторону, и я вам покажу! — крикнул Кмициц.

— Не нужно, — сказал король, — мы тебе верим и так!

— Невозможно, ваше величество, — воскликнул пан Андрей, — я сам этого хочу, сам как о милости прошу, чтобы никто здесь, хотя бы самые первые сановники, не считали меня лжецом. Иначе плохо бы меня наградили за мои муки. Награды я не хочу, государь, но я хочу, чтобы мне верили, и пусть Фомы неверные вложат персты свои в мои раны.

— Я тебе верю! — сказал король.

— В его словах звучит правда, — прибавила Мария-Людвика, — а я в людях не ошибаюсь!

Но Кмициц скрестил руки.

— Ваше величество, позвольте. Пусть кто-нибудь пойдет со мной в другую комнату, иначе мне будет тяжело здесь жить, в подозрении.

— Я пойду, — сказал пан Тизенгауз, молодой придворный.

Сказав это, он отвел Кмицица в другую комнату и по дороге сказал ему:

— Я иду не потому, что не верю, я вам верю, но хочу с вами поговорить. Мы встречались где-то на Литве... Фамилии вашей я не могу вспомнить, быть может, я видел вас еще подростком и сам тогда еще был подростком.

Кмициц немного отвернул лицо, чтобы скрыть свое смущение.

— Быть может, на каком-нибудь сеймике. Мой родитель часто брал меня с собой, чтобы я присматривался к общественной жизни.

— Возможно... Лицо ваше мне знакомо, хотя у вас не было тогда вот этого шрама. Память обманчива, но мне все кажется, что вас тогда звали иначе?

— Память обманчива, — повторил пан Андрей.

И они вошли в другую комнату. Через несколько минут пан Тизенгауз вернулся к

королю.

— Весь бок подпален, — сказал он.

И когда вернулся Кмициц, король встал, обнял его за голову и сказал:

— Мы никогда не сомневались, что ты говоришь правду, и заслуги твои, как и муки, не останутся без награды.

— Мы должники твои, — прибавила королева, протягивая ему руку.

Пан Андрей опустился на одно колено и благоговейно поцеловал руку королевы, которая погладила его, как мать, по голове.

— А на пана канцлера ты не сердись, — снова проговорил король. — Правду говоря, немало здесь было изменников или хвастунов, а канцлер обязан всегда и во всем доискиваться правды.

— Что может значить гнев такого мальчишки, как я, для великого человека, — ответил пан Андрей. — Я не посмел бы даже сердиться на человека, который всем подает пример верности и любви к отчизне.

Канцлер дружелюбно улыбнулся и протянул ему руку.

— Ну, значит, мир! Вы тоже укололи меня, когда говорили насчет воска, но знайте и то, что Корицынские печати ставили не только воском, но и кровью...

Король совсем развеселился.

— Нравится нам этот Бабинич! — сказал он сенаторам. — Так он нам по сердцу пришелся, как никто. Мы тебя от нас не отпустим и, даст Бог, вместе вернемся в милую отчизну!

— Всемиловейший государь! — взволнованно воскликнул Кмициц. — Хотя я сидел взаперти в монастыре, но я знаю от шляхты, от войска, даже от тех, что служили под командой Зброжека и Куклиновского и монастырь осаждали, что все ждут не дождутся твоего возвращения. Покажись только, великий государь, и в тот же день вся Литва, Корона и Русь, как один человек, встанут тебе на защиту. Войска гетманов просто не дождутся дня, когда им можно будет ударить на шведов. Знаю я и то, что под Ченстохов приезжали депутаты от гетманских войск, чтобы уговорить Зброжека, Калинского и Куклиновского ударить на шведов. Ты только покажись, государь, на границе польской земли, и через месяц в Речи Посполитой не будет ни одного шведа, ты только покажись, ибо мы как овцы без пастыря.

Глаза Кмицица горели, когда он говорил, и такое волнение охватило его, что он опустился на колени посредине залы. Волнение его передалось и королеве, женщине неустрашимого мужества, которая давно уговаривала короля вернуться в страну.

И, обратившись к Яну Казимиру, она сказала с силой и решительностью:

— Голос всего народа я слышу в словах этого шляхтича.

— Да, да! Государыня... мать наша... — воскликнул Кмициц.

Но канцлера Корицынского и короля поразили некоторые слова Кмицица.

— Мы, конечно, — сказал король, — готовы пожертвовать здоровьем и жизнью нашей, мы только ждали, пока подданные наши исправятся.

— Они уже исправились, — сказала Мария-Людовика.

— Все это очень важные известия, — сказал архиепископ Лещинский, — значит, действительно под Ченстохов приходили делегации от гетманских войск.

— Я знаю это от моих людей, тех же Кемличей, — ответил пан Андрей. — У Зброжека и Калинского все говорили об этом вслух, не обращая никакого внимания на Мюллера и шведов. Кемличи эти взаперти не сидели и сносились со шляхтой и солдатами. Я мог бы их привести пред лицо короля, чтобы они сами рассказали, какое брожение поднялось в стране. Гетманы только из необходимости соединились со шведами, ибо их войска злой дух попутал, а теперь те же войска хотят вернуться к своему долгу. Шведы избивают шляхту и духовенство, грабят, издеваются над прежней свободой, потому и не странно, что все только кулаки сжимают и хватаются за сабли.

— Были и у нас известия от войск, — сказал король, — были и здесь тайные гонцы, которые сообщали нам, что все в стране хотят вернуться на путь верности прежнему государю.

— И все это совпадает с тем, что говорит этот кавалер, — сказал канцлер. — А если депутации отправляются к отдельным полкам, то это очень важно, ибо это значит, что плод уже созрел, что наши старания не пропали даром и что время уже пришло...

— А Конецпольский, — спросил король, — и многие другие, которые до сих пор еще стоят на стороне шведов и клянутся им в своей верности?

Все замолчали, лицо короля подернулось вдруг тенью, и он продолжал:

— Бог видит сердце наше: мы готовы хоть сегодня выступить, и не шведское могущество удерживает нас, но несчастное непостоянство этого народа, который, как Протей, вечно меняет свою личину. Можем ли мы верить, что это превращение в народе искренне, что желание и готовность служить нам не таит в себе коварства? Можем ли мы верить народу, который недавно покинул нас и с легким сердцем соединился с врагом против собственного государя, против отчизны, против свободы? Боль сжимает нам сердце, и стыдно нам за наших подданных. Где в истории найдем мы подобный пример? Какой король испытал на себе столько измены и нерасположения, какой король был покинут так жестоко? Вспомните, Панове, что среди нашего войска, среди тех, которые кровь свою должны были проливать за нас, мы не были не только в безопасности, но даже — страшно сказать! — не могли ручаться за собственную жизнь. И если мы покинули пределы нашей отчизны, то не из боязни перед шведами, а лишь для того, чтобы охранить собственных подданных, собственных детей от страшного преступления — цареубийства.

— Всемиловитейший государь, — воскликнул Кмициц, — тяжело провинился наш народ, грешен он, и справедливо карает его десница Господня, но в народе этом не может найтись человек, который дерзнул бы поднять свою руку на священную особу помазанника Божьего.

— Ты этому не веришь, ибо ты честный человек, — сказал король, — но у нас есть письма и доказательства. Черной неблагодарностью отплатили нам Радзивиллы за все благодеяния, которыми мы их осыпали, но у Богуслава, хотя он изменник, проснулось сердце, и он не только не хотел участвовать в покушении, но первый нам о нем донес.

— В каком покушении? — изумленно воскликнул Кмициц.

— Он донес нам, — сказал король, — что нашелся человек, который предложил ему за сто червонцев схватить нас и живого или мертвого доставить шведам.

Все заволновались при этих словах короля, а пан Кмициц едва смог выговорить:

— Кто это такой? Кто это?

— Некто Кмициц! — ответил король.

Волна крови ударила пану Андрею в голову, в глазах у него потемнело, он схватился руками за волосы и крикнул страшным, безумным голосом:

— Это ложь! Князь Богуслав лжет, как пес! Государь, господин мой, не верь этому изменнику! Он нарочно это сделал, чтобы оклеветать своего врага, а тебя испугать, государь!.. Это изменник! Кмициц не пошел бы на такое дело!

Вдруг пан Андрей пошатнулся на месте. Силы его, изнуренные осадой и теми мучениями, которые он должен был вынести от Куклиновского, покинули его совершенно, и он без сознания упал к ногам короля.

Его подняли, и королевский медик стал приводить его в чувство в соседней комнате. Собравшиеся не могли объяснить себе, почему слова короля произвели такое страшное впечатление на молодого шляхтича.

— Или он настолько порядочен, что одно упоминание об этом покушении свалило его с ног, или же это какой-нибудь родственник Кмицица, — сказал пан

каштелян краковский.

— Надо будет его об этом расспросить, — ответил канцлер Корицинский. — Они ведь на Литве все друг другу родня, как, впрочем, и у нас.

Вдруг заговорил пан Тизенгауз:

— Государь! Да хранит меня Бог, если я хочу сказать что-нибудь плохое об этом шляхтиче, но не надо ему слишком верить... Он служил в Ченстохове, это несомненно... у него сожжен бок, а монахи этого никогда не сделали бы, ибо они слуги Божьи и должны иметь сострадание даже к пленникам и изменникам; но есть одна вещь, которая не позволяет мне ему верить... Я встретил его когда-то на Литве... я был еще подростком... Может быть, на сеймике, не помню...

— Ну и что? — спросил король.

— И он... все мне кажется... назывался тогда не Бабинич.

— Не говори пустяков! — сказал король. — Ты молод и недостаточно внимателен, а потому легко мог перепутать. Бабинич или не Бабинич, почему мне ему не верить? Искренность и правда написаны у него на лице, а сердце, это сразу видно, у него золотое. Я бы должен был самому себе не верить, если бы не верил такому солдату, который кровь проливал за нас и отчизну.

— Он заслуживает больше доверия, чем письмо князя Богуслава, — сказала вдруг королева, — я прошу вас обратить внимание, что в этом письме, может быть, нет ни слова правды. Радзивиллам могло бы быть очень на руку, если бы мы совсем упали духом, и легко можно предположить, что князь Богуслав хотел погубить какого-нибудь своего врага и оставить для себя лазейку в случае какой-нибудь перемены в судьбе.

— Если бы я не привык к тому, — сказал примас, — что из уст вашего величества исходит сама мудрость, я бы изумился глубине этих слов, достойных самого тонкого политика.

Ободренная этими словами, королева встала с кресла и продолжала:

— Тут дело не в Радзивиллах, ибо они, как еретики, легко могли послушаться наущений врага рода человеческого, и не в письме, которое могло быть вызвано личными мотивами. Больнее всего для меня ужасные слова короля, государя и супруга моего, против его народа. Ибо кто пошалит его, если собственный государь осудил его безнадежно? А ведь, когда я смотрю по сторонам, я тщетно задаю себе вопрос: где найти еще другой такой народ, в котором искони живет благочестие и приумножается слава Господня?.. Где найти народ, в котором столько чистоты сердечной, где государство, в котором никто бы не слышал о страшных преступлениях, коими полны хроники иноземных народов?.. Пусть покажут мне люди, сведущие в мировой истории, другое такое королевство, где бы все короли умирали спокойной, естественной смертью. У нас нет ножей и ядов, нет фаворитов, как у англичан! Правда, государь, тяжко провинился этот народ, согрешил по легкомыслию, своему и своеволию... Но где народ, который никогда бы не заблуждался, и где народ, который так скоро мог бы сознаться в своей вине, раскаяться и исправиться?.. Вот, они опомнились уже, они приходят, сокрушенно ударяя себя в грудь, к особе вашего величества — они готовы кровь свою пролить, жизнь свою, имущество свое отдать за вас! И неужели вы оттолкнете их, неужели не простите, неужели не поверите их раскаянию и исправлению? Неужели не вернете отеческой любви детям, которые согрешили перед вами? Поверьте им, ваше величество, они уже тоскуют по вас, потому что Ягеллонов, тоскуют по вашему отеческому правлению. Поезжайте к ним!.. Я, женщина, не боюсь измены, ибо вижу любовь, вижу раскаяние, вижу возрождение королевства, коим управлял ваш родитель и ваш брат! И невероятным кажется мне, чтобы Господь обрек гибели столь великую Речь Посполитую, где горит светильник истинной веры! Бог послал лишь временные испытания, но не гибель детям своим, и вскоре он утешит и успокоит их, по неизреченной благодати своей! И

вы не отвергайте их, государь, и доверьтесь их сыновним чувствам без страха, ибо только этим путем зло может превратиться в добро, огорчения — в радость, бедствия — в ликование.

Сказав это, королева опустилась на свое место, с огнем во взоре и вздымающейся грудью; все смотрели на нее с восторгом.

Героический подъем королевы сообщился всем. Король с порозовевшим лицом вскочил и воскликнул:

— Я не потерял еще королевства, пока у меня есть такая королева! Пусть же совершится ее воля, ибо она говорила в пророческом вдохновении! Чем скорее я выступлю и стану на границе Речи Посполитой, тем будет лучше.

На это примас ответил серьезно:

— Я не хочу противиться воле ваших величеств, не хочу и отговаривать от этого предприятия, которое, несмотря на весь свой риск, может быть спасительным. Но во всяком случае я считал бы целесообразным еще раз созвать совет в Ополе, где пребывает большинство сенаторов, и выслушать их мнения, которые дадут нам возможность еще тщательнее обдумать все дело.

— Итак, в Ополе! — воскликнул король. — Потом в поход, а там что Бог даст!

— Бог даст счастливое возвращение и победу! — сказала королева.

— Аминь! — сказал примас.

XXII

Пан Андрей метался в своей комнате, как раненый зверь. Адская месть Богуслава Радзивилла доводила его до безумия. Мало того что князь вырвался из его рук, перебил его людей, чуть не убил его самого — он покрыл его таким позором, какого не знал еще ни один поляк от Сотворения мира.

И были минуты, когда Кмициц хотел отказаться от всего: от славы, которая перед ним раскрывалась, от королевской службы — и мчаться отомстить этому магнату, которого он готов был съесть живьем.

Но, с другой стороны, несмотря на все его бешенство и хаос мыслей, ему не раз приходило в голову, что, пока князь жив, месть не уйдет и что лучший, единственный путь обличить всю ложность и бессовестность его обвинений — это оставаться на королевской службе, ибо, служа королю, он мог Доказать всем, что не только не намеревался поднять руку на священную особу короля, но что из всей коронной и литовской шляхты у короля нет более верного слуги, чем Кмициц.

Но все же он скрежетал зубами, рвал на себе одежду и долго, долго не мог успокоиться. Он наслаждался мыслями о мести. Снова видел князя у себя в руках; клялся памятью отца, что он должен его схватить, хотя бы за это его ожидали муки и смерть! И хотя князь Богуслав был магнатом настолько могущественным, что его нелегко могла постигнуть месть не только простого шляхтича, но и самого короля, все же, если бы он лучше знал необузданную натуру Кмицица, он не мог бы спать спокойно и не раз бы вздрагивал от страшных клятв Кмицица.

Но ведь пан Андрей еще не знал, что князь не только покрыл его позором, не только вырвал у него славу!

Между тем король, который сразу полюбил молодого героя, в тот же день прислал за ним пана Луговского и велел Кмицицу на завтрашний день ехать вместе с ним в Ополе, где на общем собрании сенаторов должен был решиться вопрос о возвращении короля на родину.

И действительно, было о чем подумать: пан маршал коронный прислал второе письмо, в котором сообщал, что все в стране готово к всеобщему восстанию, и умолял короля возвращаться как можно скорее. Кроме того, распространился слух о каком-то союзе шляхты с войском, имевшем целью защиту короля и отчизны; об этом

союзе уже давно подумывали в стране, и он действительно был заключен несколько позднее, под именем Тышовецкой конфедерации.

Но пока все были чрезвычайно заинтересованы этими известиями, и сейчас же после торжественной обедни состоялось таинственное совещание, на котором король разрешил присутствовать Кмицицу, как привезшему известия из Ченстохова.

На обсуждение был поставлен вопрос, должно ли возвращение состояться немедленно, или лучше подождать момента, когда войска не только на словах, но и на деле покинут шведов.

Ян Казимир положил конец прениям, сказав следующее:

— Вам надлежит совещаться не о возвращении, панове, и не о том, не лучше ли это возвращение отложить, ибо я о том испросил уже совета у Господа Бога и Пресвятой Девы. И вот заявляю вам, что, что бы нас ни ожидало, на этих же днях мы твердо решили выступить в поход. Вам же надлежит обдумать, как осуществить это возвращение возможно скорее и возможно безопаснее.

Мнения разошлись. Одни говорили, что нельзя слишком доверять пану маршалу коронному, который однажды проявил уже колебание и непослушание королю, когда, вместо того чтобы отправить королевскую корону на сохранение императору австрийскому, он увез ее в Любомлю. «Велика, — говорили, — гордость и самонадеянность этого пана, и, когда в его замке будет находиться король, бог весть что он сделает, чего потребует за свои услуги, и не захочет ли он взять в свои руки всю власть, чтобы во всем быть первым и явиться покровителем не только отчизны, но и его королевского величества».

Другие советовали, чтобы король дождался отступления шведов и отправился в Ченстохов, как в место, откуда на всю страну снизошла благодать и возрождение. Но многие с ними не соглашались.

«Шведы еще стоят под Ченстоховом, и хотя, с Божьей помощью, не возьмут его, но все же дороги еще не свободны. Все окрестности в руках шведов. Неприятель занял Кшепицы, Велюнь, Краков, на границе также стоят значительные шведские силы. А в горах, на венгерской границе, неподалеку от Любомли, других войск, кроме войск маршала, нет, и неприятель никогда туда не заходил, так как у него для этого не хватает ни людей, ни смелости. От Любомли недалеко до Львова, который не нарушил верности королю. Судя по последним известиям, татары именно туда и идут на помощь королю и именно там будут ждать королевских приказаний».

— Что же касается пана маршала, — говорил епископ краковский, — его честолюбие будет удовлетворено уже тем, что он первый примет короля в своем старостве и первый возьмет его под свое попечение. Власть останется у короля, а пан маршал будет удовлетворен сознанием одних этих услуг; если же он захочет превзойти всех верностью королю, то будет ли вытекать эта верность из его тщеславия или из любви к государю и к отчизне, — все же она может принести его величеству огромную пользу.

Мнение почтенного и опытного епископа показалось всем наиболее правильным; было решено, что король проберется через горы в Любомлю, а оттуда во Львов или в другое место, смотря по обстоятельствам.

Был также поднят вопрос и о дне возвращения, но воевода ленчицкий, только что вернувшийся от императора, к которому был выслан с просьбой о помощи, заметил, что лучше не назначать точного срока и предоставить самому королю его выбрать, главным образом, для того, чтобы это известие не могло распространиться и чтобы неприятель не был о нем уведомлен. Было решено, что король выступит с тремястами отборных драгун, под командой пана Тизенгауза, человека молодого, но слывшего уже прекрасным солдатом.

Но важнее была вторая часть совещания: единогласно было принято решение, что, как только король прибудет в страну, вся власть и общее руководство войной

перейдет в его руки, и шляхта, войско и гетманы во всем должны будут ему повиноваться. Говорили о прошлом, доискивались причин тех внезапных несчастий, которые, как потоп, в короткое время залили всю страну. И сам примас был согласен, что слабость власти, непослушание, недостаток уважения к власти и величию короля были этому причиной.

Его слушали в глубоком молчании, ибо каждый понимал, что примас затронул вопрос о судьбах Речи Посполитой и о великих, небывалых доселе переменах в ее устройстве, которые могли бы вернуть ее давнюю мощь и которых издавна желала мудрая и любящая отчизну королева. И из уст князя Церкви вырывались слова, подобные грому, и души слушателей раскрывались, как раскрываются цветы на солнце.

— Я не старопольскую свободу осуждаю, — говорил примас, — но осуждаю своеволие, которое толкает в могилу нашу родину... Поистине в стране нашей давно уже забыли разницу между свободой и своеволием, и как излишек наслаждений кончается болезнью, так необузданная свобода кончается неволей. До какого же безумия дошли граждане великолепной Речи Посполитой, если они считают защитником свободы только того, кто поднимает бунты, срывает сеймы, противится воле короля, и не тогда, когда нужно, а когда король озабочен спасением отчизны! В казне нашей пусто, солдатам платить нечем, и они ищут службы у неприятеля; сеймы, единственная основа этой Речи Посполитой, расходятся ни с чем, ибо один злой человек, один гражданин, чтобы свести личные счета, может сорвать сейм. Какая же это свобода, которая позволяет одному держать в своих руках всех?! И куда мы зашли, пользуясь этой свободой, и какие же плоды она сама произвела?! Вот — один слабый неприятель, над которым предки наши одержали столько блестящих побед, теперь *sicut fulgur exit ab occidente et paret usque ad orientem*³⁴. Никто не оказал ему сопротивления. Еретики-изменники помогли ему, он всем завладел, преследует веру, оскверняет храмы, и, когда вы говорите ему о ваших свободах, он показывает вам обнаженный меч. Вот к чему привели вас ваши сеймики, ваше «veto», ваше своеволие, ваше постоянное сопротивление власти! Короля, прирожденного защитника отчизны, вы сначала сделали бессильным, а потом роптали на него, что он вас не защищает. Вы не хотели знать над собой правительства, и теперь неприятель управляет вами. И кто, спрашиваю я вас, может спасти отчизну от упадка, кто может вернуть Речи Посполитой ее прежний блеск, как не тот, кто столько сил и здоровья посвятил уже ей, когда ее терзала несчастная война с казаками; кто подвергал священную особу свою таким опасностям, каких не знал ни один монарх в наше время; кто под Зборовом, под Берестечком, под Жванцем бился, как простой солдат, перенося все труды и невзгоды, которых не должен знать король... В его руки мы должны вручить нашу участь и, по примеру древних римлян, дать ему диктаторскую власть. А сами мы должны думать, как нам спасти отчизну от внутреннего неприятеля: от разврата, своеволия, беспорядков и безнаказанности, — как нам вернуть надлежащее значение правительству и королю...

Так говорил примас. А несчастья и опыт последних лет настолько переродили слушателей, что никто не протестовал, ибо все видели, что власть короля должна быть усилена, иначе Речь Посполитую ждет неминуемая гибель. Начались прения о том, как лучше всего осуществить советы примаса, — королевская чета слушала их с радостью, особенно же королева, которая давно уже работала над водворением порядка в Речи Посполитой.

Король возвращался в Глогову веселый и довольный и, пригласив в свою квартиру нескольких офицеров, в их числе и Кмицица, сказал:

³⁴ Подобно молнии появляется на западе и непрестанно стремится на восток (*лат.*).

— Я спешу, мне не сидится здесь, в этой земле, мне хотелось бы тронуться в путь хоть завтра... Вот я и пригласил вас, чтобы вы, как военные и люди опытные, дали мне какой-нибудь совет. Мне жаль терять время, раз я знаю, что мое присутствие может значительно ускорить всеобщее восстание!

— Конечно, — сказал пан Луговский, — если такова воля вашего величества, то к чему медлить. Чем скорее, тем лучше!

— Надо пользоваться тем временем, пока неприятель не проведаёт об этом и не удвоит свою бдительность, — прибавил полковник Вольф.

— Неприятель принял меры предосторожности и по возможности занял все дороги, — сказал Кмициц.

— Как так? — спросил король.

— Государь, ваше намерение вернуться — для шведов не новость. Чуть не каждый день по всей Речи Посполитой проходит слух, что ваше величество уже в пути или же на границе. Поэтому надо соблюдать величайшую осторожность и пробраться тайком, ущельями, так как дороги заняты отрядами Дугласа.

— Самая лучшая осторожность, — сказал, глядя на Кмицица, пан Тизенгауз, — это триста верных солдат, и если государь поручил мне команду над ними, то я проведу его невредимым и по трупам Дугласовых отрядов.

— Вы проведёте, если наткнётесь не более чем на триста, на шестьсот или на тысячу людей, но если вы встретите большие силы, которые вам устроят засаду, что будет тогда?

— Я сказал: триста, — ответил Тизенгауз, — ибо мы пока говорили о трехстах. Если этого мало, то можно будет достать пятьсот и больше.

— Боже сохрани! Чем больше отряд, тем больше слухов о нем будет! — сказал Кмициц.

— Но ведь я думаю, что маршал коронный поспешит нам навстречу со своими полками? — заметил король.

— Пан маршал не поспешит, — ответил Кмициц, — так как он не будет знать ни дня, ни часа, а если бы и знал, то по дороге могут случиться какие-нибудь препятствия, ибо трудно все предвидеть...

— Это говорит солдат, настоящий солдат! — сказал король. — Я вижу, что для тебя война не новость.

Кмиции улыбнулся, так как вспомнил свои походы на Хованского. Кто лучше его знал такие дела! Кому, как не ему, можно было бы поручить провести короля!

Но пан Тизенгауз, по-видимому, был другого мнения, чем король, так как он наморщил брови и, криво улыбнувшись, обратился к Кмицицу:

— Мы ждем вашего опытного совета.

Кмициц почувствовал злобу в этом вопросе и, уставившись глазами на Тизенгауза, ответил:

— Мое мнение, что чем меньше будет отряд, тем легче будет проскользнуть.

— Но как же это сделать?

— Государь, — ответил Кмициц, — вы можете сделать как вам будет угодно, но мне мой разум подсказывает следующее: пусть пан Тизенгауз отправится вперед с драгунами, распустив умышленно слух, что он сопровождает короля, чтобы привлечь к себе неприятеля. Уж его дело справляться так, чтобы выйти невредимым из этого предприятия. А мы, в числе нескольких человек, отправимся через день или через два, и, когда внимание неприятеля будет направлено уже в другую сторону, нам легко будет пробраться в Любомлю.

Король в восторге захлопал в ладоши.

— Сам Бог послал нам этого солдата! — воскликнул он. — И Соломон не придумал бы ничего лучше. Я совершенно согласен с его мнением, и иначе быть не может. Короля будут ловить среди драгун, а король проскользнет у них под носом.

Ничего лучше и быть не может!

— Ваше величество, это шутка! — воскликнул Тизенгауз.

— Солдатская шутка! — ответил король. — Впрочем, будь что будет, я от этого плана не отступлю.

У Кмицица глаза загорелись от радости, что его мнение одержало верх, но Тизенгауз вскочил с места.

— Ваше величество, — воскликнул он, — я отказываюсь от команды над драгунами! Пусть их ведет кто-нибудь другой!

— Это еще почему? — спросил король.

— Ибо если вы поедете без конвоя, государь, отдаваясь на волю судьбы, подвергая себя всем опасностям, которые могут случиться, то я хочу быть при вас, защищать вас грудью и в случае нужды умереть.

— Я благодарю тебя за искреннее желание, — ответил Ян Казимир, — но ты успокойся, ибо, поступая именно так, как советует пан Бабинич, мы скорее всего будем в безопасности.

— То, что советует пан... Бабинич... или как его там зовут, — пусть он возьмет на собственную ответственность. Может быть, ему и нужно, чтобы ваше величество забрели в горы и оставались там без всякой защиты... Я беру Бога и всех здесь присутствующих в свидетели того, что от всей души отговаривал.

Не успел он закончить, как Кмициц вскочил и, остановившись перед паном Тизенгаузом лицом к лицу, спросил:

— Что вы понимаете под этим, ваша милость?

Но Тизенгауз высокомерно смерил его глазами с ног до головы.

— Эй, потише, панок, я вам не ровня!

Кмициц с молниями в глазах ответил:

— Не знаю, кто кому был бы не ровня, если б не...

— Что — если б не?... — спросил, глядя ему пристально в глаза, Тизенгауз.

— Я и не с такими, как вы, сталкивался!

— Замолчите, — сказал вдруг король, наморщив брови, — не поднимайте ссоры.

В Яне Казимире было столько величия, что оба молодых человека смущенно замолчали, вспомнив, что они стоят перед королем. А король сказал:

— Никто не должен считать себя выше этого кавалера, который взорвал шведское орудие и вырвался из неприятельских рук, даже если бы он был мелкий шляхтич, хотя, по-видимому, это не так, ибо птица видна по полету, а человек по поступкам. Бросьте ссориться! — Тут король обратился к Тизенгаузу: — Если хочешь, ты можешь оставаться с нами, запретить тебе этого я не могу. Драгун поведет Вольф или Денгоф. Но с нами будет и Бабинич, и мы последуем его совету, так как он пришелся нам по сердцу.

— Я умываю руки, — сказал Тизенгауз.

— Но держите все в тайне! Драгуны пусть сегодня выйдут, и сегодня же нужно пустить слух, что и мы находимся среди них... Будьте наготове, потому что неизвестно, когда мы выступим... Тизенгауз, иди и дай приказ ротмистру драгун.

Тизенгауз вышел, заломив руки от гнева и скорби, за ним разошлись и другие офицеры.

В тот же день по всей Глогове распространился слух, что король Ян Казимир уже отправился к границам Речи Посполитой. Многие, даже сенаторы, думали, что отъезд действительно состоялся. Умышленно высланные гонцы повезли это известие в Ополье и в пограничные горы.

Тизенгауз хотя он и заявил, что умывает руки, но не сдался; как приближенный короля, он имел постоянный доступ к особе монарха, и в тот же день, лишь только драгуны выступили, он стоял уже перед королем или, вернее, перед королевской

четой, так как здесь же была и Мария-Людвика.

— Я пришел за приказаниями, — сказал он, — когда мы выступаем?

— Послезавтра утром, — сказал король.

— Кто с нами едет?

— Поедешь ты, Бабинич, Луговский с солдатами. Поедет также и пан каштелян сандомирский; я просил его взять как можно меньше людей с собой, но все же человек десять придется взять; это надежные и бывалые солдаты. Даже нунций хочет нас сопровождать, его присутствие придаст торжественности делу и взволнует всех, преданных церкви. Ты смотри, чтобы было не больше сорока человек, как советовал Бабинич.

— Государь... — начал Тизенгауз.

— Чего тебе еще?

— Я на коленях буду просить об одной милости. Свершилось... драгуны ушли, мы поедем без охраны, и первый попавшийся отряд в несколько десятков человек может нас захватить. Внемлите, ваше величество, мольбам своего слуги, верность которого видит Бог: не доверяйте во всем этому шляхтичу. Он человек очень ловкий, если в такое короткое время успел снискать к себе расположение вашего величества, но...

— Да ты ему завидуешь, что ли? — сказал король.

— Я ему не завидую, государь, я даже не могу подозревать его в измене, но я готов поклясться, что его зовут не Бабинич. Почему он скрывает свое настоящее имя? Почему он так неохотно говорит о том, что делал до осады Ченстохова? Почему он так настаивал, чтобы драгуны ушли вперед и чтобы вы, ваше величество, ехали без охраны?

Король задумался и стал по своей привычке надувать губы.

— Если бы тут было какое-нибудь соглашение со шведами, — сказал он наконец, — то что значит триста драгун? Какая же это сила, какая защита? Бабиничу достаточно было бы дать знать шведам, чтобы они могли поймать нас, как в капкан. Ты только подумай, может ли тут быть речь об измене? Прежде всего он должен был бы знать день и час отъезда, чтобы иметь время предупредить шведов в Кракове, как же он это может сделать, если мы выступаем послезавтра? Он точно так же не мог предугадать, что мы последуем его совету, так как мы могли бы сделать так, как советовал ты или другие. Если бы он был в заговоре со шведами, то, раз уже было решено, что мы выступаем вместе с драгунами, это бы и разрушило все его планы, и ему пришлось бы высылать новых гонцов и предупредить. Все это несомненно! Наконец, он совсем не настаивал на своем мнении, как это говоришь ты, он просто высказал то, что казалось ему наилучшим. Нет, нет... Искренностью дышит его лицо, а сожженный бок говорит нам о том, что он и мучений не боится.

— Вы правы, ваше величество, — сказала вдруг королева, — все это несомненно, и совет был и есть хорош!

Тизенгауз знал по собственному опыту, что достаточно было королеве высказать свое мнение, чтобы король не слушал уже никаких возражений: так верил Ян Казимир в гибкость ее ума. Тизенгауз был озабочен только тем, чтобы король принял меры предосторожности.

— Не мое дело спорить с вашими величествами. Но если мы выступаем послезавтра, то пусть Бабинич узнает об этом только в час отъезда.

— Это возможно, — ответил король.

— А в дороге я не буду спускать с него глаз, и если, не дай бог, что-нибудь случится, он живым из моих рук не выйдет.

— Это будет излишним, — сказала королева. — Послушайте: короля от всяких несчастий, измен и силков неприятеля будете охранять не вы, не Бабинич, не драгуны, а промысел Божий, под защитой коего и находятся пастыри народов и

помазанники. Он его и защитит, и, в случае чего, пошлет ему такую помощь, о которой вы, думающие только о земных силах, и подозревать не можете.

— Ваше величество, — ответил Тизенгауз, — и я верю, что без воли Божьей и волос не упадет с головы человека, и если я боюсь изменников из заботливости к особе государя, то это не грех.

Мария-Людвика милостиво улыбнулась.

— Но вы слишком поспешили его заподозрить и тем самым бросили подозрение на весь народ, а среди него, это говорил сам Бабинич, еще не нашелся такой человек, который дерзнул бы поднять руку на собственного короля. Пусть вам не покажется странным, что после того, как все покинули короля, нарушили присягу, я все же говорю, что на такое страшное дело не решился бы никто, даже из тех, которые еще и сегодня служат шведам.

— А письмо князя Богуслава, ваше величество?

— В письме этом — ложь, — решительно сказала королева. — Если есть в Речи Посполитой человек, готовый предать своего короля, то, быть может, это один только он, ибо он лишь по имени принадлежит к нашему народу.

— Короче говоря, не подозревай Бабинича, — сказал король, — что же касается его имени, то ты мог спутать. Можно будет, впрочем, расспросить его, но только как ему это сказать?.. Если спросить его: «Тебя зовут не Бабинич, как твое настоящее имя?» — такой вопрос может очень оскорбить честного человека, а я головою ручаюсь, что он человек честный.

— Мне не хочется только убеждаться в его честности такой ценой, ваше величество!

— Ну хорошо, хорошо! Мы благодарны тебе за заботливость. Завтрашний день мы отдадим молитве и покаянию, а послезавтра в путь!

Тизенгауз вздохнул и ушел и в тот же день, соблюдая полнейшую тайну, стал делать приготовления к отъезду. Даже сановники, которые должны были сопровождать короля, не все были предупреждены относительно срока. Прислуге было сказано только, чтобы лошади были готовы, так как со дня на день можно ждать отъезда.

Король весь следующий день нигде не показывался, не был даже в костеле; он до поздней ночи пролежал ниц перед распятием, умоляя Царя царей послать помощь ему и Речи Посполитой.

Мария-Людвика также молилась вместе с фрейлинами.

Когда в темноте раздался звон колокола, сзывавший к заутрене, час отъезда пробил.

XXIII

В Ратиборе остановились, только чтобы покормить лошадей. Никто короля не узнал, никто не обратил даже внимания на отряд, так как все были заняты недавно прошедшим отрядом драгун, среди которых, все были убеждены, находился польский монарх. Но отряд все же состоял из пятидесяти с лишним человек, так как короля сопровождали несколько сановников, пять епископов и даже нунций, который решился отправиться в этот опасный путь. Дорога в Силезии была пока совершенно безопасна. Близ Одерберга, недалеко от впадения Ольши в Одер, отряд вступил в пределы Моравии.

День был пасмурный, и шел такой густой снег, что в нескольких шагах ничего не было видно. Но король был весел и бодр, так как случилось одно маленькое происшествие, которое все приняли за счастливое предзнаменование и которое современные историки внесли даже в хронику. В ту минуту, когда король выступал из Глоговы, перед его лошадью появилась вдруг белая птичка и стала кружиться вокруг

монарха, то взвиваясь вверх, то опускаясь почти на самую его голову — радостно чирикала и щебетала. Все вспомнили, что такая же птица, но только черная, кружилась над королем, когда он выступал из Варшавы, спасаясь от шведов.

А эта белая птичка необыкновенно напоминала ласточку; это обстоятельство вызвало тем большее удивление, что стояла еще глубокая зима и ласточки не могли еще и думать о возвращении. Все этому обрадовались, а король в течение первых дней ни о чем другом не мог говорить и утверждал, что его ожидает самое счастливое будущее.

Почти в самом начале пути выяснилось, насколько хорош был совет Кмицица ехать порознь. Повсюду в Моравии рассказывали о недавнем проезде польского короля. Некоторые утверждали, что видели его собственными глазами, закованного в броню, с мечом в руке и с короной на голове. Ходили самые разнообразные слухи и о численности того отряда, который вел с собой король, и число драгун достигало сказочных размеров.

Были и такие, которые видели десять тысяч всадников и не могли дожждаться конца проходившим рядам.

— Конечно, — говорили люди, — шведы выйдут им навстречу, но справятся ли они с такими силами, неизвестно.

— Ну что, — спросил король Тизенгауза, — разве не прав был Бабинич?

— Мы еще не в Любомле, ваше величество, — отвечал молодой магнат. Бабинич был доволен собой и путешествием. Вместе с тремя Кемличами он обычно держался впереди королевского отряда, наблюдая, свободен ли путь; порой он ехал вместе со всеми, забавляя короля рассказами об отдельных эпизодах осады Ченстохова, и Ян Казимир не мог их вдоволь наслушаться. С каждым часом королю все больше нравился этот веселый, храбрый человек, похожий на молодого орла. Остальное время король проводил в молитвах, в набожных размышлениях о вечной жизни, в разговорах о будущей войне, о помощи, которой он ждал от императора; порой он смотрел на рыцарские забавы, которыми сопровождавшие короля солдаты старались его развлечь и сократить время. Особенностью Яна Казимира было то, что он скоро переходил от серьезности к шуткам, от тяжелого труда к развлечениям, которым отдавался всей душой, точно никогда не знал ни забот, ни печалей. И солдаты показывали, что умели: молодые Кемличи, Козьма и Дамьян, забавляли короля своими огромными, нескладными фигурами, ломали подковы как соломинку — и он велел им платить за каждую подкову по талеру, хотя в королевской казне было пусто, так как все деньги и все драгоценности ушли на собиранье войска.

Пан Андрей отличался метанием тяжелого топора, который он бросал вверх с такой силой, что топор почти исчезал из глаз, а он потом ловил его на лету за рукоятку. Король при виде этого даже хлопал в ладоши.

— Я видел, — говорил он, — как пан Слушка, шурин канцлера, делал нечто в этом роде, но он никогда не бросал так высоко.

— У нас, на Литве, это дело привычное, — отвечал пан Андрей, — а если человек с детства упражняется, так у него уж навык есть.

— Откуда у тебя этот шрам на лице? — спросил однажды король, указывая на рубец Кмицица. — Тебя, верно, кто-то саблей ударил.

— Это не от сабли, ваше величество, от пули. В меня выстрелили в упор.

— Неприятель или свой?

— Свой, но он для меня хуже неприятеля. Я еще с ним сведу счеты, и, пока это еще не случилось, мне рассказывать об этом нельзя.

— Такая у тебя злоба на него за это?

— Не за это, ваше величество! Ведь вот у меня на лбу еще более глубокий рубец от сабли — тогда я чуть жизнью не поплатился, но ранил меня честный человек, и я на него не в обиде.

Сказав это, Кмициц снял шапку и показал королю глубокий шрам с белыми краями.

— Я этой раны не стыжусь, — сказал он, — она нанесена мне рукой такого мастера, какого нет в Речи Посполитой.

— Кто же этот мастер?

— Пан Володыевский.

— Боже мой, ведь я его знаю! Он под Збаражем отличался. А потом я был на свадьбе товарища его, пана Скшетуского, который привез мне первые вести из осажденного Збаража. Это знаменитые кавалеры! А был с ним и третий; все войско его славilo как самого храброго рыцаря. Толстый шляхтич и такой весельчак, что мы на свадьбе со смеху покатывались.

— Это пан Заглоба, я угадываю, — сказал Кмициц. — Человек не только храбрый, но еще и мастер на всякие выдумки.

— Что они теперь делают, ты не знаешь?

— Володыевский командовал драгунами князя-воеводы виленского. По лицу короля пробежала тень.

— И вместе с князем-воеводой служит теперь шведам?

— Он? Шведам? Он в войске пана Сапег. Сам я видел, что, когда обнаружилась измена князя-воеводы, он бросил ему булаву к ногам.

— Превосходный солдат, — сказал король, — у нас были известия от пана Сапег из Тыкоцина, где он осаждал князя-воеводу. Пошли ему Бог удачу! Если бы все были на него похожи, шведы давно бы уже раскаялись в своем предприятии.

Тизенгауз, который слышал весь этот разговор, спросил вдруг:

— Значит, вы были в Кейданах, у Радзивилла?

Кмициц немного смутился и стал подбрасывать свой топор.

— Был, — ответил он.

— Оставьте в покое ваш топор! — продолжал Тизенгауз. — А что вы делали при княжеском дворе?

— Я гостем был, — нетерпеливо ответил Кмициц, — и ел княжеский хлеб, пока он мне не опротивел после его измены.

— А почему вы вместе с другими солдатами не пошли к пану Сапеге?

— Я дал обет отправиться в Ченстохов, и это вы поймете тем легче, что наша Острая Брама была занята русскими.

Пан Тизенгауз стал покачивать головой, король обратил на это внимание и сам стал пристальнее разглядывать Кмицица.

А он нетерпеливо обратился к Тизенгаузу и сказал:

— Мосци-пане, почему же я вас не расспрашиваю, где вы были и что делали раньше?

— Расспрашивайте, — ответил Тизенгауз, — мне нечего скрывать!

— Я не перед судом стою, а если и стану когда-нибудь, то не вы будете моим судьей. Оставьте меня лучше, не то я терпение могу потерять!

Сказав это, он подбросил топор так высоко, что он исчез в вышине, король следил за ним глазами и уже ни о чем в эту минуту не думал, как только о том, поймает Бабиниц топор или не поймает.

Бабиниц пришпорил коня, подскочил и поймал.

В тот же день вечером Тизенгауз сказал королю:

— Ваше величество, мне этот шляхтич все меньше нравится...

— А мне все больше, — сказал, надувая губы, король.

— Я слышал сегодня, как один из его людей назвал его полковником, а он только взглянул на него грозно, и тот сразу замолчал. Тут что-то неладно!

— И мне тоже иногда кажется, — сказал король, — что он не хочет всего говорить, но это его дело.

— Ваше величество, — порывисто ответил Тизенгауз, — это не его дело, это дело наше, дело всей Речи Посполитой. Если он предатель, который готовит вашему величеству гибель или неволю, то вместе с вашим величеством погибнут все те, кто в эту минуту восстал с оружием в руках, погибнет вся Речь Посполитая, которую вы одни, ваше величество, можете спасти!

— Я его завтра же расспрошу.

— Дал бы Бог, чтобы я ошибся, но мне он что-то не нравится. Слишком он смел, слишком решителен, а такие люди на все способны.

Король задумался.

На следующий день утром, лишь только тронулись в путь, он подозвал к себе Кмицица.

— Где ты был полковником? — спросил вдруг король. Наступило минутное молчание.

Кмициц боролся сам с собой; его жгло желание соскочить с коня, упасть к ногам короля и, сказав всю правду, сразу сбросить с себя ту тяжесть, которая мучила его.

Но он с ужасом подумал, какое страшное впечатление должно произвести одно это имя: «Кмициц», особенно после письма князя Богуслава.

Как же он, некогда правая рука князя-воеводы виленского, он, который разбил непослушные ему полки, был соучастником в деле измены; он, которого заподозрили в страшнейшем преступлении: покушении на особу короля, — как же он убедит теперь короля, епископов и сенаторов, что он уже исправился, что он переродился и кровью смыл свои грехи? Чем он сможет доказать искренность своих намерений, какие доводы может он представить, кроме голых слов?

Прежние грехи преследовали его неустанно и неумоимо, как собаки преследуют зверя в лесу.

И он решил умолчать.

Но в то же время чувствовал невыразимое отвращение ко всякого рода изворотам. Разве он может выдумывать государю, которого любит всеми силами души, всякие небылицы, только бы отвести его подозрения?

Он чувствовал, что у него не хватит сил.

И, помолчав немного, он проговорил:

— Ваше величество, придет время, может быть уже скоро, когда я смогу открыть вашему величеству всю мою душу, как на исповеди... Но я хочу, чтобы об искренности моих намерений, о моей верности и любви к вашей особе свидетельствовали не слова мои, а поступки, Я согрешил ваше величество, согрешил перед вами и отчизной и дал еще слишком мало плодов раскаяния, а потому и ищу такой службы, на которой мог бы их дать... Но кто не грешил? Кто во всей этой Речи Посполитой не должен каяться? Быть может, я согрешил больше других, но зато я раньше и опомнился... Не спрашивайте, ваше величество, ни о чем, пока моя теперешняя служба не убедит вас в моей верности; не расспрашивайте, ибо я не могу отвечать, чтобы не закрыть перед собой путь к спасению, но Бог мне свидетель и Пресвятая Дева, что я говорю правду и готов за вас пролить последнюю каплю крови!..

Глаза пана Андрея были влажны, и в лице его было столько искренности и скорби, что оно оправдывало его лучше всяких слов.

— Бог видит мои намерения, — продолжал он, — и зачтет мне их на Страшном суде... Но если вы, ваше величество, мне не верите, то прогоните меня, удалите меня от вашей особы. Я поеду следом за вами, чтобы в тяжелую минуту прийти к вам на помощь, хотя бы и без зова, и сложить за вас голову. И тогда вы поверите, ваше величество, что я не изменник, а один из таких слуг, каких у вас немного, государь, даже среди тех, которые подозревают других.

— Я тебе верю, — сказал король. — Оставайся по-прежнему при особе нашей,

ибо измена такими словами не говорит.

— Благодарю вас, ваше величество, — сказал Кмициц.

И, слегка придержав лошадь, он поехал в последних рядах отряда.

Но Тизенгауз поделился своими подозрениями не только с королем, и поэтому все стали смотреть на Кмицица косо. Громкие разговоры замолкали, когда он приближался, и сменялись шепотом. Все следили за каждым его движением, обдумывали каждое слово. Пан Андрей заметил это, и ему стало очень тяжело среди этих людей.

Даже король хотя не лишил его своего доверия, но не был уже так весел и приветлив с ним, как раньше. Молодой рыцарь стал мрачен, скорбь и горечь охватили его сердце. Раньше он гарцевал впереди королевского отряда, а теперь он ехал сзади шагах в пятидесяти за кавалькадой, с опущенной головой, полный мрачных мыслей.

Наконец перед путниками забелели Карпаты. Снег лежал на их склонах, на вершины ложились тяжелые тучи, а когда случался погожий вечер, горы облекались на западе в пламенные одежды и горели ярким блеском, пока не угасали во мраке, охватывавшем мир. Кмициц смотрел на эти чудеса природы, которых еще не видел в жизни, и, хотя был очень печален, от изумления забывал свою печаль.

С каждым днем горы-великаны все росли, становились неприступнее. Наконец королевский отряд въехал в них и углубился в ущелья, которые вдруг открылись перед ним, как ворота.

— Граница, должно быть, уже недалеко, — взволнованно сказал король. Вдруг вдали заметили возок, запряженный одной лошадью, а в возке какого-то человека. Королевские люди сейчас же его задержали.

— Человек, — спросил Тизенгауз, — мы уже в Польше?

— Там, за скалой и за речкой, — граница, а вы уже стоите на королевской земле.

— Как ехать к Живцу?

— Поезжайте прямо, так и выедете на дорогу.

И горец хлестнул лошадь, а Тизенгауз поскакал к отряду, остановившемуся неподалеку.

— Ваше величество, — воскликнул он с восторгом, — вы стоите уже на границе царств, и за этой рекой начинается ваше королевство.

Король ничего не ответил и дал лишь знак, чтобы придержали его лошадь, слез с нее и опустился на колени, подняв к небу глаза и руки.

Увидев это, все последовали его примеру; король-изгнанник бросился вдруг ниц на снегу и стал целовать родную землю, которую так любил и которая отплатила ему такой черной неблагодарностью в минуту несчастья.

Было тихо, слышались только вздохи.

Вечер был морозный, погожий; вершины гор и ближайшие сосны горели пурпуром, а дальше все тонуло в глубоких фиолетовых тонах; дорога, на которой лежал король, отливала пурпуром и золотом, как лента; в пурпуре и золоте стоял король, епископы и сановники.

Вдруг на вершинах поднялся ветер и понес в долины искрящиеся снежинки. Ели поблизости склонялись оснеженными верхушками, кланялись своему государю и шумели радостно, точно пели старинную песню: «Здравствуй, здравствуй, господине».

Сумерки опускались на землю, когда королевский отряд тронулся в дальнейший путь. За ущельем открылась широкая долина, конец которой тонул вдали. Свет погас вокруг, и только в одном месте небо еще горело багрянцем.

Король стал читать «Ave, Maria»³⁵ — и все повторяли за ним вслух слова молитвы.

Родная земля, которой так давно не видели всадники, горы, тонувшие в сумраке, догоравшая заря, молитвы — все это торжественно настроило сердца людей, и все ехали молча: король, сановники и рыцари.

Настала ночь, и только на востоке небо багровело все больше.

— Поедем туда, к заре, — сказал наконец король. — Странно, что она еще горит.

Вдруг подскакал Кмициц.

— Ваше величество, это пожар! — крикнул он. Все остановились.

— Как так? — спросил король. — А мне кажется, что это заря!

— Пожар, пожар. Я не ошибаюсь! — воскликнул Кмициц.

И действительно, из всех спутников короля он был в этом самым опытным. Наконец, сомневаться было больше невозможно: над мнимой зарей поднялись красные тучи и клубились, попеременно светлея и темнея.

— Это, верно, Живец горит! — воскликнул король. — Там, должно быть, неприятель.

Не успел он кончить, как всадники услышали шум человеческих голосов и фыркание лошадей — вдали замаячили какие-то фигуры.

— Стой, стой! — крикнул Тизенгауз.

Фигуры остановились, точно в нерешительности.

— Люди, кто вы? — спросили в отряде.

— Это свои! — раздалось несколько голосов. — Свои! Мы из Живца бежим, шведы Живец подожгли и людей убивают.

— Стойте, ради бога... Что вы говорите?... Откуда они там взялись?

— Они, пане, нашего короля поджидают. Много их, много. Да хранит его Господь!

Тизенгауз на минуту потерял голову.

— Вот что значит ехать маленьким отрядом! — крикнул он Кмицицу. — Чтоб вас убили за такой совет!

Но Ян Казимир сам принялся расспрашивать беглецов.

— А где король? — спросил он.

— Король пошел в горы с большим войском и два дня тому назад проезжал через Живец, но они его нагнали, и там где-то была битва... Мы не знаем, захватили они его или нет, но сегодня вечером они явились в Живец, стали жечь и убивать.

— Поезжайте с Богом, люди! — сказал Ян Казимир.

— Вот что бы нас ждало, если бы мы поехали с драгунами! — воскликнул Кмициц.

— Ваше величество, — проговорил ксендз Гембицкий, — неприятель перед нами... Что нам делать?

Все окружили короля, точно хотели защитить его собой от внезапной опасности, но он все смотрел на зарево, которое отражалось в его зрачках, и молчал; никто не решался первым дать совет, так как трудно было что-нибудь посоветовать.

— Когда я уезжал из отчизны, путь мой освещало зарево, — сказал наконец Ян Казимир, — теперь, когда я въезжаю, мне светит другое...

И снова наступило молчание, еще более тяжелое, чем прежде.

— Кто может дать какой-нибудь совет? — спросил наконец ксендз Гембицкий.

Вдруг раздался голос Тизенгауза, полный горечи и насмешки:

— Кто не поколебался подвергнуть особу государя опасности, кто уговаривал

³⁵ «Богородице, Дево, радуйся!» (лат.), начальные слова молитвы.

короля ехать без охраны, пусть даст теперь совет.

В эту минуту из толпы сановников, окружавших короля, выехал какой-то человек; это был Кмициц.

— Хорошо, — сказал он.

И, поднявшись в стременах, он крикнул челяди, стоявшей поодаль:

— Кемличи, за мной!

Сказав это, он пустил коня вскачь, и за ним во весь опор помчались три всадника.

Крик отчаяния вырвался из груди пана Тизенгауза.

— Это заговор, — сказал он, — изменники дадут знать. Ваше величество, спасайтесь, пока время, ибо неприятель вскоре займет и ущелье. Ваше величество, спасайтесь! Назад, назад!

— Назад! — в один голос воскликнули епископы и сановники.

Но Ян Казимир потерял терпение, глаза его метали молнии... Вдруг он вынул шпагу из ножен и воскликнул:

— Храни меня Бог еще раз покинуть родную землю! Пусть будет что будет, довольно с меня.

И он пришпорил лошадь, чтобы ехать вперед, но сам нунций схватил лошадь за поводья.

— Ваше величество, — сказал он торжественно, — на вас покоятся судьбы Речи Посполитой и католической церкви, и вам нельзя подвергать опасности свою особу.

— Нельзя! — повторили епископы.

— Я не вернусь в Силезию, и да поможет мне в том Бог! — ответил Ян Казимир.

— Ваше величество, внимайте мольбам своих подданных, — сказал, заламывая руки, каштелян сандомирский. — Если вы ни в коем случае не хотите возвращаться во владения императора, то вернемся, по крайней мере, к венгерской границе или хотя бы отступим назад через ущелье, чтобы нам не могли отрезать дорогу. Там мы подождем. В случае, если подойдет неприятель, мы можем еще спастись бегством и, во всяком случае, не попадемся в ловушку.

— Пусть и так будет, — мягче сказал король. — Я не отвергаю разумного совета, но опять вести скитальческую жизнь я не хочу. Если нельзя будет пройти здесь, мы проедем где-нибудь в другом месте. Во всяком случае, я думаю, что вы напрасно боитесь. Если шведы тщетно искали нас среди драгун, как говорили нам люди из Живца, то это лучшее доказательство, что они о нас не знают и что никакой измены, никакого заговора не было. Рассудите все это, панове, ведь вы люди опытные. Шведы не задели бы драгун, не выстрелили бы в них ни разу, если бы им было известно, что мы едем за драгунами. Успокойтесь, Панове! Бабинич со своими поехал на разведку и, верно, сейчас же вернется.

Сказав это, король повернул лошадь к ущелью, за ним тронулись и его спутники. Они остановились там, где тот первый горец, которого они встретили, указал им польскую границу.

Прошло четверть часа, полчаса, наконец, час.

— Обратите внимание, — сказал вдруг воевода ленчицкий, — зарево стало меньше.

— Гаснет, заметно гаснет! — ответило несколько голосов.

— Это хороший знак, — заметил король.

— Я поеду вперед, захватив с собой несколько человек, — сказал Тизенгауз. — Мы остановимся в версте отсюда, и, если шведы подойдут, мы задержим их, пока не погибнем. Во всяком случае, вы успеете подумать о безопасности его величества.

— Оставайся с нами, я запрещаю тебе ехать, — сказал король.

Тизенгауз ответил:

— Ваше величество, велите расстрелять меня потом за непослушание, но я

поеду, ибо вы в опасности.

И, созвав несколько солдат, на которых можно было положиться в опасную минуту, он тронулся вперед.

Они остановились у другого конца ущелья, где оно выходило в долину, и стояли тихо с ружьями наготове, прислушиваясь к малейшему шелесту.

Долгое время все было тихо, наконец вдали послышался скрип снега под конскими копытами.

— Едут, — шепнул один из солдат.

— Их немного, всего несколько лошадей, — ответил другой. — Пан Бабинич возвращается.

В нескольких десятках шагов в темноте показались какие-то люди.

— Кто там? — крикнул Тизенгауз.

— Свои, не стрелять! — раздался голос Кмицица.

В ту же минуту появился он сам и, не узнав Тизенгауза в темноте, спросил:

— А где король?

— Там, в другом конце ущелья, — ответил Тизенгауз, успокоившись.

— Кто говорит, не могу разглядеть?

— Тизенгауз. А что это вы везете с собой?

Сказав это, он указал на какой-то большой темный предмет, который висел у Кмицица поперек седла.

Но пан Андрей ничего не ответил и проехал мимо. Подъехав к королевской свите, он узнал короля, так как за ущельем было гораздо светлее, и воскликнул:

— Ваше величество, дорога свободна!

— Шведов нет в Живце?

— Ушли к Вадовицам. Это был немецкий наемный отряд. Вот, здесь есть один, вы сами его, ваше величество, расспросите.

И вдруг пан Андрей сбросил с седла на землю тот предмет, который он Держал перед собой, и в ночной тишине раздался стон.

— Что это? — спросил король с удивлением.

— Это? Рейтар.

— Господи боже, значит, ты и пленника захватил? Говори, как это было!

— Ваше величество, когда волк ночью за стадом овец идет, ему нетрудно захватить одну штуку, да, правду говоря, это дело — для меня не новость.

Король схватился за голову:

— Ну и солдат этот Бабинич, чтоб его!.. Вы видите, Панове? Ну с такими слугами я могу хоть в шведский лагерь ехать.

Между тем все окружили рейтара, но тот не поднимался с земли.

— Спрашивайте его, ваше величество, — не без некоторого хвастовства в голосе сказал Кмициц, — хоть не знаю, сможет ли он отвечать, он задохся немного, а прижечь его нечем!

— Влейте ему водки в горло! — сказал король.

И действительно, это средство помогло больше прижигания, так как к рейтару вскоре вернулись силы и он мог говорить. Тогда пан Кмициц, приставив нож к его горлу, велел ему рассказать всю правду.

Пленник признался, что он принадлежит к войску полковника Ирлехорна, что у них были известия о проезде короля с драгунами и что они напали на драгун около Живца, но, потерпев поражение, принуждены были отступить к Живцу, откуда отправились в Вадовицы и на Краков, ибо таков был приказ.

— А разве в горах нет других шведских отрядов? — спросил по-немецки Кмициц, сильнее сжимая горло рейтара.

— Может быть, и есть какие-нибудь, — сказал прерывающимся голосом рейтар, — генерал Дуглас разослал разведочные отряды, но все они отступают, так

как мужики нападают на них в ущельях.

— А поблизости Живца вы были одни?

— Одни.

— И вы знаете, что король польский уже проехал?

— Проехал с теми драгунами, которые столкнулись с нами близ Живца. Многие его видели.

— Почему же вы за ним не погнались?

— Боялись горцев!

Тут Кмициц снова сказал по-польски:

— Ваше величество, дорога свободна, ночлег в Живце найдется, так как сожжена только часть города.

Но недоверчивый Тизенгауз разговаривал в это время с паном каштеляном войницким и говорил ему:

— Или это великий солдат, чистый, как золото, или изменник и негодяй, каких мало... Обратите внимание, что все это, быть может, симуляция, начиная от поимки пленника и кончая его признанием. А что, если все это нарочно? Если шведы сидят теперь, притаившись, в Живце? Если король поедет и попадет в западню?

— Безопаснее в этом убедиться! — ответил каштелян войницкий. Пан Тизенгауз обратился к королю и сказал громко:

— Ваше величество, позвольте мне поехать вперед, в Живец, и убедиться, правда ли то, что говорят этот кавалер и его рейтар.

— Пусть так и будет! Позвольте ему, пусть едет, ваше величество! — воскликнул Кмициц.

— Поезжай, — сказал король, — но и мы тронемся, холодно.

Пан Тизенгауз поскакал с места, а королевский отряд отправился за ним шагом. К королю вернулась веселость, и через некоторое время он сказал Кмицицу:

— С тобой можно, как с соколом, на шведов охотиться: ты сверху налетаешь.

— Так это и было! — ответил пан Андрей. — Если вашему величеству угодно будет поохотиться, сокол всегда готов.

— Говори, как ты подцепил рейтара?

— Это нетрудно, ваше величество. Всегда, когда полк идет, несколько человек тащатся сзади, а этот на полверсты отстал. Я поехал за ним, он думал, что свой, и, прежде чем он успел опомниться, я его схватил и завязал ему рот, чтобы он не кричал.

— Ты говорил, что это для тебя дело не новое, разве ты этим когда-нибудь занимался?

Кмициц рассмеялся:

— О, ваше величество, я и не такие штуки проделывал. Вы только прикажите, а я опять помчусь, догоню их, потому что лошади у них устали, и еще одного поймаю, и Кемличам моим велю поймать.

Некоторое время они ехали молча. Вдруг вдали послышался лошадиный топот, и подскакал Тизенгауз.

— Ваше величество, — сказал он, — дорога свободна, и место для ночлега найдено.

— Разве я не говорил? — воскликнул Ян Казимир. — Вы напрасно беспокоились, Панове! Ну, едем, нам надо отдохнуть.

Отряд тронулся рысью, и час спустя усталый король спал уже безмятежным сном в собственной стране.

В тот же вечер Тизенгауз подошел к Кмицицу:

— Простите меня, ваша милость, что я, любя государя, вас заподозрил! Но Кмициц не подал ему руки.

— Нет, не бывает тому! — ответил он. — Вы считали меня изменником и

предателем!

— Я бы не это еще сделал, я бы вам пулю в лоб пустил, — сказал Тизенгауз, — но, когда я убедился, что вы честный человек и любите короля, я протянул вам руку. Хотите, примите, не хотите, не принимайте... Я предпочел бы состязаться с вами только в любви к особе его величества. Но я не боюсь и другого состязания.

— Так вы думаете, ваць-пане? Гм, может быть, вы и правы... Да, я на вас сердит!

— Так перестаньте сердиться... Солдат вы, каких мало! Ну, давайте расцелуемся, чтобы нам в ненависти спать не ложиться.

— Ну, пусть так и будет! — сказал Кмициц. И они бросились друг другу в объятия.

XXIV

Королевский отряд пришел в Живец поздней ночью и не обратил на себя в городе никакого внимания, тем более что люди все еще не могли опомниться после нападения шведов. Король даже не заехал в замок, еще ранее опустошенный шведами, а остановился в квартире ксендза. Кмициц пустил слух, что это императорский посол, который едет из Силезии в Краков. На следующий день отряд тронулся к Вадовицам и только далеко за городом свернул в сторону. Ехать думали через Кшеченов в Йорданов, оттуда в Новый Торг, и если окажется, что под Чорштыном нет шведов, то и в Чорштын, если же они там окажутся, то предполагали свернуть в Венгрию и вдоль венгерской границы доехать до Любомли. Король рассчитывал, что великий маршал коронный, располагавший такими значительными силами, какие были не у всякого владетельного князя, сам выступит навстречу своему государю. Лишь одно могло этому помешать: маршал не знал, по какой дороге идет король; но ведь среди горцев не было недостатка в надежных людях, которые взялись бы сообщить маршалу условленные слова. Им даже не нужно было открывать тайны, они шли охотно при одном уверении, что оказывают услуги королю. Это были люди, душой и телом преданные своему государю; они были бедны, полудики, почти не занимались обработкой неблагоприятной земли, жили скотоводством, были набожны и ненавидели еретиков. Как только распространились слухи о взятии Кракова, особенно об осаде Ченстохова, куда они обычно отправлялись на богомолье, они впервые схватили свои топоры и вышли из гор. Генерал Дуглас, превосходный полководец, без труда разбил их в открытом поле, где они биться не привыкли; но зато шведы только с огромными предосторожностями углублялись в их родные гнезда в горах, где они были неуловимы и в то же время непобедимы. Несколько маленьких отрядов, которые зашли слишком далеко в горный лабиринт, исчезли без следа.

И теперь известие о прибытии короля с войском сделало свое дело: все они поднялись, как один человек, чтобы защищать его своими «чупагами»³⁶ и идти с ним хоть на край света. Стоило бы Яну Казимиру открыть, кто он такой, как его в ту же минуту окружили бы целые тысячи полудиких горцев, но он совершенно основательно полагал, что тогда слух этот вихрем пронесся бы по всей округе, и шведы могли бы выслать к нему навстречу целое войско, и он предпочел пробираться, не открывая своего имени.

Но отряд без труда находил везде надежных проводников, которым достаточно было сказать, что они ведут епископов и панов, которые хотят спастись от шведских рук. И они вели отряд среди снегов, скал, вихрей, только одним им ведомыми

³⁶ Палки с наконечниками в виде топора. (примеч. переводчика).

тропинками — в местах столь неприступных, что казалось, будто через них и птице не пролететь.

Случалось, что под ногами у короля и сановников были тучи, когда же туч не было, взор их тонул в безбрежном пространстве, покрытом белым снегом; иной раз они углублялись в темные пасти горных ущелий, где одни лишь дикие звери могли иметь свои логова. Места, доступные для неприятеля, они обходили, по возможности сокращали дорогу, и случалось, что какое-нибудь селение, до которого рассчитывали добраться через несколько часов, появлялось вдруг перед глазами, а в нем ждало уже гостеприимство и отдых в какой-нибудь курной избе. Король все время был весел, ободрял других в этом трудном пути и ручался, что, проходя по таким местам, он, несомненно, благополучно доберется до Любомли и нагрянет туда неожиданно.

— Пан маршал и не подозревает, что мы так скоро свалимся ему на голову, — повторял он постоянно.

А нунций отвечал:

— Чем же был поход Ксенофонта в сравнении с этим нашим путешествием в тучах?

— Чем выше мы поднимемся, тем ниже падут шведы, — твердил король.

Наконец отряд прибыл в Новый Торг. Казалось, что всякая опасность миновала; но горцы утверждали, что в окрестностях Чорштына есть какие-то иностранные войска. Король предполагал, что это немецкие рейтары коронного маршала, которых у него было два полка, а может быть, и его собственные драгуны, высланные вперед; так как в Чорштыне был гарнизон епископа краковского, то мнения в отряде разделились: одни предлагали ехать по большой дороге в Чорштын, а оттуда пробираться вдоль границы; другие советовали сейчас же свернуть в Венгрию, которая в этом месте клином врезалась в Польшу и доходила почти до Нового Торга, оттуда снова пробираться горами, пользуясь услугами проводников, знающих безопасные места.

Последнее мнение одержало верх, так как в этом случае встреча со шведами становилась почти невероятной; впрочем, короля забавлял этот «орлиный путь» над пропастями и среди туч.

Из Нового Торга свернули сначала на запад, потом на север, оставив справа реку Белый Дунаец. Вначале путь лежал по открытой широкой местности, но, по мере того как отряд подвигался вперед, горы начинали сходиться и долина становилась уже. Дорога была настолько трудная, что лошади еле подвигались. Порою приходилось слезать и вести их в поводу, и они зачастую упирались, прядали ушами и вытягивали широко раскрытые дымящиеся ноздри к пропастям, в глубинах которых, казалось, жила смерть.

Горцы, которые привыкли к обрывам, очень любили эти дороги, на которых у непривычных людей кружилась голова и шумело в ушах. Наконец отряд въехал в расщелину между скал, длинную и прямую и настолько узкую, что по ней с трудом могли проехать рядом три всадника.

Расщелина эта походила на какой-то бесконечный коридор. С обеих сторон высились скалы. Иногда склоны их становились менее покатыми, и тогда на верхушках темнел лес. Ветры смели весь снег со дна ущелья, и лошадиные подковы стучали по камням. В эту минуту ветра не было и царила такая глухая тишина, что даже в ушах звенело. И только вверх, где среди обрамленных лесом верхушек скал голубела полоса неба, пролетали порою черные птицы, шумели крыльями и каркали.

Королевский отряд остановился передохнуть. От лошадей поднимались клубы пара, устали и люди.

— Это Польша или Венгрия? — спросил король проводника.

— Это еще Польша.

— А почему мы не свернули сразу в Венгрию?

— Нельзя. Ущелье скоро повернет, и начнется тропинка прямо к большой дороге. Там мы и повернем, пройдем еще одно ущелье, и тогда будет венгерская граница.

— Я вижу, что лучше было ехать прямо по дороге, — сказал король.

— Тише!.. — ответил вдруг горец.

И, подбежав к скале, он приник к ней ухом.

Все впились в него глазами, а его лицо изменилось в одну минуту, и он сказал:

— За поворотом войско идет!.. Господи, уж не шведы ли?

— Где? Как? Что? — раздались вопросы со всех сторон. — Ничего не слышно!..

— Там снег лежит. Господи боже! Они уже близко... Сейчас покажутся!

— Может быть, пана маршала люди? — сказал король.

Кмициц в ту же минуту пришпорил лошадь.

— Поеду посмотреть, — сказал он.

Кемличи сейчас же тронулись за ним, как собаки за охотником, но не успели они отъехать несколько шагов, как вдруг из-за поворота, шагах в ста, показались фигуры людей и лошадей.

Кмициц взглянул, и... душа у него дрогнула от ужаса.

Это были шведы.

Они были так близко, что отступить было невозможно, особенно потому, что лошади в королевском отряде страшно устали. Оставалось только пробиться, погибнуть или попасть в плен. Неустрашимый король понял это в одну минуту и схватился за рукоятку шпаги.

— Заслонить короля и назад! — крикнул Кмициц.

Тизенгауз с двадцатью людьми в одну минуту выступил вперед, а Кмициц, вместо того чтобы соединиться с ними, мелкой рысью поехал навстречу шведам.

На нем было шведское платье, то самое, в которое он переоделся, выходя из монастыря, так что шведы не могли знать, кто это такой. Увидев всадника, ехавшего навстречу им, они, вероятно, сочли отряд короля за какой-нибудь шведский разведочный отряд, так как не прибавили шагу, и лишь офицер, командовавший отрядом, выехал вперед.

— Что за люди? — спросил он по-шведски, глядя в грозное и бледное лицо подъезжавшего всадника.

Кмициц подъехал к нему так близко, что толкнул его коленом, и, не ответив ему ни слова, выстрелил из пистолета в ухо.

Крик ужаса вырвался из груди рейтар, но еще громче прозвучал голос пана Андрея:

— Бей!

И, как кусок скалы, оторвавшись от вершины, летит в пропасть и сметает все на своем пути, так и он обрушился на первые ряды шведов, неся за собой смерть и уничтожение. Два молодых Кемлича бросились за ним. Стук мечей о панцири и шлемы походил на грохот молотов, и тотчас ему заворчали крики и стоны.

Испуганным шведам показалось в первую минуту, что на них напали три великана в диком горном ущелье. Первые ряды отступили в беспорядке перед страшным всадником, и в то время, когда последние ряды выходили из-за поворота, в средних уже была давка и паника. Лошади стали кусаться и становиться на дыбы. Солдаты из задних рядов не могли стрелять и не могли подойти на помощь передним, и они погибали под ударами трех великанов. Напрасно выставляли они вперед мечи, защищаясь, — великаны выбивали у них мечи из рук, опрокидывали людей и лошадей. Кмициц поднял свою лошадь на дыбы, так что копыта ее повисли над головами рейтар, и сам он рубил и колол как безумный. Кровь заливала ему лицо, глаза горели огнем, в голове у него погасли все мысли и осталась только одна: он погибнет, но задержит шведов. Эта мысль переродилась в какой-то дикий экстаз, и

силы его утроились, движения стали похожими на движения рыси — бешеными и быстрыми, как молнии. Нечеловеческими ударами сабли он разил людей, как молния разит молодые деревья; два молодых Кемлича бились тут же за ним, а старик, стоя немного сзади, то и дело просовывал рапиру из-за спины сыновей с такой быстротой, с какой змея высовывает жало, и вынимал ее окровавленной.

Между тем вокруг короля поднялось лихорадочное движение. Нунций, как под Живцом, так и теперь, держал поводья его лошади, с другой стороны их держал епископ краковский, и оба изо всех сил осаживали назад скакуна, которого король бил шпорами так, что он становился на дыбы.

— Пустите! — кричал король. — Ради бога, ударим на неприятеля!

— Ваше величество, думайте об отчизне! — кричал епископ краковский.

И король не мог вырваться из их рук, тем более что дорогу ему преграждал молодой Тизенгауз со своими людьми. Он не шел на помощь Кмицицу, пожертвовал им — думал только о защите короля.

— Богом вас заклинаю! — кричал он в отчаянии. — Те сейчас падут. Ваше величество, спасайтесь, пока время, я их здесь еще задержу!

Но король был настолько упорен, когда он сердился, что не считался ни с кем и ни с чем. Ян Казимир еще раз прищпорил лошадь и, вместо того чтобы отступить, подвигался вперед.

Между тем время шло, и медлить было губительно.

— Я погибну на моей земле!.. Пустите! — крикнул король.

К счастью, благодаря тесноте ущелья против Кмицица и Кемличей могло действовать сразу только несколько человек, и они могли продержаться дольше. Но понемногу и их силы стали слабеть. Шведские рапиры не раз попадали в Кмицица, и он стал истекать кровью. Глаза его точно подернулись мглой, дыхание остановилось в груди. Он чувствовал приближение смерти и хотел только дорого продать свою жизнь.

«Еще хоть одного!» — повторял он про себя и, ударив саблей по голове или по шее ближайшего рейтара, снова бросался на других.

Но шведам, когда они опомнились от первоначального испуга, по-видимому, стало стыдно, что четыре человека могли их задержать так долго, и они набросились на них с бешенством; одной тяжестью людей и лошадей они оттолкнули их назад и отталкивали все дальше и дальше.

Вдруг лошадь Кмицица упала, и волна шведов залила всадников.

Кемличи боролись еще некоторое время, как пловцы, которые, видя, что тонут, стараются держать голову как можно дольше на поверхности воды, но вскоре пали и они...

Шведы как вихрь налетели на королевский отряд.

Тизенгауз со своими людьми бросился им навстречу, и они столкнулись так, что грохот раздался в горах.

Но что значила эта горсточка Тизенгаузовых людей в сравнении с отрядом из трехсот человек! Не было никакого сомнения, что для короля и его спутников настал роковой час гибели или неволи.

Ян Казимир, по-видимому предпочитая гибель, освободил наконец поводья из рук епископов и помчался за Тизенгаузом.

Вдруг он остановился как вкопанный.

Случилось что-то сверхъестественное. Казалось, что горы пришли на помощь законному королю и государю.

Склоны скалистых стен дрогнули, точно мир рушился. Сверху летели стволы деревьев, глыбы снега, льда, камни, обломки скал и валились со страшным грохотом на узкое дно ущелья, на шведские ряды; по обеим сторонам оврага сверху раздался нечеловеческий вой.

А внизу, в рядах шведов, поднялась неслыханная паника. Шведам казалось, что горы рухнули и валяются на них. Слышались крики, стоны раненых, отчаянные крики о помощи, визг лошадей и страшный звон камней о панцири.

Наконец, люди и лошади образовали сплошную массу, которая конвульсивно вздрагивала, клубилась, стонала...

А камни и обломки скал все еще валялись неумолимо на эту бесформенную массу лошадиных и человеческих тел.

— Горцы! Горцы! — крикнул кто-то в королевском отряде.

— Чупагами их, чертовых детей! — раздались голоса вверх.

И в ту же минуту на склонах скалистых стен показались какие-то длинноволосые люди, одетые в круглые кожаные шляпы, и несколько сот каких-то странных фигур стали спускаться вниз по снежным склонам.

Черные и белые накидки, поднимавшиеся на ветру у них за спиной, делали их похожими на каких-то страшных хищных птиц. Они спустились в одно мгновение; свист топоров зловеще заворчал их диким крикам и стонам избиваемых шведов. Сам король хотел остановить эту резню; некоторые из рейтар, еще живые, бросались на колени, поднимали вверх руки и умоляли о пощаде. Но все было напрасно — ничто не удержало мстительных топоров, и через четверть часа в ущелье не было ни одного живого шведа.

Потом горцы, забрызганные кровью, стали тесниться у королевского отряда.

Нунций с изумлением смотрел на этих неведомых ему доселе людей, рослых, сильных, одетых в овечьи шкуры и размахивавших еще дымившимися топорами.

При виде епископа они обнажили головы. Многие из них опустили на колени.

Епископ краковский поднял к небу залитое слезами лицо.

— Вот помощь Господня, вот промысл Божий, охраняющий помазанников!

Потом он обратился к горцам и сказал:

— Люди, кто вы такие?

— Здешние, — ответили в толпе.

— Вы знаете, кому вы пришли на помощь?... Вот король и государь ваш, которого вы спасли!

В толпе раздались крики:

— Король! Король! Господи боже, король!

Верные горцы стали тесниться вокруг государя. С плачем окружили они его со всех сторон, с плачем целовали его ноги, стремяна, даже копыта его лошади. Все кричали и рыдали в каком-то порыве, так что епископам, из опасения за особу короля, пришлось сдерживать этот пыл.

А король стоял среди этого верного люда, как пастырь среди овец, и крупные, светлые слезы, как жемчужины, стекали по его лицу.

Потом лицо его прояснилось, точно какая-то перемена произошла вдруг в его душе, точно какая-то новая великая мысль, посланная ему с неба, зародилась у него в голове, — он поднял руку в знак того, что хочет говорить, и, когда утихло, сказал громким голосом так, чтобы его слышали все в толпе:

— Боже, спасший меня руками простого народа, клянусь и обещаюсь крестными муками и смертью Сына твоего, что отныне я буду народу отцом!

— Аминь! — закончили епископы.

И некоторое время царил торжественное молчание, потом снова наступил взрыв радости. Горцев стали расспрашивать, откуда они взялись в ущелье и как могли так вовремя прийти королю на помощь.

Оказалось, что большие шведские отряды кружили вокруг Чорштына и, не осаждая самого замка, казалось, чего-то искали и ждали. Горцы слышали также о битве, которая произошла у этих отрядов с каким-то войском, в котором должен был находиться сам король. Тогда они решили заманить шведов в западню и, подослав к

ним ложных проводников, завели их в это ущелье.

— Мы видели, — говорили горцы, — как четыре рыцаря бросились на этих чертей, хотели прийти на помощь, но боялись их слишком рано спугнуть.

Тут король схватился за голову.

— Матерь Божья, — крикнул он, — искать Бабинича! Мы хоть похороним его как надо! И этого человека, который первый пролил за нас кровь, считали изменником!!

— Я провинился перед ним, ваше величество, — сказал Тизенгауз.

— Искать его, искать! — воскликнул король. — Я не уеду отсюда, пока не взгляну ему в лицо и не попрощаюсь с ним.

Солдаты вместе с горцами бросились к тому месту, где дрался Кмициц, и вскоре из горы лошадиных и человеческих трупов вытащили пана Андрея. Лицо его было бледно, все забрызгано кровью, которая застыла у него на усах; глаза его были прикрыты, панцирь продавлен в нескольких местах от ударов мечей и лошадиных копыт. Но именно этот панцирь спас ему жизнь, и солдату, который его поднял, показалось, что он слышит тихий стон.

— Господи боже, жив! — крикнул он.

— Снять панцирь! — кричали другие.

Разрезали ремни.

Кмициц вздохнул глубже.

— Дышит, дышит! Жив! — повторило несколько голосов.

А он лежал некоторое время неподвижно, потом открыл глаза. Тогда один из солдат влил ему в рот немного водки, а другие подняли за руки.

В эту минуту подъехал король, который услышал вдруг крики вокруг Бабинича.

Солдаты поднесли к нему пана Андрея, который не мог стоять на ногах. При виде короля сознание вернулось к нему на минуту, почти детская улыбка мелькнула у него на лице, а бледные губы явственно прошептали:

— Король мой, государь мой... Жив!.. Свободен!..

И слезы блеснули у него в глазах.

— Бабинич! Бабинич! Чем мне тебя наградить! — воскликнул король.

— Я не Бабинич, я Кмициц... — шепнул рыцарь. И он, как мертвый, повис на руках солдата.

XXV

Так как, по уверениям горцев, дорога до Чорштына была совершенно свободна от других шведских отрядов, то король со спутниками повернул к замку и вскоре очутился на проезжей дороге, по которой ехать было менее утомительно. Ехали под песни горцев и крики: «Король едет! Король едет!» По дороге к королевскому отряду присоединялись все новые толпы людей, вооруженных цепями, косами, вилами и ружьями, так что Ян Казимир стоял уже во главе значительного отряда людей, хотя и не обученных, но готовых в каждую минуту идти за ним, хотя бы на Краков, и пролить кровь за своего государя. Под Чорштыном короля окружало более тысячи горцев и полудиких пастухов.

Стала подъезжать шляхта из-под Нового и Старого Сонча. Она привезла известие, что в это утро польский полк под командой Войниловича разбил у самого Нового Сонча значительный отряд шведов, причем почти все шведы погибли или потонули в Каменной и в Дунайце. Известия эти вскоре подтвердились, так как на дороге замелькали гусарские значки и подъехал сам Войнилович с полком воеводы брацлавского.

Король радостно встретил знаменитого рыцаря, которого знал давно, и продолжал с ним свой путь на Спиж, под восторженные крики горцев и войска. Между тем несколько всадников помчались во весь дух предупредить пана маршала о

приближении короля и дать ему возможность подготовиться к встрече.

Ехали весело и шумно. Собирались все новые толпы. Нунций, который выехал из Силезии, опасаясь за жизнь короля и за свою собственную жизнь, не помнил себя от радости, так как он был уверен, что в будущем короля ждут победы над неприятелем и что вместе с ним католическая церковь победит еретиков. Епископы разделяли его радость, светские сановники утверждали, что весь народ, от Карпат до Балтийского моря, возьмется за оружие. Войнилович уверял, что это отчасти уже осуществилось.

И рассказывал, что слышно в стране, какая паника охватила шведов, как они боятся теперь показываться в небольшом количестве, рассказывал, что они покидают уже маленькие замки и укрываются в больших крепостях.

— Наши солдаты одной рукой в грудь себя сокрушенно ударяют, а другой шведов бьют, — говорил он. — Вильчковский, который командует гусарским полком вашего величества, уже поблагодарил шведов за службу — и как! Он напал на них под Закшевом, чуть не всех перерезал, а остальных рассеял... Я, с Божьей помощью, вытеснил их из Нового Сонча и одержал значительную победу, ибо не знаю, остался ли из них хоть кто-нибудь в живых. Пан Фелициан Коховский со своей пехотой оказал мне большую помощь, и мы, по крайней мере, отплатили шведам за тех драгун, которых они потрепали два дня тому назад.

— За каких драгун? — спросил король.

— А за тех, которых ваше величество выслали вперед из Силезии. Шведы напали на них врасплох, и хотя не могли рассеять, так как они отчаянно защищались, но все же нанесли им большой урон... А мы чуть не умерли от отчаяния, думая, что ваше величество находитесь среди этих людей, и опасаясь, как бы с вами не случилось чего-нибудь дурного. Господь вдохновил ваше величество выслать драгун вперед. Шведы сейчас же о них пронюхали и заняли все дороги.

— Слышишь, Тизенгауз? — спросил король. — Это говорит опытный воин!

— Слышу, ваше величество, — ответил молодой магнат.

Король снова обратился к Войниловичу:

— Ну что еще? Что еще? Рассказывай!

— Что знаю, того не скрою! В Великопольше гуляют Жегоцкий и Кулеша. Пан Варшицкий выкурил Линдорма из пилецкого замка, Ланцкорона в наших руках, а на Полесье, под Тыкоцином, с часу на час растут силы пана Сапеги. Шведам в замке конец пришел, а с ними вместе пришел конец и воеводе виленскому. Что же касается гетманов, то они двинулись из-под Сандомира в Люблинское воеводство и дали явные доказательства того, что они отказались от союза со шведами. С ними и черниговский воевода. Из округи к ним стягиваются все, кто саблю в руках может держать. Говорят, что там составляется какой-то союз против шведов и что это дело рук пана Сапеги и пана каштеляна киевского.

— Значит, каштелян киевский тоже в Люблинском воеводстве?

— Точно так, ваше величество. Но он сегодня здесь, завтра там... И я к нему должен явиться, но где его искать, я не знаю.

— Ну о нем скоро молва пойдет, — сказал король, — и тебе не придется спрашивать, где он.

— И я так думаю, ваше величество, — ответил Войнилович.

В таких разговорах проходило время. Между тем небо прояснилось — на лазури не было ни одного облачка. Снега горели на солнце. Горы Спизжа величественно возвышались перед путниками, и вся природа, казалось, улыбкой встречала своего государя.

— Милая отчизна, — сказал король, — если бы мне только удалось вернуть тебе спокойствие, прежде чем я слягу в могилу...

Отряд поднялся на высокий холм, откуда расстился открытый вид на широкую

долину. Там, внизу, они увидели какую-то массу людей, подвигавшихся издали.

— Войска пана маршала идут! — воскликнул Войнилович.

— Только бы не шведы, — сказал король.

— Нет, ваше величество, шведы не могут идти с юга, со стороны Венгрии. Я уже вижу значки гусар.

И действительно, через некоторое время в синеватой дали можно было различить целый лес копий. Разноцветные значки развевались, точно цветы под ветром, острия копий горели, как огненные язычки. Солнце играло на панцирях и шлемах.

Толпа, сопровождавшая короля, радостно закричала. Эти крики, должно быть, были услышаны вдали, так как масса лошадей, всадников, знамен, бунчуков и значков стала подвигаться быстрее. Должно быть, полки помчались вскачь, так как они росли на глазах с невероятной быстротой.

— Мы останемся здесь, на этом холме. Тут и будем ждать пана маршала, — сказал король.

Отряд остановился; войска продолжали мчаться ему навстречу еще быстрее. Минутами они скрывались за поворотами дороги, за небольшими холмиками и скалами, рассеянными по низине, но тотчас показывались снова, подобно змее со сверкающей разноцветной чешуей. Наконец, за четверть версты от холма, они замедлили ход. Их можно было прекрасно разглядеть простым глазом. Впереди шел собственный гусарский полк пана маршала, великолепно вооруженный и в таком блестящем порядке, что любой король мог бы им гордиться. В этом полку служила только карпатская шляхта: люди огромного роста, как на подбор. Панцири на них были из белой жести, украшенной медными орнаментами, с нагрудными образками Ченстоховской Богоматери; на головах круглые шлемы, с наушниками и гребнями, за спиной орлиные крылья, на плечах тигровые и леопардовые шкуры, а у старших офицеров, по обычаю, волчьи. Лес значков, зеленых с черным, качался над ними; впереди ехал поручик Виктор, за ним хор янычар-музыкантов, с литаврами, барабанами, дудками и колокольчиками, дальше — стена лошадиных и человеческих грудей, закованных в железо. При виде их сердце короля таяло. За гусарами следовала легкая конница, еще более многочисленная, с обнаженными саблями в руках и с луками за спиной: потом три сотни казаков в алых жупанах, вооруженных копьями и самопалами; потом двести драгун в красных колетах, потом челядь разных панов, гостивших в Любомле, разодетая как на свадьбу, гайдуки, пажи, венгерцы, янычары, состоявшие на службе у магнатов. И все это сверкало как радуга, ехало шумно и весело, среди ржания лошадей, звона оружия, боя барабанов, литавр. Казалось, что от криков снег обрушится с гор. В самом конце за войском виднелись кареты и коляски, в которых, по-видимому, ехали светские и духовные сановники.

Затем войска построились двумя рядами вдоль дороги, и посередине на молочно-белом коне показался сам маршал коронный, Юрий Любомирский. Он мчался как вихрь по этой улице, а за ним мчались два стремянных, с ног до головы одетых в золото. Подъехав к холму, он спрыгнул с коня и, бросив поводья одному из стремянных, стал пешком взбираться на холм к стоявшему там королю.

Он снял шапку и, повесив ее на рукоятку сабли, шел с обнаженной головой, опираясь на булаву, усыпанную жемчугом. Он был одет в польский военный наряд; на груди у него был панцирь из золотой жести, усеянный по краям драгоценными камнями и отшлифованный так, что казалось, будто на груди у него горит солнце; через плечо у него свешивалась темная мантия из фиолетового венецианского бархата. Под шеей она стягивалась шнуром с бриллиантовыми застежками, и вся мантия была унизана брильянтами; султан из брильянтов раскачивался на его шапке — и все эти драгоценности горели так, что глазам было больно смотреть.

Это был мужчина в цвете лет, великолепного роста. Волосы его были

подстрижены в кружок и спускались на лоб седеющими прядями; усы были черны, как вороново крыло, и опускались вниз тонкими концами. Высокий лоб и римский нос делали его лицо даже красивым, но его портили слишком выпуклые щеки и маленькие глаза с красными веками. В фигуре его было много величия, но еще больше неслыханной гордости и тщеславия. Нетрудно было догадаться, что этот магнат хотел обращать на себя внимание не только всей страны, но и всей Европы. Так оно и было в действительности.

Там, где Юрий Любомирский не мог занять первого места, где он принужден был делиться своей славой с другими, там его оскорбленная гордость готова была на все и не остановилась бы даже в том случае, если бы пришлось погубить отчизну. Это был счастливый и опытный полководец, хотя и в этом отношении многие его превышали; и вообще его способности совершенно не соответствовали его гордости и жажде славы. И поэтому в душе его царило вечное беспокойство, подозрительность, зависть, которые довели его впоследствии до того, что он для Речи Посполитой оказался опаснее страшного Януша Радзивилла. Темная душа Януша была в то же время душой великого человека, который никогда и ни перед чем не отступал; Януш жаждал короны и шел к ней сознательно, не останавливаясь даже перед гибелью и могилой отчизны. Любомирский принял бы ее, если бы шляхта своими руками надела ее ему на голову, но твердо и сознательно он этой цели перед собой не ставил, ибо душа его была лишена истинно великого. Радзивилл был одним из тех людей, которых неудача сталкивает в ряд преступников, а удача возносит к полубогам; Любомирский был просто своевольный магнат, который всегда готов был пожертвовать благом отчизны в угоду своему оскорбленному самолюбию и все-таки ничего не добиться — он не умел и не смел добиваться. Радзивилл более провинился перед Речью Посполитой — Любомирский был для нее вреднее.

Но теперь, когда он, весь в золоте, бархате и драгоценностях, шел навстречу королю, гордость его была удовлетворена вполне. Ведь он первый из магнатов встречал короля на своей земле, он первый, до некоторой степени, брал его под свое покровительство, он должен был возвести его на разрушенный престол и изгнать неприятеля; от него зависели теперь и король и отчизна, на него были обращены взоры всех! И так как все это вполне отвечало его самолюбию и удовлетворяло его тщеславие, даже льстило ему, то он готов был перейти теперь границы в выражении своей преданности, готов был даже на самопожертвование. Дойдя до половины холма, на котором стоял король, Любомирский снял свою шапку с рукоятки и, кланяясь, опустил ее так низко, что брильянтовым султаном сметал снег.

Король выехал вперед и остановил коня, чтобы слезть с него и поздороваться. Видя это, маршал подскочил к королю, чтобы собственными руками придержать стремя; и в то же время, сорвав с себя мантию, он, по примеру английских вельмож, бросил ее под ноги королю.

Растроганный Ян Казимир раскрыл объятия и братски обнял маршала.

С минуту оба они не могли сказать ни слова. Видя это, солдаты, шляхта и простолюдины с радостным криком стали подбрасывать вверх шапки, загремели мушкеты и самопалы, далеким басом отозвались пушки в Любомле — и дрогнули горы, проснулось эхо и стало разбегаться по сторонам, отражаясь от темных стен лесов, скал и обрывов, и мчалось дальше — к другим лесам, к другим горам...

— Пан маршал, — сказал король, — мы будем обязаны вам восстановлением государства!

— Ваше величество, — ответил пан Любомирский, — состояние мое, жизнь, последнюю каплю крови готов я сложить у ваших ног!

— Да здравствует король Ян Казимир! — раздались крики.

— Да здравствует король, отец наш! — кричали горцы.

Между тем сановники, окружавшие короля, подошли к Любомирскому, но он не

отходил от короля. После первого приветствия король снова сел на коня, а маршал, не зная границ гостеприимству и преклонению перед особой государя, схватил коня за поводья и повел его среди войска под оглушительные крики солдат; наконец король пересел в золоченую карету, запряженную восьмеркой лошадей, вместе с папским нунцием.

Епископы и сановники разместились в других каретах, и кортеж медленно тронулся в Любомлю. Пан маршал ехал у окна королевской кареты, гордый и довольный, точно его уже провозгласили отцом отечества.

В Любомле гремели пушки, салютуя королю, башни и бойницы покрылись дымом, колокола звенели, точно на пожар. Двор, на котором король остановился и вышел из кареты, крыльцо и ступени замка были устланы красным сукном. В вазах, привезенных из Италии, горели восточные ароматные смолы. Большую часть сокровищ Любомирского — ковры, ручные фламандские гобелены, статуи, часы, шкафы, полные дорогих безделушек, письменные столики с жемчужной инкрустацией — еще раньше перевезли в Любомлю, чтобы спрятать их от хищных рук шведов. Теперь все это было расставлено, развешено, ослепляло глаза и превращало замок в какой-то волшебный чертог. И пан маршал нарочно выставил все это великолепие, достойное султана, чтобы показать королю, что хотя он возвращается как изгнанник, без денег, без войска, без ничего, — все же он могущественный государь, если слуги его так богаты и так верны. Король понял это, и сердце его преисполнилось благодарности, он ежеминутно обнимал маршала, целовал его в голову и благодарил. Нунций, хотя он и привык к пышности, вслух изумлялся тому, что видел, и все слышали, как он сказал одному из сановников: «Я до сих пор понятия не имел о могуществе польского короля и вижу, что прежние поражения были только временной переменной судьбы, которая снова будет к нему благосклонной».

На пиру, который маршал задал после того, как все отдохнули, король сидел на возвышении; и пан маршал сам ему служил, никому не позволяя себя заменить. По правую руку короля сидел папский нунций, по левую — примас князь Лещинский, за ними — светские и духовные сановники; из офицеров на пиру присутствовали пан Войнилович, пан Виктор, пан Стабковский и пан Шурский, командир легкоконного полка имени князей Любомирских.

В другой зале накрыт был стол для менее именитой шляхты, а в огромном цейхгаузе пировал простой народ, ибо в день возвращения государя все должны были веселиться.

За всеми столами не было других разговоров, как о возвращении короля, о страшных опасностях, которые ждали его в дороге и от которых спасла его десница Господня. Сам Ян Казимир стал говорить о битве в ущелье и славить того кавалера, который первый удержал шведов.

— Как же он себя чувствует? — спросил он у пана маршала.

— Медик от него не отходит и ручается за его жизнь; кроме того, его взяли под свое попечение придворные дамы и уж, наверное, не позволят его душе покинуть тело, ибо оно молодое и красивое, — весело ответил маршал.

— Слава богу! — воскликнул король. — Я слышал из его уст нечто такое, чего даже не могу вам повторить, Панове, ибо мне самому кажется, что я ослышался или что он говорил это в бреду; но если я не ошибаюсь, то у меня будет чем вас изумить.

— Только бы это не опечалило ваше величество, — сказал маршал.

— Ничего подобного, — сказал король, — наоборот, это нас непомерно обрадовало, ибо оказывается, что даже те, кого мы имели основание считать нашими величайшими врагами, готовы пролить за нас кровь.

— Ваше величество, — воскликнул маршал, — настал час исправления, но под этой кровлей вы находитесь среди таких людей, которые никогда даже мыслью не преградили перед особой вашего величества!

— Правда, правда, — ответил король, — и вы, пан маршал, в числе их первый!

— Я только последний слуга вашего величества!

Говор за столом становился все шумнее. Зашли разговоры о политических конъюнктурах, о предполагаемой помощи австрийского императора, которой до сих пор ждали тщетно, о подкреплениях со стороны татар и о будущей войне со шведами. Взрывом радости были встречены слова маршала, что посол, которого он нарочно выслал к хану, вернулся два дня тому назад и подтвердил, что сорок тысяч орды стоят наготове, и число это может возрасти до ста тысяч, как только король приедет во Львов и заключит союз с ханом. Тот же посол сообщил, что и казаки, из страха перед татарами, вернулись к послушанию.

— Вы обо всем думали, пан маршал, — сказал король, — и сами мы не могли бы лучше придумать!

Вдруг король встал, поднял бокал и воскликнул:

— Здоровье пана маршала коронного, нашего хозяина и друга!

— Невозможно, ваше величество, — воскликнул маршал, — ни за чье здоровье пить здесь не будут, пока не выпьют за здоровье вашего величества.

Все подняли вверх бокалы, а Любомирский, с сияющим и потным лицом, сделал знак дворецкому.

И в тот же миг слуги, которые метались по залу, стали наливать самое лучшее вино, которое черпали золотыми ковшами из серебряной бочки. Еще большая радость охватила сердца, и все ждали тоста пана маршала.

Дворецкий принес два бокала из венецианского хрусталя такой дивной работы, что их можно было счесть за восьмое чудо света. Хрусталь, который гранили и полировали, быть может, целыми годами, горел алмазным блеском; бокалы были гравированы итальянскими мастерами. Ножки были из чистого золота с мелким рисунком, представлявшим торжественный въезд победоносного вождя в Капитолий: вождь ехал в золотой колеснице по дороге, вымощенной жемчужинками. За ним шли пленники со связанными руками: какой-то король в чалме из смарагдов, дальше следовали легионеры со знаменами и орлами. На каждой ножке было более пятидесяти фигур, ростом с лесной орешек, но исполненных с таким мастерством, что по чертам лица можно было угадать чувства каждой из них: гордость победителей и удрученность побежденных.

Дворецкий подал один бокал королю, а другой маршалу — оба были наполнены вином. Тогда все встали со своих мест, пан маршал поднял бокал и крикнул во весь голос:

— Да здравствует король Ян Казимир!

— Виват, виват, виват!

В эту минуту загрохотали пушки, так что стены замка дрогнули. Шляхта, пировавшая в другой зале, вбежала с бокалами; пан маршал хотел удержать ее, но это было невозможно, так как все слова тонули в общих заздравных криках.

Маршала охватила такая радость, такой восторг, что глаза его дико блеснули, и, выпив до дна свой бокал, он крикнул так, что покрыл своим голосом общий шум:

— Egoultimus!³⁷

И он разбил бесценный бокал о свою голову — хрусталь рассыпался на мелкие кусочки, которые со звоном упали на пол, а на виске магната показалась кровь.

Все изумились, а король сказал:

— Пан маршал, нам не бокала жаль, а вашей головы... Очень она нам нужна!

— Что мне сокровища и драгоценности, если я имею высокую честь принимать ваше величество в своем доме. Да здравствует король Ян Казимир! — воскликнул

³⁷ Я последний! (лат.).

маршал.

Дворецкий подал ему другой бокал.

— Виват! Виват! Виват! — гремело без конца.

С криками смешивался звон разбитого стекла. Только епископы не последовали примеру маршала, ибо им не позволял их сан.

Папский нунций, который не знал этого обычая разбивать бокалы о голову, наклонился к сидевшему рядом епископу познанскому и сказал:

— Господи боже, я просто изумляюсь... В вашей казне пустота, а ведь за один такой бокал можно бы сформировать два прекрасных полка!

— Так у нас всегда, — ответил, кивая головой, епископ познанский. — Как начнут веселиться, так меры ни в чем не знают!

А веселье все росло. Под конец пира в окна замка блеснуло яркое зарево.

— Что это? — спросил король.

— Ваше величество, прошу пожаловать на зрелище, — сказал маршал.

И, слегка пошатываясь, он повел короля к окну. Глазам их предстало чудесное зрелище. Весь двор был освещен, как днем. Несколько десятков бочек со смолой бросали желтоватый блеск на мостовую, тщательно очищенную от снега и усыпанную еловыми ветками. Кое-где голубоватым огнем горели бочки со спиртом; в некоторые из них насыпали соли, чтобы сделать огонь красным.

Началось зрелище: сначала рыцари на всем скаку срубали головы с чучел, гонялись друг за другом и бились на саблях; потом огромные овчарки травили медведя; потом какой-то горец, похожий на Самсона, подбрасывал мельничный жернов и ловил его на лету. И только полночь положила конец этим увеселениям.

Так принимал короля коронный маршал, хотя шведы были еще в стране.

XXVI

Несмотря на пиры, на приезд новых сановников, рыцарей и шляхты, добрый король не забыл своего верного слугу, который защищал его с таким мужеством в горном ущелье, и на другой день по прибытии в Любомлю навестил раненого Кмицица. Он застал его уже в полном сознании и почти веселым, у него не было ни одной серьезной раны, он был только бледен от сильной потери крови.

При виде короля он поднялся на постели и ни за что не хотел лечь, хотя король на этом настаивал.

— Государь, — сказал он, — через два дня я поеду далее, так как чувствую себя почти здоровым.

— Но тебя порядочно потрепали! Неслыханное дело — броситься одному на стольких!

— Это мне не в первый раз. По-моему, хорошая сабля и решительность — первое дело. На моей шкуре столько ран, что их не сосчитать. Уж, видно, такое мое счастье!

— Ты не можешь жаловаться на свое счастье, так как сам бросаешься туда, где раздают не только раны, но и смерть! Давно ли ты с войной так освоился? Где ты раньше отличался?

Лицо Кмицица на минуту окрасилось легким румянцем.

— Государь, — сказал он, — ведь это я некогда налетал на отряды Хованского, когда все уже опустили руки. За мою голову была назначена награда!

— Послушай, — прервал его король, — в ущелье ты мне сказал одно странное слово, но я подумал, что ты в горячке и бредишь. Теперь ты опять говоришь, что воевал с Хованским. Кто ты такой? Неужели в самом деле ты не Бабинич? Мы отлично знаем, кто налетал на Хованского!

Наступило молчание. Наконец молодой рыцарь поднял свое исхудалое лицо и

проговорил, бледнея и закрывая глаза:

— Нет, государь, я тогда не бредил и сказал правду... Я — Андрей Кмициц, оршанский хорунжий...

Кмициц прикрыл глаза и побледнел.

Король ни слова не мог проговорить от удивления.

— Государь, — проговорил Кмициц, — я — тот преступник, осужденный и Богом и людьми на смерть за убийства и насилия; я служил Радзивиллу и вместе с ним изменил отчизне и вам, а теперь, исколотый неприятельскими рапирами, истоптанный копытами лошадей, лежащий в постели без сил, каюсь и повторяю: «Mea culpa! Mea culpa!»³⁸ — и молю вас отечески простить меня! Я уже давно проклял мои прежние поступки и вернулся с той адской дороги на истинный путь!

И из глаз рыцаря хлынули слезы. Он дрожащими руками стал искать королевскую руку. Ян Казимир не отнял руки, но нахмурился и сказал:

— Кто в этой стране носит корону, должен иметь неисчерпаемое милосердие, и мы готовы простить тебя, тем более что ты так верно служил Ясной Горе и жертвовал своей жизнью за нас в дороге.

— Так простите, государь, и сократите мои страдания!

— Одного только мы не можем забыть: что, позоря доброе имя всего народа, ты обещался князю Богуславу схватить меня и живым или мертвым выдать шведам.

Услышав это, Кмициц, несмотря на свою слабость, вскочил с постели, схватил висевшее у изголовья распятие и с горящими глазами, с лихорадочным румянцем на щеках, едва переводя дыхание, проговорил:

— Клянусь спасением души моего родителя и матери моей, клянусь этими ранами Распятого, — это неправда! Пусть Бог меня накажет внезапной смертью и вечным огнем, если я виновен в этом. Если вы не верите мне, государь, то я сейчас же сорву с себя повязки, пусть моя кровь, которую еще оставили во мне шведы, вытечет до капли! Никогда я этого не предлагал! Подобной мысли у меня никогда и в голове не было! Ни за какие блага мира я не пошел бы на такое дело! Аминь! Этим крестом клянусь! Аминь!

Он весь дрожал от волнения и лихорадки.

— Значит, князь солгал? — с изумлением спросил король. — Но зачем и с какой целью?

— Да, государь, солгал! Это его адская месть за то, что я сделал!

— Что же ты сделал?

— Я схватил его на глазах его приближенных и войска и хотел связанного бросить к ногам вашего величества.

Король провел рукой по лбу.

— Странно, — сказал он. — Я верю тебе, но не понимаю. Как же так? Ты служил Янушу, а похитил Богуслава, который был виноват перед нами меньше, и намерен был привезти его ко мне?

Кмициц хотел отвечать, но король, заметив его бледность и утомление, сказал ему:

— Отдохни, а потом расскажи все по порядку, мы верим тебе, вот наша рука!

Кмициц прижал к губам протянутую руку и некоторое время молчал, так как ему трудно было дышать. Он только с бесконечной любовью смотрел на короля.

Наконец он собрался с силами и проговорил:

— Я все расскажу. Я воевал с Хованским, но и своих не оставлял в покое. Я обижал их, отчасти по нужде, отчасти из озорства — кровь во мне играла. Моими товарищами были шляхтичи хорошего рода, но не лучше меня... В одном месте мы

³⁸ Моя вина! (лат.).

кого-нибудь зарубим, в другом подожжем, в третьем батогами высечем. Поднялись крики. Где еще неприятеля не было, на нас жаловались в суды; приговаривали нас заочно. Приговоры следовали один за другим, но я не обращал на них никакого внимания. Дьявол еще подталкивал меня перещегоолять пана Лаша, у которого шуба была подбита судебными приговорами и который все-таки стяжал себе такую славу.

— Потому что он раскаялся и умер, как подобает христианину, — заметил король.

Отдохнув, Кмициц продолжал:

— В это время умер пан полковник Билевич; это знатные люди; он завещал мне деревню и дочку. До деревни мне дела не было, так как за время войны я взял немало добычи. Кроме того, у меня столько денег, что на них можно было бы купить две таких деревни. Но когда партия моя разбрелась, я поехал на Ляуду. Там эта девушка так пришлась мне по сердцу, что я забыл обо всем на свете. Она была так чиста и добродетельна, что мне стало стыдно за все мои прежние поступки. Она из врожденного отвращения к греху начала меня уговаривать бросить прежний образ жизни, вознаградить, по возможности, обиженных и начать новую жизнь.

— И ты последовал ее совету?

— О нет, государь. Хотя, правда, я хотел, видит Бог, хотел... Но старые грехи всегда ведут человека к новым. В Упите побили моих солдат, и я сжег город!

— Боже мой! Да ведь это уголовное преступление! — воскликнул король.

— Это еще ничего. Затем ляуданская шляхта перерезала моих товарищей, храбрых кавалеров, хотя и озорников. Я не мог не отомстить и в ту же ночь напал на «застенок» Бутрымов и наказал их за смерть товарищей огнем и мечом. Но меня разбили, так как шляхты там было много. Я должен был скрыться. Невеста моя и смотреть на меня не хотела, — эта шляхта была ее опекунами по завещанию. А у меня сердце так и рвалось к ней, хоть головой о стену бейся. Без нее я не мог жить и, собрав новую партию, похитил ее вооруженной силой.

— А чтоб тебя... И татары делают то же самое!

— Сознаюсь, это было дело нехорошее. Но зато Бог наказал меня рукой Володыевского. Он собрал шляхту, отнял девушку, а меня так изрубил, что я чуть-чуть Богу душу не отдал. И было бы это для меня лучше, ибо тогда я не пристал бы к Радзивиллу на погибель вашу, государь, и отчизны. Но как мне было поступить иначе? Начинался новый процесс. Тюрьма, казнь! Я уже сам не знал, что делать, как вдруг на помощь явился виленский воевода.

— Он защитил тебя?

— Он прислал мне с Володыевским письмо, в котором брал меня под свою защиту, и я мог не бояться судов. Я ухватился за воеводу, как утопающий за соломинку. Я тотчас набрал целый полк отчаянных забияк, известных во всей Литве. Во всем войске гетмана не было полка лучше. Я привел его в Кейданы. Радзивилл принял меня, как сына, вспомнил свое родство со мной через Кишек и обещал меня защитить. Он имел на меня виды: ему нужны были головорезы, готовые на все, а я, в простоте души, сам полез в западню. Прежде чем открылись его замыслы, он заставил меня поклясться, что я не оставлю его ни в каком случае. Думая, что дело идет о войне со шведами или с русскими, я дал клятву охотно. Наконец наступил тот страшный пир, на котором был подписан кейданский договор. Измена была явная. Некоторые полковники бросили свои булавы под ноги гетману, а я был связан клятвой и не мог оставить Радзивилла.

— А нам разве не присягали на верность те, которые впоследствии отреклись от нас? — с грустью сказал король.

— Но я, хотя и не бросил булавы, не хотел помогать изменникам. Сколько я выстрадал, государь, одному Богу известно! Я корчился от боли, словно меня жгли каленым железом, ибо и девушка моя, хотя с ней я помирился после похищения,

назвала меня изменником, презирала меня, как гадину. А я поклялся не покидать Радзивилла! О, она, государь, хотя и женщина, но уму ее позавидует и мужчина, И верна она вам, как никто!

— Да благословит ее Бог за это! — воскликнул король. — За это я ее люблю.

— Она думала обратить меня в защитника отчизны, но когда увидела, что все ее труды пропали даром, то возненавидела меня так же сильно, как прежде любила. А Радзивилл позвал меня к себе и стал убеждать. Он доказал мне, как дважды два четыре, что только так и можно спасти погибающую отчизну. Я не могу повторить его доводов, но они убедили бы и человека во сто раз мудрее меня, а обо мне и говорить нечего. Я тогда ухватился за него обеими руками, — я думал, что все слепы, и только он один видит истину; все грешны, только он один честен. И я готов был броситься за него в огонь, как теперь за ваше величество, ибо ни любить, ни ненавидеть я наполовину не умею!

— Вижу, что это так, — заметил Ян Казимир.

— Много услуг оказал я ему, — угрюмо проговорил Кмициц, — и могу сказать, что если б не я, то измена его не дала бы ядовитых плодов — войско изрубило бы его. Драгуны, венгерская пехота и легкоконные полки напали уже на шотландцев, но явился я с моим отрядом и разгромил их мигом. Только один Володыевский убежал из тюрьмы и с большой храбростью и ловкостью провел своих ляуданцев на Полесье, чтобы там соединиться с Сапегой. Там собралось немало беглецов, но сколько хороших солдат погибло благодаря мне, одному Богу известно! Я вам, как на исповеди, говорю всю правду. Затем, проходя на Полесье, пан Володыевский схватил меня и хотел расстрелять. Мне едва удалось вырваться из его рук благодаря письмам, которые нашли при мне и из которых явствовало, что, когда они были еще в тюрьме, князь хотел их расстрелять, а я за них заступился. Меня отпустили, и я вернулся к Радзивиллу. Мне было там очень тяжело, не раз я болел душой за действия князя, ведь у него нет ни совести, ни чести, ни стыда. И я начал говорить ему правду в глаза. Он не мог больше выносить моей дерзости и отослал меня с письмами.

— Странные вещи ты говоришь, — сказал король. — По крайней мере, мы знаем все теперь от человека, видевшего все своими глазами и принимавшего во всем большое участие.

— Да, большое участие! — ответил Кмициц. — Я с радостью взялся за это поручение, так как мне не сиделось на месте. В Пильвишках я встретился с князем Богуславом. О, если бы он снова попался мне в руки, я бы ему отплатил за его клевету... Я не только ничего ему не предлагал, ваше величество, но именно там я обратился на истинный путь, увидев всю бессовестность этих еретиков!

— Продолжай говорить все, как было. Нам говорили, что князь Богуслав только по необходимости шел за своим братом! — сказал король.

— Он, государь?! Да он хуже Януша! Разве не в его голове зародилась мысль об измене? Не он ли первый искушал гетмана и обещал ему корону? Тот, по крайней мере, притворялся, прикрывался благом отчизны, а Богуслав, считая меня архиподлецом, сразу открыл мне свою душу. Даже повторять страшно, что он говорил. «Вашу Речь Посполитую, — говорил он, — рано или поздно, черти возьмут, это кусок красного сукна... Мы не только не станем защищать ее, но и постараемся сами оттащить конец этого сукна, чтобы что-нибудь осталось у нас в руке. Литва достанется нам, а после князя Януша корона перейдет ко мне вместе с его дочерью». Король даже закрыл рукой глаза.

— О господи! — сказал он. — Радзивиллы, Радзейовский, Опалинский... Как же могло случиться то, что случилось? Им нужна была корона, а для этого они готовы были разорвать то, что связал Бог!

— Остолбенел и я, ваше величество, а чтобы с ума не сойти, велел вылить себе

на голову несколько ведер воды. Но в то же время душа моя словно переродилась. Я сам испугался того, что наделал. Я не знал, что предпринять: пырнуть ли ножом Богуслава или самого себя? Я метался, как дикий зверь в западне. И уже не служил Радзивиллам, а мстить им хотелось мне теперь. Но вдруг мне Бог внушил одну мысль: я пошел к князю Богуславу в сопровождении нескольких своих людей, сманил его за город, схватил за шиворот и хотел везти его к конфедератам, чтобы ценой его головы купить себе право служить вместе с ними вашему величеству.

— Я все тебе прощаю, — воскликнул король, — тебя обманули, но ты хорошо отплатил! Один Кмициц мог решиться на такой шаг, и больше никто! Я все тебе прощаю от чистого сердца! Говори скорее, ибо я сгораю от любопытства: он убежал?

— На первой же остановке выхватил у меня из-за пояса пистолет и выстрелил мне прямо в лицо. Вот шрам! Перебил моих солдат и сам ушел... Это знаменитый рыцарь, трудно отрицать... Но мы еще встретимся и тогда увидим, чей последний час пробил!

Кмициц в волнении стал теребить одеяло, но король спросил быстро:

— И он, чтобы отомстить тебе, написал мне это письмо?

— Чтобы отомстить, написал письмо. Рана моя скоро зажила, но душа болела. К Володыевскому, к конфедератам мне нельзя было идти, так как ляуданцы изрубили бы меня в куски... Но, зная, что гетман намерен выступить против них, я предупредил их, чтобы они держались вместе. И это был мой первый добрый поступок. Иначе Радзивилл разбил бы их поодиночке, а теперь они его одолели и осадили. Дай им, Боже, счастья, а изменнику Радзивиллу пошли кару!

— Может быть, это уже и случилось, а если нет, то случится, — заметил король. — Что же ты делал потом?

— Я решил, раз мне нельзя было служить вместе с конфедератами вашему величеству, отправиться к вам и верностью своей искупить прежние грехи. Но как? Кто бы принял Кмицица? Кто бы ему поверил и не назвал изменником? И я назвался Бабинином, проехал всю Речь Посполитую и явился в Ченстохов. Оказал ли я там какие-нибудь услуги, пусть скажет ксендз Кордецкий. Ни днем ни ночью я не переставал думать о том, как бы вознаградить отчизну за причиненный ей вред, кровь пролить за нее и смыть со своего имени позор. Остальное вы знаете, государь, ибо видели. И если вы, по доброте сердца вашего, можете, — если моя новая служба хоть частью искупила прежние грехи, — то возвратите мне ваше благоволение, ибо все от меня отступились и никому я, кроме вас, не нужен. Вы один, государь, видите мои слезы и раскаяние. Я — насильник, я — изменник, я — клятвопреступник, но я, государь, люблю отчизну и вас! И Бог видит, что я хочу служить вам обоим!

Слезы полились из глаз молодого рыцаря, и он разрыдался. А король склонился над ним, поцеловал его в лоб, стал гладить по голове и утешать:

— Ендрек! Я тебя люблю, как родного сына! Что я тебе говорил? Ты согрешил по неведению, а сколько людей грешат с умыслом! Я от души прощаю тебе все, так как ты искупил свои грехи. Успокойся, Ендрек! Другой бы гордился такими заслугами! И я прощаю, и отчизна прощает... Мы еще будем твоими должниками. Перестань плакать.

— Да вознаградит вас Бог за вашу доброту, государь! — сказал со слезами рыцарь. — Ведь мне и так придется отсидеть в чистилище за клятву, данную Радзивиллу. Хотя я и не знал, в чем клянусь, но клятва — клятвой!

— Бог не осудит тебя за нее, — ответил король, — иначе ему придется пол Речи Посполитой в ад отправить, всех, кто нарушил присягу...

— И я так полагаю, ваше величество, что в ад не попаду, за это мне и ксендз Кордецкий ручался, хотя не был уверен, минует ли меня чистилище... А тяжело ведь потеть там лет сто... Ну да пусть и так! Человек многое вынесет, если есть у него надежда на спасение, к тому же и молитвы могут помочь и сократить мучения.

— Уж ты не бойся, — сказал Ян Казимир. — Я попрошу самого нунция отслужить за тебя молебен. При таком покровительстве ты в обиде не будешь. Уповай на милосердие Божье!

Кмициц улыбнулся сквозь слезы:

— Бог даст, выздоровею, тогда не одного шведа на тот свет отправлю, а это не только на небе будет зачтено, но и земную славу исправит.

— Ты уж о земной славе не заботься. Мое дело позаботиться, чтобы тебе было воздано по заслугам. Настанет спокойное время, я сам напомню о твоих заслугах — они уж и теперь не малы, а будут еще больше.

— Как только настанет спокойствие, государь, меня по судам таскать начнут, а от них меня не защитит и слово вашего величества. Ну да это пустое... Я не сдамся, пока у меня сабля в руках. А вот девушка-то моя... Оле нькой ее зовут, государь... Давно я ее не видел... Немало настрадался без нее и через нее, и хоть порой хочется забыть о ней, хоть и борешься с любовью, как с медведем, да не тут-то было: не одолеть.

Король рассмеялся добродушно и весело.

— Чем же я могу помочь тебе в этом деле, бедненький? — спросил он.

— Кто же поможет, если не вы, ваше величество? Эта девушка ваша сторонница ярая и никогда не простит мне кейданских проделок, разве только вы, ваше величество, сами будете ходатайствовать за меня перед нею и сами засвидетельствуете, что я переменялся и вернулся на службу отчизне по собственной воле, а не по принуждению, влекомый раскаянием.

— Если дело только в этом, то я все сделаю, и если она моя сторонница, как ты говоришь, то я надеюсь на успех. Только бы она была свободна и только бы с ней не случилось какого-нибудь несчастья, что очень возможно в военное время.

— Ангелы небесные сохраняют ее!

— Она этого и стоит! А чтобы тебя не таскали по судам, ты поступишь так: вскоре начнется комплектование войска; так как на тебе тяготеют судебные приговоры, я не могу дать тебе разрешительной грамоты набирать полки как Кмицицу, но дам как Бабиничу. Ты наберешь полки, что будет и на пользу отчизне. Я знаю, что ты солдат опытный и весь — огонь. Ты станешь под знамена каштеляна киевского и под его командой или сложишь голову, или покроешь свое имя славою. В случае надобности, будешь сам теревить шведов, как теревил Хованского. Твое исправление и добрые дела начались с той минуты, когда ты назвался Бабиничем... Продолжай же так называться, и суды оставят тебя в покое. А когда как солнце, засияешь славою, когда слух о ней распространится по всей Речи Посполитой, тогда пусть люди узнают, кто этот славный кавалер. Тогда людям стыдно будет таскать по судам такого доблестного рыцаря. И я еще раз тебе повторяю, что буду до небес превозносить твои заслуги перед сеймом и просить для тебя награды, ибо в наших глазах ты ее стоишь.

— Ваше величество, я не заслужил такой милости!

— Больше многих других, которые на нее рассчитывают. Ну не тужи, мой рыцарь, думаю я, что твоя суженая к тебе вернется, а там, глядишь, и у меня прибавится защитников...

Несмотря на свою слабость, Кмициц вскочил с постели и пал к ногам короля.

— Господи боже! Что ты делаешь?! — воскликнул король. — Кровью истечешь! Эй, кто там... люди! Сюда!

В комнату вбежал сам маршал, который давно уже искал короля по всему замку.

— Боже! Что я вижу? — воскликнул маршал при виде короля, поднимавшего собственными руками бесчувственного Кмицица.

— Это пан Бабинич, — сказал король, — мой солдат и верный слуга, который вчера спас мне жизнь. Помогите мне, пане маршал, положить его на постель!

Из Любомли король поехал через Дукли, Кросну и Ланцут во Львов в сопровождении маршала коронного, многих епископов, сановников и сенаторов и с придворными полками. Как могучая река, протекая через страну, вбирает в себя воды всех притоков, так и королевский отряд увеличивался с каждым днем. К нему по дороге присоединялись магнаты, вооруженная шляхта, солдаты и целые толпы вооруженных крестьян, особенно ненавидевших шведов.

Движение сделалось всеобщим, и его мало-помалу приводили в порядок. Вскоре появились грозные универсалы, посланные из Сонча: один от Константина Любомирского, маршала рыцарского сословия, а другой от Яна Велепольского, каштеляна войницкого; они призывали шляхту ко всеобщему ополчению; уклоняющимся грозили наказаниями по законам. Королевский манифест дополнил эти универсалы и поднял на ноги самых ленивых.

Но эти угрозы были излишни, так как небывалое одушевление охватило все сословия. На коней садились все, от мала до велика. Женщины отдавали на общее дело свои драгоценности и даже сами рвались в бой.

В кузницах цыгане целые дни стучали молотами и ковали оружие. Деревни и местечки опустели, так как все мужчины ушли на войну. С горных вершин спускались в долины полчища диких горцев. Силы короля росли не по дням, а по часам.

Навстречу королю выходило духовенство с крестами и хоругвями, выходили еврейские кагалы с раввинами во главе. Отовсюду шли вести одна другой благоприятнее. Рвалось в бой не только одно население края, не занятого неприятелем. Повсюду, в самых отдаленных землях, в городах, деревнях, посадах, в непроходимых пущах, люди готовились к страшной войне. Чем ниже недавно пал народ, тем выше поднимался он теперь, возрождался духом и в героическом подъеме не колебался разрывать собственные раны, чтобы очистить кровь от ядовитых соков.

Все громче говорили теперь о каком-то мощном союзе между шляхтой и войском, во главе которого должны были стать: великий гетман Ревера Потоцкий, польный гетман Ланцкоронский — воевода русский, каштелян киевский — пан Стефан Чарнецкий, воевода витебский — Павел Сапега, князь-кравчий литовский — Михаил Радзивилл, который стремился смыть с имени Радзивиллов позорное пятно, брошенное Янушем, пан Христофор Тышкевич, воевода черниговский, и много других сенаторов и сановников, военных и шляхты.

Ежедневно обменивались они письмами с паном маршалом коронным, который не хотел, чтобы этот союз состоялся без его участия. Каждый день приходили все более достоверные известия. Наконец стало известно, что гетманы, а с ними и войска, оставили шведов, и для защиты короля и отчизны состоялась Тышовецкая конфедерация.

Король также знал о ней раньше, так как оба они с королевой, даже будучи в изгнании, немало поработали над образованием конфедерации; но, не будучи в состоянии лично участвовать в ней, они с нетерпением ждали известий об ее успехе.

Не успел король доехать до Львова, как к нему прибыли пан Служевский и пан Домашевский, судья луковский, и передали ему уверения в преданности конфедератов и акт союза, для скрепления.

Акт этот король прочитал на общем совете епископов и сенаторов. Сердца всех наполнились радостью, души пылали благодарностью Господу, ибо эта достопамятная конфедерация свидетельствовала о том, что опомнился тот народ, о котором неприятель еще недавно мог сказать, что нет у него ни религии, ни любви к отчизне, ни совести, ни порядка, ни постоянства. Свидетельство всех этих

добродетелей лежало теперь перед королем. Акт заключал в себе обвинения против Карла-Густава в вероломстве, клятвопреступлении, в нарушении обещаний, в жестокости его генералов и солдат, в осквернении храмов, в грабежах, притеснениях и пролитии невинной крови и объявлял шведам войну не на жизнь, а на смерть. Универсал, грозный, как трубы Судного дня, созывал ополчение во всей стране, и не только рыцарства, но и всех сословий Речи Посполитой. «Даже лишенные чести и осужденные судом повинны идти на войну», — говорилось в универсале. Рыцарство должно было садиться на коней и поставить пехоту из крестьян, всякий по мере сил.

«Понеже в государстве нашем *aeque bona et mala*³⁹ принадлежат всем, то все должны делить и опасности. Посему всякий, кто именует себя шляхтичем, будь он оседлый или не оседлый, — со всеми сыновьями своими повинен идти на войну против врагов Речи Посполитой. Ввиду же того, что шляхта, как высшего, так и низшего происхождения, пользуется равными правами и привилегиями, то будем же равны и в том, чтобы всем нам идти на защиту наших свобод и отчизны нашей».

Так понимал равенство и привилегии шляхты этот универсал. Король, епископы и сенаторы, которые давно уже лелеяли в душе мысль о реформах в Речи Посполитой, с радостным изумлением убедились, что народ созрел уже для таких реформ, что он готов вступить на новый путь, очиститься от ржавчины и плесени и начать новую, блестящую жизнь.

«Открываем притом всем низшим сословиям Речи Посполитой возможность достижения путем личных заслуг привилегий и прав, коими пользуется сословие шляхетское», — говорилось в универсале.

Когда на королевском совете прочли это место универсала, в зале воцарилась глубокая тишина. Те, кто вместе с королем хотел открыть людям низшего происхождения путь к правам шляхетства, думали, что им придется еще немало бороться, немало ждать, прежде чем можно будет выступить с подобным предложением; между тем та самая шляхта, которая всегда так ревниво оберегала свои права, сама открывала низшим сословиям путь к этим правам.

Встал князь-примас и в каком-то пророческом вдохновении произнес:

— За то, что вы поместили этот пункт, ваши потомки будут славить вашу конфедерацию во веки веков. И если кто захочет считать настоящее время временем упадка нравов, тогда ему укажут на вас!

Ксендз Гембицкий был болен и говорить не мог, он только благословлял дрожащей от волнения рукой акт и послов.

— Я уже вижу, как неприятель со стыдом уходит из нашей земли! — сказал король.

— Дай бог, поскорее! — воскликнули оба посла. Король обратился к послам:

— Вы, ваць-панове, поедете с нами во Львов, где мы тотчас скрепим эту конфедерацию и где не замедлим заключить еще другую, коей не смогут одолеть силы адовы!

Послы и сенаторы стали переглядываться друг с другом, точно спрашивая, о каком союзе говорит король; но король молчал, и только лицо его сияло все больше. Он снова взял акт в руки, снова прочел и улыбнулся.

— А много ли было оппонентов? — спросил он.

— Ваше величество, — отвечал пан Домашевский, — эта конфедерация принята единогласно, благодаря гетманам, витебскому воеводе и пану Чарнецкому, и против нее не поднялся ни один шляхтич, ибо все ненавидят шведов и пылают любовью к отчизне и вашему величеству.

— Кроме того, мы объявили заранее, — прибавил пан Служецкий, — что это не

³⁹ Равно блага и недостатки (*лат.*).

сейм, и дело будет решено большинством, а потому никакое «veto»⁴⁰ не могло бы помешать делу, а оппонентов мы изрубим саблями. К тому же все говорили, что надо покончить с «liberum veto»⁴¹, ибо при нем одному — воля, а многим — неволя.

— Святая истина! — заметил примас. — Только бы стала на этот путь Речь Посполитая, и тогда нас никто не устрасит.

— А где теперь витебский воевода? — спросил король.

— Еще ночью после подписания акта он уехал в Тыкоцин, где осаждает изменника воеводу виленского. Теперь он, должно быть, уже взял его живым или мертвым.

— Он был так уверен, что возьмет?

— Он был уверен, что так будет. Все, даже вернейшие слуги, оставили изменника. Его защищает горсть шведов; а помощи ему ждать неоткуда. Пан Сапега говорил в Тышовцах так: «Я хотел выехать днем позже, тогда бы я уже покончил с Радзивиллом к вечеру. Но это дело важнее, чем Радзивилл, его и без меня могут взять — довольно одного полка».

— А где паны гетманы?

— Паны гетманы с нетерпением ждут приказаний вашего величества, а тем временем оба сносят о планах будущей войны с Замостью, со старостой калуским, и к ним полки так и идут со всех сторон.

— Значит, все бросают шведов?

— Да, государь! К панам гетманам являлась депутация от войска пана Конецпольского, которое еще на стороне Карла-Густава. Кажется, и они намерены вернуться к долгу присяги, несмотря на то что Карл-Густав не жалеет для них ни обещаний, ни ласк. Депутаты говорили, что они не могут сейчас оставить его, но при первом удобном случае сделают это, так как им надоели все эти любезности Карла. Они еле могут выдержать!

— Слава богу, все уже опомнились! — сказал король. — Это самый счастливый день в моей жизни, а другой настанет тогда, когда последний неприятель уйдет из границ Речи Посполитой.

— Сохрани бог, государь, чтобы это случилось! — воскликнул Домашевский.

— Почему? — спросил удивленный король.

— Чтобы последний швед ушел из Речи Посполитой на собственных ногах? Не бывать этому! А зачем же у нас сабли?

— А чтоб вас! — воскликнул развеселившийся король. — Молодец!

Но пан Служебский, не желая отставать от пана Домашевского, воскликнул:

— Никто этого не допустит, и я первый крикну: «Veto!» Мы не удовлетворимся их уходом, а сами пойдем за ними.

Князь-примас покачал головой и сказал добродушно:

— Ну загадывать нечего: неприятель еще в отчизне!

— Ненадолго! — крикнули оба конфедерата.

— Души изменились, изменится и судьба! — слабым голосом сказал Гембицкий.

— Вина! — крикнул король. — Я хочу выпить с конфедератами за эту перемену!

Вино подали, но вместе со слугами, которые его внесли, вошел королевский камердинер и сказал:

— Ваше величество, из Ченстохова приехал пан Криштопорский и желает поклониться вашему величеству.

— Давай его сюда! — воскликнул король.

⁴⁰ Буквально: запрещаю (*лат.*).

⁴¹ Свободным вето (*лат.*).

Вскоре вошел худой, высокий шляхтич, смотревший исподлобья. Он прежде всего упал в ноги королю, потом не без надменности поклонился сановникам и проговорил:

— Да славится имя Господне!

— Во веки веков! — ответил король. — Что у вас слышно?

— Мороз страшный, ваше величество, усы к щекам примерзают.

— Говори о шведах, а не о морозе! — воскликнул король.

— Да что о них говорить, ваше величество, когда их под Ченстоховом нет! — отрубил Криштопорский.

— И мы уже слышали об этом, — ответил обрадованный король, — но только не от очевидцев, а ты, верно, из самого монастыря, очевидец и защитник?

— Так точно, ваше величество, — защитник и очевидец чудес Пресвятой Девы.

— Бесконечны милости ее, — сказал король, поднимая глаза к небу, — только надо заслужить их!

— Я многое видел на своем веку, а таких явных чудес никогда не видал; но обо всем этом вы узнаете из письма настоятеля Кордецкого к вашему величеству.

Ян Казимир схватил письмо, которое ему подал Криштопорский, и стал читать. Он прерывал чтение, молился и снова начинал читать — лицо его сияло; наконец, посмотрев в глаза Криштопорскому, он спросил:

— Ксендз Кордецкий пишет, что вы лишились славного кавалера, некоего Бабинича, взорвавшего шведское осадное орудие.

— Он пожертвовал ради нас своей жизнью, государь! Но есть люди, которые говорят, будто он жив, и бог знает чего не рассказывали о нем. Не имея уверенности, мы все же не перестаем его оплакивать, ибо если бы не его геройский подвиг, то нам пришлось бы совсем плохо.

— Тогда перестаньте оплакивать его! — сказал король. — Бабинич жив и находится с нами. Он первый дал нам знать, что шведы намерены отступить от Ясной Горы. А затем оказал нам столь важные услуги, что мы сами не знаем, чем наградить его.

— Вот ксендз Кордецкий обрадуется! — радостно воскликнул шляхтич. — Отец сына не может так любить, как он его любил. Позвольте и мне, государь, повидать пана Бабинича, ибо другого такого храбреца нет в Речи Посполитой.

Но король продолжал читать письмо и вдруг воскликнул:

— Что я слышу? Неужели шведы, отступив от монастыря, опять пытались взять его?

— Мюллер ушел и больше не показывался, но вдруг неожиданно появился Вжещович, должно быть, в надежде, что монастырские ворота открыты. Действительно, ворота были открыты, но крестьяне набросились на него с такой яростью, что он обратился в постыдное бегство. С начала мира не было примера, чтобы крестьяне в открытом поле так храбро сражались с конницей. Им на помощь подоспел пан Петр Чарнепкий и Кулеша, которые совершенно уничтожили отряд.

Король обратился к сенаторам:

— Смотрите, Панове, как защищают отчизну и веру бедные пахари!

— Да, ваше величество, защищают! — воскликнул Криштопорский. — Целые деревни под Ченстоховом пусты, ибо мужики с косами вышли в поле на шведов. Везде война страшная: шведы должны держаться вместе, а то если мужики поймают какого шведа, то так потешатся над ним, что тот предпочтет сразу в ад отправиться. Но кто же во всей Речи Посполитой не берется за оружие? Зачем, чертовы дети, на Ченстохов руку подняли! Не сидеть им больше тут!

— Отныне не будут знать никаких притеснений те, кто защищает отчизну собственной кровью! — торжественно сказал король. — В том помоги мне Бог!

— Аминь! — закончил примас. Криштопорский вдруг ударил себя рукой по лбу.

— Мороз отшиб у меня память, ваше величество, — сказал он, — я забыл сообщить еще одну новость. Воевода познанский — чтоб ему ни дна ни покрывки! — внезапно умер...

Но вдруг пан Криштопорский спохватился, что в присутствии короля и сановников осмелился так говорить о сенаторе; желая поправиться, сказал:

— Я хотел оскорбить не звание, но изменника.

Но на это никто не обратил внимания, так как взоры всех были обращены на короля, который проговорил:

— Мы давно, еще при жизни пана Опалинского, предназначили Познанское воеводство пану Яну Легдинскому. Вижу, суд Божий уже начался над теми, кто довел до упадка отчизну. Быть может, в эту минуту и виленский воевода отдает уже отчет о своих деяниях пред лицом Божиим...

Тут король обратился к сенаторам и епископам:

— Нам пора подумать о будущей войне, и я намерен по этому поводу выслушать ваше мнение.

XXVIII

В ту минуту, когда король, точно в пророческом провидении, говорил, что виленский воевода, быть может, стоит уже перед судом Всевышнего, тыкоцинский вопрос был уже решен.

25 декабря воевода витебский, Сапега, был так уверен во взятии Тыкоцина, что, поручив ведение дальнейшей осады пану Оскерке, сам уехал в Тышовец. С генеральным штурмом он велел подождать до его возвращения.

Созвав старших офицеров, он обратился к ним со следующими словами:

— До меня дошли слухи, что в войске существует намерение тотчас по взятии замка изрубить саблями князя-воеводу виленского. И вот, если замок сдастся во время моего отсутствия, что очень возможно, я строго запрещаю вам посягать на жизнь князя. Правда, я получаю письма от многих высокопоставленных особ, в которых меня просят не щадить князя, но я не хочу слушать таких просьб. Я делаю это не из жалости, ибо изменник этого заслуживает, но я не имею права лишать его жизни, я хочу препроводить его на суд сейма, чтобы показать потомству, что ни знатность происхождения, ни богатство, ни сан не могут помочь изменнику избежать суда и справедливой кары.

Так говорил воевода, и говорил долго, потому что, несмотря на все его прекрасные качества, у него была слабость считать себя великим оратором, и при всяком удобном случае он любил говорить речи, с наслаждением вслушиваясь в собственные слова и, в наиболее возвышенных местах, прищуривая глаза.

— В таком случае мне придется хорошенько вымочить правую руку в воде, — заметил Заглоба, — уж очень она у меня чешется. Я думаю только, что, если бы я попался в руки Радзивилла, он бы, наверное, не продержал меня в живых до захода солнца. Он отлично знает, кто был главным виновником того, что его оставило войско, и кто поссорил его со шведами. Но я не знаю, почему мне быть к нему снисходительнее, чем он ко мне?

— Потому что начальство над войском принадлежит не вам и вы должны слушаться, — твердо ответил воевода.

— Что я должен слушаться, это правда, но хорошо иногда и Заглобу послушать... Я смело могу сказать, что если бы Радзивилл меня послушался, то не сидел бы теперь в Тыкоцине, а был бы в поле во главе всех литовских войск.

— Значит, вы находите, что булава в плохих руках?

— Этого не могу сказать, ибо я сам вручил ее вам. Наш милостивый король Ян Казимир может только подтвердить мой выбор.

Воевода улыбнулся, так как очень любил Заглобу и его шутки.

— Пане-брате, — сказал он, — вы погубили Радзивилла, вы сделали меня гетманом, все это — ваши заслуги. Позвольте же мне теперь спокойно уехать в Тышовец, пусть и Сапега окажет какую-нибудь услугу своей отчизне.

Пан Заглоба на минуту призадумался, потом подбоченился, кивнул головой и сказал с важностью:

— Уезжайте спокойно, ваша милость.

— Награди вас Бог за позволение, — сказал воевода и расхохотался.

А за ним рассмеялись и все офицеры. Воевода стал собираться в путь, так как коляска уже ждала его под окнами. Прощаясь со всеми, он делал разные распоряжения, наконец, подойдя к пану Володыевскому, сказал:

— Если замок сдастся, вы мне отвечаете за неприкосновенность князя.

— Слушаюсь! — ответил маленький рыцарь. — Ни один волос не упадет у него с головы!

— Пан Михал, — сказал Володыевскому Заглоба после отъезда воеводы, — какие это особы упрашивают Сапегу не щадить Радзивилла?

— А я почему знаю! — ответил тот.

— Ты хочешь сказать, что, чего тебе чужой язык не подскажет, до того ты собственным умом не дойдешь. Это правда! Но, должно быть, это какие-то важные лица, если они могут приказывать воеводе?

— Может быть, король?

— Король? Да король такой добряк, что, если его собака укусит, он ее приласкает и прикажет угостить колбасой.

— Не буду спорить, но говорят же, что он очень сердит на Радзейовского.

— Во-первых, рассердиться может всякий, — например, я сердит на Радзивилла. А во-вторых, как же он сердится на Радзейовского, если взял под свое покровительство его сыновей. У короля золотое сердце, и думаю, что скорее королева против князя; она прекрасная женщина, слов нет, но все же женщина, а ты знай, что если женщина на тебя рассердится, то от нее не скроешься и в щель, она тебя и оттуда иглой выковырнет.

Володыевский вздохнул и ответил:

— За что же на меня женщинами сердиться, если я ни одной из них ничего худого не сделал?

— Но хотел бы сделать, хотел! Ты ведь хоть и в коннице служишь, а с таким пылом лезешь на тыкоцинские стены вместе с пехотой, потому что думаешь, будто там сидит не только Радзивилл, но и панна Биллевич. Знаю я тебя! Ты все еще не выкинул ее из головы?

— Было время, когда я совсем ее из головы выкинул, и сам Кмициц, если бы он здесь был, должен был бы признать, что я поступил по-рыцарски, не желая насиловать ее чувства и предпочитая забыть свой конфуз; но теперь не скрою, что если она в Тыкоцине и мне удастся снова ее освободить, то в этом я увижу перст Божий. Я не стану больше смотреть на Кмицица, ибо я ему ничем не обязан, и надеюсь, что если он добровольно оставил ее, то она, вероятно, его забыла, и теперь дело пойдет иначе, чем тогда.

Беседуя так, они дошли до квартиры, где застали двоих Скшетуских, Роха Ковальского и арендатора из Вонсоши.

Все в войске знали, зачем пан воевода уехал в Тышовец, и рыцари радовались всей душой, что вскоре заключен будет столь важный союз в защиту отчизны и веры.

— Теперь уж не те ветры дуют в Речи Посполитой, — сказал пан Станислав, — шведам прямо в лицо!

— Они повеяли из Ченстохова, — ответил пан Ян. — Вчера получены были сведения, что монастырь все еще держится и все энергичнее отражает штурмы.

Пресвятая Дева не допустит, чтобы неприятель осквернил святое место!

Пан Жендзян вздохнул и сказал:

— Сколько сокровищ попало бы в неприятельские руки! Подумаешь об этом, так кусок поперек горла становится!

— Войска так и рвутся на штурм, и их трудно удержать, — сказал пан Михал. — Вчера полк Станкевича двинулся даже без лестниц, и солдаты говорили, что, как только покончат с изменником, сейчас же пойдут на вырубку Ченстохову.

— Да и зачем держать здесь столько войска, когда достаточно было бы и половины, — сказал Заглоба. — Это просто упорство Сапеги! Он не хочет слушаться меня, чтобы показать, что может обойтись и без моего совета. А сами вы видите, что когда одну крепость осаждает такая масса народа, то все только мешают друг другу.

— Вашими устами говорит военный опыт! — сказал пан Станислав.

— Ага! Видишь! Есть у меня голова на плечах?!

— У дяди есть голова на плечах! — воскликнул вдруг Рох и, закрутив кверху усы, стал поглядывать на всех присутствующих, точно высматривая, не осмелится ли кто-нибудь ему противоречить.

— Но и у пана Сапеги есть голова на плечах, — сказал пан Ян Скшетуский, — и если здесь стоит столько войска, то потому, что он опасается, как бы на вырубку брату не пришли войска Богуслава.

— Тогда послать два полка опустошать Пруссию! — сказал Заглоба. — Да созвать добровольцев из крестьян. Я бы первый пошел попробовать прусского пива.

— Зимой пиво хорошо только подогретое! — сказал пан Михал.

— Тогда дайте вина, горилки или меду! — ответил Заглоба.

Другие тоже не прочь были выпить. Жендзян засуетился, и вскоре на столе появилось несколько кувшинов.

Увидев их, рыцари просияли и стали чокаяться и провозглашать тосты.

— За здоровье их величеств короля и королевы! — поднял свой бокал Скшетуский.

— И тех, кто верой и правдой служит государю! — прибавил Володыевский.

— Стало быть, наше здоровье!

— Здоровье дяди! — гаркнул пан Рох.

— Спасибо! Только пей до дна! Заглоба еще не совсем состарился. Мосци-панове, дай бог нам поскорее выкурить этого барсука из норы и тронуться под Ченстохов!

— Под Ченстохов! — крикнул Рох. — Пресвятой Деве в подмогу!

— Под Ченстохов! — воскликнули все.

— Защищать монастырские сокровища от рук нехристей, — прибавил Жендзян, — которые притворяются, будто верят в Господа Иисуса Христа, а на самом деле, как я говорил, молятся на луну, подобно псам, — в этом вся их вера!

— И они-то поднимают руку на великолепие храма Господня!

— А вот насчет ихней веры это вы правильно, — сказал Володыевский Заглобе. — Я сам слышал, как они выли на луну. Говорили потом, будто это они псалмы свои пели, но и то верно, что такие псалмы и псы распевают.

— Как так? — спросил Рох. — Неужто они все нехристи?

— Все! — с глубоким убеждением сказал Заглоба.

— И король ихний не лучше?

— Король их хуже всех! Он нарочно начал эту войну, чтобы осквернять нашу истинную веру.

Услышав это, пан Рох, сильно подвыпивший, поднялся с места.

— Если так, то не будь я Ковальский, Панове, если я в первой же битве не брошусь прямо на шведского короля. Будь с ним хоть тысячи, все равно. Либо мне сгинуть, либо ему. А уж мы померяемся! Читайте меня дураком, Панове, если я

этого не сделаю.

Сказав это, он хотел ударить кулаком по столу. Он бы, наверное, перебил при этом бокалы, кувшины и поломал бы стол, если бы пан Заглоба предусмотрительно не схватил его за руку и не сказал:

— Рох, садись и успокойся! Знай и то, что мы не тогда будем считать тебя дураком, когда ты этого не сделаешь, а тогда перестанем тебя считать дураком, когда ты это сделаешь. Ну а пока брось посуду бить, иначе я первый тебе башку разобью. О чем мы говорили, панове? Ага, о Ченстохове. Радости мне больше в жизни не знать, если мы не подоспеем вовремя в подмогу святому месту! Радости не знать, говорю я! А все из-за этого изменника Радзивилла и из-за выдумок Сапег.

— Вы воеводу не трогайте! Он хороший человек! — сказал маленький рыцарь.

— Так чего он двумя лапами Радзивилла прикрывает, когда и одной полы довольно? Чуть не десять тысяч людей у этой конуры стоит — прекраснейшей конницы и пехоты. Скоро они в замке всю сажу в трубах вылижут; что в печах было, все съели!

— Не наше дело старших судить. Наше дело служить.

— Это твое дело, пан Михал, а не мое! Меня половина войск Радзивилла выбрала своим полководцем, и я бы давно прогнал Карла-Густава за тридевять земель, если бы не моя несчастная скромность, которая велела мне вручить булаву пану Сапеге. Пусть же он бросит медлить, иначе я отниму от него то, что дал!

— Вы, только когда выпьете, такой храбрец! — сказал Володыевский.

— Ты так думаешь? Ну увидим! Сегодня же поеду к войскам и крикну: «Мосци-панове, кому неохота вытирать локти о тыкоцинские стены, прошу за мной под Ченстохов! Кто меня избрал вождем, кто дал мне власть, кто верил, что все, что я сделаю, я сделаю на благо отчизны, тот пусть станет рядом со мной». Хорошее дело наказывать изменников, но во сто крат лучше идти на защиту Пресвятой Девы и освободить ее от ига еретиков!

Тут пан Заглоба, у которого уже порядком шумело в голове, вскочил на скамью и, воображая себя перед собранием, крикнул:

— Мосци-панове, кто католик, кто поляк, кто любит Пресвятую Деву, за мной! На помощь Ченстохову!

— Иду! — отозвался Рох Ковальский, вставая из-за стола.

Заглоба взглянул на присутствующих и, видя, что все удивлены и молчат, слез со скамьи и прибавил:

— Я научу Сапегу уму-разуму! И буду последней шельмой, если завтра же не уведу половину войска в Ченстохов!

— Ради бога, опомнитесь, отец! — проговорил Ян Скшетуский.

— Шельмой буду! Помяните мое слово! — повторял пан Заглоба.

Но они испугались, как бы Заглоба действительно этого не сделал. Войска не раз роптали на медленность осады. Достаточно было бы одной искры, чтобы порох вспыхнул, особенно если бы эту искру бросила рука такого уважаемого рыцаря, как пан Заглоба. Кроме того, большая часть войска Сапеге состояла из новобранцев и, следовательно, солдат, не привыкших к дисциплине и готовых на всякие своеволия. А потому Скшетуские с Володыевским испугались, и Володыевский сказал:

— Еле удалось Сапеге собрать немного войска на защиту Речи Посполитой, как уже находятся своевольники, готовые разрознить полки, научить их непослушанию. Дорого даст Радзивилл за такой совет, ему ведь это на руку! Как вам не стыдно, ваць-пане, говорить такие вещи?!

— Шельмой буду, если этого не сделаю! — ответил Заглоба.

— Дядя это делает! — прибавил Рох Ковальский.

— Молчать, медный лоб! — крикнул на него Володыевский.

Пан Рох вытаращил глаза, замолчал и вытянулся в струнку. Тогда

Володыевский обратился к Заглобе:

— А я шельмой буду, если кто-нибудь из моего полка последует за вами. А если вы хотите войско бунтовать, то знайте, что я первый со своим полком ударю на ваших волонтеров.

— Язычник! Нечестивец! Турок! — крикнул Заглоба. — Как ты смеешь идти против защитников Пресвятой Девы?! Хорошо! Вы думаете, Панове, что он заботится о дисциплине? Или о войске? Нет! Он почуял за стенами панну Биллевич! Ради личных интересов ты готов отказаться от самого справедливого дела? Не бывать тому! Уж я позабочусь, чтобы ею занялся кто-нибудь получше тебя, хотя бы Кмициц, который нисколько не хуже тебя!

Володыевский взглянул на товарищей, как бы призывая их в свидетели причиненной ему обиды. Затем нахмурил брови, и все ожидали, что он разразится гневом, но так как он тоже немного захмелел, то вдруг расчувствовался.

— Вот мне награда, — воскликнул он, — за то, что с детских лет отчизне служу и не выпускаю сабли из рук! Ни дома у меня, ни жены, ни детей, один я одишешенек! И не такие, как я, о себе думают, а у меня, кроме ран на шкуре, ничего нет... И меня еще упрекают, что я выше всего личные дела ставлю!

И, сказав это, заплакал маленький рыцарь. Пан Заглоба сразу смягчился и, раскрывая объятия, сказал:

— Пан Михал! Обидел я тебя! Прости меня, старого подлеца, что я лучшего друга своего обидел!

Они упали друг другу в объятия, прижимали друг друга к груди. Потом снова стали пить, и, когда оба успокоились, Володыевский спросил Заглобу:

— Значит, вы не будете войска баламутить? Не подадите дурного примера.

— Нет, нет, пан Михал! Я этого не сделаю ради тебя!

— А если, Бог даст, мы возьмем Тыкоцин, то кому какое дело, чего я там ищущу? Так зачем надо мной смеяться?

Озадаченный этим вопросом, Заглоба, кусая конец уса, сказал:

— Нет, пан Михал. Я тебя очень люблю, но панну Биллевич ты выкинь из головы.

— Почему? — спросил удивленный Володыевский.

— Правда, красива она, — ответил Заглоба, — но она тебе не пара: высока ведь больно! Разве что ты на плечо ей будешь садиться, как канарейка, и выклеивать у нее изо рта сахар. Она могла бы еще носить тебя, как сокола, на руке и на неприятеля выпускать, — ты хоть и мал, зато спуску не дашь!

— Вы опять начинаете? — сказал Володыевский.

— Если начал, то позволь мне кончить... Есть только одна девушка, которая точно создана для тебя... Вот та ягодка! Не помню, как ее имя? На ней хотел жениться покойный Подбишента.

— Ануся Божобогатая-Красенская! — воскликнул Ян Скшетуский. — Ведь это прежняя любовь Михала!

— Чистое зернышко, а красива, как куколка! — сказал, облизываясь, Заглоба.

Тут пан Михал стал вздыхать и повторять то, что всегда говорил о ней:

— Где же эта бедняжка? Эх, если бы знать!

— Уж ты бы ее не выпустил, и хорошо бы сделал, ибо при твоей влюбчивости, пан Михал, первая встречная коза поймает тебя и превратит в козла. Ей-богу, ни разу в жизни я еще не видал такого влюбчивого! Тебе бы надо родиться петушком, копаться в мусоре и сзывать курочек: «Ко-ко-ко!»

— Ануся, Ануся! — повторял размышлявший Володыевский. — Послал бы мне ее Бог! А может, ее на свете нет?.. А может, замуж вышла?..

— Зачем ей выходить? Она еще девочкой была, когда я ее видел, и, вероятно, еще не вышла. После Подбишенты ей не всякий фертик мог приглянуться. Да, кроме

того, во время войны никто не думает о женитьбе.

— Вы ее мало знали, — возразил пан Михал. — Она такая хорошая! Да только натура у нее была такая, что никого не пропускала без того, чтобы не пронзить ему сердце. Даже людей низкого происхождения, и тех не пропускала: пример — медик княгини Гризельды, итальянец, который влюбился в нее по уши. Может, она за него и вышла и уехала с ним за море?

— Не болтай вздора, пан Михал! — возмутился Заглоба. — Медик, медик! Да разве шляхтянка знатного рода пойдет за человека такого подлого ремесла? Уж я говорил тебе, что этого быть не может.

— Я уж сам на нее сердился и думал: надо же меру знать. Чего ж цирюльникам голову кружить?!

— Говорю тебе, что ты ее увидишь!

Дальнейший разговор был прерван появлением поручика Токажевича, который прежде служил в войске Радзивилла, а после измены гетмана поступил знаменосцем в полк Оскерки.

— Пан полковник! — сказал он Володыевскому. — Мы будем закладывать мину!

— Разве полковник Оскерко готов?

— Еще в полдень был готов и не хочет ждать, так как ночь обещает быть темной!

— Хорошо, тогда пойдемте посмотреть, — сказал Володыевский, — я прикажу людям быть наготове с мушкетами, чтобы те не могли из ворот вырваться. Оскерко сам будет закладывать?

— Да, сам... Но с ним идет много добровольцев.

— И я пойду! — сказал Володыевский.

— И мы! — воскликнули Скшетуские.

— Жаль, что мои старые глаза плохо видят впотьмах, — сказал пан Заглоба, — иначе я бы не отпустил вас одних. Но что делать, как только стемнеет, я уж и саблей в ножны не попадаю. Днем, когда солнце, старик еще может выйти в поле. Давайте мне самых сильных шведов, но только в полдень!

— Я тоже пойду! — сказал, подумав, Жендзян. — Верно, после взрыва ворот войска бросятся на штурм, а там в замке много всяких ценных вещей.

Все ушли, остался только один Заглоба. Он с минуту прислушивался, как хрустел снег под ногами удалявшихся, потом стал осматривать фляги на свет — не осталось ли в них меду.

Между тем рыцари направлялись к замку; с севера дул сильный ветер, выл, гудел, поднимал с земли столбы распыленного снега.

— Хорошая ночь для подведения мины! — заметил Володыевский.

— И для вылазки тоже! — сказал пан Скшетуский. — Надо смотреть в оба и мушкетеров держать наготове.

— Дал бы Бог, чтобы под Ченстоховом вьюга была еще сильнее, — сказал Токажевич. — Нашим в монастыре все же лучше. А шведы перемерзнут, и еще как! Трастя их маты мордовала!

— Страшная ночь! — сказал пан Станислав. — Слышите, Панове, как ветер воет, точно татары идут по воздуху в атаку?

— Или точно черти поют Радзивиллу панихиду! — прибавил Володыевский.

XXIX

А в замке, несколько дней спустя, великий изменник тоже смотрел на темный саван снега перед окнами и слушал вой ветра.

Медленно догорал светильник его жизни. Днем он еще мог ходить, осматривал еще со стен деревянные шалаши войск Сапеги; но через два часа он занемог так, что

его пришлось отнести в комнаты.

С тех пор, когда в Кейданах он протягивал руку к короне, он изменился до неузнаваемости. Волосы на голове поседели, под глазами были красные круги, лицо его раздулось и обвисло, и голова казалась еще огромнее; но это было уже лицо полутрупа, с синими подтеками — страшное, с никогда не сходящими следами адских страданий.

И хотя жизнь его теперь можно было считать на часы, все же он жил слишком долго, ибо пережил не только веру в себя, в свою счастливую звезду, не только надежды свои и намерения, но и такое страшное падение, что, когда он смотрел вниз, на дно той пропасти, в которую скатился, он сам не мог себе верить. Все его обмануло: события, расчеты, союзники. Он, которому мало было быть самым могущественным польским магнатом, князем римским, великим гетманом и воеводой виленским; он, которому было тесно во всей Литве, с его огромными желаниями и стремлениями, — был теперь заперт в тесном замке, где его ждала либо смерть, либо неволя. И каждый день смотрел он на дверь, в которую должна была войти одна из этих страшных гостий, чтобы взять его душу и полуразложившееся тело.

Его земель, его поместий, его староств еще недавно хватило бы на целое Удельное княжество, а сегодня он не был даже хозяином тыкоцинских стен.

Несколько месяцев тому назад он самостоятельно вел переговоры с королями, а сегодня приказаний его не слушался даже шведский капитан и заставлял его подчиняться своей воле.

Когда войска покинули его, когда из магната и пана, державшего в руках всю страну, он стал бессильным нищим, который сам нуждался в спасении и помощи, Карл-Густав стал презирать его. Он превозносил бы до небес сильного помощника, но гордо отвернулся от Радзивилла-просителя.

Как некогда в Чорштыне осаждали разбойника, Костьку Наперсткого, так его, Радзивилла, осаждали теперь в тыкоцинском замке. И кто осаждал? Сапега, его личный враг!

Когда его захватят, его потащат на суд и будут судить хуже чем разбойника: Радзивилла будут судить за измену!

Его покинули родные, покинули друзья, поместья его заняли войска, развеялись как дым его богатства и сокровища — и этот пан, этот князь, который поражал некогда своим богатством французский двор, который на пирах у себя принимал тысячи шляхты, который держал десятки тысяч собственного войска, одевал и кормил, не мог теперь куском хлеба подкрепить гаснущие силы, и — страшно сказать! — он, Радзивилл, в последние минуты своей жизни был голоден.

В замке давно уже не хватало провианту, из тощих запасов шведский комендант выдавал князю только маленькие порции, а князь не решался его просить.

О, если бы та лихорадка, которая подтачивала его силы, отняла у него сознание. Но нет! Грудь его поднималась все тяжелее, дыхание превращалось в какие-то хрипы, опухшим рукам и ногам было холодно, но мозг его, несмотря на минутные приступы безумия, несмотря на страшные видения и призраки, работал совершенно правильно. И князь видел весь ужас своего падения, свою нищету и унижение, — знаменитый воин, привыкший к победам, видел всю чудовищность своего поражения... И страдания его были так ужасны, что могли сравниться разве лишь с его грехами.

Кроме того, как эринии — Ореста, его терзали упреки совести, и на всем свете не было места, куда бы он мог от них спрятаться. Они терзали его днем, терзали ночью, в поле и дома; гордость его не могла ни побороть их, ни оттолкнуть. Чем глубже было его падение, тем ужаснее они его терзали. И у него бывали минуты, когда он ногтями рвал свою грудь. Когда неприятель пришел в отчизну, когда над ее несчастными судьбами, над ее муками и страданиями скорбели чужие народы, — он,

великий гетман литовский, вместо того чтобы выйти в поле, вместо того чтобы пожертвовать ради отчизны последней каплей крови, вместо того чтобы изумить своими подвигами мир, заложить последний кунтуш, как это сделал Сапега, — он вошел в сношение с неприятелем и поднял свою святотатственную руку против матери-отчизны, против законного государя и залил эту отчизну кровью ее же сынов... Он сделал все это — и теперь он стоит у предела не только позора, но и жизни; настал час возмездия... И что ждет его там, по ту сторону? Волосы дыбом вставали у него на голове, когда он об этом думал, ибо, когда он занес свою руку на отчизну, он казался себе великаном в сравнении с нею, а теперь все изменилось. Теперь он стал карликом, а Речь Посполитая, восставшая из праха и пепла, казалась ему каким-то грозным великаном, с ликом таинственным и полным священного величия. И она все росла в его глазах и с каждой минутой становилась могущественнее. В сравнении с нею он чувствовал себя теперь пылинкой, и как князь, и как гетман, и как Радзивилл. Он не мог понять, что это такое? Какие-то неведомые волны поднимались вокруг него, надвигались с грохотом и шумом, все ближе и ближе, вздымались все выше и выше, и он понимал лишь одно: что он должен в них утонуть, что утонуть в них должны и сотни таких, как он. Когда эти мысли гудели у него в голове, его охватывал ужас перед этой матерью, перед Речью Посполитой, ибо он не узнавал черты ее лица, некогда столь ласковые и нежные.

Он пал духом — в груди у него жил только ужас. Минутами ему казалось, что его окружает совсем другая страна, совсем другие люди. Из-за стен замка до него доносилось все, что происходило в занятой неприятелем Речи Посполитой, а происходило там нечто странное и ужасное. Начиналась война не на жизнь, а на смерть со шведами и изменниками — война тем более страшная, что никто не мог ее предвидеть. Речь Посполитая начала мстить. И в гневе ее было нечто похожее на гнев оскорбленного Бога.

Когда из-за стен до него дошли слухи об осаде Ченстохова, Радзивилл, хотя он и был кальвинистом, испугался — и ужас более не покидал его душу. Именно тогда он и заметил те таинственные волны, которые должны были поглотить и его и шведов; и нашествие шведов показалось ему не нашествием, а святотатством и преступлением. Только тогда впервые спала с его глаз завеса, и он увидел изменившийся лик отчизны, уже не матери, а карающей повелительницы.

Все, кто остался ей верен и служил ей всей душой, возвышались все более, кто грешил против нее — падал.

«Значит, никому нельзя думать, — говорил про себя князь, — ни о собственном возвеличении, ни о возвеличении рода, а только ей одной надо посвятить и жизнь, и силы, и любовь?...»

Но для него все это было уже поздно, ему уже нечем было жертвовать, ибо перед ним уже не было будущего, кроме загробного, — и при одной мысли о нем он дрожал.

С минуты осады Ченстохова, когда один страшный крик вырвался из груди огромной страны, когда в ней каким-то чудом появилась вдруг странная, незаметная раньше и непостижимая сила, когда могло казаться, что какая-то таинственная, нездешняя рука встала на ее защиту, — сомнение дрогнуло в душе князя, и он не мог отогнать мысли, что сам Бог защищает осажденных и их веру. Когда эти мысли проносились в голове князя, он усомнился в своей собственной вере, и тогда отчаяние его превзошло даже меру его грехов... Земное падение, вечное осуждение, мрак — вот до чего он дослужился, служа себе!..

А ведь еще в начале похода на Полесье он был полон надежд. Хотя Сапега, который как полководец был несравненно ниже его, разбивал его войска, а остатки его полков переходили на сторону неприятеля, но Януш утешал себя мыслью, что к нему со дня на день придет на помощь князь Богуслав.

Прилетит этот молодой радзивилловский орленок во главе прусских лютеранских войск, которые не перейдут, по примеру литовских полков, на сторону папистов, и тогда они вдвоем раздавят Сапегу, уничтожат его войска, уничтожат конфедератов и лягут на трупе Литвы, как два льва на трупе лани, и одним рычанием испугают тех, которые пожелают отнять ее у них.

Но время шло, а силы Януша таяли. Даже иностранные полки переходили к грозному Сапеге; уплывали дни, недели, месяцы, а Богуслава все еще не было.

Наконец началась осада Тыкоцина.

Шведы, которых немного осталось у Януша, защищались геройски, так как, запятнав себя раньше страшными жестокостями, они знали, что даже Добровольная сдача не защитит их от мести литвинов. В начале осады князь ^{еще} надеялся, что, в крайнем случае, на помощь к нему придет сам шведский король или пан Конецпольский, который находился при Карле с шеститысячным конным войском. Но напрасны были надежды. Никто о нем не Думал, никто не являлся на помощь.

— Богуслав, Богуслав, — повторял князь, шагая по комнатам замка, — если не хочешь спасти брата, то спаси хоть Радзивилла...

Наконец, в припадке последнего отчаяния, князь решился прибегнуть к средству, против которого восставала вся его гордость: умолять о спасении князя Михаила из Несвижа.

Но это письмо было перехвачено людьми Сапеги; витебский воевода прислал Янушу в ответ письмо князя-кравчего, которое было получено им самим неделю назад.

Князь Януш прочел в нем такое место:

«Если до вас, милостивый пане, дойдут слухи, что я намереваюсь идти на помощь моему родственнику, князю-воеводе виленскому, то не верьте им, ибо я только с теми, кто остался верен отчизне и государю нашему, кто желает вернуть прежнюю свободу блестящей Речи Посполитой. Я не желаю прикрывать изменников и спасать их от заслуженной и справедливой кары. Богуслав тоже не придет ему на помощь, ибо, по слухам, курфюрст предпочитает думать только о себе и не желает разделять свои силы; что же касается Конецпольского, то он пойдет разве лишь просить руки вдовы Януша, а для того, чтобы она стала вдовой, он должен добиваться, чтобы воевода как можно скорее погиб».

Это письмо, адресованное Сапеге, отняло у несчастного Януша последнюю надежду, и ему не оставалось ничего, как ждать решения своей судьбы.

Осада близилась к концу.

Известие об отъезде пана Сапеги почти в ту же минуту проникло в замок, но надежда, что с его отъездом действия неприятеля прекратятся, была недолговечной; наоборот, в пешеходных войсках заметно было какое-то необыкновенное оживление. Но в течение нескольких дней все было спокойно, так как попытка осаждающих взорвать миной ворота окончилась ничем; наступило 31 декабря, и только ночь могла помешать осаждавшим: они, несомненно, предпринимали что-то против замка, если не штурм, то новый обстрел стен.

День догорал. Князь лежал в так называвшейся «угловой» зале, находившейся в западной части замка. В огромном камине горели толстые сосновые бревна, бросая яркий отблеск на белые и почти пустые стены. Князь лежал навзничь на турецком диване, выдвинутом на середину комнаты, чтобы до него могло доходить тепло от камина. Ближе к камину, на ковре, спал паж, вокруг князя сидели, дремля в креслах, пани Якимович, бывшая гофмейстерина в Кейданах, другой паж, медик, княжеский астроном и Харламп.

Из прежних офицеров он один только не оставил князя. Тяжела была его служба, ибо сердце и душа старого солдата были за тыкоцинскими стенами, в лагере Сапеги, но, несмотря на это, он оставался верен своему прежнему вождю. Бедняга высох от

голода и лишений, как скелет; все лицо его теперь занимал огромный нос, который казался еще больше, да длинные усы. Он был в полном вооружении, в панцире, наплечниках и шлеме. Он только что вернулся с крепостных стен, куда выходил смотреть, что делается в лагере осаждающих, и где ежедневно искал смерти. Теперь он вздремнул от усталости, несмотря на то что князь страшно хрипел, точно кончался, а на дворе выл и свистел ветер.

Вдруг огромное тело князя дрогнуло, и он перестал стонать. Все проснулись и стали смотреть то на него, то друг на друга.

— Мне легче, — проговорил он, — точно с груди тяжесть сняли... Затем он повернул голову, стал пристально смотреть на дверь и позвал:

— Харламп!

— Здесь, ваша светлость.

— Что здесь нужно Стаховичу?

У бедного Харлампа даже колени задрожали: насколько он был неустрашим в бою, настолько был и суеверен. Он тревожно огляделся по сторонам и проговорил глухим голосом:

— Стаховича здесь нет... Ваша светлость велели расстрелять его в Кейданах! Князь закрыл глаза и не ответил ни слова.

Некоторое время слышался только жалобный и протяжный вой ветра.

— Плач людской слышится в этом вое, — произнес князь, широко открывая глаза. — Но ведь не я привел шведов, а Радзейовский!

И так как никто не ответил, то он продолжал, помолчав:

— Он больше всех виновен, он больше всех виновен!

И даже какая-то бодрость прозвучала в его голосе, как будто мысль, что есть кто-то еще более виновный, чем он, обрадовала его. Но вскоре, должно быть, более мрачные мысли пришли ему в голову: лицо его потемнело, и он повторил несколько раз:

— Боже! Боже! Боже!

И он снова стал задыхаться, захрипел еще страшнее, чем прежде.

Вдруг снаружи раздались выстрелы мушкетов. Выстрелы сначала были редки, но постепенно учащались; в шуме и вое снежной выюги они были не очень громки, и можно было подумать, что это кто-нибудь стучится в ворота.

— Дерутся! — сказал княжеский медик.

— Как обыкновенно! — ответил Харламп. — Люди мерзнут и дерутся, чтобы согреться!

— Вот шестой день эта выюга и снег, — проговорил опять медик. — Это необычайное явление предвещает большие перемены в королевстве...

— Дай бог, — хуже не будет! — ответил Харламп.

Дальнейший разговор прервал князь, которому опять стало легче:

— Харламп!

— Здесь, ваша светлость.

— От слабости ли мне мерещится или на самом деле Оскерко несколько дней тому назад хотел взорвать ворота?

— Хотел, ваша светлость; но шведы вытащили мину.

Оскерко легко ранен, а сапегинцы отражены.

— Если легко, то он снова попытается... А какое сегодня число?

— Последний день декабря, ваша светлость.

— Боже, милостив буди мне, грешному... Не доживу я до Нового года... Мне давно предсказано, что каждый пятый год смерть стоит около меня.

— Бог милостив, ваша светлость.

— Бог с паном Сапегой! — глухо проговорил князь. И вдруг начал оглядываться и сказал: — Холодом веет от нее! Не вижу ее, но чувствую, что она здесь!

— Кто, ваша светлость?

— Смерть.

Снова воцарилось молчание, слышался только шепот молитвы, которую читала пани Якимович.

— Скажите мне, — снова заговорил князь прерывающимся голосом, — неужели вы действительно верите, что вне вашей веры нет спасения!..

— И в минуту смерти можно еще отречься от заблуждений, — ответил Харлам.

Отголоски выстрелов участились. Грохот орудий потрясал стены, и стекла жалобно дребезжали после каждого выстрела.

Князь слушал сначала спокойно, затем медленно поднялся и сел; глаза его расширились и заблестели; вдруг, схватив голову руками, он громко воскликнул, словно безумный:

— Богуслав! Богуслав! Богуслав!

Харлам, как сумасшедший, выбежал из комнаты.

Весь замок дрожал от грохота орудий.

Вдруг послышались крики нескольких тысяч голосов, потом что-то так рвануло стены замка, что из камина уголья выпали на пол; в эту минуту Харлам снова вбежал в комнату.

— Сапезинцы взорвали ворота! — крикнул он. — Шведы скрылись в башню! Неприятель здесь! Ваша светлость...

И слова замерли у него на устах. Радзивилл сидел на диване с широко раскрытыми глазами; губы его жадно ловили воздух, зубы были сжаты; он рвал руками диван, глаза с ужасом глядели в глубину комнаты. И он кричал или, скорее, хрипел прерывающимся голосом:

— Это Радзейовский!.. Это не я!.. Спасите!.. Чего вы хотите? Возьмите эту корону!.. Это Радзейовский!.. Люди, спасите... Господи Иисусе! Пресвятая Мария!

Это были последние слова Радзивилла.

Потом у него началась страшная икота, глаза вышли из орбит — он упал на диван, выпрямился всем телом и застыл в неподвижности.

— Скончался! — проговорил медик.

— Призывал Пресвятую Марию? Слышали? А он кальвинист! — воскликнула пани Якимович.

— Подложите дров в камин, — сказал Харлам, обращаясь к испуганным пажам. А сам подошел к труп, закрыл ему глаза, затем снял со своего панциря образок Богородицы, который носил на цепочке, и, скрестив руки Радзивилла на груди, вложил образок между пальцев. Свет от камина отражался в золотом образке, и отблеск этот, падая на лицо воеводы, осветил его, и оно казалось спокойным, как никогда.

Тишину прерывали только звуки выстрелов.

Вдруг произошло что-то ужасное. Прежде всего блеснул какой-то необыкновенно яркий свет, — казалось, весь мир превратился в огонь, и вместе с тем раздался такой грохот, словно земля провалилась под замком. Стены зашатались, потолок дал трещину, а рамы с грохотом упали на пол, и стекла разбились вдребезги. Сквозь пустые отверстия окон ворвались клубы снежной пыли, и ветер мрачно завыл в углах залы.

Все в заде упали ниц на землю, все онемели от страха. Первый поднялся Харлам и прежде всего взглянул на труп воеводы; но труп лежал все так же спокойно и тихо, только золотой образок в его руках немного покосился в сторону.

Харлам с облегчением вздохнул. В первую минуту он был убежден, что это полчища дьяволов ворвались в залу за телом князя.

— И слово стало плотью! — сказал он. — Это, должно быть, шведы взорвали башню и с нею себя самих...

Но снаружи все было тихо. По-видимому, войска Сапеги стояли в немом удивлении или же опасались того, что весь замок минирован и что последуют новые взрывы.

— Подбросьте дров! — приказал Харлампа пажам.

И снова комната осветилась ярким, мигающим светом. Вокруг царила смертельная тишина, только дрова шипели в камине, выл ветер да снег валил сквозь выбитые стекла.

Наконец послышались смешанные голоса, раздался звон шпор, лязг оружия и топот многочисленных шагов. Двери в залу распахнулись, и ворвалась толпа солдат. Сверкнули обнаженные сабли, в дверях толпилось все больше солдат в шлемах и колпаках. Многие из них несли факелы и ступали осторожно, хотя было достаточно светло и от огня в камине.

Наконец из толпы выбежал маленький рыцарь, весь закованный в железо, и крикнул:

— Где воевода виленский?

— Здесь! — ответил Харлампа и указал на тело, лежавшее на диване. Володыевский взглянул и сказал:

— Умер!

— Умер! Умер! — шепотом пронеслось в толпе. — Умер изменник и предатель!

— Да, — угрюмо проговорил Харлампа. — Но если вы надругаетесь над телом и изрубите его саблями, это будет плохое дело — перед смертью он призывал Пресвятую Деву и держит теперь в своих руках ее образ.

Слова Харлампа произвели сильное впечатление. Крики умолкли. Солдаты столпились вокруг дивана и с любопытством рассматривали покойника. Те, у которых были фонари, освещали его лицо, а он лежал — огромный, мрачный, с гетманским величием в лице и со спокойствием смерти. Солдаты подходили по очереди; подошли и полковники: Станкевич, двое Скшетуских, Городкевич, Яков Кмициц, Осерко и пан Заглоба.

— Правда, — тихим голосом сказал пан Заглоба, словно боялся разбудить князя. — Он держит в руках образ Пресвятой Девы, и блеск от нее падает на его лицо.

Сказав это, он снял шапку; то же сделали и другие. Настала глубокая, благоговейная тишина, которую нарушил Володыевский:

— Да, теперь он стоит перед судом Всевышнего, и не нам судить его! Затем он обратился к Харлампу:

— Но ты, несчастный, зачем ради него отрекся от отчизны и государя?

— Давайте его сюда! — раздалось несколько голосов.

Услышав это, Харлампа встал, вынул из ножен саблю и бросил ее на пол.

— Вот я! Рубите меня! — сказал он. — Я не оставил его вместе с вами, когда он был могущественным, как король, а потом, когда он был в беде, когда все покинули его, мне уже не подобало его оставить! Ох, не растолстел я на этой службе; три дня уже у меня ничего не было во рту, и ноги подо мной подкашиваются... Но берите меня, рубите, ибо я признаюсь и в том... — тут голос Харлампа дрогнул, — что я его любил!..

Сказав это, он пошатнулся и упал бы, если бы Заглоба не поддержал его:

— Ради бога, дайте ему есть и пить!..

Это тронуло сердце солдат. Пана Харлампа взяли под руки и увели из залы; солдаты тоже стали понемногу расходиться, набожно крестясь.

По дороге домой пан Заглоба несколько раз останавливался, откашливался, призадумывался и наконец, дернув Володыевского за полу, сказал:

— Пан Михал! — Что?

— Теперь уже нет у меня злобы на Радзивилла. Покойник — всегда покойник! Я

прощаю ему даже то, что он добивался моей смерти.

— Он перед небесным Судьей! — сказал Володыевский.

— Вот, вот! Гм... Если бы это помогло, я дал бы и на заупокойную обедню, — сдается мне, что там дело его дрянь!

— Господь милостив!

— Милостив-то милостив, но ведь и он без отвращения не может смотреть на еретиков! А Радзивилл не только еретик, но и изменник. Вот что!

Тут Заглоба поднял голову и стал смотреть на небо:

— Боюсь я, как бы какой-нибудь из шведов, которые взорвали себя порохом, не упал мне на голову; что их на небо никак не примут, это уж верно.

— Молодцы, — заметил пан Михал, — предпочли смерть плену! Таких солдат немного на свете!

Они продолжали идти молча, вдруг пан Михал остановился.

— Панны Биллевич в замке не было! — сказал он.

— А ты откуда знаешь?

— Я спрашивал пажей. Богуслав увез ее в Тауроги.

— О! — сказал Заглоба. — Это все равно что доверить волку козу. Впрочем, это не твое дело! Тебе предназначена та ягодка!

XXX

Львов со времени приезда короля превратился в настоящую столицу Речи Посполитой. Вместе с королем туда прибыла большая часть епископов и все те светские сенаторы, которые не держали сторону неприятеля. Королевские универсалы созвали под знамена не только шляхту Русского воеводства, но и шляхту из более отдаленных воеводств, которая явилась в большом количестве и вооруженная; сделать это было тем легче, что в тех провинциях не было шведов. Весело было смотреть на это посполитое рушение, которое совсем не было похоже на великопольское ополчение, давшее такой слабый отпор неприятелю под Устьем. Напротив, сюда собиралась грозная и воинственная шляхта, с детства воспитанная на коне в полях, среди постоянных нападений диких татарских орд, привыкшая к кровопролитиям и пожарам и лучше владевшая саблей, чем латынью. Войны с Хмельницким, длившиеся без перерыва семь лет, так закалили ее, что среди нее не было человека, который не участвовал бы в стольких боях, сколько ему было лет. Они толпами прибывали во Львов. Одни стекались из скалистых Бескидов, другие из окрестностей Прута, Днестра, Серета и Буга, — все спешили на зов государя во Львов, чтобы двинуться оттуда на неведомого им еще врага. Съезжалась шляхта с Волыни и из более отдаленных воеводств, — такую страшную ненависть вызвало в ней известие, что неприятель осмелился поднять святотатственную руку на Защитницу всей Речи Посполитой в Ченстохове.

Казачи, со своей стороны, не смели препятствовать этому, так как даже самые непримиримые из них были тронуты и даже, под влиянием татар, выслали к королю послов с заявлением о своей верности. Грозное для врагов короля татарское посольство во главе с Субагази-беем гостило во Львове и предложило от лица хана в помощь стотысячную орду; сорок тысяч могли тотчас выступить из Каменца. Кроме татарского посольства прибыла и депутация из Семиградья для ведения начатых с Ракочи переговоров о престолонаследии; гостил и посол императора австрийского, и папский нунций, который приехал вместе с королем. Каждый день прибывали депутации от коронных и литовских войск, от воеводств и земель с изъявлениями верности королю и желания защищать гибнущую отчизну.

Значение короля возрастало, а вместе с ним возрастала, к удивлению всего мира, мощь еще столь недавно бессильной Речи Посполитой. Сердца людские

горели жаждой войны и мщения. И как весной теплый дождь растопляет снега, так могучая надежда рассеяла сомнения. Теперь все не только желали победы, но и верили в нее. С каждой минутой все новые и новые благоприятные известия, не всегда достоверные, переходили из уст в уста. То о взятии замков, то о битвах, где неизвестные войска под начальством неизвестных вождей разгромили шведов, то о страшных полчищах крестьян, восставших против неприятеля; имя Стефана Чарнецкого все чаще появлялось у всех на устах.

Подробности этих известий были зачастую вымышленными, но, вместе взятые, они, как зеркало, отражали то, что происходило во всей стране.

Но во Львове был как бы бесконечный праздник. Когда прибыл король, город торжественно приветствовал его: духовенство трех исповеданий, городские власти, купечество и цехи. На площадях и улицах, куда ни взглянуть, развевались знамена белые, синие, пурпурные, золотые; жители Львова с гордостью подняли городское знамя с изображением золотого льва на голубом фоне. Каждое появление короля вызывало крики толпы, в которой нигде не было недостатка.

За последнее время население города удвоилось. Кроме сенаторов, епископов, шляхты толпами стекались и крестьяне, так как распространился слух, что король намерен улучшить положение крестьян. Свитки и сермяги перемешивались с желтыми кафтанами мещан. Предприимчивые армяне повсюду раскинули свои шатры с товарами и оружием, которое охотно раскупалось собравшейся шляхтой.

При посольствах было немало татар, венгров, итальянцев и ракушан, много войска, непривычных лиц, всевозможных странных нарядов, много придворной челяди: пажей, гайдуков, янычар, казаков и скороходов. На улицах с утра до вечера слышался говор толпы, мелькали пешие и конные полки, шляхта; раздавались крики команды, звон оружия, ржанье лошадей, грохот пушек, песни, полные угроз и проклятий шведам. А в польских, русских и армянских церквях постоянно гудели колокола, возвещая народу, что в городе король и что Львов первый удостоился чести принять изгнанника короля. Где только ни появлялся король, всюду ему били челом, всюду шапки летели вверх и крики «vivat» оглашали воздух; люди били челом перед каретами епископов, которые благословляли толпу; кланялись сенаторам, отдавая дань их верности государю и отчизне.

В городе все кипело. Ночью же на улице горели костры, около которых грелись все, кто не нашел себе помещения в переполненном городе.

Король проводил целые дни в совещаниях с сенаторами, принимал иностранные посольства и депутации от земель и войск. На совещаниях придумывались средства, как пополнить опустевшую казну, и прибегали к всевозможным способам раздуть пламя войны там, где оно еще не вспыхнуло.

Гонцы летали во все значительные города, во все стороны Речи Посполитой, даже в отдаленную Пруссию и Жмудь; в Тышовец, к гетманам, к пану Сапеге, который после взятия Тыкоцина ушел со своими войсками на юг; к пану хорунжему Конецпольскому, еще державшему сторону шведов. Куда нужно было, посылали деньги, более неподвижных волновали манифестами.

Король признал, санкционировал и утвердил Тышовецкую конфедерацию, сам присоединился к ней и принял всю полноту власти в свои неутомимые руки: работал с утра до ночи, заботясь больше о благе Речи Посполитой, чем о своем отдыхе и здоровье.

Но этим не ограничивались его стремления. Король решил от своего имени и от имени сословий заключить такой союз, которого не могла бы уничтожить никакая сила земная и который в будущем мог бы окончательно исцелить Речь Посполитую.

Наконец наступила и эта минута.

Тайна перешла от сенаторов к шляхте, а от шляхты к простому народу, ибо с утра еще говорили, что во время богослужения произойдет что-то важное, что король

произнесет какую-то клятву. Говорили об улучшении положения крестьян, о какой-то конфедерации с силами небесными. Говорили, что произойдет нечто такое, чего не знает история; любопытство было возбуждено до крайности, и все чего-то ждали...

День был морозный, ясный; маленькие пушинки снега медленно летали в воздухе, блестя на солнце, словно искорки. Перед кафедральным собором двумя длинными рядами выстроилась львовская и жидачевская пехота в голубых полушубках с золотыми галунами, а также часть венгерского полка. Вдоль этих рядов расхаживали офицеры с длинными тросточками в руках; между рядами рекой плыла в костел пестрая толпа. Впереди шляхта и рыцарство, за ними городской сенат с позолоченными цепями на шеях и со свечами в руках; вел его бургомистр; за бургомистром следовал известный во всем воеводстве врач, одетый в черную бархатную тогу и в берет. За сенатом шли купцы, среди них и армяне в зеленых ермолках и широких восточных халатах; они хотя и принадлежали к другому исповеданию, все же следовали за другими, как представители сословий. За купечеством шли цехи со своими знаменами: мясники, пекари, ювелиры, сапожники, литейщики, оружейники, медовары и много других. А за цехами шел простой народ в кафтанах, свитках, сермягах, тулупах — жители предместий и крестьяне. В костел впускали всех, пока костел битком не наполнился людьми всех сословий и состояний.

Наконец начали подъезжать и кареты, но не к главному подъезду, а к боковому, ибо король, епископы и сановники входили прямо к алтарю.

Солдаты ежеминутно отдавали честь, согревая временами озябшие руки.

Приехал король с нунцием Бидоном, потом архиепископ гнезненский с князем-епископом Чарторийским, епископы краковский и львовский, великий канцлер коронный, множество воевод и каштелянов. Все они проходили в боковые двери, а кареты их, прислуга, конюхи и всевозможная челядь составляли как бы новое войско, стоявшее сбоку собора.

Обедню служил папский нунций Видон, одетый в пурпурную рясу и белую ризу, расшитую жемчугом и золотом.

Для короля было приготовлено место между главным алтарем и скамьями, покрытое турецким ковром; кресла каноников заняли епископы и светские сенаторы.

Разноцветные лучи, проникая сквозь цветные стекла, сливаясь с блеском свечей, от которых горел весь алтарь, освещали лица сенаторов, скрытые в тени кресел, их белые бороды, золотые цепи и бархатные фиолетовые мантии. Казалось, будто это римский сенат, — столько спокойного величия было в этих лицах; кое-где среди седых голов виднелось лицо сенатора-воина, кое-где золотились локоны молоденького панича-сенатора; глаза всех были устремлены на алтарь; все молились; блестели и колебались огоньки свечей; дым из кадилъниц клубился и переливался в цветных лучах. За скамьями стояла тысячная толпа, над головами развевались разноцветные хоругви.

Король Ян Казимир, по обычаю, смиренно пал ниц перед престолом Всевышнего. Но вот нунций вынул из дарохранительницы чашу со Святыми Дарами и приблизился к королю. Король встал с прояснившимся лицом, и раздался голос нунция: «Ессе Agnus Dei!»⁴² — и король принял причастие.

Потом он некоторое время стоял на коленях, затем встал, вознес глаза и руки к небу. В церкви настала глубокая тишина — все затаили дыхание. Все угадали, что торжественная минута наступила и что король даст какой-то обет. Наконец взволнованным, но отчетливым голосом король произнес:

— Великая Мать Богочеловека, Пресвятая Дева! Я, Ян Казимир, милостью Сына твоего, Царя царей, Господа моего, и милостью твоею — король, припадая к

⁴² «Се Агнец Господень!» (лат.).

твоим Пресвятым стопам, даю такой обет: отныне считаю тебя Королевой и Покровительницей моей и королевства моего. Себя, королевство мое Польское, Великое княжество Литовское, Русское, Прусское, Мазовецкое, Жмудское, Инфляндское и Черниговское, войско и весь народ мой поручаю твоему покровительству и защите; смиренно молю тебя о помощи против неприятеля и о милосердии в нынешней нашей печали...

Король умолк, упал на колени, и несколько минут в костеле царило молчание. Наконец он поднялся и продолжал:

— Облагодетельствованный великими твоими милостями, принужден я вместе с польским народом принять на себя новый обет ревностного служения тебе, поэтому обещаю тебе от имени моего, министров, сенаторов, шляхты и народа возвеличить имя, честь и славу Сына твоего Господа Иисуса Христа и Спасителя нашего во всех землях моего царства и клянусь, если милостию Сына твоего одержу победу над шведами, я приложу все старания, чтобы годовщина этого события торжественно праздновалась во всем королевстве моем до скончания века, в память милости Божьей и твоей, Пречистая Дева.

Король умолк и опустил на колени. По костелу пронесся шепот, но король снова заговорил, и хотя голос его дрожал от волнения, но был еще громче:

— С великой скорбью сердца моего слышу стоны бедных пахарей, притесняемых солдатами и несущих в продолжение семи лет все кары, ниспосланные на нас справедливым гневом Божиим. Клянусь, что по водворении в стране мира я буду стараться вместе со всеми сословиями Речи Посполитой избавить угнетенное крестьянство от всяких жестокостей, и ты, Мать милосердия, Царица и Владычица моя, вдохновившая меня дать сию клятву, испроси мне у Сына твоего в выполнении сего помощи.

Все слушали короля — и духовенство, и сенаторы, и шляхта, и простой народ. В церкви послышались рыдания; они вырвались сначала из мужицких грудей, потом заплакали все. И простирали руки к небу и сквозь слезы повторяли: «Аминь! Аминь! Аминь!» — чем свидетельствовали, что соединяют свои желания с королевским обетом. Какой-то восторг охватил всех и соединил в эту минуту в одном чувстве любви к Речи Посполитой и ее Защитнице. На лицах горела какая-то необыкновенная радость, и во всем костеле не было ни одного человека, который бы теперь сомневался в победе над шведами.

После обедни король, при грохоте выстрелов из пушек и мушкетов, среди громких криков: «Победа! Победа! Да здравствует король!» — уехал в город, где своей подписью скрепил и этот союз с силами небесными и Тышовецкую конфедерацию.

XXXI

После этих торжеств всевозможные вести, как птицы, со всех сторон стали слетаться во Львов. Вести были и старые, и новые, но все были более или менее благоприятны. Тышовецкая конфедерация ширилась как пожар, примыкала к ней шляхта, примыкал простой народ. Города доставляли оружие, припасы и солдат, евреи — деньги.

Никто не осмеливался идти против универсалов, и даже самые ленивые садились на коней. Вслед за этим был получен и грозный манифест Виттенберга, направленный против конфедерации. Он грозил огнем и мечом всем, кто к ней примкнет. Но он произвел такое действие, как если бы кто-нибудь стал огонь засыпать порохом. Этот манифест, вероятно, с ведома короля, для возбуждения большей ненависти к шведам, был разбросан по городу в огромном количестве. И неприлично сказать, что делал с ним народ: ветер разносил по городу листки

опозоренными...

А между тем Виттенберг сдал команду в Кракове Виртцу, а сам спешно отправился в Эльблонг, где пребывал шведский король вместе с королевой, проводя время в пирах и радуясь, что сделался королем такого великолепного королевства.

Затем во Львове было получено известие о взятии Тыкоцина, которое всех обрадовало. Удивительнее всего было то, что об этом говорили еще до прибытия гонца. Не знали только достоверно, умер ли князь-воевода виленский или взят в плен, однако уверяли, что Сапега во главе сильного войска выступил уже из Полесья в Люблинское воеводство, чтобы соединиться с гетманами, что он по пути разбивает шведов и с каждым днем силы его растут.

Наконец от него самого прибыло посольство с целым полком, который он прислал в распоряжение короля, желая выразить этим преданность свою королю и желание охранить его от возможных опасностей, а может быть, и для того, чтобы поднять этим собственное значение.

Этот полк привел молодой полковник Володыевский, лично известный королю, и Ян Казимир сейчас велел призвать его к себе и, поцеловав его, сказал:

— Здравствуй, славный солдат! Много воды утекло с тех пор, как мы потеряли тебя из глаз. Кажется, в последний раз мы видели тебя под Берестечком, всего забрызганного кровью?

Пан Михал склонился к коленям монарха и сказал:

— А впоследствии в Варшаве, государь, я был в замке с нынешним паном каштеляном киевским.

— А ты все еще служишь? И не манит тебя семейная жизнь?

— Речь Посполитая нуждалась во мне, а среди вихря войны погибло все мое добро. Мне негде преклонить голову, государь, но я не ропщу, полагая, что служба королю и отчизне — первый долг солдата.

— Побольше бы таких, побольше! Не возгордился бы тогда неприятель. Бог даст, придет время и на награды, а теперь говори, что вы сделали с виленским воеводой.

— Воевода виленский предстал уже на суд Божий. Он испустил дух в ту минуту, когда мы шли на последний штурм.

— Как это случилось?

— Вот реляция воеводы витебского, — сказал пан Михал.

Король взял письмо и стал его читать, но едва он начал, как вдруг остановился и сказал:

— Сапега ошибается, полагая, что булава великого гетмана литовского свободна. Мы вручаем ее ему!

— Да и никого нет достойнее его! — проговорил пан Михал. — И все войско будет благодарно за это, ваше величество!

Король улыбнулся, видя такую простодушную солдатскую откровенность, и продолжал читать. Минуту спустя он вздохнул:

— Радзивилл мог бы быть прекраснейшей жемчужиной в этой короне, если бы не его гордость и заблуждения, которые и иссушили всю его душу. Но свершилось! Судьбы Господни неисповедимы. Радзивилл и Опалинский... Почти в одно время... Не суди их, Господи, по грехам их, но по милосердию твоему!

Наступило минутное молчание, а затем король снова стал читать.

— Мы благодарны пану воеводе, — сказал он, окончив чтение, — за присылку нам полка и самого лучшего, как он пишет, рыцаря. Но здесь мы в безопасности, а такие кавалеры, как ты, нужнее на бранном поле. Отдохни немного, а потом я тебя пошлю на помощь Чарнецкому, так как неприятель обратит против него все главные силы.

— Мы и так отдохнули под Тыкоцином, ваше величество, — порывисто ответил

маленький рыцарь, — если бы наши лошади не были утомлены, мы еще сегодня могли бы двинуться в путь, а с паном Чарнецким мы погуляем на славу. Великое счастье зреть особу вашего величества, но к шведам надо спешить.

Король просиял. Отеческая нежность мелькнула в его лице, и, с большим удовольствием глядя на храброго рыцаря, он сказал:

— Это ты, солдат, первый бросил полковничью булаву к ногам князя виленского воеводы?

— Нет, не первый, ваше величество, но в первый раз и, дай бог, в последний я нарушил воинскую дисциплину.

Пан Михал запнулся и затем прибавил:

— Нельзя было иначе.

— Верно, — сказал король, — это были тяжелые времена для тех, кто сознает свой воинский долг, но и послушание должно иметь свои границы. А много ли офицеров было при Радзивилле?

— В Тыкоцине мы нашли только одного офицера, пана Харлампа, который не оставил князя сразу, не покидал его и в несчастье. Его удерживало при князе только сострадание, хотя его всегда тянуло к нам. Мы его едва откормили — такой голод был в замке; а он к тому же во всем себе отказывал, чтобы оставить побольше князю. Теперь он приехал сюда, во Львов, умолять ваше величество о прощении, и я, государь, припадаю к вашим стопам и прошу простить его, ибо он хороший солдат.

— Пусть он сюда придет, — сказал король.

— Он желает сообщить вашему величеству очень важное известие, которое он слышал от князя Богуслава в Кейданах и которое касается вашего величества.

— Это уж не о Кмицице ли?

— Да, государь.

— А ты знал Кмицица?

— Знал и бился с ним, но где он теперь — не знаю.

— Что ты о нем думаешь?

— Государь, если он действительно взялся за такое дело, то нет мук, которых бы он не заслуживал, — это исчадие адаво!

— Это неправда, — прервал король, — это все вымысел князя Богуслава: Но пока не будем об этом говорить. Скажи мне, что ты знаешь о прошлом Кмицица?

— Это был великий, несравненный солдат. С отрядом в несколько сот человек Кмициц до отчаяния доводил Хованского. Этого бы никто не мог сделать. Прямо чудо, что с него кожу не сняли и не натянули ее на барабан. Если бы кто-нибудь в это время отдал в руки Хованского самого князя-воеводу, он не был бы так доволен, как если бы ему подарили Кмицица. Дошло до того, что Кмициц ел на его блюдах, спал на его ковре, разъезжал в его санях и на его лошади... Но потом он и для своих стал невыносим, своевольничал, насильничал, приговорами мог бы подушку набить, а в Кейданах совсем стал разбойником.

И Володыевский подробно рассказал все, что произошло в Кейданах.

Ян Казимир с большим вниманием слушал его, и когда рассказ дошел до того, как пан Заглоба спасся из радзивилловского плена, а потом спас и своих товарищей, король начал хохотать.

— *Vir incomparabilis!*⁴³ *Vir incomparabilis!* — повторял король. — А он не с тобою?

— Здесь и к услугам вашего величества, — ответил Володыевский.

— Этот шляхтич превзошел Одиссея. Приведи же его ко мне, приведи в веселую минуту и Скшетуских! Ну, что ты знаешь еще о Кмицице?

— Из писем, найденных у Роха Ковальского, мы узнали, что в Биржах нас ждала

⁴³ Муж несравненный! (*лат.*).

смерть. Князь гнался за нами, но не поймал, и мы ушли. Недалеко от Кейдан мы поймали Кмицица, и я тотчас велел его расстрелять.

— О-о, — сказал король, — я вижу, что у вас на Литве дела шли скоро.

— Но прежде чем его расстрелять, Заглоба приказал его обыскать, нет ли у него писем. Солдаты нашли у него письмо гетмана, из которого мы узнали, что если бы не Кмициц, то нас не послали бы в Биржи, а расстреляли бы в Кейданах.

— Ну вот видишь! — заметил король.

— Нам не подобало больше домогаться его смерти, и мы его отпустили. Что он делал потом — не знаю. Но Радзивилла он не оставил. Бог знает, что это за человек... Потом он куда-то уехал и вдруг предупредил нас, что князь скоро выступает из Кейдан. Нельзя отрицать, что этим он оказал нам большую услугу, ибо если бы не его предостережение, то воевода напал бы на наши разъединенные полки и уничтожил бы их поодиночке. Право, я не знаю, ваше величество, что и думать о нем... Если то, что сказал князь Богуслав, клевета...

— Вот сейчас мы это увидим, — сказал король и захлопал в ладоши. — Позвать сюда пана Бабинича, — сказал он пажу, появившемуся на пороге.

Паж исчез, и через минуту двери открылись, и в них появился пан Андрей. Володыевский не узнал его сразу, так как рыцарь очень изменился, похудел и еще не оправился после битвы в ущелье.

Пан Михал смотрел на него и не узнавал.

— Странно, — сказал он, наконец — если бы не худое лицо и не то, что ваше величество называли другую фамилию, я бы сказал, что это Кмициц.

Король улыбнулся и сказал:

— Этот маленький рыцарь только что рассказывал мне об одном страшном повесе, который так назывался; но я как на ладони доказал ему, что он ошибается, и надеюсь, что и пан Бабинич подтвердит это.

— Ваше величество, — быстро ответил Бабинич, — одно слово ваше гораздо скорее восстановит честь этого бездельника, чем самые торжественные клятвы.

— И голос тот же, — говорил с возрастающим изумлением маленький полковник, — только у него не было этого шрама на лице.

— Мосци-пане, — сказал Кмициц, — лицо шляхтича — это реестр, на котором каждый раз все иная рука пишет саблей. Но здесь есть и ваша заметка, узнайте же, кто я...

Сказав это, он наклонил бритую голову и указал на белый шрам около чуба.

— Моя рука, — крикнул Володыевский, — это Кмициц!

— А я тебе говорю, что ты Кмицица не знаешь, — заметил король.

— Как так, ваше величество?

— Ты знал знаменитого солдата, но, вместе с тем, своевольника и сообщника Радзивилла в его измене. А здесь перед тобой стоит ченстоховский Гектор, которому Ясная Гора, после Кордецкого, обязана спасением; здесь стоит защитник отчизны и мой верный слуга, который защищал меня собственной грудью, спас мне жизнь, когда в ущелье я попался шведам. Вот каков этот новый Кмициц! Узнай же его поближе и полюби его, он этого стоит.

Пан Володыевский, не зная, что сказать, стал шевелить своими рыжими усиками. А король продолжал:

— И знай, что он не только ничего не обещал князю Богуславу, но первый захотел отомстить Радзивиллам за их измену, так как схватил его и намеревался выдать его вам.

— И предупредил нас о выступлении князя-воеводы виленского, — воскликнул маленький рыцарь. — Какой же ангел обратил вас на путь истины?

— Обнимитесь! — сказал король.

— Я с первого взгляда полюбил вас! — проговорил Кмициц.

И они упали друг другу в объятия. А король, глядя на них, весело улыбнулся и, по обыкновению, вытянул нижнюю губу. Кмициц так сердечно обнимал маленького рыцаря, что поднял его, как котенка, и не скоро поставил на ноги.

После этого король отправился на совет, так как во Львов прибыли и оба коронных гетмана, которые должны были сформировать войска и вести их на помощь Чарнецкому и конфедератским отрядам, действовавшим во всей стране.

Рыцари остались одни.

— Пойдемте ко мне, — сказал Володыевский, — там вы найдете и Скшетуских, и Заглобу, которые будут рады услышать то, что мне рассказал о вас король. Харлампы тоже там...

Но Кмициц быстро подошел к Володыевскому и с беспокойством спросил:

— Много людей вы нашли при Радзивилле?

— Из офицеров был только один Харлампы.

— Я не об офицерах спрашиваю. Были ли там женщины?

— Я угадываю, в чем дело, — ответил маленький рыцарь, слегка вспыхнув. — Пану Биллевиц князь Богуслав увез в Тауроги.

Кмициц побледнел как полотно, потом покраснел и снова побледнел еще больше. В первую минуту он не в состоянии был слова вымолвить и только ловил воздух губами. Наконец схватился обеими руками за голову и стал метаться по комнате.

— Горе мне, горе, горе!

— Пойдемте ко мне, Харлампы вам все расскажет. Он был при этом, — сказал Володыевский.

XXXII

Выйдя от короля, оба рыцаря шли молча. Володыевский не хотел говорить, а Кмициц не мог: его душили боль и бешенство. Они пробирались сквозь густые толпы народа, которые собрались на улицах, чтобы посмотреть на первый отряд татар, который, согласно обещанию хана, должен был прибыть в город, представиться королю. Маленький рыцарь шел впереди, а Кмициц шел за ним, как безумный, толкая всех по дороге.

Когда они выбрались из тесноты, пан Михал взял Кмицица под руку и сказал:

— Успокойтесь! Ведь отчаяньем не поможешь!

— Я не отчаиваюсь, — ответил Кмициц, — но только жажду его крови.

— Можете быть уверены, что вы найдете его среди врагов отчизны!

— Тем лучше! — лихорадочно проговорил пан Андрей. — Я не пощажу его, даже если найду в церкви.

— Не кощунствуйте! — поспешно прервал его маленький полковник.

— Этот изменник доводит меня до греха!

Они на минуту умолкли; наконец Кмициц первый спросил:

— Где он теперь?

— Может быть, в Таурогах, а может быть, и не там. Харлампы лучше знать.

— Пойдемте скорей.

— Теперь уж недалеко. Полк стоит за городом, а мы здесь, и с нами Харлампы.

Вдруг Кмициц стал дышать так тяжело, словно он поднимался на высокую гору.

— Я очень слаб, — проговорил он.

— Тем более вам нужно быть спокойным. Помните, что вы будете иметь дело с таким рыцарем, как Богуслав.

— Я уже раз имел с ним дело, и вот след.

Сказав это, Кмициц указал на шрам на лице.

— Скажите мне, как это случилось? Король говорил лишь вскользь.

Кмициц стал рассказывать, и хотя он скрежетал зубами и даже шапку швырнул на землю, но мало-помалу успокоился и отвлек свои мысли от несчастья.

— Я знал, что вы удалец, — сказал маленький рыцарь, — но схватить Радзивилла среди его войска... этого я и от вас не ожидал!

Между тем они дошли до квартиры. Оба Скшетуские, пан Заглоба, арендатор из Вонсоши и Харлампы были заняты рассмотрением крымских полушубков, принесенных торговцем-татарином. Харлампы, знавший Кмицица лучше всех, тотчас же узнал его и, бросив полушубок, вскрикнул:

— Господи!

— Да прославится имя Господне! — воскликнул арендатор из Вонсоши. Но, прежде чем все пришли в себя от удивления, Володыевский сказал:

— Мосци-панове, позвольте вам представить ченстоховского Гектора, верного слугу его величества, пролившего свою кровь за веру, короля и отчизну!

И когда изумление офицеров возросло еще больше, пан Михал с большим жаром начал рассказывать то, что слышал от короля о заслугах Кмицица, и то, что слышал от него самого о похищении князя Богуслава.

— Богуслав не только оклеветал этого кавалера, но даже больше: Кмициц его первый враг, и князь увез панну Биллевич из Кейдан, чтобы отомстить за прошлое.

— И этот кавалер спас нам жизнь и предупредил конфедератов о выступлении князя-воеводы! — воскликнул Заглоба. — Перед такими заслугами — ничто прежние грехи. Хорошо, пан Михал, что он пришел с тобой, а не один. Хорошо и то, что полк стоит за городом, наши солдаты уж больно сердиты на него и тотчас бы его изрубили.

— Приветствуем вас от души, как брата и будущего соратника! — сказал Ян Скшетуский.

Харлампы схватился за голову.

— Такой человек никогда не утонет, — сказал он, — отовсюду вынырнет, да еще славу вытащит на берег.

— А не говорил я вам этого? — воскликнул Заглоба. — Как только я увидел его в Кейданах, я сейчас же подумал: это настоящий солдат и удалец. Помните, что мы тотчас стали с ним целоваться. Если я и погубил Радзивилла, то и он отчасти к этому причастен. Сам Бог вдохновил меня в Биллевичах спасти его от расстрела. Правда, Радзивилл разбит благодаря мне, но также и благодаря ему. Мосци-панове, я полагаю, что нам не годится насухо принимать столь храброго кавалера, чтобы он не заподозрил нас в неискренности.

Услышав это, Жендзян тотчас же выпроводил татарина с полушубками и сам стал хлопотать насчет выпивки.

Но Кмициц думал только о том, как бы поскорее расспросить Харлампы, как бы спасти Оленку.

— Вы были при этом? — спросил он у Харлампы.

— Да, я почти не уезжал из Кейдан, — ответил Носач. — Князь Богуслав приехал к князю-воеводе. К ужину, на котором должна была присутствовать панна Биллевич, он нарядился так, что глазам было больно смотреть. Видно, она ему приглянулась. Он, точно кот, мурлыкал от удовольствия. Но говорят, что кот, мурлыча, молитву читает, а князь Богуслав если и читал ее, то разве только черту. А как он уживался за нею, как ухаживал...

— Перестань! — сказал Володыевский. — Ты только мучишь этим рыцаря.

— Ничуть. Говорите, пожалуйста, говорите! — воскликнул Кмициц.

— За столом он рассуждал о том, что нисколько не унижительно даже Радзивиллам жениться на шляхтянках, что даже предпочитает их тем князьям, которых ему сватал французский король. Фамилий их я не понимаю, чудные что-то...

— Это неважно! — сказал Заглоба.

— Все это он говорил, видно, с целью покорить ее. Мы это сразу поняли —

посматривали друг на друга и перемигивались, справедливо полагая, что он злоумышляет на ее добродетель.

— А она, а она? — лихорадочно спросил Кмициц.

— А она, как девушка высокой крови и прекрасных манер, даже виду не показала, что это ей приятно, и просто на него не смотрела, и только когда князь Богуслав начал говорить про вас, она стала пристально смотреть на него. Страшно сказать, что произошло, когда князь сказал, будто вы обещали ему за деньги схватить короля и доставить его шведам живым или мертвым. Мы думали, что она богу душу отдаст, но злоба на вас в ней была так велика, что поборола девичью слабость. Когда же потом Богуслав стал говорить, с каким негодованием он отверг ваши предложения, она стала поглядывать на него более ласково и позволила ему под руку проводить ее от стола.

Кмициц закрыл глаза рукой.

— Бей его, бей, кто в Бога верует! — повторял он. Потом встал со стула и сказал: — Прощайте, панове!

— Как так? Куда? — спросил Заглоба, загородив ему дорогу.

— Король даст мне отпуск, и я поеду и найду его! — проговорил Кмициц.

— Ради бога! Подождите! Вы еще всего не знаете, а найти его успеете. С кем вы поедете? И где его найдете?

Кмициц, быть может, и не послушался бы, но вдруг силы его оставили, и он, опустившись на скамейку и прислонившись к стене, закрыл глаза.

Заглоба подал ему бокал с вином, и он схватил его обеими руками и, проливая вино на бороду и грудь, с жадностью выпил до дна.

— Еще ничто не потеряно, — проговорил Ян Скшетуский. — Теперь надо побольше хладнокровия, особенно с таким человеком. Поспешностью и необдуманностью вы можете испортить все дело и погубить и себя и панну Биллевич.

— Выслушайте до конца Харлампа, — сказал Заглоба.

Кмициц стиснул зубы.

— Я слушаю, — сказал он.

— Охотно ли она уезжала, — продолжал Харламп, — я не знаю, ибо меня при ее отъезде не было; знаю только, что мечник россиенский протестовал; его сначала уговаривали, потом заперли в цейхгауз и, наконец, позволили ехать в Биллевичи. Что она в дурных руках — этого и скрывать нечего; судя по тому, что говорят о князе, он падок до женщин больше любого басурмана. Когда ему женщина понравится, он не поглядит и на то, что она замужем.

— Горе мне, горе! — проговорил Кмициц.

— Шельма! — воскликнул Заглоба.

— Меня удивляет только, что князь-воевода тотчас отдал ее Богуславу! — заметил Скшетуский.

— Я не политик, — ответил на это Харламп, — и повторяю только то, что говорили офицеры, а главным образом Гангоф, который знает все тайны князя. Я слышал, как кто-то крикнул в его присутствии: «Не попользоваться Кмицицу после нашего молодого князя!» А Гангоф ответил: «В этом отъезде больше политики, чем любви. Князь, говорит, ни одну не пропустит; но если только она станет ему сопротивляться, он ничего с ней не сделает, иначе пойдут толки, а там гостит княгиня с дочерью, а при них ему волей-неволей нужно быть скромником, если только он рассчитывает жениться на молодой княжне. Трудно это ему будет, говорит, но ничего не поделаешь».

— У вас камень должен свалиться с груди: никакая опасность не угрожает панне, — заметил Заглоба.

— Так зачем же он увез ее? — крикнул Кмициц.

— Хорошо, что вы обращаетесь ко мне, — сказал Заглоба, — ибо я тотчас пойму то, над чем кто-нибудь другой будет напрасно ломать себе голову. Почему он ее увез? Я не отрицаю, что она ему приглянулась, но, кроме того, он увез ее для того, чтобы удержать всех Биллевичей, которых много и которые очень богаты, от враждебных действий против Радзивиллов.

— Это возможно, — заметил Харлампа. — Верно одно: что в Таурогах он должен очень и очень обуздывать свои страсти и не сможет прибегнуть к крайности.

— Где же он теперь?

— Князь-воевода предполагал, что он в Эльблонге у шведского короля, куда он собирался ехать за подкреплениями. Несомненно, что его нет в Таурогах, так как там его не нашли гонцы. — Тут Харлампа обратился к Кмицицу: — Если вы хотите послушать простого солдата, то я скажу вам, что думаю: если с панной Биллевич что-нибудь случилось или князь сумел приобрести ее расположение, то вам незачем ехать в Тауроги, а если нет, если она вместе с князем выехала в Курляндию, то за нее беспокоиться нечего, так как ей не найти более безопасного убежища во всей Речи Посполитой, охваченной пламенем войны.

— Если вы такой удалец, как про вас говорят и как я сам предполагаю, — сказал Скшетуский, — то вам сначала надо поймать Богуслава, а имея его в руках, вы получите все.

— Где он теперь? — снова спросил Кмициц у Харлампа.

— Я уже сказал вам, — ответил Носач. — Но в горе вы забывчивы. Предполагаю, что он в Эльблонге и двинется с Карлом-Густавом против Чарненского.

— Вы сделаете лучше всего, если пойдете с нами к пану Чарнецкому, ибо таким образом легко можно встретиться с Богуславом, — проговорил Володыевский.

— Благодарю вас, панове, за добрые советы, — ответил Кмициц и стал торопливо прощаться со всеми. Они не удерживали его, зная, что человек в горе не может ни пить, ни говорить.

Володыевский сказал:

— Я провожу вас до архиепископского дворца, ибо вы так расстроены, что можете упасть на улице.

— И я! — прибавил Ян Скшетуский.

— В таком случае пойдете все! — прибавил Заглоба.

Надев сабли и накинув теплые бурки, все вышли. На улицах толпилось еще больше народу, чем прежде. Купцы стояли перед своими лавками, из всех окон выглядывали головы любопытных. Все говорили, что татарский чамбул уже прибыл и сейчас проедет через город к королю. До сих пор Львов видел этих гостей только за стенами, как полчища врагов на фоне пожаров. Теперь они въезжали, как союзники против шведов, и поэтому рыцари еле могли пробить себе дорогу. Крики: «Едут! Едут!» — ежеминутно перелетали из улицы в улицу, и тогда толпа сбивалась в такую массу, что невозможно было сделать ни шагу.

— Уф! — воскликнул Заглоба. — Отдохнем немного. Пан Михал! Вспомним недавние времена, когда мы смотрели не сбоку, а прямо в глаза этим чертовым детям. А я и в плену у них сидел. Говорят, что будущий хан похож на меня как две капли воды... Ну да что вспоминать прежние шалости...

— Едут! Едут! — снова послышалось в толпе.

— Бог изменил сердца этих собачьих детей, — продолжал Заглоба, — и теперь, вместо того чтобы опустошать наши окраины, они идут к нам на помощь. Это явное чудо! Говорю вам, что если бы за каждого язычника, которого эта старая рука отправила в ад, мне простили бы по одному греху, то я Давно был бы причислен к лику святых или еще при жизни был бы вознесен на золотой колеснице на небо.

— А помните, как мы ехали с Валадынки, от Рашкова, в Збараж? — спросил Володыевский.

— Как же, помню! Ты тогда в яму свалился, а я погнался за татарами. Когда мы вернулись за тобой, рыцари надивиться не могли: куда ни глянешь — все трупы да трупы!

Пан Володыевский помнил, что все это было как раз наоборот, но ничего не ответил, потому что, пока он успел прийти в себя от изумления, опять раздались крики:

— Едут! Едут!

Наконец все голоса умолкли, и вся масса народу устремила глаза в ту сторону, откуда должны были показаться татары. Вдали послышалась пискливая музыка, толпа расступилась, и посреди улицы появились татарские всадники.

— Смотрите! Да у них музыка есть! Это у них редкость!

— Тоже хотят показать себя, — ответил Ян Скшетуский, — хотя в некоторых чамбулах есть музыканты, которые играют, когда войско останавливается на продолжительное время. Должно быть, прекрасный чамбул.

Тем временем татары подошли и стали проезжать мимо. Во главе их ехал на пегом коне смуглый татарин с двумя дудками во рту. Откинув голову назад и закрыв глаза, он быстро перебирал пальцами отверстия дудок, извлекая из них пискливые и резкие звуки, столь быстрые, что их едва схватывало ухо. За ним ехало двое музыкантов, с бешенством потрясавших палками с медными побрякушками; за ними несколько человек пронзительно звенели медными тарелками или били в барабаны; некоторые из них играли, на манер казаков, на торбанах. И все они пели или, вернее, завывали какие-то дикие песни, поблескивая при этом белыми зубами и закатывая глаза. За этим нестройным и диким оркестром следовал чамбул по четыре всадника в ряд, состоявший почти из четырехсот человек.

Это был действительно отборный отряд, присланный ханом напоказ, в знак дружбы, в распоряжение польского короля. Вел его Акбах-Улан, из добруджских татар, самых закаленных в бою, старый, опытный воин, весьма уважаемый в аулах за мужество и строгость. Он ехал позади оркестра, одетый в розовую бархатную, несколько полинявшую шубу на куном меху. В руке у него был пернач, такой же, как у казацких полковников. Его красное лицо посинело от холода, он слегка покачивался на высоком седле, поглядывая по сторонам или оборачиваясь к своим татарам, точно не вполне надеясь, что они не соблазнятся видом толпы, женщин, детей, открытых лавок и не бросятся на все это с диким криком.

Но они ехали спокойно, как собаки с охотником, и только по их мрачным и жадным взглядам можно было догадаться, что творится в душах этих варваров. Толпа смотрела на них с любопытством и вместе с тем не очень дружелюбно: так велика была здесь ненависть к татарам. Время от времени раздавались крики «Ату! Ату их!», словно натравливали собак на волков. Но были и такие, которые многого ожидали от их помощи.

— Шведы ужасно боятся татар! Говорят, солдаты рассказывали о них чудеса, — говорили в толпе.

— И верно, — отвечали другие, — не рейтарам Карловым воевать с татарами, особенно с добруджскими, которые не хуже нашей конницы. Рейтар не успеет оглянуться, как татарин закинет на него свой аркан.

— Грешно звать на помощь язычников, — прибавляли некоторые.

— Грех-то грех, а все-таки пригодятся.

— Да, знатный чамбул, — говорил Заглоба.

Действительно, татары были хорошо одеты: на них были белые, черные и пестрые полушубки, шерстью вверх; за спиной были черные луки и колчаны, полные стрел, у всех были сабли, что не всегда встречалось в чамбулах. (Это была уже роскошь; в битвах они употребляли лошадиные челюсти, привязанные к палкам.) У некоторых были даже самопалы, спрятанные в войлочные чехлы; лошади были хотя

и низкорослые, худые, но зато отличавшиеся замечательной быстротой.

Посреди отряда шли четыре навьюченных верблюда, и все полагали, что в этих тюках были подарки хана королю; но в этом ошиблись, так как хан предпочитал брать подарки, а не давать. Обещав полякам свою помощь, он давал ее, конечно, не даром. И когда отряд отъехал, Заглоба сказал:

— Дорого обойдется нам эта помощь; они хоть и союзники, но разорят нашу страну. После шведов и после них во всей Речи Посполитой не останется ни одной целой крыши.

— Да, союзник тяжелый, — подтвердил Ян Скшетуский. — Знаем мы их!

— Я еще в дороге слышал, — сказал пан Михал, — будто король заключил такой договор с ханом, что к каждому отряду из пятисот татар будет назначен наш офицер с правом командовать и наказывать. В противном случае, они действительно оставили бы только небо да землю.

— А что король будет делать с этим чамбулом?

— Хан прислал его в распоряжение короля, и, хотя королю придется заплатить, он все же может с ним делать что угодно; пошлют его, верно, вместе с нами на помощь Чарнецкому.

— Ну, Чарнецкий сумеет сладить с ними.

— Разве жить с ними будет, иначе они начнут безобразничать у него за спиной. Должно быть, и в этот отряд назначат офицера.

— А что же будет делать этот толстый ага?

— Если он попадет не к дураку, то будет исполнять его приказания.

— До свидания, панове, будьте здоровы! — вдруг крикнул Кмициц.

— Куда вы так торопитесь?

— Пойду к королю просить его поручить мне команду над этими людьми.

XXXIII

В тот день Акбах-Улан бил челом королю и вручил ему письмо хана. Хан подтверждал свое обещание двинуть против шведов стотысячную орду, лишь только ему дадут вперед сорок тысяч талеров и только лишь взойдет первая трава на полях, ибо идти по опустошенной войной стране было бы невозможно. Что же касается чамбула, то хан посылает его в знак своей любви к «любезнейшему брату» и затем, чтобы казаки, которые все еще отказывают королю в повиновении, знали, что любовь эта ничем не нарушена, и пусть только до слуха хана коснутся первые известия о бунте, как его мстительный гнев обрушится на все казачество.

Король милостиво принял Акбах-Улана, подарил ему прекрасного жеребца и объявил, что вскоре пошлет его к пану Чарнецкому, чтобы и шведы Убедились, что хан посылает помощь Речи Посполитой. При имени Чарнецкого у татарина засверкали глаза, так как он знал его по прежним украинским войнам и вместе со всеми агами благоговел перед ним.

Менее понравилось ему то место в письме хана, где он просил короля назначить начальником чамбула какого-нибудь опытного офицера, который мог бы удерживать татар и самого Акбах-Улана от грабежей. Татарин предпочитал обойтись без такого опекуна, но, отвесив глубокий поклон королю, ушел, решив в душе, что не он будет кланяться своему опекуну, а опекун ему. Едва татарин ушел вместе с сенаторами, как Кмициц, стоявший во время аудиенции близ короля, упал к его ногам и сказал:

— Государь! Недостоин я той милости, которой прошу, но от нее зависит вся моя жизнь. Поручите мне командовать этими татарами и позвольте мне тотчас двинуться в путь.

— Я не отказываю, — ответил Ян Казимир, — лучшего не сыскать. Там нужен смелый и решительный кавалер, который сумел бы их обуздывать, иначе они начнут

разбойничать и грабить. На одно лишь я не согласен, а именно на то, чтобы ты отправился с ними раньше, чем заживут твои раны от шведских рапир.

— Пусть только меня обвеет ветром в поле, и слабость моя совсем пройдет; а с татарами я уж справлюсь и сделаю их мягкими, как воск.

— Но куда же так спешишь? Куда ты хочешь идти?

— На шведов, ваше величество. Чего мне здесь сидеть? Я получил здесь все, чего хотел: и милость вашего величества, и отпущение прежних грехов. Пойду с Володыевским к пану Чарнецкому или один буду делать набеги на неприятеля, как раньше на Хованского, и надеюсь, что Бог даст мне удачу.

— Нет, тебя что-то другое тянет в поле.

— Признаюсь вашему величеству, как отцу, и открою всю душу. Князь Богуслав мало того что оклеветал меня, он увез из Кейдан и девушку мою, держит ее в неволе в Таурогах, и даже хуже — злоумышляет на ее девичью честь. Государь, рассудок мой мутится, когда я подумаю, в чьих руках эта бедняжка. Ведь девушка до сих пор думает, что я предлагал этому псу окаянному поднять руку на ваше величество, и считает меня последним выродком. Я не успокоюсь, пока он не попадет в мои руки, пока я не освобожу ее. Дайте мне, ваше величество, этих татар, и клянусь, что я не только буду мстить за личную мою обиду, но и нарублю столько шведов, что их черепами можно будет этот двор вымостить.

— Успокойся! — сказал король.

— Если бы я, государь, хотел бросить службу, бросить защиту особы вашего величества и Речи Посполитой ради личного дела, мне стыдно было бы просить. Но тут-то одно с другим сходится. Пришла пора шведов бить, я их и буду бить. Пришла пора ловить изменника, я его и буду ловить всюду, если он даже в Лифляндию бежит, в Курляндию, в Россию или за море в Швецию...

— Мы имеем сведения, что Богуслав не сегодня завтра выступит с Карлом из Эльблонга.

— Тогда я пойду им навстречу.

— С таким отрядом? Да они тебя шапками накроют.

— Хованский накрывал меня с восемьюдесятью тысячами, да и то не накрыл.

— Самое надежное войско — у Чарнецкого. Шведы прежде всего ударят на него.

— Тогда я пойду к Чарнецкому. Ему помощь нужна немедленно.

— К Чарнецкому ты пойдешь, а в Тауроги с таким маленьким отрядом ты не проберешься. Все замки на Жмуди князь-воевода отдал шведам, и всюду шведские гарнизоны. А Тауроги, кажется, находятся у самой прусской границы, недалеко от Тильзита.

— У самой прусской границы, ваше величество, на нашей стороне, а от Тильзита будет четыре мили... Отчего не пробраться — проберусь, и не только не потеряю людей дорогой, но ко мне еще присоединится немало удалцов... Стоит мне только показаться, и там все пойдут на шведов. Я первый подниму Жмудь, если ее кто-нибудь не поднял. Как же мне не пробраться, если вся страна, как вода в котле, закипела.

— А ты и не подумал о том, что татары могут не захотеть идти за тобой в такую даль?

— Пусть только попробуют не захотеть, пусть только попробуют! — сказал Кмициц, стиснув зубы... — Сколько их? Четыреста? Я всех их велю перевешать, деревьев хватит. Пусть только попробуют бунтовать!

Король развеселился и воскликнул:

— Ей-богу, для этих овечек лучшего пастыря не найти. Бери же их и веди, куда тебе угодно.

— Благодарю вас, ваше величество, — сказал рыцарь, обнимая колени короля.

— Когда ты хочешь выступить? — спросил Ян Казимир.

— Завтра.

— Может, Акбах-Улан не захочет, так как его лошади измучены.

— Тогда я велю привязать его к своему седлу и поведу на аркане — пусть идет пешком, если лошадей жалеет.

— Вижу, что ты с ним сладишь, но пока можно — действуй добром... А теперь, Андрей... сегодня уже поздно, но завтра мне хотелось бы еще повидаться с тобой. Пока возьми этот перстень и скажи своей панне, что ты получил его от короля, который ей повелевает любить его верного слугу и защитника.

— Дай бог! — сказал со слезами на глазах молодой воин. — Дай бог погибнуть, не иначе как защищая ваше величество!

Было уже поздно, и король ушел. Кмициц отправился домой, чтобы подготовиться в дорогу и обдумать, с чего начать и куда прежде всего ехать.

Он вспомнил слова Харлампа, что если Богуслава нет в Таурогах, то лучше всего оставить девушку там, потому что оттуда ей легче пробраться в Тильзит под защиту курфюрста. Впрочем, хотя шведы и оставили князя-воеводу в критическую минуту, но все-таки надо было надеяться, что они с уважением отнесутся к его вдове; а потому если Оле нька будет на ее попечении, то с нею ничего дурного случиться не может. Если же они уедут в Курляндию, то тем лучше.

«Ведь я не могу ехать в Курляндию с моими татарами, там уже другое государство», — думал Кмициц.

Уплывали часы, а он и не думал об отдыхе; его так ободряла мысль о походе, что, несмотря на свою слабость, он готов был хоть сейчас сесть на коня.

Наконец слуги кончили укладывать вещи и хотели уже идти спать, как вдруг кто-то стал стучаться в дверь.

— Поди-ка посмотри, кто там? — сказал Кмициц, обращаясь к казачку. Казачок ушел и, поговорив с кем-то за дверью, тотчас вернулся.

— Какой-то солдат хочет видеть вашу милость. Он говорит, что его зовут Сорока.

— Впусти его скорее! — крикнул Кмициц. И, не ожидая, пока казачок исполнит приказание, сам бросился к дверям. — Здравствуй, милый Сорока, здравствуй!

Вахмистр, войдя в комнату, хотел было кинуться к ногам своего полковника, но вспомнил о военной дисциплине, вытянулся и проговорил:

— Честь имею явиться, пан полковник!

— Здорово, мой друг, здорово! — говорил обрадованный Кмициц. — Я думал, что тебя зарубили в Ченстохове.

И он обнял Сороку и дружески тряс ему руку; он мог это сделать, так как Сорока происходил из мелкой шляхты.

Тогда и старый вахмистр стал обнимать колени начальника.

— Откуда идешь? — спросил Кмициц.

— Из Ченстохова, ваша милость.

— Меня искал?

— Точно так.

— А от кого ты узнал, что я жив?

— От людей Куклиновского. Ксендз Кордецкий, как только узнал об этом, отслужил благодарственный молебен... Когда разнеслась весть, что пан Бабинич провел короля через горы, я сейчас же догадался, что это не кто иной, как вы.

— А ксендз Кордецкий здоров?

— Здоров, ваша милость, только неизвестно, не возьмут ли его, сегодня или завтра, ангелы на небо, ибо это святой человек!

— Да уж, не иначе! Откуда же ты узнал, что я с королем прибыл во Львов?

— Я полагал так: коль скоро ваша милость провожали короля, вы должны быть,

значит, с ним. Я только боялся, что вы уже в поле двинулись и что я опоздаю.

— Завтра я уйду с татарами.

— Хорошо, что так случилось: я вашей милости привез два кошелька денег. Кроме того, я захватил те цветные камешки, которые мы с боярских шапок снимали, и те, которые ваша милость захватили в шатре Хованского.

— Хорошие были времена, но ведь их, должно быть, осталось немного, я целую пригоршню отдал Кордецкому.

— Не знаю сколько, но ксендз Кордецкий говорил, что и на это можно купить две большие деревни.

Сказав это, Сорока подошел к столу и стал снимать с себя мешки.

— А камешки в этой жестянке, — прибавил он, ставя рядом с мешками манерку из-под водки.

Кмициц, не говоря ни слова, взял, не считая, горсть червонцев и, отдавая их Сороке, сказал:

— Вот тебе.

— Покорно благодарю, ваша милость. Эх, если бы у меня в дороге был хоть один дукат, — заметил вахмистр.

— А что? — спросил рыцарь.

— Да я ослабел в дороге от голода. Теперь редко где удастся добыть человеку кусок хлеба, каждый боится и убегает; в конце концов, я еле ноги волок.

— Господи! Да ведь все эти деньги были с тобой!

— Я не смел взять без разрешения, — ответил вахмистр.

— Держи! — сказал Кмициц, протягивая ему вторую горсть золота. — Эй, вы, шельмы! Дайте ему есть, да поживее, не то голову сверну! — крикнул он слугам.

Люди засуетились, и вскоре перед Сорокой стояла громадная миска с копченой колбасой и фляжка с водкой.

Сорока впился глазами в колбасу, усы и губы его дрожали, но он не смел сесть в присутствии полковника.

— Садись и ешь! — скомандовал Кмициц.

Не успел он кончить, как сухая колбаса уже хрустела на зубах у Сороки. Двое слуг смотрели на него, вытаращив глаза.

— Идите прочь! — крикнул Кмициц.

Вахмистр при каждой рюмке водки искоса поглядывал на полковника, не морщит ли тот брови, а затем отвертывался к стене и выпивал.

Между тем Кмициц шагал по комнате и стал разговаривать сам с собой:

— Да, иначе и быть не может... Надо его туда послать... Надо ей сказать... Нет, ничего не выйдет... Не поверит... Письма читать не станет, потому что считает меня изменником. Пусть лучше не показывается ей на глаза; пусть только присматривает и дает мне знать, что там делается.

Вдруг Кмициц крикнул:

— Сорока!

Вахмистр вскочил так стремительно, что чуть не опрокинул стол, и вытянулся в струнку.

— Что прикажете, пан полковник?

— Ты человек верный и ловкач. Поедешь далеко, но голодать не будешь.

— Слушаю!

— Поедешь в Тауроги, на прусскую границу. Там живет панна Биллевич... У князя Богуслава... Разузнай, прежде всего, там ли он... И присматривайся ко всему. Но не попадайся ей на глаза, разве так случится, что сама тебя увидит. Тогда расскажешь ей, что про меня знаешь. За всем примечай, ко всему прислушивайся. А сам будь осторожен! Если князь тебя узнает, то сидеть тебе на колу.

— Слушаю, пан полковник.

— Я послал бы старика Кемлича, но он уже на том свете — убит в ущелье, а сыновья слишком глупы. Они пойдут со мной. А ты бывал в Таурогах?

— Никак нет, ваша милость.

— Ну так поедешь сначала в Щучин, а оттуда вдоль прусской границы до Тильзита — Тауроги от него всего в четырех милях. Сиди в Таурогах, пока всего не узнаешь, а затем возвращайся ко мне. Ты меня найдешь там, где я буду. Расспрашивай про татар и пана Бабинича. А теперь ступай спать к Кемличам. Завтра — в дорогу.

Сорока ушел. Но Кмициц еще долго не ложился. Наконец усталость превозмогла. Он бросился на постель и заснул крепким сном.

На другой день он встал более бодрым и здоровым, чем накануне. Сначала он пошел в канцелярию за приказом и охранной грамотой, а затем отправился к Субагази-бею, главе ханского посольства во Львове, и имел с ним продолжительную беседу.

Во время этой беседы Кмицицу пришлось дважды запускать руку в кошелек. Зато, когда он уходил, Субагази поменялся с ним шапками, вручил ему пернач из зеленых перьев и несколько аршин зеленого шелкового шнура.

С этими подарками Кмициц пошел к королю, который только что приехал от обедни: он еще раз преклонил перед ним колени, простился и затем, в сопровождении Кемличей и двух слуг, отправился прямо за город, где стоял чамбул Акбах-Улана.

Старый татарин при виде его приложил руку ко лбу, губам и груди; но, Узнав, кто такой Кмициц и зачем он приехал, тотчас нахмурился; лицо его потемнело и стало надменным.

— Если король назначил тебя проводником, — сказал он ломаным русским языком, — то ты будешь указывать мне дорогу, хотя я сам попаду туда, куда мне надо. Ты еще молод и неопытен.

«Он заранее решил, — подумал Кмициц, — чем мне быть; но, пока можно, буду с ним ладить».

— Акбах-Улан, — сказал он громко, — король прислал меня не проводником, а начальником. И я советую тебе подчиниться королевской воле.

— Татарами правит хан, а не король! — ответил татарин.

— Послушай, Акбах-Улан, — с ударением проговорил Кмициц. — Хан подарил тебя королю, как подарил бы ему пса или сокола, а потому не сопротивляйся, чтобы тебя, как пса, не взяли на веревку.

— Аллах! — воскликнул удивленный татарин.

— Эй, не раздражай меня! — проговорил Кмициц.

Глаза Акбах-Улана налились кровью; он несколько минут не мог выговорить ни слова, а рука его схватилась за кинжал.

— Кейсим!⁴⁴ Кейсим! — проговорил он глухим голосом.

Но и пан Андрей, хотя обещал себе «ладить», не мог больше выдержать и, схватив татарина мощной рукой за его редкую бороду, задрал ему голову вверх, словно желая показать что-то на потолке.

— Слушай, козий сын! — сказал он сквозь зубы. — Тебе не хочется иметь над собой никакого начальства, чтобы жечь, грабить и убивать. Ты хочешь, чтобы я был тебе проводником. Вот тебе проводник! Вот тебе проводник!

И Кмициц начал колотить его головой об стену.

Когда, наконец, он выпустил ошалевшего татарина, тот уже не хватался больше за кинжал. Благодаря своей горячности Кмициц невольно открыл самый лучший

⁴⁴ Заколю! (*татар.*).

способ укрощения восточных людей, привыкших к рабству. Несмотря на страшное бешенство, овладевшее татаринном, в его избитой голове мелькнула мысль о том, каким сильным и влиятельным должен быть этот рыцарь, если он поступает так с ним, с Акбах-Уланом. И его окровавленные губы трижды прошептали:

— Багадырь⁴⁵, багадырь, багадырь!

Тем временем Кмициц надел на голову шапку Субагази, вытащил зеленый пернач, который он нарочно держал сзади за поясом, и сказал:

— Смотри сюда, раб, и сюда!

— Алла! — прошептал пораженный татарин.

— И сюда! — прибавил Кмициц, доставая из кармана зеленый шнур. Но Акбах-Улан уже лежал у его ног и бил челом.

Час спустя татары потянулись длинной цепью по дороге, ведущей из Львова к Великим Очам. Пан Кмициц ехал на темно-гнедом коне, подаренном ему королем; Акбах-Улан поглядывал на молодого рыцаря со страхом и удивлением.

Татары, знатоки военных людей, с первого взгляда отгадали, что под начальством этого рыцаря у них не будет недостатка ни в битвах, ни в добыче, а потому шли весело, с пением и музыкой.

«Превосходный отряд! — думал Кмициц, глядя на татар. — Мне все кажется, что я веду целую стаю волков; с такими людьми можно пройти всю Речь Посполитую и всю Пруссию. Подожди же, князь Богуслав!»

И в голове его одна за другой неслись самодовольные мысли — он всегда был склонен к самодовольству.

«Вот что значит ловкость, — говорил он сам себе. — Вчера у меня было только два Кемлича, а сегодня за мной идет четыреста человек. Стоит только начать, и у меня наберется тысяча, а может быть, и две таких головорезов, которых бы не постыдились иметь прежние мои товарищи. Подожди-ка, князь Богуслав!»

Но, подумав, он прибавил для очистки совести: «Притом и отечеству и королю я могу оказать значительную услугу».

И Кмициц пришел в отличное настроение. Его очень забавляло то, что встречавшиеся на дороге шляхтичи, евреи, крестьяне и даже группы ополченцев в первую минуту пугались при виде его войска.

День был пасмурный, сырой и туманный. Постоянно случалось, что проезжие подъезжали вплотную, натыкались на отряд и при виде его с ужасом восклицали:

— С нами крестная сила!

— Господи Иисусе Христе!

— Татары! Орда!

Но татары спокойно проезжали мимо бричек, нагруженных возов и табунов лошадей. Не то было бы, если бы им разрешил вождь; теперь без его разрешения они ничего не смели делать, так как собственными глазами видели, что сам Акбах-Улан держал стремя Кмицица, когда тот садился на лошадь.

Тем временем Львов уже исчез в тумане. Татары перестали петь и подвигались вперед среди тумана и лошадиных испарений. Вдруг послышался топот лошадей, и вскоре два всадника приблизились к Кмицицу. Это были полковник Володыевский и Жендзян. Оба они, миновав отряд, мчались к Кмицицу.

— Стой, стой! — кричал маленький рыцарь.

Кмициц остановился. Володыевский тоже осадил лошадь.

— Челом! — сказал он. — Я привез письма от короля: одно вам, другое воеводе витебскому.

— Но ведь я еду к Чарнецкому, а не к Сапеге!

⁴⁵ Богатырь (*татар.*).

— Прочтите сначала письмо.
Кмициц сломал печать и начал читать:

«Мы только что узнали от гонца воеводы витебского, что он не может идти в Малую Польшу и должен снова возвратиться на Полесье, ибо князь Богуслав, не дожидаясь короля и собрав все свои войска, намерен ударить на Тыкоцин и на пана Сапегу. Ввиду того что большая часть войск Сапеги осталась в крепостях и замках, мы приказываем тебе идти к нему на помощь со своим отрядом. А так как это совпадает с твоими желаниями, то мы даже не считаем нужным тебя торопить. Второе письмо отдай воеводе; в нем мы поручаем пана Бабинича, нашего верного слугу, его заботам, но паче же всего Божьему покровительству.

Ян Казимир, король».

— Боже! Боже! — воскликнул Кмициц. — Вот счастливая новость! Я не знаю, как благодарить его величество и вас...

— Я сам вызвался отвезти эти письма к вам, — сказал маленький рыцарь, — ибо видел ваше горе и хотел, чтобы эти письма вернее дошли до вас.

— Когда приехал гонец?

— Мы обедали у короля: я, двое Скшетуских, Харламп и пан Заглоба. Вы не можете себе представить, что выделял там Заглоба, что он рассказывал о своих заслугах и неспособности Сапеги. Король и оба гетмана хохотали до слез. Вдруг вошел камердинер с письмом, и король, увидев его, говорит: «Убирайся: может, дурные известия! Не порть нам веселья». И только узнав, что оно от Сапеги, начал читать его. Воевода пишет, что давнишние опасения оправдались, что прусский курфюрст нарушил свою присягу и окончательно присоединился к шведам против своего законного государя.

— Еще один враг, точно мало их и без того! — воскликнул Кмициц. И заломил руки: — Боже! Пусть пан Сапега позволит мне хоть на неделю уйти в Пруссию, и клянусь, что с твоею помощью я сделаю такое, что десять поколений будут вспоминать меня и моих татар!

— Может быть, и пойдете туда, — заметил пан Михал. — Но раньше советую вам идти на Богуслава, ибо благодаря измене курфюрста ему дали значительные отряды, и он идет на Полесье.

— О, мы еще с ним встретимся, как Бог свят! — сказал Кмициц с разгоревшимися глазами. — Если бы вы привезли мне назначение на Виленское воеводство, то я, наверно, не так бы обрадовался.

— Король тогда тотчас воскликнул: «Вот и дело для Ендрека. Порадуется небось!» Он хотел тотчас послать гонца, но я говорю: «Сам поеду, так еще и прощусь».

Кмициц нагнулся с лошади и обнял маленького рыцаря.

— Родной брат не сделал бы столько, сколько сделали вы! Дай бог, чтобы мне удалось чем-нибудь отблагодарить вас!

— Ну... Ведь я хотел вас расстрелять!

— Потому что я лучшего не стоил. Но это ничего. Пусть я погибну в первой же битве, если из всех рыцарей я кого-нибудь люблю больше вас!

Они еще раз крепко обнялись; пан Володыевский на прощание сказал:

— Только смотрите, будьте осторожны с Богуславом, будьте осторожны! С ним не легко!

— Одному из нас смерть предназначена. Эх, если бы вы открыли мне ваши тайны владеть саблей. Впрочем, делать нечего, времени нет. Авось ангелы помогут мне, и я увижу его кровь. Или сам навеки закрою глаза.

— Бог в помощь! Счастливого пути! Только хорошенько проучите этих

изменников-пруссаков! — сказал пан Володыевский.

— Не беспокойтесь! — ответил Кмициц.

Пан Володыевский подозвал Жендзяна, который все время рассказывал Акбах-Улану о подвигах Кмицица, и оба они уехали обратно во Львов. Кмициц с места повернул свой отряд и направился прямо на север.

XXXIV

Хотя татары, в особенности добруджские, умели воевать в открытом поле, но все же милее всего было им убивать безоружных, жечь, грабить и брать в плен женщин и мужиков.

Скучно было им теперь под предводительством Кмицица, который держал их в железных руках, превратил в стадо овец и не позволял вынимать оружия. Но близ Тарнограда некоторые из татар нарочно отстали от чамбула, чтобы пустить «красного петуха» в Хмелевке и пошалить с молодницами. Кмициц, который уже пошел к Томашеву, вдруг вернулся, увидев зарево, и приказал виновным перевешать друг друга; Акбах-Улан не только не протестовал и не сопротивлялся, а, напротив, сам торопил вешать осужденных, «чтобы багадырь не сердился». После этого «овечки» шли спокойно и, чтобы не возбуждать подозрения, сбивались в кучу. Как ни жестока была казнь, татары все же не возненавидели его. Уж такое было счастье этого забияки, что подчиненные и боялись его и любили. Правда, пан Андрей не позволял также никому обижать татар. Страна была опустошена недавними набегами Хмельницкого и Шереметева — провиант и сено достать было трудно. И все-таки у татар всего было вдоволь. Когда жители одного городка, Крыницы, не захотели дать им провианта, пан Андрей велел некоторых из них высечь батогами, а подстаросту уложил ударом обуха.

Это чрезвычайно расположило к нему ордынцев; они с наслаждением прислушивались к крикам крыничан и говорили между собой:

— А и сокол наш Кмитах, не дает в обиду своих!

И татары у Кмицица не только не похудели, но еще разжирили и откормили своих лошадей. Растолстевший Акбах-Улан все с большим удовольствием посматривал на рыцаря и, причмокивая губами, говорил:

— Если бы Аллах послал мне такого сына, то я под старость, наверно, не голодал бы в улусе.

Кмициц иногда ударял его кулаком по животу и, шутя, говорил:

— Слушай, боров, если шведы не распорют тебе брюха, то ты спрячешь туда целые кладовые.

— Где же эти шведы? Пока мы их встретим, у нас арканы сгниют и луки потрескаются.

Действительно, они ехали по такой местности, куда шведы еще не заходили. Повсюду им только встречались отряды вооруженной шляхты и крестьян, которые часто грозно загораживали татарам дорогу и которым порой надо было объяснять, что это слуги и союзники польского короля.

Наконец они дошли до Замостья. Татары изумились при виде этой мощной крепости, но изумление их возросло еще больше, когда им рассказали, что эта крепость задержала все войска Хмельницкого.

Владелец Замостья, пан Ян Замойский, в знак великого расположения и милости, позволил татарам войти в город. Даже Кмициц не рассчитывал видеть что-нибудь подобное и не мог прийти в себя от изумления, разглядывая широкие, прямые улицы и великолепные здания коллегий, духовной семинарии, замки, стены, огромные пушки и всякого рода «снабжения».

Но больше всего понравилась ордынцам армянская часть города. Ноздри их

расширились, вдыхая запах сафьяна, который выделялся на больших фабриках предприимчивыми пришельцами из Каффы, а глаза сияли при виде бакалейных товаров, ковров, кушаков, сабель, кинжалов, луков, турецких ламп и всевозможных драгоценностей.

Сам пан кравчий коронный пришелся по сердцу Кмицицу. Он был настоящим царьком в своем Замостье. Это был человек во цвете лет, очень красивый, хотя и болезненный. Замойский оставался холостяком; хотя многие знатные дома Речи Посполитой принимали его с распростертыми объятиями, но он отговаривался тем, что не может найти себе по-настоящему красивой девушки. Впоследствии он нашел такую: это была молодая француженка, которая хотя и любила другого, но вышла за него замуж из-за его богатства, не предполагая, что этот первый, отвергнутый, увенчает спустя несколько лет свою и ее голову королевской короной.

Замойский излишком ума не отличался, не добивался почестей, но они сами шли к нему. Когда же друзья журили его, что он недостаточно самолюбив, он отвечал:

— Неправда, у меня самолюбия больше, чем у тех, которые низко кланяются. Но зачем же мне обивать дворцовые пороги? В Замостье я не только Ян Замойский, но и Себепан Замойский.

Так его везде и звали Себепан, и это ему очень нравилось. Он любил прикидываться простачком, хотя получил прекрасное образование и молодость провел в путешествиях за границей; он называл себя простым шляхтичем, может быть, для того, чтобы другие противоречили ему. В общем же, несмотря на все его недостатки, это был прекрасный человек, гораздо лучше многих в Речи Посполитой.

Кмициц и Замойский понравились друг другу. Замойский очень любезно пригласил его к себе в замок, так как любил слыть гостеприимным.

Пан Андрей познакомился в замке со многими знатными лицами, между прочим, с сестрой пана Замойского, княгиней Гризельдой Вишневецкой, вдовой великого Еремии, некогда богатейшего магната во всей Речи Посполитой, который потерял все свое громадное состояние во время казацкого восстания, так что вдова его, за неимением средств, принуждена была поселиться у своего брата Яна.

Но, несмотря на это, она сохранила все свое прежнее величие и великолепие; пан Ян первый боялся ее как огня, ни в чем ей не отказывал и даже во всем советовался с нею. Поговаривали даже придворные, что княгиня правит Замостью, армией и братом. Но она не злоупотребляла своим влиянием и всю свою жизнь посвятила воспитанию сына, который недавно вернулся из Вены. Это был уже юноша, но напрасно Кмициц искал в его лице черты, которые должен был бы иметь сын великого Еремии. Молодой князь был некрасив: большое лицо, выпуклые робкие глаза, толстые, влажные губы и длинные черные волосы, ниспадавшие на плечи. От отца он унаследовал только черные волосы и темный цвет лица.

Люди, ближе знавшие его, уверяли, что князь обладает благородной душой, выдающимися способностями и необыкновенной памятью, благодаря которой он владеет почти всеми языками, и что только природная святость да излишняя любовь к еде являются единственными недостатками молодого магната.

Поговорив с князем, пан Андрей убедился, что князь не только умен и судит обо всем правильно, но что у него есть дар привлекать к себе людей. Кмициц после первого же разговора полюбил его той любовью, в которой больше всего жалости. Он чувствовал, что многое бы отдал, чтобы вернуть князю ту блестящую судьбу, которую ему сулило его происхождение.

Но зато за первым же обедом подтвердилось и то, что князь Михаил — лакомка. Молодой князь, кажется, ни о чем более не думал, кроме еды. Его выпуклые несмелые глаза тревожно следили за каждым блюдом: на тарелку он накладывал целые горы и ел жадно, чавкая губами... Мраморное лицо княгини, когда она в эти минуты глядела на сына, становилось еще печальнее. Кмицицу стало как-то неловко,

и он повернул голову в сторону Себепана Замойского.

Но Замойский не глядел ни на молодого князя, ни на своего гостя. Кмициц проследил направление его взгляда и за плечом княгини Гризельды увидел прелестное личико, которого он сначала не заметил.

Это была головка молодой девушки, которая казалась почти девочкой. Она была бела, как снег, румяна, как роза, и прелестна, как картинка. Маленькие вьющиеся локончики обрамляли ее головку, быстрые глазки стреляли в офицеров, сидевших возле пана Замойского, наконец остановились на Кмицице и начали в упор смотреть на него не без некоторого кокетства, словно желая заглянуть в самую глубь его сердца.

Но Кмицица нелегко было смутить; он также начал смотреть в упор в эти смелые глазки и, дотронувшись до руки сидевшего рядом с ним пана Шурского, поручика придворного панцирного полка, вполголоса спросил:

— Что это за чертенок?

— Мосци-пане, — резко ответил Шурский, — прошу вас воздержаться от подобных слов, раз вы не знаете, о ком говорите. Это вовсе не чертенек, а панна Анна Божобогатая-Красенская. И иначе прошу ее не называть, не то вам придется поплатиться за свою грубость.

— Ничего в этом обидного нет, — смеясь, сказал Кмициц. — Но, судя по вашему гневу, вы влюблены в нее по уши.

— А вы спросите, кто здесь не влюблен в нее, — проворчал Шурский. — Сам пан Замойский все глаза проглядел и сидит, как на углях.

— Вижу, вижу.

— Что вы там видите! Он, я, Грабовский, Столонгевич, Коноядский, Рубецкий Печинга — всех она влюбила в себя. И с вами будет то же, если дольше просидите. С нее двадцати четырех часов довольно!

— Ну нет, пане-брате! Со мной не справится и в двадцать четыре месяца.

— Как так? — спросил с возмущением Шурский. — Разве вы железный?

— Нет, но когда у вас украдут последний талер, то вам нечего бояться вора...

— Разве что так! — ответил Шурский.

Кмицицу стало вдруг грустно, так как ему вспомнились его огорчения, и теперь он уже не обращал внимания на то, что черные глазки все упорнее смотрели на него, точно спрашивая: как зовут тебя и откуда ты взялся, молодой рыцарь? А Шурский бормотал:

— Сверлит, сверлит... Так и меня сверлила, пока не добралась до сердца... А теперь и не думает.

— Почему же кто-нибудь из вас не женится на ней? — спросил Кмициц.

— Один другому мешаем, — ответил Шурский.

— Да так она, пожалуй, останется в старых девах, хотя пока еще, видно, не созрела.

Шурский вытаращил глаза и, нагнувшись к уху Кмицица, таинственно прошептал:

— Говорят, что ей двадцать пять лет, ей-богу! Она еще до казацкого восстания была у княгини Гризельды.

— Странно. Я бы ей дал не более шестнадцати или восемнадцати лет. Между тем «чертенек», вероятно, догадался, что речь идет о нем, так как опустил свои блестящие глазки и только искоса посматривал на Кмицица, точно спрашивая: кто ты, красавец? Откуда ты взялся? А он невольно покручивал усы.

После обеда Замойский взял Кмицица под руку, так как благодаря великосветским манерам молодого рыцаря он обращался с ним не как с простым гостем.

— Пан Бабинич, — сказал он, — ведь вы, кажется, с Литвы?

— Так точно, пане староста! — ответил Кмициц.

— Скажите, не знаете ли вы на Литве Подбипент?

— Знать их я не знаю, тем более что их нет уже на свете, по крайней мере, тех, которые назывались «Сорвикапюшонами»: последний из них убит под Збаражем. Это был один из величайших рыцарей во всей Литве. Кто у нас не знает о Подбипентах!

— И я слышал о них, но спрашиваю вас вот почему: у моей сестры есть на попечении одна панна, Божобогатая-Красенская. Род знатный. Была она невестой этого Подбипента. Она круглая сирота, и хотя сестра моя очень ее любит, но я, в свою очередь, как опекун моей сестры, являюсь и ее опекуном.

— Очень приятная опека! — заметил Кмициц.

Пан староста усмехнулся, подмигнул глазом и прищелкнул языком:

— Цветочек! А?

Но, заметив, что выдает себя, он сделал серьезное лицо.

— Хитрец, — сказал он полушутя-полусерьезно, — а я чуть было не проговорился.

— В чем? — спросил Кмициц, пристально глядя ему в глаза.

Тут Себепан окончательно убедился, что ему не провести гостя, и заговорил уже иначе:

— Этот Подбипента завещал ей какие-то фольварки. Названий не помню — странные: Балтупы, Сыруцияны, Мышьи Кишки, или что-то в этом роде. Словом, все, что у него было, — не помню, пять или шесть фольварков.

— Это большие поместья, а не фольварки. Подбипента был очень богат, так что если бы эта панна наследовала все его состояние, то могла бы иметь собственный двор и искать себе мужа среди сенаторов.

— Вот как? Вы знаете эти имения?

— Я только знаю Любовичи и Шепуты, так как они находятся возле моих имений. Одного лесу будет на две мили, да столько же пашни и луговой земли.

— Где же это?

— В Витебском воеводстве.

— Ой, далеко... игра не стоит свеч, тем более что вся эта местность занята неприятелем.

— Когда прогоним неприятеля, тогда доберемся и до имений. Кроме того, у Подбипента есть земля и в других местностях и большие имения на Жмуди. Я это отлично знаю, потому что и у меня там есть кусок земли.

— Я вижу, что и у вас земли не кот наплакал.

— Она теперь дохода не дает. Но чужого мне не нужно.

— Посоветуйте мне, как эту девушку поставить на ноги.

Кмициц засмеялся:

— Такой совет дам охотно. Лучше всего обратитесь к Сапеге; если он примет в ней участие, то, как витебский воевода и самое влиятельное лицо на Литве, он много может для нее сделать.

— Он мог бы разослать в трибуналы объявление, что состояние завещано Божобогатой, чтобы дальние родственники не расхватили.

— Да, но трибуналов теперь нет, и Сапега думает о другом.

— Может быть, лучше отдать ему на попечение и эту девушку. Раз она будет у него на глазах, то он скорее что-нибудь сделает.

Кмициц с удивлением посмотрел на пана старосту: «Почему он так хочет от нее избавиться?»

— Конечно, ей нельзя жить в палатке воеводы витебского, — продолжал староста, — но она могла бы находиться при дочерях его.

«Не понимаю, — подумал Кмициц, — неужели он намерен ей быть только опекуном?»

— Но вот в чем трудность: как отправить ее туда в такое беспокойное время? Для этого понадобилось бы несколько сот людей, а я не могу уменьшать гарнизон крепости. Хорошо было бы найти кого-нибудь, кто доставил бы ее в целости. Вот вы, например, могли бы это сделать, ведь вы все равно едете к Сапеге. Я дал бы вам письма, а вы дали бы мне рыцарское слово, что будете заботиться о ней и благополучно доставите ее на место...

— Я повезу ее к пану Сапеге? — с удивлением спросил Кмициц.

— А разве это такое неприятное поручение? Не беда, если вы в дороге влюбитесь в нее.

— О, мое сердце уже сдано в аренду, и, хотя мне аренды не платят, я все же арендатора менять не хочу.

— Тем лучше; я тем охотнее вам ее доверяю. Наступило минутное молчание.

— Ну что же? Возьметесь? — спросил староста.

— Но ведь я иду с татарами!

— Мне говорили люди, что татары боятся вас пуще огня... Ну, возьметесь?

— Гм... Пожалуй, если вам так угодно... Только...

— Вы думаете, что на это нужно позволение княгини... Она согласится, ей-богу, согласится. Представьте себе, она подозревает, будто я...

Тут староста начал что-то шептать на ухо Кмицицу и наконец громко сказал:

— Княгиня страшно на меня сердилась, а я молчал, ведь с бабами воевать не дай бог. Я предпочитаю сражаться со шведами под Замостьем. Но теперь это будет самым лучшим доказательством, что я ничего дурного не замышляю, если сам хочу выпроводить ее отсюда. Конечно, она очень удивится. Но я, при случае, поговорю с ней.

Сказав это, староста повернулся и ушел в другую комнату, а Кмициц посмотрел ему вслед и пробормотал:

— Ты что-то хитришь, пан староста, и хоть я пока не вижу цели, но вижу ловушку, да к тому же ты не больно хитер.

Но пан староста был очень доволен собою, хотя отлично понимал, что сделал только половину дела; оставалась еще другая, гораздо более трудная, и при мысли о ней в душе старосты возникло некоторое сомнение и даже страх: нужно было еще получить согласие княгини Гризельды, чьей строгости и проницательности пан староста боялся непомерно.

Но во всяком случае раз дело было начато, надо было его кончить, и на следующий день, после завтрака и после смотра, Замойский отправился в апартаменты сестры.

Он застал ее за вышиванием покрывала для костела. Ануся рассматривала мотки шелка, развешанные на двух стульях.

При виде ее глаза старосты загорелись, но он тотчас овладел собой и, поздоровавшись с княгиней, заговорил небрежным тоном:

— Этот пан Бабинич, который приехал сюда с татарами, — литвин, очень богатый человек, обходительный и рыцарь, говорят, на славу. Вы обратили на него внимание, сестрица?

— Ведь ты сам привел его ко мне, — равнодушно ответила княгиня Гризельда, — у него честное лицо, и он, видно, хороший солдат.

— Я расспрашивал его об имениях, завещанных панне Божобогатой. Он говорит, что богатство Подбицепты почти равняется радзивилловскому.

— Дай бог Анусе! Ей легче будет переносить сиротство, а потом старость, — проговорила княгиня.

— Только опасность в том, как бы дальние родственники не расхватали. Бабинич говорит, что витебский воевода, если бы захотел, мог бы этим заняться. Сапега человек благородный, и я не задумался бы доверить ему родную дочь... Ему

достаточно будет послать заявление трибуналам о своей опеке. Но Бабинич говорит, что панне Анне необходимо ехать туда самой.

— Куда? К Сапеге?

— Вернее, к его дочерям. Ее присутствие необходимо для ввода во владение.

Княгиня на минуту задумалась и сказала:

— Как же она туда поедет, ведь на дороге шведы?

— Я получил известие, что они ушли из Люблина. Вся страна по сю сторону Вислы свободна.

— Кто же отвезет ее туда?

— Хотя бы тот же Бабинич.

— С татарами? Побойся Бога, братец! Ведь это народ дикий и необузданный.

— Я не боюсь татар, — приседая, сказала Ануся.

Но княгиня Гризельда поняла, что брат пришел с каким-то готовым планом, а потому, попросив Анусю выйти из комнаты, пытливо посмотрела брату прямо в глаза. А он сказал как бы про себя:

— Ордынцы перед Бабиничем тише воды ниже травы — он их вешает за всякое нарушение субординации.

— Я не могу разрешить такую поездку, — отвечала княгиня. — Хотя она честная девушка, но легкомысленная и любит всем кружить головы. Впрочем, ты сам отлично это знаешь. Я никогда не поручила бы ее человеку молодому и неизвестному.

— Ну, положим, его нельзя назвать неизвестным. Кто же не слыхал о Бабиничах? Люди знатные, степенные и благородные — (староста первый никогда в жизни не слыхал о Бабиничах). — Впрочем, вы могли бы послать ее с какими-нибудь степенными дамами, тогда и приличие будет соблюдено. А за Бабинича я ручаюсь. Кроме того, скажу вам, что у него в тех местах есть невеста, которую он, по его словам, страстно любит. А кто любит, тот больше ни о ком не думает. Все дело в том, что нескоро подвернется такой случай, а тем временем может пропасть наследство девушки, и она останется ни с чем.

Княгиня, бросив вышивание, подняла голову и снова проницательно посмотрела в лицо брату.

— Почему ты так настаиваешь, чтобы ее отсюда услать?

— Почему настаиваю? — сказал, опуская глаза, староста. — Нисколько не настаиваю!

— Ян, ты сговорился с Бабиничем и хочешь посягнуть на ее честь?

— Только этого еще недоставало! — воскликнул Замойский. — В таком случае, прочтите письмо, которое я напишу Сапеге, и прибавьте от себя другое. Я же даю слово, что не сделаю шага из Замостья. Впрочем, вы сами можете расспросить Бабинича и сами будете просить его. Если же вы подозреваете меня, то я от всего отказываюсь.

— Но почему же ты так настаиваешь, чтобы она уехала из Замостья?

— Потому, что желаю ей добра... Забочусь о ее громадном состоянии... Впрочем, нет... признаюсь... мне действительно хочется, чтобы она уехала из Замостья... Мне наскучили ваши постоянные подозрения и недовольство. Я полагал, что, разрешая панне Анне уехать, я рассею их... Ведь я не школьник и не мальчишка, который подкрадывается ночью к окнам... Скажу больше: мои офицеры из-за нее перессорились, грозят друг другу саблями — ни согласия, ни порядка... Обязанностей никто не исполняет как следует. Нет, довольно! Впрочем, делайте как знаете, а за Михаилом смотрите сами, потому что это не мое, а ваше дело.

— За Михаилом? — с изумлением спросила княгиня.

— Я про девушку ничего дурного не говорю... Она с ним кокетничает не больше, чем с другими; но если вы, сестрица, не замечаете его пламенных взглядов, то могу только сказать, что даже Купидон так не ослепляет людей, как материнская любовь.

Княгиня нахмурила брови, и лицо ее побледнело.

А староста, видя, что наконец попал в цель, хлопнул себя руками по коленам и продолжал:

— Да, сестрица, вот как! Мне что за дело? Пусть Михаил подает ей шелк, пусть краснеет, глядя на нее, пусть подсматривает за ней в замочные скважины, мне что за дело! Впрочем... почему я знаю. Она будет богата... Род знатный — шляхта... Я не ставлю себя выше их... Если хотите сами — тем лучше. Правда, летами он не вышел, но опять-таки это не мое дело.

Сказав это, пан староста встал и, вежливо поклонившись сестре, собрался было уйти.

Княгиня между тем почувствовала, что кровь бросилась ей в голову. Гордая пани во всей Речи Посполитой не находила партии, достойной князя Вишневецкого, и за границей она позволила бы ему жениться только на одной из австрийских принцесс. Слова брата прижгли ее, как раскаленное железо.

— Ян, — сказала она, — подожди!

— Сестрица! — ответил пан староста. — Я хотел, во-первых, доказать неосновательность ваших подозрений, а во-вторых, указать, за кем надо смотреть. Теперь вы можете делать, что вам угодно, мне больше сказать нечего.

Замойский еще раз поклонился и ушел.

XXXV

Пан староста не совсем лгал сестре, говоря о влечении князя Михаила к Анусе, потому что молодой князь был влюблен в нее так же, как и все, не исключая пажей. Но эта любовь была лишена пылкости и предприимчивости; это был скорее легкий дурман, чем порыв сердца, которое, любя, стремится всю жизнь обладать любимым существом. Для такого стремления у князя Михаила не хватало энергии.

Тем не менее княгиня Гризельда, мечтавшая о блестящей будущности своего сына, не на шутку встревожилась.

В первую минуту ее очень удивило согласие старосты на отъезд Ануси; но теперь она перестала об этом думать, так как все ее мысли сосредоточились на угрожавшей опасности. Разговор с сыном, который бледнел и дрожал перед нею и в конце концов со слезами признался в своем чувстве, утвердил ее в предположении, что опасность велика.

Но она не сразу решилась, и лишь когда сама девушка, которой хотелось посмотреть новых людей, а может быть, и вскружить голову красавцу кавалеру, на коленях стала просить отпустить ее, княгиня не нашла в себе сил отказать. Ануся, правда, заливалась слезами при мысли о разлуке со своей госпожой, но для хитрой девушки было совершенно очевидно, что, прося об отъезде, она снимет с себя все подозрения в том, что решила кружить голову молодому князю или пану старосте.

Княгиня Гризельда, желая убедиться лично, нет ли между ее братом и Кмицицем какого-нибудь заговора, велела последнему прийти к ней. Обещание пана старосты, что он не тронется из Замостья, до некоторой степени успокоило ее, но она хотела ближе познакомиться с человеком, который должен был отвезти девушку. Разговор с Кмицицем успокоил ее совершенно. В серых глазах молодого рыцаря было столько искренности и правдивости, что невозможно было сомневаться. Он сразу признался, что любит другую и никаких видов на панну Анну у него нет. При этом он дал рыцарское слово, что будет защищать девушку от всякой опасности.

— К пану Сапеге ехать совершенно безопасно, и я ее отвезу; пан староста говорит, что неприятель отступил от Люблина, но в дальнейшем я слагаю с себя всякую ответственность за нее. И не потому, что я не хочу оказать услугу вашему сиятельству, ибо за вдову величайшего воина и гордости народной я готов свою

кровь пролить. Но меня ждут трудные дела, и я не знаю, удастся ли мне самому сносить голову на плечах.

— Мне больше ничего и не надо, — ответила княгиня, — только бы вы сдали ее на руки Сапеге, а пан воевода ради меня не откажет ей в своем покровительстве.

Княгиня протянула руку Кмицицу, которую тот с величайшим благоговением поцеловал, и на прощание прибавила:

— Но будьте осторожны, как кавалер! И не утешайте себя тем, что страна свободна от неприятеля.

Над последними словами княгини Кмициц немного призадумался; но его мысли были прерваны приходом Замойского.

— Ну что, мосци-рыцарь, — весело спросил он, — увозите из Замостья лучшее его украшение?

— С вашего согласия, — ответил Кмициц.

— Берегите же ее хорошенько. Как бы у вас ее не отбили. Это лакомый кусочек!

— Пусть только попробуют. Я дал княгине рыцарское слово, а у меня слово свято!

— Ведь я шучу. Вам бояться нечего, можете даже не предпринимать особенных мер предосторожности.

— А я хотел попросить у вас какую-нибудь крытую коляску.

— Дам вам и две... Но вы ведь не сейчас едете?

— Сейчас! Мне спешно, а я и так уж засиделся!

— В таком случае пошлите вперед ваших татар в Красностав. Я пошлю туда гонца, чтобы им приготовили корму для лошадей, а вам я дам в Красностав конвой. Опасаться вам нечего, так как это мои владения; я дам вам несколько немецких драгун, это смелые люди и дорогу знают. Впрочем, в Красностав дорога прямая.

— Да зачем же мне оставаться?

— Чтобы подольше погостить у нас; такого милого гостя я готов задержать на целый год. Притом я послал за табунами в Пересну, быть может, для вас найдется какой-нибудь хороший жеребец, который, в случае надобности, не подведет. Верьте!

Кмициц взглянул прямо в глаза пану старосте и потом, как бы на что-то решившись, сказал:

— Благодарю вас, я остаюсь, а татар отправлю вперед.

С этими словами Кмициц ушел, чтобы распорядиться. Отозвав в сторону Акбах-Улана, он сказал:

— Акбах-Улан, вам нужно идти в Красностав по прямой дороге. Я останусь здесь и поеду днем позже с конвоем. Теперь слушай, что я тебе скажу: в Красностав вы не пойдете, а спрячетесь в первом лесу, но так, чтоб о вас не было ни слуху ни духу. Когда вы услышите выстрел на дороге, спешите ко мне: мне хотят устроить какую-то ловушку.

— Твоя воля, — ответил Акбах-Улан, прикладывая руку ко лбу, губам и груди.

«Я разгадал твои хитрости, пан староста, — проговорил про себя Кмициц. — В Замостье ты боишься сестры и поэтому хочешь похитить девушку и поместить где-нибудь поблизости, а меня сделать своим орудием. Подожди! Не на таковского напал. Как бы тебе самому не попасться в свою же ловушку!»

Вечером поручик Шурский постучал в дверь Кмицица. Офицер тоже что-то подозревал, а так как он любил Анусю, то предпочитал, чтобы она лучше уехала, чем попала в сети Замойского. Но говорить откровенно он боялся, может быть, потому, что не был уверен в своем предположении. Он только выразил удивление, что Кмициц согласился услатить татар вперед, и уверял, что дороги совсем не так безопасны, как говорят, что всюду бродят вооруженные шайки и пошаливают.

Но пан Андрей притворился, что ничего не подозревает.

— Что со мной может случиться, — говорил он, — ведь пан староста дает мне

конвой?

— Да, но немцев.

— Разве они не надежные люди?

— Этим чертям никогда нельзя доверять; случилось не раз, что, сговорившись по дороге, они переходили на сторону неприятеля.

— Но по сю сторону Вислы нет шведов.

— Шведы есть в Люблине. Это неправда, что они ушли; советую вам не отправлять татар вперед... С большим отрядом всегда безопаснее.

— Жаль, что вы мне раньше этого не сказали, я никогда не отменяю своих приказаний.

На следующий день татары ушли вперед. Кмициц решил выехать вечером, чтобы к ночи прибыть в Красностав. Тем временем ему вручили два письма к Сапеге, одно от княгини, другое от пана старосты.

Кмицицу очень хотелось распечатать последнее письмо, но он не посмел и лишь посмотрел его на свет. Внутри конверта была чистая бумага. Это открытие окончательно убедило его, что у него по дороге хотят отнять и письма, и девушку.

Наконец пригнали табун из Пересны, и пан староста подарил молодому рыцарю необыкновенно красивого жеребца, которого Кмициц принял с благодарностью и подумал при этом, что на нем он уедет дальше, чем предполагает пан староста. Он вспомнил о спрятанных в лесу татарах и чуть не Расхохотался. Минутами все же он возмущался и решил проучить старосту.

Наконец пришло время обеда, который прошел очень мрачно. У Ануси были красные глаза; офицеры угрюмо молчали, один пан староста был весел и все подливал Кмицицу вина, а тот выпивал бокал за бокалом. Время было ехать, провожатых было мало: князь отправил офицеров на службу.

Ануса упала в ноги княгине, и ее долго не могли оторвать. Сама княгиня, по-видимому, тоже сильно беспокоилась. Может быть, она упрекала себя, что согласилась на ее отъезд. Но громкий плач ее сына еще более убедил гордую княгиню в необходимости положить конец этому чувству. И она утешалась надеждой, что девушка в семействе Сапеге найдет опеку и при содействии воеводы получит то огромное наследство, которое обеспечит ее судьбу.

— Поручаю ее вашей чести, мужеству и благородству, — повторила княгиня, обращаясь к Кмицицу, — помните, что вы мне дали слово довести ее благополучно к пану Сапеге.

— Если дал слово, то одна смерть разве может помешать мне сдержать его! — ответил рыцарь.

И он подал руку Анусе, которую она взяла с особенной надменностью, так как сердилась на него за то, что он относился к ней слишком невнимательно.

Наступила минута отъезда. Ануса села в карету со старой служанкой Сувальской, а Кмициц на лошадь, и они тронулись в путь. Двенадцать немецких драгун окружили карету и телегу с вещами Ануси. Когда наконец заскрипели ворота и колеса загремели по подъемному мосту, Ануса разразилась громкими рыданиями. КмицицАаклонился к коляске:

— Не бойтесь, ваць-панна, я вас не съем!

«Невежа!» — подумала Красенская.

Они миновали уже дома за крепостными стенами и въехали в лес, который тянулся вплоть до Буга. Наступила ясная, теплая ночь. Дорога вилась серебристой лентой, тишину прерывал только топот лошадиных копыт да грохот кареты.

«Мои татары засели, верно, в лесу, как волки!» — подумал Кмициц. Вдруг он стал прислушиваться.

— Что это? — спросил он, обращаясь к офицеру, начальнику драгун.

— Топот! Кто-то мчится за нами! — ответил тот.

Едва он кончил, как к Кмицицу подскакал на взмыленной лошади казак.

— Пан Бабинич! Пан Бабинич! Письмо от пана старосты!

Отряд остановился. Казак подал письмо Кмицицу. Рыцарь сорвал печать и при свете фонаря стал читать письмо:

«Мосци-пане, любезнейший пане Бабинич! Вскоре после отъезда панны Божобогатой до меня дошла весть, что шведы не только не ушли из Люблина, но даже намерены напасть на мое Замостье. А потому дальнейшее путешествие становится невыносимым. Учитывая опасности, каким может подвергнуться девушка, мы желаем, чтобы вы отправили панну Божобогатую обратно в Замостье. Ее отвезут мои драгуны. Ввиду же того, что вы торопитесь, мы не смеем вас затруднять. Сообщая вашей милости нашу волю, просим вас отдать соответствующие приказания драгунам».

Между тем Ануся выглянула из окна кареты.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего. Пан староста просит меня еще раз позаботиться о вас, больше ничего!

И, обернувшись к кучеру и рейтарам, он крикнул:

— Вперед!

Но офицер, командовавший рейтарами, осадил своего коня.

— Стой! — крикнул он кучеру. — Как так — вперед? — обратился он к Кмицицу.

— А чего же нам стоять в лесу? — спросил Кмициц, притворяясь дурачком.

— Да ведь вы получили какое-то приказание.

— А вам что за дело? Я получил и потому приказываю ехать вперед.

— Стой! — закричал офицер.

— Вперед! — повторил Кмициц.

— Что там? — спросила снова Ануся.

— Мы не двинемся ни на шаг, пока вы мне не покажете приказание! — решительно проговорил офицер.

— Вы его не увидите, потому что оно прислано не вам.

— Если вы не хотите его исполнить, то я его исполню. Поезжайте с Богом в Красностав и смотрите, как бы вам от нас не попало, а я с панной вернусь в Замостье.

Кмицицу только и нужно было, чтобы офицер сам проговорился, что знает содержание письма. Теперь стало совершенно ясно, что все это было заранее подготовлено.

— Уезжайте с Богом! — грозно повторил офицер.

И в ту же минуту солдаты без всякой команды обнажили сабли.

— Ах вы такие-сякие! Вы не в Замостье панну повезете, а припрячете ее, чтобы пан староста мог дать волю своим страстям... Не на таковского напали!

И с этими словами он выстрелил на воздух из пистолета. В глубине леса раздался страшный шум, словно выстрел разбудил целое стадо спавших волков. Со всех сторон послышался какой-то вой, треск сухих ветвей, лошадиный топот, и на дороге зачернели группы всадников, которые приближались с нечеловеческим визгом и воем.

— Господи боже! — воскликнули испуганные женщины.

Татары налетели тучей, но Кмициц удержал их троекратным криком и, обернувшись к перепуганному офицеру, сказал насмешливо:

— Ну, теперь видите, на кого напали? Пан староста хотел оставить меня в дураках, сделать из меня слепое орудие, а вам поручил роль свахи, которую вы приняли, пан офицер, чтобы угодить своему пану... Поклонитесь ему от Бабинича и скажите, что девушка будет благополучно доставлена к пану Сапеге.

Офицер испуганными глазами обвел дикие лица татар, окружавших его со всех сторон и смотревших на рейтар жадными глазами. Видно было, что они ждут лишь

приказания, чтобы наброситься на них и растерзать в клочки.

— Конечно, вы можете делать, что вам угодно, — сказал он дрожащим голосом, — но пан староста сумеет отомстить!

Кмициц засмеялся:

— Пусть же он отомстит мне на вас!.. Если бы вы не проговорились, что заранее знаете содержание письма, и не настаивали на том, чтобы вернуть панну назад, то я беспрекословно отдал бы вам девушку. Скажите пану старосте, чтобы он в свахи выбирал более умных, чем вы!

Спокойный тон Кмицица немного успокоил офицера, по крайней мере, он убедился, что ни ему, ни рейтарам не угрожает смерть; поэтому он вздохнул облегченно и спросил:

— Значит, мы ни с чем и вернемся в Замостье?

— Как ни с чем? Вы вернетесь с письмом, написанным у каждого из вас на шкуре!

— Ваша милость...

— Взять их! — крикнул Кмициц и первый схватил офицера за шиворот.

Вокруг коляски поднялась свалка. Женщины начали кричать о помощи, но татары заглушили их своим воем. Свалка продолжалась недолго, и вскоре все рейтары были связаны и положены рядом на дороге.

Кмициц приказал высечь их нагайками, но только так, чтобы они могли вернуться пешком в Замостье. Простым солдатам дали по сто, а офицеру сто пятьдесят ударов, несмотря на просьбы Ануси, которая, не понимая, в чем дело, думала, что попала в чьи-то страшные руки, и со слезами умоляла пощадить ее.

— Пощадите, рыцарь! В чем я перед вами виновата? Пожалейте! Пощадите!

— Тише, панна! — крикнул на нее Кмициц.

— Чем я провинилась перед вами?

— Может, вы и сами в заговоре?

— В каком заговоре? Боже, милостив буди мне, грешной!

— Так вы не знаете, что пан староста нарочно настаивал на вашем отъезде, чтобы разлучить вас с княгиней, похитить и в каком-нибудь пустом замке посягнуть на вашу честь?

— Господи Иисусе! — воскликнула Ануся.

В ее крике было столько искренности, что Кмициц сказал уже ласковее:

— Значит, вы не в заговоре? Возможно!

Ануся закрыла лицо руками, но ничего не могла сказать и только повторяла:

— Господи! Господи!

— Успокойтесь, панна! — еще ласковее сказал Кмициц. — Вы спокойно поедете к Сапеге. Пан староста не рассчитал, с кем имеет дело... Те люди, которых там секут, хотели вас похитить. Я отпущу их живыми, чтобы они могли рассказать пану старосте о том, как у них все гладко сошло.

— Значит, вы спасли меня от позора?

— Да, хотя не знал, будете ли вы этому рады!

Вместо ответа, Ануся схватила руку пана Андрея и прижала ее к своим бледным губам.

Дрожь пробежала по телу Кмицица.

— Оставьте, оставьте, ваць-панна! — крикнул он. — Садитесь в карету, а то ножки промочите. Ничего не бойтесь. Вам со мной безопаснее, чем у родной матери.

— Теперь я поеду с вами хоть на край света!

— Не говорите таких вещей, ваць-панна!

— Господь наградит вас за то, что вы защитили мою честь!

Тем временем ордынцы перестали сечь немцев, и Кмициц приказал их погнать в Замостье. Лошадей их, платье и оружие он подарил своим татарам. Затем они

быстро двинулись в путь, так как медлить было опасно.

По дороге молодой рыцарь не мог удержаться, чтобы время от времени не заглянуть в окно кареты, вернее, не взглянуть в живые глазки и прелестное личико девушки. Всякий раз он спрашивал, не надо ли ей чего-нибудь, удобна ли коляска и не утомляет ли ее слишком скорая езда.

Она отвечала ему кокетливо, что ей так хорошо, как еще никогда не бывало. Она уже совершенно успокоилась. Сердце ее наполнилось доверием к защитнику. В душе она думала: «Он вовсе не такой невежа, как я сначала предполагала!»

«Эх, Оле нька, если бы ты знала, как я страдаю из-за тебя! — думал Кмициц. — Неужели ты отплатишь мне неблагодарностью? Если бы это случилось в прежние времена!.. Ух!»

И ему пришли на память его прежние товарищи, бывлые проказы с ними, и, чтобы избавиться от искушения, он стал читать молитву за них.

Прибыв в Красностав, Кмициц подумал, что лучше не ждать известий из Замостья и тотчас двинуться дальше. Но перед отъездом он написал пану старосте следующее письмо:

«Ясновельможный пане староста и мой благодетель!

Кого Господь создал для великих дел, тому дал и догадливость в должной мере. Я тотчас смекнул, что вы хотите испытать меня, присылая мне приказание выдать панну Божобогатую-Красенскую. В этом я убедился тем более, что ваши рейтары проговорились о том, что знают содержание вашего приказа, хотя вашего письма я им не показывал. Отдавая должное удивление вашей дальновидности, я, чтобы вполне успокоить вас, заботливого опекуна, еще раз повторяю, что ничто на свете не может помешать мне исполнить данное мне поручение. Но так как ваши солдаты, по-видимому, плохо поняли ваше приказание и оказались настолько дерзкими, что даже угрожали мне смертью, то думаю, что я поступил бы согласно с вашими желаниями, если бы приказал их перевешать. Прошу прощения, что я этого не сделал; но все же я приказал их высечь, и если такое наказание вы найдете слишком мягким, то можете увеличить его по своему усмотрению. Надеюсь, что я заслужил доверие и благодарность ясновельможного пана, остаюсь вашим покорным слугой.

Бабинич».

Драгуны, с трудом дотащившись до Замостья поздней ночью, не смели показаться на глаза пану старосте, который узнал обо всем только на следующий день из письма Кмицица, привезенного красноставским казаком.

Прочтя его, пан староста заперся у себя на три дня и не пускал к себе никого, кроме слуг, приносивших ему еду. Слышали, как он ругался по-французски, что случилось с ним только тогда, когда он был в бешенстве.

Но буря понемногу улеглась. На четвертый и пятый день пан староста был очень молчалив, ворчал что-то про себя и дергал себя за ус, но через неделю, в воскресенье, выпив лишнее за обедом, он перестал дергать ус и, обратившись к сестре, княгине Гризельде, сказал:

— Вы знаете, сестрица, что я могу похвалиться своей проницательностью. Несколько дней тому назад я подверг испытанию того рыцаря, что повез Анусю, и могу вас уверить, что он в целости доставит ее Сапеге!

А через месяц сердце пана старосты принадлежало уже другой, а сам он был уже уверен, что все случилось согласно его воле и с его ведома.

XXXVI

Большая часть Люблинского воеводства и почти все Полесское находились в руках поляков, то есть конфедератов и сапежинцев. Так как король шведский все еще находился в Пруссии, где вел переговоры с курфюрстом, то шведы, считая себя недостаточно сильными, чтобы дать отпор всеобщему восстанию, разгоравшемуся все сильнее, боялись выходить из городов и замков и не смели перейти через Вислу, за которой стояли польские войска. В этих двух воеводствах работали над созданием значительного и хорошо обученного войска, которое могло бы помериться со шведскими регулярными войсками. В городах обучали пехоту, и так как крестьяне сами брались за оружие, то в солдатах не было недостатка. Оставалось только держать в железной дисциплине и приучить к команде эту беспорядочную массу, часто опасную и для местных жителей.

Этим занимались поветовые ротмистры. Кроме того, король рассылал приказы старым и опытным воинам, а потому войска собирались всюду. Составилось несколько великолепных кавалерийских полков. Одни шли за Вислу и там начинали военные действия, другие уходили к пану Чарнецкому, иные к Сапеге. Теперь уже войско Яна Казимира было многочисленнее шведского.

Государство, бессилием своим недавно изумившее Европу, нашло теперь в себе такую мощь, которой не подозревали не только враги, но даже сам король, даже те, чье верное сердце недавно разрывалось от боли и отчаяния. Откуда-то взялись деньги, воодушевление, мужество. Все были убеждены, что положение совсем не такое отчаянное, чтобы из него нельзя было выйти.

Кмициц беспрепятственно подвигался вперед, собирая по дороге всякий беспокойный люд, который присоединялся к его отряду в надежде принять вместе с татарами участие в грабежах и разбоях. Но таких он легко превращал в хороших солдат, так как у него был дар возбуждать страх и послушание у подчиненных. Его всюду встречали с радостью, так как появление татар было доказательством того, что хан действительно желает помочь Речи Посполитой. Вскоре грянула весть, что в помощь Сапеге идет сорок тысяч отборного татарского войска. Говорили о «скромности» союзников и о том, что по дороге они не совершают ни насилий, ни убийств. Их ставили в пример своим солдатам.

Пан Сапега временно стоял в Белой. Силы его состояли из десяти тысяч регулярной пехоты и кавалерии. Это были остатки литовских войск, пополненные новыми людьми. Конница, особенно некоторые полки, превосходила шведских рейтар своей выучкой, но пехота была недостаточно обучена, и, кроме того, у нее было мало оружия, а главное — пороха. Не хватало и пушек. Воевода витебский надеялся запастись всем в Тыкоцине, а между тем шведы, взорвав себя порохом, уничтожили весь запас пороха и все свои пушки.

Кроме этого войска в Белой стояло почти двенадцать тысяч ополченцев из Литвы, Мазовии и Полесья; но воевода не слишком рассчитывал на них, особенно потому, что у них с собой было бесчисленное множество возов, которые затрудняли поход.

Въезжая в Белую, Кмициц думал только об одном. В войске пана Сапеги было много офицеров, служивших прежде у Радзивилла, его прежних знакомых, а также шляхта из Литвы. Если его узнают, его изрубят в куски, прежде чем он успеет крикнуть: «Господи!» До того ненавистно было его имя на Литве и в лагере Сапеги: все еще помнили, как, служа Радзивиллу, он вырезал полки, взбунтовавшиеся против гетмана.

Но пана Андрея утешала мысль, что он очень изменился. Он похудел, на лице его был шрам от пули Богуслава, усы он зачесывал кверху, носил длинную шведскую бороду, так что теперь он скорее был похож на какого-нибудь шведа, чем на польского шляхтича.

«Только бы не узнали они меня сразу, а после битвы они будут относиться ко

мне иначе», — думал Кмициц.

Приехав в сумерки, Кмициц объявил, откуда он, и сказал, что с ним письмо короля. Он просил аудиенции у воеводы. Воевода принял его милостиво благодаря горячим отзывам короля о Бабиниче.

«Посылаем вам нашего вернейшего слугу, — писал король, — прозванного ченстоховским Гектором со времен осады святого места, несколько раз жертвовавшего за нас своей жизнью во время перехода через горы. Поручаем его вашему особому покровительству и просим оградить его от обид со стороны войска. Нам известно его настоящее имя, а также и причины, заставляющие его принять вымышленное имя, каковое обстоятельство не должно давать повода ни для подозрений, ни для недоверия».

— А почему вы носите вымышленную фамилию, если можно знать? — спросил воевода.

— Потому что меня преследуют судебные приговоры, и я не могу вербовать солдат под своим именем. Король дал мне разрешительные грамоты на вымышленное имя.

— Зачем вам вербовать, если у вас есть татары?

— Отряд побольше не помешает.

— А за что вас преследуют приговоры?

— Так как я поступаю под вашу команду и ищу у вас защиты, то признаюсь вам во всем, как родному отцу. Настоящая моя фамилия Кмициц.

Воевода даже попятился назад.

— Тот, который обещал Богуславу схватить короля и доставить его шведам живым или мертвым?

Кмициц откровенно рассказал ему все, что произошло с ним, как обманно уговорил его служить Радзивилл, как, услышав признание от Богуслава о настоящих замыслах князя, он похитил его и как князь Богуслав отомстил ему, оклеветав его так страшно.

Воевода поверил, и не мог не поверить, тем более что правдивость слов Кмицица подтверждало письмо короля. Кроме того, он готов был обнять в эту минуту даже своего величайшего врага. Причиной этой радости были следующие слова королевского письма:

«Несмотря на то что великая литовская булава после смерти воеводы виленского по закону может перейти к его преемнику только с согласия сейма, но ввиду нынешних чрезвычайных обстоятельств, нарушая обычный порядок, мы, ради блага Речи Посполитой и ваших великих заслуг, вручаем эту булаву вам, нашему любезнейшему воеводе, вполне надеясь, что, Бог даст, настанет мир, и на будущем сейме никто не будет протестовать против нашей воли, и решение наше будет всеми одобрено».

Сапега, как говорили в то время в Речи Посполитой, «продал последнюю серебряную ложку и заложил кунтуш», следовательно, служил не ради выгоды или почестей, но ради блага отчизны. Но и самый бескорыстный человек рад, когда видит, что его заслуги оценены и люди платят ему за них благодарностью. Поэтому его строгое лицо сияло теперь необыкновенной радостью.

Этот акт королевской воли придавал новый блеск роду Сапеги, а в то время никто не был к этому равнодушен. В эту минуту Сапега готов был сделать для короля все, что мог и чего не мог!

— Так как я теперь гетман, — сказал он Кмицицу, — то вы подлежите моему суду и покровительству. Здесь много ополченцев, а потому вы старайтесь быть поменьше на глазах у всех, пока я не предупрежу солдат и не заявлю, что вас оклеветал Богуслав.

Кмициц сердечно поблагодарил воеводу и заговорил об Анусе, которую привез с

собой в Белую.

— Рехнулся Себепан! Ей-богу! — проговорил Сапега. — Сидит себе с сестрой в Замостье, как у Христа за пазухой, и воображает, что всем, как и ему, только и дела, что греться у камина. Я знал Подбипент. Они родня Бжостовским, а Бжостовские — мне... Состояние громадное, что и говорить, но хотя война с русскими и затихла временно, но ведь они еще там. Кого искать, какие теперь суды и кто станет отнимать имения и вводить девушку в наследство? Совсем с ума сошли! Тут у меня на шее Богуслав, а они навязывают мне еще новые хлопоты и хотят, чтобы я с бабами возился.

— Это не баба, а вишня! — возразил Кмициц. — Впрочем, не мое дело! Приказали отвезти — я отвез; приказано отдать — отдаю!

Старый гетман взял Кмицица за ухо и сказал:

— А кто тебя знает, проказник, какой ты ее привез. Сохрани бог, чтобы люди стали говорить, будто от моей опеки ей родить придется. Как я, старик, в глаза людям буду смотреть? Что вы там делали во время остановок, говори мне сейчас, басурман? Уж не перенял ли ты от татар их басурманских обычаев.

— Во время остановок, — весело ответил Кмициц, — я приказывал своим людям полосовать мне спину нагайками, чтобы отогнать нескромные желания, кои, полагаю, обретаются под кожей.

— Ну вот видишь! А она хорошая девушка?..

— Красива, как козочка, никому покоя не дает!

— Вот и нашелся басурман!

— Она добродетельна, как монашка, это надо признать. Не будь того, не поздоровилось бы ей от опеки Замойского!

И Кмициц рассказал о том, что произошло в Замостье. Гетман похлопал его по плечу и расхохотался.

— Ну и ловкач же ты! — воскликнул он. — Недаром столько говорят о Кмицице... Не бойся: пан Ян — человек незлобивый и мой приятель... Пройдет первый гнев, он сам посмеется и наградит тебя!

— Мне его награды не нужно! — прервал Кмиции.

— Это хорошо, что ты горд и людям в карман не заглядываешь. Помоги мне в походе на Богуслава, и я сделаю так, что тебе не придется бояться прежних приговоров.

Сапега взглянул на Кмицица и очень удивился, видя, что лицо его, раньше простодушное и веселое, при одном имени Богуслава ощерилось, как морда собаки, которая хочет укусить.

— Чтоб ему собственной слюной отравиться, изменнику! Чтоб ему хоть перед смертью попасть в мои руки!

— Я не удивляюсь твоей ненависти. Но помни, что нужно быть благоразумным, так как придется иметь дело не с первым встречным. Хорошо, что король прислал тебя ко мне. Ты будешь нападать на Богуслава, как некогда на Хованского?

— Буду нападать! — мрачно ответил Кмициц.

Разговор окончился. Кмициц отправился спать, так как устал с дороги.

Тем временем среди войска распространилась радостная весть, что король отдал булаву его любимому вождю. Офицеры и солдаты разных полков толпами бежали к квартире гетмана. Сонный город проснулся. Повсюду загорелись огни. Заиграли трубы, загудели литавры, загремели выстрелы из пушек и мушкетов. Пан Сапега устроил великолепный пир. Пировали всю ночь, пили здоровье короля и гетмана. Чокались за будущую победу над Богу славом.

Пана Андрея на этом пиру не было.

Зато на этом пиру гетман завел разговор о князе Богуславе и, не называя имени того офицера, который привез ему булаву, говорил вообще о низости князя.

— Оба Радзивилла, — сказал он, — любили интриги, но Богуслав превзошел покойного брата Януша, — говорил Сапега. — Вы помните, Панове, Кмицица или, по крайней мере, слышали о нем? Вообразите себе, что слух, пущенный Богуславом про Кмицица, будто он обещал поднять руку на короля, — ложь!

— Все же Кмициц помогал Янушу резать настоящих рыцарей.

— Да, помогал Янушу, но потом опомнился и, опомнившись, не только бросил службу у Радзивилла, но, как человек смелый, хотел еще похитить Богуслава. Ему, говорят, уже туго пришлось, и он еле вырвался из рук Кмицица!

— Кмициц был великий воин, — послышалось несколько голосов. — Князь из мести оклеветал его, так что волосы встают дыбом!

— И черт лучшей мести не выдумает!

— У меня есть доказательство, что это была месть Кмицицу за то, что он бросил Радзивиллов.

— Так опозорить чужое имя! Один Богуслав способен на это!

— Погубить такого воина!

— Я слышал, — продолжал гетман, — что Кмициц, видя, что ему нельзя оставаться у Радзивилла, убежал в Ченстохов, оказал там значительные услуги, а потом защищал короля собственной грудью.

Узнав об этом, солдаты, готовые за минуту перед тем изрубить в куски Кмицица, стали отзываться о нем все сочувственнее.

— Кмициц ему не простит! Это не такой человек, он и против Радзивилла пойдет.

— Князь, оклеветав его, опозорил все войско.

— Хотя Кмициц был насильник и повеса, но он не был предателем!

— Он отомстит, отомстит!

— Мы раньше отомстим за него!

— Коль скоро гетман ручается за него, — значит, это верно!

— Да, это так! — подтвердил Сапега.

— Здоровье гетмана!

Еще немного, и, пожалуй, присутствующие выпили бы за здоровье Кмицица. Правда, раздавались и громкие голоса протеста, особенно среди прежних радзивилловских офицеров. Но, услышав это, Сапега сказал:

— А знаете, Панове, почему мне вспомнился Кмициц?.. Этот Бабинич, присланный королем, очень похож на него! Я сам в первую минуту ошибся.

Тут Сапега уже несколько строже взглянул на офицеров и прибавил тоном приказания:

— Если бы сюда приехал сам Кмициц, то, так как он обратился на путь истины, так как он с необычайной храбростью защищал святое место, я, как гетман, мог бы взять его под свое покровительство. Поэтому прошу вас, Панове, чтобы его прибытие не вызвало никаких волнений. Прошу помнить, что он приехал от имени короля и хана. Особенно прошу об этом панов ротмистров ополчения, ибо там дисциплина всегда слабее.

Когда пан Сапега говорил так, один Заглоба, бывало, смел бормотать себе что-нибудь под нос, а офицеры слушали его, не смея проронить ни одного слова.

Но лицо гетмана скоро опять повеселело — повеселели и гости. Пир продолжался до утра.

На следующий день Сапега отправил Анусю с паном Котчицем в Гродну, где после ухода Хованского проживало семейство гетмана.

Бедная Ануся, которой вскружил голову красивый Бабинич, прощалась с ним очень нежно; но он был сдержан и только при самом отъезде сказал ей:

— Если б в сердце моем не было одной занозы, которой никак не вытащишь, я, наверно, влюбился бы в ваць-панну безумно.

Ануся подумала, что нет такой занозы, которую при старании нельзя было бы вытащить иголкой, но так как она немного боялась Бабиница, то ничего не ответила и, тихо вздохнув, уехала.

XXXVII

После отъезда Ануси с Котчицем армия Сапеги еще неделю простояла в Белой, Кмициц с татарами также отдыхал, так как надо было откормить лошадей.

В Белую приехал и владелец ее, князь-кравчий Михаил-Казимир Радзивилл, могущественный вельможа из линии несвижской, о которой говорили, что она унаследовала после Кишек семьдесят городов и четыреста деревень. Он ничем не был похож на своих биржанских родственников. Быть может, не менее честолюбивый, чем они, он отличался от них религией, был горячим патриотом и сторонником короля и всей душой примыкал к Тышовецкой конфедерации и поддерживал ее по мере возможности. Его громадные поместья были разорены во время последней войны с Москвой, но он обладал все же значительными силами и привел немалую помощь гетману.

Но в данном случае значение имела не столько численность его войска, сколько то обстоятельство, что Радзивилл шел против Радзивилла; это лишало действия Богуслава даже тени законности и придавало им характер явной измены.

Поэтому Сапега с радостью встретил князя-кравчего в своем лагере. Он был уверен, что победит Богуслава, так как и сил у него было больше. Но он, по своему обыкновению, обдумывал все действия медленно и совещался с офицерами.

Бывал на этих совещаниях и Кмициц. Он так ненавидел имя Радзивиллов, что при виде князя Михаила даже задрожал от злобы, но князь Михаил как-то невольно располагал к себе всех своей наружностью. Кроме того, лицо его носило следы тяжелых трудов, которые ему пришлось перенести, когда он защищал восточные провинции от войск Серебряного и Золотаренки. Самое присутствие князя в лагере Сапеги, радзивилловского соперника, свидетельствовало о том, насколько молодой князь способен жертвовать личными интересами ради общественных. Кто знал князя, тот должен был его полюбить. Против этого чувства не мог устоять и ненавидевший Радзивиллов пан Андрей.

Но что более всего привлекало сердце Кмицица к князю, это его совет: не теряя времени, ударить на Богуслава и, не вступая ни в какие переговоры, не дав ему ни отдыха, ни покоя, воевать с ним по его же системе. В этой быстроте князь видел верное средство одержать победу.

— Вероятно, и Карл-Густав двинется, и надо как можно скорее развязать себе руки и идти на помощь Чарнецкому.

Кмициц был того же мнения и три дня боролся с собой, чтобы не двинуться вперед без разрешения.

Но Сапега любил действовать наверняка и боялся всякого необдуманного шага, а потому решил дожидаться более определенных известий.

И гетман имел основание так действовать. Предполагаемый поход Богуслава на Полесье был только военной хитростью, которая могла иметь целью не дать Сапеге соединиться с коронными войсками.

Богуслав, вероятно, будет избегать сражения с Сапегой и медлить для того, чтобы дать время Карлу-Густаву и прусскому курфюрсту ударить на Чарнецкого. Когда же союзники разобьют его, они двинутся на короля и уничтожат в самом начале дело освобождения, блестяще начатое защитой Ченстохова. Сапега был не только вождем, но и политиком. Он так убедительно высказал свои доводы во время военных совещаний, что даже Кмициц в душе должен был с ним согласиться. Прежде всего надо было знать, чего держаться. Если окажется, что поход Богуслава не более

как уловка, то против него достаточно несколько полков, а с остальными войсками надо немедленно двинуться к Чарнецкому, против главной неприятельской армии. Несколько полков гетман смело мог оставить в Белой, тем более что не все его войска были сконцентрированы в окрестностях Белой. Молодой пан Криштоф Сапега с двумя кавалерийскими полками и полком пехоты стоял в Яворове; Гороткевич с половиной драгунского полка, пятьюстами волонтеров и с пятигорским полком кружил близ Тыкоцина; кроме него в Белостоке стоял отряд полевой пехоты.

Этих сил было бы совершенно достаточно для того, чтобы дать отпор войскам Богуслава, если с ним немного войска.

Предусмотрительный гетман всюду разослал гонцов и ждал известий. Наконец они были получены по странной случайности все в один вечер и все были похожи на удары грома.

В бельском замке происходило совещание, как вдруг вошел ординарец и подал гетману какое-то письмо.

Лишь только Сапега пробежал письмо глазами, как тотчас изменился в лице и сказал:

— Мой родственник разбит наголову в Яворове самим Богуславом. Сам он едва остался жив.

Наступило глубокое молчание, которое прервал сам гетман.

— Письмо написано из Бранска в минуту бегства и замешательства, — сказал он, — поэтому в нем нет ни слова о численности войск Богуслава. Я все же полагаю, что силы его были значительны, если три полка, как говорится в донесении, совершенно уничтожены. Возможно, что князь Богуслав напал на них врасплох... Но утверждать этого нельзя.

— Мосци-гетман, — сказал князь Михал, — я уверен, что Богуслав хочет захватить Полесье, чтобы в случае переговоров получить его в удельное или ленное владение. Поэтому он, вероятно, собрал все свои силы, какие только мог собрать.

— Предположение необходимо подкрепить доказательствами, мосци-князь!

— Доказательств у меня нет, но я знаю Богуслава. Его интересуют не шведы, не бранденбуржцы, а он сам... Это недюжинный полководец, который верит в свою счастливую звезду. Ему хочется завладеть Полесьем, отомстить за Януша и стяжать славу, а для этого ему нужно иметь соответственные силы, и, по-видимому, он их имеет. Вот почему нам необходимо перейти в наступление: иначе он сам на нас нападет!

— Для всякого дела необходимо благословение Божье, — сказал Оскерко, — а оно у нас есть.

— Ясновельможный пан гетман, — проговорил Кмициц, — нам нужны известия. Отпустите меня с моими татарами, и я вам их доставлю.

Оскерко, знавший тайну Бабинича, горячо поддержал его предложение.

— Господи! Да это великолепная мысль! Там и нужен такой кавалер и такие воины. Но отдохнули ли лошади?..

Оскерко не закончил, так как в залу снова вошел ординарец.

— Ясновельможный пан гетман, — сказал он, — здесь два солдата из полка Гороткевича, они просят впустить их к вашей вельможности.

— Слава богу! Вот и известия! Впустите! — приказал Сапега. Вошли два пятигорца, оборванные и забрызганные грязью.

— Из полка Гороткевича? — спросил Сапега.

— Точно так.

— Где он теперь?

— Убит, а если не убит, то не знаем где...

Воевода встал, затем снова сел и стал расспрашивать спокойно:

— Где полк?

— Уничтожен князем Богуславом.

— Много ли убитых?

— Почти всех вырезали, осталось несколько человек; их взяли в плен, как и нас, но мы убежали. Говорят, что и полковник ушел, но что он ранен, это я сам видел. Мы убежали.

— Где же на вас напали?

— Под Тыкоцином.

— Если вас было мало, почему не спрятались в крепость?

— Тыкоцин взят!

Гетман закрыл глаза рукой, потом провел рукой по лбу.

— Сколько людей у Богуслава?

— Четыре тысячи прекрасной конницы кроме пехоты и пушек. Конница двинулась вперед, захватив нас с собою, но мы благополучно бежали.

— Откуда вам удалось бежать?

— Из Дрогичина.

Сапега широко открыл глаза.

— Да ты, верно, пьян, любезный! Как же Богуслав мог дойти до Дрогичина? Когда вас разбили?

— Две недели тому назад.

— И он уже в Дрогичине?

— Там его авангард. Он сам остался позади. Там захватили какой-то конвой под командой пана Котчица.

— Он сопровождал панну Божобогатую! — воскликнул Кмициц.

Настало долгое молчание. Никто не решался заговорить. Такой неожиданный успех Богуслава смутил офицеров ужасно. Все думали, что виновата в этом медлительность гетмана, но никто не смел высказать это вслух.

Но Сапега чувствовал, что он поступал так, как следует. Поэтому он первый оправился и, удалив гонцов, проговорил:

— Все это самые обыкновенные случайности войны, которые не должны нас смущать. Не думайте, мосци-панове, что мы потерпели какое-нибудь поражение. Конечно, жаль тех полков. Но еще большая беда была бы для отчизны, если бы Богуслав завлек нас в какое-нибудь отдаленное воеводство. Он идет к нам! Выйдем же, как гостеприимные хозяева, ему навстречу.

Тут он обратился к полковникам:

— Приказываю быть готовыми в поход.

— Все готовы, — ответил Оскерко, — только седлать лошадей и скомандовать: «Садись!»

— Сегодня же трубить в поход. Мы выступим завтра на рассвете. Пан Бабиниц пойдет вперед со своими татарами и доставит нам нужные сведения.

Услыхав это, Кмициц уже исчез за дверью, а спустя час он уже вихрем мчался в Рокитно.

Пан Сапега тоже не медлил. Еще не рассвело, как послышался протяжный звук труб. Конница и пехота двинулись в поле, а за ними потянулся длинный ряд нагруженных возов. Первые лучи солнца сверкали уже на стволах мушкетов и на наконечниках пик.

Войско шло в большом порядке, полк за полком. Драгуны пели утренние молитвы, лошади фыркали, что, по приметам солдат, предсказывало победу. В Рокитне уж татар и след простыл. Они вышли еще накануне ночью и, должно быть, были уже где-то далеко.

Пана Сапегу очень удивило, что по дороге о них трудно было что-нибудь узнать, хотя отряд в несколько сот человек не мог пройти незамеченным.

Самые опытные офицеры удивлялись ловкости Бабиница, с какой он вел свой

отряд.

— Он пробирается как волк меж кустов и, наверно, как волк укусит, — говорили офицеры. — Это мастер своего дела!

— Недаром Хованский назначил награду за его голову, — сказал Оскерко Сапеге. — Господь пошлет победу, кому он соблаговолит, но Богуславу вскоре надоест воевать.

— Жаль только, что Бабинич словно в воду канул, — ответил гетман.

Действительно, прошло три дня без всяких известий. Главные силы Сапеги дошли до Дрогичина, переправились через Буг, но не нашли здесь неприятеля. Гетман стал беспокоиться. По словам пятигорцев, войска Богуслава дошли именно до Дрогичина, и, очевидно, Богуслав решил отступить назад...

Но что значило это отступление? Боялся ли он сразиться с Сапегой, узнав о численности его сил, или хотел завлечь гетмана далеко на север, чтобы облегчить шведскому королю нападение на Чарнецкого и на коронных гетманов? Бабинич должен был уже доставить известия и дать знать гетману. Сообщения пятигорцев о численности войск Богуслава могли быть ошибочны, и поэтому нужно было иметь во что бы то ни стало достоверные известия.

Прошло еще пять дней, а Бабинич еще не давал знать о себе. Приближалась весна. Дни становились теплее. Снег стаял. Все кругом покрылось водой, под которой была вязкая топь. Гетман принужден был оставить большую часть пушек в Дрогичине и идти без них. В Бранске попали в такую непролазную топь, что даже пехота не могла подвигаться. По пути гетман брал у мелкой шляхты лошадей и сажал на них мушкетеров.

Богуслав все отступал. По пути все время попадали на его следы: то на сожженные деревни, то на трупы людей, висевших на деревьях; мелкая шляхта доставляла известия, но они были, как и всегда, сбивчивы. Кто видел один полк и божился, что у князя больше войска нет. Кто видел два, три полка, а кто и целую армию, растянутую на милю. Словом, это были рассказы людей, ничего не понимавших в военном деле. Видели татар, но именно известия о них были еще неправдоподобнее: говорили, что татары шли не за войсками князя, а впереди их. Пан Сапега сердился, когда при нем упоминали имя Бабинича.

— Вы чересчур расхвалили его. Жаль, что я отослал Володыевского, у меня давно были бы известия, а этот какой-то ветрогон, а может быть, и еще хуже. Кто знает, быть может, он и в самом деле перешел к Богуславу и идет впереди его войска?

Оскерко сам не знал, что думать. Между тем прошла еще неделя, и войско пришло в Белосток. Это было в полдень.

Спустя часа два после прибытия передовая стража донесла, что приближается какой-то отряд.

— Может быть, Бабинич! — крикнул гетман. — Уж я его проучу!

Оказалось, что это был не Бабинич. Но в лагере поднялось такое движение при виде отряда, что Сапега сам пошел узнать, что случилось. Между тем прибежало несколько солдат разных полков с криком:

— Пленники! От Бабинича! Целая толпа! Много нахватал!

И действительно, князь увидел несколько десятков человек на исхудалых лошадях. Они окружили человека триста пленных со связанными руками. Пленники представляли ужасный вид. Скорее это были тени людей, а не люди. Оборванные, полунагие, исхудалые, окровавленные, они шли, полуживые, ко всему равнодушные, не обращая внимания даже на свист ремней, которыми татары хлестали их по спине.

— Что это за люди? — спросил гетман.

— Войско Богуслава, — ответил один из добровольцев Кмицица, который привел пленных с татарами.

— Откуда вы их столько набрали?

— Больше половины в дороге умерло от истощения.

В эту минуту к Сапеге подошел старый татарин, вроде ордынского вахмистра. Низко поклонившись, он подал пану Сапеге письмо Кмицица. Гетман распечатал его и начал громко читать:

— «Ясновельможный пан гетман!

Я не присылал до сих пор ни людей, ни известий, потому что шел не позади, а впереди войска Богуслава и хотел набрать побольше пленных...» — тут гетман прервал чтение.

— Это какой-то дьявол, — вместо того чтоб идти за князем, он очутился впереди него!

— А чтоб его! — вполголоса добавил Оскерко.

Гетман продолжал читать:

— «...хотя это и было опасное предприятие, так как неприятельские сторожевые отряды расплзлись во все стороны от войска. Я уничтожил два отряда, никого не щадя, и пробрался вперед, вследствие чего князь смутился, ибо стал предполагать, что он окружен со всех сторон и может попасть в западню».

— А! Вот что значит это неожиданное отступление! — воскликнул гетман. — Это положительно дьявол!

«Не понимая, что случилось, — читал Сапег, — князь совсем потерял голову и высылал на разведки отряд за отрядом, мы на них нападали, и ни один из них не вернулся в полном составе.

Кроме того, идя впереди, я перехватывал обозы с провиантом, портил мосты и гати, так что войско подвигалось с большим трудом; люди не спали, не ели и днем и ночью ожидали нападения. Солдаты не решались выходить из лагеря: ордынцы хватили всех неосторожных; чуть только солдаты начали дремать, как татары в лощине поднимали страшный вой, а они, думая, что на них идет большое войско, должны были стоять наготове всю ночь. Благодаря всему этому князь в отчаянии и не знает что делать, куда идти, и теперь нужно как можно скорее напасть на него, пока он еще от ужаса не оправился. У него было шесть тысяч войска, но уже около тысячи погибло. Конница хорошая, пехота недурна, но, по воле Бога, войско тает со дня на день. Княжеские кареты, часть возов с вещами и провиантом и две пушки я захватил в Белостоке, но большую часть принужден был потопить. От постоянной тревоги и злости князь-изменник захворал и еле сидит на лошади. Лихорадка трясет его и днем и ночью. Панна Божобогатая захвачена им, но благодаря своей болезни он не может посягнуть на ее невинность. Сведения эти я имею от пленных, которых мои татары пытали и которые, если их еще попытать, все подтвердят. Поручая себя милостям ясновельможного пана гетмана, прошу прощения, если в чем-нибудь провинился. Ордынцы — молодцы и, чуя добычу, служат прекрасно».

— Ясновельможный пане, теперь вы, наверно, уже не так жалеете, что здесь нет Володыевского? — сказал Оскерко. — Ведь и он не сделал бы того, что сделал этот черт!

— Это что-то уму непостижимое! — воскликнул Сапег, хватаясь за голову. — Да не лжет ли он?

— Это человек слишком гордый. Он и князю-воеводе виленскому говорил правду в глаза, не обращая внимания, приятно ли ему слушать или нет. То же самое он проделывал с Хованским, только у Хованского было в пятнадцать раз больше войска.

— Если это правда, то нам нужно наступать как можно скорее, — сказал Сапег.

— Пока князь не опомнился!

— Ради бога, двинемся скорее. Кмициц портит дороги, мы, наверно, догоним!

Между тем пленные, увидя гетмана, стали стонать, плакать и умолять гетмана о

пощаде. Тут были и шведы, и немцы, и шотландцы. Сапега отнял их у татар, приказал их накормить и допросил, не прибегая к пыткам. Показания пленных подтвердили слова Кмицица, и все войско Сапеги стремительно двинулось вперед.

Следующее известие от Кмицица пришло из Соколки и было коротко:

«Князь, чтобы обмануть наше войско, с несколькими полками сделал ложный маневр на Щучин, а сам с главными силами направился в Янов, где получил подкрепление, состоящее из восьмисот человек хорошей пехоты под начальством капитана Кирица. От нас видны неприятельские огни. В Янове он намерен отдохнуть с неделю. Пленники говорят, что он готов принять битву. Лихорадка не перестает его мучить».

Получив это донесение, Сапега бросил остальную часть обоза и артиллерии и со всем войском двинулся в Соколку, где наконец оба войска стали лицом к лицу. Было очевидно, что битва неизбежна, так как одни не могли Дальше отступать, а другие преследовать.

Пан гетман, встретив Кмицица, обнял его и сказал:

— Я уже сердился на тебя за твое долгое молчание, но вижу, что ты сделал больше, чем я мог ожидать, и если Бог даст нам победу, то это будет твоя, а не моя заслуга. Ты как ангел-хранитель шел по пятам Богуслава.

Глаза Кмицица сверкнули зловещим огнем:

— Если я его ангел-хранитель, то я должен присутствовать и при его кончине!

— Это Бог рассудит, — серьезно сказал гетман, — но если хочешь, чтобы он благословил тебя, то преследуй врага отчизны, а не личного врага.

Кмициц молча поклонился, незаметно было, чтобы прекрасные слова гетмана произвели на него какое-нибудь впечатление. Его лицо выражало только неумолимую ненависть к Богуславу и было тем страшнее, что за время последнего похода похудело еще больше. Всякий легко мог понять, что если этот человек поклялся кому-нибудь отомстить, то тот должен остерегаться, будь он хоть сам Радзивилл.

И Кмициц действительно мстил страшно и в этой войне оказал громадные услуги. Очутившись впереди войска Богуслава, он сбил его с толку, обманул его расчеты, вселил в него убеждение, что он окружен со всех сторон, и принудил к отступлению. Потом он шел впереди его днем и ночью. Уничтожал разведочные отряды, не знал милосердия к пленным. В Семятичах, в Боцьках, в Орлей и близ Вельска Кмициц нападал по ночам на сам лагерь.

В Войшках, в самом центре радзивилловских земель, он, как ураган, налетел на самую княжескую квартиру, так что Богуслав, который садился обедать, едва не попал ему в руки и спасся только благодаря ошмянскому подкоморию Саковичу.

Под Белостоком Кмициц захватил кареты и обоз с вещами Богуслава, а войско его истомил голодом. Отборная немецкая пехота и шведские драгуны, которых Богуслав привел с собою, были похожи на скелеты и шли в вечном ужасе, не зная сна. Бешеный вой татар и волонтеров Кмицица раздавался спереди, сзади, со всех сторон, и едва измученный солдат закрывал глаза, как вскоре снова должен был хвататься за оружие. И чем дальше, тем было все хуже и хуже...

Мелкая местная шляхта понемногу присоединялась к татарам Кмицица, отчасти из ненависти к биржанским Радзивиллам, отчасти из страха перед Кмицицем, так как он жестоко наказывал сопротивляющихся. Силы Кмицица росли, а силы князя Богуслава таяли.

К тому же сам Богуслав был действительно болен, и хотя астрологи, которым он слепо верил, предсказали ему в Пруссии, что в этой войне лично ему ничто дурное не грозит, но его самолюбие, как вождя, часто сильно страдало. Он, которого считали великим полководцем в Нидерландах, на берегах Рейна и во Франции, в этих глухих лесах был ежедневно побеждаем без битвы, каким-то невидимым врагом!

Кроме того, в этом преследовании была видна какая-то необыкновенная назойливость и ярость, и князь, благодаря своей проницательности, через несколько дней догадался, что его преследует какой-то неумолимый личный враг. Он вскоре узнал и фамилию: Бабинич. Она переходила из уст в уста по всей окрестности. Но эта фамилия была ему совершенно незнакома. Все же он очень хотел познакомиться со своим преследователем, и во время пути он постоянно устраивал засады, но всегда напрасно. Бабинич умел избегать засады и наносил удары с той стороны, где их меньше всего ожидали.

Наконец оба войска сошлись в окрестностях Соколки. К Богуславу действительно пришло подкрепление под командой фон Кирица. Не зная, где князь, он случайно зашел в Янов, где и должна была решиться судьба Богуслава. Кмициц тщательно отрезал все дороги, ведущие из Янова в Соколку, Корицин, Сузницу и Суховолю. Окрестные леса и лощины были заняты татарами. Ни письма, ни возы с провиантом не могли попасть к Богуславу, и потому он сам торопился дать сражение, прежде чем его солдаты съедят последние яновские сухари.

Но, как человек хитрый и мастер в деле интриг, он решил сначала вступить в переговоры. Он не знал, что в этой области пан Сапега гораздо умнее и опытнее его. И вот в Соколку с письмом от Богуслава и полномочием для заключения мира явился пан Сакович, подкоморий и староста ошмянский, придворный и личный друг князя.

Пан Сакович был человек богатый и впоследствии достиг звания сенатора, так как был назначен воеводой смоленским и подскарбием Великого княжества. А пока он считался одним из первых рыцарей на Литве и славился как своим мужеством, так и красотой. Это был мужчина среднего роста, с черными волосами, со светлоголубыми глазами, в которых было столько дерзости, что Богуслав говорил, будто его глаза как кинжалы. Он одевался иностранцем, говорил почти на всех языках; в битвах бросался в самую середину неприятеля с такой безумной отвагой, что друзья называли его «искателем смерти».

Но благодаря своей огромной силе и находчивости он из всех опасностей выходил невредимым. Говорили, что он останавливал на всем ходу карету, схватив ее за задние колеса, и что мог пить без меры. Съедал кварту вишен, настоянных на спирту, и оставался трезвым, как будто ничего в рот не брал. Неуживчивый, гордый и заносчивый с людьми, в руках Богуслава он был мягок, как воск. Манеры у него были вылощены настолько, что он умел себя держать при любом королевском дворе; но вместе с тем в его душе была какая-то дикость, которая вспыхивала временами.

Сакович был скорее товарищем, чем слугой князя.

Богуслав, который никого не любил по-настоящему, чувствовал к нему непреодолимую слабость. Скупой по натуре, он был щедр только для Саковича. Благодаря его связям Сакович был назначен его ошмянским старостой.

После каждой битвы князь прежде всего спрашивал: «Где Сакович? Не ранен ли он?» Постоянно следовал его советам и пользовался его услугами как в битвах, так и в ведении переговоров, в которых наглость пана старосты ошмянского бывала иногда очень полезна.

И вот теперь князь послал его к Сапеге. Но миссия эта была очень трудна, так как Саковича легко можно было заподозрить в том, что он приехал шпионить и осмотреть войска Сапеги; кроме того, послу было поручено много требовать, но ничего не предлагать.

Но пана Саковича нелегко было смутить. Он вошел, как победитель, явившийся диктовать условия мира побежденному, и смело взглянул на пана Сапегу своими бледными глазами.

Пан Сапега, видя эту спесь, снисходительно улыбнулся.

— Мой господин, князь на Биржах и Дубниках, конюший Великого княжества Литовского и главнокомандующий войсками его высочества курфюрста прусского, —

проговорил Сакович, — прислал меня передать поклон и узнать о здоровье вашей вельможности.

— Поблагодарите князя и скажите ему, что вы видели меня здоровым.

— У меня есть и письмо к вашей вельможности.

Сапега взял письмо, распечатал его небрежно и, прочтя, сказал:

— Жаль времени... А главное, я не могу понять, что нужно князю? Сдаются ли вы, или хотите попытаться счастья?

Сакович притворился удивленным.

— Сдаемся ли мы? — сказал он. — Я полагаю, что князь предлагает в этом письме вам сдаться; по крайней мере, данные мне инструкции...

Сапега его перебил:

— О ваших инструкциях поговорим потом, пан Сакович. Мы гонимся за вами почти тридцать миль, как гончие за зайцем... А разве вы слышали когда-нибудь, чтобы заяц предлагал гончим сдаться? Я скажу вам то, что любил говорить Хмельницкий: «Шкода говорить»⁴⁶.

— Мы получили подкрепление в восемьсот человек под командой капитана фон Кирица!

— Да, но остальные так утомлены, что еще до битвы свалятся с ног.

— Курфюрст со всеми своими войсками придет к нам на помощь.

— Это хорошо. По крайней мере, мне не придется его искать, а я как раз хочу его спросить, по какому праву он посылает войска в границы Речи Посполитой, будучи ее ленником и поклявшись ей в верности.

— По праву сильного!

— Может быть, такие права существуют в Пруссии, но не у нас. Впрочем, если вы сильнее, тогда начинайте битву.

— Князь давно бы напал на вашу вельможность, если бы ему не было жаль проливать братскую кровь.

— Надо было раньше жалеть!

— Князь не может также понять причин ненависти Сапеги к дому Радзивиллов и удивляется, что из-за личной мести вы, ваша вельможность, решаетесь на братоубийственную войну.

— Тьфу! — громко плюнул Кмициц, стоявший за гетманским креслом.

Пан Сакович встал, подошел к нему и смерил его глазами. Но нашла коса на камень, и староста прочел в глазах Кмицица такой ответ, что опустил глаза в землю. Гетман нахмурил брови.

— Садитесь, пан Сакович, а вы — извольте молчать! А затем прибавил:

— Тот, кто с чужеземными войсками нападает на свою отчизну, обвиняет тех, кто защищает ее... Господь слышит это, а небесный летописец записывает.

— Из-за ненависти Сапег к Радзивиллам погиб виленский воевода!

— Я не Радзивиллов ненавижу, а изменников, и лучшим доказательством этого служит то, что князь-кравчий Радзивилл в моем лагере... Говорите, что вам нужно?

— Ваша вельможность, я скажу то, что думаю: ненавидит тот, кто подсылает тайных убийц...

— Я подсылаю тайных убийц к князю Богуславу? — изумился Сапега.

Сакович впился в гетмана страшными глазами и сказал:

— Да!

— Вы с ума сошли!

— Третьего дня за Яновом поймали разбойника, который уже раньше принадлежал к шайке, покушавшейся на жизнь князя. Под пыткой он скажет, кто его

⁴⁶ Говорить не стоит (укр.).

послал.

Воцарилась минутная тишина, и среди этой тишины Сапега вдруг услышал, как Кмициц, стоя за креслом, сквозь зубы прошептал:

— Горе мне! Горе!

— Бог видит мою душу, — ответил гетман с истинно сенаторским величием. — Ни перед вами, ни перед вашим князем я оправдываться не буду, так как вы мне не судьи. А вы, вместо того чтобы говорить пустяки, скажите, зачем вы приехали и какие условия предлагает князь?

— Князь уничтожил полк Гороткевича, разбил отряд Криштофа Сапеги, отнял Тыкоцин и благодаря этому может, по всей справедливости, считать себя победителем и требовать значительных уступок. Но, не желая братоубийственной войны, он хочет спокойно уехать в Пруссию, оставив лишь в замках свои гарнизоны. Мы взяли немало пленных, в числе коих много знатных офицеров и панна Божобогатая-Красенская, которая уже отослана в Тауроги. Мы можем обменяться пленными.

— Не хвастайте своими победами, потому что мой передовой отряд во главе с паном Бабиничем, присутствующим здесь, гнал вас целых тридцать миль... И вы, убегая, потеряли обозы, пушки и провиант. Ваши войска гибнут от голода, так как вам нечего есть, и вы сами не знаете, что делать. Вы видели мое войско. Я нарочно не велел вам завязывать глаза, чтобы вы могли судить, можете ли вы бороться с нами. Что же касается той панны, то о ней позаботятся пан Замойский и его сестра княгиня Гризельда Вишневецкая, ее опекуны; они и с князем посчитаются, если он обидит ее. Лучше говорите о деле, иначе я прикажу пану Бабиничу немедленно наступать.

Сакович вместо ответа обратился к Кмицицу.

— Так это вы не давали нам покоя в дороге? — воскликнул он. — Вы, верно, у Кмицица учились этому разбойничьему способу преследования?

— Судите по собственной шкуре, хорошо ли у него выучился! — ответил Кмициц.

Гетман снова нахмурил брови и, обращаясь к Саковичу, сказал:

— Вам здесь делать нечего, можете ехать!

— Дайте же мне, ваша вельможность, хоть письмо к князю.

— Хорошо, подождите у пана Оскерки.

Услышав это, Оскерко тотчас же увел Саковича. Гетман на прощание кивнул ему, а затем сейчас же обратился к Кмицицу:

— Почему ты сказал: «Горе мне», когда Сакович заговорил о пойманном человеке? — спросил он, сурово и пытливо глядя в глаза рыцаря. — Неужели ненависть в тебе совесть заглушила и ты действительно подослал к князю тайных убийц?

— Клянусь Пресвятой Девой, которую я защищал! — горячо воскликнул Кмициц. — Если он и будет убит, то только моими руками.

— Отчего же ты сказал: «Горе мне»? Ты знаешь этого человека?

— Знаю, — ответил, бледнея от волнения и бешенства, Кмициц. — Я сам отправил его из Львова в Тауроги. Князь Богуслав похитил и увез в Тауроги панну Биллевич... Я люблю эту девушку... Она была моей невестой... Я послал этого человека только с той целью, чтобы он сообщил мне о ней... Она была в таких руках...

— Успокойся, — сказал гетман. — Ты дал ему какие-нибудь письма?

— Нет. Да и она не стала бы читать.

— Отчего?

— Богуслав сказал ей, что я обещался ему схватить короля.

— Да, тебе есть за что ненавидеть князя. Признаюсь!

— Да, ваша вельможность, есть за что.

— Князь знает этого человека?

— Знает. Это вахмистр Сорока. Он же помогал мне в похищении Богуслава.

— Понимаю, — сказал гетман, — теперь его ожидает месть князя. Настало минутное молчание.

— Князь Богуслав теперь попал в западню, — проговорил, помолчав, гетман, — может быть, он согласится его отдать.

— Ваша вельможность, — сказал Кмициц, — задержите Саковича, а меня пошлите к князю; может быть, я его спасу.

— Неужели он так дорог тебе?

— Это старый солдат, старый слуга. Он на руках меня носил. Много раз жизнь мне спасал. Бог накажет меня, если я его оставлю в несчастье.

— Не диво, что солдаты любят тебя, ты их сам любишь! Я сделаю, что могу. Напишу князю, что взамен этого солдата отпущу любого из пленных.

Кмициц схватился за голову.

— Князю наплевать на пленных. Он не отдаст его и за тридцать человек.

— В таком случае и тебе не отдаст, да, кроме того, может убить тебя.

— Он отдаст его, ваша вельможность, только за одного человека, за Саковича.

— Но Саковича я задержать не могу — он посол.

— Вы только ненадолго задержите его, а я поеду с письмом к князю. Может быть, чего-нибудь добьюсь. Бог с ним. Я готов отказаться от мести, только бы он отпустил моего солдата.

— Подожди, — сказал гетман. — Я задержу Саковича и, кроме того, напишу князю, чтоб он прислал безымянную охранную грамоту.

И гетман сейчас же стал писать. Четверть часа спустя казак помчался с письмом в Янов, а под вечер возвратился с ответом Богуслава.

«Согласно вашему желанию посылаю охранную грамоту, — писал Богуслав, — с которой каждый посланный вернется благополучно. Но мне, ваша вельможность, странно, что вы требуете грамоту, хотя у вас остался заложником мой слуга и друг, староста ошмянский, коим я так дорожу, что за него готов бы отдать всех взятых в плен ваших офицеров. Всем ведомо, что послов не убивают даже дикие татары, с которыми вы, ваша вельможность, нападаете на мои христианские войска. Засим, ручаясь за безопасность посланного моим княжеским словом, имею честь оставаться. И т. д.».

В тот же вечер Кмициц, взяв охранную грамоту и двух Кемличей, уехал. Пан Сакович остался в Соколке в качестве заложника.

XXXVIII

Было уже около полуночи, когда пан Андрей подъехал к неприятельским аванпостам. В лагере Богуслава никто не ложился. Битва могла наступить с минуты на минуту, и все деятельно готовились к ней. Княжеские войска стояли в Янове и на дороге, ведущей в Соколку, которую охраняла артиллерия. Она состояла только из трех орудий, но пороха и ядер было достаточно. По обе стороны Янова Богуслав приказал насыпать окопы, за которыми была расставлена пехота; кавалерия занимала Янов, дорогу за пушками и промежуток между окопами. Позиция была хорошая, и со свежими силами можно было бы долго защищаться; но свежих-то сил у Богуслава было только восемьсот человек пехоты, остальные же были так измучены, что еле держались на ногах. Кроме того, с севера, как раз в тылу укреплений Богуслава, слышался дикий вой татар, который наводил панику на солдат. Богуслав должен был отправить в ту сторону всю легкую кавалерию, которая, отъехав на полмили, не могла ни вернуться назад, ни ехать вперед, боясь попасть в засаду.

Богуслав всем распоряжался сам, несмотря на сильную лихорадку, которая

мучила его больше, чем когда-нибудь. Так как он не мог усидеть на лошади, то приказал четырем солдатам носить себя на носилках. Он как раз и осматривал позицию, когда ему доложили, что прибыл посол от гетмана.

Это было на улице. Князь не мог узнать Кмицица, во-первых, потому, что было темно, а во-вторых, потому, что на аванпостах, вследствие излишней осторожности офицеров, Кмицицу надели на голову мешок, в котором было лишь отверстие для рта.

Князь заметил мешок, когда Кмициц слезал с лошади, и велел снять его.

— Ведь здесь уж Янов, — сказал он, — и скрывать нам нечего. — Потом он обратился к пану Андрею: — От Сапеги?

— Так точно.

— А что поделывает там пан Сакович?

— Он у пана Оскерки.

— Зачем же вам понадобилась охранная грамота, если у вас есть Сакович? Слишком уж осторожен пан Сапега, и как бы он не перемудрил.

— Это не мое дело! — ответил Кмициц.

— Вы, я вижу, посол не очень разговорчивый.

— Я привез письмо, о моем же личном деле я переговорю с вашим сиятельством в квартире.

— А! Есть и личное дело?

— Будет и просьба к вашему сиятельству.

— Рад буду не отказать. Пожалуйте за мной. Садитесь на лошадь. Я пригласил бы вас в носилки, но тут тесно.

Они отправились. Князя несли на носилках, а Кмициц ехал верхом. В темноте они поглядывали друг на друга, но не могли разглядеть. Вдруг князь, несмотря на то что был в шубе, стал дрожать всем телом, так что зуб на зуб не попадал.

— Привязалась, подлая... — сказал он, — если бы не она... брр... я бы поставил иные условия!

Кмициц ничего не ответил. Он старался разглядеть князя, но в темноте лишь неясно серели его голова и лицо. Голос князя и его фигура пробудили всю его прежнюю ненависть, и жажда мести вновь бешено закипела в его груди. Рука его невольно искала саблю, которую у него отняли при въезде в лагерь; но у него осталась еще за поясом железная булава, знак полковничьей власти... И дьявол стал шептать Кмицицу, туманя его рассудок:

«Крикни князю на ухо, кто ты, и разбей ему голову вдребезги. Ночь темная... убежишь как-нибудь... Кемличи с тобой. Убьешь изменника, отомстишь за все обиды... Спасешь Оле ньку и Сороку... Бей!.. Бей!..»

Кмициц еще ближе подъехал к носилкам и дрожащими руками стал вытаскивать булаву из-за пояса.

«Бей! — шептал дьявол. — Ты окажешь отчизне услугу...»

Кмициц уже вынул булаву и сильно сжал ее рукоять, словно желая раздавить ее в ладони.

«Раз, два, три!» — шепнул дьявол.

Но в эту минуту лошадь Кмицица, — ткнулась ли она случайно носом в шлем телохранителя или просто чего-нибудь испугалась, — но отпрыгнула в сторону и споткнулась. Кмициц вздернул поводья, а в это время носилки удалились на несколько шагов.

У рыцаря волосы стали дыбом.

— Пресвятая Богородица, удержи мою руку! — шептал он сквозь стиснутые зубы. — Матерь Пресвятая, спаси меня! Я — гетманский посол, а между тем хочу убить, как ночной разбойник. Я — шляхтич, я твой слуга! Не введи же меня во искушение!

— Что вы там мешкаете? — слышался слабый, прерывистый голос Богуслава.

— Я здесь!

— Слышите?.. Петухи уже поют... Поздно... Нужно спешить... ведь я болен, мне пора отдохнуть...

Кмициц заткнул булаву за пояс и поехал рядом с носилками. Но он не мог успокоиться. Он прекрасно сознавал, что только при помощи величайшего самообладания и хладнокровия он сможет освободить Сороку, и начал придумывать, как говорить с князем, какими словами убедить его отдать вахмистра. Он дал себе слово иметь в виду только одного Сороку, ни о чем другом не говорить, а в особенности об Оле ньке.

И он почувствовал, что кровь хлынула ему в голову при мысли, что князь может упомянуть о ней, и упомянуть так, что он не сможет выслушать...

«Пусть он ее не касается, — говорил он про себя, — пусть не касается, иначе смерть и ему и мне... Пусть он хоть пощадит себя, если у него ни стыда ни совести нет...»

И пан Андрей страдал ужасно; в груди не хватало воздуха, горло что-то сжимало, он боялся, что, когда придется заговорить, он не сможет сказать ни слова...

И он стал молиться.

Молитва принесла ему облегчение, и железные тиски, которые давили ему горло, ослабли.

Между тем они подъехали к княжеской квартире. Солдаты поставили носилки. Богуслав оперся на плечи двух пажей и обратился к Кмицицу:

— Прошу за мной... Припадок сейчас пройдет... и тогда мы поговорим.

Вскоре они были уже в комнате, где ярко пылал камин и было невыносимо жарко. Князя уложили на складном кресле, укутали шубами и зажгли огонь. Придворные удалились.

Князь откинул голову назад, закрыл глаза и несколько минут пролежал без движения. Наконец сказал:

— Сейчас... Дайте отдохнуть!

Кмициц смотрел на него. Князь почти не изменился и только похудел от болезни. Он, по обыкновению, был нарумянен и набелен, и потому что лежал неподвижно, с закрытыми глазами, с откинутой назад головой, он походил на труп или на восковую фигуру.

Пан Андрей стоял перед ним, освещенный светом канделябров.

Наконец князь стал лениво приподнимать веки; потом вдруг широко раскрыл глаза. По его лицу пробежал какой-то луч. Но это длилось только одно мгновение, и он вновь закрыл глаза.

— Если ты дух, — проговорил он, — то я не боюсь тебя. Исчезни!

— Я приехал с письмом от гетмана, — ответил Кмициц.

Богуслав вздрогнул слегка, словно хотел избавиться от кошмара, мучившего его. Затем он посмотрел на Кмицица и сказал:

— Я промахнулся?

— Не совсем, — угрюмо ответил пан Андрей, указывая на шрам.

— Это уже второй! — пробормотал князь и прибавил громко: — Где же письмо?

— Здесь, — ответил Кмициц, подавая письмо.

Князь начал читать, и когда кончил, глаза его засверкали странным блеском.

— Хорошо, — сказал он, — довольно медлить. Завтра битва... Очень рад... завтра у меня не будет лихорадки.

— И мы также рады, — заметил Кмициц.

Наступило молчание, во время которого эти непримиримые враги мерили друг друга глазами с каким-то зловещим любопытством. Наконец князь заговорил первый:

— Я догадываюсь, что это вы преследовали меня с татарами...

— Я.

— И не боялись приехать сюда? Кмициц ничего не ответил.

— Должно быть, вы рассчитывали на родство с Кишко... Ведь у нас с вами счета. Вы знаете, пан кавалер, что я могу содрать с вас кожу?

— Можете, ваше сиятельство.

— Правда, вы приехали ко мне с охранной грамотой... Теперь я понимаю, почему Сапега просил ее. Но ведь вы покушались на мою жизнь... Сапега задержал Саковича... Но воевода не имеет никакого права на него, а я на вас имею, кузен.

— Я приехал к вам с просьбой, ваше сиятельство.

— Извольте. Можете рассчитывать, что я все для вас сделаю. Какая просьба?

— Вы захватили солдата, одного из тех, которые помогли мне похитить ваше сиятельство. Так как он исполнил лишь мое приказание и слепо повиновался мне, то я прошу теперь отпустить его.

Богуслав призадумался.

— Пан кавалер, я думаю о том, — сказал он, — что вы наглый проситель!

— Я прошу освободить этого человека не даром.

— А что же вы дадите за него?

— Самого себя.

— Щедро вы платите, но смотрите, хватит ли вас? Ведь вы, быть может, захотите еще кого-нибудь выкупить...

Кмициц приблизился к нему еще на шаг и так страшно побледнел, что князь невольно посмотрел на дверь и, несмотря на все свое мужество, переменил разговор.

— Пан Сапега едва ли согласится на такой обмен, — сказал он. — Мне это было бы очень приятно, но, к сожалению, я поручился за вашу безопасность своим княжеским словом.

— Я напишу гетману, что остался добровольно.

— А он потребует, чтобы я отправил вас назад вопреки вашему желанию, так как вы оказали ему слишком значительные услуги. Кроме того, он не отпустит Саковича, которым я дорожу более, чем вами.

— Тогда отпустите нас обоих, а я даю вам слово явиться, куда вы мне прикажете.

— Может быть, завтра мне придется погибнуть, поэтому я не могу заключать договоров на будущее.

— Умоляю вас. За этого человека я... — Что?

— Я откажусь от мести.

— Видите ли, пане Кмициц, я много раз ходил с рогатиной на медведя, и не из нужды, а по доброй воле. Я люблю, когда мне грозит какая-нибудь опасность, тогда мне жизнь кажется не такой скучной. Поэтому и вашу месть я оставляю себе, как развлечение, тем более что вы из тех медведей, которые сами ищут охотника.

— Ваше сиятельство, — сказал Кмициц, — и за маленькое благодеяние Господь отпускает большие грехи. Никто из нас не знает, когда ему придется явиться перед судом Божиим.

— Довольно, — перебил его князь. — Я тоже, несмотря на лихорадку, сочиняю псалмы, чтобы чем-нибудь угодить Богу, а если бы мне нужен был духовник, то я позвал бы своего пастора. Вы не умеете просить с достаточной покорностью и идете рискованной дорогой. Я вам предложу вот что: завтра во время битвы деритесь против Сапеги, а послезавтра я отпущу вашего солдата и прощу все ваши провинности. Вы изменили Радзивиллам, измените и Сапеге.

— Это ваше последнее слово? Ради всего святого, умоляю, ваше сиятельство!..

— Нет! Вы уже беситесь? Прекрасно! Что это вы так побледнели? Не подходите ко мне близко! Хотя мне стыдно звать людей, но... посмотрите сюда! Вы слишком

смелы!..

И Богуслав показал из-под шубы дуло пистолета и сверкающими глазами посмотрел в лицо Кмицица.

— Ваше сиятельство! — воскликнул Кмициц, с мольбою складывая руки, в то время как лицо было искажено гневом.

— А! Вы и просите и угрожаете, — проговорил Богуслав, — сгибаете спину, а черти у вас из-за ворота зубы на меня скалят. Коли просить хотите — на колени перед Радзивиллом, паночек! Лбом об пол, тогда, может быть, я вам отвечу!

Лицо пана Андрея было бледно как полотно; он провел рукой по мокрому лбу, по глазам и ответил прерывающимся голосом, точно лихорадка, которою страдал князь, внезапно перешла к нему:

— Если вы, ваше сиятельство, отпустите моего солдата, то... я... готов... упасть... вам... в ноги...

В глазах Богуслава мелькнула торжествующая улыбка. Он унизил врага, согнул гордую шею. Лучшего удовлетворения своей мести и ненависти он и сам не мог бы желать.

Кмициц стоял перед ним с взъерошенными волосами, дрожа всем телом. Лицо его, напоминавшее, даже когда оно было спокойно, ястреба, теперь было похоже на какую-то разъяренную хищную птицу. Нельзя было угадать, бросится ли он к ногам князя или на него самого. А Богуслав, не сводя с него глаз, сказал:

— При свидетелях, при людях! — И он крикнул в дверь: — Сюда! Вошло несколько придворных, поляков и иностранцев.

— Мосци-панове, — сказал князь, — пан Кмициц, хорунжий оршанский и посол Сапеги, просил меня оказать ему милость и желает, чтобы вы все были свидетелями.

Кмициц пошатнулся как пьяный, застонал и упал к ногам Богуслава. А князь нарочно вытянул их так, что конец сапога касался лба рыцаря.

Все молча смотрели на Кмицица, пораженные тем, что человек, носивший это знаменитое имя, явился сюда послом от Сапеги. Все понимали, что между князем и Кмицицем происходит что-то необычайное.

Между тем князь встал и, не говоря ни слова, вышел в соседнюю комнату, кивнув только двум придворным, чтобы они последовали за ним.

Кмициц поднялся. На лице его уже не было ни гнева, ни ненависти, было только тупое равнодушие. Казалось, что он не сознает, что произошло с ним, и что энергия его совершенно исчезла.

Прошло полчаса, час. За окном слышался топот лошадей и мерные шаги солдат, а он все сидел как истукан. Вдруг дверь открылась, и в комнату вошел офицер, старый знакомый Кмицица по Биржам, в сопровождении восьми солдат, из которых четыре были с мушкетами, а четыре при саблях.

— Мосци-пан полковник, встаньте! — вежливо сказал офицер. Кмициц посмотрел на него блуждающими глазами.

— Гловбич! — воскликнул он, узнав офицера.

— Мне приказано, — сказал Гловбич, — связать вам руки и вывести за Янов. Вас свяжут только на время, затем вы будете снова свободны. А потому прошу не сопротивляться.

— Вяжите, — ответил Кмициц.

И беспрекословно позволил себя связать. Но ноги ему не связали. Офицер вывел его из комнаты и повел его через Янов. По дороге к ним присоединилось несколько человек конной стражи. Кмициц слышал, что они говорили по-польски; все поляки, служившие еще у Радзивилла, знали имя Кмицица и поэтому теперь страшно интересовались тем, что с ним будет. Отряд миновал березняк и очутился в поле, где их ждал отряд легкой кавалерии Богуслава.

Солдаты окружили пустое пространство, в середине которого стояли два

пехотинца, державшие лошадей, и несколько человек с факелами...

При их свете Кмициц заметил свежий, только что отесанный кол, лежащий на земле и прикрепленный одним концом к толстому пню дерева. Дрожь пробежала по его телу.

«Это для меня, — подумал он. — Должно быть, они лошадьми натянут меня на кол. Богуслав пожертвовал Саковичем».

Но он ошибался, так как кол был назначен для Сороки.

При трепетном блеске факелов пан Андрей увидел и самого Сороку; старый солдат сидел возле самого кола, без шапки, со связанными руками, под конвоем четырех солдат. Какой-то человек, одетый в полушубок без рукавов, подавал Сороке в эту минуту флягу с водкой. Он с жадностью выпил и сплюнул в сторону. Но в это время Кмицица поставили в первом ряду, между двумя драгунами, и взгляд Сороки невольно упал на него. Солдат мигом вскочил и вытянулся в струнку, как на параде.

С минуту оба они смотрели друг на друга. Лицо Сороки было совершенно спокойно, он только шевелил челюстями, точно жевал.

— Сорока! — простонал наконец Кмициц.

— Слушаюсь, — ответил солдат.

И опять оба умолкли. Да и о чем они могли говорить в такую минуту. Палач, подававший Сороке водку, приблизился к нему.

— Ну, старик, — сказал он, — пора!

— Только прямо насаживайте, — проговорил Сорока.

— Не бойся!

Сорока не боялся, но, когда почувствовал на себе руку палача, он начал тяжело дышать.

— Водки еще! — сказал он.

— Нет! — ответил палач.

В это время один из солдат вышел из шеренги и подал свою флягу.

— Есть... Дайте ему, — сказал он.

— Стройся! — скомандовал Гловбич.

Однако палач приложил флягу ко рту Сороки. Выпив водки, старик глубоко вздохнул и сказал:

— Вот солдатская доля... За тридцать лет службы! Ну, пора, начинайте.

К нему подошел другой палач и начал его раздевать.

Наступила мертвая тишина. Факелы дрожали в руках державших их людей. Всем стало страшно.

Вдруг в рядах солдат послышался ропот и становился все громче: солдат — не палач, хоть он сам убивает людей, но зрелища смерти не любит.

— Молчать! — крикнул Гловбич.

Но ропот превратился в громкое негодование. Послышались отдельные восклицания: «Черти!», «Чтоб вас громом разразило!», «Поганая служба!». И вдруг Кмициц крикнул так, словно его самого сажали на кол:

— Стой!

Палачи невольно остановились. Глаза всех устремились на Кмицица.

— Солдаты! — крикнул пан Андрей. — Князь Богуслав изменник королю и Речи Посполитой. Вы уже окружены и завтра все будете перебиты. Вы служите изменнику против отчизны. Но кто бросит эту службу и оставит изменника, тот получит прощение от гетмана и от короля. Выбирайте! Смерть и позор или награда! Я заплачу вам жалованье по червонцу на каждого, по два червонца! Выбирайте! Не вам, молодцам-солдатам, служить изменнику. Да здравствует король! Да здравствует великий гетман литовский!

Ропот перешел в гул. Ряды расстроились.

— Да здравствует король!

- Довольно этой службы!
- Смерть изменнику!
- Смирно, смирно! — кричали другие.
- Завтра вы погибнете с позором! — повторял Кмициц.
- Татары в Суховоле!
- Князь изменник!
- Мы сражаемся против короля!
- Бей!
- К князю!
- Стой!

В суматохе кто-то саблей перерезал веревки, которыми были связаны руки Кмицица. Он в одно мгновение вскочил на одну из лошадей, которые должны были натягивать на кол Сороку, и крикнул с лошади:

- За мной, к гетману!
- Иду! — воскликнул Гловбич. — Да здравствует король!
- Да здравствует! — повторили пятьдесят голосов, и пятьдесят сабель сверкнули в воздухе.
- На лошадь, Сорока, — скомандовал Кмициц.

Нашлись такие, которые хотели сопротивляться, но при виде обнаженных сабель умолкли. Один все-таки повернул лошадь и скрылся из вида. Факелы потухли, и все потонуло во мраке.

- За мной! — повторил Кмициц.

И толпа людей в беспорядке двинулась с места, затем, вытянувшись длинной лентой, помчалась по направлению к Соколке.

Проехав две или три версты, отряд поравнялся с пехотной стражей, находившейся в роще по левую сторону.

- Кто идет? — окликнула стража.
- Гловбич с отрядом.
- Пароль?
- Трубы!
- Проходи!

Они проехали не спеша, а затем пустились рысью.

- Сорока! — позвал Кмициц.
- Слушаюсь, — отозвался вахмистр рядом.

Кмициц ничего не сказал, а только положил руку на голову старому вахмистру, словно желая убедиться, действительно ли это он едет рядом с ним. Солдат молча прижал к губам эту руку. Рядом раздался голос Гловбича:

- Ваша милость, я давно собирался сделать то, что делаю сейчас.
- И не раскаетесь!
- Всю жизнь я буду вам благодарен.
- Слушайте, Гловбич, почему князь выслал меня с вами, а не с иностранным полком?

- Он хотел опозорить вас в глазах поляков, а иностранцы вас не знают.
- А со мной что должны были сделать?
- Я должен был вас развязать. Но если бы вы пытались освободить Сороку, я должен был вас доставить к князю, и там вас ждала казнь.

- И Саковичем хотел пожертвовать! — проворчал Кмициц.

Тем временем в Янове князь Богуслав, измученный лихорадкой и дневными тревогами, лег спать. Но глубокий его сон был прерван шумом и стуком в дверь.

- Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! — кричало несколько голосов.
- Спят! Не будить! — говорили пажы.

Но князь уже сидел на постели и крикнул:

— Огня!
Принесли свечи; в эту минуту вошел дежурный офицер.
— Ваше сиятельство, — сказал он, — посол Сапеги взбунтовал полк Гловбича и увел его с собою!
Настало минутное молчание.
— Бить в литавры и барабаны, — крикнул Богуслав, — и приказать войску строиться!
Офицер вышел, и князь снова остался один.
— Это страшный человек, — сказал он про себя и почувствовал новый приступ лихорадки.

XXXIX

Легко себе представить, каково было удивление Сапеги, когда Кмициц не только возвратился сам, но и привел с собой несколько десятков всадников и своего старого слугу. Кмициц должен был по несколько раз рассказывать гетману и Оскерке, что произошло в Янове, а они с изумлением слушали его, всплескивая руками.

— Заметьте, — сказал гетман, — что если кто-нибудь пересолит в мести, у того месть вылетит, как птица, из рук. Князь Богуслав хотел сделать поляков свидетелями твоего позора и мучений, чтобы еще больше унижить тебя, и пересолит. Ты не очень гордись этим, такова воля Божья, но и то тебе скажу: «Ты сущий дьявол!» Князь поступил дурно, унижив тебя...

— Я его не унижу... и в мести, даст Бог, не пересолю, — сказал Кмициц.

— Забудь совсем о мести и прости, как прощал Христос! Он был Богом и мог бы одним словом своим уничтожить евреев, — проговорил гетман.

Кмициц ничего не ответил, да и не было времени разговаривать. Несмотря на страшное утомление, рыцарь решил в эту же ночь ехать к своим татарам, которые стояли за Яновом в лесах и на дорогах, в тылу войск Радзивилла. Впрочем, в те времена люди прекрасно спали и в седлах. Пан Андрей приказал оседлать себе свежую лошадь, думая хорошенько проспаться в дороге.

Перед самым отъездом к нему явился Сорока.

— Ваша милость, — сказал он, вытянувшись в струнку.

— Что скажешь, старик? — спросил Кмициц.

— Я пришел спросить, когда мне ехать?

— Куда?

— В Тауроги.

— Ты поедешь не в Тауроги, а со мной! — ответил он.

— Слушаюсь! — сказал вахмистр, стараясь не показывать своей радости.

Они поехали вместе. Дорога была длинная, так как приходилось делать крюк лесами, чтобы не наткнуться на отряды Богуслава, но оба они отлично выспались на седлах и без всяких приключений доехали до татар.

Акбах-Улан сейчас же явился к Бабиничу и дал ему отчет во всех своих действиях.

Пан Андрей остался ими доволен: мосты были сожжены, гати попорчены. Кроме того, весенний разлив превратил поля, луга и дороги в вязкое болото.

Богуславу ничего не оставалось, как принять сражение — победить или погибнуть. Об отступлении нечего было и думать.

— Хорошо, — сказал Кмициц. — Хотя у князя хорошая конница, но тяжелая. На таком болоте она никуда не годится.

Потом он обратился к Акбах-Улану.

— Однако ты похудел, — сказал он, ударяя татарина по животу, — ничего, после сражения наполнишь брюхо княжескими червонцами.

— Бог создал врагов на то, чтобы воинам было с кого брать добычу, — серьезно ответил татарин.

— А конница Богуслава стоит против вас? — спросил Кмициц.

— Несколько человек. Вчера к ним пришел новый отряд пехоты, который уже окопался.

— А нельзя ли их как-нибудь выманить в поле?

— Не выходят.

— А обойти?

— Тоже нельзя, они стоят на самой дороге.

— Нужно что-нибудь придумать. — Кмициц провел рукой по волосам. — Вы пробовали подходить к ним? Далеко ли они выходят из окопов?

— Версты две, дальше не хотят.

— Надо что-нибудь придумать! — повторил Кмициц.

Но в эту ночь он ничего не придумал. Зато на следующее утро он подъехал с татарами к неприятельскому лагерю, между Суховолей и Яновом, и убедился, что Акбах-Улан преувеличивал, говоря, что пехота укрепилась. Все укрепление состояло только из маленьких шанцев, из-за которых можно было долго защищаться, особенно против татар, но в которых нельзя было и думать выдержать осаду.

«Будь у меня пехота, — подумал Кмициц, — я не задумываясь пошел бы на них».

Но о приводе туда пехоты нечего было и думать, так как, во-первых, у Сапеги ее было и так мало, а во-вторых, на это не было времени.

Кмициц подъехал к окопам так близко, что пехота Богуслава стала в него стрелять, но он не обращал на это внимания и продолжал разъезжать и осматривать позицию, а татары, хотя и не любили огня, волей-неволей, должны были следовать за ним. Вскоре на них ударила сбоку конница. Кмициц повернул, отъехал на три тысячи шагов, но затем снова вернулся обратно. Вместо того чтобы ехать в Суховолю, повернул на запад и к полудню подъехал к Каменке.

Болотистая речка широко разлилась, так как весна была обильна водами. Кмициц взглянул на эту реку и бросил в нее несколько веточек, чтобы узнать быстроту течения, а затем сказал Акбах-Улану:

— Мы их объедем сбоку и ударим с тыла.

— Против течения лошади не поплывут.

— Течение слабое! Поплывут! Вода почти стоячая!

— Лошади окоченеют, да и люди не выдержат! Холодно еще!

— Люди поплывут за хвостами. Так вы всегда делаете.

— Люди окоченеют.

— Согреются у огня!

Прежде чем стало темнеть, Кмициц приказал нарезать лозы, вязанки сухого тростника и, связав их пучками, привязать к бокам лошадей.

В сумерки около восьмисот лошадей поплыли по течению, Кмициц плыл впереди всех, но вскоре заметил, что лошади подвигаются так медленно, что до неприятельских окопов придется плыть, по крайней мере, дня два.

Кмициц приказал переправляться на другой берег.

Это было опасное предприятие. Противоположный берег был крутой и топкий; лошади вязли по брюхо. Но все же они подвигались вперед.

Так прошли они версты две. Судя по звездам, они находились на севере. Вдруг с юга послышались отголоски отдаленных выстрелов.

— Битва начата! — крикнул Кмициц.

— Мы потонем, — ответил Акбах-Улан.

— За мной!

Татары не знали, что делать, как вдруг заметили, что лошадь Кмицица

вынырнула из болота, попав, очевидно, на более твердую почву.

Это начиналась песчаная мель, залитая сверху на пол-аршина водой, но с твердым дном. Налево вдалеке показались какие-то огни.

— Это окопы, — тихо сказал Кмициц. — Мы едем мимо. И объедем.

Через минуту они миновали окопы, повернули налево и опять стали переправляться через реку, чтобы стать за окопами.

Больше сотни лошадей завязло в болоте. Но люди все вышли на берег. Кмициц приказал садиться двоим на одну лошадь и двинулся к окопам. Еще раньше он оставил двести добровольцев на месте с приказом беспокоить неприятеля спереди, пока они будут обходить его. И действительно, когда они стали сзади приближаться к окопам, с другой стороны послышались выстрелы, сначала редкие, затем все чаще.

— Хорошо, — сказал Кмициц, — там началась атака.

И они тронулись. В темноте виднелась только черная масса голов, подпрыгивавших в такт ходу лошадей. Подвигались без малейшего шума. Татары и добровольцы умели идти тихо, как волки.

Со стороны Янова пальба все усиливалась: по-видимому, пан Сапега наступал по всей линии. Но и в окопах, к которым подвигался Кмициц, тоже слышались крики. Горело несколько костров. При их свете Кмициц увидел пехотинцев, стрелявших изредка и больше поглядывавших в поле, где конница билась с волонтерами.

Вскоре заметили и отряд Кмицица, но вместо выстрелов его приветствовали громкими криками. Солдаты думали, что князь Богуслав прислал помощь.

Но когда татары оказались в ста шагах от окопов, в пехоте почуялось какое-то тревожное движение; вдруг раздался страшный вой, и отряд, как буря, бросился на шанцы и окружил пехоту кольцом. Казалось, огромный змей душит схваченную добычу. Из клубящейся массы послышались крики:

— Алла! Herr Jesus! Mein Gott!⁴⁷

А за шанцами раздавались другие крики; волонтеры, несмотря на свою малочисленность, узнав, что Бабинич уже в окопах, с бешенством ударили на конницу. Между тем небо, хмурившееся уже давно, как всегда весной, вдруг разразилось страшным и неожиданным ливнем. Пылающие костры потухли, и битва продолжалась в темноте.

Но продолжалась она недолго. Застигнутые врасплох пехотинцы Богуслава были вырезаны. Конница, в которой было много поляков, скоро сложила оружие. Сто иностранных драгун были перебиты.

Когда луна снова выглянула из-за туч, она осветила кучки татар, добивавших раненых и грабивших убитых. Раздался пронзительный свист дудки, все, как один человек, тотчас же вскочили на лошадей.

— За мной! — крикнул Кмициц, и все вихрем помчались в Янов.

Через четверть часа несчастное селение было подожжено со всех четырех сторон, а через час превратилось в море огня, из которого вырывались столбы огненных искр.

Этим пожаром Кмициц давал знать гетману, что он уничтожил тыл войска Богуслава.

А сам он, как палач, весь забрызганный кровью, среди пламени, выстраивал своих татар, чтобы вести их дальше.

Они уже вытянулись длинной лентой, как вдруг в поле, освещенном пожаром, показался огромный отряд конницы курфюрста.

Его вел человек, которого можно было разглядеть издалека, так как он был в серебряных доспехах и сидел на белой лошади.

⁴⁷ Господи Иисусе! Боже мой! (нем.).

— Богуслав! — крикнул нечеловеческим голосом Кмициц и бросился со своими татарами вперед.

Они шли друг на друга, как волны, гонимые двумя вихрями. Их разделяло значительное расстояние, но лошади с обеих сторон помчались, как ветер и, казалось, почти не касались ногами земли. С одной стороны гиганты в блестящих кирасах и шлемах, с обнаженными прямыми саблями в руках, а с другой — серая туча татар.

Наконец столкнулись на открытом пространстве, и тут произошло нечто ужасное. Татары легли, словно колосья, поваленные бурей, рейтары проехали по ним и полетели дальше, словно у них выросли крылья.

Через некоторое время поднялось несколько десятков татар и пустились в погоню. Ордынцев можно было свалить на землю, но уничтожить их одним ударом было невозможно. И все больше людей мчалось за удаляющимися рейтарами. В воздухе засвистели арканы.

Во главе убегающих был по-прежнему виден всадник на белом коне, но Кмицица не было видно среди преследующих.

Только на рассвете татары стали возвращаться поодиночке, и почти каждый из них вел на аркане рейтара. Они нашли Кмицица и отвезли его, лежавшего без чувств, к Сапеге.

Около полудня Кмициц открыл глаза. Гетман сидел у его кровати.

— Где Богуслав? — были его первые слова.

— Разбит наголову! Сначала счастье было на его стороне. Он вышел из зарослей и там наткнулся в открытом поле на пехоту Оскерки, потерял почти всех людей и проиграл битву. Не знаю, ушло ли хоть пятьсот человек.

— А он сам?

— Ушел.

Кмициц помолчал немного и потом сказал:

— Мне еще рано мериться с ним. Он хватил меня саблей в голову и свалил с коня. К счастью, шлем из хорошей стали спас меня, но я лишился чувств.

— Этот шлем ты должен повесить в костеле.

— Все равно, мы будем преследовать его хоть на краю света. Но гетман ответил:

— Смотри, какое известие я получил сегодня после битвы. И он подал ему письмо. Кмициц прочел:

«Шведский король двинулся из Эльблонга в Замостье, оттуда на Львов и на короля. Идите не медля, со всеми войсками спасать короля и отчизну, ибо я один не выдержу.

Чарнецкий».

Настало минутное молчание.

— А ты пойдешь с нами или поедешь с татарами в Тауроги? — спросил гетман.

Кмициц закрыл глаза. Он вспомнил слова ксендза Кордецкого, вспомнил то, что рассказывал ему Володыевский про Скшетуского, и ответил:

— Личная месть потом. Я буду защищать отчизну от неприятеля. Гетман обнял его за голову.

— Вот теперь ты мне брат! — сказал он. — А так как я стар, то прими мое благословение...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В то время, когда вся Речь Посполитая восставала, Карл-Густав все еще был в Пруссии, занятый осадой тамошних городов и переговорами с курфюрстом.

После неожиданно легкого покорения дальновидный полководец вскоре заметил, что шведский лев пожрал больше, чем мог переварить. После возвращения Яна Казимира он потерял надежду удержать за собой Речь Посполитую, но, отказываясь в душе от целого, он хотел удержать хотя бы большую часть, а главное — королевскую Пруссию, провинцию, примыкавшую к его Поморью, плодородную, богатую, с массой городов.

Но эта провинция первой стала защищаться и теперь все еще продолжала стоять на стороне прежнего государя и Речи Посполитой. Возвращение Яна Казимира и война, начавшаяся Тышовецкой конфедерацией, могла оживить дух местных жителей, укрепить их в верности королю, поэтому Карл-Густав решил подавить восстание, разбить силы Казимира, чтобы отнять у пруссаков надежду на помощь.

Он должен был это сделать еще и потому, что считался с курфюрстом, который всегда готов был стать на сторону сильного. Король шведский узнал его слишком хорошо и ни минуты не сомневался, что если счастье улыбнется Казимиру, то он опять перейдет на его сторону.

И так как осада Мальборга шла туго, ибо чем дольше его осаждали, тем лучше его защищал Вейхер, то Карл-Густав опять двинулся в Речь Посполитую, чтобы снова встретиться с Яном Казимиром и настигнуть его, хотя бы в последних пределах страны.

А так как он привык быстро исполнять свои решения, то он собрал полки, осаждавшие города, и, прежде чем кто-нибудь в Речи Посполитой успел опомниться, прежде чем известие об его походе успело распространиться, он уже миновал Варшаву и бросился в самый огонь восстания.

Он шел подобно буре, полный гнева, мести и жестокости. Его десяти тысячное войско топтало поля, еще покрытые снегом, по дороге к нему присоединялась пехота крепостных гарнизонов, и он несся как ураган к югу Речи Посполитой.

По дороге жег и резал. Это не был уже прежний Карл-Густав, добрый, милостивый и веселый государь, который рукоплескал на смотрах польским конным полкам, льстил на пирах шляхте и добивался симпатий войск. Теперь всюду, где он показывался, ручьем лилась кровь шляхты и мужиков. По дороге он разбивал «партии», вешал пленных и никого не оставлял в живых.

Но как бывает, когда по лесной чаще пробегает огромный, тяжелый медведь, ломая кусты и деревья по дороге, а за ним идут по следам волки, не смея преградить ему дорогу и все ближе наступая сзади, так и эти «партии» шли за армией Карла, сбиваясь все более тесными толпами, и шли за шведами, как тень идет за человеком, даже неотступнее, чем тень, ибо и днем и ночью, и в бурю и в ведро; а перед ними разрушали мосты, истребляли запасы, так что он шел точно по пустыне, ночуя под открытым небом и нигде не находя провианта.

Сам Карл-Густав вскоре понял, за какое страшное предприятие он взялся. Война разливалась вокруг него, как разливается море вокруг корабля. В огне была Пруссия, в огне была Великопольша, которая первая приняла шведское подданство и теперь первая хотела свергнуть с себя иго шведов, в огне были Малопольша, и Русь, и Литва, и Жмудь. В замках и в больших городах, точно на островках, шведы еще держались, но деревни, леса, поля, реки были уже в польских руках. Не только один человек, не только маленький отряд, но даже целый полк не мог ни на час отстать от главной армии, так как сейчас же пропадал без вести, а пленники, попадавшие в руки мужиков, умирали в страшных мучениях.

Напрасно Карл-Густав велел объявить по городам и деревням, что если мужик доставит шведам вооруженного шляхтича живым или мертвым, то он получит свободу на вечные времена и даже землю в награду. Мужики вместе со шляхтой и мещанами укрывались в лесах. И весь народ с гор, из дремучих лесов, с лугов и полей был в лесах, устраивал засады шведам, нападал на небольшие отряды, резал разведчиков. Цепы, вилы и косы обагрялись шведской кровью не меньше шляхетских сабель.

И гнев все больше охватывал сердце Карла. Несколько месяцев тому назад он с такой легкостью занял эту страну и теперь никак не мог понять, что случилось. Откуда эти силы, откуда это сопротивление, откуда эта страшная война на жизнь и на смерть, конца которой он не видел и не мог предугадать.

В шведском лагере часто собирался военный совет. Кроме короля на нем присутствовали: его брат Адольф, командовавший армией, Роберт Дуглас, Генрих Горн, родственник того, который был убит под Ченстоховом, Вальдемар, принц датский, и тот Мюллер, который оставил свою боевую славу у подножия Ясной Горы, и Ашенберг, лучший кавалерист шведской армии, и Гаммершильд, который заведовал артиллерией, и старый разбойник, фельдмаршал Арфуйд Виттенберг, славившийся своими грабежами и доживавший свои последние дни, так как его снедала французская болезнь, и Форгелль, и много других — все известные полководцы, своими военными талантами уступавшие только королю.

Все они боялись в душе, как бы войско вместе с королем не погибло от непосильных трудов, от недостатка провианта и от ненависти поляков. Старик Виттенберг прямо советовал королю оставить мысль о походе.

— Как же вы, ваше величество, будете углубляться в страну в погоне за неприятелем, который уничтожает все по пути и сам остается незримым? Что вы сделаете, если у нас не будет для лошадей не только сена и овса, но Даже старой соломы, а люди будут умирать от утомления? Где те войска, которые могут прийти к нам на помощь, где те замки, в которых мы могли бы найти припасы и дать отдых утомленным членам? Я не могу равняться славой с вашим величеством, но, если бы я был Карлом-Густавом, я бы никогда не стал рисковать этой славой, добытой столь великими победами.

На это Карл-Густав ответил:

— То же самое сделал бы и я, если бы был Виттенбергом.

Потом он упомянул про Александра Македонского, с которым любил себя сравнивать, и снова отправился вперед, в погоню за паном Чарнецким; а Чарнецкий, силы которого были невелики и состояли из малоопытных полков, удирали от него, но удирали как волк, готовый каждую минуту оскалить зубы. Иногда он шел впереди шведов, иногда сбоку; иногда, засев в глухих лесах, он пропускал их вперед, так, что они думали, будто гонятся за ним, а он шел сзади, резал отставших, то тут, то там ловил разведочные отряды, разбивал запаздывавшие пехотные полки, нападал на обоз с провиантом. И шведы никогда не знали, с какой стороны он идет и с какой может напасть. Иногда в ночной темноте они открывали ружейный и пушечный огонь по зарослям, думая, что перед ними неприятель. Они смертельно уставали, шли, голодая и холодая, а этот «*vir molestissimus*»⁴⁸ вечно висел у них на шее, как градовая туча над колоссящимся полем.

Наконец они настигли его под Голембом, недалеко от впадения Вепры в Вислу. Некоторые польские полки, стоявшие наготове, стремительно бросились на неприятеля и вызвали в шведском войске смятение. Впереди всех мчался пан Володыевский со своим ляуданским полком и набросился на датского королевича

⁴⁸ «Вездесущий муж».

Вальдемара; паны Кавецкие, Самуил и Ян, опрокинули с пригорка панцирный полк наемных англичан Викильсона и в одно мгновение проглотили его, как щука глотает карася. Пан Малявский столкнулся с князем бипонским с такой страшной силой, что люди и лошади превратились в какую-то клубящуюся массу. Через несколько минут шведы были отброшены к Висле, а Дуглас, увидев это, поспешил к ним на помощь со своими отборными рейтарами. Но и это подкрепление не могло сдержать натиска; шведы стали прыгать с высокого берега на лед, устилаемый трупами, черневшими на снегу, как буквы на листе белой бумаги. Королевич Вальдемар и Викильсон были убиты, князь бипонский, упавший вместе с лошадей, сломал себе ногу; но пали и оба пана Кавецкие, Малявский, Рудовский, Роговский, Тыминский, Хоинский и Порванецкий; один только пан Володыевский не получил ни одной раны, несмотря на то что нырял в шведские ряды, как утка.

Но вот подошел и сам Карл-Густав с главными силами и пушками, и тогда ход сражения изменился. Некоторые полки Чарнецкого, плохо обученные и малодисциплинированные, не сумели вовремя выстроиться; у одних не было под рукой лошадей, другие, стоявшие по дальним деревням, несмотря на приказы быть всегда наготове, расположились на отдых в хатах. Когда неприятель напал на них неожиданно, они бросились врассыпную и побежали к Вепрю. Чарнецкий велел дать сигнал к отступлению, чтобы не погубить полков, которые первыми бросились на шведов. Одни пошли за Вепрь, другие в Консковолу, оставляя поле победы за Карлом, так как тех, которые уходили, долго преследовали полки Зброжека и Калинского, которые оставались еще на стороне шведов.

В шведском лагере царил безмерная радость. Правда, победа эта доставила шведам самые ничтожные трофеи: несколько мешков с овсом да несколько пустых возов, но на этот раз Карл и не думал о добыче. Его радовало то, что он опять побеждает, как и прежде, что чуть он показавшись, как уже разгромил — и кого? — самого Чарнецкого, на которого возлагали все надежды Ян Казимир и Речь Посполитая. Он надеялся, что весть эта разлетится по всей стране и что уста всех будут повторять: «Чарнецкий разбит!» — что страх преувеличит размеры поражения и отнимет мужество у всех, кто хватился за оружие по призыву Тышовецкой конфедерации.

И поэтому, когда ему принесли и бросили под ноги эти мешки с овсом, а с ними тела Викильсона и Вальдемара, он обратился к своим озабоченным генералам и сказал:

— Проясните ваши лица, господа. Это самая большая победа за весь год, и она может положить конец войне!

— Ваше величество, — ответил Виттенберг, который, чувствуя себя слабее обыкновенного, видел все в черном свете, — поблагодарим Бога и за то, что нам можно продолжать поход спокойно, хотя такие войска, как Чарнецкого, скоро рассеиваются, но и скоро собираются.

— Господин маршал, — ответил король, — я считаю вас полководцем не хуже Чарнецкого, но если бы я разбил вас так, то думаю, что вы не могли бы собрать войска и в два месяца.

Виттенберг только поклонился молча, а Карл продолжал:

— Да, мы будем продолжать поход спокойно, так как мешать ему мог только Чарнецкий. А теперь Чарнецкого нет, нет и препятствий.

Эти слова обрадовали генералов. Упоенные победой войска проходили мимо короля с криками и песнями. Чарнецкий уже не висел над ними, как туча. Чарнецкий рассеян и больше не существует для них. Эта мысль заставила их забыть все невзгоды, эта мысль делала все будущие трудности приятными. Слова короля, услышанные многими офицерами, разлетелись по всему лагерю, и все были уверены, что эта победа действительно имеет огромное значение, что дракон войны

обезглавлен и что настанет час мести и владычества.

Король дал своим войскам несколько часов отдыха; между тем из Козениц пришли возы с провиантом. Войска расположились в Голембе, в Кровениках и в Жижине. Рейтары подожгли пустые дома, повесили несколько десятков крестьян, схваченных с оружием в руках, затем был устроен пир, после которого солдаты заснули крепким сном в первый раз после стольких тревожных ночей.

На другой день шведские войска проснулись бодрыми, и первые слова, которые переходили из уст в уста, были:

— Чарнецкого нет!

И солдаты повторяли эти слова, словно желая убедить друг друга в достоверности этого обстоятельства.

Поход начинался весело. День был сухой, ясный, погожий. Шерсть и ноздри лошадей покрылись инеем. Холодный ветер заморозил лужи на люблинском тракте, и дорога была прекрасная. Войска растянулись почти на милю, чего раньше почти никогда не делали. Два драгунских полка, под предводительством француза Дюбуа, пошли на Консковолу, Маркушев и Грабов, отделившись на милю от главной армии. Если бы они шли так три дня тому назад, они шли бы на верную смерть, но теперь впереди них шел страх и слава победы.

— Чарнецкого нет! — повторяли офицеры и солдаты.

И поход продолжался спокойно. Из лесных чащ не долетали больше крики, из зарослей не раздавались выстрелы.

Под вечер Карл-Густав вернулся в Грабов, веселый и в хорошем настроении. Он уже собирался спать, когда Ашенберг велел дежурному офицеру доложить ему о себе и сказал, что ему надо немедленно видеть короля.

Через минуту он вошел в комнату, и не один, а с драгунским капитаном. Король, обладавший такой замечательной памятью, что знал в лицо и помнил имена почти всех своих солдат, сейчас же узнал капитана.

— Что нового, Фред? — спросил он. — Дюбуа вернулся?

— Дюбуа убит! — ответил Фред.

Король смутился; он только теперь заметил, что у капитана был такой вид, точно его только что вынули из гроба, и что одежда его была изорвана.

— А драгуны? — спросил король. — Два полка?

— Перебиты все до одного! В живых остался только я один.

Смуглое лицо короля потемнело еще больше; он поправил рукой свои локоны.

— Кто это сделал?

— Чарнецкий!

Карл-Густав замолчал и стал с удивлением смотреть на Ашенберга, а он только кивал головою, как бы повторяя: «Чарнецкий! Чарнецкий! Чарнецкий!»

— Но ведь это невероятно! — проговорил наконец король. — Ты сам видел его?

— Как вижу вас, ваше величество! Он приказал мне кланяться вашему королевскому величеству и сказать, что переправляется на другой берег Вислы, но вскоре вернется и пойдет за нами следом. Не знаю, правда ли это...

— Хорошо! — сказал король. — А много у него людей?

— Я не мог точно сосчитать, но четыре тысячи я видел сам, а за лесом стояла еще какая-то конница. Нас окружили под Красичином, куда полковник Дюбуа свернул нарочно, так как ему донесли, что там появились какие-то люди. Теперь я полагаю, что Чарнецкий нарочно пустил этот слух, чтобы устроить нам ловушку. Никто, кроме меня, не уцелел. Крестьяне добивали раненых; я спасся чудом.

— Этот человек, должно быть, в союзе с самим чертом, — сказал король, потирая лоб. — Ведь собрать войско после такого поражения и снова сесть нам на шею — это выше сил человеческих!

— Свершилось то, что предвидел маршал Виттенберг! — сказал Ашенберг.

Король вспыхнул:

— Вы все умеете только предвидеть, а советовать не умеете!

Ашенберг побледнел и замолчал. Когда Карл-Густав был весел, он был сама доброта, но, когда он хмурил брови, он возбуждал неопиcуемый страх в своих приближенных. Птицы не так прячутся от орла, как прятались от королевского гнева самые старые и заслуженные генералы.

Но теперь он скоро овладел собой и снова спросил капитана Фреда:

— А хорошие войска у Чарнецкого?

— Я видел несколько несравненных полков, у них всегда конница прекрасная.

— Должно быть, эти самые полки и напали на нас с таким бешенством под Голембом... Ну а сам Чарнецкий весел, бодр?

— Так весел, точно это он разгромил нас под Голембом! Теперь они, должно быть, еще больше воспрянули духом, — уже забыли о голембской битве и хвастают красичинской победой. Ваше королевское величество! Я повторил вам то, что мне сказал Чарнецкий; но, когда я уже уезжал, ко мне подошел один из старшин, какой-то здоровенный старик, и сказал, что он тот самый человек, который победил когда-то несравненного Густава-Адольфа в рукопашном бою. Он позволил себе издеваться над вашим королевским величеством, а остальные ему вторили! Я уехал под градом насмешек и угроз!

— Ну, это неважно! — ответил Карл-Густав. — Чарнецкий не разбит и уже собрал свои силы — вот главное. Тем скорее мы должны идти вперед, чтобы настигнуть этого польского Дария... Вы можете идти... Войску скажите, что эти полки погибли от рук мужиков в болотах. Идем вперед!

Офицеры ушли. Карл-Густав остался один. Он глубоко задумался. Неужели победа под Голембом не дала никаких результатов, не изменила положения дел, а, наоборот, могла усилить только отпор во всей стране?

В присутствии войска и генералов Карл-Густав всегда держался самоуверенно, но, когда он оставался один и раздумывал об этой войне, которая началась так счастливо, а теперь делалась все труднее, им овладевали сомнения. Все складывалось как-то странно. Он часто не видел выхода и не мог предугадать конца. Иногда ему казалось, что он очутился в положении человека, который, сойдя с морского берега в воду, чувствует, что с каждым шагом опускается все глубже и скоро совсем потеряет почву под ногами.

Но он верил в свою звезду. Он и теперь подошел к окну, чтобы посмотреть на нее: она занимала самое высокое место в созвездии Медведицы и сияла ярче всех. Небо было ясно, и она горела ярко, мерцая то голубым, то красным светом; только ниже, на темной лазури неба, чернела, как змея, какая-то одинокая туча, от которой вытягивались какие-то ленты, похожие на щупальца морского чудовища, и, казалось, все приближались к королевской звезде.

II

На следующий день, на рассвете, король двинулся в поход и пошел к Люблину. Там он получил известие, что пан Сапега, разбив Богуслава, идет со значительным войском, обошел Люблин и, оставив в нем только гарнизон, сам двинулся дальше.

Ближайшей целью этого похода было теперь Замостье; если бы ему удалось занять эту могучую крепость, у него была бы непоколебимая опора для дальнейшей войны; крепость дала бы ему такой перевес, что он мог бы смело ожидать счастливого окончания войны. О Замостье ходили разные толки. Поляки, остававшиеся еще при Карле, утверждали, что Замостье — самая сильная крепость во всей Речи Посполитой, и в доказательство говорили, что она задержала все силы Хмельницкого.

Но Карл заметил, что поляки далеко не были искусны в сооружении крепостей и считают сильными такие крепости, которые в других странах едва могли бы быть причислены к третьеразрядным; он знал также и то, что ни в одной крепости не было достаточного оборудования, то есть ни насыпей, ни валов, содержимых в надлежащем виде, ни орудий. Поэтому и Замостье его не очень беспокоило. Он рассчитывал также и на гипноз своего имени, на славу непобедимого вождя и, наконец, на переговоры. Переговорами, которые в Речи Посполитой мог вести каждый магнат, Карл до сих пор добился большего, чем оружием. Как человек дальновидный и любящий знать, с кем имеет дело, он старательно собирал все сведения о владельце Замостья. Он расспрашивал даже об его привычках, склонностях, уме и характере.

Ян Сапега, который, к великому огорчению воеводы витебского, изменой своей позорил еще имя Сапег, мог больше других сообщить королю о старосте калуском. Они совещались по целым часам. Сапега, впрочем, не Думал, чтобы королю легко удалось переманить на свою сторону владельца Замостья.

— Деньгами его не искусить, — говорил пан Ян, — ибо он сам несметно богат! Почестей он не ищет и не искал их даже тогда, когда они сами его искали... Что касается титулов, то я сам слышал, как он обрушился на Нойерса, секретаря королевы, за то, что тот, обращаясь к нему, сказал: «Mon prince»⁴⁹. «Я не prince, — отвечал он, — но у меня в Замостье бывали в плену и герцоги!» Хотя, правду говоря, они были в плену не у него, а у его деда, которого наш народ называет великим.

— Лишь бы он открыл мне ворота Замостья, а я уж предложу ему нечто такое, чего не мог бы предложить ни один польский король.

Сапеге неудобно было спрашивать, чего же не мог предложить польский король, но Карл понял его взгляд и, откидывая, по обыкновению, рукой свои волосы, сказал:

— Я предложу ему Люблинское воеводство как независимое княжество, корона соблазнит его. Никто из вас не устоял бы против такого искушения, даже теперешний воевода виленский.

— Щедрость вашего королевского величества безгранична, — ответил, не без оттенка иронии в голосе, Сапега.

А Карл-Густав ответил со свойственным ему цинизмом:

— Даю, что не мое! Сапега покачал головой:

— Он не женат, и у него нет сыновей. Корона может соблазнить только того, кто может завещать ее потомству.

— В таком случае, что же вы мне посоветуете?

— Я думаю, что больше всего можно будет достигнуть лестью. Он не очень хитроумен, и его прекрасно можно провести. Надо уверить его, что только от него одного зависит успокоение Речи Посполитой, что он один только может избавить ее от войны, несчастий и бедствий, — если только он откроет ворота. Если рыба проглотит этот крючок, то мы будем в Замостье, а иначе — нет.

— В крайнем случае останутся пушки!

— Гм! На них в Замостье найдется чем ответить. Тяжелых орудий там немало, а мы должны еще за ними посылать, что при нынешней распутице невозможно.

— Я слышал, что пехота у них недурна, но мало конницы.

— Конница нужна только в открытом поле. Впрочем, раз Чарнецкий, как оказывается, не разбит, он может дать два, три полка.

— Вы видите во всем только одни затруднения.

— Но зато неизменно верю в счастливую звезду вашего величества! — ответил Сапега.

⁴⁹ Князь (фр.).

Однако пан Ян был прав, предвидя, что Чарнецкий снабдит Замостье конницей, необходимой для разведок и собирания известий. У Замойского конницы было достаточно, и он в ней совсем не нуждался, но каштелян киевский нарочно послал в крепость два полка, которые особенно пострадали под Голембом, именно: шемберковский и ляуданский, чтобы они отдохнули и переменили измученных лошадей. Себепан принял их очень радушно, а когда узнал, какие знаменитые рыцари прибыли к нему, он превозносил их до небес и каждый день приглашал к столу.

Но кто опишет радость княгини Гризельды, когда она увидела пана Скшетуского и пана Володыевского, лучших полковников ее великого мужа. Они оба упали к ее ногам, проливали обильные слезы, и она сама не могла удержать рыданий. Сколько воспоминаний соединяли их с теми давно прошедшими временами, когда муж ее, слава и радость народа, был полон жизни, могучей рукой управлял дикой страной и, как Юпитер, одним движением бровей вселял страх в сердца варваров. Все это было так недавно, а где теперь все? Владыка в гробу, страна его в руках варваров, а она, вдова, сидит теперь здесь, на развалинах счастья и величия, и проводит жизнь в тоске и молитве. В воспоминаниях этих радость была так перемешана с горечью, что мысли всех троих неудержимо рвались к прошлому. Говорили о прежнем житье-бытье, о местах, которых они никогда больше не увидят, о прежних войнах, и, наконец, перешли и к настоящему — к временам бедствий и Божьего гнева.

— Если бы был жив наш князь, — сказал Скшетуский, — тогда другими были бы судьбы Речи Посполитой. Казачество было бы уничтожено, Заднепровье осталось бы за Речью Посполитой, а шведы были бы сейчас разгромлены. Но Бог судил иначе и захотел покарать нас за грехи...

— Дай Бог, чтобы в лице пана Чарнецкого мы нашли нового защитника! — сказала княгиня Гризельда.

— Так оно и будет! — воскликнул Володыевский. — Как наш князь был головою выше всех других панов, так он выше всех полководцев. Я знаю обоих панов гетманов коронных и пана Сапегу литовского. Это великие воины, но в Чарнецком есть что-то необыкновенное — это орел, а не человек. Он ласков, но все его боятся. Ба! Даже пан Заглоба в его присутствии забывает свои шутки! А как он ведет войско — это уму непостижимо! Великий воин родился в Речи Посполитой.

— Мой муж, знавший его еще полковником, предсказывал ему великую будущность! — сказала княгиня.

— Я слышал даже, что он хотел искать себе жену при нашем дворе, — вставил Володыевский.

— Я не помню, чтобы об этом был разговор, — возразила княгиня. Этого она не могла помнить, так как ничего подобного никогда не было;

Володыевский схитрил: он хотел перевести разговор на фрейлин княгини и узнать что-нибудь о панне Анне Божобогатой. Спросить прямо у княгини он считал неприличным и слишком фамильярным по отношению к княгине. Но хитрость не удалась. Мысли княгини снова вернулись к воспоминаниям о муже и казацких войнах, а маленький рыцарь подумал: «Может, Ануси тут нет уже несколько лет!» — и больше не спрашивал.

Он мог расспросить о ней офицеров, но и его мысли были заняты теперь другим. Каждый день получались известия, что шведы приближаются, и все готовились к обороне. Скшетуский и Володыевский были назначены на стены, как офицеры, хорошо знавшие войну и тактику шведов. Пан Заглоба подбодрял всех и рассказывал о неприятеле тем, кто его еще не видел, а таких среди солдат Замойского было много, так как шведы до сих пор не доходили еще до Замостья.

Заглоба мигом разглядел насквозь старосту калуского, который его очень полюбил и всегда обращался к нему за советами, тем более что слышал от княгини

Гризельды, что и князь Еремия уважал Заглобу и называл его «*vir incomparabilis*»⁵⁰. Каждый день за столом Заглоба рассказывал о прошлом, о войне с казаками, об измене Радзивилла и о том, как он вывел в люди пана Сапегу.

— Я советовал ему, — говорил он, — носить в кармане конопляное семя и есть понемногу. Так он к нему привык, что то и дело вынет зерно, разгрызет, мякоть съест, а шелуху выплюнет. Ночью, только лишь проснется, — сейчас же ест. С тех пор он так поумнел, что самые близкие его не узнают.

— Как же это так? — спросил староста калуский.

— В конопле содержится масло, а всем известно, что масло в голове — необходимейшая вещь.

— Да ведь масло идет в желудок, а не в голову! — возразил один из полковников.

— *Est modus in rebus!*⁵¹ — ответил Заглоба. — Надо пить побольше вина: масло, как более легкое, всегда будет наверху, а вино, которое всегда бросается в голову, поднимет с собой и масло. Этот секрет мне известен от Лупула, валахского господаря, после которого, как вам известно, валахи хотели избрать меня на престол; но султан, предпочитавший господарей, у которых не могло бы быть потомства, поставил мне такие условия, на которые я не мог согласиться...

— Вы, должно быть, сами ели много конопляного семени? — спросил Себепан.

— Я не нуждался, но вашей вельможности советую от всего сердца! — ответил Заглоба.

Многие, услышав эти смелые слова, испугались и думали, что староста обидится; но он или не понял, или не хотел понять и только улыбнулся и спросил:

— А подсолнечные зерна могут заменить конопляное семя?

— Могут, — ответил Заглоба, — но так как подсолнечное масло тяжелее конопляного, то вино надо пить крепче, чем то, которое мы пьем сейчас.

Староста понял, в чем дело, и велел принести самых лучших вин. Наступило общее веселье. Пили за здоровье короля, за здоровье хозяина и пана Чарнецкого. Пан Заглоба разошелся так, что никому не давал сказать ни слова. Он распространялся о голембской битве, в которой действительно отличался, хотя, служа в ляуданском полку, и не мог поступить иначе. А так как от пленных шведов из полка Дюбуа узнали о смерти принца Вальдемара, то ответственность за его смерть пан Заглоба принял на себя.

— Эта битва пошла бы иначе, — говорил он, — если бы я накануне не уехал в Баранов, к канонику, и Чарнецкий, не зная, где я, не мог со мной посоветоваться. А может быть, и шведы прослышали, что у каноника прекрасный мед, и потому подошли к Голембу. Когда я вернулся, было уже поздно, король уже наступал, и надо было ударить на шведов. Мы пошли в огонь, но что делать, если ополченцы тем показывают свое отвращение к неприятелю, что поворачиваются к нему спиной! Не знаю, как пан Чарнецкий без меня обойдется.

— Обойдется! Не бойтесь! — сказал Володыевский.

— И я знаю почему! Король шведский предпочитает гнаться за мной в Замостье, чем искать его на Висле. Я не отрицаю, что Чарнецкий хороший солдат, но когда он начнет крутить свою бороду и смотреть своими рысьими глазами, то самому заслуженному офицеру кажется, что он не офицер, а солдат. Он не обращает внимания на чин, вы сами были свидетелями, как он велел Жирского волочить по майдану привязанным к лошадям за то только, что тот не дошел со своим отрядом до

⁵⁰ Несравненный муж.

⁵¹ Здесь: на все есть свое средство (*лат.*).

того места, куда ему было приказано. Со шляхтой, мосци-панове, надо обращаться по-отечески. А скажешь ему: «Пан брат, иди туда-то», да растрогаешь его, да помянешь о бедствиях отчизны, и он пойдет дальше, чем любой солдат, служащий ради жалованья.

— Шляхтич — шляхтичем, а война — войной! — отозвался староста.

— Вы это очень тонко сказали! — ответил Заглоба.

— Но, в конце концов, Чарнецкий подстроит штуку Карлу, — заметил Володыевский, — я был не на одной войне и могу об этом судить.

— Раньше Чарнецкого мы сами подстроим ему штуку под Замостьем, — возразил староста, выпячивая губы, грозно тараща глаза и подбочениваясь. — Ба! Что мне? Кого в гости прошу, тому и отворю двери.

И пан староста засопел, стал ударять коленями в стол, откинувшись назад, вертеть головою, сверкать глазами и говорить, по привычке, с некоторой грубоватой небрежностью.

— Что он мне? Он хозяин в Швеции, а я — Себепан в Замостье. *Eques polonus sum!*⁵² Я — Замойский, а он король шведский, а Максимилиан был австрийский, что? Идет? Пусть идет... Посмотрим! Ему мало Швеции, а мне достаточно Замостья, но я его не дам!

— Приятно слушать, мосци-панове, не только такое красноречие, но и столь высокие чувства! — воскликнул Заглоба.

— Замойский — всегда Замойский! — воскликнул обрадованный похвалой староста. — Мы еще не кланялись и кланяться не будем... Замостья не отдам, и баста!

— За здоровье хозяина! — крикнули офицеры.

— Виват! Виват!

— Пане Заглоба! — крикнул староста. — Я не пущу шведского короля в Замостье, а вас из Замостья!

— Спасибо за радушие, пане староста, но вы этого не сделаете, ибо, насколько бы вы опечалили Карла первым решением, настолько обрадовали бы его вторым.

— Тогда дайте слово, что вы приедете ко мне после войны!

— Даю...

Долго еще пировали, пока сон не стал смежать глаза рыцарей; они пошли отдыхать, тем более что вскоре для них должны были начаться бессонные ночи, так как шведы были уже близко и передовые отряды могли появиться с часу на час.

— Он таки не сдаст Замостья! — говорил Заглоба Скшетускому и Володыевскому, возвращаясь домой. — Вы заметили, панове, как мы подружились? В Замостье будет хорошо и мне и вам! Нас теперь водой не разольешь! Хороший человек! Гм! Если бы он был моим ножиком и если бы я носил его У пояса, я бы часто точил его на оселке, а то он туповат! Но он хороший человек и не изменит, как те биржанские негодяи! Вы заметили, как магнаты льнут к старому Заглобе? Просто отбоя нет! Только я от Сапеги отделался, а Другой уж тут как тут! Но я его настрою и такую арию заиграю на нем шведам, что они насмерть запляшутся под Замостьем...

Дальнейший разговор был прерван шумом, долетавшим из города. Через минуту мимо них быстро прошел знакомый офицер.

— Стой! — крикнул Володыевский. — Что там?

— С валов видно зарево. Щебжешин горит! Шведы уже здесь!

— Пойдемте на валы, Панове! — сказал Скшетуский.

— Идите, а я немного вздремну; мне надо собраться с силами на завтра, — ответил Заглоба.

⁵² Я польский рыцарь! (*лат.*).

III

В ту же ночь пан Володыевский отправился на разведки и захватил несколько пленных, которые подтвердили, что шведский король действительно находится в Щебжешине и скоро станет под Замостьем.

Известие это очень обрадовало старосту: он так расшевелился и ему так хотелось испробовать свои пушки и стены на шведах. К тому же он полагал, и вполне основательно, что если в конце концов придется сдаться, то он все же задержит шведов на несколько месяцев, а за это время Ян Казимир соберет войска, возьмет на помощь всю орду и приготовится к победоносному отпору.

— Раз мне представляется возможность оказать услугу отчизне и королю, — говорил он на военном совете, — то говорю вам, что скорее взорву себя сам, чем сюда ступит хоть одна шведская нога. Они хотят взять Замойского силой? Пусть берут! Посмотрим, кто лучше! Я надеюсь, что вы, Панове, будете помогать мне всей душой?

— Мы все готовы погибнуть с вашей вельможностью! — хором ответили все офицеры.

— Только бы начали осаду! — сказал Заглоба. — А то они еще готовы оставить ее. Я первый, панове, сделаю вылазку.

— И я с вами, дядя, — сказал Рох Ковальский, — на самого короля пойду!

— А теперь на стены! — скомандовал староста.

Все разошлись. Стены были покрыты солдатами, точно цветами. Полки прекрасной пехоты, какой не было во всей Речи Посполитой, стояли рядами, наготове, с мушкетами в руках, с глазами, устремленными в поле. Среди них было мало иностранцев, всего лишь несколько человек пруссаков и французов, остальные были крепостные Замойского. Все это был рослый, сильный народ, который, когда его одели в разноцветные колеты и обучили по-иностранному, не уступал в битве лучшим кромвелевским англичанам. Особенно хороши они были, когда, после выстрелов, приходилось идти на неприятеля врукопашную. И теперь они с нетерпением ждали шведов, помня о своих победах над Хмельницким. При орудиях служили, главным образом, фламандцы. За крепостью, по ту сторону рва, стояли полки легкой кавалерии в полной безопасности, так как находились под охраной орудий и в каждую минуту готовы были броситься, куда нужно.

Староста объезжал стены в стальной кольчуге, с золоченым буздыганом в руке и каждую минуту спрашивал:

— Что? Не видно еще?

И ворчал под нос, когда ему отвечали со всех сторон, что не видно. Через минуту он уже ехал в другую сторону и снова спрашивал:

— Что? Не видно?

Но трудно было что-нибудь разглядеть, так как висел туман. Он начал спадать только часам к десяти утра. Над головами показалось голубое небо, горизонт прояснился, а на западной стороне стены послышался крик:

— Едут! Едут! Едут!

Пан староста, а с ним Заглоба и три дежурных офицера поспешно пошли на башню, откуда открывался далекий вид, и стали смотреть в подзорные трубы. Туман еще расстилался по земле, так что шведские войска, подвигавшиеся из Велиончи, казалось, по колена брели в тумане, как по воде. Полки, шедшие впереди, были видны совершенно ясно, так что можно было разглядеть простым глазом широкие ряды пехоты и эскадроны рейтар; остальное войско казалось огромными клубами темной пыли, подвигавшимися к городу. Прибывали все новые и новые полки, пушки и конница.

Зрелище было удивительно красивое: в середине каждого четырехугольника пехоты торчал такой же правильный четырехугольник копий; между ними развевались разноцветные знамена — больше всего было голубых с белыми крестами и голубых с золотыми львами. Они подошли еще ближе.

На стенах было тихо, так что ветер доносил и скрип колес, и звон оружия, и топот лошадей, и глухой гул человеческих голосов.

Подойдя к крепости на расстояние двух выстрелов, шведские войска начали разворачиваться. Несколько четырехугольников пехоты рассыпались в беспорядке: они, очевидно, готовились разбивать палатки и насыпать шанцы.

— Вот и они! — сказал староста.

— Да, пришли, чертовы дети! — ответил Заглоба.

— Их можно пересчитать по пальцам!

— Таким старым практикам, как я, нечего считать, достаточно взглянуть. У них десять тысяч конницы и восемь пехоты и артиллерии; если я ошибся хоть на одного человека или одну лошадь, то готов заплатить за ошибку всем своим состоянием!

— Неужели так можно сосчитать?

— Десять тысяч конницы и восемь пехоты — провалиться мне на этом месте! А даст Бог, их отсюда уйдет меньше. Пусть только я сделаю вылазку!

— Слышите? Играют!

Действительно, трубачи выехали вперед, и загремела боевая музыка. Под ее звуки подъезжали все новые полки и окружали город. Наконец из строя отделилось несколько человек. По дороге они повязали мечи белыми платками и стали ими размахивать.

— Посольство! — сказал Заглоба. — Эти злодеи точно так же подъезжали к Биржам, и известно, чем все это кончилось.

— Замостье не Биржи, а я не воевода виленский! — возразил староста.

Между тем послы подошли уже к воротам. Через несколько минут к старосте прискакал дежурный офицер с докладом, что Ян Сапега желает говорить с ним от имени шведского короля.

А пан староста подбоченился, переступал с ноги на ногу, надувал губы, сопел и наконец сказал надменно:

— Скажите пану Сапеге, что Замойский не разговаривает с изменниками! Если король шведский хочет со мной говорить, то пусть он пришлет ко мне родовитого шведа, а не поляка; поляки, которые служат шведам, могут прислать послов разве только к моим собакам — я одинаково презираю их!

— Богом клянусь! Вот это ответ! — воскликнул с неподдельным восторгом Заглоба.

И недолго думая он поскакал с дежурным офицером к Сапеге. Он, по-видимому, не только передал слова старосты, но и прибавил еще кое-что от себя, так как пан Сапега быстро повернул коня, точно перед ним ударила молния, и, надвинув шапку на уши, уехал.

Со стен и у ворот, где стоял полк конницы, послышались вслед уезжающим крики:

— По местам, песьи дети! Предатели! Изменники! Жидовские слуги!

Сапега остановился перед королем бледный, со сжатыми губами. Но и король был смущен, так как Замостье обмануло его ожидания... Самое большее, что он думал найти, — это крепость, оборудованную не лучше Кракова, Познани и других городов, которые он брал уже не раз. А между тем он увидел сильную крепость, напоминавшую нидерландские и датские, и завладеть ею без тяжелых орудий он не мог и думать.

— Ну что там? — спросил он, увидев Сапегу.

— Ничего! Староста не желает говорить с поляками, которые служат вашему

королевскому величеству. Он выслал ко мне своего шута, который так оскорбил ваше величество и меня, что нельзя повторить!

— Мне все равно, с кем бы он ни говорил, лишь бы говорил. Если не хватит аргументов, то у меня есть орудия, а пока что я пошлю к нему Форгелля.

Через полчаса Форгелль, в сопровождении коренных шведов, был уже у ворот. Цепной мост медленно опустился, и генерал спокойно въехал в крепость. Глаз не завязывали ни ему, ни его свите; наоборот, пан староста, очевидно, хотел, чтобы посол все видел и обо всем мог рассказать королю. Принял он его с такой пышностью, как удельный князь, и действительно изумил его: у шведских магнатов не было и двадцатой части тех богатств, которые были у поляков, а староста к тому же был едва ли не самый богатый. Хитрый швед сразу заговорил с ним так, точно король Карл послал его послом к равному себе монарху. Он с первого же слова назвал его «princeps» и все время называл его так, хотя Замойский на первом же слове остановил его, говоря:

— Я не князь, *eques polonus sum*, а потому равен принцам!

— Ваше сиятельство! — говорил Форгелль, не давая сбить себя с толку. — Его величество король шведский и господин, — тут он долго перечислял титулы, — прибыл сюда не врагом, а гостем и надеется, что ваше сиятельство не откажете открыть ворота ему и его войску.

— У нас нет обычая отказывать в гостеприимстве даже тому, кто является непрошеным. За моим столом всегда найдется место, а для такой особы, как его величество, это будет даже первое место! Передайте его величеству королю, что я очень рад, тем более что Карл-Густав хозяин Швеции, а я — Замостья. А так как вы видели, что слуг у меня достаточно, то его величеству не надо брать своих. Иначе я могу думать, что он считает меня каким-нибудь бедным шляхтичем и хочет похвастать передо мной своим богатством.

— Хорошо! — шепнул стоявший у него за спиной Заглоба.

А староста, кончив свою речь, вытянул губы, засопел и стал повторять:

— Вот как! Вот!

Форгелль закусил губы и, помолчав немного, продолжал:

— Это будет доказательством величайшего недоверия к королю, если вы не впустите в крепость его гарнизон. Я доверенный короля и потому знаю самые сокровенные его мысли; кроме того, я имею приказание уверить ваше сиятельство королевским словом, что он не будет занимать ни крепости, ни княжества Замойского. Но так как война снова вспыхнула во всей этой несчастной стране и снова поднял свою голову мятеж, а Ян Казимир, не думая о бедствиях, которые могут обрушиться на Речь Посполитую, преследует только личные цели и в союзе с язычниками выступает против наших христианских войск, то непобедимый король и государь мой решил преследовать его, хотя бы и в диких татарских и турецких степях, с той только целью, чтобы вернуть спокойствие, счастье, справедливость и свободу гражданам великолепной Речи Посполитой.

Староста хлопнул себя рукой по коленям, но не ответил ни слова, а Заглоба шепнул:

— Черт ризы надел и хвостом к обедне звонит!

— Немало благодетелей осчастливило уже страну благодаря протекторату его королевского величества, — продолжал Форгелль, — но его величество, как любящий отец, полагает, что он еще не все сделал; он снова оставил прусскую провинцию, чтобы прийти на помощь Речи Посполитой и спасти ее от Яна Казимира. Но чтобы эта новая война скорее и успешнее кончилась, ему нужно временно занять эту крепость, которая будет оплотом для войск его величества и откуда он будет преследовать бунтовщиков. Но, услышав, что владелец Замостья превышает других не только богатством, знатностью рода и умом, но также и любовью к отчизне, его

величество изволил сказать: «Он поймет меня, он оценит мои намерения, направленные на благо страны, он оправдает мое доверие, превзойдет мои надежды и первый подаст мне руку для насаждения спокойствия и счастья в этой стране». От вас, ваше сиятельство, зависит теперь будущее отчизны. Вы можете спасти ее и быть ее отцом... И я не сомневаюсь, что вы это сделаете! Тот, кто унаследовал от предков такую славу, не должен лишать себя возможности еще ее приумножить и сделать ее бессмертной. Открыв ворота этой крепости, вы сделаете больше, чем если бы присоединили к Речи Посполитой целую провинцию. Король верит, что ваш ум, как и сердце, склонят вас сделать это, поэтому он не хочет приказывать, а предпочитает просить: он оставляет угрозы и предлагает дружбу; он желает говорить с вашим сиятельством не как государь с подчиненным, а как монарх с монархом!

И генерал Форгелль поклонился пану старосте с таким почтением, точно перед ним был удельный князь. В зале наступила тишина. Глаза всех были устремлены на старосту.

А он, по обыкновению, начал вертеться на своем золоченом стуле, выпячивать губы, наконец, расставив локти, опершись ладонями о колени и мотая головой, как конь с норовом, он ответил:

— Вот что! Очень благодарен его королевскому величеству за высокое мнение о моем уме и чувствах к отчизне. Для меня не может быть ничего приятнее, как дружба столь великого человека. Но я думаю, что мы могли бы не менее любить друг друга, если бы его величество оставался в своем Стокгольме, а я в Замостье, а? Стокгольм принадлежит его величеству, а Замостье мне. Что же касается моих чувств к Речи Посполитой, то, по-моему, для нее будет лучше не тогда, когда шведы будут в ней, а тогда, когда они уйдут из нее. Вот это правильно! Я охотно верю, что Замостье помогло бы его королевскому величеству одержать победу над Яном Казимиром, но надо вам знать, что я присягал не шведскому королю, а Яну Казимиру и ему желаю победы, а потому Замостья не отдам! Вот что!

— Вот это политика! — воскликнул Заглоба.

В зале поднялся радостный шум, но староста опять ударил себя по коленям, и все стихло.

Форгелль смутился и несколько минут молчал; потом снова начал убеждать, настаивал, даже грозил, просил, льстил. Из уст его, как мед, текла латынь, на лбу даже выступили капли пота, но все напрасно; в ответ на самые Убедительнейшие доводы, которые могли бы, кажется, тронуть даже каменные стены, слышался все один и тот же ответ:

— А Замостья я не дам! Вот что!

Аудиенция затянулась и становилась для Форгелля слишком трудной и хлопотливой, так как присутствующими начала овладевать веселость. Все чаще слышалось какое-нибудь острое словечко, какая-нибудь шутка из уст Заглобы или других, сопровождавшаяся сдержанным смехом. Наконец Форгелль заметил, что надо прибегнуть к последнему аргументу, и, развернув пергамент с печатями, который он держал в руках и на который никто до сих пор не обращал внимания, сказал торжественным и громким голосом:

— За открытие крепостных ворот его королевское величество, — тут он опять долго перечислял титулы, — дарует вашему сиятельству Люблинское воеводство в потомственное владение.

Все изумились, услышав это. Изумился и пан староста. Форгелль обвел всех торжествующим взглядом, как вдруг среди глубокой тишины раздался голос Заглобы, стоявшего тут же за старостой.

— А вы обещайте королю шведскому Нидерланды! — сказал он по-польски. Пан староста недолго думая хлопнул себя по бедрам и выпалил по-латыни на всю залу:

— А я дарю его королевскому величеству Нидерланды!

И в ту же минуту весь зал дрогнул от единодушного взрыва хохота. Животы и кушаки на животах тряслись от смеха; одни хлопали в ладоши, другие шатались, точно пьяные. Смех не умолкал. Форгелль побледнел; он грозно наморщил брови, но ждал, с гордо поднятой головой и пылающими глазами. Наконец, когда взрыв смеха умолк, он спросил коротким, отрывистым голосом:

— Это окончательный ответ, ваше сиятельство?

Староста pokrutil усы.

— Нет, — сказал он, гордо поднимая голову, — у меня еще есть пушки на стенах!

Переговоры кончились.

Два часа спустя загремели пушки со шведских шанцев; крепостные ответили им с той же энергией. Все Замостье покрылось дымом, словно огромной тучей, в которой временами что-то полыхало и гремели выстрелы. Но крепостной огонь из тяжелых орудий скоро взял верх. Шведские ядра или падали в ров, или разбивались о крепкие стены; под вечер неприятель принужден был отступить с ближайших шанцев, так как крепость засыпала их своими ядрами. Взбешенный король приказал поджечь все окрестные деревни и местечки, так что вся окрестность выглядела ночью, как сплошное море огня; но староста не обратил на это внимания.

— Хорошо! — говорил он. — Пусть жгут! У нас над головой есть крыша, а им скоро придется мокнуть под открытым небом.

Он был так доволен собой и так весел, что в тот же день устроил великолепный пир, продолжавшийся до поздней ночи. Во время пира играл хор музыкантов, и музыка, несмотря на гул выстрелов, была слышна даже на самых отдаленных шведских шанцах.

Но и шведы стреляли неумоимо, и огонь продолжался всю ночь. На следующий день король получил еще несколько орудий, которые открыли огонь тотчас, как только их втащили на шанцы. Король, правда, не надеялся пробить стены, он только хотел вселить в старосту убеждение, что будет штурмовать крепость немилосердно и неустанно; он хотел напугать, но это было тщетно. Староста ни на минуту не верил этому и часто, показываясь на стенах, говорил в самый разгар стрельбы:

— И зачем они порох портят?

Володыевский и другие офицеры просились сделать вылазку, но староста не позволил, он не хотел проливать даром кровь. Он знал, впрочем, что тогда пришлось бы начать открытый бой, потому что такой предусмотрительный воин, как шведский король, и такое образцовое войско не дадут возможности напасть врасплох. Заглоба, видя, что староста твердо решил не допускать вылазки, все больше настаивал на ней и говорил, что сам ее поведет.

— Вы слишком жадны до крови! — отвечал ему Замойский. — Нам хорошо, шведам плохо, зачем нам к ним ходить? Вас могут убить, а вы мне нужны для советов, ибо благодаря вашему остроумию я так сконфузил Форгелля, когда сказал ему про Нидерланды!

Заглоба ответил, что он не может усидеть на месте, так его тянет выйти к шведам; но должен был повиноваться.

А так как ему нечего было делать, то он проводил время на стенах, беседуя с солдатами, давая им советы и делая замечания, которые они выслушивали с величайшим уважением, считая его опытным воином, одним из лучших в Речи Посполитой. А он радовался душой, глядя на оборону и мужество рыцарей.

— Пан Михал, — говорил он, обращаясь к Володыевскому, — теперь уже не тот дух в Речи Посполитой. Теперь уже никто не думает об измене, каждый из любви к отчизне и к королю готов скорее жертвовать жизнью, чем уступить неприятелю хоть один шаг. Помнишь, как год тому назад только и было слышно: тот изменил, другой изменил, тот принял протекторат. А теперь шведы уже сами нуждаются в протекции.

Если черт им протекции не окажет, то им капут! У нас животы так набиты, что барабанщики могут на них бить тревогу, а у них все кишки подвело с голодухи!

Пан Заглоба был прав. Шведская армия не имела с собой запасов провианта, а для восемнадцати тысяч людей, не считая лошадей, их нигде нельзя было достать, потому что староста, еще до прихода неприятеля, все припасы из всех своих владений велел свезти в Замостье. В более же отдаленных местностях все было захвачено конфедератами и вооруженными отрядами крестьян, и из шведского лагеря за провиантом не мог выйти ни один отряд, так как его ждала неминуемая смерть.

К тому же Чарнецкий не ушел за Вислу, а опять вертелся около шведской армии, как волк около овчарни. Снова начались ночные тревоги, а небольшие шведские отряды снова стали пропадать. Около Красника появилось какое-то польское войско, которое отрезало сообщения с Вислой. Наконец распространился слух, что с севера идет с сильной литовской армией Павел Сапега, что по дороге он уничтожил люблинский гарнизон, взял Люблин и форсированным маршем идет к Замостью.

Старый Виттенберг, самый опытный из шведских полководцев, видел весь ужас положения и открыто представил его королю.

— Я знаю, — сказал он, — что военный гений вашего величества совершает чудеса; но, по человеческому разумению, нас, прежде всего, одолеет голод, и, когда неприятель нападет на изнуренных солдат, отсюда никто не уйдет живым!

— Если я возьму эту крепость, — ответил король, — я через два месяца кончу войну.

— Для осады такой крепости мало и года!

Король в душе соглашался со старым воином и не хотел только показать перед ним, что он и сам не видит выхода и что его военный гений выдохся.

Он рассчитывал на какую-нибудь случайность, а пока велел стрелять день и ночь.

— Напугаю их, будут податливее! — говорил он.

Через несколько дней после этой отчаянной стрельбы, сквозь дым которой не было видно света божьего, он снова послал Форгелля в крепость.

— Король и господин мой, — сказал генерал, явившись к Замойскому, — полагает, что потери, которые причинили Замостью наши орудия, смягчат непреклонное сердце вашего сиятельства и склонят вас к переговорам.

— Как же, потери есть! — ответил пан Замойский. — Как не быть! Вы убили свинью на рынке осколком гранаты. Постреляйте еще неделю, — может, убьете другую!

Форгелль вернулся с этим ответом к королю. Вечером снова состоялся военный совет в квартире короля, а на следующий день шведы начали укладывать палатки и стаскивать орудия с шанцев; ночью шведское войско ушло.

Вслед ему Замостье стреляло из всех орудий, а когда шведы скрылись из глаз, через южные ворота вышли два полка, ляуданский и шемберковский, и пошли за ними следом.

Шведы направились к югу. Виттенберг, правда, советовал возвращаться к Варшаве, убеждая изо всех сил, что это единственный путь спасения, но шведский Александр решил во что бы то ни стало преследовать польского Дария до последней границы королевства.

IV

Весна в этом году была странная: в то время как на севере Речи Посполитой снег уже весь растаял, реки тронулись и вся страна была покрыта мартовской водой — на юге с гор на поля, воды и леса дули ледяные зимние ветры. В лесах еще лежал

снег, замерзшие дороги стучали под копытами лошадей: дни были сухие, закаты красные, ночи звездные и морозные. Население, сидевшее на плодородной, глинистой почве и на черноземе Малопольши, было очень радо этим холодам, говоря, что от морозов погибнут полевые мыши и шведы. Но весна, насколько она медлила раньше, настолько внезапно наступила. Солнце запылало с неба живым огнем, и мигом лопнула зимняя скорлупа. С венгерских степей на луга, поля и леса подул сильный теплый ветер. Среди блестящих луж зачернела земля, зеленая трава покрыла речные долины, деревья роняли на землю капли талого льда. На ясном небе каждый день тянулись стаи журавлей, диких уток, гусей. Прилетели в свои гнезда аисты, под крышами ютились ласточки; защебетали птицы по деревьям, лесам и болотам, а вечерами все наполнялось кваканьем лягушек.

Затем наступили теплые дожди, которые падали и днем и ночью без перерыва. Поля превратились в озера. Реки выступили из берегов, дороги стали топкими и непроходимыми.

И среди этих вод, грязи и болот безостановочно подвигались к югу шведские войска.

Но как мало было похоже это войско, шедшее теперь, словно на погибель, на ту великолепную армию, которая в свое время вступила в Великопольшу под предводительством Виттенберга. Голод положил на лица старых воинов свою синюю печать; они скорее были похожи на тени, чем на людей; усталые, измученные бессонными ночами и трудностями похода, они шли вперед, зная, что в конце дороги их ждет не еда, а голод, не сон, а битва, а если и отдых, то только отдых смерти...

Закованные в сталь скелеты людей сидели на скелетах лошадей. Пехотинцы еле волочили ноги, еле могли удержать дрожащими руками мушкеты и пики. День проходил за днем, а они все шли вперед. Возы ломались, пушки вязли в болоте; они шли так медленно, что иногда проходили за день не более одной мили. Солдаты стали болеть; одни щелкали зубами в лихорадке, другие от слабости прямо валялись на землю, предпочитая умереть, чем идти дальше.

Но шведский Александр все еще преследовал польского Дария.

Но в то же время и его преследовали. Как стая шакалов, которая идет за больным буйволом и ждет, когда он свалится с ног, а буйвол знает, что должен пасть, и слышит их голодный вой, — так за шведами шли отряды, которые наступали все ближе, нападали все более дерзко и яростно.

Наконец подошел и самый страшный из всех — Чарнецкий — и шел по пятам. И всякий раз, когда задние ряды шведов оборачивались, они всегда видели позади себя всадников, то на самом краю горизонта, то за версту, то на расстоянии двух выстрелов, а иногда за самой спиной.

Неприятель хотел битвы. Шведы с отчаянием молили о ней Бога, но Чарнецкий битвы не принимал; он выжидал, а пока терзал шведов понемногу и выпускал на них отдельные отряды, словно соколов на речную птицу.

Так и шли они друг за другом. Бывали минуты, когда киевский каштелян обгонял шведов и преграждал им путь, делая вид, что желает вступить в решительный бой. Тогда во всех концах шведского лагеря радостно трубили трубы, и, — о чудо! — новые силы, новый дух вступал в сердца измученных скандинавов. Больные, измокшие, бессильные, похожие на нищих, они готовились к битве с пылающими лицами и с огнем в глазах. Мушкеты и пики двигались так стройно, точно ими управляли железные руки, а воинственные крики раздавались так громко, точно они вылетали из самой здоровой груди; и шведы смело шли вперед, чтобы грудью столкнуться с неприятелем.

Пан Чарнецкий ударял раз, другой, но лишь начинали греметь пушки, сейчас же уводил войска, оставляя шведам лишь бесплодные усилия, еще большее разочарование и недовольство.

Но там, где пушки не могли действовать и где все решалось саблями и пиками, он бросался, как гром, зная, что в рукопашном бою шведская конница не сможет устоять даже против волонтеров.

И Виттенберг снова начал просить короля отступить назад — не губить себя и войско; но король, вместо ответа, закусывал губы, метал глазами молнии и показывал рукой на юг, где на русской границе он надеялся найти Яна Казимира, победы, отдых, припасы и богатую добычу.

В довершение несчастий польские полки, которые служили ему до сих пор и одни только могли кое-как сдерживать Чарнецкого, стали оставлять его. Первым поблагодарил за службу пан Зброжек, которого до сих пор удерживало при Карле не корыстолюбие, а слепая привязанность солдата к своему полку и солдатская честность. Благодарность свою он проявил тем, что разбил драгунский полк Мюллера и вырезал почти половину его людей. За ним ушел и Калинский, проехав по трупам шведской пехоты. Сапега с каждым днем делался все мрачнее, видимо, переживал что-то и о чем-то думал. Сам он еще не ушел, но люди убегали от него каждый день.

Карл-Густав шел на Нароль, Тешанов и Олешицы, намереваясь пробраться к Сану. Он надеялся, что Ян Казимир преградит ему путь и даст сражение. Победа могла бы еще поправить дела шведов. Скоро разнеслась весть, что Ян Казимир двинулся из Львова с регулярным войском и татарами. Но Карл ошибся в расчетах, так как Ян Казимир предпочитал выждать, пока соберется все войско и придет с Литвы Сапега. Медлительность была лучшим его союзником, так как силы его росли с каждым днем, а Карл с каждым днем слабел.

— Это не войско идет, не армия, а похоронная процессия! — говорили старые воины в лагере Яна Казимира.

Это мнение разделяли и многие шведские офицеры.

Король сам повторял еще, что он идет во Львов, но он обманывал и себя и других. Ему надо было идти не ко Львову, а думать о собственном спасении. Впрочем, он не был даже уверен, застанет ли он там Яна Казимира, который, во всяком случае, мог уйти даже на Подолию и увлечь за собой неприятельские войска в далекие степи, где шведам уже не было спасения.

Он послал поэтому Дугласа в Пшемысль, попробовать, не удастся ли взять хоть эту крепость, но Дуглас вернулся ни с чем и даже разбитый.

Катастрофа надвигалась хотя и медленно, но неумолимо. Все известия, какие только приходили в шведский лагерь, были лишь предупреждением о ней. И с каждым днем она становилась все грознее и грознее.

— Сапега идет! Он уже в Томашове! — заговорили однажды.

— Любомирский идет с войском и горцами! — послышалось на следующий день.

А потом:

— Король ведет войско и стотысячную орду. Он уже соединился с Сапегой.

Известия эти, «предвестники бедствий и смерти», были зачастую преувеличены, но они все же наводили страх. Армия пала духом. Прежде, каждый раз, когда Карл-Густав появлялся перед своими полками, его встречали радостными криками, в которых слышалась уверенность в победе; а теперь полки его стояли глухие и немые. А у костров усталые и голодные солдаты больше говорили о Чарнецком, чем о своем короле. Чарнецкого видели всюду. И странное дело! Когда в течение нескольких дней не пропадал ни один отряд, когда несколько ночей проходило без тревог и криков: «Бей! Режь!» — беспокойство шведов усиливалось еще больше.

— Чарнецкий ушел, и бог весть, что он замышляет! — повторяли солдаты. Карл остановился на несколько дней в Ярославле, обдумывая, что ему предпринять. А тем временем больных солдат, которых в обозе было масса, нагружали на шхуны и

отправляли речным путем в Сандомир, который был еще в шведских руках. Окончив эту работу и получив известие о выступлении Яна Казимира из Львова, шведский король решил узнать, где же Ян Казимир на самом деле.

С этой целью полковник Каннеберг отправился с тысячным полком через Сан, на восток.

— Быть может, судьба войны и всех нас в ваших руках! — сказал ему король на прощание.

И действительно, многое зависело теперь от этого похода, так как, в худшем случае, Каннеберг должен был снабдить войско провиантом; в случае же, если бы он достоверно узнал, где Ян Казимир, шведский король должен был сейчас же двинуться со всем своим войском против польского Дария, разбить его войско, а если удастся, то захватить и его самого.

Поэтому он дал Каннебергу самых лучших солдат и лучших лошадей. Выбор производился тем тщательнее, что полковник не мог брать с собой ни пехоты, ни пушек и должен был иметь таких людей, которые могли бы в открытом поле дать отпор польской кавалерии.

Отряд выступил 20 марта. Когда проходили через мост, множество офицеров и солдат осеяли их крестом: «Да ведет вас Бог! Да пошлет он вам победу! С Богом!..» Они растянулись длинной вереницей, так как шли по двое, а всех их была тысяча. Мост, по которому они проходили, был еще не достроен и покрыт досками только для того, чтобы они могли пройти.

Лица их светились надеждой; сегодня они были сыты. Чтобы накормить их, отнимали у других; им даже дали водки. Они весело покрикивали и говорили провожавшим их солдатам:

— Мы приведем вам на веревке самого Чарнецкого! Глупцы! Они не знали, что идут, как быки, на бойню.

Все вело их к гибели. Сейчас же после их прохода шведские саперы разобрали мост, чтобы сделать новый, по которому могли бы проходить и орудия. Солдаты с песнями повернули к Великим Очам — шлемы их блеснули на повороте раз, другой, а потом отряд скрылся в густом лесу.

Они проехали полмили — никого! Кругом тишина, лесная чаща, казалось, была совсем пуста. Они остановились, чтобы дать отдых лошадям, потом медленно двинулись вперед. Наконец доехали до Великих Очей, где не застали ни одной живой души.

Эта пустота удивила Каннеберга.

— Нас, очевидно, здесь ждали, — сказал он, обращаясь к майору Свену. — Но Чарнецкий должен быть в другом месте, раз он не устроил нам засады.

— Может быть, прикажете вернуться? — спросил Свен.

— Мы пойдем вперед, хотя бы до Львова, до которого не очень далеко. Мы должны доставить королю достоверные сведения об Яне Казимире.

— А если мы встретим большое войско?

— Если мы встретим даже несколько тысяч этого сброда, который они называют всеобщим ополчением, то ведь с нашими солдатами они ничего не поделают.

— Но мы можем натолкнуться и на регулярные войска.

— Тогда вовремя отступим и сообщим королю о неприятеле. А тех, кто вздумает отрезать нам отступление, разобьем!

— Ночи опасны! — ответил Свен.

— Будем осторожны. Провианта у нас хватит на два дня, поэтому нам не надо торопиться.

За Великими Очами они снова углубились в лес, но на этот раз подвигались гораздо осторожнее. Впереди ехало пятьдесят человек с ружьями наготове; они внимательно осматривали местность, шарили в зарослях, в кустах, съезжали с

дороги, чтобы хорошо осмотреть глубь леса, но ни на дороге, ни по сторонам никого не было.

Только через час, миновав довольно крутой поворот, два рейтара, ехавшие впереди, увидели перед собой, на расстоянии четырехсот шагов, какого-то всадника.

День был погожий, солнце светило ярко, так что всадник был виден как на ладони. Он был небольшого роста, одет очень хорошо, по-иностранному. Он казался маленьким еще потому, что сидел на рослом, по-видимому, породистом коне.

Всадник ехал очень медленно, точно не видел, что за ним идет войско. Весеннее половодье размыло на дороге ямы, в которых шумела мутная вода. Всадник часто поднимал на дыбы своего скакуна, и тот прыгал через ямы с ловкостью оленя и потом снова шел рысью, мотая головой и фыркая иногда. Рейтары придерживали своих лошадей и начали оглядываться на вахмистра. Тот сейчас же прискакал и, посмотрев, сказал:

— Это какой-то пес из польской псарни!

— Я крикну ему! — сказал один из рейтар.

— Не надо. Может, их много; поезжай к полковнику.

Тем временем к ним подъехали и остальные солдаты передовой стражи и остановились; маленький рыцарь тоже задержал коня и повернулся к шведам, точно желая преградить им путь.

Некоторое время они смотрели на него, а он на них.

— Вот и второй! Третий! Четвертый! Целая куча! — раздавались крики в рядах солдат.

И действительно, по обеим сторонам дороги стали показываться всадники, сперва по одному, потом по двое и по трое. Все они подъезжали к тому, который появился первым.

Но и к шведам подъехал другой передовой отряд под командой Свена, затем и весь отряд Каннеберга. Каннеберг и Свен сейчас же выехали вперед.

— Я узнаю этих людей! — воскликнул Свен, только взглянув вперед. — Этот полк первым ударил на принца Вальдемара под Голембом. Это люди Чарнецкого. Он сам должен быть здесь!

Слова эти произвели большое впечатление; в шведских рядах наступила глубокая тишина, только лошади позвякивали уздечками.

— Чую какую-то ловушку! — продолжал Свен. — Их слишком мало, чтобы принять битву, но, верно, в лесу спрятались остальные. — И он обратился к Каннебергу: — Вернемтесь, полковник!

— Хорош совет! — проговорил полковник, хмуря брови. — Стоило ли выезжать, если при виде нескольких оборванцев мы будем возвращаться? Почему же мы не вернулись, когда увидели одного? Вперед!

И ряды шведов в ту же минуту стройно двинулись вперед. Расстояние между двумя отрядами быстро уменьшилось.

— Огня! — скомандовал Каннеберг.

Шведские мушкеты сверкнули, как один, направленные в сторону польских всадников.

Но прежде чем раздалась выстрелы, поляки повернули лошадей и стали в беспорядке убегать.

— Вперед! — крикнул Каннеберг.

Отряд поскакал так, что земля задрожала под тяжелыми копытами лошадей.

Лес огласился криками убегавших и преследовавших. Через четверть часа — оттого ли, что шведские лошади были лучше, или оттого, что польские были уже измучены, — расстояние между двумя отрядами стало уменьшаться.

Но тут случилось что-то странное. Эта беспорядочно убегавшая кучка поляков не только не рассеивалась, но, наоборот, соединялась в стройные ряды, точно

лошади выстраивались сами.

Свен, заметив это, погнал коня и, подъехав к Каннебергу, закричал:

— Господин полковник, это регулярное войско; они нарочно убегают, чтобы устроить нам засаду.

— Ведь не черти же устроят нам засаду, а люди! — возразил Каннеберг.

Дорога шла несколько в гору и становилась все шире; лес редел, и на конце его виднелась уже огромная поляна, окруженная со всех сторон густым, серым бором.

Польский отряд прибавил шагу, и казалось, что раньше он нарочно стал отставать, а теперь вдруг очутился так далеко, что догнать его было невозможно.

Дойдя до половины поляны и видя, что неприятель доехал почти до ее конца, полковник начал сдерживать своих солдат и замедлять ход.

Но — о чудо! — польский отряд, вместо того чтобы скрыться в лесу, повернул, выстроился на самом краю поляны в огромный полукруг и рысью тронулся против неприятеля, делая это в таком блестящем порядке, что неприятель изумился.

— Да, это регулярное войско! — воскликнул Каннеберг. — Они повернули, как на учениях! Чего им надо?

— Идут на нас! — крикнул Свен.

И действительно, отряд ехал рысью. Маленький рыцарь на гнедом коне что-то кричал, выезжал вперед, снова задерживал коня и размахивал саблей; он, очевидно, был предводителем отряда.

— Они нас атакуют! — воскликнул с изумлением Каннеберг.

Под теми лошади мчались во весь опор, едва касаясь ногами земли. Всадники нагнулись в седлах и совсем почти спрятались за лошадиными гривами.

Шведы, стоявшие в первых рядах, видели только впереди сотни раздувающихся лошадиных ноздрей и горящие огнем глаза.

— С нами Бог! Швеция! Огня! — скомандовал Каннеберг, поднимая вверх шпагу.

Грянул залп, но в ту же минуту польский отряд, вынырнув из дыма, бросился на шведское войско с такой страшной силой, что отбросил направо и налево первые ряды и клином врезался в самую гущу людей и лошадей. Поднялся страшный водоворот: панцирь ударял о панцирь, сабля о саблю, и звон оружия, визг лошадей и стоны умирающих будили эхо, и лес повторял отголоски битвы, как горные ущелья повторяют раскаты грома...

Шведы на минуту смешались, тем более что значительная часть их пала при первом же натиске, но, оправившись, они стали грудью напирать на неприятеля. Оба шведских крыла соединились опять, а так как поляки продолжали натиск, чтобы прорваться сквозь войско, то сейчас же были окружены. Центр шведов отступал, но зато с боков они напирали все сильнее и сильнее; они не могли разорвать отряд, так как он отчаянно защищался с тем несравненным искусством, которое делало конницу страшной в рукопашной битве. Сабли работали против рапир, трупы падали густыми рядами; победа клонилась уже на сторону шведов, как вдруг из-за темной стены леса вышел другой полк и с криком бросился вперед.

Почти все правое крыло шведов, под командой Свена, тотчас же повернулось лицом к новому врагу, в котором опытные воины сразу узнали гусар.

Вел их рыцарь, сидевший на прекрасной серой в яблоках лошади, одетый в бурку и меховую шапку, с пером цапли. Его было отлично видно, так как он ехал сбоку в нескольких шагах от солдат.

— Чарнецкий! Чарнецкий! — раздалось в рядах шведов.

Свен с отчаянием взглянул на небо и, хлестнув коня, поскакал вперед. Чарнецкий провел гусар еще несколько десятков шагов, а потом, когда они мчались уже во весь опор, повернул своего коня обратно.

Из леса вышел третий полк. Чарнецкий подскочил к нему и опять повел его сам,

указывая булавою место, куда броситься. Так хозяин указывает жнецам их места.

Наконец, когда появился и пятый полк, он стал во главе его и сам бросился вместе с ним в битву.

Гусары уже отбросили в тыл правое крыло шведов и вскоре прорвали цепь, остальные три полка окружили шведов и с криком стали рубить их, колоть копьями, топтать копытами лошадей и наконец обратили в бегство.

Каннеберг понял, что он попал в засаду и сам повел своих людей под нож. Ему теперь было не до победы; он хотел лишь спасти возможно больше людей и велел дать сигнал к отступлению. Шведы помчались той же дорогой, по которой они пришли из Великих Очей. А люди Чарнецкого гнались за ними так близко, что дыхание их лошадей грело спины шведов.

При таких условиях, а особенно при панике, охватившей рейтар, отступление было беспорядочным; лучшие лошади вырвались вперед, и вскоре блестящий отряд Каннеберга превратился в беспорядочно бегущую толпу, которую поляки вырезали почти без сопротивления.

И чем дальше продолжалась погоня, тем она становилась беспорядочнее, так как и поляки тоже расстроили ряды: каждый подгонял своего коня, догонял и бил кого хотел.

Шведы и поляки перемешались. Некоторые польские солдаты опережали последние ряды шведов, и случалось, что солдат, чтобы сильнее поразить убегающего шведа, приподнимался уже на стремянах и погибал сам, проколотый рапирой сзади. Дорога к Великим Очам была усеяна трупами шведов, но преследование еще не кончилось. Поляки и шведы въезжали в лес, но там измученные шведские лошади стали останавливаться, и резня делалась еще более кровавой.

Некоторые из рейтар соскакивали с лошадей и убегали в лес, но их было немного, так как шведы знали, что в лесах рыскают толпы крестьян, и предпочитали погибнуть под ударами сабель, чем от страшных мучений, на которые не скупился для них простой народ.

Другие просили пощады, но в большинстве случаев тщетно, так как каждый предпочитал убивать неприятеля и мчаться дальше, чем, взяв в плен, сторожить его и отказаться от дальнейшей погони.

Их били без милосердия, чтобы никто из них не вернулся с вестью о поражении. Впереди всех гнался Володыевский с ляуданским полком. Он и был тем всадником, который первый заманил шведов; он первый ударил на них, а теперь, сидя на своем коне, он неся как вихрь, отводил душу, упивался вражеской кровью и мстил за поражение под Голембом. То и дело он догонял какого-нибудь шведа и как бы сдувал его с седла, порой налетал на нескольких, и лошади вскоре мчались уже без всадников. Напрасно шведы хватали свои сабли за острие и протягивали рукоятки с мольбой о пощаде: Володыевский даже не задерживался, взмахивал саблей, делал легкое, почти незаметное движение, — и враг раскинув руки, бормотал побледневшими губами два-три слова и погружался в мрак смерти. Пан Володыевский, не оглядываясь, мчался дальше и устилал землю все новыми жертвами.

Свен, заметив этого страшного жнеца и собрав нескольких лучших своих солдат, решил ценой собственной жизни приостановить, хоть ненадолго, погоню, чтобы спасти других.

Они повернули лошадей и, выставив вперед рапиры, стали ждать преследующих. Володыевский, увидев это, не задумываясь, поднял на дыбы своего коня и ворвался в самую середину. И прежде чем кто-либо успел опомниться, он свалил уже двух шведов; десяток рапир были направлены теперь в грудь Володыевского, но в эту минуту к нему подскочили Скшетуские, Юзва Бутрым

Безногий, пан Заглоба и Рох Ковальский, о котором Заглоба говорил, что он дремлет, даже идя в атаку, и просыпается только тогда, когда столкнется с неприятелем грудью.

Пан Володыевский мигом соскользнул с седла под лошадь, и рапиры проткнули воздух. Он научился этому приему у белгородских татар, и, будучи маленького роста и необычайно ловким, он довел этот прием до такого совершенства, что исчезал мгновенно то под шеей, то под брюхом лошади. Так он исчез и теперь, и, прежде чем рейтары сообразили, что случилось, он уже снова был на седле, страшный, как дикая кошка, когда она соскочит с высокой ветки.

Товарищи помогали ему, сеяли смерть и смятение. Один из рейтар приставил к груди Заглобы пистолет, но Рох Ковальский, у которого швед был с левой стороны, не мог ударить его саблей и ударил кулаком по голове с такой силой, что тот свалился под лошадь, точно пораженный громом. А Заглоба радостно вскрикнул, нанес удар в голову Свена, который, опустив руки, упал лицом на шею лошади. Шведы, увидев это, обратились в бегство. Володыевский, Юзва Безногий и двое Скшетуских бросились за ними и перебили их, прежде чем они успели проскакать сто шагов.

Погоня продолжалась. Шведские лошади уже задыхались, и отряд мчался врассыпную. Наконец из тысячи отборных солдат, которые вышли под начальством Каннеберга, осталось едва лишь сто с небольшим всадников; остальные длинной лентой лежали трупами по лесной дороге. Но и эта последняя кучка уменьшалась с каждым мгновением, так как поляки работали не переставая.

Но вот лес кончился. На лазури неба ясно обрисовались башни Ярослава. В сердцах убежавших вспыхнула надежда: они знали, что в Ярославе стоит король со всем войском, и что он каждую минуту может прийти им на помощь.

Они забыли, что сейчас же после их ухода мост был разобран и вместо него должны были навести другой для провоза пушек.

А Чарнецкий, потому ли, что он знал об этом от своих шпионов, или нарочно хотел показаться шведскому королю и у него на глазах добить этих несчастных, но он не только не остановил погоню, но даже сам во главе шемберковского полка бросился вперед и так гнал толпу шведов, точно хотел заодно напасть и на Ярослав.

Шведы были уже за версту от моста. Крики с поля долетели до шведского лагеря. Офицеры и солдаты прибежали из города посмотреть, что происходит за рекой. Едва взглянув, они узнали рейтар, которые вышли утром из лагеря.

— Отряд Каннеберга! Отряд Каннеберга! — повторяли тысячи голосов.

— Почти все перебиты! Бежит едва ли сто человек!

В эту минуту прискакал сам король, за ним Виттенберг, Форгелль, Мидлер и другие генералы. Король побледнел.

— Каннеберг! — воскликнул он.

— Боже! Ведь мост еще не окончен! Их перережут всех до одного! — вскричал Виттенберг.

Король взглянул на разлившуюся реку; шумели ее желтые воды, о переправе помощи нечего было и думать.

А те все приближались.

Вдруг раздался крик:

— Вот идет королевская гвардия и возы с провиантом. Погибнут и они!

Каким-то образом случилось, что часть провианта с сотней гвардейской пехоты вынырнула из того же леса, но только по другой дороге. Увидав, что здесь творится, обоз в полной уверенности, что мост уже готов, изо всех сил устремился к городу.

Но их заметили с поля, и навстречу им помчалось триста человек конницы во главе с Жендзяном, арендатором из Вонсоши, который летел с саблей над головой, с огнем в глазах. До сих пор он еще ничем не доказал своей храбрости, но при виде возов, в которых могла быть богатая добыча, храбрость так переполнила его сердце,

что он даже опередил других. Пехотинцы, увидев, что им не уйти, образовали четырехугольник, и сто мушкетов были обращены на грудь Жендзяна. Воздух дрогнул от выстрелов, и густой дым окутал четырехугольник; но прежде чем он рассеялся, Жендзян вздернул своего коня на дыбы, так что его передние копыта повисли над стеной шведов, и как молния бросился в самую середину.

Всадники бросились за ним, и как бывает, когда волки нападут на лошадь, а она, лежа на земле, отчаянно защищается копытами от стаи, которая рвет ее на куски, — так клубящаяся масса всадников накрыла собой и возы, и пехотинцев. Из этого водоворота вырывались только страшные крики и доносились до слуха шведов, стоявших на противоположном берегу.

Между тем еще ближе к берегу добивали остатки рейтар Каннеберга. Вся шведская армия, как один человек, высыпала на высокий берег Сана. Пехота, конница, артиллерия — все это смешалось, и все смотрели, точно в древнеримском цирке, на зрелище, но смотрели стиснув зубы, с отчаянием в груди, с ужасом и с сознанием полного бессилия.

Временами из грудей этих невольных зрителей вырывался страшный крик; временами раздавался взрыв плача, и снова наступала такая тишина, что слышалось только тяжелое дыхание взбешенных солдат. Эта тысяча людей, которую увел Каннеберг, была гордостью и славой всей шведской армии; ведь это были сплошь ветераны, прославившиеся бог весть в каких странах и бог весть в скольких битвах. А теперь они бегали по противоположному берегу, как обезумевшее стадо овец, и гибли точно под ножом мясника. Это была уже не битва, а какая-то охота. Страшные всадники вихрем кружились на поле, с криком ловили и преграждали путь рейтарам. Иногда несколько человек преследовали одного. Порою швед, видя, что его уже догнали, сам перегибался в седле, облегчая этим удар; иногда же настигнутый поляками швед вступал в бой, но почти сейчас же погибал, так как шведы не могли мериться с польской шляхтой в умении владеть холодным оружием.

Но страшнее всех среди поляков был маленький рыцарь, сидевший на ловком и быстром, как сокол, коне. Его вскоре заметило все войско, так как за кем бы он ни погнался, кто бы с ним ни встретился, тот погибал неизвестно как и когда — до того незаметны были удары его сабли, которыми он сбрасывал на землю самых сильных рейтар. Наконец он заметил самого Каннеберга, за которым гналось несколько человек; он крикнул им бросить погоню и поскакал к нему сам.

Шведы на другом берегу затаили дыхание. Король, подъехав к самому берегу, смотрел с замиранием сердца, с тревогой и в то же время с надеждой. Каннеберг, как вельможа и родственник короля, с детства обучался фехтованию у итальянских мастеров и не имел себе равного во всей шведской армии. Глаза всех смотрели на него; все даже дышать не смели, а он, видя, что за ним уже не гонятся, и желая, после гибели войска, спасти хоть свою славу в глазах короля, сказал самому себе: «Горе мне, если, погубив войско, я кровью не смою позора и не куплю себе жизнь ценой гибели этого рыцаря! Иначе, если даже десница Господня перенесет меня на тот берег, я не посмею взглянуть в глаза ни одному шведу».

И, повернув коня, он поскакал к желтому рыцарю.

А так как всадники, гнавшиеся за ним, умчались в сторону, то Каннеберг надеялся, что, убив своего противника, он добежит до берега, бросится в воду, а там будь что будет; если ему не удастся переплыть реку, то, во всяком случае, течение унесет его дальше, а там уж товарищи придумают какое-нибудь средство спасти его.

И он, как молния, бросился к маленькому рыцарю, а маленький рыцарь к нему. Швед хотел на лету проткнуть его рапирой насквозь, но сейчас же увидел, что имеет дело с таким же мастером, как и он, так как рапира его только скользнула по острию польской сабли и как-то странно дрогнула в его руке, точно у него вдруг рука онемела; но он успел защититься от удара, который нанес ему рыцарь; к счастью, в эту минуту

лошади разнесли их в разные стороны.

Они почти одновременно повернули своих лошадей, но теперь уже подъезжали друг к другу медленнее, желая иметь больше времени для встречи и хоть несколько раз скрестить оружие. Каннеберг весь съежился и стал похож на птицу, у которой из-за перьев торчит только мощный клюв. Он знал один неотразимый удар, которому его научил какой-то флорентинец. Этот предательский удар заключался в том, что острие, направленное будто бы в грудь, неожиданно пронзало навывлет шею.

И, уверенный в себе, он приближался, сдерживая свою лошадь, а пан Володыевский (это был он) подъезжал к нему мелким галопом. Он думал сначала прибегнуть к татарскому маневру и исчезнуть под конем, но так как он бился один на один, и притом на виду у обеих войск, то, хотя и понял, что его ждет какой-то неожиданный удар, решил, что защищаться по-татарски, а не по-рыцарски — стыдно.

«Ты хочешь меня на рапиру надеть, как каплуна на вертел, — подумал он про себя, — но я тоже угощу тебя «мельницей», которой еще в Лубнах обучился».

И эта мысль показалась ему самой подходящей; он выпрямился в седле, поднял свою саблю и стал вращать ее так быстро, что кругом раздавался лишь пронзительный свист воздуха.

А заходящее солнце, играя лучами на сабле, окружило его точно каким-то ослепительным щитом; пришпорив коня, он бросился на Каннеберга.

Тот скорчился еще больше и почти прильнул к лошади, потом в одно мгновение скрестил рапиру с саблей, вытянул голову, как змея, и ткнул своей рапирой.

Но в эту минуту зашумела страшная мельница, рапира рванулась в руке шведа, острие ее пронзило воздух, а изогнутый конец сабли маленького рыцаря с быстротой молнии опустился на лицо Каннеберга, прорезав ему часть носа, губы, подбородок, ключицу и ударился о стальной панцирь.

Рапира выскользнула из рук несчастного, в глазах у него потемнело, но, прежде чем он упал с коня, Володыевский, опустив саблю, схватил его под руки.

На другом берегу раздался крик ужаса шведов, а пан Заглоба, подскочив к маленькому рыцарю, сказал:

— Пан Михал, я знал, что так будет, но все-таки готов был отомстить за тебя!

— Это был мастер своего дела! — ответил Володыевский. — Берите лошадь за узду. Больно хороша!

— О, если б не река, можно бы броситься туда, погулять с теми... Я бы первый...

Но его слова прервал свист пуль, и Заглоба, не кончив свою мысль, крикнул:

— Уйдем отсюда, пан Михал, — эти изменники готовы подстрелить нас!

— Пули вредить не могут, — ответил Володыевский, — слишком далеко!

Их окружили другие польские всадники, поздравляли Володыевского и с удивлением глядели на него, а он лишь шевелил усами, так как был сам доволен собою.

На другом берегу шведы шумели, как пчелы в улье. Артиллеристы спешно устанавливали пушки; в польских рядах раздался сигнал к отступлению. Услышав его, все бросились к своим полкам, и в одно мгновение ряды выстроились. Они отступили к лесу и остановились снова, как бы оставляя место для неприятеля и приглашая его за реку. Наконец вперед выехал рыцарь на сером коне, одетый в бурку и шапку, с пером цапли и с золоченым буздыганом в руке.

Его отлично было видно, так как на него падали красные лучи заходящего солнца. Он ездил перед полками, точно устраивая им смотр. Шведы сразу узнали и стали кричать:

— Чарнецкий! Чарнецкий!

Он говорил что-то полковникам, потом остановился перед рыцарем, сразившим Каннеберга, и положил ему на плечо руку, затем поднял буздыган, и полки медленно, один за другим повернули к бору.

Солнце уже заходило. Ярославские костельные колокола зазвонили к вечерней молитве, и полки запели в один голос: «Ave, Maria» — и с этой песнью исчезли из глаз шведов.

V

В этот день шведы легли спать без ужина и без надежды чем-нибудь подкрепиться на следующий день. Мучительный голод не давал им спать. Прежде чем пропели вторые петухи, истомленные солдаты начали прокрадываться из лагеря группами и в одиночку и отправились грабить соседние с Ярославом деревни. Они шли, подобно ночным разбойникам, к Радымну, Коньчуге и Тычинову, где они могли и где надеялись найти что-нибудь поесть. Их ободряло и то, что Чарнецкий был по ту сторону реки; впрочем, если бы он и успел переправиться, они предпочитали смерть голоду. В лагере, по-видимому, сильно упала дисциплина, так как из лагеря ушло около полуторы тысячи людей, вопреки строжайшему запрещению короля.

Они разбрелись по окрестностям, жгли, грабили, резали, но почти никому из них не суждено было вернуться в лагерь. Чарнецкий, правда, был на другой стороне Сана, но и на этой стороне было немало «партий» из шляхты и крестьян. А в эту ночь, к несчастью, в Прухник пришел самый сильный из этих отрядов, состоявший из воинственной карпатской шляхты под предводительством пана Стшалковского. Увидев зарево и услышав выстрелы, пан Стшалковский набросился на грабителей. Шведы отчаянно защищались, но Стшалковский окружил их, изрубив всех до одного. В соседних деревнях то же самое сделала другая «партия». Преследуя шведов, польские отряды подошли к самому шведскому лагерю и кричали на татарском, на венгерском, на валашском и на польском языке, так что шведы думали, что это идет какое-нибудь значительное войско, может быть, сам хан с целой ордой.

Произошло замешательство и небывалая доселе паника, которую с трудом удалось подавить офицерам. Но король всю ночь до утра не слезал с лошади, видел все, что произошло, понял, чем это может кончиться, а потому утром созвал военный совет.

Это угрюмое совещание продолжалось недолго, так как не было выбора. Войско пало духом. Солдатам нечего было есть, а силы неприятеля росли.

Шведский Александр, который обещал всему миру преследовать польского Дария хотя бы до самых татарских степей, должен был думать теперь не о дальнейшем преследовании, а о собственном спасении.

— Мы можем вернуться Саном в Сандомир, оттуда Вислой в Варшаву и в Пруссию, — сказал Виттенберг. — Таким образом мы избежим гибели.

Дуглас схватился за голову:

— Столько побед, столько трудов, такая огромная страна покорена — и мы возвращаемся!

— Вы можете посоветовать что-нибудь другое? — спросил его Виттенберг.

— Нет, не могу! — ответил Дуглас.

Король, который до сих пор ничего не говорил, встал в знак того, что совет кончен, и сказал:

— Приказываю отступление!

И в этот день никто не слышал от него больше ни слова. Весть, что дан приказ отступить, в одну минуту облетела весь лагерь; ее встретили радостными криками. Замки и крепости были еще в руках шведов, а там их ждали отдых, пища, безопасность.

Офицеры и солдаты с такой энергией принялись за приготовления к отступлению, что эта энергия, по замечанию Дугласа, граничила с позором.

Король отправил Дугласа с передовым отрядом, приказав починить мосты и

прорубить дорогу в лесах. Вслед за ним двинулось все войско в боевом порядке; фронт прикрывали пушки, тыл — возы, по бокам шла пехота. Припасы и палатки были отправлены по реке в лодках.

Все эти предосторожности были не лишни, так как едва лишь войско тронулось, как патрули заметили вдали польские отряды и с этих пор уже не теряли их из глаз. Чарнецкий собрал все свои полки, все окрестные «партии» и, послав еще за подкреплением к королю, шел за ними по пятам. Первый ночлег в Пшеворске был первой тревогой. Польские отряды подошли так близко к шведам, что им пришлось двинуть против них несколько тысяч пехоты и часть артиллерии. Король думал сперва, что Чарнецкий действительно наступает, но он, по обыкновению, высылал только отдельные отряды. Они подходили к лагерю, поднимали переполох и уходили назад. Вся ночь прошла для шведов в беспокойстве и тревоге. Они не спали.

И весь поход, все следующие ночи и дни обещали быть похожими на эту.

Между тем король прислал Чарнецкому два полка отличной конницы вместе с письмом, в котором уведомлял, что вскоре двинутся и гетманы с регулярным войском, и сам он с остальной пехотой и ордой поспешит за ними. Его задерживали только переговоры с ханом, с Ракочи и императором австрийским. Чарнецкий страшно обрадовался этому известию, и, когда на следующий день, утром, шведы двинулись вперед, направившись к клину между Вислой и Саном, каштелян сказал, обращаясь к полковнику Поляновскому:

— Сеть расставлена, и рыба идет прямо в нее!

— А мы сделаем так, как тот рыбак, — сказал Заглоба, — который играл рыбам на флейте, заставляя плясать, и, когда они не захотели этого сделать, он вытащил их на берег; тут-то и принялись прыгать, а он начал бить их палкой, приговаривая: «Ах вы такие-сякие! Надо было танцевать, пока я просил!»

— Запляшут они! Пусть только придет со своим войском пан маршал Любомирский, у которого пять тысяч солдат.

— Его можно ждать со дня на день, — заметил Володыевский.

— Сегодня приехало несколько горских шляхтичей, — проговорил Заглоба, — они уверяют, что Любомирский идет форсированным маршем. Но захочет ли он соединиться с нами, вместо того чтобы воевать на свой страх и риск, — это вопрос.

— Отчего? — спросил Чарнецкий, быстро взглянув на Заглобу.

— Любомирский непомерно самолюбив и честолюбив. Я давно уже знаю его и был его доверенным. Познакомился я с ним при дворе краковского воеводы, когда он был еще юношей. Он учился тогда фехтованию у французов и итальянцев и страшно рассердился на меня, когда я сказал ему, что это дурни и что ни один не устоит против меня. Мы побились об заклад, и я один уложил их семерых, одного за другим. А он потом обучался у меня не только фехтованию, но и военному искусству. От природы он туповат, а если что-нибудь знает, так только от меня.

— Неужто вы такой мастер? — спросил Поляновский.

— Пример: Володыевский — это мой второй ученик, и это моя гордость!

— Правда ли, что вы убили Свена?

— Свена? Если бы его убил кто-нибудь из вас, Панове, ему было бы о чем рассказывать всю жизнь, он бы еще соседей созывал, чтобы за вином рассказывать все то же, но для меня это пустяки. Такими Свенами, если б я их стал считать, я мог бы вымостить дорогу до самого Сандомира. Думаете, не смог бы? Вот скажите, кто меня знает!

— Дядя смог бы! — проговорил Рох Ковальский.

Пан Чарнецкий не слышал продолжения этого разговора, так как глубоко задумался над словами Заглобы. Он знал и самолюбие и спесь Любомирского и не сомневался, что он или захочет навязать ему свою волю, или будет действовать самостоятельно, хотя бы это даже могло принести вред Речи Посполитой.

Суровое лицо его омрачилось, и он стал крутить свою бороду.

— Ого! — шепнул Заглоба Скшетускому. — Чарнецкий что-то задумал, потому что он похож теперь на орла и, того и гляди, заключает кого-нибудь.

Вдруг пан Чарнецкий проговорил:

— Надо, чтобы кто-нибудь из вас, Панове, поехал к Любомирскому с письмом от меня.

— Я знаком с ним и берусь за это! — сказал Ян Скшетуский.

— Хорошо, — ответил Чарнецкий, — чем известнее человек, тем лучше... А Заглоба, обращаясь к Володыевскому, прошептал:

— Он уже в нос говорит. Видно, волнуется!

У Чарнецкого действительно было серебряное небо, которое ему вставили вместо вырванного пулей несколько лет назад. И каждый раз, когда он волновался, сердился или беспокоился, то всегда говорил каким-то резким, звенящим голосом. Вдруг он обратился к Заглобе:

— А может, и вы поехали бы со Скшетуским?

— Охотно! — ответил Заглоба. — И если я ничего не поделаю, то уж никто ничего не поделает! К тому же это человек высокого рода, и к нему приличнее ехать вдвоем.

Чарнецкий сжал губы, дернул бороду и сказал как бы про себя:

— Высокие роды... Высокие роды...

— Этого никто не отнимет у Любомирского, — заметил Заглоба.

А Чарнецкий нахмурил брови.

— Речь Посполитая сама велика, и в отношении к ней не может быть высоких родов, перед ней все они низки. Да поглотит земля тех, кто забывает об этом!

Все умолкли, так как он сказал это с большой силой, и только немного погодя Заглоба проговорил:

— В отношении ко всей Речи Посполитой — верно!

— Я ведь тоже не из печи вылез, — заметил Чарнецкий, — я всю жизнь воевал и страдал, когда в Речь Посполитую вторглись казаки, которые прострелили мне небо, теперь душой болею из-за шведов и либо проткну эту болячку саблей, либо пропаду от нее. Да поможет мне в этом Бог!

— И мы поможем кровью нашей! — сказал Поляновский.

Чарнецкий все еще переживал какую-то горечь, которая наполнила его сердце при мысли, что спесь пана маршала может помешать спасению отчизны, но наконец успокоился и сказал:

— Надо написать письмо. Прошу вас, Панове, за мной!

Ян Скшетуский и Заглоба пошли за ним, а через полчаса они уже сели на коней и поехали в противоположную сторону, к Радымну, так как были сведения, что Любомирский со своим войском именно там.

— Ян, — сказал Заглоба, обращаясь к Скшетускому и ощупывая сумку, в которой он вез письмо Чарнецкого, — сделай милость, позволь мне самому говорить с маршалом.

— А вы, отец, в самом деле знали его и учили фехтованию?

— Ну вот! Говорил просто для того, чтобы язык не размяк, что может случиться от долгого молчания. Я его и не знал и не учил! Разве у меня другого дела не было, как быть медвежатником и учить пана маршала ходить на задних лапах? Ну да это все равно! Я разглядел его насквозь, судя по одному тому, что говорят о нем люди, и сумею сделать его мягким, как воск! Только об одном прошу тебя: не говори, что у меня есть письмо от Чарнецкого, и даже не упоминай о нем, пока я сам не отдам.

— Как? Не исполнить данного мне поручения? Этого еще никогда не случалось со мной и не случится. Это невозможно! Если б даже Чарнецкий простил меня, я этого не сделаю ни за какие сокровища.

— Тогда я выну саблю и разрежу жилы у твоей лошади, чтоб ты за мной не поспел. Разве ты видел когда-нибудь, чтобы то, что я придумаю собственной головой, не удавалось? Говори! Да и ты сам потерял ли что-нибудь от фортелей Заглобы? Или Володыевский, или твоя Елена, или мы все, когда я вас спас из рук Радзивилла? Говорю тебе, что это письмо может только повредить, потому что каштелян писал его в таком волнении, что три пера сломал. Впрочем, ты скажешь о нем, когда мой фортель не удастся. И даю слово, что я отдам его тогда, но не раньше!

— Только бы отдать, а когда — все равно!

— Мне ничего больше и не надо. А теперь вперед, перед нами дорога не малая!

Они погнали своих лошадей вскачь. Но им не пришлось ехать долго, потому что авангард маршала миновал уже не только Радымно, но даже Ярослав, и он сам уже был в Ярославе и остановился в прежней квартире шведского короля.

Они застали его за обедом в обществе старших офицеров. Когда ему доложили об их прибытии, Любомирский велел их немедленно принять, так как хорошо знал их имена, гремевшие в то время во всей Речи Посполитой.

Глаза всех устремились на них, когда они вошли; с особенным удивлением и любопытством смотрели на Скшетуского. А маршал, поздоровавшись с ними, сейчас же спросил:

— Не того ли славного рыцаря я вижу перед собой, который доставил королю письма из осажденного Збаража?

— Да, это я, — ответил пан Ян.

— Да пошлет мне Бог таких офицеров как можно больше! Я ни в чем так не завижусь пану Чарнецкому, как в этом, ибо знаю, что и мои маленькие заслуги не исчезнут из людской памяти.

— А я — Заглоба! — сказал старый рыцарь, высовываясь перед ним.

И он обвел глазами присутствующих; а маршал, который каждого хотел привлечь на свою сторону, воскликнул:

— Кто же не знает мужа, который убил Бурлая, взбунтовал войско у Радзивилла!..

— И привел войско пану Сапеге, которое, правду говоря, выбрало своим вождем меня, а не его, — прибавил Заглоба.

— Как же могли вы отказаться от столь высокого поста и поступить на службу к Чарнецкому?

Заглоба покосился на Скшетуского и ответил:

— Ясновельможный пан маршал! Я, как и вся страна, взял пример с вашей вельможности, как надо для общественного блага жертвовать своим честолюбием!

Любомирский покраснел от удовольствия, а Заглоба продолжал, подбоченившись:

— Пан Чарнецкий нарочно прислал нас сюда, чтобы мы поклонились вашей вельможности от него и от всего войска и вместе с тем донесли о значительной победе, которую Бог помог нам одержать над шведами.

— Мы уже слышали об этом, — довольно сухо ответил маршал, в котором уже шевельнулась зависть, — но охотно услышим это еще раз из уст очевидца.

Услышав это, Заглоба начал рассказывать все по порядку, но с некоторыми изменениями, так как силы Каннеберга в его рассказах возросли до двух тысяч людей. Он не забыл рассказать и о Свене, и о себе, и о том, как на берегу реки, на глазах у короля, были перебиты остатки рейтар, как обоз и триста человек гвардии попали в руки счастливых победителей, — словом победа эта, по его рассказу, была невознаградившей потерей для шведов.

Все слушали с напряженным вниманием, слушал и пан маршал, но лицо его становилось все мрачнее и мрачнее.

— Я не отрицаю, что пан Чарнецкий знаменитый полководец, но ведь он один

всех шведов не съест, а оставит что-нибудь и другим!

Вдруг Заглоба сказал:

— Ясновельможный пане! Эту победу одержал не пан Чарнецкий!

— А кто?

— Любомирский!

Настала минута всеобщего изумления. Пан маршал, открыв рот и моргая глазами, смотрел на Заглобу такими удивленными глазами, точно спрашивал его: «У вас, должно быть, голова не в порядке?»

Но пан Заглоба не дал сбить себя с толку, он только еще больше оттопырил губы (этот жест он заимствовал у пана Замойского) и продолжал:

— Я сам слышал, как Чарнецкий говорил перед всем войском: «Это не наши сабли бьют, а бьет, говорит, имя Любомирского, ибо, говорит, когда шведы узнали, что он уже близко, то они так пали духом, что в каждом солдате видели войско маршала и, как овцы, подставляли свои головы под сабли!»

Если бы все солнечные лучи сразу упали на лицо пана маршала, то и тогда оно не прояснилось бы больше, чем теперь.

— Как? — воскликнул он. — Сам Чарнецкий так сказал?!

— И не только это, но многое другое; я только не знаю, можно ли мне повторить, ибо он говорил это лишь самым близким.

— Говорите! Каждое слово пана Чарнецкого стоит того, чтобы повторять его сотни раз. Я давно уже говорил, что это необыкновенный человек!

Заглоба посмотрел на маршала, прищутив один глаз, и пробормотал под нос:

— Схватил крючок, вот я тебя сейчас и вытащу!

— Что вы говорите? — спросил его маршал.

— Я говорю, что войско кричало в честь вашей вельможности «vivat», а в Пшеворске, когда мы всю ночь щипали шведов, каждый полк кричал, налетая: «Любомирский! Любомирский!» — и это действовало на шведов лучше всяких «Алла» и «Бей! Режь!». Вот свидетель, пан Скшетуский, знаменитый солдат, который никогда в жизни не солгал!

Маршал невольно взглянул на Скшетуского, а тот, покраснев до ушей, пробормотал что-то под нос.

Офицеры маршала принялись в один голос восхвалять послов:

— Весьма учтиво поступил пан Чарнецкий, прислав таких послов; оба славные рыцари, а у одного просто мед из уст течет.

— Я знал, что пан Чарнецкий расположен ко мне, но теперь уже нет ничего, чего бы я для него не сделал! — воскликнул Любомирский, глаза которого увлажнились от радости.

А Заглоба уже вошел в азарт:

— Ясновельможный пане! Кто не любит вас, кто не чтит вас, образец всех добродетелей гражданина, вас, который своей справедливостью напоминает Аристиду, а мужеством Сципионов! Много книг я прочел в своей жизни, многое видел, многое слышал, и сердце мое разрывалось, когда я увидел, что творится в Речи Посполитой. Я видел Опалинских, Радзейовских, Радзивиллов, которые из гордости, из спеси, ради личных выгод готовы были отречься от отчизны каждую минуту. И я подумал: погибла Речь Посполитая из-за порочности сынов своих! Но кто меня утешил, кто меня ободрил в горе? Пан Чарнецкий. «Воистину, — сказал он, — не погибла Польша, пока в ней есть Любомирский! Те думают, говорит, только о себе, а он только и смотрит, только и ищет случая принести в жертву свои личные интересы на алтарь общего дела; те лезут вперед, а он становится в тени, ибо хочет быть примером для других. Вот и теперь, говорит, Любомирский идет с сильным и победоносным войском, а я уже слышал, говорит, что он хочет отдать его под мою команду, чтобы научить этим других, как надо жертвовать своим честолюбием для

блага отчизны! Поезжайте к нему, говорит, и скажите, что я этой жертвы принять не могу, ибо он вождь лучший, чем я, и скажите, что мы готовы даже избрать его не только вождем, но — пошли, Господи, нашему Яну Казимиру многая лета! — готовы избрать его королем... и изберем!!!»

Пан Заглоба даже сам испугался, не хватил ли он через край, и действительно, после восклицания «Изберем!» настала глубокая тишина. Но перед магнатом точно небо разверзлось. В первую минуту он побледнел немного, затем покраснел, потом снова побледнел и наконец, пожевав губами, ответил после минутного молчания:

— Речь Посполитая есть и будет всегда госпожой своей воли, ибо в этом фундамент нашей старопольской свободы... Но я только слуга ее слуг, и видит Бог, я не взираю на те высоты, на которые не должен взирать гражданин... Что касается команды над войском... пан Чарнецкий принять ее должен! Я хочу подать пример тем, кто думает только о знатности своего рода и не хочет знать над собой никакой власти, хочу показать, что ради общественного блага надлежит забыть о своем происхождении! И вот, хотя я и сам не очень плохой вождь, все же я, Любомирский, добровольно иду под команду Чарнецкого и прошу Господа только о том, чтобы он помог нам одержать победу над врагами!

— Римлянин! Отец отечества!! — воскликнул Заглоба, схватив руку маршала и прижав ее к губам.

И в то же время старый плут подмигнул Скшетускому своим здоровым глазом.

Раздались громкие крики офицеров. Толпа в квартире маршала все росла.

— Вина! — крикнул маршал.

Когда бокалы были поданы, он провозгласил тост за короля, потом за Чарнецкого, которого называл своим вождем, и, наконец, за послов. Заглоба не остался в долгу и так понравился всем, что сам маршал проводил послов на улицу, а офицеры — до самой ярославской заставы.

Наконец они остались одни; тогда Заглоба остановил Скшетуского и, взявшись за бока, сказал:

— Ну что, Ян?

— Богом клянусь, — ответил Скшетуский, — если бы я не видел собственными глазами и не слышал собственными ушами, я бы ни за что не поверил!

— А? Ну?! Я готов поклясться, что Чарнецкий самое большее просил и умолял Любомирского идти вместе с ним! И знаешь, чего бы он добился? Любомирский, наверно, пошел бы один, особенно если в письме Чарнецкий заклинал его любовью к отчизне и упоминал о каких-нибудь личных счетах, — а что он упоминал, я уверен, — маршал сейчас же надул бы и сказал: «Он, кажется, хочет быть моим учителем и учить меня, как надо служить отчизне!.. Знаю я их...» К счастью, старый Заглоба взял это дело в свои руки, поехал и не успел еще открыть рот, как Любомирский не только хочет идти вместе, но даже идет под команду Чарнецкого. Чарнецкий теперь, должно быть, беспокоится, но я его утешу... А что, Ян? Умеет Заглоба справляться с магнатами?

— Говорю вам, что я от удивления не мог ни слова вымолвить.

— Знаю я их! Только покажи кому-нибудь из них корону и конец горностаевой мантии, так можешь гладить его против шерсти, как борзого щенка; он еще сам нагнется и спину подставит. Ни один кот не будет так облизываться, если даже покажешь ему кусок отменного сала! У самого честного из них глаза от жадности на лоб вылезут, а попадется шельма, как вот князь-воевода виленский, так он готов изменить и отчизне. Вот что значит человеческая суетность! Господи Боже, если бы ты дал мне столько тысяч, сколько создал ты претендентов на эту корону, то и сам бы я выставил свою кандидатуру. Если кто-нибудь из них думает, что я считаю себя ниже его, то пусть у него живот от спеси лопнет!.. Заглоба так же хорош, как и Любомирский, разница только в богатстве... Да, да, Ян... Ты, может быть, думаешь,

что я на самом деле поцеловал ему руку? Я поцеловал свой большой палец, а его только носом ткнул. Должно быть, никто еще так не провел его за нос!.. Он растаял, как масло. Пошли, Господи, нашему королю долгие лета, но в случае выборов я скорее подам голос за себя, чем за него. Рох Ковальский подал бы второй голос, а Володыевский изрубил бы всех противников... А тогда я бы сейчас назначил тебя великим гетманом коронным, а Володыевского — после смерти Сапеги — гетманом литовским, а Жендзяна — подскарбием. Вот уж он стал бы жидов налогами душить! Ну да все это пустяки, самое главное то, что я поймал Любомирского на крючок, а удочку я отдам в руки Чарнецкого. О ком-нибудь другом написали бы в истории, но мне счастья нет! Хорошо еще, если Чарнецкий не накинется на старика, зачем не отдал письма? Такова уж человеческая благодарность... Ну да это мне не впервые... Другие уже давно старостами сидят и салом обросли, как свиньи, а ты, старик, по-прежнему растряхивай брюхо на этой кляче... И Заглоба махнул рукой.

— Ну ее, эту благодарность человеческую! И так и этак умирать надо, а отчизне послужить приятно! Самая лучшая награда — хорошая компания! С такими товарищами, как ты и Михал, можно на край света ехать! Такая уж наша польская натура. Немец, француз, англичанин или смуглый испанец сразу из себя выйдет, а у поляка есть врожденное терпение; он многое перенесет, позволит, например, какому-нибудь шведу долго терзать его, но, когда чаша терпения переполнится, он как даст в морду, так швед перекувыркнется три раза; у нас удаль есть, а пока есть удаль, не погибнет Речь Посполитая. Запомни это, Ян!..

И долго еще рассуждал пан Заглоба, так как был очень доволен собой, а в таких случаях он был необыкновенно разговорчив и высказывал много мудрых мыслей.

VI

Чарнецкий действительно не смел даже и думать о том, чтобы пан маршал коронный отдал свои войска под его команду. Он хотел только действовать с ним заодно, но сомневался даже и в этом, зная самолюбие маршала, так как гордый вельможа не раз говорил своим офицерам, что он предпочитает воевать со шведами собственными силами, чем соединяться с Чарнецким, ибо в случае победы вся слава ее была бы приписана Чарнецкому. Так и было.

Чарнецкий понимал это и беспокоился. Послав из Пшеворска письмо, он в десятый раз перечитывал его копию, желая убедиться, не написал ли он чего-нибудь такого, что могло бы задеть этого тщеславного человека.

И жалел, что написал некоторые выражения, а потом стал вообще жалеть, что послал это письмо. Он сидел мрачный в своей квартире, то и дело подходил к окну, поглядывая на дорогу, не возвращаются ли послы. Офицеры видели его в окне и угадывали, что с ним происходит, так как на лице его была ясно выражена озабоченность.

— Смотрите! — сказал Поляновский Володыевскому. — Ничего хорошего не будет, у каштеляна лицо стало пестрым, а это дурной признак!

Лицо Чарнецкого носило следы сильной оспы, и в минуту забот или тревоги оно покрывалось белыми и темными пятнами. Черты лица его вообще были резки — очень высокий лоб с юпитерскими бровями, загнутый нос и пронизывающий взгляд, — и, когда появлялись эти пятна, он становился почти страшен. Казаки в свое время называли его «пестрым псом», но на самом деле он был скорее похож на пестрого орла. Когда, бывало, он вел своих солдат в атаку, в развевающейся, наподобие гигантских крыльев, бурке, тогда это сходство поражало и своих и неприятелей. Он возбуждал страх и в тех и в других. Во время казацких войн предводители сильных отрядов теряли голову, когда им приходилось действовать против Чарнецкого. Боялся его и сам Хмельницкий, а особенно советов, которые он

давал королю. Из-за них-то казаки и потерпели такое страшное поражение под Берестечком. Но слава его и стала расти после берестецкой битвы, когда он вместе с татарами, точно пламя, носился по степям, истреблял толпы бунтовщиков, брал штурмом крепости, города, окопы, с быстротой ветра переносился с одного конца Украины на другой.

С тем же неутомимым бешенством терзал он теперь и шведов. «Чарнецкий не перебьет, а выкрадет у меня войско по частям!» — говорил Карл-Густав. Но именно теперь Чарнецкому и надоело выкрадывать; по его мнению, настало уже время бить, но у него совсем не было пушек и пехоты, без которых нельзя было ничего предпринять, поэтому он так и хотел соединиться с Любомирским, у которого, правда, пушек было немного, но который вел с собой пехоту, состоявшую из горцев. Пехота эта хотя и не была еще достаточно обучена, но уже не раз бывала в деле и могла, в случае надобности, пригодиться против несравненной пехоты Карла-Густава.

И пан Чарнецкий был как в лихорадке. Наконец, не будучи в состоянии дольше высидеть в своей квартире, он вышел на крыльцо и, заметив Поляновского и Володыевского, спросил:

— А что, не видно послов?

— Им, значит, рады там! — ответил Володыевский.

— Им-то, может быть, и рады, но не мне; иначе пан маршал прислал бы с ответом своих послов.

— Пан каштелян, — сказал Поляновский, пользовавшийся большим доверием Чарнецкого, — чего беспокоиться? Придет маршал — хорошо, а не придет — будем действовать по-прежнему. Из шведского горшка и так уже кровь течет; а ведь известно, что раз горшок течет, то из него все вытечет.

— Да ведь и Речь Посполитая течет! — ответил на это Чарнецкий. — Если шведы теперь ускользнут, к ним придет помощь из Пруссии, и мы упустим случай. — Сказав это, он ударил себя по бедрам, что всегда было у него признаком нетерпения.

В это время вдали послышался лошадиный топот и бас Заглобы, который напевал:

Каська шла вечор домой,
Стах за нею: стой да стой!
Ты меня к себе пусти,
Да согрей, да обними!
На дворе метель метет,
Ветер с ног, гляди, сшибет,
Мне далече до двора,
Так впусти, что ль, до утра!

— Добрый знак! Весело возвращаются! — воскликнул Поляновский.

А послы, увидев каштеляна, соскочили с коней и отдали их слуге, а сами быстро пошли к крыльцу. Вдруг Заглоба подбросил свою шапку вверх и закричал, так удачно подражая голосу маршала, что если бы кто не видел его, то мог бы ошибиться:

— Да здравствует пан Чарнецкий, наш вождь!

Каштелян нахмурился и быстро спросил:

— Есть письмо ко мне?

— Нет, — ответил Заглоба, — но есть нечто лучшее. Маршал со всем своим войском переходит под команду вашей милости!

Чарнецкий посмотрел пристально на Заглобу, потом повернулся к Скшетускому, точно хотел сказать: «Говори ты, этот пьян!»

Пан Заглоба действительно немножко подвыпил, но Скшетуский подтвердил его слова; каштелян изумился еще больше.

— Пойдемте ко мне! — сказал он прибывшим. — Мосци-Поляновский, мосци-Володыевский, прошу также.

Они вошли в комнату и не успели сесть, как Чарнецкий спросил:

— Что он сказал в ответ на мое письмо?

— Ничего не сказал, — ответил Заглоба, — а почему — это обнаружится в конце моего доклада, а пока начинаю.

Тут он начал рассказывать все, как было, и как ему удалось довести маршала до такого решения. Чарнецкий смотрел на него с возрастающим изумлением. Поляновский хватался за голову, пан Михал шевелил усиками.

— Так я вас не знал совсем! — воскликнул наконец каштелян. — Я не верю собственным ушам!

— Меня издавна называют Улиссом! — скромно ответил Заглоба.

— Где мое письмо?

— Вот оно!

— Я должен простить вас, что вы его не отдали. Ну и молодец же вы! Подканцлеру у вас поучиться, как вести переговоры. Ей-богу, если бы я был королем, то послал бы вас послом в Царьград.

— Тогда бы здесь стояло уже сто тысяч турок! — воскликнул Володыевский.

— Двести, а не сто — провалиться мне на этом месте! — ответил Заглоба.

— И маршал ничего не заметил? — снова спросил Чарнецкий.

— Он? Глотал, что я ему клал в рот, как раскормленный гусь, гоготал от удовольствия, и глаза у него мглой поволакивались. Я думал, что он лопнет от радости, как шведская граната. Этого человека можно в ад лестью завести.

— Лишь бы только это на шведах отразилось, а я надеюсь, что это так и будет! — ответил обрадованный Чарнецкий. — Вы ловкий человек, но над маршалом не потешайтесь слишком. Другой бы этого не сделал! От него многое зависит... Нам до самого Сандомира придется идти через владения Любомирских, и маршал одним словом может поднять все воеводство, приказать крестьянам затруднять путь неприятелю, жечь мосты и скрывать в лесах провиант... Вы оказали мне услугу, которой я не забуду до самой смерти, но я благодарен и пану маршалу, ибо полагаю, что он это сделал не из одного только тщеславия.

Чарнецкий захлопал в ладоши и крикнул слуге:

— Коня мне... Надо ковать железо, пока горячо! Потом, обращаясь к полковникам, сказал:

— Вы, Панове, все со мной, чтобы свита была повиднее!

— И мне ехать? — спросил Заглоба.

— Вы первый построили мост между мной и паном маршалом, и надо, чтобы вы первый по нему проехали. Впрочем, я думаю, что там будут вам очень рады... Поезжайте, поезжайте, пане брат, иначе я скажу, что хотите бросить наполовину начатое дело.

— Нечего делать! Надо только подтянуть пояс, а то меня совсем растрясет. У меня уж и сил мало, разве вот чем-нибудь подкреплюсь...

— А чем?

— Много мне рассказывали о каштелянском меде, но я до сих пор его не пробовал; а хотелось бы мне наконец узнать лучше ли он маршальского?

— Мы выпьем теперь по бокалу на дорогу, а когда вернемся, тогда уже считать бокалов не будем! Пару ковшей вы найдете также и у себя дома...

Сказав это, каштелян велел подать бокалы, и они выпили в меру, для бодрости, затем сели на коней и поехали.

Маршал принял пана Чарнецкого с распростертыми объятиями, угощал, поил, не отпускал до утра, а наутро оба войска соединились и пошли уже под командой Чарнецкого.

Около Сенявы они снова напали на шведов, и так успешно, что разбили в пух и прах арьергард и произвели замешательство в рядах главной армии. Только на рассвете они отступили под пушечным огнем. Под Лежайском Чарнецкий стал теснить еще сильнее. Значительные шведские отряды вязли в болотах, образовавшихся после дождей, и все они попали в руки поляков. Поход становился для шведов все плачевнее. Изнуренные, изголодавшиеся солдаты еле двигались. На дороге оставалось все больше и больше солдат. Некоторые были так измучены, что не хотели ни есть, ни пить и только молили о смерти. Одни ложились на дороге и умирали, другие теряли сознание и совершенно равнодушно смотрели на приближавшихся польских всадников. Иностранцы, которых много было в шведской армии, стали ускользать из лагеря и переходить на сторону Чарнецкого; только несокрушимый дух Карла-Густава мог поддерживать остаток угасающих сил шведской армии.

За армией шел не только Чарнецкий: разные «партии» под предводительством неизвестных начальников и толпы вооруженных крестьян то и дело преграждали ей путь. Правда, эти отряды были невелики и не слишком дисциплинированы и потому не могли вступать в решительный бой с армией, но зато страшно утомляли ее. Желая убедить шведов, что на помощь пришли татары, все польские отряды часто кричали по-татарски, и слова «Алла! Алла!» раздавались днем и ночью. Шведские солдаты не могли даже передохнуть, не могли ни на минуту сложить ружья в козлы. Порой несколько десятков человек поднимали тревогу во всей армии. Лошади падали десятками, и их тотчас съедали, так как о подвозе провианта нечего было и думать. Время от времени польские отряды натывались на трупы шведов, страшно изуродованные крестьянами. Большая часть деревень между Саном и Вислою принадлежала пану маршалу и его родственникам. И вот крестьяне восстали в них, как один человек, так как маршал объявил, что тот, кто возьмется за оружие, будет освобожден от крепостной зависимости. И лишь только разнеслась эта весть, как все они вооружились косами и каждый день стали приносить в польский лагерь головы шведов, так что наконец маршал запретил им это, как обычай, несогласный с христианством.

Тогда они стали приносить перчатки и шпоры рейтар. Шведы, доведенные до отчаяния, сдирали кожу с тех, которые попадались им в руки, и война с каждым днем становилась все ужаснее. Некоторые польские отряды оставались еще на стороне шведов, но оставались только из страха. По дороге в Лежайск многие из них бежали, а оставшиеся учинили такой беспорядок, что Карл-Густав велел несколько человек расстрелять. Это послужило сигналом к всеобщему бегству, которое и было осуществлено с саблями в руках. Никто из них не остался у шведов, почти все перешли к Чарнецкому, который стал наступать еще энергичнее.

Пан маршал помогал ему от души. Быть может, благородные черты его натуры на это короткое, впрочем, время взяли верх над честолюбием и самолюбием. Он не щадил ни сил, ни жизни и часто сам вел в бой какой-нибудь полк, не давал передохнуть неприятелю, а так как он был хорошим воином, то оказал значительные услуги. Эти заслуги вместе с более поздними обеспечили бы ему славную память в народе, если бы не тот бесчестный бунт, который он поднял под конец своей деятельности, чтобы помешать реформам в Речи Посполитой.

Но в то время он делал все для того, чтобы стяжать себе славу, и стяжал ее. Не отставал от него и пан Витовский, каштелян сандомирский, старый и опытный воин; он хотел сравняться с самим Чарнецким, но не смог, ибо Господь не дал его душе истинно великого.

Все они втроем все сильнее теснили шведов. Дошло до того, что те пехотные и рейтарские полки, которым приходилось идти в арьергарде, шли в таком ужасе, что поднимали переполох из-за малейшего пустяка. Тогда Карл-Густав решил сам идти в

арьергарде, чтобы ободрить их своим присутствием.

Но в самом начале он чуть было не поплатился за это жизнью. Случилось, что, идя во главе лейб-гвардейского полка, лучшего из всех шведских полков, король остановился для отдыха в деревне Руднике. Пообедав у приходского священника, он решил немного отдохнуть, так как всю предыдущую ночь не смыкал глаз. Лейб-гвардейцы окружили дом, чтобы охранять короля. А тем временем ксендзовский конюшенный мальчик ускользнул из деревни, побежал к табуну, который пасся на лугу, вскочил на первого попавшегося жеребенка и помчался к Чарнецкому.

Но пан Чарнецкий находился в это время в двух милях пути, передовой его отряд, состоявший из солдат князя Дмитрия Вишневецкого, шел под начальством поручика Шандаровского в полумиле от шведов. Пан Шандаровский разговаривал как раз с Рохом Ковальским, который приехал с приказами от каштеляна, как вдруг оба они заметили мчавшегося к ним во весь опор мальчика.

— Что за черт так несется, — спросил Шандаровский, — да еще на жеребенке?

— Деревенский мальчик! — ответил Ковальский.

А мальчик подлетел к первым рядам отряда и остановился только тогда, когда жеребенок, испуганный видом людей и лошадей, стал на дыбы. Мальчик соскочил и, держа жеребенка за гриву, поклонился рыцарям.

— Что скажешь? — спросил его Шандаровский.

— Шведы у нашего ксендза; говорят, между ними сам король! — сказал мальчик, сверкая глазами.

— А много их?

— Не более двухсот.

Теперь уже у Шандаровского заблестели глаза; но он боялся какого-нибудь подвоха и потому, строго посмотрев на мальчика, спросил его:

— Кто тебя прислал?

— Кто ж меня мог прислать? Сам я вскочил на жеребенка на лугу, чуть не задохся, дорогой шапку потерял... Хорошо еще, что меня не заметили, черти!

Загорелое лицо мальчика дышало правдой; ему, видно, очень хотелось потрепать шведов, потому что щеки его пылали, и он стоял перед офицером, держа жеребенка за гриву, с развевающимися волосами, в расстегнутой на груди рубашке и тяжело дыша.

— А где же остальные войска? — спросил хорунжий.

— Еще на рассвете их прошло столько, что мы и сосчитать не могли, но те пошли дальше; осталась только конница; один из них спит у ксендза; говорят, король.

— Слушай, мальчуган, — сказал Шандаровский, — если ты лжешь, то я тебе голову сниму с плеч, а если говоришь правду, то проси чего хочешь!

Мальчик низко поклонился ему.

— Вот провалиться мне на этом месте! — проговорил он. — Я никакой награды не хочу, пусть вот только ясновельможный пан офицер велит дать мне саблю!

— Дайте ему какую-нибудь саблю! — крикнул Шандаровский, уже вполне убежденный в правдивости слов мальчика.

Остальные офицеры стали расспрашивать мальчика: где деревня, где дом, что делают шведы? Он ответил:

— Караулят, собаки! Если вы прямо пойдете, они вас заметят, но я проведу вас ложиной.

Тотчас были отданы приказания, и полк двинулся сначала рысью, потом вскачь. Мальчик ехал впереди на своем жеребенке, без узды, и подгонял его пятками, то и дело поглядывая сверкающими глазами на свою обнаженную саблю.

Когда они подъехали к деревне, мальчик свернул с дороги в ложину. Там было вязко, и пришлось замедлить шаг.

— Тише! — сказал мальчик. — Как только лощина кончится, они будут не дальше как в полуверсте!

Всадники продвигались медленно, так как дорога сделалась трудной, а тяжелые лошади часто вязли в болоте по колени. Наконец лощина стала редеть, и они выехали на поляну.

И вот, не дальше чем в трехстах шагах, всадники увидели большую площадь, далее приходский дом, окруженный липами, среди которых виднелись соломенные крыши ульев, а на дворе двести всадников в панцирях и шлемах.

Гигантские всадники сидели на гигантских, хоть и исхудалых, лошадях и были наготове; одни с рапирами, другие с мушкетами в руках; но они смотрели в другую сторону, на главную дорогу, оттуда только и могли ожидать неприятеля. Над их головами развевался великолепный голубой штандарт с золотым львом.

Далее, вокруг дома, стояла стража, по два человека; часть ее была обращена лицом к лощине, но солнце ослепительно сверкало прямо в глаза, а в лощине было почти темно, и она не могла заметить польских всадников.

В Шандаровском, кавалере огненного темперамента, кровь уже кипела ключом, но он сдерживался и ждал, пока ряды выстроятся, а тем временем Рох Ковальский положил свою тяжелую руку на плечо мальчику и сказал:

— Слушай, пузырь, ты видел короля?

— Видел, вельможный пане! — прошептал мальчуган.

— А как он выглядит? Как его узнать?

— Он такой черный, и сбоку красная лента.

— А коня его узнаешь?

— Конь вороной с лысиной.

— Слушай! — сказал Рох. — Держись около меня и покажи мне его!

— Хорошо, пане! А скоро мы бросимся?

— Молчи.

Пан Рох умолк и стал молиться Пресвятой Деве, чтобы она позволила ему встретиться с Карлом и управляла его рукой при встрече.

Тишина продолжалась еще минуту; вдруг лошадь Шандаровского фыркнула. Один из сторожевых рейтар вздрогнул, точно его что-то подбросило на седле, и выстрелил из пистолета.

— Алла! Алла! Бей! Руби! — раздалось в лощине. И отряд как буря налетел на шведов.

Он налетел так стремительно, что шведы не успели повернуться к нему лицом.

Началась страшная резня: действовали только сабли и рапиры, так как стрелять не было времени. В одно мгновение рейтар отбросили к забору, который с треском рухнул под напором коней, и стали рубить их с таким бешенством, что они скучились и смешались. Дважды пытались они выстроиться, но оба раза строй был разорван и наконец рассыпался на маленькие кучки.

Вдруг раздались отчаянные крики:

— Король! Король! Спасайте короля!

Карл-Густав в ту минуту, когда напали поляки, выбежал на крыльцо с пистолетами в руках и шпагой в зубах. Рейтар, который держал у дверей его лошадь готовой, сейчас же подал ее королю, король вскочил на нее и, повернув за угол, бросился между липами и ульями, чтобы спастись бегством. Доехав до забора, он перескочил через него и очутился в группе рейтар, защищавшихся против правого крыла поляков, которое, окружая дом, столкнулось со шведами за садом.

— Вперед! — крикнул Карл-Густав.

И, свалив на землю ударом шпаги одного из польских всадников, который уже замахнулся на него саблей, он одним прыжком вырвался из водоворота битвы; рейтары, прорвав ряды поляков, бросились за ним, как стадо оленей, преследуемых

собаками, бросается за рогачом-проводником.

Польские всадники бросились за шведами, и началась погоня. И те и Другие выехали на главную дорогу, ведущую из Рудника в Бояновку.

Их заметили с переднего двора, где происходила главная битва, и тогда-то именно и раздались крики:

— Король! Король! Спасайте короля!

Но рейтары на переднем дворе были уж так прижаты Шандаровским, что не могли думать даже о собственном спасении, и король помчался вперед в сопровождении не более двенадцати рейтар; поляков за ними погналось около тридцати, а во главе их Рох Ковальский.

Мальчик, который должен был показать ему короля, где-то затерялся в битве, но Рох и сам уже узнал его по пучку красных лент. Он решил, что час его настал, пригнулся к луке, сжал лошадь шпорами и помчался как вихрь вперед.

Убегавшие гнали лошадей что есть мочи, но более быстрые и легкие польские лошади стали уже их догонять. Рох настиг одного рейтара и, поднявшись на стременах, нанес ему такой страшный удар, что отрубил рейтару Руку вместе с лопаткой, и помчался дальше, не спуская глаз с короля.

Перед его глазами зачернел другой рейтар, он свалил его с лошади, третьему разрубил голову и мчался дальше за королем. Наконец лошади рейтар стали изнемогать и падать; польские всадники нагнали их и перерубили.

Пан Рох проезжал уже мимо шведов, не трогая их, чтобы не терять времени. Расстояние между ним и Карлом-Густавом стало уменьшаться. На пути было только два рейтара.

Вдруг стрела, пущенная каким-то поляком, просвистев около самого уха Роха, попала в спину мчавшегося перед ним шведа; он покачнулся в седле, перегнулся назад, вскрикнул нечеловеческим голосом и упал с седла.

Между Рохом и королем остался только один. Он, по-видимому желая спасти короля, повернул своего коня назад. Пан Рох, как пушечное ядро, сшиб его с седла, потом со страшным криком бросился вперед, как разъяренный кабан.

Король, быть может, решился бы помериться с ним и погиб бы несомненно, если бы вслед за Рохом не мчались и другие; свистели стрелы, которые могли ранить его коня. Король еще сильнее сжал коня пятками, пригнулся к самой гриве и мчался вперед, как ласточка, преследуемая ястребом.

А пан Рох стал подгонять своего коня не только шпорами, но даже бил его рукояткой сабли. Так мчались они один за другим. Деревья, камни, лозы мелькали у них перед глазами, ветер свистел в ушах. У короля слетела с головы шляпа; он, наконец, бросил кошелек, думая, что неумолимый всадник соблазнится им и прекратит погоню, но Ковальский даже не взглянул на него и все сильнее бил коня, который уже стонал от усталости.

Пан Рох до такой степени забыл обо всем, что начал кричать на бегу, голосом, в котором вместе с угрозой дрожала и просьба:

— Стой! Ради бога, стой!

Вдруг королевский скакун споткнулся так сильно, что, если бы король не поддержал его изо всей мочи поводьями, он бы упал. Рох зарычал, как зубр; расстояние между ним и королем значительно уменьшилось.

Через минуту скакун споткнулся еще раз, потом опять. Пока король поставил его на ноги, Рох приблизился еще на несколько десятков саженей.

Он выпрямился в седле, приготовляясь к удару. Он был страшен... Глаза его почти вышли из орбит, а из-под рыжих усов сверкали зубы... Еще минута, конь короля споткнется еще раз, и решится судьба Речи Посполитой, Швеции и войны. Но конь короля снова мчался, а король повернулся, в руках его сверкнули два пистолета, и он дважды выстрелил.

Одна из пуль пробила колено лошади Роха. Лошадь поднялась на дыбы, потом упала на передние ноги и зарылась мордой в землю.

Король мог бы броситься теперь на своего преследователя и проколоть его шпагой, но в двухстах шагах мчались еще польские всадники; и он снова пригнулся к седлу и помчался как стрела, пущенная из татарского лука.

Рох выбрался из-под коня... Минуту он блуждающими глазами смотрел вслед убежавшему, затем покачнулся, как пьяный, сел на дороге и зарычал, как медведь.

А король был все дальше, дальше и дальше... Наконец он стал уменьшаться, таять и исчез за черной стеной леса...

Через минуту с криком и гиканьем подъехало несколько товарищей Роха. Их было человек пятнадцать. Один из них держал королевский кошелек, другой шляпу, страусовые перья которой были приколоты брильянтовыми пряжками. Оба кричали ему:

— Это твое, твое, товарищ! Это принадлежит тебе по праву!

— Знаешь, за кем ты гнался? Знаешь, кого преследовал? Это был сам Карл!

— Ей-богу, он еще никогда ни от кого так не удирает.

— А сколько рейтар он перебил, прежде чем погнался за самим королем!

— Ты чуть-чуть не спас Речи Посполитой своей саблей!

— Бери кошелек!

— Бери шляпу!

— Хорош был у тебя конь, но за эти сокровища ты десять таких купишь! Рох смотрел на них блуждающими глазами, наконец вскочил и крикнул:

— Я — Ковальский, а вот — пани Ковальская! Пошли вы ко всем чертям!

— Он помешался! — воскликнули солдаты.

— Коня мне давайте, я его еще догоню! — кричал Рох.

Но они взяли его под руки и, хотя он вырывался, повели назад в Рудник, успокаивая по дороге и утешая.

— Задал же ты ему перцу! — кричали офицеры. — Вот до чего он дожил, этот победитель, этот властелин стольких земель, городов и войск!

— Ха, ха, ха! Теперь он знает польских кавалеров!

— Надоест ему в Речи Посполитой! Крутые теперь для него времена настали!

— Да здравствует Рох Ковальский!

— Да здравствует храбрый кавалер, гордость всего войска!

И они стали пить за его здоровье из походных фляг. Дали и Ковальскому, он залпом выпил целую флягу и значительно повеселел.

Во время погони за королем рейтары перед приходским домом защищались с храбростью, достойной этого славного полка. Несмотря на то что на них напали врасплох и быстро рассеяли, они вскоре снова соединились уже потому, что были окружены, и столпились все около голубого штандарта. Ни один из них не просил пощады; став тесной стеной плечом к плечу, они так бешено кололи рапирами, что одно мгновение казалось, что победа будет на их стороне. Их надо было снова разорвать, что было невыносимо, так как их окружало кольцо польских всадников, или же перерезать всех до одного. Шандаровский нашел последнее более удобным и, окружив их еще более тесным кольцом, сам бросился на врагов, как раненый крикун на стадо длинноклювых журавлей. Поднялась давка и резня. Сабли звенели о рапиры. Порой какой-нибудь конь подымался на дыбы, как дельфин над поверхностью волн, и влетал в толпу людей и лошадей. Крики замолкли — слышался только конский визг, звон оружия и тяжелое дыхание сражающихся. И поляками и шведами овладело необыкновенное бешенство. Иные дрались обломками сабель и рапир, местами люди сцеплялись, как коршуны, хватали друг друга за волосы, за усы, кусали друг друга зубами; те, которые упали с лошадей, но могли еще держаться на ногах, кололи лошадей ножами в живот, а всадников в икры. В дыму, в испарениях

лошадей, в страшном пылу битвы люди превращались в гигантов и наносили страшные удары; одним взмахом они разбивали, как горшки, стальные шлемы, разрубали головы, отрубали руки вместе с мечами, рубили без передышки, без милосердия. Из-под водоворота людей и лошадей по двору текла ручьями кровь.

Огромный голубой штандарт все еще развевался над кучкой шведов, но с каждой минутой она становилась все меньше и меньше.

Как жнецы, когда они, идя с двух сторон поля, все ближе подходят друг к Другу и все меньше становится золотистый лес колосьев, — так кольцо поляков сжималось все больше, и люди с одной стороны видели уже кривые сабли тех, что дрались на другой стороне.

Пан Шандаровский безумствовал как ураган и вгрызался в шведов, как голодный волк в лошадиную тушу; но один всадник и его превзошел в бешенстве. Это был тот мальчик, который дал знать о приходе шведов в Рудник, теперь он вместе с другими бросился на шведов. Трехлетний жеребенок его, который до сих пор спокойно гулял себе на лугу, теперь, сжатый другими лошадьми, казалось, взбесился, как и сам всадник; с выпученными глазами и взъерошенной гривой, он рвался вперед, кусался и лягался, а мальчик размахивал своей саблей, как цепом, направо и налево; русые волосы его были забрызганы кровью, острия рапир продырявили ему руки и ноги; лицо его было изранено, но эти раны только возбуждали его. Он бился, точно в забытии, как человек, который махнул рукой на жизнь и хочет только отомстить за свою смерть.

А шведский отряд все уменьшался, как куча снега, которую со всех сторон поливают кипятком. Наконец около королевского штандарта осталось только несколько человек; лавина поляков покрыла их совершенно, и они умирали, мрачно стиснув зубы; ни один не протянул рук с мольбой о пощаде.

Вдруг раздались крики:

— Знамя брать! Знамя!

Услышав это, мальчик ударил саблей своего жеребенка и бросился вперед; каждому рейтару приходилось защищаться против двух или трех польских всадников; мальчик ударил саблей хорунжего в голову, так что тот только взмахнул руками и упал на шею лошади.

Голубой штандарт упал вместе с ним.

Ближайший швед, вскрикнув страшным голосом, тотчас схватил знамя за древко, а мальчик за полотнище, рванул, оторвал, свернул в клубок и, прижимая его обеими руками к груди, орал благим матом:

— Взял, взял! Не отдам!

Последние, оставшиеся еще в живых рейтары набросились на него с бешенством; один пронзил ему плечо сквозь знамя; но в эту же минуту все шведы были изрублены.

И несколько десятков окровавленных рук протянулось к мальчику.

— Знамя! Давай знамя! — слышались голоса.

Шандаровский подскочил к нему на помощь.

— Оставьте его! Он взял знамя у меня на глазах и пусть отдаст его самому каштеляну!

— Каштелян едет! Каштелян! — раздались многочисленные голоса. Действительно, слышались звуки труб, и на дороге показался целый полк, мчавшийся во весь опор к приходскому дому. Это был ляуданский полк во главе с паном Чарнецким. Увидев, что все уже кончено, всадники сдержали своих лошадей; к ним стали съезжаться солдаты Шандаровского.

Подскочил и Шандаровский с рапортом, но он так страшно устал, что не мог говорить; весь дрожал, как в лихорадке, а голос каждую минуту прерывался:

— Здесь был сам король... если он ушел...

— Ушел! Ушел! — отвечали те, которые видели погоню.

— Знамя взято! Трупов масса!

Чарнецкий, не ответив ни слова, направился к месту побоища, которое представляло ужасный вид. На нем лежало больше двухсот шведских и польских трупов, один около другого, порой один на другом. Иные лежали, вцепившись друг другу в волосы, другие умерли, впившись друг в друга зубами и ногтями. Иные лежали обнявшись, точно братья. Многие лица были так истоптаны, что в них не осталось ничего человеческого, а те, которых не затоптали копыта лошадей, лежали с открытыми глазами, полными ужаса и бешенства... Под копытами каштелянского коня хлупала кровь; запах крови и конского пота раздражал ноздри и затруднял дыхание.

Кашелян смотрел на эти тела так же, как помещик смотрит на связанные снопы пшеницы, которые вскоре заполнят амбар. Лицо его выражало удовольствие. Он молча объехал вокруг дома, посмотрел на трупы, лежавшие с другой стороны, за садом, потом медленно повернул к месту главного побоища.

— Я вижу, вы здесь на совесть поработали, — сказал он, — и я очень доволен вами, Панове!

А они вскинули окровавленными руками свои шапки вверх и крикнули:

— Виват Чарнецкий!

— Дай бог поскорее вторую такую встречу! Виват! Виват!

— Вы пойдете теперь в арьергарде, чтобы отдохнуть. А кто взял знамя? — спросил он Шандаровского.

— Давайте сюда мальчика! — крикнул тот. — Где он?

Солдаты бросились искать и нашли его сидевшим у стены около жеребенка, который издыхал от ран. На первый взгляд казалось, что и мальчику осталось жить недолго, но он все же держал на груди знамя, прижимая его обеими руками.

Его тотчас подхватили и привели к кашеляну. Мальчик стоял перед ним босой, растрепанный, с обнаженной грудью, в разорванной рубашке и в каких-то лохмотьях, испачканных собственной и шведской кровью. Он шатался, но в глазах его еще не угас огонь. Пан Чарнецкий изумился.

— Как? — спросил он. — Он взял королевское знамя?

— Собственными руками и собственной кровью! — ответил Шандаровский. — Он первый дал нам знать о шведах, а затем в самой гуще битвы так отличался, что превзошел и меня и всех!

— Правда! Истинная правда! — подхватили солдаты.

— Как тебя зовут? — спросил Чарнецкий мальчика.

— Михалка.

— Чей ты?

— Ксендзовский.

— Ты был ксендзовский, а теперь будешь свой собственный, — сказал ему кашелян.

Но Михалка уже не слышал последних слов кашеляна: от ран, от потери крови он пошатнулся и упал головой на кашелянское стремя.

— Взять его и беречь как зеницу ока! А я на первом же сейме потребую, чтобы он был равен по званию вам всем, Панове, как равен уже сегодня душой!

— Он этого достоин! Достоин! — подхватила шляхта. Михалку уложили на носилки и внесли в дом.

А Чарнецкий опять слушал рапорт, но уже не от Шандаровского, а от тех, которые видели погоню пана Роха за королем. Чарнецкий так радовался этим рассказам, что хватался за голову, хлопал себя по коленям; он понимал, что после такого происшествия Карл-Густав должен еще больше упасть духом.

Заглоба радовался не меньше и, хватаясь за бока, говорил рыцарям:

— Ишь, разбойник! Догони он Карла — сам черт не смог бы вырвать его из его рук! Моя кровь, видит Бог, моя!

Пан Заглоба с течением времени и сам свято поверил, что он дядя пана Ковальского.

Между тем Чарнецкий велел отыскать молодого рыцаря, но его нигде не могли найти; от стыда и горя пан Рох залез на сеновал и, зарывшись в солому, заснул так крепко, что только на другой день днем догнал ушедшее войско. Но он все еще был страшно сконфужен и не смел показаться дяде на глаза. Но тот сам нашел его и стал утешать.

— Не печалься, Рох, — говорил он. — Ты и так стяжал великую славу; я сам слышал, как каштелян расхваливал тебя: «С виду, — говорит, — дурак такой, что и до трех не сочтет, а на самом деле огонь малый, поднял репутацию всего войска!»

— Господь не благословил меня и наказал за то, что я накануне был пьян и вечером не молился! — сказал Рох.

— Ты уж лучше в Его веления носа не суй, а то еще начнешь богохульствовать! Руками работай, а мозги свои оставь в покое, не годятся!

— Он ведь был так близко, что я даже чуял пот его лошади! Я бы его разрубил до самого седла. Вы, дядя, думаете, что у меня уж совсем мозгов нет!

— У всякой скотины есть мозги! — ответил Заглоба. — Ты, Рох, молодец и еще не раз утетишь меня. Дай бог, чтобы и у твоих сыновей были такие же кулаки, как у тебя!

— Не нужно! — ответил Род. — Я — Ковальский, а вот — пани Ковальская.

VII

После рудницкого поражения король быстро направился в клин между Саном и Вислой и шел по-прежнему с арьергардом, так как был не только знаменитым полководцем, но и необыкновенно храбрым рыцарем. За ним шли Чарнецкий, Витовский, Любомирский, загоняя его, как зверя, в сети. Отдельные «партии» и днем и ночью тревожили шведов. Провианту с каждым днем было все меньше и меньше, а войско изнурялось все больше и больше и падало духом, предчувствуя близкую гибель.

Наконец шведы забились в самый угол, где сходятся обе реки, и вздохнули свободнее. Тут их с одной стороны защищала Висла, с другой — Сан, широко разливавшийся, как всегда весной, а третью сторону треугольника шведы укрепили мощными шанцами, на которые втащили орудия.

Позиция эта была неприступна, но зато на ней можно было умереть с голоду. Но и в этом смысле шведы все-таки приободрились, так как надеялись, что из Кракова и других прибрежных крепостей им пришлют припасы водой. Тут же под боком был Сандомир, где полковник Шинклер собрал значительные запасы провианта. И он тотчас прислал их — шведы ели, пили и спали, а встав, пели псалмы, благодаря Бога за спасение в эту тяжелую минуту.

Но Чарнецкий готовил новые удары.

Сандомир, находясь в руках шведов, мог постоянно помогать главной армии, и пан Чарнецкий задумал одним ударом отнять у шведов город, замок и всех их вырезать.

— Мы им устроим странное зрелище, — говорил он на военном совете. — Они будут смотреть с того берега, как мы нападём на город, и помочь не смогут. А мы, завладев Сандомиром, не пропустим провианта из Кракова от Вирца.

Пан Любомирский, Витовский и другие старые воины советовали ему бросить эту мысль.

— Конечно, хорошо было бы, — говорили они, — завладеть таким большим

городом. Мы могли бы этим очень повредить шведам, но как же его взять? Пехоты у нас нет, пушек больших — тоже, не может же конница взбираться на стены.

— А чем наши крестьяне не пехота? — ответил им Чарнецкий. — Будь у меня тысяча-две таких Михалков, я взял бы не только Сандомир, но и Варшаву!

И, не слушая больше ничьих советов, Чарнецкий переправился через Вислу. Лишь только в округе распространился этот слух, как к нему хлынуло несколько тысяч крестьян, вооруженных то косами, то мушкетами, и вместе с ним двинулись к Сандомиру.

Напали на город неожиданно, и на улицах началась страшная резня. Шведы защищались отчаянно из окон, с крыш, но не могли сдержать натиска. Шведов передавили, как червей, и вытеснили из города. Шинклер с остатком людей спрятался в замок, но поляки с такой же энергией двинулись за ним. Начался штурм ворот и стен. Шинклер увидел, что ему и в замке не удержаться. Собрав запасы и оставшихся людей, он нагрузил ими шхуны и переправил к королю, который видел поражение своих с другого берега, но не мог прийти на помощь.

Замок остался в руках поляков.

Но хитрый швед, уходя, оставил под стенами и в погребах бочки с порохом, с зажженными фитилями.

И, представ перед королем, он сейчас же сообщил ему это, чтобы развеселить его.

— Замок взлетит на воздух со всеми людьми, — сказал он, — может быть, и сам Чарнецкий погибнет.

— Если так, то я хочу посмотреть, как набожные поляки вознесутся на небо! — сказал король.

И остался со своими генералами, ожидая, что будет.

Несмотря на строжайшее запрещение Чарнецкого, который предвидел подвох со стороны неприятеля, волонтеры и крестьяне разбежались по всему замку, чтобы искать скрывшихся там шведов и грабить. Трубные сигналы призывали всех в город — они не слышали их или не обращали внимания.

Вдруг земля задрожала у них под ногами, к небу поднялся гигантский столб огня, выбрасывая вверх землю, стены, крыши, весь замок и свыше пятисот трупов тех, которые не успели уйти из крепости.

Карл-Густав взялся за бока от радости, а услужливые царедворцы сейчас же стали повторять его слова:

— Поляки вознеслись на небо! На небо!

Но эта радость была преждевременной, так как Сандомир все же остался в руках поляков и не мог уже снабжать провиантом главную армию, замкнутую в углу между двух рек.

Пан Чарнецкий разбил свой лагерь напротив шведов, на другой стороне Вислы, и охранял переправу.

А пан Сапега, великий гетман литовский и воевода виленский, подошел со своими литвинами и расположился с другой стороны, за Саном.

Шведы были окружены со всех сторон и очутились, словно в тисках.

— Теперь уж им не выскочить из мышеловки! — говорили между собой солдаты в польских лагерях.

Каждый, даже мало знакомый с военным искусством, понимал, что над шведами нависла неминуемая гибель, если только к ним не подоспеет какая-нибудь помощь и не спасет их.

Понимали это и шведы; каждое утро на берег Вислы приходили офицеры и солдаты и, с отчаянием в глазах и в душе, смотрели на черневшую по другую сторону реки грозную конницу Чарнецкого.

И шли к Сану, но там и днем и ночью бодрствовали войска Сапегы, готовые

принять их саблями и мушкетами.

О переправе через Вислу или Сан, пока оба войска стояли на другом берегу, нечего было и думать. Шведы могли только вернуться в Ярослав тем же путем, каким пришли, но каждый знал, что в этом случае никто из них больше не увидит Швеции.

И потянулись теперь для них трудные дни и еще более трудные, полные тревог ночи... Провиант снова приходил к концу.

А Чарнецкий между тем, поручив командование войском пану Любомирскому, сам с ляуданским полком переправился через Вислу немного выше устья Сана, чтобы повидаться с паном Сапегой и посоветоваться с ним о дальнейшем ведении войны.

На этот раз не пришлось уже прибегать к посредничеству Заглобы, чтобы соединить этих двух вождей, так как оба они любили отчизну больше, чем себя, и оба были готовы пожертвовать для нее и собой, и самолюбием, и гордостью.

Гетман литовский не завидовал Чарнецкому, как и Чарнецкий не завидовал гетману; наоборот, они оба очень любили друг друга, и встреча их была такой сердечной, что даже у самых старых солдат показались на глазах слезы.

— Растет Речь Посполитая, радуется милая отчизна, когда обнимаются такие ее сыновья! — говорил пан Заглоба Володыевскому и Скшетуским. — Чарнецкий страшный вояка и чистая душа, но и Сапега не хуже! Побольше бы таких! Шведы лопнули бы от злости, если бы увидели, как любят друг друга эти два величайших человека. Как и покорили они нас, если не благодаря распрям и зависти панов? Разве они нас силой взяли? Душа радуется, видя такую встречу. И ручаюсь вам, что это будет не насухо, Сапега страшно пиры любит, а уж для такого друга ничего не пожалеет.

— Бог милостив! Миновали черные дни! — сказал Ян Скшетуский.

— Берегись богохульства! — заметил Заглоба. — Всякие черные дни должны пройти, ибо если бы они продолжались вечно, то это было бы доказательством, что миром управляет дьявол, а не Бог, чье милосердие безмерно!

Дальнейший разговор их был прерван появлением Бабинича, высокую фигуру которого они разглядели в толпе. Пан Володыевский и Заглоба стали кивать ему головами, но тот так засмотрелся на Чарнецкого, что сразу не заметил их.

— Смотрите-ка, — сказал Заглоба, — как похудел, бедняга!

— Должно быть, ничего не смог поделаться с Богуславом, иначе он был бы веселее! — ответил Володыевский.

— Должно быть, ничего не поделал! Ведь известно, что Богуслав осаждает Мальборк вместе со Штейнбоком.

— Ну, даст Бог, ничего у них не выйдет!

— А если бы они и Мальборк взяли, то мы тем временем захватим Карла-Густава, и тогда посмотрим, не отдадут ли они крепость за короля! — ответил Заглоба.

— Смотрите! Бабинич идет к нам! — прервал Скшетуский. А он действительно, заметив их, стал расталкивать толпу и направился к ним, махая им шапкой и улыбаясь издали. Они приветствовали его, как доброго знакомого и приятеля.

— Что слышно? Что вы сделали с князем, пан кавалер? — спросил его Заглоба.

— Плохо слышно! Но теперь не время говорить об этом. Сейчас будем садиться к столу. Вы, панове, останетесь здесь на ночь; после пира пойдем ночевать ко мне. Шалаш у меня удобный, и мы за чарками поболтаем до утра.

— Если кто говорит умно, я никогда не противоречу! — сказал Заглоба. — Скажите только, отчего вы так похудели?

— Он свалил меня в битве вместе с конем и разбил, дьявол, точно глиняный горшок, и я с тех пор все кровью харкаю и не могу в себя прийти. Но даст мне еще милосердный Господь пролить его кровь! Ну а теперь идемте, Сапега уже

приглашает Чарнецкого, и они спорят, кому идти первому. Значит, все готово. Мы уж давно ждали вас сюда, так как вы уже порядком пустили шведам кровь.

— Пусть другие говорят, как я отличался! — сказал Заглоба. — А мне неудобно.

Толпа тронулась, и все пошли на майдан к шатрам, где были расставлены столы. Пан Сапега угощал пана Чарнецкого по-королевски. Стол, за который посадили каштеляна, был накрыт шведскими знаменами. Мед и вино лились рекой, и оба вождя под конец порядком захмелели. Не было недостатка ни в веселости, ни в шутках, ни в тостах, ни в шуме. Погода была чудная, солнце грело хорошо, и только вечерняя прохлада разогнала наконец пирующих.

Тогда Кмициц забрал своих гостей к своим татарам. Они уселись в его шатре на тюках, битком набитых разного рода добычей, и принялись говорить о походе Кмицица.

— Богуслав теперь под Мальборком, — говорил пан Андрей, — а другие говорят, что он у курфюрста, с которым намерен идти на помощь королю.

— Тем лучше! Значит, встретимся! Вы молоды, не можете с ним сладить, а вот посмотрим, как старик будет с ним справляться. Он со многими встречался, но с Заглобой еще нет. Говорю вам, что мы встретимся, разве только князь Януш в завещании посоветовал ему издали обходить Заглобу. Это возможно!

— Курфюрст хитрый человек, — сказал Ян Скшетуский, — и если только он увидит, что дело Карла — дрянь, он сейчас же возьмет все свои обещания и клятвы назад.

— А я вам говорю, что нет! — сказал Заглоба. — Никто нас так не ненавидит, как пруссаки. Когда слуга, который должен был в пояс тебе кланяться и чистить твоё платье, волею судеб станет твоим господином, то он тем суровее будет с тобой обходиться, чем ласковее был ты с ним.

— Это почему? — спросил Володыевский.

— Он никогда не забудет своего прежнего положения и будет мстить тебе за него, хотя бы ты и оказывал ему одни только благодеяния.

— Ну это пустяки! — сказал Володыевский. — Не раз бывает, что и собака укусит хозяину руку. Пусть лучше Бабинич расскажет нам о своем походе.

— Мы слушаем! — сказал Скшетуский.

Кмициц, помолчав немного, собрался с духом и стал рассказывать о последней войне Сапеги с Богуславом, о поражении последнего под Яновом, наконец, о том, как Богуслав, разбив в пух и прах татар, свалил его вместе с лошадью на землю, а сам ушел.

— А вы говорили, — перебил его Володыевский, — что будете преследовать его со своими татарами до самой Балтики.

— А вы мне говорили в свое время, что присутствующий здесь пан Скшетуский, когда Богун похитил у него любимую девушку, оставил личную месть, ибо отчизна была в опасности. С волками жить — по-волчьи и выть; я подружился с вами и хочу идти по вашим стопам.

— Да вознаградит вас Матерь Божья, как Она вознаградила Скшетуского! — сказал Заглоба. — Все же я предпочитал бы, чтобы ваша девушка была теперь в пуще, чем в руках Богуслава.

— Ничего! — воскликнул Володыевский. — Вы ее еще вернете!

— Мне придется вернуть не только ее, но и ее любовь.

— Одно придет за другим, — сказал пан Михал, — хотя бы вам пришлось брать ее силой, как тогда, помните?

— Этого я больше не сделаю!

Пан Андрей стал тяжело дышать и, помолчав, прибавил:

— Я не только не нашел ту, но Богуслав похитил у меня и другую!

— Да это настоящий турок! — воскликнул Заглоба.

А пан Михал стал расспрашивать:

— А кто же эта другая?

— Долго рассказывать! — ответил Кмициц. — Была в Замостье одна девушка — и уж красивая какая! — страшно она понравилась калускому старосте. Но он боится своей сестры, княгини Вишневецкой, и потому не смел приставать к ней и отправил эту девушку со мной якобы к Сапеге на Литву за получением наследства, а на самом деле затем, чтобы в полумиле от Замостья отнять ее у меня и завезти в какую-нибудь глушь, где бы никто не мог помешать его вожделениям. Но я почуял, что дело нечисто. «Ты хочешь меня провести, ладно!» Я избил его людей, а панну во всей неприкосновенности отвез к пану Сапеге. Говорю я вам, девушка красива как куколка и добродетельна... Сам я уже не тот теперь, а товарищи мои, царствие им небесное, давно уже в могиле...

— Кто же была эта панна? — спросил Заглоба.

— Из очень хорошего дома, фрейлина княгини Вишневецкой. Она когда-то была помолвлена с литвином Подбипентой, которого вы знали, панове...

— Ануся Божобогатая?! — крикнул, срываясь с места, Володыевский.

Заглоба тоже вскочил с кучи войлочных попон:

— Пан Михал, успокойся!

Но пан Володыевский подскочил, как кот, к Кмицицу:

— И ты, изменник, позволил Богуславу похитить ее?!

— Не обижай меня, — сказал Кмициц. — Я отвез ее благополучно к гетману, заботясь о ней, как о сестре, а Богуслав похитил ее не у меня, а у другого офицера, с которым пан Сапега отослал ее к своей семье; зовут его Гловбич или иначе, не помню...

— Где же он?

— Его здесь нет! Убит! Так, по крайней мере, говорили офицеры Сапег. Я преследовал Богуслава со своими татарами отдельно и потому ничего толком не знаю. Но по вашему волнению я вижу, что нас обоих постигло общее горе и что нас обидел один и тот же человек. А если так, то мы соединимся, чтобы сообща мстить ему за обиду. Это великий рыцарь и магнат, а все же я думаю, что ему тесно будет во всей Речи Посполитой, если у него будет два таких врага!

— Вот моя рука! — сказал Володыевский. — Отныне мы друзья на жизнь и на смерть! Кто первый найдет его, тот отомстит ему за двоих! Дай бог мне первому встретить — я уж пушу ему кровь! Как дважды два — четыре!

Тут пан Михал стал так грозно шевелить своими усиками, что Заглобе даже страшно стало, так как он знал, что с паном Михалом шутки плохи.

— Не хотел бы я теперь быть на месте князя Богуслава, — сказал он, помолчав, — если бы мне даже прибавили к титулу целую Инфляндию. Довольно одного такого тигра, как Кмициц, а тут еще и пан Михал. Но этого мало — я заключаю с вами союз! Моя голова, ваши сабли! Не знаю, найдется ли в мире монарх, который не дрогнул бы перед такой силой! К тому же и Господь Бог отнимет у него его богатство, ибо не может быть, чтобы не наказанным остался изменник и еретик... Кмициц уж и так насолил ему немало!

— Не отрицаю, что из-за меня ему не раз пришлось краснеть! — подтвердил пан Андрей.

И, приказав наполнить бокалы, он принялся рассказывать, как освободил Сороку от казни. Он умолчал лишь о том, что он сначала бросился в ноги Радзивиллу, так как при одном воспоминании об этом кровь бросалась ему в голову.

Пан Михал развеселился, слушая его рассказ, и наконец сказал:

— Да ведет тебя Бог, Ендрек! С таким удальцом, как ты, можно идти хоть в ад! Жаль только, что мы не всегда можем быть вместе, служба службой! Меня могут послать в одну сторону Речи Посполитой, тебя — в другую. Неизвестно, кто первый

на него наткнется!

Кмициц немного помолчал.

— По всей справедливости он должен достаться мне... Если только я опять не ударю лицом в грязь... Стыдно признаться, но я не могу устоять против этого черта с саблей...

— Тогда я выучу тебя моим приемам! — воскликнул Володыевский.

— Или я! — отозвался Заглоба.

— Нет, простите уж, ваць-пане, но я предпочитаю учиться у пана Михала! — ответил Кмициц.

— Хоть он и знаменитый рыцарь, а я его с моей Ковальской не боюсь, лишь бы только мне выспаться хорошенько! — отозвался Рох.

— Молчать, Рох! — крикнул Заглоба. — Смотри, чтобы Бог тебя не наказал за твое хвастовство!

— Ну вот еще! Ничего мне не будет!

Бедный пан Рох не был пророком, а в эту минуту у него так шумело в голове, что он готов был весь мир вызвать на поединок. Другие тоже пили немало себе на здоровье, Богуславу и шведам на погибель.

— Слышал я, — сказал Кмициц, — что как только мы разгромим здесь шведов и захватим короля, то пойдем к Варшаве. Тогда, должно быть, будет и конец войне. Тогда настанет черед курфюрста!

— Вот, вот! — подтвердил Заглоба.

— Слышал я это от самого Сапеги, а он ведь великий человек — все лучше понимает. Он говорил нам: «Со шведами мы покончим, а с электором мы не должны заключать никаких договоров. Пан Чарнецкий, говорит, с Любомирским пойдут в Бранденбург, а я с паном подскарбием литовским пойду в электорскую Пруссию; а если, говорит, мы не присоединим навеки Пруссию к Речи Посполитой, значит, во всем государстве нет такой головы, как пан Заглоба, который от собственного имени угрожал письмами курфюрсту».

— Так Сапега и говорил? — спросил Заглоба, краснея от удовольствия.

— Все это слышали! А я был очень рад, ибо та же розга высечет и Богуслава, и если не раньше, то уж тогда мы, наверное, до него доберемся.

— Только бы поскорее покончить со шведами! — сказал Заглоба. — Чтоб их черти взяли! Пусть уступят нам Инфляндию и заплатят миллион, мы даруем им жизнь.

— Ишь куда загнул! — сказал, смеясь, Ян Скшетуский. — Король Густав еще в Польше, Краков, Варшава, Познань и все большие города в его руках, а вы, отец, уже хотите, чтобы он откупался. Ох, немало еще придется поработать, прежде чем можно будет подумать о курфюрсте!

— А еще есть армия Штейнбока, гарнизоны, Вирц! — заметил Станислав.

— Так почему же мы сидим сложа руки? — спросил вдруг Рох, вытаращив глаза. — Разве мы не можем шведов бить?!

— Дурак ты, Рох! — сказал Заглоба.

— Вы, дядя, заладили одно, а я вот, ей-богу, видел на берегу лодки. Можно поехать и схватить хоть стражу. Темно, хоть глаз выколи; а прежде чем они опомнятся, мы уже вернемся; удаль нашу покажем обоим вождям!.. Если вы не хотите, Панове, я один пойду!

У Кмицица уже раздулись ноздри.

— Недурная мысль! Недурная мысль! — сказал он.

— Недурная для челяди, а не для того, кто уважает свое достоинство. Да имейте же уважение к самим себе! Вы ведь полковники, а хотите проказничать, как школьники!

— Конечно, не очень-то нам пристало! — сказал Володыевский. — Лучше

пойдем спать, поздно!

Все согласились с этим, встали на колени и начали вслух молиться; потом улеглись на войлоках и заснули сном праведников.

Но через час все они вскочили: за рекой раздались выстрелы, а в лагере Сапеги поднялся шум и крики.

— С нами крестная сила! — воскликнул Заглоба. — Шведы наступают!

— Что вы говорите? — сказал Володыевский, хватаясь за саблю.

— Рох, сюда! — кричал Заглоба, который любил, чтобы в случае опасности племянник был около него.

Но Роха не было в шатре. Заглоба выбежал на майдан. Толпа бежала к реке; по другую сторону сверкал огонь и слышался гул выстрелов.

— Что случилось? Что случилось? — спрашивали все стражу, расставленную по берегу.

Но стража ничего не видела. Один только солдат рассказывал, будто он слышал какой-то плеск в воде, но за туманом ничего не мог разглядеть и поэтому не захотел из-за пустяка тревожить весь лагерь.

Заглоба, услышав это, в отчаянии схватился руками за голову:

— Рох поехал к шведам! Он говорил, что хочет схватить стражу!

— Не может быть! — воскликнул Кмициц.

— Убьют мне малого, видит Бог! — горевал Заглоба. — Мосци-панове, неужто нельзя спасти его? Господи боже! Золото малый! Другого такого не найти в обоих войсках! И что ему взбрело в глупую башку? Матерь Божья, спаси его в несчастии!

— Может, приплывет еще. Туман густой. Не заметят!

— Я буду здесь ждать хоть до утра! Матерь Божья! Матерь Божья!

Между тем выстрелы на противоположном берегу затихли, огни гасли, и через час настала глухая тишина. Заглоба ходил по берегу реки, точно курица, которая вывела утят, и вырывал остатки волос из своей головы. Но он ждал напрасно, напрасно горевал. Рассвет осеребрил реку, взошло солнце, а Рох не возвращался.

VIII

На следующий день, рано утром, Заглоба, все еще в том же отчаянии, отправился к Чарнецкому с просьбой послать к шведам узнать, что случилось с Рохом, жив ли он, в плену ли или поплатился жизнью за свою смелость.

Чарнецкий сейчас же согласился на это, так как любил Заглобу. Чтобы утешить его, он говорил:

— Я думаю, что племянник ваш жив, иначе вода бы его вынесла.

— Дай бог! — грустно сказал Заглоба. — Но воде нелегко его вынести: у него не только рука была тяжелая, но и голова каменная! Это и по поступку его видно!

— Вот это правда! — ответил Чарнецкий. — Если он жив, я бы должен ему горячих всыпать за нарушение дисциплины. Можно тревожить шведские войска, но он оба встревожил, да и шведов без моего приказанія тревожить нельзя! Что это? Ополчение или еще черт знает что, где каждый может действовать по своему усмотрению!

— Он виноват, несомненно! Я сам его накажу, дал бы только Господь ему вернуться!

— Я его прощу за заслуги в рудницком сражении. У нас много пленных офицеров для обмена, более знатных, чем Ковальский. Поезжайте к шведам и поговорите об обмене. Я дам за него двух, даже трех, если нужно, так как не хочу вас огорчать. Приходите ко мне за письмом к шведскому королю и поезжайте скорее.

Заглоба с радостным лицом вбежал в палатку Кмицица и рассказал товарищам, что произошло. Пан Андрей и Володыевский тотчас крикнули, что хотят ехать вместе

с ним, так как им обоим было интересно увидеть шведов. К тому же Кмициц мог им быть очень полезен, так как владел немецким языком, как польским. Собирались они недолго.

Пан Чарнецкий, не дожидаясь возвращения Заглобы, сам прислал ему письмо через посланного; затем взяли трубача, сели в лодку, запасшись белым флагом, привязанным к палке.

Сначала все ехали молча; слышался только скрип весел; наконец Заглоба стал заметно волноваться и проговорил:

— Пусть трубач заранее предупредит о нашем приезде, иначе эти шельмы станут в нас стрелять, несмотря на белый флаг!

— Что вы болтаете! — возразил Володыевский. — Даже варвары уважают послов, а это ведь народ обходительный!

— Пусть трубач трубит, повторяю! Первый попавшийся солдат может выстрелить, продырявить лодку, и мы пойдем ко дну, а вода холодная. Я не хочу мокнуть из-за их обходительности!

— Вот видны и посты! — сказал Кмициц.

Трубач дал сигнал. Лодка пошла быстрее; на другом берегу произошло движение, и вскоре показался верхом офицер в желтой кожаной шляпе. Подъехав к самой реке, он стал всматриваться в даль. В нескольких шагах от берега Кмициц снял шапку, офицер ответил вежливым поклоном.

— Письмо от пана Чарнецкого к его величеству королю шведскому! — крикнул Кмициц, показывая письмо.

Лодка причалила к берегу. Часовые отдали честь. Пан Заглоба успокоился совершенно, принял важный вид посла и сказал по-латыни:

— Прошлой ночью на этом берегу захвачен один из наших офицеров, я приехал узнать про него!

— Я не говорю по-латыни, — ответил офицер.

— Невежда! — пробормотал Заглоба.

Офицер обратился к пану Андрею.

— Король на другом конце лагеря, — сказал он. — Не угодно ли вам будет обождать здесь, я поеду известить.

И он повернул коня.

Они стали оглядываться по сторонам. Лагерь шведов был очень обширен и занимал весь треугольник между Саном и Вислой. В вершине треугольника находился Пнев; у основания — Тарнобжег с одной стороны, Разводов с другой. Всего пространства нельзя было окинуть глазами: всюду виднелись шанцы и валы, усеянные пушками и солдатами. В самом центре лагеря, в Гожицах, находилась королевская квартира.

— Если голод их не выгонит отсюда, то мы с ними не справимся! — сказал Кмициц. — Вся местность укреплена и есть где пасти лошадей!

— Но рыбы для стольких ртов не хватит! — возразил Заглоба. — Впрочем, лютеране не любят постного! Недавно у них была вся Польша, теперь у них этот клин; пусть же сидят здесь на здоровье или пусть опять возвращаются в Ярослав.

— Очень опытные люди насыпали эти окопы! — сказал Володыевский, разглядывая взглядом знатока укрепления. — Рубак у нас больше, но ученых офицеров меньше, в военном искусстве мы отстали от других народов!

— Это почему? — спросил Заглоба.

— Почему? Мне, как солдату, который всю свою жизнь служил в коннице, говорить об этом не годится. Но все же вот почему: пехота и пушки — это главное, а потом походы, военные маневры, марши, контрмарши. В иностранном войске надо проглотить немало книг, изучить многих римских авторов, прежде чем стать офицером, а у нас не то! По-прежнему конница в атаку бросается массой, и если

сама врага не изрубит, то ее изрубят...

— Полно сказки рассказывать, пан Михал! А какой же народ одержал столько блестящих побед?

— Потому что и другие народы раньше так воевали и не могли выдерживать нашего натиска, а потому должны были проигрывать. Но теперь они поумнели, и вот смотрите, что тут делается.

— Подождем конца! Поставь мне самого первого мудреца-инженера, шведа или немца, а я против него Роха поставлю, который никогда ни одной книжки не читал, и мы посмотрим!

— Только бы вы могли его поставить! — возразил Кмициц.

— Правда, правда! Страшно мне жаль парня! Пан Андрей, поговорите-ка с этими немцами на их собачьем языке и расспросите их, что с Рохом случилось.

— Вы не знаете регулярных солдат! Здесь никто без приказа не откроет и рта. Нечего времени терять!..

— Я знаю, что они не очень разговорчивы, шельмы! Когда к нашей шляхте, особенно к ополченцам, придет посол, тут сейчас тары-бары, да как здоровье деток, да не угодно ли горилочки отведать... И выпьют с ним, и о политике потолкуют... А эти стоят, как столбы, и только глаза на нас таращат. Чтоб им подавиться!

Между тем вокруг них собиралось все больше пеших солдат, которые с любопытством смотрели на послов. А они, одетые в новые богатые наряды, были великолепны... Более всего обращал на себя внимания пан Заглоба своим чисто сенаторским величием, а менее всего низенький пан Михал.

Наконец вернулся офицер, который встретил их на берегу; он пришел с другим офицером и несколькими солдатами, которые вели в поводу лошадей. Второй офицер поклонился послам и сказал по-польски:

— Его величество просит вас, Панове, к себе, а так как его квартира не близко, то мы привели для вас лошадей.

— Вы поляк, ваша милость? — спросил Заглоба.

— Нет. Я Садовский, чех, на службе у шведского короля.

Кмициц вдруг подошел к нему:

— Вы меня не узнаете, ваць-пане?

Садовский пристально посмотрел ему в лицо:

— Как же! Под Ченстоховом! Это вы взорвали самое большое орудие, и Мюллер отдал вас Куклиновскому! Очень рад видеть столь знаменитого рыцаря.

— А что поделявает Куклиновский? — продолжал спрашивать Кмициц.

— Разве вы не знаете?

— Знаю, что отплатил ему тем же, чем он меня хотел угостить, но я его оставил живым.

— Замерз.

— Я так и думал, что он замерзнет, — сказал Кмициц, махнув рукой.

— Мосци-полковник, — вмешался Заглоба, — нет ли здесь в лагере некоего Роха Ковальского?

Садовский рассмеялся:

— Как же! Есть!

— Слава Богу и Пресвятой Деве! Жив малый, я его выручу! Слава Богу!

— Я не знаю, согласится ли король его отдать, — сказал Садовский.

— Как так?

— Уж очень он ему понравился. Он сейчас же узнал в нем того самого, который преследовал его близ Рудника. Слушая его ответы, мы хохотали до упаду. Спрашивает король: «Почему ты так меня преследовал?» «Я обет дал!» — говорит. Король опять: «Значит, и впредь будешь меня преследовать?» «А то как же?» — отвечает шляхтич. Король засмеялся: «Откажись от своего обета, и я отпущу тебя на

свободу!» — «Не могу!» — «Почему?» — «А потому, что дядя меня дураком назовет». — «А разве ты уверен, что в поединке сладишь со мной?» — «Я и с пятью такими слажу!» Король опять: «И ты осмеливаешься поднять руку на короля?» — А тот: «Вера ваша поганая!» Королю переводили каждое слово, и он становился все веселее и все повторял: «Нравится мне этот солдат!» Наконец, желая убедиться, действительно ли его преследовал такой силач, он велел выбрать из гвардии двенадцать самых сильных солдат и приказал им по очереди бороться с пленным. Ну и жилист же этот кавалер! Когда я уезжал, он повалил уже десятерых, и ни один не мог подняться без посторонней помощи! Мы приедем к концу этой потехи.

— Узнаю Роха! Моя кровь! — воскликнул Заглоба. — Мы дадим за него хоть трех офицеров!

— Вы застанете короля в хорошем расположении духа, что теперь бывает редко, — сказал Садовский.

— Верю, верю! — ответил маленький рыцарь.

Между тем Садовский обратился к Кмицицу и начал расспрашивать его, каким образом он не только освободился из рук Куклиновского, но еще и отомстил ему. Тот ему все рассказал, а Садовский за голову хватался от изумления и еще раз пожал руку Кмицицу и сказал:

— Верьте мне, что я рад от души, ибо хотя и служу шведам, но всегда рад, когда честный воин накажет шельму!

— О, какой вы учтивый кавалер! — сказал Заглоба.

— И знаменитый воин, мы знаем! — прибавил Володыевский.

— Ибо и учтивости, и войне я учился у вас! — сказал Садовский, прикладывая руку к шляпе.

И, разговаривая так, обмениваясь комплиментами, они подъехали к Гожицам, где была квартира короля. Вся деревня была занята солдатами всех родов оружия. Наши рыцари с любопытством рассматривали группы солдат. Одни из них, желая хоть немного забыть голод, спали, так как день был ясный и теплый; другие играли в кости на барабанах и пили пиво; иные развешивали одежду на заборах, иные, сидя перед избами и напевая скандинавские песни, чистили кирпичным порошком панцири и шлемы; словом, лагерная жизнь кипела. Правда, на некоторых лицах заметно было страшное изнурение и голод, но солнце позолотило нищету, а главное, для этих несравненных солдат настали дни отдыха, и они воспрянули духом. Володыевский с удивлением смотрел на пешие полки, известные во всем мире своей стойкостью и храбростью, а Садовский, по мере того как они подвигались, объяснял:

— Это смаландский полк королевской гвардии! Это делекарлийская пехота, лучшая во всей армии!

— Ради бога! А это что за уроды? — вдруг воскликнул Заглоба, указывая на группу маленьких людей с оливковым цветом лица и черными висящими волосами.

— Это лапландцы, причисляемые к самым отдаленным гиперборейцам!

— Хороши ли они в битве? Мне что-то кажется, что я мог бы взять их троих в каждую руку и до тех пор бить головами, пока бы не устал!

— Вы бы уж наверное могли это сделать! В битве они никуда не годятся! Шведы их возят с собою, как прислугу, а еще потому, что все они колдуны и у каждого из них в услужении по черту, а у некоторых даже по несколько.

— Откуда же такая дружба со злыми духами? — спросил, крестясь, Кмициц. — Ибо у них ночь продолжается полгода и более, а вам известно, Панове, что ночью легче всего встретиться с чертом!

— А душа у них есть?

— Неизвестно, но полагаю, что они более подобны животным!

Кмициц подъехал к одному из лапландцев, поднял его за шиворот, как кошку, осмотрел со всех сторон, затем поставил на ноги и сказал:

— Если бы король подарил мне одного из них, то я приказал бы его закоптить и повесил бы в оршанском костеле, где среди прочих редкостей есть и страусовые яйца.

— В Лубнах, в костеле, была челюсть кита или великана, — прибавил Володыевский.

— Едемте, не то к нам пристанет какая-нибудь нечисть, — сказал Заглоба.

— Едем! — повторил Садовский. — Правду говоря, я должен бы вам надеть мешки на голову, но нам нечего скрывать, а то, что вы видели наши укрепления, это даже для нас лучше.

Они тронулись рысью и вскоре были у гожицкой усадьбы. У ворот они слезли к коней и, сняв шапки, пошли пешком, так как король был на крыльце. Они увидели группу генералов и блестящих офицеров. Был там старик Виттенберг, Дуглас, Левенгаупт, Мюллер, Эриксон и много других. Все они сидели на крыльце позади короля, стул которого был выдвинут немного вперед, и смотрели на потеху, которую Карл-Густав затеял со своим пленником. Рох только что повалил двенадцатого рейтара и стоял в разорванном мундире, тяжело переводя дыхание и весь мокрый от пота. Увидев дядю в сопровождении Кмицица и Володыевского, Рох сначала подумал, что их тоже взяли в плен, вытаращил от удивления глаза и открыл рот, а Заглоба сделал ему знак, чтобы он стоял спокойно, а сам с товарищами подошел к королю.

Садовский стал представлять послов, а они кланялись низко, как требовал обычай и этикет. Потом Заглоба передал королю письмо Чарнецкого.

Король взял письмо и начал его читать, а тем временем польские офицеры разглядывали его с любопытством, так как никогда раньше его не видели. Это был человек в цвете лет, с таким смуглым лицом, что его можно было принять за итальянца или испанца. Длинные локоны черных, как вороново крыло, волос спадали ему на плечи. Цветом и блеском глаз он напоминал Еремию Вишневецкого, и только брови его были постоянно приподняты, как будто он постоянно удивлялся. Зато в том месте, где брови сходились, на лбу у него были большие выпуклости, которые делали короля похожим на льва; глубокая морщина над носом, не сходявшая даже тогда, когда он смеялся, придавала его лицу грозный и гневный вид. Нижняя губа его выступала вперед, как и у Яна Казимира, только лицо было полнее и подбородок больше; усы его были похожи на тоненькие веревочки, распушенные внизу. Вообще, наружность его была наружностью исключительного человека, одного из тех, которые, ходя по земле, выжимают из нее кровь. В ней было и величие, и царственная гордость, и львиная сила, и ум; несмотря на то что милостивая улыбка никогда не сходила с его уст, в нем не было той доброты сердца, которая светится мягким светом изнутри человека, как лампа, поставленная в середину алебастровой урны.

Карл-Густав сидел в кресле со сложенными накрест ногами, толстые икры которых отчетливо выступали из-под черных чулок. Бормоча, по обыкновению, он с улыбкой читал письмо Чарнецкого. Вдруг поднял глаза, посмотрел на пана Михала и сказал:

— Я узнаю вас: вы убили Каннеберга?

Глаза всех обратились на Володыевского, который повел усиками, поклонился и ответил:

— Так точно, ваше величество!

— Какой у вас чин?

— Полковник лядуанского полка.

— Где вы раньше служили?

— У виленского воеводы.

— И оставили его вместе с другими? Изменили ему и мне?

— Я обязан служить своему королю, а не вашему величеству!

Король ничего не ответил; все нахмурились, но пан Михал стоял спокойно и

только шевелил своими усиками. Вдруг король сказал:

— Мне очень приятно познакомиться со столь знаменитым рыцарем. Каннеберг считался у нас непобедимым. Вы, должно быть, первый рубака в этом государстве?

— Во всем мире! — сказал Заглоба.

— Не последний! — ответил Володыевский.

— Приветствую вас, господа! Я очень люблю пана Чарнецкого, как великого воина, хотя он и не сдержал слова, так как должен был спокойно сидеть в Северске.

— Ваше величество, — ответил Кмициц, — не пан Чарнецкий, а генерал Мюллер первый нарушил свое обещание, захватив полк королевской пехоты Вольфа.

Мюллер сделал шаг вперед, взглянул в лицо Кмицицу и стал что-то шептать королю, который, продолжая моргать глазами, слушал довольно внимательно, время от времени поглядывая на пана Андрея, и наконец сказал:

— Вижу, что пан Чарнецкий прислал мне отборных кавалеров. Но я давно знаю, что среди вас нет недостатка в храбрецах, вы только не умеете сдерживать свои обещания и клятвы!

— Слова вашего величества — святая истина! — сказал Заглоба.

— Что вы хотите этим сказать?

— Если бы не этот порок нашего народа, вас, ваше величество, здесь бы не было!

Король снова помолчал с минуту, генералы, услышав такую смелую речь посла, снова нахмурились.

— Ян Казимир сам освободил вас от присяги, — сказал Карл, — он покинул вас и скрылся за границу.

— От присяги может освободить только наместник Христа, который живет в Риме и который нас не освободил.

— Впрочем, не в том дело, — сказал король. — Я вот этим покорию ваше королевство, — тут он ударил по шпаге, — и этим удержу его. Не нужно мне ни вашей помощи, ни ваших присяг. Вы хотите войны — будем воевать! Я думаю, что пан Чарнецкий еще помнит о Голембе?

— Забыл по дороге из Ярославля, — ответил Заглоба.

Король рассмеялся:

— Тогда я ему напомню!

— Все мы под Богом ходим!

— Скажите ему, чтобы он меня навестил. Я приму его учтиво, только пусть он поспешит, а то, когда наши лошади отдохнут, я пойду дальше.

— Тогда мы примем вас, ваше величество! — ответил Заглоба, кланяясь и незаметно опуская руку на саблю.

— Вижу, что пан Чарнецкий прислал ко мне не только лучших воинов, но и самого находчивого собеседника. Вы тотчас же отражаете каждый удар! К счастью, война состоит не в этом, иначе я нашел бы в вашем лице достойного себе противника. Но приступим к делу! Пан Чарнецкий просит меня выпустить этого пленника, предлагая мне в обмен двух старших офицеров. Я не так низко ценю своих солдат, как вы полагаете, и не хочу так дешево их выкупить, ибо это не согласно с моей и их гордостью. А потому я дарю этого рыцаря пану Чарнецкому, так как ни в чем не могу ему отказать.

— Ваше величество, — ответил пан Заглоба, — не оскорбить шведских офицеров хотел пан Чарнецкий, но сделал это из любви ко мне, так как пленник — мой племянник, я же — к услугам вашего величества — советник пана Чарнецкого.

— Правду говоря, — сказал, смеясь, король, — мне не следовало бы отпускать этого пленника, так как он дал обет убить меня, но я могу это сделать, если он откажется от своего обета.

Король обратился к Роху, стоявшему перед крыльцом, и махнул ему рукой:

— Ну-ка, силач, поди сюда!

Рох подошел и вытянулся в струнку.

— Садовский, — сказал король, — спроси-ка его, не откажется ли он от обета, если я его отпущу!

Садовский перевел вопрос короля.

— Не может этого быть! — воскликнул Рох.

Король понял ответ без переводчика, захлопал в ладоши и заморгал глазами:

— Вот видите! Как же такого отпустить? Двенадцати рейтарам шею свернул, а мне тринадцатому обещает. Хорошо! Нравится мне этот кавалер. Не состоит ли и он советником пана Чарнецкого? В таком случае я его еще скорее отпущу.

— Чтоб у тебя язык отсох! — пробормотал Заглоба.

— Ну, довольно шутить! — сказал вдруг Карл-Густав. — Берите его, и пусть это будет новым доказательством моего долготерпения! Простить могу, как властелин этого королевства, ибо такова моя воля, но в переговоры входить с бунтовщиками не хочу.

Тут брови короля нахмурились и улыбка исчезла с его лица.

— Кто поднимает руку против меня, тот бунтовщик, ибо я здесь законный государь. Только из милосердия я не карал вас до сих пор, как надо, думая, что вы опомнитесь; но придет время, когда милосердие мое иссякнет и настанет час кары. Благодаря вашему своеволию и непостоянству вся страна в огне; благодаря вашему вероломству льется кровь. Но говорю вам: приходят последние дни... Не хотите слушать увещаний, не хотите повиноваться законам — послушаетесь меча и виселицы!

В глазах Карла сверкнула молния; Заглоба смотрел на него с минуту, недоумевая, откуда взялась эта внезапная гроза при ясной погоде, потом поклонился и, сказав только:

— Благодарим вас, ваше величество! — ушел вместе с Кмицицем, Володыевским и Рохом Ковальским. — Милостивый, милостивый, — говорил Заглоба, — а не успеешь оглянуться, как зарычит, как медведь! Хорош конец посольства! Другие вином угощают на прощанье, а он виселицей! Пусть же он собак вешает, а не шляхту. Боже, боже! Тяжело согрешили мы против нашего государя, который отцом нам был, есть и будет, ибо в нем сердце Ягеллонов! И такого государя изменники покинули и пошли кумиться с заморскими страшилищами! Поделом нам, мы не стоим лучшего. Виселицы, виселицы... Самому ему тесно, прижали мы его, как творог в мешке, а он грозит еще мечом и виселицей! Пойдите! Вам еще хуже будет. Рох, я хотел тебе по шее накласть или отсчитать тебе пятьдесят горячих, но, так и быть, прощаю за то, что ты вел себя, как настоящий рыцарь, и обещал его преследовать. Давай я тебя поцелую, я тобой доволен!

— Уж ясно, что довольны! — возразил Рох.

— Виселица и меч... И он мне сказал это в глаза?! — спустя некоторое время продолжал Заглоба. — Вот, вот и протекторат! Волк такую же протекцию барану оказывает, когда отправляет его к себе в брюхо... И когда он это говорит? Когда у него у самого кожа от страха коробится... Пусть он сделает лапландцев своими советниками и вместе с ними ищет протекции у черта! А нам Пресвятая Дева будет помогать, как пану Боболе в Сандомире, которого взрыв пороха перебросил вместе с конем на другой берег Вислы, а он уцелел. Огляделся вокруг, где, мол, он, и сейчас же попал на обед к ксендзу. При такой помощи мы их всех, как раков из корзины, повытаскаем за шиворот!

IX

Прошло несколько дней. Король все сидел на речном клину и рассылал во все крепости гонцов с приказанием идти к нему на помощь. Провиант ему доставляли по Висле, но не в достаточном количестве.

Через десять дней солдаты начали есть лошадей; отчаяние охватывало короля и генералов при мысли, что некого будет впрягать в пушки.

Отовсюду приходили самые неутешительные известия. Вся страна была охвачена пламенем войны, точно кто-нибудь полил ее смолой и зажег. Маленькие гарнизоны и отряды не могли идти на помощь Карлу, так как боялись выходить из городов и местечек. Литва, бывшая в железных руках Понтуса де ла Гарди, восстала, как один человек, Великопольша, поддавшаяся прежде всех, первая сбросила с себя иго и служила всей Речи Посполитой примером стойкости, упорства и воодушевления. «Партии» шляхты и мужиков бросались там на неприятельские отряды не только в деревнях, но даже в городах. Тщетно шведы мстили, тщетно отрубали руки захваченным в плен, жгли деревни, вырезали целые посады, строили виселицы. Кто должен был страдать — страдал, кто должен был погибнуть — погибал: шляхтич — с саблей, мужик с косой в руках. И лилась шведская кровь по всей Великопольше: народ жил в лесах, даже женщины взялись за оружие. Расправы шведов вызывали только месть и бешенство. Кулеша, Кристофор Жегоцкий и воевода кувявский неистовствовали, подобно огненным смерчам, а леса были переполнены отрядами крестьян; поля стояли невспаханными, голод распространился по всей стране, но более всего он мучил шведов, так как они сидели в городах и не могли выйти за ворота. Наконец, им попросту стало нечем дышать.

В Мазовии было то же самое. Там народ, живший в пущах, вышел в поле, отрезал дороги; перехватывал провиант и гонцов. Полесская мелкая шляхта тысячами шла к Сапеге или на Литву. Люблинское воеводство было в руках конфедератов. Из далекой Руси шли татары, а с ними, принужденные к повиновению, казаки.

И все теперь были уверены, что если не через неделю, то через месяц, если не через месяц, то через два тот речной клин, где находился Карл-Густав с главной армией, будет одной великой могилой, во славу народу и в поучение тем, кто впредь захочет нападать на Речь Посполитую. Уже предвидели конец войны; некоторые говорили, что Карлу остается одно только спасение: откупиться и отдать Речи Посполитой шведскую Инфляндию.

Но вдруг участь Карла-Густава и шведов улучшилась.

20 марта сдался Мальборг, до сих пор тщетно осаждаемый Штейнбоком. Его сильная и прекрасно обученная армия могла теперь спешить на помощь королю.

С другой стороны маркграф баденский, окончив набор, с готовым и свежим войском двинулся к речному клину.

Оба они подвигались вперед, разбивая небольшие отряды повстанцев, грабя и избивая все на пути. По дороге они забирали с собой небольшие гарнизоны, стоявшие в городах, и численность армии росла, как растут воды реки, принимающей в себя притоки.

Известие о взятии Мальборга, об армии Штейнбока и о походе маркграфа баденского очень скоро дошло до польского лагеря и опечалило поляков. Штейнбок был еще далеко, но маркграф, подвигавшийся форсированным маршем, мог скоро прибыть и изменить положение дела под Сандомиром.

Поэтому польские полководцы созвали военный совет, в котором участвовали: пан Чарнецкий, пан гетман литовский, Михаил Радзивилл, пан Витовский, старый и опытный воин, и пан Любомирский, давно уже тяготившийся бездеятельностью на берегу Вислы. На совете было постановлено, что Сапега с литовским войском останется сторожить Карла, а пан Чарнецкий двинется против маркграфа баденского как можно скорее, нападет на него и затем, если Бог даст победу, вернется опять

осаждать короля.

Были тотчас отданы соответственные приказания. На следующее утро трубы тихо, едва слышно, протрубили в поход, так как Чарнецкий хотел уйти незаметно для шведов. На его месте сейчас же расположилось несколько отрядов шляхты и мужиков. Они развели костры и начали шуметь, чтобы неприятель думал, будто из лагеря никто не уходил. А между тем полки уходили один за другим. Прежде всех ушел ляуданский полк, который, в сущности, должен был остаться при Сапеге, но Чарнецкий так полюбил его, что гетман не стал его у него отнимать. За ляуданским выступил полк Вонсовича, старого солдата, полвека проливавшего кровь; затем полк князя Дмитрия Вишневецкого, под командой Шандаровского; далее — два полка драгун Витовского, два полка старосты Яворовского (в одном из них был поручиком знаменитый Стапковский); затем каштелянский полк, королевский, под начальством Поляновского, и все силы Любомирского. Ни востов, ни пехоты не взяли, так как Чарнецкий должен был идти как можно быстрее.

Все вместе остановились под Завадой. Чарнецкий выехал вперед, построил войска в поход, задержал коня и пропустил их мимо себя, чтобы осмотреть все войско. Конь под ним фыркал и качал головою, точно приветствуя проходившие полки. Сердце каштеляна радовалось. Прекрасное зрелище открывалось его глазам. Куда ни взглянуть — везде волны лошадей, волны строгих солдатских лиц, над ними волны сабель и пик, сверкающих в лучах утреннего солнца. Мощью веяло от них, и эту мощь ощущал в себе каштелян, ибо это был уже не случайный набор волонтеров, а люди, закаленные в войне и столь «ядовитые» в битве, что ни одна конница в мире не могла против них устоять. И пан Чарнецкий почувствовал в эту минуту, что он без всякого сомнения наголову разобьет с этими людьми войско маркграфа баденского, и эта победа, которую он предчувствовал, так озарила его лицо, что оно сияло, как солнце.

— С Богом! За победой! — крикнул он наконец.

— С Богом! Победим! — раздалось в ответ мощные голоса.

И крик этот глухо прогремел по всем полкам. Чарнецкий прищепил коня, чтобы догнать ляуданский полк, шедший впереди.

И они шли, как стая хищных птиц, которые, почуяв битву вдали, несутся вихрем, обгоняя друг друга. Никогда никто не слышал о таком походе, даже среди татар в степи. Солдаты ели, пили и спали, не сходя с седел, а лошадей кормили из рук. Реки, леса, деревни, города мелькали одни за другими. Люди не успевали еще выбежать из хат, как войско уже исчезало вдали в облаках пыли. Шли день и ночь, отдыхая лишь столько, чтобы не загнать лошадей.

Наконец под Козеницами они наткнулись на восемь шведских полков под начальством Торнескильда. Ляуданцы, шедшие впереди, первые заметили неприятеля и, не отдохнув даже, бросились на него; за ними пошли Шандаровский, Вонсович и Стапковский. Шведы, думая, что они имеют дело с обыкновенными «партиями», приняли битву в открытом поле, и через два часа от них не осталось ни одной живой души, которая могла бы донести маркграфу о том, что это идет Чарнецкий. Затем поляки двинулись прямым путем к Магнушеву, так как разведчики донесли, что маркграф со всей армией находится в Варке.

Пан Володыевский ночью был отправлен на разведки, узнать о расположении и численности неприятельских войск.

Заглоба очень ворчал на эту экспедицию, так как даже славный Вишневецкий никогда не совершал таких стремительных походов; старый воин жаловался, но предпочитал идти с Володыевским, чем оставаться при войске.

— Золотое время было под Сандомиром! — говорил он, потягиваясь в седле. — Человек ел, спал и смотрел издали на осажденных шведов, а теперь некогда и фляги

ко рту поднести. Знаю я военное искусство antiquorum⁵³, великого Помпея и Цезаря, но пан Чарнецкий выдумал новую моду. Ведь это против всяких правил — трясти живот столько дней и ночей. С голоду ли это, но мне все кажется, что звезды — это каша, а луна — кусок сала. Ну ее в болото, такую войну! С голоду так и хочется откусить уши у лошади!

— Завтра, даст Бог, отдохнем!

— Да уж лучше иметь дело со шведами, чем вот так таскаться. Господи! Господи! Когда ты пошлешь покой этой Речи Посполитой, а старому Заглобе теплый угол и подогретое пиво... хотя бы и без сметаны!.. Трясись, старик, трясись на кляче, пока души не вытрясешь... Нет ли у кого табаку? Может, от сонливости отчихаюсь! Луна светит мне прямо в рот, заглядывая в брюхо, но я не знаю, чего она там ищет, все равно ничего не найдет! Ну ее в болото, такую войну, повторяю!

— Если вы думаете, дядя, что луна — кусок сала, так вы ее съешьте! — сказал Рох.

— Если бы я съел тебя, то мог бы сказать, что съел говядину, но боюсь, что после такого жаркого потеряю все свое остроумие!

— Если я вол, а вы мой дядя, то что же вы сами?

— Если ты вол, то спроси сначала про своего отца, а не про дядю, потому что Европу похитил бык, но ее брат, который был дядей ее детям, был человеком. Понимаешь?

— Правду говоря, не очень, а поесть и я не прочь!

— Съешь хоть черта и дай мне спать. Что там, пан Михал? Почему мы остановились?

— Варку видно, — сказал Володыевский. — Вот сверкает колокольня при луне.

— А Магнушев мы уже проехали?

— Магнушев остался справа. Странно, что по эту сторону реки нет ни одного шведского отряда. Поедем в те заросли и постоим. Может быть, Бог нам пошлет кого-нибудь!

Сказав это, пан Михал ввел отряд в заросли и, расставив его по обеим сторонам в ста шагах от дороги, велел натянуть поводья, чтобы лошади не ржали.

— Ждать! — сказал он. — Послушаем, что делается за рекой, может быть, что-нибудь и увидим!

Они остановились, но долгое время ничего не было слышно, кроме пения соловьев, которые пели в ближайшей ольховой роще. Усталые солдаты начали клевать носом в седлах, пан Заглоба прильнул к шее лошади и крепко заснул. Прошел час. Вдруг до чуткого слуха пана Володыевского долетело что-то похожее на лошадиный топот по твердой дороге.

— Слушай! — сказал он солдатам. А сам пробрался на опушку и посмотрел на дорогу. Дорога серебрилась при луне, как лента, но на ней ничего не было видно. Все же топот приближался.

— Наверное, идут! — сказал Володыевский.

И все еще короче затянули поводья и затаили дыхание; но ничего, кроме соловьев, не было слышно.

Вдруг на дороге показался шведский отряд человек в тридцать. Они ехали медленно и не в строю, а растянувшись по дороге. Одни солдаты разговаривали между собой, другие тихо напевали. Они прошли, ничего не подозревая, так близко от Володыевского, что он слышал запах лошадей и табаку, который курили рейтары.

Наконец они скрылись за поворотом дороги. Володыевский прождал еще довольно долго, пока топот не затих вдали, и только тогда вернулся к своему отряду

⁵³ Древних (лат.).

и сказал Скшетуским:

— Мы погоним их теперь, как гусей, в лагерь пана каштеляна. Ни один человек не должен уйти, чтобы не донести своим!

— Если Чарнецкий потом не позволит нам поесть и поспать, — сказал Заглоба, — то я поблагодарю его за службу и вернусь к Сапеге. У Сапеги битва — так битва, а как отдых — так пир. Будь у тебя и четыре рта, каждому из них будет что делать. Вот это вождь! И, правду сказать, на какого черта мы служим не у Сапеги, если этот полк по праву принадлежит ему?

— Не хулите, отец, величайшего воина Речи Посполитой! — сказал Ян Скшетуский.

— Не я хую, а кишки мои хулят, на которых голод играет, как на скрипке.

— Попляшут под эту музыку шведы, — прервал Володыевский. — А теперь, мосци-панове, надо ехать скорее. Я бы хотел на них напасть у той корчмы в лесу, которую мы миновали, когда ехали сюда.

И он повел отряд, но не слишком быстро. Они въехали в густой лес, и их охватил сумрак. Корчма была уже недалеко. Подъезжая к ней, отряд стал подвигаться шагом, чтобы раньше времени не испугать шведов. Когда они подъехали на расстояние пушечного выстрела, до их слуха донесся шум голосов.

— Здесь, и шумят! — сказал Володыевский.

Шведы действительно остановились у корчмы, думая найти в ней кого-нибудь, чтобы собрать нужные сведения. Но корчма была пуста. Одни обыскивали главное помещение, другие хлевы, иные — чердаки; остальные стояли на дворе и держали лошадей тех, которые искали.

Отряд Володыевского приблизился шагов на сто и начал окружать корчму татарским полумесяцем. Стоявшие на дворе шведы слышали и, должно быть, видели людей и лошадей, но в лесу было темно, они не могли узнать, какое это войско, — их никто не тревожил, и они не предполагали, что с этой стороны может показаться какой-нибудь другой отряд, кроме шведского. И только то, что отряд стал окружать корчму каким-то непривычным способом, встревожило и обеспокоило их. Они сейчас же позвали тех, которые были внутри построек.

Вдруг вокруг корчмы раздались крики: «Алла! Алла!» — и гул нескольких выстрелов. В одну минуту точно из-под земли выросла темная масса солдат. Произошло замешательство, раздался звон сабель, проклятия, крики, но через несколько минут все это кончилось. Затем на дворе осталось несколько человеческих и конских трупов, а отряд Володыевского двинулся дальше, ведя за собой двадцать пять человек пленных. Теперь они неслись вскачь и на рассвете прибыли в Магнушев. В лагере Чарнецкого никто не спал, все были наготове. Сам каштелян вышел навстречу отряду, опираясь на палку, побледневший и похудевший от бессонницы.

— Ну что? — спросил он Володыевского. — Много захватили?

— Двадцать пять пленных!

— А сколько ушло?

— Nec nuntius cladis⁵⁴. Все схвачены!

— Тебя хоть в ад пошли, солдат. Хорошо! Пытать их! Я сам буду допрашивать. Сказав это, каштелян было повернулся, но потом вдруг добавил:

— Быть наготове, может быть, немедля двинемся на неприятеля!

— Как так? — спросил Заглоба.

— Тише! — сказал ему Володыевский.

Шведы без пыток сейчас же рассказали, что им было известно о войске

⁵⁴ Даже вестника поражения не осталось (лат.).

маркграфа, о количестве пушек, пехоты и конницы. Каштелян призадумался немного, так как узнал, что хотя армия была только что набрана, но состояла из старых солдат, которые участвовали бог весть в скольких битвах. Между ними было много немцев и французов; в общем все войско превышало численностью армию Чарнецкого на несколько сот человек. Но зато из слов пленных явствовало, что маркграф даже не предполагает, что Чарнецкий так близко, и думает, что все польские силы осаждают короля под Сандомиром.

Едва услышав это, каштелян вскочил с места и крикнул ординарцу:

— Витовский! Трубить «в поход»! На коней!

Полчаса спустя войско двинулось и шло свежим, весенним утром по лесам и по полям, покрытым росой. Наконец на горизонте показался Варк и его развалины, так как город выгорел шесть лет тому назад.

Войска Чарнецкого шли по открытой равнине и не могли долго скрываться от глаз шведов. Они заметили их, но маркграф думал, что это соединенные «партии» хотят произвести тревогу в лагере. Только когда из-за леса стали показываться все новые полки, шедшие рысью, в шведском лагере поднялось какое-то лихорадочное движение. С поля можно было видеть, как отдельные офицеры и небольшие отряды рейтар мчались между полками. Пестрая шведская пехота стала выходить на середину равнины; полки один за другим строились на глазах у польских солдат. Над их головами сверкали на солнце огромные копья, которыми пехота защищалась от натиска конницы. Наконец, показались полки шведской панцирной конницы, занимавшей фланги; артиллеристы наспех устанавливали пушки. Все эти приготовления были видны как на ладони, так как взошло яркое солнце и озарило местность.

Пилица разделяла оба войска.

На шведском берегу раздавались звуки труб, котлов, барабанов и крики выстраивающихся солдат. Чарнецкий велел дать сигнал наступления и спускался со всеми полками к реке.

Вдруг он во весь опор помчался к полку Вонсовича, который был уже вблизи реки.

— Старый солдат! — крикнул он Вонсовичу. — Поезжай к мосту, там слезать с коней и палить из мушкетов! Пусть на тебя обрушится вся сила неприятеля! Вперед!

Вонсович только покраснел от удовольствия и взмахнул буздыганом. Его солдаты с криком помчались за ним, как облако пыли, гонимое ветром.

В трехстах шагах от моста они замедлили ход; две трети солдат сошли с коней и бросились бегом к мосту.

Шведы двинулись с другой стороны. Вскоре загремели мушкеты, сначала изредка, потом все чаще и чаще, словно тысяча цепов на гумне. По реке потянулись ленты дыма. Крики ободрения раздавались на обоих берегах. Внимание обоих войск было устремлено на узкий деревянный мост, которым трудно было овладеть, но с которого легко было защищаться. Но только этой дорогой можно было добраться до шведского лагеря.

И вот через четверть часа Чарнецкий послал на помощь Вонсовичу драгун Любомирского.

Но шведы уже начали обстрел противоположного берега из орудий. Ядра с воем пролетали над головами солдат Вонсовича и драгун, падали на луг и рыли землю, осыпая сражающихся дерном и грязью.

Маркграф баденский, стоя на опушке леса, следил в подзорную трубу за ходом битвы. Время от времени он отнимал ее от глаз и, удивленно поглядывая на свой штаб, говорил:

— Они с ума сошли? Хотят взять мост! Несколько пушек и два или три полка могут его защищать против целой армии.

Но Вонсович все сильнее наступал со своими людьми, а потому и оборона моста стала труднее. Мост становился центром битвы, к которому мало-помалу стягивался весь шведский фронт. Через час расположение шведской армии переменялось и она повернулась боком к прежней позиции. Мост засыпали градом пуль и ядер; люди Вонсовича падали десятками, между тем то и дело подлетали ординарцы с приказанием обязательно идти вперед.

— Чарнецкий погубит этих людей! — крикнул вдруг маршал коронный. А Витовский, как опытный воин, видя, что дело плохо, весь дрожал от нетерпения, наконец не выдержал и, пришпорив коня, помчался к Чарнецкому, который все это время неизвестно зачем подвигал войска к реке.

— Кровь льется напрасно! — воскликнул он. — Нам не завладеть этим мостом.

— Да я и не думаю его брать! — возразил Чарнецкий.

— Чего же вы хотите, ваша милость? Что нам делать?

— К реке с полками! К реке! Марш на место!

И Чарнецкий так сверкнул глазами, что Витовский, не сказав ни слова, повернул обратно.

Между тем полки подошли к реке на двадцать шагов и расположились длинной линией вдоль берега. Никто решительно из офицеров и солдат не знал, зачем они это делают.

Вдруг Чарнецкий, как молния, появился перед фронтом полков. Лицо его горело огнем, глаза метали искры. Сильный ветер раздувал его бурку, словно огромные крылья, лошадь под ним скакала и взвизывалась на дыбы, а он, оставив саблю висеть на темляке, снял с головы шапку и, обращаясь к своей дивизии, крикнул:

— Мосци-панове, неприятель загородился от нас этой рекой и смеется над нами. Он переплыл море, чтобы опозорить нашу отчизну, и думает, что мы для ее защиты не переплывем этой реки!

Тут он бросил свою шапку на землю и, схватив саблю, указал на шумные воды. Он весь был охвачен каким-то пылом, так как даже приподнялся в седле и крикнул еще громче:

— Кому дорог Бог, вера и отчизна — за мной!

И, пришпорив коня, так что скакун, казалось, взвился в воздух, он бросился в реку. Разлетелись брызги, конь и всадник на мгновение скрылись под водой, но вскоре вынырнули.

— За моим паном! — крикнул Михалка, тот самый, который покрыл себя славой под Рудником, и бросился в воду.

— За мной! — крикнул пронзительным голосом Володыевский и был уже в воде.

— Господи Иисусе! — рявкнул Заглоба, поднимая коня к прыжку. Лавина людей и лошадей ринулась в реку, так что вода хлынула на берег.

За ляуданским полком пошел полк Вишневецкого, за ним — полк Витовского, затем Стапковского и, наконец, все остальные. Какое-то безумие охватило людей — и полки плыли вперегонку; крики команды смешивались с криками солдат, река выступила из берегов и вспенилась. Течение стало сносить полки в сторону, но лошади под ударами шпор плыли со стоном и фырканием, словно несметные стада дельфинов. Они так запрудили реку, что головы лошадей и всадников как будто образовали мост, по которому можно было пройти, не замочив ног, на другой берег.

Чарнецкий переплыл первым, но не успел он отряхнуться, как из воды вынырнул ляуданский полк; каштелян взмахнул буздыганом и крикнул Володыевскому:

— Марш-марш! Бей!

А затем крикнул Шандаровскому и его полку:

— На них!

И он пропускал мимо себя один за другим полки; сам стал во главе последнего полка и, крикнув: «С нами Бог!» — ринулся за всеми.

Два полка рейтар, стоявших в стороне, видели, что происходит, но полковниками овладело какое-то остоленение, и, прежде чем они двинулись с места, ляуданский полк уже мчался на них неудержимо. Налетев, ляуданцы рассеяли первый полк, как вихрь рассеивает листья, отбросили его на второй полк и привели в замешательство второй. Тут подскакал Шандаровский, и началась страшная резня, но она продолжалась недолго; вскоре ряды шведов расстроились, и они беспорядочной толпою стали отступать к главной армии. Полки Чарнецкого с криком устремились за ними, рубили, кололи, устилали поле трупами.

Наконец стало ясно, почему Чарнецкий приказал Вонсовичу стараться овладеть мостом, хотя и не думал переходить по нему. Все внимание шведской армии было сосредоточено на этом пункте, и потому никто не задержал и не имел времени задержать переправу вплавь. Все пушки, весь фронт неприятельских войск были обращены к мосту, а теперь, когда три тысячи конницы налетели на них с боков, приходилось изменить расположение и перестроить фронт, чтобы хоть как-нибудь отразить нападение. Поднялась страшная суматоха и замешательство; полки пехоты и конницы наскоро выстраивались фронтом к неприятелю, мешая друг другу, не понимая команды среди общего шума и действуя по своему усмотрению. Все нечеловеческие усилия офицеров были тщетны; тщетно и маркграф двинул стоявшие у леса полки конницы: прежде чем пехота успела воткнуть в землю тупые концы копий, чтобы выставить их против неприятеля, налетел ляуданский полк, как дух смерти, ворвался в самую середину войска, за ним другой, третий, пятый, шестой... И начался Судный день! Дым выстрелов тучей покрыл все поле битвы, а из этой тучи слышались крики, возгласы отчаяния, лязг железа, как в кузнице, залпы мушкетов. Порою мелькали гусарские значки и исчезали в дыму; порою сверкал наконечник полкового знамени, и снова ничего не было видно — и слышался только страшный грохот, точно берега осыпались в воду, точно воды реки проваливались в бездонную пропасть.

Вдруг сбоку послышались новые крики: Вонсович перешел мост и ударил на неприятеля сбоку. Битва не могла уже продолжаться долго. Из туч неприятельского войска начали выделяться и бежать к лесу большие группы людей, беспорядочные, обезумевшие, без шапок, шлемов, без оружия. За ними хлынул вдруг целый поток людей и помчался вихрем. Артиллерия, пехота, конница смешались и бежали в лес, потеряв голову от страха и отчаяния. Одни солдаты кричали благим матом, другие бежали молча, защищая голову руками, иные сбрасывали с себя одежду, а за ними по пятам мчалась лавина польских всадников. То и дело лошади взвизгивали на дыбы, врывались в самую гущу людей. Никто уж не защищался; поле покрывалось трупами. Рубили без передышки, без милосердия, по всей равнине, на берегу реки, у леса; кое-где лишь отдельные отряды пехоты оказывали последнее, отчаянное сопротивление; пушки замолкли. Битва превращалась в резню.

Вся часть шведской армии, которая бежала к лесу, была изрублена. До леса добежало только несколько эскадронов рейтар, за которыми бросились легкоконные полки. Но в лесу шведов ждали уже мужики, которые, узнав о битве, сбежались из всех окрестных деревень.

Самая страшная погоня происходила на варшавской дороге, по которой бежали главные силы шведов. Младший маркграф, Адольф, дважды пытался прикрыть отступление и, дважды разбитый, сам, наконец, попал в плен. Отряд его пехоты, состоявший из четырехсот человек французов, бросил оружие; три тысячи отборных солдат, мушкетеров и кавалеристов бежали вплоть до Мнишева. Мушкетеров перерезали в Мнишеве, а конницу погнали к Черску, где она рассеялась по лесам и зарослям. Там их стали искать на следующий день мужики.

Прежде чем солнце зашло, армия Фридриха, маркграфа баденского, перестала существовать.

На месте побоища остались только хорунжие со знаменами, так как все люди погнались за неприятелем. Солнце уже клонилось к закату, когда стали появляться первые конные отряды со стороны леса и от Мнишева. Они возвращались с песнями, стреляя из пистолетов, бросая вверх шапки. Все они вели с собой толпы пленных. Пленные шли, опустив головы на грудь, без шляп, без шлемов, ободранные, окровавленные, — шли, спотыкаясь о трупы убитых товарищей. Побоище представляло страшный вид. В некоторых местах, где стычки были особенно яростны, лежали целые груды трупов. В руках у иных пехотинцев были длинные копья. Этими копьями было покрыто все поле. Местами они торчали еще в земле, местами образовывали целые заборы. Всюду был страшный хаос человеческих тел, раздавленных копытами лошадей, поломанных копий, мушкетов, барабанов, труб, шляп, поясов, жестяных лядунок, которые носила пехота, ног, рук, торчавших на грудах тел в таком беспорядке, что трудно было угадать, кому они принадлежат. А в тех местах, где защищалась пехота, лежали целые окопы из трупов.

Немного дальше, около реки, стояли уже остывшие пушки, одни — опрокинутые Напором людей, другие — точно готовые еще к выстрелу. Около них спали вечным сном канониры, которых перерезали до одного человека. Некоторые трупы перегибались через пушки и обнимали руками орудия, точно желая защищать их даже после смерти. Медь, забрызганная кровью и мозгом, отливала зловещим блеском в лучах заходящего солнца. Золотые лучи отражались в лужах застывшей крови. Ее удушливый запах на всем месте побоища смешивался с запахом пороха и лошадиным потом.

Пан Чарнецкий вернулся к королевским полкам еще до захода солнца и стал посреди поля. Войска приветствовали его громким криком. Каждый отряд, подъезжая, кричал ему бесконечное: «виват»... А он стоял, освещенный солнцем, усталый, но сияющий, с непокрытой головой, с саблей, висевшей на темляке, и отвечал солдатам:

— Не мне, мосци-панове, не мне, но имени Господа!

Подле него стояли Витовский и Любомирский; последний сиял, как солнце, в позолоченных доспехах; лицо его было забрызгано кровью, так как он сражался, как простой солдат. Но все же он был угрюм и мрачен, так как даже его полки кричали:

— Vivat Чарнецкий, dux et victor!⁵⁵

Зависть стала сверлить душу маршала.

Между тем со всех сторон показывались все новые и новые отряды, и то и дело к Чарнецкому подъезжал какой-нибудь солдат и бросал к его ногам отнятое у неприятеля знамя. Раздавались новые крики, шапки снова летели вверх, и снова гремели пистолетные выстрелы.

Солнце опускалось все ниже.

Вдруг в единственном костеле, уцелевшем после пожара в Варке, стали звонить к вечерне; войско тотчас обнажило головы. Глаза всех поднялись к небу, которое алело вечернею зарей, и с кровавого побоища вознеслась к играющим в небе переливам света божественная песнь: «Ave, Maria!»

К концу молитвы подошел ляуданский полк, который дальше всех гнался за врагом. Солдаты опять начали бросать знамена к ногам Чарнецкого. Он радовался душой и, увидев Володыевского, подъехал к нему:

— Много ли ушло?

Пан Володыевский покачал только головой в знак того, что немного. Он так устал, что не мог сказать ни слова, открытыми губами он жадно ловил воздух, и грудь его хрипела. Наконец показал на рот, что не может говорить, а Чарнецкий понял и только прижал его голову к своей груди.

⁵⁵ Вождь и победитель (лат.).

— Вот этот так наработался! — сказал он. — Побольше бы таких!

Пан Заглоба скорее отдышался и, щелкая зубами, начал говорить прерывающимся голосом:

— Ради бога! Я вспотел, а ветер холодный!.. На мне все мокрое — я уж не знаю, что вода, что мой пот, а что кровь шведов... Мог ли я думать, что когда-нибудь перережу их столько... Это величайшая победа в нынешней войне... Но в воду в другой раз я прыгать не буду... Не ешь, не пей, не спи, потом — купанье! Хватит с меня на старость... Рука совсем онемела... видно, паралич хватит... Водки, ради бога, водки!

Чарнецкий, услышав это и видя, что старик действительно весь покрыт неприятельской кровью, сжалился над ним и дал ему свою флягу. Заглоба приложил ее к губам и возвратил пустую.

— В Пилице я столько воды выпил, что, того и гляди, у меня в брюхе рыбы разведутся, но водка лучше воды!

— Переоденьтесь скорее хоть в шведскую одежду! — сказал пан каштелян.

— Я поищу вам, дядя, толстого шведа! — откликнулся Рох.

— Зачем мне надевать одежду с трупа? — сказал Заглоба. — Сними-ка лучше все до рубашки с того генерала, которого я взял в плен.

— Вы взяли генерала? — быстро спросил Чарнецкий.

— Кого я не взял, чего я не сделал! — ответил Заглоба.

В это время к Володыевскому вернулась способность говорить.

— Мы взяли младшего маркграфа, Адольфа, графа Фалькенштейна, генералов: Венгера, Потера и Бензу, не считая младших офицеров.

— А маркграф Фридрих? — спросил Чарнецкий.

— Если он не убит, то ушел в лес, и там его убьют мужики.

Пан Володыевский ошибся: маркграф Фридрих вместе с графом Шлиппенбахом и Эрнштейном, блуждая по лесам, ночью достигли Черска и, просидев там в развалинах замка три дня, в холоде и голоде, отправились ночью в Варшаву. Это, впрочем, не спасло их потом от плена, но пока они уцелели.

Была уже ночь, когда Чарнецкий подъехал к Варку. Это была для него, быть может, одна из самых веселых ночей в жизни: такого поражения шведы не терпели еще с самого начала войны. Все орудия, все знамена, все начальники, кроме главного вождя, были захвачены в плен. Армия была уничтожена совершенно, а остатки ее должны были пасть жертвой крестьянских шаек. Оказалось, что шведы, которые сами себя считали непобедимыми в открытом поле, не могут в открытом поле устоять против регулярных польских полков. Наконец, Чарнецкий прекрасно понимал, какие огромные последствия будет иметь эта победа для всей Речи Посполитой, как она поднимет мужество, как пробудит воодушевление; он видел в недалеком будущем Речь Посполитую освобожденной от неприятельского гнета, торжествующей... Быть может, в эту минуту он видел на небе очами своей души и золотую булаву великого гетмана...

Он был вправе мечтать о ней, ибо шел к ней как честный воин, как защитник отчизны, как человек, скорбевший скорбями отчизны.

А пока он еле мог объять душой то счастье, которое было послано ему, и, обращаясь к ехавшему с ним рядом маршалу, сказал:

— Теперь к Сандомиру, к Сандомиру! Как можно скорее! Войско уже умеет переплывать реку; не испугают нас ни Сан, ни Висла.

Маршал не ответил ни слова, зато ехавший поодаль Заглоба, уже переодетый в шведское платье, позволил себе заметить вслух:

— Поезжайте куда хотите, только без меня; я не флюгер на колокольне, который вертится и днем и ночью и не нуждается ни в пище, ни во сне.

Чарнецкий был так весел, что не только не рассердился, но даже ответил, шутя:

— Вы больше похожи на колокольню, чем на флюгер, тем более что у вас, вижу, ветер под крышей гуляет. А что касается пищи и отдыха, то все этого заслужили!

Х

После этой победы Чарнецкий позволил наконец своим войскам отдохнуть и откормить лошадей, а потом намеревался форсированным маршем снова вернуться под Сандомир, чтобы совсем придушить шведского короля.

Между тем однажды вечером в лагерь прибыл пан Харламп с извещениями от Сапеги. Чарнецкий в это время уехал в Черск на смотр равского ополчения, которое там собиралось; поэтому Харламп отправился прямо на квартиру Володыевского, чтобы у него отдохнуть от долгой дороги.

Друзья радостно приветствовали его, но заметили, что офицер необычайно мрачен. А он сказал:

— О вашей победе мы слышали. Здесь счастье нам улыбнулось, а под Сандомиром отвернулось от нас! Нет уже Карла в ловушке, ушел, к великому стыду литовского войска!

— Да разве это возможно?! — крикнул пан Володыевский, хватаясь за голову.

Оба Скшетуские и Заглоба остановились как вкопанные.

— Как же это было? Говорите скорее, ваць-пане, не то из кожи вылезу!

— Я никак отдышаться не могу! — сказал Харламп. — Ехал я день и ночь, устал. Вот приедет пан Чарнецкий, я все расскажу по порядку; дайте мне немного отдохнуть.

— Значит, Карл ускользнул из ловушки? Я предвидел, что так и будет. Как? Разве вы не помните, что я это предсказывал? Ковальский свидетель!

— Дядя предсказывал! — сказал Рох.

— Куда же ушел Карл? — спросил Харлампа Володыевский.

— Пехота отправилась на баржах, а он с конницей ушел к Варшаве.

— Битва была?

— И была и не была! Короче говоря, оставьте меня в покое, я не могу говорить!

— Скажите лишь одно! Сапега совсем разбит?

— Какое разбит! Он преследует короля, но Сапеге никого не догнать!

— Он так же для погони пригоден, как немец для благочестивой жизни! — сказал Заглоба.

— Слава богу, что войска целы! — заметил Володыевский.

— Опростоволосились литвины! — воскликнул Заглоба. — Ничего не поделаешь! Придется опять зашивать дыру в Речи Посполитой!

— Вы на литовское войско не клевете! — возразил Харламп. — Карл великий воин; и с ним трудно не проиграть. А вы-то не опростоволосились разве под Устьем, под Вельбожем, под Сулеевом и еще в десяти местах? Сам Чарнецкий проиграл битву под Голембом! Как же мог не проиграть и Сапега, тем более что вы его оставили одного, как сироту!

— Да разве мы к Варку плясать ходили? — с негодованием спросил Заглоба.

— Знаю, что не плясать, а в битву, и Бог дал вам победу. Но кто знает, не лучше ли было бы не ходить. У нас говорят, что польское и литовское войско, каждое в отдельности, может быть разбито, но, когда они вместе, их не одолеют никакие силы адавы!

— Это возможно! — сказал Володыевский. — Но нам нет дела до того, что порешили вожди. Не могло здесь обойтись без вашей вины.

— Должно быть, Сапега накуролесил, я уж его знаю! — сказал Заглоба.

— Этого я не отрицаю! — пробормотал Харламп.

Они умолкли и лишь временами угрюмо поглядывали друг на друга, так как им

казалось, что счастье опять начинает изменять Речи Посполитой. А ведь еще так недавно они были полны веры и надежды.

Вдруг Володыевский сказал:

— Пан каштелян вернулся! — и вышел из комнаты.

Каштелян действительно вернулся; Володыевский побежал к нему навстречу и закричал издали:

— Мосци-каштелян, шведский король разбил литовское войско и бежал из ловушки! Приехал офицер с письмами от воеводы виленского.

— Давай его сюда! — сказал Чарнецкий. — Где он?

— У меня. Я сейчас его приведу!

Но пана Чарнецкого так взволновало это известие, что он не захотел ждать, сейчас же спрыгнул с седла и вошел в квартиру Володыевского. Увидев его, все вскочили со своих мест, а он едва кивнул им и сказал:

— Пожалуйста письма!

Харламپ подал ему запечатанное письмо. Каштелян отошел к окну, так как в комнате было темно, и начал его читать, озабоченно наморщив брови. Время от времени лицо его вспыхивало гневом.

— Каштелян волнуется! — шептал Скшетускому Заглоба. — Посмотри, как у него покраснело лицо; сейчас и шепелявить начнет, что с ним случается всегда, когда он в бешенстве.

В эту минуту Чарнецкий окончил чтение, с минуту крутил свою бороду и думал, наконец проговорил звенящим, неясным голосом:

— Пожалуйста сюда, пан офицер!

— К вашим услугам!

— Говорите правду, — с ударением сказал каштелян, — потому что этот рапорт написан так искусно, что я никак не могу понять, в чем дело... Только... говорите правду: войска рассеяны?

— Ничуть не рассеяны, мосци-каштелян!

— А сколько дней вам нужно, чтобы снова собраться?

Тут Заглоба шепнул Скшетускому:

— Он хочет его на удочку поймать.

Но Харламп без колебания сказал:

— Раз войско не рассеяно, то ему нечего собираться. Правда, что из ополченцев мы недосчитались человек пятисот; когда я уезжал, их не было и между убитыми, но это дело обычное, от этого армия не пострадала, и гетман двинулся в погоню за королем в полном порядке.

— Вы говорите, что не потеряли ни одной пушки?

— Мы потеряли четыре орудия, которые шведы, не имея возможности взять с собой, заклепали...

— Я вижу, что вы говорите правду; расскажите же, как это все произошло.

— Начинаю! — сказал Харламп. — Когда мы остались одни, неприятель скоро заметил, что завислянских войск нет и что на их месте осталось несколько «партий» и нерегулярных отрядов. Пан Сапега думал, что шведы ударят на них, и послал им кое-какое подкрепление, но незначительное, чтобы не ослабить себя. Между тем в лагере шведов засуетились и зашумели, как в улье. Под вечер они начали стягиваться к Сану. Мы были в квартире воеводы. Приезжает туда пан Кмициц, который зовется теперь Бабиничем, и докладывает об этом Сапеге. А пан Сапега как раз давал пир, на который съехалось много шляхтянок из Красника и Янова. Пан воевода большой охотник до женщин!

— Да и до пиров тоже! — прервал Чарнецкий.

— Нет меня с ним, некому его сдерживать! — вставил Заглоба.

— Может быть, будете с ним раньше, чем думаете, — ответил Чарнецкий, —

тогда вы оба станете друг друга сдерживать! Рассказывайте дальше! — обратился он к Харлампу.

— Бабинич докладывает, а воевода отвечает: «Они только делают вид, что хотят наступать. Не посмеют! Скорее, говорит, захотят переправиться через Вислу, но я смотрю за ними в оба и тогда сам начну наступать. А пока, говорит, не будем портить настроения». Вот мы и начали есть да пить. Музыка заиграла, сам воевода в пляс пошел.

— Дам я ему плясы! — перебил Заглоба.

— Тише вы! — сказал Чарнецкий.

— Вдруг с берега снова прибежали сказать, что там страшный шум. Но Сапега — пажа в ухо: «Не лезь!» Плясали мы до рассвета, а спали до полудня. В полдень смотрим, а тут уж высокие валы, а на них — тяжелые орудия. Начали шведы стрелять. В полдень выехал и сам воевода, а шведы, под прикрытием орудий, стали строить мост. К великому нашему удивлению, работали они до самого вечера; мы думали, что построить-то мост, они построят, а пройти по нему не смогут. На следующий день опять строили. Воевода начал выстраивать войска и сам думал, что быть битве.

— Между тем мост был — для отвода глаз, а они перешли по другому, ниже, и напали на вас сбоку? — спросил Чарнецкий.

Харламп вытаращил глаза, открыл рот, с минуту молчал от изумления, наконец сказал:

— Вы имели уже донесения, ваша вельможность?

— Нечего и говорить! Уж что касается войны, наш старик все на лету отгадает, точно сам все видел своими глазами! — прошептал Заглоба.

— Продолжайте! — сказал Чарнецкий.

— Настал вечер. Войска стояли наготове, но с наступлением сумерок опять начался пир. Между тем рано утром шведы перешли через второй мост, который был построен ниже, и напали. На фланге стоял полк пана Кошица, хорошего солдата, и он ударил на них. На помощь ему пошли ополченцы, что были поближе, но шведы как стали палить в них из орудий, они — бегом! Кошиц был убит, солдат его страшно потрепали! А ополченцы, налетев на лагерь, подняли замешательство. Остальные полки тоже были в битве, но мы ничего не могли поделать, наоборот, потеряли пушки. Будь у короля больше артиллерии и пехоты, он бы нас разбил наголову, но, к счастью, большая часть неприятельской пехоты и артиллерии отплыла ночью на баржах, о чем у нас тоже никто не знал.

— Сапега накуролесил! Так я и знал! — воскликнул Заглоба.

— Мы перехватили королевское письмо, — сказал Харламп, — которое уронили шведы. Из нее солдаты узнали, что король собирается идти в Пруссию, чтобы вернуться назад с курфюрстом, так как, пишет он, с одними шведскими силами он ничего не может сделать.

— Знаю, — сказал Чарнецкий, — Сапега прислал мне это письмо.

Затем он пробормотал как будто про себя:

— И нам нужно идти за ним в Пруссию.

— Я давно это говорю! — сказал Заглоба.

Чарнецкий посмотрел на него задумчиво и сказал громко:

— Несчастье! Подоспей я к Сандомиру, мы бы вдвоем с гетманом не выпустили ни одного шведа! Ну, что делать! Свершилось, прошлого не вернешь!.. Война продлится, а все же всем им не миновать смерти!

— Иначе и быть не может! — крикнули рыцари хором.

И бодрость опять вступила в них, хотя несколько минут тому назад они уже стали сомневаться.

Между тем Заглоба шепнул что-то на ухо арендатору из Вонсоши, тот исчез за дверью и сейчас же вернулся с кувшином. Видя это, Володыевский отвесил

каштеляну низкий поклон:

— Великую бы честь оказали вы нам, простым солдатам, — начал он.

— Я охотно с вами выпью, — сказал Чарнецкий. — И знаете почему? Потому что нам придется проститься.

— Почему? — с удивлением спросил Володыевский.

— Пан Сапега пишет, что ляуданский полк принадлежит к литовскому войску и что он прислал его, только чтобы сопровождать короля, а теперь он нуждается в нем. особенно в офицерах, которых у него мало. Володыевский, ты знаешь, как я тебя люблю и как тяжело мне с тобой расстаться, но здесь есть для тебя приказ. Правда, Сапега, как человек учтивый, прислал его в мои руки и в мое распоряжение, и я мог бы его тебе не показать... Вот уж действительно это мне так же приятно, как если бы гетман сломал мою лучшую саблю!.. Но именно потому, что он прислал его в мое распоряжение, я тебе его даю — на!.. А ты делай то, что должен. За твое здоровье, солдатик!

Пан Володыевский снова поклонился Чарнецкому, но был так огорчен, что не мог сказать ни слова, а когда каштелян обнял его, слезы ручьем полились из его глаз.

— Лучше бы мне умереть! — воскликнул он скорбно. — Я так привык к вам, дорогой вождь, а как будет там — неизвестно.

— Пан Михал, не обращай внимания на приказ, — с волнением сказал Заглоба. — Я сам напишу Сапеге, да к тому же и проучу его хорошенько.

Но пан Михал прежде всего был солдат и поэтому с негодованием обрушился на Заглобу:

— Вечно в вас старый волонтер сидит... Молчали бы лучше, если дела не понимаете! Служба!!

— Вот оно что! — сказал Чарнецкий.

XI

Пан Заглоба, остановившись перед гетманом, не ответил на его радостное приветствие, — напротив, заложил руки назад, оттопырил нижнюю губу и стал смотреть, как судья справедливый, но суровый. Сапега еще более обрадовался, видя его мину, так как ожидал какой-нибудь шутки, и весело спросил:

— Как живешь, старый повеса? Что это ты носом водишь, точно слышишь какой-нибудь запах неприятный?

— Во всем вашем войске капустой пахнет.

— Почему же капустой?

— Шведы капустных голов нарубили!

— Ну вот, пожалуйста! Уж и съязвить успел! Жаль, что и вас не изрубили!

— Я служил под начальством такого вождя, что мы рубили, а не нас рубили!

— Ну тебя! Пусть бы хоть язык тебе отрубили.

— Мне тогда нечем было бы славить победу Сапеги.

Лицо гетмана опечалилось, и он сказал:

— Пан брат, оставьте меня! Есть много таких, которые, забыв о моей службе на пользу отчизны, теперь поносят меня, и я знаю, что долго еще будут Роптать на меня, но ведь, если бы не этот ополченский сброд, дело пошло бы иначе! Говорят, что я ради пиров забыл о неприятеле, но ведь против такого неприятеля не могла устоять вся Речь Посполитая.

Слова гетмана тронули Заглобу, и он сказал:

— У нас так заведено — сваливать всю вину на вождя! Уж я-то вас не буду упрекать за пиры: чем день длиннее, тем ужин необходимее! Пан Чарнецкий великий воин, но у него, по-моему, есть недостаток: на завтрак, на обед, на ужин он дает одно только шведское мясо. Он хороший вождь, но повар неважный. И плохо делает! От

такой пищи война скоро опротивеет самым лучшим кавалерам.

— А Чарнецкий очень сердился на меня?

— Нет! Не очень! Сначала был, видно, очень взволнован, но, когда узнал, что войска не разбиты, сейчас же сказал: «Божья воля. Это ничего, говорит, каждому может случиться проиграть битву; если бы у нас, говорит, были одни Сапеги, страна наша была бы страной Аристидов».

— Для пана Чарненкого крови не пожалею! — ответил гетман. — Каждый на его месте унизил бы меня, чтобы возвысить себя, особенно после новой победы, но он не из таких.

— Я ни в чем его упрекнуть не могу, скажу только, что я уже слишком стар для такой службы, какой он требует от солдата, особенно для таких кушаний, которыми он угощает войско.

— Так вы рады, что вернулись ко мне?

— Рад и не рад: об ужине я уж целый час слышу, а его что-то не видно.

— Сейчас сядем за стол. А что пан Чарнецкий думает теперь предпринять?

— Идет в Великопольшу, чтобы помочь тамошнему населению, оттуда же пойдет против Штейнбока и в Пруссию, рассчитывая получить в Гданьске пушки и пехоту.

— Жители Гданьска добрые граждане! Они всей Речи Посполитой служат примером. Значит, мы встретимся с Чарнецким под Варшавой, ибо я туда отправлюсь и только на время остановлюсь под Люблином.

— Значит, шведы опять осадили Люблин!

— Несчастный город. Я не знаю даже, сколько раз он был в руках неприятеля? Здесь есть депутаты от люблинской шляхты, которые, наверно, будут просить, чтобы я их спасал. Но так как я должен написать письма к королю и гетманам, то им придется обождать.

— В Люблин и я пойду охотно, там женщины больно хороши. Если которая из них, нарезывая хлеб, прижмет его к груди рукой, то даже корка бесчувственного хлеба краснеет от удовольствия.

— Ах, турок вы этакий!

— Вы, ваша вельможность, как человек пожилой, не можете этого понять, но мне ежегодно в мае приходится пускать себе кровь!

— Да ведь вы старше меня!

— Опытностью только, но не годами; а так как я умел *conservare juventutem meam*⁵⁶, то многие завидуют мне. Позвольте мне, ваша вельможность, принять люблинскую депутацию, я ей и пообещаю сейчас идти на помощь: пусть, бедняги, утешатся.

— Хорошо, — сказал гетман, — а я пойду писать письма! — И вышел из комнаты.

Сейчас же впустили люблинскую депутацию, и пан Заглоба принял ее с величайшим достоинством и обещал помощь под условием снабжения армии провиантом, а в особенности всевозможными напитками. Потом он от имени воеводы пригласил депутатов к ужину. Они были рады, так как войско этой же ночью двинулось к Люблину. Гетман сам торопился, так как ему хотелось как можно скорее какой-нибудь победой смыть сандомирское поражение.

Началась осада, но она подвигалась очень вяло. Все это время Кмициц учился у Володыевского фехтовальному искусству и делал громадные успехи. Пан Михал, зная, что эти уроки отразятся на шее Богуслава, открыл ему все свои тайны. У них была теперь хорошая практика: они подходили к замку и вызывали на поединок

⁵⁶ Сохранить свою молодость (*лат.*).

шведов, которых много убили. Вскоре Кмициц дошел до того, что мог устоять против Яна Скшетуского, а в сапежинском войске никто не мог против него устоять. Тогда его охватило такое дикое желание помериться с Богуславом, что он едва мог усидеть под Люблином, тем более что весна вернула ему здоровье и силы. Раны его зажили, он перестал харкать кровью, глаза его по-прежнему были полны огня. Ляуданцы сначала посматривали на него косо, но не смели его задевать, так как Володыевский держал их в железных руках. Потом, видя его подвиги, они помирились с ним совсем, и даже Юзв Бутрым говаривал:

— Кмициц умер, живет Бабинич, а ему — многая лета!

Наконец, к великой радости солдат, люблинский гарнизон сдался, и Сапега двинул свои полки к Варшаве. По дороге он получил известие, что сам Ян Казимир вместе с гетманами и новым войском придет к нему на помощь. Пришли известия от Чарнецкого, который тоже спешил из Великопольши к столице. Война, разбросанная раньше по всей стране, сосредоточилась теперь под Варшавой, как тучи, блуждающие по небу, собираются, чтобы разразиться громом и молниями.

Пан Сапега шел через Желехов, Гарволин и Минск по седлецкой дороге, чтобы в Минске соединиться с полесским ополчением. Им командовал Ян Скшетуский, так как он жил возле полесской границы и был известен всей тамошней шляхте, которая ценила его как одного из самых знаменитых рыцарей Речи Посполитой. Вскоре ему удалось составить из воинственной шляхты несколько полков, ничем не уступавших регулярному войску.

Из Минска войско стало быстро подвигаться к Варшаве, чтобы через день быть уже под Прагой. Погода благоприятствовала походу. Временами перепадал майский дождик, освежал землю и прибивал пыль на дороге, и, в общем, время было чудное, не слишком жаркое и не слишком холодное. Войска из Минска шли без обоза и орудий. Орудия и обоз должны были выступить через день. Настроение солдат было прекрасное; густые леса по обеим сторонам дороги гремели отголосками солдатских песен, лошади весело фыркали. Полки подвигались один за другим в образцовом порядке и плыли, как огромная сверкающая река, так как пан Сапега вел с собой двенадцать тысяч войска, не считая ополченцев. Ротмистры, объезжая полки, сверкали своими панцирями. Красные значки раскачивались над головами рыцарей, подобно огромным цветам.

Солнце уже заходило, когда ляуданский полк, шедший впереди, увидел башни столицы. И радостный крик вырвался из груди солдат:

— Варшава! Варшава!

Крик этот громом прокатился по всем полкам, и некоторое время на протяжении нескольких верст только и слышно было слово: «Варшава! Варшава!»

Многие из сапежинских рыцарей никогда не были в столице, многие совсем ее не видали, и вид ее произвел на них громадное впечатление. Все невольно остановили лошадей; некоторые сняли шапки, другие начали креститься, у иных слезы ручьем лились из глаз, и они стояли молча, в волнении. Вдруг появился Сапега на белом коне и, обгоняя полки, кричал:

— Мосци-панове, мы пришли сюда первыми! Нас ждет великое счастье и честь выгнать шведов из столицы!

— Выгоним! — раздались голоса двенадцати тысяч литовских солдат. — Выгоним! Выгоним! Выгоним!

И поднялся гул и шум. Бряцание сабель смешалось с криками рыцарей. Глаза всех метали молнии, зубы сверкали из-под усов. Сам Сапега сиял, как заря. Вдруг он поднял булаву вверх и крикнул:

— За мной!

Близ Праги гетман задержал полки и приказал идти тихим шагом. Столица все явственнее выделялась из синей дали. Высокие черепичные крыши Старого Города

горели в лучах вечерней зари. Литвины никогда не видели ничего величественнее этих белых высоких стен, со множеством маленьких окон; дома, казалось, вырастали один над другим все выше и выше; а над этой сдавленной массой труб, стен, окон возвышались готические башни. Те из солдат, которые уже бывали в столице на выборах или по своим делам, объясняли товарищам, что представляло собой каждое здание и как оно называлось.

Заглоба, как человек бывалый, давал подробные объяснения своим ляуданцам, а они слушали его внимательно, удивляясь и тому, что он говорил, и самому городу.

— Взгляните вот на эту башню в середине Варшавы, — говорил он. — Это *arx regia*!⁵⁷ Если бы я прожил столько лет, сколько обедов съел у короля, я бы оставил с носом самого Мафусаила. У короля не было более близкого советника, как я. Староства я мог выбирать, как орехи, а раздавать их так же легко, как кружки пива. Многих я вывел в люди, а когда я входил, сенаторы в пояс мне кланялись. Участвовал и в поединках на глазах короля, ибо он любил видеть меня в деле.

— Здоровенное здание! — сказал Рох Ковальский. — И подумать, что все это в руках этих чертовых детей!

— А грабят они как! — прибавил Заглоба. — Слышал я, будто колонны даже вырывают из земли и увозят в Швецию, а колонны ведь из мрамора и прочих дорогих камней. Я не узнаю родных углов, а ведь историки справедливо называют замок восьмым чудом света; у короля французского тоже недурной дворец, но этому он и в подметки не годится. Это костел Святого Яна. К нему есть ход из замка. В этом костеле мне было видение. Однажды стою я на вечерне, вдруг слышу голос с вышины: «Заглоба, будет война с таким-сяким шведским королем и будут великие бедствия!» Я сейчас к королю и говорю, что слышал, а тут ксендз-примас меня по шее жезлом: «Не говори глупостей, ты был пьян!»... Вот теперь и потеют! Второй костел рядом — *collegium jesuitarum*⁵⁸, третья башня вдали — тюрьма, вправо — маршалковская башня. Всего я вам не назову, хотя бы я работал языком, как саблей.

— Должно быть, в мире нет другого такого города! — воскликнул один из солдат.

— Поэтому-то нам и завидуют все нации.

— А это чудесное здание налево от замка?

— Это дворец Радзейовских, прежде Казановских. Его считают девятым чудом света, но провалиться ему: в его стенах и начались несчастья Речи Посполитой.

— Как так? — спросило несколько голосов.

— Когда подканцлер Радзейовский стал ссориться и воевать с женой, король вступился за нее. Вы, Панове, знаете, что люди толковали, да и сам подканцлер думал, что его жена влюблена в короля, а король в нее; вот он из ревности и ушел к шведам, и началась война. Правду говоря, я тогда в деревне сидел и не видел конца этой истории, но знаю, что она дарила нежные взгляды не королю, а кому-то другому.

— Кому же?

— Да тому, к кому все женщины лезли, как муравьи к меду; не пристало мне называть его по имени: терпеть я не могу самохвальства... Притом постарел человек, истрепался как метла, выметая врагов отчизны, но когда-то при дворе не было равного мне по красоте и обхождению. Вот Ковальский свидет...

Но тут Заглоба спохватился, что Рох ни в коем случае не может помнить того времени, а потому только махнул рукой и сказал:

— Впрочем, что он там знает!

Затем он показал еще товарищам дворец Оссолинских и Конецпольских,

⁵⁷ Королевский замок (*лат.*).

⁵⁸ Школа иезуитов (*лат.*).

который по величине почти равнялся дворцу Радзейовского; наконец, великолепную villa regia⁵⁹. В это время солнце зашло и стемнело.

На стенах Варшавы раздались пушечные выстрелы, и трубы долгими, протяжными звуками возвестили о приближении неприятеля.

Пан Сапега тоже возвестил о своем приходе пальбой из самопалов, чтобы ободрить жителей, и в ту же ночь стал переправлять войска через Вислу. Первым переправился ляуданский полк, за ним полк пана Котвича, за ним татары Кмицица, полк Ваньковича и, наконец, остальные восемь тысяч человек. Таким образом шведы вместе с награбленной добычей, были окружены и отрезаны от подвоза провианта, а пану Сапеге не оставалось ничего другого, как ждать, пока с одной стороны не подойдет Чарнецкий, с другой — король вместе с коронными гетманами, а пока следить за тем, чтобы в город к шведам не проникло какое-нибудь подкрепление.

Первое известие пришло от Чарнецкого, но не совсем благоприятное: он писал, что войско и лошади так утомлены, что он не может принять никакого участия в осаде. Со времени битвы под Варкой он ежедневно был в огне, а с начала года участвовал в двадцати одном крупном сражении со шведами, не считая мелких стычек с небольшими отрядами. В Поморье он пехоты не получил, в Гданьск пробраться не мог и обещал самое большее — задержать ту шведскую армию, которая стояла у Нарева под командой Радзивилла, брата короля и Дугласа, так как она рассчитывала прийти на помощь осажденным.

Шведы готовились к обороне со свойственным им мужеством и искусством. Еще до прихода пана Сапеги они сожгли Прагу, а теперь стали осыпать гранатами все предместья — Краковское, Новый Свет, а с другой стороны костелы Святого Георгия и Пресвятой Девы. Горели дома, здания и костелы. Днем над городом клубился дым, подобно густым черным тучам. Ночью эти тучи становились красными, и снопы искр взвивались из них к небу. За стенами блуждали толпы горожан без пристанища, без хлеба; женщины окружали лагерь Сапеги, умоляя о милосердии. Можно было видеть детей, высохших от голода как щепки, умиравших от истощения в объятиях исхудалых матерей; все окрестности города стали юдолью плача и нищеты.

Пан Сапега, не имея ни пехоты, ни пушек, все ждал и ждал прихода короля, помогал, насколько мог, бедным и рассылал их партиями в менее разоренные местности, где они кое-как могли прокормиться. Он был немало озабочен предстоящими трудностями осады, так как ученые шведские инженеры превратили Варшаву в сильную крепость. За стенами сидело три тысячи превосходно обученных солдат под предводительством искусных и опытных генералов; да и вообще шведы были мастерами в деле защиты крепостей. Стараясь утешиться, Сапега каждый день устраивал пиры с обильными возлияниями, так как у этого доблестного гражданина и недюжинного полководца был тот недостаток, что он всему предпочитал веселую компанию и звон стаканов, часто даже пренебрегая службой.

Но днем он своей ревностной деятельностью искупал вечерние грешки. Он рассылал во все стороны разъезды, писал письма, сам объезжал стражу, сам допрашивал пленных. Но вместе с первой звездой в его квартире часто слышались звуки скрипок. Развеселившись, он позволял все: сам посылал за офицерами, даже за теми, которые были на дежурстве или должны были отправиться с разведочными отрядами, и был недоволен, если кто-нибудь из них не являлся, так как на пирах любил побольше народу. Заглоба по утрам делал ему за это выговоры, но вечером самого его слуги часто относили замертво в палатку Володыевского.

— Сапега и святого до греха доведет, — оправдывался он на следующий день перед друзьями, — а я всегда любил повеселиться. А кроме того, у него страсть чуть

⁵⁹ Королевскую усадьбу (лат.).

не силой вливать в меня бокалы, а я, чтобы не быть неучтивым, уступаю перед насилием, так как у меня правило: не обижать хозяина. Но я уже дал обет будущим постом хорошенько бичевать себя плетью, ибо понимаю, что грех не может оставаться без покаяния, а пока мне придется от него не отставать, из страха, как бы он не попал в худшую компанию.

Были такие офицеры, которые исполняли свои обязанности и без гетманского надзора, но некоторые все бросали по вечерам, как вообще солдаты, не чувствующие над собой железной руки.

Шведы не замедлили этим воспользоваться.

Однажды, дня за два до прихода короля и гетманов, Сапега задал такой великолепный пир, как никогда. Он был рад, что все войска собираются в одно место и начнется настоящая осада. Все старшие офицеры были приглашены; гетман, всегда искавший повода попить, объявил, что пир этот устраивается в честь короля. Скшетуским, Кмицицу, Володыевскому и Харлампу было даже послано приказание обязательно явиться, так как гетман хотел почтить их за их огромные заслуги. Пан Андрей уже садился на коня, чтобы ехать на разведки, так что офицер встретил его татар уже за воротами.

— Вам нельзя обижать гетмана и заплатить неблагодарностью за его расположение к вам, — сказал офицер.

Кмициц слез с коня и пошел посоветоваться с товарищами.

— Это мне ужасно не на руку! — сказал он. — Я слышал, что под Бабицами появился какой-то значительный отряд. Сам же гетман велел мне ехать и непременно узнать, что это за солдаты, а теперь он приглашает меня на пир. Что мне делать?

— Гетман приказывает идти с отрядом Акбах-Улану, — ответил ординарец.

— Приказ так приказ, — сказал Заглоба, — а кто солдат, тот должен слушаться! Берегитесь давать дурной пример! К тому же с вашей стороны было бы неразумно сердить гетмана.

— Скажите, что я явлюсь! — сказал Кмициц офицеру.

Офицер ушел. Акбах-Улан уехал с татарами, пан Андрей пошел одеваться и тем временем говорил товарищам:

— Сегодня пир в честь короля, завтра будет в честь гетманов коронных — и так до конца осады!

— Пусть только король придет, и все это кончится, — ответил Володыевский, — ибо хотя и наш государь любит повеселиться, но осада пойдет лучше, так как все, а в том числе и пан Сапега, захотят показать себя ревностными служаками.

— Да, нечего и говорить — это уж слишком, — сказал Ян Скшетуский. — Разве вас не удивляет, что у этого столь даровитого вождя, достойного гражданина и добродетельного человека такая слабость?

— Как только наступает вечер, он становится другим человеком: из великого гетмана он превращается в гуляку!

— А знаете, почему мне так не нравятся эти пиры? — сказал Кмициц. — Ведь и Януш Радзивилл каждый вечер их устраивал. И представьте себе, что все складывалось как-то странно: что ни пир, то случалось какое-нибудь несчастье, получались дурные известия или обнаруживалась новая измена гетмана. Не знаю, случайность ли это или судьба, но всегда это случалось во время пиров. Наконец, дошло до того, что, как только начинали накрывать столы, у нас мороз пробежал по коже.

— Правда, видит Бог, правда! — сказал Харламп. — Но объясняется это и тем, что гетман всегда выбирал ночное время для сношения с неприятелями отчизны.

— Ну, за Сапегу нам нечего опасаться, — сказал Заглоба. — Если он когда-либо изменит, то я гроша медного не стою!

— Об этом никто и не говорит! — воскликнул Володыевский.

— О чем он вечером забудет, то сделает днем, — сказал Харламп.

— Ну, пойдем! — сказал Заглоба. — Правду говоря, в желудке у меня пусто. Они вышли, сели на коней и поехали, так как пан Сапега квартировал в другой части города и туда было довольно далеко. Подъехав к квартире гетмана, они увидели на дворе множество лошадей и толпу конюхов, для которых тоже была поставлена бочка пива, они, как всегда, пили без меры и уже затеяли было драку из-за бочки, но присмирели, увидев рыцарей, особенно пана Заглобу, который стал колотить тех, что стояли на дороге, и кричать:

— К лошадям, бездельники! К лошадям! Не вас пригласили на пир!

Пан Сапега принял друзей, как всегда, с распростертыми объятиями, а так как он был уже немного под хмельком, то начал сейчас же пикироваться с Заглобой.

— Челом, пан командир! — сказал он.

— Челом, пан виночерпий! — ответил Заглоба.

— Если я виночерпий, то я дам тебе такого вина, какого ты не пивал.

— Уж не того ли, от которого гетманы пьяницами делаются? Некоторые из гостей, слыша это, даже испугались, но пан Заглоба разрешал себе все, когда гетман был в хорошем расположении духа, а Сапега питал к нему такую слабость, что не только не сердился, но от души хохотал, призывая всех в свидетели, как обижает его этот шляхтич.

Начался шумный и веселый пир. Пан Сапега чокался с гостями, провозглашал тосты за короля, гетманов, за войска обоих народов, за Чарнецкого и всю Речь Посполитую. От тостов перешли к песням. В комнате стоял сильный запах пота, вин и меда; на дворе был не меньший шум, слышался даже лязг сабель. Это челядь стала драться между собой. Несколько человек шляхты выбежали на двор, чтобы навести порядок, но подняли только еще большую суматоху.

Вдруг поднялся такой страшный крик, что пировавшие умолкли.

— Что это? — спросил один из полковников. — Конюхи не могут поднять такого шума.

— Тише, мосци-панове, — сказал с беспокойством гетман.

— Это не обыкновенные крики.

Вдруг все окна дрогнули от залпа пушек и мушкетов.

— Вылазка! — крикнул Володыевский. — Неприятель наступает.

— На коней! К оружию!

У дверей была давка — толпа офицеров выбежала на двор. Все вскочили с мест и кричали конюхам подавать лошадей. Но в суматохе нелегко было найти своего коня. Между тем со всех сторон раздавались в темноте крики:

— Неприятель наступает. Пан Котвич под огнем.

Все во весь опор бросились к своим полкам, перескакивая через заборы. Во всем лагере били тревогу. Не у всех полков были под рукой лошади, и там-то и началось замешательство. Толпы пеших и конных солдат сбились в кучу, не могли выстроиться и в темноте не отличали своих от неприятеля. Некоторые кричали, что это наступает сам шведский король со всей армией.

Между тем шведы, сделав вылазку, действительно бешено ударили по солдатам Котвича. К счастью, сам он, будучи не совсем здоров, не был на пиру у гетмана и поэтому мог дать кое-какой отпор неприятелю, но ненадолго, так как на него напал большой отряд и открыл сильнейший огонь, так что Котвичу пришлось отступить.

Оскерко первый пришел к нему на помощь со спешившимися драгунами. На выстрелы ответили выстрелами, но драгуны Оскерки тоже не могли выдержать натиска и стали поспешно отступать, устилая поле трупами. Два раза Оскерко пытался устоять на месте и оба раза был разбит, так что его солдаты могли только

отстреливаться кучками. Наконец, они рассеялись совершенно, а шведы наступали, как неудержимый поток, к квартире гетмана. Из города в поле выходили свежие полки; с пехотой шла конница, вывезены были даже полевые орудия. Все предвещало решительную битву, и сам неприятель, казалось, ее желал.

Между тем Володыевский, выбежав из квартиры гетмана, встретил свой полк уже в дороге; он уже мчался по направлению выстрелов, так как всегда был наготове. Вел его Рох Ковальский, который, как и Котвич, тоже не был на пиру, но потому, что его не пригласили. Володыевский велел сейчас же зажечь несколько построек, чтобы осветить поле, и помчался в битву. По дороге к нему присоединился Кмициц со своими ужасными волонтерами и теми татарами, которые не пошли на разведки. Оба они пришли вовремя, чтобы спасти Котвича и Оскерку от окончательного поражения.

Между тем постройки разгорелись так хорошо, что было светло как днем. При свете пожара ляуданцы с татарами Кмицица атаковали полк пехоты и, выдержав огонь, принялись рубить пехоту саблями; на помощь пехоте двинулись рейтары и схватились с ляуданцами. Одно время они напирали друг на друга, как борцы, которые, схватив друг друга в охапку, напрягают последние силы, чтобы сдвинуть противника с места. Но у шведов люди стали падать в таком количестве, что они смешались. Кмициц со своими забияками бросался в самую гущу; Володыевский, по обыкновению, оставлял пустоту вокруг себя, около него работали Скшетуские, Харлампы и Рох Ковальский; ляуданцы, казалось, хотели перещеголять забиякам Кмицица, одни рубили с громким криком, другие, как, например, Бутрымы, молча.

На помощь разбитым шведам подоспели новые полки, а Володыевского и Кмицица поддержал Ванькович, который стоял в лагере неподалеку от них и потому вскоре был готов. Наконец гетман привел в порядок все войско и начал наступать. По всей линии от Мокотова до Вислы разгорелась жестокая битва.

Вдруг Акбах-Улан, ездивший на разведки, примчался к гетману на взмыленном коне и крикнул:

— Эффенди, чамбул конницы идет от Бабиц к городу и ведет возы с провиантом, пробираясь в крепость.

Сапега сразу понял, что значила эта вылазка в сторону Мокотова. Неприятель хотел отвлечь войска, стоящие на блонской дороге, чтобы дать возможность обозу и конному конвою проникнуть в крепость.

— Скачи к Володыевскому, — крикнул он Акбах-Улану, — пусть ляуданцы, Кмициц и Ванькович преградят им дорогу; я сейчас же пришлю им подкрепление.

Акбах-Улан помчался вихрем, за ним полетели еще два гонца. Все они повторили Володыевскому приказ гетмана.

Володыевский тотчас повернул свой полк, Кмициц с татарами догнал его, и они помчались напрямик; Ванькович за ними.

Но они опоздали. Около двухсот возов въезжали уже в городские ворота, а сопровождавший их великолепный отряд тяжелой конницы почти весь был уже под защитой крепостных орудий. Только арьергард в сто человек находился еще вне линии крепостного огня. Офицер, ехавший сзади, подгонял его.

Кмициц, увидев их при блеске горевших строений, издал такой страшный и пронзительный крик, что ближайшие лошади шарахнулись в сторону: он узнал рейтар Богуслава, тех самых, которые смяли его и его татар под Яновом.

И, забыв обо всем, он бросился к ним, как бешеный, опередив своих людей, и сломя голову ворвался в ряды шведов. К счастью, вместе с ним ворвались и два молодых Кемлича, Козьма и Дамьян. В эту минуту Володыевский налетел ураганом, перехватил дорогу и отрезал арьергард от главного отряда.

На стенах загрохотали орудия, но главный отряд, пожертвовав своими товарищами, поспешно скрылся вместе с возами в крепость. Тогда ляуданцы и солдаты Кмицица кольцом окружили арьергард, и началась беспощадная резня.

Но она продолжалась недолго. Люди Богуслава, видя, что неоткуда ждать помощи, мигом соскочили с коней, побросали оружие и кричали, что сдаются.

Ни волонтеры, ни татары не обращали на это внимания и продолжали Рубить, но в ту же минуту раздался пронзительный и грозный голос Володыевского, который хотел получить свежие сведения.

— Братъ живьем! Не смей! Братъ живьем!

— Живьем братъ! — крикнул Кмициц.

Лязг железа прекратился. Вязать пленных приказали татарам, и они, со свойственной им ловкостью, сделали это в одну минуту, и затем полки поспешно отступили из-под огня орудий.

Полковники повернули к строениям. Ляуданпы шли впереди, полк Ваньковича в конце, а Кмициц с пленными посередине, все наготове, чтобы отразить возможное нападение. Одни из татар вели на аркане пленных, другие держали отнятых лошадей. Подъехав к строениям, Кмициц внимательно всматривался в лица пленников, в надежде увидеть между ними лицо Богуслава, так как хотя один из рейтар под ножом и поклялся ему, что Богуслава не было в отряде, но он все же думал, что рейтар это скрывает.

Вдруг внизу, с земли, раздался чей-то голос:

— Пан Кмициц! Пан полковник! Спасите знакомого! Прикажите меня развязать на слово!

— Гасслинг! — воскликнул Кмициц.

Гасслинг был шотландец, бывший офицер князя-воеводы виленского, которого Кмициц знал в Кейданах и когда-то очень любил.

— Пусти пленника, — крикнул он татарину, — а сам долой с коня!

Татарин свалился с седла, точно его ветром сдуло: он знал, как опасно было медлить, когда приказывает «багадырь».

Гасслинг, кряхтя и стеля, взобрался на высокое седло ордынца.

Вдруг Кмициц схватил его за руку повыше ладони и, сжимая ее так, точно хотел раздавить, спросил быстро:

— Откуда едете? Скажите сейчас же, откуда едете? Ради бога, скорей!!

— Из Тауруг! — ответил офицер.

— Александра Биллевич... там?

— Там!

— И... что же князь с нею сделал?

— Ничего не добился.

Наступило молчание. Немного погодя Кмициц снял свой рысий колпак, провел рукой по лбу и сказал:

— Меня ранили в стычке, кровь идет, я ослаб...

XII

Шведская вылазка отчасти достигла цели, так как отряд Богуслава все же проник в город, но зато она не причинила большого урона полякам. Правда, полк Котвича и драгуны Оскерки сильно пострадали, но и шведы устлали трупами поле битвы, а один полк пехоты, на который напали Володыевский и Ванькович, был почти совсем уничтожен. Литвины даже хвастались, что потери у неприятеля были больше, чем у них. Один только Сапега терзался тем, что его постигла новая «конфузил», от которой могла пострадать его слава. Полковники утешали его как могли, и, говоря правду, этот случай послужил ему на пользу, так как с этих пор прежние пиры более не повторялись, а если и случалась какая-нибудь вечеринка, то в это время всегда бывали усиливаемы сторожевые отряды. Шведы, думая, что гетман не может ожидать так скоро второй вылазки, повторили ее в следующую же ночь; они снова

вышли из крепости, но были отбиты и вернулись в крепость, потеряв несколько человек.

Между тем в квартире гетмана допрашивали Гасслинга, что очень раздражало нетерпеливого Кмицица, так как он хотел заполучить его как можно скорее к себе и расспросить о Таурогах. Весь день бродил он возле квартиры гетмана, то и дело заходил внутрь, слушал ответы и даже вскакивал с места, когда при допросе упоминалось имя Богуслава.

Вечером он получил приказ отправиться на разведки. Кмициц ничего не сказал, только стиснул зубы, так как он очень изменился, научившись откладывать личные дела ради службы. Только с татарами он был в дороге очень строг и за малейшую провинность колотил их буздыганом. А татары говорили между собою, что «багадырь» взбесился, и шли за ним как собачонки, заглядывая ему в глаза и стараясь угадывать его мысли.

Вернувшись, он застал Гасслинга у себя, но тот был так болен, что не мог говорить. Когда татары брали его в плен, они его сильно помяли, и теперь, после целого дня допроса, с ним случился приступ лихорадки, и он даже не понимал вопросов. Поэтому Кмициц должен был довольствоваться тем, что передал ему Заглоба о допросе Гасслинга, но это касалось общественных дел, а не частных. Молодой офицер сообщил о Богуславе только то, что он после похода в Полесье и после яновского поражения был очень болен. Его мучила лихорадка. Когда же он оправился, он пошел на Поморье, куда его вызывали Штейнбок и курфюрст.

— А где он теперь? — спросил Кмициц.

— Судя по словам Гасслинга (а ему нечего было врать), он стоит с братом короля у Нарева и Буга и командует всей конницей, — ответил Заглоба.

— И они думают прийти сюда на помощь. Там мы встретимся, видит Бог, встретимся, хотя бы мне пришлось идти к нему переодетым.

— Не горячитесь даром. Они бы и рады идти на помощь Варшаве, да не могут, так как Чарнецкий стоит у них на пути, и вот каково положение дела: Чарнецкий без пехоты и орудий не может напасть на лагерь, а они боятся выйти против него, так как убедились на деле, что в открытом поле им не сладить с солдатами Чарнецкого. Будь там король, он дал бы сражение, так как под его командой и солдаты лучше дерутся, зная, что это великий воин, но ни Дуглас, ни брат короля, ни князь Богуслав, хотя все они смельчаки, не решатся вступить в бой.

— А где король?

— Отправился в Пруссию. Король не верит, что мы двинулись к Варшаве и осаждаем Виттенберга. Впрочем, верит ли он или нет, он должен был идти туда по двум причинам. Во-первых, чтобы окончательно привлечь на свою сторону курфюрста, хотя бы ценой всей Великопольши, во-вторых, потому, что войско, которое он вывел из ловушки, никуда не годно, пока не отдохнет. Труды, бессонные ночи и постоянные тревоги так его истощили, что солдаты не могут удержать мушкетов в руках, а ведь это лучшие полки во всей армии, которые одержали столько блестящих побед в немецких и датских странах.

Дальнейший их разговор был прерван приходом Володыевского.

— Ну, как Гасслинг? — спросил он еще на пороге.

— Болен и ничего не сознает, — ответил Кмициц.

— А тебе, Михал, что нужно от Гасслинга? — спросил Заглоба.

— Будто вы не знаете?

— Мне-то не знать, что ты хлопочешь о той вишне, которую Богуслав посадил в своем саду? Садовник он хороший, не беспокойся! Не пройдет и года, как у него уже плоды будут.

— Чтобы вам пусто было за такое утешение! — крикнул Володыевский.

— Смотрите-ка, и пошутить с ним нельзя, сейчас начнет усами поводить, как

майский жук! Я-то чем виноват? Мсти Богуславу, а не мне!

— Даст Бог, поищу и найду!

— То же самое говорил только что Бабинич. В скором времени, вижу, все войско поклянется ему мстить, но у него тоже ушки на макушке, и без моих фортелей вы ничего с ним не поделаете.

При этих словах Кмициц и Володыевский вскочили со своих мест.

— Вы придумали какой-нибудь фортель?

— Вы полагаете, что придумать фортель так же легко, как вынуть саблю из ножен? Если бы Богуслав был здесь, я бы уж, наверное, придумал не один, но на таком расстоянии его не проймет не только фортель, но и пушка. Пан Андрей, прикажи-ка дать мне кружку меда, сегодня что-то жарко!

— Хоть целую бочку, только выдумайте что-нибудь!

— Прежде всего, чего вы пристали к этому Гасслингу? Не его одного взяли в плен, можете и других расспросить.

— Я уже их допрашивал, но это какие-то олухи, ничего не знают, а он, как офицер, бывал при дворе, — ответил Кмициц.

— И то правда! — ответил Заглоба. — Я тоже должен с ним поговорить: от того, что он мне скажет о личности и привычках князя, могут зависеть и мои фортели. Главное, чтобы скорее кончилась осада, и тогда мы, наверно, двинемся против той армии. Но что-то долго не видно нашего государя и гетманов.

— Как? — перебил Володыевский. — Я возвращаюсь от гетмана, который только что получил известие, что король с придворными полками прибудет еще сегодня вечером, а гетманы с войском — завтра. От самого Сокаля он идет, почти не отдыхая. Впрочем, мы и так ждали их со дня на день.

— Много с ними войска?

— Почти в пять раз больше, чем у Сапеги; с ними великолепная русская и венгерская пехота, шесть тысяч орды под командой Субагази, но за ней, говорят, нужно глядеть в оба, она пошаливает и грабит.

— Вот бы назначить пана Андрея их начальником, — сказал Заглоба.

— Ого! Я бы их сейчас из-под Варшавы увел, так как они для осады никуда не годятся, и повел бы к Бугу и Нареву, — ответил Кмициц.

— Ну нет, пригодятся, — сказал Володыевский, — никто лучше их не сможет следить за тем, чтобы провиант не попал в крепость.

— Значит, теперь Виттенбергу придется туго! Погоди, старый вор! — воскликнул Заглоба. — Ты воевал хорошо, этого я не отрицаю, но крал и грабил, еще лучше. У тебя два языка было — один для ложных присяг, другой — для ложных обещаний, но теперь оба они тебе не помогут vykлянчить себе прощение. Чешется у тебя кожа от галльской болезни, и медики ее чешут, а мы тебе ее еще лучше начешем, это дело Заглобы!

— Он сдастся на капитуляцию королю, и что мы тогда с ним сделаем? — сказал пан Михал. — Нам еще придется оказывать ему воинские почести...

— На капитуляцию, да? — крикнул Заглоба. — Ладно!

Тут он стал с такой силой бить кулаком по столу, что Рох, который в эту минуту вошел в комнату, остановился как вкопанный.

— Пусть я буду последним слугой у жида, — кричал старик, — если выпущу из Варшавы этого врага нашей веры, этого грабителя костелов, этого насильника, этого палача мужчин и женщин, этого поджигателя, этого шельму, этого цирюльника, пускающего нашу кровь, этого крысолова! Ладно! Пусть король и гетманы отпустят его на капитуляцию, но я, Заглоба, как желаю себе счастья в жизни и спасения после смерти, подниму против него такой шум, о каком еще никто в Речи Посполитой не слышал. Не махай рукой, Михач! Повторяю, подниму шум!

— Дядя поднимет шум! — прогремел Рох.

Вдруг из-за двери показалось зверское лицо Акбах-Улана.

— Эффенди, — сказал он Кмицицу, — войска короля видны за Вислой.

Все вскочили со своих мест и выбежали из комнаты. Действительно, прибыл король. Прежде всего пришли татарские полки под предводительством Субагази, но не в таком большом количестве, как ожидали. За ними явились коронные войска, отлично вооруженные и полные воодушевления. К вечеру вся армия перешла по мосту, который только что построил Оскерко. Сапега ждал короля, построив войска в боевом порядке. Коронные полки, перейдя мост, остановились против литовских, так что между ними оставалось пустое пространство шагов во сто.

Сапега с булавой в руке пешком вышел на это открытое пространство, за ним следовало несколько знатных военных и гражданских сановников. С другой стороны от коронных войск подъехал король на великолепном жеребце, подаренном ему маршалом Любомирским. Он был одет в легкий панцирь голубого цвета, из-под которого был виден черный бархатный кафтан с белым кружевным воротником; на голове его вместо шлема была надета обыкновенная шведская шляпа с черными перьями, на руках боевые рукавицы и на ногах длинные, выше колен, сапоги темно-коричневого цвета.

За ним ехал нунций, архиепископ львовский, епископ каменецкий, ксендз Цецишовский, воевода краковский, воевода русский, барон Лизоля, граф Петтинген, пан Каменецкий, московский посол, пан Гродзицкий, генерал артиллерии, Тизенгауз и много других. Сапега бросился было к королю, чтобы придержать ему стремя, но король легко соскочил с коня, подбежал к Сапеге и, не говоря ни слова, обнял его.

И долго держал он его в объятиях на глазах у обоих войск; он молчал, только слезы катились у него по лицу, так как в эту минуту он прижимал к своей груди самого верного своего слугу, который хотя и не мог равняться с Другими одаренностью и часто делал ошибки, но честностью превосходил всех магнатов Речи Посполитой, был непоколебим в своей верности, пожертвовал для отчизны всем своим состоянием и с начала войны собственной своей грудью защищал монарха и отчизну.

Литвины, которые думали прежде, что король сделает выговор или, по крайней мере, холодно встретит Сапегу, за то, что он выпустил Карла из ловушки под Сандомиром и сделал оплошность под Варшавой, при виде такой сердечной доброты короля, приветствовали его восторженными криками. Им ответили громовые крики в коронных войсках, покрывшие собой треск барабанов и грохот салютов.

— Vivat Ян Казимир!

— Vivat коронные!

— Vivat литвины!

Так встретили друг друга войска под Варшавой. Дрожали ее стены, дрожали за стенами шведы.

— Разревусь, видит Бог, разревусь! — кричал взволнованный Заглоба. — Не выдержу! Вот он, государь наш, отец (мосци-панове, я уже плачу!), отец... Наш король, недавно всеми покинутый, изгнанник, а теперь... теперь... смотрите, ведь тут сто тысяч сабель наготове! О Боже милосердный... Я не могу от слез... Вчера он был скитальцем, а сегодня... у императора австрийского нет таких войск.

Тут слезы ручьем полились по его лицу, он начал всхлипывать и вдруг, обратившись к Роху, сказал:

— Тише ты! Чего реवेशь?

— А разве вы, дядя, не ревете? — спросил Рох.

— Правда, ей-богу, правда... Я краснел, мосци-панове, за Речь Посполитую. Но теперь я не променяю ее ни какой другой народ... Сто тысяч сабель... Пусть другие покажут что-нибудь подобное!.. Слава богу, мы опомнились! Опомнились!

Пан Заглоба ошибся ненамного: под Варшавой действительно стояло около семидесяти тысяч войска, не считая вооруженной челяди, которая, в случае

надобности, тоже сражалась и несметные полчища которой всегда тащились за каждым войском.

После приветствий и беглого осмотра войск, король поблагодарил сапежинцев за верную службу и уехал в Уяздов⁶⁰, а войска стали занимать назначенные им позиции. Некоторые полки остались в Праге, другие расположились вокруг города. Громадный обоз переправлялся через Вислу до самого полудня.

На следующий день вся окрестность забелела, словно снегом, палатками. На ближайших лугах ржали несметные стада лошадей. За войском пришли армянские, еврейские и татарские купцы; на равнине вырос другой город, еще более обширный и шумный, чем осажденный.

Шведы, испуганные численностью польских королевских войск, не делали никаких вылазок, так что начальник артиллерии, Гродзицкий, мог спокойно объезжать город и составлять план осады.

На другой день челядь по его указаниям стала воздвигать шанцы, на которые втаскивали пока легкие орудия, так как тяжелые должны были подойти спустя несколько недель.

Король Ян Казимир послал Виттенбергу предложение сдать город и сложить оружие на очень легких условиях, которые возбудили большое неудовольствие во всем войске, когда о них узнали. Возбуждал это неудовольствие, главным образом, пан Заглоба, который питал особенную ненависть к этому шведскому генералу.

Виттенберг, как легко можно было предвидеть, отверг все предложения короля и решил защищаться до последней капли крови и скорее похоронить себя под развалинами города, чем сдать его в руки короля. Огромное количество осаждающих войск не пугало его, он знал, что это скорее мешает, чем помогает осаде. Кроме того, ему уже донесли, что в королевском лагере нет ни одного осадного орудия, а у шведов их было слишком достаточно, как и пороха.

Можно было предвидеть, что они будут защищаться отчаянно. Варшава служила им до сих пор складом добычи. Все несметные богатства, награбленные в замках, костелах и городах Речи Посполитой, свозились сначала в Варшаву, а оттуда перевозились речным путем в Пруссию и затем в Швецию. А в последнее время, когда восстала вся страна, в замках, защищаемых лишь небольшими гарнизонами, прятать добычу было рискованно, и ее приходилось отвозить в Варшаву. Шведский солдат скорее готов был жертвовать жизнью, чем добычей. Бедный народ, добравшись до сокровищ богатой страны, так разлакомился, что мир не видел более хищных грабителей. Сам король славился жадностью, генералы следовали его примеру, а всех превосходил Виттенберг. Когда дело касалось наживы, офицеров не могла удержать ни рыцарская честь, ни их чины. Они брали, выжимали, грабили все, что было возможно. В самой Варшаве полковники продавали своим солдатам табак и водку, чтобы их жалованьем набить свои карманы.

Кроме того, они должны были защищаться особенно яростно, потому что в Варшаве находились лучшие офицеры; там был Виттенберг, который первым вступил в пределы Речи Посполитой и довел ее до падения под Устьем; был канцлер Оксенсьерн, известнейший в мире дипломат, которого за честность уважали даже враги и которого называли Минервой короля, так как король постоянно слушался его советов при ведении переговоров; были генералы — Врангель-младший, Горн, Эрскин, второй Левенгаупт и много высокопоставленных шведских дам, которые приехали в эту страну за своими мужьями, как в новую шведскую провинцию. Значит, шведам было что защищать.

Ян Казимир понимал, что осада при отсутствии пушек будет тяжелая и кровавая,

⁶⁰ Королевский замок близ Варшавы.

понимали это и гетманы, но войско не хотело об этом думать. Не успел Гродзицкий возвести кое-какие окопы и чуть подвинуться к стенам, как к королю начали являться депутации с просьбой разрешить вылазку. Королю пришлось долго уговаривать их, что саблями крепостей не берут.

Тем временем осадные работы понемногу подвигались вперед; войско, не имея возможности идти на штурм, работало вместе с крестьянами, даже офицеры возили в тачках землю и делали подкопы под землей. Шведы не раз пытались помешать работам и ежедневно делали вылазки, но не успевала пехота выйти из-за ворот, как работавшие при окопах поляки бросали свои тачки, хватались за сабли и накидывались на шведов с такой яростью, что отряду приходилось сейчас же скрываться за стены. Во время этих стычек убитых бывало так много, что все пространство между окопами и крепостными стенами было усеяно могилами. Вскоре убитых перестали хоронить, и трупы лежали на поверхности земли, заражая воздух.

Несмотря на все трудности, городские жители каждый день пробирались из города в лагерь короля и доносили, что делается в городе, на коленях умоляя поспешить со штурмом. У шведов провианта было много, но жители умирали с голоду на улицах, жили в нищете под страшным гнетом гарнизона. Каждый день в королевский лагерь доносились отголоски ружейных выстрелов, и беглецы сообщали потом, что это расстреливают горожан, заподозренных в верности Яну Казимиру. Волосы дыбом вставали от этих рассказов. Говорили, что все население — даже больные женщины, новорожденные дети, старцы — ночует на улицах, так как шведы выгнали их из домов, в которых пробили проходы, чтобы гарнизон, в случае вступления польских войск в город, мог бы прятаться и отступать. Бездомное население мокло под дождем, а ночами мерзло от холода. Жителям воспрещали разводить огонь, и часто им не на чем было сварить горячую пищу. Стали свирепствовать всевозможные болезни и уносили сотни жертв.

У короля, когда он слушал эти рассказы, сердце разрывалось, и он слал гонцов за гонцами, чтобы ускорить присылку тяжелых орудий. Время шло, проходили дни, недели — ничего нельзя было предпринять, кроме отражения вылазок. Осаждающих подкрепляла мысль, что у осажденных рано или поздно истощатся запасы провианта, а все дороги были отрезаны и в город даже мышь не могла пробраться. И осажденные теряли надежду на помощь; армия Дугласа, стоявшая ближе всех, не только не могла поспешить с помощью, но сама должна была думать о своем спасении, потому что Ян Казимир, располагая такими огромными силами, мог окружить и ее.

До прибытия тяжелых орудий поляки начали обстреливать крепость из малых. Пан Гродзицкий, вырывая перед собой, как крот, земляные насыпи со стороны Вислы, придвинулся к крепости на расстояние шести шагов от рва и осыпал неустанным огнем несчастный город. Великолепный дворец Казановских был разрушен, но его не жалели, так как он принадлежал изменнику Радзейовскому. Едва держались потрескавшиеся стены, зияя пустыми отверстиями окон. На великолепные террасы и сады днем и ночью сыпались ядра, разрушая чудесные фонтаны, мосты, беседки, мраморные статуи и пугая павлинов, которые жалобным криком давали знать о своем несчастном положении.

Пан Гродзицкий осыпал огнем и колокольню бернардинцев, так как с этой стороны хотел начать штурм.

Между тем находящаяся в обозе челядь стала просить, чтобы ей позволено было напасть на город, так как ей хотелось добраться первой до шведской добычи. Король сначала отказал, но потом согласился. Несколько известных офицеров, а между ними и Кмициц, вызвались руководить штурмом. Кмицицу надоела бездеятельность, и он попросту не находил себе места, так как Гасслинг серьезно заболел и уже несколько недель лежал без сознания.

Раздался сигнал к штурму. Пан Гродзицкий противился ему до последней минуты, утверждая, что, пока не будет сделан пролом в стене, города нельзя взять, если бы даже в штурм пошла не челядь, а регулярная пехота. Но так как король дал уже разрешение, он должен был уступить.

15 июня собралось около шести тысяч обозной челяди, которая приготовила лестницы, вязанки хворосту и мешки с песком, и к вечеру толпа, вооруженная большей частью саблями, стала подвигаться к тому месту, где подкопы и земляные укрепления ближе всего подходили ко рву. Когда уже совсем стемнело, челядь с криком бросилась ко рву и начала засыпать его. Бдительные шведы встретили ее убийственным огнем из мушкетов и орудий, и вдоль стен города загорелась яростная битва. Чернь, под прикрытием темноты, в одно мгновение засыпала ров и добралась до самой стены. Кмициц во главе двух тысяч добровольцев напал на земляной форт, который поляки называли «кротовой норой», расположенный возле Краковских ворот, и, несмотря на отчаянную защиту, овладел им сразу. Гарнизон был истреблен до одного человека. Пан Андрей велел повернуть часть пушек к воротам, а остальные — к стене, чтобы помочь штурмующим и защитить хоть отчасти тех, которые пытались взобраться на стену.

Но им не повезло. Челядь приставляла лестницы и взбиралась на них с такой яростью, что самая отборная пехота не могла бы делать этого лучше, но шведы стреляли в нее прямо в упор, сталкивали вниз камни и бревна, под тяжестью которых ломались лестницы; кроме того, пехота спихивала их длинными копьями, против которых сабли ничего не могли поделать. Более пятисот человек пало под стенами, остальные скрылись за окопами польского лагеря.

Штурм был отражен, но форт остался в руках поляков. Тщетно шведы засыпали его огнем из самых крупных орудий; Кмициц отвечал им всю ночь огнем из захваченных у них пушек. И только утром, когда рассвело, пушки его были разбиты все до единой. Виттенберг, который дорожил фортом, как своей головой, отправил туда отряд пехоты с приказанием не возвращаться до тех пор, пока форт не будет взят обратно; но Гродзицкий сейчас же послал Кмицицу подкрепление, и он не только отбил атаку шведской пехоты, но даже преследовал ее до Краковских ворот.

Пан Гродзицкий до того обрадовался, что сам лично побежал к королю с донесением.

— Ваше величество! — сказал он. — Я вчера был против штурма, но теперь вижу, что он не пропал даром. Пока этот форт был в руках шведов, я не мог ничего поделать с воротами, но теперь, лишь только подоспеют орудия, я в одну ночь сделаю пролом.

Король, опечаленный тем, что во время штурма погибло так много народу, обрадовался и спросил:

— Кто теперь в этом форту?

— Пан Бабинич! — ответило несколько голосов.

Король захлопал в ладоши:

— Он всюду первый! Генерал, я его знаю! Это огонь, а не рыцарь, и шведам его не выкурить!

— Было бы непростительно, если бы мы позволили им это сделать. Я ему уже послал пехоту и пушки, так как шведы обязательно будут его оттуда выкуривать. Этот кавалер стоит столько золота, сколько весит сам!

— Больше! Это не первый и не десятый его подвиг! — сказал король.

Потом он приказал подать себе коня и подзорную трубу и поехал посмотреть на форт; но за дымом ничего не было видно, так как несколько орудий засыпали его ядрами и гранатами. Этот форт лежал так близко от городских ворот, что мушкетные пули почти долетали до него; превосходно можно было видеть, как гранаты взлетали вверх, подобно маленьким облачкам, и, описав дугу, падали за форт и не давали

подойти подкреплениям.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! — сказал король. — Тизенгауз, смотри!

— Ничего не видно, государь!

— Там останется только куча разрытой земли. Тизенгауз, ты знаешь, кто там сидит?

— Знаю, государь, Бабинич! Если он останется жив, то может сказать, что уже при жизни побывал в аду!

— Ему нужно послать свежих людей, генерал!

— Приказ уже отдан, но солдатам трудно подойти, так как гранаты падают и по эту сторону форта!

— Сейчас же открыть огонь из всех пушек по стенам, чтобы отвлечь внимание.

Гродзицкий пришпорил лошадь и помчался к шанцам. Через минуту загрохотали орудия по всей линии, а немного погодя свежий отряд мазурской пехоты вышел из окопов и бегом двинулся к «кротовой норе».

Король все стоял и смотрел. Наконец он крикнул:

— Следовало бы сменить Бабинича. Кто из вас, мосци-панове, согласится это сделать?

Наступила минута молчания, так как ни Скшетуских, ни Володыевского не было возле короля.

— Я! — отозвался вдруг пан Топор-Грылевский, офицер легкоконного полка имени примаса.

— Я! — повторил Тизенгауз.

— Я! Я! Я! — отозвалось еще несколько голосов.

— Отправится тот, кто первый вызвался, — сказал король.

Топор-Грылевский перекрестился, приложил флягу ко рту и побежал. Король все стоял и смотрел на облака дыма, которые застилали форт, поднимаясь над ним все выше, подобно мосту, до самых стен. Так как форт лежал ближе к Висле и городские стены возвышались над ним, то огонь был убийственный.

Между тем грохот орудий стал слабеть, хотя гранаты все еще продолжали летать и раздавались залпы ружейного огня, точно целые тысячи мужиков молотили на гумне.

— Видно, опять в атаку идут! — сказал Тизенгауз. — Если бы было меньше дыму, мы могли бы видеть пехоту...

— Подъедем ближе! — сказал король, пришпоривая лошадь.

За ними тронулись другие, и, подвигаясь по берегу Вислы, они подъехали почти к самому Сольцу. Так как шведы зимою вырубили дворцовые и монастырские сады, то они легко убедились даже без подзорных труб, что шведы снова бросились в атаку.

— Я предпочел бы лучше потерять эту позицию, — сказал король, — чем чтобы Бабинич там погиб!

— Бог сохранит его, — ответил ксендз Цецишовский.

— И пан Гродзицкий пошлет подкрепление, — прибавил Тизенгауз.

Дальнейший разговор прервало появление какого-то всадника, который во весь опор мчался со стороны-города. Тизенгауз, обладавший таким превосходным зрением, что невооруженным глазом видел лучше, чем другие в подзорную трубу, тотчас узнал его и, схватившись за голову, воскликнул:

— Грылевский возвращается. Вероятно, Бабинич убит и форт взят!

Король закрыл глаза руками, между тем Грылевский подскакал, осадил коня и, еле переводя дух, сказал:

— Ваше величество.

— Что? Убит? — спросил король.

— Пан Бабинич говорит, что ему там хорошо, и не желает смены, просит только

прислать им есть, так как они с утра ничего не ели.

— Значит, жив? — крикнул король.

— Говорит, что ему хорошо! — повторил Грылевский.

— Вот молодец!

— Вот солдат! — раздались голоса. Король сказал Грылевскому:

— Нужно было во всяком случае остаться и сменить его. Не стыдно ли вам возвращаться? Струсили, что ли? Лучше было не браться!

— Ваше величество, — ответил Грылевский, — со всяким, кто меня назовет трусом, я могу сосчитаться с саблей в руках, но перед вашим величеством я должен оправдаться. Я был в самой «норе», на что отважился бы не всякий, но Бабинич еще разозлился на меня за мое предложение. «Убирайтесь вы к черту, говорит. Я здесь работаю, из кожи лезу вон, и мне некогда болтовней заниматься, а славой я ни с кем делиться не хочу. Мне здесь хорошо, говорит, и я останусь, а вас велю вывести за вал! Чтоб вас черти взяли, говорит, есть нам хочется, а тут вместо пищи командира присылают!» Что мне оставалось делать, ваше величество, как не вернуться? Я и злости его не удивляюсь, у них руки устали от работы.

— Ну как? — спросил король. — Удержится он?

— Такой головорез? Да где же он не удержится? Я забыл сказать, что, когда я уходил, он мне крикнул вдогонку: «Целую неделю просижу, только присылайте нам есть!»

— Да можно ли там усидеть?

— Там, ваше величество, настоящий Судный день. Гранаты летят за гранатами, осколки, как ведьмы, свистят в уши, вся земля изрыта, от дыма говорить нельзя. Ядра взрывают землю, каждую минуту приходится отряхиваться. Много убитых, но те, что оставались в живых, лежат в траншеях и сделали над головой небольшие навесы из кольев, укрепив их землей. Шведы очень старательно укрепили редут, а теперь он служит против них же. При мне подросла пехота Гродзицкого, и они снова дерутся.

— Если нам нельзя взять стены, пока не пробита брешь, — сказал король, — то мы сегодня еще ударим по краковским дворцам, это отвлечет внимание!

— Но и дворцы укреплены почти как крепости, — заметил Тизенгауз.

— Но им не пришлют помощи из города, так как все внимание обращено на Бабинича, — ответил король. — И так это и будет, увидите! Сейчас прикажу начать штурм, только переключу Бабинича.

С этими словами король взял из рук ксендза Цецишовского золотой крест, с частицами древ честного креста, высоко поднял его над головой и осенил крестным знаменем далекий форт, покрытый дымом и огнем, и сказал:

— Боже Авраама, Исаака и Иакова, сжался над народом твоим и пошли помощь погибающим! Аминь! Аминь! Аминь!

XIII

Начался кровавый штурм со стороны Нового Света к Краковскому предместью, не особенно удачный, но все-таки отвлекший внимание шведов от форта, который защищал Кмициц, и давший его людям возможность отдохнуть. Поляки подвинулись ко дворцу Казимира, но не могли удержать этой позиции.

С другой стороны штурмовали дворцы Даниловича и дом гданьского посольства, но также безуспешно. В этом штурме пало несколько сот человек. Одно лишь утешало короля: он видел, что даже ополченцы с великим мужеством и самопожертвованием рвутся на стены и что после нескольких неудачных попыток взять город войско не только не пало духом, но было уверено в победе.

Самым счастливым событием этих дней было прибытие Яна Замойского и Чарнецкого. Первый из них привел с собой прекрасную пехоту и тяжелые орудия из

Замостья, каких не было у шведов. Другой, окружив частью литовских войск и полесского ополчения армию Дугласа, прибыл в Варшаву, чтобы принять участие в генеральном штурме.

На форту, взятом Кмицицем, были поставлены большие орудия, из которых сейчас же стали обстреливать стены и ворота и заставили замолчать пушки шведов. Тогда генерал Гродзицкий занял форт, а Кмициц вернулся к своим татарам.

Но не успел он доехать до своей квартиры, как его вызвали в Уяздов. Король в присутствии всего штаба осыпал похвалами молодого рыцаря, не жалели похвал ни Чарнецкий, ни Сапега, ни Любомирский, ни коронные гетманы, а он стоял перед ними в изорванной и испачканной землею одежде, с лицом, покрытым пороховым дымом, усталый и изнуренный, но довольный тем, что удержал форт, заслужил столько похвал и стяжал великую славу.

Поздравляли его среди других Володыевский и пан Заглоба.

— Вы представить себе не можете, пан Андрей, как король вас любит, — сказал маленький рыцарь. — Вчера я был на военном совете — пан Чарнецкий взял меня с собой. Речь шла о штурме, об известиях с Литвы и о том, как там свирепствовал Понтус. Решили поддержать там восстание. Сапега предложил послать туда несколько полков под начальством человека, который сумел бы быть там тем, чем Чарнецкий был в Короне. Король ответил: «Такой человек только один: Бабинич!» Все с этим согласились.

— На Литву, особенно на Жмудь, я охотно поеду, — ответил Кмициц, — я сам хотел просить короля об этом, только жду взятия Варшавы!

— Завтра генеральный штурм, — сказал, приближаясь, Заглоба.

— Я знаю, а как чувствует себя Кетлинг?

— Кто такой? Может быть, Гасслинг?

— Все равно, у него две фамилии, как это часто бывает у англичан и шотландцев.

— Правда, — сказал Заглоба, — а у испанцев особое имя на каждый день недели. Ваш человек сказал мне, что Гасслинг, или Кетлинг, уже здоров; ходит, говорит, лихорадка у него прошла, и только каждый час требует есть.

— А вы были у него? — спросил Кмициц у маленького рыцаря.

— Не был, времени нет. Да кто будет думать об этом перед штурмом.

— Так идемте сейчас!

— Идите лучше спать, — сказал Заглоба.

— Правда! Правда! Я еле стою на ногах!

Вернувшись к себе, пан Андрей последовал совету Заглобы, тем более что и Гасслинга он застал спящим. Зато вечером его пришли проведать Заглоба и Володыевский и уселись в просторном бараке, который татары построили для своего «багадыря». Кемличи наливали им старый столетний мед, который король прислал Кмицицу в подарок, и они пили его с наслаждением, так как день был жаркий. Гасслинг, еще бледный и изнуренный, казалось, черпал в этом драгоценном напитке новые жизненные силы. Заглоба чмокал языком и вытирал пот со лба.

— Ишь как там орудия гремят, — сказал, прислушиваясь, молодой шотландец. — Завтра вы пойдете на штурм... Хорошо здоровым! Бог вас благослови! Я чужеземец и служил, как обязался, но вам желаю всего лучшего. Ах, что это за мед! Жизнь, жизнь в меня вступает.

Сказав это, он откинул назад свои золотистые волосы и поднял к небу голубые глаза. Лицо было прекрасно, с его почти детским выражением. Заглоба поглядывал на него с некоторой нежностью.

— Вы говорите по-польски, пан кавалер, не хуже любого из нас. Станьте поляком, полюбите нашу отчизну, хорошее дело сделаете, в меде недостатка у вас не будет! Права гражданства у нас даются легко.

— Тем более что я дворянин, — сказал Гасслинг. — Полная моя фамилия Гасслинг-Кетлинг оф Эльгин. Род наш из Англии, хотя поселился в Шотландии.

— Это далекие заморские страны, тут человеку лучше живется! — сказал Заглоба.

— Мне тут хорошо!

— Но нам плохо, — сказал Кмициц, который с самого начала нетерпеливо ерзал на скамье. — Нам хочется слышать о том, что было в Таурогах, а вы, панове, перечисляете родословные!

— Спрашивайте, я буду отвечать!

— Вы часто видывали панну Биллевич?

На бледном лице Гасслинга выступил румянец.

— Ежедневно, — ответил он.

Кмициц стал смотреть на него пристально.

— Откуда у нее такое доверие к вам? Отчего вы покраснели? Ежедневно? Как ежедневно?

— Она знала, что я желаю ей добра, так как оказал ей несколько услуг. Но это вы увидите из моего рассказа, а пока я начну с начала. Вы, быть может, не знаете, что меня не было в Кейданах, когда князь-конюший приехал и увез в Тауроги эту панну. Почему так случилось, я говорить не буду, ибо это толковали по-разному, скажу лишь, что, как только они приехали, все заметили, что он безумно влюблен.

— Чтоб его Бог наказал за это! — крикнул Кмициц.

— Начались пиры и забавы, каких раньше никогда не бывало, охоты и турниры. Со стороны можно было бы подумать, что никакой войны нет, а тут каждый день приходили письма, приезжали послы от курфюрста и князя Януша. Мы знали, что князь Януш окружен Сапегой и конфедератами, что он умоляет брата о спасении, так как ему грозит гибель. А мы ни с места! На прусской границе стояли готовые войска, а мы не шли на помощь князю, так как Богуслав не мог оторваться от панны.

— И потому Богуслав не пошел на помощь брату? — спросил Заглоба.

— Потому и не пошел. То же самое говорил и Петерсон, и все его приближенные. Многие роптали на это, но многие были довольны, что Радзивиллы погибли. Сакович занимался делами вместо князя, отвечал на письма, разговаривал с послами. А князь если и думал о чем-нибудь, то только о забавах, кавалькадах или охотах. Он, скупец, стал швыряться деньгами, велел на милю вырубить лес, чтобы из окон панны был вид красивей. Словом, он сыпал ей под ноги цветы и принимал ее так, точно она была королевой шведской. Многие жалели ее, именно поэтому и говорили: «Все это на ее гибель: жениться князь не женится, и только лишь добьется взаимности, сейчас же доведет до греха!» Но оказалось, что эту панну не легко довести...

— А что?! — воскликнул, вскакивая, Кмициц. — Я это лучше всех знаю! Как же панна Биллевич принимала эти королевские почести? — спросил Кмициц.

— Сначала с любезной улыбкой, хотя по ней было заметно, что ее снедает какая-то печаль. Она бывала на охотах, на маскарадах, участвовала в кавалькадах и турнирах и думала, вероятно, что князь ведет всегда такую жизнь. Но вскоре она заметила, что все это ради нее. Однажды случилось, что князь, старавшийся разнообразить зрелища, захотел показать панне войну: неподалеку от Таурог зажгли деревню, пехота ее защищала, князь штурмовал. Конечно, он одержал блестящую победу и потом, насытившись похвал, упал к ногам и стал просить ее о взаимности. Неизвестно, что он ей предлагал, но с тех пор их дружба кончилась. Она стала держаться за полу своего дяди, мечника россиенского, а князь...

— Стал ей угрожать? — крикнул Кмициц.

— Какое! Он наряжался то греческим пастухом, то маркизом. Нарочные мчались в Королевец за моделями пастушеских костюмов, за лентами и париками. Он разыгрывал отчаяние, ходил под ее окнами и играл на лютне. На этот раз он

действительно был влюблен, что и не странно, так как панна скорее похожа на богиню, чем на жительницу земли.

Гасслинг снова покраснел, но пан Андрей этого не заметил, так как, подбоченившись от удовольствия и гордости, он торжествующими глазами поглядывал на Заглобу и Володыевского.

— Знаем мы ее, настоящая Диана, только месяца на голове недостает! — сказал маленький рыцарь.

— Какая там Диана? После панны Биллевич на Диану и смотреть не захочется! — воскликнул Кмициц.

— Потому и я сказал: «и не странно», — ответил Гасслинг.

— Ладно. За это «не странно» я бы его на медленном огне изжарил...

— Да оставьте вы! — перебил его Заглоба. — Сначала поймайте его, тогда уж и будете думать, что с ним делать, а пока дайте говорить этому кавалеру!

— Не раз я дежурил перед комнатой, в которой он спал, — продолжал Гасслинг, — и знаю, как он ворочался на постели, как вздыхал, как разговаривал сам с собою, как шипел, точно от боли: так его жгла страсть. Он изменился ужасно, высох: быть может, у него начались уже припадки той болезни, которая стала мучить его потом. Между тем при дворе распространился слух, что князь, забыв обо всем на всем свете, хочет жениться. Дошло это и до жены князя Януша, которая жила с дочерью в Таурогах. Начались недоразумения. Как вам известно, Богуслав, согласно договору, должен был жениться на дочери князя Януша, как только она подрастет. Но обо всем этом он уже забыл: так было пронзено его сердце. Жена князя Януша разозлилась и уехала с дочерью в Курляндию, а Богуслав в тот же день вечером сделал предложение панне Биллевич.

— Сделал предложение? — с изумлением воскликнул Заглоба, а за ним Кмициц и Володыевский.

— Да! Сначала он передал его пану мечнику россиенскому, который был изумлен не менее вас, Панове, и не хотел верить собственным ушам, а когда поверил наконец, то не помнил себя от радости, ибо для всего дома Биллевичей честь не малая породниться с Радзивиллами; правда, Петерсон говорил, что какое-то родство между ними есть, но уже давно забытое.

— Рассказывайте дальше! — отвечал, дрожа от нетерпения, Кмициц.

— Оба они отправились к панне делать официальное предложение. Как раз к тому времени пришли дурные известия от князя Януша, один Сакович прочел их, но никто не обратил внимания ни на них, ни на Саковича, так как он в это время был в немилости за то, что противился браку. А у нас одни говорили, что Радзивиллам не новость жениться на шляхтянках, что в Речи Посполитой все шляхтичи равны, что род Биллевичей доходит до времен Рима. И говорили это те, которые старались добиться расположения будущей княгини. Другие утверждали, что это только хитрость князя, который хочет лишь сблизиться с панной, уже как жених с невестой, и при случае сорвать с нее девичий венок.

— Конечно, так оно и было! — отозвался Заглоба.

— И я так полагаю, — сказал Гасслинг, — но слушайте дальше. Пока мы при дворе рассуждали об этом, вдруг как гром грянула весть, что панна сразу положила конец всяким сомнениям и отказала наотрез.

— Благослови ее Боже! — крикнул Кмициц.

— Отказала наотрез! — продолжал Гасслинг. — Достаточно было взглянуть на князя, чтобы догадаться об этом. Он, перед которым не могли устоять принцессы, не мог вынести такого сопротивления и чуть с ума не сходил. Опасно было показываться ему на глаза. Все мы знали, что так долго продолжаться не может и что князь, рано или поздно, прибегнет к насилию. На следующий день пан мечник был арестован и отправлен в Тильзит. В тот же день панна умолила одного офицера,

который стоял на страже у ее двери, дать ей заряженный пистолет. Офицер этот ей не отказал, так как, будучи дворянином и человеком чести, чувствовал сострадание к несчастной даме и преклонялся перед ее красотой и постоянством.

— Кто же этот офицер? — воскликнул Кмициц.

— Я, — сухо ответил Гасслинг.

Пан Андрей так сжал его в объятиях, что молодой шотландец, еще не совсем оправившийся, крикнул от боли.

— Это ничего! — воскликнул Кмициц. — Вы не пленник, вы мой брат и друг! Говорите, чего хотите? Я вам ни в чем не откажу!..

— Отдохнуть минуту, — сказал Гасслинг, тяжело дыша.

И он замолчал, пожимая руки, которые протянули ему Володыевский и Заглоба, наконец, видя, что все сгорают от любопытства, он продолжал:

— Я предупредил ее также о том, о чем все знали: что княжеский медик prepares какие-то одуряющие напитки. Но опасения оказались тщетными, так как в это дело вмешался Господь Бог. Он поразил его болезнью, и князь лежал целый месяц. Странно это, мосци-панове, но князь свалился как подкошенный в тот же самый день, когда решил прибегнуть к насилию. Это дело рук Господних, не иначе! Сам он думал так и испугался. Быть может, во время болезни страсть его выгорела, быть может, он ждал, когда к нему вернутся силы. Но, придя в себя, оставил ее в покое и даже разрешил вернуть мечника из Тильзита. Он выздоровел, но лихорадка не оставляла его, как не оставляет и теперь. Вскоре после того, как он встал с постели, он должен был выступить под Тыкоцин, где потерпел поражение. Он вернулся с лихорадкой еще большей, чем раньше, потом курфюрст призвал его к себе, а между тем в Таурогах произошли такие перемены, о которых странно и смешно говорить. Достаточно того, что князь не может более полагаться на верность своих офицеров, разве лишь очень старых, которые ничего не видят и не слышат, а потому не могут устеречь.

— Что же там случилось? — спросил Заглоба.

— Во время тыкоцинского похода, еще до поражения под Яновом, была захвачена некая панна Анна Божобогатая-Красенская и прислана в Тауроги.

— Вот так штука! — воскликнул Заглоба.

А пан Володыевский заморгал глазами, зашевелил усиками и наконец сказал:

— Пан кавалер, прошу не говорить о ней ничего дурного, иначе вы, по вашем выздоровлении, будете иметь дело со мной!

— Если бы я и хотел, я бы не мог сказать о ней ничего дурного, но если это ваша невеста, то я скажу, что вы ее плохо стережете, если это ваша родственница, то скажу, что вы плохо ее знаете, если станете отрицать то, что я вам сейчас расскажу. В одну неделю эта панна влюбила в себя всех от мала до велика и добилась этого исключительно своими глазками и еще какими-то чарами, в которых отчета я вам дать не могу.

— Она! Я ее и в аду узнаю! — пробормотал Володыевский.

— Странное дело, — сказал Гасслинг, — ведь панна Биллевич не уступает ей в красоте, но в ней столько величия и неприступности, что человек, боготворя ее и преклоняясь перед нею, не смеет даже глаз на нее поднять, а не то что питать какую-нибудь надежду. Согласитесь сами, Панове, что бывают разные панны: одни как древние весталки, а другие такие, что чуть взглянешь на них...

— Мосци-пане! — грозно сказал пан Михал.

— Да не кипятись ты, ведь он правду говорит! — сказал Заглоба. — Что она ветреница, мы все знаем, и ты это сто раз говорил сам.

— Оставим этот предмет, — сказал Гасслинг. — Я хотел только объяснить вам, Панове, почему в панну Биллевич влюбились только некоторые, способные оценить все ее совершенства, — Гасслинг снова покраснел, — а в панну Божобогатую почти

все. Вот, Богом клянусь, иной раз меня смех разбирал — было совсем так, точно какая-то зараза поразила сердца. А ссор было сколько, сколько поединков! И из-за чего? К чему? Ибо надо вам знать и то, что среди нас не было ни одного, который мог бы похвастать ее взаимностью, но каждый почему-то слепо верил, что он один чего-нибудь добьется!

— Она! Так ее и вижу! — снова пробормотал Володыевский.

— Зато обе панны полюбили друг друга ужасно, — продолжал Гасслинг. — Одна без другой шагу не могла сделать, а панна Божобогатая распоряжалась в Таурогах, как у себя дома...

— Как так? — перебил его маленький рыцарь.

— Распоряжалась, как у себя дома. Сакович в нее так влюбился, что даже не отправился в поход, а Сакович настоящий хозяин во всех имениях князя. Через него и действует панна Анна.

— Он так влюблен? — снова спросил Володыевский.

— И очень уверен в себе, так как он человек очень богатый.

— Его зовут Сакович?

— А вы хотите получше запомнить его фамилию?

— Да нет... я так! — на вид небрежно ответил пан Володыевский, но при этом так грозно шевельнул усиками, что у Заглобы мурашки пробежали по спине.

— Я хотел еще прибавить вот что! — сказал Гасслинг. — Если бы панна Божобогатая велела Саковичу изменить князю и облегчить им бегство, он сделал бы это без колебаний. Но насколько я знаю, она предпочитает действовать за спиной Саковича, может быть, назло ему... кто знает... Во всяком случае, один офицер, мой соотечественник, но только не католик, признался мне, что отъезд пана мечника с паннами уже решен и что офицеры участвуют в заговоре. Это должно произойти вскоре...

Гасслинг стал тяжело дышать; он устал и выбивался из последних сил.

— Вот самое главное из того, что я хотел вам сказать! — прибавил он торопливо.

Володыевский и Кмициц даже за головы схватились.

— Куда они хотят бежать?

— В пущу и пущей до Беловежа... Мне дышать нечем.

Дальнейший разговор был прерван появлением ординарца Сапеги, который вручил Володыевскому и Кмицицу две бумаги, сложенные вчетверо. Володыевский, едва развернув свою, воскликнул:

— Приказ занять позиции к завтрашнему дню!

— Слышите, как режут орудия? — спросил Заглоба.

— Завтра, завтра!

— Ух, жарко! — сказал пан Заглоба. — Плохой день для штурма... Чтоб черт подобрал эту жару. Матерь Божья!.. Многие остынут завтра, несмотря на жару, но не те, которые под твою милость прибегают, Защитница наша! Ну и гремят же пушки... Слишком я стар для штурма, в открытом поле — другое дело! Вдруг в дверях показался новый офицер.

— Здесь ли его милость, пан Заглоба? — спросил он.

— Я здесь.

— По приказу его величества вы будете состоять завтра при его особе.

— Ага, меня хотят не пустить на штурм, так как знают, что старик первым бросится, лишь только трубы затрубят. Государь наш добр, помнит о своих солдатах, но я не знаю, выдержу ли? Стоит мне только воодушевиться, и я тогда ни о чем не помню и бросаюсь прямо в огонь! Такова уж натура! А государь наш добр... Слышите, уж трубы призывают всех на позиции. Ну завтра так завтра!.. Будет завтра и у святого Петра работа, многих придется на небо записывать... Да и в аду готовят для шведов

котлы со свежей смолой... Уф, завтра...

XIV

Первого июля между Повонзками и посадом, впоследствии названным Маримонтом, была отслужена походная обедня, которую сосредоточенно слушало десять тысяч регулярного войска. Король дал обет построить в случае победы костел Пресвятой Девы. Такой же обет дали сановники, гетманы, рыцари и простые солдаты, так как этот день должен был быть днем последнего штурма.

После обедни все вожди разъехались по своим позициям. Пан Сапега стал против костела Святого Духа, который хотя и находился тогда за стенами, но был ключом к ним, а потому и был занят сильным шведским отрядом и прекрасно укреплен. Чарнецкий должен был взять Гданьский дом, так как задняя стена его была частью городской стены, и, пробив ее, можно было войти в город. Петр Опалинский с великополянами и мазурами должен был двинуться со стороны Вислы и Краковского предместья.

Регулярные полки расположились против Новгородских ворот. Народу было так много, что вся окрестность, все подгородние деревни, поля и луга были залиты морем солдат, — всюду белели палатки, за ними возы — и взор терялся в синей дали, не находя им конца.

Все эти войска стояли в полной боевой готовности, с ружьями наперевес, готовые каждую минуту броситься к пролomu, который сделали в стенах большие орудия, привезенные из Замостья. Орудия не переставали грохотать ни на минуту, штурм же был задержан окончательным ответом Виттенберга на письмо, посланное ему канцлером Корицинским. Когда около полудня от него был получен отрицательный ответ, вокруг города раздались зловещие звуки труб, и штурм начался.

Коронные войска под начальством гетманов, полки Чарнецкого, полки короля, пехота Замойского, литвины Сапеги и полчища ополченцев волной хлынули к стенам. На стенах их встретили убийственным огнем: большие орудия, мортиры, картечницы, мушкеты загремели одновременно, и от грохота дрогнула земля. Ядра вырывали целые борозды в толпе штурмующих, но она все бежала вперед и рвалась к крепости, не обращая внимания на огонь. Тучи порохового дыма закрыли собой солнце.

Все полки бросились напрямик: гетманы к Новгородским воротам, Чарнецкий к Гданьскому дому, Сапега с литвинами — к костелу Святого Духа, а мазуры и великополяне — к Краковскому предместью.

Великополянам и мазурам досталась самая тяжелая работа. Все дворцы и дома вдоль Краковского предместья были обращены шведами в укрепленные замки. Но в этот день мазурами овладела такая боевая ярость, что против их натиска ничто не могло устоять. Они брали дом за домом, дворцы за дворцами, дрались в окнах, в дверях, на лестницах и истребляли гарнизонные отряды до одного человека. Взяв один дом, они, пока кровь еще не успела высохнуть на их лицах и руках, бросались на другой, и снова начиналась рукопашная битва, и снова бежали они дальше.

Пред началом штурма им было приказано нести с собой снопы незрелого хлеба, которые должны были защищать их от пуль, но они побросали снопы и бежали с открытой грудью. Среди кровавой битвы была взята часовня князей Шуйских и великолепный дворец Конецпольских. Перерезаны были все шведы, находившиеся в небольших постройках, в дворцовых конюшнях, в огородах, спускавшихся к Висле. Возле дворца Казановских шведская пехота попробовала оказать сопротивление на улице, и ее поддержали артиллерийским огнем со стен дворца и с колокольни бернардинского костела, превращенного в крепость.

Но град пуль не задержал поляков ни на минуту, и шляхта с криком: «Ура,

мазуры!» — с саблями наголо набросилась на каре пехотинцев; за ними налетела польская полевая пехота и челядь, вооруженная кольями, палками, топорами... Каре было смято в одно мгновение, и началась резня. Поляки и шведы смешались в одну сплошную массу, которая извивалась, металась и купалась в крови на всем пространстве между дворцом Казановских, домом Радзейовского и Краковскими воротами.

Но со стороны Краковского предместья, подобно вспененной реке, наплывали все новые полчища солдат. Пехота была, наконец, перерезана до последнего человека, и начался тот славный штурм дворца Казановских и монастыря бернардинцев, который решил участь битвы.

Пан Заглоба тоже принял в нем участие, так как он ошибся вчера, думая, что король назначил его состоять при его особе только в качестве свитского офицера. Наоборот, ему, как славному и опытному воину, поручили командование челядью, которая должна была пойти на штурм вместе с регулярными полками и ополченцами. Правда, пан Заглоба хотел идти с челядью сзади и ограничиться занятием уже взятых дворцов, но так как в самом начале штурма все смешались, то и его захватило течение толпы. И он бросился на штурм. Несмотря на свою природную осторожность и на то, что он не любил, где не нужно, рисковать жизнью, он так уже привык к битвам, участвовал в стольких кровопролитных сражениях, что, когда это было необходимо, он дрался не только не хуже, но даже лучше других: с отчаянием и бешенством.

Так и теперь он очутился у ворот дворца Казановских, вернее, в аду, который разверзся у их подножия, — в давке, в жаре, в дыму, под градом пуль, гранат, среди стонов и криков. Тысячи искр, осколков, пуль ударялись в ворота, тысячи рук дергали их бешено — одни падали, как пораженные громом, другие бросались на их место, топтали трупы и, стараясь пробраться внутрь крепости, точно нарочно искали смерти.

Никто никогда не видел такой яростной обороны, но никто и не запомнил такого бешеного штурма. Из всех этажей, над воротами сыпались пули, выливались ведра смолы, но те, что были под огнем, если бы и хотели, не могли отступить: их подталкивали сзади.

Люди, мокрые от пота, черные от дыму, со стиснутыми зубами и дикими глазами, ударяли в ворота такими огромными балками, которые трудно было в обычное время поднять троим. Так, в пылу битвы, росли силы.

Штурмовали и окна, приставляли лестницы к верхним этажам, вырубали решетки в окнах. А ведь в этих окнах, за этими решетками торчали дула мушкетов, которые ни на минуту не переставали дымиться. Везде поднялся такой дым, такая пыль, что штурмующие среди бела дня едва могли разглядеть друг друга. Несмотря на это, они продолжали биться, еще яростнее рубили ворота, лезли на лестницы. Крики у костела бернардинцев говорили о том, что там штурмуют с такой же энергией.

Вдруг Заглоба крикнул таким громким голосом, что его услышали среди шума и выстрелов:

— Жестянку с порохом под ворота!

Ему подали ее сейчас же. Он велел вырубить в воротах снизу узкое отверстие, в которое можно бы было просунуть жестянку. Когда она вошла, он зажег серную нитку и крикнул:

— В сторону! К стенам!

Стоявшие у ворот рассыпались по сторонам и бросились к тем, что приставляли лестницы. Настало томительное ожидание.

Вдруг раздался страшный взрыв, и клубы дыма поднялись вверх. Люди Заглобы снова бросились к воротам; взглянули — взрыв не разбил ворот совсем, но оторвал петлю справа, несколько бревен и образовал брешь, через которую легко мог пробраться даже толстый человек. В ворота стали ударять топорами и дрекольем,

сотни рук налегли на них, слышался треск, и одна половина ворот рухнула, открывая глубину темных сеней. В темноте сверкнули выстрелы, но толпа рекой хлынула в пролом, и дворец был взят.

Началась страшная резня внутри дворца. Приходилось занимать комнату за комнатой, коридор за коридором, этаж за этажом. Стены были уже настолько повреждены пушечными выстрелами, что в нескольких комнатах рухнули потолки и похоронили под собой поляков и шведов. Но мазуры шли лавой, всюду проникали, работали топорами и саблями. Никто из шведов не просил пощады, да ее и не было бы. В иных коридорах и проходах шведы устроили баррикады из трупов, а нападающие вытаскивали трупы за ноги и выбрасывали их за окна. Кровь ручьем стекала по лестницам. Кучки шведов сопротивлялись еще местами, отражая немеющими руками бешеные удары штурмующих. Кровь заливала им лица, в глазах темнело... Сжатые со всех сторон, теснимые толпой противников, скандинавы умирали молча, как настоящие солдаты. Каменные изваяния древних богов и героев, забрызганные кровью, смотрели мертвыми глазами на эту смерть.

Рох Ковальский свирепствовал наверху, а Заглоба со своим отрядом бросился на террасы и, вырезав там последних шведов, побежал в чудные сады, которые славилась на всю Европу. Деревья в них были уже вырублены, кустарники уничтожены ядрами поляков, фонтаны разбиты, земля изрыта гранатами, — словом, всюду была пустота и полное разрушение. И в саду закипела битва, но продолжалась недолго, так как шведы сопротивлялись слабо. Они были добиты, а поляки разбежались по комнатам дворца за добычей.

Пан Заглоба побежал в конец сада, куда из-за высоких стен не проникало солнце, — рыцарю хотелось отдохнуть и вытереть пот со лба. Вдруг он взглянул в сторону и заметил, что какие-то чудовища враждебно смотрят на него из-за решеток клетки. Клетка была вделана в угол стены, так что пули не достигали ее. Дверь была открыта настежь, но исхудалые и отвратительные существа не думали этим воспользоваться. Напротив, перепуганные шумом, свистом пуль и резней, которую они только что видели, они зарылись в солому и только ворчанием обнаруживали свой страх.

«Черти или обезьяны?» — сказал про себя Заглоба.

Вдруг его охватил гнев, сердце наполнилось свирепостью, и он бросился в клетку с обнаженной саблей.

Страшный переполох был ответом на первый же удар сабли. Обезьян, с которыми шведы хорошо обращались и которых кормили, так как боялись их, охватила такая паника, что они просто обезумели, а так как пан Заглоба загородил им выход, то они стали метаться по клетке, делая какие-то невероятные прыжки, цеплялись за потолок, визжали и кричали. Наконец, одна из них, ошавев, прыгнула Заглобе на шею и, схватив его за голову, прижалась к ней изо всей силы. Другая вцепилась ему в плечо, третья спереди схватила его за шею, четвертая ухватилась за отвороты кунтуша. А он, придушенный, потный, напрасно метался по клетке и напрасно наносил слепые удары направо и налево. Вскоре он стал задыхаться, глаза вышли у него из орбит, и он кричал отчаянным голосом:

— Мосци-панове, спасайте!

На его крики сбежалось несколько человек, которые, не понимая, в чем дело, бежали с окровавленными саблями, но вдруг они остановились как вкопанные, переглянулись и, точно сговорившись, разразились громким хохотом. Вскоре собралась целая толпа, и смех, как зараза, переходил от одного к другому. И они шатались как пьяные, хватались за животы, и чем больше метался Заглоба, отбиваясь от обезьян, тем больше они смеялись. Наконец, прибежал Рох Ковальский и, растолкав толпу, освободил дядю из объятий обезьян.

— Шельмы! — кричал, задыхаясь, Заглоба. — Чтоб вас перебили! Так вы

смеетесь при виде доброго католика, осаждаемого африканскими чудовищами? Шельмы, не будь меня, вы до сих пор стучались бы лбами в ворота! Вы и обезьян-то этих не стоите!

— Сам ты обезьянский король! — крикнул ближе стоявший солдат.

— Simiarum destructor!⁶¹ — воскликнул второй.

— Victor! — добавил третий.

— Какое victor, разве victus!⁶²

Тут Рох снова пришел на помощь дяде и так хватил ближайшего солдата в грудь, что тот упал, и у него хлынула изо рта кровь. Одни отступили перед гневом страшного мужа, другие взялись за сабли, но дальнейшей ссоре помешали крики и выстрелы, раздавшиеся в стороне бернардинского монастыря. По-видимому, штурм был еще в полном разгаре, и, судя по лихорадочности выстрелов, шведы вовсе не думали сдаваться.

— На помощь! К костелу! К костелу! — крикнул Заглоба.

Он бросился в верхний этаж дворца, откуда можно было видеть костел, который был точно охвачен огнем. Толпы штурмующих метались у его подножия, но не могли пробиться внутрь и бесцельно гибли под перекрестным огнем, так как их засыпали пулями и с Краковских ворот.

— Пушки к окнам! — крикнул Заглоба.

Во дворце Казановских было много больших и малых пушек, и солдаты сейчас же втащили их наверх к окнам; из обломков дорогой мебели устроили лафеты, и через полчаса из окон дворца выглянули жерла нескольких орудий.

— Рох, — сказал с величайшим раздражением Заглоба, — я должен совершить что-нибудь особенное, иначе пропала моя слава! Из-за этих обезьян — чтоб их зараза передушила! — все войско подымет меня на смех, и хотя я тоже в карман за словом не полезу, но ведь со всеми не справишься. Я должен смыть с себя этот позор, иначе меня во всей Речи Посполитой будут называть обезьяньим королем.

— Вы должны смыть позор! — повторил громовым голосом Рох.

— И вот первое: я взял дворец Казановских. Пусть кто-нибудь скажет, что не я!

— Пусть кто-нибудь скажет, что не вы! — повторил Рох.

— А теперь возьму и этот костел, да поможет мне Бог! Аминь! — сказал Заглоба. Потом обратился к стоявшей у пушек челяди: — Пли!

Шведы, которые отчаянно защищали костел, пришли в ужас, когда вся боковая стена дрогнула до основания. На тех, которые стояли в окнах, в бойницах, на внешних выступах стены, в слуховых окнах на крыше, откуда они отстреливались от штурмующих, посыпались кирпичи, камни, известка. В клубах пыли, наполнившей Божий дом и смешанной с дымом, люди стали задыхаться. Солдаты не могли разглядеть друг друга, крики: «Задыхаемся! Задыхаемся!» — усиливали панику. А костел вздрагивал — треск стен, грохот падающих кирпичей, гул ядер, врывавшихся в окна, глухой стук свинцовых рам, падавших на пол, превратили монастырь в ад земной. Солдаты в ужасе стали отбегать от окон, от бойниц. Паника перешла в какое-то безумие. Крики: «Задыхаемся! Воздуха! Воды!» — все росли.

Вдруг послышался рев толпы:

— Белое знамя! Белое знамя!

Командир отряда Эриксон схватил его собственными руками, чтобы выставить наружу, но в эту минуту ворота треснули, туча штурмующих бросилась внутрь, и началась резня. В костеле вдруг стало тихо, слышалось только зверское сопение

⁶¹ Истребитель обезьян! (лат.).

⁶² Победенный (лат.).

дерущихся, лязг железа, стоны, хлюпанье крови, порою крик, не похожий на голос человека: «Pardon! Pardon!» Через час на колокольне загудел колокол и гудел, гудел — мазурам на победу, шведам на гибель.

Дворец Казановских, монастырь и колокольня были взяты. Среди толпы забрызганных кровью солдат показался на коне сам Петр Опалинский, воевода полесский.

— Кто пришел нам на помощь из дворца? — крикнул он так, чтобы перекрыть гул и вой толпы.

— Тот, кто взял дворец! — ответил рыцарь, точно из-под земли выросший перед воеводой. — Я!

— Как вас зовут?

— Заглоба!

— Виват Заглоба! — крикнули тысячи голосов.

Но страшный Заглоба указал окровавленной саблей на ворота и крикнул:

— Но этого мало! Туда, к воротам! Пушки к стенам и к воротам, а вы вперед! За мной!

Разъяренная толпа бросилась по направлению к воротам, и — о чудо! — шведский огонь, вместо того чтобы усилиться, стал ослабевать. Вдруг с колокольни раздался чей-то громкий голос:

— Пан Чарнецкий уже в городе! Видны наши знамена!

Шведский огонь слабел все больше.

— Стой! Стой! — скомандовал воевода.

Но толпа его не слушала и бежала вперед. На Краковских воротах показалось белое знамя.

Действительно, Чарнецкий, пробив стену Гданьского дома, ураганом ворвался внутрь крепости, и, когда дворец Даниловича был уже взят, а литовские знамена показались на стенах в стороне костела Святого Духа, Виттенберг увидел, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Правда, шведы могли еще защищаться в домах Старого и Нового города, но горожане взяли за оружие: оборона кончилась бы страшной резней, без надежды на победу.

Трубачи затрубили на стенах и стали махать белыми знаменами. Польские офицеры, видя это, прекратили штурм, а генерал Левенгаупт в сопровождении нескольких полковников выехал через Новгородские ворота и во весь опор помчался к королю.

Город был уже в руках Яна Казимира, но добрый король хотел остановить пролитие христианской крови и согласился на условия, предложенные Виттенбергу раньше. Город должен быть возвращен со всей нагроможденной в нем добычей. Шведы могли взять с собой только то, что они привезли из Швеции. Гарнизон со всеми генералами и с оружием в руках мог уйти из города, захватив с собой больных и раненых, а также дам, которых в Варшаве было более пятидесяти. Полякам, которые служили шведам, была дана амнистия, так как сделано было предположение, что они служат не по доброй воле. Исключение составлял только один Богуслав Радзивилл, на что Виттенберг согласился, тем более что Богуслав находился в это время на берегах Буга с Дугласом.

Условия мира были подписаны тотчас. Колокола всех костелов возвестили всему городу и всему миру, что столица переходит вновь в руки законного государя. Час спустя тысячи бедняков разошлись по польскому лагерю просить хлеба, так как в городе все припасы были забраны шведами. Король велел раздать, сколько возможно, а сам поехал смотреть на выход шведского гарнизона. Его окружала блестящая свита из духовных и светских сановников. Почти все войска — коронные во главе с гетманами, литовские во главе с Сапегой, дивизия Чарнецкого и несметные полчища ополченцев вместе с челядью собрались вокруг короля, так как

всем хотелось видеть тех шведов, с которыми несколько часов тому назад пришлось вести такую страшную и кровопролитную борьбу. У всех ворот с минуты подписания мира стояли польские комиссары, которым было поручено смотреть, не вывозят ли шведы с собой добычу. Особая комиссия принимала от шведов добычу в центре города.

Прежде всего показалась конница, которой было немного, так как коннице Богуслава выход был запрещен; за нею артиллерия с полевыми пушками, тяжелые же должны были быть выданы полякам. Солдаты шли возле орудий с зажженными фитилями. Над ними развевались знамена, которые склонялись перед польским королем, отдавая честь. Артиллеристы шли гордо и смотрели прямо в глаза польским рыцарям, точно хотели сказать: «Скоро опять встретимся». Потом показались телеги с ранеными и офицерами. В первой телеге лежал канцлер Бенедикт Оксеншьерн, которому король велел отдать честь, чтобы показать, что ценит доблесть даже во враге. Потом с барабанным боем и развевающимися знаменами шли колонны несравненной шведской пехоты, которая, по выражению Субагази, была похожа на ходячие замки. За ними показался великолепный отряд рейтар, с ног до головы закованных в сталь, с голубым знаменем, на котором был вышит золотой лев. Рейтары эти окружили главный штаб. При виде их в толпе раздался шепот:

— Виттенберг едет! Виттенберг!

Действительно, это ехал сам фельдмаршал в сопровождении Врангеля, Горна, Эрскина, Левенгаупта и Форгелля. Глаза польских рыцарей с любопытством устремились в их сторону, особенно на Виттенберга. Но лицо его не обличало того страшного воина, каким он был на самом деле. Это было старое, бледное лицо человека, изнуренного болезнью. Черты лица были резки, сжатые губы и острый, длинный, тонкий нос придавали ему вид старого хищника и скупца. Он был одет в черный бархат и в черную шляпу, так что походил скорее на ученого астролога или медика, и только золотая цепь на шее, брильянтовая звезда на груди и фельдмаршальский жезл в руке говорили о его высоком положении.

По дороге он бросал беспокойные взгляды на короля, на королевский штаб, на стоявшие в боевом порядке полки, потом обвел глазами полчища ополченцев, и ироническая усмешка показалась на его бледных губах.

А в этой толпе шум все усиливался, и слово: «Виттенберг! Виттенберг!» — было у всех на устах. Через минуту шум этот превратился в глухой ропот, грозный, как рокот моря перед бурей. Порою он стихал, и тогда там, далеко, в задних рядах, слышался чей-то убеждающий голос. Ему отвечало все больше голосов... Можно было подумать, что приближается буря и что скоро она разразится со страшной силой.

Сановники смутились и тревожно посматривали на короля.

— Что это такое? Что это значит? — спросил Ян Казимир.

Вдруг ропот перешел в страшный гул, точно грянул гром. Полки ополченцев двинулись вдруг вперед, точно море колосьев, когда ветер заденет его своими крыльями, и на солнце блеснули несколько тысяч сабель.

— Что это значит? — вторично спросил король.

Никто не умел на это ответить.

Вдруг Володыевский, стоявший возле Сапеги, сказал:

— Это пан Заглоба!

Володыевский угадал. Лишь только условия капитуляции были объявлены и дошли до пана Заглобы, как старый шляхтич впал в такое бешенство, что некоторое время не мог говорить. Придя в себя, он начал с того, что бросился к ополченцам и стал их возбуждать. Его слушали охотно, так как всем казалось, что за такое мужество, за такую массу крови, пролитой под стенами Варшавы, они имели право

жестоко отомстить неприятелю. Заглобу окружала беспорядочная толпа буйной шляхты, а он целыми горстями бросал горящие Угли в порох и красноречием своим раздувал все больший пожар, который тем легче охватил головы, что они уже слегка кружились от торжества победы.

— Мосци-панове, — говорил Заглоба. — Вот эти старые руки пятьдесят лет уже служат отчизне, пятьдесят лет проливали неприятельскую кровь во всех углах Речи Посполитой и теперь еще — на то есть свидетели! — взяли Дворец Казановских и костел бернардинцев. А когда, мосци-панове, шведы пришли в отчаяние и сдались на капитуляцию? Когда я навел пушки на бернардинский монастырь и Старый город. Здесь нашей крови не жалели, братья, здесь проливали ее без числа и без меры — а пожалели неприятеля! Мы оставили наши имения без надзора, челядь — без господина, жен — без мужей, детей — без отца — о, мои детки, что с вами теперь?! — и пришли сюда с открытой грудью против пушек... И какая же награда ждет нас? Виттенберг уходит на свободу, и мы еще отдаем ему честь! Уходит палач нашей отчизны, уходит враг нашей веры и Пресвятой Девы, поджигатель наших домов, душегуб наших жен и детей — о, мои дети, где вы теперь?! Горе тебе, отчизна, позор тебе, шляхта, горе тебе, наша вера святая, горе вам, костелы, горе тебе, Ченстохов, ибо Виттенберг уходит на свободу и вскоре вернется вновь проливать нашу кровь, добивать, кого не добил, жечь, чего не сжег, позорить, чего не опозорил! Плачьте, Польша и Литва, плачьте, все сословия, как плачу я, старый солдат, который, одной ногой стоя в могиле, должен смотреть на вашу гибель! Горе тебе, Илион, древний город Приама! Горе, горе, горе!

Так распинался Заглоба, и тысячная толпа шляхты слушала его, и от гнева у всех волосы дыбом вставали на голове, а он рыдал, рвал на себе одежду и открывал грудь. Он проникал и в войско, которое тоже охотно слушало его жалобы, так как все страшно ненавидели Виттенберга. Мятеж вспыхнул бы сразу, но сам Заглоба сдерживал шляхту, боясь, что если он вспыхнет слишком рано, то Виттенберг может спастись, когда же он выедет за город и покажется ополчению, тогда его изрубят саблями, прежде чем он успеет сообразить, в чем дело.

И его расчеты оказались совершенно правильными. При виде страшного врага Речи Посполитой какое-то безумие охватило буйную и подвыпившую шляхту, и в одну минуту разразилась буря. Сорок тысяч сабель сверкнули на солнце, сорок тысяч глоток заревело: «Смерть Виттенбергу! Давайте его сюда!» К толпам шляхты присоединились беспорядочные толпы челяди, опьяневшей от недавнего кровопролития, даже регулярные войска подняли грозный ропот, и буря бешено надвигалась на штаб шведской армии.

В первую минуту все потеряли головы, хотя и поняли сразу, в чем дело. «Что делать? — раздались голоса вблизи короля. — Господи боже! Спасать! Защищать! Позор не сдержать слова!»

В эту минуту разъяренная толпа врзалась в полки, начала их теснить; полки пришли в замешательство и не могли устоять на месте. Вокруг виднелись лишь сабли, сабли, сабли, под ними раскрасневшиеся лица и вытаращенные глаза, стиснутые губы. Шум, гул и дикие голоса росли с ужасающей быстротой; во главе шумевших бежала челядь и всякий войсковой сброд, похожий больше на зверей, чем на людей.

Наконец и Виттенберг понял, что делается вокруг. Лицо его побледнело как полотно, на лбу выступили капли холодного пота, и — о чудо! — этот фельдмаршал, который еще так недавно угрожал всему миру, этот победитель стольких армий, завоеватель стольких городов, этот старый солдат чуть не до потери сознания испугался теперь вида разъяренной и воющей толпы. Он стал дрожать всем телом, опустил руки, изо рта у него потекла слюна на золотую цепь, и булава выпала из его рук. А страшная толпа надвигалась все ближе и ближе; еще минута — и она

разорвала бы шведов в клочки.

Другие генералы обнажили шпаги, чтобы умереть с оружием в руках, как подобало рыцарям; но старый воин совсем ослабел и закрыл глаза.

Вдруг на помощь штабу подоспел Володыевский. Его полк на всем скаку клином врезался в толпу и раздвинул ее, как корабль, плывущий на всех парусах, раздвигает морские воды. Крик челяди смешался с криком ляуданцев. Но всадники уже окружили со всех сторон штаб стеной лошадей и стеной сабель.

— К королю! — крикнул маленький рыцарь.

Они тронулись. Толпа окружила их со всех сторон, бежала по бокам, сзади, размахивала саблями, выла, но ляуданцы напирали и саблями прокладывали дорогу вперед.

На помощь Володыевскому подоспел Войнилович, за ним Вильчковский с королевским полком и князь Полубинский, и они соединенными усилиями проводили шведский штаб к королю.

Но беспорядок, вместо того чтобы уняться, все усиливался. Минутами казалось, что обезумевшая толпа, забыв уже о присутствии короля, захочет схватить шведских генералов. Виттенберг пришел в себя, хотя страх все еще не покидал его, и, несмотря на подагру, соскочил с коня и подбежал к королю, как заяц, преследуемый волками.

Там он бросился на колени и, схватившись за королевское стремя, стал кричать:

— Спасите, ваше величество, спасите! Вы дали слово, ваше королевское слово! Договор подписан! Спасите! Сжальтесь над нами! Не позволяйте убивать меня!

Король, увидев такое унижение и такой позор, отвернулся с отвращением и сказал:

— Успокойтесь, фельдмаршал!

Но у него у самого было смущенное лицо, так как он не знал, что делать. Толпа вокруг все росла, напирала все настойчивее. Правда, полки построились в боевом порядке, пехота Замойского образовала грозное каре, но чем все это могло кончиться?

Король взглянул на Чарнецкого, но он только теребил бороду. Разнузданность ополченцев доводила его до бешенства.

— Ваше величество, надо сдержать слово! — сказал канцлер Корицинский.

— Да, надо! — ответил король.

Виттенберг, который все время смотрел им в глаза, вздохнул свободнее.

— Ваше величество, — воскликнул он, — я верю вам, как Богу!

— А почему вы нарушили столько присяг, столько договоров? — спросил его пан Потоцкий, старый гетман коронный. — Кто воюет мечом, от меча погибает... Ведь вы захватили полк Вольфа вопреки условиям капитуляции!

— Это не я, это Мюллер! — ответил Виттенберг.

Гетман взглянул на него с презрением и обратился к королю:

— Ваше величество, я не настаиваю на том, чтобы вы нарушили ваше слово, пусть вероломство останется на их стороне!

— Что делать? — спросил король.

— Если мы теперь отошлем его в Пруссию, то за ним пойдут тысяч пятьдесят шляхты и разорвут его прежде, чем он доедет до Пултуска... Надо было бы дать ему несколько полков для конвоя, а этого мы сделать не можем... Слышите, ваше величество, как воют?... Есть за что его ненавидеть! Нужно сначала обеспечить безопасность ему самому, а остальных отослать тогда, когда буря утихнет.

— Иначе и быть не может! — заметил канцлер Корицинский.

— Но как обеспечить безопасность? Здесь мы его держать не можем, здесь, чего доброго, вспыхнет междоусобная война! — проговорил воевода русский.

Тут выступил староста калуский, Себепан Замойский, и сказал, выдвигая губы:

— Вот что, ваше величество. Дайте мне их в Замостье, пусть посидят, пока все не успокоится. Уж я защищу его от шляхты. Пусть попробует вырвать!

— А в дороге как вы их защитите, ваша вельможность? — спросил канцлер.

— Ну, у меня еще есть на что слуг держать! Разве у меня нет пехоты, пушек? Пусть вырвут его у Замойского! Увидим!

Тут он подбоченился и стал ударять себя по бедрам, раскачиваясь на седле.

— Другого средства нет! — сказал канцлер.

— И я не вижу! — добавил Ланпкоронский.

— В таком случае, берите их, пан староста, — сказал король Замойскому.

Но Виттенберг, увидев, что жизни его ничто не угрожает, стал было протестовать.

— Мы не этого ожидали! — воскликнул он.

— Пожалуйте, мы не задерживаем, путь свободен! — сказал Потоцкий, указывая рукой вперед.

Виттенберг замолчал.

Между тем канцлер послал несколько офицеров объявить шляхте, что Виттенберг не будет отпущен на свободу, а заключен в Замостье. Волнение, хотя и не сразу, улеглось. Вечером общее внимание обратилось уже в другую сторону. Войска стали вступать в город, и вид отвоеванной столицы наполнил все сердца радостью.

Радовался и король, но радость его омрачала мысль, что он не смог в точности исполнить всех условий договора благодаря непослушанию ополченцев. Чарнецкий бесился.

— С таким войском никогда нельзя ручаться за завтрашний день, — говорил он королю. — Иногда они дерутся плохо, иногда героически; все зависит от их прихоти, а случись что — и бунт готов!

— Дай бог, чтобы они не стали разъезжаться, — сказал король, — они еще нужны, а думают, что все уже сделали.

— Виновник этих волнений должен быть казнен, несмотря на все его заслуги, — продолжал Чарнецкий.

Был отдан строгий приказ отыскать Заглобу, так как все знали, что он поднял эту бурю, но пан Заглоба как в воду канул. Его искали в городе, в лагере, среди татар, но напрасно. Тизенгауз впоследствии рассказывал, что король, добрый как всегда, от всей души желал, чтобы его не нашли, и отслужил даже молебен.

Спустя неделю за каким-то обедом из уст Яна Казимира все услышали:

— Объявите-ка там, чтобы пан Заглоба больше не прятался, а то мы соскучились по его остроумам.

Когда киевский каштелян пришел в ужас от слов короля, король прибавил:

— Если бы в этой Речи Посполитой в сердце короля была только справедливость, а не милосердие, то в груди его было бы не сердце, а топор! Здесь люди часто грешат, зато и скоро раскаиваются!

Король, говоря это, имел в виду еще и Бабинича, а не только Заглобу. Молодой рыцарь еще вчера припал к ногам короля с просьбой позволить ему ехать на Литву. Он говорил, что хочет поднять там восстание и трепать шведов, как некогда — Хованского. А так как король имел намерение послать туда опытного в партизанской войне офицера, то он сейчас же согласился, благословил его и шепнул ему на ухо такое пожелание, от которого рыцарь снова упал к его ногам.

Потом, не теряя времени, Кмициц двинулся на восток. Субагази, получив дорогой подарок, позволил ему взять пятьсот новых ордынцев, так что с ним шло полторы тысячи добрых воинов — сила, с которой можно было кое-что сделать. И голова молодого рыцаря горела жаждой битв и военных подвигов — слава впереди улыбалась ему... Он слышал уже, как вся Литва с восторгом и изумлением повторяет

его имя... Слышал, как его повторяют чьи-то милые уста, и душа его окрылялась радостью.

Весело было ехать ему еще и потому, что куда он ни приезжал, он всюду первый разглашал весть о том, что шведы разбиты и Варшава взята. «Варшава взята!» Где только раздавался топот его лошади, всюду народ встречал его со слезами, всюду звонили в колокола и в костелах пели: «Тебе, Бога, хвалим».

Когда ехал он лесом, шумели темные сосны, когда ехал полями, шумели золотистые колосья — шумели и повторяли, казалось, радостную весть:

— Швед разбит! Варшава взята! Варшава взята!

XV

Хотя Кетлинг и был близок к особе князя Богуслава, но все же он знал не все и не мог рассказать Кмицицу всего, что произошло в Таурогах; его ослепляло еще и то, что он сам был влюблен в панну Биллевич.

У Богуслава было другое доверенное лицо — пан Сакович, староста ошмянский, и он один знал, как глубоко запала в сердце князю его прекрасная пленница и к каким способам он прибегал, чтобы завоевать ее сердце.

Любовь эта была просто жгучей страстью, так как сердце Богуслава не было способно к другим чувствам. Но страсть эта была до того сильна, что даже этот опытный в любовных делах кавалер терял голову. И не раз, оставаясь вечером наедине с Саковичем, хватал себя за волосы и восклицал:

— Горю, Сакович, горю!

Сакович сейчас же находил выход:

— Кто хочет взять мед, тот должен одурманить пчел, а мало ли одурманивающих средств у медика вашего сиятельства? Скажите ему только слово, и завтра же все будет сделано!

Но князь не хотел прибегать к этому способу по разным причинам. Во-первых, однажды во сне ему явился дедушка Оле ньки, старый полковник Биллевич; став у его изголовья, он грозно всматривался в него вплоть до первых петухов. Богуслав запомнил этот сон; он, этот рыцарь без страха, был так суеверен, так боялся чар, предвещаний и сверхъестественных явлений, что дрожь пронизывала его при мысли, в каком грозном виде вторично предстал бы призрак, если бы он последовал совету Саковича. Да и сам староста ошмянский хотя и не очень верил в Бога, но снов и чар боялся так же и потому колебался в своих советах.

Второй причиной, удерживавшей князя Богуслава, было то, что в Таурогах гостила «валашка» со своей падчерицей. «Валашкой» звали жену князя Януша Радзивилла. Дама эта, будучи родом из страны, где нравы женщин были не очень строги, и сама не была очень строгой, пожалуй, даже слишком снисходительно относилась к интрижкам своих придворных и фрейлин, но не могла бы стерпеть, чтобы у нее под боком будущий муж ее падчерицы совершил подобное преступление.

Но и потом, когда, следуя уговорам Саковича и согласно воле князя-воеводы виленского, «валашка» вместе с княжной уехала в Курляндию, Богуслав не решился на этот шаг... Он боялся страшного шума, который в таком случае поднялся бы во всей Литве. Биллевичи, люди богатые и влиятельные, не преминули бы преследовать его судом, а закон карал подобные преступления лишением имущества, чести и жизни.

Правда, Радзивиллы были очень могущественны и могли попираť законы, но если бы победа в войне со шведами осталась за Яном Казимиром, тогда молодой князь мог и без того попасть в очень скверное положение, в котором ему бы не помогло ни его могущество, ни друзья, ни сторонники. А теперь уже трудно было

предвидеть, чем кончится война, так как силы Яна Казимира росли с каждым днем, а силы Карла таяли и средства истощались.

Князь Богуслав, человек горячий, но вместе с тем и политик, считался с положением вещей. Его жег огонь страсти, но ум подсказывал сдержаться, суеверный страх обуздывал порывы крови; в то же время он заболел. Накопилось много важных и спешных дел, которые могли повлиять на исход войны и смертельно истерзали и истомили душу князя.

Но неизвестно, чем кончилась бы эта борьба, если бы не самолюбие Богуслава. Этот человек был чрезвычайно высокого мнения о себе. Он считал себя несравненным дипломатом, великим полководцем, великим рыцарем и непобедимым покорителем женских сердец. Неужели ему прибегать к силе и одурманивающим средствам, ему, который возил с собой железный ящик, полный любовных писем от разных знаменитых заграничных дам? Неужели его богатство, его титул, его могущество, почти равное королевскому, его имя, красота и светскость могут быть недостаточны для покорения одной неопытной девушки?

Притом насколько значительнее будет торжество, насколько значительнее будет наслаждение, когда сопротивление девушки ослабеет, когда она сама, добровольно, с бьющимся, как у пойманной птички, сердцем, с пылающим лицом и подернутыми мглой глазами упадет в его объятия.

Дрожь пронизывала Богуслава при мысли об этой минуте. Князь все надеялся, что эта минута наступит, сгорал от нетерпения. Иногда ему казалось, что она уже близка, иногда наоборот, и тогда он кричал, что горит, но не переставал работать.

Прежде всего он окружил девушку необыкновенным вниманием, чтобы она чувствовала к нему признательность и считала добрым человеком; он понимал, что чувство благодарности и дружбы — это мягкий и теплый огонек, который потом надо только раздуть, чтобы он вспыхнул пожаром. Частые свидания их должны были этому способствовать, а чтобы это случилось вернее, князь избегал всякой назойливости, чтобы не подорвать доверия и не испугать.

Между тем каждый взгляд, каждое прикосновение руки, каждое слово было заранее обдуманно и должно было быть каплей, долбящей камень. Все, что он делал для Александры, можно было объяснить гостеприимством хозяина, тем невинным, дружеским влечением, которое одно существо питает к другому, и в то же время все это делалось так, точно делалось из любви. Граница была умышленно затушевана и неясна, чтобы потом можно было перейти ее незаметно и чтобы девушка поскорее заблудилась в этих дебрях, где каждая форма могла что-нибудь означать, но могла и ничего не означать. Игра эта не согласовывалась с врожденной горячностью Богуслава, но он сдерживал себя, так как думал, что только она может привести к цели, и вместе с тем находил в ней такое же наслаждение, какое находит паук, ткущий паутину, коварный птицелов, расставляющий сети, или охотник, терпеливо и неутомимо отслеживающий зверя. Князя забавляла его собственная проницательность, утонченность и ловкость, которую он приобрел при французском дворе.

В то же время он обращался с панной Александрой, как с удельной княжной, но так, что опять-таки ей нелегко было угадать, делает ли он это исключительно для нее, или это вытекает из его светскости и любезности к прекрасному полу.

Правда, она играла главную роль на всех балах, зрелищах, во всех кавалькадах и охотах, но это выходило как-то само собой: после отъезда жены князя Януша в Курляндию она действительно была самой знатной из всех дам, живущих в Таурогах. Хотя в Тауроги, как пограничную местность, съехалось много шляхтянок из всей Жмуди, чтобы под опекой князя найти защиту от шведов, но сами они отдавали первенство панне Биллевич, как представительнице самого старинного рода. И хотя вся Речь Посполитая обливалась кровью, празднествам не было конца. Можно было

подумать, что это королевский двор приехал сюда для отдыха и забав.

Богуслав распоряжался, как самодержавный монарх, не только в Таурогах, но и во всей соседней Пруссии, где бывал частым гостем и где все было к его услугам. Города доставляли ему денег в долг и солдат, прусская шляхта охотно съезжалась на пиры, карусели и охоты. Князь воскресил даже в честь своей дамы уже забытые тогда рыцарские турниры.

Однажды он сам принял в них деятельное участие и, одетый в серебряные латы, опоясанный голубой лентой, которою должна была его опоясать панна Александра, он свалил с коня четырех известнейших прусских рыцарей, пятого Кетлинга и шестого Саковича, хотя тот обладал такой необыкновенной силой, что, схватив за колеса карету, останавливал ее на ходу. И какой восторг вызвал в толпе зрителей тот момент, когда серебряный рыцарь, став на одно колено перед своей дамой, принял из ее рук венки победы. Гремели оглушительные крики, развевались платки, склонялись знамена, а он поднял забрало и смотрел на ее вспыхнувшее лицо своими прекрасными глазами, прижимая к губам ее руку.

В другой раз, когда на арене разъяренный медведь дрался с собаками и растерзал почти всех, князь, одетый только в легкий испанский костюм, бросился на медведя с рогатиной и заколол не только страшного зверя, но и своего копыеносца, который, думая, что князь в опасности, подскочил к нему, непрощенный, на помощь.

Панна Александра, внучка старого воина, воспитанная на воинских традициях, на культе крови и рыцарских доблестей, при виде подвигов Богуслава не могла устоять против изумления и даже некоторого преклонения, так как ее приучили с детства считать чуть ли не главным достоинством мужчины — мужество.

Между тем князь ежедневно являл доказательства почти нечеловеческой отваги, и ежедневно в честь Оленки. Собравшиеся гости, расточая князю такие похвалы, которыми могло бы удовлетвориться и божество, невольно в Разговорах должны были соединять ее имя с именем Богуслава. Он молчал, но глазами говорил ей то, чего не смели сказать уста... Ее окружали чары.

Все складывалось так, чтобы их сблизить, соединять и вместе с тем выделять из толпы других людей. Трудно было кому-нибудь вспомнить о нем, чтобы одновременно не вспомнить о ней. Богуслав с непреодолимой силой старался заполнить собой мысли Оленки. Каждая минута дня была рассчитана на то, чтобы усиливалось очарование.

По вечерам, после зрелищ, комнаты сияли от разноцветных ламп, наполнявших дворец таинственным и нежным светом, словно волшебным сном наяву; опьяняющие восточные благовония насыщали воздух, тихие звуки невидимых арф, лютен и других инструментов ласкали слух, а среди этих ароматов, света, звуков ходил он, в ореоле всеобщего поклонения, точно сказочный принц, молодой, красивый, сияющий, как солнце, драгоценностями и влюбленный, как пастушок.

Какая девушка могла бы устоять против такого волшебства, какая добродетель не ослабла бы от таких чар?... А избегать молодого князя было невозможно, живя с ним под одной кровлей и пользуясь его гостеприимством, которое хотя и было навязано силой, но все же было радушным, истинно панским гостеприимством. Притом же Оленка почти охотно приехала в Тауроги, так как предпочитала их отвратительным Кейданам, как предпочитала и рыцарского Богуслава, носившего маску патриота, преданного родине и покинутому королю, явному изменнику Янушу. В начале своего пребывания в Таурогах она даже была полна дружеских чувств к молодому князю и, заметив, как он старается заслужить ее дружбу, не раз пользовалась своим влиянием на него, чтобы сделать людям добро.

На третий месяц ее пребывания в Таурогах один артиллерийский офицер, друг Кетлинга, был приговорен князем к смерти через расстреляние. Панна Биллевич, узнав об этом от молодого шотландца, заступилась за него.

— Божество приказывает, а не просит! — ответил Богуслав и, разорвав смертный приговор, бросил его к ее ногам. — Распоряжайтесь, приказывайте! Я сожгу Тауроги, если этой ценой сумею вызвать хоть улыбку на вашем лице. Мне не надо иной награды, как только, чтобы вы были веселы и забыли о ваших прежних страданиях.

Но она не могла быть веселой, так как носила в сердце боль, горечь и невыносимое презрение к человеку, которого полюбила первой любовью и который был теперь в ее глазах худшим преступником, чем отцеубийца. Этот Кмициц, который за червонцы обещал предать короля, как Иуда — Христа, стал отвратителен в ее глазах и с течением времени превратился в какое-то чудовище, в какой-то укор для нее самой. Она не могла себе простить, что полюбила его, и вместе с тем, ненавидя, не могла забыть.

С такими чувствами ей трудно было даже притворяться веселой, но она должна была быть благодарна князю и за то, что он не захотел принять участия в преступлении Кмицица, и за все, что для нее делал. Ей все же казалось странным, что молодой князь, такой благородный рыцарь, не спешит на помощь отчизне. Хотя он и не вошел в сношения с Янушем, но она предполагала, что такой политик, как он, знает, что делает, и что этого требуют обстоятельства, которых ей своим девичьим умом не понять. Богуслав намекал ей, объясняя свои частые поездки в соседний Тильзит, что он выбился из сил от работы, что ведет переговоры с Яном Казимиром, Карлом-Густавом, прусским курфюрстом и что надеется спасти отчизну.

— Не ради наград, не ради каких-нибудь должностей я это делаю, — говорил он ей, — я даже жертвую братом Янушем, который был для меня отцом, так как не знаю, удастся ли мне вымолить ему жизнь у королевы Людвики; я делаю то, что мне велит Бог, совесть и любовь к матери-отчизне...

Когда он говорил так с грустью в нежном лице и с глазами, поднятыми к небу, он казался ей возвышенным, как те древние герои, о которых рассказывал ей старый полковник Билевич и о которых он сам читал у Корнелия. И сердце ее наполнялось изумлением, преклонением перед ним. Дошло до того, что, когда ее слишком мучили мысли о ненавистном Андрее Кмицице, она старалась думать о Богуславе, чтобы успокоиться и ободриться. Первый в ее глазах был воплощением страшной и мрачной тьмы, второй — воплощением света, который так нужен томящейся душе. Россиенский мечник и панна Кульвец, которую тоже привезли из Водокт, подталкивали Оле ньку на этом пути, с утра до вечера воспевая хвалебные гимны в честь Богуслава. Правда, оба они были в тягость князю в Таурогах, и он подумывал, как бы их вежливо выпроводить отсюда, но все же он расположил их к себе, особенно пана мечника, который сначала относился к нему враждебно, но потом не мог устоять перед соблазном милостей Радзивилла.

Если бы Богуслав был только шляхтичем знатного рода, а не Радзивиллом, не князем, не магнатом, панна Александра, быть может, влюбилась бы в него насмерть, вопреки завещанию старого полковника, который предоставил ей выбирать между Кмицицем и монастырем. Но это была девушка строгая к себе самой, очень честная по натуре, и потому она не допускала даже мысли о чем-нибудь другом, кроме благодарности князю. Род ее был слишком незначителен, чтобы она могла выйти замуж за Радзивилла, и слишком знатен, чтобы она могла стать его любовницей, и она смотрела на князя почти так же, как смотрела бы на короля, находясь при его дворе. Тщетно сам он старался внушить ей другие мысли, тщетно, потеряв голову от любви, он, отчасти из расчета, отчасти в пылу страсти, повторял то, что некогда сказал в Кейданах, — что Радзивиллы не раз женились на простых шляхтянках; эти мысли были чужды ей, и она оставалась какой была — благодарной, дружески расположенной, ищущей облегчения в мыслях о герое, но не влюбленной.

А Богуслав не умел разобраться в ее чувствах, и часто ему казалось, что он уже

близок к цели; но вскоре со стыдом и злостью замечал, что он не так смел с нею, как с первейшими дамами в Париже, в Брюсселе и Амстердаме. Быть может, это было потому, что князь действительно влюбился, быть может, и потому, что в этой панне, в ее лице, в ее темных бровях и строгих глазах было нечто такое, что вызывало уважение. Один только Кмициц в свое время не поддался этому влиянию и смело целовал эти строгие глаза и гордые губы, но Кмициц был ее женихом.

Все остальные кавалеры, начиная с пана Володыевского и кончая далеко не изысканной прусской шляхтой и самим князем, держали себя с ней совсем не так, как с остальными паннами ее круга. Князь иногда поддавался порывам, но когда однажды, сидя с нею в карете, он прижал ее ногу, прошептал: «Не бойтесь!» — она ответила, что именно боится, как бы ей не пришлось сожалеть о своем доверии к нему; Богуслав смутился и вернулся на прежний путь постепенного завоевания ее сердца.

Но мало-помалу терпение его истощилось. Понемногу он стал забывать о страшном призраке, некогда явившемся ему во сне, все чаще думал о том, что советовал Сакович, и о том, что все Биллевици погибли на войне; страсть все сильнее охватывала его, как вдруг случилось одно обстоятельство, которое совершенно изменило положение вещей в Таурогах.

Однажды, как гром, грянуло известие, что Сапега взял Тыкоцин, а князь великий гетман погиб под развалинами замка.

Все закипело в Таурогах, сам Богуслав в тот же день уехал в Кролевец, где должен был видаться с министрами шведского короля и курфюрстом.

Пребывание его там затянулось дольше, чем он предполагал. Между тем в Тауроги стали стекаться отряды прусских и даже шведских войск. Стали поговаривать о походе против пана Сапеги. Голая истина, что Богуслав был сторонником шведов, как и его брат, князь Януш, выплывала наружу все яснее.

В то же время мечник россиенский получил известие, что его имение Биллевици сожжено отрядами Левенгаупта, которые, разбив жмудских повстанцев под Шавлями, разоряли всю страну огнем и мечом.

Тогда шляхтич немедленно уехал, желая собственными глазами увидеть причиненные ему убытки; князь Богуслав его не удерживал, наоборот, охотно отпустил и только сказал на прощание:

— Теперь вы понимаете, почему я привез вас в Тауроги? Вы, в сущности, обязаны мне жизнью!

Оле нька осталась одна с панной Кульвец и тотчас заперлась в своих комнатах, никого, кроме некоторых дам, не видя. Когда они сообщили ей, что князь готовится к походу против польских войск, она в первую минуту не хотела верить, но, желая убедиться в этом, велела пригласить к себе Кетлинга, так как знала, что молодой шотландец ничего от нее не скроет.

И он тотчас явился, счастливый тем, что его позвали и что он будет говорить с той, которая овладела всей его душой.

Панна Биллевич стала его расспрашивать.

— Пан кавалер, — сказала она, — в Таурогах столько всяких слухов, что мы блуждаем среди них, точно в лесу. Одни говорят, что князь-воевода умер естественной смертью, другие — что его изрубили саблями. Какова настоящая причина его смерти?

Кетлинг с минуту колебался: было видно, что он борется с врожденной робостью; наконец он сильно покраснел и ответил:

— Причина гибели и смерти князя-воеводы — вы, пани!

— Я? — с изумлением спросила панна Биллевич.

— Да, ибо наш князь предпочел остаться в Таурогах, чем идти на помощь брату. Он забыл обо всем... для вас...

Теперь молодая девушка в свою очередь вспыхнула, как роза.

Настало минутное молчание.

Шотландец стоял со шляпой в руке, с опущенными глазами, с головой, склоненной на грудь, в позе, полной уважения и благоговения; наконец он поднял голову и, тряхнув локонами белокурых волос, проговорил:

— Если вас оскорбили мои слова, панна, то позвольте мне склонить перед вами колени и просить прощения!

— Не делайте этого, пан кавалер, — быстро ответила панна, видя, что молодой рыцарь уже опускается на одно колено. — Я знаю, что вы это сказали искренне, так как я давно заметила, что вы ко мне расположены. Разве это не так? Разве вы ко мне не расположены?

Офицер поднял свои чудные глаза вверх и, положив руку на сердце, прошептал тихим, как шепот ветра, голосом, печальным, как воздух:

— Ах, панна... панна...

И сейчас же испугался, что, быть может, сказал слишком много, и потому опять склонил голову на грудь и принял позу придворного, слушающего приказания обожаемой королевы.

— Я здесь среди чужих и без опеки, — проговорила Оле нька, — и хотя сама сумею заботиться о себе и Бог защитит меня от напасти, но все же мне нужна и помощь людей. Хотите ли вы быть моим братом? Захотите ли меня предостеречь в случае опасности, чтобы я знала, что делать и как избежать ловушки?

Сказав это, она протянула ему руку, а он, несмотря на запрещение, стал на одно колено и поцеловал кончики ее пальцев.

— Говорите, ваць-пане, что тут происходит вокруг меня?

— Князь любит вас, — ответил Кетлинг. — Разве вы этого не видели?

Молодая девушка закрыла лицо руками.

— И видела и не видела... Иногда мне казалось, что он только очень добр ко мне...

— Добр... — повторил, как эхо, офицер.

— Да! А подчас, когда мне приходило в голову, что я возбуждаю в нем несчастную страсть, то я успокаивала себя тем, что это не грозит мне опасностью. Я была ему благодарна за то, что он для меня делал, хотя, видит Бог, мне не нужны его новые милости, я и так уже боюсь тех, которые он мне оказал.

Кетлинг передохнул.

— Могу ли я говорить смело? — спросил он после минутного молчания.

— Говорите, ваць-пане!

— У князя есть только два доверенных лица: пан Сакович и Петерсон. Петерсон ко мне очень расположен, так как мы родом из одной страны, и он некогда носил меня на руках. То, что я знаю, я знаю от него. Князь любит вас: страсть горит в нем, как смола в факеле. Все, что здесь происходит, все эти пиры, охоты, карусели и тот турнир, после которого благодаря княжеской руке у меня кровь идет горлом, все это для вас. Князь любит вас без памяти, но не чистой любовью, ибо он хочет обесчестить вас, но не жениться; если бы он был не только князем, но даже королем всего мира, он не нашел бы женщины достойнее вас, но все же князь думает о другой... Ему уже предназначена княжна Анна и ее состояние. Я знаю это от Петерсона и призываю в свидетели Бога и Евангелие, что говорю истинную правду! Не верьте князю, не доверяйте его благодеяниям, остерегайтесь! Здесь вам на каждом шагу готовят измену. У меня дыхание захватывало от того, что говорил Петерсон. Нет на свете преступника, равного Саковичу... Я не могу говорить об этом, не могу! Если бы не присяга, данная мной князю, что я буду оберегать его жизнь, вот эта рука и эта шпага освободили бы вас от постоянной опасности... Но сначала я убил бы Саковича... Да, его прежде всех, прежде тех даже, которые в моей отчизне

убили моего отца, захватили имения и меня сделали странником и наемником!

Тут Кетлинг стал дрожать от волнения и с минуту сжимал только рукой рукоятку шпаги, не будучи в силах говорить; наконец пришел в себя и рассказал о советах, которые давал князю Сакович.

Панна Александра, к его великому изумлению, узнав об угрожающей ей опасности, держалась довольно спокойно, только лицо ее побледнело и стало еще серьезнее. В ее строгом взгляде отразилась несокрушимая воля.

— Я сумею себя защитить! — воскликнула она. — Да поможет мне Бог и святой крест!

— Князь до сих пор не хотел следовать совету Саковича, — добавил Кетлинг, — но когда он увидит, что избранный им путь ни к чему не ведет...

И он стал говорить о причинах, которые удерживали от этого Богуслава.

Панна слушала, наморщив брови, хотя не особенно внимательно, так как думала уже о том, как ей вырваться из-под этой страшной опеки. Но во всей стране не было места, не залитого кровью, и план бегства представлялся ей не совсем ясно, поэтому она предпочитала о нем не говорить.

— Пан кавалер, — сказала она наконец, — ответьте мне еще на один вопрос. Князь Богуслав на стороне шведского короля или польского?

— Ни для кого из нас не тайна, — ответил молодой офицер, — что наш князь желает принять участие в разделе Речи Посполитой, чтобы захватить для себя Литву и превратить ее в удельное княжество.

Он умолк и, как бы угадывая мысли Оле ньки, добавил:

— Курфюрст и шведы к услугам князя, а так как они заняли всю Речь Посполитую, то от него некуда скрыться.

Оле нька ничего не ответила.

Кетлинг ждал еще с минуту, не пожелает ли она еще о чем-нибудь его спросить, но, видя, что она молчит и занята своими мыслями, он почувствовал, что нельзя ей мешать, и низко поклонился, проводя перьями своей шляпы по полу.

— Благодарю вас, пан кавалер, — сказала она, подавая ему руку.

Офицер, не смея повернуться к ней спиной, стал пятиться к двери.

Вдруг на лице ее появился легкий румянец, и после минутного колебания она проговорила:

— Еще одно слово, пан кавалер!

— Каждое ваше слово для меня милость, панна!

— Знали ли вы... Андрея Кмицица?..

— Да... В Кейданах... Последний раз я видел его в Пильвишках, когда мы шли сюда из Полесья...

— Правду ли... правду ли сказал князь, что пан Кмициц предложил ему выдать шведам польского короля?..

— Не знаю... Мне известно лишь, что они совещались в Пильвишках, после чего князь уехал с ним в лес и так долго не возвращался, что Петерсон стал беспокоиться и послал ему навстречу войско. Я и вел этот отряд. Мы встретили князя, когда он возвращался. Я заметил, что он был очень взволнован, точно с ним случилось что-то необыкновенное. Он разговаривал сам с собою, чего с ним никогда не случалось. Я слышал, как он сказал: «Только дьявол мог бы решиться на это!..» Впрочем, больше я ничего не знаю... Только потом, когда князь вспоминал, что предлагал ему пан Кмициц, у меня мелькнула мысль: если это было, то именно тогда.

Панна Биллевич закусила губы.

— Благодарю вас! — сказала она. И осталась одна.

Мысль о бегстве всецело овладела ею. Она решила какой бы то ни было ценой вырваться из этого ужасного места и освободиться от власти этого князя-изменника. Но куда обратиться? Деревни и города были в руках шведов, монастыри были

разорены, замки сровнены с землей, вся страна была наводнена солдатами, дезертирами, разбойниками и всякими темными людьми. Какая участь могла ждать девушку, брошенную в жертву этой буре? Кто с ней пойдет? Тетка Кульвеп, мечник россиенский и десяток его слуг? Но разве эти силы защитят ее?.. Быть может, пошел бы и Кетлинг, быть может, у него нашлась бы даже горсть верных солдат и друзей, которые пожелали бы его сопровождать, но Кетлинг слишком явно был в нее влюблен — как же ей было связывать себя с ним долгом благодарности?

Наконец, какое право было у нее портить будущность этому молодому человеку, почти юноше, подвергать его преследованию, гибели, если она не могла предложить ему за это ничего другого, кроме дружбы. И она спрашивала себя, что делать, куда бежать? И здесь и там ей грозила гибель, и здесь и там — позор!

И, борясь с этими мыслями, она стала горячо молиться.

Тем временем поднялся сильный ветер, деревья в саду зашумели. Вдруг погруженной в молитву девушке вспомнился дремучий лес, на опушке которого она росла с детских лет, и мысль, что в этой пуще она найдет единственное безопасное убежище, молнией пронеслась у нее в голове.

Оле нька передохнула с облегчением, так как нашла наконец то, чего искала. Да! Бежать в Зеленку, в Роговскую. Туда не зайдет неприятель, разбойник не будет искать там добычи. Там даже местный старожил может заблудиться и блуждать до смерти, а не то что посторонний, который не знает дорог. Там ее защитят Домашевичи-охотники и Стакьяны-смолокуры, а если их нет, если все они отправились с паном Володыевским, то этими лесами можно доехать до других воеводств и в других пущах искать убежища.

Воспоминание о пане Володыевском развеселило Оле ньку. Вот бы ей какого покровителя! Это честный солдат, рубака, который может защитить ее и от Кмицица и от Радзивиллов. Тут ей вспомнилось, что именно он советовал ей, в то время, когда захватил в Биллевичах Кмицица, чтобы она искала убежища в Беловежской пуще.

И это верно! Роговская и Зеленка слишком близко от Радзивиллов, а около Беловежа и стоит тот самый Сапега, который несколько дней тому назад стер с лица земли самого страшного Радзивилла.

Итак, в Беловеж, хотя бы сегодня или завтра!..

Пусть только приедет мечник россиенский, она медлить не будет!

Ее укроют темные чаши Беловежа, а потом, когда утихнет буря, укроет монастырь. Только там истинный покой и забвение всех людей, всех страданий, всех скорбей, всякого презрения.

XVI

Пан мечник россиенский вернулся несколько дней спустя. Несмотря на то что он ехал с охранной грамотой Богуслава, он доехал только до Россией. В Биллевичи ему незачем было ехать, так как их уже не было: усадьба, постройки, деревня, все было выжжено дотла в последней битве польского партизанского отряда под командой ксендза Страшевича, иезуита, со шведами. Все население разбрелось по лесам — либо составило вооруженные «партии»; на месте богатой усадьбы остались лишь земля да вода.

Дороги были полны беглых солдат различных войск, которые, соединясь в большие шайки, занимались разбоем и представляли опасность даже для небольших военных отрядов. Мечнику так и не удалось убедиться, сохранились ли в целости закопанные в саду бочки с серебром и деньгами, и он возвратился в Тауроги злой и раздраженный.

Едва успел он выйти из брички, как Оле нька увела его в свою комнату и рассказала ему все, что говорил Гасслинг-Кетлинг.

Услышав это, старый шляхтич задрожал от негодования, ибо, не имея собственных детей, любил молодую девушку, как родную дочь. Некоторое время он лишь хватался за рукоятку сабли и повторял: «Бей, кто в Бога верует!»

Наконец схватился за голову и проговорил:

— *Mea culpa! Mea maxima culpa!*⁶³ Мне и самому приходило в голову, да и люди поговаривали, что этот дьявол в тебя влюбился, а я все молчал, да еще посмеивался: «А вдруг женится! Мы родня Госевских, да и Тизенгаузам родня... Почему же мы не можем породниться с Радзивиллами?» Недурно породниться с нами захотел этот изменник! Уж таким бы он родственничком был... чтоб его Убили!.. Ну ладно!.. Прежде эта рука отсохнет и эта сабля заржавеет, чем...

— Надо подумать о спасении, — сказала Оле нька и стала посвящать его в план побега.

Мечник внимательно слушал ее и наконец сказал:

— Лучше я созову своих людей и составлю из них «партию»! Буду шведов беспокоить, как это делал Кмициц с Хованским. В лесу и в поле ты будешь в большей безопасности, чем при дворе этого изменника и еретика.

— Хорошо, — сказала панна.

— Я не только не противлюсь бегству, но говорю: чем скорее, тем лучше... Ведь у меня довольно мужиков и кос! Они сожгли мое имение? Пустяки! А я созову мужиков из других деревень. Все Биллевичи станут на нашу сторону. Увидим, как он с нами породнится, как он посягнет на честь Биллевичей! Ты — Радзивилл?! Ну что ж? Нет гетманов в нашем роду, но нет и изменников... Посмотрим, за кем пойдет вся Жмудь!

Тут он обратился к Оле ньке:

— Я свезу тебя в Беловеж, а сам вернусь. Иначе не может быть! Он должен поплатиться за намерение нас опозорить! Этим он обидел все сословие шляхетское, только бесчестные не станут на нашу сторону! Бог нам поможет, братья помогут, граждане помогут, а тогда огонь и меч! Биллевичи устоят против Радзивилла! Только бесчестные не пойдут за нами, только бесчестные не обнажат саблю против изменника! Король, сейм, вся Речь Посполитая будет за нас!

Тут мечник, красный как бурак, стал колотить кулаком по столу:

— Эта война важнее, чем война со шведами. В нашем лице оскорблены все законы, вся Речь Посполитая, все сословие рыцарское! Только бесчестный этого не поймет! Погибнет отчизна, если мы не отомстим и не накажем изменника!

И так разволновался старый мечник, что Оле ньке пришлось его успокаивать. До сих пор он сидел тихо, хотя казалось, что не только отчизна, но и мир весь гибнет, но теперь, когда затронули Биллевичей, он увидел в этом самую страшную опасность для отчизны и зарычал, как лев.

Но девушка всегда имела на него сильное влияние; она сумела успокоить его и объяснить, что для их спасения и для того, чтобы побег удался, его надо хранить в глубокой тайне и не показывать князю, будто они о чем-нибудь догадываются. Он дал ей слово поступать по ее указаниям, и потом они стали совещаться о побеге. Им казалось, что осуществить его не очень трудно, так как думали, что за ними не следят.

Поэтому мечник решил послать нарочного с письмами к экономам, чтобы те немедленно собрали и вооружили крестьян из всех деревень, принадлежащих ему и другим Биллевичам. Потом он хотел отправить шестерых верных людей, будто бы за деньгами и серебром в Биллевичи, а на самом деле в лес, где они должны были остановиться и ожидать их с лошадьми и провизией. Затем было решено выехать из

⁶³ Моя вина, моя великая вина! (*лат.*).

Таурог в санях с двумя дворовыми, будто бы в гости к соседям, а потом пересесть на лошадей и бежать. К соседям Ольбровтовским они ездили часто, иногда даже ночевали у них, а потому надеялись, что отъезд их не будет никем замечен и что если за ними и отправят погоню, то не ранее чем через два-три дня, когда они будут уже в лесу под защитой вооруженных крестьян.

Между тем пан Томаш деятельно занялся приготовлениями. Нарочный с письмами уехал на следующий день. А на третий день мечник подробно говорил Петерсону о своих деньгах, зарытых в земле, и о том, что их необходимо для безопасности перевезти в Тауроги. Петерсон поверил этому, так как шляхтич слыл богачом и, действительно, обладал большим состоянием.

— Пусть привезут их скорее, — сказал шотландец, — а если надо, то я дам солдат!

— Чем меньше людей будет знать, что везут, тем лучше. На людей моих я могу положиться, а мешки с деньгами они провезут под пенькой, которую мы часто отправляем в Пруссию, или под дранью, на которую никто не польстится.

— Лучше под дранью, — сказал Петерсон, — сквозь пеньку можно саблей нащупать, что на дне что-то другое. А деньги вы отдайте под расписку князю. Я знаю, что он нуждается, потому что доходы плохо поступают...

— Я бы и хотел оказать князю услугу, чтобы он ни в чем не нуждался, — ответил шляхтич.

Тем и кончился разговор; все, по-видимому, складывалось как нельзя лучше; прислуга отправилась раньше, а мечник с Оленькой собирались выехать на следующий день.

Между тем вечером совершенно неожиданно возвратился Богуслав с двумя полками прусской кавалерии. Дела его, видимо, были неважны, так как он вернулся раздосадованный и злой.

В тот же день он созвал совет, состоявший из уполномоченного курфюрстом графа Сейдевица, Петерсона, Саковича и кавалерийского полковника Кирица. Совет затянулся до трех часов ночи; целью его было обсуждение похода против Сапеги на Полесье.

— Курфюрст и король шведский дали мне в подкрепление свои войска, — говорил князь. — Одно из двух: или Сапега еще на Полесье, и тогда мы должны разбить его, или его уже там нет — тогда мы займем Полесье без сопротивления. Но мне необходимы деньги, а их у меня нет, и ни курфюрст, ни шведский король мне не дали, потому что у них нет.

— У кого же и искать денег, как не у вашего сиятельства? — ответил граф Сейдевиц. — Во всем мире говорят о неисчерпаемых сокровищах Радзивиллов.

Богуслав возразил:

— Граф Сейдевиц, если бы до меня доходили все доходы с моих наследственных имений, у меня, наверно, было бы больше денег, чем у пяти ваших немецких принцев, вместе взятых. Но в стране война, доходов нет, или же их захватывают конфедераты. Можно бы достать денег взаймы у прусских городов, но вы лучше всех знаете, что там происходит и что они раскошелятся только для Яна Казимира.

— Я счастлив, что могу услужить вашему сиятельству советом, — сказал Петерсон.

— Я предпочел бы, чтобы вы услужили мне деньгами.

— Мой совет стоит денег. Не дальше как вчера пан Биллевич говорил мне, что у него значительная сумма денег зарыта в саду в Биллевичах и что он хочет перевезти их сюда, в безопасное место, и отдать вашему сиятельству под расписку.

— Да вы просто с неба мне свалились, как и этот шляхтич! — воскликнул Богуслав. — А много у него денег?

— Более ста тысяч, кроме серебра и драгоценностей, которых будет на ту же сумму.

— Серебро и драгоценности шляхтич продать не захочет, но можно будет их заложить. Благодарю вас, Петерсон, за совет. Надо будет завтра же поговорить с Биллевичем.

— В таком случае я его предупрежу, потому что завтра он собирается ехать к Ольбровтовским.

— Скажи ему, чтобы он не уезжал, не повидавшись со мной.

— Он уже отправил слуг, и я боюсь, доедут ли они благополучно.

— Можно будет послать за ними целый полк; впрочем, мы еще поговорим. Как это вовремя! Просто потеха: с помощью денег королевского сторонника я оторву Полесье от Речи Посполитой!

С этими словами князь со всеми простился, так как должен был принять ежедневную ванну со всевозможными снадобьями, которые сохраняли красоту. Это продолжалось обычно с час или два. А князь и без того устал с дороги.

На следующий день Петерсон задержал мечника и панну Александру и объявил им, что князь желает их видеть. Надо было отложить отъезд, но это их не беспокоило, так как Петерсон сказал им, в чем дело.

Вскоре явился князь. Хотя пан Томаш и Оле нька решили принять его по-прежнему, но, несмотря на все усилия, не могли этого сделать. Оле нька покраснела, лицо мечника налилось кровью, обоими овладело смущение, и они тщетно силились сохранить спокойствие.

Князь, напротив, был совершенно спокоен, он только немного похудел и побледнел, но именно эта бледность прелестно гармонировала с его утренним костюмом, затканым жемчугом и серебром; но он сейчас же заметил, что его принимают не так, как всегда, и не так рады его приходу, как прежде; но он подумал, что эти два сторонника короля узнали об его сношениях со шведами и потому так холодно его встречают. Он решил сейчас же пустить им пыль в глаза и после первых приветственных комплиментов начал:

— Вам, наверно, известно уже, мосци-мечник, какое несчастье случилось со мной?

— Ваше сиятельство, вероятно, имеете в виду смерть князя-воеводы?

— Не только смерть. Правда, это страшный удар, но я помирился уже с волей Всевышнего, Который, верю, щедро вознаградит брата за все причиненные ему обиды. Нет, мне послана новая тяжесть, а это для каждого гражданина, любящего отчизну, большое горе...

Мечник молчал и искоса посматривал на Оле ньку. Князь продолжал:

— Я добился заключения мира, один Бог знает, какими тяжкими усилиями и трудами. Оставалось только подписать трактат. Шведы должны были уйти из Польши, не требуя никакого вознаграждения, кроме того, чтобы после смерти Яна Казимира был избран на престол, с согласия сословий, шведский король. Такой великий воин мог бы быть спасением для Речи Посполитой. Даже больше, он сейчас же обещал оставить вспомогательное войско для борьбы с Украиной и Москвой. Мы бы еще расширили наши владения; но пану Сапеге это не на руку, он не мог бы тогда преследовать Радзивиллов! Все уже согласилось на условия мира, и только он один с оружием в руках восстал против него, ибо для него его собственные интересы выше отчизны. Дело дошло до того, что против него придется употребить оружие, что и поручено мне по тайному соглашению Яна Казимира с Карлом-Густавом. Я никогда не уклонялся ни от какой службы и не уклоняюсь и теперь, хотя у многих может явиться подозрение, что я начинаю братоубийственную войну из мести.

— Тот, кто знает ваше сиятельство так же хорошо, как мы, всегда может понять благие намерения вашего сиятельства.

И мечник, восторгаясь своей хитростью, так выразительно подмигнул Оле ньке, что девушка испугалась, как бы князь не заметил этого. И он заметил.

«Не верят мне!» — подумал князь.

И хотя его лицо оставалось спокойным, но это его кольнуло. Он был совершенно чистосердечно убежден, что не верить Радзивиллу нельзя, даже тогда, когда он лжет.

— Петерсон передавал мне, — сказал он после минутного молчания, — что вы хотите отдать мне свои деньги под расписку. Я охотно возьму их, так как действительно нуждаюсь в наличных деньгах. По окончании войны я или верну вам долг, или дам в залог свои имения, что будет для вас прибыльно. Простите, ваць-панна, — прибавил он, обращаясь к Оле ньке, — что мы в вашем присутствии завели разговор о столь недостойном предмете! Это неподходящий разговор, но теперь такое время, когда чувствам обожания и преклонения нельзя дать волю...

Оле нька опустила глаза, взялась кончиками пальцев за платье и сделала реверанс, чтобы иметь возможность ничего не отвечать. Между тем пан мечник мысленно обсуждал нелепейший план, который казался ему необыкновенно остроумным.

«И девушку увезу, и денег не дам!» — думал он. Затем откашлялся, погладил чуб и начал:

— Я очень рад угодить вашему сиятельству. Я не все сказал Петерсону; у меня найдется еще полгарнца червонцев, зарытых отдельно, чтобы, в случае чего, сохранить хоть часть денег... Кроме того, там зарыты также деньги других Биллевичей, но их зарыли в мое отсутствие, и место, где они зарыты, известно лишь этой панне, а человека, который спрятал их, уже нет в живых. Если ваше сиятельство позволите нам ехать вдвоем, мы привезем все.

Богуслав быстро взглянул на него:

— Как так? Петерсон говорил мне, что вы уже отправили слуг, и раз они уехали, то должны знать, где деньги.

— Да, но о последних знает только она.

— Ведь они, наверное, зарыты в каком-нибудь определенном месте, которое можно указать на словах или в письме.

— Слова — ветер, — ответил мечник, — а если в письме, то ведь челядь неграмотна. Мы поедем вдвоем, вот и все!

— Боже мой! Ведь вам хорошо известны ваши сады, и поезжайте одни! Зачем же панне Александре ехать?

— Я один не поеду! — решительно ответил мечник.

Богуслав снова взглянул на него пристально, потом уселся поудобнее и принялся хлопать тросточкой по своим сапогам.

— Если вы настаиваете, пусть так и будет. Но я вам дам два полка конницы, которые вас проводят туда и обратно.

— Зачем нам полки? Мы отправимся одни и одни вернемся! Ничего с нами не случится, это ведь наши владения.

— Как гостеприимный хозяин, я не могу позволить, чтобы панна Александра ехала без конвоя. Итак, выбирайте: или одни, или вдвоем, но с конвоем.

Мечник сообразил, что попался в собственную ловушку, и им овладел такой гнев, что, позабыв всякую осторожность, он крикнул:

— Тогда вы, ваше сиятельство, выбирайте: или мы отправимся вдвоем, или я не дам вам денег!

Панна Александра бросила на него умоляющий взгляд, но мечник уже покраснел и пыхтел.

Это был человек от природы осторожный, даже робкий, любивший все дела решать к общему удовольствию, но если его выводили из себя, если он на кого-нибудь начинал злиться или если кто-либо задевал честь Биллевичей он с

какой-то отчаянной храбростью мог броситься на самого сильного врага. Так и теперь: схватившись рукой за бок и звякнув саблей, он закричал во все горло:

— Что же это, мы в плену?! Вы хотите насиловать свободного шляхтича? Попирать все законы?!

Богуслав пристально смотрел на него, откинувшись на спинку кресла; он не выказывал своего гнева, но взгляд его с каждой минутой становился все холоднее, а тросточка все быстрее ударяла по сапогу. Если бы мечник знал его лучше, то понял бы, что ему угрожает опасность.

Иметь дело с Богуславом было попросту страшно, потому что никогда не было известно, когда над придворным кавалером и дипломатом, привыкшим владеть собой, возьмет верх дикий и необузданный магнат, ломающий все преграды с жестокостью восточного деспота. Прекрасное воспитание, светский лоск, приобретенный при европейских дворах, изысканность были лишь кустом прекрасных цветов, под которым таился тигр.

Но мечник забыл об этом и, ослепленный гневом, кричал:

— Ваше сиятельство, не притворяйтесь больше, потому что все вас знают... Увидите, что ни шведский король, ни курфюрст, с которыми вы сражаетесь против отчизны, ни ваше княжеское имя не защитят вас перед лицом трибунала, а сабли шляхты научат... добрым нравам!

При этих словах Богуслав поднялся, сломал тросточку своими железными руками и, бросив ее к ногам мечника, сказал страшным, сдавленным голосом:

— Вот что для меня ваши права! Ваши трибуналы! Ваши привилегии!

— Какая наглость! — крикнул мечник.

— Молчать, панок! — крикнул князь. — Иначе я тебя в порошок сотру!

С этими словами князь подошел к нему, чтобы схватить его за грудь и швырнуть о стену. Но панна Александра уже стояла между ними.

— Что вы хотите сделать, ваше сиятельство?

Князь остановился. А она стояла перед ним, точно разгневанная Минерва, с пылающим лицом и сверкающими глазами. Грудь ее высоко вздымалась, подобно морской волне, но и в гнев она была так прекрасна, что Богуслав загляделся на нее.

Через минуту гнев его прошел. Он пришел в себя и стоял, не сводя глаз с Оленьки. Наконец лицо его приняло ласковое выражение, он склонил голову и сказал:

— Простите, ангельское создание! Душа моя так полна скорби и боли, что я не могу владеть собою.

С этими словами он ушел из комнаты.

Тогда Оленька стала в отчаянии ломать руки, а мечник, придя в себя, схватился руками за голову и воскликнул:

— Я все испортил! Ведь я погубил тебя!

Князь не выходил целый день. Он обедал у себя вдвоем с Саковичем.

Взволнованный до глубины души, он не мог думать так ясно, как всегда. Его мучила какая-то горячка. Она всегда предвещала приближение той страшной лихорадки, от приступов которой князь так холодел, что его приходилось растирать. Но сейчас свое состояние он приписывал любви и понимал, что должен или удовлетворить ее, или умереть.

Рассказав Саковичу весь разговор с мечником, он сказал:

— У меня горят руки и ноги, мурашки бегают по спине, во рту горько и сухо... Черт возьми, что это со мной? Я никогда ничего подобного не испытывал!

— Это оттого, что вы начинены целомудрием.

— Ты глуп!

— Пусть!

— Я не нуждаюсь в твоих островах.

— Возьмите, князь, лютню и ступайте под окна панны... может быть, вам

покажет... кулак мечник! Тьфу, черт возьми! Вот так молодец Богуслав Радзивилл!

— Ду-урак!

— Пусть! Но я вижу, что вы, ваше сиятельство, начинаете разговаривать сами с собой и говорить себе правду в глаза. Смелее! Смелее! Нечего смотреть на знатность рода.

— Послушай, Сакович: когда мой пес Кастор забывается, я его бью за это ногой в бок, а с тобою может случиться похуже.

Сакович быстро вскочил, притворяясь разъяренным, как недавно мечник россиенский, и так как у него был необыкновенный дар подражания, то он закричал голосом мечника:

— Что же это, мы в плену? Насиловать свободного гражданина? Попирать все законы?

— Замолчи, замолчи, — лихорадочно сказал князь, — ведь там она заслонила собственной грудью этого старого болвана, а здесь нет никого, кто бы тебя защитил!

— Когда она его заслонила, тебе надо было к ней прислониться!

— Нет, тут, должно быть, какие-нибудь чары, не может быть иначе. Или она меня околдовала, или я сам с ума схожу. Если бы ты только видел, как она заступалась за своего паршивого дядюшку! Но ты дурак! У меня кружится голова. Смотри, как у меня руки горят. Любить такую девушку... ласкать ее... иметь с нею...

— Детей! — добавил Сакович.

— Да, да, ты угадал! И это будет! Иначе меня разорвет, как гранату! Боже, что со мной? Жениться, что ли, черт меня поберет?!

Сакович стал серьезен:

— Об этом вам и думать нельзя, ваше сиятельство.

— А я об этом думаю, и если захочу, то так и сделаю, хоть бы целый полк Саковичей твердил целую неделю: «Об этом вам и думать нельзя, ваше сиятельство».

— Нет, вы шутите!

— Я или болен, или околдован, иначе быть не может!

— Отчего вы, ваше сиятельство, не хотите, в конце концов, последовать моему совету?

— Разве и в самом деле последовать? Ах, черт бы их всех взял, все эти сны, всех этих Биллевичей и Литву, и трибуналы, и Яна Казимира... Иначе я ничего не добьюсь. Вижу, что не добьюсь. И я дурак, до сих пор колебался, боялся снов, Биллевичей, процессов, шляхетского сброда, Яна Казимира! Скажи, что я дурак!.. Скажи мне, что я дурак! Слышишь? Я приказываю тебе сказать мне, что я дурак.

— Но я этого не сделаю, ибо именно теперь вы Радзивилл, а не лютеранский проповедник. Но вы, должно быть, больны, ваше сиятельство, ибо мне никогда не приходилось видеть вас в таком возбуждении.

— Правда! В самых затруднительных случаях я только рукой махал да посвистывал, а теперь у меня такое чувство, точно мне кто впился шпорами в бока!

— Странно, ведь если эта девушка умышленно приворожила вас каким-нибудь зельем, то ведь не затем, чтобы потом убежать от вас. А между тем из того, что вы говорите, явствует одно: они хотели бежать потихоньку.

— Рифф говорил мне, что это влияние Сатурна, на котором в этом месяце поднимаются горящие испарения.

— Ваше сиятельство, изберите себе лучше покровителем Юпитера, ибо ему везло и без браков. Все пойдет хорошо, только не вспоминайте о венце, разве что об игрушечном...

Вдруг староста ошмянский ударил себя ладонью в лоб:

— Подождите, ваше сиятельство, я слышал в Пруссии о подобном случае!

— Ну, что еще черти тебе нашептали?

Но Сакович долго не отвечал. Наконец лицо его прояснилось, и он проговорил:
— Благодарите судьбу, ваше сиятельство, за то, что она послала вам такого друга, как Сакович!

— Что такое? Что такое?

— Ничего! Я буду шафером вашего сиятельства, — тут Сакович отвесил низкий поклон, — а для бедного шляхтича это честь не малая!

— Не паясничай, говори скорее!

— В Тильзите существует некто Пляска, или как его там, бывший когда-то ксендзом в Неворанах, но, когда его расстригли, он перешел в лютеранство. Женившись, он снискал покровительство курфюрста и теперь торгует копченой рыбой со Жмудью. Одно время епископ Парчевский пытался вытребовать его обратно на Жмудь, где его уж, наверное, ожидал костер, но курфюрст не согласился выдать своего единоверца.

— Что мне до этого за дело? Не мямли!

— Что вам за дело, ваше сиятельство? А то, что он вас сошьет, как два полотнища! Понимаете, ваше сиятельство? А так как он мастер плохой, да к тому же к цеху не приписан, то вас легко будет распороть... Понимаете, князь? Цех признает его шитье недействительным, и никакого шума, никакого крика не будет. Мастеру можно будет потом шею свернуть... А вы, ваше сиятельство, всем и каждому будете говорить, что вас обманули! Понимаете? А до этого: «плодитесь и размножайтесь»! Я первый вас благословляю!

— Понимаю и не понимаю! — сказал князь. — Черт возьми! Прекрасно понимаю! Сакович! Ты, должно быть, с зубами родился! И не уйти тебе от плахи!.. Ну, ну, пане староста! Но успокойся, пока я жив, у тебя волос с головы не спадет, и награда не минует... Стало быть, я...

— Вы можете торжественно просить руки панны Биллевич у нее и у мечника. Если вам откажут, то прикажите с меня кожу содрать! Они могли оцетиниться против Радзивилла, когда ему захотелось поиграть с панной, но раз Радзивилл задумал жениться, мигом шерсть шелковой станет! Вам только придется сказать мечнику и панне, что так как король шведский и курфюрст сватают вам княжну бипонскую, то свадьба должна остаться в тайне, пока не будет заключен мир. Впрочем, брачный договор можно написать как угодно. Все равно он не будет признан ни одной церковью. Ну, что же?

Богуслав молчал, и только на лице его выступили лихорадочные пятна.

— Теперь времени нет, — произнес он, помолчав, — через три дня я должен идти на Сапегу.

— Вот и прекрасно! Если бы было времени больше, то труднее было бы подыскать подходящие оправдания. Только недостатком времени вы объясните, ваше сиятельство, что венчать будет первый попавшийся поп, как всегда в экстренных случаях. Они сами подумают: «Наскоро все, потому что иначе нельзя». Она девушка отважная, и вы можете тоже взять ее с собой в поход. Если вас даже разобьет Сапега, все же вы наполовину будете победителем!

— Ладно! Ладно! — сказал князь.

Но в ту минуту с ним случился первый припадок; челюсти у него сжались, и он не мог произнести ни слова. Он весь похолодел, а потом его стало подбрасывать, и он метался, точно рыба, вынутая из воды. Но прежде чем испуганный Сакович успел привести медика, припадок окончился.

XVII

На следующий день после разговора с Саковичем князь Богуслав отправился к мечнику россиенскому.

— Пане мечник и мой благодетель, — сказал он, — я очень провинился перед вами в последний раз, так как позволил себе вспылить, забыв о том, что говорю с гостем. Я виноват, и моя вина тем тяжелее, что я обидел человека, известного своей преданностью дому Радзивиллов; но я пришел просить прощения. Вы давно знаете Радзивиллов, знаете, что мы не очень любим просить прощения, но так как я обидел почтенного и старого человека, то, невзирая на мое достоинство и сан, прихожу с повинной. А вы, как старый друг нашего дома, верю, подадите мне руку!

Сказав это, он протянул руку, а мечник, в душе которого уже остыл прежний гнев, не посмел отказать и подал руку, хоть и не спеша.

— Ваше сиятельство, — сказал он, — верните нам свободу, это будет лучшим удовлетворением!

— Вы свободны и можете ехать хоть сегодня!

— Благодарю вас, ваше сиятельство, — с удивлением ответил мечник.

— Но ставлю одно условие и молю Бога, чтобы вы его приняли.

— Какое? — со страхом спросил мечник.

— Чтобы вы захотели выслушать терпеливо то, что я вам скажу.

— Если так, я буду слушать хоть до вечера!

— Ответьте не сразу, а через час или два.

— Видит Бог, что, если вы вернете нам свободу, я ничего, кроме мира, не хочу!

— Я верну вам свободу, ваць-пане, только не знаю, захотите ли вы ею воспользоваться и будете ли торопиться уехать от меня. Мне было бы приятно, если бы вы считали своим мой дом и все Тауроги... Теперь слушайте! Вы знаете, ваць-пане, почему я не хотел, чтобы панна Биллевич уехала? Потому что я догадался, что вы попросту хотите бежать от меня, а так как я влюбился в вашу племянницу и готов каждый день переплывать Геллеспонт, чтобы только видеть ее, как в древности Леандр, чтобы видеть Геру...

Мечник покраснел в одну минуту:

— Как вы осмеливаетесь говорить мне это?

— Именно вам, мой благодетель, мой величайший благодетель!

— Мосци-князь, ищите счастья у ваших крепостных девок, но шляхтянки не трогайте! Вы можете арестовать ее, посадить в подземелье, но опозорить ее вы не смеее!

— Опозорить я не смею, но ведь могу же я поклониться старому Биллевичу и сказать ему: послушайте, отец, отдайте мне вашу племянницу в жены, ибо без нее я жить не могу!

Мечник пришел в такое изумление, что не мог сказать ни слова; он только шевелил бровями и выпучил глаза... Наконец протер их и стал смотреть то на князя, то по сторонам:

— Во сне ли это или наяву?!

— Нет, не во сне, мой благодетель, и чтобы доказать вам это, я повторю это вам cum omnibus titulis⁶⁴: я, Богуслав, князь Радзивилл, конюший Великого княжества Литовского, прошу у вас, Томаша Биллевича, мечника россиенского, руки вашей племянницы, панны ловчанки, Александры.

— Как же это? Господи боже! Да обдумали ли вы то, что говорите, ваше сиятельство?!

— Я обдумал, а теперь обдумайте вы, достоин ли я руки вашей племянницы.

— От удивления я говорить не могу!

— Вы убедитесь теперь, были ли у меня какие-нибудь дурные намерения.

— И вас, ваше сиятельство, не останавливает наше скромное звание?

⁶⁴ Со всеми титулами (лат.).

— Значит, вы так дешево цените Биллевичей, их шляхетское достоинство и древность их рода? Да от Биллевича ли я это слышу?!

— Ваше сиятельство, я знаю, что наш род ведет свое начало из Древнего Рима, но...

— Но, — прервал князь, — в вашем роду нет ни гетманов, ни канцлеров? Это ничего! Вы имеете такое же право на престол, как и мой бранденбургский дядя. Раз у нас в Речи Посполитой всякий шляхтич может быть избран королем, то нет такой высоты, которая не была бы для него доступна. Я, дорогой пан мечник, а даст Бог, и дядя, родился от княжны бранденбургской, а отец мой — от Острожской; но дед мой, блаженной памяти Крыштоф Первый, тот, которого звали Перуном, великий гетман, канцлер и воевода виленский, вступил в первый брак с Собко, и корона не свалилась у него с головы, ибо Собко была шляхтянка из такого же рода, как и другие. Зато, когда мой покойный родитель вступил в брак с дочерью курфюрста, все кричали, что он забыл о своем сане, хотя, вступая в брак, он роднился с царствующим домом. Вот какова наша дворянская гордость! Ну, благодетель, признайтесь, что вы не считаете Биллевичей хуже Собко! Ну?

Говоря это, князь фамильярно похлопал мечника по плечу, и шляхтич растаял, как воск.

— Да благословит вас Бог за ваши чистые намерения, — ответил он. — Эх, мосци-князь, если бы не различие в вере!..

— Венчать будет католический ксендз, другого я сам не хочу.

— Всю жизнь мы за это будем благодарны вашему сиятельству! Нам нужно благословение Божье, а он его не даст, если какой-нибудь паскудник...

Тут мечник прикусил себя в язык — он спохватился, что хотел сказать нечто не очень приятное для князя. Но Богуслав не обратил на это внимания, даже улыбнулся милостиво и прибавил:

— И относительно детей я не буду спорить, потому что нет того на свете, чего бы я не сделал для вашей красавицы...

Лицо мечника просияло, точно его озарили солнечные лучи.

— Да уж, Господь не обидел красотой эту шалунью.

Богуслав опять похлопал его по плечу и, наклонившись к уху, стал что-то шептать.

— А что первый будет мальчик, за это я ручаюсь. И картина, а не мальчик!

— Хи-хи!

— Иначе и быть не может от Биллевич!

— От Биллевич и Радзивилла! — прибавил мечник, упиваясь дивным созвучием этих двух фамилий. — Хи-хи! Вот шум пойдет по всей Жмуди... А что-то скажут наши враги, Сицинские, когда Биллевичи поднимутся так высоко? Ведь они не оставили в покое даже старого полковника, хотя его чтит вся Речь Посполитая...

— Мы их прогоним из Жмуди, мосци-мечник!

— Великий Боже, неисповедимы пути Твои, но если Тобой предопределено, чтобы Сицинские лопнули от зависти, то да будет воля Твоя!

— Аминь! — прибавил Богуслав.

— Мосци-князь, не осуждайте меня за то, что я не держу себя с тем достоинством, с каким должны держаться те, у кого просят руки девушки, и что я так сильно проявляю свою радость. Но мы истомились, живя тут и не зная, что нас ждет, и все объясняя в самую дурную сторону. Дошло до того, что мы стали дурно думать о вашем сиятельстве; но вот оказалось, что наш страх и все подозрения были незаслуженны, а потому нам можно теперь искренне высказать преклонение перед вашим сиятельством. У меня точно гора с плеч долой!

— Разве и панна Александра меня подозревала?

— Она? Если бы я был Цицероном, то и тогда не сумел бы описать, как она

прежде преклонялась перед вашим сиятельством. Я полагаю, что только целомудрие ее и врожденная робость помешали ей высказать свои чувства... Но когда она узнает об искренних намерениях вашего сиятельства, то, я уверен, сейчас даст волю сердцу, и оно не замедлит поскакать на пастбище любви...

— Сам Цицерон не сумел бы выразиться лучше! — произнес Богуслав.

— Когда человек счастлив, он и красноречив бывает! Но если вы изволите так милостиво выслушивать все, что я говорю, то я буду откровенен до конца!

— Будьте откровенны, пан мечник...

— Хотя моя племянница и молода, но у нее ум совсем мужской и она с норовом. Там, где даже опытный человек растеряется, она и не задумается. Все дурное она отложит налево, все хорошее — направо... и сама пойдет направо. С виду она и нежная, но если раз изберет себе дорогу — ее и пушками не заставишь с нее сойти. Вся в деда и в меня! Отец ее был солдат по призванию, но мягкого характера, зато мать ее, урожденная Войнилович, двоюродная сестра панны Кульвец, была женщина тоже с характером.

— Очень приятно слышать, мосци-мечник!

— Вы представить себе не можете, мосци-князь, до чего она ненавидит шведов, да и всех врагов Речи Посполитой. Если бы она заподозрила кого-нибудь хоть в малейшей измене, то сейчас же почувствовала бы к нему непреодолимое отвращение, будь это даже не человек, а ангел... Ваше сиятельство, простите старику, который по летам годился бы вам в отцы, если бы не его скромное звание: бросьте шведов!.. Ведь они терзают нашу отчизну хуже татар. Лучше двиньте вы против этих нехристей свое войско, тогда не только я, но и она сама пойдет с вами на войну! Простите мне, ваше сиятельство, я высказал то, что думал.

Богуслав поборол себя и, помолчав немного, сказал:

— Мосци-пане мечник! Еще вчера вы могли предполагать, что я хочу вас провести, говоря, что я стою на стороне короля и отчизны, но сегодня это уже не годится! И вот, как родственнику, я вам повторяю и клянусь, что все, что я сказал о мире и его условиях, — истинная правда! Я бы и сам предпочел идти на войну, ибо она меня всегда привлекает, но я убедился, что не в этом спасение, и одна только любовь к отчизне заставила меня избрать другое средство... И могу сказать, что то, что я сделал, — неслыханная вещь! Проиграть войну и заключить такой мир, где победитель будет служить побежденному, — этого бы не постыдился и хитрейший из людей — Мазарини. Не одна панна Александра, но и я вместе с нею ненавижу врагов. Но что же делать? Как спасти отчизну? Один в поле не воин! И вот я подумал: надо спасти отчизну, хоть погибнуть и легче! А так как я политике учился у лучших дипломатов, так как я родственник курфюрста и так как шведы благодаря брату Янушу мне доверяют, то я и начал переговоры, а как они кончились и какую пользу они принесли Речи Посполитой, вы уже знаете! Концом этой войны явится освобождение вашей католической религии, костелов, духовенства, шляхетского сословия и крестьян от гонений, помощь шведов против русских и казаков, а может быть, и расширение границ... И за все это одна только уступка: Карл вступит на королевский престол после смерти Яна Казимира. Кто больше моего сделал для отчизны, пусть станет сюда!

— Да, правда... это увидел бы и слепой... Только шляхетское сословие будет недовольно уничтожением права свободного избрания.

— А что важнее, право избрания или отчизна?

— И то и другое одинаково важно, мосци-князь, ибо это главный фундамент Речи Посполитой. А что такое отчизна, если не собрание прав, привилегий и свобод шляхетского сословия? Государя можно иметь, находясь и под чужим владычеством!

Гнев и скука промелькнули на лице Богуслава.

— Карл, — сказал он, — подпишет хартию вольностей, как это делалось и

раньше; а после его смерти мы изберем, кого пожелаем, хотя бы даже того Радзивилла, который родится от Биллевич.

Мечник стоял с минуту, точно ослепленный этой мыслью, затем поднял руку вверх и воскликнул с воодушевлением:

— Согласен!

— И я так думаю, что вы согласны, если бы даже трон перешел к нам в наследственное владение, — сказал со злой усмешкой князь. — Все вы таковы! Теперь, чтобы осуществить переговоры, нужно только... Вы понимаете, дядюшка?

— Нужно, непременно нужно! — повторил с глубоким убеждением мечник.

— А знаете, почему они могут осуществиться?.. Так как Карлу приятно мое посредничество, у Карла одна сестра замужем за де ла Гарди, а другую, княжну бипонскую, ему хочется выдать за меня, чтобы породниться с нашим домом и иметь сторонников на Литве. Вот откуда его благосклонность ко мне, в которой его поддерживает и дядя мой, курфюрст.

— Как же это? — с беспокойством спросил мечник.

— Мосци-мечник, я не променяю вашу голубку ни на каких бипонских княжон со всеми их княжествами. Но мне нельзя раздражать эту шведскую скотину, а потому я делаю вид, что согласен на их условия. Но пусть только они подпишут трактат, тогда мы посмотрим!

— Ба, так они, пожалуй, не подпишут, узнав, что вы женились!

— Мосци-мечник, — серьезно сказал князь, — вы подозревали меня в неверности отечеству... Но я, как честный гражданин, задаю вам вопрос: имею ли я право жертвовать благом Речи Посполитой ради личных интересов?

Пан Томаш слушал.

— Что же будет?

— Подумайте сами, что должно быть.

— Боже мой, я вижу только, что свадьбу придется отложить, а недаром пословица говорит: «Что отложишь, то и убежит».

— Чувства мои не переменятся, потому что я полюбил на всю жизнь, а надо вам знать, что в верности со мной не сравнится даже терпеливая Пенелопа.

Мечник испугался еще больше, так как он, как и все, был совершенно другого мнения о княжеской верности. А князь, как нарочно, еще прибавил:

— Но вы правы, что никто не может быть уверен в завтрашнем дне: я могу заболеть, даже, может быть, тяжело; вчера со мной был такой припадок, что Сакович едва меня отходил; я могу умереть, погибнуть в походе против Сапеги.

— Ради бога, придумайте что-нибудь, мосци-князь!

— Что мне придумать? — с грустью ответил князь. — Я бы сам был рад, если бы все поскорее кончилось!

— Ох, если бы кончилось... Обвенчаться, а потом будь что будет...

— Клянусь богом! — воскликнул Богуслав, вскочив с места. — Да с таким умом вам бы надо быть литовским канцлером! Другой в три дня не придумал бы того, что вам сразу пришло в голову. Да, да, обвенчаться и сидеть себе тихо! Вот это умно! Через два дня мне необходимо идти против Сапеги. Мы сделаем потайной вход в ее спальню, а потом в путь! Два или три человека будут посвящены в нашу тайну, они и будут формальными свидетелями венчания. Напишем брачный договор, обусловим приданое, к которому я еще прибавлю от себя, и до поры до времени — молчок. О, благодетель вы мой, сердечное вам спасибо! Придите же в мои объятия, а потом — к моей красавице. Я буду ждать ответа, как на угольях. А пока я пошлю Саковича за священником. До свидания, будущий дедушка Радзивилла!..

Сказав это, князь выпустил изумленного мечника из своих объятий и выбежал из комнаты.

— Боже мой, — воскликнул, опомнившись, мечник, — я дал такой совет, который

сделал бы честь самому Соломону, но лучше бы его не давать! Тайна — тайной... И как тут ни ломай себе голову, хоть бейся лбом об стену, а ничего другого не придумаешь... Чтоб они перемерзли, эти шведы!.. Если бы не эти переговоры, венчание можно было бы устроить со всеми церемониями — вся Жмудь съехалась бы на свадьбу. А тут — мужу придется к собственной жене в валенках ходить, чтобы не наделать шума... Тьфу, черт возьми! Сицинские еще не скоро от зависти лопнут, хоть, Бог даст, им этого не миновать!

С этими словами он отправился к Оле ньке. А князь тем временем совещался с Саковичем.

— Плясал передо мной шляхтич на задних лапах, как медведь, — говорил он Саковичу. — Но и измучил же он меня! Уф!.. Но я его обнял за это так, что у него все ребра затрещали. И тряс его так, что боялся, как бы у него сапоги с ног не слетели вместе с портянками. А чуть было скажу ему: «Дядюшка!» — у него глаза на лоб лезут, точно он целым окороком подавился! Тьфу! Подожди! Уж я сделаю тебя дядюшкой, да только таких дядюшек у меня как собак нерезанных... Сакович, я уже вижу, как она ждет меня в своей комнате, закрыв глазки и скрестив ручки... Подожди, уж я расцелую твои глазки! Сакович, я дарю тебе Пруды за Ошмянами! Когда Пляска приедет?

— К вечеру! Благодарю вас, ваше сиятельство!

— Пустое! К вечеру? Значит, с минуты на минуту... Хорошо бы повенчаться еще сегодня в полночь... Приготовил ты брачную запись?

— Приготовил. Я так расщедрился от имени вашего сиятельства, что записал на ее имя Биржи... Мечник будет выть, как пес, когда у него это отнимут.

— Посидит в подземелье и успокоится!

— Даже и этого не надо! Когда окажется, что брак недействителен, тогда все будет недействительно. Разве я не правду говорил вашему сиятельству, что они согласятся?

— Без всяких препятствий... Интересно знать, что она скажет?.. Его что-то не видно.

— Они, верно, плачут от радости в объятиях друг у друга, благословляя ваше сиятельство, и восхищаются вашей добротой и красотой!

— Не знаю, красотой ли — у меня что-то плохой вид. Я все болен и боюсь, как бы не повторился вчерашний припадок. У меня синяки — этот болван Фурэ криво подвел мне брови. Взгляни, разве не криво? Я велю его за это на кухню прогнать, а камердинером сделаю обезьяну. Однако, что это не видно мечника?.. Я хотел бы быть уже у панны... Ведь позволит же она поцеловать ее перед свадьбой... Как рано сегодня стемнело... А для Пляски, если он вздумает на попятный, надо приготовить раскаленные щипцы...

— Пляска не пойдет на попятный! Это мошенник, каких свет не видал!

— И повенчает по-мошеннически!

— И повенчает мошенник мошенника! Князем овладело веселое настроение:

— Где шафером сводня, там иначе и быть не может!

Они замолчали на минуту, и вдруг оба захохотали; и смех их звучал как-то зловеще в темной комнате. Князь расхаживал из угла в угол, постукивая палкой, на которую опирался, потому что после припадка он еще плохо владел ногами.

Наконец слуги внесли канделябры со свечами и вышли; сильная тяга воздуха колебала пламя свечей, так что они долго не могли разгореться.

— Смотри, как горят свечи! — сказал князь. — Что это предвещает?

— Что сегодня одна добродетель растает, как воск!

— Странно, как долго колеблется пламя.

— Может, душа старого Биллевича пролетает над пламенем.

— Дурак! — вспылил князь. — Как есть дурак! Нашел время говорить о духах! В

Англии есть поверье, — продолжал он, помолчав, — что если в комнате носится чей-нибудь дух, свеча горит голубым пламенем, а эти, смотри, горят, как всегда, желтым!

— Пустяки! — возразил Сакович. — В Москве есть люди...

— Тише ты!.. — перебил его Богуслав. — Мечник идет... Нет, это ветер ставнями стучит... Сами черти дали этой девушке такую тетку... Кульвец-Гиппоцентаврус! Слыхал ли ты что-нибудь подобное? Да и похожа она на настоящую химеру!

— Если вам угодно, ваше сиятельство, я на ней женюсь! Она не будет вам мешать. Пляска нас окрутит в одну минуту.

— Хорошо. Я преподнесу ей к свадьбе новое помело, а тебе фонарь, чтобы ты мог светить ей!

— Но ведь я буду твоим дядюшкой, Богусь!

— Не забывай о Касторе, — ответил князь.

— Не гладь Кастора против шерсти, милый Поллукс, а то он укусит! Разговор их прервали своим появлением мечник и панна Кульвец. Князь быстро подошел к ним, опираясь на палку. Сакович встал.

— Ну, что? Можно к Оле ныке? — спросил князь. Но мечник только развел руками и опустил голову.

— Ваше сиятельство! Племянница моя говорит, что завещание полковника Биллевича не дает ей права распоряжаться своей судьбою, но если бы даже оно давало ей такое право, то она не вышла бы за вас, ваше сиятельство, ибо у нее не лежит к вам сердце.

— Слышишь, Сакович?! — произнес страшным голосом Богуслав.

— Об этом завещании и я знал, — сказал мечник, — но не предполагал, чтобы оно могло быть непреодолимым препятствием.

— Плевать мне на ваши шляхетские завещания! — ответил князь. — Плевать мне на них, понимаете?

— Но мы не плюем, — запальчиво ответил мечник. — Согласно завещанию девушка должна или идти в монастырь или выйти замуж за Кмицица.

— За кого, холоп? За Кмицица? Я вам покажу Кмицица! Я вас проучу!!

— Кого это, князь, вы называете холопами? Биллевичей?!

И в страшном гневе мечник схватился за саблю, но Богуслав в ту же минуту ударил его палкой в грудь с такой силой, что шляхтич только застонал и грохнулся на пол. А князь, толкнув его ногой, открыл дверь и выбежал из комнаты.

— Господи Боже! Царица Небесная! — воскликнула панна Кульвец. Но Сакович схватил ее за руку и, приставив к ее груди кинжал, сказал:

— Тише, сокровище мое, красавица моя, не то я тебе горлышко перережу, как хромой курице!.. Сиди тут смирно и не смей ходить наверх, там теперь князь свадьбу справляет с твоей племянницей!

Но в панне Кульвец тоже текла рыцарская кровь. Едва услышала она слова Саковича, как страх ее сменился гневом и отчаянием.

— Негодай! Разбойник! Нехристь! — крикнула она. — Зарежь меня, или я закричу на всю Речь Посполитую. Брат убит! Племянница опозорена! Не хочу и я жить! Убей, разбойник! Люди! Сюда! Смотрите!!

Сакович зажал ей рот своей сильной рукой.

— Тише, старая ведьма! Тише, перезрелая репа! — сказал он. — Я не нарежу тебя... Зачем мне отдавать черту то, что ему и так достанется? Но чтобы ты не могла кричать, как недорезанная утка, я завяжу тебе ротик твоим же платком, а сам возьму лютю и сыграю тебе серенаду. Ты меня должна полюбить.

Говоря это, староста ошмянский, с навыком настоящего разбойника, завязал ей голову платком, зажал рот, связал руки и ноги и бросил ее на диван.

Потом он сел подле нее, вытянулся поудобнее и спросил совершенно спокойным голосом, точно заводя обыкновенный разговор:

— Ну, как вы думаете, ваць-панна? По-моему, и Богусь справится без труда!

Вдруг он вскочил, так как дверь открылась и в ней появилась панна Александра.

Лицо ее было бледно, как полотно, волосы слегка растрепаны, брови были сдвинуты, а в глазах был ужас.

Увидев лежащего мечника, она встала подле него на колени и стала ощупывать рукой его голову и грудь.

Мечник глубоко вздохнул, открыл глаза, слегка приподнялся и стал обводить глазами комнату, точно проснувшись от сна; потом, опершись рукой о пол, попробовал встать при помощи племянницы, встал и, шатаясь, добрался до кресла.

Оле нька только теперь увидела панну Кульвец, которая лежала связанной на диване.

— Вы ее убили? — спросила она у Саковича.

— Боже сохрани! — ответил староста ошмянский.

— Я приказываю вам ее развязать! — сказала она повелительным тоном.

В ее словах было столько силы, что Сакович не ответил ни слова и принялся развязывать лежавшую без чувств панну Кульвец, точно получил приказание от самой княгини Радзивилл.

— А теперь, — сказала Оле нька, — иди к своему пану, который лежит наверху.

— Что случилось? — крикнул, придя в себя, Сакович. — Вы ответите мне за него, ваць-панна!

— Не тебе, холоп! Прочь!

Сакович выбежал, как безумный.

XVIII

Сакович не отходил от князя два дня, так как второй припадок был еще тяжелее первого; челюсти Радзивилла были так крепко стиснуты, что их приходилось раскрывать ножом, чтобы влить в рот лекарство. Вскоре сознание к нему вернулось, но он продолжал метаться, дрожать и подскакивать на кровати, точно смертельно раненный в сердце зверь. Когда это прошло, он страшно ослабел; всю ночь он смотрел в потолок и не говорил ни слова. На следующий день, приняв одуряющее лекарство, он уснул крепким сном и проснулся только около полудня, покрытый обильным потом.

— Как вы себя чувствуете, ваше сиятельство? — спросил Сакович.

— Мне лучше. Есть какие-нибудь письма?

— Есть от курфюрста и от Стенбока; лежат на столе, но чтение их надо отложить, так как вы еще слишком слабы...

— Давай сейчас! Слышишь?

Староста ошмянский подал письма, которые Богуслав перечел по два раза, затем сказал, немного подумав:

— Завтра мы тронемся на Полесье.

— Завтра вы еще будете в кровати, как и сегодня.

— Завтра я буду на коне, как и ты... Молчи! Не возражай!

Староста умолк; настала тишина, прерываемая лишь медленным тиканьем данцигских часов.

— Совет был глуп, и выдумка глупа! — сказал вдруг князь. — А я сглупил, что послушал тебя.

— Я знал, что если дело не выгорит, то я буду виноват, — ответил Сакович.

— Потому что ты сглупил.

— Совет был очень хорош, но если у них есть на услугах какой-то дьявол,

который обо всем их предупреждает, то я за это не отвечаю.

Князь приподнялся на постели.

— Ты думаешь? — спросил он, пристально глядя на Саковича.

— А разве вы не знаете папистов, ваше сиятельство?

— Знаю, знаю! Часто мне приходит в голову, что тут какое-то колдовство, а со вчерашнего дня я даже убежден. Ты угадал мою мысль, поэтому я и спросил. Но кто же из них находится в сношениях с нечистой силой?.. Ведь не она, ибо она добродетельна... И не мечник, он слишком глуп...

— А хоть бы тетка?

— Это возможно...

— Чтобы в этом убедиться, я ее вчера подвел к кресту и приставил нож к горлу... И представьте себе, ваше сиятельство... Сегодня смотрю, а острие точно в огне расплавлено.

— Покажи!

— Я бросил нож в воду, хотя на рукоятке была прекрасная бирюза.

— Тогда я тебе расскажу, что вчера произошло со мной... Я вбежал к ней, как сумасшедший. Что я говорил — не помню... Знаю только, что она крикнула: «Лучше я брошусь в огонь!» Ты знаешь, там большой камин. И вдруг она бросилась в него. Я за ней. Схватил ее. Платье на ней уже загорелось, я стал тушить. Но вдруг со мной случилось что-то странное... Челюсти сжались, точно кто-то дернул все жилы на шее... Вдруг мне показалось, что искры, которые летят от платья, превратились в пчел и зажужжали, как пчелы...

— И что же потом?

— Ничего не помню; меня охватил такой страх, точно я проваливался в какую-то бездонную пропасть. Такой страх, такой страх, что у меня даже сейчас волосы на голове поднимаются. И не только страх, а как это сказать... какая-то пустота, скука, бесконечная и непонятная усталость... Слава богу, силы небесные защитили меня, иначе я бы с тобой сегодня не разговаривал!..

— С вашим сиятельством случился припадок. Болезнь часто ставит перед глазами разные странные видения... Однако для вящей уверенности можно бы прорубить лед и сплавить эту бабу.

— Ну, черт с ней! Завтра мы и так отправляемся, а как только наступит весна, звезды будут на небе не те и ночи короткие, тогда чертей нечего бояться...

— Если мы завтра отправляемся, ваше сиятельство, то вы лучше оставьте в покое эту девушку.

— Если бы я и не хотел, то должен... Страсть мою сегодня как рукой сняло.

— Тогда отпустите их, пусть убираются ко всем чертям.

— Это невозможно.

— Почему?

— Потому что шляхтич признался мне, что у него в Биллевичах зарыты огромные деньги. Если я их отпущу, они возьмут свои деньги и скроются в лесах. Лучше их здесь поддержать, а деньги взять. Впрочем, он сам предложил мне их. Мы велим разрыть всю землю в его садах и найдем. Мечник, сидя здесь, не будет вопить на всю Литву, что его ограбили. Злость меня берет, когда я подумаю, сколько я здесь зря потратил на все забавы, турниры. И все зря! Зря!

— Меня самого давно злость разбирает на эту девку. Вчера, когда она вошла в комнату и крикнула мне, как последнему холопу: «Иди наверх, там лежит твой пан!» — я ей чуть голову не свернул, я подумал, что она вас ранила ножом или застрелила из пистолета.

— Ты знаешь, что я не люблю, когда кто-нибудь распоряжается у меня... И хорошо, что ты этого не сделал, иначе я велел бы пощипать тебя теми щипцами, которые были приготовлены для Пляски...

— Пляску я уже отправил обратно. Он был очень удивлен, не зная, зачем его привозили и затем увезли. Он хотел получить за труды — торговля, говорит, идет плохо. А я ему говорю: «Будь и тем доволен, что живым уезжаешь...» Но неужели мы завтра выступим в Полесье?

— Уж будь покоен. Отправлены войска, как я приказывал?

— Конница уже выступила в Кейданы, откуда она двинется на Ковну и будет ждать... Наши польские полки еще здесь; их нельзя было посылать вперед. Хотя они и надежны на вид, но могут снюхаться с конфедератами. Гловбич двинется с нами, казаки — с Воротынским, а Карлстром со шведами пойдет впереди... Ему приказано резать по дороге бунтовщиков, особенно крестьян!

— Хорошо!

— Кириц с пехотой двинется последним, чтобы, в случае чего, было бы на кого опереться... Если нам придется идти быстро и если на этой быстроте покоятся все наши расчеты, то я не знаю, пригодятся ли нам прусские и шведские рейтары. Жаль, что у нас мало польских полков, между нами говоря, нет ничего лучше нашей конницы!

— А артиллерия выступила?

— Выступила.

— И Петерсон?

— Нет! Петерсон здесь, ухаживает за Кетлингом, который ранил себя собственной шпагой. Он очень любит его. Если бы я не знал Кетлинга, я бы подумал, что он ранил себя нарочно, чтобы не принимать участия в походе.

— Надо будет оставить человек сто здесь, в Россиенах и в Кейданах. Шведские гарнизоны незначительны, а де ла Гарди и без того каждый день требует людей у Левенгаупта. Как только мы уйдем, бунтовщики забудут о поражении под Шавлями и опять воспрянут духом!

— Число их и так растет. Я опять слышал, что перерезали всех шведов в Тельшах.

— Шляхта? Крестьяне?

— Крестьяне под предводительством ксендза, но есть и шляхетские «партии», особенно возле Ляуды.

— Ляуданцы вышли под начальством Володыевского.

— Осталось много подростков и старцев. И они тоже берутся за оружие.

— Без денег мятежники ничего не сделают.

— А мы денег добудем в Биллевичах. Нужно быть таким гением, как вы, ваше сиятельство, чтобы уметь всегда найтись.

Богуслав горько усмехнулся:

— В этой стране гораздо больше ценят тех, кто умеет подладиться к королеве и к шляхте. Гений и доблесть не окупаются. Счастье мое, что я князь и меня не могут привязать за ногу к сосне. Только бы мне аккуратно высылали доход с имений, и тогда мне плевать на всю Речь Посполитую!

— Как бы только не конфисковали!

— Скорей мы конфискуем все Полесье, если не всю Литву! А пока позови ко мне Петерсона.

Сакович вышел и вскоре вернулся с Петерсоном.

У княжеского ложа началось совещание, на котором решили завтра же на рассвете выступить в поход и форсированным маршем идти на Полесье. Князь Богуслав вечером чувствовал себя уже настолько хорошо, что ужинал вместе с офицерами и шутил до глубокой ночи, с удовольствием прислушиваясь к ржанию коней и бряцанию оружия. Порой он глубоко вздыхал и потягивался в кресле.

— Я вижу, что этот поход вернет мне здоровье, — говорил он офицерам. — Среди этих переговоров и увеселений я отстал от войны... Но надеюсь на Божью

помощь и думаю, что конфедераты и наш экс-кардинал в короне почувствуют мою руку!

На это Петерсон осмелился ответить:

— Счастье, что Далила не обрезала волос Самсону!

Богуслав посмотрел на него странным взглядом, который привел шотландца в смущение, но скоро на лице князя промелькнула страшная улыбка.

— Если Сапега — столб, то я потрясу его так, что вся Речь Посполитая обрушится ему на голову.

Разговор велся на немецком языке, и потому все иностранные офицеры понимали его прекрасно и отвечали хором:

— Аминь!

На следующий день, на рассвете, войско под начальством князя выступило в поход. Прусская шляхта, которая гостила при дворе князя, начала разъезжаться по домам.

За ними отправились в Тильзит и те, что раньше искали убежища от войны в Таурогах и которым теперь Тильзит казался надежнее. Остались только мечник, панна Кульвец и Оле нька, не считая Кетлинга и старого офицера Брауна, которому было поручено начальство над маленьким гарнизоном.

Мечник, после нанесенного ему удара, пролежал несколько дней и харкал кровью, но, так как кости его не были повреждены, он понемногу стал поправляться и подумывать о побеге.

Тем временем из Биллевичей прибыл гонец с письмом от самого Богуслава. Мечник сначала не хотел его читать, но потом изменил свое решение, последовав совету панны, которая была того мнения, что лучше знать все замыслы врага.

«Любезнейший пан Биллевич!

Судьбе было угодно сделать так, что мы расстались не так дружелюбно, как того хотели бы мои чувства к вам и к вашей прекрасной племяннице; но не я в этом виноват, клянусь Богом! Ибо вам известно, что вы сами оплатили мне неблагодарностью за самые искренние мои желания. Но ради дружбы не надо вспоминать то, что совершено в гневе, а потому я надеюсь, что вы сможете объяснить себе мои необдуманные поступки обидой, которую вы мне причинили. Я вас прощаю, как повелевает мне христианское учение о всепрощении, и желаю снова жить с вами в дружбе. А чтобы доказать вам, что в сердце моем нет более гнева, считаю долгом не отказываться от вашего предложения и принимаю ваши деньги...»

Тут мечник бросил письмо, ударил кулаком по столу и воскликнул:

— Скорей он увидит меня на смертном одре, чем хоть один грош из моего ларца!

— Читайте дальше, читайте! — сказала Оле нька.

Мечник поднял письмо и стал читать:

«Не желая утруждать вашу милость добыванием этих денег и подвергать опасности поврежденное здоровье, в настоящее беспокойное время, я сам приказал их вырыть из земли и сосчитать...»

Голос мечника оборвался, письмо выпало у него из рук; в первую минуту казалось, что шляхтич лишится языка; он только схватился руками за чуб и рванул его из всей силы.

— Бей, кто в Бога верует! — закричал он наконец.

— Одной обидой больше, зато и кара Господня ближе, ибо скоро переполнится мера!.. — сказала Оле нька.

XIX

Отчаяние мечника было так велико, что Оленька принялась его утешать и уверять, что деньги эти еще нельзя считать пропавшими, так как самое письмо может заменить расписку, а с Радзивилла, владеющего столькими поместьями на Литве и Руси, всегда можно все взыскать.

Но так как трудно было предвидеть, что может еще ожидать их обоих, особенно если Богу слав возвратится в Тауроги победителем, то они опять стали думать о побеге.

Оленька советовала отложить его до тех пор, пока выздоровеет Гасслинг-Кетлинг; Браун был угрюмый и нелюбезный солдат, слепо исполнявший приказания, и склонить его на свою сторону было невозможно.

Что же касается Кетлинга, то панна прекрасно знала, что он ранил себя затем, чтобы остаться при ней, и поэтому была вполне уверена, что он сделает для нее все. Правда, совесть постоянно мучила ее вопросом: имеет ли она право требовать от другого пожертвовать своей судьбой, а может быть, и жизнью; но опасность, угрожавшая ей в Таурогах, была так велика, что во сто раз превышала те опасности, которым мог подвергнуться Кетлинг, бросив службу. Ведь Кетлинг, как прекрасный офицер, всюду мог поступить на службу и с нею вместе приобрести таких могущественных покровителей, как, например, пан Сапега, король или пан Чарнецкий. К тому же он послужит тогда доброму делу, и ему представится случай отблагодарить страну, которая приютила его, изгнанника. Смерть ожидала его только в том случае, если бы он попал в руки Богуслава, но ведь Богуслав не владеет еще всей Речью Посполитой.

Наконец она перестала колебаться, и, когда здоровье молодого офицера поправилось настолько, что он мог нести службу, она позвала его к себе.

Кетлинг явился к ней бледный, худой, без кровинки в лице, но, как всегда, полный обожания, преданности и покорности. При виде его слезы навернулись у нее на глазах: ведь это была единственная душа в Таурогах, которая желала ей добра. К тому же эта душа так страдала, что, когда Оленька спросила его о здоровье, офицер ответил:

— Увы, панна, оно возвращается, но лучше бы мне умереть!

— Вам надо бросить эту службу, — ответила девушка, глядя на него с сочувствием. — Такой честный человек, как вы, должен быть уверен, что служит честному делу.

— Увы! — повторил офицер.

— Когда кончается срок вашей службы?

— Только через полгода.

Оленька с минуту помолчала, затем, устремив на него свои чудные глаза, которые в эту минуту светились нежностью, сказала:

— Послушайте меня, пан кавалер, я буду говорить с вами, как с братом, как с сердечным другом: вы можете и должны освободиться от службы.

Сказав это, она открыла ему все: и план бегства, и то, что она рассчитывает на его помощь. Она стала говорить ему, что службу он найдет везде, такую же честную и прекрасную, как его душа, — службу, достойную честного рыцаря. И закончила так:

— Я буду благодарна вам до самой смерти. Я обращусь к защите Господней и поступлю в монастырь, и где бы вы ни были, далеко ли, близко ли, на войне или дома, буду молиться за вас, буду просить Бога, чтобы он дал моему защитнику и брату покой и счастье, ибо, кроме благодарности и молитвы, я ничего больше дать не могу...

Голос ее дрогнул, а офицер, слушая ее слова, побледнел как полотно, наконец

опустился на колени, закрыл лицо обеими руками и голосом, похожим на стон, ответил:

— Не могу, панна, не могу...

— Вы отказываетесь? — с изумлением спросила панна Биллевич. Но вместо ответа он стал молиться.

— Боже великий и милосердный! — говорил он. — С детских лет не осквернил я уста мои ложью и не запятнал себя преступлением. В юности еще сражался я за короля моего и отчизну. За что же, Господи, наказываешь ты меня так часто и посылаешь мне муку, для коей — ты сам видишь! — у меня не хватает сил! Панна, — обратился он к Оле ньке, — вы не знаете, что значит приказание для солдата; не знаете, что с послушанием связан не только его долг, но его честь. Я связан присягой, панна, и даже больше чем присягой: рыцарским словом, что не уйду со службы до срока и свято исполню все, чего она потребует. Я солдат и дворянин и — да поможет мне Бог! — никогда не поступлю так, как поступают некоторые наемники, нарушая правила чести и долг службы. Ни приказания ваши, ни просьбы ваши не властны заставить меня нарушить слово, хотя я говорю это вам с мукой и скорбью! Если бы я, получив приказ не выпускать никого из Таурог, стоял на страже у ворот и если бы вы сами, панна, хотели пройти через них, то вы прошли бы, но через мой труп. Вы не знали меня, панна, и ошиблись во мне! Но сжальтесь надо мной, поймите, что я не могу помочь вам бежать. Я не имею права даже слушать об этом, ибо смысл приказа ясен. Его получил Браун и мы, пятеро оставшихся офицеров. Боже, боже, если бы я мог предвидеть, что последует такой приказ, мне лучше было бы отправиться в поход. Я не могу убедить вас, панна, вы не поверите мне, но видит Бог, я без колебания отдал бы вам свою жизнь... Но честь не могу! Не могу!

Сказав это, Кетлинг заломил руки и умолк, силы почти совсем покинули его, и он тяжело дышал.

Оле нька все еще не могла оправиться от изумления. Она не успела еще ни понять, ни оценить исключительного благородства этой души и чувствовала только, что почва ускользает у нее из-под ног, ускользает единственная возможность бежать из ненавистой неволи. Но она сделала попытку возражать.

— Пане, — сказала она, помолчав, — я внучка и дочь солдата; дед мой и отец тоже ценили честь выше жизни и именно поэтому приняли бы на себя не всякие обязанности...

Кетлинг дрожащими руками вынул из сумки письмо и, подавая его Оле ньке, сказал:

— Судите, панна, — разве это приказание не относится к долгу моей службы?

Оле нька взглянула на бумагу и прочла следующее:

«Так как до нас дошли слухи, что мечник россиенский Биллевич собирается тайком бежать из нашей резиденции с враждебными нам намерениями, именно с целью взбунтовать своих знакомых, свояков, родственников и крестьян против его величества шведского короля и нас, то предписываем офицерам, находящимся при гарнизоне в Таурогах, стеречь Биллевича вместе с его племянницей, как заложников и военнопленных, и не допускать их побега, под угрозой потери чести и военного суда...»

— Приказ этот отдан на первой же остановке после выступления, — сказал Кетлинг, — поэтому он на бумаге.

— Да будет воля Господня! — произнесла Оле нька после минутного молчания. — Свершилось!

Кетлинг чувствовал, что должен уйти, и не трогался с места. Его бледные губы вздрагивали, точно он хотел что-то сказать, но у него не хватало голоса. Его мучило желание упасть к ее ногам и молить о прощении, но, с другой стороны, он чувствовал,

что у нее довольно собственного горя. И он находил какое-то дикое наслаждение в том, что и он страдает вместе с нею и будет страдать без единой жалобы.

Наконец он поклонился и ушел, молча, но в коридоре сорвал повязки, которыми была перевязана его рана; стража нашла его через полчаса лежащим на лестнице без сознания и унесла в цейхгауз. Он опять тяжело заболел и не вставал две недели.

Оле нька после ухода Кетлинга некоторое время оставалась точно в оцепенении. Она ожидала скорее смерти, чем его отказа. И поэтому в первую минуту, несмотря на всю ее душевную твердость, у нее опустились руки, и она почувствовала себя такой же слабой и беспомощной, как и всякая женщина. И хотя она бессознательно повторяла: «Да будет воля твоя, Господи!», — но горе пересилило ее покорность, и она заплакала.

В эту минуту вошел мечник; взглянув на племянницу, он сразу угадал, что вышла неудача, и быстро спросил:

— Боже, что еще случилось?

— Кетлинг отказывается, — ответила девушка.

— Все они негодяи, подлецы, архипсы!.. Как? И он отказывается помочь?!

— Не только отказывается помочь, — ответила она, жалуясь, как ребенок, — но говорит еще, что помешает, хотя бы даже ему пришлось погибнуть!

— Боже, боже! Но отчего?

— Такова уж наша судьба! Кетлинг не предатель, но такова уж судьба наша, и мы несчастнее всех людей.

— Чтоб их громы небесные, всех этих еретиков! — крикнул мечник. — На честь посягают, грабят, воруют, в плену держат!.. Пусть все погибнет! Честному человеку не жить в такие времена!

Он начал быстро ходить по комнате и, сжав кулаки, наконец произнес:

— Я предпочитаю виленского воеводу, я предпочитаю даже Кмицица этим надушенным негодьям, без чести и совести.

А так как Оле нька ничего не отвечала и плакала все сильнее, то мечник смягчился и сказал:

— Не плачь! Кмициц пришел мне в голову только потому, что он-то, наверное, нас освободил бы из этого вавилонского пленения. Задал бы он всем этим Браунам, Кетлингам, Петерсонам и самому Богуславу! Впрочем, все изменники одинаковы!.. Не плачь!.. Слезами не поможешь, тут надо посоветоваться... Кетлинг — чтоб его скрутило! — не хочет помогать, так мы обойдемся и без него... Вот у тебя как будто и мужская натура, а в тяжелые минуты ты умеешь только плакать! Что говорит Кетлинг?

— Он говорит, что князь отдал приказ стеречь нас как пленников, опасаясь, что ты соберешь «партию» и соединишься с конфедератами.

Мечник подбоченился:

— Ага! Боится, шельма! И он прав! Я так и сделаю, как Бог свят!

— Получив приказ по службе, Кетлинг обязан его исполнить под угрозой потери чести.

— Хорошо. Обойдемся без помощи еретиков.

Оле нька вытерла глаза:

— Ты полагаешь, что можно?

— Я полагаю, что должно, а если должно, то и можно, хотя бы нам пришлось на веревках спускаться из этих окон.

— Простите мне мои слезы... Ну, давайте придумывать.

Слезы на ее глазах высохли, брови сдвинулись, и прежняя решительность и энергия отразились в лице... Оказалось все же, что мечник туговат на выдумки и что воображение панны гораздо изобретательнее. Но все же дело не клеилось и у нее, потому что было очевидно, что их тщательно стерегут. Поэтому они отложили всякую

попытку к бегству до тех пор, пока в Тауроги не придут первые известия о Богуславе. На это они возлагали все свои надежды, ожидая, что Господь покарает изменника и бесчестного человека. Его могут убить, он может тяжело заболеть, может быть разбит Сапегой, а тогда в Таурогах поднимется переполох, и их не будут уже так стеречь.

— Я знаю пана Сапегу! — говорил мечник, утешая себя и Оленю. — Он хоть и медлителен, да аккуратен и воин на диво! Его верность престолу и отчизне может всем служить примером. Он все заложил, все распродал и собрал такую силу, в сравнении с которой силы Богуслава — ничто! Сапега — почтенный сенатор, а князь — молокосос, тот — правоверный католик, этот — еретик, тот — само благоразумие, а этот — ветер! На чьей же стороне будет победа? И Божье благословение? Свет дневной победит тьму! Иначе не было бы справедливости на этом свете!.. А пока будем ждать известий и молиться за славу и успех оружия Сапег.

Они стали ждать, но прошел долгий и мучительный месяц, пока, наконец, явился первый вестник, и то посланный не в Тауроги, а к Стенбоку, в королевскую Пруссию.

Кетлинг, который со времени последнего разговора с Оленю не смел встречаться с нею, сейчас же прислал ей записку такого содержания:

«Князь Богуслав разбил Христофора Сапегу у Бранска; уничтожил несколько полков конницы и пехоты. Теперь он идет на Тыкоцин, где стоит Гороткевич».

Это известие, точно гром, поразило Оленю. В ее девичьем уме величие вождя и рыцарская доблесть сливались в одно понятие; а так как она видела, как Богуслав в Таурогах легко побеждал доблестнейших рыцарей, то он, особенно после этого известия, стал в ее глазах какой-то злой, непобедимой силой, против которой ничто не может устоять.

Надежда на поражение Богуслава угасла; мечник напрасно утешал ее тем, что молодой князь еще не столкнулся со старым Сапегой, и напрасно ручался, что одно уж гетманское достоинство, дарованное недавно Сапеге королем, обеспечивает за ним победу над Богуславом. Она не верила и не смела верить!

— Кто его победит, кто против него устоит? — спрашивала она постоянно.

Дальнейшие известия, по-видимому, подтверждали ее опасения. Несколько дней спустя Кетлинг снова прислал листок с известием о поражении Гороткевича и о взятии Тыкоцина.

«Все Полесье, — писал он, — уже в руках князя, который, не ожидая нападения Сапег, сам поспешно идет на него».

«И пан Сапега будет разбит!» — подумала девушка.

Между тем, точно ласточка, предвестница весны, прилетела весть из другой части Речи Посполитой. Она прилетела поздно на эти приморские окраины, но зато блистала всеми радужными красками чудесной легенды первых веков христианства, когда по земле еще ходили святые, давая свидетельства правды и справедливости.

— Ченстохов! Ченстохов! — повторяли все уста. Все сердца грела эта весть, как весеннее солнце греет цветы. — Ченстохов защитился!

Видели ее, Царицу Польши, осенявшую стены обители своей небесной ризой. Смертоносные гранаты падали к ее святым стопам, ласкаясь, как домашние собаки; у шведов отсыхали руки, мушкеты прирастали к лицам, и, наконец, они отступили со стыдом и страхом.

Даже чужие люди, услышав эту весть, падали друг к другу в объятия и плакали от радости. Другие жалели о том, что эта весть пришла так поздно.

— А мы-то здесь плакали, страдали и мучились так долго, не зная, что нам надо было радоваться...

Затем загремели громы по всей Речи Посполитой, от Черного моря до Балтики,

и дрогнули оба моря. Верный и благочестивый народ, точно буря, подымался на защиту своей Царицы.

Все сердца исполнились бодрости, взоры загорелись новым огнем; то, что казалось раньше страшным и непреодолимым, теперь таяло у всех на глазах.

— Кто его победит, — говорил мечник девушке, — кто устоит перед ним — Пресвятая Дева!!

Оба они целые дни молились и благодарили Бога за то, что он сжалился над Речью Посполитой, и вместе с тем перестали сомневаться в собственном спасении.

О Богуславе долгое время не было никаких известий; он точно в воду канул вместе со своим войском. Оставшиеся в Таурогах офицеры стали беспокоиться и тревожиться за свою участь. Они предпочли бы известие о поражении этому глухому молчанию. Но никакие известия не могли дойти до них: именно тогда-то страшный Бабинич шел с татарами впереди князя, перехватывая всех гонцов.

XX

Но вот однажды в Тауроги привезли под конвоем панну Анну Божобогатую-Красенскую.

Браун принял ее очень любезно, и не мог поступить иначе, так как получил письмо от Саковича за подписью самого князя, в котором ему предписывалось относиться с возможно большей предупредительностью к фрейлине княгини Гризельды Вишневецкой.

Панна была очень бойка; с первой же минуты после приезда она стала сверлить глазами Брауна, и угрюмый немец расшевелился, точно пришпоренная лошадь.

Вскоре она стала командовать и другими офицерами и распоряжаться в Таурогах, как у себя дома. В тот же день, вечером, она познакомилась с Оленькой, которая хотя и посматривала на нее сначала недоверчиво, однако была предупредительна к ней, надеясь узнать от нее какие-нибудь новости.

И у Ануси их оказалось немало. Разговор начался с Ченстохова, так как этими новостями более всего интересовались таурогские узники.

Мечник даже подставлял ладони к ушам, чтобы не проронить ни одного слова, и только по временам прерывал рассказ Ануси возгласами:

— Слава в вышних Богу!

— Странно, — сказала наконец приезжая панна, — что до вас только теперь дошло известие о чудесах Пресвятой Девы. Это ведь было уже давно; тогда я жила еще в Замостье и пан Бабинич еще не приезжал... Эх, это было много недель назад. А потом шведов всюду стали бить: и в Великопольше, и у нас, а больше всех пан Чарнецкий, одно имя которого обращает их в бегство.

— А, пан Чарнецкий! — воскликнул, потирая руки, мечник. — Он им перцу задаст! Еще на Украине мне говорили о нем как о великом воине!

Ануся только оправила ручками платье и сказала небрежным тоном, точно о каком-нибудь пустяке:

— Ого! Шведам уже конец!

Старый пан Томаш не мог удержаться и, схватив ее ручку, стал покрывать ее поцелуями — и маленькая ручка совсем утонула в его огромных усах.

— Красавица моя! Вашими бы устами мед пить... Не иначе как ангел приехал в Тауроги!

Ануся стала наматывать на пальчики концы своих кос, перевитых розовыми лентами, а затем, лукаво прищурившись, ответила:

— Далеко мне до ангела! Но уж коронные гетманы стали бить шведов, и все регулярные войска, и все рыцарство, и составили конфедерацию в Тышовце! И король примкнул к ней и издал манифест. И даже мужики шведов бьют... и Пресвятая

Дева благословит...

И она не говорила, а щебетала, как птичка. И от этого щебетанья размякло сердце мечника, и хотя некоторые известия он уже слышал раньше, он разревелся как зубр от радости. По лицу Оле ньки покатались тихие, крупные слезы.

Видя это, Ануся, добрая по природе, подбежала к ней и, обняв ее за шею, быстро заговорила:

— Не плачьте, ваць-панна, мне вас жаль, и я не могу смотреть! Чего вы плачете?

В ее словах было столько искренности, что недоверие Оле ньки сейчас же исчезло; но она расплакалась еще сильнее.

— Вы такая красавица, ваць-панна, — утешала ее Ануся, — чего же вы плачете?

— От радости, — ответила Оле нька, — но и от горя, ибо мы здесь в тяжелой неволе и не знаем, что ждет нас завтра...

— Как? У князя Богуслава?

— Да, у этого изменника! Еретика!! — крикнул мечник.

Но Ануся ответила:

— То же самое, стало быть, и со мной случилось, а я не плачу! Я не отрицаю, ваць-пане, что князь изменник и еретик, но он учтивый кавалер и почитителен к женщинам.

— Дай бог, чтобы его в аду так же почитали! — возразил мечник. — Вы, панна, его еще не знаете, он к вам не приставал, как к этой панне. Это архишельма, а второй шельма — Сакович. Дай бог, чтобы пан Сапега погубил их обоих.

— И погубит! Князь Богуслав очень болен, и войска у него немного. Правда, ему удалось разбить внезапным нападением несколько полков и взять Тыкоцин и меня; но не ему мериться с войсками Сапеги! Верьте мне, потому что я видела силы того и другого. У пана Сапеги в войске есть величайшие Рыцари, которые сейчас же справятся с князем Богуславом.

— А, видишь! Разве я тебе не говорил? — спросил мечник, обратившись к Оле ньке.

— Я давно знаю князя Богуслава, — продолжала Ануся, — он свойственник Вишневецких и Замойских. Он раз приезжал к нам в Лубны, когда еще князь Еремия на татар в Дикие Поля ходил. Потому-то он всем и велел теперь быть со мной обходительнее; он не забыл, что я была ближе всех к княгине. Тогда я была еще вот такая маленькая, не то что теперь! Боже! Кому тогда могло прийти в голову, что он будет изменником! Но не печальтесь — либо он не вернется, либо мы как-нибудь отсюда выберемся!

— Мы уже пытались, — ответила Оле нька.

— И не удалось?

— Как же могло удаться? — сказал мечник. — Нашу тайну мы открыли одному офицеру, который, как нам казалось, нам сочувствовал. Но оказалось, что он скорее готов нам помешать, чем помочь. Он служит под начальством Брауна, а с Брауном сам черт ничего не поделает!

Ануся опустила глазки:

— Может быть, мне удастся. Надо только, чтобы пан Сапега сюда подошел, чтобы было к кому бежать.

— Пошли его Бог как можно скорее! — ответил мечник. — В его войсках много наших родственников, знакомых и друзей... Там и старые товарищи из-под знамен великого Еремии — Володыевский, Скшетуский, Заглоба.

— Я знаю их, — ответила с удивлением Ануся, — но их нет у Сапеги. Эх, если бы они были, особенно пан Володыевский — Скшетуский женат! — меня бы не привезли сюда, пан Володыевский не дал бы себя окружить, как пан Котчиц.

— Это великий кавалер! — воскликнул мечник.

— Гордость всего войска, — добавила Оленька.
— Боже мой! Уж не погибли ли они, раз вы их не видели у Сапеги?
— О нет! — возразила Ануся. — Ведь о смерти таких рыцарей молва бы пошла. А мне ничего не говорили... Вы их не знаете... Живыми они ни за что не сдадутся... Разве только пуля может их убить, а так никто с ними не справится, ни со Скшетуским, ни с паном Заглобой, ни с паном Михалом. Хоть пан Михал маленький, но я помню, как отзывался о нем князь Еремия: «Если бы, — говорил он, — судьба всей Речи Посполитой зависела от некоего единоборства, я бы послал пана Михала!» Ведь он убил Богуна. О нет! Пан Михал всегда постоит за себя!

Мечник, довольный тем, что ему есть с кем поговорить, начал ходить по комнате большими шагами и спросил:

— Скажите пожалуйста! Так вы, значит, хорошо знаете пана Володыевского?
— Ведь мы столько лет пробыли вместе!
— Скажите пожалуйста! Стало быть, дело не обошлось и без амуров?
— Я в этом не виновата, — возразила Ануся со скромным личиком, — но теперь, верно, и пан Михал уже женат!
— Нет, не женат!
— Да хотя бы и был женат... Мне это все равно!
— Дай бог, чтобы вы сошлись. Но меня беспокоит то, что они не у гетмана, — ведь с такими солдатами легче победы добиться!
— Но зато есть один, который постоит за них за всех.
— Кто же это?
— Пан Бабинич из-под Витебска. Вы слышали о нем?
— Ничего не слыхал. Странно!

Тут Ануся принялась рассказывать о своем отъезде из Замостья и обо всех приключениях в дороге. Пан Бабинич в ее рассказе превратился в такого героя, что мечник ломал себе голову, стараясь догадаться, кто это такой.

— Ведь я знаю всю Литву, — говорил он, — и есть похожие фамилии, например, Бабонаубки, Бабиллы, Бабиновские, Бабинские и Бабские, но о Бабиничах я никогда не слыхал. Я думаю, что это вымышленная фамилия; многие конфедераты прибегают к этому, чтобы неприятель потом не мог мстить их семействам. Гм! Бабинич!.. Горячий рыцарь, если сумел так с Замойским разделаться!

— Ах, какой горячий! — подхватила Ануся. Мечник развеселился.
— Вот как? — спросил он, остановившись перед Анусей и подбоченившись.
— Вы еще бог весть что готовы подумать, ваць-пане!
— Сохрани бог, ничего я не думаю!
— Пан Бабинич, едва мы выехали из Замостья, сейчас же сказал мне, что его сердце уже сдано в аренду, и хотя ему аренды не платят, все же он не намерен менять арендатора.
— И вы этому верите?
— Конечно, верю, — живо ответила Ануся, — должно быть, он влюблен по уши, раз столько времени... раз... раз...
— Вот тебе и раз! — прервал со смехом мечник.
— И совсем не раз! — воскликнула она, топнув ножкой. — Вот мы скоро о нем услышим!
— Дай бог!
— И скажу вам почему... Каждый раз, когда он упоминал имя князя Богуслава, лицо его бледнело, и он зубами скрежетал.
— Значит, он будет нам друг! — сказал мечник.
— Верно... К нему мы и убежим, пусть он только покажется.
— Мне бы только вырваться отсюда, я сейчас же соберу собственную «партию»... Тогда вы убедитесь, ваць-панна, что и для меня война не новость и что

эта старая рука может еще пригодиться!

— Тогда идите под команду пана Бабинича!

— Сдается мне, что и вам невтерпеж идти под его команду!

Долго еще пикировались они так, и все веселее, так что даже Оле нька, позабыв свою грусть, развеселилась. Ануся под конец стала фыркать на мечника, как котенок на собаку. С дороги она не устала, так как выпалась хорошо в Россиенах, и ушла уже поздно вечером.

— Золото, а не девушка! — сказал мечник, собираясь уходить.

— Видно, сердце у нее доброе... и мы, верно, скоро сдружимся! — ответила Оле нька.

— А чего же ты, как коза рогатая, ее встретила?

— Я думала, что ее подослал Богуслав! Почему я знала? Я всего здесь боюсь!

— Ее подослал? Должно быть, сам Бог ему это внушил! А вертлява она, как козочка... Будь я моложе, я бы за себя не поручился! Хоть и теперь еще я не так уж стар...

Оле нька совсем развеселилась и, опершись руками о колени, повернула головку, подражая Анусе, и, косясь на мечника, спросила:

— Вот как, дядюшка? Да вы, кажется, из этой муки хотите мне выпечь тетушку?

— Ну, ну, молчи! — ответил мечник.

Но улыбнулся и стал покручивать усы, а потом прибавил:

— Ведь она и такую буку, как ты, расшевелила! Я уверен, что вы очень подружитесь.

И пан Томаш не ошибся. Скоро обе девушки очень сдружились, быть может, оттого, что обе они были противоположностью по отношению друг к другу. У одной была сильная душа, глубина чувств, твердость воли и ум; другая отличалась добрым сердцем и чистотой мыслей, но была ветрена.

Одна своим тихим лицом, золотистыми волосами, необыкновенным спокойствием и прелестью напоминала Психею; другая — настоящая чернавка — походила на шаловливого чертенка, который сбивает по ночам людей с дороги и смеется над их огорчениями. Офицеры, оставшиеся в Таурогах, видели их обеих каждый день и готовы были целовать Оле ньке ноги, а Анусю в губы.

Кетлинг, в котором была душа шотландского горца, полная меланхолии, обожал и боготворил Оле ньку, Анусю же невзлюбил с первого взгляда. Она платила ему тем же и вознаграждала себя кокетничаньем с Брауном и со всеми остальными, не исключая и самого мечника россиенского.

Ануся скоро признала превосходство своей подруги и со всей откровенностью говорила мечнику:

— Она двумя словами скажет больше, чем я своей болтовней за весь день.

Одного только недостатка не могла исправить серьезная панна в своей легкомысленной подруге — кокетства. Стоило только Анусе услышать звон шпор в коридоре, как она сейчас же вспоминала, что что-то забыла, хочет что-то посмотреть, хочет узнать новости о Сапеге, выбегала в коридор, вихрем мчалась навстречу офицеру и, наткнувшись на него, говорила:

— Ах, как вы меня напугали!

Потом начинался разговор, панна теребила пальчиками передник, поглядывала исподлобья, строила разные гримасы, перед которыми не могли устоять самые твердые сердца.

Оле ньку особенно злило это кокетство, потому что через несколько дней после их знакомства Ануся призналась ей в тайной любви к Бабиничу. Они часто об этом говорили.

— Другие, точно нищие, умоляли меня о любви, — говорила Ануся, — а он, этот орел, охотнее смотрел на своих татар, чем на меня, а говорил со мной всегда так,

точно приказывал: «Выходите, ваць-панна!..», «Кушайте, ваць-панна!..», «Пейте, ваць-панна!» Нельзя сказать, чтобы он был груб, нет; он был даже заботлив ко мне. В Красноставе я подумала: «Не смотришь на меня — ладно. Вот увидим!» А в Лончной я уже была по уши влюблена... То и дело смотрела в его серые глаза, и когда, бывало, он засмеется, и я радовалась, точно я была его невольницей.

Оле нька поникла головой. И ей вспомнились серые глаза. И тот говорил так, точно вечно командовал, и у него была такая же удаля, только совести не было и страха Божьего.

Ануся, отдавшись воспоминаниям, продолжала:

— Когда он с буздыганом несся на коне по полю, мне казалось, что это орел или гетман какой! Татары боялись его как огня. Куда бы он ни являлся, все ему повиновались. Многих достойных кавалеров видела я в Лубнах, но такого, которого бы я так боялась, я еще никогда не видала.

— Если Бог судил его тебе, он будет твой, а что он не любит тебя, я этому не верю...

— Немножко и любит, может, но немножко... другую больше. Он сам не раз говорил: «Счастье ваше, что я ни забыть, ни разлюбить не могу, а не то лучше бы козу на сохранение волку отдать, чем мне такую панну!»

— Что же ты ответила?

— Я сказала так: «Почем вы знаете, что я бы вас полюбила?» А он ответил: «Я бы спрашивать не стал!» Ну и что поделаешь с таким? Дура та, которая его не любит! У нее, верно, черствое сердце! Я спрашивала, как ее имя, но он не захотел сказать «Лучше, говорит, этого не касаться, это моя рана, а другая рана — Радзивиллы-изменники!» И лицо у него становилось таким страшным, что я готова была от него в мышиную нору спрятаться... Я его боялась! Да что говорить, он не для меня, не для меня!..

— Помолись за него и за себя святому Николаю. Мне тетка говорила, что это лучший покровитель в таких случаях. Смотри только, не прогневай его, кокетничая с другими!

— Больше не буду, только чуть-чуть... вот столько! Вот столько!

И Ануся показывала на мизинце, насколько она позволит себе кокетничать, чтобы не разгневать святого Николая.

— Я делаю это не из пустой шаловливости, — объясняла она мечнику, которого тоже начало злить ее кокетничанье, — это необходимо потому, что, если нам офицеры не помогут, нам никогда не выбраться отсюда.

— Ну, с Брауном вы не сладите!

— Браун уже влюблен, — ответила она тоненьким голосом, опуская глазки.

— А Фитц-Грегори?

— Влюблен, — ответила она еще более тоненьким голосом.

— А Оттенгаген?

— Влюблен.

— А фон Ирбен?

— Влюблен.

— А чтоб вас! Вижу я, ваць-панна, с одним Кетлингом вы не справились.

— Терпеть я его не могу! Зато с ним кто-то другой справился! Мы у него разрешения спрашивать не будем!

— И вы полагаете, ваць-панна, что, если мы захотим бежать, они мешать не будут?

— Они с нами пойдут! — сказала она, шуря глазки.

— Так зачем же мы здесь сидим? Бежим хоть сегодня!

Но на совещании, которое состоялось потом, все признали, что надо ждать, пока не решится судьба Богуслава и пока пан Сапега или пан подскарбий не подойдет к

Жмуди. Иначе им грозила гибель даже от своих. Присутствие иностранных офицеров не только не могло их защитить, но еще увеличивало опасность, так как простой народ так ненавидел иностранцев, что беспощадно убивал всякого, кто был одет не по-польски. Польские сановники, которые носили заморскую одежду, не говоря уже об австрийских и французских дипломатах, не могли разъезжать иначе, как под защитой сильных отрядов.

— Уж вы мне верьте, ведь я проехала через всю страну, — говорила Ануся, — в первой же деревне, в первом же лесу повстанцы перережут нас, даже не спросивши, кто мы такие. Бежать можно только в польский лагерь.

— Но ведь у меня будет собственная «партия».

— Но пока вы ее соберете, пока вы доедете до своей деревни, вам уже срубят голову.

— Скоро мы должны получить известия о князе Богуславе?

— Я велела Брауну сейчас же мне сообщить.

Но Браун долгое время ничего не сообщал.

Зато Кетлинг начал навещать Оле ньку, так как она, встретив его однажды, первая протянула ему руку. Молодой офицер толковал это глухое молчание не в пользу князя. По его мнению, князь, особенно имея в виду курфюрста и шведов, не стал бы молчать и о малейшей удаче и скорее преувеличил бы ее размеры, чем умолчал.

— Не думаю, чтобы он был разбит совершенно, — говорил молодой офицер, — но, наверно, его положение очень затруднительно, и он не может найти выхода.

— Все известия доходят до нас так поздно, — ответила Оле нька, — лучшее доказательство — Ченстохов, о чудесном спасении которого нам рассказала только панна Божобогатая.

— Я, панна, знал об этом уже давно, но, как чужеземец, не понимал того значения, какое имеет эта святыня для поляков, и поэтому ничего не говорил вам об этом. Ведь во время большой войны часто бывает, что какой-нибудь маленький замок устоит или отразит несколько штурмов, но этому обыкновенно не придают никакого значения.

— А весть об этом была бы для меня самой радостной новостью.

— Я вижу, что поступил плохо, ибо, судя по тому, что я слышу теперь, эта оборона — вещь очень важная и может повлиять на ход всей войны. Что же касается княжеского похода на Полесье, то это другое дело. Ченстохов далеко, а Полесье ближе. Когда вначале князю везло, вы помните, как скоро приходили известия... Поверьте мне, панна, хотя я и молод, но служу с четырнадцати лет, и у меня есть опыт: эта тишина — очень плохой признак.

— Скорее хороший, — возразила девушка.

— Пусть хороший, — сказал Кетлинг. — Через полгода истекает срок моей службы... Через полгода я буду свободен от присяги...

Через несколько дней после этого разговора были получены наконец известия.

Привез их пан Бес, герба «Корнут». Это был польский шляхтич, который с малолетства служил в иностранных войсках и почти забыл польский язык. И в душе у него не осталось ничего польского, потому он и был так привязан к князю. Отправляясь в Кролевец с важным поручением, он остановился в Таурогах лишь для того, чтобы отдохнуть.

Браун с Кетлингом тотчас повели его к Оле ньке и Анусе, которые теперь жили и спали в одной комнате.

Браун вытянулся в струнку перед Анусей и, обратившись к Бесу, сказал:

— Это родственница пана Замойского, старосты калуского, а следовательно, и нашего князя. Князь обязал нас быть всегда к услугам панны — теперь она желает услышать новости из уст очевидца.

Пан Бес, в свою очередь, тоже вытянулся в струнку и ожидал вопроса. Ануся не протестовала против родства с Богуславом, ее забавляли почести, оказываемые ей военными. Пригласив пана Беса сесть, она спросила:

— Где князь в настоящее время?

— Князь отступает к Соколке. Дай бог, чтобы счастливо! — ответил офицер.

— Скажите истинную правду, как его дела?

— Я скажу правду, ничего не скрывая, — ответил офицер, — надеюсь, что вы, ваша вельможность, найдете в себе твердость выслушать не совсем благоприятные вести.

— Найду, — ответила Ануся, постукивая каблучками от удовольствия, что ее величают вельможностью и что известия «не совсем благоприятны».

— Сначала все шло хорошо, — говорил пан Бес. — Мы рассеяли по дороге несколько шаек мятежников, разбили пана Христофора Сапегу и уничтожили два полка конницы и полк пехоты, не оставив никого в живых... Затем мы разбили Гороткевича так, что ему самому едва удалось бежать; некоторые говорят даже, что он убит... Затем мы заняли разрушенный Тыкоцин...

— Все это мы уже знаем. Рассказывайте скорее неблагоприятные известия! — прервала вдруг Ануся.

— Соболаговолите только выслушать их спокойно. Мы дошли до Дрогичина, где счастье нам изменило. Мы узнали, что пан Сапега еще далеко. Вдруг два наших разведочных отряда провалились, точно сквозь землю. Не вернулся ни один человек. Оказалось, что впереди нас идет какое-то войско. Все мы смутились. Князь начал думать, что все предыдущие донесения были ложны и что пан Сапега не только наступает, но и отрезал нам путь. Мы стали отступать, чтобы задержать неприятеля и принудить его к решительному сражению, которого князь добивался во что бы то ни стало. Но неприятель не принимал сражения и продолжал делать внезапные нападения. Отправились новые разведочные отряды и вернулись потрепанными. С тех пор мы стали таять, как лед в реке, и не знали покоя ни днем ни ночью. Перед нами портили дороги, разрушали гати, перехватывали провиант. Появились слух, что нас терзает сам Чарнецкий; солдаты не ели, не спали, пали духом; даже в самом лагере люди исчезали, точно проваливались сквозь землю. В Белостоке неприятель снова захватил целый отряд, весь провиант, все княжеские кареты и пушки... Я никогда не видел ничего подобного. Князь стал выходить из себя. Он хотел решительного сражения, а принужден был каждый день вести по десятку битв и проигрывать их... Войско стало волноваться. Но представьте себе наше смущение и наш ужас, когда мы узнали, что пан Сапега еще и не думал наступать и что это только его передовой отряд; он-то и причинил нам такой страшный урон... Отряд этот состоял из татар.

Но тут рассказ офицера был прерван писком Ануси, которая, бросившись на шею к Оле ньке, воскликнула:

— Это Бабинич!

Офицер был изумлен, услышав эту фамилию, но, думая, что этот возглас У вельможной панны был вызван страхом и ненавистью, продолжал:

— Кому Бог дал знатность рода, тому он даст и силу перенести горестные минуты. Успокойтесь, панна! Действительно, этого дьявола зовут так. Он изменил судьбу всего похода, причинив нам столько вреда! Его имя, которое вы, ваша вельможность, изволили так проницательно угадать, в нашем лагере повторяют с ненавистью и бешенством!

— Этого пана Бабинича я видела в Замостье, — быстро ответила Ануся, — и если бы я только знала...

Она замолчала, и так никто и не узнал, что случилось бы тогда... Офицер после минутного молчания снова заговорил:

— Началась оттепель, можно сказать, вопреки законам природы: у нас были известия, что даже на юге Речи Посполитой держится еще суровая зима, а мы утопали в размокшей земле, которая приковала к месту нашу тяжелую кавалерию. Между тем он преследовал нас с легким отрядом, и преследовал все ожесточеннее. На каждом шагу мы теряли провиант и пушки и наконец принуждены были идти почти налегке. Местные жители, в своей слепой ненависти, явно сочувствовали нападавшим... Дальше будет, что Бог даст, но я оставил войско и самого князя в отчаянном положении. К тому же его самого по целым дням мучат приступы лихорадки. Скоро произойдет решительное сражение, но что оно даст, один Бог знает. Нужно ждать чуда!

— Где вы оставили князя?.

— На расстоянии дневного пути от Соколки. Князь хочет окружить себя окопами в Суховоле или в Янове и принять сражение. Пан Сапега находится в двух днях пути. Когда я уезжал, войско могло немного передохнуть, так как от солдата, захваченного в плен, мы узнали, что Бабинич отправился в главный лагерь, а без него татары боятся нападать и довольствуются нападениями на маленькие разъезды. Князь, как несравненный полководец, возлагает все свои надежды на генеральное сражение, но, когда им овладевают приступы лихорадки, он думает иначе, доказательство чего — моя поездка в Пруссию.

— Зачем вы туда едете?

— Князь либо проиграет сражение, либо выиграет. Если он проиграет, то вся Пруссия курфюрста окажется без защиты, и легко может случиться, что Сапега перейдет границу, чтобы принудить курфюрста к союзу. И вот — это не тайна — я еду предупредить курфюрста, чтобы он приготовился к защите, так как незваные гости могут явиться в слишком большом количестве. Это обязанность курфюрста и шведов, с которыми князь заключил союз и от которых он имеет право требовать помощи.

Офицер кончил.

Ануся стала забрасывать его еще множеством всевозможных вопросов, делая над собой усилия, чтобы держаться серьезно, а когда он ушел, ею овладела такая неудержимая радость, что она стала бить себя руками по коленям, кружиться на каблуках, целовать Оле ньку и дергать мечника за отвороты кунтуша.

— Ну что? Разве я вам не говорила? Кто разбил князя Богуслава? Может быть, Сапега? Черта с два Сапега! Кто бьет шведов? Кто истребит изменников? Кто величайший кавалер, величайший рыцарь? Пан Андрей! Пан Андрей!

— Какой пан Андрей? — спросила, вдруг побледнев, Оле нька.

— Да разве я тебе не говорила, что его зовут Андрей?.. Он сам мне сказал. Да здравствует пан Бабинич! Сам пан Володыевский не мог бы этого сделать!.. Что с тобой, Оле нька?

Панна Александра вострепелась, точно стараясь стряхнуть с себя бремя черных дум.

— Ничего! Мне казалось, что это имя носят только изменники. Я знала одного, который взялся схватить нашего короля и выдать его шведам, живого или мертвого, или продать князю Богуславу... Его тоже звали Андреем!

— Да покарает его Господь! — воскликнул мечник. — Зачем к ночи изменников вспоминать. Лучше будем радоваться: ведь есть чему...

— Пусть только придет сюда пан Бабинич, — прибавила Ануся. — Да! А я буду, буду нарочно кокетничать с Брауном, чтобы он взбунтовал весь гарнизон и заставил его перейти вместе с нами к Бабиничу со всеми лошадьми и людьми.

— Сделайте, сделайте это, ваць-панна! — воскликнул обрадованный мечник.

— Потом шиш всем этим немцам! Быть может, он забудет ту негодную и меня по... лю...

И она опять запищала тоненьким голоском, прикрыла глаза руками, но вдруг в

ее головке промелькнула какая-то гневная мысль, и она, стукнув каблучками, воскликнула:

— А если нет, я выйду замуж за пана Володыевского!

XXI

Спустя две недели в Таурогах все закипело. Однажды вечером пришли беспорядочные остатки войск Богуслава, партиями в тридцать — сорок человек. Исхудалые, оборванные, похожие больше на привидения, чем на людей, они привезли известие о поражении князя Богуслава под Яковом, где он потерял все: армию, пушки, обоз и лошадей. Шесть тысяч отборных солдат отправились с князем в поход, а вернулось всего четыреста рейтар, которых князь с трудом спас от разгрома.

Из поляков, кроме Саковича, не вернулся никто; все те из них, которые не были убиты, перешли к Сапеге. Многие из иностранных офицеров предпочли добровольно перейти на сторону победителя. Словом, никогда еще ни один Радзивилл не возвращался из похода таким разгромленным и обесславленным.

И насколько прежде придворные льстецы не знали границ в восхвалении Богуслава как полководца, настолько теперь все жаловались на его неумелый способ ведения войны. В последние дни отступления в остатке войска поднялось такое недовольство, что дисциплина упала совершенно, и князь счел более благоразумным держаться немного позади.

Он остановился с Саковичем в Россиенах. Гасслинг, узнав об этом, тотчас пошел сообщить эту новость Оленке.

— Важнее всего то, — сказала она, выслушав его, — гонятся ли за князем Сапега и Бабинич и решили ли они перенести войну сюда?

— Из донесений солдат ничего нельзя понять толком, — ответил он, — у страха глаза велики, но некоторые из них говорят, что Бабинич уже здесь. Но раз князь и Сакович остановились, значит, за ними гонятся, не торопясь.

— Но ведь они будут гнаться! Трудно предположить иначе! Какой победитель не станет преследовать разбитого врага?

— Это видно будет! Я хотел переговорить с вами о другом. Князь раздражен болезнью и неудачами, и от него можно ожидать каких-нибудь страшных поступков. Не расставайтесь, панна, с теткой и панной Божобогатой; не соглашайтесь на то, чтобы пана мечника отправили в Тильзит, как это было до похода.

Оленка ничего не ответила. Мечника никто и не отправлял в Тильзит, а просто после удара, нанесенного ему князем, он несколько дней болел, и Сакович, чтобы скрыть поступок князя, распустил слух, что старик уехал в Тильзит. Но она ничего не сказала об этом Кетлингу, так как гордой девушке стыдно было признаться, что одного из Биллевичей избили, как собаку.

— Благодарю вас за предупреждение, — сказала она после минутного молчания.

— Я считал это своим долгом.

Но сердце ее снова наполнилось горечью. Ведь не так давно еще от Кетлинга всецело зависело, чтобы на нее не обрушилась эта новая опасность. Стоило ему только согласиться на бегство, и она была бы далеко и навсегда освободилась бы от Богуслава.

— Пан кавалер, — сказала она, — счастье для меня, что это предостережение не затрагивает вашей чести и князь не дал вам предписания не делать этого!

Кетлинг понял намек и ответил:

— Все, что касается моей службы и долга, я всегда буду исполнять или погибну! Другого выхода я не знаю и знать не хочу. Вне исполнения моих служебных

обязанностей я могу бороться со всякой низостью. И, как частное лицо, я оставляю вам этот пистолет и говорю: защищайтесь... опасность близка!.. Если нужно — убейте! Тогда я освобожусь от присяги и поспешу к вам на помощь!

Он поклонился и пошел к двери, но Оленька остановила его:

— Пан кавалер, бросьте эту службу, вступитесь за правое дело и защищайте обиженных. Вы этого достойны, вы честный человек и не вам служить изменнику!

— Я давно уже бросил бы службу и попросил отставки, если бы не надеялся, что, оставаясь здесь, я могу быть вам полезен. Теперь поздно! Если бы князь вернулся победителем, я не колебался бы ни минуты... Но теперь, когда он побежден, когда его, быть может, преследует неприятель, — с моей стороны было бы трусостью просить отставки до истечения срока. Вы еще вдоволь насмотритесь, как малодушные люди будут бросать побежденного князя, но меня среди них вы не увидите! Прощайте... Из этого пистолета можно пробить даже панцирь...

Кетлинг ушел, оставив на столе оружие, которое она тотчас же спрятала. К счастью, опасения молодого офицера оказались неосновательными.

Князь прибыл вечером вместе с Саковичем и Петерсоном, но такой разбитый и больной, что едва держался на ногах. К тому же он сам хорошенько не знал, преследует ли его Сапега, или если не преследует, то не послал ли он в погоню Бабинича с легкой конницей.

Правда, Богуслав в атаке опрокинул его вместе с конем, но все-таки не смел верить, что убил его. Ему показалось, что рапира скользнула по кольчуге Бабинича. Впрочем, ведь он однажды уже выстрелил в него в упор, и все-, так ничего не вышло.

Сердце князя сжималось от боли при мысли, что сделает с его имениями Бабинич, когда нападет на них с татарами. А защищать было нечем не только поместья, но и собственную особу: между его наемниками было не много таких, как Кетлинг, и можно было предвидеть, что при первом известии о приближении войск Сапеги все его бросят.

Князь думал пробыть в Таурогах не более двух или трех дней, ему надо было торопиться в Пруссию к курфюрсту и Стенбоку, которые могли его снабдить новыми войсками и поручить ему осаду прусских городов или послать его на помощь королю, который собирался предпринять новый поход в глубь Речи Посполитой.

В Таурогах надо было оставить какого-нибудь офицера, который сумел бы привести в порядок оставшиеся войска, рассеял бы отряды крестьян и шляхты, защищал бы имения Радзивиллов и сносился бы с Левенгауптом, начальником шведских войск на Жмуди.

Поэтому, приехав в Тауроги и переночевав, князь утром позвал к себе Саковича, которому он одному только и верил и от которого ничего не скрывал.

Станным было это первое «доброе утро» в Таурогах, которым обменялись друзья после неудачного похода.

Оба они долго молчали и посматривали друг на друга. Первый заговорил князь:

— Ну, все полетело к черту!

— К черту! — повторил Сакович.

— Иначе и быть не могло в такую погоду. Если бы у меня было больше легкой конницы или если бы черти не принесли этого Бабинича... Ишь как назвался, висельник! Но никому не говори об этом, чтобы не вплести новых лавров в венок его славы!

— Я не скажу... Но не станут ли трубить офицеры, не знаю! Ведь вы же сами, князь, представили его у ваших ног своим офицерам как оршанского хорунжего.

— Немцы не различают польских фамилий. Для них все равно — Кмициц или Бабинич. Ах, — клянусь рогами Вельзевула! — если бы только мне удалось его схватить!.. А ведь он был в моих руках... И еще, шельма, взбунтовал моих людей и

увлек за собой отряд Гловбича. Должно быть, это какой-то ублюдок из нашего рода... Он был в моих руках и ускользнул... Это мучит меня больше, чем весь этот неудачный поход!

— Он был в ваших руках, но стоил бы моей головы!

— Слушай, Ясь, скажу тебе откровенно: пусть бы там с тебя шкуру содрали, только бы я мог обтянуть барабан шкурой Кмицица...

— Спасибо, Богусь! Впрочем, большего я и не мог ожидать от твоей дружбы! Князь захохотал:

— И визжал бы ты на рожне у Сапеги! Из тебя бы все твои плутни вместе с салом вытопили. Ma foi! Хотел бы я это видеть!

— А я хотел бы тебя видеть в руках Кмицица, твоего милого родственника! Лицом вы непохожи, но осанкой похожи, и ноги у вас одинаковые, и оба вздыхаете по одной и той же девке. Только она, видимо, чувствует, что тот поздоровее и солдат получше тебя.

— С двумя такими, как ты, он справится, а я его свалил и по брюху его проехал... Будь у меня две минуты времени, я бы мог теперь поклясться, что мой родственник — покойник. Ты всегда был остроумен, и за это я тебя полюбил, но в последнее время от твоего остроумия не осталось и следа.

— А у тебя всегда остроумие было в ногах, и потому ты так улепетывал от Сапеги, что я разлюбил тебя и готов сам уйти к Сапеге.

— На виселицу?

— Но не на ту, которая приготовлена для Радзивилла!

— Довольно!

— Слушаюсь, ваше сиятельство.

— Надо расстрелять нескольких рейтар-крикунов и ввести дисциплину.

— Я велел сегодня утром повесить шестерых.

— Отлично! Слушай! Хочешь ли ты остаться с гарнизоном в Таурогах? Мне надо оставить здесь кого-нибудь.

— Хочу и прошу об этом. Тут никто лучше меня не справится. Солдаты боятся меня как огня, потому что знают, что со мной шутки плохи. Уж хотя бы ради сношений с Левенгауптом здесь надо оставить кого-нибудь почище Петерсона.

— А ты справишься с мятежниками?

— Можете быть уверены, ваше сиятельство, что в этом году жмудские сосны дадут более тяжелые плоды, чем обыкновенные шишки. Из крестьян я наберу и по-своему обучу два полка пехоты. Буду присматривать за поместьями, и, если мятежники нападут на них, я сейчас же заподозрю какого-нибудь шляхтича и выжму из него все до гроша. Но для начала мне нужно столько денег, чтобы я мог заплатить жалованье и обмундировать пехоту.

— Я дам, сколько смогу. Оставляю.

— Из приданого?

— Как это?

— То есть из денег Биллевича, которые вы отсчитали себе заранее.

— Если бы тебе удалось как-нибудь половчее свернуть шею этому мечнику, было бы прекрасно. Легко сказать, а ведь у него в руках моя расписка!

— Постараюсь. Но дело в том, не отослал ли он куда-нибудь эту расписку или не запрятала ли ее девка за рубашку. Вашему сиятельству не угодно удостовериться?

— Будет и это, но теперь мне надо ехать, да и проклятая лихорадка отняла у меня все силы.

— Позавидуйте мне, ваше сиятельство, что я остаюсь в Таурогах.

— Ты что-то уж очень охотно остаешься. Только... Может быть, ты... Я тебя велю крюками разорвать! Чего это ты так добиваешься остаться здесь?

— Хочу жениться.

— На ком?

— На панне Божобогатой-Красенской.

— Это хорошая мысль! Это превосходная мысль! — воскликнул князь, помолчав. — Мне говорили о каком-то наследстве.

— Да, после пана Лонгина Подбиенты. Вы знаете, ваше сиятельство, это богатый род, а его имения разбросаны в нескольких поветах. Правда, некоторые из них захвачены какой-то их девятой водой на киселе, а в других стоят московские войска. Будут тяжбы, споры, драки и наезды, но я сумею все отстоять и не уступлю никому ни пяди земли. Да и девка очень мне понравилась! Красавица! Я сейчас же заметил, когда мы ее захватили, что она притворялась напуганной, а сама в меня глазками стреляла. Когда останусь здесь, так амурсы начнут сами собой, от нечего делать.

— Одно говорю тебе. Жениться я тебе разрешаю, но помни: насчет чего другого — ни-ни!.. Понимаешь? Эта девушка — воспитанница Вишневецких, наперсница самой княгини Гризельды, а я не желаю оскорблять ни княгиню, ни пана старосту калуского.

— Нечего предостерегать, — ответил Сакович, — раз я хочу жениться по-настоящему, то и руки буду по-настоящему добиваться.

— Хорошо бы, если бы она оставила тебя с носом!

— Я знаю одного человека, которого уже оставили с носом, хотя он и князь... Но думаю, что со мной этого не случится. Я сужу по этой стрельбе глазенками!

— Не попрекай того, кого оставили с носом, как бы он тебя с рогами не оставил! Женись, Ян, женись, я буду у тебя шафером!

И без того страшное лицо Саковича исказилось от бешенства и гнева. Глаза его точно подернулись мглой, но он скоро опомнился и, обращая слова князя в шутку, ответил:

— Бедняжка! По лестнице подняться не может без посторонней помощи, а туда же — грозится! У тебя тут твоя Биллевич! Иди, дохлятина, иди! Будешь еще нянчить ребят Бабиницевых.

— Чтоб у тебя язык отсох, чертов сын! Над болезнью смеешься?! От которой я чуть не умер? Чтоб и тебя так околдовали!

— Какое там колдовство! Иной раз как посмотришь, как все просто на свете, так поневоле подумаешь, что чары — глупость!

— Сам ты глуп! Молчи! Не накликай беды. Ты мне все противнее становишься!

— Как бы я не оказался последним поляком, который был верен вашему сиятельству, ибо за мою верность мне платят черной неблагодарностью. Лучше поеду к себе домой и буду там сидеть спокойно и ждать конца войны.

— Ну перестань! Ты ведь знаешь, что я тебя люблю!

— Трудновато мне это понять! И какой только черт привил мне эту любовь к вашему сиятельству? Если и есть чары, то они именно здесь.

Сакович говорил правду: он действительно любил Богуслава. Князь знал это и платил ему если не привязанностью, то благодарностью, которую питают тщеславные люди к тем, кто их обожает.

Он охотно разрешил Саковичу осуществить его планы и даже обещал ему помочь.

Около полудня, когда он почувствовал себя несколько лучше, он оделся и пошел к Анусе.

— Я прихожу к вам, как старый знакомый, узнать о вашем здоровье, ваць-панна, и спросить, довольны ли вы своим пребыванием в Таурогах?

— Кто в плену, тот всем должен довольствоваться, — ответила со вздохом Ануся.

Князь рассмеялся:

— Вы не в плену. Правда, вас захватили вместе с отрядом Сапеги, и я велел вас отвезти сюда, но только ради вашей же безопасности. Волос не спадет здесь с вашей головы. Знайте и то, ваць-панна, что я глубоко уважаю княгиню Гризельду, которой вы так близки. И Вишневенские и Замойский мои родственники. Вы найдете здесь и свободу и покровительство, а я прихожу к вам, как настоящий друг, и говорю вам: если вам угодно ехать, то поезжайте хоть сейчас, я дам вам конвой, хотя у меня у самого мало солдат. Насколько я слышал, вас отправили из Замостья для того, чтобы вы вступили во владение вашим наследством. Но знайте, что теперь не время думать о наследствах. Да и в мирное время протекция пана Сапеги вам не пригодится: он только в Витебском воеводстве может что-нибудь сделать, но не здесь. Впрочем, он сам стал бы вести это дело через комиссаров... Вам нужен человек преданный и ловкий, который пользовался бы почетом и уважением в стране. Такой уж, наверно, не попадется впросак.

— Где мне, сироте, найти такого опекуна?! — воскликнула Ануся.

— Именно в Таурогах!

— Неужели вы сами, ваше сиятельство?..

Тут Ануся сложила руки и так трогательно посмотрела Богуславу в глаза, что, если бы князь не был до такой степени измучен и расстроен, он, наверно, не стал бы так ревностно блюсти интересы Саковича; но теперь ему было не до ухаживания, и он ответил:

— Если бы я только мог, я никому не поручил бы этого приятного дела, но мне необходимо ехать. Комендантом Таурог останется пан староста ошмянский, Сакович, славный кавалер и такой ловкий человек, что другого такого не найти во всей Литве. И вот, повторяю, останьтесь в Таурогах, потому что теперь всюду пошаливают разбойники и все дороги заняты мятежниками. Сакович о вас позаботится и защитит вас. Он посмотрит, что можно предпринять для получения этих имений; а уж если только он за это возьмется, то я могу поручиться, что никто лучше его не сумеет довести это дело до конца. Он мой друг, я его знаю и скажу вам лишь то, что если б я сам захватил ваши имения и потом узнал, что Сакович поднял против меня дело, то я бы предпочел уступить их ему добровольно, так как с ним шутки плохи.

— Только бы пан Сакович согласился помочь сироте.

— Будьте только с ним поласковее, и он все для вас сделает, ибо ваша красота запала ему в самое сердце. Он только и делает, что ходит и вздыхает...

— Разве могу я кому-нибудь записать в сердце?

«Шельма девчонка!» — подумал князь. И громко прибавил:

— Пусть сам Сакович объяснит вам, как это случилось. А вы будьте только с ним поласковее; он хороший человек и знатного рода, таким пренебрегать не советую!

XXII

На следующий день князь получил письмо от прусского курфюрста с просьбой поспешить в Кролевец и принять начальство над вновь набранными войсками, которые должны были идти на Мальборг и Гданьск. В письме сообщалось и о смелом походе Карла-Густава на юг Речи Посполитой. Курфюрст предвидел неудачу этого похода и потому старался собрать как можно больше войска, чтобы, в случае нужды, стать необходимым для той или для другой стороны и продать подороже свою помощь и повлиять на ход войны. А потому он торопил молодого князя и вслед за первым гонцом послал второго, который прибыл в Тауроги на двенадцать часов позднее.

Князю нельзя было терять ни минуты, нельзя было даже отдохнуть, несмотря на то что лихорадка вернулась с прежнею силой. Надо было ехать. Он позвал Саковича и сказал ему:

— Быть может, придется девушку и мечника перевезти в Кролевец. Там мне легче будет справиться с этим ненавистным мне человеком; а ее, если я буду здоров, я возьму с собой в лагерь — довольно этих церемоний!

— Это хорошо; численность вашего войска может увеличиться! — ответил, прощаясь с князем, Сакович.

Спустя час князь уехал, и в Таурогах остался полным хозяином пан Сакович, который признавал над собой только одну власть — Ануси Божобогатой. И он стал сдувать каждую пылинку у ее ног, как это делал раньше князь перед Оле нькой. Сдерживая свою дикую натуру, он был с ней необычайно вежлив, предупреждал все ее желания, угадывал все ее мысли и вместе с тем держался вдалеке, как подобало светскому кавалеру, который добивался руки и сердца панны.

А ей, надо признаться, нравилось царствовать в Таурогах; ей приятно было думать, что, как только наступал вечер, в залах нижнего этажа, в коридорах, в цейхгаузе, в саду, еще покрытом снежным инеем, раздаются вздохи старых и молодых офицеров; нравилось, что даже астролог вздыхает, глядя на звезды со своей одинокой башни, что даже мечник вздохами прерывает молитву.

Несмотря на свою прекрасную натуру, она все же была рада, что вздохи эти относятся не к Оле ньке, а к ней; это радовало ее даже тогда, когда она думала о Бабиниче; она чувствовала свою силу, чувствовала, что если никто не мог устоять перед чарами ее глаз, то и в его душе они должны были оставить неизгладимый след.

«Ту он забудет, иначе быть не может! Там ему платят неблагодарностью! А когда это случится, он знает, где меня искать, и поищет... разбойник этакий!»

И она грозилась в душе: «Подожди! Уж я тебе отплачу, прежде чем обрадую!»

Хотя она и недолюбливала Саковича, но ей было приятно его видеть. Правда, он оправдался перед нею в измене так же, как Богуслав перед мечником. Он говорил, что мир со шведами был уже заключен, Речь Посполитая должна была уже отдохнуть и расцвести, но пан Сапега все испортил, сводя личные счета.

Ануся, не слишком разбираясь во всех этих делах, слушала только одним ухом. Зато ее поразило нечто другое в словах ошмянского старосты.

— Биллевичи, — говорил он, — кричат благим матом и жалуются на какие-то обиды и неволю, хотя здесь с ними ничего дурного не случилось. Князь не отпускал их из Таурог, заботясь о них же, так как в версте от ворот им грозила гибель от бродяг и разбойников. Не отпускал он их и потому, что полюбил панну Биллевич. Но разве можно упрекать его за это? Кто на его месте, терзаясь муками любви, поступил бы иначе? Как столь могущественный пан, он мог бы дать себе волю, но он хотел жениться, возвысить ее до своего княжеского достоинства, осчастливить и возложить на ее голову корону Радзивиллов. И за это они, неблагодарные, возводят на него всякие обвинения, пятная этим его славу и честь...

Ануся, не слишком ему веря, в тот же день спросила у Оле ньки, правда ли то, что князь хотел на ней жениться? Оленька этого не отрицала и объяснила причины, почему она отказала. Ануся согласилась с ней, но подумала, что Биллевичам было вовсе не так тяжело в Таурогах и что князь и Сакович вовсе не такие изверги, как рисовал их мечник.

И когда пришли известия, что пан Сапега и Бабинич не только не идут к Таурогам, но двинулись ко Львову за шведским королем, Ануся сначала рассердилась, но потом решила, что раз их нет, то ей незачем бежать из Таурог, так как она рискует жизнью, а в лучшем случае, вместо спокойного пребывания здесь, ее ждет полная опасностей неволя.

По этому поводу между нею, мечником и Оле нькой происходили постоянные споры; но и они должны были признать, что уход пана Сапеги очень затрудняет бегство, если не делает его совершенно невозможным; в стране все росло волнение,

и никто не мог быть уверен в завтрашнем дне. Впрочем, если бы они и не согласились с Анусей, то бегство без ее помощи, при бдительности Саковича и других офицеров, было бы невозможно. Один Кетлинг был им предан, но его нельзя было уговорить ни на что, не согласное с долгом службы; кроме того, он часто уезжал, так как Сакович высылал его, как опытного и способного офицера, против вооруженных отрядов конфедератов и разбойников.

А Ануся чувствовала себя все лучше.

Спустя месяц после отъезда князя Сакович сделал ей предложение, но хитрая девушка ответила, что она его не знает, что о нем говорят разное, что она не успела еще полюбить его, что без разрешения княгини Гризельды она замуж выйти не может, и, наконец, что хочет испытать его и потому просит подождать год.

Староста подавил свой гнев, но велел в тот же день дать одному из рейтар тысячу розог за какую-то пустячную провинность... Несчастный умер... Но все же Сакович должен был согласиться на условия Ануси. А она предупредила молодого старосту, что если он будет служить ей еще вернее и покорнее, то через год она, может быть, согласится, а может быть, и нет.

Так играла она с медведем, но уже настолько приручила его, что он даже не ворчал и лишь сказал однажды:

— За исключением того, чтобы я изменил князю, вы можете требовать от меня всего, даже того, чтобы я ползал на коленях!

Если бы Ануся знала, как страшно отражается его нетерпение на всей округе, она, быть может, не смела бы его дразнить. Солдаты и мещане в Таурогах дрожали перед ним, так как он наказывал их страшно за малейший пустяк. Пленники умирали в цепях от голода или пыток.

Не раз казалось, что этот бешеный человек, чтобы унять жар своей воспаленной любовью души, купал ее в крови... Иной раз он сам отправлялся в поход. Он побеждал всюду. Вырезал шайки мятежников, взятым в плен мужикам велел отрубать правые руки и отпускал их домой.

Тауроги, точно стеной, были окружены тем ужасом, который наводило на всех его имя. Даже более значительные отряды конфедератов не смели заходить дальше Россией.

Могильная тишина была кругом, а он из немецких бродяг и местных мужиков формировал все новые полки, которые содержал на деньги, выжатые из мещан. Силы его росли на тот случай, если бы пришлось идти на помощь князю в решительную минуту.

Более верного и страшного слуги Богуслав не мог бы найти.

Но зато на Анусю Сакович смотрел своими страшными бледноголубыми глазами все нежнее и играл ей на лютне.

Жизнь в Таурогах текла для Ануси весело, а для Оле ньки тяжело и однообразно. Одна сияла лучами веселья, как светлячок ночью; другая становилась все бледнее, серьезнее, строже, черные брови ее все чаще хмурились, и, наконец, ее прозвали монашкой. И действительно, в ней было что-то, напоминавшее монахиню.

Она стала осваиваться с мыслью, что пойдет в монастырь, что сам Господь ведет ее стезею страдания и разочарований в монастырскую келью.

Это была уже не та девушка с прелестным румянцем на лице и счастьем в глазах, не та Оле нька, которая когда-то в санях со своим женихом, Андреем Кмицицем, кричала: «Гей! Гей!»

Наступила весна. Воды Балтийского моря, освободившись от ледяных оков, вздымались под легким, теплым ветром; зацвели деревья, запестрели цветы, солнце стало пригревать сильнее, а бедная девушка все еще тщетно дожидалась конца своего плена. Ануся не желала бежать: в стране было страшное волнение.

Огонь и меч поразили страну от края до края. Кто зимой не взялся за оружие, тот

брался за него теперь: весеннее тепло делало войну более легкой.

Известия, как ласточки, залетали в Тауроги — иногда грозные, иногда утешительные. И те и другие девушка встречала с молитвой, со слезами радости или грусти.

Прежде всего заговорили о поголовном восстании всего народа. Сколько деревьев было в лесах Речи Посполитой, сколько колосьев колыхалось на ее полях, сколько звезд светило по ночам между Татрами и Балтийским морем — столько воинов восстало теперь против шведов. Была здесь и шляхта, рожденная для меча и войны, были здесь и пахари, вздымавшие землю плугами и засевавшие ее зерном; были здесь торговцы и ремесленники городские, были здесь и пчеловоды лесные, были смолокуры, были дровосеки, были степные скотоводы — все они схватились за оружие, чтобы прогнать из родимой земли насильника.

И шведы тонули в этом море...

К изумлению всего мира, недавно бессильная еще Речь Посполитая нашла в свою защиту больше сабель, чем мог ей дать император австрийский или король французский.

Потом пришли известия о Карле-Густаве, о том, что он шел в глубь Речи Посполитой, проливая реки крови и все вокруг застилая дымом пожаров. С минуты на минуту ожидали известий о его смерти или о гибели всего шведского войска.

Имя Чарнецкого звучало все громче от края до края — сердца неприятелей оно наполняло ужасом, сердца поляков надеждой.

«Разбил под Козеницами!» — говорили сегодня; «Разбил под Ярославом!» — повторяли неделю спустя; «Разбил под Сандомиром!» — повторяло далекое эхо. Все только удивлялись, откуда он берет еще шведов после таких разгромов.

Наконец прилетели новые стаи ласточек, а с ними молва принесла слух о том, что король и вся шведская армия окружены поляками между Саном и Вислой.

Сам Сакович перестал ездить в экспедиции, он лишь писал письма по ночам и рассылал их во все стороны.

Мечник точно с ума сходил. Каждый день вечером он вбегал к Оле ньке с новыми известиями. Порой он кусал пальцы от досады, что ему приходится сидеть в Таурогах. Тосковала по войне душа старого солдата... Наконец старик стал запирается в своей комнате и думать о чем-то по целым часам. Однажды он схватил Оле ньку в объятия, разрыдался и сказал:

— Мила ты мне, дочурка моя, но отчизна милее!

И на следующий день, на рассвете, он исчез, точно сквозь землю провалился.

Оле нька нашла только его письмо и прочла в нем:

«Благослови тебя Бог, дитя дорогое! Я понимал прекрасно, что они стерегут тебя, а не меня и что самому мне легче будет бежать. Пусть Господь меня осудит, если я сделал это, сиротка, из недостатка отеческих чувств к тебе. Но мука моя была сильнее моего терпения, и, клянусь Господом Богом, я не мог дольше высидеть. Когда я думал, что там льется польская кровь за отчизну и свободу и в потоках ее нет ни единой капли моей крови, — мне казалось, что ангелы Господни за это осудят меня. Не родись я на нашей Жмуди святой, где живы любовь к отчизне и мужество, не родись я шляхтичем и Биллевичем — я бы остался с тобою и берег бы тебя. Но ты, будь ты мужчиной, сделала бы то же самое, а потому простишь меня, что я оставил тебя во львиной пасти, как Даниила. Но Господь спас его по милосердию Своему, а потому и я теперь полагаю, что защита Пресвятой Девы, Царицы нашей, будет для тебя надежнее моей».

Оле нька залила письмо слезами, но полюбила дядю за этот поступок еще больше, ибо ее сердце наполнилось гордостью. Между тем в Таурогах поднялся

немалый переполох. Сам Сакович, взбешенный, ворвался в комнату девушки и, не снимая шапки с головы, спросил:

— Где ваш дядя, ваць-панна?

— Где все, кроме изменников, — на бранном поле!

— Вы знали об этом! — крикнул староста.

А она, вместо того чтобы смутиться, сделала по направлению к нему несколько шагов и, смерив его с ног до головы, с невыразимым презрением ответила:

— Знала! Ну и что же?

— Ваць-панна... Эх, если бы не князь... Вы ответите перед князем!

— Ни перед князем, ни перед его холопом! А теперь — прошу! И она указала рукой на дверь.

Сакович заскрежетал зубами и вышел.

В тот же день в Таурогах грянула весть о варецкой победе, и такая тревога охватила всех шведских сторонников, что сам Сакович не посмел наказать ксендзов, которые открыто служили благодарственные молебны.

Зато огромная тяжесть свалилась у него с сердца, когда через несколько недель из Мальборга пришло письмо от князя Богуслава с сообщением, что король ускользнул из ловушки между рек. Но другие известия были очень неутешительны. Князь требовал подкреплений и велел оставить в Таурогах лишь столько войска, сколько нужно было для их защиты.

Рейтары выступили на следующий день, с ними ушли Кетлинг, Эттинген, Фитц-Грегори, словом, все лучшие офицеры, кроме Брауна, который был необходим Саковичу.

Тауроги опустели еще больше, чем после отъезда князя.

Ануся стала скучать и еще больше донимать Саковича. А он подумывал, не лучше ли перебраться в Пруссию, так как ободренные уходом войска «партии» конфедератов снова стали кружить около Таурога. Одни Биллевици собрали отряд в пятьсот человек из местных помещиков, мелкой шляхты и мужиков. Они сильно потрепали полковника Бюцова, который выступил против них, и беспощадно разоряли радзивилловские имения.

Местные жители охотно присоединялись к ним, так как ни один род не пользовался таким уважением и влиянием среди простого народа, как Биллевици. Саковичу трудно было оставлять Тауроги, зная, что они попадут в руки неприятеля, тем более что в Пруссии ему очень трудно было бы доставать деньги, но все же с каждым днем он все больше терял надежду удержаться в Таурогах.

Разбитый Бюцов вернулся в Тауроги, и известия, которые он привез, о мощи и росте восстания, окончательно убедили Саковича в необходимости перебраться в Пруссию.

Как человек решительный и любивший быстро приводить в исполнение свои намерения, он через десять дней закончил все приготовления, отдал нужные приказания и хотел тронуться.

Но вдруг он встретил неожиданное сопротивление, и именно с той стороны, откуда менее всего его ожидал, — со стороны Ануси Божобогатой.

Ануся и не думала ехать в Пруссию. В Таурогах ей было хорошо. Успехи конфедератских «партий» не пугали ее нисколько, и если бы Биллевици напали на самые Тауроги, она была бы даже рада. Кроме того, она понимала, что на чужбине, среди немцев, она стала бы в полную зависимость от Саковича, что там он мог бы принудить ее к каким-нибудь обязательствам, которые были ей нежелательны, а потому она решила настоять на том, чтобы остаться в Таурогах. Оле нька, которой она привела свои доводы, не только согласилась с ними, но даже стала умолять ее со слезами на глазах, чтобы она всячески противилась отъезду.

— Тут мы не сегодня завтра можем ждать спасения, а там мы обе погибнем, —

говорила она.

Ануся ответила:

— Вот видишь! А ты еще упрекала меня за то, что я влюбила в себя пана старосту. Разве он стал бы обращать внимание на мое сопротивление, если бы не был влюблен? Ну?

— Правда, Ануся, правда! — ответила Оленька.

— Не печалься, моя радость! Мы из Таурог шагу не сделаем, а я еще насолю Саковичу сколько душе угодно.

— Дай бог, чтобы из этого что-нибудь вышло!

— Да как же может не выйти? Выйдет, потому что он только обо мне и думает, да вдобавок о моем наследстве. Поссориться со мной ему легко, даже саблей меня ранить, но в таком случае он бы сразу всего лишился.

И оказалось, что она была права. Сакович пришел к ней веселый и самоуверенный, а она встретила его с презрительной гримасой.

— Вы, кажется, — сказала она, — из страха перед Биллевичами хотите бежать в Пруссию?

— Не из страха перед Биллевичами, — ответил он, наморщив брови, — а для того, чтобы собрать свежие силы и расправиться с этими разбойниками!

— Счастливого пути!

— Как? Неужели вы думаете, что я поеду без вас, моя радость и надежда?

— Кто трусит, пусть ищет надежды в бегстве, а не во мне.

Сакович побледнел от гнева. Показал бы он ей, не будь она Анусей Божобогатой! Но, помня, перед кем он стоит, он справился с собой, лицо его искривилось усмешкой, и он ответил как бы шутя:

— Ну вот еще! Я спрашивать не буду! Посажу в карету и повезу!

— Вот как? — сказала девушка. — Вы, я вижу, вопреки распоряжениям князя, держите меня в плену? Ну так знайте, что если вы это сделаете, то вы больше слова от меня не услышите, Богом вам клянусь! Я воспитывалась в Лубнах и никого так не презираю, как трусов! Лучше бы мне не попадаться в такие руки! Лучше бы меня пан Бабинич до Судного дня на Литву вез, уж он-то никого не боялся!

— Боже мой! — крикнул Сакович. — Да скажите же, почему вы не хотите ехать в Пруссию?

Но Ануся сделала вид, что плачет.

— Взяли меня в плен, как татары, хоть я воспитанница княгини Гризельды и никто не имеет на меня никакого права! Взяли и держат, за море насильно увозят, того и гляди, начнут пытаться раскаленными щипцами! О Боже, Боже!

— Да побойтесь вы Бога, к Кому взываете! — воскликнул пан староста. — Кто вас будет щипцами пытаться?!

— Святые угодники, спасите меня! — повторяла, рыдая, Ануся.

Сакович сам не знал, что ему делать; его душило бешенство, гнев, минутами ему казалось, что он сойдет с ума или что с ума сошла Ануся. Наконец, он бросился к ее ногам и поклялся ей, что они останутся в Таурогах. Тогда она начала его просить, чтобы он уезжал, если ему страшно, и этим довела его до последней степени отчаяния, так что он вскочил и сказал, уходя:

— Хорошо! Мы останемся в Таурогах, а боюсь ли я Биллевичей, это вы скоро увидите!

И в тот же день, собрав остатки войска Бюцова и своих собственных солдат, он пошел, но не в Пруссию, а к Россиенам на отряд пана Биллевича, который стоял лагерем в лесу. Отряд не ожидал нападения, так как известие о выступлении последних войск из Таурог распространилось по всей окрестности. Староста, напав на отряд внезапно, разбил его в пух и прах. Сам мечник, который командовал этим отрядом, уцелел, но двое Биллевичей, его родственников, были убиты; с ними

полегла на месте третья часть солдат; остальные разбежались на все четыре стороны. Староста привел в Тауроги несколько десятков пленных и повесил их, прежде чем Ануся успела за них заступиться.

Об отъезде из Таурог уже не говорили. Впрочем, сам староста уже об этом не думал, так как после этой новой победы «партии» не решались подвигаться дальше реки Дубисы.

Сакович стал хвастаться, что если бы Левенгаупт прислал ему два полка хорошей конницы, то он подавил бы восстание во всей Жмуди. Но Левенгаупта уже не было в этих краях, а Анусе не понравилось хвастовство старосты.

— Это вы с паном мечником так легко справились! — сказала она. — Но если бы здесь был тот, от которого вы оба с князем улепетывали, вы бы уж, наверное, были в Пруссии, без меня.

Старосту эти слова задели за живое:

— От кого это мы с князем улепетывали?

— От пана Бабинича! — ответила она, делая почтительный реверанс.

— Дал бы Бог встретить его в двух шагах!

— Вы бы тогда лежали на глубине двух шагов под землей! Уж лучше не накликайте беду на свою голову!

И Сакович не очень искренне желал этой встречи с Бабиничем, так как хотя он был человеком необыкновенной храбрости, но перед Бабиничем он чувствовал какой-то почти суеверный страх — такие ужасные воспоминания о нем остались у него после последнего похода. Кроме того, он не знал, скоро ли ему придется услышать это грозное имя.

Но прежде чем оно прогремело по всей Жмуди, грянула весть — для одних радостная, для Саковича страшная, — и все уста в Речи Посполитой повторяли ее в двух словах:

— Варшава взята!

Казалось, что земля расступается под ногами изменников, что вся Валгалла рушится на голову шведов со всеми героями, которые сияли в ней некогда, как солнце. Ушам не верилось, что канцлер Оксенсьерн в плену, Эрскин в плену, Левенгаупт в плену, Врангель в плену, Виттенберг, — сам великий Виттенберг, который кровью залил всю Речь Посполитую, который покориł половину ее еще до прихода короля, — в плену! Что король Ян Казимир торжествует и скоро начнет судить виновных.

Весть эта летела, как на крыльях, гудела, как граната, над Речью Посполитой. Летела по деревням, и мужик повторял ее мужику; летела по полям, и повторяли ее колосья; летела по лесам, и сосна повторяла ее сосне, орлы клекотали о ней в воздухе — и все живое хваталось за оружие.

В окрестностях Таурог мигом забыли о недавнем поражении мечниковского отряда. Страшный прежде Сакович стал карликом даже в собственных глазах; «партии» снова стали нападать на шведские отряды; Биллевици, опомнившись от недавнего разгрома, снова перешли Дубису во главе своих крепостных и остатков ляуданской шляхты.

Сакович сам не знал, что делать, куда обратиться, откуда ждать спасения. Он давно уже не имел известий от князя Богуслава и тщетно ломал себе голову, где он и в каких войсках его искать. И минутами его охватывала смертельная тревога: не попал ли князь в плен?

Он с ужасом вспоминал, как князь говорил ему, что обоз он отправит в Варшаву, и если его назначат комендантом гарнизона в столице, то он там останется, так как оттуда ему легче всего будет наблюдать за всем, что происходит в стране.

Многие утверждали наверное, что князь попал в руки Яна Казимира.

— Если бы князя не было в Варшаве, — говорили они, — то почему же наш

всемилоостивейший государь исключил его одного из-под действия амнистии, которая распространяется на всех поляков, служивших в шведском гарнизоне? Он, несомненно, в руках короля, а раз князь Януш был заочно приговорен к плахе, то та же участь ждет и Богуслава.

После долгих размышлений Сакович пришел к тому же убеждению и боролся с отчаянием; во-первых, он любил князя, а во-вторых, знал, что в случае смерти его могущественного покровителя ему, который был правой рукой изменника, труднее будет унести свою голову из Речи Посполитой, чем дикому зверю, окруженному охотниками.

Ему казалось, что остается только одно: не обращать внимания на сопротивление Ануси и бежать в Пруссию, искать службы и хлеба.

«Но что будет, — спрашивал он не раз себя, — если и курфюрст испугается гнева Речи Посполитой и выдаст всех беглецов?»

Выхода не было, спастись можно было разве лишь за морем, в Швеции.

К счастью, после нескольких дней тревог и мучений от князя Богуслава примчался гонец с длинным собственноручным его письмом:

«Варшава отнята у шведов, — писал князь. — Обоз и вещи мои пропали. Идти на попятный уже поздно, все там восстановлены против меня, и я изъят из амнистии. Людей моих у самых ворот столицы потрепал Бабинич. Кетлинг в плену. Король шведский, курфюрст и я, вместе со Стенбоком, со всеми силами идем к столице, где вскоре произойдет генеральное сражение. Карл клянется и божится, что выиграет его, хотя та умелость, с которою Казимир ведет войну, смущает его немало. Кто мог ожидать, что в бывшем иезуите сидит такой великий стратег? Но я угадал это еще под Берестечком, ибо там все вершили он и Вишневецкий. Мы надеемся также, что ополченцы, которых у Казимира несколько десятков тысяч, расползутся по домам, или, когда жар их поостынет, они не будут так яростно драться. Дал бы Бог какой-нибудь бунт среди этого сброда, тогда Карл может нанести им значительное поражение. Все же каковы будут его последствия, неизвестно, ибо генералы шепчут друг другу на ухо, что восстание — это гидра, у которой вырастают все новые головы. Говорят: «Сначала надо опять отнять Варшаву». Когда я услышал это из уст Карла, я спросил: «Что же потом?» Он ничего не ответил. Силы наши тают, а их растут. Новую войну начинать не с чем. Нет прежнего воодушевления, и никто из наших с такой легкостью, как прежде, не пристанет к шведам. Дядя курфюрст молчит, как всегда, но я прекрасно вижу, что, если мы проиграем сражение, он завтра же начнет бить шведов, чтобы снискать милость Яна Казимира. Тяжело кланяться, да ничего не поделаешь. Дай бог самому выйти целым и не потерять всего состояния! В Боге надежда, но трудно избавиться от тревог: надо предвидеть все худшее. А потому все, что можно будет из моего состояния продать или заложить, — ты это сделай, хотя бы для этого тебе пришлось войти в тайные сношения с конфедератами. Сам же вместе с обозом поезжай в Биржи — оттуда ближе в Курляндию. Я советовал бы тебе ехать в Пруссию, но там скоро все будет в огне: сейчас же после взятия Варшавы Бабиничу поручили идти через Пруссию на Литву, поднимать там восстание, а по дороге резать и жечь. А ты знаешь, что он это умеет! Мы хотели его поймать у Буга и послали против него значительный отряд, но ни один человек из него не вернулся. Уж ты лучше не меряйся с Бабиничем, а поезжай-ка в Биржи.

Лихорадка меня оставила совершенно — здесь везде сухая и высокая местность, не то что на Жмуди. Господу Богу тебя поручаю и т. д.»

Поскольку пан староста обрадовался, что князь жив и здоров, постольку сообщаемые им новости его опечалили. Ведь если князь предвидел, что успех

решительного сражения не сможет улучшить положение шведов, то чего же можно было ожидать в будущем? Быть может, князю удастся спастись под крылышком хитрого курфюрста, а ему, Саковичу, под крылышком князя. Но что же делать пока? Идти в Пруссию?

Сакович не нуждался в княжеских советах — не становиться поперек дороги Бабиничу. У него для этого было слишком мало сил, да он и не хотел. Оставались Биржи, но и туда было слишком поздно. На дороге в Биржи стояла «партия» Биллевичей и много других «партий» — шляхетских и крестьянских. При одном известии о том, что он идет, они соединятся и рассеют его отряд, как ветер развеивает сухие листья. А если даже они не соединятся, если это удастся предупредить смелым и быстрым движением, то по дороге в каждой деревне, на каждом болоте, в каждом поле, в каждом лесу придется иметь столкновения. Какие же силы нужны были для того, чтобы до Бирж дошло хотя бы тридцать человек? Остаться в Таурогах? И это плохо — тем временем может прийти страшный Бабинич во главе огромного татарского чамбула. Все «партии» сбегутся к нему, и он зальет Тауроги, как наводнение, и придумает такую месть, о какой люди еще и не слыхивали.

Первый раз в жизни самонадеянный староста почувствовал, что он не может найти никакого выхода, не может придумать никакого способа избавиться от опасности.

На следующий день он созвал на совет Бюцова, Брауна и несколько других офицеров.

Было решено оставаться в Таурогах и ждать известий из-под Варшавы.

Но Браун после этого совета отправился на другой совет — к Анусе Божобогатой.

Совещались они долго, наконец Браун вышел с взволнованным лицом, а Ануся, как буря, влетела в комнату Оле ньки.

— Оленька, теперь время! — крикнула она еще с порога. — Мы должны бежать.

— Когда? — спросила девушка, немного побледнев, но вставая с места в знак того, что готова хоть сейчас.

— Завтра, завтра! Начальство будет передано Брауну, Сакович будет спать в городе: пан Дешук пригласит его ужинать. С паном Дешуком мы уже давно сговорились, и он подмешает ему чего-нибудь в вино. Браун говорит, что пойдет с нами сам и возьмет пятьдесят солдат. Ах, Оле нька, Оле нька! Как я счастлива, как я счастлива!

Ануся бросилась на шею Оле ньке и стала целовать ее с такой радостью, что та с удивлением спросила:

— Что с тобой, Ануся? Ведь ты давно могла уговорить на это Брауна?

— Могла уговорить? Могла! Ах, ведь я тебе еще ничего не сказала. Боже, боже! Ты ничего не знаешь? Пан Бабинич сюда идет, Сакович умирает от страха, как и все они. Пан Бабинич идет, жжет, режет! Один разъезд он разбил наголову, самого Стенбока разнес и идет сюда, точно спешит ко мне. К кому же он может сюда спешить? Ну скажи, разве я не дура?

Тут слезы блеснули в глазах Ануси.

Оле нька сложила руки, точно для молитвы, и подняла глаза к небу:

— К кому бы ни спешил, да ведет его Господь, да благословит и сохранит!

XXIII

Перед паном Кмицицем, который хотел пробраться из Варшавы в Пруссию и на Литву, была нелегкая задача. Не дальше как в Сероцке стояли большие силы шведов. Карл-Густав нарочно оставил их там, чтобы они могли мешать осаде Варшавы, но так как Варшава была уже взята, то у армии этой была теперь одна цель: не пропускать

тех войск, которые Ян Казимир захотел бы отправить в Пруссию или на Литву. Во главе ее стоял генерал Дуглас, один из самых опытных шведских генералов, а с ним два польских изменника: Радзейовский и Радзивилл. У них было две тысячи отборной пехоты и столько же конницы и артиллерии. Услышав об экспедиции Кмицица, они, так как им самим нужно было подвигаться к Литве и спасти Тыкошш, снова осажденный мазурами, широко расставили сети на пана Андрея над Бугом в треугольнике, основанием которого была линия между Злоторией и Остроленкой, а вершиной Сeroцк.

Кмицицу нужно было пройти через этот треугольник, так как он торопился, а этот путь был кратчайший. Он скоро сообразил, что попал в сеть, но так как привык к такому способу ведения войны, то несколько не смутился. Он рассчитывал на то, что эта сеть слишком растянута и что петли в ней настолько велики, что он, в случае нужды, сможет через них проскользнуть. Даже больше: хотя на него охотились со всех сторон, но он не только вывертывался и ускользал, но даже охотился сам. Прежде всего он перешел Буг за Сeroцком, вдоль берега реки дошел до Вышкова, в Бранчике разбил наголову разъезд из трехсот человек, так что, как писал князь, из них не уцелел ни один. Сам Дуглас настиг его в Длугоседле, но он, разбив конницу, прорвался через нее и, вместо того чтобы бежать как можно скорее, шел на глазах у шведов до самого Нарева, через который перебрался вплавь. Дуглас остался на берегу, ожидая паромов, но, прежде чем их привели, Кмициц глухою ночью опять переплыл реку, вернулся на прежний берег и, напав на передовую стражу шведов, произвел панику во всей дивизии Дугласа.

Генерал изумился этому смелому поступку, но на следующий день ему пришлось изумиться еще больше: Кмициц обошел армию и, вернувшись на то же самое место, откуда его спугнули, как дикого зверя, захватил в Бранчике шведские возы с провиантом, добычей и деньгами, которые поспешали за армией, и вырезал при этом конвой из пятидесяти пехотинцев.

Проходили иногда целые дни, а шведы все видели его татар невооруженным глазом на горизонте, но настигнуть их не могли. Зато пан Андрей то и дело что-нибудь у них урывал. Шведские солдаты утомлялись, а польские полки, которые оставались еще на стороне Радзейовского, служили неохотно... Зато местное население из всех сил помогало знаменитому партизану. Он знал о каждом движении неприятеля, о каждом разъезде, о каждой телеге, которая отправлялась вперед или оставалась позади. Порою казалось, что он шалит со шведами, но это были шалости тигра. Пленников он не оставлял в живых, а поручал их вешать татарам, ибо так поступали и шведы во всей Речи Посполитой. Иногда казалось, что им овладевает какое-то бешенство, потому что он с каким-то слепым безрассудством бросался на большие силы.

— Сумасшедший командует этим отрядом! — говорил о нем Дуглас.

— Или бешеный пес! — отвечал Радзейовский.

Богуслав соглашался, что и то и другое, но во всяком случае прекрасный солдат. Он с гордостью рассказывал генералам, что он дважды собственной рукой свалил на землю этого кавалера.

На него-то и нападал с особенной яростью пан Бабинич. Он, видимо, искал его; преследуемый, он сам преследовал.

Дуглас угадал, что здесь должна скрываться какая-то личная ненависть.

Князь не отрицал, хотя не давал никаких объяснений. Он платил Бабиничу той же монетой. По примеру Хованского, он назначил награду за его голову, а когда это ни к чему не привело, он решил воспользоваться его же ненавистью к себе и тем самым заставить его попасться в ловушку.

— Стыдно нам так долго возиться с этим разбойником, — сказал он Дугласу и Радзейовскому, — он рыскает вокруг нас, как волк вокруг овчарни, и ускользает

между пальцами. Я выступлю против него с небольшим отрядом для приманки, а когда он на меня нападет, я задержу его до тех пор, пока вы, господа, не подойдете. Тогда уж он от нас не уйдет.

Дуглас, которому уже давно надоела эта погоня, сопротивлялся очень слабо. Он говорил только, что не может и не должен подвергать риску жизнь столь знаменитого сановника и родственника королей для поимки одного разбойника. Но князь настаивал, и он согласился.

Было решено, что князь пойдет с отрядом из пятисот рейтар, но у каждого рейтара за спиной будет сидеть пехотинец с мушкетом. Этот фортель и должен был ввести в заблуждение Бабинича.

— Он не выдержит, когда услышит, что со мной только пятьсот рейтар, и ударит на меня, несомненно, — говорил князь, — а когда пехота плюнет ему в глаза, его татары рассеются как дым, и сам он либо будет убит, либо попадет в плен.

План этот привели в исполнение очень быстро и точно. Прежде всего распустили слух о том, что вскоре должен отправиться в экспедицию отряд из пятисот человек под командой Богуслава. Генералы рассчитывали наверняка, что местное население уведомит об этом Бабинича. Так и случилось.

Князь отправился в глухую, темную ночь и пошел к Вонсову и Елионке, перешел через реку и, оставив конницу в поле, пехоту спрятал в ближайшей роще, чтобы она могла выйти оттуда неожиданно. Между тем Дуглас должен был подвигаться по берегу Нарева, якобы к Остроленке; Радзейовский с полками легкой кавалерии должен был идти от Ксенжополя.

Никто из трех вождей не знал наверное, где в настоящую минуту Бабинич, узнать это от мужиков было невозможно, ловить же татар рейтары не умели. Все же Дуглас предполагал, что главные силы Бабинича стоят в Снядове, и хотел окружить их так, чтобы, если Бабинич нападет на князя Богуслава, отрезать ему отступление со стороны литовской границы.

Все, казалось, благоприятствовало осуществлению этого плана. Кмициц действительно был в Снядове, и лишь только до него дошли слухи об экспедиции Богуслава, как он тотчас же ушел в лес, чтобы выйти из него неожиданно под Черевиним.

Дуглас, повернув в сторону от Нарева, через несколько дней наткнулся на следы татар и пошел по этим следам в тылу Бабинича. Жара страшно мучила лошадей и людей, одетых в железные доспехи, но генерал шел вперед, не обращая на это внимания. Он был совершенно уверен, что нападет на отряд Бабинича с тылу, как раз в минуту битвы.

Наконец, после двухдневного пути, он подошел к Черевину так близко, что виднелись даже крыши домов. Тогда он остановился и, заняв все проходы и тропинки, стал ждать.

Некоторые офицеры вызвались пойти вперед и ударить на Бабинича сейчас же, но он их удерживал и говорил:

— Бабинич, напав на князя и увидев, что имеет дело не только с конницей, но и с пехотой, должен будет отступать, а отступать он может только по прежней дороге. Тогда он и попадет нам прямо в руки.

Оставалось только следить за тем, скоро ли послышится вой татар и раздадутся выстрелы мушкетов.

Между тем прошел целый день, а в черевинских лесах было так тихо, точно там не было ни одной живой души.

Дуглас стал терять терпение и ночью выслал в поле маленький разъезд, приказав соблюдать величайшую осторожность.

Разъезд вернулся глубокой ночью, но он ничего не видел и ничего не узнал. На рассвете Дуглас сам выступил вперед со своим войском.

После нескольких часов пути он дошел до места, где многочисленные следы указывали на то, что здесь стояло войско. Нашли остатки сухарей, разбитые бутылки и пороховницу шведского пехотинца; следовательно, здесь, несомненно, стояла пехота Богуслава, но ее нигде не было видно. Далее, на мокром лугу, передовая стража Дугласа заметила множество следов тяжелых рейтарских лошадей, а на берегу следы татарских скакунов; еще дальше лежал труп лошади, из которой волки только что вырвали внутренности. Еще через версту нашли татарскую стрелу без острия, но с хвостом из перьев; по-видимому, Богуслав отступал, а Бабинич шел за ним.

Дуглас понял, что случилось что-то необыкновенное.

Но что? На это не было ответа. Дуглас задумался. Вдруг его раздумье прервал офицер из передового отряда.

— Генерал, — сказал он, — сквозь заросли неподалеку видна какая-то кучка людей. Они неподвижны, точно стоят на страже. Я задержал свой отряд, чтобы сообщить вам об этом.

— Конница или пехота? — спросил Дуглас.

— Пехотинцы, их четверо или пятеро, сосчитать было нельзя: заросли мешают. На них, кажется, желтые мундиры, как у наших мушкетеров.

Дуглас пришпорил коня, подъехал к передовому отряду и двинулся с ним вперед. Сквозь редящие заросли в лесу виднелась совершенно неподвижная группа солдат, стоявших под деревом.

— Наши! — сказал Дуглас. — Князь должен быть поблизости!

— Странно! — сказал после минутного молчания офицер. — Они стоят на страже, а никто из них не окликает нас, хотя мы идем шумно.

Заросли кончились, и начался лес. Тогда всадники увидели четырех людей, стоявших рядом и как будто смотревших в землю.

— Генерал, — сказал вдруг офицер, — эти люди висят!

— Да! — ответил Дуглас.

Они пришпорили лошадей и подъехали к трупам. Четыре пехотинца висели на веревках, но так, что ноги их были всего лишь на несколько вершков от земли — они висели на низком суку.

Дуглас осмотрел их довольно равнодушно и потом сказал как бы про себя:

— Теперь мы знаем, что здесь проходили и князь и Бабинич.

И он опять задумался, так как не знал, идти ли ему дальше по этой лесной дороге или свернуть на большой тракт, ведущий в Остроленку.

Через полчаса наткнулись еще на два трупа. По-видимому, это были отставшие или больные, которых поймали татары Бабинича, шедшие за князем.

Но почему же князь отстает?

Дуглас знал его слишком хорошо, то есть знал, какой он храбрец и какой опытный солдат, и потому ни на минуту не допускал, чтобы князь стал отступать без крайней необходимости в этом. Там, несомненно, что-то произошло.

Все это выяснилось только на другой день. С отрядом в тридцать человек приехал пан Бес с известием от князя Богуслава, что король Ян Казимир отправил против Дугласа по ту сторону Буга польного гетмана Госевского с шестью тысячами конных литвин и татар.

— Мы узнали об этом, — говорил пан Бес, — раньше, чем подошел Бабинич; он шел очень осторожно и медленно. Пан Госевский отсюда в четырех или пяти милях. Князь, получив это известие, должен был поспешно отступить, чтобы соединиться с паном Радзейовским, которого без труда могли разбить. Мы шли быстро, и нам удалось соединиться. Князь сейчас же разослал несколько разъездов во все стороны, чтобы сообщить это вам, генерал. Многие из них попадут в руки татар или мужиков, но иначе сделать было нельзя.

— Где князь и Радзейовский?
— В двух милях отсюда, у берега.
— Князь увел все силы?
— Пехоту он должен был оставить, и она пробирается лесом, чтобы скрыться от татар.

— Такая конница, как татарская, может идти и самым густым лесом. Мы этой пехоты больше не увидим! Но в этом никто не виноват, и князь поступил, как опытный вождь.

— Князь отправил большой разъезд к Остроленке, чтобы ввести в заблуждение пана подскарбия литовского. Они пойдут туда немедленно, думая, что все наше войско отправилось к Остроленке.

— Это хорошо! — сказал обрадованный Дуглас. — С паном подскарбием мы справимся!

И, не теряя ни минуты, он тронулся вперед, чтобы соединиться с Богуславом и Радзейовским. Это произошло в тот же день, к великой радости пана Радзейовского, который плена боялся пуще смерти, так как знал, что, как изменник и виновник всех несчастий Речи Посполитой, он должен будет ответить за все.

Но теперь, после соединения с Дугласом, шведская армия состояла из четырех с лишним тысяч человек, а потому могла помериться с силами гетмана польного. Правда, у него было шесть тысяч конницы, но татары, кроме татар Кмицица, прекрасно обученных, не годились для битвы в открытом поле. Да и сам пан Госевский хотя и был сведущий и опытный воин, но не умел так воодушевлять людей, как пан Чарнецкий.

А Дуглас ломал себе голову, с какой целью Ян Казимир отправил гетмана польного за Буг. Король шведский вместе с курфюрстом шел к Варшаве, рано или поздно должно было произойти решительное сражение. Хотя у Яна Казимира войска было больше, чем у шведов, но шесть тысяч регулярных солдат — это была слишком большая сила, и король вряд ли бы захотел лишаться ее добровольно.

Правда, пан Госевский спас Бабинича от неминуемой гибели, но чтобы спасти Бабинича, королю нечего было посылать целую дивизию. Значит, в этом походе была какая-то скрытая цель, но шведский генерал не умел угадать ее, несмотря на всю свою проницательность.

В письме шведского короля, полученном через неделю, ясно чувствовалось беспокойство и даже что-то похожее на ужас перед этой экспедицией. Король в нескольких словах объяснял ее причины. По мнению Карла-Густава, гетман был послан не затем, чтобы напасть на армию Дугласа, не затем, чтобы идти на Литву поддержать там восстание, так как это было излишне, а затем, чтобы угрожать Пруссии и именно ее восточной части, где совершенно не было войска.

«Рассчитывают на то, — писал король, — что курфюрста можно поколебать в верности Мальборгскому трактату и нам, — и это легко может случиться, ибо он всегда готов заключить союз с Христом против дьявола и с дьяволом против Христа, чтобы из обоих извлечь выгоду».

Письмо кончалось поручением, чтобы Дуглас старался изо всех сил не пустить гетмана в Пруссию, так как он, если ему не удастся пробраться туда в течение нескольких недель, должен будет вернуться под Варшаву.

Дуглас решил, что эта задача вполне в его силах. Еще недавно он успешно сражался с самим Чарнецким, и Госевский не был ему страшен. Он не рассчитывал уничтожить его дивизию, но был вполне уверен, что сможет ее задержать и парализовать ее движения.

С этой минуты начались очень искусные маневры двух армий, которые, избегая решительного сражения, старались обойти одна другую. Оба вождя достойно соперничали друг с другом, но опытность Дугласа взяла верх, и дальше Остроленки

он Госевского не пустил.

А Бабинич, уцелевший от той ловушки, которую готовил ему Богуслав, не спешил соединяться с литовской дивизией, так как он занялся той пехотой, которую Богуслав должен был оставить по дороге, когда ему пришлось поспешно соединиться с Радзейовским. Его татары, которых вели местные лесники, шли за нею день и ночь, хватая неосторожных или тех, которые отставали. Недостаток провианта заставил шведов разделиться на маленькие отряды, которым легче было прокормиться, но этого только и ждал пан Бабинич.

Разделив свой чамбул на три отряда, которыми командовали — он сам, Акбах-Улан и Сорока, он через несколько дней перерезал большую часть этой пехоты. Это была какая-то облава на людей в лесной чаще.

Она широко прославила имя Бабинича среди Мазуров. Отряды соединились и пошли к гетману Госевскому и нашли его под самой Остроленкой, когда гетман польный, поход которого был только демонстрацией, получил от короля приказ возвращаться под Варшаву. Пану Бабиничу недолго пришлось тешиться обществом Заглобы и Володыевского, которые сопровождали гетмана во главе ляуданского полка. Они встретились очень сердечно, так как теперь уже были большими друзьями. Оба молодых полковника досадовали, что им ничего не удалось поделаться с Богуславом, но пан Заглоба утешал их, то и дело подливая им в чарки, и говорил:

— Это ничего! Моя голова еще с мая месяца работает над фортелями, а я никогда еще не ломал себе голову зря. Я придумал несколько, и очень недурных, но рассказывать пока некогда, разве что под Варшавой, куда мы отсюда тронемся.

— Мне надо в Пруссию, — ответил Бабинич, — под Варшавой я не буду!

— А разве ты сумеешь пробраться в Пруссию? — спросил Володыевский.

— Видит Бог, проберусь и обещаюсь натворить там таких дел, что меня не скоро забудут. Я скажу своим татарам: «Гуляй всю!» Они бы и здесь рады людей резать, да я им пригрозил за это веревкой. Но в Пруссии я и сам погуляю! Как же мне не пробраться? Вы не могли, но это другое дело, большой силе легче преградить путь, чем такому отряду, как мой чамбул. С ним мне легко скрываться. Иной раз я в тростнике сижу, а Дуглас у меня под носом проходит, ничего не зная. Дуглас тоже, верно, за вами пойдет, и тогда дорога будет свободна.

— Но ты, я слышал, ему досадил, — сказал Володыевский, потирая руки.

— Ишь, шельма! — прибавил пан Заглоба. — Каждый день должен был рубашку переодевать — так потел! Вы и Хованского так не трепали, и должен сказать, что я сам не мог бы лучше, будь я на вашем месте, хотя еще пан Конецпольский говорил, что в партизанской войне никто не превзошел Заглобу.

— Сдается мне, — сказал Кмицицу Володыевский, — что если Дуглас вернется, то он оставит здесь Радзивилла, чтобы он преследовал тебя.

— Дай бог! Я сам на это надеюсь! — живо ответил Кмициц. — Если я стану искать его, а он меня, то мы встретимся! В третий раз он меня не свалит, а если и свалит, то сам не встанет. Твои приемы я помню хорошо, и все твои удары я знаю как «Отче наш»! Я каждый день упражняюсь с Сорокой, чтобы не позабыть.

— Фортели — ерунда! — воскликнул Володыевский. — Сабля — вот это дело!

Эта мысль кольнула пана Заглобу, и он сейчас же ответил:

— Каждая мельница думает, что главное дело крыльями махать, а знаешь почему, Михал? Потому что у нее солома под крышей, сиречь на голове! Военное искусство все построено на фортелях, иначе Рох Ковальский мог бы стать гетманом великим, а ты польным!

— А что пан Ковальский поделывает? — спросил Кмициц.

— Пан Ковальский? Он железный шлем на голове носит, и правильно — для капусты горшок нужен. Награбил он в Варшаве, просто сил нет, вошел в славу и поступил в гусары к князю Полубинскому, а все только затем, чтобы проткнуть

Карла-Густава гусарским копьем. Приходит он к нам каждый день и только глазами и рыщет, не выглядывает ли где-нибудь горлышко бутылки из-под соломы. Не могу я малого от пьянства отучить. Ему и мой пример не помогает! Но я ему предсказывал, что не к добру он бросил ляуданский полк. Шельма неблагодарная. Несмотря на все мои благодеяния, бросил меня, такой-сякой, и все из-за гусарского копья!

— Разве он ваш воспитанник?

— Ваць-пане, я не медвежатник. Когда меня об этом спросил пан Сапега, то я ему сказал, что у него с ним был один воспитатель, но только не я, ибо я смолоду знал бондарное ремесло и умел хорошо вставлять клепки!

— Во-первых, этого вы пану Сапеге сказать бы не посмели, — ответил Володыевский, — а во-вторых, вечно вы ворчите на Ковальского, а любите его, как родного сына!

— Я предпочитаю его тебе, пан Михал, потому что майских жуков я никогда не выносил, как не выносил и влюбленных кобелят, что в томных муках по земле кувыркаются.

— Или как тех обезьян у Казановского, с которыми вы воевали!

— Смейтесь, смейтесь, а уж в другой раз Варшаву вам придется самим брать!

— Да разве вы ее взяли, ваць-пане?

— А кто Краковские ворота взял? Кто придумал пленение генералов? Сидят они теперь на хлебе и на воде в Замостье, и чуть Виттенберг взглянет на Врангеля, так скажет: «Заглоба нас сюда засадил!» И оба ревут. Если бы пан Сапега не был болен и если бы он здесь присутствовал, он сказал бы вам, кто первый вырвал шведского клеща из варшавской кожи.

— Ради бога, — сказал Кмициц, — сделайте милость, пришлите мне известие о сражении, которое произойдет под Варшавой. Я часы считать буду и до тех пор не успокоюсь, пока не узнаю чего-нибудь навверное.

Заглоба приставил палец ко лбу.

— Послушайте, что я вам скажу, — проговорил он, — а что я скажу, то уж навверное сбудется... это так же верно, как то, что передо мной чарка стоит... Стоит или не стоит? Ну?

— Стоит, стоит! Говорите уж!

— Решительное сражение мы либо проиграем, либо выиграем!

— Это всякий знает! — заметил Володыевский.

— Молчал бы ты, пан Михал, и учился! Предположим, что мы сражение проиграем, — знаешь, что будет? Видишь, не знаешь! Потому что зашевелил уже усиками, как заяц... А я вам говорю, что ничего не будет...

Кмициц, всегда нетерпеливый, вскочил, стукнул чаркой по столу и сказал:

— Да не мямлите вы!

— Я говорю, что ничего не будет! — ответил Заглоба. — Молоды вы, а потому не понимаете, каково положение вещей. Наш король, наша отчизна милая, наши войска могут проиграть теперь пятьдесят сражений одно за другим... А война пойдет по-старому: шляхта будет собираться, а за нею и все низшие сословия... Не удастся раз, удастся другой, пока все силы неприятеля не растают. Но если шведы проиграют одно большое сражение, то их сразу черти возьмут... А с ними вместе и курфюрста!

Тут пан Заглоба оживился, выпил еще чарку, ударил ею по столу и продолжал:

— Слушайте в оба, ибо это вам не всякий дурак скажет! Не все, как я, умеют сразу все схватить! Многие думают: что нас ждет еще? Сколько битв, сколько поражений, сколько слез, сколько крови пролитой, сколько несчастий? И многие сомневаются, и многие ропшут на Господа Бога и Пресвятую Деву... А я вам говорю: знаете, что ждет наших неприятелей? Погибель! Знаете, что ждет нас? Победа! Нас побьют еще сто раз... Ладно, но мы побьем в сто первый — и будет конец!

Сказав это, пан Заглоба прикрыл глаза, но сейчас же открыл их, взглянул

куда-то вперед и вдруг крикнул во всю мощь своей груди:

— Победа! Победа!

Кмициц даже покраснел от радости.

— Ведь он прав, ей-богу! Правильно говорит, иначе быть не может! Таков и будет конец!

— Уж надо признать, что у вас, ваць-пане, здесь все в порядке! — сказал Володыевский, указывая на лоб. — Речь Посполитую можно занять, но удержаться в ней нельзя... В конце концов придется убираться восвояси!

— А? Что? Все в порядке? — сказал Заглоба, обрадованный похвалой. — Коли так, я вам еще буду пророчествовать. Бог за праведных! Вы, ваць-пане, — тут он обратился к Кмицицу, — изменника Радзивилла победите, в Тауроги поедете, девушку отнимете, на ней женитесь, потомства дождетесь... Типун мне на язык, коли не будет так, как я говорю... Ради бога! Только не задуши!

И пан Заглоба вовремя попросил его об этом — пан Кмициц схватил его в свои объятия, поднял вверх и стал так целовать и прижимать к груди, что у старика глаза на лоб вылезли. И только лишь он стал на землю, только лишь передохнул, как пан Володыевский схватил его за руку:

— Моя очередь! Говорите, что меня ждет!

— Благослови тебя Бог, пан Михал! Твоя курочка целое стадо выведет небось! Ух!

— Ура! — крикнул Володыевский.

— Но сначала мы со шведами покончим! — прибавил Заглоба.

— Покончим, покончим! — воскликнули, хватаясь за сабли, молодые полковники.

— Ура! Победа!

XXIV

Через неделю пан Кмициц перебрался уже через границу электорской Пруссии под Райгродом. Он сделал это без труда, так как еще перед уходом польного гетмана он скрылся в лесах, так что Дуглас был уверен, что его чамбул ушел вместе с татарско-литовской дивизией под Варшаву, и он оставил только небольшие гарнизоны для защиты этой провинции.

Дуглас пошел вслед за Госевским, с ним отправились Радзейовский и Радзивилл.

Кмициц узнал об этом раньше, чем перешел прусскую границу, и очень опечалился, что ему не удастся встретиться с глазу на глаз с его смертельным врагом и что кара может постигнуть Богуслава из других рук — из рук пана Володыевского, который тоже поклялся мстить ему.

Лишившись возможности мстить за обиды Речи Посполитой самому Радзивиллу, он стал страшно мстить за них во владениях курфюрста.

В ту же самую ночь, когда татары миновали первый пограничный столб, небо заалело заревом, раздались крики и плач людей, попираемых стопами войны. Кто просил пощады по-польски, того вождь щадил; но зато немецкие посады, колонии, деревни и города превращались в море огня, и обезумевшие жители погибали под ножом. И не разливаются с такой быстротой масло по морским волнам, когда моряки хотят унять волнение, с какой разлился чамбул татар и волонтеров по этой спокойной и безопасной до сих пор стране. Казалось, что каждый татарин умеет разрываться на две или на три части и в двух или трех местах жечь, грабить и убивать. Не щадили даже хлебов в полях, даже деревьев в садах.

Ведь Кмициц столько времени обуздывал своих татар, что теперь, когда он дал им волю, они точно обезумели среди резни и разрушения. Они словно хотели

перещеголять друг друга, и так как никого не могли брать в плен, то с утра до вечера купались в человеческой крови.

Сам пан Кмициц, в сердце которого было немало дикости, тоже гулял вовсю, и хотя он не пачкал своих рук в крови беззащитных, но все же с удовольствием смотрел на ее пролитие. Душа его была спокойна, совесть его не мучила: проливать кровь не поляков, да еще вдобавок еретиков, он считал делом, угодным Богу и особенно святым мученикам за веру.

Ведь курфюрст, ленник и слуга Речи Посполитой, живший ее благодеяниями, первый поднял святотатственную руку на свою повелительницу, — стало быть, он заслуживал кары, и пан Кмициц был только орудием Божьего гнева.

И по вечерам он спокойно читал молитвы при свете пылающих немецких селений, а когда крики и стоны избиваемых жителей сбивали его, он начинал молитву с начала, чтобы не отягощать свою душу грехом нерадения.

Но не одни только жестокие чувства жили в его сердце — порой его волновали воспоминания прежних лет. Часто вспоминались ему те времена, когда он так удачно воевал с Хованским, и как живые вставали перед его глазами его прежние товарищи: и Кокосинский, и огромный Кульвец-Гиппоцентавр, и рябой Раницкий, в жилах которого текла сенаторская кровь, и Углик, игравший на чекане, и Рекуц, который никогда не запятнал себя человеческой кровью, и Зенд, так искусно подражавший голосам птиц и зверей.

Все они, кроме одного разве Рекуца, жарятся на адском огне... Эх, погуляли бы они теперь, напились бы крови человеческой, во славу Господню и на благо Речи Посполитой!..

И вздыхал пан Андрей при мысли, как пагубно своеволие, если оно с юных лет преграждает дорогу к прекрасным поступкам на веки веков.

Но чаще всего вздыхал он по Оле ньке. Чем дальше углублялся он в Пруссию, тем больше горели раны его сердца. И каждый день почти он разговаривал в душе со своей девушкой: «Голубка моя, ты обо мне, быть может, уже забыла, а если и вспоминаешь, то с ненавистью... А я, далеко ли, близко ли, ночью и днем трудясь для отчизны, все о тебе думаю, и душа летит к тебе через леса и воды, чтобы лечь у твоих ног, как измученная птица. Речи Посполитой и тебе я отдам всю мою кровь, но горе мне, если ты навсегда будешь считать меня преступником!»

С такими чувствами и мыслями он подвигался все дальше на север вдоль границы, жег, резал, никого не щадил. И страшная тоска душила его. Он хотел бы быть уже в Таурогах, а между тем путь был еще так далек и так труден, ибо во всей прусской провинции поднялась тревога.

Все живое хваталось за оружие, чтобы дать отпор страшному гостю; стягивались гарнизоны даже из самых отдаленных городов, формировались полки, и, в конце концов, против каждого татарина пруссаки могли выставить двадцать человек.

Кмициц набрасывался на эти отряды, как коршун, громил, резал, вешал, а сам вывертывался, скрывался и снова выплывал на волнах огня. Он уже не мог подвигаться так быстро, как раньше. Не раз ему приходилось татарским манером уходить в леса, по целым неделям таиться в лесных чащах или в приозерных тростниках. Жители выходили против него все в большем количестве и травили его, как волка, а он кусался, как волк, который одной хваткой душит насмерть, и не только защищался, но и сам нападал.

Как добросовестный мастер своего дела, он, несмотря на то что его преследовали, порою оставался в какой-нибудь местности до тех пор, пока не истреблял огнем и мечом все вокруг на несколько миль.

Имя его, которое узнали каким-то непонятным образом, переходило из уст в уста и повторялось с ужасом до самых берегов Балтийского моря.

Хотя пан Бабинич и мог снова вернуться в пределы Речи Посполитой и, несмотря на присутствие шведских гарнизонов, быстро направиться в Тауроги, но он не захотел этого делать, так как хотел послужить не только себе, но и Речи Посполитой.

Между тем пришли известия, которые воодушевили местных жителей, наполнили сердца их жаждой обороны и мести и страшной болью отдались в душе пана Андрея. Грянула весть о великой битве под Варшавой, которую будто бы проиграл польский король. «Карл-Густав и курфюрст разбили все войска Казимира! — радостно повторяли во всей Пруссии. — Варшава снова взята! Это самая большая победа за всю войну, теперь конец Речи Посполитой!»

Все люди, которых хватили татары и пытали на углях, повторяли то же самое; некоторые известия были преувеличены, как это всегда бывает в тревожное военное время. Судя по этим известиям, войска были разбиты наголову, гетманы пали, а Ян Казимир был в плену.

Значит, все кончилось? Значит, победоносное восстание Речи Посполитой было только пустым призраком? Столько сил, столько войск, столько великих людей и знаменитых воинов: гетманы, король, пан Чарнецкий со своей необыкновенной дивизией, пан маршал коронный и другие паны со своими отрядами — все это пропало, развеялось как дым? И в несчастной стране нет больше других защитников, кроме отдельных партизанских отрядов, которые, при известии о поражении, рассеются как туман?

Пан Кмициц рвал на себе волосы и прикладывал к пылающему лбу горсти холодной земли.

«Погибну и я! — думал он. — Но сначала затоплю эту землю кровью!»

И он стал воевать с каким-то отчаянием. Он больше не скрывался, не прятался в лесах и тростниках, он искал смерти. Как безумный, бросался он на отряды, которые были в три раза сильнее его, и разбивал их в пух и прах. В татарах его умерли последние остатки человеческих чувств — они превратились в стадо диких зверей. Эти хищники, не слишком пригодные в открытой битве, искони привыкшие действовать хитростью и коварством, теперь, благодаря постоянным битвам и постоянному военному опыту, превратились в отряд, который мог бы грудью встретить лучшую конницу в мире, мог бы разбивать даже колонны шведской далекарлийской гвардии. В стычках с вооруженными массами пруссаков сотня этих татар легко разбивала отряды из двухсот и трехсот мушкетеров.

Кмициц отучил своих татар от привычки таскать за собой всю свою добычу — они брали только деньги, и то лишь золото, которое зашивали в седла. И вот теперь, когда кто-нибудь из них погибал, остальные бешено дрались за его седло и коня. Богатея таким образом, они не потеряли ни одной из своих воинственных черт. Понимая, что ни один вождь на свете не доставил бы им такую массу добычи, они привязались к пану Бабиничу, как гончие к охотнику, и с истинно мусульманской честностью передавали в руки Сороки и Кемличей львиную часть добычи, причитавшуюся «багадырю».

«Алла! — говорил Акбах-Улан. — Не много их в Бахчисарай вернется, но те, что вернутся, мурзами все будут!»

Бабинич, который давно уже умел обогащаться за счет войны, собрал огромные богатства, но смерти, которой он искал больше золота, он не нашел.

Прошел еще месяц в битвах и трудах, поистине невероятных. Лошадям, хотя их кормили ячменем и прусской пшеницей, надо было обязательно дать хоть несколько дней отдыха, а потому молодой полковник, желая получить новые известия и пополнить свой отряд свежими волонтерами, повернул к границам Речи Посполитой.

Вскоре пришли и известия. Они были так радостны, что Кмициц чуть не сошел с ума. Оказалось, что действительно Ян Казимир проиграл трехдневную битву под

Варшавой, но почему проиграл?

Потому, что большая часть ополчения разошлась по домам, а оставшиеся дрались уже без того пыла, с которым они брали Варшаву, — и на третий день польские войска были разбиты. Зато первые два дня победа клонилась на сторону поляков. Регулярные войска обнаружили такую опытность и стойкость, и уже не в партизанской войне, а в генеральном сражении с лучшими войсками Европы, что изумили шведских и бранденбургских генералов.

Король Ян Казимир стяжал бессмертную славу. Говорили, что он выказал себя вождем, равным Карлу-Густаву, и что если бы все его распоряжения были исполнены, то неприятель проиграл бы решительную битву и война была бы кончена.

У Кмицица были теперь сведения от очевидцев. Он встретил отряд шляхтичей-ополченцев, который принимал участие в битве. Один из шляхтичей рассказал ему о великолепной атаке гусар, во время которой чуть не погиб сам Карл-Густав, который, несмотря на мольбы генералов, ни за что не хотел отступить. Все подтвердили, что слух о разгроме войск ложен и что ни один из гетманов не убит. Наоборот, вся армия, кроме ополчения, в полном порядке отступила в глубь страны. На варшавском мосту, который провалился, были потеряны лишь пушки, но «пыл перевезли через Вислу»... Солдаты клялись, что под командой такого вождя, как Ян Казимир, они при следующей встрече разобьют Карла-Густава, курфюрста и кого угодно, что эта битва была лишь опытом, хотя и неудачным, но многообещающим.

Кмициц ломал себе голову, отчего первые известия были так страшны. Ему объяснили, что Карл-Густав нарочно разослал преувеличенные известия, хотя на самом деле сам не знал, что ему делать. Шведские офицеры, которых пан Андрей захватил неделю спустя, подтвердили это.

Он узнал от них, что особенно напуган был курфюрст, который подумывал уже о собственной шкуре: под Варшавой пало очень много его войска, а в оставшемся появилась какая-то страшная эпидемия, которая была грознее битвы. Между тем великополяне, желая отплатить за Устье и за все свои обиды, напали на бранденбургскую монархию, резали, жгли и ровняли все с землей. По словам офицеров, близок был час, когда курфюрст оставит шведов и перейдет на сторону более сильного.

«Надо будет его прижать, — подумал Кмициц, — чтобы он сделал это поскорее!»

И так как лошади уже отдохнули, а недостаток в людях был пополнен, то он снова вернулся в Пруссию и, как дух уничтожения, налетел на города и Деревни.

Всевозможные «партии» последовали его примеру. Население давало слабый отпор, и Кмициц свирепствовал еще больше. Приходили известия, и все они были настолько радостны, что даже верилось с трудом.

Прежде всего стали говорить о том, что Карл-Густав, который после варшавской битвы подвинулся к Радому, теперь сломя голову отступает к Пруссии. Что случилось? Почему он отступает? На это некоторое время не было ответа. Как вдруг по всей Речи Посполитой громом пронеслось имя пана Чарнецкого. Он разбил шведов под Липцом, разбил под Стшемешном, под Равой, поголовно вырезал арьергард отступавшего Карла, а затем, узнав, что две тысячи рейтар возвращаются из Кракова, окружил их и не выпустил живым ни одного человека. Полковник Форгелль, брат генерала, четыре других полковника, три майора, тринадцать ротмистров и двадцать три младших офицера попали в плен. Многие увеличивали вдвое это число, были даже такие, которые в своем восторженном состоянии говорили, что Ян Казимир под Варшавой одержал победу и что его поход на юг страны был только маневром, имевшим целью окончательно погубить неприятеля.

Пан Кмициц тоже так думал. Воюя с юношеских лет, он прекрасно знал войну и никогда еще не слышал о такой победе, после которой положение победителя

ухудшалось бы. А положение шведов было очень плохо, и именно после варшавской битвы.

Пан Андрей вспомнил, что говорил пан Заглоба при их последнем свидании: победы не могут улучшить положения шведов, а одна проигранная битва может их погубить.

«Канцлерский ум! — подумал Кмициц. — Он читает будущее, как по книге».

Тут ему вспомнились и дальнейшие пророчества пана Заглобы: он, Кмициц или Бабинич, приедет в Тауроги, найдет свою Оленку, добьется ее прощения, женится на ней и воспитает ее потомство во славу отчизны. Когда он вспоминал об этом, огонь разливался по его жилам. Ему хотелось, не теряя ни минуты, бросить на время резню пруссаков и мчаться в Тауроги.

Вдруг накануне его отъезда к нему приехал ляуданский шляхтич из полка пана Володыевского с письмом от маленького рыцаря.

«Мы идем с гетманом польным литовским и князем-кравчим за Богуславом и Вальдеком, — писал пан Михал. — Соединись с нами — будет случай осуществить справедливую месть, да кстати отплатить пруссакам за несчастья Речи Посполитой».

Пан Андрей не верил собственным глазам и стал подозревать даже, не подослан ли шляхтич каким-нибудь прусским или шведским комендантом, чтобы заманить его вместе с чамбулом в ловушку. Неужели пан Госевский опять идет в Пруссию? Это было попросту невероятно. Но рука была Володыевского, печать Володыевского, да и шляхтича пан Андрей вспомнил. И он стал его допрашивать, где находится пан Госевский и куда он намеревается идти?

Шляхтич был глуповат. Не ему знать, куда хочет идти пан гетман; он знает только, что пан гетман со своей литовско-татарской дивизией стоит в двух днях пути и что с ним ляуданский полк. Пан Чарнецкий взял этот полк на время к себе, но давно уже отослал, и теперь они отправляются туда, куда поведет их гетман.

— Говорят, — закончил шляхтич, — что мы пойдем в Пруссию, и солдаты очень рады. Впрочем, наше дело драться и слушаться.

Кмициц выслушал его и, не задумываясь, повернул чамбул и поспешно направился к гетману. После двух дней пути, уже поздней ночью, он обнимал Володыевского, который, расцеловав его, сейчас же воскликнул:

— Граф Вальдек и князь Богуслав в Простках — окапываются, чтобы стать укрепленным лагерем. Мы идем на них!

— Сегодня? — спросил Кмициц.

— Завтра на рассвете, значит, через два или три часа. И они снова упали друг другу в объятия.

— Что-то мне подсказывает, что Господь отдаст его в наши руки! — воскликнул взволнованно Кмициц.

— И я так думаю!

— Я дал обет до самой смерти поститься в тот день, когда его встречу!

— А помолиться все же не мешает! — ответил пан Михал. — Зависть меня мучить не будет, если он в твои руки достанется! Твоя обида больше!

— Михал, не видывал я кавалера добрее тебя!

— Дай же, Ендрек, поглядеть на тебя! Почернел ты от ветра вконец. Но зато и отличился! Вся дивизия с гордостью смотрела на твою работу. Одни трупы и развалины! Ты солдат Божьей милостью! Самому пану Заглобе, будь он здесь, трудно было бы выдумать о себе что-нибудь лучшее.

— Боже мой! А где же пан Заглоба?

— С паном Сапегой остался. Он совсем распух от слез и отчаяния после смерти Роха Ковальского...

— Как?! Пан Ковальский погиб?!

Володыевский стиснул зубы:

- Знаешь, кто его убил?
- Почем мне знать? Говори!
- Князь Богуслав!

Кмициц отшатнулся, точно его ножом ударили, — он тяжело дышал, наконец заскрежетал зубами и, бросившись на скамью, молча подпер руками голову.

Пан Володыевский хлопнул в ладоши и велел слуге принести меду. Потом он сел около Кмицица, налил ему чарку и сказал:

— Рох Ковальский погиб такой рыцарской смертью, какую дай Боже каждому из нас. Довольно того, что сам Карл-Густав, выиграв битву, устроил ему похороны и отправил за гробом полк гвардии.

— Но если б хоть не от этих рук, не от этих дьявольских рук! — воскликнул Кмициц.

— Да, от рук Богуслава! Я знаю это от гусар, которые собственными глазами видели это скорбное зрелище!

— Разве тебя там не было?

— В битве места не выбираешь, а стоишь, где прикажут. Если бы я там был, то либо меня бы здесь не было, либо Богуслав не возводил бы окопов в Простках.

— Расскажи, как все это было? Это душу ободрит!

Пан Володыевский отпил из чарки, вытер свои рыжие усы и начал:

— У тебя, должно быть, были известия о варшавской битве, ибо все о ней говорят, и я не буду распространяться. Наш всемилостивейший государь... Дай Боже ему здоровья и долгой жизни, ибо, не будь его, погибла бы наша отчизна... оказался великим вождем. И если бы только его слушались, если бы мы все были его достойны, в книгу истории была бы вписана еще одна победа, равная победе под Грюнвальдом⁶⁵ и Берестечком. Коротко говоря, в первый день мы били шведов. На другой день победа клонилась то в ту, то в Другую сторону, но все же мы брали верх. Тогда в атаку пошли литовские гусары, в которых служил и Рох Ковальский, под командой князя Полубинского, хорошего солдата. Я видел, как они шли, как тебя вижу — я стоял с ляуданцами на возвышении, под окопами. Их было тысяча двести человек. Таких лошадей мир не видывал! Полверсты они шли мимо нас, и, говоря тебе, земля стонала под ними! Видели мы бранденбургскую пехоту — она устала пики в землю, чтобы устоять против первого натиска. Из мушкетов пальба была такая, что сквозь дым ничего не было видно. Смотрим: гусары пустили лошадей во весь опор. Боже, что за размах! Влетели в дым... исчезли... У меня солдаты закричали: «Сломают! Сломают!» С минуту ничего не было видно. Вдруг загремело что-то, точно в кузнице тысячи молотов застучали. Смотрим — Иезус, Мария! — пехота вся на земле лежит, как рожь после урагана, а они уже за нею, только значки мелькают. Идут на шведов! Столкнулись с рейтарами — нет рейтар! Столкнулись с другим полком — нет полка! А тут грохот, пушки ревут... Мы их видим, когда ветер дым развеет. Ломают шведскую пехоту! Все бежит, все валится, расступается — а они идут, точно улицей... чуть не через всю армию прошли... Столкнулись с полком конной гвардии, в котором сам Карл стоял, — гвардию точно ветром сдуло!

Тут Володыевский прервал рассказ, так как Кмициц закрыл руками глаза и стал кричать:

— Матерь Божья! Раз увидеть — и умереть!

— Такой атаки не видать больше глазам моим! — продолжал маленький рыцарь. — Нам приказали идти вперед. Больше я ничего не видел и расскажу тебе то, что я слышал из уст шведского офицера, который стоял рядом с Карлом и видел все собственными глазами. Когда гусары все уже сломали по пути, Форгелль, который

⁶⁵ Грюнвальдская битва (15 июля 1410 г.) предопределила падение Тевтонского ордена.

потом под Равой попал в наши руки, бросился к Карлу: «Король, спасай Швецию, спасай себя, — крикнул он, — отступай! Их ничто не удержит!» А Карл ответил: «Отступить незачем, надо дать отпор или погибнуть!» Подлетели другие генералы, умоляют, просят — он не хочет. Тронулся вперед, столкнулись... и шведы были сломлены в одну минуту! И принялись их наши рубить. Король защищался сам-друг. Налетел на него Ковальский и узнал — он его два раза видел. Рейтар заслонил короля... Но те, что видели, говорили, что глазом моргнуть не успели, как Рох разрубил рейтара надвое. Тогда сам король бросился на него...

Володыевский снова прервал рассказ и глубоко вздохнул, а Кмициц воскликнул:

— Кончай, а то у меня сердце из груди выскочит!

— Они сцепились среди поля, так что лошади грудью столкнулись. «Гляжу, — рассказывал офицер, — а король вместе с конем уж на земле!» Поднялся, выхватил пистолет — промахнулся. Рох схватил его за волосы, потому что у короля шляпа свалилась. Он уже мечом замахнулся, шведы застыли от ужаса, как вдруг, откуда ни возьмись, точно он из-под земли вырос, налетел Богуслав и выстрелил Ковальскому прямо в ухо, так что ему голову вместе со шлемом разнесло.

— Господи боже, так и не успел меча опустить?! — вскрикнул пан Андрей, хватаясь за голову.

— Господь не оказал ему этой милости! — ответил пан Михал. — Поняли мы с Заглобой, что случилось. С детских лет служил он у Радзивиллов, считал их своими панами и, завидев Радзивилла, должно быть, смутился. Может быть, ему никогда и в голову не приходило, что на Радзивилла можно руку поднять... Бывает так, бывает! А за это жизнью поплатился! Станный человек пан Заглоба! Ведь никогда он ему дядей не был, а другой бы так родного сына не оплакивал... А уж если правду говорить, так и оплакивать нечего: такой славной смерти завидовать можно! Ведь шляхтич и солдат на то и рождаются, чтобы не сегодня завтра голову сложить, а о Ковальском в истории писать будут, потомки будут прославлять его имя.

Замолк пан Володыевский, а минуту спустя перекрестился и сказал:

— Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, рабу твоему...

— Во веки веков, аминь! — закончил Кмициц.

Некоторое время оба они шептали молитвы, быть может, просили для себя такой же смерти, только не от рук Богуслава. Наконец пан Михал сказал:

— Ксендз Пекарский ручался нам, что он попадет прямо в рай.

— Ясное дело, что не иначе! Ему и молитвы наши не нужны!

— Молитвы всегда нужны, они другим зачтутся, а может, и нам самим! Кмициц вздохнул.

— Будем надеяться на милосердие Божье, — сказал он. — Я полагаю тоже, что за то, что я в Пруссии натворил, мне несколько лет чистилища сбавят!

— Там все записывают. Что человек саблей тут работает, там небесные секретари записывают.

— Служил и я у Радзивилла, — сказал Кмициц, — но вид Богуслава меня не смутит! Боже, боже, ведь Простки недалеко! Помни, Господи, что он и твой враг, ибо он еретик, не раз поносивший истинную веру.

— И враг отчизны! — прибавил Володыевский. — Будем надеяться, что его час близок. Пан Заглоба предсказывал это сейчас же после гусарской атаки, а говорил он это в слезах скорби, точно вдохновленный свыше. И проклинал Богуслава так, что у нас волосы дыбом на голове вставали. Князь Михал-Казимир, который идет с нами против него, тоже видел во сне две золотые трубы, которые у Радзивиллов в гербе, — их изгрыз медведь. На другой же день он говорил: «Либо со мной, либо с кем-нибудь из Радзивиллов случится несчастье!»

— Медведь? — спросил, бледнея, Кмициц.

— Да!

Лицо пана Андрея просияло, точно его залили лучи утренней зари, он поднял глаза к небу, протянул руки и сказал торжественным голосом:

— В моем гербе есть медведь! Слава тебе, Господи! Слава тебе, Пресвятая Дева! Господи, Господи, недостойн я этой милости!

Услышав это, Володыевский страшно взволновался: он почувствовал в этом какое-то предзнаменование.

— Ендрек, — воскликнул он, — ты на всякий случай помолись хорошенько перед распятием, а я себе Саковича попрошу!

— Простки! Простки! — повторял, как в бреду, Кмициц. — Когда мы выступаем?

— На рассвете, а скоро уже начнет светать.

Кмициц подошел к окну, взглянул на небо и воскликнул:

— Бледнеют уж звезды, бледнеют! Ave, Maria!

Вдруг вдали запел петух и раздался тихий трубный сигнал.

Вскоре по всей деревне поднялось движение. Слышался лязг железа, Фырканье лошадей. Темные массы всадников показались на дороге. Воздух насыщался светом; чуть серебрились наконечники копий, тускло сверкали обнаженные сабли, из темноты выделялись усатые грозные лица, шлемы, колпаки, бараньи шапки татар, тулупы, халаты. Наконец войско во главе с передовым отрядом Кмицица двинулось к Просткам; длинной лентой растянулось оно по дороге и быстро подвигалось вперед.

Лошади в первых рядах зафыркали, фырканьем ответили им другие, и солдаты видели в этом хороший знак. Белый туман застилал еще поля и луга. Вокруг было тихо, только дергачи отзывались в росистой траве.

XXV

Шестого сентября польские войска пришли в Вонсошу и остановились, чтобы дать отдых солдатам и лошадям перед битвой. Подскарбий решил простоять здесь четыре или пять дней, но дальнейшие события расстроили его планы.

Пана Бабинича, как хорошо знавшего местность, отправили на разведки с двумя литовскими полками и свежим чамбулом орды, так как его татары были слишком утомлены.

Подскарбий, отправляя его, все просил не возвращаться с пустыми руками и раздобыть пленника. Бабинич только улыбнулся, подумав, что упрашивать его нечего — он и так привезет пленных, если даже ему придется искать их за окопами.

Через два часа он вернулся и привез с собой с десятков пруссаков и шведов. Среди них был один офицер из прусского полка князя Богуслава, капитан фон Рессель. Отряд Кмицица в лагере встретили с восторгом. Капитана даже не пришлось подвергать пытке, так как Бабинич еще по дороге приставил ему саблю к горлу и заставил его рассказать все.

Он сообщил, что в Простках кроме прусских полков графа Вальдека стоят еще шесть шведских полков под начальством генерал-майора Израеля: из них четырьмя конными полками командуют Петере, Фритьофсен, Таубен, Амерштейн и двумя пехотными братья Энгель. Из прекрасно вооруженных прусских полков кроме собственного полка графа Вальдека были еще полки графа Висмара, Брунцеля, Коннаберга, генерала Вальрата и четыре полка под командой Богуслава; два полка прусской шляхты и два его собственных.

Главкомандующим был назначен граф Вальдек, но на самом деле он во всем слушался князя Богуслава, влиянию которого подчинился и шведский генерал Израель.

Но самым важным известием было то, что из Элька шли в Простки две тысячи отличной поморской пехоты и что граф Вальдек, опасаясь, как бы их не захватила орда, намеревался выйти из укрепленного лагеря и, только соединившись с ними,

снова окружить себя окопами. Князь Богуслав, по словам Ресселя, был все время против выступления из Просток и только в последние дни согласился.

Госевский, услышав это, очень обрадовался, так как был уверен, что победа останется за ним. Неприятель мог долго защищаться в окопах, но в открытом поле ни шведская, ни прусская конница не могли устоять против литовской.

Князь Богуслав, очевидно, понимал это так же, как и подскарбий, и не очень одобрял планы Вальдека, но был слишком тщеславен, чтобы перенести упрек в излишней осторожности.

Впрочем, он не отличался излишком терпения. Можно было рассчитывать почти наверное, что ему наскучит сидеть в окопах и что он поищет славы и победы в открытом поле. Пану подскарбию оставалось только спешить, чтобы напасть на врага именно тогда, когда он будет выходить из окопов.

Таково же было мнение и других полковников — Гассан-бея, начальника орды, пана Войниловича, Корсака, Володыевского, Котвича и Бабинича. Все согласились, что отдыхать нельзя и надо ночью же двинуться дальше. Корсак тотчас отправил к Просткам своего хорунжего Беганского с предписанием следить за лагерем и каждый час сообщать сведения о том, что в нем происходит. Володыевский и Бабинич увели к себе Ресселя, чтобы узнать еще что-нибудь о Богуславе. Капитан сначала был очень напуган, так как чувствовал еще у горла конец Кмицицевой сабли, но вино вскоре развязало ему язык. Так как он раньше служил в Речи Посполитой, то знал немного польский язык и мог отвечать на вопросы маленького рыцаря, не говорившего по-немецки.

— Давно вы служите у князя Богуслава? — спросил маленький рыцарь.

— Я у князя не служу, — ответил он, — я в полку курфюрста, которым он теперь командует.

— Так, значит, вы не знаете Саковича?

— Я видывал его в Кролевце.

— Он здесь, с князем?

— Нет, остался в Таурогах.

Маленький рыцарь вздохнул и зашевелил усиками.

— Не везет мне, как всегда! — сказал он.

— Не горюй, Михал, — сказал Бабинич, — ты найдешь его, а если не ты, так я...

Потом он обратился к Ресселю:

— Вы старый воин, видели оба войска и знаете нашу конницу, как вы думаете, на чьей стороне будет победа?

— Если они примут сражение за окопами, то на вашей стороне, но без пехоты и артиллерии вам не взять окопов, тем более что там всем руководит князь Радзивилл.

— Разве вы считаете его таким великим вождем?

— Не только я, но и оба войска. Говорят, что под Варшавой августейший король Швеции во всем следовал его советам и потому одержал большую победу. Князь, как поляк, лучше знает ваш способ ведения войны и потому всегда может дать хороший совет. Я сам видел, как шведский король на третий день битвы обнимал и целовал князя перед фронтом. Правда, князь спас ему жизнь, и если бы не выстрел Богуслава... Страшно подумать даже... К тому же это несравненный рыцарь, с которым никто не может сравняться!

— Будто! — сказал Володыевский. — Может, такой и найдется!

При этих словах он грозно зашевелил усиками. Рессель взглянул на него и покраснел. Минуту казалось, что с ним либо случится удар от прилива крови, либо он разразится смехом. Но, вспомнив, что он в плену, он тотчас овладел собой.

Кмициц взглянул на него пристально своими стальными глазами и сквозь зубы пробормотал:

— Завтра видно будет...

— А здоров теперь Богуслав? — спросил Володыевский. — Ведь он долго болел лихорадкой и, говорят, ослабел?

— Здоров давно и не принимает никаких лекарств. Сначала медик стал давать ему какие-то снадобья, но после первого же приема с ним случился припадок. За это князь велел качать медика на простынях, и это ему помогло, а медик сам заболел лихорадкой от перепуга.

— Качать на простынях? — спросил Володыевский.

— Я сам видел! — ответил Рессель. — Разложили две простыни; на них положили медика, и четыре здоровенных солдата взяли простыни за углы и принялись так сильно подбрасывать беднягу, что он сажени на три взлетал кверху, падал и снова взлетал. Генерал Израель, Вальдек и князь надрывали животы со смеху. Многие из нас, офицеров, тоже смотрели на это зрелище, пока медик не лишился чувств. У князя лихорадку как рукой сняло!

Несмотря на всю свою ненависть к Богуславу, Володыевский и Бабинич не могли удержаться от смеха, узнав об его проделке. Пан Бабинич даже хлопнул себя по коленам:

— Вот шельма! Как помог себе!

— Надо об этом лекарстве рассказать пану Заглобе, — сказал маленький рыцарь.

— От лихорадки это помогло, но вряд ли князь доживет до старости: он не умеет обуздывать своих страстей! — сказал Рессель.

— И я так думаю, — пробормотал Бабинич сквозь зубы, — такие, как он, долго не живут.

— А разве он и в лагере позволяет себе грешить? — спросил Володыевский.

— Как же, — ответил Рессель, — граф Вальдек уже не раз подсмеивался над ним, говоря, что его сиятельство возит с собой целый штат фрейлин... Я сам видел двух очень красивых дам, которые, по словам его придворных, занимаются глаженьем его воротников... Хорошо глаженье!

Бабинич, услышав это, сначала вспыхнул, потом побледнел... Вдруг он вскочил с места и, схватив Ресселя за плечи, стал изо всех сил трясти его:

— Польки или немки?.. Отвечай!

— Не польки, — ответил испуганный Рессель, — одна прусская дворянка, а другая шведка, которая раньше служила у жены генерала Израеля.

Бабинич взглянул на Володыевского и глубоко вздохнул; маленький рыцарь тоже вздохнул и перестал шевелить усами.

— Позвольте мне отдохнуть, господа, — сказал Рессель, — я очень устал. Ведь татарин две мили вел меня на аркане.

Бабинич позвал Сороку и сдал ему пленника, а потом быстро подошел к Володыевскому.

— Довольно! — сказал он. — Лучше сто раз погибнуть, чем жить в постоянной тревоге и беспокойстве. Вот теперь, когда Рессель рассказывал об этих девушках, мне показалось, будто меня обухом по голове хватили...

Пан Володыевский ударил рукой по сабле:

— Да, надо кончить!

У гетманской квартиры послышались трубные сигналы. Потом они раздались во всех литовских полках. Через час войско уже выступило в поход. По дороге их встретил посланный от хорунжего Беганского с известием, что удалось захватить несколько рейтар из большого отряда, который по эту сторону реки забирал у крестьян лошадей и телеги. Их опросили, и оказалось, что обоз и все войско на следующий день, в восемь часов утра, оставит Простки и что приказания уже отданы.

— Слава богу! Вперед! — сказал пан подскарбий. — К вечеру этих войск уже не будет!

Послана была орда с предписанием мчаться сломя голову и занять дорогу между войсками Вальдека и прусской пехотой, шедшей ему на помощь. За ордой двинулись рысью литовские полки, и они почти поспевали за ордой.

Кмициц пошел со своим чамбулом впереди и мчался с ним во весь опор. Дорогой он наклонялся в седле, бился головой о конскую шею и горячо молился:

— Не за мою обиду помоги мне, Господи, отомстить, но за обиды, причиненные отчизне! Я грешник, я не стою твоей милости, но сжался надо мною и позволь мне пролить кровь этого еретика!.. А за это даю обет поститься и бичевать себя в этот день каждую неделю, до последнего дня моей жизни.

Затем он поручил себя покровительству Пресвятой Девы Ченстоховской, за которую проливал свою кровь, покровительству своего патрона и только тогда успокоился. Он почувствовал, что в него вступила какая-то великая надежда, что все члены его полны такой необычайной силы, перед которой все должно пасть во прах.

Ему казалось, что за спиной у него выросли крылья. Радость вихрем охватила его, и он мчался впереди своих татар, так что искры сыпались из-под копыт его коня. А за ним, пригнувшись к шее лошадей, мчались тысячи диких воинов.

Волна остроконечных шапок колыхалась в такт лошадиному бегу, луки раскачивались за спинами...

Сзади до них долетал глухой шум литовских полков, подобный шуму бегущей реки.

И они летели в эту чудную звездную ночь, точно стая хищных птиц, которые издали почуяли кровь.

Они миновали поля, рощи, луга и, наконец, когда диск луны побледнел, замедлили ход и остановились для отдыха. Простки были в расстоянии немецкой полумили.

Татары стали кормить коней ячменем из рук, чтобы они набрались сил перед битвой.

Кмициц, пересев на запасного коня, поехал дальше осмотреть неприятельский лагерь.

Через полчаса он столкнулся с тем пятигорским отрядом, который пан Корсак послал на разведки.

— Ну что? — спросил Кмициц хорунжего. — Что слышно?

— Не спят и гудят, как пчелы в улье. Они бы уже выступили, но воев не было, — ответил хорунжий.

— А нельзя ли откуда-нибудь поближе увидеть лагерь?

— Можно, вон с того холма, прикрытого кустами. Лагерь там, внизу, у реки. Вам угодно посмотреть?

— Ведите!

Хорунжий пришпорил лошадь, и они поднялись на холм. Занималась заря, и воздух был насыщен золотистым светом, но по реке и противоположному низкому берегу расстилался еще густой туман. Закрытые кустарниками, они смотрели в этот туман, начинавший редеть.

Наконец в долине показался квадратный земляной окоп; Кмициц жадно впился в него глазами. Но сначала он увидел только туманные очертания палаток и воев, расставленных вдоль вала. Огня костров уже не было видно, и только дым тянулся к небу высокими столбами, предвещая хорошую погоду. Но по мере того как туман рассеивался, Бабиничу в подзорную трубу удалось разглядеть на валах голубые шведские и желтые прусские знамена, массу солдат, пушки и лошадей.

Вокруг царила тишина, которую изредка нарушал шелест листьев да веселое чирикание птиц. Из лагеря доносился неясный гул.

Там, по-видимому, никто уже не спал и все готовились к выступлению. В середине лагеря происходило сильное движение. Целые полки передвигались с

места на место, некоторые выходили за окопы; около возов была суетня. С валов снимали пушки.

— Они готовятся в поход, не иначе! — заметил Кмициц.

— Все пленные это говорят, — сказал хорунжий. — Они хотят соединиться со своей пехотой и не ожидают, чтобы гетман мог напасть на них до вечера, во всяком случае, они предпочитают принять сражение в открытом поле, чем предоставить эту пехоту на убой.

— Пройдет часа два, пока они выступят, а тогда подскарбий будет здесь, — сказал Бабинич.

— Слава богу! — ответил хорунжий.

— Пошлите сказать, чтоб там не мешкали!

— Слушаюсь!

— Они не высылали разъездов на этот берег?

— Сюда ни один человек не выходил. Разъезды посланы только навстречу их пехоте.

— Хорошо, — сказал Кмициц.

Он съехал с холма и, велев отряду оставаться в зарослях, сам во весь опор поскакал к полкам.

Пан Госевский садился уже на коня, когда Бабинич вернулся. Он сообщил ему наскоро то, что видел, и описал местность и расположение войск. Гетман был очень доволен его сообщением, и полки тотчас же двинулись вперед.

На этот раз впереди пошел чамбул Бабинича, а за ним литовские полки: Войниловича, ляуданский, гетманский и другие. Орда осталась позади, так как об этом усиленно просил Гассан-бей, боясь, что его татары не выдержат первого натиска тяжелой кавалерии. У него был и другой расчет. Он хотел в тот момент, когда литвины ударят на неприятеля, захватить обоз, где рассчитывал найти богатую добычу. Гетман согласился, справедливо полагая, что ордынцы будут лениво сражаться с войском, но как бешеные нападут на обоз. Кроме того, они могли поднять в обозе панику, так как лошади не привыкли к их страшному вою.

Через два часа, как предсказывал Кмициц, они достигли того холма, с которого разъезд наблюдал за неприятелем и который прикрывал все движения войска. Хорунжий, заметив приближавшиеся войска, прискакал с известием, что неприятель, сняв стражу по той стороне реки, уже выступил и что обоз выходит уже из окопов.

Услышав это, Госевский вынул булаву из чехла и, обратившись к солдатам, воскликнул:

— Теперь им уже нельзя повернуть назад: обоз загораживает им дорогу. Во имя Отца и Сына и Святого Духа!.. Нечего дольше скрываться!

Он сделал знак бунчужному, тот поднял бунчук и стал размахивать им во все стороны. Закачались в ответ все другие бунчуки, раздались звуки труб, рожков и татарских пищалок; загремели литавры, сверкнуло шесть тысяч сабель, и шесть тысяч голосов грянули:

— Иезус, Мария!

— Алла! Алла!

Полки один за другим стали рысью выступать из-за холма.

В лагере Вальдека не были подготовлены к такому скорому приходу гостей, и началась суматоха. Барабаны загремели. Полки повернулись фронтом к реке. Невооруженным глазом можно было уже видеть генералов и полковников, которые мчались к своим полкам. Из центра начали вывозить пушки и наспех поворачивать их жерлами к реке.

Скоро оба войска были друг от друга не дальше чем на тысячу шагов. Их разделяло обширное поле, посредине которого протекала речка.

Еще минута, и со стороны пруссаков показался белый дымок.

Битва началась.

Гетман понесся к чамбулу Бабинича.

— Наступайте, пан Бабинич, наступайте! С Богом! Вон туда! На ту стену! И он указал булавой на сверкавший вдали полк рейтар.

— За мной! — скомандовал пан Андрей.

И, прищпорив коня, помчался к реке. Лошади вскоре летели уже во весь опор и неслись, вытянувшись, как борзые. Всадники, наклонившись к седлам, с воем подгоняли лошадей, которые и так, казалось, почти не касались ногами земли; не останавливаясь, они бросились в реку, которая их не задержала, так как они попали на широкий песчаный брод и помчались всей массой вперед.

Увидев это, полк панцирных рейтар двинулся к ним, сначала шагом, затем рысью, и лишь когда чамбул был на расстоянии двадцати шагов, раздалась команда: «Feuer!» — и тысячи пистолетов направились на нападавших. Белая лента дыма протянулась вдоль строя, и две массы всадников с шумом ударили друг на друга. Лошади при первом столкновении поднялись на дыбы, над головами сражавшихся сверкнули по всей линии сабли, точно молниеносный змей пролетел из конца в конец. Зловещий лязг железа о шлемы и панцири был слышен на другом берегу. Казалось, в кузницах молоты бьют по стали.

В одно мгновение линия изогнулась полумесяцем, так как центр рейтар отступил при первом натиске назад, а оба фланга удержались на местах. Но и в центре строй панцирных солдат не прорвался, и началась страшная резня. С одной стороны строй великанов в стальных доспехах, с другой — серая туча татар, которая напирала, рубила и колола с такой непостижимой быстротой, которую может дать лишь легкость вооружения и навык. Как бывает, когда толпа дровосеков набрасывается на лес мачтовых сосен, слышится только стук топоров и деревья падают одно за другим со страшным треском, так и в строю рейтар один за другим валились на землю блестящие шлемы...

Сабли Кмицицевых татар мелькали перед глазами и ослепляли их. Напрасно иной воин поднимал свой тяжелый меч: не успевал он нанести удар, как меч выскользнул уже из его рук, и сам он падал с окровавленным лицом на шею своего коня. И как стадо ос нападает в саду на человека, который захотел стряхнуть с дерева плоды, так люди Кмицица, привыкшие к битвам, бросались очертя голову на неприятеля, рубили, кололи и сеяли кругом ужас и смерть. Они были настолько же искуснее своих противников, насколько опытный мастер искуснее самого сильного мужика, которому не хватает навыка.

Рейтары падали один за другим, и центр, где бился Кмициц, стал заметно редеть и с минуты на минуту мог прорваться.

Крики офицеров, сзывавших рейтар для подкрепления центра, терялись в общем шуме и диком вое, ряды уже недостаточно быстро смыкались, а Кмициц напирал все сильнее. Сам одетый в стальную кольчугу, которую он получил в подарок от Сапеги, он сражался, как простой солдат; за ним шли Кемличи и Сорока. Они охраняли его жизнь, и поминутно то тот, то другой из них поворачивался вправо или влево, нанося страшный удар. А он на своем гнедом коне врезался в самую гущу врагов и, усвоив все тайны искусства Володыевского и обладая гигантской силой, гасил человеческие жизни, как свечи. Иной раз он ударит всем лезвием, порою прикоснется лишь концом сабли, порою опишет быстрый как молния круг — и рейтар покачнется и свалится, точно пораженный громом. А другие отступают перед этим страшным всадником.

Наконец пан Андрей ударил хорунжего в висок; он вскрикнул дико, выпустил знамя из рук. В эту минуту центр прорвался, а фланги смешались в две беспорядочные массы и отступили к прусским войскам.

Кмициц взглянул через прорванный центр вдаль и вдруг заметил полк красных

драгун, подобно вихрю, летевших на помощь рейтарам. «Это ничего! — подумал он. — Через минуту Володыевский придет ко мне на помощь!» Между тем загремели пушки, так что дрогнула земля, и затрещали мушкеты, направленные в сторону наиболее выдвинутых вперед рядов польских войск; поле заволклось дымом, и в этом дыму волонтеры Кмицица, вместе с татарами, сцепились с драгунами.

Но со стороны реки никто не шел на помощь.

Оказалось, что неприятель нарочно пропустил чамбул Кмицица через брод, а потом стал обстреливать его таким страшным огнем из пушек и мушкетов, что на противоположный берег невыносимо было перебраться.

Первым отправился отряд Корсака, но вернулся в беспорядке; затем полк Войниловича, который дошел до середины брода и тоже отступил, хотя и медленно, потому что это был королевский полк, один из самых лучших во всем войске. Он потерял двадцать знатных шляхтичей и девяносто человек челяди.

Под градом пуль и ядер вода в реке шумела, как под проливным дождем. Ядра перелетали и на другую сторону, взрывая облака песка. Сам подскарбий подъехал к реке и убедился, что ни один живой человек не может перебраться на противоположный берег.

А от этого зависел исход сражения. Лицо гетмана омрачилось. Долгое время он смотрел в подзорную трубу на линию неприятельских войск и затем крикнул ординарцу:

— Скажи к Гассан-бею; пусть орда во что бы то ни стало переправится с высокого берега и нападет на обоз. Все, что найдут в повозках, — их! Пушек там нет, работать им придется только за рекой.

Офицер помчался во весь опор. Гетман тем временем поехал дальше к тому месту, где на лугу, под вербами, стоял ляуданский полк, и остановился перед ним.

Володыевский стоял впереди мрачный, но молчаливый; он посмотрел на гетмана и зашевелил усиками.

— Как вы полагаете, татары переправятся? — спросил гетман.

— Татары-то переправятся, но Кмициц погибнет! — сказал Володыевский.

— Клянусь Богом, — воскликнул гетман, — если бы Кмициц только догадался, он мог бы выиграть эту битву, а не погибнуть!

Володыевский ничего не ответил, но подумал про себя: «Надо было или совсем не посылать за реку ни одного полка, или если послать, то хотя бы пять!»

Гетман снова стал смотреть в подзорную трубу и следил за переполохом, который поднял Кмициц за рекой; вдруг маленький рыцарь, не будучи в силах долее ждать, подъехал к гетману и, отдав честь саблей, сказал:

— Ваша вельможность, прикажите, и я попробую перебраться через этот брод!

— Стоять на месте! — резко ответил гетман. — Довольно того, что те погибнут.

— Они уже гибнут! — воскликнул Володыевский.

Действительно, крик и шум становился все сильнее. Кмициц, по-видимому, отступал к реке.

— Клянусь Богом, этого я и хотел! — крикнул вдруг гетман и, как вихрь, понесся к полку Войниловича.

Кмициц действительно отступал. Сцепившись с красными драгунами, люди его рубились с ними, напрягая последние силы; им уже нечем было дышать, усталые руки слабели, трупы падали все чаще; и только надежда на то, что из-за реки пришлют помощь, прибавляла им бодрости.

Между тем прошло полчаса, а криков «бей!» все не было слышно; зато к красным драгунам подоспел на помощь тяжелоколенный полк князя Богуслава.

«Смерть идет!» — подумал Кмициц, заметив, что они стали объезжать с фланга.

Но он был из тех солдат, которые до последней минуты не теряют надежды не только на спасение, но даже на победу.

Путем долгой и опасной практики Кмициц прекрасно изучил войну, и у него с быстротой молнии мелькнула мысль: «Видно, наши не могут перебраться к неприятелю через брод, а если не могут, то я им это облегчу!»

Когда полк Богуслава был уже всего на сто шагов от татар и, несясь во весь опор, мог через минуту разбить в пух и прах отряд Кмицица, пан Андрей приложил к губам пищалку и свистнул так пронзительно, что даже ближайшие драгунские лошади присели на задние ноги.

Пищалки старшин тотчас повторили свист Кмицица — и, точно вихрь, что кружится по полю, чамбул повернул и помчался назад.

Уцелевшие рейтары, красные драгуны и полк Богуслава погнались за ними.

Крики офицеров: «Вперед!» и «Gott mit uns!»⁶⁶ — загремели как буря. И глазам поляков открылось необыкновенное зрелище.

По широкой равнине в беспорядке мчался чамбул к обстреливаемому броду; он несясь, точно на крыльях. Каждый ордынец совсем пригнулся к гриве, так что, если бы не туча стрел, летевших в сторону рейтар, могло бы показаться, что лошади мчатся без седоков. За ними с шумом и криком мчались люди-великаны, сверкая поднятыми мечами.

Брод был все ближе; татарские лошади уже выбивались из сил, так что расстояние между ними и рейтарами все уменьшалось.

Несколько минут спустя первые ряды рейтар стали уже рубить отстававших татар, но те были уже у брода. Еще несколько скачков — и лошади достигли бы его.

Вдруг произошло что-то странное.

Когда орда доскакала до брода, на флангах чамбула опять послышались пронзительные свистки, и чамбул, вместо того чтобы броситься в реку и искать спасения на другом берегу, разделился на две части, и с быстротой ласточек одна из них помчалась направо, другая — налево, вдоль берега. Мчавшиеся за ними тяжелые полки не могли остановиться и со всего разбега ринулись в воду, и только в воде всадники стали сдерживать разгоряченных коней.

Артиллерия, которая до сих пор забрасывала брод снарядами, прекратила огонь, чтобы не стрелять в своих.

Но этой-то минуты и ждал как спасения гетман Госевский.

Рейтары не успели достигнуть воды, как навстречу им понесся, точно Ураган, страшный королевский полк Войниловича, за ним — ляуданский, потом полк Корсака, далее два гетманских полка, полк волонтеров, а за ними панцирный полк князя Михаила Радзивилла.

В воздухе загремели страшные крики: «Бей! Убей!» — и, прежде чем прусские полки успели осадить лошадей и схватиться за оружие, полк Войниловича рассеял их, как ураган рассеивает листья, смял красных драгун и, налетев на полк Богуслава, расколол его на две части и помчался в поле, к главной прусской армии. Река в одно мгновение обогрилась кровью, артиллерия снова открыла огонь, но слишком поздно, так как восемь полков литовской конницы с шумом и криком неслись уже по полю, и бой переместился на другую сторону реки.

Сам пан подскарбий несясь во главе одного из своих полков с лицом, сияющим от счастья. Раз удалось переправить конницу через реку, он был уже уверен в победе.

Полки рубили, кололи и гнали перед собой остатки драгун и рейтар, которые гибли под ударами, так как их тяжелые лошади не могли бежать быстро и только закрывали преследующих от выстрелов.

Между тем Вальдек, Богуслав Радзивилл и Израель двинули всю свою конницу, чтобы сдержать натиск неприятеля, а сами стали поспешно выстраивать пехоту.

⁶⁶ «С нами Бог!» (нем.).

Полки один за другим выступили из-за обоза и укрепились в открытом поле. Солдаты вбивали в землю тяжелые копья и затем поворачивали их к неприятелю. Во втором ряду мушкетеры держали ружья наготове. Между колоннами пехоты поспешно устанавливали орудия.

Ни Богуслав, ни Вальдек, ни Израель не рассчитывали на то, что конница может долго выдержать натиск польских полков, и всю надежду возлагали на артиллерию и пехоту. Тем временем конные полки уже столкнулись грудью. Но тут произошло то, что и предвидели прусские вожди.

Натиск литовской конницы был так страшен, что целая лавина кавалерии не могла ее задержать, и первый же польский гусарский полк врезался в нее клином и понесся, даже не ломая копий, среди сплошной массы войска, как несется среди волн гонимое ветром судно. Все ближе и ближе были гусарские значки, и через минуту головы гусарских лошадей вынырнули из толпы пруссаков.

— Готовься! — крикнули офицеры, стоявшие во главе колонн пехоты.

В ответ на это прусские кнехты крепче уперлись ногой в землю и выставили копья. Сердца их сильно бились, так как страшные гусары летели прямо на них.

— Огня! — опять раздалась команда.

Во втором и третьем ряду затрещали мушкеты. Дым окутал людей. Еще минута, шум налетающего полка все ближе...

Вдруг среди дыма первый ряд пехотинцев увидел у себя над головами тысячи конских копыт, раздувающихся ноздрей, сверкающих глаз; раздался треск ломающихся копий, воздух огласился страшным криком: польским — «Бей!» и немецким «Gott, erbarme Dich meiner!»⁶⁷

Колонна разбита и смята; но между другими колоннами загрохотали пушки. Налетают другие полки, вот-вот они набросятся на лес вбитых в землю копий. Крики растут по всему полю битвы.

Но вот из массы сражающихся выделяются кучки желтых пехотинцев, вероятно, остатки какого-нибудь другого разбитого полка.

Всадники в серых мундирах мчатся за ними, рубят, давят с криком: «Ляуда! Ляуда!»

Это пан Володыевский налетел на другую колонну. Но некоторые полки еще держатся, и победа может склониться на сторону немцев, тем более что у обоза стоят еще два нетронутых полка, которые можно сейчас же позвать на помощь, так как обоз поляки оставили в покое.

Вальдек, правда, совсем потерял голову; Израеля нет, потому что он послан с конницей, но Богуслав следит за всем и руководит ходом всего сражения. Видя опасность, он посылает пана Беса за нетронутыми полками. Пан Бес мчится во весь опор и через полчаса возвращается без шапки, с выражением ужаса и отчаяния на лице.

— Орда в лагере! — кричит он, примчавшись к Богуславу.

В ту же минуту на правом фланге раздается нечеловеческий вой. Показались толпы шведских кавалеристов; они мчатся в страшном смятении, за ними бегут пехотинцы без оружия и шапок, за ними мчатся обезумевшие обозные лошади с возами. Все это сломя голову мчится вперед на собственную пехоту. Через минуту все смешается, склубится; а между тем с фронта на пехоту мчится литовская конница.

— Гассан-бей ворвался в лагерь! — радостно восклицает пан Госевский и пускает последние два полка, точно двух соколов.

В ту минуту, когда эти полки ударяют на пехоту с фронта, собственный обоз

⁶⁷ «Боже, смилуйся надо мной!» (нем.).

налетает на нее с фланга. Последние колонны разваливаются, как под ударом молота.

От великолепной шведско-прусской армии остается одна громадная, беспорядочная толпа, в которой конница смешалась с пехотой. Люди давят друг друга, падают, бросают одежду и оружие. Это уже не проигранное сражение, это разгром, один из самых страшных за всю войну.

Но Богуслав, видя, что все погибло, решается спасти хоть себя и часть конницы.

С нечеловеческими усилиями он собирает вокруг себя несколько сот всадников и мчится вдоль левого крыла, по берегу реки.

Он вырвался уже из самого водоворота битвы, как вдруг сбоку на него налетает со своими гусарами другой Радзивилл, Михал-Казимир, и одним ударом рассеивает весь отряд.

Рассеянные всадники обращаются в бегство, поодиночке или небольшими кучками. Их может спасти лишь быстрота их лошадей. Но гусары их не преследуют, они уже ударили на главную массу пехоты, которую громят все другие полки. И пехота бежит, как испуганное и рассеянное стадо диких коз.

Богуслав, на вороном коне Кмицица, мчится как вихрь; напрасно пытается он криками собрать вокруг себя хоть несколько десятков людей. Никто его не слушает, каждый мчится, спасая себя и радуясь, что вырвался из резни и что впереди не видно неприятеля.

Напрасная радость! Едва промчались они с тысячу шагов, как вдруг впереди раздался страшный вой и серая туча татар показалась со стороны реки, где она скрывалась в засаде.

Это был Кмициц со своим чамбулом. Отступив с поля, когда неприятельская конница ринулась в воду, он вернулся теперь, чтобы преградить путь убежавшим.

Татары, видя, что всадники мчатся врассыпную, сами рассыпались, чтобы удобнее было их ловить. Началась убийственная погоня. По два, по три татарина набрасывались на одного рейтара, и рейтары почти не защищались, а чаще всего протягивали рапиры рукояткой вперед и молили о пощаде. Но ордынцы, видя, что увести всех пленных невозможно, брали только начальников, за которых надеялись получить выкуп; простым солдатам просто перерезывали горло, и они умирали, не успев даже крикнуть: «Gott!» Тех, которые продолжали бежать, кололи сзади ножами; тех, кого не могли догнать, ловили арканами.

Кмициц носился по полю и искал глазами Богуслава. Наконец он увидел его и тотчас узнал по своему коню, доспехам, голубой ленте и шляпе с черными страусовыми перьями. Князь был окутан лентой белого дыма: за минуту перед этим на него набросились два ногойца, но он одного убил выстрелом из пистолета, а другого пронзил рапирой; увидев большую кучку татар, которая мчалась на него с одной стороны, и Кмицица с другой, он пришпорил коня и понесся, как олень, за которым гонится стая гончих. За ним бросилось человек пятьдесят. Но не все лошади бежали одинаково быстро, и вскоре вся группа растянулась длинной змеей, голову которой составлял Богуслав, а шею Кмициц. Князь пригнулся к луке седла, и вороной конь, казалось, не касался земли и чернелся на зеленой траве, как летающая над землею ласточка.

Татары стали уже отставать. Кмициц бросил пистолеты, чтобы облегчить коня, а сам, не спуская глаз с Богуслава, стиснув зубы и почти лежа на шее скакуна, вонзил ему шпоры в бока, и вскоре пена, которая падала с коня на землю, стала розоватой. Но расстояние между ним и князем не только не уменьшилось, но стало даже увеличиваться.

«Эх, горе! — подумал Кмициц. — Этого коня ни один скакун не догонит!»

И когда он заметил, что расстояние увеличилось еще более, он привстал в седле, опустил саблю на темляк и, приложив руку ко рту, крикнул громовым голосом:

— Беги, изменник, от Кмицица! Не сегодня, так завтра я тебя все равно поймаю!

И только прозвучали в воздухе эти слова, как князь оглянулся и, увидев, что за ним гонится один только Кмициц, — вместо того чтобы скакать дальше, повернул лошадь, описав полукруг, и бросился на него с рапирой в руке.

Из груди пана Андрея вырвался радостный крик, и, не задерживая лошади, он поднял саблю.

— Труп! Труп! — крикнул князь.

И чтобы вернее нанести удар, начал сдерживать коня.

Кмициц подскочил и так сильно осадил своего коня, что он копытами врылся в землю.

Они скрестили сабли. Лошади их точно слились в одно целое. Раздался страшный лязг железа, быстрый как мысль. Ни один глаз на свете не мог бы проследить быстрые, как молнии, движения сабли и рапиры и отличить князя от Кмицица. То чернела шляпа Богуслава, то сверкал шлем Кмицица. Лошади кружились одна около другой. Звон оружия становился все страшнее.

Богуслав после нескольких ударов перестал пренебрежительно относиться к противнику. Он легко отражал все страшные удары, которым князь выучился у французских мастеров.

Пот лился по его лицу, смешиваясь с белилами и румянами. Правая рука его стала уставать. Сначала он изумлялся, затем им стало овладевать нетерпение и злость.

Он решил покончить сразу и нанес Кмицицу такой страшный удар, что даже шлем свалился с его головы. Но Кмициц отбил его с такой силой, что рапира князя отскочила в сторону, и, прежде чем он успел снова закрыться, Кмициц ударил его концом сабли по лбу.

— Christ!.. — вскрикнул князь по-немецки и свалился в траву.

Он упал навзничь. Пан Андрей стоял как ошеломленный; но скоро пришел в себя, опустил саблю, перекрестился, соскочил с лошади и, снова схватившись за рукоятку сабли, подошел к князю.

Кмициц был страшен: бледен от утомления, как полотно; зубы его были крепко стиснуты, лицо исказилось ненавистью. Вот его смертельный враг лежит теперь у его ног в крови, еще живой и в сознании, но побежденный.

Богуслав смотрел на него широко раскрытыми глазами, внимательно следя за каждым движением своего победителя, и, когда Кмициц подошел к нему, он быстро воскликнул:

— Не убивай!.. Выкуп!

Кмициц вместо ответа наступил ему на грудь ногой, а к горлу приставил острие сабли. Ему стоило только сделать одно движение, стоило только нажать рукой!.. Но он не убивал князя; он хотел насладиться этим зрелищем и сделать смерть для князя как можно более мучительной. Он впился в него глазами и стоял над ним, как лев над повергнутым буйволом.

Вдруг князь, у которого кровь ручьем текла из раны и голова лежала в луже крови, снова заговорил, но уже совсем сдавленным голосом, так как нога пана Андрея сильно придавливала ему грудь.

— Девушка... слушай!..

При этих словах пан Андрей снял ногу с его груди и отвел саблю от горла.

— Говори! — сказал он.

Но князь Богуслав некоторое время тяжело дышал и наконец проговорил уже более сильным голосом:

— Девушка погибнет, если убьешь... Отдан приказ...

— Что ты с нею сделал? — спросил Кмициц.

— Пусти меня, я тебе ее отдам... Клянусь Евангелием...

Пан Андрей провел рукой по лицу — он, по-видимому, боролся с собой... Наконец проговорил:

— Слушай, изменник! Я бы сто таких выродков, как ты, за один ее волос отдал... Но тебе я не верю, клятвопреступник!

— Клянусь Евангелием! — снова повторил князь. — Я дам тебе грамоту и письменный приказ.

— Пусть так и будет! Я пощажу твою жизнь, но не выпущу тебя из рук. Ты напишешь приказ... А пока я отдам тебя татарам, ты будешь у них в плену!

— Согласен, — ответил князь.

— Помни же, — сказал пан Андрей, — не спасет тебя от меня ни твое княжество, ни войска, ни фехтовальное искусство... И знай, что всякий раз, когда ты станешь на моем пути или не сдержишь слова, ничто тебя не спасет, хотя бы тебя избрали австрийским императором... Признай же мою силу! Раз ты уж был у меня в руках, а теперь лежишь у моих ног!

— Я теряю сознание, — сказал князь. — Пан Кмициц!.. Вода, верно, близко... Дай напиться и обмой рану!..

— Издохни, изменник! — сказал Кмициц.

Но князь, успокоившись за свою жизнь, произнес уверенным тоном:

— Глуп ты, пан Кмициц! Если я умру, то и она...

Вдруг губы его побелели.

Кмициц побежал искать, нет ли где-нибудь поблизости какого-нибудь рва или лужи. Князь лишился чувств, но, к счастью, ненадолго. В это самое время прискакал татарин Селим, сын Газы-аги, хорунжий из чамбула Кмицица, и, увидев плавающего в крови неприятеля, хотел пригвоздить его к земле острием древка, на котором развевалось знамя. Князь в эту страшную минуту нашел еще столько сил, чтобы схватиться за острие и, так как оно было слабо прикреплено, оторвать его.

Шум этой короткой борьбы привлек внимание пана Андрея.

— Стой, собачий сын! — крикнул он, подбегая.

При звуках знакомого голоса татарин даже припал к шее коня от страха. Кмициц послал его за водой, а сам остался с князем, потому что вдали показались Кемличи, Сорока и целый чамбул, который, переловив всех рейтар, отправился на поиски своего вождя.

Увидев пана Андрея, верные ногойцы с громким криком подбросили вверх свои шапки. Акбах-Улан соскочил с коня и начал ему низко кланяться, прикладывая руки ко лбу, к губам и груди. Другие, чмокая губами, с жадностью смотрели на лежавшего рыцаря и с удивлением — на победителя. Иные бросались ловить двух коней — князя и Кмицица, которые бежали по полю с развевающимися гривами.

— Акбах-Улан, — сказал Кмициц, — это вождь разбитых нами войск: князь Богуслав Радзивилл. Дарю его вам, а вы его берегите, за него, за живого или мертвого, вам дадут богатый выкуп! А теперь перевяжите ему рану, возьмите на аркан и ведите в лагерь.

— Алла! Алла! Спасибо, начальник! Спасибо, победитель! — крикнули в один голос татары. И снова зачмокали губами.

Кмициц велел привести себе лошадь и, захватив с собой часть татар, помчался к полю сражения.

Уже издали он увидел хорунжих, которые стояли со знаменами; но у каждого знамени стояло лишь по несколько человек, так как остальные погнались за неприятелем.

Толпы челяди бродили по полю сражения, обшаривая и грабя трупы и вступая в драку с татарами, которые делали то же самое. Татары были прямо страшны: с ножами в руках, с испачканными кровью лицами. Точно стая воронов слетелась на место побоища. Дикий их смех и пронзительные крики слышались по всему полю.

Иные из них, держа в зубах еще дымящиеся ножи, обеими руками тащили убитых за ноги; другие в шутку перебрасывались отрубленными головами; иные прятали награбленную добычу; иные, точно на базаре, поднимали вверх окровавленную одежду, восхваляя ее качества, или занимались осмотром взятого оружия.

Кмициц прежде всего проехал через поле, где он первый ударил на рейтар. Всюду лежали конские и человеческие трупы, изрубленные мечами; там, где конница напала на пехоту, возвышались целые груды тел; лужи запекшейся крови разбрызгивались под копытами лошадей.

Трудно было даже проехать среди обломков копий, мушкетов, трупов, опрокинутых повозок и рыскавших всюду татар.

Пан Госевский стоял еще на насыпи, окружавшей лагерь, а возле него — князь-кравчий Михаил Радзивилл, Войнилович, Володыевский, Корсак и еще несколько десятков человек. С высоты вала они видели поле до самого края и могли оценить размеры своей победы и поражения неприятеля.

Увидев их, Кмициц пришпорил коня, а пан Госевский без тени зависти в душе воскликнул:

— Вот явился победитель. Благодаря ему мы одержали победу, и я первый объявляю это во всеуслышание. Мосци-панове, благодарите пана Бабинича: если б не он, мы не перешли бы через реку.

— Vivat Бабинич! — воскликнуло несколько десятков голосов.

— И где, солдат, ты так воевать научился? — с восторгом спросил гетман. — Как это ты сразу понял, что надо делать?

Кмициц ничего не отвечал от усталости и только кланялся на все стороны, проводя рукой по лицу, запачканному потом и дымом. Глаза его горели необыкновенным блеском; виваты не смолкали. Отряды проходили один за другим, возвращаясь с погони, и каждый из них присоединял свой голос к приветственным кличам в честь Бабинича. Взлетали вверх шапки; те, у кого были пистолеты, стреляли в воздух.

Вдруг пан Андрей привстал в седле и, подняв обе руки вверх, крикнул громовым голосом:

— Да здравствует Ян Казимир, наш государь и милостивый отец!

И поднялся такой крик, точно разгорелась новая битва. Всеми овладел невыразимый восторг.

Князь Михаил снял с себя саблю, осыпанную брильянтами, и отдал ее Кмицицу. Гетман накинул ему на плечи свой дорогой плащ, а Кмициц снова поднял обе руки вверх:

— Да здравствует наш гетман, вождь и победитель!

— Да здравствует! — хором грянули рыцари.

Затем начали приносить отнятые знамена и водружать их на валу. Неприятель не спас ни одного; тут были прусские, шведские знамена, знамена прусского ополчения и князя Богуслава. Радугой они сверкали на валу.

— Эта победа одна из самых больших в этой войне! — воскликнул гетман. — Израель и Вальдек в плену, полковники убиты или в неволе, а войско истреблено.

Тут он обратился к Кмицицу:

— Пане Бабинич! В той стороне вы должны были встретить Богуслава... Что с ним?

Пан Володыевский пристально посмотрел на Кмицица, а он быстро ответил:

— Князя Богуслава Бог наказал вот этой рукой!

И, сказав это, протянул правую руку. Маленький рыцарь бросился в его объятия.

— Ендрек, — воскликнул он, — благослови тебя Бог!

— Ведь ты же меня учил! — дружески ответил Кмициц.

Но излишества их дружеских чувств были прерваны князем Михаилом.

— Мой брат убит? — быстро спросил он.

— Нет, — ответил Кмициц, — я даровал ему жизнь, но он ранен и в плену. Да вот его ведут мои ногойцы.

На лице Володыевского отразилось изумление, а глаза всех рыцарей устремились туда, где показался отряд татар, медленно пробиравшийся среди остатков поломанных телег.

Когда отряд подошел ближе, все увидели, что один из татар шел впереди и вел пленника. В нем узнали князя Богуслава — но в каком виде!

Он, один из могущественнейших панов Речи Посполитой, он, еще вчера мечтавший о короне литовского князя, шел теперь с татарским арканом на шее, пешком, без шляпы, с окровавленной головой, перевязанной грязной тряпкой. Но все так ненавидели этого магната, что ни в ком не шевельнулось сострадание при виде его унижения, и почти все крикнули хором:

— Смерть изменнику! Изрубить его саблями!.. Смерть!! Смерть!!

А князь Михаил закрыл лицо руками. Ведь это Радзивилла вели с таким позором! Вдруг он покраснел и крикнул:

— Мосци-панове! Это мой брат, моя кровь! Я не жалел для блага отчизны ни здоровья, ни имущества! И враг мой, кто поднимет руку на этого несчастного!!

Все замолчали.

Князя Михаила все любили за его храбрость, щедрость и искреннюю любовь к отчизне.

Ведь в то время, когда вся Литва попала в руки русских, один он защищался в Несвиже, потом с презрением отверг все предложения Януша в войне со шведами и один из первых примкнул к Тышовецкой конфедерации. Поэтому голос его был услышан всеми. Быть может, никто не хотел обидеть столь могущественного пана, но все тотчас спрятали сабли в ножны, и несколько офицеров крикнуло:

— Взять его у татар! Пусть Речь Посполитая его судит, мы не позволим татарам позорить шляхетскую кровь.

— Взять его у татар! — повторил князь. — Мы найдем заложника, а выкуп заплатит сам... Пане Войнилович, идите со своими людьми и отнимите его у татар силой, если нельзя будет иначе!

— Я пойду в заложники! — воскликнул пан Гноинский.

— Что ты наделал, Ендрек?! — сказал Володыевский, подскочив к Кмицицу. — Ведь он теперь уйдет невредимым!

— Позвольте, князь! — крикнул, как ужаленный, Кмицин. — Это мой пленник! Я пощадил его жизнь, но под известными условиями, исполнить которые он поклялся своим еретическим Евангелием! И я скорее умру, чем позволю его вырвать из тех рук, в которые я его отдал, прежде чем он всего не исполнит!

С этими словами он поднял лошадь на дыбы и загородил дорогу. Его охватила врожденная вспыльчивость: лицо исказилось, ноздри раздулись, а глаза метали молнии.

Но Войнилович стал напирать на него конем.

— С дороги, пане Бабинич! — крикнул он.

— С дороги, пане Войнилович! — заревел пан Андрей и рукояткой сабли так страшно ударил лошадь Войниловича, что она пошатнулась, как пораженная пулей, и уткнулась мордой в землю.

В толпе офицеров послышался ропот, но вдруг выступил вперед пан Госевский и сказал:

— Прошу молчать, Панове! Князь, моей гетманской властью объявляю, что пан Бабинич имеет право на пленника, и если кто хочет освободить его из рук татар, то он должен поручиться за него перед победителем.

Князь Михаил поборол свое волнение, успокоился и сказал, обратившись к пану Андрею:

— Говорите, чего вы хотите?

— Чтобы он сдержал свое слово, прежде чем освободится из плена!

— Он сдержит его и по выходе из плена.

— Этого быть не может! Не верю!

— В таком случае, клянусь Пресвятой Девой, в которую верую, и своим рыцарским словом, что все будет исполнено. В противном случае, можете требовать от меня какого угодно удовлетворения!

— Этого достаточно! — ответил Кмициц. — Пусть пан Гноинский останется у татар заложником, иначе татары окажут сопротивление. Я довольствуюсь вашим словом!

— Благодарю вас, пан кавалер! — ответил князь-кравчий.

— Не бойтесь, я его сразу не освобожу: я его отдам, согласно праву, гетману, и он будет пленником до королевского приговора.

— Так и будет! — сказал гетман. И, приказав Войниловичу взять свежую лошадь, отправил его с Гноинским за князем.

Но не так-то легко было это сделать. Пленного пришлось отнимать силой, потому что сам Гассан-бей оказал грозное сопротивление и успокоился только тогда, когда увидел пана Гноинского и когда ему обещали дать выкуп в сто тысяч талеров.

И вечером князь Богуслав находился уже в шатре Госевского. Два медика внимательно его осмотрели и поручились за его жизнь, так как рана, нанесенная ему острием сабли, не представляла никакой особенной опасности.

Пан Володыевский никак не мог простить Кмицицу, что он пощадил князя, и целый день избегал встречи с паном Андреем. Вечером Кмициц сам пошел к нему в его палатку.

— Побойся Бога! — воскликнул маленький рыцарь, увидев его. — Я никак не мог от тебя ожидать, что ты живым отпустишь этого изменника!

— Выслушай меня, пан Михал, и тогда осуждай! — мрачно ответил Кмициц. — Он лежал у моих ног, я приставил к его горлу саблю. И знаешь, что сказал мне этот изменник?.. Он сказал, что заранее отдал приказ, чтобы, в случае его гибели, Оленька была казнена... Что же мне было делать, несчастному?! Я купил ее жизнь ценой его жизни... Что же мне было делать?.. О господи, господи!.. Что мне было делать?..

Он схватился за голову и в отчаянии рвал на себе волосы. А пан Володыевский задумался на минуту и потом сказал:

— Я понимаю твоё отчаяние... Но все-таки... ты выпустил из рук изменника, который в будущем может навлечь на нашу Речь Посполитую тяжкие бедствия... Конечно, Ендрек, ты сегодня отличался, как никогда, но все же ради личного счастья ты пожертвовал общим благом!

— А ты сам, ты сам как бы поступил, если бы тебе сказали, что к горлу панны Анны Божобогатой приставили нож?

Володыевский сильно зашевелил усами:

— Я себя и не ставлю в пример... Гм, как бы я поступил?.. Но Скшетуский, у которого душа римлянина, наверно, не выпустил бы его живым. И я Уверен, что Бог никогда не допустил бы, чтобы пролилась невинная кровь!

— Пусть же я и каюсь! Покарай меня, Боже, не по тяжкой вине моей, но по беспредельной благодати Твоей!.. Но чтобы подписать смертный приговор этой голубке...

Кмициц закрыл руками глаза.

— Спасите меня, святые угодники! Никогда! Никогда!! — воскликнул он.

— Свершилось, — сказал Володыевский. Пан Андрей достал из-за пазухи бумаги:

— Посмотри, Михал, вот что у меня есть! Это приказ Саковичу, всем офицерам и шведским комендантам. Он подписал, хотя едва владеет рукой. Сам князь-кравчий настоял на этом. Вот ее свобода и безопасность! Клянусь Богом, что я целый год каждый день ничком лежать буду, прикажу бичевать себя, построю новую церковь, но жизнью ее не пожертвую. У меня душа не римлянина... хорошо! Я не Катон, как Скшетуский... хорошо! Но я не пожертвую ее жизнью! Не пожертвую!! Пусть меня черти в аду на рожне...

Он не закончил, так как Володыевский зажал ему рот рукой и громко воскликнул:

— Не кощунствуй, не то и на нее навлечешь гнев Божий! Бей себя в грудь! Скорей! Скорей!

И Кмициц стал ударять себя в грудь, повторяя:

— *Mea culpa! Mea culpa! Mea maxima culpa!*

Наконец зарыдал страшно, ибо сам не знал, что ему делать. Володыевский дал ему выплакаться и, когда он успокоился, спросил:

— Что же ты намерен теперь предпринять?

— Пойду далеко, к Биржам, куда меня посылают с чамбулом. Пусть только люди и лошади отдохнут. По дороге, если можно будет, пролью еще крови еретиков во славу Божью.

— И это зачтется тебе! Не падай духом, Ендрек, Бог милостив!

— Пойду прямо. Теперь дорога в Пруссию — настезь. Кое-где лишь попадутся небольшие гарнизоны.

Пан Михал вздохнул:

— Эх, пошел бы и я с тобой, но здесь оставаться надо! Счастлив ты, что командуешь волонтерами... Слушай, Ендрек, брат милый! Если их обеих найдешь, позаботься и о той, чтобы с ней ничего дурного не случилось... Бог весть, может, она — моя суженая...

И с этими словами маленький рыцарь бросился в объятия пана Кмицица.

XXVI

Оле нька и Ануся, выбравшись из Таурога под охраной Брауна, благополучно добрались до «партии» мечника, который стоял в это время под Ольшей, не очень далеко от Таурога.

Увидев их здоровыми и невредимыми, старый шляхтич сперва не верил своим глазам, потом заплакал от радости, наконец, пришел в такое воинственное настроение, что никаких опасностей для него уже не существовало. Напади на него не только Богуслав, но и сам шведский король — мечник и тогда стал бы защищать обеих девушек против всякого врага.

— Скорее погибну, — говорил он, — чем один волос упадет у вас с головы! Я уже не тот, каким вы знали меня в Таурогах, и полагаю, что шведы долго будут помнить Гирляколы, Ясвойну и то поражение, какое я нанес им под самыми Россиенами. Правда, этот изменник Сакович неожиданно напал на нас и рассеял, но вот к моим услугам опять несколько сот сабель!

Пан мечник не очень преувеличивал: действительно, в нем трудно было узнать прежнего, павшего духом, таурогского пленника. Теперь он был другой; ожила его энергия; в поле, на коне, он был в своей стихии и действительно несколько раз сильно потрепал шведов. А так как он пользовался уважением во всей округе, то к нему охотно шли шляхта и крестьяне, а из более отдаленных поветов то и дело кто-нибудь из Биллевичей приводил ему своих — человек по пятьдесят.

Отряд мечника состоял из трехсот человек пехоты, из крестьян, и пятисот всадников. В пехоте лишь у немногих были ружья, большинство было вооружено вилами да косами, конницу составляла зажиточная шляхта, которая ушла в леса со

своей челядью. Она была вооружена лучше пехоты, хотя крайне разнообразно. У иных простые колья заменяли пики, у некоторых было богатое фамильное вооружение, но только прошлого века; лошади разных пород и разной выносливости были мало пригодны для правильного строя.

С таким отрядом мечник мог преграждать путь шведским патрулям, разбивать небольшие отряды конницы и очищать леса от разбойничьих шаек, состоявших из беглых шведских и прусских солдат и местных бродяг. Но напасть на какой-либо город мечник не мог.

Но и шведы уже поумнели. В начале восстания во всей Литве и Жмуди перерезаны были все мелкие шведские отряды, разбросанные по отдельным квартирам или стоявшие по деревням. Те, что уцелели, наскоро укрепились в городах и выходили оттуда лишь в экспедиции. Таким образом, поля, леса, деревни и маленькие местечки были в руках поляков, но все большие города были заняты шведами, и выгнать их оттуда было невозможно.

Отряд мечника был одним из лучших; другие могли сделать еще меньше. На границе Инфляндии мятежники, правда, так осмелели, что два раза осаждали Биржи, которым во второй раз пришлось сдаться. Но эта удача объяснялась тем, что Понтус де ла Гарди отозвал из соседних с Инфляндией поветов все войска для защиты Риги против царских войск.

Но его блестящие и редкие в истории победы заставляли думать, что эта война скоро кончится и что Жмудь снова займут упоенные победой шведские войска. Но пока в лесах было довольно безопасно, и многочисленные «партии» повстанцев могли быть спокойны, что неприятель не будет искать их в лесных чащах.

Поэтому мечник бросил мысль искать убежища в Беловежской пуще, тем более что она была далеко, а по дороге лежало много городов с сильными гарнизонами.

— Господь послал нам сухую осень, — говорил он девушкам, — я прикажу устроить для вас шатер, дам бабу для услуг, и вы останетесь в лагере. Теперь в лесах самое надежное убежище. Мои Биллевичи сожжены дотла; на усадьбы нападают бродяги, а порой и шведские отряды. Где же вам преклонить голову, как не у меня? В моем распоряжении несколько сот сабель. А когда настанет слякоть, я подыщу для вас какую-нибудь избенку в лесной чаще.

Этот план очень понравился панне Божобогатой, так как в «партии» мечника было несколько молодых Биллевичей, учтивых кавалеров, и, кроме того, ходили слухи, что Бабинич идет в эти края.

Ануся надеялась, что, как только Бабинич явится, он вмиг разобьет шведов, а потом... потом будет, что Бог даст. Оле нька тоже думала, что в лесу безопаснее всего, и хотела лишь быть как можно дальше от Таурога, опасаясь преследований Саковича.

— Пойдемте к Водоктам, — сказала она, — там мы будем среди своих. Если даже Водокты сожжены, то есть еще Митруны и все окрестные «застенки». Не может быть, чтобы весь край превратился в пустыню. В случае опасности ляуданцы нас защитят.

— Да ведь все ляуданцы ушли с Володыевским, — возразил молодой Юрий Биллевич.

— Остались старики и подростки; впрочем, и женщины тамошние умеют защищаться, если понадобится. Леса там больше здешних. Домашевичи-охотники или Госцевичи-смолокуры проведут нас в Роговскую пущу, где ни один неприятель нас не найдет.

— А я укреплю лагерь и, поместив вас в безопасном месте, буду на шведов нападать и истреблять тех, которые осмелятся подойти к окраинам пуши, — сказал мечник. — Это великолепная мысль, там можно поработать на славу!

Кто знает, быть может, мечник ухватился за мысль Оле ньки, потому что сам он

немного побаивался Саковича, который, будучи доведен до отчаяния, мог быть страшен.

Но совет действительно был хорош и потому всем пришелся по душе; мечник еще в тот же день отправил пехоту под начальством Юрия Биллевича, поручив ей пробраться через леса к Кракинову; а сам он с конницей выступил дня через два, собрав предварительно точные сведения, не вышли ли из Кейдан или из Россией, мимо которых ему надо было проходить, какие-нибудь значительные шведские отряды.

Отряд мечника подвигался медленно и осторожно. Девушки ехали в крестьянской телеге, а по временам верхом на лошадях, которых достал для них мечник.

Юрий подарил Анусе легкую сабельку, она повесила ее на шелковой перевязи через плечо и в ухарски надетой на голову шапочке гарцевала перед отрядом, точно ротмистр. Ее забавляли и поход, и сверкавшие на солнце сабли, и пылавшие ночью костры.

Молодые офицеры и солдаты восхищались ею, а она стреляла глазками во все стороны и по три раза в день распускала свои косы, чтобы потом заплетать их у светлых ручьев, заменявших ей зеркало. Она часто говорила, что хотела бы видеть битву, чтобы дать пример мужества, но на самом деле она хотела лишь покорять сердца молодых воинов и покорила их немало.

Оле нька тоже точно ожила, выехав из Тауруг. Там ее мучила неуверенность и постоянный страх; здесь, в чаще лесов, она чувствовала себя в безопасности. Здоровый воздух вернул ей силы. Вид войска, оружия, движение и говор успокаивали ее, как бальзам. Поход этот и ей доставлял удовольствие, а опасности, которые могли встретиться в пути, нисколько ее не пугали: ведь в жилах ее текла рыцарская кровь. Она реже показывалась на глаза, реже гарцевала верхом перед строем, и на нее меньше обращали внимания, зато все окружали ее уважением.

Улыбались усатые лица солдат при виде Ануси, при приближении же Оле ньки к кострам все снимали шапки. Это уважение превратилось потом в обожание. Не обошлось и без того, чтоб кое-кто из офицеров не влюбился в нее, но никто не смел ей так прямо смотреть в глаза, как той чернушке-украинке.

Они шли через леса и заросли, часто высылая солдат на разведки, и только на седьмой день поздно ночью добрались до Любича, который лежал на краю ляуданской земли и служил для нее как бы воротами. Лошади уже так утомились, что, несмотря на настояния Оле ньки, нельзя было продолжать путь. Мечник разместил солдат на ночлег. Сам он с девушками остановился в усадьбе, так как было холодно.

Благодаря какой-то счастливой случайности усадьба уцелела. Неприятель пощадил ее, вероятно, по распоряжению князя Януша Радзивилла, так как она принадлежала Кмицицу, и хотя впоследствии князь узнал об измене пана Андрея, но, вероятно, забыл о своем распоряжении или не успел отменить его. Повстанцы считали это имение собственностью Биллевичей, а разбойничьи шайки не решались грабить по соседству с Ляудой. Ничто здесь не изменилось. Оле нька переступила порог этого дома с чувством боли и горечи. Она знала здесь каждый уголок, но зато почти каждый уголок был связан с воспоминаниями о каком-нибудь преступлении Кмицица. Вот столовая, украшенная портретами предков Биллевичей и головами убитых на охоте зверей. Разбитые пулями черепа еще висели на гвоздях, изрубленные саблями портреты сурово смотрели со стен, точно говорили: «Посмотри, девушка, посмотри, внучка, это он святотатственной рукой изрубил изображения твоих предков, давно почивших в гробах...»

Оле нька чувствовала, что не сомкнет глаз в этом поруганном доме. Ей казалось, что по темным углам снуют еще тени страшных компаньонов пана Андрея и что из их ноздрей пышет пламя.

И как быстро переходил этот человек, которого она некогда так любила, от шалостей к проступкам, от проступков к тяжким преступлениям: от надругательства над портретами — к распутству, к сожжению Упиты и Волмонтовичей, к похищению ее самой, далее к службе у Радзивилла, затем к измене, увенчанной обещанием посягнуть на жизнь короля, отца всей Речи Посполитой.

Ночь проходила, а сон не смыкал ее глаз. Все раны ее души снова раскрылись, и ее жгла нестерпимая боль. Лицо ее снова горело от стыда, она не плакала, но сердце ее наполнилось такой безмерной скорбью, что едва могло вместить ее.

О чем она тосковала? О том, что могло бы быть, если бы он был другим, если бы, при всей его разнузданности и дикости, у него было бы хоть благородное сердце, если бы был какой-нибудь предел, которого он не мог перейти в своих преступлениях... Ведь ее сердце простило бы многое...

Ануся заметила страдания подруги и угадала причину, так как мечник давно рассказал ей всю эту историю. Она подошла к Оле ньке и, обняв ее за шею, сказала:

— Оле нька, в этом доме ты корчишься от боли!..

Оле нька сначала не хотела отвечать и только задрожала всем телом и залилась горьким, отчаянным плачем. Схватив руку Ануси, она прислонилась головкой к плечу подруги и вся тряслась от рыданий.

Анусе пришлось долго ждать, пока Оле нька успокоилась немного, и она сказала тихим голосом:

— Оле нька, помолимся за него...

Но Оле нька обеими руками закрыла глаза.

— Нет... не могу... — произнесла она с усилием.

И, лихорадочным движением откидывая волосы, которые упали ей на виски, она заговорила задыхающимся голосом:

— Видишь ли... не могу... Ты счастлива! Твой Бабинич честен, славен... перед Богом... и отчизной... Ты счастлива... А мне нельзя даже молиться за него... Тут везде кровь человеческая... пепелище. Если бы он хоть... отчизне не изменял! Если бы не посягал на жизнь короля! Я уже раньше все простила ему... в Кейданах... потому что думала... потому что любила его всей душой... Но теперь не могу... О Боже милосердный... Не могу... Мне самой хочется умереть... И хочу, чтобы он умер...

— За всякого можно молиться! — возразила Ануся. — Бог милосерднее людей и знает то, чего люди часто не знают!

Сказав это, она опустилась на колени и начала молиться, а Оле нька пала ниц на землю и пролежала так до утра.

На следующий день по всей окрестности разнеслась весть, что пан мечник Биллевич прибыл на Ляуду. Все вышли его встречать. Из соседних лесов выходили дряхлые старцы и женщины с детьми. Два года уже никто не пахал и не сеял в «застенках». Сами «застенки» большей частью были сожжены и опустошены. Население жило в лесах. Все мужчины ушли с паном Володыевским или разбрелись по разным «партиям», остались только подростки — стеречь и защищать остатки имущества, и они защищали его, но лишь в глубине пущ.

Мечника встретили как спасителя, со слезами радости. Этим простым людям казалось, что раз мечник с «панной» возвращаются в свое старинное гнездо, то, значит, войне и всем бедствиям — конец. И они сейчас же стали возвращаться в свои деревни, сгоняя из лесов одичавший скот.

Шведы, правда, были недалеко, в Поневеже, но на них уже обращали меньше внимания, так как отряд мечника и другие отряды могли защищать их в случае нужды.

Пан Томаш намеревался даже ударить на Поневеж, чтобы совсем очистить повет от шведов; он ждал лишь, чтобы под его знамена собралось побольше людей, а главным образом, чтобы пехоту снабдили ружьями, которых немало было

припрятано Домашевичами в лесах; а пока он осматривал местность, переезжая из деревни в деревню.

Но это был печальный осмотр. В Водоктах была сожжена усадьба и половина деревни; в Митрунах тоже; только Волмонтовичи Бутрымов, некогда сожженные Кмицицем, успели отстроиться после пожара и уцелели. Дрожейканы и Домашевичи были сожжены дотла, Пацунели — наполовину. Мрозы — дотла, а Гощуны поплатились больше всех: всем мужикам, от мала до велика, были отрублены правые руки, по приказанию полковника Роса. Так разорила эту местность война, таковы были последствия измены князя Януша Радзивилла!

Пока мечник окончил осмотр местности и разместил отряды пехоты, снова получены были известия. Они были радостны и страшны в то же время. Юрий Биллевич с несколькими десятками всадников отправился к Поневежу и дорогой, захватив нескольких шведов, узнал от них о битве под Простками. И с каждым днем приходили все новые подробности, и они были так удивительны, что походили на сказку.

— Госевский, — говорили, — разбил графа Вальдека, Израеля и князя Богуслава. Войско истреблено, вожди в плену. Вся Пруссия в огне!

Несколько недель спустя прогремело еще одно грозное имя: Бабинича.

— Бабинич — главный виновник победы под Простками, — говорили по всей Жмуди, — Бабинич собственной рукой ранил князя Богуслава и захватил его в плен!

А потом:

— Бабинич жжет Пруссию и идет, как смерть, к Жмуди, оставляя лишь небо да землю!

— Бабинич сжег Тауроги, Сакович бежал от него в леса.

Последнее произошло слишком близко, и долго сомневаться не пришлось. Известие вскоре вполне подтвердилось.

Ануся Божобогатая все это время, пока приходили эти известия, жила в каком-то чаду, то смеялась, то плакала, топала ногами, когда кто-нибудь не верил, и повторяла всем, хотели ли ее слушать или нет:

— Я знаю пана Бабинича... Он меня из Замостья к пану Сапеге вез! Это самый великий воин в мире. Не знаю, сравнится ли с ним даже пан Чарнецкий. Это он, под командой пана Сапег, разбил войско Богуслава во время первого похода... Он, а не кто другой, я уверена, ранил его под Простками. Бабинич справится с Саковичем, даже десятью такими, как Сакович. А шведов в месяц выгонит из Жмуди!

И ее уверения вскоре оправдались. Не было уже ни малейшего сомнения, что грозный воин, именуемый Бабиничем, двинулся от Таурог в глубину страны, на север.

Под Колтынями он наголову разбил полковника Бальдона и уничтожил весь его отряд; при Ворнях перерубил шведскую пехоту, отступавшую к Тельшам, а под Тельшами разбил полковника Нормана и Гуденскиольда; Гуденскиольд погиб, а Норман с остатками войска отступил к Загорам, к самой жмудской границе.

Из Тельш Бабинич двинулся к Куршанам, прогоняя мелкие отряды шведов, которые сломя голову бежали от него и соединялись с более сильными гарнизонами.

От Таурог и Полонги до Бирж и Вилькомира гремело имя победителя. Рассказывали о его жестокостях со шведами. Рассказывали, что отряд его, состоявший первоначально из небольшого чамбула татар и полка волонтеров, с каждым днем растет, так как все живое стекается к нему; с ним соединяются все «партии», а он держит их в железных руках и ведет на неприятеля.

Все были так заняты Бабиничем, что известие о поражении, которое Госевский потерпел от Штейнбока под Филипповом, не произвело никакого впечатления. Бабинич был ближе, и им интересовались больше.

Ануся каждый день умоляла мечника соединиться со знаменитым воином. Оленька ее поддерживала. Офицеры и шляхта, сгоравшие от любопытства, тоже

торопили мечника.

Это было дело не легкое. Бабинич был в другой стороне и часто совсем исчезал, так что о нем не было ни слуху ни духу; потом он снова показывался где-нибудь, и снова доходили слухи о новой победе. Все отряды и гарнизоны из городов и местечек, спасаясь от Бабинича, отрезали дороги. Наконец за Россиенами появился сильный отряд Саковича, о котором говорили, что он истребляет все на своем пути и, подвергая пленных страшным пыткам, расспрашивает их об отряде Биллевича.

Мечник не только не мог идти к Бабиничу, но боялся даже, не станет ли ему скоро слишком тесно в окрестностях Ляуды.

Не зная, на что решиться, он открыл Юрию Биллевичу, что намерен отступить на восток, к Роговской пуще. Юрий тотчас проболтался Анусе, которая сейчас же побежала к мечнику.

— Дорогой дядя, — сказала она (она всегда называла его так, когда хотела что-нибудь выпросить), — я слышала, что вы собираетесь бежать... Разве не стыдно такому знаменитому воину бежать при одном известии о неприятеле?!

— Вечно вы во все свой носик суετε! — в смущении ответил мечник. — Это вас не касается!

— Хорошо, тогда бегите, а я останусь здесь.

— Чтобы вас захватил Сакович? Вот увидите!

— Сакович не захватит, потому что меня Бабинич защитит!

— Как же! Так он и будет знать, где вы! Я уже говорил, что мы не сможем пробраться к нему.

— Но он сможет прийти к нам. Я с ним знакома; если бы мне удалось только переслать ему письмо, то я уверена, что он пришел бы сюда, разбив сначала Саковича. Он меня немного любил и, наверно, не отказал бы в помощи.

— А кто же возьмется отнести письмо?

— Можно будет послать первого попавшегося мужика.

— Не помешает, никак не помешает! Уж на что Оле нька умна, а видно, и у вас ума немало. Если даже нам придется отступить в леса от неприятеля, все же лучше, чтобы Бабинич пришел в наши края — этак мы скорее с ним соединимся. Попробуйте, ваць-панна! Нарочного мы найдем, и человека верного.

Ануса так ревностно принялась за дело, что в тот же день нашла двух, желающих доставить письмо: Юрия Биллевича и Брауна. Оба должны были взять по письму одинакового содержания, чтобы не тот, так другой доставил его Бабиничу. С самым письмом у Ануси было гораздо больше хлопот; наконец она написала следующее:

«Пишу ваць-пану в отчаянии; если вы только помните меня (хотя сомневаюсь, ибо о чем же вам было бы помнить?), то умоляю вас поспешить мне на помощь. Судя по заботливости вашей, которой вы окружили меня по дороге из Замостья, смею надеяться, что вы не оставите меня в несчастьи. Я нахожусь в «партии» пана Биллевича, мечника россиенского, который приютил меня, ибо я родственницу его, панну Биллевич, освободила из таурогской неволи. И его и нас со всех сторон окружает неприятель. С одной стороны — шведы, с другой — пан Сакович, от грешной назойливости которого мне пришлось бежать и искать спасения в отряде. Знаю, что вы меня не любили, хотя, видит Бог, ничего дурного я вам не сделала и всей душой была к вам расположена. Но хотя вы и не любите меня, спасите бедную сироту от рук неприятеля, Бог вознаградит вас за это, а я буду молиться за вас, ваць-пане, которого теперь уже называю добрым опекуном, а тогда буду до самой смерти называть своим избавителем...»

Когда посланцы покидали лагерь, Ануса, сознавая, каким опасностям они подвергаются, испугалась за них и хотела их удержать.

Со слезами на глазах она стала умолять мечника, чтобы он запретил им ехать и

отдал письма крестьянам, которым легче будет пробраться.

Но Браун и Юрий Биллевич упорствовали и не слушали никаких доводов. Оба они хотели перещеголять друг друга в готовности к услугам, и ни тот ни другой не предвидели того, что их ожидало.

Неделю спустя Браун попал в руки Саковича, который приказал содрать с него кожу, а бедный Юрий Биллевич был застрелен за Поневежем, когда убегал от шведского разъезда.

Оба письма попали в руки неприятеля.

XXVII

Сакович после поимки и казни Брауна сейчас же снесся с полковником Гамильтоном, англичанином, который служил шведам и был комендантом Поневежа, чтобы сообща с ним напасть на «партию» мечника Биллевича.

Бабинич в это время пропал где-то в лесах, и вот уже много дней о нем не было слуху. Впрочем, Сакович теперь не испугался бы уже его приближения. Правда, несмотря на свою храбрость, он ощущал какой-то инстинктивный страх перед Бабиничем, но теперь он сам готов был погибнуть, лишь бы отомстить. Со времени бегства Ануси бешенство ни на минуту не покидало его. Неосуществившиеся планы и оскорбленное самолюбие приводили его в ярость, и, кроме того, страдало его сердце. Сначала он хотел жениться на Анусе из-за поместий, оставленных ей в наследство ее первым женихом, паном Подбипентой, но потом он влюбился в нее без ума, насколько способен был вообще любить такой человек. И дошло до того, что он, который прежде, кроме князя Богуслава, не боялся никого на свете, он, при одном виде которого люди бледнели, смотрел в глаза этой девушке как пес, подчинялся ее воле, терпел ее прихоти, исполнял все ее желания и старался угадывать каждую ее мысль.

Она пользовалась и даже злоупотребляла своим влиянием, обнадеживая его словами и взглядами, командовала им как невольником и, наконец, изменила!

Сакович принадлежал к таким людям, которые считают хорошим и честным только то, что для них полезно, а дурным и преступным все то, что приносит им вред. И в его глазах Ануся совершила величайшее преступление, для которого трудно было подыскать достойное наказание. Если бы это случилось с кем-нибудь другим, пан староста шутил бы да посмеивался, но так как здесь задела его лично, он заметался, точно раненый зверь, и думал только о мести. Он хотел во что бы то ни стало схватить виновную живой или мертвой. Предпочитал бы живой, тогда он мог бы отомстить, как лихой кавалер. Но и если бы она погибла во время нападения, то это было бы для него неважно — только бы она не досталась кому-нибудь другому.

Чтобы действовать наверняка, он подослал одного человека, который был им подкуплен, к мечнику с письмом, якобы от Бабинича, в котором извещал от его имени, что прибудет в Волмонтовичи не позже чем через неделю.

Мечник поверил и, надеясь на непобедимую силу Бабинича, не только сам окончательно расположился в Волмонтовичах, но и, распространив это известие по всей округе, поднял на ноги всю Ляуду. Осень кончалась, настали холода, и остатки ляуданского населения стали собираться из лесов, чтобы увидеть прославленного воина.

Между тем со стороны Поневежа к Волмонтовичам подвигался шведский отряд Гамильтона, а со стороны Кейдан по-волчьи подкрадывался Сакович.

Увы! — он и не подозревал, что за ним, тоже по-волчьи, шаг за шагом, идет кто-то третий, который хотя и не получил приглашений, но всегда появлялся там, где его менее всего ожидали.

Кмициц не знал, что Оле нька находится в отряде Биллевича. В Таурогах,

которые он уничтожил огнем и мечом, он узнал, что она бежала вместе с панной Божобогатой, но предполагал, что они бежали в Беловежскую пушу, где укрывалась и пани Скшетуская, и много других шляхтянок. Это предположение казалось ему тем основательнее, что он знал о намерении старого мечника увезти племянницу в эти непроходимые леса.

Он сильно опечалился, не найдя ее в Таурогах, но, с другой стороны, его радовала мысль, что она вырвалась из рук Саковича и что до окончания войны она будет в безопасности.

Так как ему нельзя было идти сейчас же в Беловежскую пушу, то он решил до тех пор преследовать неприятеля на Жмуди, пока совершенно его не уничтожит. И счастье шло за ним следом. В течение полутора месяца он одерживал победу за победой; вооруженные люди стекались к нему со всех сторон, и вскоре татары составляли едва лишь четвертую часть его отряда. Наконец он прогнал неприятеля из всей западной Жмуди, а когда до него дошли сведения о Саковиче, то он, чтобы свести с ним старые счеты, отправился в Давно знакомые места и шел за ним по пятам.

Так и подошли они оба к Волмонтовичам.

Мечник стоял там уже более недели, и ему и в голову не могло прийти, какие страшные гости вскоре к нему пожалуют.

И вот однажды вечером подростки Бутрымы, пасшие за Волмонтовичами лошадей, дали знать, что какое-то войско вышло из леса и идет к Волмонтовичам с южной стороны. Мечник был старый и опытный воин и потому заранее принял все меры предосторожности. Свою пехоту, которую Домашевичи снабдили ружьями, он поместил во вновь отстроенных домах, а часть ее разместил у ворот; сам же он с конницей расположился позади, за заборами, на широком пастбище, выходившем к речке. Мечник сделал это, главным образом, для того, чтобы Бабинич, который, наверно, умел ценить дельные распоряжения, похвалил его. И позиция его действительно была сильная.

«Застенок» с того времени, как его сжег Кмициц, мстя за смерть товарищей, отстраивался очень медленно; война со шведами заставила приостановить работы, и главная улица была загромождена массой бревен и досок. У ворот возвышались целые горы их, и пехота, даже и не очень хорошо обученная, могла из-за них защищаться долго.

Во всяком случае, она прикрывала конницу от первого натиска. Мечнику так хотелось блеснуть своим знанием военного дела перед Бабиничем, что он даже выслал разъезд на разведки.

И каково было его изумление, даже ужас, когда вдали, из-за леса, слышались отголоски выстрелов, затем на дороге показался его разъезд, который мчался во весь опор, преследуемый целой тучей неприятелей.

Мечник тотчас бросился к пехоте, чтобы сделать последние распоряжения. Между тем из лесу показался неприятель и, как саранча, двинулся к Волмонтовичам, сверкая саблями.

Лесок был недалеко, и конница пустила лошадей вскачь, чтобы одним натиском прорваться сквозь ворота, но неожиданный залп пехоты мечника осадил ее на месте. Первые ряды даже отступили в беспорядке, и только человек пятнадцать приблизились к воротам.

Мечник успел уже прийти в себя и, подъехав к коннице, приказал всем, у кого были пистолеты и ружья, идти на подкрепление пехоте.

У неприятеля тоже, по-видимому, были мушкеты, так как после первого натиска он открыл учащенную, хотя и беспорядочную стрельбу.

Между обеими сторонами завязалась перестрелка; пули со свистом долетали даже до конницы, ударялись в стены домов, в заборы, в груды балоков; дым окутал

Волмонтовичи, запах пороха наполнил улицу.

Желание Ануси сбылось: она увидела битву.

Обе девушки с самого начала, по приказанию мечника, сели на лошадей, чтобы, в случае, если силы неприятеля будут очень велики, спастись бегством вместе с «партией». Им приказано было стоять в задних рядах конницы.

Но Ануся, несмотря на то что у нее была сабля, сразу струсила. Она, которая так легко справлялась с офицерами в мирное время, не нашла в себе ни капли энергии теперь, когда пришлось стать лицом к лицу с сыном Беллоны. Свист и стук пуль пугал ее; смятение, беготня ординарцев, грохот мушкетов, стоны раненых доводили ее чуть не до обморока, а запах пороха затруднял дыхание. Она почувствовала тошноту и слабость, лицо у нее побледнело как полотно, и она стала кричать, как ребенок. Один из офицеров, молодой пан Олеша из Кемнар, должен был поддерживать ее на руках. Держал он ее крепко, даже крепче, чем нужно было, и готов был держать ее так хоть до скончания веков.

Но солдаты кругом стали подсмеиваться.

— Рыцарь в юбке! — раздались голоса. — Кур щипать, а не воевать!

— Пане Олеша, — кричали другие, — щит тебе как раз по плечу пришелся, но через него Купидону легче будет пронзить тебя стрелой...

И солдаты развеселились.

Другие предпочитали любоваться Оленькой, которая держалась совсем иначе. Вначале, когда мимо нее пролетело несколько пуль, она тоже побледнела и не могла удержаться от того, чтобы не наклонять головы и не закрывать глаз. Но вскоре в ней заиграла рыцарская кровь; лицо вспыхнуло румянцем, как роза; она подняла голову и смело глядела вперед, ноздри ее раздулись.

Дым у ворот все сгущался и застилал вид на поле, и храбрая панна, видя, что офицеры выехали вперед, чтобы следить за ходом сражения, тоже подвинулась вперед, не думая о том, что делает.

Среди всадников раздался ропот одобрения:

— Вот это кровь! Вот это жена для солдата! Вот молодец-волонтер!

— Vivat панна Биллевич!

— Не ударим лицом в грязь, мосци-панове! Перед такими глазами стоит отличиться.

— И амазонки смелее под выстрелами не стояли! — крикнул один из молодых солдат, забывая в пылу увлечения, что амазонки жили еще до изобретения пороха.

— Пора бы уж кончить! Пехота справляется прекрасно и причинила неприятелю большие потери.

Действительно, неприятель ничего не мог сделать со своей конницей. Он ежеминутно пускал вскачь лошадей и бросался к воротам, но, встреченный залпом, отступал в беспорядке. И как волна после отлива оставляет на берегу раковины, камешки и мертвую рыбу, так и теперь после каждой атаки на дороге перед воротами оставалось десятка два лошадиных и человеческих трупов.

Наконец атаки прекратились. Подъезжали только охотники и стреляли в сторону деревни из пистолетов и мушкетов, чтобы отвлечь внимание биллевичевского отряда. Но мечник, взобравшись на стену, заметил движение в задних рядах неприятеля по направлению к полю и кустарникам, тянувшимся с левой стороны Волмонтовичей.

— Вот откуда будет нападение! — крикнул он и тотчас послал часть конницы стать между избами, чтобы дать неприятелю отпор со стороны садов.

Через полчаса началась новая перестрелка на левом фланге отряда.

Обнесенные заборами сады затрудняли рукопашную атаку, но затрудняли для обеих сторон. К тому же неприятель, растянувшийся длинной линией, был в большей безопасности от выстрелов.

Битва разгоралась с двух сторон; атаки у ворот продолжались.

Мечник стал беспокоиться. Только с правой стороны у него оставалось еще не занятое неприятелем поле, кончавшееся не особенно широкой, но довольно глубокой речкой с топким дном, через которую переправляться наспех было довольно трудно. В одном месте только была протоптанная дорога к отлогому берегу, по которой обыкновенно гнали скот в лес.

Пан Томаш все чаще стал посматривать в ту сторону.

Вдруг вдали, между вербами, он при блеске вечерней зари увидел толпу Каких-то солдат.

«Бабинич идет!» — подумал он.

Но в ту же минуту к ним прискакал пан Хшонстовский, который командовал эскадроном конницы.

— Со стороны реки видна шведская пехота! — воскликнул он в ужасе.

— Это ловушка! — крикнул пан Томаш. — Ради бога, ударьте со своим эскадроном на эту пехоту, иначе она ударит на нас с фланга.

— Их слишком много! — ответил Хшонстовский.

— Задержите их хоть на час, а мы тем временем начнем отступать по направлению к лесу.

Пан Хшонстовский ускакал и вскоре помчался через луга с двумястами всадников; увидев это, неприятельская пехота поспешно выстроилась в лесу, чтобы встретить неприятеля. Через минуту эскадрон пустил лошадей вскачь, а из чаши раздался залп из мушкетов.

Мечник уже сомневался не только в победе, но и в спасении своей пехоты.

Он мог еще отступить с частью конницы и с девушками к лесу и там искать спасения. Но такое спасение равнялось жестокому поражению: оно отдавало в руки неприятеля большую часть «партии» и остатки ляуданского населения, собравшегося в Волмонтовичах, чтобы увидеть Бабинича. Самые Волмонтовичи были бы, конечно, сровнены с землей.

Оставалась одна надежда на то, что Хшонстовский сломит шведскую пехоту.

Между тем небо уже темнело, а в деревне было светло: загорелись стружки, щепки и доски, валявшиеся у ворот. От них загорелся дом, и кровавое зарево осветило деревню.

При его блеске мечник увидел конницу Хшонстовского, которая отступала в беспорядке, преследуемая шведской пехотой, шедшей в атаку со стороны леса.

Тогда он понял, что остается лишь отступление по единственной свободной дороге.

Он подскакал к оставшейся коннице и, подняв саблю, скомандовал: «Назад, мосци-панове, в порядке!.. В порядке!» — как вдруг и сзади раздались выстрелы и крики солдат.

Мечник убедился, что он окружен со всех сторон и попал в западню, из которой не было ни выхода, ни спасения.

Оставалось только умереть с честью; он бросился к первым рядам конницы и крикнул:

— Сложим здесь головы! Не пожалеем крови за веру и отчизну!

Между тем залпы его пехоты, защищавшей ворота и левую часть «застенка», все слабели, а крики неприятеля все росли и говорили о том, что он торжествует.

Но что значат эти хриплые звуки рогов в отряде Саковича и барабанный бой в шведской пехоте?

Действительно, слышатся пронзительные крики, но какие-то странные: в них слышится не ликование, а ужас.

Пальба у ворот вдруг сразу прекратилась. Кучки конницы Саковича мчатся с левой стороны к главной дороге. С правой стороны пехота останавливается и вдруг начинает отступать к зарослям.

— Что это? Ради бога! Что это значит?.. — кричит мечник.

Но в ответ из лесу, откуда вышел отряд Саковича, теперь лавиной хлынули люди, лошади, знамена, бунчуки, сабли, и не идут, а несутся, как вихрь или ураган. В кровавом блеске пожара их видно как на ладони. Их целые тысячи. Земля, чудится, убегает у них под ногами, а они несутся сплоченной массой, точно какое-то чудовище вырвалось вдруг из леса и несется к деревне, чтобы ее поглотить... А перед ними летит страх и гибель! Вот-вот они налетят! Сметут Саковича, как ветер!

— Боже, великий Боже, — кричит мечник, точно обезумев, — это наши! Это, верно, Бабинич!

— Бабинич! — кричат за ним все в один голос.

— Бабинич! — слышатся испуганные голоса в отряде Саковича.

И весь отряд поворачивает направо, чтобы соединиться с пехотой.

Забор с треском рушится под напором лошадей; луг наполняется убегаящими, но те уже сидят у них на шее — рубят, режут, колют без пощады, без милосердия.

Крики, стоны, лязг сабель... И те и другие налетают на пехоту, опрокидывая, давя и уничтожая ее. Наконец вся масса бросается к реке и скрывается в зарослях на противоположном берегу. Их еще видно. Они гонятся и рубят, рубят!.. Сверкнули в последний раз саблями и исчезли в кустах, в темноте...

Пехота мечника стала возвращаться от ворот и тех домов, которые более не нуждались в защите; конница все еще стояла в каком-то оцепенении, ряды ее глухо молчали, только когда с треском рухнул горящий дом, чей-то голос произнес:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Да это буря пронеслась!..

— Ни одна живая душа не уйдет от такой погони! — прибавил кто-то.

— Мосци-панове, — воскликнул вдруг мечник, — да неужели мы не бросимся преследовать тех, которые обошли нас с тылу? Они отступают, но мы их догоним!

— Бей! Убей! — крикнули все хором.

И вся конница погналась за отрядом неприятеля. В Волмонтовичах остались одни старики, женщины, дети и панна с подругой.

Пожар тотчас же потушили; всех охватила безумная радость. Женщины со слезами и рыданиями поднимали руки к небу и смотрели в ту сторону, куда погнался Бабинич.

— Да благословит тебя Господь Бог, воин непобедимый! Спаситель наш, спасший нас, наших детей и наши жилища от гибели!

Дряхлые Бутрымы повторяли хором:

— Да благословит тебя Бог! Да ведет тебя Бог! Если бы не ты, не было бы уж Волмонтовичей!

Ах, если бы в этой толпе знали, что деревню от огня и меча спасла та самая рука, которая два года тому назад предала ее огню и мечу...

Потушив пожар, все занялись ранеными. Подростки бегали по месту побоища с дубинами в руках и добивали шведов и солдат Саковича.

Оле нька тотчас же стала распоряжаться осмотром раненых. Никогда не терявшая присутствия духа, всегда полная энергии и сил, она успокоилась только тогда, когда все раненые были разнесены по избам, с перевязанными ранами.

Затем все население последовало за нею к кресту, чтобы помолиться за павших, всю ночь никто не смыкал глаз, все ожидали возвращения мечника и Бабинича и хлопотали, чтобы подобающим образом принять победителя. Зарезали несколько волов и баранов; костры горели до утра.

Одна Ануся не могла ничего делать. Сначала страх отнял у нее силы, а потом она чуть с ума не сошла от радости. Оле ньке пришлось позаботиться и о ней; а она то смеялась, то плакала, то бросалась в объятия подружки и повторяла бессвязно:

— А что? Кто спас и нас всех, и мечника, и Волмонтовичи? Кто обратил в бегство Саковича? Кто разбил его и шведов? Пан Бабинич! Я знала, знала, что так будет!

Ведь это я его сюда вызвала. Оленька! Оле нька! Как я счастлива! Не говорила ли я тебе? Его никто не может победить. С ним не сравнится и пан Чарнецкий... О боже, боже! Правда, ведь он вернется? Еще сегодня? Если бы он не думал вернуться, так зачем же было сюда приходить? Правда? Слышишь, Оле нька? Лошади ржут вдали.

Но вдали ничто не ржало. Только под утро раздался лошадиный топот, крики и песни. Это вернулся пан мечник. Конница на взмыленных лошадях заполнила всю деревню. Пенью, крикам и рассказам не было конца.

Мечник приехал весь в крови, запыхавшийся, но радостный и до утра рассказывал, как он разбил отряд рейтар и как преследовал его на протяжении двух миль и всех перебил.

Он, как и все войско, был уверен, что Бабинич вернется с минуты на минуту.

Но настал полдень, затем солнце, совершив вторую половину пути, стало склоняться к закату, а Бабинич все не возвращался.

У Ануси вечером ярко разгорелись щеки.

«Неужели он только о шведах думал, а не обо мне? — думала она. — Ведь получил же он письмо, раз пришел сюда».

Бедная, она не знала, что души Брауна и Юрия Биллевича давно уже на том свете и что Бабинич никакого письма не получал!

Если бы он только получил его, он с быстротой молнии вернулся бы в Волмонтовичи, но только... не для тебя, Ануся...

Прошел еще день; мечник все еще не терял надежды и поэтому не уходил из «застенка».

Ануся упорно молчала.

«Он оскорбил меня страшно! Так мне и надо за мое легкомыслие, за мои грехи!» — говорила она себе.

На третий день пан Томаш послал несколько человек на разведки. Они вернулись на четвертый день и сообщили, что пан Бабинич взял Поневеж, перерубил всех шведов, а сам ушел неизвестно куда, так как слухов о нем нет.

— Теперь мы его не найдем, пока сам он не вынырнет! — сказал мечник. Ануся превратилась в какую-то крапиву: кто из офицеров ни прикасался к ней — отскакивал как ошпаренный. На пятый день она сказала Оле ньке:

— Пан Володыевский такой же прекрасный солдат, как и Бабинич, но не так груб!

— А может быть, — задумчиво ответила Оле нька, — пан Бабинич верен той, о которой говорил тебе по дороге из Замостья?

— Ладно! Мне все равно! — ответила Ануся.

Но она сказала неправду: ей было далеко не все равно.

XXVIII

Отряд Саковича был так разгромлен, что сам он лишь с четырьмя солдатами успел скрыться в лесах недалеко от Поневежа... Он скитался в них, переодетый мужиком, в течение нескольких месяцев, не смея никуда выглянуть.

А Бабинич ударил на Поневеж, вырезал там шведский гарнизон и погнался за Гамильтоном, который, не имея возможности уйти в Инфляндию, так как на пути, в Шавлях и далее — под Биржами, стояли значительные польские отряды, повернул на восток, в надежде прорваться к Вилькомиру.

Он отчаялся уже спасти свой полк и не хотел только попасть в руки Бабинича, так как всем было известно, что этот жестокий воин, чтобы не обременять себя пленными, предпочитал их вешать.

И вот несчастный англичанин бежал, как олень, преследуемый стаяй волков, а Бабинич упорно гнался за ним; оттого он и не вернулся в Волмонтовичи и даже

никого и не расспрашивал, какой именно отряд ему удалось спасти.

Настали первые заморозки, и бегство становилось все труднее: на лесной дороге оставались следы копыт. На полях уже не было травы, и лошади голодали.

Рейтары не смели подолгу задерживаться в городах из опасения попасть в руки преследующего их по пятам неприятеля.

Наконец положение их стало ужасно: они питались только листьями, корой и собственными лошадьми, которые падали от усталости.

Спустя неделю солдаты сами стали просить своего полковника вступить в сражение с Бабинином, так как они предпочитали скорее погибнуть в бою, чем от голода.

Гамильтон послушался и, остановившись возле Андронишек, стал готовиться к битве. Силы шведов были гораздо слабее, и англичанин не мог даже мечтать о победе, особенно над таким противником. Но он был уже так измучен, что хотел погибнуть...

Битва, начатая под Андронишками, кончилась в окрестностях Троупей, где пали остатки шведского войска.

Гамильтон погиб геройской смертью, защищаясь у придорожного креста, один против нескольких ордынцев, которые сначала хотели взять его живым, но, разъяренные сопротивлением, в конце концов изрубили его саблями.

Люди Бабинича так уже устали, что не имели ни сил, ни желания идти в Троупи. И, не сходя с тех мест, где они стояли во время битвы, они расположились на ночлег и развели костры среди неприятельских трупов.

Поужинав, все уснули крепким сном.

Даже татары отложили обыскивание трупов на завтрашний день.

Кмициц, который главным образом заботился о лошадях, не противился этому отдыху.

На следующий день он встал очень рано, чтобы подсчитать потери после ожесточенного боя и справедливо разделить добычу. Тотчас после завтрака он стал на возвышении у подножия того креста, где погиб полковник Гамильтон, а польские и татарские старшины по очереди подходили к нему и докладывали о количестве выбывших из строя. Он слушал, как сельский хозяин слушает летом отчеты своих экономов, и радовался победе...

Но вот к нему подошел Акбах-Улан, более похожий на какое-то страшилище, чем на человека, так как в битве под Волмонтовичами ему разбили нос рукояткой сабли. Поклонившись, он подал Кмицицу запачканные кровью бумаги и сказал:

— Эффенди, у шведского вождя нашли какие-то бумаги, которые я тебе вручаю, согласно приказанию!

Действительно, Кмициц раз навсегда отдал приказ, чтобы все бумаги, найденные при трупах, отдавать ему сейчас же после битвы; часто он узнавал из них о намерениях неприятеля и принимал соответственные решения.

Но в эту минуту спешить было нечего, а потому, кивнув Акбаху, он спрятал бумагу за пазуху. Акбаха он отослал к чамбулу и велел сейчас же отправляться в Троупи, где предстоял более продолжительный отдых.

Перед Кмицицем прошли его отряды, один за другим. Впереди шел чамбул, который насчитывал уже не более пятисот человек: остальные погибли в сражениях. Зато теперь у каждого татарина было зашито в седле, в тулупе и в шапке столько шведских риксдалеров, прусских талеров и дукатов, что каждого из них можно было ценить на вес серебра. Притом эти татары совсем не походили на обыкновенных татар: все, кто был послабее, погибли от трудов и лишений, остались только отборнейшие, рослые воины, обладавшие железной выносливостью и железными руками. Благодаря постоянной практике они были теперь так обучены, что даже в открытой битве могли помериться с легкой польской кавалерией, а на шведских

рейтар и прусских драгун они ходили, как волки на овец. В битвах они с особенной яростью защищали тела павших товарищей, чтобы потом поделить их деньгами.

Теперь они молодецки проходили перед паном Кмицицем, ударяя в литавры, свистя на дудках и потрясая бунчуком, и шли так стройно, что не уступали регулярным войскам. За ними прошел отряд драгун, с большим трудом сформированный Кмицицем из добровольцев, — вооруженный рапирами и мушкетами. Командовал ими бывший вахмистр Сорока, теперь уже произведенный в ротмистры. Отряд этот, одетый в однообразные мундиры, снятые с прусских драгун, состоял по большей части из людей низшего сословия, но Кмициц и любил таких людей, так как они слепо повиновались и безропотно переносили всякие лишения.

В двух отрядах, которые шли за драгунами, служила исключительно шляхта. Это были люди буйные и беспокойные, которые под командой другого вождя превратились бы в шайку грабителей и только в железных руках Кмицица стали похожи на регулярное войско. В бою они были не так стойки, как драгуны, зато были страшнее их в первом натиске, а в рукопашной схватке превосходили все войско, ибо каждый из них знал фехтовальное искусство.

За ними прошло около тысячи новобранцев-волонтеров, лихих молодцов, но над ними надо было еще много поработать, чтобы сделать их похожими на настоящих солдат.

Каждый из этих отрядов, проходя мимо креста, где стоял Кмициц, криками приветствовал вождя и отдавал ему честь саблями. А он радовался все больше. Теперь у него немалая сила! С нею он многое уже сделал, пролил много неприятельской крови и, Бог даст, сделает еще больше.

Велики были его прежние грехи, но немалы и недавние заслуги. Он восстал из бездны греховной и пошел каяться, но не в церковь, а на бранное поле. Защищал Пресвятую Деву, защищал отчизну, короля и теперь чувствовал, как легко у него на душе, как весело. Даже гордости было полно сердце рыцаря: не каждый мог бы сделать то, что он.

Ведь в Речи Посполитой столько лихой шляхты, столько рыцарей и кавалеров, но почему же ни один из них не стоит во главе такого отряда, ни Володыевский, даже ни Скшетуский? Кто оборонял Ченстохов? Кто защищал короля в ущелье? Кто сразил Богуслава? Кто первый с мечом и огнем обрушился на Пруссию? А теперь уже и на Жмуди почти нет неприятеля!

В эту минуту пан Андрей чувствовал то, что чувствует сокол, когда, широко расправив крылья, он поднимается все выше и выше. Проходившие мимо него отряды приветствовали его громкими криками, а он поднял голову и спрашивал самого себя: «Куда я вознесусь?» И лицо его горело, ибо в эту минуту ему казалось, что в нем сидит прирожденный гетман. Но гетманская булава, если он дослужится до нее, достанется ему за раны, за заслуги, за славу! Не соблазнит его больше ею ни один изменник, как некогда соблазнял Радзивилл, — теперь благодарная отчизна может вручить ему ее с согласия короля. Ему нечего заботиться о том, когда это будет, а только бить и бить, бить завтра, как он бил вчера!

Но вот его воображение вернулось к действительности. Куда ему отправиться из Троупей, где опять напасть на шведов?

Вдруг он вспомнил про письма, отданные ему Акбах-Уланом и найденные у убитого Гамильтона; он вынул их из-за пазухи, взглянул, и изумление отразилось на его лице.

На конверте было написано женской рукой:

«Вельможному пану Бабиничу, полковнику татарских и волонтерских войск».

— Мне! — проговорил пан Андрей.

Печать была сломана, а потому он быстро вынул письмо, расправил его и стал читать.

Но не успел он кончить, как руки его задрожали, он изменился в лице и воскликнул:

— Да славится имя Господне! Боже милостивый! Вот и награда из рук Твоих!

Тут он обхватил обеими руками подножие креста и стал биться головой о дерево. Иначе благодарить Бога в эту минуту он не мог, его охватила радость, подобная вихрю, и унесла его на небо: слов молитвы он произнести не мог.

Это было письмо от Анны Божобогатой. Шведы нашли его у Юрия Биллевича, а теперь оно попало в его руки от убитого Гамильтона. В голове пана Андрея мелькали, с быстротой татарских стрел, тысячи мыслей.

Значит, Оле нька была не в пуще, а в «партии» Биллевича? И он спас ее, а вместе с нею те самые Волмонтовичи, которые некогда сжег, мстя за товарищей! Видно, само Провидение вело его, чтобы он сразу вознаградил Оле ньку и Ляуду за все обиды, причиненные им. И вот он искупил свою вину. Может ли теперь не простить его она или братья ляуданцы? Могут ли они не благословлять его? Что скажет любимая девушка, которая считала его изменником, когда узнает, что тот Бабинич, который сразил Радзивилла, который бродил по пояс в крови немцев и шведов, который прогнал неприятеля из Жмуди, заставил его бежать в Пруссию и Инфляндию, — это он, Кмициц, но уже не забияка, не преступник, не изменник, а защитник веры, короля и отчизны...

А ведь пан Андрей, только что вступив в пределы Жмуди, мог повсюду объявить, кто такой этот славный Бабинич, и если он этого не сделал, то лишь потому, что боялся, как бы, услышав его настоящее имя, все не отвернулось от него и не отказало бы ему в помощи и доверии. Ведь прошло только два года с тех пор, как, обманутый Радзивиллом, он истреблял полки, которые не захотели восстать вместе с князем против государя и отчизны. Два года тому назад он был еще правой рукой великого изменника.

Но теперь все изменилось. Теперь, после стольких побед, стяжав такую славу, он имеет право прийти к любимой девушке и сказать ей: «Я — Кмициц, но твой спаситель!» Он имеет право крикнуть всей Жмуди: «Я — Кмициц, но твой спаситель!»

Волмонтовичи недалеко. Бабинич неделю преследовал Гамильтона, но не пройдет недели, как Кмициц будет у ног Оле ньки.

Пан Андрей встал, бледный от волнения, с горящими глазами, с пылающим лицом, и позвал слугу:

— Оседлать коня! Живо, живо!

Слуга подвел вороного жеребца и, уже подавая стремя, сказал:

— Ваша милость, какие-то неизвестные люди едут к нам от Троупей с паном Сорокой!

— Пусть себе едут! — ответил пан Андрей.

Тем временем всадники приблизились на несколько шагов. Один из ехавших в сопровождении Сороки выехал вперед и, подъехав к Кмицицу, снял рысий колпак, обнажая рыжую голову.

— Я имею честь видеть пана Бабинича? — сказал он. — Рад, что нашел вас, ваць-пане!

— С кем имею честь? — нетерпеливо проговорил Кмициц.

— Я — Вершул, бывший ротмистр татарского полка князя Еремии Вишневецкого. Я приехал в родные края, чтобы набирать солдат на новую войну. Кроме того, я привез вам, ваць-пане, письмо от великого гетмана, пана Сапеги.

— На новую войну? — спросил Кмициц, нахмутив брови. — Что вы говорите?

— Это письмо объяснит вам лучше, чем я! — сказал Вершул, подавая письмо гетмана.

Кмициц лихорадочно сорвал печать. В письме было следующее: «Любезнейший

пане Бабинич! Новый потоп угрожает отчизне. Союз шведов с Ракочи заключен, и раздел Речи Посполитой решен. Восемьдесят тысяч венгерцев, семиградцев, валахов и казаков с минуты на минуту перейдут нашу южную границу. В столь бедственную годину надлежит нам напрячь все наши силы, чтобы народ наш оставил грядущим векам хоть славное имя. А потому посылаю вам приказ, не теряя ни минуты, идти на юг форсированным маршем и соединиться с нами. Вы застанете нас в Бресте, откуда, не мешкая, мы пошлем вас дальше. Князь Богуслав освободился из неволи, но пан Госевский будет наблюдать за Пруссией и Жмудью. Еще раз прошу вас поспешить и надеюсь, что вас к тому побудит любовь к погибающей отчизне».

Кмициц, прочитав, уронил письмо на землю, провел рукой по влажному лицу и, окинув Вершула блуждающими глазами, спросил тихим, сдавленным голосом:

— Отчего же пан Госевский останется на Жмуди, а я должен идти на юг? Вершул пожал плечами.

— Спросите об этом пана гетмана в Бресте. Я ничего вам сказать не могу! — ответил он.

Вдруг страшный гнев охватил пана Андрея, глаза его засверкали, лицо посинело, и он крикнул пронзительным голосом:

— А я отсюда не уйду! Понимаете?!

— Вот как? — проговорил Вершул. — Мое дело отдать вам приказ, а вы делаете как знаете! Челом! Мне хотелось побыть в вашем обществе часик-другой, но после того, что я услышал, я предпочитаю поискать другого!

Сказав это, он повернул коня и уехал.

Пан Андрей опять сел у креста и стал бессмысленно посматривать на небо, точно хотел узнать, какова будет погода. Слуга отошел с лошадьми в сторону, и кругом воцарилась тишина.

Утро было погожее, бледное, полусосеннее-полузимнее. Ветра не было, с берез, возле креста, без шелеста осыпались пожелтевшие и свернувшиеся от холода листья. Над лесами пролетали бесчисленные стаи ворон и галок; иные из них опускались с громким карканьем тут же возле креста, так как на поле и на дороге лежало еще много непохороненных трупов. Пан Андрей смотрел, моргая глазами, на этих черных птиц и, казалось, хотел их сосчитать. Потом закрыл глаза, наморщил брови... Но вот лицо его стало осмысленным — и он заговорил сам с собою:

— Иначе быть не может! Пойду через две недели, но не теперь. Пусть будет что будет! Не я привел Ракочи! Не могу! Что слишком, то слишком... Мало ли я натерпелся, намаялся, мало ли бессонных ночей провел на седле, мало ли пролил своей и чужой крови? И вот награда за это! Не будь еще этого письма, я пошел бы; но оба они, как нарочно, в одно время: точно для того, чтоб причинить мне большую скорбь. Пусть мир рушится, а я не пойду! Отчизна не погибнет в эти две недели, и, видно, Божий гнев над нею — помочь ей выше сил человеческих! Боже! Боже! Русские, шведы, пруссаки, венгерцы, семиградцы, валахи, казаки — все зараз! Кто даст им отпор? О Господи! В чем провинилась пред Тобой наша отчизна и благочестивый король, что Ты отвратил от них лик свой и не знаешь милосердия над ними — посылаешь все новые бедствия? Разве мало еще крови? Мало слез? Ведь люди уже веселиться забыли, ведь вихри здесь не дуют, а стонут... Здесь дожди не падают, а плачут, а Ты бичуешь и бичуешь. Милосердия, Господи! Мы грешили, Отче, но ведь уже исправились! Мы оставили дома наши, сели на коней и все деремса и деремса. Мы оставили своеволие наше, оставили личные дела... Так почему же Ты не прощаешь нас? Почему не утетишь?

Вдруг совесть схватила его за волосы, и он задрожал всем телом: показалось ему, будто он слышит какой-то плывущий с самого свода небесного великий голос, который говорит:

— Вы оставили личные дела? А ты, несчастный, что делаешь в эту минуту? Ты

превозносишь свои заслуги, а когда пришла первая минута испытания, ты, как норовистый конь, становишься на дыбы и кричишь: «Не пойду!» Гибнет родина-мать, новые мечи пронзают ее грудь, а ты отворачиваешься от нее, не хочешь поддержать ее, гонишься за собственным счастьем и кричишь: «Не пойду!» Она простирает окровавленные руки, она уже падает, лишается чувств, уже умирает и в последний раз зовет: «Дети! Спасайте!» А ты ей отвечаешь: «Не пойду!» Горе вам! Горе такому народу, горе Речи Посполитой!

Волосы дыбом стали на голове пана Андрея от страха, и все его тело стало дрожать, точно в лихорадке... Вдруг он пал ниц на землю и не говорил, а кричал в ужасе:

— Господи, не карай! Господи, помилуй нас! Да будет воля Твоя! Я пойду, пойду!

Потом некоторое время он лежал молча на земле и рыдал, а когда поднялся наконец, лицо его было полно безропотной покорности и спокойствия...

— Господи, не удивляйся, что скорблю я душой, ибо был я на пороге счастья. Но да будет так, как Ты повелеваешь! Теперь я понимаю, что Ты желал испытать меня и потому поставил меня как бы на распутье. Еще раз да будет воля Твоя! Я уже не оглянусь назад! Тебе, Господи, я приношу в жертву мою великую скорбь, мою тоску, мое страшное горе... Да зачтется мне это за то, что я пощадил Богуслава, о чем скорбела отчизна... Это было последним моим личным делом... Больше не буду, Отче милостивый! Еще раз целую эту милую землю... Еще раз целую твои пригвожденные ноги... и иду. Господи!.. Иду!..

И он пошел.

А в книге небесной, в коей записываются дурные и хорошие дела людей, в эту минуту вычеркнуты были все его прегрешения, ибо это был уже человек совершенно исправившийся...

XXIX

Ни в одной книге не описано, сколько раз сражались еще польские войска, шляхта и крестьяне Речи Посполитой с врагами. Бились на полях, в лесах, в деревнях, в местечках, в городах; бились в Пруссии, в Мазовии, в Великопольше, в Малопольше, на Руси, на Литве, на Жмуди. Бились без отдыха и днем и ночью.

Каждый клочок земли был насыщен кровью. Имена рыцарей, их блестящие подвиги, их самоотвержение исчезли из памяти людей, ибо их не описал ни один летописец, не воспели песни...

И как бывает, когда великолепный лев, бесчисленными стрелами сваленный на землю, вскакивает вдруг, встряхнувши царственной гривой, и рычит — и охотников охватывает бледный страх и ноги их устремляются к бегству, так восстала и Речь Посполитая, грозная, полная царственного гнева, готовая сразиться со всем миром, — и врагами ее овладел страх, и бессилие сковало их члены... Они думали уже не о добыче, а о том, как бы из пасти львиной унести целыми свои головы.

Не помогли и новые союзники, полчища венгерцев, семиградцев, казаков и валахов. Правда, еще раз пронеслась буря между Краковом, Варшавой и Брестом, но и она разбилась о груди поляков и вскоре рассеялась, как туман.

Король шведский первый потерял надежду на успех дела и уехал на войну с Данией. Коварный курфюрст, покорный перед сильным, дерзкий перед слабым, бил теперь челом Речи Посполитой и обратил оружие против шведов. Разбойничьи полчища «резунов» Ракочи ударились сломя голову в свои семиградские камыши, которые Любомирский опустошил огнем и мечом.

Но легче им было вторгнуться в пределы Речи Посполитой, чем выбраться из них безнаказанно. Когда на них напали при переправе, семиградские вельможи на

колених умоляли пана Потоцкого, Любомирского и Чарнецкого о пощаде.

— Мы отдадим оружие, отдадим миллионы, — восклицали они, — только позвольте нам уйти!

И гетманы, взяв выкуп, пощадили войско; но татарская орда разгромила их у самого порога их жилищ.

В Польше постепенно воцарялось спокойствие. Король еще отнимал у пруссаков крепости, пан Чарнецкий должен был с огнем и мечом идти в Данию, ибо Речь Посполитая не довольствовалась уже одним изгнанием неприятеля.

Города и деревни восставали из пепла и праха, население выходило из лесов, на полях показались пахари.

Осенью 1657 года, тотчас по окончании венгерской войны, в большей части поветов и земель было спокойно, особенно на Жмуди.

Ляуданцы, которые ушли с паном Володыевским, были еще далеко в поле, но со дня на день ждали их возвращения.

Тем временем в Мрозах, в Волмонтовичах, в Дрожейканах, Мозгах, Гоцунах и Пацунелях женщины, подростки и старики пахали, сеяли озимь, отстраивали общими силами уничтоженные пожаром избы, чтобы воины, вернувшись домой, нашли пристанище и не голодали.

Оле нька вместе с Анусей Божобогатой и мечником жила теперь в Водоктах. Пан Томаш не спешил возвращаться в свои Биллевичи, во-первых, потому, что они были сожжены, во-вторых, ему было веселее с девушками, чем одному. А пока с помощью Оле ньки он хозяйничал в Водоктах. А панна хотела привести их в порядок, так как они вместе с Митрунами составляли ее приданое и должны были вскоре перейти в собственность монастыря бенедиктинок, в который она намеревалась постричься в день будущего Нового года.

После всего, что она перенесла, после стольких превратностей судьбы, после стольких несчастий и скорбей она пришла к заключению, что такова воля Божья. Ей казалось, что какая-то всемогущая рука толкает ее в келью, и какой-то голос говорит ей: «Там ты обрешь покой и конец всем горестям земным!»

И она решила послушаться этого голоса; но, чувствуя, что душа ее еще не совсем оторвалась от земли, она хотела подготовить себя к поступлению в монастырь добрыми делами, трудом и молитвой. Часто этим усилиям ее мешали отголоски, доносившиеся из мира.

Вот, например, люди стали поговаривать, что знаменитый Бабинич — это Кмициц. Одни горячо спорили, другие упорно повторяли эту весть.

Оле нька не верила. Слишком хорошо помнила она все поступки Кмицица и его службу у Радзивилла и не могла даже на одну минуту допустить, что это он разбил Богуслава, что это он был верным слугой короля и горячим патриотом. Но спокойствие ее было нарушено; боль и скорбь снова шевельнулись в ее душе.

Можно было, правда, ради душевного спокойствия поскорее поступить в монастырь, но все монастыри опустели; те из монахинь, которые не погибли от руки солдат, только начали собираться в свои обители.

Повсюду была страшная нищета, и каждый, кто хотел найти приют в монастыре, должен был заботиться о пропитании всей братии. Оле нька поэтому хотела помочь монастырю и стать не только монахиней, но и благодетельницей монастыря.

Мечник, зная, что он трудится во славу Господню, трудился усердно. Они вместе объезжали поля, наблюдали за осенними посевами; иногда в этих объездах их сопровождала Ануся; оскорбленная невниманием Бабинича, она тоже грозилась поступить в монастырь и ждала только возвращения пана Володыевского, чтобы проститься со своим старым другом. Но чаще Оленька ездила вдвоем с мечником, так как Ануся не любила хозяйства.

Однажды они поехали верхом в Митруны, где отстраивали сгоревшие во время

войны амбары и овины. По дороге они хотели заехать в костел. Была как раз годовщина битвы под Волмонтовичами, когда Бабинич спас всех от гибели. Целый день они были заняты и только вечером отправились из Митрунов. Возвращаться им пришлось через Любич и Волмонтовичи. Панна, завидев лишь крыши любичских домов, отвернулась и стала быстро читать молитвы, чтобы отогнать мучительные воспоминания; мечник ехал молча, внимательно оглядываясь по сторонам; миновав ворота, он сказал:

— Это настоящая панская усадьба! Любич — это два таких поместья, как Митруны.

Оле нька продолжала шептать молитву.

Но в мечнике, по-видимому, проснулся прежний страстный хозяин, а быть может, и свойственная шляхте любовь к тяжбам; вскоре он проговорил как бы про себя:

— А ведь это наше по праву!.. Биллевичи это потом и кровью купили. Тот несчастный, должно быть, погиб уже, раз не заявлял претензии, а если и заявит, то закон на нашей стороне.

И он обратился к Оле ньке:

— А ты как полагаешь?

— Проклято место это! Пусть с ним будет что будет.

— Но, видишь ли, закон на нашей стороне! Место это проклято, ибо было в дурных руках, а в хороших на него снизойдет благословение Божье... Закон на нашей стороне!..

— Никогда! Я ничего знать не хочу! Так завещано дедушкой, и пусть его родственники берут!

Сказав это, она погнала свою лошадь; мечник тоже пришпорил свою, и они замедлили ход только на лугу. Тем временем настала ночь, но было совершенно светло, так как из-за волмонтовичского леса выплыла огромная, красная луна и залила золотистым светом всю окрестность.

— Бог дал чудную ночь, — сказал мечник, поглядывая на луну.

— Как Волмонтовичи блестят издали! — заметила Оле нька.

— Бревна новых домов еще не почернели.

Дальнейший их разговор прервал скрип телеги, которой они разглядеть не могли, так как в этом месте дорога шла холмами; но вскоре они увидели четверку лошадей, запряженных попарно, и большую телегу, которую окружала группа всадников.

— Кто бы это мог быть? — произнес мечник. И остановил лошадь. Оле нька остановилась вместе с ним.

Телега все приближалась и наконец поравнялась с Биллевичами.

— Стой! — окликнул мечник. — Кого вы там везете?

— Пана Кмицица! — сказал один из всадников. — Он ранен венгерцами под Магеровом.

— С нами крестная сила! — воскликнул мечник.

У Оле ньки все заплясало перед глазами; сердце замерло, в груди захватило дыхание. Какой-то голос кричал в ее душе: «Господи боже! Это он!» Она почти потеряла сознание и не знала, где она и что с нею.

Но не упала с коня на землю, так как инстинктивно ухватилась за край телеги. И когда она наконец пришла в себя, взгляд ее упал на неподвижное тело, лежавшее в телеге.

Да, это был он, Андрей Кмициц, хорунжий оршанский. Он лежал навзничь; голова его была перевязана, но при ярком свете луны можно было прекрасно разглядеть его бледное, спокойное лицо, точно высеченное из мрамора или застывшее под ледяным дыханием смерти... Глаза глубоко впяли и были закрыты; он не подавал никаких признаков жизни.

— С Богом! — сказал, снимая шапку, мечник.
— Стой! — воскликнула Оле нька. И тихим, торопливым, лихорадочным голосом стала спрашивать: — Жив он еще? Или умер?
— Жив, но смерть близка.
Мечник, взглянув в лицо Кмицицу, произнес:
— Не довезти вам его до Любича!
— Приказал непременно везти, хочет там умереть.
— С Богом! Торопитесь!
— Бьем челом!

Телега тронулась дальше, Оле нька и мечник во весь опор помчались в противоположную сторону. Точно два ночных призрака, пронеслись они через Волмонтовичи и примчались в Водокты, не сказав дорогой ни слова друг другу. Только, слезая с коня, Оле нька обратилась к дяде:

— Надо послать ему ксендза. Пусть кто-нибудь сейчас же едет в Упиту.

Мечник пошел исполнить ее поручение, а она побежала в свою комнату и опустилась на колени перед образом Пресвятой Девы.

Часа два спустя, уже ночью, у ворот усадьбы раздался звук колокольчика. Это ксендз проезжал мимо со Святыми Дарами, направляясь в Любич.

Панна Александра все еще стояла на коленях. Уста ее шептали молитву, которую читают за умирающих. Когда она кончила ее, она сделала три земных поклона, повторяя:

— Господи, да зачтется ему, что он погибает от руки неприятеля! Да зачтется ему, что он погибает от руки неприятеля!.. Прости прегрешения его! Помилуй его!

Так прошла для нее вся ночь. Ксендз пробыл в Любиче до утра и, возвращаясь, заехал в Водокты. Она выбежала к нему навстречу.

— Уже? — спросила она.

— Жив еще! — ответил ксендз.

В течение следующих дней из Водокт в Любич ежедневно скакали гонцы и каждый раз возвращались с одинаковым ответом: «Жив еще!» Наконец один из них привез известие, полученное от цирюльника, что Кмициц не только жив, но даже выздоровеет, так как раны заживают и силы рыцаря возвращаются.

Панна Александра пожертвовала щедрые дары в упитскую церковь, но с этого дня гонцов уже не посылали, и — странное дело! — в сердце девушки ожила прежняя обида на пана Андрея.

Ежеминутно приходили ей на память его преступления, которые она не могла ни забыть, ни простить. Одна смерть могла их предать забвению. Но раз он выздоравливает, они опять будут тяготеть над ним. А все-таки все, что можно было сказать в оправдание этого человека, она твердила каждый день...

Она так измучилась за эти дни, пережила такую страшную внутреннюю борьбу, что это даже отразилось на ее здоровье.

Пан Томаш встревожился этим и однажды вечером, когда они остались одни, спросил ее:

— Оле нька, скажи мне откровенно, что ты думаешь о хорунжем оршанском?..

— Богу известно, что я не хочу о нем думать! — ответила она.

— Видишь ли... Ты исхудала... Гм... Может быть, ты еще... Я не настаиваю нисколько, но мне хотелось бы знать, что у тебя в душе... Не полагаешь ли ты, что воля твоего покойного дедушки должна быть исполнена?

— Никогда! — ответила она. — Дедушка оставил мне еще один выход... И в день Нового года я исполню его волю.

— Не верилось и мне, — ответил мечник, — когда тут прошли слухи, что Бабинич и Кмициц — одно лицо. Но ведь под Магеровом он сражался за отчизну против неприятеля и пролил кровь. Хоть и поздно он исправился, а все же

исправился...

— Но ведь и князь Богуслав теперь уже служит королю и отчизне, — возразила с грустью девушка. — Да простит их обоих Бог, а особенно того, кто пролил кровь. Люди всегда будут вправе сказать, что в минуту несчастий и бедствий, в минуту упадка отчизны оба они были ее врагами и перешли на ее сторону только тогда, когда у врагов поскользнулась нога и когда им стало выгодно перейти ^{на} сторону победителей. Вот в чем их вина! Теперь уже нет изменников, ибо измена не приносит никакой выгоды. Какая же это заслуга? Разве это не новое Доказательство, что такие люди всегда готовы служить тому, у кого сила? Дал оы Бог, чтобы было иначе, но таких преступлений Магеровом не искупить.

— Правда! Не спорю... Печальная истина, но истина! Все прежние изменники перешли на службу к королю.

— Над хорунжим оршанским, — продолжала Оле нька, — тяготеет преступление более страшное, чем над князем Богуславом: он дерзнул посягнуть на жизнь короля, чего испугался сам князь... Разве случайная рана может искупить такую вину? Я бы дала на отсечение вот эту руку, если бы этого не было... Но это было, и этого не вернешь! Бог, видно, сохранил ему жизнь, чтобы дать возможность покаяться... Дядя, дядя, ведь мы бы обманывали друг друга, если бы стали друг друга уверять, что он чист! И какая польза от этого? Разве совесть можно обмануть? Да будет воля Господня! Что разорвано, того не связать больше... Я счастлива, что пан хорунжий жив... Значит, Бог еще не отвернулся от него... Но вот и все! Я буду еще счастливее, если узнаю, что он искупил свои грехи! Большого я не хочу! Помоги ему Бог!

Больше Оле нька не могла говорить; она разрыдалась; но это были ее последние слезы. Она высказала все, что было у нее на душе, и к ней снова вернулось спокойствие.

XXX

Молодецкая душа рыцаря ни за что не хотела расставаться с своей телесной оболочкой и не рассталась.

Через месяц после возвращения в Любич раны пана Андрея стали заживать, и скоро к нему вернулось сознание. Когда он в первый раз осмотрелся кругом, он сразу понял, что он в Любиче.

Затем он позвал к себе верного Сороку.

— Сорока, — сказал он, — Господь милосерд ко мне! Чувствую, что не умру!

— Слушаюсь, — ответил старый солдат, вытирая кулаком слезу. А Кмициц продолжал как бы про себя:

— Кончены мои испытания! Ясно вижу... Господь милосерд ко мне... Он с минуту молчал, и только губы его шептали молитву.

— Сорока! — сказал он снова.

— Чего изволите, пан полковник?

— А кто там в Водоктах?

— Панна и пан мечник россиенский.

— Слава тебе, Боже! Узнавали обо мне?

— Присылали каждый день, пока не узнали, что ваша милость выздоровеет.

— А потом перестали присылать?

— Потом перестали.

— Они еще ничего не знают, но узнают от меня самого. Ты никому не говорил, что я воевал здесь под именем Бабинича?

— Не было приказа! — ответил солдат.

— Ляуданцы с паном Володыевским еще не вернулись?

— Никак нет, но их ждут со дня на день. Этим и кончился первый разговор.

Две недели спустя Кмициц встал с постели и начал ходить на костылях, а в следующее воскресенье решил во что бы то ни стало отправиться в костел.

— Поедем в Упиту, — сказал он Сороке. — С Бога надо начать, а после обедни в Водокты!

Сорока не посмел прекословить и велел выложить сеном повозку. Пан Андрей оделся по-праздничному, и они поехали.

Приехали они довольно рано; костел был почти пуст. Пан Андрей, опираясь на плечо Сороки, прошел прямо к главному алтарю, занял место на скамье и опустился на колени. Никто не узнал его — так он изменился.

Лицо его было бледно, исхудало и обросло за время войны и болезни длинной бородой. Все думали, что это какой-нибудь проезжий сановник заехал помолиться. Всюду было много проезжей шляхты, которая возвращалась теперь с войны.

Костел стал понемногу наполняться народом; стали съезжаться и помещики даже из отдаленных местностей, ибо во многих местах костелы сгорели и обедню можно было слушать только в Упите.

Кмициц, погруженный в молитву, не видел никого; только скрип скамьи, на которой сел кто-то рядом, прервал его благочестивое раздумье.

Он поднял голову и увидел рядом с собой нежное и печальное лицо Оле ньки...

Она также узнала его, так как вдруг посторонилась, словно в испуге. Лицо ее сначала вспыхнуло, потом вдруг побледнело, но страшным усилием воли она овладела собой и опустилась на колени возле него; третье место занял мечник.

И Кмициц, и она склонили головы и, закрыв лицо руками, стояли рядом на коленях. У обоих сердце билось так, что они слышали его биение...

Наконец пан Андрей первый сказал:

— Да славится имя Господне!

— Во веки веков! — вполголоса ответила Оле нька.

И больше они не говорили. Тем временем ксендз вышел говорить проповедь. Кмициц слушал его, но, несмотря на все усилия, не слышал и не понимал.

Так вот она, его желанная, по которой он тосковал целые годы, которая всегда была в его мыслях и сердце! Она была теперь тут, подле него...

И он чувствовал ее рядом и не смел повернуть в ее сторону глаза, ибо был в костеле, и только, закрыв глаза, прислушивался к ее дыханию.

— Оле нька, Оле нька со мной, — говорил он себе. — Бог повелел нам встретиться в костеле после разлуки. — И мысли его беспрестанно повторяли это имя: «Оле нька, Оле нька!..» То ему хотелось плакать от радости, то охватывало его лихорадочное желание благодарить Бога молитвой, наконец, он перестал сознавать, что с ним и где он.

А она по-прежнему стояла на коленях, закрыв лицо руками.

Ксендз кончил проповедь и сошел с амвона.

Вдруг перед костелом послышалось бряцание оружия и конский топот. Кто-то крикнул на паперти: «Ляуда возвращается!» — и в храме поднялся шум, шепот, наконец, громкие восклицания:

— Ляуда, Ляуда!

Толпа всколыхнулась, глаза всех устремились к входным дверям.

В этих дверях показались вооруженные ляуданцы и вошли в костел. Впереди их, звеня шпорами, шли пан Володыевский и пан Заглоба. Толпа расступилась перед ними, а они, пройдя через весь костел, опустились на колени перед алтарем, помолились и вошли прямо в ризницу. Ляуданцы остановились посреди костела, ни с кем не здороваясь ввиду святости места.

Ах, что за вид! Грозные лица, загоревшие от ветра, исхудалые от военных трудов, изрубленные саблями шведов, немцев, венгерцев, валахов. Вся история

войны, вся слава христоролюбивой Ляуды была написана на этих лицах. Вот угрюмые Бутрымы, вот Стакьяны, Домашевичи, Госцевичи, но всех понемногу. Едва лишь четвертая часть вернулась из тех, что ушли под командой Володыевского...

Сколько женщин тщетно искали своих мужей, сколько старцев своих сыновей. В толпе раздался плач: ибо плакали от радости и те, что увидели своих близких. Во всем костеле слышались рыдания. Временами чей-нибудь голос громко выкрикивал дорогое имя, но тотчас же смолкал; они стояли, покрытые славой, опираясь на свои мечи, но и по их глубоким рубцам скатывались на усы слезы.

В это время у дверей ризницы раздался звон колокольчика; шум утих. Все опустились на колени. Вышел ксендз служить обедню, за ним вышли в стихарях пан Володыевский и пан Заглоба.

Началась обедня.

Но ксендз, видимо, тоже был взволнован, и, когда повернулся в первый раз, чтобы провозгласить «*Dominus vobiscum*»⁶⁸, голос его дрожал; когда он стал читать Евангелие и воины вынули сабли из ножен в знак того, что Ляуда всегда готова защищать веру, в костеле стало светло от блеска стали, — он с трудом дочитал Евангелие.

При всеобщем воодушевлении была пропета благодарственная молитва. Обедня кончилась. Но ксендз, спрятав Дары в дарохранительницу, повернулся к народу, собираясь что-то сказать:.

В костеле стало тихо. Ксендз в задушевных словах приветствовал сначала вернувшихся солдат, потом объявил, что сейчас прочтет во всеуслышание королевскую грамоту, привезенную полковником ляуданского полка.

Стало еще тише. И вот в костеле раздался громкий голос:

— «Мы, Ян Казимир, Божьей милостью король Польский, великий князь Литовский, Мазовецкий, Прусский и пр., и пр., и пр. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Как бесчестные злых людей проступки против престола и отчизны, прежде чем быть судимы на небесах, достойны возмездия и в сей жизни, так равно справедливо, чтобы добродетель не оставалась без награды, ибо, украшенная ею, подаст она потомству пример, подражания достойный.

А потому объявляем всему сословию рыцарскому, всем военным и гражданским чинам, людям всякого звания и достоинства, а также всем жителям Великого княжества Литовского и нашего староства Жмудского, что, какие бы преступления ни тяготели над весьма нам любезным паном Андреем Кмицицем, хорунжим оршанским, — все преступления сии, ради его великих заслуг и славы, должны из памяти людей исчезнуть, нимало не умаляя ни славы, ни чести помянутого хорунжего оршанского».

Тут ксендз перестал читать и взглянул на скамью, где сидел пан Андрей; тот привстал на минуту, но затем снова сел, опустил на край скамьи свою измученную голову и закрыл глаза, точно от слабости.

Все стали смотреть на него, все уста шептали:

— Пан Кмициц! Кмициц! Там, возле Биллевичей!

Ксендз сделал знак рукой и продолжал среди глухой тишины:

— «Сей хорунжий оршанский в начале несчастной войны со шведами хотя на сторону князя-воеводы виленского и стал, но не из личных целей, а из искренней любви к отчизне, в заблуждение внушениями сего князя введенный, что-де к спасению отчизны есть одна дорога, по коей-де он, князь, и идет.

Прибыв к князю Богуславу, который, изменником его считая, все свои

⁶⁸ Господь с вами (*лат.*).

преступные против отчизны замыслы ему открыл, он, хорунжий оршанский, на особу нашу руки поднять не только не обещал, но самого князя с оружием в руках схватил, чтобы отомстить за нас и за обиженную отчизну».

— Боже, милостив буди мне, грешной! — воскликнул женский голос тут же возле пана Андрея. В костеле послышался шепот изумления.

Ксендз продолжал читать:

— «Князем Богуславом раненный, от болезни оправившийся, поехал в Ченстохов и там собственной грудью святое место защищал, всем пример мужества и стойкости подавая. Там же, с опасностью для жизни, самое большое осадное орудие неприятеля взорвал, при совершении коего опасного дела был схвачен и жестоким врагом к смерти приговорен, а перед тем огнем пытаем...»

То тут, то там в костеле послышались женские рыдания. Оле нька тряслась, как в лихорадке.

— «Но и из сей бездны изволением Царицы Небесной спасенный, к нам в Силезию направился и во время возвращения нашего в любезную нам отчизну, когда коварный враг засаду нам готовил, упомянутый хорунжий оршанский сам-четверт на всю вражескую силу бросился, особу нашу спасая. Изрубленный и рапирами исколотый, в собственной своей рыцарской крови плавая, поднят был замертво с побоища...»

Оле нька схватилась обеими руками за голову и, закинув ее назад, стала жадно втягивать воздух ссохшимися губами, а из груди ее вырывались стоны:

— Боже! Боже! Боже!

Но снова раздался голос ксендза, который все сильнее дрожал от волнения:

— «Когда же заботами нашими выздоровел, то отдыхать не стал, но дальнейшее участие в войне принял, со славой отличался, служа примером рыцарству обоих народов. После же благополучного взятия Варшавы был отправлен в Пруссию под вымышленным именем Бабинича...»

Когда в костеле прозвучало это имя, шум толпы превратился в гул волн...

— Значит, Бабинич — это он! Гроза шведов, спаситель Волмонтовичей, победитель в стольких битвах — это Кмициц.

Шум все усиливался, толпа стала тесниться к алтарю, чтобы получше разглядеть Кмицица.

— Боже, благослови его! Боже, благослови! — раздались сотни голосов.

Ксендз повернулся к скамье и перекрестил пана Андрея, который, прислонившись головой к краю скамьи, напоминал скорее мертвеца, чем живого человека, ибо душа его от счастья улетела к небесам.

Ксендз продолжал:

— «Там неприятельскую страну огнем и мечом опустошил, победе под Простками главным образом способствовал, князя Богуслава собственной рукой сразил и в плен захватил. Затем, вызванный в наше староство Жмудское, и там оказал огромные услуги, а сколько городов, местечек и деревень от неприятеля спас, про то тамошние жители лучше всех ведают».

— Знаем! Знаем! Знаем! — загремело в костеле...

— Утихните! — сказал ксендз, поднимая вверх королевское письмо.

«Посему мы, — продолжал он читать, — помня все его заслуги перед троном и отчизной, кои столь велики, что больших не мог бы сын оказать отцу и матери, порешили мы объявить этой нашей грамотой, чтобы столь великого кавалера, веры, престола и Речи Посполитой защитника, людская злоба не преследовала и чтобы заслуженная слава и всеобщая любовь его окружала. Пока же воля наша предстоящим сеймом подтверждена будет и все обвинения с него снимет, пока сможем наградить его свободным ныне староством Упитским, просим любезных нам обывателей староства нашего Жмудского удержать в памяти и в сердцах сии наши

слова, кои повелевает нам сказать сама справедливость, всякой власти основание».

Ксендз кончил и, повернувшись к алтарю, стал молиться; пан Андрей почувствовал вдруг прикосновение чьей-то мягкой руки: взглянул — это была рука Оле ньки... И не успел он опомниться и вырвать свою руку, как панна поднесла ее к губам и поцеловала в присутствии всего народа.

— Оле нька! — воскликнул изумленный Кмициц.

Но она встала, закрыла рукой лицо и сказала мечнику:

— Дядя, пойдемте скорее!

И они ушли через дверь ризницы.

Пан Андрей попробовал встать и идти за ними, но не мог... Силы совершенно оставили его.

Зато через четверть часа он очутился перед костелом — его вели под руки пан Володыевский и пан Заглоба.

Толпы шляхты и крестьян теснились вокруг него; женщины с любопытством, свойственным их полу, спешили взглянуть на этого страшного некогда Кмицица, теперь спасителя Ляуды и будущего старосту. Круг смыкался все теснее, и ляуданцам пришлось окружить Кмицица и защитить его от натиска толпы.

— Пан Андрей, — проговорил пан Заглоба, — вот какой гостинец мы тебе привезли... Ты, полагаю, не ждал такого?.. А теперь в Водокты, в Водокты, на обручение и свадьбу!

Дальнейшие слова Заглобы затерялись в громких криках ляуданцев, повторявших за Юзвой Безногим:

— Да здравствует пан Кмициц!

— Да здравствует пан староста упитский!

— Да здравствует! — подхватила толпа.

— В Водокты! Все! — грянул пан Заглоба.

— В Водокты! В Водокты! Сватать пана Кмицица, нашего спасителя! В Водокты! К панне!

Все засуетились. Ляуданцы садились на лошадей, другие бежали к возам, к бричкам, к телегам. Пешие побежали напрямик через поля и леса. Крики: «В Водокты!» — гремели по всему местечку. Дорога запестрела разноцветными группами людей.

Пан Кмициц ехал на возке вместе с Володыевским и Заглобой и поминутно обнимал то того, то другого. От волнения говорить он не мог... К тому же они мчались так, точно на Упиту напали татары. За ними мчались все брички и возы.

Они были уже далеко за городом, когда вдруг пан Володыевский наклонился к уху Кмицица.

— Ендрек, — спросил он, — не знаешь ли, где та, другая?

— В Водоктах! — ответил рыцарь.

И тогда, ветер ли шевельнул усиками Володыевского или волнение, неизвестно, — но всю дорогу они торчали вперед, как у майского жука.

Пан Заглоба от радости пел таким страшным басом, что даже лошади пугались:

Двое нас было, Оле нька, двое на свете —

Только, сдается мне что-то, — будет и третий!..

Ануси в это воскресенье не было в костеле — она должна была ухаживать за больной панной Кульвец. И была так занята, что только теперь могла помолиться.

Но не успела она произнести последнего «Аминь!», как послышался стук колес у ворот, и Оле нька вихрем влетела в комнату.

— Ануся! Знаешь, кто этот Бабинич?! Это пан Кмициц!

— Кто тебе сказал?

— В костеле читали королевскую грамоту... Пан Володыевский привез!

— Так пан Володыевский вернулся? — воскликнула Ануся.

И вдруг бросилась Оле ньке на шею. Оле нька сочла это движение нежности доказательством Анусиной любви к ней, притом она была как в лихорадке... Лицо ее пылало, а грудь высоко поднималась, точно от большой усталости.

Она стала бессвязно рассказывать все, что слышала в костеле, бегала по комнате, как безумная, и повторяла:

— Не стою я его, не стою! — упрекала себя вслух за то, что она больше всех обижала его, даже не хотела за него молиться, в то время как он проливал свою кровь за Пресвятую Деву, отчизну и короля.

Напрасно Ануся, бегая следом за ней, пыталась ее утешать. Она повторяла все одно и то же, что она его не стоит, что она не осмелится взглянуть ему в глаза. То вдруг начинала рассказывать о его подвигах, о том, как он похитил Богуслава, как тот отомстил ему, о спасении короля, о Простках, о Волмонтовичах, о Ченстохове — и опять твердила о своей вине перед ним, которую она должна замолить в монастыре.

Дальнейшие ее сетования прервал пан Томаш, который, влетев в комнату, как бомба, крикнул:

— Боже! Вся Упита валит к нам! Они уже в деревне! И Бабинич, верно, с ними!

И действительно, громкие крики вскоре возвестили о приближении гостей.

Мечник схватил Оле ньку за руку и вывел ее на крыльцо, за ними выбежала и Ануся.

Толпа людей, пеших и конных, зачернела вдали — вся дорога была заполнена ими. Вот они въехали во двор. Пешие приступом брали рвы и заборы — возы стали тесниться в воротах, — и все кричали и бросали вверх шапки.

Наконец показался отряд вооруженных ляуданцев, окружавших возок, в котором сидели Кмициц, Володыевский и Заглоба. Возок остановился немного поодаль, так как к крыльцу, где толпилась масса народу, нельзя было подъехать.

Заглоба с Володыевским выскочили первыми, помогли Кмицицу слезть и взяли его под руки.

— Дорогу! — крикнул Заглоба.

— Дорогу! — повторили ляуданцы.

Толпа расступилась и пропустила их, и два рыцаря повели Кмицица к крыльцу. Он шатался и был очень бледен, но шел, подняв голову, смущенный и счастливый.

Оле нька прислонилась головой к косяку и бессильно опустила руки; когда он приблизился к ней и она взглянула в лицо этого бедняги, который после стольких лет разлуки опять подходил к ней, как воскресший Лазарь, без кровинки в лице, рыдания потрясли ее грудь...

А он от слабости и счастья не знал, что сказать... Поднимаясь по ступенькам лестницы на крыльцо, он повторял только прерывающимся голосом:

— Ну что, Оле нька?.. Ну что?

А она опустилась перед ним на колени:

— Ендрусь! Я недостойна целовать твои раны!

Но в эту минуту силы вернулись к рыцарю, и он поднял ее с земли, как перышко, и крепко прижал к груди.

Радостный крик, от которого дрогнули стены дома и стали осыпаться последние листья, оглушил всех...

Ляуданцы начали стрелять из самопалов и подбрасывать шапки вверх. Кругом виднелись только сияющие радостью лица, горящие глаза и раскрытые рты, которые кричали:

— Vivat Кмициц! Vivat панна Биллевич! Vivat молодая пара!

— Vivat две пары! — крикнул Заглоба. Но его голос затерялся в общем шуме.

Водокты превратились в лагерь. Весь день по приказанию мечника резали

баранов и волов, вырывали из земли бочки старого меда и пива. Вечером начался пир. Старые и знатные пировали в покоях, молодежь — в людской, а простой народ веселился вокруг костров на дворе.

За главным столом кружили чарки за здоровье двух пар, и, когда все уже были навеселе, Заглоба произнес следующий тост:

— К тебе обращаюсь, досточтимый пан Андрей, и к тебе, старый друг Михал! Недостаточно жертвовать жизнью, проливать кровь и рубить врагов. Ваш труд еще не окончен. В этой войне пало много народу — и вы должны создать теперь для нашей дорогой отчизны новых граждан, новых защитников Речи Посполитой, на что, надеюсь, у вас хватит мужества и охоты! Мосци-панове, здоровье этих будущих поколений! Да благословит их Бог и да даст им сберечь то наследство, которое мы оставляем им, восстановленное нашим потом, нашим трудом, нашей кровью. Пусть, когда настанут тяжелые времена, они вспоминают о нас и никогда не отчаиваются, памятуя, что нет таких тяжких испытаний, коих соединенными усилиями и с Божьей помощью перенести невозможно!

* * *

Пан Андрей вскоре после свадьбы ушел на новую войну, которая вспыхнула на востоке. Но молниеносные победы Чарнецкого и Сапеги над Хованским и Долгоруким, победы гетманов коронных над Шереметевым вскоре прекратили ее. Кмициц, покрытый новой славой, вернулся домой и поселился в Водоктах.

Сан хорунжего оршанского перешел к его двоюродному брату, Якову, который впоследствии принял участие в несчастной военной конфедерации. Пан Андрей, душой и сердцем оставшийся верным королю и награжденный Упитским староством, жил долго в примерном согласии и любви с Ляудой, окруженный всеобщим уважением. Правда, недоброжелатели (а у кого их нет?) говорили, будто он во всем слишком слушается жены, но он этого не стыдился, наоборот, сам признавался, что во всех важных делах он с нею советуется.